ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПУШКИНСКОГО ДОМА

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Том 1

Издательство Пушкинского Дома
Издательство «Вита Нова»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2020

Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания
В. В. ЕСИПОВА

Работа подготовлена в рамках проекта РФФИ № 16-04-0537в

ISBN 978-5-87781-065-5
ISBN 978-5-87781-067-9 (Т. 1)

СТИХИ ПОСЛЕ КОЛЫМЫ (ПОЭТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ВАРЛАМА ШАЛАМОВА)

«Время сделало меня поэтом, а иначе чем бы защитился».
В. Шаламов

1

В истории русской, да и мировой литературы вряд ли найдется судьба столь же трагическая, как у В. Т. Шаламова. Речь не только о его биографии, беспримерной по перенесенным за двадцать лет лагерной неволи страданиям и последующим мытарствам, или об издательских злоключениях потрясающей прозы — «Колымских рассказов», даровавших ему лишь запоздалую посмертную славу. Самой печальной оказалась, увы, судьба его поэзии.

Свои первые стихи Шаламов опубликовал, когда ему было уже 50 лет, в 1957 г., вскоре после реабилитации. И хотя затем он печатался довольно часто по меркам советского времени — выпустил пять книжек, публиковался в журналах и в альманахах «День поэзии», — это лишь оттеняет горький смысл его поэтической судьбы. Ибо увидело свет в те годы, 1950–1970-е, в общей сложности только около 300 стихотворений Шаламова, тогда как его поэтическое наследие, сохранившееся в архиве и представленное в настоящем издании, насчитывает свыше 1200 стихотворений. Если учесть, что всё опубликованное проходило сквозь жесткое сито редакционно-издательской цензуры, с отсеиванием «неподходящих» по политическим и иным мотивам стихов и изъятием отдельных строк и целых строф, то нетрудно понять, почему Шаламов называл многие свои опубликованные стихи «инвалидами» и «калеками». Фактически образ поэта представал перед читателями далеким от его подлинной сути. Это сказалось и в критике, которая не имела возможности по достоинству оценить своеобразия и масштабности его таланта, что, в конце концов, оставило Шаламова в тени многих современников, представляющих огромное и разнообразное богатство русской поэзии XX в.

Другой «тенью» для Шаламова-поэта, как уже не раз отмечалось (и этот парадокс тоже по-своему трагичен), стал он сам — в качестве создателя неповторимых «Колымских рассказов». Трудно найти читателя или критика, который бы в разные времена не заявлял, что проза Шаламова «гораздо сильнее» его стихов, что стихи

являются лишь некоей побочной ветвью его творчества. Все это происходило и происходит, опять же, на фоне слабого знания поэзии Шаламова, в том числе той, что была издана в потоке «возвращенной» литературы в конце 1980-х — начале 1990-х гг., когда кроме многочисленных подборок не известных прежде стихов был напечатан и его главный поэтический труд «Колымские тетради» (около 700 стихотворений вошло в четырехтомное, 1998 г., и шеститомное, 2006 г., собрания сочинений писателя). Однако и доныне во взглядах на поэзию Шаламова во многом действует инерция старых, сложившихся еще в 1960-е гг. стереотипов, и ярче всего она сказалась в сравнительно недавних оценках[1].

Настоящее издание, как представляется, дает возможность, наконец, преодолеть многие недоразумения, а также предубеждения, накопившиеся вокруг Шаламова-поэта, и внести ясность в понимание важнейших проблем, связанных с его поэтическим творчеством. Первостепенное значение при этом имеет, на наш взгляд, задача определения своеобразия таланта Шаламова-художника, что невозможно без ответа на принципиальный вопрос — о сравнительном статусе, то есть о месте и значении поэзии и прозы в его творчестве, и шире — в его самосознании. Скажем сразу: все материалы, имеющиеся на этот счет, решительно опровергают мнения о «вторичности» его стихов по отношению к прозе, напротив, доказывают их первичность, или, лучше сказать, — первородство.

Не станем прибегать к количественным параметрам, которые всегда относительны (хотя 1200 стихотворений в сравнении со ста пятьюдесятью рассказами и еще примерно сотней произведений малых форм — очерков, эссе, глав воспоминаний и т. д. — сами по себе подчеркивают весьма значительный удельный вес поэзии в творчестве Шаламова). Могут показаться недостаточно убедительными

---

[1] «Культура стиха у него была. Но больше вычитанная, чем добытая. Своей поэтики в стихах не проглядывалось. А в прозе была» (*Евтушенко Е.* Каторжник-летописец // Новые Известия. 2008. 24 окт.); «Варлам Шаламов очень неровный поэт, что вовсе не означает плохой», — снисходительно заявил филолог из Магадана, при этом сравнивший некоторые стихи Шаламова со стихами капитана Лебядкина... (см.: *Пинковский В.* Поэзия Варлама Шаламова // Шаламов В. Т. Колымские тетради. Магадан, 2004); «У Шаламова-поэта никогда не будет массового читателя. Его стихи живут как бы в тени его же прозы <...>. Из его стихов известно и опубликовано лишь около сотни» (*Бердинских В.* История советской поэзии. М., 2014; при этом поэтическое творчество Шаламова отнесено исключительно к «лагерной» поэзии). Имя Шаламова даже не упомянуто (хотя присутствуют, например, имена С. Щипачева и А. Жигулина) в монографии М. Эпштейна «„Природа, мир, тайник вселенной...“: Система пейзажных образов в русской поэзии» (М., 1990), в то время как даже при жизни Шаламов признавался «мастером пейзажной лирики».

и свидетельства близко знавших Шаламова И. Сиротинской и Ю. Шрейдера о том, что Шаламов считал себя прежде всего поэтом[1], ибо автопрезентация «считал» все-таки субъективна. Поэтому приведем вначале один из самых красноречивых аргументов — стихотворение Шаламова, написанное в 1956 г., когда одновременно шла работа и над «Колымскими рассказами», и над «Колымскими тетрадями». Оно называется «Поэзии» (№ 521):

Если сил не растрачу,
Если что-нибудь значу,
Это сила и воля — твоя.

В этом — песни значенье,
В этом — слов обличенье,
Немудреный секрет бытия.

Ты ведешь мою душу
Через море и сушу,
Средь растений, и птиц, и зверей.

Ты отводишь от пули,
Ты приводишь июли
Вместо вечных моих декабрей.

Ищешь верного броду,
Тащишь свежую воду
К моему пересохшему рту.

И с тобой обрученный,
И тобой облученный,
Не боясь, я иду в темноту...

Поэзия была для Шаламова, по собственному его комментарию к этому стихотворению, его «религией, верой» — именно благодаря ей он выжил в лагере и «сохранил себя для лучших дел». Он черпал силы в этом магическом искусстве всю жизнь, с самого детства: «Я начинал со стихов: с мычанья ритмического, шаманского покачивания»[2], — до предсмертных строк, надиктованных

[1] «Я ценила его прозу больше, чем стихи, и это его очень обижало. А мне тяжело было слышать в 70-е годы, когда он говорил изредка: „Да что рассказы — нет в них ничего особенного“» (*ИСвосп.* С. 15; список сокращений см. на с. 478 наст. изд.); «Сам Шаламов видел в себе прежде всего поэта, а не прозаика, временами обращающегося к стихам» (*Шрейдер Ю.* «Граница совести моей» // Новый мир. 1994. № 12. С. 226).
[2] *ЧВ*. С. 7.

или, увы, скорее, тоже «промычанных», в Доме инвалидов: «Я на бреющем полете / Землю облетаю. / Всей тщеты земной заботы / Я теперь не знаю...». Глубоко символичен тот факт, что первыми произведениями, созданными Шаламовым после Колымы (точнее, еще на Колыме, когда появилась такая возможность), были стихи. Следует напомнить, что большинство теоретико-эстетических размышлений Шаламова (почти вся переписка с Б. Пастернаком, многочисленные эссе и статьи, не опубликованные при жизни) посвящены поэзии, а не прозе[1]. В одном из этих эссе, написанном на рубеже 1950–1960-х гг. и так и названном «Поэт и проза», Шаламов с предельной ясностью говорит о единстве своего творчества: «У поэта путь один и тема его жизни — одна — которая высказывается то в стихах, то в прозе. Это не две параллельные дороги, а один путь. К тому отрезку пути, который пройден прозой, автор уже не вернется в стихах»[2]. Наконец, для многих читателей «Колымских рассказов» станет, наверное, полной неожиданностью убеждение Шаламова в том, что «правда поэзии выше правды художественной прозы»[3].

Уже этот краткий обзор дает, на наш взгляд, полное основание говорить о *природном поэтическом складе личности Шаламова* и *о поэтической первооснове его творчества*, то есть, в конечном счете, — о принадлежности его к тому универсальному типу художников — поэтов-прозаиков с поэтической доминантой, — гениальным воплощением которого в русской литературе были А. Пушкин и М. Лермонтов, а в XX в. — А. Белый и Б. Пастернак. Тема качественной соизмеримости творчества Шаламова с творчеством его великих предшественников сама по себе некорректна, однако типологическое сходство и преемственность здесь несомненны. У самого Шаламова есть на этот счет вполне четкая формулировка: «Поэт, пишущий прозу, обогащает и свою прозу, и свою поэзию. Пушкин, Лермонтов, да и любой поэт могут быть

---

[1] Кроме эссе, опубликованных в т. 5 собр. соч. Шаламова, недавно обнаружены еще две его важные стиховедческие работы: «Как сделана „Метель“ Пастернака» и «Разбор стихотворения А. Межирова „Защитник Москвы“» (*Шсб-5*. С. 171–185, 186–190).

[2] *ВШ7*. Т. 5. С. 77. Следует заметить, что из правила «...уже не вернется в стихах» у Шаламова есть исключения, присутствующие и оговоренные в данном издании.

[3] Из письма к О. Ивинской (1956; *ВШ7*. Т. 6. С. 215). При этом Шаламов во многом исходил из экзистенциальной ситуации лагеря, где стихи духовно «держат дольше, чем проза», помогая «пережить весь ужас быта» (конкретно речь шла о стихах Б. Пастернака). Весьма знаменательно, что мысль Шаламова совпадает с мыслью И. Бродского: «Поэзия стоит выше прозы и поэт — в принципе — выше прозаика» (*Бродский И*. Поэт и проза // Бродский И. Меньше единицы: Избранные эссе. М., 1999. С. 175).

понятны лишь вместе со своей прозой, в единстве»[1]. Эта мысль тем более знаменательна, что Шаламов является, в сущности, последним крупным представителем подобного универсализма в русской литературе XX в. и всего новейшего времени. Его неповторимость и величие в том, что он сумел со свойственной ему мощной художественной и этической силой выразить себя и свою эпоху как в беспощадно-правдивых рассказах, так и в сурово-нежной лирике, пережив неслыханную в русской истории общественную и личную трагедию...

Следует подчеркнуть, что Шаламов самым убедительным образом опроверг ставшую расхожей сентенцию Т. Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихов» — и в буквальном, и в метафизическом ее понимании. Ставивший Колыму и Освенцим в один ряд, Шаламов мог бы согласиться лишь с другой, более точной формулировкой немецкого философа: «После Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование»[2]. Ведь его собственный вывод после исторических катастроф XX в. был, в сущности, аналогичным: «Искусство лишено права на проповедь»[3]. В связи с этим поэзия, как и искусство вообще, по убеждению Шаламова, должна радикально измениться, избавившись от высокопарного дидактизма, от извечных претензий на то, чтобы поучать — будь то политические идеи или обиходная мораль — большие массы людей. Еще находясь на Севере, в марте 1953 г. он писал Б. Пастернаку: «Мне кажется — одна из ошибок современной поэзии в том, что утеряно понимание главного, что поэзия должна говорить не людям, а человеку <...>. Единение людей в стихах — это единство суждения обращенных поодиночке. Хороший поэт тот, который встречается с читателем один на один. Хорошее — это то, что читается при лампе и кладется на ночь под подушку»[4].

Такими, обращенными «лично и доверительно» к чуткому читателю, который может понять душу поэта, явившегося из неведомого мира лагерей, и были «Колымские тетради», начиная с первых строк первого стихотворения:

Пещерной пылью, синей плесенью
Мои испачканы стихи.
Они рождались в дни воскресные —
Немногословны и тихи...

[1] «Таблица умножения для молодых поэтов» (1964; *ВШ7*. Т. 5. С. 16). В письме к А. Кременскому Шаламов с горькой иронией писал: «Я хотел бы даже работы по связи моих стихов с прозой, но такой работы в наших условиях придется ждать сто лет» (1971; *ВШ7*. Т. 6. С. 581).

[2] *Адорно Т.* Негативная диалектика. М., 2003. С. 328.

[3] <О «новой прозе»> (*ВШ7*. Т. 5. С. 157).

[4] *ВШ7*. Т. 6. С. 21.

Все, что записывалось в прятавшиеся от чужих глаз тетради, Шаламов называл своим поэтическим дневником. О публикации самой сокровенной лирики он тогда, в начале 1950-х гг., и не задумывался. Его позиция изначально была бескомпромиссна: «Вопрос „печататься — не печататься" для меня вопрос важный, но отнюдь не первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, которые перешагнуть я не могу»[1].

Следует подчеркнуть, что создание «стихов после Колымы» было сопряжено для Шаламова с огромными трудностями как физического и психологического, так и творческого порядка. Многолетний отрыв от культуры, долгая жизнь в голоде, холоде, унижениях, «у рассудка на краю» не только подорвали его здоровье, но и не могли не сказаться на характере его искусства, и прежде всего это коснулось поэтической ипостаси как наиболее чувствительной к чудовищной дисгармонии, в которой ему пришлось пребывать. Сам Шаламов признавался: «Дальний Север <...> изуродовал и сузил мои поэтические интересы и возможности»[2]. Та же мысль вместе с горячей верой в свое призвание нашла выражение в строках:

В куски разорванный драконом,
Я не умру — опять срастусь.
Я поднимусь с негромким стоном
И встану яблоней в цвету...
(«Мне жить остаться — нет надежды...», № 243).

Благодаря огромной воле и преданности искусству, никогда не покидавшей его строгой взыскательности к поэтическому слову Шаламову удалось уже вскоре после Колымы заявить себя «сильным самобытным поэтом» (характеристика, данная Б. Пастернаком в 1954 г. рукописи первого колымского сборника «Синяя тетрадь»)[3]. И хотя сам автор считал эти похвалы преувеличенными,

---

[1] Из письма к Б. Пастернаку от 22 июня 1954 г. (*ВШ7.* Т. 6. С. 54).

[2] «Значение Дальнего Севера в моем творчестве» (1964; *ВШ7.* Т. 5. С. 82). Еще более выразительны фразы в неопубликованных заметках об О. Мандельштаме: «Конечно, язык Мандельштама богат. Мой язык обеднен и <не только> на целое двадцатилетие отстранен от живой поэтической мысли, но и самый мозг иссушен голодом. Я не знаю, какой язык нужен. Я пользуюсь тем языком, которым могу, а не выбираю, не отбираю, избегая, может быть, цветистости, пестроты» (*РГАЛИ.* Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 131. Л. 56). Очевидно, что рецензенты, писавшие о «суховатости» стихов Шаламова (Георгий Адамович и другие — см. далее), вряд ли задумывались о чисто физических причинах этого («мозг иссушен голодом»).

[3] Переписка с Б. Пастернаком (*ВШ7* Т. 6. С. 57). В этом же письме были и еще более лестные для Шаламова строки: «Пусть лежит у меня рядом со вторым томиком алконостовского Блока. Нет-нет и загляну в нее. Этих вещей на свете так мало...».

объясняемыми скорее «великодушием», все последующее творчество Шаламова подтверждает правоту и прозорливость Пастернака — могучая духовная сила, глубокая художественная индивидуальность и цельность шаламовской лирики резко выделяют ее в ретроспективе русской поэзии 1950–1970-х гг. и позволяют отнести к значительнейшим и уникальнейшим явлениям этой эпохи. Думается, читатели смогут беспристрастно разобраться в этом, познакомившись с настоящим изданием, где поэтический мир Шаламова впервые представлен во всей полноте и подлинности.

Возможность такого знакомства стала результатом большой и кропотливой работы с архивом автора и многими другими источниками. Нами двигало прежде всего стремление с максимальной бережностью воспроизвести все содержание поэтического наследия Шаламова, учитывая ту бесспорную истину, что стихи (пусть даже отчасти несовершенные) раскрывают внутренний мир и душевные переживания человека, художника и мыслителя — а значит, и его судьбу — с наивысшей обнаженностью. В связи с этим читателей ждет, несомненно, множество открытий, в значительной мере корректирующих и обогащающих тот образ Шаламова, который сложился на основе чтения и изучения «Колымских рассказов» и других прозаических произведений. Особенно это касается стихов 1970-х гг., в которых поэт стремился «развеять туман», окруживший его личность и общественные взгляды. Отдельные стихотворения этого периода, пожалуй, могут вызвать у некоторых читателей шок, ибо их строки своей резкостью и категоричностью превосходят даже известное письмо Шаламова в «Литературную газету» (1972). Полагаем, что читатели смогут объективно оценить все «неудобные» с точки зрения новейших стереотипов поэтические тексты Шаламова, опираясь на комментарии к ним. Главное же, пусть никого не смущает огромное количество стихотворений, составляющих данное издание. Между прочим, Шаламов (демонстрируя свойственную ему самоиронию) не раз повторял слова известной статьи А. Блока: «Стихи в большом количестве — вещь невыносимая»[1]. При этом сам Шаламов педантично убеждал читателей своих даже маленьких сборников: «Стихи — это не роман, который можно пролистать, проглядеть за одну ночь. Стихи требуют чтения внимательного, неоднократного

[1] *ЗапКн*. С. 291 (1965 г.). В статье А. Блока «Без божества, без вдохновенья» (1921) эти слова сопровождаются фразой: «...Как сказал однажды один умный литератор», — однако имя автора не указано. Речь идет о критике Е. А. Соловьеве, писавшем в статье «Декаденты»: «Конечно, <...> в „Скорпионе“ <...> есть вещи вполне пристойные, хотя в большом количестве невыносимые, напр. вещи г-на Бальмонта...» (см.: З. Н. Гиппиус: Pro et contra. СПб., 2008. С. 104 — впервые: Научное Обозрение. 1901. № 8). Благодарю И. Н. Сухих за указание данного источника.

перечитывания. Стихи должны читаться в разное время года, при разном настроении...»[1]

Эти советы, без сомнения, сохраняют актуальность не только для современных читателей, но и для коллег по литературному цеху и исследователей, желающих по-настоящему познать возвращаемый почти сорок лет спустя после смерти Шаламова живой мир его поэзии.

2

Я стеснялся стихов. Никому, даже маме,
Не читал я стихов никогда.
Дома жил, как чужой, со своими стихами,
На щеках была краска стыда.

Я скрывался в чулан, и бумага шуршала —
Шелест был осторожен и тих.
А теперь мне все кажется — мама читала
По глазам моим каждый мой стих.

Это поздний, конца 1960-х гг., шаламовский перевод стихотворения еврейского поэта Х. Мальтинского. Перевод с идиш делался, естественно, по подстрочнику, и можно с достаточной уверенностью говорить, что личного в эти строки вложено не меньше, чем было в оригинале...

Свою маму, Надежду Александровну, Варлам Тихонович трепетно любил, и ей принадлежит, несомненно, важнейшая роль в воспитании младшего сына, родившегося 18 (5 по ст. ст.) июня 1907 г. в Вологде, после возвращения семьи с далеких Алеутских островов, куда глава семьи — священник Тихон Николаевич Шаламов был направлен в 1892 г. в качестве православного миссионера.

Юному Варламу в отличие от его старших братьев и сестер не досталось заокеанской экзотики — он вырос «домашним» вологодским ребенком, особо лелеемым матерью. Именно она научила его читать, когда ему было всего три года (по кубикам), именно с нею он начал медленно, по буквам и главам, читать свою первую книгу, которой могла быть по устоям священнической семьи только Библия (разумеется, для ребенка — с иллюстрациями Г. Доре). Все библейские мотивы и образы будущих стихов «Колымских тетрадей» Шаламова — отсюда, от материнского «камелька», как он любил говорить. Отсюда же и те «простые истины», нравственные правила, которыми он руководствовался всю жизнь, и та особая чувствительность и тяга ко всему, что «не от мира сего», которая рождает поэта. Все это, считал Шаламов, взращено в нем матерью:

[1] «Таблица умножения для молодых поэтов» (*ВШ7*. Т. 5. С. 17).

«Ей обязан я стихами. / Их крутыми берегами» («Моя мать была дикарка...», № 907, <1970>).

Отца, протоиерея кафедрального Софийского собора, никак нельзя назвать ретроградом — все-таки он больше десяти лет прожил на территории Америки, где конституция и гражданские свободы существовали уже сто лет, а в России в 1904 г., когда он вернулся, о них только мечтали. Отец никогда не идеализировал Америку, но считал, что некоторым присущим ей традициям — таким, как веротерпимость — России надо учиться. В Вологде о. Тихон сразу прослыл «белой вороной», поскольку открыто заявлял свое неприятие антисемитизма и в 1906 г. отслужил панихиду по убитому черносотенцами в Териоках депутату Государственной думы М. Герценштейну. Варлам целиком унаследовал это качество отца и всегда считал антисемитизм несовместимым с понятием «русская интеллигенция».

Осознание неблагополучия состояния православной церкви еще до революции поставило отца в ряды сторонников церковных реформ, и после революции он искренне включился в «обновленческое» движение. О. Тихон рано, в 1920 г., ослеп, но продолжал ходить на многочисленные диспуты о вере, куда его сопровождал в роли поводыря юный Варлам. В этих случаях, отдавая должное мужеству и убежденности отца, он, как писал позже, учился у него «крепости душевной». Однако сами вопросы веры его к тому времени уже мало волновали. Это было бы удивительно для сына священника, если бы не переломное время — революция, и если бы не старая российская черта: именно из семей священников чаще всего происходили атеисты (не говоря уже о нигилистах). Шаламов нигилистом не стал, но его христианства, по его словам, хватило только на раннее детство, и веру в Бога он потерял еще «лет в шесть» — во многом из-за отца, который на его глазах не раз демонстрировал житейский, вполне языческий (возможно, приобретенный на Алеутах) прагматизм — резал, убивал животных из домашнего хозяйства: «Это и есть одна из причин, почему я потерял веру в Бога. В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей»[1].

Это признание может объяснить многое в будущем мироощущении Шаламова, в том числе в сложном переплетении как христианских, так и богоборческих мотивов его ранней колымской лирики. Но, пожалуй, важнейшей причиной отчуждения сына от отца стало то, что отец был совершенно глух к высокой поэзии, признавая в ней только одно имя — «печальника горя народного» Н. Некрасова. Юный Варлам, которому отец прожужжал все уши надрывными народопоклонническими стихами своего любимца, с детства получил своего рода заряд идиосинкразии против

[1] *ЧВ*. С. 120.

«кумира русской провинции» (так Шаламов называл Некрасова, причислив его много позже в известных размышлениях о причинах жестоко обманутых исторических надежд XX в. к одному из тех «писателей-гуманистов, которые несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке»[1]...). У него самого в школьные годы появился свой, совершенно иной кумир — Игорь Северянин. Недаром во время нашумевшего в маленьком городе в 1921 г. юбилейного некрасовского вечера — с фейерверком! — организатором которого был 14-летний Варлам (позже блестяще, с большим юмором, описавший этот вечер в «Четвертой Вологде»), он декламировал не самого Некрасова, а Северянина — короткое стихотворение «Сеятель» из «Поэзоантракта», посвященное Некрасову. И это была не дань моде: Шаламов до конца дней высоко ценил И. Северянина, считая, что «его голос — абсолютной поэтической чистоты при всей его вычурности»[2].

Тогда же Варлам познакомился со стихами Н. Клюева и раннего С. Есенина, но истинным, гораздо более высоким авторитетом в поэзии — со времени юности и до конца дней — для Шаламова стал А. Блок, с первого прочтения его «Двенадцати», дошедших до Вологды в знаменитом оформлении Ю. Анненкова. «Блок встретил меня оглушительным ритмом сиюминутности... В „Двенадцати" время говорило с Блоком, и он услышал его»[3], — писал он позже. Пронзительную блоковскую лирику, в том числе написанные во время Первой мировой войны «Стихи о России», Варламу помогла открыть его школьная учительница литературы Е. М. Куклина, окончившая Петроградский университет. Именно она сумела разглядеть в серьезном не по годам мальчике, неутомимом книгочее, разностороннюю гуманитарную талантливость и при окончании школы говорила ему: «Вы будете гордостью России, Шаламов». Слова эти он запомнил на всю жизнь — они в конце концов сбылись, но кто бы предполагал, какой ценой!..

---

[1] «<О «новой прозе»>» (*ВШ7.* Т. 5. С. 169). Шаламов вслед за Достоевским видел глубокую историческую ошибку той части русской интеллигенции, которая провозгласила, что «Некрасов выше Пушкина» (на похоронах Некрасова в 1877 г. — см.: *Достоевский Ф. М.* Дневник писателя 1877 г. Декабрь // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 113; о знакомстве Шаламова с этой частью «Дневника писателя» и глубоких размышлениях над ней свидетельствует фрагмент его воспоминаний «Василий Шибанов» — *Шсб-5.* С. 159). Эта сцена на похоронах, писал Шаламов, «не делает чести русскому обществу» (*ВШ7* Т. 6. С. 498). Некрасов, по его словам, был «сужением русской поэзии». Характерно, что ту же вину Шаламов числил за В. Маяковским, который «был жертвой <...> честно, но узко понятой задачи служения современности» (*ВШ7* Т. 4. С. 341).

[2] «Библиотека поэта» (*ВШ7* Т. 5. С. 90).

[3] «Блок и Ахматова» (*ВШ7.* Т. 5. С. 202).

Глубокое понимание классики — Державина, Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Тютчева, Фета — пришло к нему, по его признанию, много позднее, а в юности, особенно после переезда в Москву в 1924 г., он был целиком захвачен современной поэзией, начиная с Есенина. На похоронах Есенина в декабре 1925 г. он присутствовал в многотысячной толпе и потом сделал вывод: «Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией»[1].

«Живая кровь» отныне станет для Шаламова мерилом истинной поэзии — равнозначным понятию «судьба поэта», которое он прилагал к очень немногим своим современникам, строго отделяя «судьбу» (оплаченную глубоким личным страданием, жертвенностью, соответствием поэтического слова поступкам) от «мастерства» или «ремесла». Но тайны поэзии («мне очень хотелось знать, какую жидкость наливают в черепную коробку поэтов — что это за люди?» — как выразительно писал он[2]) выводили как раз на вопросы «ремесла», которые влекли его тогда с неудержимой силой. Еще до поступления в Московский университет он стал постоянным читателем Румянцевской (будущей Ленинской) библиотеки и здесь с упоением читал то, что его больше всего интересовало, — ранние сборники футуристов с В. Хлебниковым, В. Маяковским, Н. Асеевым, В. Каменским, Б. Пастернаком, получившие после революции громкую славу среди молодежи. Характерен интерес молодого Шаламова и к теоретическим вопросам стиховедения. По его свидетельству, он тогда «учил опоязовские статьи наизусть»[3]. Как известно, в этих сборниках помимо В. Шкловского, Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума участвовал и О. Брик, кружок которого при «Новом ЛЕФе» Шаламов некоторое время посещал; естественно, он запомнил работу Брика «Звуковые повторы: (Анализ звуковой структуры стиха)» из сборника ОПОЯЗа за 1917 г.[4]

---

[1] Отношение Шаламова к Есенину после Колымы стало достаточно противоречивым, о чем говорит его очерк «Сергей Есенин и воровской мир». Исходя из того, что Есенин пользовался громадной популярностью и считался «своим» среди лагерных «блатарей», писатель подводил к выводу, что у поэта, по терминологии «блатарей», имелась «капля жульнической крови» (*ВШ7* Т. 2. С. 94). Сопоставление этой нелицеприятной оценки, скажем, с отзывом Шаламова о «Москве кабацкой»: «Каждое из 18 стихотворений, составляющих этот удивительный цикл, — шедевр русской лирики» (*ВШ7.* Т. 4. С. 577), — является яркой иллюстрацией того, как могли различаться подходы Шаламова-прозаика и Шаламова-поэта.

[2] *КоМС.* С. 98.

[3] Из письма к Ю. Шрейдеру от 24 марта 1968 г. (*ВШ7.* Т. 6. С. 539).

[4] Во многом именно на ее положения, а также на более фундаментальные идеи А. Белого спустя почти шестьдесят лет он опирался в своей теоретической статье «Звуковой повтор — поиск смысла»,

Не станем пока останавливаться на том, как отразились эти увлечения звуковым строем стиха на собственном поэтическом творчестве Шаламова. 1920-е гг. в этом смысле были для него только годами учебы — прежде всего овладения рифмовкой, в чем он весьма преуспел. Любопытный эпизод приведен в воспоминаниях Шаламова «Двадцатые годы». В 1927 г. журнал «Новый ЛЕФ», за которым он внимательно следил, обратился к читателям с предложением присылать «новые, необыкновенные рифмы». «Я наскоро заготовил несколько десятков рифм, вроде „ангела — Англией", добавил несколько своих стихотворений и отправил, вовсе не ожидая ответа, — писал Шаламов. — Через некоторое время я получил письмо Николая Асеева. Это было первое полученное в жизни письмо от известного литератора, да и стихов своих, хоть я писал их с детства, я никому не показывал. Асеев благодарил за рифмы, написал, что у меня „чуткое на рифмы ухо", что касается стихотворений, то „если это первые мои стихи", то они заслуживают внимания, но главное в поэзии — это „лица необщее выражение" и т. д.»[1].

Варлам был горд получить такое письмо, его поздравляли друзья, но он был больше всего удивлен не ответом (с банальной цитатой из Баратынского), а конвертом, в котором тот был прислан. Это был маленький изысканный конвертик из сиреневой бумаги с лиловым ободком, на такой же бумаге было написано «мельчайшим женским почерком» и письмо. Все это не вязалось с обликом самого Асеева и его стихами, ибо Асеев (а не Маяковский) был главным кумиром студентов, олицетворяя лирическую смелость, которой у него, впрочем, хватило ненадолго, и в сталинские годы он больше писал, по словам Шаламова, «стихи к датам». «Судьбы», в понимании Шаламова, у Асеева-поэта не получилось, осталось только «ремесло», хотя и высочайшего уровня. В целом же близкое знакомство с «левым фронтом искусства» (с тем же О. Бриком, с С. Третьяковым и В. Маяковским, на вечерах которого в Политехническом музее Шаламов бывал не раз) оттолкнуло молодого Шаламова — прежде всего нигилистическим отношением к классике, не только к Пушкину, но и к Блоку. «Крайне неприятной была какая-то звериная ненависть к Блоку, пренебрежительный, издевательский тон по отношению к нему, усвоенный всеми лефовцами»[2], — свидетельствовал он.

Но увлечение поэзией не исчерпывало все содержание жизни молодого Шаламова и его друзей: «Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить»[3]. Последнее означало,

---

впервые опубликованной Ю. Шрейдером в сборнике «Семиотика и информатика» (1976. Вып. 7; ср.: *ВШ7.* Т. 7. С. 261).

[1] *ВШ7.* Т. 4. С. 348.

[2] Там же. С. 342.

[3] Там же. С. 398.

по его словам, участие в «общественных сражениях». Поступив в 1926 г., после двух лет «пролетарской закалки» дубильщиком на Кунцевском кожевенном заводе, в Московский университет, он оказался в эпицентре этих сражений. Дух свободолюбия, которым всегда славился главный университет страны, в середине 1920-х гг. возродился с новой силой. «Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конвенте», — вспоминал Шаламов. Факультет советского права, который он выбрал, казался ему лучшим с точки зрения приложения сил для борьбы за справедливость, в которую он страстно, по-юношески верил. «Конечно, я был слепым щенком тогда»[1], — писал он много позже, но бесстрашия этому «щенку» было не занимать. Еще в Вологде, в царское время служившей одним из центров политической ссылки, он страстно увлекся историей освободительной борьбы русской интеллигенции (позднее он назвал ее историей «русского Сопротивления»), ее героями и жертвами. Он был готов, если понадобится, пройти тот же путь...

Исключительно важна шаламовская характеристика атмосферы осени 1924 г., когда он приехал в Москву: «Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год»[2] (Шаламов имел в виду Февраль, атмосферу которого он тоже хорошо помнил). Но уже в 1925 г. началось постепенное и неуклонное спадание этой волны, связанное с политическим возвышением Сталина. Неудивительно, что новое поколение молодежи, не затронутое ожесточением Гражданской войны и воспринимавшее революцию и социализм как продолжение освободительной борьбы в духе заветов старой интеллигенции, не приняло политику грубого антидемократизма и «завинчивания гаек». Все это привело Шаламова и многих других студентов в ряды «левой» оппозиции, которая называла себя «большевиками-ленинцами», а со стороны своих противников получила ярлык «троцкистов». Стоит заметить, что Шаламов включился в эту борьбу как волонтер, ибо не был даже комсомольцем, но он смело брался за исполнение любых поручений. За участие в печатании в подпольной типографии скрытого от широких масс политического завещания Ленина («Письма к съезду», где шла речь о том, чтобы «найти способ переместить Сталина с поста Генсека») в январе 1929 г. Шаламов был арестован. На следствии он вел себя гордо, как истинный поэт и герой-революционер — отказался от дачи показаний. Это был беспрецедентный поступок, ибо многие его друзья слишком откровенничали, каялись и за это получали только ссылку. А Варлам за свою строптивость был сначала посажен на полтора месяца в одиночную камеру Бутырской тюрьмы, а затем осужден на три года концентрационных лагерей — так они назывались до переименования

[1] *ВШ7.* Т. 4. С. 181.
[2] Там же. С. 422.

в 1930 г. в «исправительно-трудовые». Ему был тогда 21 год, а наказание пришлось отбывать в Вишерских лагерях на Северном Урале, куда он был отправлен в одном вагоне с уголовниками...

Шаламов никогда не считал свой первый горький политический опыт «ошибкой молодости» — наоборот, он гордился им. Что касается приписываемого ему и доныне «троцкизма», то в позднем «Кратком жизнеописании» он пояснял: «К Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии», подчеркивая с вполне обоснованным пафосом, что сам он принадлежал «к рядам тех, кто пытался самыми первыми, самоотверженно отдав жизнь, сдержать тот кровавый потоп, который вошел в историю под названием культа Сталина. Оппозиционеры — единственные в России люди, которые пытались организовать активное сопротивление этому носорогу»[1]. И еще важное добавление, сделанное в «Воспоминаниях о Колыме»: «Если бы я был троцкистом, я был бы давно расстрелян, уничтожен, но и временное прикосновение дало мне вечное клеймо...»[2].

Последние слова — о «временном прикосновении» и «вечном клейме» — можно считать ключом ко всей биографии Шаламова, к объяснению ее трагизма, как жизненного, так отчасти и литературного. Ведь его второй арест в 1937 г. с отправкой на Колыму был прямым следствием прежнего участия в оппозиции — на этот раз ему и припечатали фатальное клеймо «КРТД» («контрреволюционная троцкистская деятельность») со спецуказанием «использовать только на тяжелых физических работах». В 1943 г., когда пятилетний срок кончился, на Колыме ему добавили еще десять лет, по сфальсифицированному обвинению в «антисоветской агитации» («АСА», статья 58, п. 10 УК РСФСР). Хотя статья изменилась, он по-прежнему считался «троцкистом». Весьма характерно, что реабилитация Шаламова в 1956 г. состоялась только по делам 1937 и 1943 гг. и не коснулась дела 1929 г. Не случайно с апреля 1956 г. (еще в период рассмотрения реабилитационного дела) до июня 1959 г. за ним велась весьма плотная слежка со стороны КГБ (с фотофиксацией передвижений и подробными донесениями осведомителей о встречах и разговорах Шаламова). Причина указывалась в заданиях агентам: «...В прошлом активный троцкист». Несмотря на то что Шаламов не давал ни малейшего повода для подозрений в нелояльности к советской власти, наблюдение за ним продолжалось и позднее, особенно после появления «Колымских рассказов» в пиратских изданиях на Западе. Слежка велась и в последние его годы, когда он был уже тяжело болен: об этом говорит беспримерный по цинизму факт кражи из квартиры Шаламова в его отсутствие части рукописей сотрудником КГБ (позднее,

---

[1] Краткое жизнеописание Варлама Шаламова, составленное им самим // https://shalamov.ru/library/35/.

[2] *ВШ7.* Т. 4. С. 469.

в 1996 г., продавшим эти рукописи музею писателя в Вологде)[1]. Реабилитирован был Шаламов по своему первому делу 1929 г. лишь в 2000 г., после обращения его наследницы И. П. Сиротинской в Генеральную прокуратуру РФ[2].

Напомним, что жупел «троцкизма», доставшийся в наследство от сталинской эпохи, продолжал активно культивироваться советско-партийным идеологическим аппаратом, о чем говорит хотя бы выпуск «Политиздатом» в 1968 г. брошюры с лицемерным названием «Троцкизм — враг ленинизма». Безусловно, подозрительность к Шаламову в «органах» из-за этого жупела сыграла определенную роль в том, что колымская проза писателя осталась не напечатанной в СССР (хотя основная причина была в другом — в том, что «слишком страшно» писал Шаламов о сталинской эпохе и о человеке в лагере). Не исключено, что особая цензурная бдительность по отношению к его стихам также отчасти объяснялась этим фактором (особенно в высших инстанциях издательства «Советский писатель», тесно связанных с «органами»). Но, с другой стороны, хрущевская «оттепель» открыла дорогу многим литераторам, прошедшим через сталинские репрессии, и этот процесс не мог не коснуться чудом уцелевшего поэта-инвалида, в биографии которого значилось участие в распространении «Завещания» Ленина (сакрализованное имя Ленина все же многократно перевешивало имя Троцкого). Хотя сам Шаламов никогда не пользовался этой «индульгенцией», о его «ленинском» эпизоде было известно в литературных кругах, как известна была и его вера в справедливость начал, провозглашенных Октябрьской революцией, и его горячие, нисколько не остывшие симпатии к общественной и творческой обстановке первых лет советской власти. Главное же — предложенные в печать лирические стихи Шаламова не могли не волновать своей искренностью и человечностью, удивительно тонким чувствованием природы и при этом — трудно скрываемой болью, причины которой были понятны всем, кто был лишен предвзятости и кто хоть немного знал о его судьбе. Но «поэтическая нить» этой судьбы, перефразируя самого Шаламова[3], «разорванная и снова связанная», тогда была мало кому

[1] См.: *Филиппов В.* Семнадцать лет спустя: Инкогнито из Москвы продал вологодскому музею похищенные рукописи Варлама Шаламова // Известия. 1996. 2 апр. Подробнее см. в примеч. к данному тому.

[2] Все материалы по этой теме, включая донесения осведомителей КГБ, опубликованы И. П. Сиротинской в издании: *Шаламов В.* Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М., 2004.

[3] «Литературной нитью своей судьбы» Шаламов назвал краткий обзор своего творчества, начиная с 1920-х гг., в письме к Л. И. Скорино в 1962 г. (*ВШ7.* Т. 6. С. 320). Мы выделяем преимущественно «поэтическую нить».

известна, и остается таковой практически и доныне. К ней и следует вернуться.

3

Чтобы понять истоки того поэтического взлета, который произошел у Шаламова после Колымы, конечно, мало учитывать его опыт 1920-х гг. Гораздо большее значение имели пять лет свободы после Вишеры. «Я набирал силу, — вспоминал он. — Стихи писались, но не читались никому. <...> План был такой. В 1938 г. — первая книжка прозы. Потом вторая книжка — сборник стихов»[1]. Арест перечеркнул все планы. Позже выяснилось, что жена Г. И. Гудзь из опасений сожгла три тетради (около ста стихотворений), предназначенные для готовившегося сборника. Но после всего пережитого на Колыме эта потеря казалась Шаламову несущественной. Да он уже и не помнил этих стихов, принадлежавших иному, перечеркнутому миру...

Тем не менее, с точки зрения познания тайн поэзии 1930-е гг. значили для него очень много. Это было время самоуглубления, отказа от поверхностных увлечений и переживания новых, гораздо более серьезных — притом, что они, как всегда, сопровождались у Шаламова не только эмоциональным восприятием стихов открытого для себя поэта, но и особым интересом к их форме. Это было время накопления той редкостной поэтической эрудиции, которая так поражала его знакомых-врачей на Колыме, а впоследствии — и тех, с кем он встречался по возвращении в Москву. Стоит заметить, что феноменальная память Шаламова позволяла ему запоминать важные для него стихи целиком сразу после переписывания их на бумагу, а когда бумаги не было — уже после второго чтения вслух. Именно последним способом ему удалось навсегда сохранить в памяти прочтенные сокамерником по Бутырской тюрьме в 1937 г., журналистом Германом Хохловым (вскоре расстрелянным), стихотворения М. Цветаевой «Роландов рог» и В. Ходасевича «Играю в карты, пью вино...» и «Ан Марихен»[2]. Так же было еще раньше с Б. Пастернаком, с его книгой «Сестра моя — жизнь»: взяв ее в библиотеке, Шаламов хотел ее переписать, «но вдруг оказалось, что переписывать „Сестру мою — жизнь“ не надо» — он помнил всё наизусть[3].

Иногда считается (во многом со слов самого Шаламова — об этом ниже), что его безраздельным кумиром с 1930-х гг. стал Б. Пастернак. Это не совсем верно. О широких поэтических предпочтениях Шаламова, укрепившихся в те годы, можно судить хотя

[1] *ВШ7.* Т. 4. С. 308.
[2] См. очерк «Герман Хохлов» (*ВШ7* Т. 4. С. 558).
[3] *КоМС.* С. 99.

бы по перечню поэтов, стихи которых он читал на описанных им в одноименном рассказе «афинских ночах» — тайных поэтических вечерах, проходивших в колымской лагерной больнице в конце 1940-х гг.: «Мой взнос: Блок, Пастернак, Анненский, Хлебников, Северянин, Каменский, Белый, Есенин, Тихонов, Ходасевич, Бунин. Из классиков: Тютчев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Алексей Толстой...»[1] Обратим внимание прежде всего на кажущиеся здесь неожиданными имена И. Анненского и А. Белого.

Ранее нигде не фигурировавший в числе особо значимых для него поэтов, А. Белый попал в их число, вероятно, в связи с тем, что Шаламов со свойственной ему дотошностью проштудировал все сочинения Белого (стихи, прозу, теоретические работы) после смерти его — «последнего из декадентов», как писали в газетах — в январе 1934 г. Как известно, автор «Колымских рассказов» считал автора романа «Петербург» (прочтенного впервые еще в 1920-е гг.) одним из своих учителей в прозе. При этом из стихов А. Белого Шаламов ставил на первое место книгу «Пепел» (1906 г., новая редакция 1929 г.), которая была близка ему и темой — отражением мыслей героя-бродяги, бунтаря и арестанта, что Шаламов по-особому лично переживал уже после Вишерского лагеря, — и, опять же, свежей, оригинальной ритмикой стихов. Есть основания полагать, что именно в это время Шаламов глубоко изучил фундаментальные стиховедческие работы А. Белого «Символизм» (1910) и «Ритм как диалектика» (1929); их он имеет в виду, говоря позднее о «предвидениях гения Белого»[2] (подобной оценки деятели ОПОЯЗа не удостоены). Вопрос о влиянии этих работ, как и стихов А. Белого, на послеколымское поэтическое творчество Шаламова заслуживает специального исследования, однако уже имеются наблюдения, что это влияние имело место[3].

---

[1] Список, очевидно, не претендовал на полноту и не мог включать, скажем, имя высоко ценимого Шаламовым П. Васильева, расстрелянного в 1937 г. (см. воспоминания «Павел Васильев» — *ВШ7*. Т. 4. С. 574). В случае с Н. Тихоновым речь идет, очевидно, о стихах из сборников 1920-х гг. «Орда» и «Брага», всегда отмечавшихся Шаламовым. Из Некрасова Шаламов со временем стал выше всего ценить «Железную дорогу», по понятной причине — за неизбывную злободневность строк о «косточках русских»... Характерно, что в его списке нет А. Ахматовой, М. Цветаевой и О. Мандельштама — судя по всему, он знал их тогда еще сравнительно мало (на «афинских вечерах» их стихи читал поэт В. Португалов).

[2] См. автокомментарий Шаламова к стихотворению «Раковина» в наст. издании (см. примеч. к № 419).

[3] *Иванов Вяч. Вс.* Поэзия Варлама Шаламова // Судьба и творчество В. Шаламова в контексте советской истории и мировой литературы / Сост. С. М. Соловьев. М., 2013. С. 36. Подробнее см. гл. 6 наст. статьи. См. также: *Гаспаров М.* Белый-теоретик и Белый-стихотворец // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. М., 1988. С. 444.

В связи с этим нельзя не вспомнить и статью молодого Шаламова «Наука и художественная литература» (1934), где он подчеркивал: «Самая специфика стиха — *ритм, звуковая организация* (курсив наш. — *В. Е.*) — обладает по сравнению с художественной прозой большей силой эмоционального воздействия на читателей»[1]. Опора на терминологию Белого здесь говорит сама за себя. Эта статья интересна еще и потому, что в ней Шаламов развивал идею расширения тематических рамок поэзии за счет освоения научных сфер — отчасти отталкиваясь от опыта того же Белого, но ссылаясь в этот раз на слова В. Брюсова (из его предисловия к сборнику «Дали», 1922): «Было бы несправедливо, если бы поэзия навеки должна была ограничиться, с одной стороны, мотивами о любви и природе, с другой — гражданскими темами. Все, что интересует и волнует современного человека, имеет право на отражение в поэзии». Несомненно, эта идея не была забыта Шаламовым после Колымы — одной из характерных черт его лирики стало как раз обращение к научным темам (большей частью в их этическом аспекте — от проблем использования атома до экологии) и широкое включение в стихи научно-технической лексики (от медицинской до геологической), что можно считать прямым наследием его молодости.

Обратимся теперь ко второму «неожиданному» имени в шаламовском перечне, имени И. Анненского. Вспоминая о 1930-х гг., Шаламов подчеркивал, что влияние Б. Пастернака в этот период «переплеталось, сливалось с влиянием на меня поэта, с которым я только что познакомился, был увлечен его секретами очень сильно. Это был Иннокентий Анненский. Вот с этой любовью к Анненскому и Пастернаку я и уехал на Дальний Север»[2]. Можно предполагать, что на Шаламова произвели огромное впечатление не только стихи И. Анненского, но и его поэтическая судьба. Удивительно было открыть в пестрившей эпатажностью, крикливостью, претензиями на новое «неслыханное» слово эпохе русской поэзии начала века (позднее названной «серебряным веком») фигуру поэта, который ни в малейшей мере не был затронут этими веяниями. Сознательно избравший путь непубличности и анонимности

[1] Статья была опубликована в журнале «Фронт науки и техники» (1934. № 12). Перепечатана в сб.: *Шаламов В.* Все или ничего: Эссе о поэзии и прозе. СПб., 2016. Следует заметить, что ответственным секретарем журнала «Фронт науки и техники» была А. И. Гудзь — старшая сестра жены Шаламова, которая, вероятно, и заказала ему статью (сам он работал в близких по профилю производственно-технических журналах). В декабре 1936 г. А. И. Гудзь была арестована и отправлена на Колыму, где умерла (о несостоявшейся встрече Шаламова с ней см. главу его «Воспоминаний» «Ася» — *ВШ7.* Т. 4. С. 511).

[2] *КоМС.* С. 100.

(большинство его стихов осталось в рукописях и было напечатано посмертно, а единственный прижизненный сборник «Тихие песни» (1904) был подписан псевдонимом «Ник. Т-о»), Анненский, как можно догадываться, представлял для Шаламова тот идеал «тайного» поэтического бытия, к которому он всегда стремился — и это стремление было усугублено лагерными обстоятельствами, во многом сформировавшими его кредо: «Оптимальное состояние человека — одиночество»[1]. Есть основания полагать, что принцип Анненского: «Работаю исключительно для будущего», — серьезно и глубоко повлиял на общий стиль жизни и творчества Шаламова с его преимущественной работой «в стол», и особенно — на избранный им способ поэтического существования в закрытой форме лирического дневника. Обо всем этом, вероятно, можно было бы только строить гипотезы, если бы в архиве Шаламова северного периода (1953 г.) не обнаружилось удивительное стихотворение, посвященное Анненскому (№ 1225):

Прошептать бы, проплакать слова,
Их мечта хоть слепа, но жива.

От повадок незрячей мечты
Не спасемся ни я, ни ты.

В наш сырой, в наш метельный май
Порыжелый мундир одевай,

Свой учительский старый мундир,
Мой покойник и мой командир.

Пусть меня обвинят в воровстве,
Кто не знает, что мы — в родстве,

Этих «в», этих «з», этих «эм»
И других незначительных тем.

Красоту вывожу на парад
И не жду никаких наград.

Я хочу мертвецу доказать,
Что его не померкли глаза.

Голубые эти следы
Завели меня в вечные льды.

---

[1] *ЗапКн.* С. 329 (1971 г.).

От его улыбки живой
Каждый вечер я сам не свой.

И горит тот огонь голубой,
Увлекая меня за собой.

Самое красноречивое в этих строках — «мой командир». Поразительно, что написанные «в вечных льдах», на полюсе холода, стихи о своем заветном поэтическом учителе пролежали в старых тетрадях Шаламова без движения почти двадцать лет, и лишь затем он решился предложить их в свой последний сборник «Точка кипения» (1977). Но равнодушной рукой редактора они были отклонены...

Нет сомнения, что тот предметный разговор об Анненском, который завел Шаламов в переписке с Пастернаком с Колымы, стал одним из главных факторов, способствовавших его сближению с великим поэтом. Ибо сам Пастернак при первой встрече с Шаламовым в Москве 13 ноября 1953 г. признался: «В ваших письмах было очень интересное для меня замечание о том, что поэтические идеи Пастернака близки поэтическим идеям Анненского, что совершенно верно, хотя никто никогда мне этого не говорил. Иннокентий Анненский — мой учитель»[1].

В целом Пастернак был бесконечно удивлен тем, что писавший ему с Севера неизвестный поэт обладает выдающимся умом, образованностью, способностью с полной самостоятельностью судить о сложнейших проблемах искусства — как старого, так и современного, — и особенно о поэзии. Совершенно восхитила Пастернака формула Шаламова о рифме как «поисковом инструменте». Он назвал ее — по точности и глубине — «пушкинским определением». Позднее Шаламов отнес эту похвалу к числу двух «лучших похвал», слышанных за всю жизнь (первая касалась сокамерника по Бутырской тюрьме, старого революционера-эсера А. Г. Андреева, который сказал ему: «Вы можете сидеть в тюрьме»[2]), добавив по поводу Пастернака: «Конечно, Борис Леонидович был увлекающийся человек, и скидка тут нужна значительная, но мне было очень приятно»[3].

Пастернаку, в свою очередь, несомненно, было очень дорого, что «ссыльный поэт», как он поначалу воспринимал Шаламова,

---

[1] Мемуарный очерк «Пастернак» (*ВШ7*. Т. 4. С. 598).
[2] *ВШ7*. Т. 4. С. 278.
[3] Разумеется, мысль о рифме как поисковом инструменте родилась у Шаламова не спонтанно, а была результатом долгих размышлений и над историей поэзии, и над практикой множества поэтов, и над собственной практикой. Плоды этих размышлений позднее были воплощены в ряде эссе, а также в стихотворении «Некоторые свойства рифмы» (1957; № 580).

является одним из его самых страстных и давних почитателей. В первом же письме с Севера Шаламов с трогательной искренностью вспоминал, как увидел Пастернака на вечере в клубе МГУ в 1933 г.: «Вы читали „Второе рождение", а я сидел, забившись в угол, в темноте зала и думал, что счастье — вот здесь, сейчас — в том, что я вижу настоящего поэта и настоящего человека — такого, какого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами»[1]. Подобное чувство можно назвать боготворением, и Шаламов, не стесняясь этого чувства, прямо писал о нем Пастернаку не только в письмах, но и в стихах:

...И каждый вечер, в удивленье,
Что до сих пор еще живой,
Я повторял стихотворенья
И снова слышал голос твой.

И я шептал их, как молитвы,
Их почитал живой водой,
И образком, хранящим в битве,
И путеводною звездой...
(«Поэту», № 94; 1954).

В те годы (1930–1950-е) Шаламов был далеко не одинок в своем преклонении перед Пастернаком, но его отличие — как и отличие других интеллигентов, оказавшихся в тюрьмах и лагерях, — было в том, что чтение или прошептывание стихов Пастернака действительно служило им тем же, чем служит для верующих молебен. Здесь невозможно не привести краткий фрагмент неповторимой поэтической прозы Шаламова (отрывок из письма к О. Ивинской 1956 г.): «Я помню стены камеры ледяных лагерных карцеров, где раздетые до белья люди согревались в объятиях друг друга, сплетались почище лианы в грязный клубок около остывшей железной печки, трогая острые ребра, уже утратившие тепло, и читали „Лейтенанта Шмидта":

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм...»[2]

Шаламов подводит к выводу, что слова, казалось бы, лишенные смысла, но завораживающие своим звуковым подбором и ощущением внутренней тайны (поэтические слова) могут обладать огромным духовным воздействием и оказывать людям не достигаемую никакими иными средствами нравственную поддержку.

[1] *ВШ7.* Т. 6. С. 15.
[2] Там же. С. 213.

Главное условие этого — вера в благородство поэта, в его неподкупную совесть. Именно это условие в конце концов и определяет этическую силу поэзии — основополагающую для нее, о чем Шаламов не устает повторять в письмах Пастернаку (опираясь и на его пример, и на собственное выстраданное убеждение): «Корень поэзии — в этике, и мне подчас даже кажется, что только хорошие люди могут писать настоящие большие стихи. Имеют право на это. Вернее, иначе: настоящие, большие стихи могут написать только хорошие люди»; «Задача поэзии — это нравственное совершенствование человека — та, та самая задача, которая стоит в программе всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий»[1].

Поэтическое исповедание веры Шаламова встретило со стороны Пастернака полное понимание и солидарность. Впоследствии Шаламов писал: «Совпадение взглядов было удивительным»[2]. И хотя он никогда не забывал, что они были людьми разных поколений и несовместимого жизненного опыта («Я — практик, эмпирик. Пастернак — книжник»[3]), общность взглядов поэта-лагерника и поэта, стоящего на высшей ступени мировой культуры, говорит о том, что оба они взросли, в сущности, на одной почве и на одной традиции — завещанного веками высокого, рыцарско-романтического отношения к поэзии, которое продолжало быть действенным и жизнетворным в России в середине XX в. и вселяло веру в сохранение такого отношения в будущем[4]...

Шаламов посвятил Пастернаку за свою жизнь около пятнадцати стихотворений (целый ряд их в нашем издании публикуется впервые), что говорит само за себя. При этом нельзя не вспомнить афористического высказывания Шаламова: «Лучшее, что есть в русской поэзии — это поздний Пушкин и ранний Пастернак»[5]. Кажется парадоксальным, что вровень с поздним Пушкиным (олицетворением высшей поэтической гармонии и мудрости)

---

[1] *ВШ7.* Т. 6. С. 22, 25.
[2] *ВШ7.* Т. 4. С. 589.
[3] Там же.
[4] Нельзя не заметить, сколь разительно отличаются взгляды Шаламова на поэзию, развивавшиеся в переписке с Пастернаком в 1950-е гг., от его поздних, часто цитируемых пессимистических суждений о литературе в целом (например: «Я не верю в литературу. Не верю в ее возможности по исправлению человека...» — *ВШ7.* Т. 5. С. 351). Очевидно, что эти суждения нельзя абсолютизировать хотя бы потому, что они касаются скорее прозы, чем поэзии. О будущем поэзии Шаламов всегда высказывался гораздо более оптимистично (например: «Космос поэзии — это ее точность. Искания здесь и находки — бесконечны, как жизнь» — *ВШ7.* Т. 5. С. 14), что еще раз подчеркивает первородность поэтического начала в творчестве и самой сущности Шаламова.
[5] *ВШ7.* Т. 5. С. 303.

поставлен молодой Пастернак поры «Поверх барьеров» и «Сестры моей — жизни» (олицетворение поэтической дерзости и новизны XX в.). Но эта мысль, с одной стороны, оттеняет достаточно прохладное отношение Шаламова к позднему периоду творчества Пастарнака, с его неоправданным, на взгляд Шаламова, «опрощением», с другой — подчеркивает его симпатии к модернистской линии русской поэзии. В связи с этим есть повод внести ясность и в вопрос о стилевом влиянии Пастернака на Шаламова.

Лишь по отношению к своим ранним утраченным стихам 1930-х гг. Шаламов признавался, что они испытали воздействие Пастернака. Некоторые следы этого воздействия можно обнаружить также в первых колымских стихах, созданных в 1949–1950 гг. на ключе Дусканья и посланных любимому поэту. Последующее же творчество Шаламова, начиная со сборника «Синяя тетрадь», названного самим Пастернаком «самобытным», не содержит заметных признаков всегда узнаваемого поэтического почерка Пастернака — и ритмического, и метафорического. Забегая вперед, скажем, что Шаламов твердо следовал двум принципам: «Устраняется, выжигается огнем всё, что может читателю напомнить стихи другого поэта»; «я не вижу возможности усложнять свои стихи»[1]. Отсюда отказ от излишней метафоричности, тем более столь сгущенной, как у Пастернака или у О. Мандельштама (в связи с чем он решительно и с сарказмом отмежевывался от принадлежности к «мандельштамистам» и «пастернакистам»[2]). Однако, несмотря ни на что, за Шаламовым долгое время тянулась — и тянется! — репутация едва ли не эпигона Пастернака, и некоторых эпизодов, связанных с этим, придется коснуться, поскольку они имеют важное историко-литературное значение.

Один подобный случай анекдотического характера, относящийся еще к концу 1920-х гг., привел в воспоминаниях сам Шаламов: он принес в редакцию одного из журналов свое простодушное стихотворение «Игрою детской увлеченный...» и получил решительный отказ литконсультанта с безапелляционно-абсурдистским приговором: «Возьмите эти пастернаковские стихи. Вся Россия пишет под Пастернака. И вы тоже...»[3]

---

[1] *ВШ7.* Т. 5. С. 106, 298, с добавлением: «Мне кажется, усложнение будет погремушкой для моей темы, слишком важной, чтобы разменять ее на украшения. Звуковая опора моих стихов надежна».

[2] Шаламов признавал лишь некоторое интонационное влияние Пастернака на свои стихи, но от подобных влияний (как правило, невольных, подсознательных), по его мнению, не свободен ни один поэт. См. статью «Во власти чужой интонации» (*ВШ7.* Т. 5. С. 31). Немало таких влияний (например, со стороны И. Анненского, И. Северянина, Н. Тихонова и даже П. Орешина) он находил и у Пастернака, и огромное множество — у Е. Евтушенко и А. Вознесенского.

[3] Подробнее об этом эпизоде см. примеч. к стихотворению «Игрою детской увлеченный» (№ 1089). Сакраментальность фразы: «Вся

Куда более серьезная история произошла в начале 1960-х гг. в журнале «Новый мир». О ней поведал в своей книге «Бодался теленок с дубом» А. Солженицын. По его словам, в декабре 1962 г. он предложил Твардовскому напечатать в журнале переданные ему Шаламовым стихи «Из колымских тетрадей», но Твардовский их отверг, поскольку посчитал, что они «слишком пастернаковские»[1]. К сожалению, верить целиком в эту историю сложно, так как сам перечень стихов, приводимый Солженицыным (по его словам, в подборке были «Гомер», «Аввакум в Пустозерске» и еще около двадцати стихотворений, в том числе «В часы ночные, ледяные...», «Как Архимед...», «Похороны»), не давал никакого основания говорить о влиянии Пастернака (например, кто бы нашел таковое в шаламовском «Аввакуме»!). Как можно предполагать, слова Твардовского («слишком пастернаковские») были не столько результатом прочтения стихов (вероятно, крайне беглого), сколько следствием его осведомленности о былых тесных связях Шаламова с Пастернаком. Попутно заметим: большое сомнение вызывают и слова Солженицына о том, будто Твардовский «написал Шаламову, что стихи „Из колымских тетрадей“ ему не нравятся решительно, это — не та поэзия, которая могла бы тронуть сердце нашего читателя»[2].

Россия пишет под Пастернака» — ярко раскрывает типичные штампованные умонастроения литературной среды эпохи 1920–1930-х гг. (причем вплоть до высших административных рангов). Апофеозом в этом смысле можно считать отзыв в 1936 г. писателя, члена правления СП СССР П. Павленко о стихах О. Мандельштама: «Язык стихов сложен, темен и *пахнет Пастернаком* (курсив наш. — *В. Е.*)». См.: *Нерлер П.* Слово и «дело» Осипа Мандельштама. М., 2010. С. 98. В известном смысле перекликается с этими штампами и приводимый далее отзыв А. Твардовского о стихах Шаламова (в пересказе А. Солженицына).

[1] *Солженицын А.* Бодался теленок с дубом // Новый мир. 1991. № 6. С. 39.

[2] Подробнее об этой истории см.: *Есипов В.* Варлам Шаламов и его современники. Вологда, 2007. С. 71–74. Невозможно поверить в то, что Твардовский, с его нравственной чуткостью, стал бы писать какому-либо серьезному поэту с лагерной биографией (абстрагируясь от Шаламова) в столь неделикатной форме: «Это — не та поэзия, которая могла бы тронуть сердце нашего читателя». Стоит заметить, что никаких подобных писем от Твардовского в архиве Шаламова нет. Как известно, книга А. Солженицына «Бодался теленок с дубом» в целом отличается крайней субъективностью и большими фактическими неточностями. В качестве еще одного яркого примера фантазийности писателя можно привести его много раз цитировавшуюся фразу: «Варлам Шаламов раскрыл листочки по самой весне: уже XX съезду он поверил и пустил свои стихи первыми ранними самиздатскими тропами уже тогда. Я прочел их летом 1956 года и задрожал: вот он, брат! из тайных братьев...» (Новый мир. 1991. № 6.

К сожалению, из-за этих или иных недоразумений Шаламову ни разу не удалось напечататься в «Новом мире», что стало серьезной травмой для него, тем более что он почти четыре года (1959–1962) работал внештатным внутренним рецензентом этого журнала, отвечая на рукописи самодеятельных авторов, и потому считал себя близким редакции. Но там его поддерживали только А. Кондратович и Л. Левицкий. Последний сумел опубликовать в журнале две небольшие доброжелательные рецензии на первые сборники Шаламова «Огниво» и «Шелест листьев» (что, кстати, не могло пройти без санкции Твардовского и потому опровергает факт его «отвержения» стихов Шаламова, о котором упомянуто выше). Но у самого Шаламова осталась глубокая обида на Твардовского, тем более, что он считал автора «Василия Теркина» и наиболее ценимой им поэмы «Дом у дороги» «единственным из официально признанных безусловным и сильным поэтом»[1]. Впрочем, Шаламов острокритически оценивал «бедный и бледный» поэтический отдел «Нового мира», связывая эту «бедность» с позицией Твардовского, пытающегося, по его мнению, «настаивать на „генерализации“ некрасовских традиций сейчас»[2].

4

Пожалуй, самой счастливой для Шаламова была публикация в пятом номере «Знамени» за 1957 г. — она стала первой в его жизни и обошлась практически без купюр. За это он был благодарен своей старой знакомой еще по 1930-м гг. Людмиле Скорино — именно она, член редколлегии журнала, известный в ту пору официозный критик, проявила совсем не казенную чуткость к вернувшемуся с Колымы Шаламову. Выход подборки из пяти стихотворений «Стихи о Севере» окрылил Шаламова, и он надеялся, что издание поэтической книжки не заставит себя долго ждать. Ведь к тому времени, начиная с 1949 г., он написал огромное количество стихотворений — свыше четырехсот! — объединив их в книгу

С. 6). Здесь явный домысел, и он опровергается простыми фактами: до осени 1956 г. Шаламов оставался не реабилитированным, за ним велась слежка, и любые «тайные тропы» с распространением своих стихов в самиздате были для него равносильны самоубийству; до переезда в Москву той же осенью у него не было возможности перепечатывать свои стихи на машинке; в биографии А. Солженицына зафиксирован лишь краткий эпизод его посещения Москвы проездом в конце июня 1956 г., и возможность его знакомства со стихами Шаламова в эти дни абсолютно невероятна. Следовательно, Солженицын произвольно сдвинул время своего первого прочтения стихов Шаламова (1962 г.) на шесть лет назад — вероятно, ради красивой метафоры «тайного брата»...

[1] *ВШ7*. Т. 6. С. 138.

[2] *ВШ7*. Т. 5. С. 84.

«Колымские тетради». Но на публикацию такой большой и откровенной книги (как и «Колымских рассказов») в то время рассчитывать было весьма сложно, и он готов был печатать стихи хотя бы малыми частями.

В архиве издательства «Советский писатель» сохранились некоторые любопытные материалы о цензурной истории первого сборника Шаламова «Огниво» (1961), прежде всего внутренняя рецензия поэта Виктора Бокова. Она датирована 18 сентября 1957 г., что дает возможность судить, насколько быстро после майской публикации в «Знамени» Шаламов подготовил рукопись. Поначалу она имела другое название — «Лиловый мед», по одноименному стихотворению из «Колымских тетрадей». Но в итоге и авторское название сборника, и само стихотворение, и многие другие были отвергнуты издательством, и решающую роль здесь сыграл, несомненно, В. Боков, который написал отрицательную рецензию. Это было отчасти неудивительно, так как эстетика самого Бокова, представителя народной, фольклорно-песенной традиции в поэзии, решительно расходилась с эстетикой Шаламова. Недаром рецензент находил во многих стихах Шаламова «литературщину», а также «натурализм». Но самый потрясающий (по простодушию или лицемерию?) фрагмент рецензии звучал так:

«Не стоит печатать стихи, в которых есть намеки на беды биографии:

И не забыть мне никогда
Тот голубой квадрат,
Куда взошла моя звезда
Лишений и утрат.

Или:

Пусть на той оленьей тропке
Откровеньем наших бед
Остается этот робкий
Человечий след.

Или:

Когда в смятеньи малодушном
Я к страшной зоне подойду.

Я в данном случае не стою за запрет темы, она не стала главным содержанием стихов, не зазвучала во всю полноту гражданских чувств, а стала намеком на затаенные обиды, а об этом нельзя говорить вполголоса...»[1]

---

[1] *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2120. Л. 4. Благодарю за помощь в поиске этих материалов С. М. Соловьева. Первая приведенная В. Боковым строфа — видоизмененный вариант строфы из колымской баллады «Тунгусская девушка» (№ 1144), очевидно, предлагавшейся в этот

Трудно понять, откуда у В. Бокова, тоже недавно реабилитированного сидельца «зоны», взялся этот менторско-ортодоксальный тон. Он особенно удивителен для читателей, знающих, что популярный поэт-песенник на протяжении всей жизни всячески обходил факт своего пребывания в Сиблаге в 1942–1947 гг. и решился опубликовать стихи, связанные с этой темой, лишь в конце 1990-х гг.[1] Во всяком случае, мы имеем дело с уникальным примером, когда один поэт-лагерник стал бдительным и суровым цензором другого.

Эта рецензия, в сущности, и привела к отсрочке издания первой книжки Шаламова. Такого поворота событий тот никак не ожидал, и разочарования от первого столкновения с «оттепельной» издательской реальностью, несомненно, сыграли свою роль в резком ухудшении его здоровья: 19 ноября того же года с ним случился первый приступ болезни Меньера (описанный позднее в рассказе «Припадок»), после чего он попал в Институт неврологии, затем в Боткинскую больницу, был признан инвалидом, стремительно начал глохнуть и прекратил начавшуюся работу в журнале «Москва».

Крохотная инвалидная пенсия в 260 рублей (после деноминации 1961 г. — 26 рублей) неотвратимо поставила вопрос о выживании и, соответственно, о продолжении борьбы за первую книжку. Необходимость ее переработки Шаламову была ясна, ибо стало понятно, что никакие колымские стихи из дневниковой лирики через издательство не пройдут. Об этом же говорили и отказы из журналов. Их лейтмотивом были упреки автору в отсутствии у него основополагающей темы социалистического реализма — темы созидательного труда. («Из стихов Шаламова мне понравились лишь „Ручей" да „Осенний вечер". Их можно было бы напечатать при наличии стихов на темы труда», — гласил один из отзывов[2]).

Как быть поэту, который на основании своего колымского опыта пришел к радикальному убеждению, что «физический труд — это проклятие людей»[3]? Воспевать «дело чести, доблести и геройства», о котором было написано на воротах лагерей?! Шаламов уже «воспел» эту тему в стихотворении, читанном Б. Пастернаку в 1956 г. в Переделкине:

Я много лет дробил каменья
Не гневным ямбом, а кайлом...
(«О песне», № 355; 1956).

сборник. Во втором случае В. Боков приводит строки стихотворения «Олений водопой» (№ 537), в третьем — «Меня застрелят на границе...» (№ 422; при этом слово «зона» в нем имеет явно не лагерный смысл, так напугавший В. Бокова).

[1] См.: *Боков В. Ф.* Сибирское сидение // Москва. 1999. № 9.

[2] *ВШ7.* Т. 7. С. 355. Подпись автора отзыва неразборчива.

[3] *ВШ7.* Т. 5. С. 261.

Казалось бы, невозможно написать о том же как-либо «цензурно», «проходимо», не отступая при этом от своего лица. Но поэзия на то и поэзия, что она — «всеобщий язык», по шаламовскому определению, и позволяет сказать все, что думаешь — прибегая к тонкому иносказанию, к многозначности. Можно уверенно говорить, что Шаламов немало мучился над злосчастной обязательной «темой труда», находясь в больнице. Ибо именно в больничной тетради конца 1957 г. сохранились черновики и окончательный вариант известного стихотворения «Память» (№ 601), которое и стало его «пропуском» в мир официальной советской поэзии. Напомним его строки:

Если ты владел умело
Топором или пилой,
Остается в мышцах тела
Память радости былой.

То, что некогда зубрила
Осторожная рука,
Удержавшая зубило
Под ударом молотка,

Вновь почти без напряженья
Обретает каждый раз
Равновесие движенья
Без распоряженья глаз.

Это умное уменье,
Эти навыки труда
В нашем теле, без сомненья,
Затаились навсегда.

Сколько в жизни нашей смыто
Мощною рекой времен
Разноцветных пятен быта,
Добрых дел и злых имен.

Мозг не помнит, мозг не может,
Не старается сберечь
То, что знают мышцы, кожа,
Память пальцев, память плеч.

Эти точные движенья,
Позабытые давно, —
Как поток стихотворенья,
Что на память прочтено.

Новый, вовсе не лагерный, а реалистично-советский (можно сказать даже «рабоче-крестьянский») смысл стихотворения, на первый взгляд, очевиден, как очевидна и искренность поэта: он не восхваляет труд в угоду конъюнктуре, а говорит лишь о памяти, которую любая тяжелая работа оставляет в мышцах. И все-таки чуткий читатель уже тогда мог понять — исходя из биографии поэта и подтекста некоторых строк, — что автор имеет в виду прежде всего свой лагерный опыт. Например, «злые имена» явно намекают как минимум на Сталина и Берия, а «память пальцев, память плеч» — на неутихающую боль отмороженных и искореженных работой с лопатой и киркой рук и согнувшихся от долгого катания тачки в забое плеч. А еще более чуткому читателю интуиция могла подсказать, что «пилой» в первых строках легко заменяется на «кайлом» и, соответственно, «радость» на «горечь», что, вероятно, и подразумевалось автором.

Хотя и писал Шаламов в другом стихотворении того же периода:

Мои намеки слишком грубы
И аналогии — просты, —

в «Памяти» все оказалось и не грубо, и не просто. В целом это стихотворение можно рассматривать как художественно-игровое, движимое во многом «игрой» с цензорами (подобной той, к которой нередко прибегал Пушкин). И в этой «игре» Шаламов, несомненно, вышел победителем, благодаря своему поэтическому искусству. Недаром в автокомментарии к «Памяти» (см. примеч. к № 601) он писал, что считает это стихотворение «своим вкладом в русскую лирику, находкой в трактовке и художественном решении этой важнейшей человеческой темы, *острейшей темы нашего времени*» (курсив наш. — *В. Е.*). Это и подтверждает, что подспудно он имел в виду в своей строке «кайло» как лагерный атрибут — ведь общеупотребительная «пила», за исключением ассоциаций с лесоповалом, не столь явно говорит об «острейшей теме».

В больнице было написано и другое, еще более мирное стихотворение «Ода ковриге хлеба», тоже связанное с «социальным заказом» на тему труда. О том, с какими усилиями он стремился поначалу акцентировать эту тему и как отказался от нее, сняв три строфы, Шаламов рассказал в большом автокомментарии к стихотворению (см. примеч. к № 581), пояснив, что задумал сделать его многоплановым и аллегоричным, ставя перед собой и задачу звуковой инструментовки (ср. первую строку: «Накрой тряпьем творило»). Но для многих читателей, да и редакторов, так и осталось, наверное, загадкой, почему поэт, за плечами которого числился, казалось бы, только лагерь, мог с таким теплом и с таким пониманием дела (как будто крестьянским) изобразить процесс выпечки хлеба, начиная с приготовления опары. Отгадка в том, что

Шаламов прекрасно помнил этот процесс с вологодского детства, когда он постоянно крутился у печи, где его мама каждое утро, по заведенному отцом правилу, пекла свежий хлеб. (Оказавшись на больничной кровати, он часто вспоминал детство, о чем говорят стихотворения «Духовой оркестр», «Гиганты детских лет» и другие, родившиеся там же). Но в «Оде ковриге хлеба» тоже можно уловить своего рода лагерный мотив, ибо с таким страстным чувством воспеть рождение хлеба мог только много голодавший человек:

...Соленая, крутая,
Каленая в жаре,
Коврига золотая,
Подобная заре.

Неудивительно, что новые, «оптимистические» стихи Шаламова были моментально приняты и напечатаны в журнале «Москва», в мартовском номере 1958 г. При этом «Ода ковриге хлеба» и «Память» обрамляли подборку из пяти стихотворений, а внутри нее Шаламову удалось опубликовать откровенно «крамольное», но тоже аллегоричное стихотворение «Сосны срубленные», читая которое, нетрудно было догадаться, что поэт говорит не столько о соснах, сколько о людях...

Сборник «Огниво», таким образом, был спасен. В редакционном заключении отдела поэзии «Советского писателя» от 20 февраля 1960 г. с нескрываемым удовлетворением говорилось: «За это время поэт проделал большую работу над рукописью <...>. Самое главное то, что рукопись пополнилась новыми вещами — они расширили горизонт будущей книги, усилили ее общественное звучание. Это относится к таким, например, стихам, как „Ода ковриге хлеба", „Память", „Весна в Москве", „Сборщик лекарственных трав", „Черский". Они полны преклонения перед трудом человека, гордостью за его силу и восторгом перед творениями его рук...»[1].

Пожалуй, В. Фогельсон — а он был редактором всех пяти прижизненных сборников Шаламова — сильно «перебрал» в своем восторге, но это было связано с его доброжелательным отношением к «трудному» автору, а также, вероятно, со стремлением в наивыгоднейшем свете преподнести его стихи издательскому начальству. Однако редактор не обошелся без претензий: «Следует изменить композицию сборника — не все его разделы равноценны и равнозначимы, в частности, маленький второй раздел „Оттаявшие буквы", который следует еще раз пересмотреть и по составу, и по расположению его стихов в книге»[2].

[1] *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2120. Л. 6.
[2] Там же. Л. 7.

Никаких «Оттаявших букв» (вероятно, это были стихи из «Колымских тетрадей») в сборнике в итоге не оказалось, и окончательную его композицию определял, видимо, сам редактор. Об этом можно судить по довольно курьезному, явно не шаламовскому решению поместить во главу сборника стихотворение с «производственным» названием «Газосварка». На самом деле стихотворение «Гроза, как сварка кислородная...» у Шаламова не имело названия и являлось пейзажно-философским, о чем говорят имевшиеся в нем строфы:

...Земля хватает с неба лишнего
Во время гроз, во время бури,
И средь заоблачного, вышнего,
Средь замутившейся лазури

Она привыкла бредить ливнями
И откровеньем Иоанна,
Нравоучениями длинными,
Разоблачением обмана...

Но обе эти строфы в сборнике были сняты (очевидно, из-за «религиозных» образов «вышнего» и «откровенья Иоанна»), и в результате стихотворение превратилось в своего рода оду газосварщикам — строителям новой Москвы...

Подобные же купюры — по воле В. Фогельсона или других редакторов — были сделаны и в других стихотворениях: трех строф (в сравнении даже с опубликованным в «Знамени» текстом) лишился «Стланик», двух строф — «Сосны срубленные» и «Боярыня Морозова» (включая важнейшую последнюю строфу со словами: «Так вот и рождаются святые, / Ненавидя жарче, чем любя»), из «Камеи» было убрано ключевое двустишие, напоминавшее о Колыме: «В краю морозов и мужчин / И преждевременных морщин».

Негодование Шаламова по этому поводу лучше всего передают его слова о «редакторах-лесорубах», сделавших его стихи «стихами-инвалидами». Поэт был оскорблен и тем, что книжка, которую он ждал столько лет, имела тираж всего две тысячи экземпляров — такой тираж предусматривался в те годы лишь для молодых начинающих авторов, а ему было уже почти пятьдесят пять лет.

Смягчали ситуацию слова сочувствия и поддержки, прозвучавшие в одобрительных рецензиях Б. Слуцкого, Л. Левицкого и В. Приходько[1]. Надо заметить, что Б. Слуцкий получил книгу в дар

[1] *Слуцкий Б.* «Огниво высекает огонь» // Литературная газета. 1961. 5 окт.; *Левицкий Л.* (без названия, в разделе «Коротко о книгах») // Новый мир. 1961. № 12; *Приходько В.* «Характер мужественный и цельный» // Знамя. 1962. № 4. Кроме того, в газете «Литература и жизнь» (1961. 2 февраля) был опубликован положительный отклик Ф. Фоломина, но этот критик-догматик, видимо, не мог обходиться

от Шаламова по почте и тотчас откликнулся на нее восхищенными словами. Он полностью цитировал понравившуюся ему шаламовскую «Память» и тонким намеком расшифровывал для читателей ее подлинный смысл: «Помню, с какой печальной гордостью Н. А. Заболоцкий показывал мне чей-то строящийся в Тарусе дом и говорил: „А я ведь все строительные профессии знаю — и землекопом был, и каменщиком, и плотником...“». Слуцкий открыто обращался к читателям с «рекламным зазывом»: «Требуйте в книжных магазинах книгу Шаламова „Огниво“. Это хорошая книга. Требуйте! А когда в магазинах и библиотеках вам ответят отказом — требуйте у издательства доиздания этой и многих других недоизданных книг».

Авторитет Б. Слуцкого позволил ему сделать для Шаламова и другого рода рекламу — телевизионную. 16 мая 1962 г. он пригласил Шаламова на передачу ЦТ «Поэзия», где сам являлся ведущим. Передача была короткой, шла в дневное время, но ее видел, например, рязанский друг Шаламова Я. Гродзенский, которого накануне Шаламов оповестил лаконичным письмом: «Я рад, конечно, возможности выступить — от имени мертвых Колымы и Воркуты и живых, которые оттуда вернулись»[1]. Записи передачи не сохранилось, и судить о ней можно только по письму Шаламова Гродзенскому, написанному после выступления. Больше всего он был рад, что ему удалось прочесть свои стихи (в том числе «Камею») в полном, нецензурированном варианте...

Все это, совпавшее с новой волной десталинизации после XXII съезда КПСС (октябрь 1961 г.), по решению которого тело Сталина было вынесено из Мавзолея, вселяло в Шаламова надежду на публикацию не только колымских стихов, но и прозы. Еще в октябре 1961 г. он сдал в «Советский писатель» рукопись новой книги стихов «Шелест листьев», а в ноябре 1962 г. направил туда же первый сборник «Колымских рассказов». На стихи он получил положительные внутренние рецензии Е. Милькова и С. Трегуба, а в отношении рассказов мнения рецензентов разошлись. Один из них, писатель О. Волков, горячо настаивал на скорейшей публикации прозы Шаламова, ставя ее выше «нашумевшей», как он выражался, повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», другой, критик А. Дремов, писал в точном соответствии с тогдашними партийными установками: «Мы все помним, что Н. С. Хрущев предупреждал о ненужности увлечений „лагерной темой“, о необходимости подходить к ней с исключительной

без нотаций: «...Надо приникнуть к жизни, как к земле, освободиться от глухих чужих тонов». Телеграмму Шаламову (искреннюю ли?) прислал и В. Боков: «Спасибо за чудесную книгу. Читаю со слезами восторга. Собирайте новую, поддержу...»

[1] *ВШ7.* Т. 6. С. 326.

ответственностью и глубиной, о том, что такие произведения не должны убивать веру в человека, в его силы и возможности... Если Солженицын старался и на лагерном материале провести мысль о несгибаемости настоящего человека даже и в самых тяжких условиях, то Шаламов, наоборот, всем содержанием рассказов говорит о неотвратимости падения...». Итоговый вердикт рассказам вынес зам. зав. отделом русской советской прозы В. Петелин в ответе Шаламову: «На наш взгляд, герои Ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична... Сборник „Колымские рассказы" возвращаем»[1].

Очевидно, что отделы прозы и поэзии «Советского писателя» сообщались между собой, что явствует из заключения редакции русской советской поэзии о сборнике «Шелест листьев» от 31 января 1963 г.: «...Не все стихи равноценны, это отмечали рецензенты и редакция. В частности, цикл стихов, названный автором „Из колымских тетрадей" (25 стихотворений), не представляется редакции таким, который обогащал бы его книгу и поэтически, и с точки зрения ее гражданского звучания. Стихи этого цикла не отмечены печатью того большого таланта, которым радует читателя В. Шаламов в других своих стихах, — они преимущественно информационны, нередко описательны — и только. В. Шаламов не „смакует" „колымские ужасы", но и не привносит в т. н. „лагерную" тему ничего того, что звучало бы самобытно и значительно после выхода в свет повести Солженицына и ряда произведений других авторов»[2].

Любопытно, какие же стихи из «Колымских тетрадей» редакция сочла «преимущественно информационными» и «недостаточно самобытными»? Их списка в архиве издательства нет, но в фонде Б. Слуцкого сохранилась подаренная ему Шаламовым в ноябре 1962 г. машинопись «Из колымских тетрадей» — очевидно, отчасти совпадающая с той, что была представлена в издательство. В нее входят: «Я много лет дробил каменья...», «Инструмент», «Так вот и хожу...», «Тост за речку Аян-Урях», «Как Архимед...», «В часы ночные, ледяные...», «Похороны» и многие другие, ныне известные образцы шаламовской лирики. Несомненно, они не были допущены в печать, потому что содержали «ненужную информацию» о лагерях и горьких чувствах автора. Эта жесткая установка на удаление всего, что напоминало бы о Колыме, прослеживается во всей книге. Например, в стихотворении «Бухта Нагаева» было изменено название на абстрактную «Бухту» и удалена последняя, ключевая строфа:

---

[1] Подробнее: *ЖЗЛ*. С. 254–255. См. также: *Соловьев С.* Олег Волков — первый рецензент «Колымских рассказов» // Знамя. 2015. № 2.
[2] *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2120. Л. 21.

...И по спине — холодный пот,
В подножье гор гнездятся тучи.
Мы море переходим вброд
Вдоль проволоки колючей.

Относительно более полно Шаламов-поэт был представлен в следующем сборнике, «Дорога и судьба» (1967). Этот сборник был лучшим и по оформлению: кроме художественных заставок к каждому стихотворению издательство пошло даже на то, чтобы снабдить книжку в мягком переплете суперобложкой с портретом автора (в зимней шапке, напоминавшей о колымской биографии). Но самой важной, без сомнения, была публикация здесь, хотя и в сокращении, маленькой поэмы «Аввакум в Пустозерске» (№ 263), написанной еще в 1955 г. Право, трудно было рассчитывать на то, чтобы издательство напечатало эту поэму, состоявшую из 37 строф, целиком, но и в оставленных 26 строфах был сохранен весь дух поэмы. Самое парадоксальное, что осталась нетронутой строфа:

Наш спор о свободе,
О праве дышать,
О воле господней
Вязать и решать.

Возможно, редакторы останавливали свое бдительное око на словах о свободе, но в историческом контексте поэмы они звучали совершенно органично. Публикация пришлась на горячее время после процесса А. Синявского и Ю. Даниэля (1966), который резко актуализировал тему свободы и тему о праве «вязать и решать». К счастью, проблема «неконтролируемого подтекста» в идеологической цензуре стала ставиться позднее, и можно сказать, что Шаламову с его «Аввакумом» сильно повезло, ибо в сборнике «Московские облака» (1972) эта поэма уже вряд ли бы прошла.

Весьма знаменательно, что не заострял своего внимания на строках о свободе в «Аввакуме» — очевидно, в силу политической деликатности — и Г. Адамович, автор первой и единственной зарубежной рецензии на стихи Шаламова, опубликованной в августе 1967 г. в парижской «Русской мысли». Эта рецензия была неожиданной и очень лестной для Шаламова, поскольку ее написал критик и поэт близкой ему культуры «серебряного века». Рецензия называлась «Стихи автора „Колымских рассказов“», и Г. Адамович кратко, но в позитивном тоне высказал свои впечатления от рассказов, опубликованных в нью-йоркском «Новом журнале», корректно заметив, что они напечатаны там «без ведома автора». На его взгляд, они «страшнее и ужаснее, чем прогремевший на весь свет „Один день Ивана Денисовича“». И стихи Шаламова критик-

поэт оценил очень высоко, находя, что они «умны, суховаты», «духовно своеобразны и значительны, не похожи на большинство теперешних стихов, в особенности стихов советских». Г. Адамович первым попытался отыскать дальние истоки необычной для нового времени поэтики Шаламова и отчасти был близок к истине: «Его учитель и по-видимому любимый поэт — Баратынский, от которого он перенял стремление по мере возможности сочетать чувство с мыслью»[1].

Любопытно, что о «суховатости» стихов Шаламова (при общей высокой их оценке) в 1968 г. говорили в «Литературной газете» отечественные критики О. Михайлов и С. Лесневский, при этом последний обращал особое внимание на «чувствительную дрожь» звуков, «бьющих изнутри». Это наблюдение понравилось Шаламову, и он тогда же написал И. Сиротинской: «Это очень грамотный критик, который очень хорошо понимает, что стихи без звукового прищелкивания не появляются, не бывают настоящими»[2].

Самым многострадальным оказался четвертый сборник, «Московские облака» (1972). В его рукописи было 134 стихотворения, а в сборник вошло лишь 94. Отбор производился издательством не только с учетом заданного стандартного объема (два авторских листа или 1500 строк), но прежде всего с учетом содержания. Уже на предварительной стадии, в 1970 г. редакцией были отвергнуты стихотворения «Инструмент», «Живопись», «Рассказано людям немного...», «Таруса», напечатанные ранее в журнале «Юность». Это напоминало абсурд, в связи с чем Шаламов заметил в своей записной книжке: «Контроль усилился многократно. <...> Просто 1970/71 год — не 1967»[3].

Причиной усиления цензуры стали, как известно, чехословацкие события 1968 г., повлекшие за собой в январе 1969 г. закрытое постановление секретариата ЦК КПСС о повышении ответственности руководителей печати за идейно-политический уровень публикуемых материалов. Действие этого постановления испытали на себе все издательства и журналы, но прежде всего — «трудные» авторы, подобные Шаламову. Для него ситуация резко усугубилась тем, что в 1970 г. его «Колымские рассказы» появились в двух номерах журнала «Грани», выпускавшегося в ФРГ известным своей одиозной

[1] Шаламов признавал Баратынского и Тютчева «вершинами русской поэзиии», ставя на первое место Тютчева. Однако своими учителями, как мы знаем, он считал И. Анненского и Б. Пастернака.

[2] *ВШ7.* Т. 6. С. 464.

[3] *ВШ7.* Т. 5. С. 313. Очевидно, при отклонении стихотворения «Инструмент» для цензуры оказались неприемлемыми последние «пессимистические» строки: «...Что ведут к воронке ада, / упирающейся в лед». В других случаях редакторы искали политические намеки в виде «неконтролируемого подтекста»: например, «Таруса», видимо, вызывала ассоциации с известным сборником «Тарусские страницы».

политической репутацией издательством «Посев». Разумеется, сам Шаламов к этому никакого отношения не имел, но органами цензуры и КГБ он был сразу отнесен к «антисоветски настроенным авторам»[1].

Шаламов, по его признанию, узнал о главной причине долгой задержки сборника достаточно поздно, лишь в январе 1972 г., от В. Фогельсона, который первым и заявил ему, что сборник может выйти только при условии публичного письма-заявления с осуждением западных публикаций. Как известно, подобные письма-заявления в аналогичных ситуациях достаточно широко практиковались авторами из СССР (к ним прибегали, если говорить только о поэтах, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Окуджава, А. Твардовский), и письмо В. Шаламова, напечатанное в «Литературной газете» 23 февраля 1972 г., отличала лишь более резкая и категоричная форма, которая вызвала далеко не адекватную, слишком пристрастную реакцию в литературных кругах как на Западе, так и в СССР[2]. Результатом письма Шаламова стал форсированный выпуск сборника «Московские облака» (сдан в набор 17 апреля, подписан к печати 29 мая), однако при этом его еще раз «почистила» редакция: было снято дополнительно пять стихотворений. Вопреки издательской аннотации, гласившей, что «в сборнике представлены стихи последних лет», он более чем наполовину состоял из пейзажно-философской лирики 1950-х гг., при этом в нем не осталось ни одного стихотворения, связанного с Москвой, что явно противоречило названию, имевшему, стоит заметить, сугубо личные авторские коннотации[3].

«Израненная книга» — с основанием называл «Московские облака» Шаламов. Но с еще большим основанием можно говорить,

---

[1] Об этом говорилось в докладной записке начальника Главлита П. Романова в ЦК КПСС в 1970 г.: «Буржуазные обозреватели всячески раздувают вопрос о так называемом литературном подполье в СССР, пытаясь внушить своим читателя мысль о „подлинной талантливости“ таких его представителей, как Н. Горбаневская, В. Шаламов, В. Буковский и ряд других антисоветски настроенных авторов» (История советской политической цензуры: Документы и комментарии / Сост. Т. М. Горяева. М., 1997. С. 583).

[2] См.: *Шаламов В.* О письме в «Литературную газету» // *Шсб-1*. С. 104; *ВШ7*. Т. 7. С. 366; подробнее: *ЖЗЛ*. С. 298–304.

[3] Об этом свидетельствует запись Шаламова в тетради 1970 г.: «Подписал обложку к „Московским облакам“. Обложка строго реалистична. Ни одному художнику не пришло в голову толковать название „Московские облака“ аллегорически, символически, хотя именно такой была задача автора» (*ВШ7* Т. 5. С. 306). Как можно полагать, аллегория была связана с трудностями вживания Шаламова в литературную жизнь столицы, с ощущением себя как «пасынка Москвы» (ср. стихотворение «Город Пушкина, город Блока...», № 739).

что всеми перипетиями вокруг издания сборника был изранен, без кавычек, сам автор. После письма в «Литературную газету» от него отвернулись почти все прежние либерально настроенные литературные знакомые, не знавшие истинной подоплеки письма. Но и тех, кто знал о ней, с трудом могла убедить дилемма: книга стихов или «недостойное», на их взгляд, заявление. Для самого же Шаламова здесь не существовало никакого противоречия, ибо его письмо было совершенно искренним, а поставленная на карту судьба долгожданной книги — с мрачной перспективой отказа в последней надежде — публикации хоть малой толики стихов в родной стране, которой он оставался глубоко предан, — представляла настоящую трагедию. Поэтому вряд ли можно увидеть насилие над собой как в письме в «Литературную газету», так и в дневниковом стихотворении об итогах крайне трудного для него 1972 г. (№ 947):

Живу в небывалой удаче —
В один световой год
Решил все проблемы, задачи,
Задачи, где время не ждет.
<...>
Так медленно тучи отходят,
Отводит их чья-то рука,
На край горизонта выходят
Московские облака.

Следует заметить, что самый трудный сборник Шаламова почти не вызвал откликов. Единственную, но необычайно чуткую журнальную рецензию написала И. Ростовцева: «Авторский голос, живое тепло волненья, предшествующее появлению стихотворения на свет, столь сдержанны и запрятаны подчас столь глубоко, что поначалу лишь разглядываешь мастерски выполненный „чертеж" мира, не замечая, как по-человечески — значительно и красиво освещен он изнутри...»[1].

На волне самоощущения итогов 1972 г. как «удачи» у Шаламова, очевидно, созрел и замысел последнего, как он догадывался по состоянию своего здоровья, сборника, которому дал название «Точка кипения» — метафора высшего накала чувств и высшей откровенности. Он хотел сделать сборник своим «избранным» и предпослать ему в виде вступления свою статью «Поэзия — всеобщий язык». Но из этих идей ничего не вышло. Редакцией вновь был отсеен целый ряд новых стихотворений (в том числе таких острых, как «Здесь в моей пробирке влага / Моего архипелага», полемизировавшего

[1] Москва. 1973. № 9. Ср. также рецензию И. Ростовцевой (По берегу самопознания // Мир Севера. 2011. № 5–6. С. 74–76) на кн.: *Шаламов В.* Лиловый мед: Стихотворения. На русском и болгарском языках / Сост. и перевод В. Стоянова. Варна, 2010.

с А. Солженицыным), и их место опять заняла лирика пятнадцатилетней давности. Несмотря на то что Шаламов к тому времени вступил в Союз писателей и выпуск «Точки кипения» был приурочен к его 70-летию (в издательской аннотации он был назван «представителем старшего поколения советских поэтов»), книжка не удостоилось твердого переплета и вышла относительно скромным тиражом 20 тыс. экземпляров — в то время как другому представителю старшего поколения, С. Щипачеву, тогда же к юбилею было выпущено трехтомное собрание сочинений тиражом 75 тыс. экземпляров. Тем самым Шаламову недвусмысленно указывалось на его реальное место в иерархии советской поэзии.

Получив летом 1977 г. большое число авторских экземпляров, Шаламов щедро раздаривал книжку — и по почте, и при случайных встречах со знакомыми, и специально приходя с большим трудом в Центральный дом литераторов[1]. Но времена изменились: получая от Шаламова книги, поэты (в отличие от Б. Слуцкого в 1961 г.) не стремились как-либо откликнуться на них. Единственная маленькая рецензия на «Точку кипения» вышла лишь в 1979 г. в ленинградском журнале «Звезда» (№ 2), где молодая поэтесса Е. Дунаевская необычайно точно определила основную художественную особенность стихов Шаламова — «тихое новаторство». Если бы автор смог узнать о такой оценке своих многолетних трудов, он был бы бесконечно счастлив. Но он уже был тяжело и непоправимо болен, оказавшись вскоре в своем последнем приюте — в доме для престарелых и инвалидов...

5

Что же в наибольшей степени характеризует своеобразие Шаламова-поэта и определяет его вклад в русскую лирику XX в.? Вопрос очень непростой и до сих пор остающийся во многом неразрешенным. Безусловно, слишком примитивен и явно несправедлив взгляд на поэзию Шаламова как на сугубо «лагерную». Столь узкий тематический и биографический подход не оправдывает себя даже по отношению к «Колымским тетрадям», ибо их лирическое содержание выходит далеко за рамки лагерной темы. Как поэт Шаламов жил и действовал в пространстве почти тридцати лет советской истории, наполненных самыми разнообразными событиями, в том числе теми, что вызывали у него не только боль и гнев, но и искренний оптимизм (например, победы СССР в космосе), и разочарования (от свернутой «оттепели»), и новые тревоги (от разгоревшейся «холодной войны», коснувшейся его своим жестоким крылом), и все

[1] Такой факт зафиксирован в воспоминаниях К. Ваншенкина (см.: *Ваншенкин К.* В мое время // http://fanread.ru/book/6096798/?page=23). Лишь десять лет спустя поэт смог опубликовать стихотворение, посвященное Шаламову (Юность. 1989. № 12).

это нашло отражение в лирике Шаламова 1960–1970-х гг., особенно в ее непубликовавшейся части. Самое же важное: во многих своих «потаенных» стихах (как и в прозе) Шаламов затрагивал проблемы, далеко выходящие за круг текущей злободневности — проблемы философские, бытийные, во взгляде на которые отчетливее всего проявлялось его трагическое мироощущение.

Как нам представляется, поэзию Шаламова, с ее преобладающе минорным, сурово-сосредоточенным содержанием и строем (с малыми исключениями), следует рассматривать не в «лагерном», а в самом широком общечеловеческом смысле — как дневник страданий и размышлений, дневник мужества и борьбы поэта, которому выпали тяжелейшие испытания XX в. Аналогов его поэтическому творчеству — как по масштабам, так и по духовному бесстрашию — в литературе советского периода нет[1]. Ассоциации здесь уводят скорее в глубокое прошлое — к библейской Книге Иова и к «Скорбным элегиям» Овидия. В том и другом (и в третьем, шаламовском) случае речь идет об одной и той же коллизии — страданиях невинного человека, обреченного злой волей судьбы на долгие жестокие муки и оставившего за собой право лишь *роптать*, то есть сопротивляться Словом. При этом очевидно, что с ветхозаветной притчей о бедном Иове судьба Шаламова ассоциируется гораздо ближе (с Овидием его связывает скорее только звание поэта[2]), поскольку библейские мотивы в их разнообразной

[1] Замечание Г. Адамовича о том, что стихи Шаламова «не похожи на большинство современных стихов, в особенности стихов советских», глубоко верно, и оно подчеркивает прежде всего гораздо более высокий уровень поэтической (и не только поэтической) культуры Шаламова. Это нагляднее всего видно при сопоставлении его с советскими поэтами, тоже прошедшими лагерь и получившими официальное признание, например, с Б. Ручьевым и Я. Смеляковым. Типичными для Б. Ручьева являются строки из его цикла «Красное солнышко», написанного на Севере: «У края родины, в безвестье, / Живя по-воински — в строю, / Мы признавали делом чести / Работу черную свою...» (за этот цикл и за поэму «Любава» Б. Ручьев в 1967 г. был удостоен Государственной премии РСФСР). Я. Смеляков в свою книгу «День России» (Государственная премия СССР 1968 г.) счел возможным включить лишь шутливое стихотворение о лагере: «До Двадцатого до съезда / Жили мы по простоте — / Безо всякого отъезда / В дальнем городе Инте» («Воробышек»). Более близка к Шаламову лагерная лирика А. Жигулина, однако ее содержание и поэтика во многом иные. См.: *Никольсон М.* Шаламов в споре о лагерной поэзии // IV Международные Шаламовские чтения. Москва, 18–19 июня 1997 г.: Тезисы докладов и сообщений. М., 1997. С. 104–113. Несомненное родство по судьбе и по стихам у Шаламова только с А. Барковой и Ю. Домбровским, но их поэтическое наследие невелико.

[2] Весьма показательно, что никаких реминисценций из Овидия (как и из Книги Иова) в стихах Шаламова нет, и причина этого — в его

и многоплановой семантике составляют одну из существеннейших черт философской линии «Колымских тетрадей».

Следует заметить, что эти мотивы и образы (с упоминанием Христа и Бога) чаще всего встречаются в стихах 1949–1953 гг., написанных на Севере. Стоит ли удивляться тому, что у Шаламова, едва начавшего «оттаивать» после лагерной «вечной мерзлоты» (отсчет идет от времени его фельдшерской работы на таежном ключе Дусканья, где он жил в избушке медпункта, оставаясь заключенным, но впервые получив, по его выражению, «право на одиночество»), прежде всего стали всплывать воспоминания о светлой поре детства, а вместе с ними — и все святое, чему его учила мать и что он сам запомнил из посещений церковных служб и первой прочитанной в жизни книги? И о чем ином думать поэту, выходя полярными «стосуточными» ночами на воздух, как не о том, о чем думал Лермонтов, «выходя один на дорогу»?..

Шепот звезд в ночи глубокой,
Шорох воздуха в мороз
Откровенно и жестоко
Доводил меня до слез, —

писал позже Шаламов, и мы можем только догадываться, чем были вызваны его слезы: горечью от растоптанной жизни, отчаянием от бессилия что-либо в ней поправить или просто оттого, что ты — наедине с этими вечно мерцающими звездами?..

Но первая колымская лирика Шаламова очень далека от созерцательности. Начальным в своих самодельных тетрадях, сшитых из грубой оберточной бумаги (другой не было) и посланных в 1952 г. Б. Пастернаку, он сделал большое стихотворение, называвшееся крайне серьезно — «Трактат о вере». Как многое другое, написанное на Дусканье, стихотворение было далеко от совершенства, декларативно, но его венчали знаменательные строки:

Уча законам всех религий,
Тайга, однако ж, неспроста
Одной лишь не раскрыла книги:
Евангелия Христа.

Очевидно, что под «тайгой» Шаламов имеет в виду Колыму и со всей прямотой утверждает, что на ней, в ее лагерях, попраны все христианские заповеди. При этом сама по себе апелляция к Евангелию чрезвычайно многозначительна. Она ярко свидетельствует о

полной поглощенности *своей,* не имевшей аналогов, трагедией. По той же причине в его стихах нет и намека на какие-либо библейские или латинские стилизации (подобные «Tristia») — они выглядели бы кощунственными по отношению к материалу.

том, что у поэта, сына священника, после всего пережитого за колючей проволокой произошло своего рода «воскрешение» семейных «генов», и он не мог обойтись без обращения к тем вековым этическим ценностям, которые освящены христианской религией. Ее образы и символы много раз возникают в стихах самодельных тетрадей и в последующих стихах, вошедших в «Колымские тетради», и такой тематический поворот нельзя не признать закономерным для поэта, прошедшего поистине голгофский путь. Но значит ли это, что Шаламов вернулся к утраченной когда-то вере, и мы можем подвергнуть сомнению его известное признание (в «Четвертой Вологде»): «...Я горжусь, что не прибегал к его <Бога> помощи <...> на Колыме»[1]?

Никаких оснований для подобного сомнения и, соответственно, для вывода о некоем «богоискательстве» Шаламова в колымский период, как представляется, нет. Еще меньше оснований для утверждения, что «Колымские тетради» (в отличие от «Колымских рассказов») «пронизаны религиозным чувством»[2]. Подобные выводы делаются, как правило, из-за буквального толкования отдельных стихов (таких, как «Лицом к молящемуся миру...», № 259, с его последней строфой: «А я — я тут же на коленях, / Я с богом, кажется, мирюсь. / На мокрых каменных ступенях / Я о спасении молюсь», или недавно открытого в архиве стихотворения «тютчевской» темы «Silentium» с его кодой: «...Но на последнем встав пороге, / Устав и от правды, и от лжи, / Богу, и то немного, / Все-таки расскажи»), а также под влиянием высказываний Шаламова, особенно в его переписке с Б. Пастернаком, где он говорит о своем глубоком уважении к религии и о ее положительной роли в истории человечества (например, в связи с размышлением о фресках: «...Не кисть художника удерживает образы Бога на стенах, а то великое и сокровенное, чему служила и служит религия»[3]).

---

[1] *ВШ7.* Т. 4. С. 146.

[2] «Шаламовская поэзия, „Колымские тетради“ пронизаны религиозным чувством — факт общепризнанный и достаточно очевидный», — утверждал Е. Громов (*Громов Е.* Диалектика цельности // IV Международные Шаламовские чтения. Москва, 18–19 июня 1997 г.: Тезисы докладов и сообщений. М., 1997. С. 33). Подобное утверждение с указанием на его «очевидность» родилось, как представляется, во многом из-за того, что в изданиях «Колымских тетрадей», начиная с 1994 г., был произведен механический перевод всех, без исключения, случаев упоминания Бога в стихах Шаламова (а их множество) на написание по новым правилам орфографии с большой буквы, хотя в автографах и машинописях у автора преобладает маленькая буква, которую он лишь исходя из контекста — как, например, в поэме «Аввакум в Пустозерске» — заменяет на прописную. Подробнее см. преамбулу к комментариям в наст. изд.

[3] *ВШ7.* Т. 6. С. 136.

К этому же ряду можно добавить еще одно суждение: «Бог как необходимость, физическая потребность в минуты опасности»[1]. Оно показывает, что Шаламов вовсе не отрицал подобной иррациональной, инстинктивной потребности (характерно, что он называет ее не психологической, а физической!), возникающей в страшные минуты жизни даже у неверующих людей. В связи с этим вовсе не исключено, что и он сам иногда — в минуты невыносимых мучений — осенял себя крестом и поднимал глаза к небу по старой, полузабытой привычке. (О возможности подобных случаев могут свидетельствовать строки из первых колымских стихов: «Дрожат худые рукавицы / И ноги млеют в торбазах. / Попробуй-ка теперь молиться, / Чтоб не попасть на небеса...»; № 1151).

Все это лишний раз доказывает, что известные, многократно повторявшиеся Шаламовым слова о том, что он «лишен религиозного чувства», нельзя толковать однозначно, в духе плоского и вульгарного атеизма — его отношения, отношения поэта, воспитанного на высших образцах культуры, с религией были гораздо более сложными, лишенными какого-либо доктринерства. Нет сомнения, что в поэзии Шаламова религиозные образы предстают не как символы веры, а как одно из важнейших художественных средств, помогающих оценить колымскую трагедию с точки зрения вечных законов нравственности. При этом, говоря о библейских мотивах его лирики, никак нельзя обойти темы неверия в Бога, а также и богоборчества, присутствующей в целом ряде стихотворений. Некоторые из них вызывают прямую аналогию с «Книгой Иова».

Здесь все, как в Библии, простое —
Сырая глина, ил и грязь.
Здесь умереть, пожалуй, стоит,
Навек скульптурой становясь.

Пусть каждый выглядит Адамом,
Еще не заведенным в рай.
Пусть никаким Прекрасным Дамам
Не померещится наш край.

И прост ответ на те вопросы,
Что даже ставились с трудом,
Как стать холмом или торосом,
Человекоподобным льдом.

Весь мир в снегу в пурге осенней.
Взгляни: на жизни нет лица.

[1] Эссе «Мастерство Хэмингуэя как новеллиста» (1956; *ВШ7*. Т. 7. С. 220).

И не обещано спасенье
Нам, претерпевшим до конца.
(№ 255).

Полное обнажение человека и его природной сути в ее библейской «простоте» или «наготе» — один из ключевых моментов как поэзии, так и прозы Шаламова. Но если в прозе писатель делает основной акцент на изображении грубых и низменных инстинктов человека, вырванных на волю всей растлевающей обстановкой лагеря (то есть, упрощенно говоря, ведет речь о «первородном грехе» или фатальном несовершенстве человеческой природы), то в данном стихотворении «адамова» «простота» и «нагота» символизируют безгрешную чистоту всех, кто стоит за словом «мы» — таких же заключенных, как и сам лирический герой, «претерпевших до конца». Однако и при этой безгрешности (означающей практическую невиновность в тех обвинениях, что им предъявлены государством) всем им, как печально констатирует поэт, «не обещано спасенье», то есть они вряд ли обретут то спасение души, которое сулит христианская религия. Мысль крайне пессимистичная, по большому счету — богопротивная, антирелигиозная. Прямой богоборческий мотив звучит в более раннем стихотворении из периода Дусканьи:

Не со времен ли Моисея
Гора библейская была
В ледовом заперта музее
Подальше от добра и зла.

Слова, что нам бросал всевышний,
Здесь замерзали на лету,
И хоть из уст высоких вышли,
Они не ожили во льду.

Я неподвижен, как подвижник,
Как замурованный святой,
И перед богом воинств вышних
Горжусь предсмертной прямотой.

Но бесполезны наши муки,
Порывы жалобы простой.
Не долетит туда ни звука,
И мы напрасно тянем руки
К тому, кто болен глухотой.
(№ 1186).

Весьма показательно, что отправной точкой этих стихотворений является Ветхий Завет, сам по себе гораздо более суровый и мрачный, чем Завет Новый, и потому более соответствующий той атмосфере безнадежности и отчаяния, в которой пребывали герои Шаламова. Важно подчеркнуть, что Шаламов ставил Новый Завет выше Ветхого (в котором больше всего любил с детства историю о Ное и его ковчеге — с нею связано несколько стихотворений «Колымских тетрадей») и еще с юности чрезвычайно трепетно относился к личности Христа, считая его фигурой исторической, а не апокрифической (об этом говорит его интерес к рациональной христологии, проявившийся еще в Вологде, когда он прочел «Жизнь Иисуса» Э. Ренана и Д. Штрауса). Характерны фразы из его письма к Б. Пастернаку от 20 декабря 1953 г. в связи с романом «Доктор Живаго», евангельские мотивы которого он горячо одобрял: «И как же можно любому грамотному человеку уйти от вопросов христианства? И как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу? Ведь такому будет стыдно перед простой бабой, идущей ко всенощной, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет»[1].

Христианство есть, оно живо, — считал Шаламов. И оно живо не только в простых русских «бабах», но и в тех немногих истинных страстотерпцах, которых он встречал на Колыме: «Более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Растление охватило души всех, и только религиозники держались» (рассказ «Курсы»[2]). Одного из таких бывших священников, одиноко молящегося в тайге, он изобразил в рассказе «Выходной день» (1959)[3]. Но еще в 1952 г. о том же таежном случае Шаламов написал стихотворение «Перед небом» (№ 93), где герой изображен значительно более ярко и страстно, подлинно поэтически:

Здесь человек в привычной позе
Зовет на помощь чудеса,
И пальцем, съеденным морозом,
Он тычет прямо в небеса.
<...>
Он сам — Христос, он сам — Распятый.
И язвы гнойные цинги —
Как воспаленные стигматы
Прикосновения тайги.

Трудно сомневаться, что в последние строки поэт вложил и свое самоощущение: вся его лагерная (да и послелагерная) судьба дала

[1] *ВШ7.* Т. 6. С. 36.
[2] *ВШ7.* Т. 1. С. 550.
[3] Там же. С. 156.

ему неоспоримое нравственное право сравнивать себя с тем, кто был распят на Голгофе. Подобные сравнения — неназойливые, беспафосные, лишенные какого-либо намека на претенциозность, а тем более на мессианизм — есть и в других стихах Шаламова, а также и в прозе (достаточно вспомнить одно из самоименований автобиографического героя «Колымских рассказов» — Крист). Забегая вперед, заметим, что сознание родства своей судьбы с судьбой исторического Христа и постоянное соизмерение своих поступков с высочайшими идеалами Нагорной проповеди, несомненно, были одним из главных подспудных духовных источников, питавших беспримерный стоицизм, бескорыстие и жертвенность Шаламова, сопровождавших его на всем литературном и особенно на поэтическом пути...

Детальный анализ библейских мотивов его колымской лирики еще ждет исследователей. Однако уже сейчас можно сделать определенный вывод. Если в евангельских стихах Б. Пастернака, как замечал Шаламов, главным было «обнаружение духовных соответствий и неожиданных соразмерностей с нашим временем»[1], то у самого Шаламова речь шла скорее о духовных несоответствиях и несоразмерностях, ибо он имел дело с другой, абсолютно дисгармоничной реальностью, которая, в противовес христианскому «новообращению» позднего Пастернака, никак не могла возродить его детской веры. Характерно, что после возвращения с Колымы евангельские мотивы в его стихах сходят на нет, а в жизни он уже никогда не посещает церкви.

Но от памяти о пережитом Шаламов не избавится никогда. «Пока я не напишу каких-то вещей, не отделаюсь от каких-то воспоминаний, — мне не уйти от самого себя и от своей главной тематики», — писал он в связи со стихотворением «Бухта Нагаева» (1960; см. примеч. к № 715). Однако, в отличие от прозы, где главным объектом художника являлась страшная предметность лагерного мира, в поэзии, в том числе в «Колымских тетрадях», эта предметность отражена достаточно скупо: в каждый из шести сборников своей большой поэтической книги он включил лишь по несколько стихотворений, содержащих явные приметы лагерной жизни. Зато все они необычайно проникновенны и прочно запечатлеваются в сознании читателя:

Жизнь другая, жизнь не наша —
Участь мертвеца.
Точно гречневая каша,
Оспины лица.

Синий рот полуоткрытый,
Мутные глаза.

[1] «Поэтическая интонация» (*ВШ7* Т. 5. С. 26).

На щеке была забыта —
Высохла слеза.

И на каменной подушке
Стынет голова.
Жмется листьями друг к дружке
Чахлая трава.

Над такою головою,
Над таким лицом —
Ни надзора, ни конвоя
Нет над мертвецом.

И осталось караульных
Нынче только два:
Жесткие цветы — багульник
И разрыв-трава.
(№ 304).

Необходимо заметить, что рождение подобных стихов у Шаламова во время его жизни на «101-м километре», а затем в Москве, как правило, было непосредственно связано с периодами интенсивной работы над «Колымскими рассказами». Острые переживания от нахлынувших воспоминаний о тех или иных ужасающих эпизодах лагерной жизни (и от самой работы — ср.: «Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить...»[1]) вызывали потребность и в поэтическом их воплощении. Такую закономерность можно проследить на примерах циклов стихотворений 1955-го («Мы родине служим...» и следующие за ним), 1959-го («Проза» и следующие за ним), а также отдельных стихотворений 1962-го («Командировка «Серпантинная»), 1964 гг. («Мы бредем по колымской тайге...», «Мы дышали уродствами быта...») и ряда других. Причем в некоторых случаях стихи или их отдельные строки рождались раньше рассказов. Так, мысль стихотворения 1970 г. «Все мои мышцы озабочены...»: «Сначала возвратить пощечины / И только после — подаяния», — почти дословно повторена в финале рассказа «Перчатка» (1972)[2]. А стихотворение «Правлю в Вишеры верховья...» (1973) появилось уже по завершении «Вишерского антиромана» (1970–1971).

Однако «главная тематика» состояла для Шаламова не только и не столько в обращении к лагерным образам, сколько

[1] <«О моей прозе»> (*ВШ7.* Т. 6. С. 495).
[2] *ВШ7.* Т. 2. С. 283.

в философско-лирическом осмыслении своего опыта. При этом его поэтическая мысль неизбежно касалась всего исторического пути России в XX в., а также предшествующих эпох, в которых он искал и находил корневые причины катастрофы, постигшей страну. В «Колымских тетрадях» есть небольшой, но чрезвычайно важный пласт стихотворений, посвященных этой проблеме, или, как писал сам Шаламов, «поискам аналогии к историческим образам прошлого, выражению симпатий и антипатий на историческом материале»[1]. Характерно, что три подобных стихотворения — «Все те же снега Аввакумова века...» (№ 38), «Боярыня Морозова» (№ 99) и «Утро стрелецкой казни» (№ 98) написаны еще в 1949–1950 гг. на ключе Дусканья, а одно — «Персей и Муза» (№ 164; «Она еще жива, Расея...») — в 1955 г., еще до реабилитации. Все они в равной мере посвящены и прошлому, и настоящему, открыто выражая позицию лирического героя, его чрезвычайно печальный взгляд на историческую судьбу России.

Уже в самом рефрене маленького четверостишия: «*Все те же* снега Аввакумова века, / *Все та же* охотничья, злая тайга, / Где днем и с огнем не найдешь человека, / Не то, чтобы друга, а даже врага», — явственно звучит мотив некоей обреченности, некоей вечной неизменности истории страны. «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» представляют своего рода поэтический диптих на темы картин В. Сурикова — диптих, открыто связывающий историю и современность. Поэт увидел в суриковской боярыне прежде всего родственную душу — жертву, страдалицу, арестантку, как и он сам («Бердыши тюремного конвоя / Отражают хмурое лицо» — заявлено в первых строках, хотя слово «конвой» к XVII в. никакого отношения не имеет). В «Утре стрелецкой казни» поэтическая мысль Шаламова идет гораздо дальше характерных для эпохи «оттепели» аллюзий на эпохи Петра I и Сталина, их сближения по общему для обеих варварскому духу насилия[2], — он связывает эти эпохи прямой исторической преемственностью, своего рода государственной традицией или русским роком: «...И эта русская телега / Под скрип немазанных осей / Доставит в рай еще до снега / Груз этой муки, боли всей». Эта мысль еще более заострена в последней строфе, где Шаламов открыто говорит о позорности такой традиции: «И несмываемым позором / Окрасит царское крыльцо / В национальные узоры / Темнеющая кровь стрельцов».

---

[1] *ВШ7.* Т. 3. С. 450.

[2] Аналогия между сталинскими и петровскими временами (с их отрицательной оценкой) в 1950-е гг. проводилась еще крайне редко. Стихотворение ровесника Шаламова Арсения Тарковского «Петровские казни» было написано в 1958 г., но увидело свет лишь в эпоху «гласности». Напомним, что оба «суриковских» стихотворения Шаламова при их публикации в сборниках 1960-х гг. были сильно сокращены.

В стихотворении «Персей и Муза» («Она еще жива, Расея...») поражает прежде всего вторая строка, продолжающая первую, — «Опаснейшая из Горгон...» Она создает страшный гротескный образ «Расеи»[1] — медузы Горгоны, обращающей в камень все живое, и прежде всего Музу. Несомненно, что за символом «окаменевшей» и «умершей» Музы у Шаламова стоит судьба поэтов, погибших в годы революции и сталинских репрессий (Н. Гумилева, П. Васильева, О. Мандельштама и других), и в этом смысле он отчасти повторяет мысль М. Волошина из его стихотворения «На дне преисподней» (1922): «Горькая детоубийца — Русь!». Однако Шаламов в своем обобщении охватывает более широкое историческое пространство: он пишет о той «Расее-Горгоне», которую разбудил сталинский режим, вызвав к жизни самые дремучие человеческие инстинкты и натравливая друг на друга людей, связанных кровными узами («...Он голову родного брата / Надел на острие меча»), а главное, поэт утверждает, что эта варварская «азиатская» ипостась «Расеи» — «еще жива». Показательно, что спустя десять лет в рассказе «Воскрешение лиственницы» (1966) он с горечью и негодованием пишет: «...Ничего не изменилось в России — ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие»[2]. Так, связывая историю и современность, Шаламов заявляет свой безыллюзорный взгляд на то, что Н. Бердяев называл «пейзажем русской души», на любые попытки идеализации как старой, так и новой России, категорически отвергая при этом и идею Достоевского о русском народе-«богоносце», по его убеждению, глубоко и безнадежно скомпрометировавшую себя всеми событиями XX в., и особенно — жестокой эмпирикой лагерной жизни, где «народ» открыто выплескивал свою злобу на интеллигенцию[3].

Разумеется, было бы большой ошибкой считать, что проговаривая жестокие слова о «Расее», Шаламов смотрит на судьбу своей

[1] Можно с достаточной уверенностью полагать, что этот образ во многом навеян С. Есениным, его стихотворением из «Москвы кабацкой»: «Снова пьют здесь, дерутся и плачут... / Вспоминают московскую Русь» — с заключительными горькими строками: «Ах, Расеюшка, ты Расея — азиатская сторона» (*Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. М., 1995–2002. Т. 1. С. 169–170). Ср. также: *Шаламов В.* «Как мало изменилась Расея...»: Из записок о Достоевском / Публ. И. П. Сиротинской // Литературная газета. 1997. № 24.

[2] *ВШ7.* Т. 2. С. 278.

[3] См. подробнее: *Есипов В.* «Она еще жива, Расея...»: (Мотивы русской истории в «Колымских тетрадях» В. Шаламова») // Закон сопротивления распаду: Особенности прозы и поэзии В. Шаламова и их восприятие в начале XXI в.: Сборник научных трудов. Прага; М., 2017. С. 23; *Есипов В.* «Пусть мне „не поют“ о народе...»: (Образ народа в прозе И. Бунина и В. Шаламова) // IV Международные Шаламовские чтения. Москва, 18–19 июня 1997 г.: Тезисы докладов и сообщений. М., 1997. С. 86.

страны исключительно пессимистически и отвергает ее новую историю. Имея в виду как раз послереволюционное время, он писал в своем разборе романа Б. Пастернака «Доктора Живаго» 20 декабря 1953 г.: «Россия. Половодье, стихия, но не свобода звериных сил. Явление лучшего человеческого в человеке, которому дана возможность вырасти и блистать»[1]. Последние слова — главный плюс, который ставит Шаламов началам революции. Колыма заставила его со всей трезвостью переосмыслить пройденный путь, и даже те перемены, что произошли в стране после смерти Сталина, отнюдь не всегда вызывают у него восторг. Он разочарован и самим процессом реабилитации — изматывающе долгим и унизительным для массы заключенных, особенно беспартийных и состоявших в различных оппозициях. О его во многом наивных надеждах красноречиво свидетельствуют строки из поэтического дневника 1961 г.:

Я думал, что будут о нас писать
Кантаты, плакаты, тома,
Что шапки будут в воздух бросать
И улицы сойдут с ума.

Когда мы вернемся в город — мы,
Сломавшие цепи зимы и сумы,
Что выстояли среди тьмы.

Но город другое думал о нас,
Скороговоркой он встретил нас.
(№ 761).

Даже такому, казалось бы, светлому и воодушевившему все советское общество событию, как полет в космос Ю. Гагарина, Шаламов не может посвятить стихи, которые содержали бы только гордость за страну и славословия в ее адрес, ибо он не может забыть того, что предшествовало космическому прорыву:

...Время отброшено в средневековье,
Снег окропленный чистейшею кровью.

Рев палачей и мужские рыданья.
Где вы живете, лучи состраданья?

Около спиленных лагерных вышек
Жизнь поднимается выше и выше.

---

[1] *ВШ7.* Т. 6. С. 44.

Все здесь испытано, все нам знакомо.
Все — от концлагеря до космодрома.
(«До космодрома», № 735).

Невозможность опубликовать подобные стихи нисколько не ослабляла потребности Шаламова в поэтическом высказывании своего отношения к общественным событиям. Его лирический дневник 1960-х, и особенно 1970-х гг., необычайно насыщен гражданскими мотивами. Несмотря на то что круг литературного общения Шаламова в Москве по причине его глухоты и так был достаточно узок, а после разрыва отношений с А. И. Солженицыным и с окружением Н. Я. Мандельштам во второй половине 1960-х гг. сократился до минимума, он очень внимательно следил за сменой умонастроений в литературном мире. Очевидным для него было оживление всего того, что в критических дискуссиях тех лет называлось «тягой к патриархальности», а на самом деле означало стремление к переоценке советской истории в пользу истории дореволюционной, включая и оживление религиозности. Шаламову все эти веяния были глубоко не по душе, и хорошо понимая главную причину появления подобных настроений (догматизм коммунистической идеологии, оставшийся в наследство от сталинской эпохи), он тем не менее заявлял себя сторонником советского строя жизни. Все свои мысли и чувства на этот счет Шаламов сформулировал в большом цикле стихов, написанных после известного письма в «Литературную газету» (1972). Особое место среди них занимает «Славянская клятва» (№ 998), которую И. Сиротинская справедливо назвала «клятвой верности себе, делу своей жизни»[1]. Следует, однако, заметить, что, вопреки распространенным представлениям, мотивы беспощадной мести, звучащие в этом стихотворении, направлены не на лагерное прошлое, а на современность, на тех, кто бесцеремонно спекулировал его «Колымскими рассказами» (подробное обоснование такой трактовки дано в примеч. к № 998).

Некоторые из поздних стихотворений Шаламова были рождены экспромтом, без особой отделки, но выражали его взгляды с полной прямотой.

Я долго привыкаю,
За старое держусь,
За праздник Первомая,
Не за Христову Русь.

Повыцвел флаг кумачный,
Дорожный верный знак,

[1] *ИСвосп.* С. 44.

И стал совсем невзрачный
Мой старый флаг.
(№ 1008).

Это неказистое «стариковское» стихотворение, найденное в последних тетрадях Шаламова, очень выразительно раскрывает его самоощущение в условиях позднесоветской эпохи. А итогом его наполненной бесконечными страданиями и борьбой жизни можно считать краткие мужественные строки:

Я прожил жизнь неплохо
В итоге трудных дней.
Как ни трудна эпоха,
Я был ее сильней.
(№ 1068).

Обозначенная здесь лишь пунктирно линия развития поэзии Шаламова в ее связях со временем оставляет место для обращения к значительно более широким и богатым с художественной точки зрения пластам его лирики. Особого разговора требовали бы стихи о любви — это одна из главных тем поэтического дневника Шаламова начиная с Колымы, и она раскрывает сложную, полную драматизма картину его чувств к жене Г. И. Гудзь: от нежной и пылкой влюбленности в разлуке, на бесконечно далеком расстоянии («Камея», «Приснись мне так, как раньше...», «Верю» и многие другие), радости первой встречи, с необычайной проникновенностью отраженной в стихотворении «Утро», до конфликта, возникшего уже вскоре после первых встреч в Москве, имевшего не только личную, но и более глубокую подоплеку важнейшего жизненного выбора («Твоей — и то не хватит силы, / Чтоб я забыл, в конце концов, / Глухие братские могилы / Моих нетленных мертвецов» — «Возвращение», 1954). В лирическом дневнике Шаламова немало стихов, сохранивших следы других его сердечных увлечений в северный период (например, «Ты капор развяжешь олений...», «Чем ты мучишь? Чем пугаешь?..», «Сумерки»), есть стихи, связанные с юношеской любовью, а также с загадочной «Таней» молодых московских времен. Вместе со стихами, посвященными О. С. Неклюдовой и И. П. Сиротинской, все это дает новый взгляд на личность поэта, разрушающий стереотип о его аскетизме и в то же время подчеркивающий его целомудренное отношение к интимной теме.

Преобладает же в поэзии Шаламова так называемая пейзажная лирика, локально связанная и с Колымой, и со средней полосой России, и с Москвой, и с другими местами, где ему приходилось бывать, но в своей глубинной сути представляющая беспрерывный диалог лирического героя с миром. В связи с этим знаменательны слова Шаламова:

«В строгом смысле слова никакой пейзажной лирики нет. Есть разговор с людьми и о людском и, ведя этот разговор, поэт глядит на небо и на море, на листья деревьев и крылья птиц, слушает собственное сердце и сердца других людей.

Пейзажной лирики нет, но есть чувство природы, без которого поэт-лирик существовать не может. <...> Весь мир помогает выговориться поэту»[1].

«Выговориться» Шаламову на Колыме помогла прежде всего природа. Он буквально воскресал от соприкосновения с нею: она была для него лучшим душевным лекарством и она же питала его стихи. Этот взаимосвязанный процесс ярче всего передает история создания стихотворения «Стланик» (№ 346) — одного из первых, написанных Шаламовым на Колыме. В его черновом наброске (приведенном в разделе «Другие редакции и варианты») запечатлены все мучительные трудности подбора нужных слов для выражения главной мысли поэта-заключенного — о сходстве этого необычайно чуткого к теплу и холоду таежного растения с человеческой душой, с ее разочарованиями и надеждами. И лишь на «материке», в спокойной обстановке, стихотворение приобрело окончательную, теперь уже классическую форму, с последней строфой, ставшей колымской аллегорией «оттепели»:

Шуршит изумрудной одеждой
Над белой пустыней земной.
И крепнут людские надежды
На скорую встречу с весной.

Десятки стихотворений «Колымских тетрадей» посвящены северной природе — и можно без преувеличения сказать, что Шаламов стал ее первооткрывателем в русской поэзии. И кажущееся однообразие зимнего «белого безмолвия», и буйное многоцветие весенней и летней тайги нашли в нем чуткого наблюдателя и восхищенного художника. «Боже ты мой, сколько / Солнечных осколков / На тугом снегу, / Для чего же нужно / Скатертью жемчужной / Застилать тайгу?..» (№ 24) — уже эти строки показывают, что поэт совсем не утратил за годы неволи умения удивляться и радоваться красоте мира, наоборот, он воспринимает ее с особой, как будто первозданной остротой. И вместе с тем, соприкасаясь с природой, с любыми ее проявлениями, он постоянно рефлексирует, ища и находя аналогии с собственной судьбой.

Совершенно неслучайно одним из основных образов-символов колымской лирики Шаламова стал камень. Думая о нем, он, несомненно, вспоминал о назначенной ему злой волей участи остаться погребенным среди безымянных серых глыб дальнего сурового

[1] «Пейзажная лирика» (<1961>; *ВШ7*. Т. 5. С. 72).

края. Но устоявший и воскресший, поэт открыл для себя, что и камень имеет душу, и особенно его покорила высокая красота и мудрость колымского гранита, воплощенная в его несокрушимой твердости. В связи с этим чрезвычайно важно найденное в архиве большое стихотворение периода Дусканьи с символичным заглавием «Близнецы» (№ 1142), начинающееся строками:

С тобою мы и впрямь похожи,
Упрямый камень диких гор.
Годами высечен на коже
Нам одинаковый узор.

Безусловно, Шаламов имел полное право на такую аналогию, и она может считаться его исключительной «собственностью» в русской поэзии, ибо с высокой степенью точности олицетворяет его судьбу и его характер. Прибегая к этой аналогии не раз, он вместе с тем постоянно расширяет многозначность образа камня и, соединяя его с другими образами северной природы, приходит к глубоким философским выводам. Примером тому может служить еще одно не публиковавшееся прежде стихотворение:

Каждый камень уложен, как надо,
В сочетанье рисунков простых,
Чтоб привлечь изумленные взгляды
Неподвижностью красоты.

Передвинь — он найдет себе место
И по-прежнему радует глаз.
Он рожден в чистоплотном семействе,
Светлым ливнем промытый враз.

И деревья не знают уродов,
Даже если растут в нищете.
Все они — чистокровной породы,
Удивительно стройных статей.

Как гибка и прекрасна куница,
Обхватившая дерева ствол.
Не стрелять бы, а поклониться,
Придержав ружейный затвор.

Вспомни рыбье упругое тело,
Вырывающееся из воды,
Вспомни небо, где птица летела
К нам на север оттаивать льды.

А кайма у ромашек и лилий
На какой вернисаж снесена,
И работа каких ювелиров
На узорах цветочных видна?

Для того, чтоб завидовать слишком
Каждый зрячий прохожий не мог,
В сундуке с голубою крышкой
Красоту запирает замок.
(№ 1233).

Заметим, что эти стихи написаны еще в 1953 г. в Якутии, и остается только с сожалением гадать, почему Шаламов не включил их ни в «Колымские тетради», ни в прижизненные сборники — возможно, он считал их недостаточно отделанными, многословными (как и стихотворение «Близнецы»), а возможно — по простой забывчивости (что у него нередко бывало). Однако нельзя не признать, что стихотворение является, в сущности, философской программой Шаламова, развивавшейся и обогащавшейся позже в других стихах («Давно мы знаем превосходство / Природы над душой людской...», «В природы грубом красноречье / Я утешение найду. / У ней душа-то человечья / И распахнется на ходу», «Пока пейзаж не говорит по-человечески, / Его пейзажем я не назову...», «Здесь все приведено в такое равновесье...», «У деревьев нет уродов...» — с прямым повтором слов процитированного стихотворения и т. д.). Общая идея этих стихов очень точно резюмирована тезисом Ю. Шрейдера о «принципиальной доброкачественности природы» у Шаламова[1], однако этот тезис требует развития: в сущности, Шаламов призывает — на новом витке истории — вернуться к заветам древних философов, говоривших о необходимости «учиться у природы». Чистота, безгрешность, или «доброкачественность», природного мира неназойливо подчеркивается и в его рассказах, оттеняя мрачную абсурдность происходящего в людском мире, однако в стихах она выражена открыто и подчеркнуто декларативно как важнейшая составляющая его нового, выстраданного опыта, в усвоении которого, по его горячему убеждению, крайне нуждаются все люди XX в. Нельзя не согласиться с мыслью В. А. Туниманова: «Необращенный автор „Колымских рассказов" к природе испытывал поистине религиозное чувство»[2].

Очевидно, что в своем стремлении «одушевить» природу Шаламов вполне осознанно следует за Ф. Тютчевым и невольно

[1] *Шрейдер Ю.* «Граница совести моей» // Новый мир. 1994. № 12. С. 228.

[2] *Туниманов В. А.* Достоевский, Б. Л. Пастернак и В. Т. Шаламов: Скрещенье судеб, поэтических мотивов, метафор // Туниманов В. А. Ф. М. Достоевский и русские писатели XX века. СПб., 2004. С. 372.

перекликается со своим современником Н. Заболоцким, однако он более радикален в противопоставлении природы и человека (который, на его взгляд, перефразируя вышеупомянутый тезис, «принципиально недоброкачественен»). Эта коллизия ярче всего развернута в Шаламовым в «Атомной поэме» (1954; № 84), где он видит в угрозе атомной войны не божью кару, а именно кару природы как живой и мыслящей субстанции: «Быть может, у природы есть / Желанье с нами счеты свесть / В физическом явленье. // За безнаказанность убийц, / За всемогущество тупиц / И за души растленье...» (Впоследствии эта тема воплотится в стихах, посвященных экологическим проблемам).

«Чистой» пейзажной лирики, то есть отстраненного изображения природы, у Шаламова не найти. Его лирика всегда сопряжена либо с мгновенной передачей сиюминутного ощущения увиденного («Поэзия — это особым образом отфильтрованное ощущение», как писал он Пастернаку[1]), либо с достаточно долгим формулированием глубокой и неординарной поэтической мысли-символа («За лучшими стихами всегда стоит аллегория, иносказание, подтекст, многозначительность смысла», как подчеркнуто в эссе «Поэт изнутри»[2]). Все это можно наглядно проследить на примере двух стихотворений с почти одинаковыми простыми названиями — «Ветка» (№ 250) и «Ветки» (№ 1000). Первое, написанное в 1954 г., пожалуй, наиболее непосредственно передает живые нежные чувства недавнего з/к, вернувшегося в коренную Россию:

Наклонись ко мне, кленовая,
Ветка милая моя.
Будь негаданной основою
Обновленья бытия.

Не твоя ли зелень клейкая
Так горька и горяча?
Ты нагнулась над скамейкою
Возле самого плеча.

Я шепчу признанья пылкие,
К твоему тянусь листу,
Что дрожит здесь каждой жилкою,
Ясно видной на свету.

Прошло почти двадцать лет, в судьбе поэта произошли огромные изменения, он чувствует, что жизнь идет к концу, и образ веток приобретает в стихотворении 1973 г. совсем иное значение: он

---

[1] *ВШ7.* Т. 6. С. 26.
[2] *ВШ7.* Т. 5. С. 112.

символизирует тяжесть накопленного опыта и одновременно — яростное сопротивление обстоятельствам:

У веток весною одно на уме:
Пока еще не на погосте,
Дождаться бы лета в лесу, пошуметь,
Расправить старые кости.

Другое дело зимой, когда
Они промерзли до мозга
И кажется ледянее льда
Хрустящий холодный воздух.

И ветка зимою настолько хрупка,
Что даже сама бы хотела —
Пускай благодетельная рука
Сломает застывшее тело.

Но есть и такая, что даже в мороз,
От боли и ярости корчась,
В наростах и язвах, в повязках корост,
Никак умирать не хочет.

Из этих — немало наломано дров
Ударами бурь ошалелых,
В них бьется еще не застывшая кровь,
Таких не возьмешь и железом.

Автобиографизм этого — как и многих других пейзажно-аллегорических стихотворений Шаламова — очевиден, и в связи с этим становится понятно, почему он считал, что «пейзажная лирика — это род поэзии гражданской»[1]. Дело не только и не столько в фактической невозможности для Шаламова открыто высказываться на гражданские темы, сколько в определившемся уже давно способе разговора с читателем о себе и о времени посредством обращения к образам природы и их философской актуализации. И хотя тематический диапазон его поэзии, как мы уже могли убедиться, был значительно шире, именно своеобычная, всегда узнаваемая по своей образной структуре пейзажная лирика Шаламова определила его поэтическое лицо. Поэтому можно считать вполне объективной скромную, но исполненную достоинства самооценку

[1] Эта мысль содержится в подготовительных записях Шаламова к его встрече с А. Ахматовой в мае 1965 г. (*РГАЛИ*. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 162. Л. 10). Встреча была организована Н. Я. Мандельштам после вечера памяти О. Мандельштама в МГУ 13 мая 1965 г., где Шаламов читал свой рассказ «Смерть поэта» («Шерри-бренди»).

автора: «Местом своим в русской поэзии <...> XX века я считаю свое отношение к природе, свое понимание природы»[1].

6

В чрезвычайно плодотворном для себя 1973 г. Шаламов написал стихотворение, в котором вывел краткую емкую формулу своей поэтической работы:

Стихи — это боль и защита от боли,
И — если возможно! — игра...
(№ 971).

Наверное, не нужно объяснять, о какой «игре» вел речь поэт. То, что он поставил ее (игру формой стиха) лишь на третье место по значению, снабдив при этом оговоркой «если возможно!», казалось бы, свидетельствует о третьестепенности этой задачи для Шаламова. Однако на самом деле вопросы поэтической формы — если брать их в целом — всегда имели для него первостепенную и принципиальную важность.

Существует довольно стойкий и имеющий некоторые основания взгляд: если проза Шаламова является новаторской (он и сам в своих манифестах называл ее «новой прозой»), то его поэзия по своей форме скорее традиционна, она следует классическим канонам как в метрике, так и в использовании выразительных средств. Учитывая, что и сам Шаламов не раз заявлял о своей твердой приверженности классическому русскому стиху, чьи возможности, по его словам, «безграничны»[2], и при этом крайне скептически относился, скажем, к верлибру, то его, на первый взгляд, можно было бы причислить к консерваторам-«архаистам». Но в действительности и теоретические воззрения, и практика Шаламова показывают, что в поэзии, как и в прозе, он стремился быть новатором и во многих отношениях таковым являлся (хотя, как верно замечено цитированным выше рецензентом 1970-х гг., его новаторство было «тихим», не сразу и не всем бросающимся в глаза).

Но вначале о традиционности. Она проявлялась прежде всего в размерах. Большинство стихов Шаламова, особенно в «Колымских тетрадях», написано каноническими размерами и чаще всего — четырехстопным «пушкинским» ямбом[3]. То же самое можно

---

[1] *КоМС*. С. 110.

[2] «Библиотека поэта» (*ВШ7*. Т. 5. С. 90); «Таблица умножения для молодых поэтов» (*ВШ7*. Т. 5. С. 19); письмо к О. Михайлову от 20 апреля 1972 г. (*ВШ7*. Т. 7. С. 346) и др.

[3] По подсчетам И. В. Некрасовой, в сборнике «Сумка почтальона» 62% стихотворений написано четырехстопным ямбом. В других

наблюдать и во впервые публикуемых в данном издании стихах. Чрезвычайно показательна в этом смысле поэма «Вагонные стихи» (№ 1251), которую Шаламов написал экспромтом в ноябре 1953 г., возвращаясь с Колымы в поезде «Иркутск—Москва». Она не только написана ямбом, но и содержит весьма интересные, немного ироничные размышления об особенностях этого популярнейшего размера:

И вот наивными стихами,
Размером пушкинской поры,
Мы славим зимнее дыханье
Зеленоглазой Ангары.

Мы не отдали моде века
Приличной дани. Старый ямб
И даже больше — ямб-калека
Пристойней показался нам,

Чем всей тонической системы
Ступени, выкрики, курсив
(Уже давно изжитой темы
Опять врывается мотив).

А в ямбе есть такие свойства,
Родство с природой языка,
Где в нашей речи беспокойство
Легко врывается тоска.

Мы видим здесь не только уникальный (сохраненный в лагере!) пример живучести «семантического ореола метра» (М. Гаспаров), но прежде всего — глубокое понимание Шаламовым природы русского ямбического стиха, его универсальности, способности передавать самые разнообразные оттенки чувств. Предпочтение ямба «моде века» — «тонической системе» (тут, несомненно, имеется в виду поэтика В. Маяковского и других футуристов) красноречиво само по себе, а намек на большую «пристойность» «ямба-калеки», то есть двух- и трехстопного ямба, а также четырехстопного

сборниках этот процент меньше, но в целом использование разностопного ямба и его вариантов с пропусками ударений составляет примерно половину всего объема «Колымских тетрадей». См.: *Некрасова И. В.* Теоретическое наследие В. Шаламова и его поэзия: Опыт литературоведческого интегрирования // Поезд Шаламова. Проблемы российского самосознания: Судьба и мировоззрение В. Т. Шаламова (к 110-летию со дня рождения). Материалы 14-й Международной конференции Института философии РАН. М., 2017. С. 140.

с пропусками метрических ударений (об этом ниже) указывает на то, что Шаламов уже использовал эти формы в своей колымской практике. В последнем случае можно сослаться на «Синюю тетрадь», которую он вез тогда Б. Пастернаку: в ней немало стихов, написанных двух- и трехстопным ямбом: «Конечно, Оймякон...», «Спектральные цвета...», «Поднесу я к речке свечку...», «Шагай, веселый нищий...» и др.

И в более поздний период Шаламов чаще всего обращался к ямбическим ритмам. Это подтверждает единственное специальное стиховедческое исследование поэтики Шаламова (на материале его сборника «Дорога и судьба», 1967), проведенное в свое время Вяч. Вс. Ивановым[1]. Разбирая только формы ямба и не касаясь других размеров, использовавшихся Шаламовым, ученый пришел к необычайно интересным выводам. Кроме констатации тяготения поэта к классическому четырехстопному ямбу (он занимает, по подсчетам Иванова, 49,7% от всех форм ямба), выявлена склонность поэта к ритмической свободе, к большему разнообразию стиха за счет сокращения или уплотнения слов в строках, следующих за начальными, и, соответственно, пропуска метрических ударений. В качестве примеров Иванов привел строфы из стихотворений «Раковина» (№ 419):

И пусть не будет обнаружена
Последующими веками
Окаменевшая жемчужина
С окаменевшими стихами.

и «Бивень» (№ 567):

Тот мамонт выл, дрожа всем телом,
В ловушке для богатырей,
Под визг и свист осатанелый
Полулюдей, полузверей.

[1] *Иванов Вяч. Вс.* Из наблюдений над четырехстопным ямбом современных поэтов // *Иванов Вяч. Вс.* Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2004. Т. 3. С. 725. Автор был лично знаком с Шаламовым, знал его стихи еще с начала 1950-х гг. (через Б. Пастернака). Его статья была написана в начале 1970-х гг. и напечатана в сб. «Slavic Poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky» (The Hague; Paris, 1973). Наряду со стихами Шаламова Вяч. Вс. Иванов рассматривал стихи А. Межирова, обнаружив их близость. Следует заметить, что сам Шаламов считал А. Межирова одним из наиболее талантливых современных поэтов (см. заметки «Панова и Межиров» — *ВШ7*. Т. 5. С. 115; а также стиховедческий разбор стихотворения Межирова «Защитник Москвы» — *Шсб-5*. С. 186).

Сходные особенности Иванов обнаруживает в стихах позднего А. Белого (поэма «Первое свидание», 1921). Речь не может идти о заимствовании или подражании, скорее — об общей ориентации Шаламова на новые формы ритмики, принесенные XX в. Очевидно, что они более органично соответствовали тому необычайно тяжелому жизненному материалу, с которым он работал, как бы передавая затрудненность, прерывистость речи и дыхания поэта. В связи с этим, как представляется, можно говорить о своеобразном «шаламовском» ямбе.

Но ямб при всем его широком использовании отнюдь не безраздельно доминирует в поэзии Шаламова, он постоянно перемежается с другими размерами, среди которых излюбленным становится разностопный амфибрахий с предпочтением короткой строки. Неслучайно этот размер и двухстопную строку Шаламов избрал для своего «Аввакума в Пустозерске» — программного не только по содержанию, но и по заявленной новой форме. В автокомментарии к «Аввакуму» (см. примеч. к № 263) он писал, что его задачей было опровергнуть мнение В. Маяковского из его статьи «Как делать стихи» об ограниченных возможностях короткой строки (годной якобы только для «веселых» стихов). В результате сложной работы — о ее характере можно судить по разделу «Другие редакции и варианты» — каждая поэтическая фраза этого стихотворения приобрела гимническо-афористическое звучание и буквально впечатывается в сознание читателя — нисколько не слабее громовых строк Маяковского.

Постоянно присутствуют в лирике Шаламова разнообразные формы хорея, в применении которых он очевидным образом ориентировался на опыт А. Фета и М. Цветаевой, иногда прибегая к своего рода полемике с этими поэтами. Так, ассоциативно заостренным против фетовской идиллии «Шепот. Робкое дыханье...» воспринимается его вышеприведенное стихотворение о колымских могилах: «Жизнь другая, жизнь не наша — / Участь мертвеца...» (№ 304). С другой стороны, хорей часто служит Шаламову незаменимым подспорьем в пейзажной и любовной лирике: «Сыплет снег и днем и ночью...», «Робкое воображенье. / Поднимись ко мне...».

В целом сверхзадачей Шаламова-поэта было избавление от многословия, которым он страдал в первый колымский период («неумение остановиться вовремя», как он замечал, объяснялось неудержимым порывом к творчеству после длительной лагерной немоты), стремление к максимальной сжатости стиха. Начало этой эволюции прослеживается уже на Колыме, где поэт создает несколько миниатюр-четверостиший и двустиший, пытается — и весьма успешно — использовать трехстишия (терцеты); к тем же предельно лапидарным формам он возвращается, но уже гораздо чаще, в конце 1960-х — начале 1970-х гг.:

Письмо из ящика упало
И вырвало у смерти жало
Сквозь жизни гам.

Одна картонная страница
Летит, планируя, как птица,
К моим ногам.
(№ 986).

Став со временем апологетом краткости стиха («двенадцать строк — это оптимальный размер, в котором может быть выражено все, что хотел сказать лирический поэт на русском языке»[1]), Шаламов, естественно, не мог сокращать ранее написанные стихотворения, особенно в «Колымских тетрадях». Главным мотивом при этом для него служило убеждение, что «первый вариант — самый лучший, самый искренний», даже несмотря на его ощутимую неотделанность или косноязычие. Наверное, не все читатели с этим могут согласиться, полагая, что поэту не пристало заявлять: «Пусть по-топорному неровна / И не застругана строка...», — даже если в итоге он считает: «Тепла изба моих зимовок <...> Где не чужим заемным светом, / А жарким углем рдеет печь, / Где не сдержать ничьим запретам / Разгорячившуюся речь» («О песне», № 353; 1956). Но и сам Шаламов не защищал себя от критики, полагая и подчеркивая, что у него — «как у каждого поэта» (тут он называл и самые великие имена: от Пушкина и Лермонтова до Блока и Есенина, добавляя: «у Тютчева даже»[2]) — немало слабых, плохих стихотворений. При его многописании это было неизбежно, и здесь он ссылался на слова Бальзака: «Гениальный человек не бывает гениальным каждый миг».

Но ведя речь о наиболее сильных сторонах поэзии Шаламова, нельзя не продолжить тему о ее индивидуальных особенностях. Сам он в своих теоретических работах не употреблял термина «поэтика» и взамен него выдвинул понятие «поэтической интонации» как интегрирующего начала своеобразия поэта, его «паспорта», который по определению должен быть своим, а не чужим[3]. Весьма показательно, что на первое место в интонации Шаламов ставил не излюбленный поэтом размер (метр), не его лексику (язык), не метафору, а инверсию. Такой акцент на инверсии, как представляется, был обусловлен прежде всего его опорой на опыт Пушкина, у которого, как известно, «игра» перестановкой слов была одним из самых любимых приемов, и Шаламов эту «игру» подхватил, используя ее, пожалуй, как никто из современных ему поэтов.

[1] «Звуковой повтор — поиск смысла» (*ВШ7.* Т. 5. С. 252).
[2] «Все или ничего» (*ВШ7* Т. 5. С. 59).
[3] «Поэтическая интонация» (*ВШ7.* Т. 5. С. 21); «Во власти чужой интонации» (*ВШ7* Т. 5. С. 31).

Инверсионные обороты в его стихах многочисленны и своеобразны: «Замшелого камня на свежем изломе...» (еще одна вариация образа камня!), «Круговым пылало солнце светом...», «Светотени доскою шахматной...», «На краю лежим мы луга...», «Угольной пыли в людской гортани...» и т. д.

Почти постоянное отступление от гладкого, «правильного» синтаксиса у Шаламова, несомненно, не было самоцелью — оно было направлено на решение художественных задач, и прежде всего задач, связанных со звуковой инструментовкой стиха. Парадоксально, но при этом роль аллитерации в поэтической интонации, по Шаламову, второстепенна по сравнению с ролью инверсии, хотя даже в приведенных выше строках видно, что каждая из них очень тонко и умело аллитерирована: чередование согласных «з», «ж», «ш» и «м» в той же строке о «замшелом камне» сразу заставляет вспомнить его стихи об И. Анненском: «...Мы — в родстве, / Этих „в“, этих „з“, этих „эм“ / И других незначительных тем...» Все это свидетельствует, что применение обоих приемов (инверсии и аллитерации) у Шаламова было тесно связано, что можно считать одной из самых характерных черт его собственной поэтической интонации.

В целом, забота о звуковом строе стиха, или его «звуковой опоре», как он выражался, была для Шаламова главенствующей и принимала подчас самодовлеющее значение, отодвигая на задний план, казалось бы, более важную заботу о смысле[1]. Но такая крайность закрепилась, скорее, в декларациях Шаламова, а в его практике, а также в теоретических разработках, выражения не нашла.

Следует подчеркнуть, что Шаламов был одним из немногих поэтов 1950–1970-х гг., кто всерьез занимался теорией стиха, и в этом плане он стоял вполне «с веком наравне»: среди прочтенных им в поздний период книг значится, например, «Структура художественного текста» Ю. Лотмана (1970). Сохранилось письмо Шаламова Ю. Лотману, где он предлагал для одного из тартуских сборников свои заметки о поэтической интонации и звуковом строе стихотворения А. Межирова «Защитник Москвы»[2], косвенным

[1] Совершенно неожиданно встретить в его «манифестах», скажем, такую фразу: «Мысль, содержание губит стихи» (<«О моей прозе»> — *ВШ7.* Т. 6. С. 489). Полемичность этой фразы вытекает из контекста: «В „Жонглере“ Каменского больше поэзии, чем в стихах Владимира Соловьева». Это лишний раз доказывает, что Шаламов как художественное дитя 1920-х гг. являлся в известном смысле «адептом формы» (см.: *Волкова Е.* Трагический парадокс Варлама Шаламова. М., 1998. С. 15).

[2] См.: *ВШ7.* Т. 6. С. 594. Письмо не датировано, однако, по поздравлению Ю. М. Лотмана и его жены с Новым годом, а также по ссылке на стихотворение А. Межирова из его сборника 1973 г., можно предполагать, что оно относится к концу декабря 1973 г. См. также примеч. к № 49.

результатом которого и стала, вероятно, публикация в сборнике «Семиотика и информатика» (М., 1976) его статьи «Звуковой повтор — поиск смысла» с подзаголовком «Заметки о стиховой гармонии». Очевидно, что истоки замысла этой статьи восходят к старым штудиям Шаламова со сборниками ОПОЯЗа и трудами А. Белого, однако главное значение в ней имеет его собственная концепция, основанная на двух тезисах, сформулированных в подзаголовках статьи: «1. Первая строфа — ее звуковой каркас»; «2. Трезвучия согласных — основа гармонии стиха». Особенно важным был для Шаламова второй тезис, который он подкреплял ссылками на опыт или «антиопыт» других поэтов[1]. Статья была написана в свободной эссеистской манере, не содержала никаких специальных терминов, однако ее положения были одобрены известным (молодым в ту пору) лингвистом С. Гиндиным, который отметил новизну подхода Шаламова к давно обсуждавшимся в науке проблемам[2].

Удивительное сочетание рационального и непосредственно-чувственного в отношении Шаламова к поэзии невольно ставит перед вопросом: кто же он — «мелодист» (то есть поэт, полагающий основой стиха звуки или внутреннюю музыку слов и ритма) или «смысловик» (то есть поэт, полагающий основой всего

[1] В качестве «антиопыта» Шаламов приводил воспоминания К. Симонова (опубликованные в «Дне поэзии-1974»), где тот признавался, что не мог объяснить строгому редактору «Правды» происхождение эпитета «желтые» в строках своего известного стихотворения «Жди меня»: «Жди, пока наводят грусть / Желтые дожди...». Шаламова более всего поразило, что при этом К. Симонов «ни разу не обмолвился, что „желтые дожди“ — это звуковой повтор: Ж — Л —Т/Д/ <...>, самым естественным образом входящий в стихотворную строку» (*ВШ7.* Т. 7. С. 264). В письме Ю. Шрейдеру Шаламов добавил к этому эпизоду саркастическую фразу: «Подобно мольеровскому герою, не знавшему, что он пишет прозой, Симонов не знал, что он написал стихи...» (*ВШ7.* Т. 6. С. 556). При этом Шаламов отделял понятие «трезвучия согласных» от аллитерации или «звукописи». Ср.: «Когда Блок пишет: „*Зашуршали тревожно шелка*“ — он делает это не затем, чтобы до наших ушей донести шелест шелкового платья, а затем, чтобы укрепить трезвучия, на которых держится стихотворение. И разве „Посыпал пеплом я главу“ „Пророка“— звукоподражание и мы должны ощутить шелест пепла, который пророк сыплет себе на голову?..» (*ВШ7.* Т. 7. С. 265).

[2] С. И. Гиндин, в частности, отмечал, что звуковая сторона стиха в концепции Шаламова «отнюдь не противопоставляется автором содержательной стороне стихотворного текста, напротив — для него „поиск звукового каркаса стихотворения уже есть вид содержания“, а звуковые повторы, и в том числе рифма, — инструмент поиска и отбора слов и конструкций, т. е. средство построения смысла» (*Гиндин С.* Послесловие к статье В. Т. Шаламова // Семиотика и информатика. Вып. 7. М., 1976. С. 147).

мысль)? Этот вопрос имеет в подоплеке еще один важный нюанс: Шаламов по своей глухоте был чужд музыке, и поэтому, казалось бы, не должен был уделять столь большое внимание мелодике стиха. Но — уделял! Прежде всего потому, что даже глухой обладает внутренним слухом, и самый яркий пример здесь — Бетховен. Не потому ли одно из поздних стихотворений Шаламова начинается строкой: «Оглох — нажимай на стихи...» (№ 1002)?

Но все-таки, как нам кажется, дилемма «мелодист — смысловик» по отношению к Шаламову является ложной. Он был Мастером поэзии и как Мастер понимал равное значение и средств, и целей стихотворного искусства. Поэтому уместнее всего привести здесь строки его стихотворения, связанного с великим глухим композитором, его дальним историческим духовным собратом. В них, может быть, отчетливее всего видно, что любимый Шаламовым звуковой повтор согласных, перетекающий из строки в строку («д» — «ш» («щ») — «ж» — «т» — «р» — «л» — «с» — «д» — «ч» — «б» — «г» — «с» — «т» — «р»— «ж» («ш») — «г») и создающий музыку стихотворения, служит созданию высокого многозначного смысла:

Дошепчи, доскажи, мой товарищ,
Допиши, что хотел, до конца
Черным углем таежных пожарищ
При лучине любого светца,

Чтоб, отбросив гусиные перья,
Обнажить свою высшую суть
И в открытые двери доверья
Осторожно, но твердо шагнуть...
(«Как Бетховен, цветными мелками...», № 936).

***

Привлечь внимание читателей к мастерству Шаламова, к его удивительному художественному взлету после мрака и ужаса Колымы — одна из главных задач данного издания. Однако мы надеемся, что каждый, кто познакомится с поэтическим наследием автора «Колымских тетрадей» во всей полноте, сделает для себя множество и других открытий. Важнейшим из них, наверное, будет то, что мир поэзии Шаламова — совсем иной в сравнении с миром его суровой и жестокой прозы, что он гораздо светлее и теплее. Такое открытие надо отнести, конечно, прежде всего на счет самой природы поэзии, ее имманентных свойств, которые обнажают, делают близкими и понятными самые высокие духовные устремления творческой личности. Шаламов, рожденный поэтом-лириком (и рожденный, подчеркнем, дважды), не мог не выразить в стихах

свою подлинную человеческую сущность, вывернув, что называется, до дна свою душу и открыв в ней то, что не всегда видно читателям «Колымских рассказов», — именно ее светлое, устремленное ввысь, к вечным нравственным идеалам, начало.

Разумеется, в случае Шаламова было бы крайне опрометчиво ссылаться на блоковское «Простим угрюмство...» и говорить о том, что он — «дитя добра и света». (А вот о том, что он — «свободы торжество», говорить можно и нужно, но это отдельная тема.) Важно другое — пора, наконец, отказаться от бесконечных, тянущихся уже не одно десятилетие, штампов о его «бессолнечном, абсолютно трагическом мировосприятии» (Д. Быков) и от других подобного рода эффектных, но малообоснованных обобщений. Ведь, строго говоря, даже проза Шаламова при ее внимательном прочтении не дает повода видеть у автора лишь пресловутую «бессолнечность». А поэзия — тем более.

Среди самых точных характеристик поэзии Шаламова есть одна, к сожалению, забытая. Она принадлежит Ф. Искандеру, в свое время общавшемуся с Шаламовым (в 1960-е гг. в журнале «Юность») и провожавшему его в последний путь в январе 1982 г. В своем интервью после первого «разрешенного» вечера памяти писателя в 1988 г. Ф. Искандер говорил о наиболее поразившем его в Шаламове феномене:

«...Это удивительно спокойный тон его классических стихов. Казалась бы, такой тяжелый, горький опыт его жизни должен был отразиться в каких-то взрывных стихах, стихах надрывных, но ничего этого не было. Все переплавилось в высокое мудрое спокойствие, в тонкий графический рисунок, в суровое жизнеприятие, я бы сказал. Не отталкивание от жизни, не проклятие ей, а жизнеприятие во всей ее суровости...»[1]

Хотя Ф. Искандер не знал всего поэтического пути Шаламова и не мог читать его ранних и поздних «взрывных» стихов, он, как представляется, чрезвычайно верно и емко сформулировал общую интонацию и философское содержание его творчества: «Суровое жизнеприятие». Такая оценка, на наш взгляд, может служить общим знаменателем и символом не только поэзии Шаламова, но и его мироощущения в целом.

В свое время известный пушкинист С. А. Фомичев, анализируя прозу Шаламова, совершенно справедливо находил в ней своего рода «двухполюсность»: «Предельно обнаженная правда об унижении человека государственной машиной неотделима в колымских рассказах от проникновенной лирики. *Именно эта „разность потенциалов“ и создает высокое напряжение его художественного*

[1] Видеозапись интервью с Ф. Искандером: https://shalamov.ru/video/3.html.

мира» (курсив наш. — *В. Е*)[1]. Как представляется, знание поэзии Шаламова во всей ее масштабности позволяет не только еще раз самым живым образом прочувствовать высокое напряжение и огромное богатство его художественного мира, но и увидеть в «разности потенциалов» его прозы и его поэзии нерасторжимое этическое и эстетическое единство.

***

История как будто ставила над Шаламовым жесточайший «антропологический эксперимент», направленный на уничтожение *поэтического* начала в человеке. Колыма сделала все, чтобы убить в Шаламове это природное духовное начало. Но «эксперимент» не удался: *поэтическое* или *идеальное* — если его несут в себе сильные мужественные люди — бессмертно. Именно поэтому Шаламов — не «мученик», как его нередко называют, а победитель[2].

В. Есипов

---

[1] *Фомичев С.* По пушкинскому следу // *Шсб-3*. С. 87.
[2] *Сиротинская И. В.* Шаламов: взгляд в будущее // *Шсб-3*. С. 59.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

КОЛЫМСКИЕ ТЕТРАДИ
(1937–1956)

И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят Царствие Твое.

А. Блок

1

Пещерной пылью, синей плесенью
Мои испачканы стихи.
Они рождались в дни воскресные —
Немногословны и тихи.

Они, как звери, быстро выросли,
Крещенским снегом крещены
В морозной тьме, в болотной сырости.
И всё же выжили они.

Они не хвастаются предками,
Им до потомков дела нет.
Они своей гранитной клеткою
Довольны будут много лет.

Теперь, пробуженные птицами
Не соловьиных голосов,
Кричат про то, что вечно снится им
В уюте камня и лесов.

Меня простит за аналогии
Любой, кто знает жизнь мою,
Почерпнутые в зоологии
И у рассудка на краю.
<Не позднее зимы 1952/1953>

2

Я беден, одинок и наг,
Лишен огня.
Сиреневый полярный мрак
Вокруг меня.

Я доверяю бледной тьме
Мои стихи.
У ней едва ли на уме
Мои грехи.

И бронхи рвет мои мороз
И сводит рот.
И, точно камни, капли слез
И мерзлый пот.

Я говорю мои стихи,
Я их кричу.
Деревья, голы и глухи,
Страшны чуть-чуть.

И только эхо с дальних гор
Звучит в ушах,
И полной грудью мне легко
Опять дышать.

<Не позднее зимы 1952/1953>

3

Не суди нас слишком строго.
Лучше милостивым будь.
Мы найдем свою дорогу,
Нашу узкую тропу.

По скалам за кабаргою
Выйдем выше облаков.
Облака — подать рукою,
Нужен мостик из стихов.

Мы стихи построим эти
И надежны и крепки.
Их раскачивает ветер,
До того они легки.

И, шагнув на шаткий мостик,
Поклянемся только в том,
Что ни зависти, ни злости
Мы на небо не возьмем.

<Весна 1953>

4

Робкое воображенье,
Поднимись ко мне.
Справься с головокруженьем,
Ведь еще трудней

Ждать тебе чужого слова
У подножья гор,
Что земля — всему основа,
Знаем с давних пор.

Все же с горки дальше видно,
Шире кругозор...
Как равнине ни обидно,
Это — свойство гор.

<Весна 1953>

5. ЗАКЛЯТЬЕ ВЕСНОЙ

Рассейтесь, цветные туманы,
Откройте дорогу ко мне
В залитые льдами лиманы
Моей запоздалой весне.

Явись, как любовь — ниоткуда,
Упорная, как ледокол.
Явись, как заморское чудо,
Дробящее лед кулаком!

Сияющей и стыдливой,
В таежные наши леса,
Явись к нам, как леди Годива,
Слепящая снегом глаза.

Пройди леденелой тропинкой
Средь рыжей осенней травы.
Найди нам живую травинку
Под ворохом грязной листвы.

Навесь ледяные сосульки
Над черным провалом пещер,
Шатайся по всем закоулкам
В брезентовом рваном плаще.

Такой, как была до потопа,
Сдвигающая ледники.
Явись к нам на горные тропы,
На шахты и на рудники.

Туши избяные лампады,
Раскрашивай заново птиц,
Последним сверкни снегопадом
Дочитанных зимних страниц.

Разлившимся солнечным светом
Стволов укорачивай тень
И лиственниц голые ветви
С иголочки в зелень одень.

Взмахни белоснежным платочком,
Играя в гусей-лебедей.
Набухни березовой почкой
Почти на глазах у людей.

Оденься в венчальное платье,
Сияющий перстень надень.
Войди к нам во славу заклятья
В широко распахнутый день.
<1953>

6

Замолкнут последние вьюги,
И, путь открывая весне,
Ты югом нагретые руки
Протянешь на север ко мне.

С весьма озабоченным видом,
Особо наглядным с земли,
На небе рисунки Эвклида
Выписывают журавли.

И, мокрою тучей стирая
Летящие вдаль чертежи,
Все небо от края до края
Затягивают дожди.
<1953?>

7

Ты держись, моя лебедь белая,
У родительского крыла,
Пролетай небеса, несмелая,
Ты на юге еще не была.

Похвались там окраскою севера,
Белой родиной ледяной,
Где не только цветы — даже плевелы
Не растут на земле родной.

Перепутав значение месяцев,
Попади в раскаленный январь.
Ты не знаешь, чего ты вестница,
Пролетающий календарь.

Птица ты? Или льдина ты?
Но в любую влетая страну,
Обещаешь ей лебединую
Разгулявшуюся весну.

Но, следя за твоими отлетами,
Догадавшись, что осень близка,
Дождевыми полны заботами
Набежавшие облака.
<1953>

8

Я вижу тебя, весна,
В мое двойное окошко.
Еще ты не очень красна
И даже грязна немножко.

Пока еще зелени нет.
Земля точно фото двухцветна,
И снег только ловит момент
Исчезнуть от нас незаметно.

И сонные тени телег,
Поскрипывая осями,
На тот же истоптанный снег
Выводят, как осенью сани.

И чавкает дегтем чека,
И крутят руками колеса,
И капли дождя щека
Вдруг ощущает, как слезы.
<1953>

9

Луна, точно снежная сойка,
Влетает в окошко ко мне
И крыльями машет над койкой,
Когтями скребет по стене.

И бьется на белых страницах,
Пугаясь людского жилья,
Моя полуночная птица,
Бездомная прелесть моя.
22 февраля 1953

10. СЕРЫЙ КАМЕНЬ

Моими ли руками
Построен город каменный,
Ах, камень, серый камень,
Какой же ты беспамятный.

Забыл каменотесов
Рубахи просоленные,
Тебя свели с утесов
Навек в поля зеленые.

Твое забыли имя
Не только по беспечности,
Смешали здесь с другими
И увели от вечности.
1950

11

Рассеянной и робкой
Сюда ты не ходи.
На наших горных тропках
Ты под ноги гляди.

Наверно, ты заснула,
Заснула на ходу.
Разрыв-травы коснулась,
Коснулась на беду.

Теперь он приворожен,
Потупившийся взгляд,
И путь найти не может
По тропке той назад.
<1953>

12. РОЗОВЫЙ ЛАНДЫШ

Не над гробами ли святых
Поставлен в изголовье
Живой букет цветов витых,
Смоченных чистой кровью.

Прогнулся лаковый листок,
Отяжелен росою.
Открыл тончайший завиток
Со всей его красою.

И видны робость и испуг
Цветка в земном поклоне,
В дрожанье ландышевых рук,
Ребяческих ладоней.

Но этот розовый комок
В тряпье бледно-зеленом
Назавтра вырастет в цветок,
Пожаром опаленный.

И, как кровавая слеза,
Как Макбета виденье, —
Он нам бросается в глаза,
Приводит нас в смятенье.

Он глазом, кровью налитым,
Глядит в лицо заката,
И мы бледнеем перед ним
И в чем-то виноваты.

Как будто жили мы не так,
Не те читали книги.
И лишь в кладбищенских цветах
Мы истину постигли.

И мы целуем лепестки
И кое в чем клянемся.
Нам скажут: что за пустяки, —
Мы молча улыбнемся.

Я слышу, как растет трава,
Слежу цветка рожденье.
И, чувство превратив в слова,
Сложу стихотворенье.
<1953–1956>

13. НАВЕРХ

В пути на горную вершину,
В пути почти на небеса
Вертятся вслед автомашине
И в облака плывут леса.

И через горные пороги,
Вводя нас молча в дом земной,
Ландшафты грозные дорога
Передвигает предо мной.

Хребты сгибающая тяжесть
На горы брошенных небес,
Где тучи пепельные вяжут
И опоясывают лес.

Скелеты чудищ допотопных,
Шестисотлетних тополей,
Стоят толпой скалоподобной,
Костей обветренных белей.

Во мгле белеющие складки
Гофрированной коры
Годятся нам для плащ-палатки
На случай грозовой поры.

Все вдруг закроется пожаром,
Огня дрожащего стеной,
Или густым болотным паром,
Или тумана пеленой.

И наконец, на повороте
Такая хлынет синева,
Обнимет нас такое что-то,
Чему не найдены слова.

Что называем снизу небом,
Кому в лицо сейчас глядим,
Глядим восторженно и слепо,
И скалы стелются под ним.

А горный кряж, что под ногами,
Могильной кажется плитой.
Он — вправду склеп. В нем каждый камень
Унижен неба высотой.

<1950>

14. БУКЕТ

Цветы на голом горном склоне,
Где для цветов и места нет,
Как будто брошенный с балкона
И разлетевшийся букет.

Они лежат в пыли дорожной,
Едва живые чудеса…
Их собираю осторожно
И поднимаю — в небеса.

1 января 1952

15

Я забыл погоду детства,
Теплый ветер, мягкий снег.
На земле, пожалуй, средства
Возвратить мне детство нет.

И осталось так немного
В бедной памяти моей —

Васильковые дороги
В красном солнце детских дней.

Запах ягоды-кислицы,
Можжевеловых кустов
И душистых, как больница,
Подсыхающих цветов.

Это все ношу с собою
И в любой люблю стране.
Этим сердце успокою,
Если горько будет мне.
<1952>

16

Льют воздух, как раствор
Почти коллоидальный,
В воронку наших гор,
Оплавленную льдами.

Спасти нас не могла
От давящего зноя
Стремительная мгла
Вечернего покоя.

И лишь в тиши ночной
Убежищем идиллий —
Полярною луной
Нам воздух остудили.
<1952>

17

Эй, красавица, — стой, погоди!
Дальше этих кустов не ходи.

За кустами невылазна грязь,
В этой грязи утонет и князь.

Где-нибудь, возле края земли,
Существуют еще короли.

Может, ты — королевская дочь,
Может, надо тебе помочь.

И нельзя уходить мне прочь,
Если встретились ты и ночь.

Может, нищая ты, голодна
И шатаешься не от вина.

Может, нет у тебя родных
Или совести нет у них,

Что пустили тебя одну
В эту грозную тишину.

Глубока наша глушь лесная,
А тропинок и я не знаю…
<1952>

18

Ни травинки, ни кусточка,
Небо, камень и песок.
Это северо-восточный
Заповедный уголок.

Только две плакучих ивы,
Как в романсе, над ручьем
Сиротливо и тоскливо
Дремлют в сумраке ночном.

Им стоять бы у гробницы,
Чтоб в тени их по пути
Богу в ноги поклониться,
Дальше по миру идти.

Иль ползти бы к деревушке,
Где горит еще луна,
И на плач любой старушки
Наклоняться у окна.

Соловьев бы им на плечи
Развеселых посадить,

Завести бы в темный вечер
В наши русские сады,

Где соломенные вдовы,
Птичьи слушая слова,
Листья узкие готовы
И терзать и целовать,

Как герои Руставели,
Лили б слезы в три ручья
И под ивами ревели
Среди злого дурачья.
<1953>

19

Ты не застегивай крючков,
Не торопись в дорогу,
Кружки расширенных зрачков
Сужая понемногу.

Трава в предутренней красе
Блестит слезой-росою,
А разве можно по росе
Ходить тебе босою.

И эти слезы растоптать
И хохотать, покуда
Не свалит с ног тебя в кровать
Жестокая простуда.
<1953>

20

Следов твоих ног на тропинке таежной
Ветрам я не дам замести.
Песок сохранит отпечаток ничтожный
Живым на моем пути.

Когда-нибудь легкую вспомню походку,
Больную улыбку твою.
И память свою похвалю за находку
В давно позабытом краю…
<1953>

21

Приснись мне так, как раньше
Ты смела сниться мне —
В своем платке оранжевом,
В садовой тишине.

Как роща золотая,
Приснись, любовь моя,
Мечтою Левитана,
Печалью бытия…
<1953>

22

Здесь морозы сушат реки,
Убивая рыб,
И к зиме лицо стареет
Молодой горы.

С лиственниц не вся упала
Рыжая хвоя.
Дятел марши бьет на память,
Чтоб бодрился я.

Снега нет еще в распадках.
Не желая ждать,
Побелели куропатки,
Веря в календарь.

Рвет хвою осенний ветер,
Сотрясая лес.
День — и даже память лета
Стерта на земле.
<Не позднее зимы 1952/1953>

23

Холодной кистью виноградной
Стучится утро нам в окно,
И растворить окно отрадно
И выжать в рот почти вино.

О, соглашайся, что недаром
Я жить направился на юг,
Где груша кажется гитарой,
Как самый музыкальный фрукт.

Где мы с деревьями играем,
Шутя, в каленую лапту
И лунным яблоком пятнаем,
К забору гоним темноту.

Для нас краснеет земляника
Своим веснушчатым лицом,
Вспухает до крови клубника,
На грядках спит перед крыльцом.

И гроздья черно-бурых капель
Висят в смородинных кустах,
Как будто дождь держал их в лапах,
Следы оставил на листах.

И ноздреватая малина,
Гуртом в корзине разместясь,
Попав ко мне на именины,
Спешит понравиться гостям.

Все, кроме пареной брусники
И голубичного вина,
Они знавали лишь по книгам,
Видали только в грезах сна.

<Лето 1953>

24

Боже ты мой, сколько
Солнечных осколков
На тугом снегу.
Для кого же нужно
Скатертью жемчужной
Застилать тайгу?

Крепко спят медведи
Цвета темной меди
В глубине берлог.

Меховым, косматым
Нипочем зима-то,
Каждый спать залег.

Зайцам и лисицам
Скатерть не годится,
Слишком ярок блеск.
Слишком блеск тревожен.
Заяц осторожен
И укрылся в лес.

Заячьей дорогой,
Подождав немного,
Поплелась лиса.
Снова молчаливы,
До смерти пугливы
Белые леса.

Достают олени,
Вставши на колени,
Из-под снега мох.
Кто бы, видя это,
Воспитать эстета
Из оленя мог?

Куропаток стадо
Бродит меж кустами,
Пастбище ища.
В целях маскировки
Зимние плутовки
В снеговых плащах.

Куропатки падки
На зерна остатки
И нашли овес.
Губа-то не дура,
Были бы вы куры —
Рыли бы навоз.

Приучилась белка
Презирать безделки,
Слишком занята.
Прыгает, как кошка,
Разница немножко
В качестве хвоста.

И приличья птичьи
Явно безразличны
Спящим глухарям.
Дрыхнут вон на сучьях,
Благо лапы-крючья
Им даны не зря.

Ну, а нынче все же
Кто же видит, боже,
Краски красоты?
Кто понять их может,
Кто же, светлый боже, —
Только я да ты.

<Зима 1952/1953>

25

С кочки, с горки лапкой заячьей
Здешний ангел мне махнет.
Он нисколько не кусается,
А совсем наоборот.

Он волчиной-человечиной
Сам напуган на сто лет.
По тропе он ходит вечером
И петлит свой легкий след.

Для моей души охотничьей
Он имеет интерес
Тем, что слишком озабоченно
Изучает здешний лес.

Его лапкой перемечены
Все лесные уголки.
Где и делать ему нечего,
Попадается в силки.

<Зима 1952/1953>

26

Сыплет снег и днем и ночью,
Это, верно, строгий бог
Старых рукописей клочья
Выметает за порог.

Все, в чем он разочарован —
Ворох песен и стихов, —
Увлечен работой новой,
Он сметает с облаков.
1950

27

Жилье почуяв, конь храпит,
Едва волочит ноги,
Нас будто съемкою «рапид»
Снимали по дороге.

Мы едем, едем и молчим,
Вполне глухонемые,
Друг другу в спину постучим,
Пока еще живые.

Мне трудно повернуть лицо
К горящим окнам дома,
Я лучше был бы мертвецом,
Меня внесли бы на крыльцо
К каким-нибудь знакомым.
<1952>

28

Костры и звезды. Синий свет
Снегов, улегшихся в распадке
На тысячу, наверно, лет
После метельного припадка.

Не хватит силы у ветров
С метлой ворваться в нашу яму,
Засыпать снегом дым костров,
Шипящее качая пламя.

Не хватит солнца и тепла
У торопящегося лета,
Чтоб выжечь здешний лед дотла,
Дотла — хотя бы раз в столетье.

А мы — мы ищем тишины,
Мы ищем мира и покоя,

И, камнем скал окружены,
Мы спим в снегу. Дурные сны
Отводим в сторону рукою.
<1952>

29

Ты капор развяжешь олений,
Ладони к огню повернешь,
И, встав пред огнем на колени,
Ты песню ему запоешь!

Ты молишься в мертвом молчанье
Видавших морозы мужчин,
Какого-нибудь замечанья
Не сделает здесь ни один.
<1952>

30. ГОСТЬЯ

Не забудь, что ты накрашена
И напудрена слегка,
И одежда не по-нашему,
Не по-зимнему легка.

Горло ты, тонкоголосая,
Крепче кутай в теплый шарф,
Оберни льняными косами,
Чтобы севером дышать.
<1953>

31

Наше счастье, как зимняя радуга
После тяжести туч снеговых,
Прояснившимся небом обрадует
Тех, кто смеет остаться в живых.

Хоть на час, но бенгальским, огненным
Загорится среди снегов
На краях ветрами разогнанных,
Распахнувшихся облаков.
<1953>

32. НОВОГОДНЕЕ УТРО

Рассвет пока еще в полнеба,
Бледнеет медленно луна,
И видно даже из окна:
Вселенная разделена
На ночь и день, просящий хлеба.
Его судьба еще темна,
А ночь прошла уже, как ребус,
Мной не разгаданный вполне
Ни при луне, ни при огне.
И все, что было, все, что сплыло,
Гитарной бешеной струной
Сбивают с ног, мешают с пылью
И топчут в пляске за стеной.

<Январь 1953>

33

Конечно, Оймякон
Не звездное пространство.
Космический закон
Не будет столь пристрастным,

Чтобы заставить нас
Узнать температуру
Далеких звездных масс,
Обжечь земную шкуру.

Далеко за луной,
В окрестностях Сатурна,
Там абсолютный ноль
Земной температуры.

Там во владеньях звезд
(Расчет космогониста)
Господствует мороз,
Так градусов на триста.

А здесь — за шестьдесят,
И спиртовой термометр
В бессилии иссяк,
Не справился с зимою.

Конструктор заводской
Его не приспособил
Учитывать такой
Мороз весьма особый.

Заметили ли вы,
Отсюда, как ни странно,
Дорога до Москвы
Длинней, чем до Урана.

Оптический обман —
Изнанка ностальгии,
Морозный наш туман
Масштабы дал другие.

В рулетках и часах,
В любви и в преступленье,
Чтоб мы о чудесах
Имели представленье.
<Зима 1952/1953>

34

Не дождусь тепла-погоды
В ледяном саду.
Прямо к богу черным ходом
Вечером пойду.

Попрошу у бога места,
Теплый уголок,
Где бы мог я слушать песни
И писать их мог.

Я б тихонько сел у печки,
Шевелил дрова,
Я б выдумывал без свечки
Теплые слова.

Тают стены ледяные,
Тонет дом в слезах.
И горят твои ночные
Влажные глаза.
<Зима 1952/1953>

35

Поднесу я к речке свечку,
И растает лед.
Больше мне, наверно, нечем
Удивить народ.

Это сделать очень просто,
Если захочу.
Лишь свеча бы с речку ростом,
Речка — со свечу.

1950

36

Собаки бесшумно, как тени,
Мелькают на лунном снегу.
Седые ложатся олени,
Почуявшие пургу.

А вечер безоблачен, светел,
Но в сторону клонится дым,
И чуть ощутимый ветер
К ногам подползает моим.

И надо уже торопиться,
Защиту в ущелье искать.
Минута — и не пробиться
Сквозь снеговой каскад.

Все бьет, все слепит и воет,
Пронзительно свищут леса,
И близко над головою
Изорванные небеса.

Упругая, ледяная
Идет ветровая стена.
А ты и на ощупь не знаешь —
Земля это или луна.

В оленьем мешке на память
Стихи читай и учи,
Пока ледяная заметь
Беснуется и кричит.

Пурга устает не скоро,
Внезапно замолкнет она.
И снова — тишайшие горы
И ласковая луна.

Из гор выползают собаки,
Олени в упряжку встают.
И в меховой рубахе
Подходит к саням каюр.

<Зима 1952/1953>

37

Скользи, оленья нарта,
Взлетай, хорей,
Метельной ночью марта.
Скорей, скорей, скорей!

Какие тут уж карты,
Какой компас,
Ремнем привязан к нарте,
И слезы льют из глаз.

Одна с другою схожи
Вершины гор.
Мы путь найти не можем,
Запутанный пургой.

Вперед летит упряжка
В метельной тьме.
Олени дышат тяжко,
Уже конец зиме.

Оленям все знакомо
В пути лесном.
Они везде — как дома,
Тайга — их дом.

Бежать устанут — лягут,
Не побегут,
А голодны — так ягель
Выроют в снегу.

Карманы моей шубы
Набиты молоком,
Полны вчерашним супом —
Мороженым пайком.

Скользи, оленья нарта,
Морозной тьмой,
Бурлящей ночью марта,
Домой, домой, домой…
<1953>

38

Все те же снега Аввакумова века.
Все та же раскольничья злая тайга,
Где днем и с огнем не найдешь человека,
Не то чтобы друга, а даже врага.
1950

39

Спектральные цвета
Сверкают в лунном нимбе,
Земная красота
На небеса проникла.

Ее поднял мороз,
Тянущий к небу дымы
От труб печных до звезд
Ночных неудержимо.

И на седых кустах,
Недвижных, точно в склепе,
Морозный тот хрусталь
Блестит великолепьем.

Зубчатый синий лед —
Модель речного плеска,
Его пурга метет
И ватой трет до блеска.

Лег иней на камнях,
Еще тепло хранящих,

Забыв о летних днях
Среди воды бурлящей.

Мы тоже, как они,
В серебряной одежде.
В лесу мы видим сны,
А не в лесу, так где же?
<Зима 1952/1953>

40. ШКОЛА В БАРАГОНЕ

Из лиственниц жестких и голых,
Блистательных мерзлых кустов
Выходим к бревенчатой школе
Окошками на восток.

Внутри — застекленные двери,
Уроков идет тишина.
Слышны лишь скрипящие перья,
И тишина слышна.

Мы сядем за школьную парту,
Тетрадки ребят развернем,
Вот это, наверное, — нарта,
А это — высотный дом.

Дома городские рисуют,
Масштабы по-детски дают,
И даже у самых разумных
Заметно влияние юрт.

Они уточняют задачу,
На конус строенья свели.
Жилье — это юрта, значит,
Да здравствует реализм!

И дверь этой стройки высотной
До крыши, как в юрте, дошла.
Художник, взволнованный, потный,
Лежит поперек стола.

Так мы рисовали когда-то
Таинственный эвкалипт,

С детьми капитана Гранта
Входили в морской залив…

Вертится новешенький глобус,
Пробирки в штативе блестят…
Ребята, глядящие в оба,
Учительница ребят…

Классный журнал для отметок,
Бумаги целая десть…
Школа как школа. И в этом
Самое чудо и есть.
<1952>

41

Не гляди, что слишком рано,
Все равно нам спать пора.
Завели басы бурана
И метели тенора.

От симфоний этих снежных,
Просвистевших уши мне,
Никогда не буду нежным,
Не доверюсь тишине.
1952

42

Визг и шелест ближе, ближе.
Завивается снежок.
Это к нам идет на лыжах
Снеговой якутский бог.

Добрый вечер, бог метели,
Ты опять, как в прошлый раз,
Нас запрешь на две недели,
От лихих укроешь глаз.

Хлопья снега птичьей стаей
За тобою вслед летят,
Визг метели нарастает,
И густеет снегопад.
<1952?>

43. ЕДУ

Олений мех, как будто мох,
Набросан на зверей.
Такие шкуры кто бы мог
Поставить у дверей.

Запрячь их в легкий экипаж —
Нельзя уж легче быть,
Легко и ехать, и упасть,
И прямо к ангелам попасть —
Хранителям судьбы.

Куда спокойней самолет,
Брезентовый биплан.
С него не грохнешься на лед,
Пока пилот не пьян.

Каюр, привязывай меня!
Лечу! Мне все равно
Погибнуть где-нибудь в камнях
Предсказано давно.
<1952>

44

Где же детское, пережитое,
Вываренное в щелоках.
То, чего теперь я не достоин,
По уши увязший в пустяках.

Матери моей благословенье.
Невеселые прощальные слова
Память принесла, как дуновенье,
Как дыханье — будто ты жива...
<Декабрь 1952>

45

Я тебе — любой прохожей,
Женщина, — махну рукой,
Только было бы похоже,
Что знакома ты с тоской.

Ты поймешь меня с намека
И заплачешь о своем,
О схороненном глубоко,
Неожиданно родном.

Только так, а не иначе,
А иначе закричу.
В горле судороги плача,
Целоваться не хочу.
<1953>

46

Я сплю в постелях мертвецов
И вижу сны, как в детстве.
Не все ль равно, в конце концов,
В каком мне жить соседстве.

Любой мертвец меня умней,
Серьезней и беспечней.
И даже, кажется, честней,
Но только не сердечней.
<1952>

47

Погляди, городская колдунья,
Что придумала нынче луна.
Георгинов, тюльпанов, петуний
Незнакомые, злые тона.

Изменился не цвет, не рисунок,
Изменилась душа у цветов.
Напоил ее тлеющий сумрак
Ядовитою росной водой.

Ты стряхни эту грусть, эту горесть,
Утешенья цветам нашепчи.
В пыль стряхни этот яд, эту хворость,
Каблуками ее затопчи.
<1953>

48

Чем ты мучишь? Чем пугаешь?
Как ты смеешь предо мной
Хохотать, почти нагая,
Озаренная луной?

Ты, как правда, — в обнаженье
Останавливаешь кровь.
Мне мучительны движенья
И мучительна любовь...
<1953>

49

В закрытой выработке, в шахте,
Горю остатками угля.
Здесь смертный дух, здесь смертью пахнет
И задыхается земля.

Последние истлеют крепи,
И рухнет небо мертвеца,
И, рассыпаясь в пыль и пепел,
Я домечтаю до конца.

Я быть хочу тебя моложе.
Пока еще могу дышать.
Моя шагреневая кожа —
Моя усталая душа.
<1952>

50

Басовый ключ.
Гитарный строй.
Григорьева отрава.
И я григорьевской струной
Владеть имею право.

И я могу сыграть, как он,
С цыганским перебором.
И выдать стон за струнный звон
С веселым разговором.

На ощупь нота найдена
Дрожащими руками.
И тонко тренькает струна,
Зажатая колками.

И хриплый аккомпанемент
Расстроенной гитары
Вдруг остановит на момент
Сердечные удары.

И я, что вызвался играть,
Живу одной заботой —
Чтоб как-нибудь не потерять
Найденной верной ноты.

<1953>

51

Я отступал из городов,
Из деревень и сел,
Средь горных выгнутых хребтов
Покоя не нашел.

Здесь ястреб кружит надо мной,
Как будто я — мертвец,
Мне места будто под луной
Не стало наконец.

И повеленье ястребов
Не удивит меня,
Я столько видел здесь гробов,
Закопанных в камнях.

Тот, кто проходит Дантов ад,
Тот помнит хорошо,
Как трудно выбраться назад,
Кто раз туда вошел.

Сквозь этот горный лабиринт
В закатном свете дня
Протянет Ариадна нить
И выведет меня

К родным могилам, в сад весны,
На теплый чернозем,
Куда миражи, грезы, сны
Мы оба принесем.
<1953>

52. ВОЛШЕБНАЯ АПТЕКА

Блестят стеклянные шары
Серебряной латынью,
Что сохранилась от поры,
Какой уж нет в помине.

И сумасбродный старичок,
Почти умалишенный,
Откинул ласково крючок
Дверей для приглашенных.

Он сердце вытащил свое,
Рукой раздвинул ребра,
Цедит целебное питье
Жестоким и недобрым.

Там литер — черный порошок
В пробирках и ретортах,
С родной мечтательной душой
Напополам растертый.

Вот это темное питье —
Состав от ностальгии.
Учили, как лечить ее,
Овидий и Вергилий.

А сколько протянулось рук
За тем волшебным средством,
Что вопреки суду наук
Нас возвращает в детство.

Аптекарь древний, подбери,
Такие дай пилюли,
Чтоб декабри и январи
Перевернуть в июли.

И чтобы, как чума, дотла
Зараза раболепства
Здесь уничтожена была
Старинным книжным средством.

И чтоб не видел белый свет
Бацилл липучей лести,
И чтоб свели следы на нет
Жестокости и мести...

Толпа народа у дверей,
Толпа в самой аптеке,
И среди тысячи людей
Не видно человека,

Кому бы не было нужды
До разноцветных банок,
Что, молча выстроясь в ряды,
Играют роль приманок.
<1953>

53. РОНСЕВАЛЬ

Когда-то пленен я был сразу
Средь выдумок, бредней и врак
Трагическим гордым рассказом
О рыцарской смерти в горах.

И звуки Роландова рога
В недетской, ночной тишине
Сквозь лес показали дорогу
И Карлу, и, может быть, мне.

Пришел я в ущелья такие,
Круты, и скользки, и узки,
Где молча погибли лихие
Рыцарские полки.

Я видел разбитый не в битве,
О камень разломанный меч —
Свидетель забытых событий,
Что вызвались горы стеречь.

И эти стальные осколки
Глаза мне слепили не раз,
В горах не тускнеет нисколько
О горьком бессилье рассказ.

И рог поднимал я Роландов,
Изъеденный ржавчиной рог.
Но темы той грозной баллады
Я в рог повторить не мог.

Не то я трубить не умею,
Не то в своей робкой тоске
Запеть эту песню не смею
С заржавленным рогом в руке.
<1953?>

54

Шагай, веселый нищий,
Природный пешеход,
С кладбища на кладбище
Вперед. Всегда вперед!
<1952>

55. РЫЦАРСКАЯ БАЛЛАДА

Изрыт копытами песок,
Звенит забрал оправа,
И слабых защищает бог
По рыцарскому праву.

А на балконе ты стоишь,
Девчонка в платье белом,
Лениво в сторону глядишь,
Как будто нет и дела

До свежей крови на песке,
До человечьих стонов.
И шарф, висящий на руке,
Спускается с балкона.

Разрублен мой толедский шлем,
Мое лицо открыто.

И, залит кровью, слеп и нем,
Валюсь я под копыта.

И давит грудь мое копье,
Проламывая латы.
И вижу я лицо твое,
Лицо жены солдата.

Как черный ястреб на снегу,
Нахмуренные брови
И синеву безмолвных губ,
Закушенных до крови.

И бледность вижу я твою,
Горящих глаз вниманье.
Шатаясь, на ноги встаю
И прихожу в сознанье.

Тяжел мой меч, и сталь крепка,
Дамасская работа.
И тяжела моя рука
Вчерашнего илота.

Холодным делается зной
Полуденного жара,
Остужен мертвой тишиной
Последнего удара.

Герольд садится на коня
Удар прославить меткий,
А ты не смотришь на меня
И шепчешься с соседкой.

Я кровь со лба сотру рукой,
Иду, бледнее мела,
И поднимаюсь на балкон —
Встаю пред платьем белым.

Ты шарф узорный разорвешь
И раны перевяжешь.
И взглянешь мне в глаза и все ж
Ни слова мне не скажешь.

Я бился для тебя одной,
И по старинной моде
Я назову тебя женой
При всем честном народе.
<1952>

56

Квадратное небо и звезды без счета.
Давно бы на дно провалилось оно,
И лишь переплеты железных решеток
Его не пускают в окно.

Весь мир на цепи. Он сюда не прорвется,
К свободе, что жадно грызет сухари,
И ждет, пока ей в этом черном колодце
Назначат свиданье цари.
<1952>

57

В этой стылой земле, в этой каменной яме
Я дыханье зимы сторожу.
Я лежу, как мертвец, неестественно прямо
И покоем своим дорожу.

Нависают серебряной тяжестью ветви,
И метелит метель на беду.
Я в глубоком снегу, в позабытом секрете.
И не смены, а смерти я жду.
<1952?>

58

Воспоминания свободы
Всегда тревожны и темны.
В них дышат ветры непогоды,
И душат их дурные сны.

Избавлен от душевной боли,
От гнета были сохранен
Кто не свободу знал, а волю
Еще с ребяческих времен.

Она дана любому в детстве,
Она теряется потом
В сыновних спорах о наследстве,
В угрозах местью и судом.
<1953?>

59

Я пил за счастье капитанов,
Я пил за выигравших бой.
Я пил за верность и обманы,
Я тост приветствовал любой.
Но для себя, еще не пьяный,
Я молча выпил за любовь.

Я молча пил за ожиданье
Людей, затерянных в лесах,
За безнадежные рыданья,
За веру только в чудеса!
За всемогущество страданья,
За снег, осевший в волосах.

Я молча пил за почтальонов,
Сопротивлявшихся пурге,
Огнем мороза опаленных,
Тонувших в ледяной шуге,
Таща для верных и влюбленных
Надежды в кожаном мешке.

Как стая птиц взлетят конверты,
Вытряхиваемые из мешка,
Перебираемые ветром,
Кричащие издалека,
Что мы не сироты на свете,
Что в мире есть еще тоска.

Нечеловеческие дозы
Таинственных сердечных средств
Полны поэзии и прозы,
А тем, кто может угореть,
Спасительны, как чистый воздух,
Рассеивающий бред.

Они не фраза и не поза,
Они наука мудрецам,
И их взволнованные слезы —
Вода живая мертвецам.
И пусть все это только грезы,
Мы верим грезам до конца.
<1953>

60. БАРАТЫНСКИЙ

Робинзоновой походкой
Обходя забытый дом,
Мы втроем нашли находку —
Одинокий рваный том.

Мы друзьями прежде были,
Согласились мы на том,
Что добычу рассудили
Соломоновым судом.

Предисловье на цигарки.
Первый счастлив был вполне
Неожиданным подарком,
Что приснится лишь во сне.

Из страничек послесловья
Карты выклеил второй.
Пусть на доброе здоровье
Занимается игрой.

Третья часть от книги этой —
Драгоценные куски,
Позабытого поэта
Вдохновенные стихи.

Я своей доволен частью
И премудрым горд судом…
Это было просто счастье —
Заглянуть в забытый дом.
1949

61

Платочек, меченый тобою,
Сентиментальный твой платок
Украшен строчкой голубою,
Чтобы нежнее быть я мог.

Твоей рукой конвертом сложен,
И складки целы до сих пор,
Он на письмо твое похожий,
На откровенный разговор.

Я наложу платок на рану,
Остановлю батистом кровь.
И рану свежую затянет
Твоя целебная любовь.

Он бережет прикосновенья
Твоей любви, твоей руки.
Зовет меня на дерзновенья
И подвигает на стихи.

<Ок. 1952>

62

Лезет в голову чушь такая,
От которой отбиться мне
Можно только, пожалуй, стихами
Или все утопить в вине.

Будто нет для меня расстояний
И живу я без меры длины,
Будто худшим из злодеяний
Было то, что наполнило сны.

Будто ты поневоле близко,
И тепло твоего плеча
Под ладонью взорвется, как выстрел,
Злое сердце мое горяча.

Будто времени нет — и, слетая
Точно птица ко мне с облаков,
Ты по-прежнему молодая
Вдохновительница стихов.

Это все суета — миражи,
Это — жить чтобы было больней.
Это бред нашей ямы овражьей,
Раскалившейся на луне.
<Ок. 1952>

63. КАМЕЯ

На склоне гор, на склоне лет
Я выбил в камне твой портрет.
Кирка и обух топора
Надежней хрупкого пера.

В страну морозов и мужчин
И преждевременных морщин
Я вызвал женские черты
Со всем отчаяньем тщеты.

Скалу с твоею головой
Я вправил в перстень снеговой,
И, чтоб не мучила тоска,
Я спрятал перстень в облака.
Зима 1952/1953

64

Я песне в день рождения
Ее в душе моей
Дарю стихотворение —
Обломок трудных дней.

Дарю с одним условьем,
Что, как бы ни вольна,
Ни слез, ни нездоровья
Не спрятала б она.

По-честному не стоит
И думать ей о том,
Что все пережитое
Покроется быльем.
<1952>

65

Небеса над бульваром Смоленским
Покрывали такую Москву,
Что от века была деревенской,
И притом напоказ, наяву.

Та, что верила снам и приметам
И теперь убедилась сама:
Нас несчастье не сжило со света,
Не свело, не столкнуло с ума.
<1952>

66

Сколько писем к тебе разорвано!
Сколько пролито на пол чернил!
Повстречался с тоскою черною
И дорогу ей уступил.

Ты, хранительница древностей,
Милый сторож моей судьбы,
Я пишу это все для верности,
А совсем не для похвальбы.
<1953>

67

Мостовая моя торцовая,
Воровские мои места.
Чем лицо твое облицовано,
Неумытая красота?

Где тут спрятаны слезы стрелецкие,
Где тут Разина голова?
Мостовая моя недетская,
Облицованная Москва.

И прохожих плевки и пощечины
Водяной дробленой струей
Смоют дворники, озабоченно
Наблюдающие за Москвой.
<1952>

68

Я, как мольеровский герой,
Как лекарь поневоле,
И самого себя порой
Избавлю ли от боли.

О, если б память умерла,
А весь ума остаток,
Как мусор, сжег бы я дотла
И мозг привел в порядок.

Я спал бы ночью, ел бы днем
И жил бы без оглядки,
И в белом сумраке ночном
Не зажигал лампадки.

А то подносят мне вино
Лечить от огорченья,
Как будто в том его одно
Полезное значенье.
<1953?>

69

Ради бога, этим летом
В окна, память, не стучи,
Не маши рукой приветы.
А пришла, так помолчи.

И притом, почем ты знаешь,
Память глупая моя,
Чем волнуюсь, чем страдаю,
Чем болею нынче я?

Проноси скорее мимо,
Убирай навеки с глаз
И альбом с видами Крыма,
И погибельный Кавказ.

Злые призраки столицы
В дымном сумраке развей,

Скрой томительные лица
Подозрительных друзей.

Открывай свои шкатулки,
Покажи одно лицо,
В самом чистом переулке
Покажи одно крыльцо.

Хочешь, память, отступного,
Только с глаз уйди скорей,
Чтобы к самому больному
Не открыла ты дверей.
<*1953?*>

70

Как ткань сожженная, я сохраняю
Рисунок свой и внешний лоск,
Живу с людьми и чести не роняю
И берегу свой иссушенный мозг.

Все, что казалось вам великолепьем,
Давно огонь до нитки пережег.
Дотронься до меня — и я рассыплюсь в пепел,
В бесформенный, аморфный порошок.
<*1953*>

71

Я нынче вновь в исповедальне,
Я в келье каменной стою
В моем пути, в дороге дальней
На полпути — почти в раю.

Ошибкой, а не по привычке
Я принял горные ключи
За всемогущие отмычки,
Их от ключей не отличил.

Дорогой трудной, незнакомой
Я в дом стихов вошел в ночи.
Так тихо было в мертвом доме,
Темно — ни лампы, ни свечи.

Я положил на стол тетрадку
И молча вышел за порог.
Я в дом стихов входил украдкой
И сделать иначе не мог.

Я подожду, пока хлеб-солью
Меня не встретят города,
И со своей душевной болью
Я в города войду тогда.
<1953>

72. ПЕС

Вот он лежит, поджавши лапы,
В своей немытой конуре,
Ему щекочет ноздри запах
Следов неведомых зверей.

Его собачьи дерзновенья
Умерит цепь, умерит страх,
А запах держится мгновенье
В его резиновых ноздрях.

Еще когда он был моложе,
Он заучил десяток слов,
Их понимать отлично может
И слушать каждого готов.

А говорить ему не надо,
И объясняться он привык
То пантомимою, то взглядом,
И ни к чему ему язык.

Пожалуй, только лишь для лая,
Сигнала для ночных тревог,
Чтобы никто к воротам рая
Во тьме приблизиться не мог.

Его зубастая улыбка
Не нарушает тишины.
Он подвывает только скрипке,
И то в присутствии луны.

Он дорожит собачьей службой
И лает, лает что есть сил,
Что вовсе было бы не нужно,
Когда б он человеком был.
<1949–1953?>

73

Стой! Вращенью земли навстречу
Телеграмма моя идет.
И тебе в тот же час, в тот же вечер
Почтальон ее принесет.

Поведи помутившимся взглядом,
Может быть, я за дверью стою
И живу где-то в городе, рядом,
А не там, у земли на краю.

Позабудь про слова Галилея,
От безумной надежды сгори
И, таежного снега белее,
Зазвеневшую дверь отвори.
<1953>

74

Синей дали, милой дали
Отступает полукруг,
Где бы счастье ни поймали —
Вырывается из рук.

И звенящие вокзалы,
И глухой аэродром —
Все равно в них толку мало,
Если счастье бросит дом.

Мы за этим счастьем беглым
Пробираемся тайком,
Не верхом, не на телегах.
По-старинному — пешком.

И на лицах пешеходов
Пузырится злой загар,

Их весенняя погода
Обжигает, как пурга.

<1953>

75

Я жаловался дереву,
Бревенчатой стене,
И дерева доверие
Знакомо было мне.

С ним вместе много плакано,
Переговорено,
Нам объясняться знаками
И взглядами дано.

В дому кирпичном, каменном
Я б слова не сказал,
Годами бы, веками бы
Терпел бы и молчал.

<Конец 1953?>

76. АВГУСТ

Вечер. Яблоки литые
Освещают черный сад,
Точно серьги золотые,
На ветвях они висят.

Час стремительного танца
Листьев в вихрях ветровых,
Золоченого багрянца
Неба, озера, травы.

И чертят тревожно птицы
Над гнездом за кругом круг,
То ли в дом им возвратиться,
То ли тронуться на юг.

Медленно темнеют ночи,
Еще полные тепла.
Лето больше ждать не хочет,
Но и осень не пришла.

Декабрь 1953

77

Есть состоянье истощенья,
Где незаметен переход
От неподвижности к движенью
И — что странней — наоборот.

Все дело здесь такого рода,
Как вы легко понять могли:
Дождем крапленая колода
Ва-банк играющей земли.

Где грош и то поставлен на кон,
Ведь вся земная красота
Не признает бумажных знаков
И кровь меняет на металл.

Свой рубль, волшебный, неразменный,
Я бросил в эту же игру,
Чтоб заползти вполне нетленным
В любую снежную нору.
1951

78

Старинной каменной скульптурой
Лес окружен со всех сторон.
В деревьев голых арматуру
Прольется воздух, как бетон.

За тучу, прямо в поднебесье,
Зацепит месяца багор,
И все застынет в дикой смеси
Земли и неба, туч и гор.

И мы глядим на ту картину,
Пока глаза не заболят.
Она нам кажется рутиной,
Рутиной сказок и баллад.
1951

Все так. Но не об этом речь,
Что больно навзничь в камни лечь.
Ведь успокоится любой
Сближеньем с далью голубой.

Но, прячась за моей спиной,
Лежит и дышит шар земной,
Наивно веря целый день
В мою спасительную тень.

Как будто все его грехи
Я мог бы выплакать в стихи
И исповедался бы сам
Самолюбивым небесам.

Он знает хорошо, что я —
Не только искренность моя.
Слова чужие, как свои,
Я повторяю в забытьи.
Он знает, что не так, как с ним, —
Мы проще с небом говорим...
1952

80

В часы ночные, ледяные,
Осатанев от маеты,
Я брошу в небо позывные
Семидесятой широты.

Пускай геолог бородатый,
Оттаяв циркуль на костре,
Скрестит мои координаты
На заколдованной горе,

Где, как Тангейзер у Венеры,
Плененный снежной наготой,
Я двадцать лет живу в пещере,
Горя единственной мечтой,

Что, вырываясь на свободу
И сдвинув плечи, как Самсон,
Обрушу каменные своды
На многолетний этот сон.
<1953>

81

Я коснулся сказки —
Сказка умерла,
Ей людская ласка
Гибелью была.

Мотыльком в метели
Пряталась она,
На свету летела
Около окна.

Хлопья снега были
Вроде мотыльков,
Пущенных на крыльях
С низких облаков.

Выйду в дали снежные,
Слезы по лицу.
Сдую с пальцев нежную
Белую пыльцу.
<1953?>

82

Память скрыла столько зла —
Без числа и меры.
Всю-то жизнь лгала, лгала.
Нет ей больше веры.

Может, нет ни городов,
Ни садов зеленых,
И жива лишь сила льдов
И морей соленых.

Может, мир — одни снега,
Звездная дорога.
Может, мир — одна тайга
В пониманье бога.
1951

83

Как Архимед, ловящий на песке
Стремительную тень воображенья,
На смятом, на изорванном листке,
Последнее черчу стихотворенье.

Я знаю сам, что это не игра,
Что это смерть... Но я и жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развернутой тетради.
<1953 — конец 1960-х>

84. АТОМНАЯ ПОЭМА

ВСТУПЛЕНИЕ

Хрустели кости у кустов,
И пепел листьев и цветов
Посеребрил округу.

А то, что не пошло на слом,
Толкало ветром и огнем
В объятия друг другу.

Мне даже в детстве было жаль
Лесную выжженную даль,
И черный след пожара

Всегда тревожит сердце мне.
Причиной может быть вполне
Сердечного удара,

Когда деревья-мертвецы
Переплетались, как борцы
На цирковой арене,

Под черным шелковым трико
Их мышцы вздыбились клубком,
Застыв в оцепененье.

А вечер был недалеко,
Сливал парное молоко,
Лечил бальзамом раны.

И слой за слоем марлю клал
И вместо белых одеял
Закутывал туманом.

Мне все казалось, что они
Еще вернутся в наши дни
Со всей зеленой силой.

Что это только миг, момент,
Они стоят, как монумент,
На собственной могиле,

Что глубоко в земле, в корнях
Живет мечта о новых днях,
Густеют жизни соки.

И вновь в лесу, что был сожжен,
Сомкнутся изумруды крон,
Поднявшихся высоко.

I

Ведь взрослому еще слышней
Шуршанье уходящих дней —
Листочков календарных,

Все ярче боль его замет,
Все безотвязней полубред
Его ночей угарных.

А боль? Что делать нынче с ней?
Обличье мира все грозней.
Научные разгадки

Одну лишь смерть земле несут,
Как будто близок Страшный Суд
И надо бросить прятки.

И от ковчеговых кают
Ракеты мало отстают
В своем стремленье к звездам.

И каждый отыскать бы рад
На Бетельгейзе Арарат,
Пока еще не поздно.

Он там причалит на ночлег
Свой обтекаемый ковчег,
И, слезы вытирая,

Там перед новою луной
Протянет руки новый Ной,
Избавленный от рая,

И дунет в чуткую зурну,
И дернет тонкую струну,
Дрожащую в миноре,

И при звездах, и при луне
На ближней радиоволне
Он запоет про горе.

И, перемножив ширину
Площадки звездной на длину,
В уме расчет прикинув,

Он снова вспомнит старину
И пожалеет ту страну,
Которую покинул...

II

Исчезли, верно, без следа
И сказкой кажутся года
И выглядят, как небыль,

Когда хватало хлеба всем,
Когда подобных странных тем
Не выносило небо.

Когда усталыми людьми,
Как на работе лошадьми,
Не управляли плетью,

Когда в сырой рассветной мгле
Не видно было на земле
Двадцатого столетья.

Когда так много было Мекк
И человека человек
Назвать пытался братом,

Когда не чествовалась лесть
И не растаптывалась честь,
Не расщеплялся атом.

III

То расщепленное ядро
Нам мира вывернет нутро —
Гремучую природу.

Отяжелевшая вода,
Мутясь, откроет без труда
Значенье водорода.

Липучей зелени листок,
Прозрачный розы лепесток —
Они — как взрыв — в засаде.

И, приподняв покров земной,
Мир предстает передо мной
Артиллерийским складом.

Мы лишь теперь понять могли
Все лицемерие земли,
Коварство минерала.

И облака, и чернозем,
Что мы материей зовем, —
Все стало матерьялом

Убийства, крови и угроз,
И кажутся разряды гроз
Ребяческой игрушкой.

И на опушке в тишине
Нам можно сравнивать вполне
С любой хлопушкой пушку.

Мир в существе своем хранит
Завороженный динамит,
В цветах таится злоба,

И наша сонная сирень
Преодолеет сон и лень
И доведет до гроба.

И содрогнется шар земной,
И будет тесно под луной,
И задрожит сейсмолог.

К виску приблизит пистолет,
И Новый грохнется Завет
На землю с книжных полок.

IV

В масштабе малом иногда
Показывала нам вода
Капризы половодья.

Сметая зданья и леса,
Их возносила в небеса,
В небесные угодья.

Но это были пустяки,
Годились только на стихи.
И бедный Всадник Медный,

Когда покинул пьедестал,
Внезапно сам от страха стал
Зеленовато-бледный.

Когда же нам концерт давал
Какой-нибудь девятый вал —
Подобье преисподней,

То только на морской волне,
Вдруг устремившейся к луне
И к милости Господней.

Без уваженья к сединам
Подчас взрывало сердце нам
Отвергнутой любовью.

Мы покупали пистолет
И завещали наш скелет
На доброе здоровье

В анатомический музей,
А для романтиков-друзей
На пепельницу череп.

И с честной горечью в крови
Мы умирали от любви,
Какой теперь не верят…

Но эти выпады реки
Бывали слабы и мелки
И зачастую личны.

Такая ж сила, как любовь,
Не часто проливала кровь,
Удержана приличьем.

V

Что принимал я сорок лет
Лишь за черемуховый цвет,
За вербные початки —

Все нынче лезет в арсенал —
Вполне военный матерьял —
Подобие взрывчатки.

И это страшное сырье
В мое ворвалось бытие
В зловещей смертной маске,

Готово убивать и мстить,
Готово силой рот закрыть
Состарившейся сказке.

Но я не знаю, как мне жить,
И я не знаю, как мне быть:
Травиться иль опиться,

Когда ядро в любом цветке,
В любом точеном лепестке
Готово расщепиться.

VI

У нас отнимут желтый клен,
У нас отнимут горный склон
И капли дождевые.

Мы больше не поверим им,
Мы с недоверием глядим.
Ведь мы еще живые.

Мы ищем в мире для себя,
Чему бы верили, любя,
И наших глаз опорой

Не будут лилий лепестки
И сжатые в руках реки
Задумчивые горы.

Но нам оставят пульс планет,
Мерцающий небесный свет,
Почти что невесомый,

Давленье солнца и луны,
Всю тяжесть звездной тишины,
Так хорошо знакомой.

Мы ощущали ярче всех
Значенье этих светлых вех,
Их странное давленье.

И потому для наших мук
Оставят только свет и звук
До светопреставленья.

Ведь даже в тысячу веков
Нам не исчерпать всех стихов,
Просящихся на перья.

И, потеряв привычный мир,
Мы требуем для арф и лир
Особого доверья.

VII

Все то, что знал любой поэт
Назад тому пять тысяч лет,
Теперь ученый-физик,

Едва не выбившись из сил,
Лабораторно воскресил,
Снабдил научной визой.

Ему медали и венки,
Забыты древние стихи,
Овидия прозренье,

Что удивить могло бы свет,
Как мог вместить его поэт
В одно стихотворенье.

И слишком страшно вспоминать,
Как доводилось умирать
Чудесным тем провидцам.

Их отправляли много раз
Кончать пророческий рассказ
В тюрьму или в больницу.

И в наши дни науке дан,
Подсказан гениальный план
Каким-нибудь Гомером.

И озаряют сразу, вдруг,
Путь положительных наук
Его стихи и вера,

Его могущество и власть,
Которым сроду не пропасть,
Навек не размельчиться,

Хотя бы все, что под рукой,
Дыша и злобой и тоской,
Желало б расщепиться.

VIII

И раньше божия рука
Карала мерзости греха,
Гнала из рая Еву.

И даже землю сплющил бог,
Когда он удержать не мог
Прорвавшегося гнева.

Быть может, у природы есть
Желанье с нами счеты свесть
В физическом явленье

За безнаказанность убийц,
За всемогущество тупиц
И за души растленье.

За всю людскую ложь, обман,
Природа мстить любой из стран
Уже давно готова.

За их поруганную честь
Готовит атомную месть,
Не говоря ни слова.

IX

У всех свое добро и зло,
Свой крест и кормчее весло.
Но есть закон природы.

Что всех, кого не свалит с ног,
Тех разгоняет жизни ток
К анодам и катодам.

Родится жесткий разговор
Больному сердцу вперекор
О долге и о славе.

Но как же сплавить те мечты
И надмогильные кресты
В кладбищенской оправе?

И это, верно, не про нас
Тот умилительный рассказ
И Диккенса романы.

Ведь наши версты велики,
Пещеры наши глубоки
И холодны лиманы,

И в разности температур
Гренландий и Эстремадур —
Такая есть чрезмерность,

Что каждому не хватит сил,
Чтоб мог, умел и воскресил
Свою былую верность,

Чтоб были снова заодно.
Не называли жизни дно
Благоуханным небом.

А если это не дано —
Не открывали бы окно,
Не подавали хлеба.

Ведь даже дружба и семья
Служить опорой бытия
Подчас уже не могут.

И каждый ищет в темноте
Своей обманутой мечте
Особую дорогу.

Мне впору только в петлю лезть,
Мне надоели ложь и лесть
И рабские поклоны.

Но где ж мне отыскать надежд,
Чтобы заполнить эту брешь
Совместной обороны?

И на обрывистом краю
Преодолею я свою
Застенчивость и робость.

Не веря век календарю,
Я с удивлением смотрю
На вырытую пропасть.

Но я туда не упаду,
Я удержусь на скользком льду,
На тонком и на ломком,

Где дует ветер прежних лет
И заметает чей-то след
Крутящейся поземкой.

X

Провозглашают петухи
Свои наивные стихи,
Дерут петушьи глотки,

И вздрагивают от волны,
Еще удерживая сны,
Прикованные лодки.

А морю кажется, что зря
Их крепко держат якоря
Заржавленною цепью,

Что нам пора бы плыть туда,
Где молча горбится вода
Распаханною степью,

Где море то же, что земля,
Оно похоже на поля
С поднятой целиною,

Как будто божия соха,
Архангеловы лемеха
Копались в перегное.

Что, если б лодки настигал
На полпути бродячий шквал,
Он по добросердечью

Их обошел и пощадил,
Не закопал бы в мутный ил
И сохранил от течи.

А если б за живых гребцов
В них посадили мертвецов,
Отнюдь не самозванцев,

Они блуждали б среди шхер
Не хуже прочих, на манер
Летучего Голландца.

XI

Когда-нибудь на тусклый свет
Бредущих по небу планет
И вытащат небрежно

Для опознания примет
Скелет пятидесяти лет,
Покрытый пылью снежной.

Склепают ребра кое-как,
И пальцы мне сведут в кулак,
И на ноги поставят,

Расскажут, как на пустыре
Я рылся в русском словаре,
Перебирал алфавит,

Как тряс овсяным колоском
И жизнь анютиным глазком
Разглядывал с поляны,

Как ненавидел ложь и грязь,
Как кровь на лед моя лилась
Из незаживших раны.

Как выговаривал слова,
Какие знают дерева,
Животные и птицы,

А человеческую речь
Всегда старался приберечь
На лучшие страницы.

И — пусть на свете не жилец —
Я — челобитчик и истец
Невылазного горя.

Я — там, где боль, я — там, где стон,
В извечной тяжбе двух сторон,
В старинном этом споре.

1954

85

Не старость, нет, — все та же юность
Кидает лодку в валуны
И кружит в кружеве бурунов
На гребне выгнутой волны.

И развевающийся парус,
Как крылья чайки, волны бьет,
И прежней молодости ярость
Меня бросает все вперед.

И сохраняющая смелость
И гнев галерного раба —
Такой сейчас вступает в зрелость
Моя горящая судьба.

Ее и годы не остудят,
И не остудят горы льда,

У ней и старости не будет,
По-видимому, никогда...
1954

86. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Какою необъятной властью
Ты в этот день облечена,
Поборница простого счастья,
Как мать, как женщина, жена...

Но, как ни радуется сердце,
А в глубине, на самом дне,
Живет упрямство иноверца,
Оно заветно только мне.

Ты на лице моем не сможешь
Разгладить складок и морщин —
Тайгой протравленный на коже
Рельеф ущелий и лощин.

Твоей — и то не хватит силы,
Чтоб я забыл, в конце концов,
Глухие братские могилы
Моих нетленных мертвецов.

И, понимая с полуслова
Мои желанья и мечты,
Готова вся природа снова
Вписаться в скорбные листы,

Чтоб, выполняя назначенья
Моих знахарок и врачей,
Она сама была леченьем
От одиночества ночей.

Здесь суть и высшее значенье,
И все покорно служит ей:
И шорох трав, и рек теченье,
И резкость солнечных лучей.

Тому, кто выпросил, кто видел
Ее пророческие сны,

Людские боли и обиды
Бывают вовсе не страшны.

И солнце выйдет на заставы,
Забыв про камень городской,
Сушить заплаканные травы
Своей родительской рукой.

Во всяком счастье, слишком зрелом,
Есть червоточинка, изъян,
И только с ним, по сути дела,
Оно вмещается в роман.

Вулканом трещины застонут,
И лава хлынет через край,
Тогда чертит рука Мильтона
Потерянный и Возвращенный рай.

И возмечтать о счастье полном
Решались только дураки,
Что вспять повертывают волны
И шепчут грустные стихи.

Во всяком счастье, порознь жданном,
Есть неоткрытый материк,
Чужая звездная туманность,
Непобежденный горный пик.

Но, не наскучив восхожденьем,
Стремимся к новой высоте,
И каждое твое движенье
Под стать душевной красоте.

Земля нехоженые тропы
Оберегает от людей,
По гроб напуганных потопом
И толкотней ковчежных дней.

На устаревшие двухверстки
Мы полагаться не должны,
И ни Чарджуя, ни Обдорска
Нам измеренья не нужны.

Мы карту новую начертим
Для нашей выдумки — земли,
Куда пути сильнее смерти
Неотвратимо привели.

И в такт лирическим балладам
Романса вздрагивает ритм:
Она идет со мною рядом
И про любовь мне говорит.
<1954>

87

Мы дышим тяжело,
Мы экономим фразы,
Спустившись вниз, в тепло
Сгустившегося газа.

Но здешний кислород,
Расхваленный рекламой,
Почти не лезет в рот,
Хотя он тот же самый,

Который много раз
Когда-то мы вдыхали,
Еще не пяля глаз
На сумрачные дали.

Мы ищем на земле
Соснового озона,
Расцвеченных полей
И летнего сезона.

Целебный кислород
Собрав с лесной опушки,
Сосем, прижавши рот
К резиновой подушке.
<1954?>

88

Едва вмещает голова
Круженье бреда

И эти горькие слова
Тверской беседы.

Иероглифы могильных плит
В дыму метели.
Мы сами тоже, как гранит,
Оледенели.

И лишь руки твоей тепло
Внушит надежду,
Что будет все, судьбе назло,
Таким, как прежде.

И мимо слов и мимо фраз
Вдвоем проходим,
И ты ведешь скупой рассказ
Каким-то кодом.

И у окна придется мне
Пред Новым годом
На лунном корчиться огне
За переводом.

Круженье лет, круженье лиц
И снега бисер,
Клочки разорванных страниц
Последних писем.

И одинокий старый храм
Для «Всех Скорбящих»,
И тот, ненужный больше нам,
Почтовый ящик.

<Конец 1954>

89

Чтоб торопиться умирать,
Достаточны причины,
Но не хочу объектом стать
Судебной медицины.

Я все еще люблю рассвет
Чистейшей акварели,

Люблю луны латунный свет
И жаворонков трели…
<1954?>

90

Я с лета приберег цветы
Для той могилы,
Куда легли бы я и ты
Совсем нагими.

Но я — я все еще живу,
И я не вправе
Лечь в эту мертвую траву
Себя заставить.

Своими я похороню
Тебя руками,
Я ни слезы не уроню
На мерзлый камень.

Я повторю твои слова,
Твои проклятья,
Пускай седеет голова,
Ветшает платье.

И колют мне глаза кусты,
Где без дороги
Шагали только я и ты
Путями бога.
1952

91

Иду, дорогу пробивая
Во мгле, к мерцающей скале,
Кусты ольховые ломая
И пригибая их к земле.

И жизнь надломится, как веха
Путей оставшихся в живых,
Не знавших поводов для смеха
Среди скитаний снеговых.
1951

92

Цветка иссушенное тело
Вторично встретилось с весной,
Оно худело и желтело,
Дрожа под коркой ледяной.

Все краски смыты, точно хлором
Белели пестрые цветы.
Остались тонкие узоры,
Растенья четкие черты.

И у крыльца чужого дома
Цветок к сырой земле приник,
И он опасен, как солома,
Что может вспыхнуть каждый миг.
1950

93. ПЕРЕД НЕБОМ

Здесь человек в привычной позе
Зовет на помощь чудеса,
И пальцем, съеденным морозом,
Он тычет прямо в небеса.

Тот палец — он давно отрезан.
А боль осталась, как фантом,
Как, если высказаться трезво,
Химера возвращенья в дом...

И, как на цезарской арене,
К народу руки тянет он,
Сведя в свой стон мольбы и пени
И жалобный оставив тон.

Он сам — Христос, он сам — Распятый.
И язвы гнойные цинги —
Как воспаленные стигматы
Прикосновения тайги.
<1952>

94. ПОЭТУ

В моем, еще недавнем прошлом,
На солнце камни раскаля,
Босые, пыльные подошвы
Палила мне моя земля.

И я стонал в клещах мороза,
Что ногти с мясом вырвал мне,
Рукой обламывал я слезы,
И это было не во сне.

Там я в сравнениях избитых
Искал избитых правоту,
Там самый день был средством пыток,
Что применяются в аду.

Я мял в ладонях, полных страха,
Седые потные виски,
Моя соленая рубаха
Легко ломалась на куски.

Я ел, как зверь, рыча над пищей.
Казался чудом из чудес
Листок простой бумаги писчей,
С небес слетевший в темный лес.

Я пил, как зверь, лакая воду,
Мочил отросшие усы.
Я жил не месяцем, не годом,
Я жить решался на часы.

И каждый вечер, в удивленье,
Что до сих пор еще живой,
Я повторял стихотворенья
И снова слышал голос твой.

И я шептал их, как молитвы,
Их почитал живой водой,
И образком, хранящим в битве,
И путеводною звездой.

Они единственною связью
С иною жизнью были там,

Где мир душил житейской грязью
И смерть ходила по пятам.

И средь магического хода
Сравнений, образов и слов
Взыскующая нас природа
Кричала изо всех углов,

Что, отродясь не быв жестокой,
Успокоенью моему
Она еще назначит сроки,
Когда всю правду я пойму.

И я хвалил себя за память,
Что пронесла через года
Сквозь жгучий камень, вьюги заметь
И власть всевидящего льда

Твое спасительное слово,
Простор душевной чистоты,
Где строчка каждая — основа,
Опора жизни и мечты.

Вот потому-то средь притворства
И растлевающего зла
И сердце все еще не черство,
И кровь моя еще тепла.
<1954>

95

С годами все безоговорочней
Суждений прежняя беспечность,
Что в собранной по капле горечи
И есть единственная вечность.

Затихнут крики тарабарщины,
И надоест подобострастье,
И мы придем, вернувшись с барщины,
Показывать Господни страсти.

И, исполнители мистерии
В притихшем, судорожном зале,

Мы были то, во что мы верили,
И то, что мы изображали.

И шепот наш, как усилителем
Подхваченный сердечным эхом,
Как крик, ударит в уши зрителя,
И будет вовсе не до смеха.

Ему покажут нашу сторону
По синей стрелочке компаса,
Где нас расклевывали вороны,
Добравшись до живого мяса,

И где черты ее фантазии,
Ее повадок азиатских
Не превзошли ль в разнообразии
Какой-нибудь геенны адской.

Хранили мы тела нетленные,
Как бы застывшие в движенье,
Распятые и убиенные
И воскрешенные к сраженьям.

И бледным северным сиянием
Качая призрачные скалы,
Светили мы на расстоянии
Как бы с какого пьедестала.

Мы не гнались в тайге за модами,
Всю жизнь шагая узкой тропкой,
И первородство мы не продали
За чечевичную похлебку.

И вот, пройдя пути голгофские,
Чуть не утратив дара речи,
Вернулись в улицы московские
Ученики или предтечи.
<1956>

96. КОПЬЕ АХИЛЛА

Когда я остаюсь один,
Я вышибаю клином клин,

Рисую, словно не нарочно,
Черты пугающих картин,
Недавно сделавшихся прошлым.

Былые боли и тщеты
Той молчаливой нищеты
Почти насильно заставляю
Явиться вновь из темноты
Глухого призрачного края.

И в укрепленье чьих-то воль
Здесь героическую роль
Всему дает воспоминанье,
Что причиняло раньше боль,
Что было горем и страданьем.

А мне без боли нет житья,
Недаром слышал где-то я,
Что лечит раны за могилой
Удар целебного копья —
Оружья мертвого Ахилла.
<1952>

97. ПЕРСТЕНЬ

Смейся, пой, пляши и лги,
Только перстень береги.
Ласковый подарок мой
Светлою слезой омой.

Если ты не веришь мне,
При ущербной злой луне
Палец с перстнем отруби,
В белый снег пролей рубин.

И, закутавшись в туман,
Помни — это не обман,
Не закрыть рассветной мглой
Ненаглядный перстень мой.

Проведи перед лицом
Окровавленным кольцом

И закатный перстня цвет
Помни много, много лет.
<Ок. 1953>

98. УТРО СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ

В предсмертных новеньких рубахах
В пасхальном пламени свечей
Стрельцы готовы лечь на плаху
И ожидают палачей.

Они — мятежники — на дыбе
Царю успели показать
Невозмутимые улыбки
И безмятежные глаза.

Они здесь все — одной породы,
Один другому друг и брат,
Они здесь все чернобороды,
У всех один небесный взгляд.

Они затем с лицом нездешним
И неожиданно тихи,
Что на глазах полков потешных
Им отпускаются грехи.

Пускай намыливают петли,
На камне точат топоры.
В лицо им бьет последний ветер
Земной нерадостной поры.

Они с Никитой Пустосвятом
Увидят райский вертоград.
Они бывалые солдаты
И не боятся умирать.

Их жены, матери, невесты
Бесслезно с ними до конца.
Их место здесь — на Лобном месте,
Как сыновьям, мужьям, отцам.

Твердят слова любви и мести,
Поют раскольничьи стихи.

Они — замес того же теста,
Закваска муки и тоски.

Они, не мудрствуя лукаво,
А защищая честь и дом,
Свое отыскивают право
Перед отечества судом.

И эта русская телега
Под скрип немазаных осей
Доставит в рай еще до снега
Груз этой муки, боли всей.

В руках, тяжелых, как оглобли,
Что к небу тянут напослед,
С таких же мест, таких же лобных,
Кровавый разливая свет.

Несут к судейскому престолу
Свою упрямую мольбу.
Ответа требуют простого
И не винят ни в чем судьбу.

И несмываемым позором
Окрасит царское крыльцо
В национальные узоры
Темнеющая кровь стрельцов.
1949–<1954>

99. БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

Попрощаться с сонною Москвою
Женщина выходит на крыльцо.
Бердыши тюремного конвоя
Отражают хмурое лицо.

И широким знаменьем двуперстным
Осеняет шапки и платки.
Впереди — несчитанные версты,
И снега — светлы и глубоки.

Перед ней склоняются иконы,
Люди — перед силой прямоты

Неземной — земные бьют поклоны
И рисуют в воздухе кресты.

С той землей она не будет в мире,
Первая из русских героинь,
Знатная начетчица Псалтыри,
Сторож исторических руин.

Возвышаясь над толпой порабощенной,
Далеко и сказочно видна,
Непрощающей и непрощеной
Покидает торжище она.

Это — веку новому на диво
Показала крепость старина,
Чтобы верил даже юродивый
В то, за что умрет она.

Не любовь, а бешеная ярость
Водит к правде божию рабу.
Ей гордиться — первой из боярынь
Встретить арестантскую судьбу.

Точно бич, раскольничье распятье
В разъяренных стиснуто руках,
И гремят последние проклятья
С удаляющегося возка.

Так вот и рождаются святые,
Ненавидя жарче, чем любя,
Ледяные волосы сухие
Пальцами сухими теребя.
1950

100. РАССКАЗ О ДАНТЕ

Мальчишка промахнулся в цель,
Ребячий мяч упал в купель.
Резьба была хитра, тонка.
Нетерпеливая рука
В купель скользнула за мячом,
Но ангел придавил плечом
Ребенка руку. И рука

Попала в ангельский капкан.
И на ребячий плач и крик
Толпа людей сбежалась вмиг.
И каждый мальчика жалел,
Но ссоры с богом не хотел.
Родная прибежала мать,
Не смея даже зарыдать,
Боясь святыню оскорбить,
Навеки грешницею быть.
Но Данте молча взял топор
И расколол святой узор,
Зажавший в мрамора тиски
Тепло ребяческой руки.
И за поступок этот он
Был в святотатстве обвинен
Решеньем папского суда
Без колебанья и стыда…
И призрак Данте до сих пор
Еще с моих не сходит гор,
Где жизнь — холодный мрамор слов,
Хитро завязанных узлов.
1950

101

Скоро мне при свете свечки
В полуденной тьме
Греть твои слова у печки.
Иней на письме.

Онемело от мороза
Бедное письмо.
Тают буквы, точат слезы
И зовут домой.
<Ок. 1953?>

102. ВЕРЮ

Сотый раз иду на почту
За твоим письмом.
Мне теперь не спится ночью,
Не живется днем.

Верю, верю всем приметам,
Снам и паукам.
Верю лыжам, верю летом
Узким челнокам.

Верю в рев автомобилей,
Бурных дизелей,
В голубей почтовых крылья,
В мачты кораблей.

Верю в трубы пароходов,
Верю в поезда.
Даже в летную погоду
Верю иногда.

Верю я в оленьи нарты,
В путевой компас
У заиндевевшей карты
В безысходный час.

В ямщиков лихих кибиток,
В ездовых собак…
Хладнокровию улиток,
Лени черепах…

Верю щучьему веленью,
Стынущей крови…
Верю своему терпенью
И твоей любви.
1952

103

Затлеют щеки, вспыхнут руки,
Что сохраняют много лет
Прикосновения разлуки
Неизгладимый, тяжкий след.

Их жгучей болью помнит кожа,
Как ни продублена зимой.
Они с клеймом, пожалуй, схожи,
С моим невидимым клеймом,

Что на себе всю жизнь ношу я
И только небу покажу.
Я по ночам его рисую,
По коже пальцем обвожу.

Мое лицо ты тронешь снова,
Ведь я когда-нибудь вернусь,
И в память нового былого
От старой боли исцелюсь.
1951

104

Скоро в серое море
Ворвется зима,
И окутает горы
Лиловая тьма.

Скоро писем не будет.
И моя ли вина,
Что я верил, как люди,
Что бывает весна.
1952

105

Четвертый час утра. Он — твой восьмой,
Вечерний час. И день, твой — день вчерашний.
И ночь, тебя пугающая тьмой,
Придет сюда отцветшей и нестрашной.

Она в дороге превратится в день,
В почти что день. Веленьем белой ночи
Деревья наши потеряют тень.
И все так странно, временно, непрочно…

Она ясна мне, северная ночь,
Она безукоризненно прозрачна.
Она могла бы и тебе помочь,
Тогда б у вас не красили иначе.

На вашей долготе и широте
Она темна и вовсе не бессонна.

Она чужда моей ночной мечте
Другого цвета и другого тона.
1952

106

Февраль — это месяц туманов
На северной нашей земле,
Оптических горьких обманов
В морозной блистающей мгле.

Я женской фигурою каждой,
Как встречей чудесной, смущен.
И точно арктической жаждой
Мой рот лихорадкой сожжен.

Не ты ли сошла с самолета,
Дороги ко мне не нашла.
Стоишь, ошалев от полета,
Еще не почувствовав зла.

Не ты ли, простершая руки
Над снегом, над искристым льдом,
Ведешь привиденье разлуки
В заснеженный маленький дом.
<1952–1954>

107. СКРИПАЧ

Скрипач играет на углу
А снег метет,
И ветер завивает мглу
И кружево плетет.
Но в этот искрящийся плащ
Со своего плеча
Мороз, наверно, для тепла
Укутал скрипача.
Все гуще снег, визгливей плач,
Тревожней вой…
В него вплетает и скрипач
Дрожащий голос свой.
И звука гибкая волна
Такой тоски полна,

Что нам одна она слышна,
Скрипичная струна…
1952

108

Не откроем песне двери,
Песня нынче не нужна.
Мы не песней горе мерим
И хмелеем без вина.

Камнем мне на сердце ляжет
Гул тяжелый хоровой.
Песни русская протяжность,
Всхлипы, аханье и вой…
1952

109

Мы несчастье и счастье
Различаем с трудом.
Мы бредем по ненастью,
Ищем сказочный дом,

Где бы ветры не дули,
Где бы крыша была,
Где бы жили июли
И где б не было зла.

Этим сказочным домом
Бредит каждый, и вот
Он находит хоромы
И в хоромы идет.

Но усталые взоры
Не заметят впотьмах —
Это иней узоры
Налепил на дверях.

Невеселая келья
Холодна и темна.
Здесь его новоселье
Без огня, без вина.

Но, согрев своим телом
Ледяную кровать,
Он решает несмело
Все же здесь ночевать.

И опять на дорогу
Он выходит с утра
И помолится богу,
Как молился вчера…
<Ок. 1952?>

110

Мы спорим обо всем на свете
Затем, что мы — отцы и дети,
И, ошалев в семнадцать лет,
В угрозы улицы поверив,
К виску подносим пистолет
Иль хлопаем на память дверью.
Но, испугавшись новизны,
В которой чуем неудачу,
Мы видим дедушкины сны,
Отцовскими слезами плачем.
<1949–1950>

111

Мне что ни ночь — то море бреда.
Без лампы, в полной темноте
Мне чудится, что я все еду
Навстречу узнанной мечте.

И мне мерещится — все реки,
Как в океан, втекают в дверь,
Чтоб сжалось сердце человека
Всей невозвратностью потерь.

Как будто прорвана плотина,
Вода становится мутней,
Всплывают водоросли, тина,
Обломки старых кораблей.

И мира некая изнанка,
Его задворок грязь и муть
Ко мне вернется спозаранку,
И ни минуты не уснуть.

Но расступившиеся волны
Дорогу открывают мне.
Спасения блаженством полный,
Живым шагаю в тишине.

Не гидравлическим насосом
От затопленья я спасен.
Мне Моисей дорожный посох
Бросает в океанский сон.
<1952?>

112. СВИДАНИЕ

Растворила таежные двери,
Распахнула руками кусты.
Заметались тревожные звери,
Тополей встрепенулись листы.

И захлопали крыльями птицы,
Затрясли головами цветы.
Ты пришла, понимаю, проститься,
Но зачем же так ласкова ты.

Звери раньше меня угадали,
Что на сердце таится твоем.
Они знать не хотят оправданий,
Нас с тобой оставляют вдвоем.

Зазвенят на тебе ожерелья
И браслеты твои зазвенят.
Чья ж вина в том, что мы постарели,
Да и есть ли такая вина?

Ты скажи мне последнее слово,
Пока солнце еще не зашло,
Без обмана, без всяких уловок,
Что же все-таки произошло?

Ты скажи — успокоятся птицы,
Станет шелковой злая трава.
В свои норы зверье возвратится,
Они все еще верят в слова.

Ты скажи — и не будет обмана
В дружелюбном пожатье руки.
Ты скажи — и не будет тумана,
Поднимающегося от реки.

Повтори же заклятье Навина,
Солнце в небе останови,
Чтоб я верил хотя б вполовину
Увереньям твоим в любви.
<1953>

113

Лес гнется ветровым ударом.
И каждый ясень, каждый клен
Дрожит и стонет, как гитара,
И сам гитарой бредит он.

Ведь у него не только юность,
А даже старость на уме.
И для нее-то рвутся струны,
Остатки звуков в полутьме.

Еще вчера при невниманье
Он пошумел бы и затих.
И я б не знал его страданий,
И он не чувствовал моих.

А нынче он сам-друг со мною
И даже просится в родство.
Его сочувствие земное —
Лекарство, а не колдовство.
<1954?>

114

Засыпай же, край мой горный,
Изогнув хребет.

Ночью летней, ночью черной,
Ночью многих лет.

Чешет ветер, как ребенку,
Волосы ему,
Светлой звездною гребенкой
Разрывая тьму.

И во сне он, как собака,
Щурит лунный глаз,
Ожидая только знака
Зарычать на нас.
1952

115

Зима уходит в ночь, и стужа
От света прячется в леса.
И в колеи дорожной лужах
Вдруг отразились небеса.

И дым из труб, врезаясь в воздух,
Ослабевая в высоте,
Уже не так стремится к звездам,
И сами звезды уж не те,

Что раньше призрачным мерцаньем
Всю ночь нам не давали спать.
И только в силу расстоянья —
Умели вышнее внушать.

Как те далекие пророки,
Чья сила все еще жива,
Что на стене рукою рока
Писали грозные слова.

И звезды здесь, порою вешней,
Не так, как прежде, далеки.
Они, как горы наши, — здешни
И неожиданно мелки.

Весною мы гораздо ближе
Земле — и теплой и родной,
Что некрасивой, грязной, рыжей
Сейчас встречается со мной.

И мы цветочную рассаду
Тихонько ставим на окно —
Сигнал весне, что из засады
Готова выскочить давно.
1952

116

Дождя невидимою влагой
Обмыта пыльная рука,
И в небе белом, как бумага,
В комки катают облака.

Вся пожня ежится от стужи,
Сырой щетинится травой,
И зябко вздрагивают лужи
От каждой капли дождевой.

И ветер, встретив пешехода,
Толкает с хода прямо в грудь,
Сменить торопится погоду
И светом солнечным блеснуть.
1952

117

Там где-то морозом закована слякоть,
И крепость не будет взята.
Там где-то весны захлебнулась атака
В березовых черных кустах.

В обход поползло осторожное лето
И вот поскользнулось на льду.
И катится вниз по окраине света,
Краснея у всех на виду…
<1954?>

118

На краю лежим мы луга
У зажженного костра,
И деревья друг за другом
Исчезают до утра.

Визг рязанского страданья
Прорезает тишину.
Все свиданья, ожиданья
И рыданья на луну.

Комары поют в два тона,
Ухо режут без ножа.
Насекомых и влюбленных
Как от песни удержать?

Слышен тише вполовину
После всех денных трудов
Звук развернутой пружины
Заведенных оводов.

Под ногой жужжит, тревожит,
Запоздавшая пчела
И цветок найти не может —
Помешала сбору мгла.

Мыши, слепы и крылаты,
Пролетают над огнем,
Что они притом горбаты,
Кто подумал бы о том.

Им не надо опасаться,
Что сучок ударит в глаз.
Тайну радиолокаций
Мыши знают лучше нас.

Вот и все, пожалуй, звуки,
Что содержит тишина.
Их достаточно для муки,
Если хочешь только сна.
<1953>

119

Остановлены часы
Каплей утренней росы.
Я стряхнул ее с цветка,
С расписного лепестка.

Напряженьем росных сил
Я часы остановил.
Время, слушаясь меня,
Не начнет сегодня дня.

Здесь со мной лесной рассвет,
И домой дороги нет.
1952

120

Откинув облачную крышку,
Приподнимают небосвод.
И ветер, справившись с одышкой,
Из моря солнце достает.

И первый луч скользнет по морю
И птицу белую зажжет.
И, поднимаясь выше — в горы,
Гранита вытирает пот…
1952

121. БУХТА

Дальней лодки паруса
Тянет ветер в небеса.
И завязла в валунах
Одинокая волна.

Крылья птиц и крылья волн,
Задевающие мол,
Парохода резкий бас,
Отгоняющий баркас.

Хруст намокшего песка
Под давленьем каблука.
И веселый детский смех
Там, где радоваться — грех.
<1952>

122

Что стало близким? Что далеким?
У всех прохожих на виду
Я подержу тебя за локоть,
В метели улиц проведу.

Я не подам тебе и виду,
Что я отлично знаю сам,
Как тяжело беречь обиду,
Не доверяя небесам.

И мы идем без всякой цели.
Но, выходя на лунный свет,
Мы улыбнемся вслед метели,
Что не могла сдержать секрет.
<1954?>

123

Деревья зажжены, как свечи,
Среди тайги.
И горы сломаны на печи,
На очаги.

Вот здесь и мне горящей вехой
Намечен путь,
Сквозь путешествия помеху,
Тумана муть.

И, как червяк, дорога вьется
Через леса
Со дна библейского колодца
На небеса.

И недалекая равнина,
Глаза раскрыв,
Глядит тоскливо и ревниво
На этот миф.

Казалось ей, что очень скоро
Настанет час —
Прикроют взорванные горы
Умерших нас.

Но, зная ту тщету столетий,
Что здесь прошли,
Тщету борьбы зимой и летом
С душой земли,

Мы не поверили в надежды,
В равнины бред.
Мы не сильней, чем были прежде,
За сотни лет.
1952

124

Пред нами русская телега,
Наш пресловутый примитив,
Поэтов альфа и омега,
Известный пушкинский мотив.

Запряжка нынче необычна.
В оглобли, пятясь, входит бык.
И равнодушье видно бычье,
И что к телеге он привык.

Вздувая розовые ноздри,
Ременным сжатые кольцом,
Храпит и втягивает воздух —
Не распрощается с крыльцом.

И наконец вздохнет глубоко,
Скосит по-конски бычий глаз,
Чтоб, начиная путь далекий,
В последний раз взглянуть на нас.

А впереди, взамен каюра,
Якут шагает налегке,
Иль, подстелив оленью шкуру,
Верхом он едет на быке.

Ну что ж! Куда нам мчаться рысью,
Какой отыскивать уют.
Плетутся медленно и мысли,
Но от быков не отстают.
<1953>

125

Нет, тебе не стать весною
Синеокою, лесною,
Ни за что не стать.

Не припомнить то, что было,
Только горько и уныло
Календарь листать.

Торопить движенье суток
Хриплым смехом прибауток,
Грубою божбой.

И среди природы спящей
Быть не только настоящей,
Но самой собой.

1952

126

Я, как рыба, плыву по ночам,
Поднимаясь в верховье ключа.
С моего каменистого дна
Мне небес синева не видна.

Я не смею и двинуться дном
Разговорчивым сумрачным днем
И, засыпанный донным песком,
Не могу шевельнуть плавником.

Пусть путает меня глубина.
Я, пока пролетает волна,
Постою, притаившись в кустах,
Пережду набегающий страх.

Так, течению наперерез
Поднимаюсь почти до небес,
Доплыву до истоков реки,
До истоков моей тоски.

1950

127

Изменился давно фарватер,
И опасности велики
Бесноватой и вороватой
Разливающейся реки.

Я простой путевой запиской
Извещаю тебя, мечта.
Небо низко, и скалы близко,
И трещат от волны борта.

По глубинным судить приметам,
По кипению пузырьков
Могут лоцманы — и поэты,
Если слушаться их стихов.
<1952>

128

Мне одежда Гулливера
Все равно не по плечу,
И с судьбою Агасфера
Я встречаться не хочу.

Из окошка общих спален
Сквозь цветной рассветный дым
Я лицом повернут к далям
И доверюсь только им.

В этом нервном потрясенье,
В дрожи пальцев, рук и век
Я найду свое спасенье,
Избавление навек.

Это — мизерная плата
За сокровище во льду,
Острие штыка солдата
И заветную руду.
<1954?>

129. ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

В староверском дому я читаю Шекспира,
Толкованье улыбок, угрозы судьбе.
И стиху откликается эхо Псалтыри
В почерневшей, продымленной темной избе.

Я читаю стихи нараспев, как молитвы.
Дочь хозяина слушает, молча крестясь
На английские страсти, что еще не забыты
И в избе беспоповца гостят.

Гонерилье осталась изба на Кубани.
Незамужняя дочь разожгла камелек.
Тут же сушат белье и готовится баня.
На дворе леденеют туши кабаньи…

Облака, как верблюды, качают горбами
Над спокойной, над датской землей.
<1950>

130

Луна свисает, как тяжелый
Огромный золоченый плод,
С ветвей моих деревьев голых,
Хрустальных лиственниц — и вот

Мне кажется — протянешь руку,
Доверясь детству лишний раз,
Сорвешь луну — и кончишь муку,
Которой жизнь путает нас.
<1953?>

131. ПРОЩАНИЕ

Вечор стояла у крылечка,
Одета пылью золотой,
Вертела медное колечко
Над потемневшею водой.

И было нужно так немного:
Ударить ветру мне в лицо,

Вернуть хотя бы с полдороги
На это черное крыльцо.
<1954?>

132. УТРО

По стенке шарит желтый луч,
Раздвинувший портьеры,
Как будто солнце ищет ключ,
Забытый ключ от двери.

И ветер двери распахнет,
И впустит птичье пенье,
Всех перепутавшихся нот
Восторг и нетерпенье.

Уже, взобравшись на скамью
Иль просто на подклетье,
Петух, как дьякон ектенью,
Заводит многолетье.

И сквозь его «кукареку»,
Арпеджио и трели
Мне видно дымную реку,
Хоть я лежу в постели.

Ко мне, скользка и холодна,
Едва я скину платье,
Покорно кинется волна
В горячие объятья.

Но это — лишь в полубреду,
Еще до пробужденья.
И я купаться не пойду,
Чтобы не встретились в саду
Ночные привиденья.

А ветер покидает дом,
Пересчитав посуду,
Уже пронесся над прудом,
Уже свистит повсюду.

Перебирает воду он,
Как клавиши рояля,
Как будто он открыл сезон
В моем концертном зале.

И нынче летом — на часах
Ты, верно, до рассвета,
Ты молча ходишь в небесах,
Подобная планете.

Облокотившись на балкон,
Как будто на свиданье,
Протягивает лапы клен
К любимому созданью.

И ты стоишь, сама лучась
В резной его оправе.
Но даже дерево сейчас
Тебя задеть не вправе.

Всю силу ревности моей
И к дереву и к ветру
Своим безмолвием залей,
Своим блаженным светом.

И ветер рвет твои чулки
С веревки возле дома.
И, как на свадьбе, потолки
На нас крошат солому.

<1954>

133

Неосторожный юг
Влезает нам в тетради
И солнцем, как утюг,
Траву сырую гладит...

Свет птичьего пера,
Отмытого до блеска,
И дятла — столяра
Знакомая стамеска.

Проснувшихся стихов
И тополей неспящих,
Зеленых языков,
Шуршащих и дразнящих.

Мой заоконный мир,
Являйся на бумагу,
Ходи в тиши квартир
Своим звериным шагом.

Иль лебедем склонись,
Как ледяная скрипка,
С небес спускаясь вниз
Размеренно и гибко.

Вся комната полна
Таким преображеньем,
И ночи не до сна
От слез и напряженья.

Но в мире место есть,
Где можно спозаранку
Раскинуть эту смесь,
Как скатерть-самобранку.
<1954>

134

Какой заслоню я книгой
Оранжевый небосвод,
Свеченье зеленое игол,
Хвои заблестевший пот,

Двух зорь огневое сближенье,
Режущее глаза.
И в капле росы отраженье
Твоей чистоты, слеза.
1952

135

Я разорву кустов кольцо,
Уйду с поляны.

Слепые ветки бьют в лицо,
Наносят раны.

Роса холодная течет
По жаркой коже,
Но остудить горячий рот
Она не может.

Всю жизнь шагал я без тропы,
Почти без света.
В лесу пути мои слепы
И неприметны.

Заплакать? Но такой вопрос
Решать не надо.
Текут потоком горьких слез
Все реки ада.

1951

136

Ведь только длинный ряд могил —
Мое воспоминанье,
Куда и я бы лег нагим,
Когда б не обещанье

Допеть, доплакать до конца
Во что бы то ни стало,
Как будто в жизни мертвеца
Бывало и начало.

<Не позднее 1953>

137

Приподнятый мильоном рук,
Трепещущих сердец,
Колючей проволоки круг,
Терновый твой венец.

Я все еще во власти сна,
Виденья юных лет.
В том виновата не луна,
Не лунный мертвый свет.

Не еле брезжащий рассвет,
Грозящий новым днем,
Ему и места даже нет
В видении моем.

1952

138

Я, как Ной, над морской волною
Голубей кидаю вперед,
И пустынною белой страною
Начинается их полет.

Но опутаны сетью снега
Ослабевшие крылья птиц,
Леденеют борта ковчега
У последних моих границ.

Нет путей кораблю обратно,
Он закован навек во льду,
Сквозь метель к моему Арарату,
Задыхаясь, по льду иду.
<1953>

139

Бог был еще ребенком, и украдкой
От взрослых он выдумывал тайгу:
Он рисовал ее в своей тетрадке,
Чертил пером деревья на снегу,

Он в разные цвета раскрашивал туманы,
Весь мир был полон ясной чистоты,
Он знать не знал, что есть другие страны,
Где этих красок может не хватить.

Он так немного вылепил предметов:
Три дерева, скалу и несколько пичуг.
Река и горные непрочные рассветы —
Изделье тех же неумелых рук.

Уже не здесь, уже как мастер взрослый,
Он листья вырезал, он камни обтесал,
Он виноградные везде развесил гроздья,
И лучших птиц он поселил в леса.

И, надоевшее таежное творенье
Небрежно снегом закидав,
Ушел варить лимонное варенье
В приморских расписных садах.

Он был жесток, как все жестоки дети:
Нам жить велел на этом детском свете.
<1953?>

140

Живого сердца голос властный
Мне повторяет сотый раз,
Что я живу не понапрасну,
Когда пытаюсь жить для вас.

Я, как пчела у Метерлинка,
Как пресловутая пчела,
Которой вовсе не в новинку
Людские скорбные дела.

Я до рассвета собираю,
Коплю по капле слезный мед,
И пытке той конца не знаю,
И не отбиться от хлопот.

И чем согласней, чем тревожней
К бумаге просятся слова,
Тем я живу неосторожней
И горячее голова.
1950–1954

141. ПТИЦЕЛОВ

Согнулась западня
Под тяжестью синицы,
И вся ее родня
Кричит и суетится.

И падает затвор
Нехитрого снаряда,
А я стою, как вор,
И не спускаю взгляда

С испуганных пичуг
И, вне себя от счастья,
Разламываю вдруг
Ловушку ту на части.

И в мертвой тишине,
В моем немом волненье,
Я жду, когда ко мне
Приблизятся виденья.

Как будто Васнецов
Забрел в мои болота,
Где много мертвецов
И сказке есть работа.

Где терем-теремок —
Пожалуй, по созвучью —
Назвал тюрьмою бог,
А не несчастный случай.

Где в заводях озер
Зеленых глаз Алены
Тону я до сих пор —
Охотник и влюбленный.

Где, стоя за спиной
Царевича Ивана,
Объеду шар земной
Без карты и без плана.

Уносит серый волк
К такой стране нездешней,
Где жизнь — не только долг,
Но также и надежда.

В морщинах скрыта грусть,
Но я не беспокоюсь.
Я солнцем оботрусь,
Когда росой умоюсь…
1954

142

Замлела в наступившем штиле
Вся в белых рубчиках вода,
Как будто жизнь остановили
На синем море навсегда.

Быть может, это пароходы,
Как паровые утюги,
Разгладили морские воды
В гладильне матушки-тайги,

Чтоб на полночной гофрировке,
Средь мелких складок волновых,
Рыбачьей лодке дать сноровку
Держаться до сих пор в живых.

Перетерпевшая все шквалы,
Вчерашний грохот штормовой,
Девятым вымытая валом,
Она живой плывет домой.

Плывет на некий берег дальний,
Еще невидимый пока,
Ища в ночи причалов скальных
И заезжая в облака.
<1952>

143. ПОХОРОНЫ

Под Новый год я выбрал дом,
Чтоб умереть без слез.
И дверь, оклеенную льдом,
Приотворил мороз.

И в дом ворвался белый пар
И пробежал к стене,
Улегся где-то возле нар
И лижет ноги мне.

Лохматый пудель, адский дух,
Он изменяет цвет:
Он бел, как лебединый пух,
Как новогодний дед.

В подсвечнике из кирпича,
У ночи на краю,
В углу оплывшая свеча
Качала тень мою.

И всем казалось — я живой,
Я буду есть и пить,
Я так качаю головой,
Что собираюсь жить.

Сказали утром наконец,
Промерзший хлеб деля:
Быть может, — он такой мертвец,
Что не возьмет земля!

Вбивают в камни аммонал,
Могилу рыть пора.
И содрогается запал
Бикфордова шнура.

И без одежды, без белья,
Костлявый и нагой,
Ложусь в могилу эту я,
Поскольку нет другой.

Не горсть земли, а горсть камней
Летит в мое лицо.
Больных ночей, тревожных дней
Смыкается кольцо.

<Ок. 1952–1954>

144

Здесь первым искренним стихом
Я разжигал костер,
И пепел от людей тайком
В ладонях я растер.

Но, отогревшись, я не мог
Припомнить этих жарких строк.

И если снова тяжела
Рука колючих вьюг,

И если мертвый холод зла
Опять стоит вокруг,

Я снова — в новую пургу —
Костер стихами разожгу.
<Ок. 1952?>

145

К так называемой победе,
Назло медведю и лисе,
Проеду на велосипеде
Вдоль по обочинам шоссе.

И вот земли-стенографистки
Рассказ на глине и песке:
Ее предсмертная записка,
Забытая невдалеке,

Зарытая в дорожных ямах,
В геологических шурфах.
Все, что не высказалось прямо,
Закоченело на губах...

Но кто прочтет иероглифы,
Какой придет Шамполион,
Чтоб разгадать глухие мифы —
Услышать человечий стон.
<1953>

146. ГОРА

В сияющем известняке,
В граните черно-буром,
Гора спускается к реке,
Зажав подснежники в руке,
Навстречу людям хмурым.

Остановившись над ключом,
Как и во время оно,
Она не грезит нипочем
Ни силикатным кирпичом,
Ни железобетоном.
<1952?>

147

Он сменит без людей, без книг,
Одной природе веря,
Свой человеческий язык
На междометья зверя.

Руками выроет ночлег
В хрустящих листьях шалых
Тот одичалый человек,
Интеллигент бывалый.

И выступающим ребром
Натягивая кожу,
Различья меж добром и злом
Определить не может.

Но вдруг, умывшись на заре
Водою ключевою,
Поднимет очи он горе
И, точно волк, завоет...
<1954>

148. ЕЩЕ ИЮЛЬ

Ты лжешь, что, запрокинув голову,
Я синий воздух жадно пью, —
Небес расплавленное олово
В июле в глотку льют мою,

Чтобы себя не выдал голосом,
Чтоб удивляться перестал,
Чтобы похожи были волосы
На этот льющийся металл.
<1954>

149

Возможно ль этот тайный спор
Меня с самим собою
Простому сердцу вперекор —
Назвать моей судьбою?

Возможно ль подчиниться мне
Какой-то тяжкой силе,
Чтобы не изнутри — извне
Пришла и воскресила?

Или спасенье только есть
В мечтаниях бродяги,
В оберегаемых, как честь,
Клочках моей бумаги.
<1953>

150. ИЮЛЬ

Все соловьи осоловели
И не рокочут ввечеру,
Они уж целых две недели
В плетеной нежатся постели
На охлаждающем ветру.

Колючим колосом усатым
Трясет раскормленный ячмень,
И день малиной ноздреватой,
Черносмородинным агатом
Синиц заманивает в тень.

Здесь сущий рай для птиц бездомных,
Для залетевших далеко,
Им от прохлады полутемной
В кустах, достаточно укромных,
Бывает на сердце легко.

И я шепчу стихи синицам,
Губами тихо шевеля,
И я разыгрываю в лицах,
В зверях, растениях и птицах,
Что сочинила мне земля.

Она к моей спине прижалась
И мне готова передать
Все, что в душе у ней осталось,
Всю нерастраченную малость —
Всю неземную благодать.

Жарой коробятся страницы,
Тетрадка валится из рук,
И в поле душно, как в больнице,
И на своих вязальных спицах
Плетет ловушку мне паук.

И мотыльки щекочут щеку,
Перебивая мой рассказ,
И на ветру скрипит осока,
И ястреба кружат высоко,
Меня не упуская с глаз.
1954

151. ГРОЗА

Смешались облака и волны,
И мира вывернут испод,
По трещинам зубчатых молний
Разламывается небосвод.

По желтой глиняной корчаге
Гуляют грома кулаки,
Вода спускается в овраги,
Держась руками за пеньки.

Но, в сто плетей дубася тело
Пятнистой, как змея, реки,
Гроза так бережно-умело
Цветов расправит лепестки.

Все то, что было твердой почвой,
Вдруг уплывает из-под ног,
И все земное так непрочно,
И нет путей, и нет дорог.

Пока прохожий куст лиловый
Не сунет руку сквозь забор,
И за плечо не остановит,
И не завяжет разговор.

И вот я — дома, у калитки,
И все несчастья далеки,
Когда я, вымокший до нитки,
Несу за пазухой стихи.

Гнездо стихов грозой разбито,
И желторотые птенцы
Пищат, познав крушенье быта,
Его начала и концы.
1954

152. ТАЙГА

Тайга — молчальница от века
И рада быть глухонемой,
Она не любит человека
И не зовет его домой.

Ей благозвучней вопли сычьи,
Чем нарушающее сон
Крикливое косноязычье
Всех человеческих племен.

Но если голосом ребенка
Попросят помощи у ней,
Она тотчас бежит вдогонку
И будет матери нежней.

Она заманит чудесами,
Грозы покажет фейерверк
И птиц над черными лесами,
Шутя, подбрасывает вверх.

Раскрашенные безделушки
Цветов качает на лугу.
У ней и камни — погремушки,
Алмазы брошены в снегу.

А гам, смещая все масштабы,
Со здравым смыслом не в ладу,
Смущает взрослым душу, дабы
Потом не жечь ее в аду.

И в этих знаках, в этих жестах
Воинствующей немоты
Я вижу истинное место
Моей ребяческой мечты.

Тайга смещает все масштабы
И наши путает пути,
Хотя воистину могла бы
Сердечно к взрослым подойти.

И тот, кто, в сущности, не молод,
Кто, безусловно, не юнец,
Тот видит лишь гранит и холод,
Что достигает дна сердец.

И в снеговом однообразье
Гора проходит за горой.
Уж лучше б вымазала грязью,
Землей испачкала сырой.

А здесь лишь камень известковый
И снег небесной чистоты,
И мы горды такой обновой,
Таким подобием мечты.

1949

153. СОСНЫ СРУБЛЕННЫЕ

Пахнут медом будущие бревна —
Бывшие деревья на земле,
Их в ряды укладывают ровно,
Подкатив к разрушенной скале.

Как бесславен этот промежуток,
Первая ступень небытия,
Когда жизни стало не до шуток,
Когда шкура ближе всех — своя.

В соснах мысли нет об увяданье,
Блещет светлой бронзою кора.
Тем страшнее было ожиданье
Первого удара топора.

Берегли от вора, от пожара,
От червей горбатых берегли —
Для того внезапного удара,
Мщенья перепуганной земли.

Дескать, ждет их славная дорога —
Лечь в закладке первого венца,
И терпеть придется им немного
На ролях простого мертвеца.

Чем живут в такой вот час смертельный
Эти сосны испокон веков?
Лишь мечтой быть мачтой корабельной,
Чтобы вновь коснуться облаков!

1953–<1956>

154

Он из окóн своей квартиры
С такой же силой, как цветы,
Вдыхает затхлый воздух мира,
Удушье углекислоты.

Удушье крови, слез и пота,
Что день-деньской глотает он,
Ночной таинственной работой
Переплавляется в озон.

И, как источник кислорода, —
Кустарник, чаща и трава,
Растут в ночи среди народа
Его целебные слова.

Он — вне времен. Он — вне сезона.
Он — как сосновый старый бор,
Готовый нас лечить озоном
С каких-то очень давних пор.

Нам все равно — листы ли, листья —
Как называется предмет,
Каким — не только для лингвистов —
Дышать осмелился поэт.

Не грамматические споры
Нас в эти горы завлекли —
Глубокое дыханье бора
Целительницы земли.

Декабрь 1953

155. О ПЕСНЕ

Темное происхожденье
Наших песен и баллад —
Давнего грехопаденья
Неизбежный результат.

С тем же, кем была когда-то
Жизнь оплодотворена,
В этот властный миг расплаты
Как бы соединена.

Что доношено до срока,
До бессонниц января,
Что рождается в потоке
Слез и слов у фонаря

На коробке папиросной,
Подстеленной кое-как,
На листке, а то и просто
На газеты уголках,

То, что вовсе ждать не может,
Шага не дает шагнуть,
То, что лезет вон из кожи
И чего нельзя вернуть.

Ты отрежешь пуповину,
В темноте остановясь,
Станет легче вполовину —
Лишь порвется эта связь.

И, покончив с полубредом
Этих самых древних мук,
Втопчешь в снег клочки последа
И оглянешься вокруг...

Много лет пройдет. И песне
Снова встретиться с тобой,
Может быть, нужней и лестней,
Чем наследнице любой.

Вот она идет по тропке,
Опустивши долу взгляд,
Неуверенно и робко
И со сверстницами в ряд.

Ты глядишь, не понимая,
Кто она в твоей судьбе,
Вся теперь как бы чужая,
Незнакомая тебе.

Где-то в давке, в книжной лавке
Разглядишь, в конце концов,
Бывшей золушки-чернавки
Позабытое лицо.

И по родинкам, приметам,
По разрезам губ и глаз
Ты узнаешь дочь поэта
В первый и последний раз.
<1954>

156

Над трущобами Витима,
Над косматою землей,
Облаков зловещих мимо
Я лечу к себе домой.

И во чреве самолета,
Как Иона у кита,
Я прошу у шеф-пилота:
Ради Господа Христа,

Донеси меня до юга,
Невредимым донеси,
Пусть меня забудет вьюга
Хоть на месяц на Руси.

Я срисовывал бы чащи,
Только в них войдет гроза,
Солнцу б я как можно чаще
Попадался на глаза.

В посрамленье злой мороки,
В просветление ума,
Я б успел составить строки,
Что шептала мне зима.

Перед аэровокзалом
Горло сдавит тошнота:
Снова — пропасти, провалы,
Под ногами — пустота.

У меня сейчас воочью,
А не только между строк, —
Неустойчивую почву
Выбивают из-под ног.

Вижу, как, вращая крылья,
Самолетный вьется винт,
С давней раны, с давней боли
Мне разматывают бинт.

Открывая, обнажая,
Растревоженная вновь,
Чтоб могла рука чужая
Разодрать ту рану в кровь.

Там, в своей пурге-тумане,
Мне не стоило труда
Кровь любой подобной раны
Удержать кусками льда.

Я стою, не веря в лето,
И искать не знаю где
Медицинского совета,
Чтоб помочь моей беде.

Но твое рукопожатье
Так сердечно горячо,
Птицы ситцевого платья
Мне садятся на плечо.

И знакомое лекарство
Тихо капает из глаз —
Драгоценное знахарство,
Исцеляющее нас.

Вот я таю, как ледышка,
От проклятых этих слез,
Душу мне еще не слишком
Остудил земной мороз.
<1953–1954>

157. КОНЦЕРТ

Скрипка, как желтая птица,
Поет на груди скрипача,
Ей хочется двигаться, биться,
Ворочаться у плеча.

Скрипач ее криков не слышит,
Немыми толчками смычка
Он скрипку все выше, все выше
Забрасывает в облака.

И в этой заоблачной выси
Естественный климат ее,
Ее ощущенья и мысли —
Земное ее бытие.

Но всякий, имеющий уши,
Да слышит отчаянья крик,
Который нам в уши обрушит
До слез побледневший старик.

Он — гения душеприказчик,
Вспотевший седой виртуоз,
Пандоры окованный ящик
Он в зал завороженный внес.

Он смело сундук открывает
Одним поворотом ключа,
Чтоб нас отогнали от рая
Видения скрипача.

Чтоб после небесной поездки
Вернуться на землю опять
И небу чужому в отместку
Заплакать и загоревать.

И мы, возвращаясь к земному,
Добравшись по старым следам
К родному знакомому дому,
Мы холод почувствуем там.

Мы чем-то высоким дышали.
Входили в заветную дверь…
Мы многое людям прощали,
Чего не прощаем теперь.
1956

158

Мы гуляем средь торосов
В голубых лучах луны,
Все проклятые вопросы,
Говорят, разрешены.

Но луна, как пряник мятный,
Детский пряник ледяной,
Вдруг покатится обратно,
И — покончено с луной.

И, встревоженное чудом,
Сердце дрогнет у меня,
Я достану из-под спуда,
Из подполья злого дня,

Все, что плакало и пело,
Путевую жизни нить,
Что своим усталым телом
Я пытался заслонить

От чужих прикосновений,
От дурных тяжелых глаз,
Откровенных нападений
И двусмысленности фраз.

Наступает тихий вечер,
Звезды тают на снегу.
И породой человечьей
Я гордиться не могу.
<1953–1954>

159

Среди холодной тьмы
Мы — жертвы искупленья.
И мы — не только мы,
А капелек сцепленье.

Стакан поставь в туман,
Тянущийся по саду,
И капли на стакан
Тотчас, как дождь, осядут.

Стакан сберег тепло,
Ему родное снится,
И мутное стекло
Слезой засеребрится.
<1954?>

160

Я здесь живу, как муха, мучась,
Но кто бы мог разъединить
Вот эту тонкую, паучью,
Неразрываемую нить?

Я не вступаю в поединок
С тысячеруким пауком,
Я рву зубами паутину,
Стараясь вырваться тайком.

И, вполовину омертвелый,
Я вполовину трепещу,
Еще ищу живого дела,
Еще спасения ищу.

Быть может, палец человечий
Ту паутину разорвет,
Меня сомнет и искалечит
И все же на небо возьмет.
<1954>

161

Кому-то нынче день погожий,
Кому — томящая жара,
А я, наверно, проморожен
Тайгой до самого нутра.

И мне все кажется, что лето
Напрасно силы бережет,
Напрасно раскаленным светом
Дотла всю землю не сожжет...
<1954>

162

Клен и рослый и плечистый
В дрожи с головы до пят,
Перепуганные листья
До рассвета шелестят.

Их протягивает лето,
И холодный ветерок
Отрывает, как билеты,
И бросает на песок.

И по железнодорожной
Желтой насыпи крутой
Их сметает осторожно
В ямы с мутною водой.

Это — право пешехода
Разбираться, чье нужней,
Чье полезней — время года
Весен или осеней,
И похваливать погоду,
Размышляя не о ней.
1954

163

Приходят с улиц, площадей,
Все глохнет, как в лесном загоне,
Ладони будто бы людей
Моей касаются ладони.

И мне, пожалуй, все равно,
Что тут — мечта и что — обманы,
Я вижу темное вино,
Уже разлитое в стаканы.

Я вижу женщины глаза,
Которых чище не бывает;
И непослушная слеза
Напрасно зренье застилает…
<1954>

164. ПЕРСЕЙ И МУЗА

Она еще жива, Расея,
Опаснейшая из Горгон,
Заржавленным щитом Персея
Не этот облик отражен.

Химер, ничуть не виноватых,
Кентавров рубит сгоряча,
Он голову родного брата
Надел на острие меча.

В ушах героя шум победы,
Он пьяный мед, как воду, пьет,
И негритянка Андромеда
Лиловый подставляет рот…

Но дом Горгон находит Муза,
И — безоружная — войдет,
И поглядит в глаза Медузе,
Окаменеет — и умрет.
<1954>

165

Я нынче с прежнею отвагой
Все глубже, глубже в темный лес
Иду. И прибавляю шагу,
Ища не знаний, но чудес.

И по тропе, глухой и личной,
Войду в такую тишину,

Где нынче всю породу птичью
Еще с утра клонит ко сну.
<1954?>

166

Затерянный в зеленом море,
К сосне привязанный, стою,
Как к мачте корабля, который
Причалит, может быть, в раю.

И хвои шум, как шум прибоя,
И штормы прячутся в лесу,
И я земли моей с собою
На небеса не унесу...
1952

167

Сплетают ветви полукруг
Трепещущего свода.
Под тысячей зеленых рук
На четырехугольный луг
Ведет меня природа.

Иду — уже не в первый раз —
Под триумфальной аркой.
А луг — пока хватает глаз —
Конвертом кажется сейчас,
Весь в разноцветных марках.

И каждый вылеплен цветок
В почтовом отделенье.
И до востребования мог
Писать мне письма только бог
Без всякого стесненья.
<1954>

168

Вечерней высью голубою
До дна пропитана река.
Клочками порванных обоев
Свисают с неба облака.

И в опустевшую квартиру
По тропке горной я вхожу
И в первый раз согласье мира
С моей душою нахожу.
<1953?>

169

В мозгу всю ночь трепещут строки,
И вырываются из сна
Признанья, жалобы, намеки,
Деревья, листья и луна.

И песне миг до появленья,
И кажется, теперь она
Одним физическим движеньем
Рукою будет рождена.

Казалось, мускулами кисти,
Предплечья, локтя и плеча
Я удержал бы всплески листьев
И трепет лунного луча.

Но, спугнутые светом спички,
Слова шарахаются прочь,
Звериным верные привычкам,
Предпочитают мрак и ночь.

И песня, снившаяся ночью,
Как бы я небо ни просил,
Со мною встретиться воочью
Не может, не имеет сил.
<1954?>

170

Потухнут свечи восковые
В еще не сломанных церквах,
Когда я в них войду впервые
Со смертной пеной на губах.

Меня несут, как плащаницу,
Как легкий шелковый ковер.

И от врачей, и от больницы
Я отвращу свой мутный взор.

И тихо я дышу на ладан,
Едва колебля дым кадил.
И больше думать мне не надо
О всемогуществе могил.
<1953–1954>

171

Я видел все: песок и снег,
Пургу и зной.
Что может вынесть человек —
Все пережито мной.

И кости мне ломал приклад,
Чужой сапог.
И я побился об заклад,
Что не поможет бог.

Ведь богу, богу-то зачем
Галерный раб?
И не помочь ему ничем,
Он истощен и слаб.

Я проиграл свое пари,
Рискуя головой.
Сегодня — что ни говори,
Я с вами — и живой.
<1954>

172

Ушло почтовой бандеролью,
С каким-то траурным клеймом
Все то, что было острой болью
И не бывало вовсе сном.

Скорей бессонницей, пожалуй,
Или рискованной игрой,
Затеянной метелью шалой
Земною зимнею порой.

Со мною, все еще мальчишкой,
Еще витавшим в облаках,
Ушло все то, что было слишком
И не удержано в руках,

Что было вырванной страницей
Из сердца, что меня потом
Чуть не направило в больницу,
В ближайший сумасшедший дом.

Все малолетнее, родное...
И так тревожен дальний путь,
Что сердце вздрагивает, ноет
И до утра не даст уснуть.
<1954>

173

Кто домик наш, подруга,
Назвал пустой мечтой,
Обвел Полярным кругом,
Магической чертой?

Кто дверь в него, подруга,
Заколотил крестом,
Завеял дымной вьюгой
В урочище пустом?

И хохотало эхо
Среди немых лесов,
Как радиопомеха
Для наших голосов.

Какое же страданье
Готовят нам за то,
Что, людям в назиданье,
Доверием свиданья
Мы стерли быль в ничто?
<1954>

174. НОЧНАЯ ПЕСНЯ

Бродят ночью волчьей стаей,
К сердцу крадутся слова.
Вой звериный нарастает,
Тяжелеет голова.

Я запомнил их привычку
Подчинения огню.
Я возьму, бывало, спичку,
Их от сердца отгоню.

Изловлю в капкан бумажный
И при свете, при огне
Я сдеру с них шкуру даже
И распялю на стене.

Но, едва глаза закрою
И залягу в темноту,
Вновь разбужен волчьим воем,
И опять невмоготу.

И не будет мне покоя
Ни во сне, ни наяву
Оттого, что этим воем,
Волчьим воем — я живу.
<1954>

175

Я мальчиком умру,
И, верно, очень скоро.
На ангельском пиру
Я слышал разговоры,

Что, дескать, на земле
Таким не будет места.
Напрасно столько лет
Их молча ждут невесты.

От этих женихов
Невестам мало проку,
Дорогою стихов
Они зайдут далеко.

Им взрослыми не стать,
Не выучиться жизни.
Их детская мечта
Не обретет отчизны.
<1954>

176

Не успокоит, не согреет,
Не утишит обид и бед
Зари, смешавшейся с кипреем,
Малиновый тяжелый цвет.

О, потерпи еще немного,
Слезой стеклянною блесни,
Слабеющие руки бога
Над горизонтом подними,

Чтоб, каменея в двоеперстном
Благословляющем кресте,
Он был, как твой двойник и сверстник,
В рожденье, жизни и мечте...
<1954?>

177

Вся даль весенняя бродила,
По всей земле искала брод.
Деревья терла пенным мылом
И их несла в водоворот.

Исторгнутые смертной мукой,
Прощанья слышались слова.
И корни, как чудовищ руки,
Тянули к небу дерева.

Рыданья, хрипы, междометья
Средь воя, шума, суеты,
Когда их вездесущий ветер
Сбивал по-своему в плоты,

Тащил вперед на перекаты,
И рвал одежду им в клочки,

И гнал, как гонят в бой солдата,
Вниз по течению, в толчки.

И, черной ошалелой массой
Наваливаясь на скалу,
Они с рычаньем несогласным
Ныряли в утреннюю мглу.
<1952?>

178

Он пальцы замерзшие греет,
В ладонь торопливо дыша,
Становится все быстрее
Походка карандаша.

И вот, деревянные ноги
Двигая, как манекен,
По снегу, не помня дороги,
Выходит на берег к реке,

Идет к полынье, где теченье
Ускорили родники,
Он хочет постигнуть значенье
Дыхания зимней реки.

И хриплым, отрывистым смехом
Приветствует силу свою.
Ему и мороз не помеха,
Морозы бывают в раю.
1949

179

Белое небо. Белые снега.
Ходит по ущельям девочка-пурга.

Босая, оступается, камни шевеля,
Под ее ногами горбится земля.

Девочка-растрепа, красавица моя,
Ты — моя родина, ты — моя семья.

Лесами ты проходишь — и гнутся леса,
На небо ты глядишь — и дрожат небеса,

Долго ль заблудиться мне в белых камнях,
Возьми меня за руку и выведи меня

На тихие, зеленые, теплые луга,
Девочка-растрепа, красавица пурга!
1950

180

В болотах стелются туманы,
И сердце бьется все сильней,
И знаки ночи долгожданной
Все громогласней, все видней.

Мне все дневные проволочки
Так очевидно нелегки.
Я кое-как дойду до точки,
До красной, стало быть, строки.

Меняют вещи цвет и форму,
И в новой сущности своей
Они не так уже бесспорны,
Как в свете слишком ярких дней.

Ведь одиночества отрада
Не ощущенье мертвеца,
Оно — моя Робинзонада
Без милосердного конца.

Так после кораблекрушенья,
С самим собой наедине,
Находят счастье и решенье
Во всем довериться волне.

Но, вспоминая ежечасно
Свой каменистый путь земной,
Роптавший в горести напрасно
Не соглашается со мной.
<1954?>

181

Сломав и смяв цветы
Своим тяжелым телом,
В лесу свалился ты
Таким осиротелым,

Что некий грозный зверь
Открыл свою берлогу
И каменную дверь
Приотвалил немного.

Но что тебе зверья
Наивные угрозы,
Ему — печаль твоя,
Твои скупые слезы?

Вы явно — в двух мирах,
И каждый — сам собою.
Не волен рабий страх
Сегодня над тобою…
<1954?>

182

Как будто маятник огромный
Раскачивается вода.
Но скал моих — сухих и темных —
Не достигает никогда.

Давно изучены границы
Морских угроз, морских страстей,
И волн горбатых вереницы
Пугать способны лишь детей.

Валы, как тигры в зоосаде,
Летят прыжком на парапет.
И вниз срываются в досаде,
И оставляют пенный след.

И луч, как нож, с кормы баркаса
Разрежет небо пополам.
И тучи, точно туши мяса,
По всем навалены углам.

И берега закатом тусклым
Не обозначены еще.
И труп какого-то моллюска
Багровым светом освещен...
<1952?>

183

Ты упадешь на снег в метель,
Как на пуховую постель,
Взметенную погромом.

И ты заплачешь обо мне,
Отворотясь лицом к стене
Бревенчатого дома.

И ты не слышишь — я зову,
Я, как в лесу, кричу «ау»,
Охрипший и усталый.

Сжимаю, бурей окружен,
В застывших пальцах медальон
Из белого металла.

Так много в жизни было зла,
Что нам дорога тяжела
И нет пути друг к другу.

И если после стольких вьюг
Заговорит над нами юг —
Мы не поверим югу.
<1954?>

184

Мне б только выболеть немножко,
Суметь довериться врачам.
Лекарством, как ребенка, с ложки
Меня поили б по ночам.

Но разве был событьем частным
Тот фантастический рассказ,
Что между двух припадков астмы
Припоминается сейчас,

Когда я стиснут был в ущелье
Камнями, небом и ручьем,
Не помышляя о прощенье
И снисхождении ничьем…
<1954>

185

Нет, не для нас, не в нашей моде
Писалось мира бытие,
И расточительность природы,
И пышность грубая ее.

И не раченьем садовода,
Избытком силы мир живет,
Любую пользуя погоду,
Какую вынес небосвод.

Мир не вмещается в картины,
Но, на полотна не просясь,
С любым из нас на миг единый
Провозгласить хотел бы связь.

Зачем роса порою ранней
На неподвижном лепестке
Висит слезой, зовя в бескрайней,
Такой мучительной тоске…
<1954?>

186

Всюду мох, сухой, как порох,
Хрупкий ягелевый мох,
И конические горы
Вулканических эпох.

Здесь на зов весны несмелой
Откликаются едва
И гранит позеленелый,
И зеленая трава.

Но рога свои олени
Смело сбрасывают в снег.

Исчезают сны и тени,
И добреет человек.
<1953>

187

Я на этой самой тропке
Подбирал когда-то робко
Бедные слова.

Я сгибал больное тело,
Чтоб в ушах зашелестела
Сонная трава.

Ныне я сквозь лес багровый,
Опалив ресницы, брови,
Проскачу верхом.

Ведь, выходит, ты недаром
Угрожала мне пожаром,
Красным петухом.

Бьется, льется дождь горящий,
И кричит от боли чаща,
И кипит река.

Камни докрасна нагреты.
Не попасть домой к рассвету
Без проводника…
<1953?>

188. ОТТЕПЕЛЬ

Деревьям время пробудиться,
Смахнуть слезинку и запеть,
Воды по капельке напиться
И завтра же зазеленеть.

Сырые запахи гашенья
Так мимолетны, так легки.
Березам тленье, и растленье,
И все на свете пустяки.

Едва ли черные березы
Свою оплакивают честь.
Ведь капли, как людские слезы,
Морозом осушают здесь.

И будто целый сад, с досады
На запоздавшую весну,
Не хочет становиться садом
И возвращается ко сну.

Своим внезапным пробужденьем
Он, как ребенок, устрашен.
Он весь — во мгле, он весь — в сомненье,
И зеленеть не хочет он.
<1954>

189

Пережидаем дождь
В тепле чужого дома.
Ложится навзничь рожь,
Боясь ударов грома.

И барабанит град
Крупней любой картечи,
И может, говорят,
Нам приносить увечья.

А небу все равно,
Что будет нынче с нами.
И тополь бьет в окно
Намокшими ветвями.

Летят из всех щелей
Обрывы конопатки.
Мигает все быстрей
Зажженная лампадка...
<1954?>

190. ЛУЧ

Будто кистью маховою
Пробежав по облакам,

Красит киноварью хвою
И в окошко лезет к нам.

И, прорезав занавески,
Он уходит в зеркала,
И назад отброшен резко
Тайной силою стекла.

Он с геранью и с морковью
Натюрморта заодно.
Он в глаза мне брызжет кровью,
Не дает смотреть в окно.
<1954>

191. В ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Хожу, вздыхаю тяжко,
На сердце нелегко.
Я дергаю ромашку
За белое ушко.

Присловья и страданья
Неистребимый ход,
Старинного гаданья
С ума сводящий счет.

С общипанным букетом
Я двери отворю.
Сейчас, сейчас об этом
Я с ней заговорю.

И Лида сморщит брови,
Кивая на букет,
И назовет любовью
Мальчишеский мой бред.
<1954>

192. РЕКВИЕМ

Ты похоронена без гроба
В песке, в холщовой простыне.
Так хоронили в катакомбах
Тогда — у времени на дне.

И в среднеазиатских, диких
Песках, сосущих арыки,
Ты тем была равновелика,
Кто нес под землю огоньки

Своей неистребимой веры
В такие будущие дни,
Где нет «эпохи», нету «эры»,
И что не мастера ли Мстеры
Когда-то поняли одни.

Куда теперь уйти и деться,
Куда мне преклонить главу,
В каком дожить мне жизнь соседстве
И с кем загрезить наяву?

Ты слепла в черных лабиринтах
Моей безвыходной земли,
Какие ж сказочные ритмы
Тебя к спасению вели,

Что в этой музыке душевной
Ты проявила на свету
Такой простой и совершенной
Твою седую красоту.

Доколе, боже мой, доколе,
Предав все лучшее тщете,
Нам ставить памятники боли
И распинаться на кресте?

Опять граненым адамантом
Заколешь крепко кружева,
Опять прославишься талантом,
Простым талантом — быть жива,

Чтоб делать всех людей живыми,
Чтоб делать всех людей — людьми,
Чтобы всю жизнь браниться с ними
И хлопать в ярости дверьми.

А может быть, твоею смертью
В бегах, от дома вдалеке,

Вся жизнь нам говорит: не верьте,
Что очутились в тупике.

Что всеми мелочами быта
Не будет подвиг затемнен,
Что этот был тобой испытан
И самовластно побежден.

И этот подвиг незаметный,
Великий материнский долг,
Как подчеркну чертой отметной,
Когда еще «не втолкан толк».

Когда догадкою Толстого
Весь мир еще не одарен,
Когда любовь, как божье слово,
Зашелестит со всех сторон,

Неся отнюдь не всепрощенье,
А только ненависти зло,
Когда души моей смятенье
Растеньем тянется в тепло,

Когда, заверчен и закручен
За солнцем, светом и теплом,
Я вижу в боли только случай
И средство для борьбы со злом.

Тогда твоим последним шагом
Куда-то вверх, куда-то вдаль
Оставишь на моей бумаге
Неизгладимую печаль.
<1954>

193

Густеет темный воздух,
И видно в вышине,
Как проступают звезды
На синем полотне.

Походною палаткой
Натягивают ночь.

Пилюли и облатки
Не могут мне помочь.

И я один на свете,
Седеет голова.
И брошены на ветер
Бумажные слова...
<1953>

194

Стучался я в калитку,
Просился в райский сад.
Бесплодная попытка —
Вернулся я назад.

Там горькая услада,
Секрет моей беды.
Мальчишеского сада
Незрелые плоды.

Казалось мне, что руку
Довольно протянуть,
Исчезнет моя мука
За несколько минут.

Их вкус живет доселе
В моем иссохшем рту.
И к той же самой цели
Я взрослым подойду.

И яблоки литые
К моим ногам летят,
Как солнца золотые,
И озаряют сад.

Лирично то, что лично,
Что пережил я сам.
Едва ли нам прилично
Не верить чудесам.
1952

195. ФОРТИНБРАС

Ходят взад-вперед дозоры,
Не сводя солдатских глаз
С дальних спален Эльсинора,
Где ночует Фортинбрас.

Королевские террасы
Темный замысел таят.
Здесь, по мненью Фортинбраса,
В каждой склянке налит яд.

Здесь фамильные портреты,
Притушив тяжелый взгляд,
Поздней ночью с датским ветром
Об убийстве говорят.

В спальне на ночь стелет шубу
Победитель Фортинбрас
И сует усы и губы
В ледяной прозрачный квас.

Он достиг заветной цели,
Все пред ним склонились ниц
И на смертных спят постелях
Восемь действующих лиц.

Он не верит даже страже,
Сам выходит на балкон.
И готов с любым миражем
Завести беседу он.

Он не будет слушать глупых
Увещаний мертвеца,
Что ему наследство трупов,
Страсти сына и отца.

Что ему цветы Офелий,
Преступления Гертруд.
Что ему тот, еле-еле
Сохранивший череп шут.

Он не будет звать актеров,
Чтоб решить загадку ту,

То волнение, в котором
Скрыла жизнь свою тщету.

Больше нет ни планов адских,
Ни высоких скорбных дум,
Все спокойно в царстве датском,
Равномерен моря шум.

Фортинбрас идет обратно,
Потушив огонь свечи.
На полу, чертя квадраты,
Скачут лунные лучи.

Кто же тронул занавеску,
Кто прижался у стены,
Озарен холодным блеском
Наблюдательной луны?

Кто сумел войти в покои
И его развеял сны
Нарушителем покоя
Покорителя страны?

Чья-то речь, как волны, бьется,
Как морской прибой шумит,
И над ухом полководца
Чей-то голос говорит:

«Ты пришел за древним троном
В самый знатный из дворцов,
Ты спешил почтить поклоном
Неостывших мертвецов.

Знаю, ты боишься смерти,
Не солдатской, не простой
И не той, что жаждут черти
За могильною чертой.

Ты боишься смерти славы,
Смерти в памяти людей —
Где частенько прав неправый
И святым слывет злодей.

Только я даю бессмертье,
Место в вечности даю.
Запишу сестру Лаэрта
В Книгу Светлую мою…

Год пройдет — не будет флага,
Фортинбрасова значка,
Но отравленная шпага
Проблестит еще века.

Лишь свидетельство поэта,
Вдохновенного творца —
Книга Жизни, Книга Света
Без предела и конца.

Может быть, язык библейский,
В совершенстве простоты,
Суете, вполне житейской,
Дал значенье и мечты.

Подчинить себе я властен
Мудреца и дурака,
Даже тех, кто не согласен
Уходить со мной в века.

Разбегутся сны и люди
По углам музейных зал,
Даже те, кто здесь о чуде
Никогда и не мечтал.

Может быть, глаза портретов
Старых рыцарских времен
Шлют проклятие поэтам,
Разбудившим вечный сон.

Может, им не надо славы,
Их пугает кисть и стих,
Может быть, они не вправе
Выдать горестей своих.

Но художника ли дело
Человеческий покой,
Если чувство завладело
Задрожавшею рукой.

Даст ответ не перед веком,
Перед собственным судом —
Почему завел калеку
В королевский пышный дом…

Ты в критическом явленье
В пьесу ввел свои войска,
Создавая затрудненье
Для финального стиха.

Без твоих военных акций
Обойдется наш спектакль.
Я найду других редакций
Черновой последний акт.

Все, что сказано на сцене,
Говорилось не тобой,
Не тебе шептали тени,
Что диктовано судьбой.

Знай, что принца монологи
И отравленная сталь
Без тебя найдут дорогу
В расколдованную даль,

Если совести поэта
Доверяешь жизнь и честь,
Если ждешь его совета,
Ненавидя ложь и лесть…

Выбирай судьбу заране,
Полководец Фортинбрас.
Будет первой датской данью
Мой эпический рассказ…»

Снова слышен шелест шелка
Занавески золотой.
Пляшут лунные осколки
В темной комнате пустой.

Фортинбрас, собравшись с духом,
Гонит бредовые сны.
Не слова звучали глухо,
А далекий плеск волны.

Ходят взад-вперед солдаты.
В замке — тишь и благодать.
Он отстегивает латы,
Опускаясь на кровать.

<1954–1955>

196. ЛИЛОВЫЙ МЕД

Упадет моя тоска,
Как шиповник спелый,
С тонкой веточки стиха,
Чуть заледенелой.

На хрустальный, жесткий снег
Брызнут капли сока,
Улыбнется человек,
Путник одинокий.

И, мешая грязный пот
С чистотой слезинки,
Осторожно соберет
Крашеные льдинки.

Он сосет лиловый мед
Этой терпкой сласти,
И кривит иссохший рот
Судорога счастья.
1954

197. ИНСТРУМЕНТ

До чего же примитивен
Инструмент нехитрый наш:
Десть бумаги в десять гривен,
Торопливый карандаш —

Вот и все, что людям нужно,
Чтобы выстроить любой
Замок, истинно воздушный,
Над житейскою судьбой.

Все, что Данту было надо
Для постройки тех ворот,
Что ведут к воронке ада,
Упирающейся в лед.
1954

198

Тебя я слышу, слышу, сердце,
Твой слабый стук из тайника.
И в клетке ребер нету дверцы,
Чтоб отомкнуть ключом стиха.

И я прочту в зловещем стуке,
В твоих ослабленных толчках
Рассказ о той, о смертной муке
В далеких горных рудниках.

Ты замуровано, как вечник.
Все глуше, глуше ты стучишь,
Пока под пыткой спазм сердечных
Ты навсегда не замолчишь.
<1954?>

199. У КРЫЛЬЦА

У крыльца к моей бумаге
Тянут шеи длинные
Вопросительные знаки —
Головы гусиные.

Буквы приняли за зерна
Наши гуси глупые.
Та ошибка — не зазорна
И не так уж грубая.

Я и сам считаю пищей,
Что туда накрошено,
Что в листок бумаги писчей
Неумело брошено.

То, что люди называли
Просто — добрым семенем,

Смело сеяли и ждали
Урожай со временем.
1954

200

Так вот и хожу
На вершок от смерти.
Жизнь свою ношу
В синеньком конверте.

То письмо давно,
С осени, готово.
В нем всего одно
Маленькое слово.

Может, потому
И не умираю,
Что тому письму
Адреса не знаю.
<1940-е?–1953>

201

Шепот звезд в ночи глубокой,
Шорох воздуха в мороз
Откровенно и жестоко
Доводил меня до слез.

Я и до сих пор не знаю,
Мне и спрашивать нельзя:
Тропка узкая лесная —
Это стежка иль стезя?

Я тогда лишь только дома,
Если возле — ни души,
Как в хрустальном буреломе,
В хаотической глуши.
<1953>

202

Отчего на этой даче
Не решается задача
Из учебника тайги?

Подгонять ее к ответу
У меня таланта нету.
Боже правый, помоги!

Сколько формул, сколько знаков,
Каждый знак — не одинаков,
Не таков, как был вчера.

А об истинном значенье
Думать мне — одно мученье
И, конечно, не игра.

Дело было бы попроще,
Если б пели в наших рощах
Птицы, вроде соловья.

Я б доверил птичьим горлам
Изложенье важных формул
Содержанья бытия.

Ведь любых чудес загадка
Решена во мгле распадка
И до ужаса проста.

Что ж дрожит полярной ночью,
Разорвав рубаху в клочья,
Онемевшая мечта?
<1953>

203. В ШАХТЕ

Жизнь, дорожащая мгновеньем,
Где напряжен до боли слух,
Где даже ветра дуновенье
И то захватывает дух.

Нет, не затем я рос все выше,
Чтоб, упираясь в потолок,
Паденье этой тяжкой крыши
Сдержать и выдержать я мог.

Того чудовищного веса
Свисающего потолка
Не удержать крепежным лесом
Хотя б и лучшего стиха.

Но рифм пугливое смещенье
И треск ломающихся строф
Звучит сигналом приближенья
Неотвратимых катастроф.

И кто успеет двинуть бровью
И доберется до норы,
Покамест грохнет, рухнет кровля
И слышен грузный вздох горы.

Предупрежден моей судьбою,
Где хруст костей — ему сигнал,
Он припадет к груди забоя,
Чтоб уцелеть от гнева скал.

И, стоя в каменной метели,
Белее меловых пород,
Поймет мои мечты и цели,
Мою беспомощность поймет.

И возвратит свое значенье
Тому, что звал он пустяком,
Пустым воскресным развлеченьем,
А не спасительным стихом.

<1953>

204. ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

Когда я плелся еле-еле
На зов обманный огонька,
В слепящей и слепой метели
Меня вела моя тоска.

Я повторял твои простые,
Твои прощальные слова.
Кружились горы золотые,
Моя кружилась голова.

В голодном головокруженье,
В знобящей дрожи рук и ног
Двоилось каждое движенье
Ветрам упрямым поперек.

Но самой слабости сердечной
Такая сила придана,
Что будь метель — метелью вечной,
Со мной не сладила б она.

Мне все казалось — вместе, рядом
С тобой в пурге вдвоем идем,
Глядим двойным горячим взглядом
На землю, залитую льдом.

И вдвое я тогда сильнее,
И вдвое тверже каждый шаг.
Пускай и боль вдвойне больнее —
Мне легче севером дышать.

Едва ли, впрочем, в той метели
Хотя б один бывает звук
Похож на стон виолончели,
На глубину скрипичных мук.

Но мы струне не очень верим,
И жизни выгодно сейчас
Реветь на нас таежным зверем,
Пургой запугивая нас.

Я верю в жизнь любой баллады,
Любой легенды тех веков,
Какие смело в двери ада
Входили с томиком стихов.

Я приведу такие сказки,
Судьбу Танкредов и Армид,
И жизнь пред ними снимет маску
И сходством нас ошеломит.

<1955>

205

Я с отвращением пишу,
Черчу условленные знаки...
Когда б я мог карандашу
Велеть не двигаться к бумаге!

Не успеваю за моей
В губах запутавшейся злостью,
Я испугался бы гостей,
Когда б ко мне ходили гости.

И в угол из угла стихи
Шагают, точно в одиночке.
И не могу поднять руки,
Чтобы связать их крепкой строчкой.

Чтоб оттащить их в желтый дом,
В такую буйную палату,
Где можно бредить только льдом,
Где слишком много виноватых.
<1954>

206

Говорят, мы мелко пашем,
Оступаясь и скользя.
На природной почве нашей
Глубже и пахать нельзя.

Мы ведь пашем на погосте,
Разрыхляем верхний слой.
Мы задеть боимся кости,
Чуть прикрытые землей.
<1955>

207

Мы ночи боимся напрасно —
Цветы изменяют свой цвет
Затем, чтобы славить согласней
Полуночный, лунный ли свет.

Хочу, чтобы красок смятенье
И смену мгновенную их
На коже любого растенья
Поймал мой внимательный стих.

Оттенки тех огненных маков,
Чернеющих в лунных лучах,
Как рукопись, полная знаков,
Еще не прочтенных в ночах.

Что резало глаз и пестрело,
Теперь для того смягчено,
Чтоб смело из ночи смотрело
В раскрытое настежь окно.

И встретится с ищущим взглядом,
И в дом мой поспешно войдет
Шагать и поддакивать рядом,
Покамест не рассветет.

1956

208

О тебе мы судим разно.
Или этот емкий стих
Только повод для соблазна,
Для соблазна малых сих.

Или он пути планетам
Намечает в той ночи,
Что злорадствует над светом
Догорающей свечи.

Может, в облике телесном,
В коже, мышцах и крови
Показалось слишком тесно
Человеческой любви.

Может, пыл иносказанья
И скрывает тот секрет
Прометеева страданья,
Зажигающего свет.

И когда б тому порукой
Был огарок восковой,
Осветивший столько муки,
Столько боли вековой.
1955

209. РОМАНС

В заболоченной Чукотке,
У вселенной на краю
Я боюсь одной чахотки —
Слишком громко я пою,

Доставая из-под спуда,
Из подполья злого дня
Удивительные руды
С содержанием огня.

Для моих усталых легких
Эти песни — тяжелы.
Не найду мелодий легких
Средь сырой болотной мглы.

Кровь густая горлом хлынет,
Перепачкав синий рот,
И у ног моих застынет,
Не успев всосаться в лед.
<1953>

210

Вернувшись в будни деловые
С обледенелых синих скал,
Сегодня, кажется, впервые
Я о тайге затосковал.

Там измерять мне было просто
Все жизни острые углы,
Там сам я был повыше ростом
Среди морозной, жгучей мглы,

Где люди, стиснутые льдами,
В осатанелом вое вьюг

Окоченевшими руками
Хватались за Полярный круг.

И где подобные миражи
Не сказка и не болтовня,
Подчас ясней бывали даже
Видений яви, света, дня.

Где руки мне, прощаясь, жали
Мои умершие друзья,
Где кровью налиты скрижали
Старинной книги бытия.

И где текли мужские слезы,
Мутны, покорны и тихи,
Где из кусков житейской прозы
Сложил я первые стихи.
1954

211

Вернись на этот детский плач,
Звенящий воем вьюг,
Мой исповедник, мой палач,
Мой задушевный друг.

Пусть все надежды, все тщеты,
Скользящие с пера,
Ночное счастье — только ты
До раннего утра.

Прости мне бедность языка,
Бессилие мое,
И пребывай со мной, пока
Я доскажу свое.
<1954>

212

Ты смутишься, ты заплачешь,
Ты загрезишь наяву.
Ты души уже не спрячешь
По-июльскому — в траву.

И листы свои капуста
Крепко сжала в кулаки,
И в лесу светло и пусто,
И деревья — высоки.

Раскрасневшаяся осень
Цепенеет на бегу,
Поскользнувшись на откосе
В свежевыпавшем снегу.
<1954?>

213

Упоительное бегство
Прямо с поезда — и в лес,
Повторять лесные тексты
Ускользающих чудес.

То, на что способны астры,
Пробужденные от сна,
То, что лилий алебастру
Сообщает тишина.

То, что каждое мгновенье
Изменяет вид и цвет.
Для его изображенья
И возможности-то нет.

Может — это просто звуки
В совершенстве чистых нот,
Как цветы, сплетают руки,
Затевая хоровод.

Старой тайны разрешенье,
Утвержденье и ответ
В беспорядочном круженье
Этих маленьких планет.

Над развернутой бумагой
Что-то тихо прошуршав,
Наклоняются, как флаги
Не знакомых мне держав.

И сквозь ветви, как «юпитер»,
Треугольный солнца луч
Осветит мою обитель
До высот нагорных круч.

Вот и сердцу легче стало,
Ветра теплая рука
По листу перелистала
Книгу клена-старика.

<1955?>

214

Мне все мои болезни
Давно не по нутру.
Возьму я ключ железный
И сердце отопру.

Открою с громким звоном,
Со стоном и огнем.
Паду земным поклоном,
Заплачу о своем —

О всем, что жизнь хранила,
Хранила, хмуря бровь,
И вылила в чернила
Темнеющую кровь.

Химический анализ
И то не разберет,
Что вылилось, как наледь,
Не всасываясь в лед.

<1954>

215. ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Свет, как в первый день творенья,
Без мучительных светил
И почти без напряженья
Пресловутых вышних сил.

Будто светит воздух самый,
Отражая светлый лед,

И в прозрачной райской драме
Освещает людям вход.

Там стоят Адам и Ева,
Не найдя теплей угла,
Чем у лиственницы — древа
Знания добра и зла.
<1953>

216. СОЛЬВЕЙГ

Зачем же в каменном колодце
Я столько *жил*?
Ведь кровь почти уже не бьется
О стенки жил.

Когда моей тоски душевной
Недостает,
Чтобы открыть для воли гневной
Пути вперед.

И только плеть воспоминаний
Бьет по спине,
Чтобы огни былых страданий
Светили мне.

Навстречу новым униженьям
Смелей идти,
Ростки надежд, ростки сомнений
Сметя с пути.

Чтобы своей гордилась ролью
Века, века
Лесная мученица — Сольвейг
Издалека.
<1954>

217

Опять сквозь лиственницы поросль
Мне подан знак:
Родных полей глухая горесть —
Полынь и мак.

Я притворюсь сейчас растеньем,
Чтоб самому
Понять всю подлинность цветенья.
И я — пойму.

Все, что лежит в душе народной,
В душе земной,
Сейчас у края преисподней
Навек со мной.

Мне не дано других решений,
Иных путей,
Иных надежд, иных свершений,
Иных затей.

Я на лесной расту тропинке,
От мира скрыт.
Единой маковой росинкой
Я буду сыт.

Я знаю — сердце не остынет
От злых обид,
Пока сухой язык полыни
Еще шуршит.
<1955>

218

Все людское — мимо, мимо.
Все, что было, — было зря.
Здесь едино, неделимо
Птичье пенье и заря.

Острый запах гретой мяты,
Дальний шум большой реки.
Все отрады, все утраты
Равноценны и легки.

Ветер теплым полотенцем
Вытирает щеки мне.
Мотыльки-самосожженцы
В костровом горят огне.
1955

219. ВОСПОМИНАНИЕ

Соблазнительные речи
До рассветных янтарей.
Новый день — судьбе навстречу
По следам богатырей.

Жизни сказочное зелье,
Выпитое за углом
И отравленным весельем
Наполняющее дом.

Я с тобой, Россия, рядом
Собирать пойду цветы,
Чтоб встречать косые взгляды
И презрительные рты…
<1954>

220

В тарелке оловянной
Нам солнце подают,
По блюдечкам стеклянным
Небрежно разольют.

Чтоб завтраком отличным
Доволен был любой,
Несут кисель брусничный
На льдинке голубой.
<1954>

221

Я знаю мое чувство емкое,
Вмещающее все на свете:
И заберега кромки ломкие,
И склеивающий льдины ветер.

И ветер рвется в небо бледное,
Чтоб сосны, пользуясь моментом,
Звучали точно струны медные
Величественного инструмента.

Играет сломанными ветками
В нетерпеливом ожиданье
Такого горького и редкого,
Обещанного мной свиданья.

А там, в стране метаний маетных,
Настойчиво и неизменно
Качают солнце, словно маятник
Медлительных часов вселенной.
<1954?>

222. ИЗ ДНЕВНИКА ЛОМОНОСОВА

Бессмертен только минерал,
И это всякому понятно.
Он никогда не умирал
И не рождался, вероятно.

Могучее здоровье есть
В обличье каменной породы,
И жизнь, быть может, лишь болезнь,
Недомогание природы.
<1953>

223

Сумеешь, так утешь
И утиши рыданья.
Увы! Сильней надежд
Мои воспоминанья.

Их ворон бережет
И сам, поди, не знает,
Что лед лесных болот
Вовеки не растает.

Под черное стекло
Болота ледяного
Упрятано тепло
Несказанного слова.
<1954>

224. ЖИЛ-БЫЛ

Что ж! Зажигай ледяную лампаду
Радужным лунным огнем.
Нынешней ночью и плакать не надо —
Я уж отплакался днем.

Нет, не шепчи и не бойся огласки,
Громко со мной говори.
Эту старинную страшную сказку
В тысячный раз повтори.

Голосом ночи, лунного света,
Горных обрывов крутых:
—Жил-был Король, недостойный поэтов
И недостойный святых...

<1954>

225

Разве я такой уж грешник,
Что вчера со мной
Говорить не стал орешник
На тропе лесной.

Разве грех такой великий,
Что в рассветный час
Не поднимет земляника
Воспаленных глаз.

Отчего бегут с пригорка,
Покидая кров,
Хлопотливые восьмерки
Черных муравьев.

Почему шумливый ясень
С нынешнего дня
Не твердит знакомых басен
Около меня.

Почему глаза отводят
В сторону цветы.
Взад-вперед там быстро ходят
Пестрые кусты.

Как меня — всего за сутки
По часам земли
Васильки и незабудки
Позабыть могли.

Я-то знаю, в чем тут дело,
Кто тут виноват.
Отчего виски седели
И мутился взгляд.

Отчего в воде озерной
Сам не узнаю
И прямой и непокорной
Молодость мою?
<1955>

226

Нет, не рука каменотеса,
А тонкий мастера резец
Из горных сладивший откосов
Архитектуры образец.

И что считать судьбой таланта,
Когда узка его тропа,
Когда земля, как Иоланта,
Сама не зная, что слепа,

К его ногам, к ногам поэта,
Что явно выбился из сил,
Несет цветы другого цвета,
А не того, что он просил.

Где легендарные сюжеты
Дают любому напрокат,
И солнце там по белу свету
Полгода ищет свой закат.

Календаря еще не зная,
Земля полна своих хлопот,
Она пургой в начале мая
Любые песни заметет.

Но у кого же нет запаса,
Запаса горя в дальний путь,
Чтобы скитаться без компаса,
Чтоб жить хотя бы как-нибудь.

И где ему искать расплаты?
Зачем он думал, чем он жил?
Его друзья не виноваты,
Что не выходят из могил.

Ведь эти двери — в ад ли, в рай ли
Дано открыть его ключам.
Он, будто по системе Брайля,
Бумагу колет по ночам.

И, подвергая расшифровке
Все то, что ночью написал,
Он ищет крюк, чтоб на веревке
Взлететь поближе к небесам.

И он хотел такие муки,
Забыв о ранней седине,
Отдать — но только прямо в руки
Родной неласковой стране.

И, ощутив тепло живое,
Страна не выронит из рук
Его признание лесное,
Завеянное дымом вьюг.
<1955?>

227

На улице волки
Заводят вытье, —
На книжную полку
Кладется ружье,

Чтоб ближе, чем книги,
Лежать и помочь
В тревожные миги,
В беззвездную ночь,

Где сонной метелью
Рассеянный снег
Улегся под елью
На вечный ночлег.

Где лед еще крепче,
Чем горный гранит,
Горячие речи
И судьбы хранит.

Где слышно рыданье
В подземных ключах,
Где нет состраданья
В делах и речах.

Где тень от кибитки
Возка Трубецкой
Мучительней пытки
Обычной людской.

Где солнце не греет,
А яростно жжет,
Где горы стареют
Средь мерзлых болот.

Где небо, бледнея,
Ушло в высоту,
Став трижды роднее
Зовущим мечту

На помощь, чтоб робость
Свою побороть,
Не кинуться в пропасть
И в водоворот.

Где волны качают
Живое весло,
Розовой чайки
Витое крыло.

Где нету ненужных
Для здешних людей
Тяжелых, жемчужных
Весенних дождей.

К медведям в соседи
Спокойно сойти,
В беседе медведей
Отраду найти.

Где бешеный кречет
Пугает зайчат,
Где тополи — шепчут,
А люди — молчат...

Из нотного пенья
Для музы зимы
Годны, без сомненья,
Одни лишь псалмы.

<1954>

228

На приморском побережье
Поднимаюсь на плато.
Грудь мне режет ветер свежий,
Разрывающий пальто.

Все, что сунется навстречу,
Пригибает он к земле.
Деревам крутые плечи
Не расправить на скале.

Но я знаю тот таежный,
Чудодейственный пароль.
Кину песню осторожно,
Преодолевая боль.

И подхватит ветер песню,
Так и носит на руках.
Это песне много лестней,
Чем скрипеть на чердаках.

Чем шептать под одеялом
Неуместные слова —
Все о бывшем, о бывалом
Лепетать едва-едва.

И под песенной защитой
Я пройду своим путем,
Неожиданно забытый
Ветром, полночью и льдом.
<1955>

229

Я — море, меня поднимает луна,
И волны души отзываются стоном.
Пропитанный болью до самого дна,
Я — весь на виду. Я стою на балконе.

Лунатик ли, пьяный ли — может, и так.
Отравленный белым далеким простором,
Я знаю, что ночь — далеко не пустяк,
Не повод к застольным пустым разговорам.

И только стихов я писать не хочу.
Пускай летописец, историк, не боле
Но что мне сказать моему палачу —
Луне, причинившей мне столько боли?
<1955>

230

Пичужки песня так вольна,
Как будто бы не в клетке
Поет так радостно она,
А где-нибудь на ветке

В лесу, в моем родном лесу,
В любимом чернолесье,
Где солнце держат на весу,
Достав до поднебесья,

Дубы кряжистые, и луч,
Прорвав листву резную,
Скользнув с обрывов, туч и круч,
Дробит волну речную.

И отражен водой речной,
Кидается обратно.

И солнце на листве сквозной
Бросает всюду пятна.

И кажется, кусты задень,
Задень любую ветку,
Прорвется, заблистает день,
И только птица — в клетке.

Но все миражи и мечты
Раскрыты птичьей песней,
Достойной большей высоты,
Чем даже поднебесье.
<1955>

231

Копытят снег усталые олени,
И синим пламенем огонь костра горит,
И, примостившись на моих коленях,
Чужая дочь мне сказку говорит.

То, может быть, не сказка, а моленье
Все обо мне, не ставшем мертвецом,
Чтобы я мог, хотя бы на мгновенье,
Себя опять почувствовать отцом.

Ее берег от мора и от глада,
От клокотанья бледно-серых вьюг,
Чтобы весна была ее наградой,
Подарком из отцовских рук.

И в этом остром, слишком остром чувстве,
Чтоб мог его принять за пустяки,
Я никогда не пользуюсь искусством
Чужую грусть подмешивать в стихи.

И сердца детского волнение и трепет,
И веру в сказку в сумрачном краю,
Весь неразборчивый ребячий лепет
Не выдам я за исповедь свою.
<1954>

232

Гора бредет, согнувши спину
Как бы под бременем забот.
Она спускается в долину,
Неспешно сбрасывая лед.

Она держаться в отдаленье
Привыкла, вечно холодна.
Свои под снег укрыла мненья
И ждет, пока придет весна.

Тогда отчаянная зелень,
Толкая грязный, липкий снег,
Явит служенье высшим целям
И зашумит, как человек.
<1954>

233

Шуршу пустым конвертом,
Письмо пишу тебе,
Прислушиваясь к ветру,
Гудящему в трубе.

И вдруг, вскочив со стула,
Бросаюсь на кровать,
Слова в зловещем гуле
Пытаюсь разобрать.

Что ветер там бормочет,
Не надо бы кричать,
Зачем понять не хочет,
Что лучше б замолчать.

Мучительные строчки
Последнего письма
Довел бы я до точки
И не сошел с ума.
<1955>

234

Зачем холодный блеск штыков
И треск селекторных звонков?

Чего вы испугались вдруг?
Что слышно в злобном гуле вьюг?

Ведь он — не бог и не герой,
Он даже жалкий трус порой.

Ведь он — один, один, один,
Хотя и дожил до седин.

Его же верные друзья
Не испугаются ружья.

Друзья, и братья, и отцы —
Они ведь только мертвецы!
<1953>

235

Велики ручья утраты,
И ему не до речей.
Ледяною лапой сжатый,
Задыхается ручей.

Он бурлит в гранитной яме,
Преодолевая лед,
И холодными камнями
Набивает полон рот.

И ручья косноязычье
Непонятно никому,
Разве только стае птичьей,
Подлетающей к нему.

И взъерошенные птицы
Прекращают перелет,
Чтоб воды в ручье напиться,
Уцепясь за хрупкий лед…

Чтоб по горлу пробежала
Капля горного питья,
Точно судорога жалоб
Перемерзшего ручья.
1954

236

Натурализма, романтизма
Листки смешались на столе.
Я поворачиваю призму
В увеличительном стекле.

Все это ведь не точка зренья
Художника, его перо,
А лишь манера размышленья
Над тем, что — зло и что — добро.

Поэт — не врач, он только донор,
Живую жертвующий кровь.
И в этом долг его, и гонор,
И к человечеству любовь.

Навек запомненную мною
Пережитую злую быль
Перед знакомою луною
Я высыпаю прямо в пыль.

Перебираю, как влюбленный,
Наивный рыцарский словарь,
Комки суждений запыленных
И птичий слушаю тропарь.

Чего хочу? Чтобы писалось,
Чтобы не кончился запой,
Чтоб сердце век не расставалось
Со смелостью и прямотой.

И чтобы стих, подчас топорный,
Был точен — тоже как топор
У лесорубов в чаще черной,
Валящих лес таежных гор.

И чтоб далекие удары,
И вздохи лиственниц моих
Ложились в такт с тоскою старой,
Едва упрятанною в стих.
<1955>

237

Мы отрежем край у тучи
Острым ветром, как ножом,
И десяток ив плакучих
Мы на случай сбережем.

Нам нужней краюха хлеба,
Но и туча — не пустяк,
Но и туча — благо неба,
Если жизнь у нас в гостях.

Мы опустим тучу ниже,
Зацепив за ветки ив
Небо, небо будет ближе,
Ближе каждому, кто жив.

Чтоб плакучих ив не выше
Был свинцовый потолок,
Чтоб рукой к холодной крыше
Прикоснуться каждый мог.

Мы в ущелье — точно дома
И забыли целый свет.
Нам не страшен грохот грома
И зубчатых молний след.
<1955?>

238. ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

В избе дородная хозяйка,
Лоснящаяся, как зверь,
Кладет на койку балалайку
И открывает смело дверь.

Она встречает нас как надо,
Как полагается врагу,

Как героиня Илиады,
Она хватает острогу.

Но, приглядевшись к выраженью
Усталых лиц, голодных глаз,
Берет назад свое движенье
И не глядит уже на нас.

А загремев в печи ухватом,
Горячий черпает нектар,
Щекочет ноздри ароматом
Густой качающийся пар.

И, как гомеровская баба,
Она могуча и сильна.
И нам, измученным и слабым,
Чудесной кажется она,

Когда, сменив в светце лучину,
Мурлыча песню, шерсть прядет,
И плечи кутает в овчину,
И вытирает жаркий пот,

И, засыпая над работой,
Не совладавши с дремотой,
Храпит, и в блеске капель пота
Преображается святой.

Мы дружно чавкаем над миской
И обжигаем супом рты,
И счастье к нам подходит близко,
И исполняются мечты.
<1954>

239

Жизни, прожитой не так,
Все обрезки и осколки
Я кидаю на верстак,
Собирая с книжной полки.

Чтоб слесарным молотком
И зазубренным зубилом

Сбить в один тяжелый ком
Все, что жизнь разъединила,

Чтобы молот паровой
Утюгом разгладил за день,
Превратил бы в лист живой
Без кровоточащих ссадин.
1956

240

Стихи? Какие же стихи
Годятся для такого дела,
И где хранить черновики,
За пазухой, на голом теле?

Какой тоске отдать черед,
Каким пейзажам предпочтенье,
Какое слово не солжет,
Не выйдет из повиновенья?

И кто же так, как я, поймет
Все одиночество рассвета,
Кто в рот воды не наберет
И не поплатится за это?
<1955>

241

Все молчит: зверье, и птицы,
И сама весна.
Словно вышла из больницы —
Так бледна она.

В пожелтевшем, прошлогоднем
Травяном тряпье
Приползла в одном исподнем,
Порванном белье.

Из ее опухших десен
Выступает кровь.
Сколько было этих весен,
Сколько будет вновь?
<1955>

242

Мне в желтый глаз ромашки
Мучительно и тяжко
Вглядеться иногда,

Когда с душевной дрожью
Иду неспелой рожью
Вдоль черного пруда.

Я помню, как невзгоду,
Морщинистую воду
Стареющих озер

И гроздьями рябины
Нависшие рубины
На белых шеях гор.

Глядеть, глядеть, как в воду,
В погоду и в природу
И там искать ответ

На все мои мученья,
И этим развлеченьям
Конца и краю нет.
<1954>

243

Мне жить остаться — нет надежды.
Всю ночь беснуется пурга,
И снега светлые одежды
Трясет драконова рука.

В куски разорванный драконом,
Я не умру — опять срастусь.
Я поднимусь с негромким стоном
И встану яблоней в цвету.

Я встану яблоней несмелой
С тревожным запахом цветов,
Цветов, как хлопья снега, белых,
Сырых, заплаканных листов.

Я встану тысячей летящих,
Крылами бьющих белых птиц,
Запеть о самом настоящем,
Срывающемся со страниц.

Я кое-что прощаю аду
За неожиданность наград,
За этот, в хлопьях снегопада,
Рожденный яблоневый сад.

<1954>

244

Конец надеждам и расплатам,
Откроют двери в ад — и вот,
Как безымянный скромный атом,
Вернусь в земной круговорот.

Что я земле? Я — след слезинки,
Морщинка на лице жены.
Я — нерастаявшая льдинка,
Что в чаще ждет еще весны.

Пускай толкут, как воду в ступке,
Мои враги, мои друзья
Слова мои и те поступки,
Которым был причастен я.

Мне запечалиться о том бы,
Чего не сделали стихи —
Так не похожие на бомбы
Комочки горя и тоски.

<1955>

245

Уйду, уеду в дали дальние
И помолюсь на образа,
На неподвижные, печальные
Твои сиротские глаза.

Но нам не скажет даже зеркало
Отполированного льда,

Чем наше сердце исковеркало
И разделило навсегда.

Ищи, слепая ясновидица,
По карте скрещенных морщин
Все, что болит, что ненавидится,
Чему нет меры и причин.

Чтобы, мои тревожа волосы,
Седые трогая виски,
Грудным опять запела голосом
Слова тоски, слова тоски.
<1955>

246

Светотени доскою шахматной
Развернула в саду заря.
Скоро вы облетите, зачахнете,
Клены светлого сентября.

Где душа? Она кожей шагреневой
Уменьшается, гибнет, гниет. Песня?
Песня, как Анна Каренина,
Приближения поезда ждет...
<1954>

247

Ты шел, последний пешеход,
По каменистой речке вброд.

И сопки, как морской прибой,
Гнались упорно за тобой.

Обрушивалась гор гряда
Над теми, кто забрел сюда.

Но ты — ничтожен, слишком мал
Для мести дыбящихся скал.

Ты пощажен в краю родном
И помнишь только об одном —

Не позабыть свой стыд, свой страх,
Гудящий глухотой в ушах.
<1955>

248

Ведь мы — не просто дети
Земли, —
Тогда бы жить на свете
Мы не могли.

В родстве с любым — и звезды,
И облака,
Необходимая, как воздух,
Река.

И в горле — песни птичьей
Подчас тона.
И кажется сугубо личной
Луна…
1954

249

Может быть, твое движенье
В полутьме навстречу мне —
Это только отраженье,
Тень деревьев на стене,

Что свои ломают руки,
Умоляя и грозя,
Потому что им от муки,
От земли уйти нельзя.

Им свои не вырвать корни,
Уцепившись за меня.
Все, что просто, что бесспорно,
Принимаю, не кляня.
<1955?>

250. ВЕТКА

Наклонись ко мне, кленовая,
Ветка милая моя.
Будь негаданной основою
Обновленья бытия.

Не твоя ли зелень клейкая
Так горька и горяча?
Ты нагнулась над скамейкою
Возле самого плеча.

Я шепчу признанья пылкие,
К твоему тянусь листу,
Что дрожит здесь каждой жилкою,
Ясно видной на свету.
<1954>

251

Я твой голос люблю негромкий,
Путешественница моя.
Зазвучит ли — глухой и ломкий,
И услышу ли голос я?

Пусть попросит воды напиться,
Пусть шагнет за чужой порог,
Пусть забьется в руках, как птица,
Крепко пойманная в силок.

Непослушное слово скажет
Пусть другому — совсем не мне.
На мое оно сердце ляжет
В темной сказочной тишине.

Пусть другому — я сам докончу,
Я додумаю — для себя,
Еще громче и еще звонче,
Чем выдумывают, любя…
<1954>

252

Любая из вчерашних вьюг
Мне не грозит бедою.
И окроплен иссохший луг
Целебною водою.

И птицы робкие поют
Псалмы об избавленье,
И дождевую воду пьют
В каком-то вожделенье.

Задумалась у норки мышь
О человечьем счастье,
Как мы, поверив в гладь и тишь
Навек после ненастья.

Здесь до моих страстей и мук
Кому какое дело.
Свобода тут — из первых рук,
И юность — без предела.

И не касаются меня
Настойчивой рукою
Заботы завтрашнего дня
С их гневом и тоскою.
<1954>

253

О, память, ты — рычаг,
Рычаг второго рода.
С короткого плеча
Вся жуть, вся глубь испода

Событий и людей,
Зарытых и забитых,
Где схимник и злодей
В одних и тех же пытках

Находят смерть свою
И прячутся под камень…
И тонким стоном вьюг,
Гудящих над веками,

Покрыт весь этот срам,
Весь этот мир позора —
Изнанка панорам,
Опершихся на горы.
<1955>

254

Разогреть перо здесь, что ли,
Мерзлый снять налет,
Чтобы крикнула от боли
Песня, вырвавшись на волю,
Наступив на лед.

Опалит босые ноги,
Легкую стопу
Поморозит по дороге
Через горные отроги,
Трогая тропу.

Знаю — злое вдохновенье,
Тайный гений льда,
Может быть, через мгновенье
Выйдет из повиновенья,
И тогда — беда.

Мне и так с природой в битве
Жизни не спасти.
Среди выбоин и рытвин
Под проклятья и молитвы
День и ночь брести.

И махать рубленой прозой,
Выйдя на крыльцо.
Затаенные угрозы
Снегу, ветру и морозу
Выбросить в лицо.

Что мне ждать дыханья почек,
Бормот соловья.
Я не ставлю даже точек,
Так спешит на желоб строчек
Жалоба моя.

И когда б не цепь размера,
Не узда стиха,
Где б нашлась иная мера,
Чтоб моя сдержалась вера,
Убоясь греха.

Ведь на гиблом этом месте
Вечной мерзлоты
Мы с тобой стояли вместе,
До конца сверяя с честью
Помыслы мечты.

<1954>

255

Здесь все, как в Библии, простое —
Сырая глина, ил и грязь.
Здесь умереть, пожалуй, стоит,
Навек скульптурой становясь.

Пусть каждый выглядит Адамом,
Еще не заведенным в рай.
Пусть никаким Прекрасным Дамам
Не померещится наш край.

И прост ответ на те вопросы,
Что даже ставились с трудом,
Как стать холмом или торосом,
Человекоподобным льдом.

Весь мир в снегу, в пурге осенней.
Взгляни: на жизни нет лица.
И не обещано спасенье
Нам, претерпевшим до конца.

<1953>

256

Стихи — не просто отраженье
Стихий, погрязших в мелочах.
Они — земли передвиженья
Внезапно найденный рычаг.

Они — не просто озаренье,
Фонарь в прохожей темноте.
Они — настойчивость творенья
И неуступчивость мечте.

Они всегда — заметы детства,
С вчерашней болью заодно.
Доставшееся по наследству
Кустарное веретено.

1956

257

Отвали этот камень серый
Загораживающий путь,
И войди в глубину пещеры
На страданья мои взглянуть.

Ржавой цепью к скале прикован
И похожий на мертвеца.
Этой боли многовековой
Не предвидится и конца.

Наши судьбы — простые маски
Той единой, большой судьбы,
Сказки той, что, боясь огласки,
Приковали к скале рабы.

<1954>

258

Видишь — дрогнули чернила,
Значит, нынче не до сна.
Это — с неба уронила
Счастья капельку луна.

И в могучем, суеверном
Обожанье тех начал,
Что стучат уставом мерным
В жестких жилах по ночам.

Только самое больное
Я в руках сейчас держу.

Все земное, все дневное
Крепко буквами вяжу.
<1954>

259

Лицом к молящемуся миру
Гора выходит на амвон.
Пред этим каменным потиром
Земной отвешу я поклон.

Река отталкивает гору,
И веет запах снеговой,
И переполнены озера
Святой водою дождевой.

И в половодье, как в метели,
Взлетают пенные цветы,
Льняной растрепанной куделью
В меня швыряют с высоты.

А я — я тут же, на коленях,
Я с богом, кажется, мирюсь.
На мокрых каменных ступенях
Я о спасении молюсь.
<1953>

260

Лезут в окна мотыльки,
Окружая лампу,
Зажигают светляки
Освещенье рампы.

Лес приподнят до небес
Ближнею горою,
Возбуждая интерес
К главному герою.

Затрепещут листья вдруг
Дождались момента:
Словно тысячами рук
Бьют аплодисменты.

Сосны, сучьями маша,
Гнутся в пантомиме,
Открывается душа
Явственно и зримо:

Устремленье к облакам,
Растопырив руки,
И привязанный к ногам
Груз земли и муки.

И по грифелю доски
Неба грозового
Пишут молнии мелки
Яростное слово.

И, стирая с неба луч
Тряпкою сырою,
Выжимают дождь из туч
Над моей горою.
<1955?>

261

Тесно в загородном мире.
Тесно так, что нет житья,
Но не уже и не шире
Рельс дорожных колея.

Обозначенной дороги
Параллельные черты,
Человеческие ноги,
Стрелки, шпалы и мосты...

И по шалым листьям палым
Дождик палочкой стучит,
И по шпалам бьет устало,
По песочку шелестит.
<1955>

262

В природы грубом красноречье
Я утешение найду.

У ней душа-то человечья
И распахнется на ходу.

Мне близки теплые деревья,
Молящиеся на восток,
В краю, еще библейски древнем,
Где день, как человек, жесток.

Где мир, как и душа, остужен
Покровом вечной мерзлоты,
Где мир душе совсем не нужен
И ненавистны ей цветы.

Где циклопическое око
Так редко смотрит на людей,
Где ждут явления пророка
Солдат, отшельник и злодей.
<1953>

263. АВВАКУМ В ПУСТОЗЕРСКЕ

Не в бревнах, а в ребрах
Церковь моя.
В усмешке недоброй
Лицо бытия.

Сложеньем двуперстным
Поднялся мой крест,
Горя в Пустозерске,
Блистая окрест.

Я всюду прославлен,
Везде заклеймен,
Легендою давней
В сердцах утвержден.

Сердит и безумен
Я был, говорят,
Страдал-де и умер
За старый обряд.

Нелепостен этот
Людской приговор:

В нем истины нету
И слышен укор.

Ведь суть не в обрядах,
Не в этом — вражда.
Для Божьего взгляда
Обряд — ерунда.

Нам рушили веру
В дела старины,
Без чести, без меры,
Без всякой вины.

Что в детстве любили,
Что славили мы,
Внезапно разбили
Служители тьмы.

В святительском платье,
В больших клобуках,
С холодным распятьем
В холодных руках.

Нас гнали на плаху,
Тащили в тюрьму,
Покорствуя страху
В душе своему.

Наш спор — не духовный
О возрасте книг.
Наш спор — не церковный
О пользе вериг.

Наш спор — о свободе,
О праве дышать,
О воле Господней
Вязать и решать.

Целитель душевный
Карал телеса.
От происков гневных
Мы скрылись в леса.

Ломая запреты,
Бросали слова
По целому свету
Из львиного рва.

Мы звали к возмездью
За эти грехи.
И с Господом вместе
Мы пели стихи.

Сурового Бога
Гремели слова:
Страдания много,
Но церковь — жива.

И аз, непокорный,
Читая Псалтырь,
В Андроньевский черный
Пришел монастырь.

Я был еще молод
И все перенес:
Побои, и голод,
И светский допрос.

Там ангел крылами
От стражи закрыл
И хлебом со щами
Меня накормил.

Я, подвиг приемля,
Шагнул за порог,
В Даурскую землю
Ушел на восток.

На синем Амуре
Молебен служил,
Бураны и бури
Едва пережил.

Мне выжгли морозом
Клеймо на щеке,
Мне вырвали ноздри
На горной реке.

Но к Богу дорога
Извечно одна:
По дальним острогам
Проходит она.

И вытерпеть Бога
Пронзительный взор
Немногие могут
С Исусовых пор.

Настасья, Настасья,
Терпи и не плачь:
Не всякое счастье
В одеже удач.

Не слушай соблазна,
Что бьется в груди,
От казни до казни
Спокойно иди.

Бреди по дороге,
Не бойся змеи,
Которая ноги
Кусает твои.

Она не из рая
Сюда приползла:
Из адова края
Посланница зла.

Здесь птичьего пенья
Никто не слыхал,
Здесь учат терпенью
И мудрости скал.

Я — узник темничный:
Четырнадцать лет
Я знал лишь брусничный
Единственный цвет.

Но то не нелепость,
Не сон бытия,
Душевная крепость
И воля моя.

Закованным шагом
Ведут далеко,
Но иго мне — благо
И бремя легко.

Серебряной пылью
Мой след занесен,
На огненных крыльях
Я в небо внесен.

Сквозь голод и холод,
Сквозь горе и страх
Я к Богу, как голубь,
Поднялся с костра.

Тебе обещаю,
Далекая Русь,
Врагам не прощая,
Я с неба вернусь.

Пускай я осмеян
И предан костру,
Пусть прах мой развеян
На горном ветру.

Нет участи слаще,
Желанней конца,
Чем пепел, стучащий
В людские сердца.

1955

264

Я в воде не тону
И в огне не сгораю.
Три аршина в длину
И аршин в ширину —
Мера площади рая.

Но не всем суждена
Столь просторная площадь:
Для последнего сна
Нам могил глубина
Замерялась на ощупь.

И, теснясь в темноте,
Как теснились живыми,
Здесь легли в наготе
Те, кто жил в нищете,
Потеряв даже имя.

Улеглись мертвецы,
Не рыдая, не ссорясь.
Дураки, мудрецы,
Сыновья и отцы,
Позабыв свою горесть.

Их дворец был тесней
Этой братской могилы,
Холодней и темней.
Только даже и в ней
Разогнуться нет силы.

В настоящем гробу
Я воскрес бы от счастья,

Но неволить судьбу
Не имею я власти.
<1956>

265. ЖЕЛАНИЕ

Я хотел бы так немного!
Я хотел бы быть обрубком,
Человеческим обрубком...

Отмороженные руки,
Отмороженные ноги...
Жить бы стало очень смело
Укороченное тело.

Я б собрал слюну во рту,
Я бы плюнул в красоту,
В омерзительную рожу.

На ее подобье божье
Не молился б человек,
Помнящий лицо калек...
<1953–1956>

266

По нашей бестолковости,
Окроме «боже мой»,
Ни совести, ни повести
Не вывезешь домой.
<1949>

267

Луна качает море.
Прилив. Отлив...
Качает наше горе
На лодке рифм.

Я рифмами обманут
И потому спасен,
Качаются лиманы,
И душен сон.
<1953>

268. СТАНСЫ

Я — гость, я — твой знакомый.
Все это бред, мираж,
Что я в семье и дома,
И горький случай наш
Одна из краж со взломом,
Распространенных краж.

Мы оба невиновны,
Хотя бы потому,
Что кодекс уголовный
Здесь явно ни к чему.
Здесь приговор условный
Не сердцу, но уму.

Ведь сердцу в наказанье
На землю послан я.
На что ему сказанья
Таежного житья?
Когда в его вниманье
Совсем не та семья.

Клеймил событья быта
От века ювелир.
Известен и испытан
Поддельный этот мир.
Хранят бессмертье пыток
Приличия квартир.

И будто некой Плевной
Звучит рассказ простой
О боли задушевной,
Вчера пережитой —
Невысказанной, гневной
И кровью налитой.

И это все не ново.
И дышит день любой,
Живет любое слово
Рылеевской судьбой.
Под крики «вешать снова»
Умрет само собой.

И нет ему пощады,
И в шуме площадном
Не ждет оно награды
И молит об одном,
Чтоб жизнь дожить как надо
В просторе ледяном.

Ценя чужие мненья,
Как мненья лиц чужих,
Я полон уваженья
К житейской силе их,
Всю горечь пораженья
Изведав в этот миг.

И я скажу, пугая
Ночные зеркала:
Любовь моя — другая,
Иной и не была.
Она, как жизнь, — нагая
И — точно из стекла.

Она — звенящей стали
Сухая полоса.
Ее калили дали,
Ущелья и леса,
Такой ее не ждали,
Не веря в чудеса.

Какую ж нужно ловкость
И качество ума,
Испытывая ковкость,
Железа не сломать.
В твоем чаду московском
Ты знаешь ли сама?

Не трогай пятен крови
И ран не береди,
И ночь над изголовьем
Напрасно не сиди.
<1954–1955>

269

Забралась высоко в горы
Вьюга нынешней зимой,
Научила разговору
Синий снег глухонемой.

Вот рассказы так рассказы —
За десяток, верно, лет
В небо высыпаны сразу,
Замутили белый свет.

Будто там живые души
Подгоняют снегопад
И свистят мне прямо в уши
И глаза мои слепят.

Все, что умерло и скрыто
Снегом, камнем, высотой,
Оживленно и открыто
Вновь беседует со мной.

Шепчет мне свои признанья
И покойников мечты.
Бьют в лицо воспоминанья —
Откровенья нищеты.

Что ты видишь, что ты слышишь,
Путевой товарищ мой?
Отчего так часто дышишь
И торопишься домой?
<1955>

270

Придворный соловей
Раскроет клюв пошире,
Бросая трель с ветвей,
Крикливейшую в мире.

Не помнит божья тварь
Себя от изумленья,
Долбит, как пономарь,
Хваленья и моленья.

Свистит что было сил,
По всей гремя державе,
О нем и говорил
Язвительный Державин,

Что раб и похвалить
Кого-либо не может.
Он может только льстить,
Что не одно и то же.
<1955>

271

Намеков не лови,
Не верь грозы раскатам,
Хоть горы все в крови,
Запачканы закатом.

Не бойся, не таи
Лесные кривотолки.
Заржавлены хвои
Колючие иголки

И колют сердце мне,
Чтоб, кровью истекая,
Упал в родной стране,
Навеки затихая.

Когда от смысла слов
Готов весь мир отречься,
Должна же литься кровь
И слезы человечьи.

Моя ли, не моя —
Не в этом, право, дело.
Законы бытия
Прозрачны до предела:

«Все, что сотворено
В последний день творенья,
Давно осуждено
На смертные мученья».

Но дерево-то чем
Пред богом виновато?
Его-то ждет зачем
Жестокая расплата?

Ухватит ветерок
За рыженькие косы,
Швырнет, сбивая с ног,
Со скального откоса…
<1956>

272

Кусты разогнутся с придушенным стоном,
Лишь клен в затянувшемся низком поклоне
Дрожит напряженней струны,
Но клена поклоны уже не нужны.

А чаща не верит, что кончились муки,
И тычутся ветра холодные руки,
Хватаясь за головы тополей,
И небо становится мела белей.

И видно, ценою каких напряжений,
Каких цирковых, безобразных движений
Держались осины, ворча до конца,
И тяжесть осин тяжелее свинца…
<1956>

273

Свой дом родимый брошу,
Бегу, едва дыша,
По первой по пороше
Охота хороша.

Мир будет улюлюкать:
Ату его, ату…
Слюна у старой суки
Пузырится во рту.

Мир песьих, красноглазых,
Заиндевевших морд,

Где каждый до отказа
Собачьей ролью горд.

И я, прижавши уши,
Бегу, бегу, бегу,
И сердце душит душу
В блистающем снегу.

И в вое кобелином,
Гудящем за спиной,
Игрой такой старинной
Закончу путь земной.
<1956>

274

Хрустальные, холодные
Урочища бесплодные,
Безвыходные льды,

Где людям среди лиственниц
Не поиск нужен истины,
А поиски еды,

Где мимо голых лиственниц
Молиться богу истово
Безбожники идут.

Больные, бестолковые
С лопатами совковыми
Шеренгами встают…

Рядясь в плащи немаркие,
С немецкими овчарками
Гуляют пастухи.

Кружится заметь вьюжная,
И кажутся ненужными
Стихи…
<1956>

275

Жизнь — от корки и до корки
Перечитанная мной.
Поневоле станешь зорким
В этой мути ледяной.

По намеку, силуэту
Узнаю друзей во мгле.
Право, в этом нет секрета
На бесхитростной земле.
1956

276. ЖАР-ПТИЦА

Ты — витанье в небе черном,
Бормотанье по ночам.
Ты — соперничество горным
Разговорчивым ключам.

Ты — полет стрелы каленой,
Откровенной сказки дар
И внезапно заземленный
Ослепительный удар,

Чтоб в его мгновенном свете
Открывались те черты,
Что держала жизнь в секрете
Под прикрытьем темноты.
1956

277

На этой горной высоте
Еще остались камни те,
Где ветер высек имена,
Где ветер выбил письмена,
Которые прочел бы бог,
Когда б читать умел и мог.
1956

278. СЕЛЬСКИЕ КАРТИНКИ

Синеглазенький ребенок,
Позабытый на скамье,
Невзначай упал спросонок
Прямо на спину свинье.

Но свинья посторонилась,
Отодвинулась быстрей
И не очень удивилась,
Зная здешних матерей.

Но, конечно, завизжала
И на помощь позвала:
И она детей рожала,
Тоже матерью была.

Ей ребенка было жалко,
И поэтому сейчас
По свинье гуляет палка
Благодарности от нас.

Все судачат с важным видом,
И разносится окрест:
Если бог тебя не выдаст,
То свинья тебя не съест.
<1954>

279

О, если б я в жизни был только туристом,
Разреженный воздух горы
Вдыхал бы, считая себя альпинистом,
Участником некой игры.

Но воздух усталое сердце ломает,
Гоня из предсердий последнюю кровь.
И мир, что меня хорошо понимает,
Щетинится, злобится вновь.

И горы, и лес сговорились заочно
До смерти, до гроба меня довести.

И малое счастье, как сердце, непрочно,
И близок конец пути…
<1954>

280

Ты душу вывернешь до дна,
До помраченья света.
И сдачу даст тебе луна
Латунною монетой.

Увы, не каждому рабу,
Не дожидаясь гроба,
Дано испытывать судьбу —
А мы такие оба.
<1954>

281

И мне, конечно, не найти
Пургой завеянные тропы,
Пургой закопанные трупы,
Потерянные пути…
<1954>

282

Верьте, смерть не так жестока
От руки пурги.
Остановка кровотока —
Это пустяки…
<1954>

283

Два журнальных мудреца
Жарким спором озабочены:
У героя нет лица,
Как же дать ему пощечину?
<1954>

284

По долинам, по распадкам
Пишут письма куропатки.
Клинописный этот шрифт
Разобрал бы только Свифт.
<1954>

285

Всю ночь мои портреты
Рисует мне река,
Когда луна при этом
Доверчиво близка.

Река способна литься
Без славы и следа,
Диплома живописца
Не зная никогда.

Расстегнут ворот шубы,
Надетой кое-как.
Мои кривятся губы,
Рассыпался табак.

Я нынче льда бледнее
В привычном забытьи.
И звезды мне роднее,
Чем близкие мои.

Какой небесной глубью
Я нынче завладел.
И где же самолюбью
И место и предел?

Оно в куски разбито,
Топталась неспроста
Мучительного быта
Железная пята.

Из склеенных кусочков,
Оно — как жизнь моя —
В любой неловкой строчке,
Какую вывел я.

Житейские волненья,
И приступы тоски,
И птичьи песнопенья,
Сцепленные в стихи,

Где рифмы-шестеренки
Такой вращают вал,
Что с солнцем вперегонки
Кружиться заставлял.

Тяжелое вращенье
Болот, морей и скал,
Земли, — чьего прощенья
Я вовсе не искал,

Когда, опережая
Мои мечты и сны,
Вся жизнь, как жизнь чужая,
Видна со стороны.

Брожу, и нет границы
Моей ночной земли.
На ней ни я, ни птицы
Покоя не нашли.

Любой летящий рябчик
Приятней мне иных
Писателей и стряпчих,
И страшно молвить — книг.

И я своим занятьем
Навеки соблазнен:
Не вырасту из платья
Ребяческих времен.

И только в этом дело,
В бессонном этом сне,
Другого нет удела,
И нет покоя мне.

Каким считать недугом
Привычный этот бред?
Блистательным испугом,
Известным с детских лет.

Приклады, пули, плети,
Чужие кулаки —
Что пред ними эти
Наивные стихи?
<1955–1956>

286

Не жалей меня, Таня, не пугай моей славы,
От бумаги не отводи.
Слышишь — дрогнуло сердце, видишь — руки ослабли,
Останавливать погоди.

Я другим уж не буду, я и думать не смею,
Невозможного не захочу.
Или птицей пою, или камнем немею —
Мне любая судьба по плечу.

Эти письма — не бред, и не замок воздушный,
И не карточный домик мой.
Это крепость моя от людского бездушья,
Что построена нынче зимой.
<Ок. 1950>

287

Тают слабые снега,
Жжет их луч горячий,
Чтоб не вздумала пурга
Забрести на дачу.

Зарыдавшая метель
Как живая дышит,
Льет весеннюю капель
С разогретой крыши.

Только трудно мне понять
Нынешние были.
Звезды дальше от меня,
Чем когда-то были.
<1954>

288

Из тьмы лесов, из топи блат
Встают каркасы рая.
Мы жидкий вязкий мармелад
Ногами попираем.

Нам слаще патоки оно,
Повидло здешней грязи.
Пускай в декабрьское окно
Сверкает безобразье.

Как новой сказки оборот
Ее преображенье.
Иных долгот, иных широт
Живое приближенье.
<1954>

289

Боялись испокон
Бежавшие из ада
Темнеющих икон
Пронзительного взгляда.

Я знаю — ты не та,
Ты вовсе не икона,
Ты ходишь без креста,
И ты не ждешь поклона.

Как я, ты — жертва зла.
И все-таки награда,
Что жизнь приберегла
Вернувшимся из ада.
<1954>

290

В болотах завязшие горы,
В подножиях гор — облака.
И серое, дымное море
В кольце голубого песка.

Я знал Гулливера потехи,
Березы и ели топча,
Рукой вырывая орехи
Из стиснутых лап кедрача.

Я рвал, наклоняясь, рябину
И гладил орлиных птенцов.
Столетние лиственниц спины
Сгибал я руками в кольцо.

И все это — чуткое ухо
Подгорной лесной тишины,
Метель тополиного пуха
И вьюга людской седины.

Все это (твердят мне) — не надо,
Таежная тропка — узка,
Тайга — не предмет для баллады
И не матерьял для стиха...
<1954>

291

В потемневшее безмолвье
Повергая шар земной,
Держит небо связку молний,
Узких молний за спиной.

Небеса не бессловесны —
Издавать способны крик,
Но никак не сложит песни
Громовой небес язык.

Это — только междометья,
Это — вопли, осердясь,
Чтоб, жарой наскучив летней,
Опрокинуть землю в грязь.

И совсем не музыкален,
Что ревет, гудит окрест,
Потрясая окна спален,
Шумовой такой оркестр.
<1954>

292

Кто, задыхаясь от недоверья,
Здесь наклоняется надо мной?
Чья это маска, личина зверья,
Обезображенная луной?

Мне надоело любить животных,
Рук человеческих надо мне,
Прикосновений горячих, потных,
Рукопожатий наедине.
<1954>

293

Нестройным арестантским шагом
Как будто нехотя, со зла,
Слова заходят на бумагу,
Как на ночевку средь села.

Весь груз манер неоткровенных,
Приобретений и потерь,
Укрыв от зрителей надменных,
Они захлопывают дверь.

Из-за присутствия конвоя
Любая бедная строка
Своей рискует головою,
И если б, если б не тоска,

Влечение к бумаге писчей
И беспорядочность надежд,
Она рвалась бы на кладбище,
Хотя б и вовсе без одежд…
<1953>

294

Скрой волнения секреты
Способом испытанным.
День, закутанный в газету,
Брошен недочитанным.

Будто сорвана на небе
Нежность васильковая.
Отгибает тонкий стебель
Тяжесть мотыльковая.

Озарит лесную темень
Соснами багровыми
Замечтавшееся время
Испокон вековое.
<1954>

295

Смех в усах знакомой ели,
Снег, налипший на усах, —
След бежавшей здесь метели,
Заблудившейся в лесах.

И царапины на теле
Здесь оставила пила,
Что на ели еле-еле
Походила и ушла.

Эти ссадины и раны,
Нанесенные пилой,
Наши ели-ветераны
Бальзамируют смолой.
<1953>

296

К нам из окна еще доносится,
Как испытание таланта,
Глухих времен разноголосица,
Переложенье для диктанта.

Но нам записывать не велено,
И мы из кубиков хотели
Сложить здесь песню колыбельную,
Простую песенку метели.

И над рассыпанною азбукой
Неграмотными дикарями

Мы ждем чудес, что нам показывать
Придут идущие за нами…
<1954>

297

Шатает ветер райский сад,
И ветви — как трещотки.
Смолкают крики бесенят,
Торчащих у решетки.

И ты глядишь в мое лицо,
Не замечая рая,
Холодным золотым кольцом
Насмешливо играя…
<1954>

298

Здесь выбирают мертвецов
Из знаменитых мудрецов.
Здесь жалость вовсе не с руки —
Жалеют только дураки.

Здесь добрым назовется тот,
В котлы смолу кто храбро льет.
Не забывай, что в Дантов ад
Вошел не только Герострат,
Нет — Авиценна и Платон
Дают здесь философский тон…
<1953–1954>

299

Пророчица или кликуша,
Посеяв рознь, посеяв грусть,
Ты нам рвала на части душу
Каким-то бредом наизусть.

У губ твоих вздувалась пена,
Как пузыри, как кружева,
И вырывались в мир из плена
Твои жестокие слова.

Но не сломив судьбы опальной
И встав у времени в тени,
Все отдаленней, все печальней,
Все глуше слышались они...
<1954>

300

Твои речи — как олово —
Матерьял для припоя,
Когда сблизятся головы
Над пропавшей тропою,

Когда следу звериному
Доверяться не надо,
Когда горю старинному
Нет конца и преграды.

Твои речи — как требники —
Среди зла и бесчинства,
«Миротворец враждебников
И строитель единства».
<1954>

301

Вот две — две капли дождевые,
Добравшиеся до земли,
Как существа вполне живые
Раскатываются в пыли.

И ветер прямо с поднебесья
Бросает ключ от сундука,
Где спрятаны все звуки леса,
Ночная летняя тоска.

Сундук открыт — и вся природа,
Сорвав молчания печать,
Ревет о том, что нет исхода,
И листья пробуют кричать.

Осины, вырванные с мясом,
Ольхи пугливый голосок,

И сосны, стонущие басом,
Клонящиеся на песок...

Но буре мало даже шквала,
Она хватается за скалы —
Хрустит и крошится гранит.
И в ветре слышен звук металла,
Когда он с камнем говорит...
<1953?>

302

Пусть я, взрослея и старея
В моей стосуточной ночи,
Не мог остола от хорея,
Как ни старался, отличить.

Но иногда оленьи нарты
Сойти, мне кажется, могли
За ученические парты,
За парты на краю земли,

Где я высокую науку
Законов жалости постиг,
Где перелистывали руки
Страницы черных, странных книг.

Людское горе в обнаженье,
Без погремушек и прикрас,
Последнее преображенье,
Однообразнейший рассказ.

Он задан мне таким и на дом.
Я повторяю, я учу.
Когда-нибудь мы сядем рядом —
Я все тебе перешепчу.
<1954>

303

Когда, от засухи измучась,
Услышит деревянный дом
Тяжелое дыханье тучи,
Набитой градом и дождем,

Я у окна откину шторы,
Я никого не разбужу,
На ослепительные горы
Глаза сухие прогляжу.

На фиолетовые вспышки
Грозы, на ливня серебро,
А если гроз и ливня слишком —
Беру бумагу и перо.
<1954>

304

Жизнь другая, жизнь не наша —
Участь мертвеца,
Точно гречневая каша,
Оспины лица.

Синий рот полуоткрытый,
Мутные глаза.
На щеке была забыта —
Высохла слеза.

И на каменной подушке
Стынет голова.
Жмется листьями друг к дружке
Чахлая трава.

Над такою головою,
Над таким лицом —
Ни надзора, ни конвоя
Нет над мертвецом.

И осталось караульных
Нынче только два:
Жесткие кусты — багульник
И разрыв-трава.
<1954>

305

Я двигаюсь, как мышь
Летучая, слепая,

Сквозь лес в ночную тишь,
Стволов не задевая.

Взята напрасно роль
Такого напряженья,
Где ощущаешь боль
От каждого движенья.

Моей слепой мечте
Защиты и оплоты
Лишь в чувства остроте,
В тревожности полета.

И что переживу,
И в чем еще раскаюсь,
На теплую траву
Устало опускаюсь…
<1954>

306

Внезапно молкнет птичье пенье,
Все шорохи стихают вдруг.
Зловещей ястребиной тенью
Описывается круг.

Молчанье, взятое аккордом,
И, высунутые из листвы,
Рогатые оленьи морды
И добрые глаза совы.

И предстает передо мною
Веленьем птичьего пера,
Лепной готической стеною
Моя зеленая гора.

И я опять в средневековье
Заоблачных, как церкви, гор,
Чистейшей рыцарскою кровью
Еще не сытых до сих пор.

Моей религии убранство,
Зверье, узорную листву

Все с тем же, с тем же постоянством
Себе на помощь я зову.
<1954>

307

Я — актер, а лампа — рампа,
Лапы лиственниц в окне.
Керосиновая лампа
Режет тени на стене.

И, взобравшись мне на плечи,
Легендарный черный кот,
Не имея дара речи,
Умилительно поет.

И без слов мне все понятно
У ночного камелька.
До мучительности внятна
Неразборчивость стиха.

И спасет в метели белой,
Разгулявшейся назло,
Тяжесть кошачьего тела,
Вдохновенное тепло.
<1954>

308

Не хватает чего? Не гор ли,
По колено увязших в пески,
Чтобы песней прочистить горло,
Чтобы выговорить стихи?

Не хватает бумаги писчей,
Или силы любой тщеты,
Или братского, в скалах, кладбища,
О котором не знаешь ты?

Я не верю, не верю крику
В мире, полном кровавых слез,
Проступающих, как земляника,
Сквозь траву возле белых берез.
<1954>

309

Резче взгляды, резче жесты
У деревьев на ветру.
У дороги ржавой жестью
Посыпают ввечеру.

Под дырявым небосводом
Мир имеет вид такой,
Что сравнится не с заводом,
А с жестяной мастерской.

Ветер в угол смёл обрезки —
Жестяной осенний сор,
Оборвав движеньем резким
Надоевший разговор.
<1954>

310

На садовые дорожки,
Где еще вчера
На одной скакала ножке
Наша детвора,

Опускаются все ниже
С неба облака.
И к земле все ближе, ближе
Смертная тоска.

Нет, чем выше было небо,
Легче было мне:
Меньше думалось о хлебе
И о седине.
<1955>

311. НА ОБРЫВЕ

Скала кричит — вперед ни шагу,
Обрывы скользки и голы,
И дерево, как древко флага,
Зажато в кулаке скалы.

И мгла окутает колени,
Глаза завесит пеленой.
И все огни людских селений
Закроет белою стеной.

Стоять, доколе машет знамя,
Не потонувшее во мгле,
Распластанное над камнями,
Живое знамя на скале.
<1955>

312

Нынче я пораньше лягу,
Нынче отдохну.
Убери же с глаз бумагу,
Дай дорогу сну.

Мне лучи дневного света
Тяжелы для глаз.
Каменистый путь поэта
Людям не указ.

Легче в угольном забое,
Легче кем-нибудь,
Только не самим собою
Прошагать свой путь.
1955

313

Вся земля, как поле брани,
Поле битвы вновь.
Каждый куст как будто ранен,
Всюду брызжет кровь.

И высокую когда-то
Синеву небес
Обернут набухшей ватой,
Зацепив за лес.

И сентябрь, устав от бега,
От пустой тщеты,

Пригибает первым снегом
Поздние цветы…
<1955>

314

Нет, нет! Пока не встанет день,
Ты — только тень, ты — только тень
Любой полуночной сосны, —
Ведь сосны тоже видят сны.

И я гляжу в твое лицо,
И я верчу в руках кольцо —
Подарок равнодушный мой, —
И ты б ушла давно домой,

Когда б успела и могла
Сказать, как много было зла,
И если бы ночная мгла
К нам снисходительна была.

Но, начиная холодеть,
Глухая ночь уходит прочь,
Как бы желая мне помочь,
Помочь получше разглядеть

Зрачки бездонные твои
И слез едва заметный след.
И во все горло соловьи
Кричат, что начался рассвет.
<1954>

315

Слабеет дождь, светлеет день,
Бессильны гроз угрозы.
Промокший до костей олень
Не изменяет позы.

И мы поймем, шагнув в поля,
На острова и поймы,
Как независима земля
И как она покойна.
<1953>

316

Я сказанье нашей эры
Для потомков сберегу.
Долотом скребу в пещере
На скалистом берегу.

Тяжело, должно быть, бремя
Героических баллад,
Залетевших в наше время,
Время болей и утрат.

На заброшенных гробницах
Высекаю письмена,
Запишу на память птицам
Даты, сроки, имена.

Мне подсказывают чайки,
Куропатки голосят,
Две сибирских белых лайки,
Трое синеньких лисят.

И, моргая красным глазом,
Над плечом сопит сова.
Умиляется рассказу,
Разобрав мои слова.
<1953>

317

Наклонись к листу березы
И тайком прочти,
Что на нем чертили грозы
По пути,

Ветры яростно трепали,
Пачкая в пыли.
Листьям завтра быть в опале
У земли.

Завтра снег просеют в сито.
И осколки льда

Лягут зеркалом разбитым
У пруда.

О какой жалею доле?
Чья это рука
Сжала горло мне до боли,
Как тоска?
<1954>

318

С моей тоской, сугубо личной,
Ищу напрасно у резца,
У мастерства поры античной
Для подражанья образца.

Античность — это только схема,
Сто тысяч раз одно и то ж.
И не вместит больную тему
Ее безжизненный чертеж.

И не живет в ее канонах
Земная смертная тоска,
И даже скорбь Лаокоона
Ленива и неглубока.

Архитектуры украшенье,
Деталь дорических колонн —
Людских надежд, людских крушений
Чуждающийся Аполлон.

Лишь достоверностью страданья
В красноречивой немоте
Способно быть живым преданье
И путь указывать мечте.
<1955>

319

Слабеют краски и тона,
Слабеет стих.
И жизнь, что прожита до дна,
Видна, как миг.

И некогда цветить узор,
Держать размер,
Ведь старой проповеди с гор
Велик пример.
<1955>

320

Мы дорожим с тобою тайнами,
В одно собранье их поставя
С такими сагами и дайнами,
Которых мы забыть не вправе.

Ведь мне с годами это тождество
До умопомраченья ясно.
Казалось, нам дождаться дождика
И все в слезах его погаснет.

Но нет, оно — пожара зарево
Над нашей жизнью запылавшей,
Пока еще не разбазарено,
Затоптано, как лист опавший.
<1953>

321

Вдыхаю каждой порой кожи
В лесной тиши предгрозовой
Все, что сейчас назвать не может
Никто — ни мертвый, ни живой.

И то, что так недостижимо,
Что не удержано в руке,
Подчас проходит рядом, мимо,
Зеленой зыбью на реке.

Мир сам себе — талант и гений,
Ведущий нас на поводу,
И ритма тех его смятений
Нам не дано иметь в виду.

Ведь это все — одни отписки:
Баркасы, льдины, облака, —

Все то, что без большого риска
Бросает нам его рука.
<1953>

322

Я жизни маленькая веха,
Метелка, всаженная в снег,
Я голос, потерявший эхо
В метельный, леденящий век.

С горластым бытом в перепалке,
Мне не случалось никогда
Зубрить природу по шпаргалке —
И в этом вся моя беда.

Меня мороз дирал по коже,
И потому в своей судьбе
Я все придирчивей и строже
И к нашим близким, и к себе...
<1954>

323

Где жизнь? Хоть шелестом листа
Проговорилась бы она.
Но за спиною — пустота,
Но за спиною — тишина.

И страшно мне шагнуть вперед,
Шагнуть, как в яму, в черный лес,
Где память за руку берет
И — нет небес.
<1954>

324

Луне, быть может, непонятно
Людское робкое житье,
И ей, пожалуй, неприятно,
Что так глазеют на нее.

Сегодня, кажется, недаром,
Не понапрасну, не зазря
Хрипеть приходится гитарам
В чертополохе пустыря.

Но все же, плечи расправляя,
Покорный сердца прямоте,
Шагну назад из двери рая
В передрассветной темноте.

Шагну туда, где боль и жалость,
Чужая жалость, может быть,
С моей давно перемешалась,
И только так могу я жить.
<1954>

325

Сырая сумрачная мгла —
Убежище от века.
Ведь человеку тяжела
Небесная опека.

Он скрыт от неба и земли
Блистательным туманом,
Его на отдых привели,
И легче стало ранам.

Ему и сердце не сосет
Известный червь сомнений.
Он душу вывернул на лед
Без всяких затруднений.

И он рассвета подождет,
Пока огнем вишневым
Рассвет туманы подожжет,
Сожжет в лесу сосновом.

И он рассмотрит ясно то,
Что ночью так стонало,
Когда не мог помочь никто,
Чтоб сердце замолчало.

А после неба синева —
Прогал в вершинах сосен —
Подскажет новые слова
И новые вопросы.
<1954>

326

Вот так и живем мы, не зная,
Что в небе родятся снега,
Что летняя слякоть земная
До ужаса нам дорога.

Но, первой сентябрьской метели
Явлением потрясены,
Мы прыгаем утром с постели,
В подушке забыв свои сны.

И смотрим, как свежую новость,
Гравюру мороза в окне,
Резную блестящую повесть
О нашем сегодняшнем дне,

Где нет проторенных и гладких,
Знакомых, вчерашних путей,
Где все истоптала вприсядку
Плясавшая ночью метель.

Взъерошенная синица
Стучит в ледяное окно.
Ей надо и жить, и кормиться,
Клевать золотое пшено…
<1950>

327

Дождя, как книги, слышен шелест
В садовой вымокшей тиши.
Сырой землей затянет щели,
Сухие трещины души.

Такие явятся травинки
И удивят здоровьем сад,

В лице которых ни кровинки
Не видно было час назад.

Что в угол загнано жарою,
Кому под солнцем жизни нет,
Что крылось грязною корою,
Умылось и идет на свет.

Дорожкой сада вперегонки,
Из всех сараев и закут
Вприпрыжку гадкие утенки
И даже Золушки бегут.

Кивает мокрой головою
Любой из встречных тополей,
И сад как будто больше вдвое,
Шумнее, ярче и светлей.
<1955>

328

Я — чей-то сон, я — чья-то жизнь чужая,
Прожитая запалом, второпях.
Я изнемог, ее изображая
В моих неясных, путаных стихах.

Пускай внутри, за гипсом этой маски,
Подвижные скрываются черты.
Черты лица естественной окраски,
Окраски застыдившейся мечты.

Все наши клятвы, жалобы и вздохи,
Как мало в них мы видим своего.
Они — дары счастливейшей эпохи,
Прошедшего столетья колдовство.

А что же мы оставили потомству,
Что наши дети примут как свое —
Уловки лжи и кодекс вероломства,
Трусливое житье-бытье.

Я не скажу, я не раскрою тайны,
Не обнажу закрытого лица,

Которое поистине случайно
Не стало ликом — ликом мертвеца.
<1950–1953?>

329. ПОЛЬКА-БАБОЧКА

Пресловутый туз бубновый,
Номерочек жестяной,
Оскорбительной обновой
Прикрепляют за спиной.

Золотые стонут трубы
Средь серебряного льда,
Музыкантов стынут губы
От мороза и стыда.

Рвутся факелов лохмотья,
Брызжет в черный снег огонь.
Слабый духом, слабый плотью
Кровью кашляет в ладонь.

Тот герой, кто крепок телом,
А душою слабоват,
Тут же кается несмело,
В чем и не был виноват.

Ну а тот, кто крепок духом,
Вынес ужас ледяной,
Тот улавливает ухом
Смысл мелодии двойной.

И, от грохота и шума
Отведя усталый взгляд,
Смотрит он во мглу угрюмо
И разгадывает ад.
1950–1956

330. ЛЕД

Еще вчера была рекой
И вымерзла до дна,
И под людской хрустит ногой
Застывшая волна.

Она — лишь слепок ледяной
Лица живой волны.
И ей, наверно, не одной
Такие снятся сны.

Весной растает этот лед
Окоченевших строк,
И берега окрест зальет
Разлившийся поток.
<1950>

331

Опоздав на десять сорок,
Хоть спешил я что есть сил,
Я уселся на пригорок
И тихонько загрустил.

Это жизнь моя куда-то
Унеслась, как белый дым,
Белый дым в лучах заката
Над подлеском золотым.

Догоняя где-то лето,
Затихает стук колес.
Никакого нет секрета
У горячих, горьких слез…
<1955>

332

Ты волной морского цвета,
Потемневшей от луны,
Захлестнешь глаза поэта,
Не сдержавшего волны.

И в твоем глубоком взоре,
Взбаламученном до дна,
Может — море, может — горе,
Может — ненависть видна.

Потому что этим цветом,
Северянам на беду,

Красят землю только летом
Два-три месяца в году.

И, хотя с тобой в союзе
Очутились зеркала,
Ты моей послушной Музе
Неохотно помогла.

Вот такой тысячеглазой,
Отраженной в зеркалах,
Ты запомнилась мне — сразу,
Находясь во всех углах.

И оптическая сила,
Умножая облик твой,
Взоры все соединила
В яркий фокус световой.
<1954?>

333

Бормочут у крыльца две синенькие галки,
И воду воробей из лужи важно пьет.
Щегол уж не творит, а шпарит по шпаргалке —
Я с детства заучил порядок этих нот.

Но прелесть детских лет — не больше, чем невзгода,
Чем тяжесть страшная на памяти моей.
Мне совестно взглянуть под купол небосвода,
Под купол цирковой моих превратных дней,

Дней юности моей, что прожита задаром,
Разорванный, растоптанный дневник,
Соседство смертных стрел, напитанных анчаром,
Опасное соседство книг…

И молодость моя — в рубцах от первых пыток —
Возмездья первородного греха.
Не самородок, нет, а выплавленный слиток
Из небогатых руд таежного стиха.

И зрелость твердая — в крутящейся метели,
Бредущая по лесу с топором…

Я жизнью заболел, и я лежу в постели
И трижды в день глотаю горький бром.
<1954>

334

Что прошлое? Старухой скопидомкой
За мной ты ходишь, что-то бормоча,
И нищенская грязная котомка
Свисает с твоего костлявого плеча.

Что будущее? Ты — заимодавец —
Владелец уймы дутых векселей,
Ты — ростовщик героев и красавиц,
Ты — виноград, какого нет кислей.

А настоящее? Схвати его, попробуй,
Минуты ход в ладонях ощути…
Беги, пока не износилась обувь
И не закрылись торные пути…
<1954>

335

Мечты людей невыносимо грубы,
И им не нужны светлые слова.
Вот почему так немы эти губы
И поседела эта голова.

А жизнь, как зеркало, движению враждебна:
Она хранит лишь мертвое лицо,
Она вошла ошибкою судебной
На это шаткое, крикливое крыльцо…
<1954>

336

Безобразен и бесцветен
Хмурый день под ветром серым
Все живущее на свете —
Разбежалось по пещерам.

И глядят там друг на друга
Люди, лошади, синицы —
Все в один забились угол,
Не хотят пошевелиться.

И на небе невысоком,
Что по пояс горной круче,
Синевой кровоподтека
Набегающие тучи…
<1950?–1953?>

337

Это все — ее советы,
Темной ночи шепотки,
Обещанья и приветы,
Расширявшие зрачки.

Это жизнь в лесу, вслепую,
Продвиженье наугад,
В темень черно-голубую,
В полуночный листопад,

Где шуршат, как крылья птицы,
Листья старых тополей,
Где на плечи мне садится
Птица радости моей.
<1954>

338

Ни версты, ни годы — ничто нипочем
Не справится с нашим преданьем.
Смотри — небеса подпирает плечом
Северное сиянье.

И нас не раздавит глухой небосвод,
Не рухнет над жизнью овражьей,
Не вплющит в библейский узорчатый лед
Горячие головы наши.

Порукой — столбы ледяного огня,
Держащие небо ночами.

Я рад, что ты все-таки веришь в меня,
Как раньше, как в самом начале...
<1954>

339. МАК

Пальцами я отодвинул
Багровые лепестки,
Черное сердце вынул,
Сжал в ладоней тиски.

Вращаю мои ладони,
Как жесткие жернова,
И падают с тихим стоном
Капельками слова.

Мне старики шептали:
Горя людского знак
Этот цветок печали —
Русский кровавый мак.

Это моя эмблема —
Выбранный мною герб —
Личная моя тема
В тенях приречных верб...
<1956>

340

Все плыть и плыть — и ждать порыва
Набравшей мужества волны.
Лететь, волне вцепившись в гриву,
Иль видеть сны, глухие сны.

Где над землею раздраженно
Мигает, щурится гроза
И едкий дым мостов сожженных
Ей набивается в глаза.
<1956>

341

Опять гроза. Какой еще Бетховен
Явиться должен нынче в небеса?
Каких еще трагических диковин
Сегодня ждут притихшие леса?

А в желтом небе жадно месит глину
Бродячий скульптор, видно, торопясь,
Спеша запомнить позу исполина,
Пока еще не рухнувшего в грязь.

Не стой, не стой сейчас со мною рядом,
Куда-нибудь под крышу отойди,
Пока тебя не исхлестало градом,
Под крышей — слышишь! — бурю пережди.
<1955>

342. БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ

Безымянные герои,
Поднимаясь поутру,
Торопливо землю роют,
Застывая на ветру.

А чужая честь и доблесть,
В разноречье слов и дел,
Оккупировала область
Мемуаров и новелл.

Но новеллам тем не веря,
Их сюжетам и канве,
Бродит честь походкой зверя
По полуночной Москве…
<1956>

343

Пусть в прижизненном изданье
Скалы, тучи и кусты
Дышат воздухом преданья
Героической тщеты.

Ведь не то что очень сильным —
Силы нет уже давно, —
Быть выносливым, двужильным
Мне на свете суждено.

Пить закатной пьяной браги
Розоватое питье,
Над желтеющей бумагой
Погружаться в забытье.

И, разбуженный широким,
Пыльным солнечным лучом,
Я ночным нетрезвым строкам
Не доверюсь нипочем.

Я их утром в прорубь суну
И, когда заледеню,
По-шамански дуну, плюну,
Протяну навстречу дню.

Если солнце не расплавит
Ледяной такой рассказ,
Значит, я и жить не вправе
И настал последний час.
<1953>

344

Не солнце ли вишневое
На торосистый лед,
Как мука наша новая,
Назойливо встает.

Я в угол смел бумажное,
Ненужное хламье,
И в этом вижу важное
Признание мое.
<1953>

345

Сразу видно, что не в Курске
Настигает нас зима.

Это — лиственниц даурских
Ветровая кутерьма.

Голый лес насквозь просвечен
Светом цвета янтаря,
Искалечен, изувечен
Желтым солнцем января.

Здесь деревьям надо виться,
Надо каждому стволу
Подниматься и ложиться,
Изгибаться вслед теплу.

Со своим обледенелым,
По колено вросшим в мох
Изуродованным телом
Кто ж к весне добраться мог?
<1953>

346. СТЛАНИК

Л. Пинскому

Ведь снег-то не выпал. И странно
Волнуя людские умы,
К земле пригибается стланик,
Почувствовав запах зимы.

Он в землю вцепился руками.
Он ищет хоть каплю тепла.
И тычется в стынущий камень
Почти неживая игла.

Поникли зеленые крылья,
И корень в земле — на вершок!
И с неба серебряной пылью
Посыпался первый снежок.

В пугливом своем напряженье
Под снегом он будет лежать.
Он — камень. Он — жизнь без движенья,
Он даже не будет дрожать.

Но если костер ты разложишь,
На миг ты отгонишь мороз, —
Обманутый огненной ложью,
Во весь распрямляется рост.

Он плачет, узнав об обмане,
Над гаснущим нашим костром,
Светящимся в белом тумане,
В морозном тумане лесном.

И, капли стряхнув, точно слезы,
В бескрайность земной белизны,
Он, снова сраженный морозом,
Под снег заползет — до весны.

Земля еще в замети снежной,
Сияет и лоснится лед,
А стланик зеленый и свежий
Уже из-под снега встает.

И черные, грязные руки
Он к небу протянет — туда,
Где не было горя и муки,
Мертвящего грозного льда.

Шуршит изумрудной одеждой
Над белой пустыней земной.
И крепнут людские надежды
На скорую встречу с весной.
1949–1956

347

Кому я письма посылаю,
Кто скажет: другу иль врагу?
Я этот адрес слишком знаю,
И не писать я не могу.

Что ругань? Что благоговенье?
И сколько связано узлов
Из не имеющих хожденья,
Из перетертых старых слов?

Ведь брань подчас тесней молитвы
Нас вяжет накрепко к тому,
Что нам понадобилось в битве, —
Воображенью своему.

Тогда любой годится повод
И форма речи не важна,
Лишь бы строка была как провод
И страсть была бы в ней слышна.
<1956>

348

А тополь так высок,
Что на сухой песок
Не упадет ни тени.
Иссохшая трава
К корням его прижалась.
Она едва жива
И вызывает жалость.
<1954>

349

Осторожно и негромко
Говорит со мной поземка,
В ноги тычется снежок,

Чтобы я не верил тучам,
Чтобы в путь по горным кручам
Я отправиться не мог.

Позабывшая окошко,
Ближе к печке жмется кошка —
Предсказатель холодов.

Угадать, узнать погоду
Помогает лишь природа
Нам на множество ладов.

Глухари и куропатки
Разгадали все загадки,
Что подстроила зима.

Я ж искал свои решенья
В человечьем ощущенье
Кожи, нервов и ума.

Я считал себя надменно
Инструментом совершенным
Опознанья бытия.

И в скитаньях по распадкам
Доверял своим догадкам,
А зверью не верил я.

А теперь — на всякий случай
Натащу побольше сучьев
И лучины наколю,

Потому что жаркой печи
Неразборчивые речи
Слушать вечером люблю.

Верю лишь лесному бреду:
Никуда я не поеду,
Никуда я не пойду.

Пусть укажут мне синицы
Верный путь за синей птицей
По торосистому льду.
1956

350

Я нищий — может быть, и так.
Стихает птичий гам,
И кто-то солнце, как пятак,
Швырнул к моим ногам.

Шагну и солнце подниму,
Но только эту медь
В мою дорожную суму
Мне спрятать не суметь...
<1956>

351

Светит солнце еле-еле,
Зацепилось за забор,
В перламутровой метели
Пробиваясь из-за гор.

И метель не может блеска
Золотого погасить,
И не может ветер резкий
Разорвать метели нить.

Но не то метель ночная:
Черный лес и черный снег.
В ней судьба твоя иная,
Безрассудный человек.

В двух шагах умрешь от дома,
Опрокинутый в сугроб,
В мире, вовсе незнакомом,
Без дорожек и без троп.
<1953>

352

Не в картах правда, а в стихах
Про старое и новое.
Гадаю с рифмами в руках
На короля трефового,

Но не забуду я о том,
Что дальними дорогами
Ходил и я в казенный дом
За горными отрогами.

Слова ложатся на столе
В магической случайности,
И все, что вижу я во мгле,
Полно необычайности.
<1955–1956>

353–358. О ПЕСНЕ

1

Пусть по-топорному неровна
И не застругана строка,
Пусть неотесанные бревна
Лежат обвязкою стиха, —

Тепла изба моих зимовок —
Одноэтажный небоскреб,
Сундук неношеных обновок,
Глубоко спрятанный в сугроб,

Где не чужим заемным светом,
А жарким углем рдеет печь,
Где не сдержать ничьим запретам
Разгорячившуюся речь.

2

И я, и ты, и встречный каждый
На сердце песню бережет.
А жизнь с такою жадной жаждой
Освобожденья песни ждет.

Та песня петь не перестала,
Не потонула в вое вьюг,
И струнный звон сквозь звон металла
Такой же чистый сеет звук.

На чьем пиру ее похмелье?
Каким вином она пьяна?
На новоселье в подземелье
Она тайком приведена.

А может быть, всего уместней
Во избежание стыда
И не расспрашивать о песне,
И не искать ее следа.

3

Я много лет дробил каменья
Не гневным ямбом, а кайлом.
Я жил позором преступленья
И вечной правды торжеством.

Пусть не душой в заветной лире —
Я телом тленья убегу
В моей нетопленой квартире,
На обжигающем снегу.

Где над моим бессмертным телом,
Что на руках несла зима,
Металась вьюга в платье белом,
Уже сошедшая с ума,

Как деревенская кликуша,
Которой вовсе невдомек,
Что здесь хоронят раньше душу,
Сажая тело под замок.

Моя давнишняя подруга
Меня не чтит за мертвеца.
Она поет и пляшет — вьюга,
Поет и пляшет без конца.

4

Не для анютиных ли глазок,
Не для лобастых ли камней
Я сочинил немало сказок
По образцу Четьих-Миней?

Но все, что я шептал сердечно
Деревьям, скалам и реке,
Все, что звучало безупречно
На этом горном языке, —

Псалмы, элегии и оды,
Что я для них слагать привык,
Не поддаются переводу
На человеческий язык.

Так в чем решенье той задачи,
Оно совсем не в пустяках.
В том, чтоб тетрадь тряслась от плача
В любых натруженных руках.

И чтоб любитель просвещенья,
Знаток глазастого стиха,
Ценил узорное тисненье
Зеленой кожи лопуха.

И чтоб лицо бросала в краску
От возмущенья и стыда
Земная горечь русской сказки
Среди беспамятного льда.

5

Весною все кричало, пело,
Река гремела возле скал,
И торопливо, неумело
В подлеске ландыш зацветал.

Но день за днем одно ненастье,
И редкий, жгучий солнца луч
Как ослепительное счастье
Порой выглядывал из туч.

За эти солнечные нити
Цветок цеплялся, как слепой,
И лез туда, в поток событий,
Готовый жертвовать собой.

И кое-как листы расправя,
И солнцу выйдя на поклон,
О славе думать был не вправе,
О слове вольном думал он.

6

Так где же песня в самом деле?
Немало стоило труда,
Чтоб разметать слова в метели,
Их завалить кусками льда.

Но песня петь не перестала
Про чью-то боль, про чью-то честь.
У ней и мужества достало
Мученья славе предпочесть.

Она звучит в едином хоре
Зверей, растений, облаков.
Ей вторит Берингово море —
Стихия вовсе не стихов.

И на ветру скрипят ворота
Раскрепощенных городов,
И песня выйдет из болота
И доберется до садов.

Пусть сапоги в грязи и глине,
Она уверенно идет.
И рот ее в лесной малине,
Сведенный судорогой рот.

Она оранжевою пылью
Покрыта с ног до головы,
Она стоит таежной былью
Перед заставами Москвы.

Она свои расскажет сказки,
Она такое пропоет,
Что без профессорской указки
Едва ли школьник разберет.

И ей не нужно хрестоматий —
Ей нужны уши и сердца
И тот, дрожащий над кроватью,
Огонь лучинного светца,

Чтоб в рукописной смутной строчке
Открыть укрывшуюся суть

И не искать ближайшей точки,
А — до рассвета не уснуть.
1956

359

Ни шагу обратно! Ни шагу!
Приглушены сердца толчки.
И снег шелестит, как бумага,
Разорванная в клочки.

Сухой, вездесущий, летучий,
Он бьет меня по щекам,
И слишком пощечины жгучи,
Чтоб их отнести к пустякам...
<1955?>

360. ПЛАВКА

Пускай всем жаром изложенья
Течет в изложницы металл —
Стихов бесшумного движенья
Тысячеградусный накал.

Пускай с самим собою в споре
Так много тратится труда —
Руда, в которой примесь горя,
Не очень плавкая руда.

Но я ее засыплю в строки,
Чтоб раскалилась добела,
Чтоб из огня густым потоком
Жизнь в формы слова потекла.

И пусть в той дерзостной отливке
Смиренье стали огневой
Хранит твоих речей отрывки
И затаенный голос твой.

Ты — как закваска детской сказки
В земной квартирной суетне,
Где страсть совсем не для острастки
Дается жизнью нынче мне.
<1955>

361. БУМАГА

Под жестким сапогом
Ты захрустишь, как снег,
Ты пискнешь, как птенец.
Но думать о другом
Не может человек,
Когда он не мертвец.

Напрасно со стола
Упала, шелестя,
Как будто слабый стон
Сдержать ты не могла,
И падаешь, грустя,
На каменный балкон…
<1955>

362. ПЕНЬ

Эти россказни среза,
Биографию пня
Прочитало железо,
Что в руках у меня.

Будто свиток лишений
Заполярной судьбы,
Будто карта мишени
Для учебной стрельбы.

Слишком перечень краток
Наслоений годов,
Где тепла отпечаток
И следы холодов,

Искривленье узоров,
Где больные года
Не укрылись от взоров
Вездесущего льда.

Перемят и закручен
Твой дневник путевой,
Скрытый ворохом сучьев,
Порыжелой травой.

Это скатана в трубку
Повесть лет временных
В том лесу после рубки
Среди сказок лесных.
1956

363. ХРУСТАЛЬ

Хрупка хрустальная посуда —
Узорный рыцарский бокал,
Что, извлеченный из-под спуда,
Резьбой старинной заблистал.

Стекло звенит от колыханья,
Его волнуют пустяки:
То учащенное дыханье,
То неуверенность руки.

Весь мир от шепота до грома
Хотел бы высказаться в нем,
Хотел бы в нем рыдать, как дома,
И о чужом, и о своем.

Оно звенит, стекло живое,
И может вырваться из рук,
И отвечает громче вдвое
На приглушенный сердца стук.

Одно неверное движенье —
Мир разобьется на куски,
И долгим стоном пораженья
Ему откликнутся стихи.

Мы там на цыпочках проходим,
Где счастье дышит и звенит.
Мы дружбу с ангелом заводим,
Который прошлое хранит.

Как будто дело все в раскопках,
Как будто небо и земля
Еще не слыхивали робких,
Звенящих жалоб хрусталя.

И будто эхо подземелий
Звучит в очищенном стекле,
И будто гул лесной метели
На нашем праздничном столе.

А может быть, ему обещан
Покой, и только тишина
Из-за его глубоких трещин
Стеклу тревожному нужна.
1956

364

Вхожу в торфяные болота
С судьбою своею вдвоем,
И капли холодного пота
На лбу выступают моем.

Твой замысел мною разгадан,
Коварная парка-судьба,
Пугавшая смолоду адом,
Клейменой одеждой раба.

Ты бродишь здесь с тайною целью,
Покой обещав бытию,
Глушить соловьиною трелью
Кричащую память мою.
<1954>

365

Скажу тебе по совести,
Очнувшейся от сна, —
Не слушай нашей повести —
Не для тебя она.

И не тебе завещаны
В предсмертной бормотне
И сказки эти вещие,
И россказни зловещие
У времени на дне.

Не комнатной бегонии
Дрожанье лепестка,
А дрожь людской агонии
Запомнила рука.

И дружество, и вражество,
Пока стихи со мной,
И нищенство, и княжество
Ценю ценой одной.
<1954>

366. ЯСТРЕБ

С тоской почти что человечьей
По дальней сказочной земле
Глядит тот ястреб узкоплечий,
Сутулящийся на скале.

Рассвет расталкивает горы,
И в просветленной темноте
Тот ястреб кажется узором
На старом рыцарском щите.

Он кажется такой резьбою,
Покамест крылья распахнет.
И нас поманит за собою,
Пересекая небосвод.
1954

367. БЕЛКА

Ты, белка, все еще не птица,
Но твой косматый черный хвост
Вошел в небесные границы
И долетал почти до звезд.

Когда в рассыпчатой метели
Твой путь домой еще далек
И ты торопишься к постели
Колючим ветрам поперек,

Любая птица удивится
Твоим пределам высоты.

Зимой и птицам-то не снится
Та высота, где лазишь ты.

И с ветки прыгая на ветку,
Раскачиваясь на весу,
Ты — акробат без всякой сетки,
Предохраняющей в лесу,

Где, рассчитав свои движенья,
Сквозь всю сиреневую тьму,
Летишь почти без напряженья
К лесному дому своему.

Ты по таинственным приметам
Найдешь знакомое дупло,
Дупло, где есть немножко света,
А также пища и тепло.

Ты доберешься до кладовки,
До драгоценного дупла,
Где поздней осенью так ловко
Запасы пищи собрала,

Где не заглядывает в щели
Прохожий холод ветровой
И все бродячие метели
Проходят мимо кладовой.

Там в яму свалена брусника,
Полны орехами углы,
По нраву той природы дикой,
Где зимы пусты и голы.

И до утра луща орехи,
Лесная наша егоза,
Ты щуришь узкие от смеха,
Едва заметные глаза.

1956

368–371. СЛАВОСЛОВИЕ СОБАКАМ

1

Много знаю я собак —
Романтических дворняг:
Пресловутая Муму
С детства спит в моем дому.

Сердобольная Каштанка
Меня будит спозаранку,
А возлюбленная Жучка
У дверной танцует ручки.
И показывает удаль
Знаменитый Белый пудель…

Много знаю я и прочих
Сеттеров, борзых и гончих.
Их Тургенев и Толстой
Приводили в лес густой…

2

Скоро я моих друзей
Поведу в большой музей,
В зал такой открою двери,
Где живут Чукотки звери.

Там приземистый медведь
Может грозно зареветь.
Там при взгляде росомахи
Шевелится шерсть от страха.

Там лиса стального цвета —
Будто краски рыжей нету,
И хитрющая лиса
Окунулась в небеса.

Рысь защелкает когтями
Над собаками-гостями,
И зловещ рысиный щёлк,
И его боится волк.

Что ж к дверям вы сбились в кучку
И попрятались за Жучку,
Мои милые друзья,
Не слыхавшие ружья?

Вы привыкли к детской соске,
Вы, слюнявые барбоски,
Напугает тот музей
Моих маленьких друзей.

3

Где же те, что в этом мире
Как в своей живут квартире,
Где же псы сторожевые,
Где упряжки ездовые,

Почтальоны, ямщики
И разведчики тайги,
Что по каменным карьерам
Без дорог летят карьером?

Задыхаясь от пурги
Среди воющей тайги,
Полумертвые от бега,
Закусили свежим снегом,

И опять в далекий путь,
Намозоля ремнем грудь,
Вы, рожденные в сугробах,
Вам сугробы были гробом.

И метель, визжа от злости,
Разметала ваши кости.
Вы торосистыми льдами
Шли медвежьими следами,

Растирая лапы в кровь,
Воскресая вновь и вновь.
Никогда вы не видали
На груди своей медали.

Кто почтил похвальным словом
Псов Георгия Седова?

Их, свидетелей трагедий,
Съели белые медведи.

Сколько их тащило нарты,
Курс на норд по рваной карте
В ледяных полях полярных,
Запряженные попарно.

И в урочищах бесплодных
Сколько их брело голодных,
Битых палками в пути?
Где могилы их найти?

4

Сколько раз я, умирая,
Сам пути себе не зная,
Потеряв и свет, и след,

Выходил на звуки лая,
Чтоб моя тропа земная,
Стежка горестей и бед,

В том лесу не обрывалась,
Чтобы силы оставалось
У меня на много лет.
1949

372. БАЛЛАДА О ЛОСЕНКЕ

У лиственницы рыжей,
Проржавленной насквозь,
Мои ладони лижет
Губастый серый лось.

Ружья еще не слышал
И смерти не искал.
Ко мне навстречу вышел,
Спустился с дальних скал.

В лесу ему — раздолье,
Но в этот самый час
Встречаю я хлеб-солью
Его не в первый раз.

Он нынче здесь без старших;
Доверчив, бодр и смел,
Сюда стоверстным маршем
Лосенок прилетел.

В тайге нас только двое,
И нам дышать легко —
Все прочее живое
Укрылось далеко.

Мы грамоты не знаем,
И этот горный край
Всерьез считаем раем,
И чем бы он — не рай?
1954

373. ГАРТ

Нашел я сплав, совсем дешевый,
Прошедшей тягостной зимой.
Он оловянный и свинцовый
И перемешанный с сурьмой...

Он бы пригоден был для гарта,
Любой печатне послужил,
Но не рассказами Брет Гарта,
А болью выстуженных жил.

Он нам годится только в смеси,
В приплавке силы золотой,
Чтоб нам рассказывать о лесе
Почти с библейской простотой,

Чтоб нам рассказывать про горы,
Болота, реки, камни, мхи,
Каким едва ли будут впору
Мои стесненные стихи.

Он нам годится для парабол
Иносказательных речей
В игре запутаннейших фабул
Среди стосуточных ночей.
<1955?>

374

Какая в августе весна?
Кому нужна теперь она?
Ведь солнце выпито до дна
Листвою, пьяной без вина.
Моя кружится голова,
И пляшет пьяная листва.
Давно хрупка, давно желта
Земная эта красота.
И ходит вечер золотой
В угрюмой комнате пустой.
И осень бродит на дворе
И шепчет мне о сентябре.
Гляжу на наши небеса.
Там невозможны чудеса.
Давно уж темной пеленой
Покрыто небо надо мной.
И с небосвода дождик льет,
И безнадежен небосвод.
И осень, — видно, из нерях,
И мной задержана в дверях.
Таких не видывал грязнуль
Прошедший солнечный июль.
И если б я хотел и мог,
Я б запер двери на замок.
Не может время мне помочь
Обратно лето приволочь.
И все же в сердце зажжена
Весна.

<1955>

375

Мне недолго побледнеть
И навек остолбенеть.

Если ж только не умру,
То продрогну на ветру.

Впрочем, что мне горевать
И держаться за кровать.

Если даже шар земной
Будет вовсе ледяной,

Я мороза не боюсь.
Я слезами обольюсь.

Мои слезы — горячи,
У меня глаза — лучи.

У меня в разрезе рта
Затаилась теплота.

Пусть сорвется с языка
Раскаленная тоска.

Пусть она расплавит лед
Всех арктических широт.

Я к любому подойду,
Будто где-нибудь в саду,

Крепко за руку возьму
И скажу в лицо ему:

Я, товарищ, инвалид.
У меня душа болит.

Все, что знал когда-то я,
Те скрижали бытия,

Правду жизни, правду льда
Я запомнил навсегда.

И пойду домой — слепой,
Возвышаясь над толпой.

Палку высуну вперед,
Пробираясь сквозь народ.

Не безумный, не немой,
Я иду к себе домой.
<1955?>

376

Пускай за нас расскажут травы,
Расскажут камни и снега,
В чем были правы, в чем не правы
И в чем была права пурга.

Пускай за нас расскажут птицы,
Что нынче, в поисках кормов,
Слетелись около столицы,
Ее старинных теремов.

Пускай же, горбясь и сутулясь,
Ероша перья на спине,
Они летят вдоль наших улиц,
Отлично видимые мне.

Им снег полезней манной каши,
Им лед — блаженство и уют.
Они, как я, из синей чаши
Холодный воздух жадно пьют.
<1955?>

377

Ты слишком клейкая, бумага,
И от тебя мне не отстать,
Не сделать в сторону ни шагу,
Не опуститься на кровать.

Ведь страшно ей проснуться белой,
Какой ложилась ввечеру,
И быть от солнца пожелтелой
И выгоревшей на ветру.

Уж лучше б все она стерпела,
Ходя в любых черновиках,
Лишь только б ей не быть без дела
И не остаться в дураках.

И хорошо, что есть чернила,
Чтобы услышанное мной

Бумага свято сохранила
И увела на свет дневной.
<1955?>

378

Ты видишь, подружка,
Что облака стружка
Просыпана на небеса.

А ветра здесь нету,
Чтоб вынести эту
Вихрастую стружку в леса.

Что лайковой ивы
Цветных переливов
Под солнцем сегодня не счесть.

Что листья так липки,
А ветки так гибки,
Что можно их в косы заплесть.

А елки зубчатых
Зеленых перчаток
Не снимут, не сбросят весной,

И нынче и прежде
Все в зимней одежде
Встречают и холод, и зной.

Но время пролиться
Невидимой птицы
Весеннему пенью, и вот

Звенит поднебесье
Знакомою песней, —
И жаворонок поет…
<1955?>

379

В воле твоей — остановить
Этот поток запоздалых признаний.

В воле твоей — разорвать эту нить
Наших воспоминаний.

Только тогда разрывай до конца,
Чтобы связавшая крепко вначале,
Если не судьбы, то наши сердца,
Нить, как струна, зазвучала...
1956

380

Я о деревьях не пишу,
Я приказал карандашу
Бежать любых пейзажей.

Все, что в глаза бросалось днем,
Я, перед лунным встав огнем,
Замазываю сажей.

А скалы — скалы далеки.
Они не так уж высоки,
Как я когда-то думал.

Но мне по-прежнему близки
Людские приступы тоски,
Ее ночные шумы.
<1955?>

381. ПОСЛЕ ЛИВНЯ

Вдруг ослепляет солнца свет,
И изменяют разом цвет
Поля,
И жарко дышит синевой,
И к небу тянется травой
Земля.
<1954>

382. У КРАЯ ПОЖАРА

Взлетающий пепел пожара,
Серебряный легкий туман
Мешается с дымом и паром,

Сырым ядовитым угаром
Дорогу запутает нам.

Наверно, и мы несчастливы,
Что сумрачны и молчаливы,
И так напряженно глядим
На синей травы переливы,
На черный приземистый дым.
<1956>

383

Я целюсь плохо зачастую,
Я забираю слишком вверх,
Но мой заряд не вхолостую,
И выстрел мой — не фейерверк.

Нет, я не гнался за удачей.
Ствол, раскаленный горячо,
Дал выстрел с тяжкою отдачей,
Меня ударившей в плечо.

Всего за миг до перегрева,
Когда, казалось, у стрелка
Лишилась меткости от гнева
Уже нетвердая рука.

Я брошен наземь в той надежде,
Что, погруженный в эту грязь,
Я буду меток так, как прежде,
В холодной луже остудясь.
<1955>

384

Приводит нынешнее лето
Послушать пенье в темный лес,
И вместо древнего дуэта —
Дуэта моря и небес —

Вся чаща тысячами звуков
Тревожит нынче сердце мне,

Чтобы и я постиг науку
Сопротивленья тишине.
<1955?>

385

О. Неклюдовой

Незащищенность бытия,
Где горя слишком много,
И кажется душа твоя
Поверхностью ожога.

Не только грубостью обид,
Жестокостью суждений,
Тебя дыханье оскорбит,
Неловкий взгляд заденет.

И, очевидно, оттого
Совсем не в нашей воле
Касаться сердца твоего,
Не причиняя боли.

И тяжело мне даже стих
Бросать, почти не целясь,
В тех детских хитростей твоих
Доверчивую прелесть.
<1956>

386

Мечта не остается дома,
Не лезет в страхе под кровать,
Когда горит в степи солома,
Она с пожарами знакома,
Ее огнем не испугать.

Мечта окапывает поле,
Оберегая отчий дом,
И кто сказал, что поневоле
Она беснуется от боли,
Когда сражается с огнем.

Ручей, кипящий по соседству,
Ее от смерти не спасет.
Она другое знает средство,
Что ей досталось по наследству
И с детства взято на учет.

Она не бросится к заречной
Недостижимой стороне,
А хладнокровно и беспечно
Она огонь запалит встречный
Поближе к огненной волне.

И ярко вспыхивают травы,
И обожженная земля
В дыму, в угаре, в черной славе
На жизнь свое отыщет право
И защитит свои поля.
<1955?>

387

Гроза, как сварка кислородная,
И ей немало нынче дела,
Чтобы сухая и бесплодная
Земля опять зазеленела.

Земля и небо вместе связаны,
Как будто мира половинки
Скрепили этой сваркой газовой —
Небесной техники новинкой.

Земля хватает с неба лишнего
Во время гроз, во время бури,
И средь заоблачного, вышнего,
Средь замутившейся лазури

Она привыкла бредить ливнями
И откровеньем Иоанна,
Нравоучениями дивными,
Разоблачением обмана.

Но все ж не зна́меньем магическим —
Франклиновым бумажным змеем

Мы ловим высверк электрический
И обуздать грозу посмеем.

Все приготовлено для этого:
И листьев бурное кипенье,
И занавесок фиолетовых
В окне мгновенное явленье.
<1956?>

388

Всю ночь он трудится упорно
И на бумажные листки
Как бы провеивает зерна
Доспевшей, вызревшей тоски.

Сор легкомысленного слова,
Клочки житейской шелухи
Взлетают кверху, как полова,
Когда слагаются стихи.

Его посев подобен жатве.
Он, собирая, отдает
Признанья, жалобы и клятвы
И неизбежно слезы льет.

Тем больше слез, тем больше плача,
Глухих рыданий невзначай,
Чем тяжелее и богаче
Его посев и урожай.
<1956?>

389. ВОДОПАД

В свету зажженных лунной ночью
Хрустальных ледяных лампад
Бурлит, бросает пены клочья
И скалит зубы водопад.

И замороженная пена
Выносится на валуны,
В объятья ледяного плена
На гребне стынущей волны.

Вся наша жизнь — ему потеха.
Моленья наши и тоска
Ему лишь поводом для смеха
Бывали целые века.
<1956?>

390. ЧЕРНАЯ БАБОЧКА

В чернила бабочка упала —
Воздушный, светлый жданный гость —
И цветом черного металла
Она пропитана насквозь.

Я привязал ее за нитку,
И целый вечер со стола
Она трещала, как зенитка,
Остановиться не могла.

И столько было черной злости
В ее шумливой стрекотне,
Как будто ей сломали кости
У той чернильницы на дне.

И мне казалось: непременно
Она сердиться так должна
Не потому, что стала пленной,
Что крепко вымокла она,

А потому, что, черным цветом
Свое окрасив существо,
Она не смеет рваться к свету
И с ним доказывать родство.
1956

391. ДОЖДЬ

Уж на сухой блестящей крыше
Следа, пожалуй, не найдешь.
Он, может быть, поднялся выше
Глубоко в небо, этот дождь.

Нет, он качается на астрах,
В руках травинок на весу,

Томится он у темных застрех,
Дымится, как туман в лесу.

Его физические свойства
Неуловимы в этот миг,
И им свершенное геройство
Мы отрицаем напрямик.

И даже мать-земля сырая,
И даже неба синева
Нам вторят, вовсе забывая
Дождя случайные слова.
<1956?>

392. ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Мы вмешиваем быт в стихи,
И оттого, наверно,
В стихах так много чепухи,
Житейской всякой скверны.

Но нам простятся все грехи,
Когда поймем искусство
В наш быт примешивать стихи,
Обогащая чувство.
1956

393

Деревья скроются из глаз,
Суют под ноги сучья,
Хотят с дороги сбросить нас
Таинственные крючья.

Мы — меньше всех, мы — мельче всех,
Мы — просто пешеходы.
И на пути не счесть помех,
Поставленных природой, —

Оврагов, рек, ущелий, ям,
Куда упасть недолго,
Как ты бы ни был бодр и прям
И преисполнен долга.

На нас с разбега небосвод
Из-за угла наткнется
И нас на клочья разнесет,
Столкнет на дно колодца.

И только встречная луна,
Светящая как фара,
Нарочно небом зажжена
В предчувствии удара.
<1955?>

394. ТРЕТЬЯ ПАРКА

Три пряхи жизнь мою прядут,
Чтобы скорей вплеталась
В живую жизнь любых причуд,
В любую небывалость.

Зачем же ты явилась здесь,
Надев одежду пряхи,
Как ты могла на небо влезть,
Презрев людские страхи?

Но ты — не та, что сучит нить,
Волокна звездной пряжи,
Что рада счастье сохранить,
Судьбу спасти от кражи.

И ты — не та, что вьет клубок,
Запутывая нити
Моих извилистых дорог
Среди мирских событий.

Ты — та, что жизнь остановить
Всегда имеет право,
Что может перерезать нить
Моей судьбы и славы.

Затем и ножницы даны
В девические руки,
Чтобы казнила без вины,
А просто так — от скуки...
<1955?>

395. ГНЕЗДО ОРЛИЦЫ

Гнездо твое не свито
И не утеплено,
И веточками быта
Не переплетено.

Твои хоромы тесны,
Холодны и жестки
В вершинах скал отвесных
У берега реки.

Средь каменных расселин,
Обвитых лентой льда,
Куда не может зелень
Взобраться никогда.

Твое гнездо, квартира,
Откуда видишь ты
Не меньше чем полмира
С надменной высоты.

Ты греешь камень мертвый
Своим живым теплом,
И когти твои стерты
Об острый камнелом.

От суетной столицы
За десять тысяч верст
Твое гнездо, орлица,
Почти у самых звезд.
1956

396. РОЩА

Еще вчера, руками двигая,
Листвы молитвенник листала.
Еще казалась вещей книгою
Без окончанья и начала.

А нынче в клочья книга порвана,
Букварь моей начальной школы,
И брошена на тропы черные
В лесу, беспомощном и голом.

И дождик пальцами холодными
Перебирает листья хмуро,
Отыскивая темы модные,
Пригодные литературе.

А листья письмами подметными
Дрожат у отсыревшей двери,
Стучат в ночные стекла потные,
Шуршат и молят о доверье.

В окно увижу муки дерева,
Морозом скрюченные кисти,
Ему когда-то люди верили,
Его выслушивая листья.

Я трону мышцы узловатые
Измученного исполина
И преждевременно горбатую,
Ветрами согнутую спину.

Я верю, верю в твердость мускулов,
Живой наполненную силой,
Не знающей ни сна, ни устали
И не боящейся могилы.
1954

397

Я жив не единым хлебом,
А утром, на холодке,
Кусочек сухого неба
Размачиваю в реке...
<1949>

398

Цепляясь за камни кручи,
Закутанные тряпьем,
Мы шьем на покойников тучи,
Иголками хвои шьем.

И прямо около дома,
Среди предгрозовой мглы,

Порожние ведра грома
Бросаем вниз со скалы.
<1956>

399. ГОМЕР

Он сядет в тесный круг
К огню костра меж нами,
Протянет кисти рук,
Ловя в ладони пламя.

Закрыв глаза и рот —
Подобье изваянья,
Он медленно встает
И просит подаянья.

Едва ли есть окрест
Яснее выраженья,
Чем этот робкий жест
Почти без напряженья.

С собой он приволок
Заржавленную банку,
Походный котелок —
Заветную жестянку.

Изгибы бледных губ
В немом трясутся плаче.
Хлебать горячий суп —
Коварная задача.

Из десен кровь течет,
Разъеденных цингою, —
Признанье и почет,
Оказанный тайгою.

Он в рваных торбасах,
В дырявых рукавицах,
И в венчиках-слезах
Морозные ресницы.

Стоит, едва дыша,
Намерзшийся калека,

Поднимет не спеша
Морщинистые веки.

Мирская суета —
Не веская причина
Хранить молчанье рта,
Зажав его морщины.

И в голосе слышна
Пронзительная сила,
И пенная слюна
В губах его застыла.

Он — музыка ли сфер
Гармонии вселенной?
Бродячий Агасфер,
Ходячий труп нетленный.

Он славит сотый раз
Паденье нашей Трои,
Гремит его рассказ
О подвигах героя.

Гремит его рассказ,
Почти косноязычный,
Гудит охрипший бас,
Простуженный и зычный.

А ветер звуки рвет,
Слова разъединяя,
Пускает в оборот,
В народ перегоняя.

То их куда-то вдаль
Забрасывает сразу,
То звякнет, точно сталь,
Подчеркивая фразу.

Что было невпопад
Иль слишком откровенно,
Отброшено назад,
Рассеяно мгновенно.

Вокруг гудит оркестр
Из лиственниц латунных,
Натянутых окрест,
Как арфовые струны.

И ветер — вот арфист,
Артист в таком же роде,
Что вяжет вой и свист
В мелодию погоды.

Поет седой Гомер,
Мороз дерет по коже.
Частушечный размер
Гекзаметра построже.

Метелица метет
В слепом остервененье.
Седой певец поет
О гневе и терпенье.

О том, что смерть и лед
Над песнями не властны.
Седой певец поет,
И песнь его — прекрасна.
<1956>

400

Опять заноют руки
От первого движения,
Опять встаю на муки,
На новое сраженье.

Представлю на мгновенье
Все будущие сутки,
Неискренние мненья,
Божбу и прибаутки.

Глаза закрою в страхе
И в сон себя запрячу,
И ворот у рубахи
Раскрою и заплачу.

Чтобы рассвет немилый
Встречать без осужденья,
Как много нужно силы
При каждом пробужденье.
<1954>

401. НАЕДИНЕ С ПОРТРЕТОМ

Ты молча смотришь со стены,
Болярыня Марина,
Залита пятнами луны,
Как стеарином.

Ты взглядом гонишь муть и хмарь
Бесовского веселья.
Дрожит наследственный янтарь
На ожерелье.

А может, это ложь луны,
И сквозь луны уловки
На шее явственно видны
Следы веревки.
1954

402

Лицо твое мне будет сниться,
Бровей синеющих разлет
И тот, завешенный ресницей,
Голубоватый вечный лед.

Но забушует в мире буря
И переменит прежний цвет
Той безмятежнейшей лазури
На краски горести и бед.

Сверкнет ли россыпь золотая
Среди подземных мерзлых руд,
Когда глаза твои растают,
Слезами злобы изойдут.

Или какой-то страсти взрывом,
В тебе гнездящейся давно,

Внезапным радостным порывом
Раскрыто черное окно.

И взглядом долгим и упорным
Ты на меня глядишь тайком.
Своим невидящим и черным,
Как бы обугленным зрачком.
<1956>

403

Нет, я совсем не почтальон,
Простой разносчик плача,
Я только тем отягощен,
Что даром слов не трачу.

Ведь я не думал петь и жить,
Дрожа измерзшим телом,
Но долга этого скостить
Земля мне не хотела.

А я хватался ей назло,
Вставая спозаранок,
То за шахтерское кайло,
А то и за рубанок.

И я ее строгал и бил,
Доказывая этим,
Как крепко я ее любил,
Одну на целом свете.

Но, вырывая обушок
Из пальцев ослабелых,
Стереть грозилась в порошок
Меня в пустынях белых.

Она сварила щей горшок,
Дала краюху хлеба,
В дорожный сунула мешок
Куски и льда и неба.

Уж недалек конец пути,
И силы так немного.

Мне только б слезы донести
До первого порога.
<1956>

404

Ветров, приползших из России,
Дыханье чувствует рука —
Предвестие эпилепсии
Иль напряженье столбняка.

Давно потерян счет потерям,
И дни так призрачно легки,
И слишком радостно быть зверем,
И навсегда забыть стихи.

Но бедных чувств ограниченье,
Вся неурядливость мечты,
Встает совсем в ином значенье
В гипнозе вечной мерзлоты.

Зачем же с прежнею отвагой
Я устремляюсь в дальний путь?
Стихи компрессною бумагой
Давно положены на грудь.

Чего бояться мне? Простуды,
Колотья в сердце иль в боку?
Иль впрямь рассчитывать на чудо,
На самовластную тоску.

Есть состоянье истощенья,
Где незаметен переход
От неподвижности — к движенью,
И — что страшней — наоборот.

Но знаю я, что там, на воле,
С небес такой же валит снег
И ждет, моей болея болью,
Меня зовущий человек.
<1951?–1956>

405

Нет, нет, не флагов колыханье,
С небес приспущенных на гроб,
Чужое робкое дыханье
Его обвеивает лоб.

Слова любви, слова разлуки
Щекочут щеки мертвецу,
Чужие горестные руки
Скользят по серому лицу.

Как хорошо, что тяжесть эту
Не ощутить уже ему,
В гробу лежащему поэту,
И не измерить самому.

Он бы постиг прикосновений
Красноречивейший язык,
Порыв бесстрашных откровений
В последний час, в последний миг.

Лица разглажены морщины,
И он моложе, чем вчера.
А каковы смертей причины —
Об этом знают доктора.
<1956>

406

Я нынче — только лицедей
Туманом выбеленных далей,
Оленьих топких площадей,
Глухих медвежьих магистралей.

Я все еще твержу слова,
Какие слышал в том рассвете.
Мне нашептала их трава,
Слова неслыханные эти.

Что речи вещих мудрецов
Перед собраньем откровений,

Репья, бурьяна и волчцов —
Простых кладбищенских растений.
<1956>

407

Ведь только утром, только в час
Рассветного раздумья,
Когда исчерпан весь запас
Притворства и безумья,

Когда опасность — как петля,
Свисающая с крюка,
Мое сознанье оголя,
Манит минутной мукой.

Тогда все тени на стене —
Миражи ясновидца,
И сам с собой наедине
Боюсь я находиться.
<1956>

408. НОЧЬЮ

Я из кустов скользну, как смелый,
Как исхудавший хищный зверь,
Я навалюсь костлявым телом
На робко скрипнувшую дверь.

Я своего дождался часа,
Я встану тенью на стене,
И запах жареного мяса
Щекочет властно ноздри мне.

Но я — не вор, я — только нищий,
В холодном бьющийся поту,
Иду как волк на запах пищи
И тычу пальцы в темноту.

Я открываю занавеску,
И синеватый лунный свет
Вдруг озаряет блеском резким
Пустой хозяйский кабинет.

Передо мной на полках книжных
Теснятся толпы старых книг,
Тех самых близких, самых ближних,
Былых товарищей моих.

Я замираю ошалело,
Не веря лунному лучу.
Я подхожу, дрожа всем телом,
И прикоснуться к ним хочу.

На свете нет блаженней мига
Дерзанья дрогнувшей руки —
Листать теплеющие книги,
Бесшумно трогать корешки.

Мелькают литеры и строчки,
Соединяясь невпопад.
Трепещут робкие листочки
И шелестят, как листопад.

Сквозь тонкий, пыльный запах тленья
Телесной сущности томов
Живая жизнь на удивленье
И умиленье всех умов.

Про что же шепчет страшный шелест
Сухих заржавленных страниц?
Про опозоренную прелесть
Любимых действующих лиц.

Что для меня своих волнений
Весьма запутанный сюжет?
Ведь я не с ним ищу сравнений,
Ему подобья вовсе нет.

Волнуют вновь чужие страсти
Сильней, чем страсть, чем жизнь своя.
И сердце рвут мое на части
Враги, герои и друзья.

И что мне голод, мрак и холод
В сравненье с этим волшебством,
Каким я снова сыт и молод
И переполнен торжеством.
<1955>

409

Не поймешь, отчего отсырела тетрадка —
То ли ночью излишне обильна роса?
То ли жить той тетрадке настолько несладко,
Что забила глаза ей слеза?

А глаза ведь смотрели и ясно и жадно
На деревья с зеленой мохнатой корой,
На вечерней реки перелив шоколадный,
На лиловый туман под горой.

Почему же мое помутневшее зренье
Твоего разглядеть не сумело лица?
Неужели мне больше не ждать озаренья
И навек превратиться в слепца?
<1954>

410

Лучше б ты в дорожном платье
Не ходила у моста,
Не кидалась бы в объятья
Неуклюжего куста.

На плече плакучей ивы
Разрыдалась ты сейчас,
Не сводя с крутых обрывов
Широко раскрытых глаз.

Для чего ж ты испытала
Притяжение луны,
Слабый запах краснотала,
Горький аромат весны…
<1954?>

411

Я на спину ложусь,
И вместе с целым светом
Я посолонь кружусь
Веселым этим летом.

Крутом меня — леса,
Земля же — за спиною.
Кривые небеса
Нагнулись надо мною.

Уже моя рука,
Дрожа нетерпеливо,
Вцепилась в облака,
В щетину конской гривы.

На своего конька
Я все равно не сяду,
Пока мне так близка
Земля — моя отрада.

Я будто волочу
Весь мир сейчас с собою,
Но если захочу
Зажить его судьбою —

Мне нужно отойти
Подальше от столицы,
Прилечь на полпути
И мертвым притвориться.
1954

412

Мне полушубок давит плечи.
И ветер — вечный мой двойник
Откроет дверь, задует свечи
И запретит вести дневник.

Я изорву, сомну страницу,
Шагну на шаткое крыльцо,
И как пощечины — зарницы
Мне небом брошены в лицо.

Со мною шутит наше лето
В кромешной нашей темноте.
Сейчас не время для рассвета,
Часы, часы еще не те.
<1954?>

413

Поэты придут, но придут не оттуда,
Откуда их ждут.
Предместья всю жизнь дожидаются чуда,
И чудо на блюде несут.

Оно — голова Иоанна Предтечи,
Безмолвная голова.
Оно — немота человеческой речи,
Залитые кровью слова.

А может быть, той иудейской царевне
Не надо бы звать палачей?
И в мире бы не было их задушевней,
Задушенных этих речей.

Но слово не сказано. Смертной истомой
Искривлены губы, и мертвый пророк
Для этих детей, для толпы незнакомой
Сберег свой последний упрек.

Та клинопись накрепко врезана в кожу,
И буквы — морщины лица.
И с каждой минутой все четче и строже
Черты на лице мертвеца.
<1956>

414. ТОСТ ЗА РЕЧКУ АЯН-УРЯХ

Я поднял стакан за лесную дорогу,
За падающих в пути,
За тех, что брести по дороге не могут,
Но их заставляют брести.

За их синеватые жесткие губы,
За одинаковость лиц,
За рваные, инеем крытые шубы,
За руки без рукавиц.

За мерку воды — за консервную банку,
Цингу, что навязла в зубах.
За зубы будящих их всех спозаранку
Раскормленных, сытых собак.

За солнце, что с неба глядит исподлобья
На то, что творится вокруг.
За снежные, белые эти надгробья,
Работу понятливых вьюг.

За пайку сырого, липучего хлеба.
Проглоченную второпях,
За бледное, слишком высокое небо,
За речку Аян-Урях!
<1956>

415

Мне горы златые — плохая опора,
Когда высота такова,
Что страшно любого в пути разговора,
И кружится голова.

И что мне погода, приличья и мода,
Когда высота такова,
Что мне не хватает глотка кислорода,
Чтоб ясно звучали слова.

И колют мне грудь, угрожая простудой,
Весенние сквозняки.
И я вечерами, как будто на чудо,
Гляжу на чужие стихи…
1956

416

Мигрени. Головокруженья
И лба и шеи напряженья.
И недоверчивого рта
Горизонтальная черта.

Из-за плеча на лист бумажный
Так неестественно отважно
Ложатся тени прошлых лет,
И им конца и счета нет…
<1956>

417

Сказала мне соседка:
— Сходить бы вам к врачам,
Вы плачете нередко,
Кричите по ночам.

И маленькие дети
Боятся ваших слов.
Ужель на целом свете
Не станет докторов?

Но мне не отмолчаться
От ночи. В эту ночь
Врачи и домочадцы
Не могут мне помочь.

Я все слова припомнил,
Какими называл
Тебя в каменоломне
Среди дремавших скал.

Но сердце ведь не камень,
Его не уберечь.
К чему ж ломать стихами
Размеренную речь?

Все это ведь — не прятки,
А наша боль и быль,
Дырявые палатки,
Мороженая пыль.

От взрывов аммонита
Ложится жаркий дым
На каменные плиты
Тяжелым и густым...

Сегодня, чести ради,
Я волю дал слезам.
Их шорох по тетради
Услышал ночью сам.

Что сердцу было мило,
Потеряно в тщете.

Проклятые чернила
Расплылись на листе.

Мутны и непрозрачны
На свет мои стихи.
И рифмы — неудачны,
И жалобы — горьки.

Полны слова простые
Значением двойным.
И зря сушу листы я
Дыханием моим.
<1955–1956>

418

Пусть невелик окна квадрат,
Перекрещенный сталью,
Мне в жизни нет милей наград,
Чем эта встреча с далью,

Где даже солнце, изловчась,
На двор вползает снизу,
Скользит уже не первый час
По узкому карнизу.

Где у меня над головой,
В распахнутую фортку,
Влетает зайчик световой,
Блистательный и верткий...

Отсюда даль — совсем не даль,
Ее, как запах вешний,
Ничто — ни камень и ни сталь
Не сделают нездешней.

Она, как счастие мое,
За каменной стеною
На постоянное житье
Прописана со мною.

Но слышен громкий голос дня:
Гремят замком-затвором,

И отрезвляет жизнь меня
Карболовым раствором.
<1955>

419. РАКОВИНА

Я вроде тех окаменелостей,
Что появляются случайно,
Чтобы доставить миру в целости
Геологическую тайну.

Я сам — подобье хрупких раковин
Былого высохшего моря,
Покрытых вычурными знаками,
Как записью о разговоре.

Хочу шептать любому на ухо
Слова давнишнего прибоя,
А не хочу закрыться наглухо
И пренебречь судьбой любою.

И пусть не будет обнаружена
Последующими веками
Окаменевшая жемчужина
С окаменевшими стихами.
1956–<сер. 1960-х>

420

Он в чердачном помещенье
В паутине и в пыли
Принял твердое решенье
Останавливать вращенье
Закружившейся земли.

И не жди его к обеду:
Он сухарь с утра грызет.
И, подобно Архимеду,
Верит он в свою победу,
В то, что землю повернет.

Он — живительный источник,
Протекающий в песках,

И среди страстей непрочных
Он — источник знаний точных,
Обнаруженных в стихах.

Он — причина лихорадок,
Вызывающих озноб,
Повелительный припадок
Средь разорванных тетрадок —
Планов, опытов и проб...
<1956>

421. В ЦЕРКВИ

Наши шеи гнет в поклоне
Старомодная стена,
Что закована в иконы
И свечой облучена.

Бред молений полуночных
Здесь выслушиваем мы,
Напрягая позвоночник,
Среди теплой полутьмы.

Пахнет потом, ярым воском,
Свечи плачут, как тогда...
Впечатлительным подростком
Забирался ты сюда.

Но тебе уж не проснуться
Снова в детстве, чтобы ты
Вновь сумел сердец коснуться
Правдой детской чистоты.

И в тебе кипит досада
От житейских неудач,
И тебе ругаться надо,
Затаенный пряча плач.

Злою бранью или лаской,
Богохульством иль мольбой —
Лишь бы тронуть эту сказку,
Что сияет над тобой.
<1954–1955>

422

Меня застрелят на границе,
Границе совести моей.
И кровь моя зальет страницы,
Что так тревожили друзей.

Когда теряется дорога
Среди щетинящихся гор,
Друзья прощают слишком много,
Выносят мягкий приговор.

Но есть посты сторожевые
На службе собственной мечты.
Они следят сквозь вековые
Ущербы, боли и тщеты.

Пусть незаметно, малодушно
Я к страшной зоне подойду,
Стрелки прицелятся послушно,
Пока я буду на виду.

Когда войду в такую зону
Непоэтической страны,
Они поступят по закону,
Закону нашей стороны.

Чтобы короче были муки,
Чтобы убить наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как в руки лучшего стрелка.

1956

423. ВОСПОМИНАНИЕ

Колченогая лавчонка,
Дверь, в которую вошла
Драгоценная девчонка,
И — как будто не была.

Дверь до крайности заволгла
И по счету: раз! два! три! —
Не хотела слишком долго
Открываться изнутри.

И, расталкивая граждан,
Устремившихся в подвал,
Я тебя в старухе каждой,
Не смущаясь, узнавал.

Наконец ты появилась,
Свет ладонью затеня,
И, меняя гнев на милость,
Обнаружила меня.

Ты шагала в черной юбке
За решительной судьбой.
Я тащил твои покупки,
Улыбаясь, за тобой.

Свет таких воспоминаний —
Очевидных пустяков —
Явный повод для страданий
И завышенных стихов.

А стихи ведь только средство,
Только средство лишний раз
Ощутить твое соседство
В одинокий зимний час.
<1955?>

424

Какой же дорогой приходит удача?
Где нищенка эта скулит под окном?
И стонет в лесу, захлебнувшись от плача,
От плача по самом земном?

Неправда — удача дорогою воли
Идет, продвигаясь, вершок за вершком,
Крича от тупой, нарастающей боли,
Шагая по льду босиком.

Неправда — удача дорогою страсти
Приходит, и, верно, она
Не хочет дробиться на мелкие части
И в этом сама не вольна.
....

Столы уж накрыты, и двери открыты,
И громко читают рассказ —
Зловещий рассказ о разбитом корыте,
Пугающий сыздетства нас.
<1955?>

425

Удача — комок нарастающей боли.
Что долго терпелась тайком,
И — снежный, растущий уже поневоле,
С пригорка катящийся ком.

И вот этот ком заслоняет полмира,
И можно его превратить,
Покамест зима — в обжитую квартиру
Иль — в солнце его растопить.

И то и другое, конечно, удача,
Закон, говорят, бытия.
Ведь солнцу решать приходилось задачи
Трудней, чем задача моя.
<1956>

426

Мечта ученого почтенна —
Ведь измеренье и расчет
Сопровождают непременно
Ее величественный ход.

Но у мечты недостоверной
Есть преимущество свое,
Ее размах, почти безмерный,
Ее небесное житье.

И можно ею лишь одною
Остановить солнцеворот —
Всей силой сердца запасною,
Внезапно пущенною в ход.

И все физически не просто,
И человек, в согласье с ней,

Повыше собственного роста
И самого себя сильней.
1956

427. СТИХИ В ЧЕСТЬ СОСНЫ

Н. Я. Мандельштам

Я откровенней, чем с женой,
С лесной красавицей иной.

Ты, верно, спросишь, кто она?
Обыкновенная сосна.

Она не лиственница, нет,
Ее зеленый мягкий свет

Мне в сердце светит круглый год
Во весь земной круговорот.

В жару и дождь, в пургу и зной
Она беседует со мной.

И шелест хвойный, как стихи —
Немножко горьки и сухи.

И затаилась теплота
В иголках хвойного листа,

В ее коричневой коре,
С отливом бронзы при заре,

Где бури юношеских лет
Глубокий выщербили след,

Где свежи меты топора,
Как нанесенные вчера.

И нет секретов между мной
И этой бронзовой сосной.

И слушать нам не надоест
Все, что волнуется окрест.

Конечно, средь ее ветвей
Не появлялся соловей.

Ей пели песни лишь клесты —
Поэты вечной мерзлоты.

Зато любой полярный клест
Тянулся голосом до звезд.

Средь всякой нечисти лесной
Она одна всегда со мной.

И в целом мире лишь она
До дна души огорчена

Моею ранней сединой,
Едва замеченной женой.

Мы с той сосной одной судьбы:
Мы оба бывшие рабы,

Кому под солнцем места нет,
Кому сошелся клином свет,

И лишь оглянемся назад,
Один и тот же видим ад.

Но нам у мира на краю
Вдвоем не хуже, чем в раю…

И я горжусь, и я хвалюсь,
Что я ветвям ее молюсь.

Она родилась на скале,
На той же сумрачной земле,

Где столько лет в борьбе со льдом
Я вспоминал свой старый дом,

Уже разрушенный давно,
Как было жизнью суждено.

Но много лет в моих ночах
Мне снился тлеющий очаг,

Очаг светил, как свет звезды,
Идущий медленно во льды.

Звезда потухла — только свет
Еще мерцал немало лет.

Но свет померк, в конце концов
Коснувшись голых мертвецов.

И ясно стало, что звезда
Давно погасла навсегда.

А я — я был еще живой
И в этой буре снеговой,

Стирая кровь и пот с лица,
Решился биться до конца.

И недалек был тот конец:
Нависло небо, как свинец,

Над поседевшей головой,
И все ж — я был еще живой.

Уже зловещая метель
Стелила смертную постель,

Плясать готовилась пурга
Над трупом павшего врага.

Но, проливая мягкий свет
На этот смертный зимний бред,

Мне ветку бросила она —
В снегу стоявшая сосна —

И наклонилась надо мной
Во имя радости земной.

Меня за плечи обняла
И снова к бою подняла,

И новый выточила меч,
И возвратила гнев и речь.

И, прислонясь к ее стволу,
Я поглядел смелей во мглу.

И лес, не видевший чудес,
Поверил в то, что я — воскрес.

Теперь ношу ее цвета
В раскраске шарфа и щита:

Сияют ясной простотой
Зеленый, серый, золотой.

Я полным голосом пою,
Пою красавицу свою,

Пою ее на всю страну,
Обыкновенную сосну.
1956–<1966?>

428

Замшелого камня на свежем изломе
Сверкнувшая вдруг белизна…
Пылает заката сухая солома,
Ручей откровенен до дна.

И дыбятся горы, и кажется странным
Журчанье подземных ключей
И то, что не все здесь живет безымянным,
Что имя имеет ручей.

Что он занесен на столичные карты,
Что кто-то пораньше, чем я,
Склонялся здесь в авторском неком азарте
Над черным узором ручья.

И что узловатые, желтые горы
Слезили глаза и ему,
И с ними он вел, как и я, разговоры
Про горную Колыму.
1956

429

Хочу я света и покоя,
Я сам не знаю, почему
Гудки так судорожно воют
И разрезают полутьму.

Как будто, чтобы резать тучи,
Кроить на части облака,
Нет силы более могучей,
Чем сила хриплого гудка.

И я спешу, и лезу в люди,
Косноязыча второпях,
Твержу, что нынче дня не будет,
Что дело вовсе не в гудках…
<1956>

430

Ты не срисовывай картинок,
Деталей и так далее.
Ведь эта битва — поединок,
А вовсе не баталия.

И ты не часть чужого плана,
Большой войны таинственной.
Пусть заурядного романа
Ты сам герой единственный.

Ты не останешься в ответе
За все те ухищрения,
С какими легче жить на свете,
Да, легче, без сомнения…
<1956>

431

Да, он оглох от громких споров
С людьми и выбежал сюда,
Чтобы от этих разговоров
Не оставалось и следа.

И роща кинулась навстречу,
Сквозь синий вечер напролом,
И ветви бросила на плечи,
Напоминая о былом.

И судьбы встали слишком близко
Друг к другу, время хороня,
И было слишком много риска
В употреблении огня.
<1956>

432

Воображенье — вооруженье,
И жить нам кажется легко,
Когда скала придет в движенье
И уберется далеко.

И у цветов найдется запах,
И птицы песни запоют,
И мимо нас на задних лапах
Медведи медные пройдут.
<1953?>

433

Нам время наше грозами
Напрасно угрожало,
Душило нас морозами
И в погребе держало.

Дождливо было, холодно,
И вдруг — такое лето, —
Хоть оба мы — немолоды
И песня наша спета.

Что пелась за тюремными
Затворами-замками
Бессильными и гневными
Упрямыми стихами,

Что творчества изустного
Была былиной новой,

Невольничьего, грустного,
Закованного слова.

И песни этой искренность,
Пропетой полным голосом,
Серебряными искрами
Пронизывает волосы…
<1955>

434

Не только актом дарственным
Расщедрившейся сказки
Ты проступаешь явственно,
Как кровь через повязку.

И боль суровой карою
Опять ко мне вернулась,
Затем, что рана старая
Еще не затянулась.

Пока еще мы молоды
Душою и годами,
Мы лечим раны холодом,
Метелями и льдами.

Но, видно, в годы зрелые
Не будет облегченья
От слишком устарелого
Таежного леченья.

И смело ночью звездною,
Развеяв все туманы,
Мы лечим эту грозную,
Мучительную рану

Повязкой безыскусственной,
Пропитанной простою,
Горячей и сочувственной
Душевной теплотою.
<1955>

435

Мы имя важное скрываем,
Чужою кличкою зовем
Ту, что мы лучше жизни знаем,
Чью песню с юности поем.

И от неназванного слова
Острее грусть, больнее боль,
Когда мы явственно готовы
Заветный выкрикнуть пароль.

Что за подпольщина такая?
Зачем уклончивее взор
У наступающего мая,
Вступающего в заговор?

Что охватил листву предместья,
Камней дорожных немоту.
И я, и ты, мы с лесом вместе
Пережидаем темноту.

И в напряженное безмолвье,
В предгрозовую духоту
Условный знак ярчайших молний
Внезапно кинут в высоту.

И в этом новом освещенье,
Пока гроза недалеко,
Мы забываем запрещенья
И выдаем себя легко.

<1956>

436

Есть мир. По миру бродит слово,
Не различая у людей
Ни малого и ни большого
В масштабах действий и идей.

Оно готово все на карту
Поставить из-за пустяка,
Оно в своем слепом азарте
Легко дорвется до греха.

И, меря все единой мерой,
На свой изломанный аршин,
Не хочет жертвовать пещерой
Для одиночества вершин.
<1956>

437

Прочь уходи с моего пути!
Мне не нужна опора.
Я и один могу добрести
Узкой тропинкой в горы.

Дикие розы в горах цветут
В яркости небывалой.
Каждая сопка кажется тут
Будто от крови — алой.

Только лишь я разобрать могу
Кровь это или розы?
Лед ли блестит на плотном снегу
Или людские слезы?

Видишь — песок у меня в горсти?
Это — песок дорожный,
Не удивляйся и не грусти —
Все сожаленья ложны.

Ветер похода щекочет грудь,
Сердцу до боли тесно.
Залит луной одинокий путь,
Мне хорошо известный.
<1956?>

438

Все стены словно из стекла,
Секретов нет в любой квартире,
И я гляжу из-за угла
На все, что делается в мире.

Людского сердца кривизну
Я нынче вымерю лекалом

И до рассвета не усну
В моем унынье небывалом.

И вижу я, что честь и ложь
Вступили вновь в единоборство.
И в спину чести всажен нож,
И странно мне ее упорство.

Упасть бы наземь ей давно.
Тогда сказали б с одобреньем: —
Вот что наделало вино, —
И отвернулись бы с презреньем.
<1956>

439

С тобой встречаемся в дожде,
В какой-то буре, в реве, в громе,
И кажется, что мы нигде
Иначе не были б знакомы.

Нам солнца, видно, и не ждать.
Нас не смутишь грозой нимало.
И вспышки молний — благодать,
Когда нам света не хватало.
<1956>

440

Ты услышишь в птичьем гаме
В этот светлый, легкий час,
Что земля с ее снегами
Расступилась под ногами,
Но сдержала всё же нас.

Суть бессилия мороза,
Очевидно, только в том,
Что мороз не может слезы
Объявить житейской прозой
В рассужденьях о былом.

Даже времени бессилье
Подтверждается сейчас

Тем, что крепнут наши крылья,
Не раздавленные былью,
Вырастая во сто раз.

А бессилие пространства
Не полетами ракет —
Измеряют постоянством,
Несмотря на годы странствий,
Без надежд и без побед.

Это — власть и сила слова,
Оброненного тайком.
Это слово — свет былого,
Зажигающийся снова
Перед жизнью и стихом.

Это слово — песни сколок —
Той, что пелась наугад,
Не достав до книжных полок,
Пелась в лиственницах голых,
Шелестя, как листопад.

Заглушенная поземкой,
Песня, петая негромко,
У созвездий на глазах
В разрывающих потемки
Ослепительных слезах.

<1956>

441

Мы с ним давно, давно знакомы:
Час? Или век? И нет нужды
Нам из бревенчатого дома
Бежать куда-нибудь во льды.

И все рассказано, что надо,
И нам молчать не надоест —
Яснее слов одни лишь взгляды,
Яснее взглядов только жест.

Нам нет дорог из этой двери,
Нам просто некуда идти,

Ведь даже птицы, даже звери
Кончают здесь свои пути.

Чего я жду? Весны? Обеда?
Землетрясенья? Или той
Волны спасительного бреда
В сраженье с вечной мерзлотой?
<1956>

442

Давно мы знаем превосходство
Природы над душой людской,
Ее поверив благородству,
Мы в ней отыскиваем сходство
С своей судьбою городской.

Мы по ее живем приметам.
Мы — мира маленькая часть,
Мы остальным всю жизнь согреты,
Его ночей, его рассвета
Всегда испытывая власть.

Чужой напяленною кожей
Мы смело хвалимся подчас.
И мы гордимся сами тоже,
Что на бездушное похожи
На слух, на ощупь и на глаз.

Тот тверд, как сталь, тот нем, как рыба,
Тот свищет, точно соловей.
А кто не дрогнул перед дыбой,
Тому базальтовою глыбой
Явиться было бы верней.

Чего же мне недоставало,
О чем я вечно тосковал?
Я восхищался здесь, бывало,
Лишь немотою минерала
Или неграмотностью скал.

Когда без всякого расчета
Весенней силою дождей

Творилась важная работа
Смывать и кровь, и капли пота
Со щек измученных людей.

Где единица изнуренья?
Где измеренье нищеты?
И чем поддерживать горенье
В душе, где слышен запах тленья
И недоверчивость тщеты?

Не потому цари природы,
Что, подчиняясь ей всегда,
Мы можем сесть в бюро погоды
И предсказать ее на годы:
Погода — это ерунда.

А потому, что в нас чудесно
Повторены ее черты —
Земны, подводны, поднебесны,
Мы ей до мелочи известны
И с нею навек сведены.

И в ней мы черпаем сравненья,
И стих наполнен только тем,
Чем можно жить в уединенье
С природою в соединенье
Средь нестареющихся тем.
<1956>

443

Тупичок, где раньше медник
Приучал мечтать людей,
Заманив их в заповедник
Чайников и лебедей.

Есть святые тротуары,
Где всегда ходила ты,
Где под скоропись гитары
Зашифрованы мечты.

Инструмент неосторожный
Раньше, чем виолончель,

Поселил в душе тревожной
Непредвиденную цель.

Фантастическая проза,
Помещенная в стихи, —
Укрепляющая доза
Человеческой тоски.
<1956>

444

Был песок сухой, как порох,
Опасавшийся огня,
Что сверкает в разговорах
Возле высохшего пня.

Чтоб на воздух не взлетели,
Достигая до небес,
Клочья каменной метели,
Звери, жители и лес.

Были топкие трясины
Вместо твердых площадей,
Обращенные в машины,
Поглощавшие людей.

Средь шатающихся кочек
На болоте, у реки
Под ногами — только строчек
Ненадежные мостки.
<1956>

445

Свет — порожденье наших глаз,
Свет — это боль,
Свет — испытание для нас,
Для наших воль.

Примета света лишь в одном —
В сознанье тьмы,
И можно бредить белым днем,
Как бредим мы.
<1956>

446

Мне не сказать, какой чертою
Я сдвинут с места — за черту,
Где я так мало, мало стою,
Что просто жить невмоготу.

Здесь — не людское, здесь — Господне,
Иначе как, иначе кто
Напишет письма Джиоконде,
Засунет ножик под пальто.

И на глазах царя Ивана
Сверкнет наточенным ножом,
И те искусственные раны
Искусства будут рубежом.

И пред лицом моей Мадонны
Я плачу, вовсе не стыдясь,
Я прячу голову в ладони,
Чего не делал отродясь.

Я у себя прошу прощенья
За то, что понял только тут,
Что эти слезы — очищенье,
Их также «катарсис» зовут.
<1955?>

447

Гроза закорчится в припадке,
Взрывая выспренний туман,
И океан гудит в распадке,
А он — совсем не океан —

Ручей, раздутый половодьем,
Его мечта не глубока,
Хоть он почти из преисподней
Летел почти под облака.

И где искать причин упадка?
На даче? В Сочах? Или там —
В дырявой бязевой палатке,
Где люди верят только льдам.

Где им подсчитывают вины
И топчут детские сердца,
Где гномы судят исполинов,
Не замолчавших до конца.

И все стерпеть, и все запомнить,
И выйти все-таки детьми
Из серых, склизких, душных комнат,
Набитых голыми людьми.

И эти комнаты — не баня,
Не пляж, где пляшут и поют:
Там по ночам скрипят зубами
И проклинают тот «уют».

И быть на жизнь всегда готовым,
И силы знать в себе самом —
Жить непроизнесенным словом
И неотправленным письмом.
<1955?>

448

Какой еще зеленой зорьки
Ты поутру в чащобе ждешь?
Табачный дым глотаешь горький,
Пережидая дымный дождь?

Ты веришь в ветер? Разве право
На эту веру ты имел?
Оно любой дороже славы,
Оно — надежд твоих предел.
<1956?>

449

...А лодка билась у причала,
И побледневший рулевой
Глядел на пляшущие скалы
И забывал, что он — живой.

И пальцы в боли небывалой,
Не ощущаемой уже,

Сливались с деревом штурвала
На этом смертном рубеже.

И человек был частью лодки,
Которой правил на причал,
И жизнь была, как миг короткий,
По счету тех земных начал,

Что правят судьбы на планете
И воскрешая, и губя,
И лишь до времени в секрете
Способны выдержать себя.

И вот, спасая наши души,
Они проводят между скал
Лишь тех, кто только им послушен,
Кто жизни вовсе не искал…
1956

450

Что песня? — Та же тишина.
Захвачено вниманье
Лишь тем, о чем поет она,
Повергнув мир в молчанье.

Нет в мире звуков, кроме тех,
Каким душой и телом
Ты предан нынче без помех
В восторге онемелом.

Ты песне вовсе не судья,
Ты слышал слишком мало,
Ты песней просто жил, как я,
Пока она звучала.
<1955>

451

Сирень сегодня поутру
Неторопливо
Отряхивалась на ветру
Брезгливо.

Ей было, верно, за глаза
Довольно
Дождя, что в ночь лила гроза
Невольно.

И пятипалым лепестком
Трясла в ненастье,
Сирень задумалась тайком
О счастье,

Не нужном людям до утра,
До света,
Хотя знакома и стара
Примета.
<1956?>

452

Опять застенчиво, стыдливо
Луной в квартиру введена
Та ночь, что роется в архивах
И ворошит всю жизнь до дна.

У ней и навыка-то нету
Перебирать клочки бумаг,
Она торопится к рассвету
И ненавидит свой же мрак.

Она почти что поневоле
Пугать обязана меня,
Сама порой кричит от боли,
Коснувшись лунного огня.

Да ей бы выгодней сторицей
По саду шляться вслед за мной,
И ей не в комнате бы рыться,
Ее пространство — шар земной.

Но при такой ее методе,
Как ясно совести моей,
Она нуждается в природе,
В подсказке лиц и тополей.
<1956>

453

А мы? — Мы пишем протоколы,
Склонясь над письменным столом,
Ее язык, простой и голый,
На наш язык переведем.

И видим — в ней бушуют страсти
Куда сильней, чем наша страсть,
Мы сами здесь в ее же власти,
Но нам не сгинуть, не пропасть,

Пока не выскажется явно
Ее душа, ее строка,
Пока рассказ о самом главном
Мы не услышим от стиха.

Пускай она срывает голос
Порой почти до хрипоты,
Она за жизнь свою боролась,
А не искала красоты.

Ей не впервой терпеть лишенья,
Изнемогать от маеты,
И чистота произношенья
Не след душевной чистоты.

И время быть ее допросу:
Ее свидетельская речь
Слышна сквозь снежные заносы
И может нас предостеречь

От легкомысленности песни,
От балагурства невпопад.
Мир до сих пор для сердца тесен
И тесен также для баллад.
<1956?>

454

Слова — плохие семена,
В них силы слишком мало,
Чтобы бесплодная страна
Тотчас же зацветала.

Но рядом с песней есть пример
Живого поведенья,
Что не вмещается в размер,
Не лезет в отступленье,

Тогда короче будет срок
До урожайной жатвы,
Чему никто помочь не мог
Молитвой или клятвой.

И можно выжить среди льда,
И быть других чудесней,
Но лишь тогда, тогда, тогда,
Когда и жизнь — как песня.
<1956>

455. В ЗАЩИТУ ФОРМАЛИЗМА

Не упрекай их в формализме,
В любви к уловкам ремесла.
Двояковыпуклая линза
Чудес немало принесла.

И их игрушечные стекла,
Ребячий тот калейдоскоп —
Соединял в одном бинокле
И телескоп, и микроскоп.

И их юродство — не уродство,
А только сердца прямота,
И на родство и на господство
Рассвирепевшая мечта.

Отлично знает вся отчизна,
Что ни один еще поэт
Не умирал от формализма —
Таких примеров вовсе нет.

То просто ветряная оспа
И струп болезни коревой.
Она не сдерживает роста:
Живым останется живой.

Зато другие есть примеры,
Примеры мщенья высших сил
Тем, кто без совести и веры
Чужому богу послужил.

Кто, пораженный немотою,
Хватался вдруг за пистолет,
Чтоб доказать, чего б он стоил,
Когда б он был еще поэт.

Тот, кто хотел на путь поэта
Себя вернуть в конце концов,
Бегун кровавой эстафеты
Известных русских мертвецов.

Но рассудительные боги
Не принимают смерть таких.
И им нужна не кровь двуногих,
А лишь с живою кровью стих...
<1956?>

456. СИНТАКСИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ

Немало надобно вниманья,
Чтобы постичь накоротке
Значенье знаков препинанья
В великом русском языке.

Любая птичка-невеличка
Умела истово, впопад
Сажать привычные кавычки
Вокруг зазубренных цитат.

И нас сажали в одиночки,
И на местах, почти пустых,
Нас заставляли ставить точки
Взамен наивных запятых.

И, не моргнув подбитым глазом,
Не веря дедам и отцам,
Мы рвали слог короткой фразой
По европейским образцам.

Как ни чужда такая форма
Судьбе родного языка,
В нее влюбились непритворно
И вознесли за облака.

Бедна, должно быть, наша вера
Иль просто память коротка,
Когда флоберовская мера
Нам оказалась велика.

Тогда слова дышали в строчке
Запасом воздуха в груди,
Тогда естественная точка
Нас ожидала впереди.

И был период двухсотлетний,
Когда периодов длину
Любили вовсе не за сплетни,
За чувств и мыслей глубину.

Но страстный слог витиеватый
Давно уж нам не по нутру,
Слова пророков бесноватых
Давно мы предали костру.

Скучна, скучна нам речь Толстого,
Где двоеточий и не счесть,
Где позади любого слова
Знак препинанья может влезть.

Любой из нас был слишком робок,
Чтоб повести такую речь,
Где, обойдясь совсем без скобок,
Он мог бы всех предостеречь,

Чтобы в российской речи топкой
Не поскользнуться, не упасть,
Не очутиться бы за скобкой,
Под двоеточье не попасть.

Ехидно сеющий сомненья
Знак вопросительный таков,
Что вызывает размышленья
У мудрецов и дураков.

Зато в обилье восклицаний
Вся наша доблесть, наша честь.
Мы не заслужим порицаний
За восклицательную лесть.

И вот без страха и сомненья
Мы возвели глаза горе
И заменили разъясненья
Многозначительным тире.

По указующему знаку
Императивного перста
Мы повели слова в атаку,
И это было неспроста.

Нам лишь бы думать покороче,
Нам лишь бы в святочный рассказ
Не высыпались многоточья
На полдороге наших фраз.

А что касается подтекста
И лицемерных прочих штук,
То мы от них пускались в бегство,
Теряя перышки из рук.

А как же быть в двадцатом веке
С архивной «точкой с запятой»?
Ведь не найдется человека,
Кому она не «звук пустой».

Ведь дидактическая проза
Не любит «точки с запятой»,
Ею заученная поза
Всегда кичится простотой,

Той простотой, что, как известно,
Бывает хуже воровства,
Что оскопила даже песню
Во имя дружбы и родства.

И ни к чему ей философский,
Живущий двойственностью знак,
И в современный слог московский
Нам не ввести его никак…

Литературного сознанья
Осуществленный идеал
Находит в знаках препинанья
Консервативный материал.
<1956>

457

Любой бы кинулся в Гомеры
Или в шекспирово родство,
Но там не выручат размеры
И не поможет мастерство.

За лиру платят чистой кровью,
И, задыхаясь в хрипоте,
Гомеры жертвуют здоровьем
В своем служении мечте.

Они, как жизнь, всегда слепые
И сочиняют наугад,
Ведя сказания любые
Без поощрений и наград.

И разве зренье — поощренье,
Когда открылся горний мир?
Когда вселенная в движеньи
На струнах этих старых лир?

Высокопарность этой фразы
Гомерам нашим не под стать —
Им ни единого алмаза
Из темной шахты не достать.

Алмазы там еще не блещут,
Не излучают лунный свет,
И кайла попусту скрежещут,
Не добиваются побед.

Дрожит рука, немеет тело,
И кровь колотится в виски,
Когда старательское дело
Готово вылиться в стихи.

И побегут слова навстречу,
И отогнать их не успеть,
И надо многих искалечить,
Чтобы одно заставить петь.

И суть не в том, что наш старатель
С лотком поэзии в руках —
Обыкновенный обыватель
И только служит в горняках.

В руках-то он не может разве
Лоток как следует держать?
Он просто золота от грязи
Не научился отличать.

Ведь это просто неуместно,
Недопустимо наконец,
Когда лирическую песню
Нам о любви поет скопец.

И разве это не нелепость,
Что приглашаются юнцы
Вести тетрадь с названьем «Эпос»,
Где пишут только мудрецы.
<1956?>

458

Мне жизнь с лицом ее подвижным
Бывает больше дорога,
Чем косность речи этой книжной,
Ее бумажная пурга.

И я гляжу в черты живые
Издалека, издалека.
Глухие дали снеговые
Меня лишили языка.

Я из семейства теплокровных,
Я не амфибия, не гад,
Мои рефлексы — безусловны,
Когда меня уводят в ад.

Ни вдохновительный звоночек,
Ни лицемерный метроном
Не извлекут слюны из строчек,
Привыкших думать о живом.
<1956?>

459. МАРТ

То притворится январем,
Звеня, шурша, хрустя,
И льдом заклеивает дом,
Нисколько не шутя.

То он в обличье февраля,
Закутанный в пургу,
Свистя, выходит на поля,
И вся земля в снегу.

То вдруг зазвякает капель
Среди коньков и лыж,
Как будто падает апрель,
Соскальзывая с крыш.

Нет, нам не открывает карт
Игра календаря.
Таким ли здесь встречала март
Московская заря?
<1956>

460

Я падаю — канатоходец,
С небес сорвавшийся циркач,
Безвестный публике уродец,
Уже не сдерживая плач.

Но смерть на сцене — случай редкий,
Меня спасет и оттолкнет
Предохранительная сетка
Меридианов и широт.

И до земли не доставая
И твердо веря в чудеса,

Моя судьба, еще живая,
Взлетает снова в небеса.
<1956?>

461

Она никогда не случайна —
Речная полночная речь.
Тебе доверяется тайна,
Которую надо сберечь.

Укрыть ее в склепе бумажном,
В рассказы, заметки, стихи,
Хранящие тайну отважно
До самой последней строки.

Но это еще не открытье,
Оно драгоценно тогда,
Когда им взрывают событья,
Как вешняя злая вода.

Когда из-под льда, из-под спуда,
Меняя рельеф берегов,
Вода набегает, как чудо
Расплавленных солнцем снегов.
1956

462

Кто верит правде горных далей,
Уже укрывшихся во мгле,
Он видит были до деталей
В увеличительном стекле.

И в смертных датах, в грустных числах
Сквозь камень, будто сквозь стекло,
Он ищет хоть бы каплю смысла,
Каким оправдывалось зло.

И щеголяет отщепенством,
Прикрыв полою пиджака
Тетрадку, где с таким блаженством
Его свирепствует тоска.
<1956>

463

Зачем я рвал меридианы?
К какой стремился широте?
Тесны полуночные страны
Окрепшей в холоде мечте.

Я снова здесь. Но нет охоты
Тому, кто видел горный край,
Считать московские долготы
За чье-то счастье, чей-то рай...
<1956>

464

От солнца рукою глаза затеня,
Седые поэты читают меня.

Ну что же — теперь отступать невозможно.
Я строки, как струны, настроил тревожно.

И тонут в лирическом грозном потоке,
И тянут на дно эти темные строки.

И, кажется, не было сердцу милей
Сожженных моих кораблей...
<1956>

СТИХОТВОРЕНИЯ 1940–1956 гг., НЕ ВОШЕДШИЕ В «КОЛЫМСКИЕ ТЕТРАДИ»

465

Модница ты, модница,
Где ты теперь?
Как живется, ходится,
Гуляется тебе?

По волнам бегущая
Через все моря,
Любимая, лучшая,
Милая моя.

В море ли, на острове,
В горе ли, в беде —
Платья твои пестрые
Видятся везде.

Следом горностаевым
Прыгаешь в снегах,
Со снежинкой, тающей
На сухих губах.

Брезгуя столицами,
В летнюю грозу
Скачешь синей птицею
На ветвях в лесу.

И на перьях радуга,
И в глазах слеза...
Повидаться надо бы
До́нельзя! — Нельзя.

<Ок. 1940>

466

Кусты у каменной стены
Крошат листву передо мною,
И камни дна раскалены
И пышут банным душным зноем.

Стоят сожженные цветы
Под раскаленным небосводом
И ждут, чтоб наклонился ты
И вырвал их и бросил в воду.

Или унес к себе домой
От этой жаркой, твердой тверди,
Чтоб их не мучил больше зной,
Хоть за минуту перед смертью.

Чтоб там, в стакан вместясь с трудом,
Зашевелили лепестками
И робко в комнате потом
Тебя глазами бы искали.

И этот благодарный взгляд
Тебе бы был всего дороже,
Всех славословий и наград,
И жизни всей дороже тоже.
1949

467. МОТИВ

К охотникам я нынче позван в гости,
И черный мозг медвежьей кости
Со свистом высосал и пальцы облизал
И слово благодарное сказал.

Я объяснил, что горный бог велик.
На свете нет ни радио, ни книг.
И песню я веселую сложил
О самом главном: том, что сыт и жив.
<1949>

468

Свечу я зажег, и как будто бы стало теплее
В холодной каморке, в чужом неуютном углу,
Где даже подумать о счастье я вовсе не смею,
И нету ни силы, ни места добру и теплу.

Свечу я зажег — на стене заворочались тени
От пальцев моих, от тревожно раскинутых рук.
И кажется, будто огромное бьется растенье
В попытке избавиться от иссушающих мук.

И горе, горящее в сердце, меня заставляет
Беззвучно рыдать, содрогаясь на этом огне,
И стиснуты зубы, и страха я вовсе не знаю,
Но тяжко, болезненно тяжко приходится мне.
<1951>

469

Опять тюремщица-луна,
Шатаясь, бродит у окна,
Ключи свои теряя.

И кажется, она одна
И знает, где моя страна,
В конце какого края,

Где шел моей неволи след,
Сходился клином белый свет
Почти в воротах рая.
<1951>

470

Цветок сорвет убийца,
Расправит лепесток —
Ничем не оскорбится
Заплаканный цветок.

Но тихо холодея,
Усталый сморщит рот

И, пальцами злодея
Раздавленный, умрет.
1951

471–472. МЕТЕЛЬ

1

О, Богоматерь Снежная,
Душа моей метели,
Бегущая в валежинах,
В лесах оледенелых.

Судьбы моей, забросанной
Бумажными клочками,
В глаза смотрящей грозными
Бездонными зрачками.

2

Уже в предсмертную, нательную
Рубаху чистую мою
Одет погодою метельною,
Как полагается в раю.

И все кругом умрут от зависти,
Когда протянет руки мне
Великорусская красавица
В некрасовском каком-то сне.

Я постигаю все конечное
И на колени я встаю,
Целую платье подвенечное
И клятву брачную даю.

А по земле еще волочится,
Трепещет кружевная шаль,
И спать еще не очень хочется
И жизни еще очень жаль.
<1952>

473

Наступающим маем
Истончились снега.
И олени снимают
Свои ветви-рога.

Но деревья не станут
Подражать им ни в чем,
Раздвигая туманы
Деревянным плечом.

Они вытянут ветки,
Разожмут кулаки,
И потомки, и предки
Все гибки и крепки.

Хвою, словно перчатки,
Надевают леса,
Клейки листьев зачатки,
И шумят небеса.
<1952>

474

Я к той сосне приду во сне,
Все расскажу, как другу,
Мы оба верили весне.
Пережидая вьюгу.

Вложу я пальцы в старый след,
В рубцы ее страданий,
В заметы месяцев и лет
Напрасных ожиданий.

Она растенье, и нема,
А я молчать не в силах.
Сейчас весна, а та зима
Не плачет о могилах.
<1952>

475. В МУЗЕЕ МАГАДАНА

С почтеньем истинным глядим,
В руке зажав билеты,
Как все же памятливы льды
И как бессильно лето.

Когда не солнечным лучом,
А взрывом аммонала
Достали мамонта плечо,
Истории начало.

И в банку запертый тритон,
Что найден в это лето,
Под грузом в миллионы тонн
Прожил тысячелетья.

И даже лиственницы срез,
Таежная порода,
В нас возбуждает интерес
Не меньше лесоводов.

Как счесть пески, лучи планет,
Года деревьев древних,
Когда им взрослым — триста лет
Или пятьсот, наверно...

К тому же ствол верчён, кручён.
Весь век в погоне прожит
За тем живительным лучом,
Что был всего дороже.

Деревья, руки оголив,
За солнцем тело тянут.
Их тело — не простой мотив,
А деревянный танец.

<1952>

476

Мы — лоцманы большой реки,
Меняющей фарватер,
Где разнесет корабль в куски
Водою бесноватой.

Кипенье пенных пузырьков,
Глубинные приметы
Измерим точностью стихов,
На то мы и поэты.

И там, где камень лижет дно,
Живот взрезает барке,
Мы повторяем вам одно
Настойчиво и жарко:

С рекою пенной не шути,
Приобрети привычку
Глядеть, как машут на пути
Бумажные странички.
<1952>

477

Чувствительные дети
Способны на жестокость
И им на белом свете
Скитаться тяжело.

Героев Руставели,
Бродящих по Востоку,
От самой колыбели
Подстерегает зло.

И льются градом слезы
На меч, покрытый кровью,
Полярные морозы
Не заморозят их.

И крепость нашей дружбы
Испытана любовью,
И у любви на службе
Бывает только миг.

Любовь, поймав мгновенье,
Забудет побратима,
Сердечному вслепую
Отдавшись до конца.

Добра и зла мирского
Ее проносят мимо
Чудесною иконой
Горящего лица.

Шагаем в крестном ходе
Без дружбы, без объятий,
В неистребимом роде
Живых людских страстей.

И каркают вороны
Досужие проклятья
В ответ на наши стоны,
В ответ на хруст костей.
<1953>

478

Перед засухой-бедой
Я полью тебя водой,
Не желая и не ждя
Капель здешнего дождя.

Я дышу возле тебя,
Беспокоясь и любя,
Ибо вместе я и ты
Претерпели все тщеты.

Я живу теперь, как ты,
Газом углекислоты.
И, как ты, раскрывши рот,
Задыхаю кислород.

Ты цветок и я цветок.
Кто из нас кому помог?
Как определит знаток,
Кто из нас с тобой цветок?
<1953>

479

Я руку протянул пилоту,
И белый шарик полетел

Ища путей для перелета
Через водораздел.

И без вещей, без слез, как нищий,
Беззвучно кашляя в платок,
Я покидал свое кладбище,
Как воскрешенный бог.

Летел я будто бог — на крыльях,
Все набирая высоту,
И удивительным усильем
Разрушил немоту.

И как ни зла, ни безобразна
Покинутая мной тайга,
Она была как протоплазма
Зародыша стиха.
<1953>

480

Зачем же, вовсе не святой,
Пою псалмы, шепчу молитвы?
Зачем же я живой водой
Кроплю погибших в этой битве?

И тяжек бедному уму
Секрет, известный даже детям.
Я только раб, и потому
Меня возвысит добродетель.
<1953>

481

Мыслями этими грустными
Скрыто заветное, веское.
Блаженны неузнанные,
Ибо тех есть царство небесное.

Счастливые, несчастливые,
С изорванными нервами,
Блаженны нетерпеливые,
Ибо они умирают первыми.

И шкура их, как мозаика,
Пеллагра шагреневой кожи.
Блаженны прозаики,
Ибо они не узрели тебя, боже.
<1953>

482

Загостившаяся совесть
Возвращается домой,
Вот ее простая повесть,
Повесть о себе самой.

Где она пила и ела,
Где любила и спала?
Отчего все мышцы тела
Ноют около тепла?

Все поступки, все уступки
Равнодушны и легки,
И метель свивает в трубки
Старые черновики.

Жить бы мне с холодной кровью,
Рыбой прыгать над волной,
Охраняющей здоровье
Золотой водой речной.

Впрочем, быть не стоит рыбой,
Слишком блещет чешуя,
Лучше уж гранитной глыбой,
Минералом буду я.

Лучше буду камнем гулким
На торцовой мостовой,
На прогулке в переулке
По Москве и под Москвой.
<1954>

483

Зелень пьет лучи все лето,
Но лишь к августу она

Этим желтым солнца светом
Досыта напоена.

Эти солнечные краски
Лучшего из всех светил
Зелень пьет, наверно, с Пасхи,
Насыщаясь что есть сил.
<1954>

484

Весь гербарий моей страны
На ладонях лежит тишины.

Все лишайники, корни, мхи,
Не записанные в стихи.

Из раскрытых чашек цветов
Я напиться воды готов.

Здесь не властны ничьи снега.
Здесь рассыпаны жемчуга.

Рассыпает моя роса
Незатейливые чудеса.
<1954>

485

Сгибающая стебель тяжесть,
Сгибающая шею тяжесть,
Клонящая цветок к земле.

Свинцовые крупинки снега,
Разгоряченные от бега,
Мечтающие о тепле.
<1954>

486

Мне нужен мост бумажный
И спичек коробок,
Чтоб за собой отважно
Тот мост поджечь я мог.

Мне нужен мост бумажный
С земли на облака,
По ним походкой важной
Прошла б моя строка.

Последним пешеходом
Прошел я через мост
В дождливую погоду,
Не видя вовсе звезд.
<1954>

487

Там, где мысль окоченела
На сухом ветру,
Обратив живое тело
В незамерзший труп,

Там апостольской наградой
Будет злая быль,
Заполярных водопадов
Ледяная пыль.

Там как статуи литые
Встанут навсегда
Наши новые святые,
Мученики льда.
<1954>

488

Христос не вносит примиренья
В явленье Страшного суда,
И Микеланджело сомнения
В нас укрепились навсегда,

Что если нет ни зла, ни ада,
И нет ни рая, ни добра,
Что нам не это вовсе надо
Держать на кончике пера.
<1954>

489

Познанье зла — еще не зло.
Но страшно тут другое:
Когда душевное тепло,
Раздетое, нагое,

Отныне не имеет сил,
Чтоб заживо добраться
До исцеляющих могил,
До этих кладбищ братских.

Жизнь до отчаянья проста,
И вот, к тебе приблизясь,
Вложит и в душу, и в уста
Звериный катехизис.

И так легко, легко шагнуть
В объятия убийцы,
Вдохнуть в себя всю эту муть
И в ней же раствориться.

Топтать и властвовать, губя,
А после бить поклоны
И гордо чувствовать себя
Поборником закона.

И все, что видится вокруг,
Все кажется причудой,
Такой, что исцеляет вдруг
Сердца, что ждали чуда.

Но чуда нет, а есть лишь ложь
И корысть человечья,
И ржавчиной предсмертный нож
Грозит при каждой встрече.

Ты будешь тем, кто среди скал
Один среди немногих
Беду по имени назвал
И не ушел с дороги.

Но если ты в душе найдешь
Бывалых сил остаток

И грудью встретишь эту ложь
С отчаяньем солдата

Каких-то армий юных дней,
Знамен непобедимых,
Каких-то дорогих теней,
До ярости любимых...
<1954>

490

Смородинные четки
В ладонях мнут кусты.
Деревья — как решетки
Церковной темноты.

Здесь все — в любом знаменье,
Какое захочу,
Здесь преувеличенье
Любое по плечу.

И в этом всем отчасти
Участвует и ночь,
Как я, молчит от счастья
И не уходит прочь.
<1954>

491

Похолодеет вдруг рука,
И кровь с лица мгновенно схлынет,
И смертная дохнет тоска
Тяжелой горечью полыни.

Я умолкаю. Я клянусь,
Беззвучно шевеля губами,
Что я еще сюда вернусь,
Еще вернусь сюда — за вами!
1954

492

И не так уж это странно,
То, что счастье — спазмы боли,
Разбереженная рана,
Пересыпанная солью.

Кровь коричневою краской
Запеклась, чтоб было ясно,
Что прикрыта струпом сказка
В этой жизни не напрасно.
<1954>

493. КУПЕЛЬ

Ледяная вода Кадыкчана,
Дусканьи снеговая вода,
Ты — подобье крестильного чана
В кипятке разведенного льда.

Обожгу свою взрослую кожу,
Душу выверну начисто я,
На купель ледяную похожа
Обжигающая полынья.

Две души у тебя, два начала,
Кипяток или фирновый лед,
Их слиянье купель заказала,
Захрипел захлебнувшийся рот.

И заходится начисто сердце,
Отдышаться никак не дает
При попытке крестить иноверца,
Зажимая и нос, и рот.

Та купель — это род водоема
Или просто крестильный сосуд,
Тот, в котором крестили и дома
В подготовке на Страшный суд.
<1954>

494

Застарелого порока
Свойство вовсе ни к нему —
Корчить сызнова пророка,
Посетившего тюрьму.

Он хотел бы быть счастливым
Под родительской луной,
Не дышать, как юродивый
Или тяжелобольной.

Под дождем весной растущим
Не по дням, а по часам.
Точно юность — всемогущим
И подвластным чудесам.

Снега мартовская сырость.
Робкая голубизна.
Это мне костюм на вырост
Шьет прилежная весна.

Только мы не лыком шиты
И желаем быть, как все,
И щиты снегозащиты
Расставляем вдоль шоссе.
<1954>

495

Поблескивает озеро,
Качается вода,
И ветер ходит козырем
Перед приходом льда.

На миг тот лед появится
И скроется опять, —
Капризнице-красавице
Повадками под стать.

Ползет каймой хрустальною
По заберегам лед,
Пройдя дорогу дальнюю,
Лед очень устает.

Он был ледник медлительный,
Сползающий с горы,
Кидавший в трепет жителей
Далекой той поры.

Хребты и плоскогория
Географам лепил,
И мерили историю
Движеньем этих сил.

Он жил, как князь владетельный,
Хозяин тех времен,
О них живых свидетелей
Не оставляет он.
<1954>

496

Хорошо бы две странички
До прихода электрички
Дописать,

Если б строчки пригодились,
На меня б не рассердились
Небеса.
<1954>

497

Отощавшая скотина,
Блудословя и резвясь,
Опускается в долину,
Переплескивая грязь.

Небеса вгоняя в краску,
Обнажается земля,
Воскрешенные на Пасху
Поднимаются поля.

Полусонная телега
Заскрипела наконец.
Недососанного снега
На опушке леденец.
<1954?>

498

Озерная вода прозрачней, чем глаза,
И заглянуть на дно не страшно и не горько,
И если щеки мне щекочет здесь слеза,
То только потому, что горек дым махорки.

И ивовых кустов, сплетенных крепче кос,
Касаться я могу своей рукой усталой,
Лекарством пахнет лес, лекарством — сенокос,
И лесу грусть моя и вовсе не пристала.
<1954>

499

Клен, на забор облокотясь,
Внимая ветру, свисту,
Бесшумно сбрасывает в грязь
Изношенные листья.

И если чудом в тот четверг
Весна бы возвратилась,
Клен безусловно бы отверг
Мучительную милость.
<1954?>

500. ПЕГАС

Остановит лошадь конный,
Дрогнет ветхое крыльцо,
Исказит стекло балкона
Отраженное лицо.

И протянет всадник руки
Прямо к ржавому замку,
Конь шарахнется в испуге,
Брошен повод на луку.

Вслед за солнцем незакатным
Он поскачет все вперед,
Он по мостикам накатным
Перейдет водоворот.

Ради жизни, ради слова,
Ради рыб, зверей, людей,
Ради кровью налитого
Глаза лошади своей.

1954

501

Не в пролитом море чернил
Мы ищем залоги успеха —
Мы ищем, что мир схоронил,
Себе схоронил на потеху.

Что он от других уберег,
Таких же строителей жадных,
Умеющих кайлами строк
Врубаться в словарь беспощадно.

Но золото скрыто на дно,
И эту тяжелую тайну
Записывать нам суждено
Воистину только случайно.

Случайно руда найдена,
Хотя полноценна и щедра,
И будто до самого дна
Земли открываются недра.

И можно порвать черновик
И легкой походкою зверя
Уйти от могущества книг,
В могущество леса поверя.

1954

502

Ощутил в душе и теле
Первый раз за много лет
Тишину после метели,
Равномерный звездный свет.

Если б пожелали маги
До конца творить добро,

Принесли бы мне бумаги,
Спички. Свечку. И перо.
1954

503

Поезда влетают в горы,
Задыхаясь на бегу,
Открывая семафоры,
Открывая дверь в тайгу.

И в вагоне арестантском
Мимо волчьего жилья,
Мимо лебединых станций
Пролетает боль моя.

И блестят штыки конвоя,
Задевая ту звезду,
Что, вися над головою,
Отражается на льду.
<1954>

504

Весь лес так прозрачен, как сеть птицелова,
Он сам, как ловушка для робких дроздов,
Что кружатся здесь над скамейкой садовой,
И каждый довериться лесу готов.

Березы стоят, уцепясь за скамейку,
Не смеют ни слова еще прошептать,
Повадки так робки, ладошки так клейки,
Но ясно, что жить им — одна благодать.

Им надо бы всыпать березовой каши
За этот побег непослушных ребят,
Пока свое платье береза-мамаша
Меняла на свежий, на майский наряд.

Но время пройдет и поднимутся крошки,
Прославят березку на сотни ладов,
Как ту, что когда-то росла на обложке
Есенинских книжек двадцатых годов.
<1954>

505

Здесь вокруг моей смертной постели,
Потихоньку пробравшись в сад,
Все дожди мои, все метели,
Непогоды мои стоят.

Хоть бы малый клочок тот синий,
Тот небесный заветный клочок,
Лег сквозь сеть телеграфных линий
На расширенный мой зрачок.

Чтоб вобрав в себя на прощанье
Ненаглядную синеву,
Я бы дал от души обещанье
Не являться вовек наяву.
<1954>

506

Детский страх в тот миг короткий,
Расширяющий зрачки,
Принимает парус лодки
За акульи плавники.

Я бегу от этой сказки
Надвигающейся мглы
К материнской грубой ласке
В безопасные углы.

На печурку, на полати
Прячусь, все еще живой,
В потолок моей кровати
Упираюсь головой.
1955

507

Вот час. Он строже всех
Других часов на свете,
Конец путей и вех,
Он держится в секрете

Врачами и тобой,
Ты в заговоре с ними,
Но над моей судьбой
Твое не властно имя.

И не тебе суметь
В обрядах воскресенья
Прогнать немую смерть
Безумием виденья.

И в этот строгий час
Я не тебе доверю
Принять тяжелых глаз
Угрюмый взгляд последний.
<1955>

508

Так жадно дышит синевой,
Забыв о прошлой боли
И к небу тянется травой
Непаханое поле.

И до моих страстей и мук
Кому какое дело?
Свобода здесь — из первых рук
И юность — без предела.

Я растворю мои слова
В угаре той сирени,
Что, как и я, еще жива
После столпотворенья.

Заботы завтрашнего дня
Настойчивой рукою
Сейчас касаются меня
Не больше, чем левкои.
<1955>

509

Я ночевать боюсь в лесу
В присутствии весны,

Там ветви держат на весу
Убийственные сны.

Пусть лес еще и сыр, и гол,
И зяблик не поет,
Но тонкий нежный запах смол
Дышать мне не дает.

И запах громок, будто крик,
Я оглушен весной.
Таежных запахов язык
Давно усвоен мной.
<1955?>

510

Рассвет выходит на работу,
Чтоб, никого не разбудя,
Тереть железные ворота
Сырыми щетками дождя.

И дождь ползет, как мокрый бредень,
По улице, как по реке,
А утро двигается следом
С зажженной лампою в руке.

И, укрепив её повыше,
Пока туманно и темно,
Обсушит солнце нашу крышу
И заблестевшее окно.

И я присутствую при этом, —
Забыв несмятую кровать,
В дверях столкнулся я с рассветом
И помогаю солнцу встать.
<1955>

511

Кто мы? Служители созвучья,
Бродячей рифмы пастухи?
Для нас и жизнь лишь только случай
Покрепче выстроить стихи.

Чтоб облако — овечье стадо —
Паслось покорно на глазах,
Чтоб не могло сломать ограду
И скрыться где-нибудь в лесах.

И что мне ветер? Что погода?
И то, что буря так близка,
Когда спустились с небосвода
Почти ручные облака.
<1955>

512

Избушка крыта финской стружкой,
Блестит, как рыбья чешуя,
В избушке той — моя подружка,
Моя подружка — жизнь моя.

Она по физики законам
На смерть давно обречена,
Затем и в мире заоконном
Не появляется она.

Она полна того пристрастья,
Какое силу ей дает
Несчастье ощутить как счастье
В ненастье, когда дождик льет.
<1955>

513

Вся жизнь полна твоих уловок,
Подобострастья и страстей,
Твоих своячениц, золовок,
Твоих непрошенных гостей.

Бросалась под ноги решеньям,
Играя поводом коня,
Противоборствуя свершеньям
И ночью, и при свете дня.

И это вовсе не кокетство,
Не испытание любви,

А лишь испытанное средство,
Что у тебя живет в крови.
<1955>

514. АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН

Дворец мне построил отец — по-петровски,
Прославленный мой равелин.
И в каменной яме приказом отцовским
К намыленной петле меня привели.

Моя старина и страна — на столетья
Была еще трону страшна.
Та кротость Руси через все лихолетья,
Родная моя сторона. <...>
<1955>

515

Мы родине служим по-своему каждый,
И долг этот наш так похож иногда
На странное чувство арктической жажды,
На сухость во рту среди снега и льда...
<1955>

516

Я тоже хотел бы сказать свое слово
Простым, о, конечно, простым языком.
Я тоже хочу рассказать про оковы,
Но только — попозже, но только — тайком.
<1955>

517

Пощады не прошу,
Пускай ее не будет.
Я богу напишу
О том, что видят люди.
<1955>

518

Доводили меня снегами
И лишали меня огня,
И топтали меня сапогами,
Даже душу мою леденя.

Кто же может забыть такое,
Кто забудет про жизнь свою.
Нет покоя мне, нет покоя,
Нет конца моему житию.
<1955>

519

Почему для нищих духом,
Кто воистину блажен,
И земля ложится пухом
Камня мерзлого взамен.

И поверь, что губы туже
Мне не стянешь даже ты,
Расходившаяся стужа,
Наказание мечты.

Все крутом — земля и небо —
Затянулось белым льдом.
Мы у камня просим хлеба,
Позабыв родимый дом.

И костры сторожевые,
Языками шевеля,
Освещают нам впервые
Заповедные поля.
<1955>

520

О, Север — век и миг!
Ты — лучшая из книг,
И совести дневник —
Твой каменный язык.

О, сила мелочей
Стосуточных ночей,
Она меня спасла
От угнетенья зла.

Ты лучшей из наград
Явился, снежный ад,
Когда я в снегопад
Тащился наугад.

Удастся ли побег,
Когда безумен снег,
Когда в числе калек
И зверь, и человек.

Такой простец, как я —
Чтец книги Бытия,
Я — времени судья
В ознобе забытья.

<1955>

521. ПОЭЗИИ

Если сил не растрачу,
Если что-нибудь значу,
Это сила и воля — твоя.

В этом — песни значенье,
В этом — слов обличенье,
Немудреный секрет бытия.

Ты ведешь мою душу
Через море и сушу,
Средь растений, и птиц, и зверей.

Ты отводишь от пули,
Ты приводишь июли
Вместо вечных моих декабрей.

Ищешь верного броду,
Тащишь свежую воду
К моему пересохшему рту.

И с тобой обрученный,
И тобой облученный,
Не боясь, я иду в темноту.

И на небе — зарницы,
Точно перья жар-птицы
Неизвестных еще островов.

Это — мира границы,
Это — счастья крупицы,
Это — залежь сияющих слов.
1956

522. 40°

Хлебнувшие сонного зелья,
Давно улеглись в гамаки
И крепко в уснувшем ущелье
Крестовые спят пауки.

Журча, изменил выраженье
Ручья ослабевший басок,
И бабочки в изнеможенье
Ложатся плашмя на песок.

И с ними в одной же компаньи,
Балдея от банной жары,
Теряя остатки сознанья,
Прижались к земле комары.

И съежились желтенькой астры
Тряпичные лепестки.
Но льдины — куски алебастра,
Нетающие куски…

А я по таежной привычке
Смородинный корень курю
И чиркаю, чиркаю спички
И сам с собой говорю…
1956

523. ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС

Не в первый раз судьба нас сводит,
Не в первый раз в вечерний час
Друг к другу за руки подводит
И оставляет глаз на глаз.

Но мы выдергиваем руки
Из рук настойчивой судьбы,
Науки радостной разлуки
Мы оба верные рабы.

И я, и ты на речи рока
Не откликаемся затем,
Что нет еще числа и срока
Для наших песен и поэм.

Но, никого не искушая,
В последний час, в последний раз,
Все разрешая, все прощая,
Судьба соединяет нас.
1956

524

Подростком сюда затесался клен,
И сосен и елей моложе,
Чужой среди тонких латунных колонн,
Хотя и не краснокожий.

Ему тут не место. Ему не с руки,
Он сам заблудился в трех соснах.
И светят ему лишь одни светляки
И радуга фокусов росных.
1956

525. СОСНА В БОЛОТЕ

Бог наказал сосну за что-то
И сбросил со скалы,
Она обрушилась в болото
Среди холодной мглы.

Она, живая вполовину,
Едва сдержала вздох.
Ее затягивала тина,
Сырой багровый мох.

Она не смела распрямиться,
Вцепиться в щели скал,
А ветер — тот, что был убийцей,
Ей руку тихо жал.

Еще живую жал ей руку,
Хотел, чтобы она
Благодарила за науку,
Пока была видна.

1956

526

Кто ты? Руда, иль просто россыпь,
Иль самородок золотой,
Засевший в каменном откосе,
В болоте ставший на постой?

Ты в магазине ювелирном,
Умело согнутый в кольцо,
Глядишь металлом слишком мирным
И прячешь прежнее лицо,

Что исцарапано камнями,
Искажено, загрязнено,
Пока лежало в мерзлой яме,
Засосанное на дно.

Когда на тусклом мертвом лике,
Едва отличном от камней,
Мерцают солнечные блики —
Ты даже камня холодней.

Но вот ты, наконец, отмыто,
Металлом желтым становясь,
Все камешки с тебя отбиты,
Земная вычищена грязь.

Ты замерцаешь желтым светом,
Тишайшим светом золотым,
Прохожим солнцем разогрето,
Сравниться хочешь с ним самим.
1956

527. УЩЕЛЬЕ

Когда в ущелье на мгновенье
В глазах любой речной волны
Мелькнет обрыва отраженье —
Реки движенья стеснены.

И, потемнев как бы от гнева,
Она ломает берега,
Крушит направо и налево
И в камне чувствует врага.

Река выходит из ущелья
Уже не прежнею рекой.
Она хрипит от возмущенья,
Не веря в счастье и покой.

И все забыто понемногу,
Кругом так зелены луга,
Так утешительно пологи
Ее родные берега.

Но о скале воспоминанье
Рекой навек сохранено —
В любую непогодь волнами
Со дна выносится оно.
<1956>

528

Ну, вот вам мой отчет:
По желтой корке льда,
По наледи течет
Багровая вода.

Бесшумные ручьи
Шныряют там и тут;

Они еще ничьи —
Причала не найдут.

И снег серей свинца
Валяется в лесу,
Он вроде леденца,
Я сам его сосу.

И лозы так красны,
Как будто бы во сне
Безмолвие весны
Понравилось весне.
<1956>

529

Еще в покое все земное,
Еще не вырвался гудок
В глухое царство ледяное
Медвежьих и людских берлог.

Пустуют синие дороги,
И небосвод отменно чист,
Висит перед глазами бога
Весь мир как ватмановский лист.

Еще без третьих измерений
Он весь как плоскость, как чертеж,
Предшествующий сотворенью,
На землю вовсе не похож.

Любое в нем чертою резкой
Себя граничит от других,
Он разноцветен, точно фреска,
В такой передгудочный миг.
1956

530

Но разве мертвым холодна
Постель, и разве есть
У нас какая-то вина,
Пятнающая честь.

Любой рассказ наш — сборник бед,
Оставленный в веках,
Как зыбкий слабый чей-то след
В глухих песках.

Чтоб чей-то опыт, чей-то знак
В пути мерцал,
Мерцал в пути, как некий флаг
Средь мертвых скал.
<1956>

531. СТАРИК

Морщинами и сединами
Любого тополя старей,
Он сам годится на орнамент
Игле якутских кустарей.

Он сам соперничать с фольклором,
С фольклором северным готов,
В замысловатые узоры
Вплестись готов без лишних слов.

Он не испортит впечатленья,
Босой, оборванный, худой.
Затем не стал добычей тленья,
Что поит мертвою водой.
<1956>

532. АЛХИМИК

Припоминая путь голгофский,
Очарованье крестных мук,
Он прячет камень философский
В облезлый бабушкин сундук.

В сундук с таким хрустальным звоном,
С такой мелодией замка,
Что сходна с человечьим стоном,
Когда безвыходна тоска.

А может, камень тот чудесный —
Простой булыжник иль гранит,

И ни одной звенящей песни
В себе он вовсе не хранит.

Нет, камень — ангельская книга,
Пускай печати изо льда, —
Мы не видали на булыге
Семи печатей никогда.
<1956>

533

Когда б я верил в эти дали,
В такую завязь бытия,
Где все, как я, крутом рыдали
Над тем же самым, что и я.

Но как пришедший из резерва
Наивный рекрут запасной,
Я был и здесь отнюдь не первый
С моей тоскою записной.

Что мне статистика подсчетов?
Все это — мельниц жернова.
Любые трут в муку заботы
И оскорбленные права.

Я цифрам смолоду не верю
И возмещения не жду
За невозвратную потерю
Снежинки крошечной на льду.
<1956>

534. ПЕСЧАНЫЙ ПУТЬ

Мы вышли в наш тягостный путь
В покорном угрюмом молчанье,
Мы рады в песке утонуть,
Запутаться в зыби песчаной.

Давно уже скрылся из глаз
Тот берег, откуда мы плыли,
Нам кажет дорогу компа́с
В столбах обжигающей пыли.

Мы завтра, быть может, умрем
В песке, точно в море утонем.
Мы бредим большим кораблем
И к небу вздымаем ладони.

И ветер смывает следы,
Следы заметает за нами,
Средь серой, песчаной воды,
Струящейся между камнями.

Погружен дырявый сапог
В сухую шуршащую воду,
И вьется поземка у ног,
И нету надежного броду.

Песчинки набились в глаза
И в кожу, и в тело, и в душу.
Чему же поможет слеза
Средь этой чудовищной суши?
<1956?>

535. ТОВАРИЩУ ПРИ ПОСЫЛКЕ СТИХОВ

Читай ее на ночь, украдкой,
Качая седой головой,
Измятую эту тетрадку,
Таежный дневник путевой.

Там — след и звериный, и птичий,
Там оттиск медвежьих когтей,
Пугливое косноязычье
Состарившихся детей.

Прости неразборчивость этих
На ощупь явившихся строк,
Когда-то ночами без света
Искавших надежных дорог.

Верти, у огня нагревая
Замерзшие эти листы,
Чтоб кровь проступала живая,
Как тайнопись нищеты.

Взгляни на пустые страницы,
Листы моего дневника, —
В них горе людское хранится,
Рожденное без языка.

На этих свободных страницах
Такой же написан рассказ,
Какого и жизнь-то боится
Пустить и сейчас напоказ.

Возьми же перо и чернила,
Товарищ в таежной глуши,
И все, что душа сохранила,
На эти страницы впиши.
<1956?>

536

Весенняя капель,
Которую морозы
Сдержали в тот апрель,
Как сдерживают слезы.

Печали не житье
В холодной мгле пещерной,
При замыслах ее
Сердечности безмерной.

Потоки странных строф,
Застенчивых, незрячих,
Сложенных у костров
Попеременку с плачем.
<1956>

537. ОЛЕНИЙ ВОДОПОЙ

Мне не надо в этой ночи
Фонарей, поводырей,
Путь, который всех короче,
Я узнаю от зверей.

Пусть меня толкает в спину
Осторожный ветерок

И ведет через долину,
Через каменный порог.

Я пройду тайгой слепою,
Я такой пройду тропой,
Где олени к водопою
Собираются толпой.

Разбегаются олени,
Чтобы мог напиться я,
Опустившись на колени
Возле горного ручья.

Жадно пью живую воду,
Ту, что, зубы леденя,
Все целебней год от году
Становилась для меня.

Пусть на той оленьей тропке
Откровеньем наших бед
Остается этот робкий,
Человечий легкий след.
<1956>

538. ТОСТ

Я сел за именинный стол
И веселился, глядя в пол.

Слегка качается вино,
Стакана закрывая дно.

Но что-то есть в чужом вине,
Что сковывает губы мне,

Как лед моих могил, чью честь
Я склонен песне предпочесть.
<1956>

539

Я — сам не свой и сам — не твой,
Ничей еще, быть может,

Дрожу, как лист перед травой,
Не унимая дрожи.

Не лучше ль губы закусить,
Перебороть волненье
Иль просто пулю попросить
Унять сердцебиенье.
1956

540

Мне трудно выйти к берегам
Того таежного болота,
Где ветви хлещут по ногам,
Где версты подлинно без счета.

Болота тайная игра
Причуды этой ночью зыбкой,
Где жизнь сегодня, как вчера,
Случайной кажется ошибкой.

Где острый скользкий ободок —
Багет трагической картины,
Но я плохой еще ходок,
Пути не сделал половины.

И нет запутанней путей,
Таких невольничьих миражей,
Что испугают и детей,
И угрожают взрослым даже.

Ведь кровь доподлинно течет
Сквозь неумелую повязку,
Но это, верно, не в зачет
На этой почве, слишком вязкой.

И оттого, что кровь — моя,
Я забываю про усталость
И отвечаю только я,
Чтоб прошлое не прекращалось.
1956

541

Я все приму — позор, безвестность,
Потерю дома и семьи,
Пускай спокойно спит окрестность
И видят сны друзья мои.

Другие — те и снов не видят,
Мои далекие друзья.
Кого они-то ненавидят,
Сам подскажу, быть может, я.

Но им дождаться нужно часа,
Дождаться страшного суда,
Трубенья ангельского гласа,
Чтобы они пришли сюда.

Чтоб добрались до той столицы,
Где не пускают на порог
Чертогов морга и больницы
И душу требуют в залог.
1956

542

Да разве это пустяки —
Надежды и обманы,
И чувства, взятые в лубки,
И струп старинной раны.

И только тот, в ком сила есть
Поверить снова в чудо,
Тот сбережет и стыд, и честь,
И будет жив, покуда

Он верит в прихоти судьбы,
В свое предназначенье,
И уступает без борьбы
Права на поученье.
1956

543

Мне нужды нет до мелочей,
Я — то, о чем молчать не вправе
Безмолвье северных ночей,
Не помышляющих о славе.

Я волен думать об одном —
О том, что знал и думал прежде,
Чем мы забыли о былом
В своей доверчивой надежде.

Я — доказательство тех сил,
Преодолевших силу тленья,
Что могут выйти из могил
При первом же землетрясенье.
1956

544

Утешенье поколений,
Незавидный их удел,
Это — память впечатлений,
Ощущений, а не дел.

Слог апостольских деяний,
Не прочтенных до конца,
Запоздалых излияний
Постаревшего юнца.

Это — ночь средневековья,
Что уселась с нами в ряд,
И хвалить ее здоровье
Нам по-прежнему велят.

Нам сраженье в одиночку
До могилы суждено,
Ибо жизнь, вступив на строчку,
Тащит всю строфу на дно.
1956

545

Нет, он сегодня не учитель
И, вероятно, не поэт.
Он скопидом и расточитель
Того, чего уж в мире нет.

Что называют откровеньем,
Что мы утратили давно,
То, что нам в детстве на мгновенье
Когда-то было вручено.

Что потеряли по дороге,
Едва вступив на крестный путь,
И что мы так просили бога
Нам обязательно вернуть.

И открываются шкатулки,
Грохочут крышки сундуков,
На площади и в переулки
Бросают вороха стихов,

Пока добычей святотатства
Не стало это колдовство,
Но меры нет его богатству
И не успеть раздать всего.

И на пол падают напрасно,
И вовсе некому поднять
Признаний исповедей страстных,
Его прозрений благодать.

И в слов бушующем потоке
Признанье искреннее есть.
Как мало жизнь вместила в строки,
Как много — не успело влезть.

В том, что бросают мимоходом,
Бывают лучшие слова,
И оттого-то с каждым годом
Густей седеет голова.

Тем не простят, кто взял на годы
Волшебный за́мок — под замо́к —

Все переводы, переводы,
Мильоны переводных строк.

Нет заклинаний, нет лекарства
От заполярной этой тьмы.
Как много в снежном нашем царстве
Глухой холодной белизны.

Та неестественная данность,
Грозя, волнуя и губя,
Могла всегда любую странность
Считать обидой для себя.

Он всем хотел бы поделиться,
Что жизнь скопила и нашла,
Когда б угрюмая столица
Так равнодушна не была.

Есть равнодушье дружбы нежной,
Есть равнодушие забот.
Ведь нам порой в метели снежной
Не выход важен, а исход.

И он раздергивает шторы,
Чтоб в полутемный кабинет
Могли войти леса и горы,
Распространяя горний свет.

Где формула давнишней власти?
Где местность, скрытая во мгле?
Пленительность, что слишком часто
Бывает пленной на земле.
<1956–1959>

546

Мне трудно, мне душно в часы листопада,
Колеса покрывшего до ступиц.
Не выбраться мне из шуршащего ада
Разметанных жарких страниц.

И нету проезда из желтого царства,
Из странного шороха листьев — туда,

Где все еще правит судьба и знахарство,
Колдуя над прорубью синего льда.
<1956>

547

Ведь я не лесник, не лесничий — вот именно,
Но в нашем простом подмосковном краю
Я каждое дерево знаю по имени
И вместе с деревьями песню пою.

Я наши ручьи называю лучьями
За то, что сверкают подобно лучу,
Я всех их считаю своими друзьями,
И словно ручей я ворчу и журчу.

Прислушайтесь к лесу: от щебета, шелеста
Деревья дрожат от вершин до подошв.
Вверху облака волокнисты и перисты
И где-то затих затаившийся дождь.
<1956?>

548

Береза черными ветвями
Стремится окна распахнуть,
Стучит в стекло, качает раму,
Пытаясь в спальню заглянуть.

Береза лезет в разговоры
Мои — с самим собой впотьмах,
Подслушанные эти споры
Запутались в ее ветвях.

Все заглушает шелест, лепет
Той разговорчивой листвы,
Которая приводит в трепет
Меня в преддверии Москвы.
<1954–1956?>

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

1

Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 3 (1952)

Когда пещер сырою плесенью
Накрыта в ливень голова
И при дожде всего чудеснее
В строку сплетаются слова

И не смущенные погодою,
На свет рождаются стихи
Живут, пренебрегая модою
В реку сливая ручейки

Они не хвастаются предками,
Им до потомков дела нет,
Они своей гранитной клеткою
Довольны будут много лет

Они со мною вместе выросли,
Крещенским снегом крещены
В морозной тьме, в болотной сырости,
И все же выжили они

Они, пробуженные птицами
Не соловьиных голосов
Кричат про то, что вечно снится им
В уюте камня и лесов

И мне простятся аналогии
Любым, кто знает жизнь мою
Почерпнутые в зоологии
И у рассудка на краю.

Л. 24 об.
3 Они родились в дни воскресные

63

Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 17 (1952); Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 53 (нач. 1960-х гг.)
3–4 Обух простого топора
Бессмертней кажется пера

8 Во всем значенье немоты

11 И в знак рассвета, в знак зари

Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 17
12 Я перстень богу подарил.

Оп. 1. Ед. хр. 5
12 Я перстень небу подарил

Те же вар. — ПТраубе

Ед. хр. 15. Л. 9 (1954)
11–12 [Я перстень тучами накрыл
На память богу подарил]
Его рассветом озарил
На память богу подарил
вм. 11–12 <?>
Нездешнее твое лицо
[Я вправил] в снежное кольцо,

Чтобы надеть тот перстень мог
На безымянный палец бог.

Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 24 об. (1956); ПинскийКТ
11–12 И исповедница тоска
Укрыла перстень в облака.
ПинскийКТ
после 12 И драгоценное кольцо
Я бросил ангелу в лицо.

83

Оп. 3. Ед. хр. 5. Л. 11 (1952)
Как Архимед ловящий на песке
Стремительную тень воображенья
Так я сейчас с карандашом в руке
Последнее черчу стихотворенье

Как Архимед я оттолкну солдат
Ворвавшихся в поэзию профанов
Минуте творческой минуте личной рад
Я напишу еще строку романа

Как Архимед не выроню пера
Не побоюсь и точно испытаю
[нрзб] маленький чертеж добра
Я жить его посмертно заставляю

Ед. хр. 8. Л. 31 об. (1952)

после 8 Как Архимед не выроню пера
И адрес напишу последнего конверта
Пусть стало нынче ближе чем вчера
То, что обычно называют смертью

ПТраубе (1954)

3 Так я сейчас на памятном листе

7 Минуте творчества, минуте жизни рад

после 8 Я знаю сам, что это — не игра,
Что это — смерть. Но даже жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю взволнованной тетради.

Оп. 2. Ед. хр. 103. Л. 18 (нач. 1960-х)

3 [Так я сейчас на памятном листе]
На смятом, на изорванном листке

Ед. хр. 84. Л. 31 об. (1960)

3–4 Углем черчу на тесаной доске
Последнее мое стихотворенье

вм. 5–8 Как Архимед, не отведу я глаз
От смутных строф решенья теоремы.
Минута жизни в мой последний час —
Еще строка слагаемой поэмы.

Я знаю сам, жестокая земля,
Что это — смерть, но самой жизни ради
Как Архимед, не выроню пера,
Не изрублю неструганной тетради.

Там же, др. ред., вошедшая в КТмаш

Я — Архимед, ловящий на песке
Стремительную тень воображенья,
На смятом, на изорванном листке
Последнее черчу стихотворенье.

Я — Архимед, не отведу я глаз
От смутных слов решенья теоремы.
Минута жизни в мой последний час —
Еще строка слагаемой поэмы.

Я знаю сам, что это не игра,
Что это — смерть. Но самой жизни ради

Я — Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развернутой тетради.

Копелев. Оп. 3. Ед. хр. 526. Л. 15 (1964)
вар. КТмаш, с заменой всюду Я — Архимед... *на* Как Архимед...

5–8
Как Архимед, я оттолкну солдат,
Ворвавшихся в поэзию профанов.
Минуте творчества, минуте жизни рад,
Я напишу еще строку романа.

10 (КТмаш) Что это смерть...[1] Но самой жизни ради

СлуцкийКТ, ПинскийКТ

Как Архимед, ловящий на песке
Стремительную тень воображенья,-
На смятом, на изорванном листке
Последнее черчу стихотворенье.

Как Архимед, я оттолкну солдат,
Ворвавшихся в поэзию профанов,
Минуте творчества, минуте жизни рад,
Я напишу еще строку романа.

Я знаю сам, что это не игра,
Но это — смерть... Но даже жизни ради,[2]
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развернутой тетради.

84

Ед. хр. 87. Л. 15 (1954)
загл. А. СЮИТА. I

вступление
Мне даже в детстве было жаль
В низины спрятанную даль
Болотного пожара.

А взрослому еще слышней
Тот шелест уходящих дней,
Листочков календарных.

Все ярче боль его замет,
Все безотвязней полубред
Его ночей угарных.

---

[1] Многоточие проставлено в машинописи чернилами.
[2] В *ПинскийКТ*: Но я и жизни ради

Обличье мира все грозней,
А боль, что делать нынче с ней?
Научные разгадки

Одну лишь кровь и смерть несут,
Чтобы явиться в Страшный Суд
В ужасном беспорядке.

Но от ковчеговых кают
Ракетопланы отстают
[Ракеты как-то][1]
Стремясь попасть на звезды,

Где каждый отыскать бы рад
На Бетельгейзе Арарат,
Пока еще не поздно.

Ед. хр. 10. Л. 67 (1954)
загл. СЮИТА А. ЧАСТЬ II

Бывает, чувства устают
Всего за несколько минут
При слабости малейшей.

Кто пережил войну и бой,
Остался ли самим собой
В своем пути дальнейшем?

Кого же не лишат ума
Побои, голод и тюрьма
И злая власть мороза <*оборвано*>

Ед. хр. 13. Л. 17 (1954)
загл. ДОЧЕРИ

Пройдет еще немного лет,
И мой заплатанный скелет
Твоим друзьям покажут.

И пальцы мне сведут в кулак,
Склепают ребра кое-как,
И, отодвинув стопку книг,
Любой в тот задушевный миг
Мое прошепчет имя...

---

[1] Вар. записан на полях.

93

Ед. хр. 87. Л. 48 (1954)

перед 1	[Как много здесь немых упреков [Прокушенных до крови губ] Поднятых рук, сведенных губ, Но у бессовестного рока Пощады просит только труп.]
после 4	[Он бессознательно уверен, Что перед небом не в долгу, Что там считают, весят, мерят И только там еще не лгут.]
5–6	А палец — он давно отрезан Но боль осталась, как фантом
8	[Мечта] Химера возвращенья в дом
после 8	[Глазной провал в лице бескровном, Как гробовой мирской пятак И сердце бьется так неровно, Биенью времени не в такт. Когда и так-то он не первый, Кто может небом пренебречь, Ища всему разгадку в нервах, Изрядно путающих речь.]
11	В свой стон [вобрав] сведя мольбы и пени

94

Оп. 3. Ед. хр 87. Л. 10 (1954)

загл.	[ПИСЬМО] ИЗ ДНЕВНИКА В моем, таком недавнем прошлом, На солнце камни раскаля, [Мои усталые подошвы] Палила жесткие подошвы [Поджаривала земля] Моя жестокая земля. [И я стонал в клещах мороза] Я задыхался от мороза, [Срывающего ногти мне] Что, ногти вырывая мне, [Рукой обламывая слезы]

Выдавливал немые слезы,
И это было не во сне.

[Где я в сравнениях избитых]
[Искал избитых правоту]
[Где самый день был средством пыток]
[Что применяются в аду]
И, ошалев от этих пыток,
Сосущий голод заглуша,
Я черный ледяной напиток,
Цедил из горного ключа.

Я пил, как зверь, лакая воду,
Мочил отросшие усы,
Я жил не месяцем, не годом,
[Я жить решался на часы]
Я заводился на часы.

И каждый вечер, в удивленьи,
Что до сих пор еще живой,
Я повторял стихотворенья,
[И снова слышал голос твой]
Чтоб снова слышать голос твой.

И я читал их, как молитвы,
И почитал живой водой,
Иконою, хранящей в битве,
И путевой моей звездой.

Они единственною связью
С иною жизнью были мне,
На небесах печатной вязью
В ночной горели вышине.

И средь магического хода
Сравнений, образов и слов
Взыскующая нас природа
[Кричала изо всех углов]
Толклась у письменных столов.

[Что отродясь не быв жестокой,
Успокоенью моему
Она еще назначит сроки,
Когда всю правду я пойму]

И я хвалил себя за память,
Что пронесла через года,

Сквозь снежную крутую заметь,
[Сквозь серый камень, снега заметь]
Сквозь горы <? нрзб> голубого льда.
[Колючие кристаллы льда]

Твое [спасительное] апостольское слово,
[Такой душевной чистоты,
Что даст опоры и основы
Для пошатнувшейся мечты]
Души кристальной чистоту,
Что мира выплетет основы,
Согреет мерзлую мечту.

И к жизни поднятый искусством
Твоих животворящих сил,
Я увидал, что это чувство
Я с целым миром разделил.

98

Ед. хр. 1. Л. 7 об.–8 (1953)

загл. СТРЕЛЬЦЫ (ПО СУРИКОВУ)

14–16
Что им отпущены грехи
Пускай ряды полков потешных
Грозят оружьем от реки

вм. 29–48
Замешаны на том же тесте
Поют раскольничьи стихи
Твердят слова любви и мести
И исповедуют грехи

На этих стареньких телегах
В скрипящей музыке осей
До райского доехать снега
Хотят на пятом колесе

Туда, к судейскому престолу
Где вы с царями наравне
Где вы бессмертия достойны
И незапятнаны вполне

Где вы, не мудрствуя лукаво
Но защищая честь и дом
Дождетесь безымянной славы
Перед отечества судом

Как руки вскинуты оглобли
Вздымающие мольбу
На небеса на месте Лобном
Переносящие судьбу

Ед. хр. 11. Л. 60 об.–61 об. (1954)

после 52
И меж кремлевскими зубцами,
Что ни зубец, то и стрелец,
Они качаются над нами,
Повешенные наконец.

99

Ед. хр. 1. Л. 18–18 об. (1953)

1-4
К терему подкатывают сани
Голубые блещут бердыши
Пассажирка в мире с небесами
Сеет деньги на помин души

13–16
Только девы-богородицыны взгляды
В сторону с досадой отводя
Ей таких, прощающих, не надо <обрыв>

25–28
Если нет мужицкого задора
Нет мужей, чтоб возглавляли рать
Вот пред вами женщина, которой
Боевой понравится наряд.

33–34
Не любовь, а бешеная ярость,
Вера в мщенье озаряет путь

после 36
И следы прокладывая многим
Голубые санные следы,
Уплывает ссыльная дорога
В отдаленный древний монастырь

Ледяные волосы седые
Ветром прочь откинуты со лба
[На глазах] Так вот и рождаются святые
Ненавидя жарче, чем любя.

после 36, вар. 2
Чтобы взор стал сладостен и кроток
Чтобы пыл немного поостыл
Заскрипят железные ворота
И глухой откроют монастырь

ПинскийКТ
после 36

Синий след теперь в снегу проложен,
Санный след отчетлив и глубок.
И другим, не примиренным с ложью,
Тот же путь указывает Бог.

132

Ед. хр. 8. Л. 40 (1951–1953)
17–28

И на ходу срывая платье,
Ты с ног сбиваешь, как волна,
И вырываясь из объятий,
Плывешь, скользка и холодна.

И я — бессилен, ты — сильна.
И вырываясь из объятий,
Вновь уплываешь, как волна,
Журча последние проклятья.

Мне плыть и плыть. Как тяжело.
Как далеко последний берег.
Он отодвинулся назло
Моим страданьям и потерям.

143

СлуцкийКТ. Л. 32–33 (1962)

Последний день, последний дом,
Где я умру без слез,
Где дверь, отклеенную льдом,
Приотворил мороз.

И внутрь ворвался белый пар
И пробежал к стене,
Улегся где-то возле нар
И лижет ноги мне.

Здесь черный пудель, адский дух,
В другой окрашен цвет:
Он бел, как лебединый пух,
Как новогодний дед.

В подсвечнике из кирпича
У жизни на краю
В углу оплывшая свеча
Качала тень мою.

И всем казалось — я живой,
Я буду есть и пить,
Я так качаю головой,
Что собираюсь жить.

Сказали утром, наконец,
Промерзлый хлеб деля,
Быть может, он уже мертвец,
Его возьмет земля.

Вбивают в камни аммонал:
Могилу рыть пора!
И содрогается запал
Бикфордова шнура.

И без одежды, без белья,
Ощупанный пургой,
Ложусь в могилу эту я,
Костлявый и нагой.

Не горсть земли, а горсть камней
Летит в мое лицо,
Больных ночей, тревожных дней
Смыкается кольцо.

153

Ед. хр. 10. Л. 34 об. (1954)

22–24 И в мечте о мачте корабельной
Чтобы вновь коснуться облаков
[В этот миг поистине смертельный]
А не в топке плавиться котельной

Ед. хр. 13. Л. 8–9 (1954)

загл [СРУБЛЕННЫЕ СОСНЫ] [НА ЛЕСОПОВАЛЕ]

В соснах мысли нет об увяданье
Блещет светлой бронзою кора
Тем мучительнее ожиданье
Первого удара топора

Берегли от вора, от пожара,
От червей коварных берегли
Ветер сказки нашептал недаром
В уши перепуганной земли

Дескать, соснам славная дорога
Лечь в квадраты первого венца

Это — доля лучшая у бога
Редкостная участь мертвеца

Сосны в ряд укладывают ровно
Подкатив к разрушенной скале
Пахнут медом будущие бревна
Бывшие деревья на земле

Как бесславен этот промежуток
Это та ступень небытия
Когда жизни стало не до шуток
Когда шкура ближе всех — своя

Если все живое лишь игрушка
Только повод в сказке для детей
Если гусь заквакал, как лягушка
Если мышь поет, как соловей

[Стонут сосны стоном человечьим
Стонут, плачут, навзничь упадут
[Начинается лесной повал]
И отрубленные сучья-плечи
[Отгорев, как свадебные <свечи>]
Никогда уже не прирастут]

Значит могут стоном человечьим
Точно в сказке сосны застонать
Значит их отрубленные плечи
Сучьями не будут называть.

Мертвецы товаром корабельным
Ждут желанного покупщика
Точно ладан пахнет можжевельник
Точно росы — слезы на щеках

Огниво

5-8, 13-16 *отсутствуют*

17-20
Мышцы полны силою тяжелой,
Кровь еще текуча и светла,
Крепок сок, еще целебны смолы
Срубленного, павшего ствола.

195

Ед. хр. 91. Л. 22-22 об. (1955)

Ты пришел сюда за троном —
Сесть на трон моих отцов.

Ты спешил почтить поклоном
Неостывших мертвецов.

Ты в последнее явленье
Пьесы ввел свои войска,
Создавая затрудненье
Для финального стиха.

Без таких военных акций
Обойдется наш спектакль,
Мы найдем других редакций
Черновой последний акт.

Все, что сказано на сцене,
Было сказано уже,
Не тебе прибавить цену
Линиям на чертеже.

Снова слышен шелест шелка
Занавески золотой,
Света лунного осколки
В темной комнате пустой.

И стоит немой и бледный,
И не может Фортинбрас
От загадочной передней
Оторвать бесстыжих глаз.

263

Ед. хр. 10. Л. 83 (1954)
черновой набросок

Зачем же от вороньих стай
Черно в монастыре Андроньевском?
Здесь горе лютое проплакано,
Прожегшее ступени знаками.

Здесь от излишества страдания
Ругательства или рыдания.
Кому они падут на голову
Среди снегов и камня голого
Душа взовьется к небу голубем.

Здесь Бог, беседующий с птицами,
И из костра, из печи огненной
Взовьется к небу
Начало страсти Аввакумовой.

Ед. хр. 87. Л. 54–54 об., с нумерацией строф (1955)

1 Не в бревнах, а в ребрах
Церкви стена.
Для злых и для добрых
Та церковь одна.

11 Наш спор — не духовный
О честности книг.
Наш спор — не церковный
О громе вериг.

12 Наш спор — о свободе,
О праве дышать,
О праве Господнем
Вязать и свершать.

15 И грея обиды
На злобы земли,
Мы кротость Давида
Припомнить могли.

26 Настасья! Настасья!
Терпи и не плачь
Для [нашего] русского счастья
Не будет удач.[1]

27 Удача и счастье
Совсем не одно,
И счастье в несчастьи
Бывает дано.

31 И пенье сквозь дали
Прольется вокруг,
Звенящей печали
Задумчивых вьюг.

38 И дальнее время,
Дождавшись меня,
Возложит на темя
Сиянье огня.

строфы 39–40 — заключительные строфы основного текста.

273

Ед. хр. 20. Л. 10 (1956)

Свой дом родимый брошу
Судьбу свою кляня

[1] *На полях вар.*: Не много удач.

По первой по пороше
Начнут травить меня

Мир будет улюлюкать
Ату его, ату
Слюна у старой суки
Виднеется во рту
А белый снег в алмазах
Как музыки аккорд
И десять красноглазых
Заиндевелых морд

И я, прижавши уши
Бегу, бегу, бегу
Покамест жизнь и душу
Оставлю на снегу
Спасаться силы нету
По камешкам скользя
Давно дожито лето
И спрятаться нельзя

А солнце смотрит мимо
Не глядя на меня
В ноздрях же запах дыма
Взлетевшего с огня

И в вое кобелином
Гудящем за спиной
В такой игре старинной
Закончу путь земной

Там же, др. вар.

1–4 Свой дом родимый брошу
Бегу, едва дыша
И первая пороша
Для травли хороша.

15–16 И сердце душит душу
В блистающем снегу

346

Ед. хр. 2. Л. 1–1 об. (1949)

К земле пригибается стланик
Почувствовал запах зимы
В повадке и хитрой и странной
Вносящей смятенье в умы

вм. 1–4[1]

Снег вовсе не выпал. И странно
Волнуя людские умы
К земле пригибается стланик
Почувствовав запах зимы

Он в скалы вцепился руками
Он ищет хоть каплю тепла
И тычется в стынущий камень
Почти неживая игла

И в этом слепом напряженье
Всю зиму он будет лежать
Готовый к борьбе и к движенью
В ознобе и злобе дрожать.

Но если костер ты разложишь
На час отгоняя мороз
Обманут горячею ложью
Он выпрямится во весь рост
Во весь выпрямляется рост[2]

Он капли стряхнет точно слезы
Он снегом засыплет огонь
И вновь пораженный морозом
Не двинет бессильной рукой

Он ждал, но весны не увидел
Среди немой белизны
И снова согнется в обиде
Погрузится в зимние сны

Придет к нему черная старость
Что руки не в силах поднять
И в кольца свивается ярость
И бьется змеей на камнях

Но лето не за горами
Оно с перевала ползет
По темным ущельям, по ямам
Последние льдины грызет

Под солнцем тяжелым растаяв
В реку убежали снега
Как осень глухая пустая
Весной зажелтела тайга.

---

[1] *Вписано на полях.*
[2] *Вписано на полях.*

Чтоб правду все люди узнали
Средь дряблой гнилой желтизны
Взвивается стланика знамя
Зеленое знамя листвы.

Хвоёю утыкав деревья
И зеленью смазав траву
И в чащу упрятав деревни
К нам лето пришло наяву.

И стланика пухлые шишки
Опасливо тянут с руки
Оглядываясь, как мальчишки -
Кедровки и бурундуки

Ед. хр. 83. Л. 51 об. (1956); КТмаш (1966)[1]

Куст породы стланиковой
Распластался на земле
И периною пуховой
Укрывается в тепле.

И среди мертвящей вьюги,
Взметов снежного песка
Пронесется запах юга,
Лета смутная тоска.

Он встает на отдаленный,
Еле слышный зов весны,
Ослепительно зеленый
Средь всеобщей белизны.

Ледяные рвет оковы
И усталым на ушко
Шепчет ласковое слово,
Что весна — недалеко.

---

[1] Фактически текст под загл. «Стланик», помещенный в *КТмаш*, представляет собой другое, «парное» по отношению к редакции *ДиС* ст-ние. Мы помещаем его в раздел «Другие редакции и варианты», поскольку сам Шаламов, скорее всего, именно как «другую редакцию» его и рассматривал. Невозможно предположить, что он не собирался включить именно текст из *ДиС*, оценивавшийся им как «одно из главных <...> стихотворений», в *КТ*. Однако на каком-то этапе работы над ст-нием Шаламов, очевидно, отдал предпочтение «парному» тексту, который и был помещен в *КТмаш*. См. также примеч. к № 346.

352

Ед. хр. 18. Л. 22 (1956)

Не забываю я о том,
Что дальними дорогами
Ходил и я в казенный дом
За горными отрогами.
Судьба не в картах, а в стихах
Про старое и новое.
Гадаю с рифмами в руках
На короля трефового.

Слова ложатся на столе
С магической случайностью,
И им покойно на земле
С ее необычайностью.

353–358
3

Копелев. Ед. хр. 526. Л. 3

перед 1

Мои привычные понятья
Волшебной палочкою зла
В другие выряжены платья
Или раздеты догола.

после 4

[По ком же правят панихиду?
За чей рыдают упокой?
Каков покойник нынче с виду,
Омытый добела пургой?]

403

Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 21–21 об. (1956)

1–8

Звенят ночные тенора
Тех соловьиных глоток,
Что вплоть до самого утра
Волнуют околоток.

А я — не думал петь и жить,
Дрожа в метели белой,
Но долга этого скостить
Земля мне не хотела.

25–32

Но груз гусиного пера,
Что мне держать досталось,
Не безмятежная игра
В мечтаньях, в сон и в жалость.

Оно — и участь и судьба,
Любовь, тоска, влеченье,
Как нелюбимого раба
Тягчайшее мученье.

417

Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 47–48 (1956)

2

Сегодня шутки ради
Завел я лексикон,
В две толстые тетради
Едва вместился он.

Я все слова припомнил,
Какими называл
Тебя в каменоломне
Среди дрожавших скал.

Какими вел я к ссоре
Себя с самим собой
Обоим нам на горе
От прихоти любой.

Но сердце ведь не камень,
Его не уберечь.
К чему ж ломать стихами
Размеренную речь?

Зачем мутить бесстрастный
Девичий синий взор?
Зачем в порыве властном
Молиться высям гор?

Ведь сердце в буре белой
И ветре ледяном
Еще не онемело
Навек в краю родном.

Все это ведь не прятки,
А наша боль и быль.
Дырявые палатки,
Мороженая пыль.

И взрывы аммонита,
И жирный черный дым
На траурные плиты,
Как траур молодым.

419

Ед. хр. 109. Л. 24 (1956)

Ужели та вершина горная —
Морское дно, что стало пиком,
Оно все горбилось, упорное
В своем терпении великом.

А я — подобье ржавых раковин
Чужого высохшего моря,
И хрупкость наша одинакова,
И одинаковое горе.

И я шептать умею на ухо
Слова нелепые прибоя,
И я могу закрыться наглухо
И пренебречь судьбой любою.

Разбиться ли, окаменеть ли мне
И обнаружиться случайно,
Открыв секрет тысячелетия,
Геологическую тайну.

422

Ед. хр. 18. Л. 20–21 (1956)

13–15
Мне не дадут бежать из зоны
И не отпустят ни на шаг,
Я обречен служить закону <*оборвано*>

21–24
Они следят за каждым шагом,
Считают время по шагам,
Не доверяются бумагам,
Не доверяются стихам.

426

КТмаш

после 8
Ее пленительною силой
Людская страсть увлечена,
Бросая по свету могилы
И забывая имена.

Что в том, что нужно строить прочно?
Что нет естественных защит?
Все, что чрезмерно, что неточно,
Все поднимается на щит.

И даже то, что так ничтожно,
В чем героического нет,
Одною этой силой можно
Вести дорогою побед.

после 16 Так ищут подвигов без славы,
Так просятся в проводники
К вулканам, искрящимся лавой,
Через глухие ледники.

Так ищут лоцманского места,
Пока осенняя вода,
Сбивая снег в крутое тесто,
Еще не вылепила льда.

Мечты прямое назначенье,
Нам оживляющее рай,
Не только в преувеличенье
В том, что хватает через край,

А в том, что в сердце нашем скрыто
И обнажается сейчас,
Чтоб быть единственной защитой
От треска слишком трезвых фраз.

И потому любой науке
Не угоняться за мечтой,
Когда она — добра порука
И щеголяет красотой.

Но мир вздохнет от облегченья,
Когда раскроет тот секрет,
Что для ее обозначенья
Еще и формулы-то нет.

Что в фосфорическом свеченье
Мечтой обещанных времен
Извечны поиски значенья
Ее таинственных имен.

545

Ед. хр. 18. Л. 23–26 (1956)
эпиграф «Пирушки наши — завещанья»[1].

Приходит время торопиться
И на рассвет глядеть любой,

[1] Эпиграф из ст-ния Б. Пастернака «Земля» (1947; «Стихи Юрия Живаго»).

Как на присутствие убийцы,
Подосланного судьбой.

4[1] Так открываются шкатулки,
Грохочут крышки сундуков.
На площади и в переулки
Бросают вороха стихов.

5 Невелико его богатство
И не успеть раздать всего,
Пока добычей святотатцев
Не стало это колдовство.

6 И на пол падают напрасно,
И вовсе некому поднять
Признаний исповедей страстных,
Его прозрений благодать.

1 Нет, он сегодня не учитель
И он сегодня не поэт,
Он скопидом и расточитель
Того, чего уж в мире нет.

9 Кто виноват, что взят на годы
Волшебный замок — под замок.
Все переводы, переводы,
Мильоны переводных строк.

10 Нет заклинаний, нет лекарства
От этой заполярной тьмы.
Как много в нашем снежном царстве
Глухой холодной белизны.

13 И он раздергивает шторы,
И в полутемный кабинет
Идут приятельницы-горы,
Распространяя горний свет.

12 Что мы считали откровеньем,
Что мы утратили давно,
Что на короткое мгновенье
Нам в детстве было вручено.

3 Что мы теряли по дороге,
Едва вступив на крестный путь,

[1] Нумерация строф (неполная) сделана автором.

И что мы так просили бога
Нам обязательно вернуть.

7 И в том, что слов плывет потоком —
Признанье искреннее есть.
Как мало жизнь вместила в строки,
Как много — не успело влезть.

Он говорит нам: верьте, верьте,
Мы ловим с жадностью слова.
Ему не надобно бессмертье
Покамест жизнь еще жива.

14 И в этой власти, в этом счастье
Мы различаем два следа:
Пленительность — по большей части
И что-то пленное — всегда.

Он всем хотел бы поделиться
И душу вывернуть до дна,
Когда б угрюмая столица
Так равнодушна не была.

Есть равнодушье дружбы нежной,
Есть равнодушие забот,
И, как порой в метели снежной,
Не выход важен, а исход.

И старость дом не миновала,
Как бы ни крепок был закал,
Вот почему зеркал здесь мало,
Запоминающих зеркал[1].

И тихо бродит призрак Рильке,
Заговоривший нынче вслух,
Как заключенный дух в бутылке,
Тобой освобожденный дух.[2]

Но дружба есть неравнодушье,
Забота — это ль не любовь?
Но почему душе так душно
И понемногу стынет кровь.

---

[1] Ср. наблюдение Шаламова: «Зеркала не хранят воспоминаний. Что видели они?» (*ВШ7.* Т. 5. С. 258).

[2] Шаламов хорошо знал об увлечении Пастернака поэзией Р. М. Рильке и о переводах из Рильке, сделанных Пастернаком. См. «Некоторые замечания к воспоминаниям Эренбурга о Пастернаке» — *ВШ7.* Т. 7. С. 233.

О, сколько б высказалось сразу,
Что льется прямо через край,
Наполнив душу до отказу
Перед ее явленьем в рай.

И что же значит жить в комфорте,
Как одиночество живет,
Как быть тогда, когда к аорте
Кровь энергичней <?> подойдет.

548

Ед. хр. 13. Л. 18 (1954)
вм. 9–12

Все заглушает детский лепет
Той разговорчивой листвы,
Которая приводит в трепет
Меня в предместиях Москвы.

Береза рухнет, как шлагбаум
Застав шоссейных городских,
Вернет назад с дороги славы
В тот грохот шепотов людских,

Где я ощупываю цепи
И крепость пробую оков,
Отряхиваю прах и пепел
С моих дорожных башмаков.

ПРИМЕЧАНИЯ

Пять книжек стихов, вышедших при жизни В. Т. Шаламова в издательстве «Советский писатель» («Огниво», 1961; «Шелест листьев», 1964; «Дорога и судьба», 1967; «Московские облака», 1972; «Точка кипения», 1977), лишь в минимальной степени и при этом во многом искаженно представляли его огромную поэтическую работу, начавшуюся на Колыме в 1949 г. и продолжавшуюся на протяжении всей последующей жизни. То же самое, за некоторыми исключениями, можно сказать и о публикациях в периодике 1950–1970-х гг. Сам Шаламов выделял в этом отношении лишь журнал «Юность», в котором он печатался постоянно начиная с 1965 г. и который, по его словам, дал ему возможность «несмотря на запоздание, определить свое поэтическое лицо»[1]. Объективно говоря, это весьма завышенная оценка, так как основные стихи из «Колымских тетрадей», определявшие поэтическое лицо Шаламова, в «Юность» автором даже не предлагались, в журнале публиковались лишь отдельные произведения этой книги. Ненамного изменил положение сборник «Стихотворения», выпущенный после смерти автора в 1988 г. издательством «Советский писатель» со своим копирайтом и содержавший, кроме уже печатавшихся, ряд стихов, отвергнутых в свое время тем же издательством (редактор-составитель сборника — В. Фогельсон, занимавшийся подготовкой всех изданий стихов Шаламова начиная с 1961 г.).

Широкое знакомство читателей с поэзией Шаламова началось лишь с изменением общественной ситуации во второй половине 1980-х гг., когда стали печататься его произведения, хранившиеся в *РГАЛИ*, а также у частных владельцев рукописей и машинописных копий. Правонаследница Шаламова И. П. Сиротинская, в ту пору зам. директора *РГАЛИ* (ЦГАЛИ) по научной работе, подготовила и опубликовала в этот период целый ряд больших подборок стихов в ведущих литературных журналах («Новый мир», «Знамя», «Юность» и др.), некоторые публикации были сделаны Л. В. Зайвой, Ю. А. Шрейдером и В. В. Рябоконем (последним — в парижской «Русской мысли»)[2]. Значительное число ст-ний Шаламова вышло в свет в этот период в массовых антологиях и сборниках из серии «стихи репрессированных поэтов», однако они,

---

[1] Письмо О. Н. Михайлову от 20 апреля 1972 г.: *ВШ7.* Т. 7. С. 446 (список сокращений см. на с. 478 наст. изд.). См. также: *Есипов В.* Шаламов в «Юности» // Юность. 2012. № 6. С. 10–17.

[2] Библиография первопубликаций включена в состав примечаний.

как правило, не имеют серьезного научного значения, поскольку представляют собой лишь перепечатки (примером может служить сборник «Зона» (Пермь. 1991), куда вошли стихи Шаламова, опубликованные в 1960-е гг.).

В 1994 г. И. П. Сиротинская выпустила подготовленный ею полный текст главной поэтической книги Шаламова «Колымские тетради» (465 ст-ний), включив в состав примечаний имевшийся в архиве авторский комментарий к опубликованным ранее ст-ниям (*КТ94*). В 1998 г. ею было подготовлено 4-томное собрание сочинений Шаламова, в котором 3-й том целиком был отдан стихам (*ВШ4*). Кроме «Колымских тетрадей» сюда вошли поэтические произведения 1940–1956 и 1957–1981 гг., ранее печатавшиеся лишь частично. Всего в 3-й том вошло 683 ст-ния. В примечания были введены даты первых публикаций и авторский комментарий. В изданном в 2004–2005 гг. к 100-летию Шаламова собрании сочинений в 6 томах содержание 3-го тома целиком сохранено; дальнейшая работа И. П. Сиротинской над изданием стихов была приостановлена в связи с ее болезнью. В 2011 г. томик стихов Шаламова под названием «Колымские тетради» был выпущен в серии «Всемирная библиотека поэзии» издательства «ЭКСМО» (сост. Е. Кислова, предисловие Д. Кротовой). В него вошли избранные стихи разных периодов.

Более полно поэзия Шаламова была представлена в подготовленном в 2013 г. собрании сочинений в 7 томах (сост. И. Сиротинская, В. Есипов, С. Соловьев; *ВШ7*). Если 3-й том здесь полностью повторяет 4-томное и 6-томное издания, то в дополнительный 7-й том включено еще 160 ст-ний. Большинство из них составляют пропущенные в предыдущих изданиях стихи из прижизненных сборников Шаламова, а также стихи из разрозненных публикаций в периодической печати 1960–1990-х гг. В примечаниях к 7-му тому также отмечены даты первых публикаций и введен дополнительно авторский комментарий, найденный в архиве.

Между тем имеющийся в фонде Шаламова в *РГАЛИ* и других источниках массив неопубликованных поэтических произведений чрезвычайно обширен. В количественном отношении (около 400 ст-ний) он составляет примерно треть от напечатанного, что подтверждает давнюю мысль И. П. Сиротинской о необходимости издания полного собрания поэзии Шаламова в двух томах[1]. К сожалению, это намерение не было осуществлено И. П. Сиротинской по объективным причинам, прежде всего из-за большого объема рукописей, значительного количества вариантов и, соответственно, трудоемкости текстологической работы. Кроме того, препятствием послужило то, что при всей тщательности заботы автора о сохранности своего архива (по свидетельству Сиротинской, «ни

[1] *ИСтекст*. С. 114–119.

одного клочка бумаги не выбрасывалось»[1]), в нем произошли утраты, и в значительной мере они коснулись именно поэтической части. Речь идет прежде всего об экстраординарных случаях исчезновения рукописей в последний период жизни Шаламова, в конце 1970-х гг., когда он был болен и не всегда мог контролировать сохранность архива в своей квартире. Зафиксирована кража, более мягко характеризуемая как «несанкционированное изъятие в отсутствие автора»[2], совершенная наблюдавшим за квартирой Шаламова сотрудником КГБ, впоследствии, в 1996 г., через посредников вернувшим тетради, в которых наряду с ценнейшим прозаическим текстом «Что я видел и понял (в лагере)»[3] оказались черновые варианты стихов. Ряд материалов, по свидетельству Л. В. Зайвой, в сентябре 1978 г. в отсутствие Шаламова был взят ею вместе с Ю. А. Шрейдером «на сохранение»; последний впоследствии передал имевшуюся у него часть в *РГАЛИ*[4]. Однако Л. В. Зайвая, несмотря на настойчивые требования И. П. Сиротинской как правонаследницы, рукописи не вернула, и в результате после ее ухода из жизни оставшиеся материалы незаконно перешли в руки одного из частных коллекционеров, который под разными предлогами отказывает даже в копировании этих материалов. Вывод И. П. Сиротинской об утратах в архиве («отсутствует примерно 20 „толстых" тетрадей за 1956–1970 годы»[5]) указывает на то, что

---

[1] Там же. Еще более выразительна фраза самого Шаламова в его записной книжке 1970 г.: «Всякая уничтоженная, разорванная бумажка есть частичное самоубийство» (*Шсб-5*. С. 195).

[2] *Шсб-2*. С. 8. Некоторые подробности см.: *Филиппов В.* Семнадцать лет спустя: Инкогнито из Москвы продал вологодскому музею похищенные рукописи Варлама Шаламова // Известия. 1996. 2 апреля. О том, что «инкогнито» являлся бывшим сотрудником КГБ на пенсии, нам в свое время сообщила сотрудница музея М. Н. Вороно, занимавшаяся закупкой рукописей.

[3] Первая публикация — *Шсб-2*.

[4] Зайвая Л. В. (1939–2010) — книголюб, по рекомендации близкого знакомого Шаламова, философа Ю. А. Шрейдера, помогала Шаламову по хозяйству в 1977–1978 гг. См.: *Зайвая Л.* «Шаламов отдался мне весь, со всеми тайнами» // Общая газета. 1996. № 27. 11–17 июля. По ее свидетельству, было взято «12 или 13 папок». В 1998 г. Ю. А. Шрейдер передал в *РГАЛИ* свыше 180 имевшихся у него материалов Шаламова (в основном машинописных копий рассказов, очерков, эссе, а также писем).

[5] *ИСтекст*. С. 115. Всего в настоящее время в архиве имеется 85 «толстых» (общих) тетрадей, включающих, кроме стихов, записи разного характера. Все тетради Шаламовым нумеровались по годам, кроме того, имели внутреннюю нумерацию, в среднем по четыре в год. Опираясь на архивные данные, можно определенно говорить об отсутствии целого ряда тетрадей 1960-х гг., содержавших, как обычно, черновые и беловые записи стихов. См. примеч. к разделу «Стихотворения 1960-х гг.» в т. 2 наст. изд.

речь идет в основном о черновиках, так как в «толстые» тетради Шаламов записывал, как правило, первоначальные варианты стихов. Не исключено, что некоторая часть материалов оказалась за рубежом[1].

Следует напомнить, что ранние архивы Шаламова (первый — складывавшийся до ареста в 1929 г., второй — до ареста в 1937 г.) были сожжены его родственниками. Если в первом случае ценность утраченного представлялась самому писателю небольшой (он сожалел лишь о письмах от Н. Асеева и С. Третьякова, уничтоженных по недомыслию старшей сестрой Г. Т. Шаламовой-Сорохтиной, не упоминая о стихах, очевидно, считая их слишком слабыми[2]), то второй случай, когда его женой Г. И. Гудзь было уничтожено, кроме нескольких ранних рассказов, «более сотни стихотворений»[3], — был для него крайне огорчителен. Те же чувства приходится испытывать и исследователям: утрата стихов 1920–1930-х гг., к глубокому сожалению, не позволяет проследить процесс поэтического становления молодого Шаламова, что помогло бы глубже понять истоки его поразительного творческого взлета, начавшегося в 1949 г. во время работы фельдшером на ключе Дусканья на Колыме.

«Период Дусканьи» можно считать и началом формирования нового, уже постоянного архива. Первые стихи Шаламов начал записывать в самодельные тетради, которые в основной части сохранились. В последующий период для записи стихов и других произведений он пользовался главным образом школьными тетрадями — общими и тонкими. Общие тетради, как правило, являлись черновыми для стихов, а тонкие — беловыми (хотя здесь есть некоторые исключения). Но в целом этот порядок работы сохранялся у Шаламова многие годы — лишь иногда, особенно к началу 1970-х гг., он стал прибегать к записи на отдельных листах бумаги стандартного формата.

---

[1] Предположительно, часть этих материалов попала в руки собирателя самиздата В. В. Рябоконя и была передана им на Запад, где использована в издании: *Шаламов В.* Воскрешение лиственницы. Париж: YMCA-Press, 1985 (предисловие М. Геллера), — включавшем поздние прозаические произведения. Однако публикации стихов Шаламова на Западе (кроме «Стихов к Пастернаку», напечатанных В. В. Рябоконем — с ошибками — в «Русской мысли» в 1988 г., а также стихов, записанных А. А. Морозовым, в «Вестнике РХД» в 1981 г. — см. примеч. к т. 2 наст. изд.) нам неизвестны.

[2] «Воспоминания», гл. «Большие пожары» (*ВШ7.* Т. 4. С. 556–557). Старшая сестра Г. Т. Шаламова-Сорохтина (1896–1987) в 1920-е гг. жила в Москве, общалась с братом, затем переехала в Сухуми, где однажды, в сентябре 1958 г., побывал Шаламов, написавший там цикл стихов. См. т. 2 наст. изд.

[3] «Кое-что о моих стихах» (*ВШ7.* Т. 5. С. 98).

Свой архив Шаламов передавал в *ЦГАЛИ (РГАЛИ)* частями на протяжении 1960–1970-х гг., вследствие чего стихи и их варианты оказались рассредоточены по трем разным описям и не имеют строгого хронологического порядка. Наиболее значительная часть поэтического архива сосредоточена в описи 3, где находится 101 единица хранения материалов, охватывающих период 1949–1981 гг. Всего в настоящее время в личном фонде Шаламова в *РГАЛИ* (ф. 2596) зафиксировано 119 единиц хранения, относящихся к его поэтическому наследию и насчитывающих в общей сложности свыше 5300 листов[1].

Фронтальное исследование архива, проведенное при подготовке настоящего издания, показало высокую степень разборчивости основных источников текста. Подавляющее большинство стихов, их промежуточных и окончательных вариантов, имеется в виде карандашных и чернильных автографов в тетрадях и на отдельных листах, что позволяет во многих случаях с достаточной полнотой проследить процесс создания произведений. Несмотря на то что почерк автора с течением времени сильно менялся, до конца 1960-х гг. он сохранял четкую каллиграфическую основу. Большинство как черновых, так и чистовых автографов конца 1940–1960-х гг. прочитывается практически без серьезных проблем (за исключением затушевываний, а также многочисленных поздних правок и дополнений, сделанных карандашом на полях и над строками). Значительные трудности представляет прочтение автографов последнего периода 1970–1978 гг., когда почерк поэта под влиянием болезней сильно ухудшился, особенно частыми стали обрывы окончаний слов. Однако при этом чистовые варианты ст-ний, как правило, поддаются распознаванию, тем более что ряд из них (как и писем этого периода) Шаламов записал печатными буквами. Последние стихи, созданные в Доме инвалидов в 1980–1981 гг., имеют два варианта, это записи с голоса автора, сделанные А. А. Морозовым и И. П. Сиротинской, при этом неоспоримое преимущество в адекватности фиксации текстов имеют записи последней (см. примеч. к разделу «Последние стихи» в т. 2 наст. изд.).

К числу важных и в целом ряде случаев единственных источников текста и вариантов относятся также магнитофонные записи авторского чтения стихов, сделанные в 1960-е гг. друзьями и знакомыми Шаламова. Одна из таких записей была осуществлена в 1961 г. в Ленинграде на квартире его друга детства Е. А. Алова, где свои стихи читала также вторая жена Шаламова, О. С. Неклюдова[2]. Здесь

---

[1] Далее, в том числе в примеч., в тех случаях, когда архивная ссылка относится в фонду Шаламова в *РГАЛИ* (ф. 2596), указание на этот фонд (*РГАЛИ*. Ф. 2596) опускается. Опускается также указание на оп. 3 этого фонда.

[2] Эти атрибутированные записи имеются в музее Шаламова в Вологде. Точная дата записей — 16 июля 1961 г. — соответствует времени поездки Шаламова в Ленинград; некоторые подробности этой

было записано семь ст-ний, особое значение имеет последняя редакция ст-ния «Камея». Исключительную ценность представляют записи, сделанные в 1967 г. в Москве на квартире подруги Н. Я. Мандельштам Н. В. Кинд-Рожанской (см. переписку с нею: *ВШ7.* Т. 7. С. 315–317) и включающие около 100 ст-ний. В свое время эти звуковые материалы были переданы в Государственный литературный музей[1] и скопированы для музея Шаламова в Вологде, однако их содержание до недавнего времени не анализировалось. Внимательное прослушивание записей показало, что 27 ст-ний этого звукового цикла не только никогда не публиковались, но и их рукописи отсутствуют в архиве Шаламова (что объясняется, очевидно, пропажей целого ряда тетрадей середины 1950-х — середины 1960-х гг.; именно к данному периоду в основном относятся эти стихи). Значимость звуковых версий 1967 г. еще и в том, что, судя по всему, они представляют собой последние авторские редакции стихов (в том числе некоторых стихов «Колымских тетрадей»), так как в них внесены весьма существенные изменения как стилистического, так и смыслового порядка. Все это ставит перед нами непростую дилемму: вносить ли эти изменения в неоднократно опубликованные тексты, либо зафиксировать их в качестве вариантов. Кроме тех случаев, когда ст-ние публикуется впервые (например, ст-ние, посвященное А. Ахматовой, № 850, в составе «ахматовского» цикла, № 848–851), мы решили пойти по второму пути.

Наряду с беловыми автографами, важнейшими источниками авторского текста являются многочисленные машинописные копии стихов, содержащие иногда небольшую правку. Эти копии относятся к разным периодам. Поскольку до 1956 г. Шаламов вел «кочевой» образ жизни и не рассчитывал на публикацию своих стихов, к перепечатке их на машинке в этот период он не прибегал. Единственный случай перепечатки, причем по инициативе не самого автора, а его жены Г. И. Гудзь, относится к 1954 г. и связан с обнаруженной недавно копией машинописи около ста ст-ний колымского периода, оказавшихся главным образом черновыми вариантами (так называемая «папка Траубе»)[2]. В архиве

поездки — посещение Эрмитажа и музея Пушкина на Мойке, встреча с колымским знакомым В. А. Кундушем, героем рассказа «Букинист» (*ВШ7.* Т. 1. С. 379) — отражены в тетради 1961 г. (Ед. хр. 29). Впечатления от поездки воплотились в ст-ниях «Город Пушкина, город Блока...», № 739 и «Ленинград», № 740.

[1] Государственный литературный музей (Москва). Коллекция звукозаписей. Фонд В. Шаламова.

[2] Киноинженер Л. В. Траубе (1924–2002) был знакомым семьи Г. И. Гудзь в Москве, последние годы жил в Бремене (Германия). В 1954 г. Г. И. Гудзь подарила ему папку с машинописью первых колымских стихов Шаламова (посылавшихся ей в письмах из Якутии),

имеется также небольшое количество машинописных копий (второй и последующие экземпляры) стихов, которые, судя по шрифтам, выполнялись разными машинистками, возможно, в редакции журнала «Москва», где Шаламов работал в 1957–1958 гг., а также в редакциях других журналов, с которыми он сотрудничал. Личная пишущая машинка марки «Эрика», по свидетельству С. Ю. Неклюдова, появилась у Шаламова в начале 1960-х, однако пользовался он ею редко[1]. Очевидно, что в основном он перепечатывал на машинке чистовые варианты для себя и для предоставления в редакции — об этом говорят некоторые копии со следами явно непрофессиональной работы: «залипающими» буквами, неравномерными пробелами и пр. Большинство же машинописей имеет все признаки высококвалифицированного исполнения и принадлежит, несомненно, Е. А. Кавельмахер, ставшей постоянной помощницей Шаламова в 1961 г. и продолжавшей ею быть до начала 1970-х[2].

большинство из которых впоследствии было кардинально переработано автором и опубликовано, о чем не знал владелец папки. В публикации Н. Циписа «Стихи из старой папки» (Приокские зори. (Тула). 2012. № 2) эти стихи были названы «незнакомыми». В настоящее время родственники Л. Траубе передали его папку в *РГАЛИ*. Краткий анализ ее содержания см.: *Есипов В.* «Черновики тоже полезны» // Приокские зори. 2014. № 3. Поскольку большинство стихов этой машинописи имеется в архиве в виде автографов, она может быть признана лишь дополнительным источником текста. Отдельные ссылки на папку Л. Траубе см. в примечаниях.

[1] С. Ю. Неклюдов (р. 1941) — сын О. С. Неклюдовой, второй жены Шаламова, фольклорист, профессор РГГУ. Факты о машинке «Эрика» приведены им в электронном письме автору комментария от 13 августа 2013 г. с добавлением важных деталей: «Я приохотился к ней (машинке) еще студентом и вообще пользовался ею куда больше него (Шаламова). Он же стихи писал всегда от руки».

[2] С Е. А. Кавельмахер (1903–1992) и ее мужем М. Н. Авербахом (1906–1982) Шаламов познакомился через своего друга Я. Д. Гродзенского, который знал их по воркутинским лагерям (все они были репрессированы). В Москву из Воркуты Е. А. Кавельмахер с мужем переехали в 1961 г., и тогда же Шаламов стал пользоваться ее услугами как профессиональной машинистки (М. Н. Авербах помогал ему в юридических вопросах — их переписку см.: *ВШ7*. Т. 6. С. 523–529). Подробнее об этой семье и ее отношениях с Шаламовым см.: *Заграевский С. В.* Мой дед Моисей Наумович Авербах // http://www.zagraevsky.com/averbach.htm. Сохранилось письмо Е. А. Кавельмахер к Шаламову от 15 ноября 1964 г. (Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 1), написанное на машинке, благодаря чему можно (по единообразию шрифта и других элементов) идентифицировать перепечатанные ею тексты Шаламова. К ним относятся все важнейшие произведения Шаламова 1960 — начала 1970-х гг., а также накопившиеся у него ранее рукописи. Как можно понять из того же письма, Шаламов питал полное

Именно в таком виде — чистая, с отдельными авторскими правками опечаток (что можно считать признаком частичной авторизации текста) сводная машинопись — представлена в архиве (Оп. 2. Ед. хр. 101–102) главная поэтическая книга Шаламова «Колымские тетради», состоящая из шести сборников[1] («Синяя тетрадь», «Сумка почтальона», «Лично и доверительно», «Златые горы», «Кипрей», «Высокие широты»), с подзаголовком «(Стихи 1937–1956 гг.)», насчитывающая в общей сложности 464 ст-ния (одно из них «Ведь мы — не просто дети...» по ошибке напечатано дважды, эта ошибка повторена в *КТ94* и *ВШ4*). Кроме того, в машинописном виде, с незначительными авторскими правками и пометами, представлены материалы ко всем шести сборникам «Колымских тетрадей» (Ед. хр. 102–106), а также копия списка, озаглавленного «Из „Колымских тетрадей". 111 стихотворений», представляющая собой, очевидно, попытку создания «Избранного»[2]. В своей совокупности эти материалы свидетельствуют об окончательном завершении работы автора над *КТ*, о его последней воле, в дальнейшем уже не подвергавшейся никакому пересмотру в плане состава. Закономерно, что сводная беловая машинопись *КТ* практически идентично воспроизведена И. П. Сиротинской в издании 1994 г. и в последующих изданиях (отдельные расхождения и их мотивировки зафиксированы в примечаниях). Задача воспроизведения других редакций и вариантов, а также установления точной датировки создания *КТ* (книги в целом, отдельных сборников и

доверие к своей помощнице, скрепленное негласным договором о конфиденциальности, кроме того, «договор» предусматривал удобство для Шаламова — ее личный приезд за рукописями и обратную доставку машинописи («Когда я к Вам приеду в „очередной рейс" — Вы дадите мне стихи? (Или откажете — по Вашему усмотрению!)» — писала Е. А. Кавельмахер. Речь идет о просьбе ее знакомой З. Ф. Руофф перепечатать для нее стихи «На смерть Пастернака»). При этом Е. А. Кавельмахер брала за свои услуги весьма высокую плату. Ср. характерную запись в дневниковой тетради Шаламова в 1971 г.: «Машинистка, печатает мои рассказы: „Пла́чу, а деньги все-таки беру", втридорога в качестве платы за риск или платы за страх» (*ВШ7.* Т. 5. С. 320–321).

[1] Сам Шаламов всегда говорил о частях *КТ* именно как о *сборниках* и не употреблял обозначения «разделы» или, тем более, «циклы» (как порой встречается в исследовательской литературе). Ср. письмо к Пастернаку от 3 февраля 1954 г.: «Вам для просмотра готов целый сборник (около 100 стихотворений), называющийся „Сумка почтальона"» (*ВШ7* Т. 6. С. 52). То же он говорил о «Синей тетради», «Лично и доверительно» и т. д. Подробнее об этом см. в преамбуле к комментариям к *КТ.* Скорее всего, первоначальным намерением Шаламова было издавать (при возможности) стихи *КТ* сборниками.

[2] Состав «Избранного» и комментарий к нему дан в Приложении к т. 1 наст. изд.

ст-ний) первым публикатором не ставилась; в нашем издании эта задача является одной из главнейших, и необходимо обрисовать общую ситуацию с датировкой произведений Шаламова.

Эта ситуация далеко не ординарна, что связано не только с обстоятельствами жизненной и литературной судьбы Шаламова и состоянием его архива, но и с индивидуальными особенностями Шаламова как поэта. Дело не только в том, что Шаламов практически никогда не указывал в рукописях ни года, ни месяца, ни, тем более, дня написания своих ст-ний — в этом он совсем не одинок, — а в том, что у него был свой жесткий принцип: «Стихотворение датируется по первой записи, какой бы переделке далее стихи ни подвергались»[1]. Хотя Шаламов прекрасно знал общепринятые в литературе и литературоведении правила датировки произведений, тем не менее, он всегда отстаивал свой принцип, объясняя его так:

«Казалось бы, почему датой рождения считать первую запись, а не время окончательной работы над стихотворением, время окончательной отделки, без которой стихотворение появиться в свет не может.

У меня есть важная причина для своего решения. Именно в первой записи поэту является стихотворение в его неповторимом ритме, в его звуковом содержании — устанавливается определяющая ценность стихотворения. Возникает впервые то настроение, то ощущение победы, преодоление чего-то важного в самом себе...»[2].

Нельзя обойти и другие, очень важные для Шаламова мотивы (хотя они и высказаны с учетом позднего опыта): «Я запретил себе возвращаться к давно написанным стихам. Потому что обнаружил, что первый вариант самый лучший. Это наблюдение было подтверждено мною многократно. Как бы квалифицированно ни отделывалось стихотворение — первый вариант всегда остается самым искренним — и притом единственной формулой автора для времени создания стихотворения, отвечающей его настроению, миропониманию, философии <...>. В первом варианте всегда есть особая прелесть — это допущение и даже обязательность какой-то свободы — в ритме и размере поисков звуковых соответствий, разведка в смысл, работа на грани знаемого и неизведанного — и находки на этом пути»[3].

Разумеется, мы не вправе пренебрегать этими авторскими доводами при указании времени создания его произведений, тем более

---

[1] «Кое-что о моих стихах» (*ВШ7.* Т. 5. С. 109). Уточнено и подчеркнуто автором: «Какая бы переделка ни ждала стихотворение в будущем, датой его рождения я считаю *первую запись в общей тетради*» (Там же. С. 106).

[2] Там же. С. 107.

[3] Там же. С. 105.

что во многих случаях первый вариант его стихов оставался в основном неизменным. Однако требование воссоздания объективной истории текста, а также и сама практика Шаламова, дающая множество примеров кардинальной переделки первых вариантов, приводят к необходимости указывать (при наличии на то прямых или косвенных данных) двойные даты — время начала работы над ст-нием и время ее завершения.

В связи с этим, прежде всего, требует уточнения вопрос о датировке *КТ* как книги. Ее подзаголовок «(Стихи 1937–1956 гг.)» нередко воспринимается как период создания, в то время как уже по «техническим» признакам (расположение под заголовком, круглые скобки) очевидно, что мы имеем дело именно с дополняющей частью заголовка, которая, по замыслу автора, играет важную семантическую и экспрессивную роль. Датировкой, даже условной (как сделано в описях архива), этот подзаголовок не может служить уже потому, что, как известно, в 1937 г. Шаламов не мог писать стихов, и обозначение года в данном случае имеет исключительно символическое значение (1937-й — год «большого террора» в общей исторической памяти и личной памяти поэта). Соответственно, символичен и 1956-й как год XX съезда, осуждения преступлений сталинского режима и восстановления справедливости путем реабилитации незаконно осужденных; сам Шаламов, напомним, был реабилитирован именно в 1956 г. Датой завершения *КТ* указанный год назвать нельзя, так как никаких данных на этот счет не имеется — архивные материалы показывают, что в 1956 г. были в основном сформированы (в рукописях) лишь три первых сборника *КТ* («Синяя тетрадь», «Сумка почтальона» и «Лично и доверительно»), а остальные три находились в набросках и имели другие варианты названий[1].

Если начальная дата создания *КТ* (1949 г.) не может вызывать сомнений, то с установлением точного времени завершения работы над всей книгой есть немалые проблемы. В упомянутой

[1] О незавершенности сборников, особенно последних трех, красноречиво говорит письмо к Пастернаку от 8 января 1956 г.: «Не удержался и послал Вам стихи последних лет. <...> Названия приблизительные, это сборнички, а не книги. Тематически стихи могут быть передвинуты из тетрадки в тетрадку — налаживать сейчас просто нет возможности» (*ВШ7*. Т. 6. С. 68–69). Столь же характерна деталь о «мешке со стихами и прозой» (не разобранном), с которым Шаламов вернулся после реабилитации в Москву в сентябре 1956 г. (в письме О. Н. Михайлову: *ВШ7*. Т. 7. С. 340–341). В *РГАЛИ* имеются наброски сборников стихов 1950-х гг. с черновыми названиями «Ключ Дусканья, или Подлежащие и сказуемые», «Разлука, или Верность», «Работа и судьба», «Следы на снегу» и др. (в магнитофонных записях фигурируют также названия «Следы на льду» и «Вода и земля»).

выше сводной беловой машинописи *КТ* датировки отсутствуют, не обнаружено фактов на этот счет и в других источниках. Найденная в фонде Б. Слуцкого машинопись «Из колымских тетрадей» с дарственной надписью автора и датой «ноябрь 1962 г.» является, несомненно, лишь частью «Избранного», так как содержит всего 32 ст-ния, впоследствии подвергавшихся правке[1]. Некоторая часть ст-ний «Избранного», отсутствующих в фонде Б. Слуцкого, сохранилась в личном архиве бывшей зав. отделом поэзии журнала «Москва» Е. Ласкиной, но эти ст-ния не датированы. Суммируя эти и другие данные, можно сделать вывод, что окончательное завершение работы над книгой *КТ* (полное композиционное оформление, текстуальные правки, перепечатка всех шести сборников в единую машинопись и ее сверка) приходится на 1965–1966 гг. При этом очевидно, что Шаламов испытывал серьезные трудности в определении окончательного состава и композиции последних сборников *КТ*, особенно сборника «Высокие широты»: этот сборник в итоге стал самым большим по объему (113 ст-ний), превышая объем других сборников почти в два раза («Сумка почтальона» и «Лично и доверительно» — по 58 ст-ний). Вероятно, Шаламов стремился включить в не рассчитанные на скорую публикацию сборники как можно больше из неопубликованного и мало беспокоился о том, что многие ст-ния («В защиту формализма», «Синтаксические раздумья» и др.), в сущности, далеко ушли от колымской, а также и постколымской тем.

Следует учитывать, что в более ранний период, в конце 1950-х — начале 1960-х гг., Шаламов, судя по архиву, интенсивно вел работу над правкой *КТ*, однако привести книгу в окончательный вид ему мешала, с одной стороны, техническая проблема — отсутствие постоянной машинистки, с другой — он был поглощен написанием «Колымских рассказов». Особенно напряженными в этом смысле были 1959–1960 гг., когда наряду с важнейшими рассказами (такими как «Последний бой майора Пугачева») создавались «Очерки преступного мира». Период 1962–1964 гг. проходил под знаком надежд и борьбы за публикацию первого сборника «Колымских рассказов», предлагавшегося в журнал «Новый мир» (частично) и в издательство «Советский писатель» (целиком, 33 рассказа). Отказ «Нового мира» (к сожалению, официальный его текст не найден) и отказ «Советского писателя», зафиксированный в ответе зам. зав. отделом русской советской прозы В. В. Петелина от 30 июля 1964 г., с оскорбительным для Шаламова отзывом: «На наш взгляд, герои Ваших рассказов лишены всего

[1] *РГАЛИ*. Ф. 3101. Оп. 1. Ед. хр. 630. Эта машинопись имеет особую ценность, в частности потому, что включенное в нее ст-ние «Гомер» (№ 399) здесь содержит посвящение О. Мандельштаму, в других редакциях отсутствующее.

человеческого, а авторская позиция антигуманистична»[1], почти совпавшие по времени со смещением в 1964 г. Н. С. Хрущева, не могли не привести Шаламова к сильному разочарованию и к определенной коррекции дальнейших творческих планов, в том числе к усилению акцента на реализации своей поэтической ипостаси. Он имел все основания быть недовольным изданными сборниками «Огниво» (1961) и «Шелест листьев» (1964), куда вошла небольшая часть стихов из *КТ* в искаженном виде[2]. В связи с этим задача завершения работы над крайне дорогими для него старыми лирическими тетрадями и реализации давнего замысла во всей его полноте и цельности приобрела для поэта первостепенное и императивное значение — в сущности, речь шла о самой важной и откровенной поэтической книге, столь же значимой для автора, как и «Колымские рассказы».

В изменившейся общественной реальности Шаламов не мог рассчитывать на публикацию *КТ*, однако и узкий круг читателей самиздата, где уже начали появляться «Колымские рассказы», его (на данном этапе) вполне устраивал. Из переписки с Н. Я. Мандельштам летом 1965 г. явствует, что Шаламов передал ей в это время не только свои рассказы, но и стихи; дав рассказам чрезвычайно высокую оценку, от разговора о стихах она уклонилась[3]. Естественно предположить, что Шаламов передал ей неопубликованные стихи, так что вполне вероятно, что это были *КТ*, причем, скорее всего, — машинопись лишь одного-двух сборников, так как загружать Надежду Яковлевну большим объемом чтения было бы неделикатно. В итоге самыми весомыми аргументами в пользу датировки окончательного завершения книги *КТ* 1966-м годом являются два факта: письмо Шаламова Вяч. Вс. Иванову от 21 августа

[1] Целиком ответ В. В. Петелина см. в кн: *ЖЗЛ*. С. 255; см. также: *ВШ7*. Т. 7. С. 357.

[2] О сборнике «Огниво» идет речь в письме А. И. Солженицыну (ноябрь 1962 г.): «Я <...> с трудом опубликовал за шесть лет один сборник стихов-калек, стихов-инвалидов, где каждое стихотворение урезано, изуродовано» (*ВШ7*. Т. 6. С. 288–289). Эту оценку можно в известной мере проецировать и на последующие сборники.

[3] Характерна фраза из письма Н. Я. Мандельштам к Шаламову 25 июля 1965 г.: «...Теперь о стихах. Впрочем, сначала о рассказах», — при том, что к теме стихов в письме она так и не вернулась (*ВШ7*. Т. 6. С. 414–415). Можно полагать, что они показались ей гораздо менее интересными, чем рассказы, что имело свои личные психологические и эстетические причины — прежде всего, склонность смотреть на любого рода стихи сквозь призму поэзии О. Мандельштама. «Колымским рассказам» Шаламова Н. Я. Мандельштам давала высочайшую оценку: «По-моему, это лучшая проза в России за многие и многие годы. <…> А может, и вообще лучшая проза двадцатого века» (письмо к Шаламову от 2 сентября 1965 г. — *ВШ7*. Т. 6. С. 423).

1966 г., где он пишет о «приготовленном небольшом подарке»: «Я переплел свои колымские стихи (1937–1956) из шести тетрадей. Там есть и „Снега Аввакумова века“ и почти все, что я за эти годы написал рифмованного»[1], и обнаруженный недавно переплетенный экземпляр машинописи в личном архиве Л. Е. Пинского, с дарственной надписью и датой: «Дорогому Леониду Ефимовичу с глубокой симпатией — эти колымские стихи, шесть тетрадей. В. Шаламов. Москва, август 1966»[2].

На том же основании той же датой следует обозначить, вероятно, и окончательное завершение работы над тремя последними сборниками *КТ* — «Златые горы», «Кипрей» и «Высокие широты» (более подробное обоснование датировок всех шести сборников см. в примеч.). Таким образом, реальные даты создания *КТ* как книги — это 1949–1966 гг.

Что касается датировки отдельных ст-ний *КТ*, то здесь задачу исследователей существенно облегчил сам Шаламов. Известно, что лето 1969 г. он целиком посвятил приведению в порядок своего огромного поэтического «хозяйства», а также осмыслению своего поэтического опыта в большом цикле написанных тогда же эссе. В наиболее важном из них, «Кое-что о моих стихах», отмечено: «Истинная датировка моих стихов (включающая и все „Колымские тетради“) проводилась мною только летом 1969 года по моим общим тетрадям, по заметкам в этих тетрадях»[3]. Результатом этой работы стал ценнейший автокомментарий Шаламова к стихам, где кроме дат и обстоятельств их создания содержатся важные пояснения, в частности, о редакционно-цензурных изъятиях, а также размышления о поэтическом искусстве. Автокомментарий охватывает в общей сложности около трехсот ст-ний, опубликованных на тот момент в трех сборниках, а также в журналах, альманахах

---

[1] Переписка с Вяч. Вс. Ивановым (*ВШ7.* Т. 6. С. 407).

[2] Л. Е. Пинский (1906–1981) — выдающийся филолог, специалист по литературе европейского Возрождения, в начале 1950-х гг. был репрессирован. В середине 1960-х гг. входил в круг ближайших знакомых Шаламова. В архиве Шаламова имеется книга М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (М., 1965) с дарственной надписью Пинского от 4 февраля 1965 г. Шаламов посвятил Пинскому стихотворение «Стланик» при включении его в сб. «Дорога и судьба» (1967). Л. Е. Пинский являлся активным собирателем самиздата, в его архиве, хранящемся у родственников, сохранились переплетенные машинописные сборники «Колымских рассказов» и «Колымских тетрадей». Экземпляр машинописи «Колымских тетрадей» (шесть сборников) в основном идентичен экземпляру, хранящемуся в *РГАЛИ* (Оп. 2. Ед. хр. 101–102). Эта идентичность подчеркивается, в частности, присутствием в машинописи, подаренной Л. Е. Пинскому, ошибочного повтора ст-ния «Ведь мы — не просто дети...».

[3] *ВШ7.* Т. 5. С. 109.

и газетах, и, вопреки утверждению Шаламова, не включает *всех* ст-ний *КТ*. В нашем издании имеющийся автокомментарий вошел в состав примечаний с пометой *АКомм*. При этом мы опирались на известный прецедент включения в текст примечаний к стихам «Объяснений» Г. Р. Державина к своим сочинениям, что было осуществлено в издании собрания стихов Державина, подготовленном в 1864–1883 гг. Я. Гротом, и повторено в серии «Библиотека поэта» (Л., 1957; общая редакция Д. Благого, примечания А. Западова). При том, что некоторые комментарии Шаламова весьма пространны и иногда отходят от собственно поэтической темы (например, комментарий к ст-нию «Кама тридцатого года», № 572), решено сохранить их в целостности.

Датировка не охваченных автокомментарием ст-ний *КТ* и других поэтических произведений Шаламова представляет собой весьма сложную задачу, и она решалась на основе поисков первых автографов (где их удавалось найти — к сожалению, это касается не всех случаев) и выявления дополнительных источников. Напомним, что одной из главных мучительных проблем, сопровождавших весь творческий путь Шаламова-поэта, являлся огромный разрыв между временем написания стихов и временем их публикации. Так, Шаламов не раз сетовал на то, что в прижизненных сборниках и периодике печатаются стихи «двадцатилетней давности»[1]. В связи с этим установление (уточнение) времени создания многих ст-ний — как вошедших в *КТ*, так и не вошедших — потребовало специального исследования. При этом использовались прежде всего материалы архива Шаламова, где имеется еще один важнейший источник датировок — целый ряд авторских списков ст-ний, составленных по годам их создания. Особое значение имеет сводный список, охватывающий период 1949–1969 гг., составленный в 1969 г. (Ед. хр. 373. Л. 1–77), однако он не полон. Сохранились также списки ранних стихов (Ед. хр. 5. Л. 18–20; Ед. хр. 8. Л. 48–48 об.), первоначальный датированный список стихов, предложенных в сборник «Московские облака» (Ед. хр. 373. Л. 78–81), и некоторые другие. Во многом благодаря этим материалам удалось установить даты большинства ст-ний, сохранившихся лишь в магнитофонных записях. В некоторых случаях списки позволили сделать уточнения, имеющие важное историко-биографическое значение. Так, долгое время считалось, что ст-ние «Вот так умереть, как Коперник, от счастья...», № 873, написано в 1970-е гг., однако оно зафиксировано в списке стихов 1968 г., что дает возможность скорректировать представление не только о самочувствии и умонастроениях Шаламова в этот период,

[1] Ср. в письме О. Н. Михайлову 1968 г.: «В „Дороге и судьбе“ лучшие стихи — это стихи двадцати- и пятнадцатилетней давности» (*ВШ7* Т. 7. С. 340).

но и решить вопрос об упоминаемой в ст-нии «заветной книге» (очевидно, что речь идет о «Колымских рассказах»; см. комментарий к соответствующему ст-нию в т. 2 наст. изд.). Одной из причин подобных расхождений стал тот факт, что Шаламов при разборке своего огромного архива иногда путал многочисленные тетради, и записи в них не всегда соответствуют обозначенной на их обложках авторской дате: здесь встречаются и записи более ранних текстов. Примером может служить общая тетрадь (Ед. хр. 39), которая датирована автором на обложке как «1971-I», однако в первой ее части, до л. 12, переписаны стихи 1950-х гг., а на л. 13 обозначена начальная дата следующих записей, «23 декабря 1970 г.». Таким образом удалось уточнить время создания некоторых важных ст-ний («Алексеевский равелин», № 514; «Смородинные четки...», № 490, и др.). Следует заметить, что в отдельных случаях у Шаламова (особенно в поздних списках, из-за нетвердой памяти) происходило смещение дат (как правило, не более чем на год в ту или иную сторону), и в таких ситуациях предпочтение отдавалось дате архивного первоисточника.

Резюмируя, принципы датировки в наст. изд. таковы. В тех случаях, когда имеется указание даты создания ст-ния, сделанное самим Шаламовым в *АКомм* или непосредственно в автографе или машинописи, соответствующая дата приводится под ст-нием без угловых скобок (за исключением небольшого числа случаев, когда с достоверностью можно утверждать ошибочность этой датировки; эти случаи оговорены в примеч.). Менее надежным источником является *Список1969*, где нередки расхождения с иными источниками. Если данные *Списка1969* подтверждаются датировкой автографов, соответствующие даты также оформляются как авторские, то есть без угловых скобок. Все остальные даты даются в угловых скобках. Главным источником этих датировок является факт нахождения автографа соответствующего ст-ния в тетради за тот или иной год, при этом предпочтение отдается наиболее ранним черновым автографам. Следует подчеркнуть, что фактически дата, устанавливаемая «по тетрадям», в большинстве случаев должна рассматриваться как верхняя граница возможного времени создания ст-ния. При отсутствии автографа учитываются биографические и пр. обстоятельства, как правило, отраженные в примеч.

Наиболее важным результатом фронтального исследования архива стало выявление основного состава никогда ранее не публиковавшихся поэтических произведений Шаламова (вне поля нашего зрения осталось небольшое, как мы полагаем, число текстов, оказавшихся вне *РГАЛИ*; их поиски продолжаются), а также основного состава других редакций и вариантов опубликованных произведений. Этот материал, как уже отмечалось, весьма обширен, но при этом и весьма разнороден — как с точки зрения

художественных критериев, так и с точки зрения текстологических проблем (имея в виду разборчивость рукописей и авторских правок). Очевидно, что полная публикация всего этого материала в нашем издании невозможна по причинам объема и требуется отбор.

В связи с этим следует прежде всего сказать о составе рукописей стихов колымского, а также якутского периода (охватывающих вместе 1949–1953 гг.), имеющихся в архиве в самодельных и общих тетрадях (Ед. хр. 1–6, 8, 9, 11, 78). Часть из них является беловиками, а часть — черновиками, при этом в основном достаточно разборчивыми. Ценность этих материалов как документа, зафиксировавшего момент творческого возрождения Шаламова-поэта на Колыме, — огромна и неоспорима. Особенно это касается самодельных тетрадей (Ед. хр. 2–4), а также общей тетради (Ед. хр. 78), где представлена попытка сформировать первый сборник послелагерных стихов под названием «Ключ Дусканья». Они создавались Шаламовым в 1949–1950 гг., когда он работал фельдшером лесоучастка на ключе Дусканья, где, оставаясь в статусе политзаключенного по 58 статье, впервые за много лет, по его выражению, «получил право на одиночество» и оказался в полной творческой свободе (предполагавшей лишь сокрытие стихов от чужих глаз). В феврале 1952 г. эти тетради с тайной оказией были отправлены им в Москву Б. Пастернаку, в декабре того же года Шаламов получил письмо от Пастернака с подробным разбором стихов.

Все эти экстраординарные обстоятельства, учитывая их исторический контекст, потребовали особенно внимательного подхода к стихам из самодельных тетрадей Шаламова, включая их текстологическое исследование. Всего в этих тетрадях 169 ст-ний. При изучении их содержания стало очевидным, что художественное качество многих произведений далеко не совпадает с той поздней категоричной оценкой, которую дал им сам Шаламов: «Стихов там еще не было»[1]. Сам он отобрал и включил в состав *КТ* в итоге лишь около десятка ст-ний периода Дусканьи (они отмечены в примеч. к *КТ*). Тем не менее, несмотря на значительное количество действительно слабых ст-ний (с неточными и повторяющимися рифмами, слишком многословных и т. д.), в тетрадях выявлен целый пласт произведений, имеющих высокую художественную и биографическую ценность («Silentium», № 1112; «Ночью. (В рентгенкабинете)», № 1166; «Когда-нибудь все это будет сниться...»,

[1] Полностью эта фраза, по воспоминаниям И. П. Сиротинской, звучала так: «Стихов там еще не было, но они появились там же, на Колыме, „Камея“ например» (см.: *ВШ7.* Т. 6. С. 74). В эссе Шаламова «Поэт изнутри», написанном в начале 1970-х гг., эта фраза звучит категоричнее: «Там нет стихов, заслуживающих печатания» (*ВШ7.* Т. 5. С. 165).

№ 1141; стихи о лагере; поэма «Тунгусская девушка», № 1144; любовная лирика; эксперименты в форме сонета и др.). При этом часть автографов содержит немалое число не вполне разборчивых авторских правок, и стихи приобретают законченный вид лишь в результате полного распознавания текста. Эта работа, проведенная частично в период начальной подготовки настоящего издания, сделала возможной публикацию целого ряда неизвестных ст-ний Шаламова в периодике, а также в отдельной книжке[1]. Для настоящего издания произведен максимально бережный отбор стихов из самодельных тетрадей с целью представить наиболее полную картину первого послелагерного лирического «выплеска» Шаламова со всеми его достоинствами и слабостями, во всем его тематическом многообразии и с начальными трудностями в поиске формы. Отбор производился с учетом целого ряда факторов, прежде всего — авторской воли, зафиксированной составом тетради 1954 г. (Ед. хр. 78), куда вошло 56 ст-ний, отобранных самим Шаламовым для задуманного сборника «Ключ Дусканья». Кроме того, принимались во внимание оценки Б. Пастернака, высказанные им в письме-разборе от 9 июля 1952 г. (*ВШ7*. Т. 6. С. 7–13). В итоге определена группа из 115 ст-ний, которой отведен отдельный раздел во втором томе настоящего издания.

Следующую большую группу не публиковавшихся стихов представляют произведения 1952–1953 гг., содержащиеся в т. н. «якутских тетрадях» (Ед. хр. 1, 6, 8, 9, 11). Они относятся к периоду жизни Шаламова на территории Якутии, близ Оймякона. Следует иметь в виду, что, по свидетельству самого Шаламова, он «с осени 1950 года до осени 1951 года писать стихов почти не имел возможности»[2]. Это было связано с тем, что он был переведен с Дусканьи и назначен фельдшером приемного покоя лагерной больницы и, оставаясь заключенным, находился под постоянным надзором. Не благоприятствовал творчеству и первый период после освобождения (последовавшего в октябре 1951 г.), когда

---

[1] См. наши публикации в «Литературной России» от 21 марта 2014 г. «Предпасхальный привет с Колымы» (опубликовано и прокомментировано ст-ние «Если „видевше свет вечерний“...»), в «Литературной газете» от 21 июня 2014 г. (опубликовано 5 ст-ний), в журнале «Двина» (Архангельск), 2014, № 3 (7 ст-ний), в журнале «Знамя», 2014, № 11 (12 ст-ний). Итогом этой работы стал сборник «В. Шаламов. Неизвестные стихи» (М.; СПб., 2015; сост. В. Есипов). Кроме того, три большие публикации неизвестных стихов осуществлены в выпущенных в 2017 г. изданиях: «Шаламовский сборник» (Вып. 5. Вологда; Новосибирск; 31 ст-ние с комментариями); «Закон сопротивления распаду» (Сборник научных трудов. Прага; М.; 20 ст-ний с комментариями); В. Шаламов, «О, Север — век и миг!» (Якутск; 19 ст-ний с комментариями).

[2] «Кое-что о моих стихах» (*ВШ7*. Т. 5. С. 109).

Шаламов в силу обстоятельств вынужден был остаться в той же должности на правах вольнонаемного. Однако сочинять стихи в этот период ему, по-видимому, удавалось, так как в первой по хронологии «якутской тетради» (Ед. хр. 8) записаны некоторые стихи, позднее датированные автором 1951 г. В Якутии он начал жить и работать лишь в августе 1952 г. и пробыл там до октября 1953 г., т. е. больше года.

Есть все основания считать якутский период качественно новым — Шаламов предстает здесь абсолютно сложившимся по индивидуальной поэтике и мысли художником. Именно здесь Шаламовым были написаны стихи «синей тетрадки» (по цвету обложки), врученной Б. Пастернаку при первой встрече в Москве 13 ноября 1953 г., стихи, получившие его чрезвычайно высокую оценку. Эти стихи и составили впоследствии основу первого сборника *КТ*, названного Шаламовым (по совету Пастернака) «Синей тетрадью». Кроме того, в Якутии были созданы многие ст-ния, вошедшие в сборники «Сумка почтальона» и «Лично и доверительно».

При этом, как показывает архив, в Якутии был написан и записан в тетради еще целый ряд ст-ний, не только не включенных в *КТ*, но и никогда впоследствии не публиковавшихся. Особенно важны и интересны стихи, содержащиеся в тетрадях Ед. хр. 6 и 8 (где находится большое число первых автографов произведений, включенных в первые сборники *КТ*), а также стихи в общей тетради с обложкой синего цвета (Ед. хр. 1), очевидно, идентичной по фактуре «синей тетради» (что подтверждает привычку Шаламова приобретать любые тетради с запасом)[1]. Для нашего издания из этих тетрадей отобрано около 40 ст-ний, имеющих все признаки завершенности. Среди них особую ценность имеют ст-ния «Прошептать бы, проплакать слова...» (№ 1225), посвященное И. Анненскому, и самые первые ст-ния, посвященные Б. Пастернаку, — «Все то, что было упущеньем...» (№ 1234), и «Я совесть в землю не зарою...» (№ 1235). С учетом значения якутского этапа в творчестве Шаламова ему также отведен самостоятельный раздел второго тома. В него включена и поэма «Вагонные стихи» (№ 1251), написанная по пути из Иркутска в Москву в ноябре 1953 г. и непосредственно завершающая творчество всего северного периода.

---

[1] Оригинала «синей тетради» в архиве Шаламова нет. Очевидно, он остался у Б. Пастернака, подтвердившего (несмотря на настойчивые просьбы автора) свое эмоциональное намерение, высказанное в письме от 27 октября 1954 г. («Я никогда не верну Вам синей тетрадки... Пусть лежит у меня рядом со вторым томиком алконостовского Блока»). В настоящее время поиски оригинала этой тетради ведутся в архиве Б. Пастернака. Следует заметить, что автографы подавляющего большинства ст-ний первого сборника Шаламова имеются в его фонде в *РГАЛИ*.

В архиве выявлено также большое количество неопубликованных ст-ний 1950-х гг., которые по неизвестным причинам (художественно-композиционные соображения или забывчивость автора?) не были включены Шаламовым в *КТ*, хотя тематически они тесно переплетены с Колымой. Таков, например, цикл ст-ний 1955 г., хронологически связанный с началом процесса реабилитации Шаламова. Одно из важнейших ст-ний этого цикла «Мы родине служим по-своему каждый...» (№ 515; впервые напечатано И. П. Сиротинской в 1990 г.) в архиве имеет позднюю авторскую ремарку «Входит в „Колымские тетради“», однако на самом деле в сборники *КТ* оно не вошло. Таких случаев немало. Исключительный интерес имеют стихи 1957–1959 гг., написанные Шаламовым после возвращения в Москву в период начала адаптации к условиям литературно-общественной жизни. Этот процесс шел чрезвычайно тяжело и усугублялся дававшими о себе знать физическими недугами, приобретенными на Колыме (в результате чего Шаламов дважды лежал в больнице и получил инвалидность по болезни Меньера, связанной с глухотой и нарушением координации движений). Некоторые неопубликованные ст-ния этого периода (например, «Глухота», № 603, «Осязанье», № 566 и др.) воссоздают последствия заболевания и огромные волевые усилия поэта, направленные на преодоление недугов. Большой интерес представляет попытка Шаламова «выйти за пределы колымской темы» в связи с поездкой в сентябре 1958 г. к своей сестре в Сухуми, где был написан цикл «морских» ст-ний (см. № 626 и след.). Еще одну группу практически не известных стихов представляют произведения 1959 г., обнаруженные в тетради с соответствующей датой (Ед. хр. 27). Здесь 26 ст-ний, из которых семь было напечатано (в основном, в измененных вариантах), а остальные, вполне законченные, вероятно, были оставлены автором «до лучших времен», а впоследствии забыты. Целый ряд ст-ний этой тетради (например, «Проза», № 662; «Правда тела», № 668; «Отморожение», № 675 и др.) посвящен лагерной теме и имеет несомненную связь с создававшимися тогда же «Колымскими рассказами». В разрозненных листах машинописей конца 1950-х гг. обнаружены ст-ния «Толстовский музей» (№ 696) и «Возвращение Гоголя» (№ 660,) ярко раскрывающие литературные и общественные взгляды Шаламова.

1960-е годы еще более обнажили драматизм поэтической судьбы Шаламова в условиях несвободы. Несмотря на публикацию первых сборников и появление стихов в журналах и альманахах, автор вынужден был основную часть своих поэтических произведений писать «в стол» либо знакомить с ними лишь близких людей (что способствовало распространению в самиздате). Это касается стихов не только на лагерную, но и на другие цензурируемые в то время темы (например, отклики на смерть Б. Пастернака, на процессы ресталинизации и т. д.). В архиве Шаламова и в других

источниках выявлен целый ряд чрезвычайно важных ст-ний конца 1950-х — конца 1960-х гг., оставшихся практически неизвестными. Так, в архиве поэта В. Португалова обнаружено шесть ст-ний этого периода, опубликованных в 2007 г. в малотиражном сборнике «Мы — летописцы Пимены, и нам не надо имени» (названном по строке Шаламова) и лишь по недосмотру не вошедших в 7-й дополнительный том собрания сочинений[1]. Черновые и беловые автографы этих стихов позднее найдены в фонде Шаламова в *РГАЛИ*.

Следует особо сказать о циклах Шаламова, посвященных выдающимся поэтам XX в. Цикл «Стихи к Пастернаку. На похоронах» (№ 720–727) был создан Шаламовым в 1960 г. под впечатлением смерти и похорон любимого поэта, состоял из восьми ст-ний и распространялся главным образом в самиздате — лишь четыре ст-ния, без упоминания имени Пастернака, были опубликованы в сборниках «Шелест листьев», «Дорога и судьба» и в журнале «Юность» в 1969 г. К сожалению, в разделе поэтических посвящений второго тома антологии «Пастернак: Pro et contra» (СПб., 2013) этот цикл представлен отрывочно и с искажениями. В настоящем издании цикл впервые представлен полностью. Публикация основана на машинописных копиях, найденных в архиве Л. З. Копелева и Е. С. Ласкиной и сверенных с рукописями из архива Шаламова. В 1964 г. Шаламов объединил в цикл ст-ния разных лет, связанные с М. Цветаевой (№ 817–819). Позднее, в 1966 г., Шаламов написал цикл ст-ний, посвященных А. Ахматовой (№ 848–851), однако отказался от его распространения, по-видимому, считая не вполне совершенным (опубликовано было, без посвящения, лишь одно ст-ние из трех; в наст. изд. цикл печатается полностью).

Неудивительно, что в советских условиях не могли быть напечатаны стихи Шаламова, в которых он писал о лагерной Колыме. Например, написанное в 1962 г. ст-ние «Командировка „Серпантинная“» (№ 782), посвященное месту массовых расстрелов в колымских лагерях в 1937–1938 гг., и другие подобные стихи. Явно не ко двору приходился также большой пласт философско-лирических произведений Шаламова, связанных с острыми характеристиками современности.

Все найденные в архиве, а также зафиксированные в магнитофонных записях и впервые публикуемые ст-ния 1960-х гг. (в общей сложности их свыше 70-ти) значительно обогащают представление о творчестве и общественных настроениях поэта в этот сложный период. К сожалению, тексты некоторых важных

---

[1] Сборник: «Мы — летописцы Пимены и нам не надо имени»: (Стихи репрессированных поэтов) / Сост. Т. И. Исаева. М., 2007 — был издан тиражом 100 экз. на средства составителя. Стихи были напечатаны с согласия И. П. Сиротинской, которая намеревалась опубликовать их в предполагавшемся двухтомнике.

произведений, упомянутых в списках Шаламова и его комментариях (например, «Мы рубим стихи, как болотную гать...», «Доктору Кристиану Бернару», «Седьмая поэма» и др.), в архиве не обнаружены. Поиск в редакционных архивах литературных журналов к моменту подготовки настоящего издания не принес результатов, так как эти архивы (например, архивы журналов «Новый мир», «Юность» и «Наш современник») далеко не полны.

Позднее творчество Шаламова (1970-х гг.) представляет совершенно особый интерес. По публикациям, в том числе, в *ВШ4* и *ВШ7* у многих читателей могло сложиться впечатление, что поэтический талант автора в это время ослабевал. Однако сохранившийся в архиве большой массив рукописей этого периода говорит об обратном. Многие впервые публикуемые стихи (их около 80-ти) имеют исключительную важность для характеристики самоощущения поэта и выражения его общественной позиции в условиях «холодной войны», особенно в крайне сложный для него период после написания известного письма в «Литературную газету» (февраль 1972 г.; см. подробнее во вступ. статье). В целом введение в оборот неопубликованных материалов поэтического архива Шаламова 1970-х гг. (включая как лирику, так и произведения крупной формы — например, балладу «Че Гевара», № 956, и поэму «Мичман Раскольников», № 1013) позволяет сделать вывод, что стихи для Шаламова в это время сделались важнейшим средством самовыражения (учитывая и свидетельство И. П. Сиротинской, что «после 1973 г. прозы он писал совсем мало»[1]).

Поэтический архив Шаламова в своей совокупности дает чрезвычайно богатый и интересный — и при этом весьма сложный — материал для воссоздания истории текстов многих его стихов, их вариантов и редакций. Например, по словам самого Шаламова, «стихотворение „Камея“ имеет *сто вариантов, как все мои колымские стихи*» (курсив наш. — *В. Е.*)[2]. Разумеется, это крайняя гиперболизация факта переделок, однако в некоторых случаях количество промежуточных авторских редакций (учитывая исправление и замену не только отдельных строф, но и слов — как в случае с той же «Камеей») близко к десятку. Это относится прежде всего к стихам *КТ*, которые были начаты в экстремальных условиях Севера, там же подвергались переделке «по горячим следам», а затем неоднократной правке и «доводке» — сначала в период проживания Шаламова в Калининской области, а затем в Москве. О трудностях восстановления авторского текста и путях оптимального выбора из многочисленных вариантов произведения (на примере ст-ния «Как Архимед, ловящий на песке...», № 83) писала в свое

---

1 *ИСвосп.* С. 15.

2 Авторский комментарий к ст-нию «Камея» (*ВШ7.* Т. 3. С. 447; см. также примеч. к № 63 в наст. томе).

время И. П. Сиротинская, и ее вывод о необходимости принимать в некоторых случаях «неортодоксальное»[1], т. е. субъективное решение об окончательной редакции текста — разумеется, с приведением обоснования — представляется справедливым.

Поскольку полное воспроизведение изменений текстов стихов на всех этапах от первого черновика до публикации в наст. изд. невозможно, для раздела «Другие редакции и варианты» мы решили отобрать, во-первых, лишь наиболее важные и характерные примеры и, во-вторых, включить в данный раздел лишь наиболее существенные в смысловом и стилистическом отношении авторские варианты. Небольшие варианты (в пределах одной-двух строф) отражены непосредственно в примечаниях.

В текстологии Шаламова особенно актуален вопрос о фиксации редакционно-издательских вмешательств. Следует иметь в виду, что передачу стихов в издательство или в тот или иной журнал автор всегда отмечал в своих тетрадях, прилагая соответствующий список. В этом отношении красноречивую картину пристрастного редакционного отбора (включая внутренние рецензии) воссоздают архивы издательства «Советский писатель» (*РГАЛИ*. Ф. 1234), где прослеживаются случаи отклонения стихов как по вкусовым, так и по «идейным» мотивам. Столь же характерны материалы, связанные с редактированием последних сборников Шаламова 1970-х гг. «Московские облака» (1972) и «Точка кипения» (1977), итоговым содержанием которых Шаламов был крайне недоволен. Сохранившиеся в архиве издательства, а также в архиве самого поэта (Оп. 2. Ед. хр. 113–115; Оп. 3. Ед. хр. 86) машинописи отдельных ст-ний позволяют установить купюры и воспроизвести подлинные тексты.

Полная картина цензурной истории стихов Шаламова заслуживает специального исследования, хотя многие случаи конкретных редакционных вмешательств засвидетельствовал сам Шаламов (в *АКомм* и в своей переписке), а ряд купюр устанавливается при сравнении текстов публикации и оригинала по указанным выше материалам издательства «Советский писатель». Небольшой, но весьма ценный материал на эту тему собрал и опубликовал в свое время Ю. А. Шрейдер[2]. Наиболее частым редакторским решением было вычеркивание отдельных строк и строф, содержавших те или иные реалии или мотивы, напоминавшие о лагерях. Такова, например, судьба ст-ния «Бухта Нагаева» (№ 715): в нем при публикации в сборнике «Шелест листьев» (1964) изменили название (оставлено только «Бухта») и удалили заключительную строфу:

[1] *ИСтекст*. С. 114–119.

[2] *Шаламов В.* О литературе: Письма и стихи / Предисл., публикация и примеч. Ю. Шрейдера // Возвращение: [Сборник]. М., 1991. Вып. 1. С. 273; *Шрейдер Ю.* Варлам Шаламов — возвращаемые строки // Химия и жизнь. 1991. № 2. С. 33–35.

«И по спине холодный пот, / В подножьи гор гнездятся тучи. / Мы море переходим вброд / Вдоль проволоки колючей»[1]. Нередким было присвоение редакцией заглавия ст-нию, не имевшему его: таковы, с очевидностью, «Газосварка» (№ 387) и «Земля со мною» (№ 411) в сборнике «Огниво». В ряде случаев редакторские вмешательства могли объясняться и слишком большим объемом произведения. Так, поэма «Аввакум в Пустозерске» в оригинале насчитывает 37 строф (не случайно сам Шаламов называл его «маленькой поэмой»), но в публикации в сборнике «Дорога и судьба» (1967) в ней осталось лишь 26 строф, при этом сохранены наиболее «крамольные», двусмысленные с политической точки зрения того времени строки: «Наш спор — о свободе, / О праве дышать, / О воле господней / Вязать и решать». Это показывает сложность редакционно-издательских перипетий, которые вряд ли могут быть сведены к «злой» или, наоборот, «доброй» воле постоянного редактора поэтических книг Шаламова в издательстве «Советский писатель» В. Фогельсона (или какого-либо другого лица).

Следует отметить, что Шаламов нередко сетовал на «многословие многих» своих ранних ст-ний (см., например, *АКомм* к ст-ниям «Тайга», № 152, «Гомер», № 399, «Мечта ученого почтенна...», № 426, в примеч. к этим ст-ниям). С годами он стал стремиться к максимальной сгущенности поэтической мысли, неоднократно повторяя тезис об «оптимальной» длине лирического ст-ния. Ср., например:

«Когда-то с Пастернаком мы говорили вот на какую тему. Какой размер русского стихотворения идеален. Пастернак говорил, что, по его мнению, — восемь строк, два четверостишия вполне достаточно, чтобы выразить мысль и чувство любой силы и глубины.

У него в стихах есть этот подсчет.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.[2]

<...> Я говорил, что двенадцать строк — наиболее емкая форма русского стихотворения. В восемь строк трудновато уложиться...» («Восемь или двенадцать строк. О сонете» — *ВШ7*. Т. 5. С. 58). См. те же мысли в статьях «Звуковой повтор — поиск смысла» (*ВШ7*. Т. 7. С. 251), «Таблица умножения для молодых поэтов» (*ВШ7*. Т. 5. С. 15). Соответственно, возвращаясь к ранним стихам, Шаламов нередко пытался их сократить. В связи с

[1] См.: *Есипов В.* «Мы море переходим вброд вдоль проволоки колючей» // Новая газета. 2013. 28 октября.
[2] Б. Л. Пастернак, «Во всем мне хочется дойти...» (1956).

этим порой бывает невозможно с достоверностью установить, является ли изъятие тех или иных строк в стихах из прижизненных сборников результатом редакторского вмешательства или оно отражает сознательное авторское стремление к лаконичности. Более того, имеются случаи, когда урезанная редактором версия принималась автором в качестве предпочтительной редакции (см., например, примеч. к № 426).

В целом в данном двухтомном издании публикуется 1260 оригинальных ст-ний Шаламова, при этом около 450 — впервые, что позволяет оценить поэтическое творчество автора во всей полноте и художественном своеобразии.

В известной мере представление о Шаламове-поэте могли бы дополнить его переводы, выполнявшиеся им по договорам с издательством «Советский писатель», однако эти его работы, как и у многих поэтов того времени, слишком неравноценны. В итоге для раздела «Переводы» отобраны лишь наиболее важные, на наш взгляд, ст-ния (переводы по подстрочнику с идиш) еврейского поэта Х. Мальтинского, чья трагическая судьба по-настоящему взволновала Шаламова, а лаконичные стихи автора оказались близки его поэтике.

Структура настоящего издания требует специального объяснения. Существуют два основных принципа организации состава научного издания поэтического наследия. Первый, когда соблюдается строго хронологическая подача материала, используется, как правило, при публикации поэзии XIX в. (хотя и здесь есть исключения, см., например, издания Е. Баратынского). Однако этот принцип был бы неадекватен для большинства поэтов века XX. С начала XX в. все большее значение приобретает феномен «поэтической книги»: структура поэтического сборника, его внутренняя организация становится значимым эстетическим фактом и ее разрушение при предпочтении хронологического порядка привела бы к искажению представления о поэте, к размыванию его «поэтической идеологии». В поэтическом наследии Шаламова такой «поэтической книгой», несомненно, являются «Колымские тетради». В то же время изданные сборники Шаламова, изуродованные цензурой и редакторами, как в плане «урезания» текстов отдельных ст-ний, так и в плане изменения состава, не могут считаться в полной мере «авторскими». Соответственно, при определении состава настоящего издания использован своего рода комбинированный принцип: двухтомник открывается главной поэтической книгой Шаламова «Колымские тетради», а все остальные ст-ния печатаются в хронологическом порядке. В целом данная структура, как нам представляется, не противоречит пожеланиям самого Шаламова: «Я надеюсь, что настанет время, когда мои стихи будут напечатаны в хронологическом порядке, и тогда явится

этот род дневника, летописи моей души»[1]. В отдельный раздел, завершающий издание, включены ранние ст-ния (в том числе из незавершенной книги «Ключ Дусканья» и из якутских тетрадей), шуточные стихи и переводы из Х. Мальтинского. Выделение ранних ст-ний из «Ключа Дусканья» и якутских тетрадей в заключительный раздел книги продиктовано не их «незрелостью», но тем, что сам Шаламов не считал большинство из них достойными публикации (см. выше).

Стихотворения, не вошедшие в *КТ*, распределены по хронологическим разделам. Опубликованные стихи, автографы которых обнаружены в более ранних тетрадях, включены в разделы, с которыми они соотносятся по времени. В связи с этим сделана коррекция расположения стихов, которые И. П. Сиротинская включала в раздел «Стихотворения, не вошедшие в „Колымские тетради“ (1940–1956)» 4-х и 6-томного собраний сочинений Шаламова. Однако автографы целого ряда этих ст-ний («Модница», «Картограф», «Пурга», «Рублев», «Я пришел на ржавый берег...», «Я сделаю чучело птицы...» и др.) обнаружены в самодельных тетрадях периода Дусканьи и в якутских тетрадях, в связи с чем принято решение поместить их в соответствующие времени создания разделы. Кроме того, в эти разделы внесены, с учетом найденных автографов, некоторые ст-ния («Вечерний холодок», «У облака высокопарный вид...», «Где юности твоей дороги...», «Притча о вписанном круге»), ранее ошибочно публиковавшиеся в разделе стихов, написанных после 1957 г. Внутри разделов указываются отдельные датировки, сделанные самим автором, а также те, что устанавливаются, исходя из контекста. В случае отсутствия точных датировок особо значимых ст-ний, в том числе зафиксированных в звукозаписях, в угловых скобках указывается предположительный период, к которому они относятся, например: <Конец 1950 гг.>

Традиционная оговорка о том, что тексты в издании приведены в соответствие современным правилам орфографии и пунктуации, в случае Шаламова должна быть по необходимости сопровождена объяснением некоторых важных нюансов. Ввиду того, что поэт почти на 15 лет был вырван из мира культуры, неудивительно, что его рукописи основываются на привычке к нормам правописания 1920–1930-х гг., а также на следовании произношению в устной, прежде всего диалектной колымской речи. Последнее относится к написанию им некоторых геологических терминов (например, «аргелит» вместо правильного «аргиллит»). Но особенно характерно написание слова «стланик», давшего название одноименному ст-нию. В автографах 1950-х гг. Шаламов писал это слово

[1] «Поэт изнутри» (цитируется по полному варианту этого эссе, опубликованному в: *Шаламов В.* Несколько моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе. М., 1996. С. 441).

постоянно с двумя «н», что соответствовало норме того времени (заметим, что даже при первой публикации ст-ния «Стланик» в 5-м номере журнала «Знамя» в 1957 г. слово это было напечатано с двумя «н», что можно объяснить инерцией старой орфографии, так как правила новой были опубликованы лишь в августе 1956 г.). К архаичному, унаследованному от 1920-х гг., можно отнести и написание с прописной буквы прилагательных, образованных от имен собственных (например, «Пушкинский», «Некрасовский», «Блоково»), а также устаревшее написание имени «Микель Анджело» и др. Все подобные отклонения приведены в наст. изд. к современной норме. Однако есть слово, в воспроизведении которого, как представляется, необходимо следовать авторскому написанию. Это слово «Бог». Необходимо подчеркнуть, что Шаламов писал его почти постоянно со строчной буквы, за исключением случаев, когда прописная буква отвечала религиозному образу героя (как в поэме «Аввакум в Пустозерске»). В остальных случаях он следовал, с одной стороны, советским канонам правописания (не изменившим эту норму и в 1956 г.) и, с другой стороны, строго придерживался своих атеистических взглядов, которым никогда не изменял (испытывая при этом огромное уважение к истинно верующим людям, к Христу и Евангелию и глубоко осознавая художественную роль библейских образов и символов). Следование авторскому написанию, на наш взгляд, имеет чрезвычайно большое значение: оно сохраняет не только аутентичность текстов, но и — что гораздо важнее — дает возможность читателю понять подлинное мирочувствование поэта. Следует заметить, что механический переход на написание слова «Бог» с прописной буквы в новейших изданиях стихов Шаламова, сделанный без каких-либо комментариев, примитивизирует их художественно-философское содержание и образ лирического героя.

Индивидуальные особенности имеет и система пунктуации в поэтических рукописях Шаламова. Главное, что создает немалые трудности — почти полное отсутствие в ранних автографах знаков препинания (запятых, точек) в конце строк и строф, в результате чего подчас крайне сложно определить, где, по замыслу автора, заканчивается одна поэтическая фраза и начинается другая. Несомненно, эта особенность сформировалась у Шаламова в экстремальных условиях Колымы, когда он спешил записывать стихи, надеясь на поздние поправки (ср.: «Я не ставлю даже точек, / Так спешит на желоб строчек, / Жалоба моя...» — ст-ние «Разогреть перо здесь, что ли...», № 254). В машинописях знаки препинания, как правило, проставлены четко. Однако ранние рукописи колымского и якутского периодов дают немало поводов для разночтений (например, в автографе ст-ния «Вечерний холодок / Грачей ленивый ропот», № 1110, между фразами нет ни точки, ни запятой). Анализ эволюции поэтики Шаламова позволяет сделать вывод,

что он, испытав в ранних стихах влияние Фета и Пастернака, в дальнейшем избегал акцентированного, с частым употреблением точек, разрыва между поэтическими фразами, склоняясь к ненавязчивой «повествовательной» запятой, и этот принцип соблюден в издании (отдельные сложные случаи оговариваются в примечаниях).

Примечание к каждому ст-нию начинается с текстологических и библиографических пояснений, где указываются: первая публикация с фиксацией редакционных изменений текста, если они имеются; архивный источник текста (если он сохранился), имеющиеся беловые автографы, а при их отсутствии — черновые; приводится выборочно наиболее существенная авторская правка. Если характер автографа не указан, это означает по умолчанию, что имеется в виду черновой автограф. В необходимых случаях дается реальный комментарий и поясняются литературные и иные реминисценции. По возможности зафиксированы отзывы современников, а также исследовательские работы. Важной частью примечаний является авторский комментарий к опубликованным ст-ниям, сделанный Шаламовым в конце 1960-х гг.: он позволяет не только уточнить даты и обстоятельства создания этих ст-ний, но и содержит важные мысли автора о поэтическом творчестве. К некоторым положениям *АКомм* сделаны необходимые пояснения. В отдельных случаях дается отсылка к рассказам и другим прозаическим произведениям Шаламова (включая записные книжки), поясняющая историю создания отдельных стихов, а также их связь с прозой.

Звездочка перед порядковым номером примечания отсылает к разделу «Другие редакции и варианты».

Составитель выражает искреннюю благодарность за помощь С. Ю. Агишеву, А. П. Гавриловой, Е. Л. Гофману, Е. М. Гунашвили, М. А. Дремову, Т. И. Исаевой, Д. В. Кротовой, Л. Д. Мазур-Пинской, И. В. Некрасовой, С. Ю. Неклюдову, Д. В. Неустроеву, Е. Л. Пастернак, А. Л. Ригосику, Е. Ю. Сидорову, С. М. Соловьеву, Д. В. Субботину, И. Н. Сухих, Е. В. Титовой, Ф. Тун-Хоенштайн.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АКомм — авторский комментарий В. Т. Шаламова к своим опубликованным (или предполагавшимся к публикации) стихам, сделанный на рубеже 1960–1970-х гг. (полный текст см. в: *ВШ7*. Т. 3. С. 444–494; Т. 7. С. 199–203; оригиналы — *РГАЛИ*. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 375–378).

Вишера («Вишерский антироман») — очерки и рассказы Шаламова о первом лагере 1929–1931 гг. (*ВШ7*. Т. 4. С. 150–289; дополнительные главы — *Шсб-5*. С. 63–155).

Восп — «Воспоминания» Шаламова (*ВШ7*. Т. 4. С. 297–627).

ВРХД — журнал «Вестник русского христианского движения» (Париж).

ВШ4 (с указанием тома) — *Шаламов В.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1998.

ВШ7 (с указанием тома) — *Шаламов В.* Собр. соч.: В 6 т. (7 т., доп.) / Вступ. статья И. Сиротинской; сост. и примеч. И. Сиротинской (т. 1–6), В. Есипова и С. Соловьева (т. 7). М., 2013.

ДиС — *Шаламов В.* Дорога и судьба. М., 1967.

ДН — журнал «Дружба народов».

ДП (с указанием года) — альманах «День поэзии».

ЖЗЛ — *Есипов В.* Шаламов. М., 2012 (серия «Жизнь замечательных людей»).

ЗапКн — записные книжки Шаламова 1954–1979 гг. (*ВШ7*. Т. 5. С. 257–367).

ИСвосп — *Сиротинская И. П.* Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006.

ИСтекст — *Сиротинская И. П.* К вопросам текстологии поэтических произведений В. Т. Шаламова // IV Международные Шаламовские чтения. Москва, 18–19 июня 1997 года. Тезисы докладов и сообщений. М., 1998. С. 114–119.

КД — «Ключ Дусканья», неосуществленный замысел авторского сборника Шаламова на основе колымских стихов из самодельных тетрадей (*РГАЛИ*. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 78).

КоМС — «Кое-что о моих стихах», эссе В. Т. Шаламова (*ВШ7*. Т. 5. С. 96–112).

Копелев — *РГАЛИ*. Ф. 2549 (Л. З. Копелева). Оп. 3. Ед. хр. 527.

КР — «Колымские рассказы» (*ВШ7*. Т. 1. С. 47–657; Т. 2. С. 7–460).

КР-2 — последний сборник рассказов В. Т. Шаламова «Перчатка, или КР-2» (*ВШ7*. Т. 2. С. 283–460).

КТ — «Колымские тетради».

КТИзбр — список содержания авторского сборника избранных ст-ний из «Колымских тетрадей», 1962 г. (*РГАЛИ*. Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 107. Л. 1–4).

КТмаш — полная авторизованная машинопись «Колымских тетрадей», выполненная в 1966 г. (*РГАЛИ*. Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 101–102).

КТ94 — Колымские тетради / Сост., подг. текста и примеч. И. П. Сиротинской. М., 1994.

Ласкина — машинописи из личного архива Е. С. Ласкиной, близкой знакомой Шаламова, заведующей отделом поэзии журнала «Москва».

ЛГ — Литературная газета.

ЛиД — «Лично и доверительно», третий сборник «Колымских тетрадей».

ЛО — журнал «Литературное обозрение».

ЛР — еженедельник «Литературная Россия».

МЗ (1961, 1967) — магнитофонные записи стихотворений Шаламова, сделанные в 1961 и 1967 гг.

МЛП — «Мы — летописцы Пимены, и нам не надо имени»: (Стихи репрессированных поэтов) / Сост. Т. И. Исаева. М., 2007.

МО — *Шаламов В.* Московские облака. М., 1972.

НГ — «Новая газета».

НМ — журнал «Новый мир».

НМЖ — *Шаламов В.* Несколько моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе / Сост. И. Сиротинская М., 1996.

Новая книга — *Шаламов В.* Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела / Сост. И. П. Сиротинская. М., 2004.

НС — *Шаламов В.* Неизвестные стихи / Сост. В. Есипов. М., 2015.

Огниво — *Шаламов В.* Огниво. М., 1961.

ПинскийКТ — машинопись «Колымских тетрадей», подаренная Шаламовым Л. Е. Пинскому в 1966 г.

ПражскСб — «Закон сопротивления распаду»: Проза и поэзия В. Шаламова и их восприятие в начале XXI в.: Сб. научных трудов. Прага; М., 2017.

ПТраубе — папка с первой машинописью стихов Шаламова 1949–1954 гг., сделанной в 1954 г. его женой Г. И. Гудзь и подаренная ею Л. В. Траубе.

Разбор БП — письмо Б. Л. Пастернака от 9 июля 1953 г. с разбором первых стихов Шаламова, присланных с Колымы (*ВШ7*. Т. 6. С. 7–13).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.

РМ — газета «Русская мысль» (Париж).

Север — *Шаламов В.* «О, Север — век и миг!»: Сб. стихов. Якутск, 2017.

СибО — журнал «Сибирские огни».

СинТ — «Синяя тетрадь», первый сборник «Колымских тетрадей».

СлуцкийКТ — машинопись «Из Колымских тетрадей», подаренная Б. Слуцкому в 1962 г. (*РГАЛИ*. Ф. 3101. Оп. 1. Ед. хр. 630).

СМол — журнал «Сельская молодежь».

Список1969 — список ст-ний в хронологическом порядке, составленный автором (*РГАЛИ*. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 373. Л. 1–77). Основной список охватывает период 1949–1968 гг., составлялся в 1969 г. Тут же на л. 1–3 имеется список стихов, написанных на Колыме, составленный, очевидно, в Якутии в 1953 г.; на л. 78–81 — список ст-ний сборника «Московские облака» (1972) с датировкой.

СТ — самодельные тетради Шаламова с рукописями стихов 1949–1950 гг., написанных во время работы фельдшером-заключенным на ключе Дусканья и отправленных в феврале 1952 г. Б. Пастернаку (*РГАЛИ*. Ф.2596. Оп. 3. Ед. хр. 2–4).

Стихи88 — *Шаламов В.* Стихотворения. М., 1988.

СумП — «Сумка почтальона», второй сборник «Колымских тетрадей».

ТК — *Шаламов В.* Точка кипения. М., 1977.

УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей.

ЧВ — «Четвертая Вологда», автобиографическая повесть Шаламова (*ВШ7*. Т. 4. С. 5–148).

ШЛ — *Шаламов В.* Шелест листьев. М., 1964.

Шсб (с указанием номера) — Шаламовский сборник. Вып. 1–5. Вологда; М., 1994–2017.

ЯТ — якутские тетради; включают стихи, написанные в 1952–1953 гг. во время работы Шаламова вольнонаемным фельдшером в Дорожном управлении Дальстроя МВД на территории Якутии (*РГАЛИ*. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 1, 6, 8, 9, 11).

КОЛЫМСКИЕ ТЕТРАДИ (1937–1956)

Первая попытка художественной систематизации большого количества стихов, написанных на Колыме и в Якутии, была предпринята Шаламовым еще во время их создания. В Якутии, вслед за сборником «Ключ Дусканья», куда вошли стихи из *СТ* (см. т. 2 наст. изд.), задумывались сборники с названиями «Лично и доверительно», «Сумка почтальона» и «Пять времен года» (в таком порядке они фигурируют в наброске плана, датированном 23 мая 1953 г.)[1]. Если названия первых двух сборников в дальнейшем сохранились, то «Пять времен года» претерпели серьезную трансформацию. В письме к Пастернаку из Томтора 25 мая того же года Шаламов сообщал о посылке «семи-восьми стихотворений — лишь десятой части новой книги „Времена года“»[2]. В упомянутом наброске плана эту книгу (сборник) предваряет раздел «Лирическое предисловие», где указаны названия четырех ст-ний: «Пещерной пылью, синей плесенью...» (№ 1), «Не суди нас слишком строго...» (№ 3), «Наверно, я поэт не настоящий...» (№ 1229), «Я беден, одинок и наг...» (№ 2). Последующий состав книги, где фигурируют «Я забыл погоду детства...» (№ 15), «Небеса над бульваром Смоленским...» (№ 65) и целый ряд других ст-ний, вошедших в итоге в сборник «Синяя тетрадь», показывает, что «Пять времен года» были, в сущности, прообразом и основой этого сборника. Очевидно, что Пастернак в конце концов деликатно убедил Шаламова сменить достаточно тривиальные «времена года» в заглавии, поскольку в дальнейшем, в переписке после встречи в Москве 13 ноября 1953 г., он называл эти стихи просто «синей тетрадью», по цвету обложки. Шаламов принял это предложение, и таким образом закрепилось название его первого колымского сборника (подробнее см. вступ. заметку к «Синей тетради»).

Возвращение в коренную Россию и жизнь на «101-м километре», в Калининской (Тверской) области, принесли ему массу совершенно новых впечатлений и поводов для размышлений. Весь свой послелагерный период сам Шаламов называл «амортизацией» («Перейти из состояния заключенного в состояние вольного очень

[1] Ед. хр. 8. Л. 48.
[2] *ВШ7.* Т. 6. С. 31.

трудно, почти невозможно без длительной амортизации»[1]). Этот процесс продолжался и в 1954–1956 гг., сопровождаясь для автора серьезными психологическими и нравственными проблемами и противоречиями. «Жизнь грустна, и я не знаю, что бы делал, если бы не находил опоры в работе над стихами. <...> Мой материал, то грустный, то зловещий, не дает мне ни минуты отдыха», — писал Шаламов Пастернаку 3 февраля 1954 г. (*ВШ7*. Т. 6. С. 52). В то же время творческий подъем, начавшийся в Якутии, продолжался, несмотря на то что трудовая деятельность автора в должности мастера, а затем агента по техническому снабжению на торфоразработках отнимала слишком много сил и времени. «Счастливо еще вот что: как только выдается свободный час — мне работается легко, и разгона никакого не надо», — писал он в том же письме Пастернаку. Значительно улучшилось его душевное самочувствие с переездом из поселка Озерки в поселок Туркмен, где он впервые за много лет встретился с искренней доброжелательностью людей, а также с удивительно богатой библиотекой, собранной в свое время ссыльным инженером Кураевым. «Я нашел в поселке самый сердечный, самый теплый, самый дружеский прием — такой, какого никогда не встречал на Колыме или в Москве. Великолепная кареевская библиотека воскресила меня духовно, вооружила меня — сколько могла», — вспоминал Шаламов[2].

В Туркмене он написал первые «Колымские рассказы» и огромное множество (около двухсот за два с половиной года!) новых стихов. Они были связаны не только с не тускнеющей памятью о лагерной Колыме, но и с новыми впечатлениями, прежде всего от встречи с родной природой среднерусской полосы, которая ощущалась им теперь как поистине чудодейственное целебное средство. Эта тема стала лейтмотивом постколымской пейзажной лирики Шаламова и затем органично вошла в новые задуманные им сборники. Их очертания в тот момент виделись поэту еще весьма смутно. В большей степени его заботила доработка ст-ний первых колымских сборников, как «Синей тетради», так и «Сумки

---

[1] «Что я видел и понял в лагере» (*ВШ7*. Т. 4. С. 625).

[2] *Восп.* С. 551–552. Правильная фамилия инженера, бывшего ст. научн. сотр. Института торфа — Николай Васильевич Кураев (1902–?). Фонд библиотеки поселка Туркмен составлял в 1952 г. свыше 2200 книг (справка Клинской Центральной библиотечной системы). Можно предполагать, что среди книг этой библиотеки были «Божественная комедия» Данте и произведения Шекспира, которые перечел Шаламов, — реминисценции из них стали чаще встречаться в стихах 1950-х гг. Ср. также запись в тетради 1955 г.: «Данте не рифмовал слова „Христос“ и в „Аду“ даже не упоминал» (*ВШ7*. Т. 5. С. 260). Впервые у Шаламова появилась возможность следить за современной литературой, за журнальными новинками, что отражено в некоторых стихах.

почтальона» и «Лично и доверительно», о чем он не раз писал Пастернаку. Следы этой работы запечатлены во многих тетрадях постколымского периода, но ярче всего — на многочисленных (свыше ста) листах казенной бумаги стандартного формата с карандашными вариантами стихов 1950–1956 гг. (Ед. хр. 87). Очевидно, что основной свой колымский поэтический архив Шаламов оставлял в Москве у жены (множество ст-ний было послано ей еще с Севера) и, наезжая к ней, мог брать с собой в Туркмен лишь отдельные старые тетради для доработки стихов, переписывая их на эти листы. Трудности подобного порядка не способствовали ускорению окончательного формирования первых сборников.

Следует иметь в виду, что Шаламов был постоянно захвачен новыми идеями, в том числе созданием произведений более крупной формы — таких, как «Атомная поэма» (№ 84) и поэма «Аввакум в Пустозерске» (№ 263), баллады «Фортинбрас» (№ 195) и «Гомер» (№ 399; все — 1954–1955 гг.), в которых по-своему переплавлялся колымский опыт и намечалась новая линия его поэзии — историко-философская. Немало стихов данного периода посвящено Б. Пастернаку и другим поэтам, в частности М. Цветаевой («Наедине с портретом», № 401). В целом размышления о поэтическом творчестве, о его воскрешающей силе и о предназначении поэта занимают большое место в стихах «тверского» периода, значительно расширяя их тематические горизонты. Очевидно, что такая широта отвечала сверхзадаче Шаламова, который вполне обдуманно и целенаправленно («Поэты придут, но придут не оттуда, откуда их ждут», как писал он в ст-нии 1956 г.; см. № 413) стремился к созданию нового и чрезвычайно смелого для советского времени, многопланового и при этом цельного стихотворного произведения о своем уникальном трагическом опыте. При этом границы между Колымой и временем после нее в создававшихся стихах как бы стирались, и таким образом рождался единый лирический дневник-исповедь о страшном пережитом, о памяти и боли, и одновременно — о попытках обрести новые опоры в жизни, в продолжающейся истории.

Все это, по замыслу Шаламова, могло получить воплощение только в большой поэтической книге. Надежды на нее окрепли в 1956 г., после XX съезда и ожидавшейся реабилитации. Тогда же началось формирование трех следующих сборников задуманной книги — «Златые горы», «Кипрей» и «Высокие широты».

Первое упоминание о *КТ* как о целостной книге содержится в письме к О. В. Ивинской от 24 мая 1956 г. (незадолго до реабилитации), в котором Шаламов делится своими ближайшими планами: «Я хочу написать свои сто рассказов о Севере. Я хочу подобрать *книгу* (подчеркнуто автором. — *В. Е.*) стихов — не сборник и собрание,

а книгу, и еще многое думается, но — что бог даст»[1]. Казалось бы, на основании этого можно сделать вывод о приоритетности для Шаламова работы над *КР* в противовес *КТ*, однако это не совсем так: его задача была двуединой, нераздельной, и осуществление планов зависело только от обстоятельств, которые в обоих случаях, как известно, оказались крайне неблагоприятными. При этом появившаяся к началу 1960-х гг. возможность публиковать стихи и даже выпускать маленькие сборники при всех своих позитивных моментах невольно вынуждала Шаламова отвлекаться от доработки складывающейся книги. Все это привело к отсрочке подготовки *КТ* почти на десять лет.

Следует заметить, что само название книги «Колымские тетради» в ранних редакциях отсутствует — даже в середине 1950-х гг., когда из написанного в Туркмене стали складываться три упомянутых сборника (для которых поначалу как варианты пробовались названия «Следы на снегу», «Лиловый мед», «Горный ключ», «Лесная сказка» и утвердившееся «Златые горы»[2]), — общее название книги нигде в рукописях не фигурирует. Очевидно, что оно определилось лишь в конце 1950-х гг., когда Шаламов завершил работу над оформлением первых колымских сборников. Причем, судя по всему, вначале был подготовлен сборник «Сумка почтальона», так как он имеется в архиве в переплетенном виде (домашним способом, с помощью картона и марли, в тетрадном формате)[3]. Можно предполагать, что переплет делал сам Шаламов либо помогавшая ему О. С. Неклюдова, которая, вероятно, и выполнила машинопись сборника, не вполне идеальную по качеству. Другие сборники, «Синяя тетрадь», «Лично и доверительно», а также имеющийся в этой части фонда «Кипрей» (Оп. 1. Ед. хр. 3, 4, 5) отпечатаны квалифицированной машинисткой — очевидно, Е. А. Кавельмахер. При этом на переплетенном экземпляре «Сумки почтальона» рукой автора обозначено: «Колымские тетради (1937–1956). Тетрадь № 2», что можно считать свидетельством утвердившегося названия и состава книги (остальные машинописи также пронумерованы в окончательном порядке). Однако во всех этих машинописях имеются авторские правки и содержатся варианты ст-ний, в целом

---

1 *ВШ7*. Т. 6. С. 219.

2 Ед. хр. 23. Л. 4 (на обложке тетради написано «1957-II?» с поздним знаком вопроса. Сомнения Шаламова относились, очевидно, к порядковому номеру тетради, но не к году, так как в тетрадь занесены записи и стихи, созданные до и после помещения Шаламова в больницу в связи с первым приступом болезни Меньера (19 ноября 1957 г.). См. преамбулу к разделу «Стихи 1957–1959 гг.» в т. 2 наст. изд.).

3 Оп. 1. Ед. хр. 2. Примитивный домашний способ переплетения сборника наряду с его ветхим видом дает основания полагать, что он был изготовлен еще в конце 1950-х гг.

ряде случаев не учтенные в итоговом тексте *КТмаш*. То же самое относится и к машинописи «Из колымских тетрадей», подаренной в ноябре 1962 г. Б. Слуцкому: например, вариант ст-ния «Как Архимед, ловящий на песке...» (№ 83) здесь состоит из трех строф, вторая из которых повторяет первоначальный вариант 1952 г., серьезные разночтения с итоговыми вариантами имеют ст-ния «Розовый ландыш» (№ 12), «Похороны» (№ 143) и другие[1]. Все это показывает, что на тот момент работа над *КТ* была далека от завершения, и книге еще предстояло пройти сложный этап окончательного, максимально строгого авторского редактирования. Возможность и необходимость взяться за эту долго откладывавшуюся работу соединились в конце 1964 г., когда Шаламову было официально отказано в публикации «Колымских рассказов». Рассказы начали перетекать во внецензурный самиздат, и тот же путь назначался теперь автором «Колымским тетрадям» — свободное внецензурное самоутверждение в своей поэтической ипостаси, менее известной читателям самиздата, но не менее важной для Шаламова, чем прозаическая.

По всем архивным материалам прослеживается, что основную трудность для Шаламова представляла не столько доработка отдельных ст-ний, сколько компоновка сборников, что неудивительно в связи с огромным массивом написанного для *КТ* (около пятисот ст-ний). Каждый текст, даже малое четверостишие, был ему по-своему дорог, напоминал о неповторимом миге бытия, что, как он горячо надеялся, смогут оценить будущие читатели. Тем не менее, и отсев, и замены, и перестановка ст-ний продолжались вплоть до последней редакции. Очевидно, что в основу композиции Шаламов положил хронологический принцип, однако следовал ему не механически: в каждом сборнике он стремился выстроить определенную драматургию. Это особенно ощутимо в первых пяти сборниках: здесь имеется и программная лирическая «завязка», и опорные смысловые ст-ния, и «развязка» в виде резюмирующего ст-ния (или баллады, поэмы, как в случае с «Фортинбрасом» и «Аввакумом в Пустозерске» в сборниках «Лично и доверительно» и «Златые горы»). Можно говорить лишь об определенной рыхлости композиции последнего сборника «Высокие широты» ввиду его слишком большого объема, несоразмерного с другими частями книги (что можно объяснить и психологической усталостью автора). Нельзя не обратить внимания на особую заботу Шаламова об интонационно-метрическом разнообразии каждого из сборников — очевидно, что это было одной из его главнейших композиционных задач.

Кроме машинописей всех шести сборников книги, содержащих правки, в архиве сохранились черновые и беловые автографы

[1] *СлуцкийКТ*. Л. 1–39.

большинства ст-ний. Они, как правило, находятся в общих тетрадях, датированных (на обложках) самим автором, что позволяет вполне определенно решать вопрос о датировке. Как уже отмечалось, обозначенные автором в подзаголовке годы «1937–1956» играют символическую роль, акцентируя внимание на пережитой исторической эпохе. Хотя сам Шаламов обозначал верхней границей создания *КТ* 1956 г., доработка целого ряда ст-ний велась и в первой половине 1960-х гг., и даже после создания сводной *КТмаш*, т. е. после 1966 г., о чем свидетельствуют материалы *МЗ-1967*, в частности, новая редакция ст-ния «Тайга» (см. № 152 и примеч.). Уточнение отдельных датировок (иногда не совпадающих с указанными Шаламовым в *АКомм* и *Списке1969*) производилось с учетом дополнительных текстологических и биографических источников.

Распространение *КТ* в самиздате, начавшееся в 1966 г., было весьма ограниченным, известность *КТ* намного уступала известности *КР*. Есть основания полагать, что Шаламов послал один из экземпляров сводной машинописи *КТ* редактору отдела поэзии издательства «Советский писатель» В. Фогельсону — без расчета на публикацию, а только для ознакомления. Об этом свидетельствует тот факт, что в сборнике *Стихи88*, подготовленном В. Фогельсоном, впервые за всю историю цензурных публикаций стихов Шаламова в СССР фигурировало название «Колымские тетради» (основной раздел этого сборника назывался «Из „Колымских тетрадей“ (стихи 1937–1956 гг.)», при этом в состав было включено 38 ранее не печатавшихся ст-ний из разных сборников *КТ*). Полный вариант книги, подготовленный И. Сиротинской и вышедший в 1994 г. (*КТ94*), по условиям «непоэтического» времени не получил большого резонанса. Первые попытки анализа книги были сделаны в рецензии Ю. Шрейдера «Граница совести моей» (*НМ*. 1994. № 12) и в статье Е. Волковой «„Лиловый мед“ Варлама Шаламова» (Человек. 1997. № 1). К настоящему времени библиография статей и исследований о *КТ* и в целом о поэзии Шаламова значительно расширилась (работы Вяч. Вс. Иванова, И. Некрасовой, Ген. Иванова, Д. Неустроева. Л. Жаравиной, И. Макевниной, Д. Кротовой, М. Николсона, Р. Чандлера и др.).

В наст. изд. «Колымские тетради» печатаются в основном по тексту *ВШ7* (Т. 3. С. 7–310), идентичному тексту *ВШ4* (Т. 3) и несколько расходящемуся с текстом *КТ94*, воспроизведенным И. Сиротинской по *КТмаш*. При публикации стихов Шаламова в *ВШ4* (*ВШ7*) Сиротинская опиралась на *КТмаш*; исключение составили пять стихотворений, существенно переработанных автором позднее («Стланик», № 346 — по *ДиС*; «Раковина», № 419— по *ДиС*; «Как Архимед, ловящий на песке...», № 83 — по позднему автографу; «В гремящую грозу умрет глухой Бетховен…», № 341 — по *ЛГ*. 1968. 24 апр.; «Я на спину ложусь...», № 411 — по сб. «Огниво»). Более поздние редакции заменили соответствующие тексты *КТмаш*

во всех последующих изданиях (см. предисловие И. Сиротинской к *ВШ4*, т. 3 и к *ВШ7*, т. 3).

Вопрос о поздних редакциях ст-ний, вошедших в *КТ*, как правило, однозначного решения не имеет. В прижизненных сборниках бывает сложно отделить авторскую правку от редакторского вмешательства (некоторые из подобных вмешательств зафиксированы в *АКомм*, однако нет уверенности, что Шаламов учел все такие случаи). Дополнительный анализ позволил подтвердить (хотя и не доказать) предпочтительность решений, принятых Сиротинской для ст-ний «Стланик», «Раковина» и «Как Архимед, ловящий на песке...» (см. примеч. к № 346, 419 и 83). Напротив, предпочтение в *ВШ4* (*ВШ7*) для ст-ния «Я на спину ложусь...» редакции сб. «Огниво» не представляется нам достаточно обоснованным, и потому в наст. изд. оно печатается по *КТмаш* (см. примеч. к № 411). Замена в *ВШ4* (*ВШ7*) ст-ния «Опять гроза. Какой еще Бетховен...» (№ 341) на более позднее «В гремящую грозу умрет глухой Бетховен...» (№ 615) представляется ошибочной: последнее ст-ние никак не может являться поздней редакцией первого, это два совершенно самостоятельных ст-ния (см. примеч. к № 341 и 615). Соответственно, в данном случае мы также возвращаемся к редакции *КТмаш*.

В то же время в наст. изд. редакция *ДиС* признана более предпочтительной и для ст-ний «Ведь мы — не просто дети...» и «Меня застрелят на границе...» (см. примеч. к № 248, 422). Стихотворение «Он из окон своей квартиры...», № 154, печ. по машинописи из фонда Копелева (*Копелев*. Ед. хр. 527. Л. 3), где оно включено в цикл «Стихи к Пастернаку» (см. примеч. к № 154). Стихотворение «Мечта ученого почтенна...» (№ 426) было существенно сокращено при публикации в *ШЛ*, но, в отличие от других случаев редакторских сокращений, однозначно дезавуированных Шаламовым в *АКомм* (ср. примеч. к № 63, 153, 157, 218, 346 и др.), здесь Шаламов явно высказал свое предпочтение именно сокращенному варианту («Я <...> рассудил, что оставлено — лучшее, что в стихотворении было» — *АКомм*). Соответственно, в наст. изд. данное ст-ние печ. по *ШЛ*. В ст-нии «Наедине с портретом» (№ 401) в *ВШ4* и *ВШ7* допущена ошибка («боярыня» вм. «болярыня» в *КТмаш*). В наст. изд. печ. по *КТмаш*. Для ст-ния «Хрустальные, холодные...» (№ 274) имеется машинопись в составе сб. «Кипрей» (Оп. 2. Ед. хр. 105) с существенной правкой, по каким-то причинам не учтенная в *КТмаш*. При этом первые строки обеих редакций различаются: в *КТмаш* — «Мои дворцы хрустальные», а в *КТизбр* в качестве первой строки указан вар., зафиксированный в машинописи сб. «Кипрей» («Хрустальные, холодные»). Это свидетельствует о предпочтительности в качестве основной редакции варианта машинописи сб. «Кипрей», а не *КТмаш* (см. примеч. к № 274).

Для нескольких ст-ний *КТ* в прижизненных публикациях или в автографах имеются отсутствующие в *КТмаш* посвящения

(№ 300, 346, 385, 399, 427). Посвящения Ф. Лоскутову (№ 300) и О. Мандельштаму (№ 399) содержатся в автографе и машинописи (*СлуцкийКТ*) соответственно. Эти источники предшествуют по времени *КТмаш*, и никаких специальных указаний Шаламова на необходимость включения соответствующих посвящений в основной текст *КТ* не имеется. Эти посвящения не включены в основной текст *КТ*, печатаемый в наст. изд. (см. также примеч. к № 399). В то же время о ст-нии «Стланик» (№ 346), напечатанном в *ДиС* с посвящением Л. Пинскому, есть четкое суждение Шаламова в *АКомм*: «Полный текст <...> опубликован в сборнике „Дорога и судьба"». Естественно предположить, что, говоря «полный текст», Шаламов имел в виду и посвящение. Как указывалось выше, в наст. изд. в четырех случаях редакции *ДиС* отдано предпочтение перед редакцией *КТмаш* (№ 248, 346, 419, 422). При этом во всех остальных случаях, когда редакция *ДиС* расходится с редакцией *КТмаш*, имеются указания Шаламова на редакционное вмешательство. Таким образом, всюду, где таких указаний нет, редакция *ДиС* считается предпочтительной. Тот же подход использован нами и относительно посвящений, авторский характер которых во всех случаях несомненен. Соответственно, в отличие от *КТмаш*, для ст-ний «Незащищенность бытия...» (№ 385) и «Стихи в честь сосны» (№ 427) (так же как для ст-ния «Стланик», см. выше) в состав основного текста включены посвящения, присутствующие в *ДиС*.

Таким образом, по сравнению с *КТмаш* в наст. изд. изменения коснулись текста одиннадцати ст-ний: № 83, 93, 154, 248, 274, 346, 385, 419, 422, 426, 427. По сравнению с *ВШ4* и *ВШ7* — также одиннадцати: № 93, 154, 248, 274, 341, 385, 401, 411, 422, 426, 427.

Отметим, что большинство из этих решений нельзя считать бесспорным (см., например, примеч. к № 399). Мы надеемся, что дальнейшие разыскания помогут уточнить и более убедительно обосновать выбор основного текста во всех указанных выше случаях.

Отдельные разночтения текстов последних изданий с автографами зафиксированы в примечаниях. Исключены редакционные заглавия ст-ний, не имеющие соответствия в оригиналах, что также оговорено в примечаниях. Указаны как черновые, так и беловые автографы ст-ний *КТ* (где они имеются, а при их отсутствии — машинописи).

Эпиграф к *КТ* — из ст-ния А. Блока «Рожденные в года глухие...» (сентябрь 1914 г.), посвященного З. Гиппиус. Впервые встречается в машинописи 1962 г., подаренной Б. Слуцкому. А. Блок был одним из любимейших поэтов Шаламова, и в символике эпиграфа отразился, несомненно, весь трагический смысл этого ст-ния, связанного с началом XX в. и Первой мировой войны как предвестием грядущих социальных катастроф, приведших в конце концов,

по мысли Шаламова, к лагерной Колыме. Взяв эпиграфом последнюю строфу этого ст-ния, Шаламов, вероятно, рассчитывал, что читатели оживят в памяти все его строки, прежде всего: «Мы — дети страшных лет России — / Забыть не в силах ничего...».

Синяя тетрадь

Основное содержание сборника составляют стихи из легендарной «синей тетради», привезенной Шаламовым с Севера и подаренной Б. Пастернаку при первой встрече в Москве 13 ноября 1953 г. Сборник, как отмечено выше, первоначально назывался «Пять времен года», но с легкой руки Пастернака обрел новое название. Датировать основные стихи этого сборника можно определенно 1952–1953 гг., поскольку они написаны после отправки Пастернаку первых тетрадей в феврале 1952 г. (хотя Шаламов включил в новый сборник и несколько ст-ний периода Дусканьи 1949–1950 гг., что он оговаривает в *АКомм*). О времени и месте создания основной части сборника говорит сохранившаяся тетрадь якутского периода (Ед. хр. 6), являющаяся ценнейшим первоисточником, поскольку в ней содержатся автографы (причем в большинстве беловые, чернилами) ст-ний «Синей тетради». Данная тетрадь имеет невзрачную обложку серого цвета, что лишний раз свидетельствует, что для Пастернака Шаламов переписал стихи в другую, более «презентабельную» тетрадь. Очевидно, что в связи с тем, что Пастернак так и не вернул автору его «синей тетрадки», «серая» тетрадь послужила основой для машинописи *СинТ*. Судить, в какой мере корректировалось автором содержание этого сборника, можно по сопоставлению указанных источников текста, а также по другим архивным материалам. Они показывают, что Шаламов вел доработку отдельных ст-ний и композиции всего сборника вплоть до середины 1960-х гг. Например, в машинописи *СинТ* (Оп. 1. Ед. хр. 5; ок. 1962 г.) первым ст-нием является «Я беден, одинок и наг...», в то время как в окончательном варианте *КТмаш* начальным стало «Пещерной пылью, синей плесенью...». Перенесено из сб. *СумП* входившее туда поначалу ст-ние «Ты капор развяжешь олений...» (№ 29). Исключено автором из *СинТ* и, соответственно, из *КТ* ст-ние «Наверно, я поэт не настоящий...» (см. № 1229).

«Синяя тетрадь» в отличие от посланных ранее тетрадей уже в первом варианте получила безоговорочно высокую оценку Пастернака. 27 октября 1954 г. он писал Шаламову: «Я никогда не верну Вам синей тетрадки. Это настоящие стихи сильного самобытного поэта <...>. Пусть лежит у меня рядом со вторым томиком алконостовского Блока[1]. Нет-нет и загляну в нее. Этих вещей на свете

[1] Имеется в виду 2-й том 9-томного собрания сочинений А. Блока, выпущенного в начале 1920-х гг. издательством «Алконост». В

так мало» (*ВШ7.* Т. 6. С. 57). Эта тетрадь распространялась также в кругу знакомых Пастернака, о чем он сообщал Шаламову 4 июня 1954 г.: «Ваша синяя тетрадь, еще недочитанная мною, ходила по рукам и везде вызывала восторг» (*ВШ7.* Т. 6. С. 53). Одним из факторов столь эмоционального восприятия являлось то, что Пастернак представлял стихи Шаламова московским читателям как «стихи ссыльного». Среди первых читателей был Вяч. Вс. Иванов, на которого самое большое впечатление произвело ст-ние «Все те же снега Аввакумова века...» — он его сразу и навсегда запомнил (см.: Иванов Вяч. Вс. Перевернутое небо: Записи о Пастернаке // Звезда. 2009. № 12; Иванов Вяч. Вс. Аввакумова доля // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2000. Т. 2. С. 738).

***1.** *ЛР.* 1987. 3 июля. Автографы — Ед. хр. 6. Л. 3 (черновой), с вар.; Л. 24 об. (беловой), с вар. В наброске плана сборника «Пять времен года», датированном 23 мая 1953 г. (Ед. хр. 8. Л. 48), данное ст-ние поставлено первым в «Лирическом предисловии»; далее следуют: «Не суди нас слишком строго...» (№ 3), «Наверно, я поэт не настоящий...» (№ 1229), «Я беден, одинок и наг...» (№ 2). Вкл. в *КТИзбр.*

Пещерной пылью... — Ср.: «Я двадцать лет живу в пещере, / Горя единственной мечтой» (№ 80); ср. также ст-ние «Пещера» (№ 1203). *...аналогии <...> / Почерпнутые в зоологии...* — Ср.: «Где граница между человеком и животным...» («О прозе»: *ВШ7.* Т. 5. С. 153); «В человеке гораздо больше животного, чем кажется нам» (*Восп.* С. 441).

2. Смена. 1988. № 22 (публ. Л. Зайвой). Автограф — Ед. хр. 1. Л. 33 об. (*ЯТ*, 1953 г.).

Сиреневый полярный мрак. — Выбор эпитета «сиреневый», кроме его реального соответствия одному из оттенков наступающей полярной ночи, у Шаламова мог быть связан с образом «сиреневой мглы» в одноименном ст-нии И. Анненского из «Трилистника сумеречного» (1904).

3. *ДН.* 1987. № 3. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 3 об.

...за кабаргою... — Кабарга — сибирское оленевидное животное, необычайно быстрое и прыгучее, выходит на скалы весной, после таяния снега.

4. Смена. 1988. № 22. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 7 об.

5. Знамя. 1970. № 1, загл. «Весне», сокращено до трех строф: строфы 2, 3 и не вошедшая в основной текст строфа: «Налей нам воды под полозья / Тяжелых, разбухших саней, / Пусть ярче полночные звезды / И небо дневное — синей!»; *КТ94.* Автографы

этот том входили лучшие произведения Блока 1910-х гг., в том числе цикл «Стихи о России» (1915).

(черновые) — Ед. хр. 6. Л. 25, четыре строфы; Л. 32–33, 16 строф. Машинопись — *ПТраубе*, 17 строф. Часть черновых строф использована в ст-ниях «Замолкнут последние вьюги…» (№ 6) и «Февраль — это месяц туманов…» (№ 106). См. примеч. к данным ст-ниям.

Заглавие и тема навеяны циклом А. Блока «Заклятие огнем и мраком» (1907), начинающимся ст-нием «О, весна без конца и без краю...». *Леди Годива* — героиня староанглийской легенды, проехавшая обнаженной по городу.

6. Знамя. 1993. № 1. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 32–33. Выделено в самостоятельное ст-ние из черновых строф ст-ния «Заклятье весной», № 5.

Рисунки Эвклида — геометрические фигуры.

7. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 7. Л. 2.

8. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 13 об.

9. Знамя. 1993. № 1. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 31. В *ПТраубе* зафиксирована точная дата создания — 22 февраля 1953 г.

Сойка снежная — полярная птица.

10. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 9. Л. 9.

Образ серого камня неоднократно возникает в стихах Шаламова. Ср. № 257, 1244.

АКомм: *«Написано на Колыме в 1950 году»*.

11. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 31 об.

12. *СибО*. 1988. № 3. Автографы — Ед. хр. 8 (тетрадь 1951–1953 г.). Л. 29, загл. «Ландыш» зачеркнуто, сверху карандашом написано «Розовый ландыш», с вар.: ст. 1–4 «Мы верим житиям святых / С их мукой и любовью: / На их могилах рвем цветы, / Напитанные кровью», зачеркнуты карандашом и сбоку тем же карандашом вписан окончательный вар. этих строк; Ед. хр. 20. Л. 78 (тетрадь 1956 г.); Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 18–18 об. (1956, беловой). Возможно, ст-ние было переписано в 1956 г. специально для чтения Б. Пастернаку при встрече в Переделкине 24 июня 1956 г. в присутствии гостей. Ср.: «Я читал „Ландыш“, „Шесть стихотворений“, „Камею“» (*ВШ7*. Т. 4. С. 608). Машинопись — *СлуцкийКТ*, без строфы 1 (возможно, пропущена при перепечатке). Вкл. в *КТИзбр*.

Розовый (красный) *ландыш*, растущий на Колыме, упоминается в рассказах «Тропа» и «Воскрешение лиственницы» (*ВШ7*. Т. 2. С. 105–106; 277–280). *Как Макбета виденье...* — намек на убитых в лагере (среди видений Макбета в пьесе Шекспира — видение окровавленного ножа перед убийством короля; призрак убитого Банко).

13. Юность. 1967. № 5. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 13 об.

АКомм: *«Написано на ключе Дусканья на Дальнем Севере»*.

14. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 21 об. с посвящением «Б. П.» (очевидно, Б. Пастернаку). В машинописи *СинТ* (Оп. 1. Ед. хр. 5) датировано 1 января 1953 г. и также с посвящением Пастернаку. В *КТмаш* посвящение снято.

15. Аврора. 1987. № 9 (публикация Л. Зайвой). В публикации ошибочно датировано 1941 г. Дата по *Списку1969* — 1950–1953 гг. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 8, с вар.: ст. 9 «мяты-луговицы» вм. «ягоды-кислицы».

16. Знамя. 1993. № 1. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 25 об.

...раствор / Почти коллоидальный (коллоидный) — химическая взвесь. Характерное для Шаламова введение в стихи медицинской и научно-технической лексики.

17. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 29.

18. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 34. Дата по *Списку1969* — 1953.

...две плакучих ивы, / Как в романсе, над ручьем <...> Дремлют... — Имеется в виду популярный романс «Дремлют плакучие ивы, / Низко склоняясь над ручьем...». *Как герои Руставели, лили б слезы в три ручья.* — Образ слез (плача) является лейтмотивом поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Судя по ряду деталей («две плакучих ивы» и др.), в ст-нии завуалированно отражена любовная драма, с большей открытостью воплощенная в «парном», с упоминанием того же Руставели, ст-нии «Чувствительные дети...» (см. № 477 и примеч.).

19. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 36 об. Вкл. в *КТИзбр*.

20. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 37.

21. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 2, с четырьмя дополнительными строфами. Обращено к Г. И. Гудзь.

Мечтою Левитана... — Ср. картину И. Левитана «Золотая осень».

22. Знамя. 1993. № 1. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 7 об.

23. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 28 об.

Как будто дождь держал их в лапах... — Ср.: «Дрожащими лапами ливня...» (Б. Пастернак, 1921).

24. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 4 об–5.

25. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 20.

26. *Стихи88*. В *ПТраубе* и в машинописи *СинТ* (Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 30) с посвящением «Б. П.» (Б. Пастернаку).

АКомм: «*Написано в 1950 году на ключе Дусканья и передано Пастернаку почтой. Входит в „Колымские тетради". Одно из тех стихотворений, которые нравились Пастернаку*».

27. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 19.

Рапид — здесь: замедленная киносъемка.

28. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 9 об.

29. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 5. Л. 13. Машинопись — Оп. 1. Ед. хр. 2, слово «огнем» в ст. 3 исправлено на «Огнем» (см. также № 1090). Вкл. в *КТИзбр*.

30. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 28.

31. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 36.

32. Знамя. 1993. № 1. Машинопись — архив Е. Л. Пастернак (разрозненные листы; вероятно, машинопись выполнена Г. И. Гудзь, как и *ПТраубе*).

...все, что было, все, что сплыло, / Гитарной бешеной струной... — аллюзия на популярный в 1930-е гг. романс: «Все, что было, все, что ныло, / Все давным-давно уплыло <...> Только ты, моя гитара...».

33. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 6. Л. 21, загл. «Космическое-II» (вариация шуточного ст-ния «Космическое» — см. № 1256).

И спиртовой термометр / В бессилии иссяк — Ср. в рецензии Шаламова на альманах «На Севере Дальнем» (1957): «Своеобразие Дальнего Севера обусловлено не только особым уровнем спиртового термометра (ртутный здесь не годится); <...> восьмимесячная зима с 50–60 градусными морозами, с жестким рыхлым снегом, который разметают метели, и ветра утрамбовывают в ущельях так, что топором приходится вырубать ступеньки на подъемах. Каменный колодец — земной полюс холода — Оймякон расположен здесь же» (*ВШ7.* Т. 7. С. 433).

34. Знамя. 1993. № 1. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 43, с вар.: ст. 16 «темные глаза» исправлено на «влажные глаза».

35. *ШЛ*, с загл. (скорее всего, редакционным) «Детское». Автограф — Ед. хр. 6. Л. 2 об., с вар.: после ст. 4 «Сказки про меня расскажут / Песни пропоют / И в моей квартире даже / Создадут уют» (зачеркнуто).

АКомм: «*Написано в 1950 году на ключе Дусканья. Одна из самых ранних моих записей в стихах на Колыме и о Колыме*».

36. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 6. Л. 6. Первоначально задумывалось как часть «якутского цикла» (упоминание о нем имеется в тетради: Ед. хр. 5. Л. 20), куда должны были войти также ст-ния «Скользи, оленья нарта...» (№ 37), «Школа в Барагоне» (№ 40), «Еду» (№ 43) и ряд других. В дальнейшем Шаламов отказался от этого плана и включил лучшие стихи якутского периода в *КТ*. Непосредственно стихи из *ЯТ* см. в т. 2 наст. издания.

37. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 6. Л. 5 об.

Хорей — у северных народов шест для управления оленьими и собачьими упряжками. Игра слов, так как ст-ние написано ямбом. Ср. каламбур на тему «хорея» в ст-нии «Пусть я, взрослея и старея...» (№ 302). Ср. также № 1221. *Карманы... набиты молоком.* — Имеется в виду молоко, замороженное в плоской посуде и затем разогревавшееся (такой способ хранения и использования молока распространен во всей Сибири).

38. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 6. Л. 35. Более раннего автографа, который, вероятно, имелся в утраченных листах *СТ*, не сохранилось. Идентичный текст в *ПТраубе.* Согласно датировке, сделанной самим Шаламовым (см. ниже *АКомм*), ст-ние было написано в 1950 г. на Колыме. Это подтверждает и указанный выше,

в воспоминаниях Вяч. Вс. Иванова, факт чтения Ивановым этого ст-ния в самодельных тетрадях, присланных Пастернаку. Ср. также письмо Шаламова Иванову от 21 августа 1966 г. с подчеркнутым обозначением этого ст-ния как включенного в *КТ*: «..Там есть и „Снега Аввакумова века“» (*ВШ7*. Т. 6. С. 407).

Аввакумова века — первое упоминание протопопа Аввакума, которому позже будет посвящена поэма «Аввакум в Пустозерске» (см. № 263 и примеч.). Образ российского XVII в. как века раскола имел у Шаламова прямые аналогии с XX в. *Все те же... Все та же...* — рефрен, подчеркивающий глубокое убеждение Шаламова в неизменности трагической судьбы России (см.: Есипов В. «Она еще жива, Расея...»: (Мотивы русской истории в «Колымских тетрадях» В. Шаламова)» / *ПражскСб*. С. 23–40).

АКомм: «Написано в 1950 году на ключе Дусканья. Снег, камень — вот самое первое, что стремишься удержать в памяти на Дальнем Севере».

39. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 9.

Спектральные цвета... — Имеются в виду семь основных цветов спектра. В данном случае речь идет о полярном сиянии. Об особой чуткости Шаламова к цвету свидетельствуют многие его стихи о живописи.

40. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 11, загл. «Школа».

Барагон — якутское село. Упоминается в рассказе «Рива-Роччи» (*ВШ7*. Т. 2. С. 452–460), как и расположенные недалеко села Куйдусун и Кюбюма, где Шаламов работал фельдшером. *Бумаги целая десть.* — Десть — старая русская единица счета писчей бумаги, равная 24 листам. Ср. ст-ние «Инструмент» (№ 197).

АКомм: «Написано в 1959 году[1] *близ Оймякона. Это — описание якутской Томторской, Барагонской школы самое точное. Описание вблизи, рядом, „сиюминутное“ описание».*

41. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 15 об.

42. *Стихи88*.

43. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 23 (черновой).

Биплан — самолет с двумя рядами крыльев (в данном случае АН-2).

44. В мире книг. 1988. № 8. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 22 об.

Вероятно, написано в конце декабря 1952 г. в годовщину смерти матери Н. А. Шаламовой (она умерла 26 декабря 1934 г. в Вологде; Варлам Тихонович приезжал на похороны; ср. также колымское ст-ние из *СТ*, посвященное матери: «Положен жестяной венок...», № 1115).

45. В мире книг. 1988. № 8. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 14 об. Отклонено редакцией сб. «Огниво» — очевидно, по «моральным» мотивам.

---

[1] Явная опечатка: очевидно, в 1952 г.

46. В мире книг. 1988. № 8. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 26.

47. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 26 об. В *МЗ-1967*, с вар.: ст. 2 «ночью» вм. «нынче»; ст. 9 «Излечи эти темные травы»; ст. 11 «В пыль стряхни эти капли отравы»; ст. 12 «их» вм. «ее». Скорее всего, обращено к Г. И. Гудзь.

48. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 28.

49. *ДН*. 1987. № 3. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 37.

Здесь смертный дух, здесь смертью пахнет... — иронический парафраз хрестоматийной цитаты из поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820): «Там русской дух... там Русью пахнет!».

50. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 38, с вар.: вм. ст. 9 «За песню под забором. / Про горе девушки одной, / Что вопреки советам / Когда-то сделалась женой / Таежного поэта. / Когда его судьба взяла / И в горы поселила, / Она и слез-то не лила / А хлеб ими солила». Положено на музыку вологодским бардом В. Сергеевым.

Григорьева отрава. — Имеются в виду романсовые мотивы поэзии Ап. Григорьева, ярче всего воплощенные в его «Цыганской венгерке» (1857). С поэзией Григорьева Шаламов серьезно познакомился лишь в лагерной больнице. (Ср. рассказ «Афинские ночи»: «Взнос Португалова: <...> Из классиков Лермонтов и Григорьев, которого мы с Добровольским знали больше понаслышке и лишь на Колыме испытали меру его удивительных стихов»; *ВШ7*. Т. 2. С. 415.)

51. В мире книг. 1988. № 8. Автограф — Ед. хр. 7. Л. 36. Машинопись — *ПТраубе*, с загл. «Ариаднина нить».

52. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 30. Присутствует в *МЗ-1961* без последних пяти строф.

Литер — здесь: маркированный буквами медицинский препарат специального назначения (термин лагерной больницы, аналог «литеру» в статье заключенного). *Учили, как лечить ее / Овидий и Вергилий.* — Имеются в виду «Лекарство от любви» и «Скорбные элегии» Овидия и, возможно, «Буколики» Вергилия.

53. *КТ94*. Машинопись — *ПТраубе*.

Ср. те же «рыцарские» мотивы в ст-нии «Рыцарская баллада» (№ 55) и в цикле «Из Вальтера Скотта» (№ 1123–1125). *Ронсеваль* — ущелье, где погиб герой средневековой поэмы «Песнь о Роланде». *Когда-то пленен был я сразу...* — Ср. рассказ о первом знакомстве в детстве, в 1920 г., со старофранцузским героическим эпосом в *ЧВ*: «Мы читали на голоса (с другом Алешей Веселовским. — *В. Е.*) „Песнь о Роланде“» (*ВШ7*. Т. 4. С. 117). *Карл* — французский император, герой поэмы. *И звуки Роландова рога...* — Сигнальный рог (олифант), который носили с собой средневековые рыцари для зова на помощь, играет ключевую роль в поэме: храбрый Роланд протрубил в него слишком поздно, что стало причиной гибели его отряда. Эпизод упоминается также в «Божественной комедии» Данте (Ад. XXXI, 16). Эта трагическая тема переосмыслена в ст-нии

М. Цветаевой «Роландов рог» (1921). О знакомстве Шаламова с этим ст-нием в Бутырской тюрьме в 1937 г. см. очерк «Герман Хохлов» (*ВШ7*. Т. 4. С. 561). Ср. также неопубликованные записи о М. Цветаевой: «Герман Хохлов читал совершенно голый, мокрый от пота, беспрерывно поправляя круглые, без оправы, очки. Он прочел мне два стихотворения Ходасевича из „Тяжелой лиры“ и „Роландов рог“ Цветаевой. Эти стихи я увез на Колыму и они были со мной на Крайнем Севере все эти годы» (Оп. 2. Ед. хр. 169. Л. 5).

54. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 6. Л. 15; Ед. хр. 7. Л. 21, с вар.: ст. 4 «Вперед!». В машинописи *СинТ* (Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 45) перед ст-нием напечатано в виде эпиграфа по-латыни: «Semper ante» («Всегда вперед»).

...веселый нищий — аллюзия на загл. известной «кантаты» Р. Бернса «Веселые нищие», неоднократно переводившейся на русский язык.

55. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 27–27 об.

Ср. те же «рыцарские» мотивы в ст-нии «Ронсеваль» (№ 53) и в цикле «Из Вальтера Скотта» (№ 1123–1125).

Вчерашнего илота. — Илоты — государственные рабы в Древней Спарте, подвергавшиеся жестокому террору со стороны спартанского государства; прямая аналогия с положением Шаламова-заключенного.

56. *СибО*. 1988. № 3. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 22, с загл. «Нечаев». Машинопись — *ПТраубе*, с тем же загл.

В 1920-е гг. Шаламов увлекался тюремной биографией революционера-заговорщика С. Г. Нечаева, считая ее, как и многие современники, героической; следы этого сохранились в *ЧВ* (*ВШ7*. Т. 4. С. 10–12). См. примеч. к изданию: Шаламов В. Четвертая Вологда. Вологда, 2017. О Нечаеве см.: Есипов В. Житие великого грешника. М., 2011.

57. *СибО*. 1988. № 3. Машинопись — *ПТраубе*, с вар.: ст. 6 «ярится» вм. «метелит».

58. *СибО*. 1988. № 3.

59. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 4 (черновой).

Образ «заздравной чаши» здесь и в др. ст-ниях (см., например, «Тост за речку Аян-Урях», № 414) является риторическим и не имеет отношения к жизни автора: он, как известно, был непьющим.

60. Юность. 1966. № 9; *ДиС*; *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 12. Вкл. в *КТИзбр*.

Отмечено в рецензии Георгия Адамовича (*РМ*. 1967. 24 авг.; перепечатана в: *ВШ7*. Т. 7. С. 347–349) и дало ему повод сделать вывод, что «его <Шаламова> учитель и, по-видимому, любимый поэт — Баратынский...». См. также вступ. статью.

АКомм: «Написано на Колыме в 1949 году. Описывает истинное происшествие, случившееся несколько лет ранее.

Тютчев и Баратынский — вершины русской поэзии. „Разуверение“ Баратынского — лучшее русское лирическое стихотворение. В двадцатые и тридцатые годы имена Тютчева и Баратынского едва упоминались в школьных учебниках, хотя надо бы учить каждую их строку. Мандельштам говаривал, что в личной библиотеке русского поэта не должно быть Тютчева — всякий поэт должен знать Тютчева наизусть[1].

Баратынский и Тютчев издавались редко. Между тем русская поэзия XIX века — вершина еще более высокая, чем русская проза.

Судьба книги на Дальнем Севере — если это не справочник, не учебник и не записано в каталоге библиотек — всегда одна и та же: из книг уголовники вырезают игральные карты. Способ изготовления карт классически вечен. Для изготовления карт ничего не надо, кроме собственной слюны, мочи, жеваного хлеба, крошечного обломка химического карандаша и книжного томика — на бумагу. Бумага, которая не потрачена на карты, служит для курева — не всегда найдешь такую роскошь, как газета. Цигарка с табачным дымом — вот та печь, где сжигают книги.

Все эти пути и рассмотрены в стихотворении „Баратынский“».

61. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 8 об., с загл. «Романс».

62. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 13.

***63.** *Огниво* (без строфы 2); *ШЛ*. Автографы — Ед. хр. 6. Л. 17, с вар.; то же — *ПТраубе*; Ед. хр. 15. Л. 9 (1954), с вар.; Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 24 об. (1956), с разбивкой на двустишия и вар. последних строк: «И исповедница тоска / Укрыла перстень в облака»; Оп. 2. Ед. хр. 110 (1957-I), итоговая редакция; Оп. 1. Ед. хр. 5 <1961>, с вар.; Оп. 2. Ед. хр. 108 <1961>, с вар. (очевидно, в последних случаях Шаламов пытался переработать ст-ние); *МЗ-1961*, итоговая редакция. Машинопись (итоговая редакция) — *Копелев*. Ед. хр. 525. Л. 1 — в составе подаренной в 1964 г. Л. З. Копелеву подборки из «Колымских тетрадей».

О начале знакомства Шаламова с Л. З. Копелевым и его женой Р. Д. Орловой свидетельствует письмо Копелева к Шаламову 1964 г.: «Одним из самых значительных событий нашей жизни вообще и особенно истекающего от 28 декабря года было знакомство с Вами. <…> Сознаешь, как тусклы и бессильны любые праздничные слова перед суровой живой силой и пронзительным светом Вашего слова, Ваших стихов и прозы» (*ВШ7*. Т. 6. С. 369–370). Во время встречи с Б. Пастернаком в Переделкине 24 июня 1956 г. Шаламов читал это ст-ние в присутствии гостей. Ср.: «Я читал „Ландыш“, „Шесть стихотворений“, „Камею“» (*ВШ7*. Т. 4. С. 608). Скорее всего, на этой встрече Шаламов читал редакцию 1956 г.

---

[1] Вероятно, Шаламов пересказывает это со слов Н. Я. Мандельштам.

с вар. последних строк: «И исповедница тоска / Укрыла перстень в облака».

Обращено к Г. И. Гудзь. *Камея* — резной камень с рельефным изображением, женское украшение, символ утонченной красоты. Возможно, ст-ние написано под влиянием сонета И. Бунина: «На высоте, на снеговой вершине / Я вырезал стальным клинком сонет...» (1901). Стихи Бунина Шаламов хорошо знал — он переписал по памяти его ст-ния «Каин» и «Ра-Озирис» в тетрадь врача Н. В. Савоевой во время пребывания в больнице Беличья в 1945 г. (Лесняк Б. Я к вам пришел; Савоева Н. Я выбрала Колыму. М., 2016. С. 201).

АКомм: «*Написано в поселке Барагон, близ Оймякона зимой 1951–1952 годов*[1] *в шестидесятиградусный мороз. Моя железная печка никак не могла нагреть помещения, ветер выдувал тепло, руки стыли, и я никак не мог записать это стихотворение на бумагу, в тетрадку. Полное одиночество, скала на другом берегу горной речонки, долгое отсутствие писем с „материка“ — создали благоприятные условия для появления „Камеи“.*

Всякий поэт описывает мир заново, преодолевая подсказку. Так и писалась „Камея“. „Камея“ имеет сто вариантов, как все мои колымские стихи, ибо по обстоятельствам жизни было крайне важно укрепить хотя бы несколько строк, если не строф, и немедленно к ним вернуться — в тот же день или назавтра, чтоб не утерять настроения, набора чувства, ощущения важности своего труда. Для себя или для других — это все равно. Приходилось ничего не доверять памяти... О том, что такое память, я написал особое стихотворение, но во времена „Камеи“ это стихотворение еще не было написано.

„Камея“ — не пейзаж по памяти. Это стихотворение написано „на пленэре“, как говорят художники. В любезном и лестном для меня письме по поводу сборника „Огниво“ В. М. Инбер оценивает „Камею“ меньшим баллом из-за якобы искусственности, ложной красивости. Ошибка эта возникла потому, что в „Огниве“ „Камея“ напечатана неполным текстом, исключены самые важные строки:

В страну морозов и мужчин
И преждевременных морщин
Я вызвал женские черты
Со всем отчаяньем тщеты.

Я написал письмо Вере Михайловне, и в ее рецензии на мой сборник „Шелест листьев“, где „Камея“ была опубликована полностью, увидел, что мое письмо дошло. (В. М. Инбер. „Вторая книга поэта“. — „Литературная газета“[2]*).*

---

[1] Ошибка памяти: Шаламов жил в Барагоне зимой 1952/53 гг.
[2] *ЛГ*. 1964. 23 июля. «Резолюция» в архиве не найдена.

„Камея“ очень нравилась Б. Л. Пастернаку. По рекомендации Пастернака „Камея“ должна была печататься в первом „Дне поэзии“ (1956 г.), но я жил тогда не в Москве и не успел реализовать резолюцию тогдашнего председателя секции поэзии. А резолюция, которую я бережно храню, была такой типичной для тех бюрократических лет: „Надо встретиться с автором. Если это человек перспективный — можно напечатать «Камею» и еще что-нибудь“. С автором было встретиться непросто, и „Камея“ не попала в „День поэзии“».

64. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 17 об.

65. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 18.

66. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 19.

Обращено к Г. И. Гудзь.

67. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 20.

Торцовая — выстланная торцами дерева, чурками. Этот тип мостовых сохранялся в Москве в 1920-е гг. *Воровские мои места.* — Возможно, этим книжно-есенинским мотивом Шаламов намекает на свою подпольную деятельность в молодости.

68. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 33 об.

Мольеровский герой — Сганарель, герой пьесы Мольера «Лекарь поневоле», не умеющий лечить.

69. *КТ94*. Машинопись — *ПТраубе*.

Адресовано Г. И. Гудзь. *В самом чистом переулке* — игра слов, аллюзия на Чистый переулок в Москве, где Шаламов жил до ареста в 1937 г.

70. Знамя. 1993. № 7. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 37 об.

71. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 12 об., с зачеркнутой предпоследней строфой: «Я подожду, пока на блюде / От городов своих ключей / Не принесут мне те же люди, / Что были хуже палачей».

72. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 22 (черновой), с подзаголовком «Рисунок».

АКомм: «*Написано на Колыме в 1949 году*».

73. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 1 об.

Позабудь про слова Галилея... — Имеется в виду легендарная фраза «А все-таки она вертится!», — якобы произнесенная Галилеем после отречения от своих взглядов.

74. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 1 об.

75. *ДН*. 1987. № 3. Автограф — Ед. хр. 9. Л. 9.

76. *Огниво*. Автограф — Ед. хр. 87. Л. 100.

АКомм: «*Написано в декабре 1953 года в поселке Туркмен Калининской области. Это август средней полосы России. „Август“ — одно из первых моих стихотворений, написанных на „материке“ и о материке, сохраняющее всю северную психологическую напряженность*».

77. Смена. 1988. № 22. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 3 (дата «1951»).

Строфа «Есть состоянье истощенья» варьируется также в ст-нии «Ветров, приползших из России...» (№ 404).

78. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 8. Л. 7 об. (дата «1951»).
79. *КТ94* Автограф — Ед. хр. 8. Л. 14 об. (дата «1952»).

Сумка почтальона

Название сборника отражает огромное значение писем в жизни Шаламова после освобождения из лагеря, особенно в якутский период. Кроме Б. Пастернака его основным корреспондентом и адресатом в это время была жена Г. И. Гудзь. Характерно, что первый набросок состава сборника, имеющийся в тетради лета 1953 г., начинается со ст-ния «Сотый раз иду на почту / За твоим письмом...» (Ед. хр. 5. Л. 5; Ед. хр. 8. Л. 27, 32; черновые автографы *СумП* имеются также в Ед. хр. 87, 1954 г.). Переписка с женой была очень интенсивной, поскольку до освобождения Шаламову разрешалось получать и посылать не более одного письма в месяц, а первые годы пребывания на Колыме он был вообще лишен переписки (см. рассказ «Богданов» — *ВШ7.* Т. 1. С. 461–465). Теперь же никаких ограничений не стало. Следует напомнить, что после ареста мужа в 1937 г. Г. И. Гудзь была сослана в Туркмению, в г. Чарджоу, где находилась до 1946 г. Вернувшись в Москву, она не сразу смогла найти работу, жила в общежитии, целиком посвятив себя дочери. В письмах к жене Шаламов посылал и множество новых стихов. Стихи она сохраняла, перепечатывала, несмотря на то что это были черновики (ср. историю «папки Траубе» в преамбуле к примеч.), однако свою переписку с мужем впоследствии, после расставания в 1956 г., уничтожила (см.: *ИСвосп*, гл. «Галина Игнатьевна Гудзь»). Часть писем жены у Шаламова сохранилась, но они относятся к периоду 1955–1956 гг. (см.: *ВШ7.* Т. 6. С. 82–91)[1].

Стихотворения Шаламова колымского и якутского периодов, посвященные жене, наполнены огромной любовью к ней, острой тоской и ожиданием скорой встречи. Но по возвращении

---

[1] В одной из якутских тетрадей Шаламова сохранилась телеграмма от жены, посланная из Москвы 3 июля 1953 г.: «Экзамены благополучно закончены, началась геодезическая практика, меня обратно назначили главным бухгалтером, все здоровы устали целуем» (Ед. хр. 5. Л. 14 об.). В первых строках телеграммы речь идет о дочери Елене, которая училась в строительном институте. «Меня обратно назначили главным бухгалтером» — относится к Г. И. Гудзь. Это единственные сохранившиеся сведения о ее профессии, и видно, что она ею очень дорожила. Слово «обратно» может служить характеристикой, увы, невысокой общей и литературной грамотности Г. И. Гудзь (что в первые годы любви не казалось Шаламову помехой, однако, со временем, как можно полагать, стало его раздражать, что, вероятно, и послужило одной из причин расставания). Стоит заметить, что позже Шаламов терзался разрывом с женой и не раз жалел о нем (ср. ст-ние «За то, что я тебя не стою...», № 599, и *ИСвосп*).

ему пришлось испытать серьезное разочарование, обусловленное прежде всего тем, что он не нашел общего языка с дочерью, которую Г. И. Гудзь воспитывала, как сама признавалась, в «казенных» традициях. Главным желанием жены было: «Давай все забудем, поживем для себя», чего Шаламов категорически не мог принять (см.: *ИСвосп*, ук. глава; *ЖЗЛ*. С. 217–220). Эти драматические обстоятельства, связанные с остыванием чувств к жене, отразились и на судьбе сборника. В письме к Пастернаку из Озерков 2 февраля 1954 г. Шаламов писал: «Вам для просмотра готов целый сборник (около 100 стихотворений), называющийся „Сумка почтальона"» (*ВШ7*. Т. 6. С. 62). Вероятно, в тот момент Шаламов все еще хотел сделать его основным содержанием любовную лирику, однако затем, с осознанием того, что, несмотря на попытки примирения, жизнь с женой не складывается (это стало ощущаться вскоре после первых встреч с нею, что отражено и в письмах, и в *ЗапКн*, и в в ст-ниях «Возвращение», № 86, и «Едва вмещает голова...», № 88), стихи о любви были рассредоточены в других сборниках. Следует заметить, что упомянутые выше ст-ния, а также первый набросок ст-ния «Реквием» (№ 192), с начальной строкой: «Ты похоронена без гроба…» находятся в первой послеколымской тетради Ед. хр. 11 (Л. 21–70), заполнявшейся главным образом в 1954 г. в поселках Озерки и Туркмен (на предыдущих листах записана поэма «Вагонные стихи», № 1251, созданная в конце 1953 г.). Очевидно, под влиянием разочарования в жене *СумП* была значительно сокращена (до 58 ст-ний), «Сотый раз иду на почту...» («Верю», № 102) и «Утро» (№ 132) перемещены во вторую половину сборника. Отдельные ст-ния вошли в несостоявшийся сборник «Разлука, или Верность» (Ед. хр. 83), откуда нами использован ряд автографов. В целом сборник *СумП*, окончательно составленный в 1960-е гг., намного отошел от первоначальной любовно-«почтовой» идеи: в нем доминирует суровая, трагическая тональность, а смысловыми центрами стали «Атомная поэма» и ст-ния «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни».

80. *ЛР*. 1987. 3 июля. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 89 (черновой), с вар.: ст. 1 «В часы полярные, ночные».

Как Тангейзер у Венеры... — Вероятно, Шаламов помнил этот средневековый немецкий сюжет не по известной опере Вагнера «Тангейзер» (которую он вряд ли когда-либо слушал), а по поэме Г. Гейне «Тангейзер» в переводе Д. Минаева с начальными строками: «Жил Тангейзер — гордый рыцарь. / Поселясь в горе — Венеры, / Страстью жгучей и любовью / Наслаждался он без меры...». (В письме к Пастернаку 25 мая 1953 г. Шаламов упоминает Гейне в связи с романтической иронией). *И сдвинув плечи, как Самсон, / Обрушу каменные своды...* — аллюзия на библейский рассказ о богатыре Самсоне, плененном и ослепленном врагами, но обрушившим

их храм, под обломками которого погибло множество филистимлян вместе с самим Самсоном (Суд. 13–15). Вкл. в *КТИзбр.*

81. *КТ94*. Машинопись — *ПТраубе.*

82. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 9 об., с вар.: ст. 8 «снегом забеленых»; без третьей строфы; дата «1951 г.». Машинопись — Ед. хр. 103. Л. 16, с загл. «Память виновата» (зачеркнуто). Вкл. в *КТИзбр.*

***83.** *КТ94*, с вар.; *ДП-1984*; *ВШ4*. Т. 3. Автографы (черновые) — Ед. хр. 5. Л. 11, с вар.; Ед. хр. 8. Л. 31 об., с вар.; Ед. хр. 84. Л. 31 об., с вар.; Оп. 2. Ед. хр. 103. Л. 18, с вар. Машинописи — *ПТраубе*, с вар.; *СлуцкийКТ*, с вар.; *Копелев*. Ед. хр. 526. Л. 15, с вар.; Оп. 2. Ед. хр. 103. Л. 18, с вар., вторая строфа (из трех) зачеркнута.

Анализ вариантов см. в *ИСтекст*. Сиротинская в *ИСтекст* ссылается на автограф, «более поздний» (по сравнению с другими источниками текста, по состоянию бумаги и характеру машинописи), при этом уточняется, что «нет автографа с правкой». Именно эта редакция (из двух строф) была опубликована в *ДП-1984* и *ВШ4*. В пользу такого решения дополнительно свидетельствует машинопись (Оп. 2. Ед. хр. 103) с зачеркнутой второй строфой. Отметим, что предпочтение более лаконичных вариантов вообще характерно для поэтики Шаламова «московского» периода (см. преамбулу к примеч.). В наст. изд. печ. по *ВШ4*.

По наблюдению Ю. Шрейдера, в этом ст-нии использован излюбленный Шаламовым звуковой повтор согласных, содержащихся в слове «Архимед» («р» — «м» — «д») с добавлением к ним «с» (Шрейдер Ю. «Граница совести моей» // *НМ*. 1994. № 12. С. 227). Образ Архимеда, верного своему призванию даже перед лицом смерти, впервые появляется у Шаламова в ст-нии из *КД* «Признание-II» (№ 1184). Вкл. в *КТИзбр.*

Как Архимед... — По легенде, знаменитый древнегреческий ученый Архимед не остановил своих занятий при угрозе со стороны римских солдат и был ими убит.

***84.** *ДиС*, фрагмент «Вступления», с вар.: строфы 7 и 8 (ст. 19–24) отсутствуют, ст. 25 «И мне казалось, что они», ст. 27 «Во всей зеленой силе»; Дальний Восток. 1989. № 7; *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 87. Л. 15, 65–77, загл. «Сюита А», с вар.; Л. 78–79 (1 и 2 главы, переписанные рукой Г. И. Гудзь); Ед. хр. 10. Л. 67–68 (с загл. «Сюита А. Часть II»).

Фрагмент, опубликованный в *ДиС*, ранее предлагался в сборник «Огниво», но был отвергнут внутренним рецензентом В. Боковым за «грубость и безвкусие» первой строки (*РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2120. Л. 3). Тема впервые обозначена в ст-нии из *ЯТ* «Цветы свиваются в букет...» (№ 1208), а также в наброске «Дочери» в тетради 1954 г. (Ед. хр. 13. Л. 17).

Шаламов писал к Пастернаку из Озерков 3 ноября 1954 г.: «Закончил сейчас вчерне большое стихотворение (строк на 300)

о расщеплении атома. Конечно, не в плане Хиросимы, бомб, ракетных самолетов и пр. Но если каждый атом материи таит в себе взрывчатую силу, то этим обнаруживается вся глубокая, затаенная враждебность мира, только притворяющегося нежным и красивым, и все — сирень, цветы — не может не выглядеть теперь иначе. Нам остается только лунный свет, и мы ведь сильнее ощущаем его давление, физическое давление. Это давление знакомо поэтам всех времен, но наука только теперь, опытами Лебедева[1], что ли, подтвердила давнее прозрение искусства. А может быть, расщепление атома — это мщение природы людям — за ложь, обман и т. д., и т. д. Называться стихотворение будет: „Атомная сюита" или „Сюита А", или что-либо в этом роде, сознательно нарочитое» (*ВШ7*. Т. 6. С. 51).

В итоге Шаламов отказался от «нарочитости» в названии, поскольку это противоречило всему трагически-философскому содержанию поэмы. Несомненно, что тревожно-предупредительный характер поэмы, включавшей также и лагерные мотивы, сделал невозможной ее полную публикацию. В *ДиС*, по словам Шаламова, была напечатана «одна тридцатая часть, только вступление <...> и три строфы сняты в конце этой маленькой поэмы» (письмо к И. П. Сиротинской от 25 июня 1967 г. — *ВШ7*. Т. 6. С. 457).

Возможно, замысел поэмы отчасти связан с поэмой А. Белого «Первое свидание» (1921), с впервые прозвучавшей в ней «атомной» темой («...И что огромные миры / В атомных силах не утихли...»; «Мир — рвался в опытах Кюри / Атомной, лопнувшею бомбой»). Не исключено, что Шаламов отталкивался также от ст-ния В. Брюсова «Мир электрона» (1922). Нетривиальна используемая поэтом строфика — терцет (трехстишия) на основе четырехстопного ямба (с усечением в каждой третьей строке до трехстопного и с чередованием женских и мужских рифм). Возможно, Шаламов опирался на опыт М. Кузмина, у которого встречаются шестистишия с аналогичной рифмовкой, но с использованием четырехстопного хорея («Флейта Вафилла», 1907; «Маскарад», 1908). Представляется весьма вероятным, что на строфико-ритмическое решение Шаламова повлияло ст-ние «На Страстной» Б. Пастернака со сходным, хоть и не столь регулярным чередованием четырех- и трехстопного ямба, с чередованием опоясывающих и смежных рифм, мужских и женских окончаний. «Стихи из романа» Шаламов к тому времени знал, хотя, вероятно, не все, — он получил их от Пастернака еще в Якутии (ср. упоминание о «Гефсиманском саде» в письме из Томтора от 28 марта 1953 г. — *ВШ7*.

---

[1] Очевидно, имеется в виду П. Н. Лебедев (1866–1912), великий русский физик, подтвердивший гипотезу Максвелла о давлении света на твердые тела. В примеч. к переписке с Пастернаком (*ВШ4* и *ВШ7*) ошибочно указан советский физик А. А. Лебедев, создатель электронного микроскопа.

Т. 6. С. 28). Однако главный пример для него — терцины «Божественной комедии» Данте. Эксперименты с использованием трехстиший встречаются у Шаламова уже в колымский период. Ср. «Здесь солнца дороги коротки...» (№ 1202).

Бетельгейзе — яркая красная звезда в созвездии Ориона. Свидетельство того, что еще на Севере Шаламов хорошо изучил карту звездного неба. Ср.: «Конечно, Оймякон...» (№ 33); «Космическое» (№ 1256). *Арарат* — здесь: библейский символ спасения людей от всемирного бедствия. Ср. далее упоминание *Ноя. Отяжелевшая вода...* — По-видимому, Шаламов имеет в виду так называемую «тяжелую воду», где атом водорода замещен атомом дейтерия. Тяжелая вода активно использовалась в работах по созданию атомного оружия. *А для романтиков-друзей / На пепельницу череп.* — Возможно, аллюзия на строки В. Маяковского: «Мы тебя доконаем, мир-романтик! <...> Стар — убивать. На пепельницы черепа!» («150 000 000», 1921). *Овидия прозренье.* — Возможно, имеется в виду пророчество из «Метаморфоз» Овидия (I, 256–258): «...Так судьбы гласят, — что некогда время наступит, / Срок, когда море, земля и небесный дворец загорятся, — / Гибель будет грозить дивнослаженной мира громаде» (пер. С. В. Шервинского). *И Диккенса романы* — здесь романы Диккенса служат символом сентиментальности и happy end'a. *Гренландий и Эстремадур...* — Шаламов вспоминает испанскую провинцию Эстремадуру, очевидно, еще и в связи с жестокими бомбардировками ее во время гражданской войны в Испании в 1936 г. *В старинном этом споре...* — Имеется в виду извечный конфликт личности и государства, «спор Евгения и Петра», воплощенный в поэме Пушкина «Медный всадник». Ср.: «Мне кажется, что особое место, которое литература, потеснившая историю, мифологию, религию, занимает в жизни нашего общества, досталось ей не из-за нравственных качеств, моральной силы, национальных традиций, а потому, что это единственная возможность публичной полемики Евгения с Петром. В этом ее опасность, привлекательность и сила» (Письмо к Ю. А. Шрейдеру 24 марта 1968 г. — *ВШ7*. Т. 6. С. 536).

АКомм: *«Мной написано несколько маленьких поэм: „Фортинбрас", „Аввакум в Пустозерске", „Гомер", „Атомная поэма", „Седьмая поэма"*[1]*. „Хрустели кости у кустов...", первое стихотворение — вступление к „Атомной поэме". Стихи имеют и самостоятельное значение. Написано стихотворение в 1954 году».*

85. Юность. 1967. № 5; *ТК*; *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 7. Л. 8; Ед. хр. 11. Л. 48 об., Л. 68, с вар.: дополнительная заключительная строфа «И не понять тоски дочерней / По неизвестному отцу. / И не понять зари вечерней, / Скользящей тихо по лицу».

АКомм: *«Написано в 1954 году в Калининской области, в поселке Туркмен. Одна из моих важных поэтических формул».*

[1] Следов «Седьмой поэмы» в архиве Шаламова не обнаружено.

86. *КТ94.* Автографы (черновые) — Ед. хр.11. Л. 50–54; Ед. хр. 7. Л. 28, загл. «День возвращения». Машинопись — *ПТраубе.* Обращено к Г. И. Гудзь.

...Моих нетленных мертвецов. — В том же 1954 г. были написаны первые *КР* — «Ночью», «Заклинатель змей» (*ВШ7.* Т. 1. С. 53–56, 118–124). Названия рассказов «Заклинатель змей», «Кладбище» (сюжет рассказа «Ночью» связан с лагерным кладбищем) записаны в той же тетради Ед. хр. 11 (Л. 43 об.). *Во всяком счастье, слишком зрелом, / Есть червоточинка, изъян* <...> *И возмечтать о счастье полном / Решались только дураки.* — Ср. те же мысли в записи, предшествующей черновому автографу ст-ния (Ед. хр. 11. Л. 49): «Во всяком счастье, как бы оно ни было полным, есть своя червоточина, есть своя трещинка, и только идиоты могут верить в полное счастье. Вот и я был таким идиотом. Целых семнадцать лет...». *Когда чертит рука Мильтона / Потерянный и Возвращенный рай.* — Имеются в виду поэмы Д. Мильтона (1608–1684). *Ни Чарджуя, ни Обдорска. Чарджуй* — старое название г. Чарджоу в Туркмении, где отбывала ссылку Г. И. Гудзь. *Обдорск* (ныне Салехард) — город в северной Сибири, знаменит своим острогом (крепостью-тюрьмой), как и расположенный неподалеку Березов (ср. раннее ст-ние «Меншиков в Березове», № 1134).

87. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 11. Л. 51 об.

88. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 11. Л. 45.

Тверской беседы... — Очевидно, имеется в виду серьезное объяснение с Г. И. Гудзь в г. Калинине (Твери). Туда Шаламов нередко приезжал, работая на Решетниковском торфопредприятии. См.: Апенченко Ю. Урок литературы от Шаламова в 1954 году (*Шсб-5.* С. 204–210). *...храм / Для «Всех Скорбящих».* — Объяснение с женой, видимо, происходило во время прогулки мимо церкви иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость», в 1950-е гг. закрытой.

89. Смена. 1988. № 22. Автограф — Ед. хр. 11. Л. 31.

90. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 8. Л. 14, с датой «1952 г.». Машинопись — *СлуцкийКТ.* Л. 15, с вар. последней строфы: «И ветки вербы и ольхи / Сжимают горло, / Глуша негромкие стихи / На тропах горных». Вкл. в *КТИзбр.*

91. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 8. Л. 5, с датой «1951».

92. *ЛГ.* 1966. 30 июля. Автограф — Ед. хр. 7. Л. 1. Вкл. в *КТИзбр.*

АКомм: *«Написано в 1950 году на Колыме, на ключе Дусканья „на пленэре“».*

***93.** *КТ94.* Автографы — Ед. хр. 11. Л. 44; Ед. хр. 87. Л. 48, с вар. Машинописи — *ПТраубе*, с вар.: ст. 13 «Распятый» с прописной буквы, добавлена строфа после ст. 4, та же, что в Ед. хр. 87 («Он бессознательно уверен...»); *ПинскийКТ*, с авторской правкой ст. 13: «Распятый» с прописной буквы. Включено в *КТизбр.* Печ. по *ПинскийКТ.*

Отголосок случая из лагерной жизни, описанного в рассказе «Выходной день» (*ВШ7.* Т. 1. С. 156–158; 1959).

***94.** *НМ.* 1988. № 6, без последних пяти строф. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 55 об.–56 (первые наброски без загл., с многочисленными нрзб. правками; 1954, Озерки); Ед. хр. 87. Л. 10, с загл. «Письмо» (зачеркнуто), «Из дневника», с вар.; Ед. хр. 7. Л. 33 (1954, Туркмен), загл. «Борису Леонидовичу Пастернаку», текст как в Ед. хр. 87, последняя строфа зачеркнута. Машинописи — *ПТраубе,* текст и загл. как в Ед. хр. 7, без зачеркивания, с вар.: ст. 1 «В еще таком недавнем прошлом»; *Ласкина* (в составе цикла «Стихи к Пастернаку»). Согласно оглавлению цикла «Стихи к Пастернаку» (*Копелев.* Ед. хр. 527. Л. 1) входит в этот цикл в качестве первого ст-ния (см. № 154, 208, 420, 720–727 и примеч.).

По воспоминаниям И. Емельяновой (Легенды Потаповского переулка. М., 1997. С. 332), ст-ние имело еще одно заглавие, «Молитва», но нигде в рукописях и машинописях оно не зафиксировано. В 1960-е гг. ст-ние в составе цикла «Стихи к Пастернаку» распространялось в самиздате. По самиздатской копии напечатано Вл. Рябоконем в *РМ* (1988. 8 июля), при этом весь цикл воспроизведен с большими искажениями (см. № 720–727 и примеч.). Это третье из больших ст-ний, посвященных любимому поэту. Первое, «Все то, что было упущеньем...» (№ 1234), было написано в Якутии, послано Пастернаку, но в сборники Шаламов его не включал. Второе, «Я в землю совесть не зарою…» (№ 1235), также было написано в Якутии, но Пастернаку Шаламов его, вероятно, не посылал и в списки посвящений не включал.

Средь притворства — вероятно, аллюзия на строку ст-ния Пастернака «Гамлет»: «Я один, все тонет в фарисействе». Шаламов получил стихи, вошедшие впоследствии в роман «Доктор Живаго», еще в Якутии — ср. письмо из Томтора 28 марта 1953 г. с упоминанием «Гефсиманского сада» (*ВШ7.* Т. 6. С. 28); вскоре после встречи с Пастернаком в Москве он получил на прочтение первые части романа, написав 20 декабря 1953 г. свой развернутый отзыв (*ВШ7.* Т. 6. С. 31–48).

95. Смена. 1988. № 22; *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 7. Л. 32. Вкл. в *КТИзбр* с загл. «Затихнут звуки тарабарщины».

96. *КТ94.* Автографы — Ед. хр. 8. Л. 10 об. (черновой) с датой «1952»; Ед. хр. 11. Л. 66 (беловой). Вкл. в *КТИзбр.*

Удар целебного копья — / Оружья мертвого Ахилла. — Древнегреческий миф об исцелении ран, нанесенных копьем Ахилла, этим же копьем мог быть известен Шаламову из «Божественной комедии» Данте (Ад. XXXI, 4).

97. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 11. Л. 48 об., с вар.: ст. 1 «Пьянствуй, смейся, пой и лги». В архиве Е. Л. Пастернак сохранился вар. с первыми двумя строфами: «Пьянствуй, смейся, пой и лги, / Только перстень береги. / Вспомнишь в горе и тоске / Каплю крови на руке. // Нежный, снежный белый мир / За воротами тюрьмы, / Где стелила мне постель / Обнаженная метель».

***98.** *ДиС*, загл. «Суриков. Утро стрелецкой казни», без последних пяти строф; *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 1. Л. 7 об.–8, загл. «Стрельцы (по Сурикову)», с вар.; Ед. хр. 11. Л. 60 об.–61 об., с вар. Машинопись — *ПТраубе*, загл. «Стрелецкая смерть». Вкл. в *КТИзбр*.

Первый вариант (Ед. хр. 1. Л. 7 об.–8; см. раздел «Другие редакции и варианты») относится к колымскому периоду. Ст-ние предполагалось к включению в 1953 г. в авторский сб. «Пять времен года», в цикл «Третьяковская галерея», куда намечались также ст-ния «Боярыня Морозова» (№ 99), «Меншиков в Березове» (№ 1134), «Рублев» (№ 1160), «У полотен Борисова» (№ 1246), «Ручей, его назвал художник...» (текст этого ст-ния не найден, сохранилось лишь упоминание в одном из перечней, см. *Список1969*). Непосредственным толчком к созданию ст-ний по мотивам картин В. И. Сурикова для Шаламова, вероятно, послужили не воспоминания о давнем посещении Третьяковской галереи, а репродукции этих картин, которые широко тиражировались в 1948 г. в связи со столетием со дня рождения великого русского художника. Такие репродукции Шаламов мог видеть в лагерной больнице, куда он нередко ходил из медпункта поселка Дусканья, либо на стенах самого медпункта (обычай украшать свои жилища «картинками» из журналов был популярен на Севере). Во всяком случае, точное описание деталей картин Сурикова в ст-ниях невозможно было сделать по памяти. (Подробнее см.: Есипов В. «Она еще жива, Расея...»: (Мотивы русской истории в «Колымских тетрадях» В. Шаламова) // *ПражскСб*. С. 23–39). Шаламов чрезвычайно высоко ценил творчество В. И. Сурикова. Ср. в ст-нии «Гаршин» (№ 1135): «...Вот Суриков — тот бы не сдрефил. / У Репина кишка тонка». Картина Сурикова посвящена второму стрелецкому бунту 1698 г., подавленному Петром I.

Никита Пустосвят — один из идеологов старообрядчества, активный участник первого стрелецкого бунта 1682 г., казнен царевной Софьей. Шаламов объединяет события первого и второго стрелецкого бунтов: если для первого одним из центральных вопросов действительно был вопрос о вере, то во время второго тема раскола практически не звучала. *Райский вертоград* — райский сад. Образ кровавых *национальных узоров* в заключительной строфе выражает убеждение Шаламова в повторяемости массового кровавого насилия в исторических судьбах России, ср. ст-ние «Все те же снега Аввакумова века» (№ 38 и примеч.).

АКомм: «*Написано на Колыме, на ключе Дусканья, летом 1949 года.*

Одно из первых записанных мной тогда стихотворений. Вместе с „Боярыней Морозовой". „Данте" — это поиски аналогии к историческим образам прошлого, выражение симпатий и антипатий на историческом материале и в то же время проверка на себе: годятся ли те герои для меня? Или для меня годятся только деревья, скалы, река?

Я получил диплом фельдшера, получил право лечить и, что еще более важно, получил право на одиночество. Я стал записывать стихи. Каждый грамотный человек держит в памяти большое количество стихотворений, чужих стихов самого разного тона. В зависимости от потребности, от состояния души, память поднимает в сознании то одну строфу, то другую. И дело ограничивается чтением наизусть знакомых отрывков, которые понадобились настроению. Пушкин ли это, Фет, Пастернак или Некрасов — это все равно. Если же чувство не находит отклика в чужих стихах, не находит выхода в чужих стихах — пишутся свои... Это — один из элементарных законов творчества.

„Утро стрелецкой казни" — одно из первых записанных мной тогда стихотворений. Я отправлял „Стрельцов" — и в письмах и включил его в „Первую колымскую тетрадь", „Синюю тетрадь", которая была вручена мной Пастернаку 13 ноября 1953 года в Лаврушинском переулке в Москве.

Есть развернутый вариант этого стихотворения (он есть в „Синей тетради"). Но для „Огнива" я давал первоначальный колымский текст. В „Огниво" это стихотворение не попало. Мне был предложен выбор: „Боярыня Морозова" или „Утро стрелецкой казни", и я остановился на „Боярыне Морозовой".

„Утро стрелецкой казни" вошло только в сборник „Дорога и судьба" в своем первоначальном варианте».

***99.** *Огниво*, загл. «Суриков. Боярыня Морозова», без строф 7 и 9, с вар.: ст. 1 «с древнею Москвою». Автографы — Ед. хр. 1. Л. 18–18 об., с вар.; *Копелев*. Ед. хр. 525. Л. 3, с вар.: ст. 13 «С той Москвой она не будет в мире».

Героиня картины Сурикова дворцовая боярыня Ф. П. Морозова — одна из деятельниц русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума, за упорную приверженность «старой вере» в 1671 г. была лишена царем Алексеем Михайловичем богатого имения и сослана в Пафнутьево-Боровский монастырь, где заморена голодом. Шаламов сознательно отступает от образов картины Сурикова («*женщина выходит на крыльцо*», в то время как у художника она сидит в санях; ср. первонач. вар.: «К терему подкатывают сани»), раздвигая ее временные рамки. *Знатная начетчица Псалтыри* — здесь: знающая и упорная последовательница старопечатной (дониконовской) литературы; начетчиками были все старообрядцы. Сочетание у Шаламова старой и современной лексики («*бердыши тюремного конвоя*», «*встретить арестантскую судьбу*») показывает его стремление провести параллели со своей эпохой и своей судьбой. *Ненавидя жарче, чем любя*. — Ср.: «Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее — сто лет, а все плохое — двести. Этим я отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века» — рассказ «Перчатка» (1972; *ВШ7*. Т. 2. С. 289).

АКомм: «Стихотворение написано в 1950 году на Колыме, как и „Утро стрелецкой казни", попавшее в сборник „Дорога и судьба". Кроме северных пейзажей, кроме многоцветного и многоформенного разнообразия камня, серебристых русских рек, багровых болот, внимание автора моей биографии обращается на русскую историю. В русской истории наибольшую твердость, наибольший героизм показали старообрядцы, раскольники. Вот о них-то и написана „Боярыня Морозова", о них-то и написано „Утро стрелецкой казни" и моя маленькая поэма „Аввакум в Пустозерске"».

100. *ШЛ*; «И я, как тень, бреду за Дантом...»: Данте в русской поэзии. М., 2015. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 31.

Этот случай упоминается в «Божественной комедии» Данте (Ад. XIX, 19). Образ топора как «орудия добра и зла» не раз фигурирует в лирике Шаламова. Ср. № 966.

АКомм: *«Написано в 1950 году. Входит в мои допотопные, дотетрадные записи вместе с „Картографом", „Стлаником", „Боярыней Морозовой", „Стрельцами".*

Попытка указать на какие-то необходимые для меня исторические и поэтические аналогии. Описывает истинное происшествие биографии Данте».

101. Юность. 1981. № 8. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 5. Вкл. в *КТИзбр*.

102. *ШЛ*. Автографы — Ед. хр. 5. Л. 3, с вар.: ст. 1–4 «Пятый день хожу на почту / За твоим письмом / Видно счастье наше прочно / Видно прочен дом»; Ед. хр. 8. Л. 27, с вар.: ст. 1 «Каждый день хожу на почту»; Ед. хр. 8. Л. 32, с вар.: ст. 1 «Сотый раз иду на почту». Машинопись — *ПТраубе*, с загл. «О твоих письмах».

Обращено к Г. И. Гудзь. Весьма странным является допущение дочери О. В. Ивинской И. И. Емельяновой о том, что это ст-ние могло быть посвящено Шаламовым ее матери (см.: Емельянова И. Легенды Потаповского переулка. М., 1997. С. 309).

АКомм: *«Написано в 1952 году в Барагоне, близ Оймяконского аэропорта и почтового отделения Томтор. Об этом времени мной написано еще одно большое стихотворение „Почта Томтора"*[1] *— „парное" стихотворение к „Сотому разу"».*

103. Юность. 1981. № 8. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 2 об., с датой «1951 г.». В *Списке1969* под 1951 г. Обращено к Г. И. Гудзь.

104. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 17, с датой «1952 г.». Вкл. в *КТИзбр*.

105. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 38, с датой «1952 г.». В архиве Е. Л. Пастернак имеется вар. со ст. 2: «Вечерний час. И день твой — он вчерашний» и ст. 11: «Она смогла бы и тебе помочь». Обращено к Г. И. Гудзь.

---

[1] См. № 1221.

Четвертый час утра. Он твой — восьмой, / Вечерний час. — Разница во времени между Колымой и Москвой составляет 8 часов.

106. *Стихи88*. Автографы — Ед. хр. 6. Л. 33 (строфа 1, входившая в черновой автограф ст-ния «Заклятие весной», № 5); Ед. хр. 11. Л. 46.

107. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 32 об., с датой «1952 г.».

108. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 8. Л.34, с вар.: ст. 2 «Песня мертвым не нужна», с датой «1952 г.».

109. *КТ94*. Машинопись — *ПТраубе*.

110. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 2. Л. 18 (*СТ*).

111. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 27.

Мотивы встречи с «океаном» позволяют предположить, что ст-ние относится к 1952 г. и навеяно поездкой к берегу Охотского моря (ср. рассказ «Путешествие на Олу» — *ВШ7*. Т. 2. С. 419–424).

112. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 8 об.–9 (*ЯТ*).

Повтори же заклятье Навина, / Солнце в небе останови... — Согласно Библии, Иисус Навин, предводитель еврейского народа, во время решающего сражения остановил на небе Солнце и Луну, чтобы противник не смог отступить (Нав. 10: 12).

113. *КТ94*.

114. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 12, с загл. «Колыбельная», с вар.: ст. 1–2 «Мир заснул, в клубок свернулся / Изогнул хребет», с датой «1952 г.». В *КТИзбр* с загл. «Колыбельная».

115. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 11, с датой «1952».

...пророки, <...> Что на стене рукою рока / Писали грозные слова — аллюзия на библейский рассказ о пире вавилонского царя Валтасара, во время которого таинственная рука начертала на стене слова, впоследствии истолкованные пророком Даниилом (Дан. 5: 26–28).

116. *Огниво*, загл. «Холодный день». Автограф — Ед. хр. 8. Л. 44 об. с датой «1952».

117. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 11. Л. 32 об.

118. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 6. Л. 14, загл. «Тишина»; Ед. хр. 7. Л. 3; Ед. хр. 19. Л. 9 (здесь к ст. 9 «*Комары поют в два тона*» добавлено пояснение: «а не в унисон»).

Визг рязанского страданья — здесь: деревенские частушки.

119. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 20, с датой «1952».

120. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 19 об., с датой «1952». Первоначальный вар. строф 2 и 3: «И первый луч скользнет по морю / И птицу белую зажжет, /А на винтовочном затворе / Холодный осушает пот. // Он сам находится в дозоре, / И как бы лес ни будет густ, / Ползет, как будто ищет вора, / Ощупывая каждый куст». Очевидно, связано с пребыванием в приграничном поселке Ола в 1952 г. (ср. рассказ «Путешествие на Олу» — *ВШ7*. Т. 2. С. 419–424).

121. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 27 об., с датой «1952». В *Списке1969* под 1952 г.

Вероятно, как и предыдущее пейзажное ст-ние (№ 120), связано с посещением в 1952 г. поселка Ола на побережье Охотского моря в поисках работы после освобождения. См. рассказ «Путешествие на Олу» (*ВШ7*. Т. 2. С. 419–424).

122. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 11. Л. 63.

123. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 43, с вар.: ст. 11 «Со дна огромного колодца» и датой «1952 г.».

Со дна библейского колодца / На небеса. — В Библии упомянуто несколько колодцев, связанных с важными событиями священной истории (встреча Иакова с Рахилью, Быт. 29: 1–12; встреча Моисея с Сепфорой, Исх. 2: 16–17, и пр.). Однако, скорее всего, Шаламов имеет в виду колодец, в который был брошен Иосиф братьями, желавшими ему смерти (Быт. 37: 18–24): катастрофа и преддверие гибели оказываются первым шагом к последующему возвышению («*на небеса*»).

124. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 87. Л. 19, с вар.: ст. 1–4 «Мы путешествуем и даже / Остановили самолет, / Предпочитая экипажи, / Годящиеся для болот».

Связано с Якутией.

Известный пушкинский мотив. — Имеется в виду ст-ние Пушкина «Телега жизни» (1823).

125. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 46, с датой «1952 г.». Вкл. в *КТИзбр*.

126. *ДиС*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 43, с пометой «1950?». Вкл. в *КТИзбр*.

АКомм: «*Написано в 1950 году на Колыме*».

127. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 7. Л. 27 об.; Ед. хр. 91. Л. 68.

Аллегорическое ст-ние, где «изменение фарватера» олицетворяет изменение хода истории страны. Ср. ту же тему в «парном» ст-нии «Мы — лоцманы большой реки...» (№ 476) и примеч. Вероятно, навеяно плаванием по реке Колыме до Магадана в 1952 г.

128. *КТ94*.

129. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 2. Л. 3 (*СТ*), с вар.: ст. 1 первоначально «Оборванец и вор» (зачеркнуто карандашом, тем же карандашом вписано «босой» и тоже зачеркнуто и вписано карандашом же «В староверской избе»). Машинопись — *ПТраубе*, с вар.: ст. 1 «Оборванец босой, я читаю Шекспира».

Вероятно, связано с посещением во время фельдшерской работы на Дусканье жилища семьи староверов, раскулаченных и сосланных на Север. Шаламов использует традиционную форму английского сонета в метрике 4-стопного анапеста. Эксперименты с формой сонета характерны для Шаламова периода Дусканьи и последних лет работы в лагерной больнице, так как в это время он мог пользоваться книгами Петрарки, Шекспира и других классиков из библиотеки поселка Дебин, куда имел возможность выходить. (В этой библиотеке имелось, по его словам, «тысячи две

томов»; см.: «Слишком книжное» — *ВШ7*. Т. 7. С. 56–57). Другие эксперименты с формой сонета, а также терцеты Шаламова см. № 1038, 1200, 1204 и др.

Беспоповцы — старообрядцы, считающие благодать священства прерванной и отрицающие какую бы то ни было церковную иерархию. *Гонерилья* — одна из дочерей короля Лира в одноименной трагедии Шекспира. *...над датской землей.* — По-видимому, в подтексте этого соотнесения «датской» и «сибирской», «колымской» земли — известные строки из «Гамлета» (акт II, сц. 2): «...Дания — тюрьма <...>. И притом образцовая, со множеством арестантских, темниц и подземелий».

130. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 13.

131. Юность. 1968. № 5. Автограф — Ед. хр. 11. Л. 38.

***132.** *Огниво*, без строф 5 и 6. Автограф (черновой набросок) — Ед. хр. 8. Л. 40. Вероятно, задумывалось как самостоятельное ст-ние (см. раздел «Другие редакции и варианты»). Машинопись — *ПТраубе.*

Очевидно, связано со встречей с женой в пос. Туркмен.

Ектенья, многолетие — части богослужения. *...как на свадьбе, потолки / На нас крошат солому.* — Солома часто использовалась в традиционных обрядах бракосочетания.

133. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 11. Л. 23.

134. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 8 об., с датой «1952 г.».

135. *ДП-1986*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 4, с вар.: ст. 7 «И остудить хотя бы рот», с датой «1951 г.». Вкл. в *КТИзбр.*

136. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8 л. 28 (крайняя дата 1953 г.), с вар.: перед ст. 1 «Как николаевский солдат, / Отбывший сроки службы, / Вернусь на родину назад / Усталым и ненужным. / Не жду родимого села, / Приветственных объятий, / И у любимого стола / Я не найду занятья».

Николаевский солдат. — Имеется в виду солдат (рекрут) времен Николая I, служивший 25 лет.

137. *ЛО*. 1989. № 8 (публ. А. А. Морозова). Автографы — Ед. хр. 8. Л. 38 об.–Л. 39 об. (объединены строфы набросков двух разных ст-ний), с датой «1952 г.» Публикацию А. А. Морозова в целом трудно признать аутентичной, так как она имеет общее название «Последние стихи», при этом данное ст-ние помещено под рубрикой «Из „Колымских тетрадей“», а основная часть ст-ний — под рубрикой «Из цикла „Неизвестный солдат“» (так А. А. Морозов произвольно назвал стихи, записанные им в 1980 г. с голоса Шаламова в доме инвалидов и престарелых). Подробнее см. в наст. изд.: т. 2, раздел «Последние стихи» и примеч. Очевидно, при первой публикации данного ст-ния использовалась самиздатская копия из *КТмаш*, при этом публикатор допускал вольности в обращении с текстом (меняя «Терновый твой венец» на «Терновый мой венец» и добавляя на свой вкус знаки препинания).

Название сборника, задуманного еще на Севере, означало особую интимность обращения и, возможно, поначалу было связано с Б. Пастернаком. В то же время оборот «лично и доверительно», употреблявшийся обычно в сугубо частных письмах, подчеркивает стремление Шаламова обрести не широкого, но чуткого, понимающего читателя, которому можно откровенно поведать обо всем пережитом. Непосредственно к составлению сборника он приступил в 1954 г. в Озерках, о чем свидетельствует сохранившийся список из 63 колымских ст-ний, которые он намеревался в него включить (Ед. хр. 15. Л. 5–5 об.), но многие из них тогда еще предстояло дорабатывать. Впоследствии сб. *ЛиД* сократился до 58 ст-ний, однако общий порядок в основном сохранился. Так, практически неизменной осталась группа начальных ст-ний, начиная с «Я, как Ной, над морской волною...» (№ 138). Поначалу последним в списке стояло ст-ние «Густеет темный воздух...» (№ 193), однако на заключительном этапе работы над сборником, уже в 1960-е гг., Шаламов сделал финальным ст-ние (балладу) «Фортинбрас» (№ 195), ранее входившее в последний сб. *КТ* «Высокие широты».

Основная часть автографов сохранилась в тетрадях Ед. хр. 10 (1953–1954; на обложке этой тетради автором написано красным карандашом «1953», затем, очевидно, позднее, добавлено синим карандашом «1954») и Ед. хр. 13 (1954), по которым главным образом и производится датировка. Наличие в Ед. хр. 13 вариантов ст-ний, частично написанных или задуманных на Колыме («Живого сердца голос властный…», № 140, «Похороны», № 143, «Сосны срубленные», № 153, и др.), дает основание прибегнуть в таких случаях к двойным датам. Обоснование отдельных датировок см. в примеч. к соответствующим ст-ниям. Машинописи имеются в материалах к сб. (Ед. хр. 79).

Три ст-ния *ЛиД* — «Тайга», «Гроза» и «Июль» (№ 150–152) — вошли в первую опубликованную Шаламовым подборку «Стихи о Севере» (Знамя. 1957. № 5).

138. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 11 об., с вар.: ст. 1–4 «Я подобно седому Ною / Голубей кидаю вперед. / Над туманной белой страною, / Что ко мне сейчас подплывет». В *МЗ-1967* заключительные строки: «Над пустынною белой страною, / Что ко мне сейчас подплывет». Вкл. в *КТИзбр*.

Неоднократное обращение Шаламова к библейским сюжетам, в частности к истории о Ноевом ковчеге (ср. также «Атомную поэму», № 84), служит подтверждением глубокого следа, оставленного воспитанием в священнической семье.

Голубей кидаю вперед. — Ной, согласно Библии, посылал из ковчега голубя, и тот вернулся с оливковой ветвью, означавшей

близость земли. (Шаламов хорошо знал о христианской символике голубя. Ср. в письме Н. А. Кастальской (ок. 1955 г.): «Голубь мира, рисованный Пикассо, — это ведь сознательно выбранная заправилами движения (за мир. — *В. Е.*) церковная эмблема с тем, чтобы не оттолкнуть религиозных людей» — *ВШ7*. Т. 6. С. 192).

139. Аврора. 1987. № 9 (публ. Л. Зайвой). Машинопись — *ПТраубе*. Предлагалось в *ДиС*, отклонено (см. внутреннюю рецензию В. Дементьева: *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2121. Л. 5). Вкл. в *КТИзбр*.

140. Юность. 1967. № 5, с вар.: ст. 1 «Больного сердца...»; *МО*, так же. Автографы — Ед. хр. 7. Л. 36, как в *МО*; Ед. хр. 11. Л. 36, с вар.: ст. 1 «И только сердца…». Вкл. в *КТИзбр*.

Как пчела у Метерлинка... — Имеется в виду книга «Жизнь пчел» М. Метерлинка, которую Шаламов, вероятно, прочел в детстве, в издании 1915 г. (пер. Н. Минского).

АКомм: *«Написано на ручье Дусканья в 1950 году. Это стихотворение энергично переделывалось мной в 1954 году, но, как всегда, из переделки ничего не вышло. Удержано на грани полного разрушения. Еще бы шаг, еще бы один вариант, и я бы потерял к стихотворению всякий интерес. В печатаемом варианте считаю это стихотворение одним из лучших тех лет. Опубликовано в журнале „Юность“, в самой моей значительной журнальной публикации»*.

141. *ДП-1966*. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 21 об. В *МЗ-1967* с вар.: отсутствует строфа 6, в строфе 8 исправлена последняя строка на «Арктические страны», в строфе 9 исправлены две последние строки на «Где жизнь моя — как долг. / Стремленье и надежда». Вкл. в *КТИзбр*.

В ст-нии отражены мотивы известных картин В. М. Васнецова «Аленушка» и «Иван-царевич на Сером Волке».

АКомм: *«Написано в поселке Туркмен Калининской области в 1954 году. Это было время, когда я писал беспрерывно, каждую свободную минуту, и думал, что этот поток никогда не иссякнет.*

Попытка выразить в такой сложной форме мое тогдашнее душевное состояние, ибо жизнь хранила немало ловушек, и эти ловушки надо было, во-первых, угадать, почувствовать, предвидеть, во-вторых, избежать, а в-третьих, воспеть, определить в стихи. „Птицелов“ — важная страница моего поэтического дневника».

142. *ЛР*. 1987. 3 июля. Автограф — Ед. хр. 9. Л. 36. Вкл. в *КТИзбр*.

Очевидно, связано с пребыванием на берегу Охотского моря в 1952 г.

***143.** *ЛР*. 1987. 3 июля. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 24; Ед. хр. 13. Л. 6 об.–7 об. Машинопись — *СлуцкийКТ*. Л. 32–33, с вар. Вкл. в *КТИзбр*.

Лохматый пудель, адский дух — аллюзия на Мефистофеля из «Фауста» Гете.

144. *КТ94*.

145. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 17.

Шамполион — Ж. Ф. Шампольон (1790–1832), французский ученый, первый исследователь египетских иероглифов.

146. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 79. Л. 9.

Приметы колымской «цивилизации» (силикатный кирпич, железобетон) Шаламов мог видеть при поездке в Магадан в 1952 г.

147. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 3 об.–4 с последней строфой: «И вскакивая по ночам, / Как явно сумасшедший, / Рыдает, громко бормоча / Слова веков прошедших». Вкл. в *КТИзбр.*

148. Знамя. 1993. № 1. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 12 об., с вар.: ст. 1 «Не то, что запрокинув голову» (исправлено на вар. основного текста). Вкл. в *КТИзбр.*

149. Кодры. 1990. № 5. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 17–17 об.

150. Знамя. 1957. № 5, с вар. последней ст.: «В июльский полуденный час» — по-видимому, редакционное вмешательство: ни в одном из автографов такой вар. не зафиксирован; редактор мог быть недоволен двусмысленностью последней строки («Меня не упуская с глаз») и она была заменена более «приглаженным» вар. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 25; Ед. хр. 13. Л. 2–3.

АКомм: *«Написано в 1954 году в поселке Туркмен Калининской области. Напечатано впервые в первом цикле моих стихов, первой моей стихотворной публикации».*

151. Знамя. 1957. № 5. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 82 и об.

АКомм: *«Написано в 1954 году в поселке Туркмен. Лучшая строфа — вторая. „Гроза" входила в цикл „Стихи о Севере", напечатанные в журнале „Знамя"».*

152. Знамя. 1957. № 5, без строф 6, 8–11. Машинопись — Ед. хр. 79. Л. 13. В *МЗ-1967* убрана строфа 6, в строфе 7 заменена последняя строка на «Для человеческой мечты», после строфы 8 вставлена новая: «И к нам суровее и проще / Зимой относится она. / Здесь красит волосы и рощи / Одна и та же седина». В первой строке следующей строфы «И» заменено на «Там», исправлены две последние строки заключительной строфы: «...И мы горды такой основой, / Таким подножием мечты».

АКомм: *«Написано в 1949 году на ключе Дусканья. Стихотворение чуть многословно, как почти все с ключа Дусканья, но содержит в себе полную „модель", как теперь говорят, моих художественных принципов. Для публикации журнал „Знамя" привлекла новизна решения темы».*

***153.** Москва. 1958. № 3, без строфы 2; *Огниво*, с вар. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 34 об., с вар.; Ед. хр. 13. Л. 8–9, с вар. загл. «Срубленные сосны», «На лесоповале» и др. вар. строф; Ед. хр. 23. Л. 78 (беловой; 1957 г.) — очевидно, Шаламов переписал ст-ние для журнальной публикации. Машинопись — *Копелев*. Ед. хр. 525. Л. 4, с вар.: ст. 16 «На глазах у матери-земли», строфа 4 зачеркнута. В экз. *Огниво*, подаренном Е. С. Ласкиной,

автором вписана убранная редакцией строфа 4 с тем же вар. ст. 16, что и в машинописи из фонда Копелева. Вкл. в *КТИзбр*.

АКомм: *«Одно из главных, опорных стихотворений сборника. У меня много стихотворений о соснах, хотя сосен на Колыме почти нет. Дерево Колымы — лиственница даурская. Написано в 1953 году на Колыме. В сборнике „Огниво" дан неполный, урезанный текст по сравнению с журнальным. Но и журнальный текст неполон. Сейчас печатается истинный текст одного из главных моих стихотворений. „Сосны срубленные" — одно из самых характерных для моей поэтики»*.

154. Юность. 1969. № 3, как первое ст-ние цикла «Поэту» (вторым помещено ст-ние «Орудье высшего начала...», см. № 720–727 и примеч.), без строфы 4, с опечаткой в строфе 6: «поры» вместо «споры»; *ТК*, с загл. «Поэт», с исправлением опечатки и специально проставленным ударением в ст. 1 («из окóн»), без строфы 4; *КТмаш*, без загл., с вар.: ст. 1 «Он из окна своей квартиры...». В *Списке1969* датировано 1953 г., со ст. 1 как в *КТмаш*. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 5 об.–6, с вар.: ст. 1 «Он из окна своей квартиры». Машинописи — *Копелев*. Ед. хр. 527. Л. 4–5, в составе цикла «Стихи к Пастернаку» (см. № 720–727 и примеч.); *Ласкина*, также в составе цикла. В первый раздел цикла входят четыре ст-ния 1950-х гг. из *КТ*: «Поэту» (№ 94), комментируемое ст-ние, «О тебе мы судим разно...» (№ 208) и «Он в чердачном помещенье...» (№ 420; в автографе оглавления цикла на л. 1 перед машинописью из фонда Копелева загл. этого ст-ния вычеркнуто). Печ. по машинописи из фонда Копелева.

Маловероятно, что изменение первой строки («из окóн» вм. «из окна») в «Юности» и *ТК* является редакционным, поскольку использовано ненормативное ударение (правильно — óкон), что подчеркнуто специально проставленным в *ТК* ударением («из окóн»). Авторский характер изменения первой строки подтверждается и машинописью из фонда Копелева. Напротив, изъятие строфы 4 в «Юности» и *ТК* может иметь редакционный характер; редакторские сокращения в опубликованных при жизни ст-ниях Шаламова отмечены неоднократно. Сохранение опущенной в «Юности» и *ТК* строфы в наст. изд. мотивировано тем, что в машинописи из фонда Копелева (а также в машинописи из архива Ласкиной) эта строфа присутствует, при этом можно предположить, что Шаламов с особым вниманием отнесся к аутентичности текстов, составляющих столь важный для него и биографически, и поэтически цикл «Стихи к Пастернаку», в составе которого и находятся машинописи из фонда Копелева и архива Ласкиной.

АКомм: *«Написано в декабре 1953 года в поселке Туркмен Калининской области. Входит в цикл „Стихи к Пастернаку". Опубликовано впервые журналом „Юность" как первое стихотворение цикла „Поэту"»*.

155. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 30–30 об. Машинопись — Ед. хр. 79. Л. 15–16.

156. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 89. Л. 26, с вар.: ст. 1 «Где-то около Витима». *МЗ-1967*, с вар.: ст. 1 «Где-то около Витима», ст. 2, 3 «Над родимою землей / Облаков кудрявых мимо», без строф 5, 6, 7, 9.

«Парное» к ст-нию «Я руку протянул пилоту...», № 479. По-видимому, навеяно перелетом из Томтора в Иркутск в начале ноября 1953 г. — окончательным расставанием с Колымой.

Витим — река в Восточной Сибири, приток Лены. *И во чреве самолета, / Как Иона у кита...* — аллюзия на библейский сюжет (Иона. 2: 1–11).

157. *ШЛ*, без загл. и строф 4–7. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 28 об.–29 (черновой).

...всякий, имеющий уши, / Да слышит — евангельская формула (Мф. 11: 15; Лк. 8: 8 и др.).

АКомм: «*Написано в 1956 году в Калининской области. Опубликовано с сокращениями под назв. „Скрипка, как желтая птица...“*[1]».

158. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 9 об.–10. Вкл. в *КТИзбр*.

159. *КТ94*.

160. Смена. 1988. № 22. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 28 (черновой); Ед. хр. 13. Л. 3–3 об. (беловой).

161. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 6. Вкл. в *КТИзбр*.

162. *Огниво*, загл. «Осень» (по-видимому, редакционное). Автограф — Ед. хр. 79. Л. 24, с вар.: ст. 1 «Дуб и рослый и плечистый...». Вероятно, перемена связана с особой любовью Шаламова к клену. Ср.: «Мое любимое дерево — клен. Не есенинская береза, а именно клен, человеческой пятерней — ладонью» (*ЗапКн*. С. 336; 1972 г.).

АКомм: «*Написано в 1954 году в поселке Туркмен. Написано из-за последней строфы*».

163. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 19 об.

164. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 17 об., с вар.: ст. 3 «И тусклым зеркалом Персея».

Скорее всего, Шаламов отталкивался здесь также от образов известной картины П. Рубенса «Персей и Андромеда» из коллекции Эрмитажа, широко репродуцировавшейся. Шаламов дорожил этим ст-нием, о чем свидетельствует включение его в список *КТИзбр*.

Расея в качестве именования России с негативным подтекстом жестокости и антикультурности не раз встречается у Шаламова (ср. в заметках «Достоевский»: «Как мало изменилась Расея» — *ВШ7*. Т. 5. С. 203) и, возможно, соотносится со ст-нием С. Есенина

---

[1] Вероятно, Шаламов имел в виду название в оглавлении, по первой строке.

«Снова пьют здесь, дерутся и плачут...» (из «Москвы кабацкой», 1924) с его строкой «Ах, Расеюшка, ты Расея — азиатская сторона». Образ каменеющей и гибнущей Музы связывается с трагической судьбой поэтов и писателей, погибших от репрессий в 1930-е гг. Шаламова глубоко волновала эта тема, о чем свидетельствует составленный им в 1954 г. для Б. Пастернака «синодик» поэтов и писателей, «кого убили и заставили замолчать» — Ед. хр. 10. Л. 88. (Подробнее: Есипов В. «Она еще жива, Расея...»: (Мотивы русской истории в «Колымских тетрадях» В. Шаламова) // *ПражскСб.* С. 23–39). Та же тема отражена в более раннем ст-нии из *СТ*, посвященном М. Цветаевой, «Наедине со смертью» (№ 817): «Мне трудно тебе называть имена / Российского мартиролога...».

Согласно греческой мифологии, сын Зевса *Персей*, убив *горгону Медузу*, взгляд на которую обращал в камень (*...поглядит в глаза Медузе, / Окаменеет...*), спас эфиопскую (отсюда *негритянка Андромеда*) принцессу *Андромеду* от морского чудовища. Шаламов не стремится сколько-нибудь точно воспроизвести миф; его Персей, скорее, — обобщенный образ безжалостного героя-победителя (отсюда не имеющие аналогий в мифологической истории Персея братоубийство, уничтожение химер и кентавров: *Химер, ничуть не виноватых, / Кентавров рубит сгоряча, / Он голову родного брата / Надел на острие меча*).

165. *КТ94.*

166. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 24, дата «1952» (*ЯТ*, 1952). Вкл. в *КТИзбр.*

167. В мире книг. 1988. № 8. Автограф (беловой) — Ед. хр. 13. Л. 12 об.

168. В мире книг. 1988. № 8. Вкл. в *КТИзбр.*

169. *ДН.* 1987. № 3. Автограф — Ед. хр. 11. Л. 65 об. (тетрадь 1953–1954 гг.).

170. В мире книг. 1988. № 8. Автограф — Ед. хр. 11. Л. 59–59 об., с вар.: ст. 5– 8: «Меня несут, как плащаницу, / Как легкий шелковый ковер, / В мою последнюю больницу / Среди темно-лиловых гор».

171. *КТ94.* Автографы — Ед. хр. 11. Л. 58; Ед. хр. 87. Л. 28. Вкл. в *КТИзбр.*

172. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 11. Л. 57, с вар.: ст. 1 «Ушло закрытой бандеролью», ст. 17–20: «Все объясненья, оговорки / Кой-как упрятаны в стихи, / И я глядел с надеждой горькой / На поездные огоньки». В *МЗ-1967* во второй строке строфы 4 «потом» исправлено на «притом».

173. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 11. Л. 45 об.

174. *Стихи88.* Автографы — Ед. хр. 11. Л. 41 об.; Ед. хр. 87. Л. 35.

175. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 11. Л. 28.

176. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 11. Л.21 об.

Ст. 3 и 4 (*«Зари, смешавшейся с кипреем / Малиновый тяжелый свет»*) повторяют ст. 7 и 8 из ст-ния якутского периода (№ 1224).

Последняя строфа с упоминанием *двоеперстного креста* указывает на связь данного ст-ния с поэмой «Аввакум в Пустозерске» (№ 263).

177. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 11. Л. 41.

Реалии бурного паводка на реке Колыме позволяют соотнести это ст-ние с впечатлениями весны 1952 г., накануне речной поездки в Магадан (ср. ст-ние «Изменился давно фарватер...», № 127 и примеч.; ср. также № 182 и примеч.).

178. *ЛГ.* 1966. 30 июля. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 9 (*СТ*). Вкл. в *КТИзбр.*

АКомм: «*Написано в 1949 году на Колыме, на ключе Дусканья. Это — самое колымское мое стихотворение. Я помню, где оно писалось в ноябре сорок девятого года на замерзшем ключе Дусканья. Я шел по зимнему льду — а до больницы, где я работал, было километров пятнадцать. Помню скалу, полынью, от которой валил белый пар, и как я едва отогрел руки, чтобы нацарапать на клочке бумаги, стирая выступивший иней, это самое стихотворение.*

Стихи эти никогда не исправлялись. Нарушить их ритмический рисунок мне казалось кощунством. Стихотворение написано „на пленэре", это не пейзаж по памяти, не запись по памяти.

Для поэта пейзаж по памяти — обычное дело. Все пейзажи Пастернака — пейзажи по памяти, как бы ни уверял К. И. Чуковский в противоположном[1]*. Это стихотворение напечатал С. С. Наровчатов в большой моей подборке стихов о Дальнем Севере в „Литературной газете" 30 июля 1966 г.*».

179. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 9. Л. 12. Дата по *Списку1969* «1950 г.».

180. *КТ94.*

Роптавший в горести напрасно — слегка переделанная цитата из «Оды, выбранной из Иова» (1751) М. В. Ломоносова: «О ты, что в горести напрасно / На Бога ропщешь, человек!».

181. *Стихи88.*

182. *КТ94.* К обоснованию датировки см. примеч. к № 177.

183. *КТ94.* Связано с Г. И. Гудзь.

184. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 10. Л. 7 об., с вар.: ст. 1 «Мне б только отдохнуть немножко». Вкл. в *КТИзбр.*

185. *КТ94.*

186. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 13. Л. 21, загл. «Весна». Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 106, Л. 59, загл. «Май».

Ср. также ст-ние «Наступающим маем...» (№ 473). Первая строка отчасти повторяется в ст-нии «Был песок, сухой, как порох...» (№ 444).

---

[1] Шаламов полемизирует с высказыванием К. Чуковского о Б. Пастернаке: «Особенность его стихов о природе — конкретность, определительность, точность. Все они написаны с натуры» (Чуковский К. Борис Пастернак // *НМ.* 1965. № 1. С. 176).

187. *КТ94.*

188. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 13. Л. 14 об., загл. «Оттепель в апреле», с вар.: ст. 14 «На эту лживую весну».

189. *КТ94.*

190. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 13. Л. 21, с вар. загл. «Закат», «Последний луч».

191. *Огниво.* Автограф — Ед. хр. 13. Л. 19 (черновой), с вар.: ст. 1–4 «Хожу, вздыхаю тяжко / И спину гну в дугу. / Рву белые ромашки / Для Лиды на лугу».

Посвящено юношеской любви Шаламова Л. В. Перовой-Сигорской. См. также ст-ние «Юность» (№ 1133) и примеч.

192. *КТ94.* Автографы — Ед. хр. 11. Л. 46 об.–47; Ед. хр. 87. Л. 24; Ед. хр. 13. Л. 16–16 об., с вар.: дополнительная начальная строфа «Доколе, боже мой, доколе / Предав все лучшее тщете, / Нам ставить памятники боли / И распинаться на кресте» (пронумерована: «1)»).

Ст-ние обращено к Г. И. Гудзь (о чем говорит упоминание о «среднеазиатских песках», то есть о пребывании жены вместе с дочерью в ссылке в Туркмении, и ряд других деталей) и связано со сложным моментом отношений с нею.

...похоронена без гроба <...> в холщовой простыне. / Так хоронили в катакомбах... — В обширных катакомбах Рима находится множество захоронений ранних христиан. Хоронили их без гроба, заворачивая в белую плащаницу. К первым христианам относятся и строки ниже: *«Кто нес под землю огоньки / Своей неистребимой веры...». Не мастера ли Мстеры...* — Имеется в виду известный народный промысел, выросший из иконописи. *...не втолкан толк* — парафраз русской пословицы: «Толк-то есть, да не втолкан весь». *Когда догадкою Толстого...* — По-видимому, речь идет о концепции Л. Толстого о непротивлении злу насилием.

193. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 19 об., с вар.: ст. 7 и 8 «И мне от лихорадки / Облаткам не помочь». Машинопись — *СлуцкийКТ.* Л. 24. Вкл. в *КТИзбр.*

194. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 8. Л. 16, с датой «1952».

***195.** *ТК.* Включено в антологию: Гамлет: Вариации: По страницам русской поэзии. М., 2012. Автографы (черновые) — Ед. хр. 14. Л. 28 об.–29, без загл. (1954); Ед. хр. 16. Л. 45–49, загл. «Баллада о Фортинбрасе»; Ед. хр. 79. Л. 47–49.

Фортинбрас — герой трагедии Шекспира «Гамлет», норвежский принц, становящийся после гибели Гамлета королем Дании. Любопытная трактовка ст-ния Шаламова была дана во внутренней рецензии И. Гринберга на рукопись *ТК*: «...Оно посвящено тому, кто завершает трагедию Шекспира, занимает место Гамлета — оно оказывается умным и тонким истолкованием шекспировского образа, имеющим вместе с тем современное звучание:

удачливый завоеватель оказывается носителем буржуазной реакции, мещанской посредственности и резко контрастирует со своим благородным предшественником» (*РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 22. Ед. хр. 1341. Л. 7).

Златые горы

Стихотворения сборника создавались главным образом после Колымы, в 1954–1955 гг., в пос. Туркмен Калининской (Тверской) области. Частично сюда вошли и северные стихи из тетрадей Ед. хр. 7 и Ед. хр. 10, относящихся к 1953–1954 гг. (на обложке последней тетради автором сначала было проставлено «1953», затем исправлено на «1954», что точнее, так как в этой тетради преобладают автографы послеколымских стихов, а в конце имеются черновые наброски поэмы «Аввакум в Пустозерске»). Часть автографов 1954–1955 гг., включая беловики поэмы «Аввакум в Пустозерске», сохранилась в Ед. хр. 87: это отдельные листы серой бумаги, которой пользовался Шаламов в пос. Туркмен. Эти источники, наряду с *АКомм*, послужили главным основанием для датировки. Некоторые автографы обнаружены в материалах к несостоявшемуся сборнику «Разлука» (Ед. хр. 83). Основная часть первоначальных машинописей сохранилась в папке Ед. хр. 80.

В рукописях Ед. хр. 87 не раз встречается название «Возвращение», рассматривавшееся, возможно, как вариант названия всего сборника, однако в итоге он был назван по одноименному ст-нию (№ 204). Данное название — горько-иронический парафраз известной народной песни «Когда б имел златые горы» — отчетливо указывает читателю на колымские лагерные «золотые горы», которые прошел герой и с которыми так или иначе связано большинство ст-ний сборника.

Главным произведением сборника стала поэма «Аввакум в Пустозерске» (№ 263). В предварительном варианте состава (Ед. хр. 80) перед этой поэмой располагалась баллада «Фортинбрас», перенесенная сначала в сб. «Высокие широты», а затем в сб. *ЛиД* (см. № 195). Композиционное решение, при котором в финал выносится важное смыслообразующее произведение, стало характерным и для первых сборников *КР*.

196. *ШЛ*. Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 1, загл. «Упадет моя тоска», исправлено на «Лиловый мед».

Шаламов очень дорожил этим ст-нием и хотел назвать его именем первый сборник в изд-ве «Советский писатель» (вместо этого сборник был назван редакцией «Огниво», см. вступ. статью).

Лиловый мед — Заглавие связано с образом имеющего лиловатую мякоть зимнего промороженного шиповника, последней радости заключенного. Ср.: «Медовый горный шиповник <…> берег

плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо» (рассказ «Кант» — *ВШ7*. Т. 1. С. 70). В то же время эпитет «лиловый» отсылает к одному из излюбленных эпитетов поэтов Серебряного века (в частности, ср. «лиловые миры» у А. Блока, «лиловый разлив полутьмы», «в лиловом холоде мерцаний» у И. Анненского).

АКомм: *«Написано в 1954 году в Калининской области. Это стихотворение, входящее в „Колымские тетради", я считаю одним из лучших»*.

197. Юность. 1967. № 5. Автограф — Ед. хр. 14. Л. 37 (черновой), без загл., с вар.: ст. 4 «лиловый», «дешевый», «полустертый» (карандаш). Автограф — Ед. хр. 16. Л. 28 (беловой, с датой «1955»). Вкл. в *КТИзбр*.

Десть — старая русская единица счета писчей бумаги, равная 24 листам. *...к воронке ада, упирающейся в лед.* — Данте в «Божественной комедии» изображает Ад как подземную воронкообразную пропасть, которая, сужаясь, достигает центра земного шара. Ее склоны опоясаны концентрическими уступами, «кругами» Ада. Дном воронки служит ледяное озеро Коцит.

АКомм: *«Написано в 1954 году в Калининской области. Одно из самых любимых моих стихотворений. Думается, мне удалось придать новое значение этой старой теме — такой же старой, как сама поэзия»*.

198. *КТ94*. Вкл. в *КТИзбр*.

Вечник (жарг.) — человек, приговоренный к пожизненному заключению.

199. *Огниво*. Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 5. Входит в *Список1969* за 1954 г.

АКомм: *«Написано в поселке Туркмен в 1954 году, прямо „на пленэре". Все происшедшее тут же описывалось, и следовал философский вывод. Одно из моих самых любимых стихотворений»*.

200. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 7. Л. 27 (черновой), с вар.: ст. 4 «В голубом конверте», ст. 8 «Жалобное слово»; Автографы — Ед. хр. 10. Л. 90 об.; Ед. хр. 87. Л. 83 (беловые). Вероятно, ст-ние было задумано еще на Колыме, в связи с чем дана двойная датировка. Вкл. в *КТИзбр*.

Включено в англоязычную антологию «The Penguin Book of Russian Poetry» (London, 2015; пер. Р. Чандлера). Попытку анализа ст-ния см. в статье: Chandler R. The poetry of Varlam Shalamov (1907–82) // Times Literary Supplement. 7 March 2014; перевод С. Ю. Агишева — https://shalamov.ru /research/250/. См. также: «Что это за „маленькое слово" — для читателя остается тайной. Мне самому долго казалось, что это слово что-то вроде „Хватит!" и что письмо адресовано Богу, но не исключено, что оно — тот самый

всеобъемлющий Логос, то самое слово, которое Осип Мандельштам „хотел сказать“, но „позабыл“» — Чандлер Р. Колымой он проверяет культуру: Шаламов как поэт // *ПражскСб.* С. 20.

201. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 83. Л. 76. Вкл. в *КТИзбр.*

202. *КТ94.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 6.

203. *КТ94.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 7–8.

204. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 83. Л. 108, с эпиграфом из первого куплета народной песни в неканоническом варианте: «Когда б имел златые горы / И реки полные вина, / Все б отдал за любовь, за взоры, / Чтоб ты владела мной одна». (В каноническом варианте, известном в исполнении Л. Руслановой, 3 строка: «Все отдал бы за ласки, взоры».) Вкл. в *КТИзбр.*

Златые горы. — Помимо горько-иронической отсылки к песне, загл. ст-ния и всего сборника связано также с основной деятельностью колымского Севвостлага — добычей золота. *Танкредов и Армид.* — Имена героев рыцарской поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» используются здесь как обобщенное обозначение поэтических «*сказок*», не имеющих на первый взгляд никакого отношения к реальности. Возможно, для Шаламова небезразличен был и тот факт, что автор поэмы провел несколько лет в заключении как буйнопомешанный. Вполне вероятно, что упоминание Шаламовым героев «Освобожденного Иерусалима» связано с картинами Н. Пуссена «Танкред и Эрминия» (Санкт-Петербург, Эрмитаж) и «Ринальдо и Армида» (Москва, ГМИИ им. Пушкина). Шаламов, приехав в Москву нелегально, посетил Пушкинский музей 10 июля 1955 г. во время выставки картин «Шедевры Дрезденской галереи» (см. письмо к Л. М. Бродской от 12 июля 1955 г. — *ВШ7.* Т. 6. С. 176). Это позволяет предположить, что ст-ние датируется 1955 г.

205. Смена. 1988. № 22. Вкл. в *КТИзбр.*

206. *Стихи88.* Автограф — Ед. хр. 14. Л. 17 (1955 г.), с вар.: ст. 1 «Мы ведь пашем на погосте». Вкл. в *КТИзбр.*

207. *ШЛ.*

АКомм: *«Написано в 1956 году в Калининской области».*

208. *ДиС.* Автограф — Ед. хр. 14. Л. 56. Машинописи — *Копелев.* Ед. хр. 527. Л. 2–3, в составе цикла «Стихи к Пастернаку»; *Ласкина,* также в составе цикла.

Посвящено Б. Пастернаку, входит в цикл «Стихи к Пастернаку» (см. № 94, 154, 420, 720–727 и примеч.).

Для соблазна малых сих — формула, заимствованная из Евангелия (Мф. 18: 6; ср. также: Мк. 9: 42).

АКомм: *«Очень хорошо помню, как это стихотворение писалось. Написано оно на станции Решетниково Калининской области, пока я ждал поезда на Москву. Все стихотворение с первого до последнего слова уложилось в эти сорок минут, пока я ждал поезда.*

Поезд подошел, я сел в вагон, и больше к этому стихотворению никогда в жизни не возвращался. Написано в 1955 году».

209. *КТ94.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 12. Вкл. в *КТИзбр.*

210. *СибО.* 1988. № 3. Другая редакция приведена в письме к А. З. Добровольскому от 23 января 1955 г. (*ВШ7.* Т. 6. С. 106–107). Вкл. в *КТИзбр.*

АКомм: «*Написано в 1954 году в поселке Туркмен Калининской области*».

211. Знамя. 1993. № 1. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 92, загл. «Молитва», с вар.: ст. 1–4 «Вернись ко мне, мой брат, мой врач, / Мой задушевный друг. / Вернись на этот детский плач, / Звенящий воем вьюг»; Ед. хр. 87. Л. 90 (беловой).

212. *ТК.*

Строки «*И листы свои капуста / Крепко сжала в кулаки*» повторяются (с вар.) в ст-нии «Слово к садоводам» (№ 571).

213. *КТ94.*

214. *Стихи88.* Автограф — Ед. хр. 10. Л. 91. В *МЗ-1967* убрана последняя строфа.

215. *Стихи88.* Автографы (черновые) — Ед. хр. 7. Л. 22; Ед. хр. 10. Л. 94 об., загл. «Ноябрь». Вкл. в *КТИзбр.*

...у лиственницы — древа / знания добра и зла — устойчивый образ как поэзии, так и прозы Шаламова. Ср. рассказ «Воскрешение лиственницы» (*ВШ7.* Т. 2. С. 279).

216. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 10. Л. 54 (1954). Вкл. в *КТИзбр.*

Лесная мученица Сольвейг — переосмысление образа героини пьесы Г. Ибсена «Пер Гюнт», а также одноименного ст-ния А. Блока (1906).

217. *КТ94.* Машинопись — *Ласкина.* Вкл. в *КТИзбр.*

218. *Огниво,* без строфы 1, загл. «У костра». Автограф — Ед. хр. 10. Л. 84.

АКомм: «*Написано в 1955 году в поселке Туркмен. Печатается полностью. Восстанавливается первая, важная для меня строфа*».

219. *КТ94.* Автографы — Ед. хр. 7. Л. 30; Ед. хр. 10. Л. 93. Вкл. в *КТИзбр.*

220. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 10. Л. 85 (черновой). Вкл. в *КТИзбр.*

221. *ЛР.* 1987. 7 июля.

Заберег — полоса припаянного к берегу льда.

222. *КТ94.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 20. Вкл. в *КТИзбр.*

В загл. ст-ния обыгрывается большой интерес М. В. Ломоносова к минералогии.

223. Юность. 1987. № 3. В *МЗ-1967* в ст. 2 строфы 2 исправлено: «И сам, поди, не зная». Вкл. в *КТИзбр.*

224. *Стихи88.* Машинописи — Ед. хр. 80. Л. 21; *СлуцкийКТ.* Л. 16, с вар.: ст. 11 «*король*» — со строчной буквы. Вкл. в *КТИзбр.*

Жил-был Король, недостойный поэтов... — возможно, отдаленная аллюзия на драму А. Блока «Король на площади» (1906).

225. Знамя. 1957. № 5, с вар.; *Огниво,* с вар. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 85. Машинопись — *ПинскийКТ.* В *Списке1969* датировано 1954 г. Печ. по *ПинскийКТ.*

226. *КТ94.*

Иоланта — слепая героиня одноименной оперы П. Чайковского. *По системе Брайля* — тактильная азбука для слепых, изобретенная французским ученым Л. Брайлем.

227. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 14. Л. 63 об. Машинопись — *СлуцкийКТ.* Л. 10–11, с вар.: в начале строк «Где» вм. «Там», отсутствуют строфы 7, 8, 9, 11. Вкл. в *КТИзбр.*

...возка Трубецкой... — Имеется в виду зимний возок, в котором ехала в Сибирь жена декабриста Е. И. Трубецкая. Образ «возка Трубецкой» восходит к поэме Н. Некрасова «Русские женщины». Ср. ст-ние «Прохожих взоры привлекает...» (№ 1199) и примеч.

228. *КТ94.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 26.

229. *КТ94.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 27.

230. *КТ94.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 28.

231. *Стихи88.* Автограф — Ед. хр. 14. Л. 52, с вар.: ст. 1 «Копытят снег голодные олени». Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 29. В машинописи сб. (Ед. хр. 104) загл. «Чужая дочь», зачеркнуто.

232. *КТ94.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 30.

233. *КТ94.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 31. Вкл. в *КТИзбр.*

Связано с Г. И. Гудзь.

234. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 8. Л. 26 (1953 г.). Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 32.

Вероятно, связано с воспоминанием о случае побега из лагеря, послужившим основой рассказа «Последний бой майора Пугачева» (*ВШ7.* Т. 1. С. 361–373; 1959). Вкл. в *КТИзбр.*

235. *Огниво,* загл. «Ранняя зима».

АКомм: *«Стихотворение „Велики ручья утраты..." не имело названия и не должно его иметь. Написано в 1954 году в Туркмене. Вполне в духе моей поэтики».*

236. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 14. Л. 5.

Тропарь — краткое церковное песнопение.

237. *КТ94.*

238. *Стихи88.* Автограф — Ед. хр. 13. Л. 20–21 (1954). Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 34.

239. *ШЛ.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 35.

АКомм: *«Написано в 1956 году в Калининской области».*

240. *КТ94.* Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 36. Вкл. в *КТИзбр.*

241. *Стихи88.* Машинопись — *СлуцкийКТ.* Л. 26; *Ласкина,* с загл. «Весна». Вкл. в *КТИзбр.*

...весна. / Словно вышла из больницы... — возможно, перекличка с первым ст-нием цикла Пастернака «Весна» («Весна, я с улицы, где

тополь удивлен...», 1918): «Где воздух синь, как узелок с бельем / У выписавшегося из больницы».

242. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 39–39 об.

243. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 33, с вар. строфы 1: «Пускай растерзанный драконом — / Окропленный живой водой, / Я поднимусь с негромким стоном, / Печальный и немолодой»; Ед. хр. 7. Л. 24, загл. «Яблоневый сад»; машинопись — Ед. хр. 80. Л. 42.

244. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 43.

245. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 44.

246. *Стихи88*. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 35 об.; Ед. хр. 10. Л. 56 об. Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 45. Вкл. в *КТИзбр*.

247. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 80 Л. 46.

248. *КТ94*, с вар.: ст. 5–8 «В родстве с любым — и небо, / И облака. / А то укрылась где бы / Тоска?»; *ДиС*, без разбивки на строфы. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 72, с тем же вар., что в *КТ94*; Ед. хр. 87. Л. 97, с вар.: ст. 5 «В родстве со мной и небо» и далее строфа 2 как в *КТ94*. Печ. по *ДиС*, с разбивкой на строфы.

Едва ли правка в *ДиС* была редакционной: удлинение седьмой строки («Необходимая как воздух») на одну стопу по сравнению с другими нечетными строками выглядит достаточно необычно, и маловероятно, чтобы редактор, как правило заботившийся о нормативности, предложил столь неординарный вариант. При этом одиннадцатая строка («И кажется сугубо личной»), присутствующая во всех автографах и машинописях, также удлинена на одну стопу, что дополнительно свидетельствует в пользу авторского характера правки.

АКомм: «*Написано в 1954 году в Туркмене. Одна из формул бытия*».

249. *КТ94*.

250. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 44, без загл., с вар. строфы 2: «Всей своей горчайшей зеленью / Прилепись к моим губам. / Так рассчитано, так велено. / Так дано сегодня нам»; машинопись — Ед. хр. 80. Л. 48.

АКомм: «*Написано в 1953 году*[1] *на Колыме*».

251. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 86.

252. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 48.

253. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 51. Вкл. в *КТИзбр*.

Рычаг второго рода — рычаг, в котором точки приложения сил располагаются по одну сторону от опоры. *Испод* — здесь: изнанка.

254. *КТ94*. Машинописи — Ед. хр. 80. Л. 52–53; *Ласкина*. Вкл. в *КТИзбр*.

255. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 57 (черновой), с вар.: ст. 1 «в библии» (со строчной буквы); строфа 3: «И став холмом или

---

[1] Вероятно, описка или ошибка памяти. В *Списке1969* с загл. (по первой строке) «Наклонись ко мне кленовая» датировано 1954 г. Следует учитывать также, что клен на Колыме или в северных районах Якутии не произрастает.

торосом, / Человекоподобным льдом, / Найдем ответ на все вопросы / Перед Шемякиным судом» (последняя строка исправлена карандашом: «Перед отечества судом», но в итоговый текст не вошла; использована в ст-нии «Утро стрелецкой казни», № 98). Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 55. Вкл. в *КТИзбр.*

Никаким Прекрасным Дамам — аллюзия на цикл А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме».

256. *МО*. Автограф — Ед. хр. 22. Л. 1.

АКомм: *«Написано в 1956 году в Калининской области»*.

257. Знамя. 1993. № 1. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 87; Ед. хр. 87. Л. 88.

258. *ЛР*. 1987. 3 июля. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 66. Вкл. в *КТИзбр.*

259. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 7. Л. 39. Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 59. Вкл. в *КТИзбр.*

Амвон — возвышенное место в храме для чтения Св. Писания и проповедей. *Потир* — чаша причастия.

260. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 7. Л. 38.

261. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 80. Л. 62.

262. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 7. Л. 37, с вар.: ст. 3 и 4 «Она со мной, как с каждым встречным, / Болтать привыкла на ходу». Вкл. в *КТИзбр.*

***263.** *ДиС* (в сокращении, напечатано 26 строф из 37: опущены строфы 8–9, 13–16, 21, 23–24, 27–28, 34; скорее всего, редакционное происхождение имеют изменения в строфе 7: ст. 1 — «Мне» вместо «Нам», и в строфе 10: ст. 1 — «И» вместо «Нам»). Первые наброски в тетради 1954 г. (Ед. хр. 10. Л. 64 об., 74–76 об.). С учетом того, что перед этими набросками в тетради имеется черновик письма Пастернаку с датой 19 октября 1954 г., начало работы над поэмой можно датировать концом октября 1954 г. Беловые автографы: с загл. «Аввакум» и нумерацией строф — Ед. хр. 87. Л. 54–54 об.; с загл. «Аввакум в Пустозерске» и без нумерации — Там же. Л. 55–64 (тетрадь 1955 г.). В беловых автографах слово «Бог» четко прописано с большой буквы, что отвечает образу героя, глубоко и страстно верующего. В машинописи (Ед. хр. 80. Л. 64–70), как и в *ДиС*, это слово напечатано со строчной буквы.

Истоки замысла поэмы связаны с Колымой, о чем свидетельствует ст-ние «Все те же снега Аввакумова века…» (№ 38), а также «Боярыня Морозова» (№ 99) и «Утро стрелецкой казни» (№ 98), посвященные в равной мере «раскольничьему» XVII веку и современности.

Шаламов еще в детстве мог прочесть «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» в школьной хрестоматии А. Алферова и А. Грузинского «Допетровская литература и народная поэзия» (выдержавшей до 1917 г. девять изданий), а перечесть — в 1954 г. в пос. Туркмен, где нашел необычайно богатую «кураевскую» библиотеку и где могло иметься одно из наиболее известных советских

изданий — «Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения» (под ред. Н. К. Гудзия; М., 1934). О знакомстве Шаламова с «Житием» свидетельствуют многочисленные детали поэмы (см. ниже). Начало XX в. было ознаменовано резким возрастанием интереса к личности Аввакума (А. Блок, Д. Мережковский, Н. Клюев, М. Волошин, А. Ремизов и др.). Шаламов был хорошо знаком со многими из тогдашних попыток переосмысления творчества и судьбы «огнепального протопопа» (подробнее см. в: Розанов Ю. Протопоп Аввакум в творческом сознании А. М. Ремизова и В. Т. Шаламова // К столетию со дня рождения В. Т. Шаламова: Материалы Международной конференции / Сост. И. Сиротинская. М., 2007. С. 302–315). В отличие от своих предшественников-поэтов, писавших об Аввакуме, Шаламов, в силу обстоятельств своей биографии, имел неоспоримое право не просто сближать, а прямо отождествлять свою судьбу с трагической судьбой Аввакума. Автобиографизм поэмы Шаламова был очевиден для многих современников. Ср.: «Вместе с Аввакумом Шаламов вошел в многовековую историю русского мученичества, долготерпеливого и гордого борения за право на свободу и правду» (Иванов Вяч. Вс. Аввакумова доля // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2000. Т. 2. С. 742). В то же время представляется справедливым вывод Д. Лундблад-Янич о многомерности художественного смысла поэмы: «Строки „Аввакума в Пустозерске", читаемые на границе „преодоления эстетики", и, таким образом, находящиеся между эстетическим и политическим, становятся исторической аллегорией сразу в нескольких измерениях» (Лундблад-Янич Д. Поэзия и политика: Аллегорическое прочтение поэмы Варлама Шаламова «Аввакум в Пустозерске» // https://shalamov.ru/research/240). Поэма переведена на англ. язык Р. Чандлером и опубликована в антологии «The Penguin Book of Russian Poetry» (London, 2015). Необычен избранный Шаламовым размер — короткая, сурово-аскетичная строка двухстопного амфибрахия (что можно считать открыто полемичным по отношению к многословным стилизациям Д. Мережковского и М. Волошина об Аввакуме, а также по отношению ко взглядам В. Маяковского о возможностях короткой строки, на что сам Шаламов указал в *АКомм*).

Пустозерск (*Пустозёрск*) — город на р. Печоре, где в 1682 г. был сожжен протопоп Аввакум с группой других старообрядцев. *О воле Господней / Вязать и решать.* — Ср.: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18: 18). *Из львиного рва* — отсылка к библейской истории пророка Даниила, который чудесным образом спасся, будучи брошен в львиный ров (Дан. 6: 16–22). *В Андроньевский черный / Пришел монастырь.* — В Спасо-Андроньевском (Спасо-Андрониковом) монастыре в Москве Аввакум содержался под стражей в 1653 г. *Там ангел крылами / От*

стражи закрыл / И хлебом со щами / Меня накормил. — Эпизод из «Жития»: «...После вечерни ста предо мною, не вем-ангел, не вем-человек, <...> и, взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил и ложку в руки дал и хлеба немножко и штец похлебать». *В Даурскую землю* — нынешнее Забайкалье, где Аввакум провел в ссылке шесть лет (1655–1661). *С Исусовых пор.* — Одним из расхождений старообрядцев с никонианами было написание и произношение имени основателя христианства: старообрядцы использовали форму с одним «и», Исус. *Настасья* — Анастасия Марковна, жена Аввакума, отбывавшая с ним и с детьми ссылку. *Бреди по дороге...* — В «Житии» часто употребляется глагол «брести», когда речь идет о дальних переходах в Даурской земле. В частности, он использован и в известном ответе жены протопопа на его слова о том, что муки им терпеть «до самыя смерти»: «Добро, Петрович, ино еще побредем». *Я — узник темничный / Четырнадцать лет.* — Последние четырнадцать лет жизни (1667–1682) Аввакум провел в земляной тюрьме в Пустозерске; здесь очевиден также автобиографический подтекст: срок заключения Шаламова на Колыме составлял четырнадцать лет (1937–1951). Ср. ст-ние «Свечу я зажег...» (№ 468) и примеч. *Но иго мне — благо / И бремя легко.* — Ср.: «...Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11: 30). *Я к Богу, как голубь / Поднялся с костра.* — По старообрядческому преданию из костра, на котором были сожжены Аввакум и его соратники, в небо взлетели голуби — души казненных. *...пепел, стучащий / В людские сердца* — перефразированные слова Тиля из «Легенды о Тиле Уленшпигеле» Ш. де Костера: «Пепел Клааса стучит в мое сердце». Отец Тиля, Клаас, был сожжен на костре.

АКомм: «*Написано в 1955 году в поселке Туркмен Калининской области. Одно из главных моих стихотворений. Формула Аввакума здесь отличается от канонической. Стихотворение мне особенно дорогое, ибо исторический образ соединен и с пейзажем, и с особенностями авторской биографии. Стихотворение это, маленькая поэма, дорого мне и тем, что в нем убедительно опровергнута необязательность взгляда Маяковского („Как делать стихи") на короткую строку в русской поэзии*[1]».

[1] Имеется в виду утверждение В. Маяковского: «Я просто убежден для себя, что для героических или величественных передач надо брать длинные размеры с большим количеством слогов, а для веселых — короткие» («Как делать стихи» — Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1959. С. 102). Полемизируя с Маяковским, Шаламов убедительно доказал, что короткий размер может быть применен и для раскрытия героической (трагической) темы.

Пятый сборник «Колымских тетрадей» в основном сложился у Шаламова в 1956 г. Очевидно, что его название «Кипрей» давалось безотносительно к одноименному ст-нию 1959 г., не вошедшему в *КТ* (№ 692), а прежде всего в связи с особым символическим значением названия цветка «кипрей» (народный синоним — «иван-чай») для Шаламова-поэта и прозаика. В упомянутом ст-нии этот цветок — «знак жизни» после пожара (беды). Ср. в рассказе «Перчатка»: «На развалинах Серпантинки процвел иван-чай — цветок пожара, забвения, враг архивов и человеческой памяти» (*ВШ7*. Т. 2. С. 283); ср. рассказ «Житие инженера Кипреева» (*ВШ7*. Т. 2. С. 152–166) о герое, преодолевшем забвение. (Подробнее о символике этого слова у Шаламова и об особенностях композиции сборника «Кипрей» см.: Кротова Д. О трагическом мировосприятии В. Шаламова (на материале поэтического сборника «Кипрей») // *Шсб-5*. С. 481–495). Поэтому неудивительно, что в состав сборника Шаламов включил немало ст-ний, созданных или начатых на Колыме («Желание», «По нашей бестолковости...», «Полька-бабочка», «Лед», «Мои дворцы хрустальные...», «Стланик», «Лед», «Не жалей меня, Таня...» и др.). Это в известной мере противоречило хронологическому дневниковому принципу, однако создавало «колымское» ядро сборника. Кроме новой, «тверской» лирики Шаламов включил в него несколько коротких четверостиший (№ 281–284), а также ряд ст-ний бытового характера («Сельские картинки») и отклики на литературные события («Придворный соловей», «Два журнальных мудреца»). В целом содержание сборника может свидетельствовать об определенном автоматизме в решении композиционных задач по мере формирования состава — очевидно, что стихи и их тематические группы располагались главным образом в том порядке, в каком создавались. С другой стороны, много усилий потратил Шаламов на выбор начального ст-ния. В первоначальном вар. состава (Оп. 1. Ед. хр. 4) сборник открывало ст-ние «Желание» (№ 265), в другом вар. (Ед. хр. 81) — «Луна качает море...» (№ 267).

Некоторая часть ст-ний сборника создана в 1956 г., их черновые автографы имеются в тетради Ед. хр. 20, датированной этим годом (с надписью «Кипрей 1»), а беловые почти целиком сохранились в тетради Ед. хр. 81 с авторской надписью «Кипрей 2, 1956 (1955 и ?)». Знак вопроса указывает на то, что отдельные ст-ния могли быть написаны в 1954 г. и ранее. Датировки даются с опорой на эти ремарки с учетом содержания ст-ний и отдельных деталей, упоминаемых в них.

Окончательное завершение сборника приходится на начало 1960-х гг., о чем дают представление машинописи отдельных ст-ний (*СлуцкийКТ*) и сводная машинопись (Оп. 2. Ед. хр. 105), содержащие ряд существенных правок, что отражено в примечаниях.

264. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 3 об.; Ед. хр. 81. Л. 7. Машинописи — *СлуцкийКТ*. Л. 19, *Ласкина*, обе с вар.: ст. 20 «Как наваленный хворост»; ст. 21 «барак» вм. «дворец». Вкл. в *КТИзбр.*

Три аршина в длину... — символическое обозначение могилы, восходит к рассказу Л. Толстого «Много ли человеку земли нужно?» (1886).

265. Знамя. 1993. № 1. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 47 об.; Ед. хр. 87. Л. 39 — идентичные, без разбивки на строфы и знаков препинания, с вар.: переставлены ст. 4 и 5, после ст. 5 дополнительная ст. «Стали б честными поступки», ст. 11 «Пред раскрашенною ложью» (вписано вм. основного вар. «На ее подобье божье», к которому Шаламов вернулся в *КТмаш*); Ед. хр. 81. Л. 3 (беловой). Ранняя машинопись — *ПТраубе*, без загл., без ст. 8–13.

Ср. финал рассказа «Надгробное слово» (1960), слова героя Володи Добровольцева: «А я, — и голос его был покоен и нетороплив, — хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами» (*ВШ7*. Т. 1. С. 423); ср. аналогичную фразу в пьесе «Анна Ивановна» (1962) от лица заключенного в больнице (*ВШ7*. Т. 2. С. 473).

266. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 2. Л. 5 (*СТ*, 1949).

267. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 14.

268. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 44 об.–45 (первый набросок, с вар.); Л. 91–91 об. (черновой); Ед. хр. 91. Л. 37 (1955); Ед. хр. 81. Л. 4 об.–5 (оба — беловые).

Возможно, связано со «Стансами» К. Ф. Рылеева («Не сбылись, мой друг, пророчества / Пылкой юности моей: / Горький жребий одиночества / Мне сужден в кругу людей», 1824); ср. упоминание Рылеева ниже в этом ст-нии.

Некой Плевной... — Имеется в виду длительная и кровопролитная осада Плевны в ходе русско-турецкой войны 1876–1877 гг., в данном случае символ победы, доставшейся слишком высокой ценой. *Вешать снова...* — По сообщению очевидцев, трое из пяти приговоренных к смерти декабристов, в том числе и Рылеев, сорвались с виселицы и были повешены повторно.

269. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 2.

270. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 4. Вкл. в *КТИзбр.*

Язвительный Державин... раб и похвалить / Кого-либо не может. / Он может только льстить... — Цитируется ст-ние Г. Державина «Храповицкому» (1797): «Раб и похвалить не может, / Он лишь может только льстить». (Эта цитата имеется среди записей Шаламова в Ед. хр. 11. Л. 63; 1954). Очевидно, что под «придворным соловьем» Шаламов имел в виду кого-то из современных советских поэтов.

271. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 4 об. Вкл. в *КТИзбр.*

272. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 7 об.

По наблюдению И. Ростовцевой, это ст-ние является реминисценцией строки из ст-ния И. Анненского «Сирень на камне» (опубл. 1923): «…Эхо анненской строки: „Дрожат листы кустов — калек…“ отчетливо улавливается в шаламовском стихотворении „Кусты разогнутся с придушенным стоном…“, где природа ценой невероятного напряжения и страдальческого усилия сохраняет свое равновесие и почти человеческое достоинство» (Ростовцева И. По берегу самопознания // Мир Севера. 2011. № 5/6. С. 76).

***273.** *НМ*. 1988. № 6. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 10, с вар.

274. Знамя. 1990. № 7; *КТ94*, с вар.: вм. ст. 1 «Мои дворцы хрустальные, / Мои дороги дальние, / Лиловые снега… // Мои побаски вольные, / Мои стихи крамольные / И слезы — жемчуга. // Безлюдные, холодные». Автограф — Ед. хр. 20. Л. 11–11 об. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 105. Л. 69, первые две строфы («Мои дворцы хрустальные <...> И слезы — жемчуга») зачеркнуты, вм. ст. 7 вписано «Хрустальные, холодные». Заглавие (первая строка) «Хрустальные, холодные» фигурирует в *КТИзбр* (под № 25), следовательно, редакция без первых двух строф, имеющихся в *КТмаш*, была закреплена Шаламовым как окончательная уже в 1962 г. Печ. по машинописи.

Вполне вероятно, что возвращение в *КТмаш* к более ранней редакции, без учета правки, сделанной в подготовительной машинописи (Оп. 2. Ед. хр. 105. Л. 69; изъятие первых шести строк и замена седьмой), обусловлено какими-то случайными факторами. Указание в *КТИзбр* именно редакции, зафиксированной в машинописи, в качестве основной дополнительно свидетельствует в пользу предпочтительности этой редакции.

275. Юность. 1967. № 5. Ед. хр. 81. Л. 11 об. Вкл. в *КТИзбр*.

АКомм: *«Написано в 1956 году в Калининской области»*.

276. *Огниво*. Автографы — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 22 об. (без последней строфы); Ед. хр. 81. Л. 12.

Возможно, Шаламов (намеренно или неосознанно) предполагал перекличку с «Определением поэзии» Б. Пастернака (1917).

АКомм: *«Написано в 1956 году в поселке Туркмен»*.

277. Юность. 1969. № 3. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 14. В *МЗ-1967* с вар.: ст. 3, 4 «Где ветер выбил имена, / Где ветер высек письмена».

АКомм: *«Эти шесть строк написаны в Туркмене Калининской области в 1956 году»*.

278. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 17.

Саркастическое изображение сельской жизни перекликается с некоторыми записями Шаламова этого периода. Ср.: «Деревня. Никакие речи не занимают их так, как рассказ о воспитании медведем и волком человеческого детеныша. Газета со статьей Молотовой „Сталинская смена“ переходит из рук в руки...» (Ед. хр. 18. Л. 5 об.). Ср. в письме к Б. Пастернаку от 24 января 1954 г.: «…Даже в ближних к конвою рядах этой толпы могут быть люди, которые как бы

и народ, но которые вовсе не народ, а только подголоски конвоя» (*ВШ7*. Т. 6. С. 50). Подробнее о взглядах Шаламова на деревню см.: Есипов В. «Пусть мне „не поют“ о народе...»: (Образ народа в прозе И. Бунина и В. Шаламова) // IV Международные шаламовские чтения. Тезисы докладов и сообщений. М., 1997. С. 86–103.

279. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 13 об.

280. Смена. 1988. № 22. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 14.

281. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 14 об.

282. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 15 об.

283. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 16.

284. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 16.

Клинописный этот шрифт / Разобрал бы только Свифт. — Возможно, Шаламов имеет в виду рассказ Гулливера в «Путешествии Гулливера» Дж. Свифта о королевстве Трибниа (Лангден; анаграммы «Британии» и «Англии»), где «большие искусники по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв» «расшифровывают» бумаги лиц, заподозренных в (мнимом) заговоре, произвольно приписывая «крамольные» значения самым обыденным словам и выражениям.

285. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 36; Ед. хр. 81. Л. 17–18.

286. *НМ*. 1988. № 6. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 19.

Таня — вымышленное имя героини, упоминаемой также в *СТ*, см. № 1114, 1118, 1195 и примеч. В связи с этим дата начала работы над ст-нием отнесена к колымскому периоду.

287. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 24; Ед. хр. 81. Л. 19 об. Скорее всего, ст-ние написано весной 1954 г. на «материке», на что указывают строки: «Звезды дальше от меня, / Чем когда-то были» (на Севере звездное небо ближе к Земле).

288. *Стихи88*. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 23 об., с вар.: ст. 1 «Как Петербург, из топи блат»; Ед. хр. 81. Л. 20.

Из тьмы лесов, из топи блат — цитата из «Медного всадника» А. С. Пушкина.

289. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 25, с вар. строфы 1: «Я ждал семнадцать лет / Неловкого объятья. / Оконный синий свет / Твое окутал платье»; Ед. хр. 81. Л. 20.

290. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 21 об.

291. *Огниво*. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 83 об.; Ед. хр. 81. Л. 22.

АКомм: *«Написано в 1953 году в Калининской области*[1]*. Отражает мое давнее наблюдение, что никакой музыкальности в небесах нет».*

292. *Стихи88*. Автографы — Ед. хр. 87. Л. 87, с вар.: зачеркнута строфа 1 «Кто же мне вложит пальцы в раны, / Кто же — хирург иль апостол Фома, / В белом халате, в белом тумане, / Так же, как я, сходящий с ума»; Ед. хр. 81. Л. 22 об.

---

[1] Очевидно, ошибка в дате: в Калининской обл. Шаламов был летом 1954 г., летом 1953 г. он находился в Якутии.

293. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 42 об., с вар.: ст. 1 «Вот строки арестантским шагом»; Ед. хр. 81. Л. 23.

294. Знамя. 1990. № 7. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 53; Ед. хр. 81. Л. 23 об.

295. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 24.

296. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 24 об. В *МЗ-1967* с вар.: ст. 6–8: «Хотя мы в кубики хотели / Сложить, как песню колыбельную, / Развесив на ночь у постели»; после ст. 8 «Мы по складам играем буквами / И умещаем еле-еле / Между развесистыми клюквами / Изображение метели».

297. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 25.

298. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 36, с вар.: ст. 1, 2 отсутствуют; ст. 5, 6 «И добрым назовется тот, / Смолу в котлы кто храбро льет»; после ст. 10 «Я нищий, видевший в кино / То счастье, что другим дано. / Я, может быть, не спал ночей / Из-за того, что был ничей»; Ед. хр. 81. Л. 25 об. (беловой).

Данте поместил в *ад* не только *Герострата*, уничтожившего храм Артемиды Эфесской, но и выдающихся мудрецов, *Авиценну* и *Платона*, что дополнительно обосновывает уподобление колымского лагеря Дантовому аду.

299. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 91. Л. 21 об., без посвящения, с вар.: ст. 1–4 «Как византийские святые / В брильянтах с головы до пят / Вошла во дни мои литые / И был тяжел твой желтый взгляд»; Ед. хр. 81. Л. 26, без посвящения, с вар.: ст. 7 и 8: «И вырывались в мир из плена / Необычайные слова», ст. 10 «Теряясь в мраке, мгле, тени»; Ед. хр. 13. Л. 20 (1954 г., беловой, с приписанным сверху карандашом посвящением «ЛВ»).

В воспоминаниях А. И. Солженицына «С Варламом Шаламовым» (*НМ*. 1999. № 4. С. 167) упоминается колымская поэтесса Е. Владимирова и утверждается, что о ней «Шаламов написал: „Пророчица или кликуша“». Возможно, эти сведения устно сообщил Солженицыну сам Шаламов. Каких-либо фактов о встречах с Е. Владимировой в воспоминаниях Шаламова не зафиксировано. В воспоминаниях Н. В. Савоевой, главного врача лагерной больницы «Беличья», где в 1944 г. находился Шаламов, приводится следующий эпизод: «Какими-то отдельными кадрами вспоминается присланная на Беличью после очередного судилища (1943-й или 1944-й год) заключенная Елена Владимирова, медсестра из больницы УСВИТЛа, молчаливая, замкнутая, скованная. Доходили слухи, что в больнице УСВИТЛа на 23-м километре арестована и осуждена целая группа заключенных за попытку написать книгу о своей тюремно-лагерной судьбе. Расспрашивать ее стеснялись, чтобы не травмировать. <…> Гуляла она много, но избегала контактов» (Лесняк Б. Я к вам пришел. Савоева Н. Я выбрала Колыму. М., 2016. С. 333). Вероятно, именно в этот период Шаламов мог познакомиться с Владимировой, запомнив ее имя как «Лена», что

породило инициалы «ЛВ». Судя по деталям ст-ния (*Ты нам рвала на части душу / Каким-то бредом наизусть*), Шаламов мог слышать и ее стихи. Известно, что в декабре 1944 г. Елена Львовна Владимирова была арестована по вышеупомянутому делу (за участие в антисталинской организации и «писание стихов») и приговорена к расстрелу, замененному каторгой. В 1948 г. как инвалид была вывезена с Колымы в Казахстан, умерла в 1962 г. в Ленинграде. Подробнее: Владимирова Е. Л. Письмо <в ЦК КПСС> // Краеведческие записки. Вып. 18. Магадан, 1992. С. 112–127. Отрывки из поэмы Е. Владимировой «Колыма» опубликованы в сб. «Доднесь тяготеет» (Т. 1. Записки вашей современницы. М., 2004. С. 132–138; Т. 2. Колыма. М., 2004. С. 66–67).

300. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 13. Л. 14, с вар.: ст. 1 «Твое слово — как олово», посвящение «Ф. Л.»; Ед. хр. 81. Л. 26 об., без посвящ. Машинопись — Оп. 2 . Ед. хр. 105. Л. 25, без посвящ.

Герой этого ст-ния — Ф. Е. Лоскутов, врач, близкий Шаламову на Колыме. Стремился внести примиряющее начало в жестокость лагерной жизни. За высокие нравственные качества Шаламов сравнивал его со знаменитым тюремным врачом Ф. П. Гаазом (см. рассказ «Курсы» — *ВШ7*. Т. 1. С. 517–520).

«Миротворец враждебников / И строитель единства» — «Миротворец враждебников и строитель церковного единства», такой «титул» получил А. Иванов Крылов, раскольник поморского согласия, ревностно распространявший его в Архангельской губернии (ум. в 1810 г.). Свидетельство того, что Шаламов глубоко изучал историю раскола.

301. *КТ94*.

302. *ДН*. 1987. № 3. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 26 об.; Ед. хр. 81. Л. 27 об. В *МЗ-1967*, с вар.: ст. 2 «В чужой стосуточной ночи». Вкл. в *КТИзбр*.

Не мог остола от хорея, / Как ни старался, отличить — каламбурный парафраз строк из пушкинского «Евгения Онегина»: «Не мог он ямба от хорея, / Как мы ни бились, отличить». *Остол* и *хорей* — палка и тонкий шест для управления собачьими или оленьими упряжками. Ср. тот же каламбур в № 1248 (*ЯТ*). Ср. также № 37 и примеч.

303. Знамя. 1990. № 7. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 30 об.; Ед. хр. 81. Л. 28.

304. Смена. 1988. № 22. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 29; Ед. хр. 81. Л. 28, с написанием слова «багульник» в ст. 19 в обоих случаях «богульник» (по-видимому, Шаламов, выросший в Вологде и Москве, никогда раньше не сталкивался с этим сибирским растением и воспринимал его название как производное от слова «бог»).

Возможно, ст-ние связано с работой Шаламова в 1954 г. над рассказом «Ночью» (*ВШ7*. Т. 1. С. 53–55), где голодные заключенные на лагерном кладбище снимают с мертвеца одежду, чтобы обменять ее на пайку хлеба. См. примеч. к № 86.

305. Знамя. 1990. № 7. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 30; Ед. хр. 81. Л. 29. В *МЗ-1967* с вар.: ст. 16 «Устало опускаясь...». Вкл. в *КТИзбр.*

306. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 29 об.

307. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 33.

308. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 33 об.

309. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 34.

310. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 34 об.

311. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 35, без загл.

312. Юность. 1966. № 9. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 30.

АКомм: *«Написано в 1955 году в Калининской области. Очень ответственное стихотворение, важная запись моего дневника»*.

313. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 30 об.

314. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 31.

315. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 31 об.

316. *ДН*. 1987. № 3. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 32, с вар.: ст. 1 «Я сказанья нашей эры…». Вкл. в *КТИзбр.*

317. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 32 об.

318. *ДН*. 1987. № 3. Автографы — Ед. хр. 16. Л. 5, загл. «В музее»; Ед. хр. 81. Л. 35 об. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 105. Л. 35–36. На л. 36 — другая редакция, с загл. «Античность», с вар.: ст. 1 «Для выраженья судеб личных», ст. 7 «И не вместить в живую тему», ст. 9 «И не близка ее канонам», ст. 18 «В его тревожной красоте», ст. 20 «В красноречивой немоте». Черновому автографу предшествуют полемические размышления об античном искусстве: «Античная пьеса — это схема. <...> Жизнь никогда не была ясной и не будет ясной».

Скорбь Лаокоона / Ленива и неглубока. — Имеется в виду знаменитая античная скульптурная композиция «Лаокоон и его сыновья», копию которой в ГМИИ им. Пушкина Шаламов видел неоднократно. Здесь речь идет, очевидно, о самом свежем впечатлении, полученном Шаламовым во время посещения знаменитой выставки из коллекции Дрезденской картинной галереи, развернутой в ГМИИ (впечатления изложены в письме к художнице Л. М. Бродской от 12 июля 1955 г. — *ВШ7*. Т. 6. С. 176–179). Следует заметить, что любимым у Шаламова в 1920-е гг. был Первый музей новой западной живописи («Щукинская галерея») в Б. Знаменском переулке, где экспонировались произведения французских импрессионистов и постимпрессионистов. В архиве Шаламова (в автографе письма к Л. М. Бродской, декабрь 1955 г.) сохранился сделанный им по памяти рисунок-схема залов Щукинской галереи, посвященных отдельным художникам — К. Моне, О. Ренуару, П. Сезанну, П. Гогену, А. Матиссу, П. Пикассо, А. Озанфану и др. (Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 8). В упомянутом письме Л. М. Бродской он перечисляет некоторые наиболее запомнившиеся картины этих художников (*ВШ7*. Т. 6. С. 181–182).

319. *НМ. 1988. №* 6. Автограф — Ед. хр. 16. Л. 10.

Старой проповеди с гор... — Очевидно, имеется в виду Нагорная проповедь.

320. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 71.

Сага — древнеисландское сказание, *дайна* — литовская народная песня. Некоторые исследователи (см., например: Михайлик Е. В контексте литературы и истории // *Шсб-2*. С. 105–129) полагают, что в своих рассказах Шаламов использовал отдельные повествовательные элементы саги.

321. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 38.

322. *ДН*. 1987. № 3. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 38 об.

323. *ДП-1985*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 39.

324. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 39 об.

325. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 81. Л. 40; Ед. хр. 91. Л. 63.

326. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 5. Л. 9 (черновой); Ед. хр. 20. Л. 78 об. (беловой); Ед. хр. 81. Л. 46 (беловой). Очевидно, переписано из *СТ*, т. к. строка «Гравюру мороза в окне» упоминается в *РазбореБП*.

327. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 80.

328. Смена. 1988. № 22. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 80; Ед. хр. 81. Л. 41 об. Более раннего автографа не обнаружено, но сетования на несовершенство своих стихов (Ср.: «*В моих неясных, путаных стихах*») характерны для колымского периода (ср. ст-ние «Наверно, я поэт не настоящий...», № 1229), поэтому предположительно датируется этим периодом.

329. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 41; Ед. хр. 81. Л. 54 об.–55. Машинописи — *СлуцкийКТ*. Л. 31, с вар.: ст. 9 «Веют факелов лохмотья»; ст. 24: «Разгадать пытаясь ад»; Оп. 2. Ед. хр. 105. Л. 45, с вар.: ст. 7 «Музыкантов сводит губы». Вкл. в *КТИзбр*.

В ст-нии запечатлен эпизод массовых расстрелов на Колыме в 1938 г., описанный в письме к Б. Пастернаку от 8 января 1956 г.: «Белая, чуть синеватая мгла зимней 60-градусной ночи, оркестр серебряных труб, играющий туши перед мертвым строем арестантов. <...> Читают списки расстрелянных за невыполнение норм» (*ВШ7*. Т. 6. С. 66). Возможно, это воспоминание послужило тогда же толчком к созданию ст-ния. Позднее Шаламов вернулся к этим страшным деталям в рассказе «Как это началось» (*ВШ7*. Т. 1. С. 428; 1964).

АКомм: *«Одно из первых записанных мной стихотворений в 1950 году. Исправлено в 1956 г. и включено в „Колымские тетради"».*

330. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 2. Л. 10, с вар.: ст. 1–4: «Хрустит, обретшая покой, / Застывшая волна. / Река, не ставшая рекой, / Промерзшая до дна»; Ед. хр. 81. Л. 42 об. Есть в *Списке1969* под 1950 г.

331. *Стихи88*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 77.

Опоздав на десять сорок... — Очевидно, речь идет об опоздании на поезд в 10 ч. 40 мин. в Москву. В одной из тетрадей Шаламова сохранилось расписание поездов со ст. Решетниково на Клин

и Москву. В нем фигурирует поезд № 605 в 10–50, следующий — в 15–08.

332. *КТ94.*

333. Смена. 1988. № 22. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 74, с вар.: ст. 13–14: «И молодость моя — восторги первых пыток, / Мучений праздничных тюремная весна»; Ед. хр. 81. Л. 44 об.

334. *КТ94.* Автографы — Ед. хр. 20. Л. 77; Ед. хр. 81. Л. 45.

335. Смена. 1988. № 22. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 75.

336. *Стихи88.* Автограф — Ед. хр. 81. Л. 46. По-видимому, ст-ние написано на Севере, однако раннего автографа не найдено.

337. *Стихи88.* Автограф — Ед. хр. 20. Л. 63 об.

338. Знамя. 1990. № 7. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 62 об; Ед. хр. 81. Л. 47, с нрзб. правками в строфе 2.

339. *Стихи88.* Автографы — Ед. хр. 20. Л. 59; Ед. хр. 81. Л. 47 об.–48, с вар. Вкл. в *КТИзбр.*

340. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 81. Л. 48 об.

341. *КТ94.* Автографы — Ед. хр. 20. Л. 54 об.; Ед. хр. 81. Л. 49. Машинопись — *Ласкина.*

При публикации *КТ* в *ВШ4* и *ВШ7* И. Сиротинская предположила, что данное ст-ние является ранней редакцией ст-ния «В гремящую грозу умрет глухой Бетховен...» (№ 615; см.: *ВШ4.* Т. 3. С. 470, примеч.) и, соответственно, заменила в составе *КТ* ст-ние «Опять гроза. Какой еще Бетховен...» на указанное выше ст-ние, относительно которого имеется пояснение Шаламова в *АКомм*: «Входит в „Колымские тетради“». Решение это, однако, представляется не достаточно обоснованным. Ст-ние «В гремящую грозу умрет глухой Бетховен…» трижды фигурирует в списках Шаламова с датой «1958 г.» (см. т. 2 наст. изд., № 615 и примеч.). В связи с этим есть основания полагать, что в *АКомм* автор допустил ошибку, машинально (ввиду упоминания Бетховена и грозы в обоих ст-ниях) написав сведения о другом ст-нии («Опять гроза. Какой еще Бетховен…»). Следует учитывать также, что загл. ст-ния «Опять гроза. Какой еще Бетховен…» фигурирует в *КТИзбр.* С учетом приведенных соображений мы восстанавливаем это ст-ние в данном месте *КТ* (как в *КТмаш*) вместе с относящимся к нему *АКомм*, а ст-ние «В гремящую грозу умрет глухой Бетховен...» помещается в раздел «Стихотворения 1957–1959 гг.», см. № 615.

Шаламов проявлял большой интерес к личности Бетховена еще до наступления глухоты в 1957 г. Детали биографии великого немецкого композитора, в том числе о его смерти в грозу, он мог узнать из популярных книг А. Альшванга «Бетховен» (М., 1940) и «Людвиг ван Бетховен: Очерк жизни и творчества» (М., 1952), которые могли иметься в богатой библиотеке поселка Туркмен, собранной ссыльным Кураевым. Впоследствии, с наступлением глухоты, Шаламов не раз ассоциировал свою судьбу и себя самого с судьбой и личностью Бетховена. Ср. ст-ние 1973 г. «Как Бетховен, цветными мелками...» (№ 936).

АКомм: «Стихотворение написано в 1955 году в поселке Туркмен Калининской области. Входит в «Колымские тетради».

342. Знамя. 1990. № 7. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 51; Ед. хр. 81. Л. 49.

Бродит честь походкой зверя / По полуночной Москве — отражение нелегальных приездов еще не реабилитированного Шаламова в Москву.

343. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 59, с вар.

344. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 50, загл. «Рассвет».

345. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 48.

***346.** Знамя. 1957. № 5, без строфы 9, без посвящения; *Огниво*, без строф 5–9, с опечаткой в ст. 1: «Ведь снег-то выпал», без посвящения; *ДиС*. В *КТмаш* и в *КТ94* приведена другая редакция ст-ния, фактически — новое, «парное» ст-ние «Куст породы стланиковой...» (см. раздел «Другие редакции и варианты»). Автографы — Ед. хр. 2. Л. 1–1 об. (1949 г., черновой), с вар.; Ед. хр. 20. Л. 79 об.–80 (1956, черновой), с вар.; Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 16 об.–17 об., с отточием между строфами 7 и 8 (беловой, 1956 г.). Машинописи — Оп. 2. Ед. хр. 105. Л. 100, без строфы 9; Там же. Л. 103, со вставленной рукой Шаламова строфой 9; Там же. Л. 60, та же редакция, что в *КТмаш*. Печ. по *ДиС*.

При публикации *КТ* в *ВШ4* и *ВШ7* И. Сиротинской также было принято решение заменить редакцию, включенную в *КТмаш*, на данное ст-ние. В пользу такого решения говорит однозначное указание самого Шаламова в *АКомм*: «Полный текст <...> опубликован в сборнике „Дорога и судьба“» (см. ниже). Отметим, что с Л. Е. Пинским (см. преамбулу к примеч.), которому посвящено ст-ние, Шаламов познакомился только в 1965 г.

АКомм: «*Написано в 1949 году на ключе Дусканья на Колыме, на лесной командировке, где я был фельдшером и получил возможность записывать в рецептурные книги не только йод и физиологический раствор, но и стихи. У меня есть подлинные колымские тетради с записью этого стихотворения, где остался след работы над текстом. Как все мои стихи, „Стланик“ имеет сто вариантов. В 1956 году отправлен в журнальное плавание последний вариант, последний текст. В это время московские журналы принимают у меня очень много стихов — более сотни должно было быть опубликовано. Но к концу 1956 года я стал получать отказы, задержки. Кончилась эта история тем, что только в одном журнале „Знамя“, по консультации Л. Скорино, В. Инбер, Б. Сучкова и Е. Суркова, напечатали не двенадцать, как обещали и принимали, — а всего лишь шесть. Эти шесть стихотворений под названием „Стихи о Севере“ и были напечатаны в „Знамени“ в 1957 году.*

Цикл открывается стихотворением „Стланик“. Это значило, что „Стланик“ — мое первое напечатанное стихотворение. Дело в том, что я пишу с детства. Печатаются с 1932 года, но только

рассказы и очерки. Стихов я не печатал раньше. И первое стихотворение напечатали, когда мне было ровно пятьдесят лет. Это стихотворение и есть „Стланик“.

Текст в „Знамени“ меньше на одну строфу, чем надо. Это строфа — „И черные, грязные руки!“. В „Огниве“ же, вышедшем в 1961 году, текст еще короче, чем в „Знамени“ 1957 года. Я дорожу этим стихотворением. Полный текст его опубликован в сборнике „Дорога и судьба“.

„Стланик“ — одно из главных моих стихотворений, как по „техническим достоинствам“, так и удаче в новизне темы, в находке, а также сущности моего понимания взаимоотношений человека, природы и искусства. У меня есть и рассказ с этим названием, напечатанный в журнале „Сельская молодежь“, в № 3 1965 года»[1].

347. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 52.

Вероятно, связано с Г. И. Гудзь.

348. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 43.

349. *ШЛ*. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 45; Ед. хр. 81. Л. 53.

АКомм: *«Написано в 1956 году в Калининской области»*.

350. Смена. 1988. № 22. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 38, черновой, с плохо читаемыми вар., среди которых имеется строфа: «Подслушать черный разговор / Приятелей убийц, / И сердцу, сердцу до сих пор / Не выйти из границ»; Ед. хр. 81. Л. 55 об.

351. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 56.

***352.** *КТ94* Автографы — Ед. хр. 18. Л. 22; Ед. хр. 81. Л. 52 (беловой).

...дальними дорогами... казенный дом — термины гадания; в частности, «казенный дом» обычно обозначает тюрьму.

Высокие широты

Самый большой по объему сборник (113 ст-ний) включил в себя произведения, написанные в основном в 1956 г., до реабилитации и возвращения в Москву. Это свидетельствует об огромном творческом напряжении Шаламова-поэта в последний период его жизни в поселке Туркмен, что было связано, несомненно, с ожиданием важнейших перемен в своей судьбе и в судьбе страны после XX съезда. Яркое представление о напряженности труда Шаламова в это время дает общая тетрадь Ед. хр. 20 с датой «1956» и черновиками свыше 30 ст-ний сборника, а также тонкие тетради с надписью на обложке «Июнь–июль 1956 и старые I» (Оп. 2. Ед. хр. 109), куда записано около 30 ст-ний, в основном в беловых вариантах, в том числе «Хочу я света и покоя…» (№ 429), «Мне горы

[1] Лирический рассказ «Стланик» — единственное произведение *КР*, опубликованное в СССР при жизни автора.

златые — плохая опора...» (№ 415), «Раковина» (№ 419, первый вариант) и др. Небольшая часть ст-ний сборника «Высокие широты» вошла в книги «Огниво», «Шелест листьев» и «Дорога и судьба». Окончательная доработка ряда ст-ний и полное композиционное оформление сборника происходили в 1960-е гг. В архиве сохранился его переплетенный машинописный экземпляр (Ед. хр. 82. Л. 1–135), являвшийся, по-видимому, промежуточной редакцией: поначалу на нем стояла авторская надпись «Колымская тетрадь № 3», впоследствии исправленная на «№ 6», машинописи разнятся по техническому исполнению, кроме того, на листах содержится немало правок и маргиналий. Далеко не совпадает с окончательной редакцией и машинопись Оп. 2. Ед. хр. 106 (первая половина 1960-х гг.), в которой содержится лишь около 40 ст-ний. Очевидно, что этот сборник дался автору с особым трудом. Ему приходилось вспоминать и пропущенные ранее ст-ния, написанные на Колыме, и производить их отбор, что требовало больших эмоциональных затрат (о чем может свидетельствовать ст-ние 1962 г. «Над старыми тетрадями», № 781). Не мог он оставить для какого-либо другого случая и стихи, не вошедшие в предыдущие сборники, и старые стихи о животных, и впечатления от наездов в Москву, и свои стихотворные литературные «манифесты» («В защиту формализма», № 455; «Синтаксические раздумья», № 456). Все это, в сочетании с несоразмерно большим кол-вом ст-ний, обусловило определенную размытость композиции сборника, особенно ощущаемую к его концу. Тем не менее, видно, что Шаламов, как всегда, придавал большое значение вступлению (цикл «О песне»), расположению больших ключевых ст-ний (баллада «Гомер», посвященная О. Мандельштаму, философско-полемическое ст-ние «Мечта ученого почтенна...», «Стихи в честь сосны», доделывавшиеся в 1965 г. и посвященные Н. Мандельштам) и самоутверждающей оптимистической концовке. Форма поэтического дневника в этом сборнике приобрела черты философского метадневника, о чем свидетельствует и его название «Высокие широты»: оно имеет не только географический смысл, но и говорит о тех высоких широтах, на которых живет поэт.

353–358. *ЛГ.* 1966. 30 июля, под общим загл. «Север», без второго и третьего ст-ния, с рядом редакторских правок; *ДиС*, без третьего ст-ния, с вар. Первоначальный вар. загл. цикла «Шесть стихотворений об одном и том же» (Ед. хр. 87. Л. 82). Автограф под этим же загл. — Ед. хр. 20. Л. 91–92.

Во время встречи с Б. Пастернаком в Переделкине 24 июня 1956 г. Шаламов читал этот цикл в присутствии гостей. Ср.: «Я читал „Ландыш“, „Шесть стихотворений“, „Камею“» (*ВШ7.* Т. 4. С. 608).

АКомм: «*Написано в 1956 году в Калининской области, незадолго до возвращения в Москву. Писалось очень легко — каждый день*

по стихотворению этого цикла. Поправки, исправления вносились тоже очень легко. Главным стихотворением этого цикла, этого собрания стихов было второе[1] *— „Пусть не душой в заветной лире, а телом тленья убегу“. При окончательной подготовке именно это стихотворение было снято. „Цикл“ не очень удачное слово для собрания стихотворений подобного рода, но в русском языке, как ни хвалил его Тургенев, подходящего слова нет.*

Цикл „О песне“ написан весной 1956 года, летом читан у Пастернака в Переделкине[2]*. Это — мой поэтический дневник того времени. Впервые напечатан в „Литературной газете“ в подборке „Северные стихи“».*

1. *ЛГ.* 1966. 30 июля; *ДиС.* Автограф — Ед. хр. 20. Л. 67, с вар.: ст. 1 «Пускай и речь моя неровна»; Ед. хр. 110. Л. 72, с вар.: ст. 9–12: «И не заемным мертвым светом, / А жарким углем рдеет печь. / Она одна — зимой и летом— / Мою отогревает речь». Машинописи — *Копелев.* Ед. хр. 526. Л. 1; Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 1.

2. *ДиС.* Автограф — Ед. хр. 20. Л. 68, с вар. Машинописи — *Копелев.* Ед. хр. 526. Л. 2; Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 9. с вар.: ст. 4 «Преображенья песни ждет».

*3. *НМ.* 1988. № 6. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 69–70, с вар.: ст. 3–4 «Я мог избегнуть вовсе тленья, / Ложась в хрустальный бурелом». Машинописи — *Копелев.* Ед. хр. 526. Л. 3, с вар.; Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 2.

...дробил каменья / Не гневным ямбом, а кайлом — парафраз финальной строки Пролога к поэме «Возмездие» А. Блока: «Дроби, мой гневный ямб, каменья!». *Я жил позором преступленья / И вечной правды торжеством* — парафраз клятвы Демона из поэмы М. Лермонтова «Демон»: «Клянусь позором преступленья / И вечной правды торжеством». *Пусть не душой в заветной лире — /*

---

[1] По-видимому, ошибка памяти, так как во всех известных вариантах цикла ст-ние с указанной строкой идет третьим.

[2] По воспоминаниям И. Емельяновой, в апреле того же года Шаламов читал третье ст-ние цикла, «Я много лет дробил каменья...», на квартире О. В. Ивинской. Характерен портрет Шаламова, запечатленный в этих воспоминаниях: «...Мощен, могуч, напорист и совсем молод. Шахтер, каменотес, лесоруб, джеклондоновский золотоискатель — клетчатая рубашка и короткая стрижка дополняют это» (Емельянова И. Легенды Потаповского переулка. М., 1997. С. 315–316). Для сравнения можно привести воспоминания С. Неклюдова о том, как изменился Шаламов после выхода из больницы в 1957 г.: «В одночасье это здоровье куда-то улетучилось. Как будто из человека вынули какой-то стержень, на котором всё держалось. У него начали выпадать зубы, он стал слепнуть и глохнуть...» (Стенограмма выступления С. Неклюдова // Судьба и творчество В. Шаламова в контексте советской истории и мировой литературы: Сборник трудов Международной научной конференции. Москва–Вологда. 2011 г. / Сост. С. М. Соловьев. М., 2013. С. 20).

Я телом тленья убегу — парафраз строк из «Памятника» А. Пушкина: «Душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит».

4. *ЛГ*. 1966. 30 июля, без двух последних строф; *ДиС*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 71, с вар. Машинописи — *Копелев*. Ед. хр. 526. Л. 4; Ф.2596. Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 3.

Четьи-Минеи — книги житий святых для домашнего календарного чтения.

5. *ЛГ*. 1966. 30 июля, с вар.: ст. 16 «О слове только думал он» (по-видимому, редакционная правка); *ДиС*, с тем же вар. ст. 16. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 67, с вар. Машинописи — *Копелев*. Ед. хр. 526. Л. 5; Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 12, последняя строка, «О слове вольном думал он», исправлена на: «О слове громком думал он» (возможно, для публикации).

6. *ЛГ*. 1966. 30 июля, без строф 4, 7, 8, 9; *ДиС*, без строф 7, 8, 9, с вар.: ст. 14 «Равнинных старых городов» (по-видимому, редакционная правка). Автографы — Ед. хр. 87. Л. 82; Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 26 об. (беловой; тетрадь 1956 г.). Машинописи — *Копелев*. Ед. хр. 526. Л. 5, зачеркнуты строфы 4 и 5; Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 5.

359. *Стихи88*.

360. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 91. Л. 4.

361. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 2 об.

362. *Огниво*. Автограф — Ед. хр. 91. Л. 3 об.

АКомм: *«Написано в 1956 году в поселке Туркмен. Вполне в духе моей поэтики»*[1].

363. *Огниво*, загл. «Богемское стекло»; *ДиС*. Автографы — Ед. хр. 7. Л. 46, с вар. строфы 8: «И в страстных тостах новоселий / До всех сидящих за столом, / Доносит гул лесной метели / Неуспокоенным стеклом»; Ед. хр. 22. Л. 9.

АКомм: *«Написано весной 1956 года в поселке Туркмен. Читалось Пастернаком. Для меня работа над „Хрусталем“ была доказательством плодотворности моих художественных идей — я уходил от горного северного пейзажа и чувствовал себя еще увереннее. В то же время это страница моего дневника. „Хрусталь“ имеет несколько вариантов. Этот — лучший. Входит в „Колымские тетради“ на правах „итогового“ стихотворения. Художественные принципы, которые так легко находили соответствия в горном пейзаже и в событиях русской истории, здесь выдержали пробу*

[1] Поэт В. Приходько, автор рецензии на сб. «Огниво» («Характер мужественный и цельный»: Знамя. 1962. № 4) в переписке с Шаламовым обратил внимание на ритмическое сходство этого ст-ния со ст-нием Б. Пастернака «Вакханалия», на что Шаламов ответил: «„Пень“ написан <...> раньше „Вакханалии“ (1957 г. — *В. Е.*), а лет десять назад в том же музыкальном ключе написано стихотворение „Мы несчастье и счастье Различаем с трудом“ (см. № 109 и примеч. — *В. Е.*)» (Приходько В. Варлам Шаламов — пророк, а не мастер // Московская правда. 1991. 14 сент.).

на большее. Печатается по полному тексту, опубликованному в сборнике „Дорога и судьба“».

364. Знамя. 1993. № 1. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 55, с вар.: ст. 1–2 «Хвалю торфяные болота / И Шоши речной водоем»; Ед. хр. 87. Л. 25, с вар.: ст. 1 «Мир вам, торфяные болота». (*Шоша* — речка в Подмосковье).

365. *ЛР*. 1987. 3 июля. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 37 об.; Ед. хр. 87. Л. 46 об.–47.

366. *ДП-1968*. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 44 об.; Ед. хр. 87. Л. 46. В *ПинскийКТ* под ст-нием напечатано: «Оймякон, 1953».

АКомм: «Написано в 1954 году в Калининской области».

367. *Огниво.*

АКомм: «Написано в 1956 году в поселке Туркмен. Написано ради первой строфы».

368–371. Семья и школа. 1966. № 6. Автограф — Ед. хр. 3. Л. 37 об.–38 об.

АКомм: «Немудреное это стихотворение написано в 1949 году летом на Колыме».

1. *Муму, Каштанка, Жучка, белый пудель* — собаки — персонажи русской классической литературы: «Муму» И. Тургенева, «Каштанка» А. Чехова, «Тема и Жучка» Н. Гарина-Михайловского, «Белый пудель» А. Куприна.

3. *Георгий Седов* — русский полярный исследователь.

372. *Огниво*, загл. «Лосенок». Автографы — Ед. хр. 20. Л. 23 об.–24; Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 25 об.–26, с вар.: ст. 9–12 «Он верит, что с хлеб-солью / Я жду его сейчас, / Своей душевной болью / Нисколько не кичась».

АКомм: «Написано в 1954 году в поселке Туркмен и описывает истинное происшествие со мной, когда я работал в 1939 году в угольной разведке Дальстроя».

373. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 106. Л. 17.

Гарт — сплав свинца с другими металлами, применяемый в типографском деле. *Брет Гарт* (1836–1902) — американский писатель, прославившийся, в частности, рассказами о времени «золотой лихорадки» в Калифорнии.

374. Юность. 1969. № 3. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 67. Ст-ние имеется в *МЗ-1967*, полностью совпадает с текстом автографа и «Юности». В машинописи сб. «Высокие широты» (Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 18) есть авторские знаки (>) разбивки на двустишия.

...осень, — видно, из нерях. — Ср.: «Ведь осень, говорят, неряха из нерях» (Игорь Северянин, «Пора безжизния», 1918). Шаламов высоко оценивал поэтическое наследие Игоря Северянина, ср., например: «Встреча с есенинскими сборниками, „Песнословом“ Клюева, с „Поэзоантрактом“ Северянина — самое сильное впечатление от столкновения с поэзией тех лет» (*КоМС — ВШ7*. Т. 5. С. 96–112).

375. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 65.

376. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 66.

377. *КТ94*.

378. *КТ94*.

379. Юность. 1969. № 5. *МЗ-1967* — идентично.

АКомм: «*Это стихотворение, написанное в 1956 году в Калининской области, — предмет моего детского тщеславия. Мне казалось, что я достиг совершенства в лаконизме, новизне, остроте лирической темы, поставил и решил вопросы происхождения искусства. В своем детском тщеславии я полагал, что эти восемь строк — оптимальный, по мнению Пастернака, размер для русского лирического стихотворения — не уступают пушкинскому „Я вас любил“. Стихотворение было опубликовано журналом „Юность“ и осталось вовсе незамеченным*».

380. *КТ94*.

381. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 44; Ед. хр. 20. Л. 82, загл. «После дождя». То же — в *МЗ-1967*.

382. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 81 об., загл. «Пожар». Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 4.

383. *КТ94*.

Я целюсь плохо зачастую... — Стрельба является здесь метафорой поэтического творчества. Шаламов никогда не владел оружием, в том числе охотничьим, и даже не умел стрелять (ср. рассказ «Берданка» — *ВШ7*. Т. 7. С. 70–73), гордясь тем, что за всю жизнь не убил ни одного животного, ни одной птицы: «В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей» (см.: *ЧВ*. С. 120).

384. *КТ94*.

385. *ДиС*. В *КТмаш* посвящение О. С. Неклюдовой отсутствует. В наст. изд. принято решение сохранить посвящение, поскольку всюду, где прямых указаний Шаламова на редакционное вмешательство нет, редакция *ДиС* считается предпочтительной (см. примеч. к № 346, 419, 422). Тот же подход использован нами и относительно посвящений. В *МЗ-1961* снята строфа 3. Печ. по *ДиС*.

Знакомство Шаламова с Неклюдовой состоялось летом 1956 г.

386. *КТ94*.

387. *Огниво*, с редакционным названием «Газосварка», без строф 3 и 4; *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 21. Л. 3.

Откровенья Иоанна (Богослова) — Апокалипсис. *Франклиновым бумажным змеем.* — Американский политик и ученый Б. Франклин в XVIII в. доказал существование электрических разрядов в грозовых облаках с помощью бумажного змея.

388. *КТ94*. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 52. Как и в *МЗ-1967*, здесь переставлены строки в последней строфе: «Чем тяжелее и богаче / Его посев и урожай, / Тем больше слез, тем больше плача, / Глухих рыданий невзначай».

389. *КТ94.*

390. *ДиС.* Вкл. в *КТИзбр.*

В 1957 г., работая в журнале «Москва», Шаламов предложил напечатать это ст-ние редактору Н. Атарову. Тот, не читая, сказал: «Там какая-то „Черная бабочка". Не пойдет, не пойдет» («Из воспоминаний»; см.: *Шсб-5.* С. 159).

АКомм: «Написано в 1956 году в поселке Туркмен. Новое в разрешении этой темы».

391. Семья и школа. 1966. № 6. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 37. В *МЗ-1967* с загл. «После дождя».

392. *ШЛ*, с вар.: ст. 4 «Мой собеседник верный». Автографы — Ед. хр. 91. Л. 74, 76 (черновой); Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 13, с вар.: ст. 7 «В судьбу примешивать стихи».

АКомм: «Написано в 1956 году в поселке Туркмен».

393. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 83. Л. 111.

394. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 83. Л. 112.

Парки — древнеримские богини судьбы. Шаламов точно воспроизводит мифологические функции каждой из парок: первая прядет нить человеческой жизни (*сучит нить*), вторая наматывает нить на веретено (*вьет клубок*), третья перерезает нить, заканчивая жизнь (*перерезать нить*).

395. Знамя. 1957. № 5, загл. «Гнездо»; *Огниво*; *ТК*, без последней строфы. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 112 об.

Любопытна характерная для нормативной эстетики соцреализма интерпретация этого ст-ния в рецензии Ф. Фоломина (*ЛГ.* 1957. 3 авг.): «...Поэт противопоставляет большому, трудовому и дружному миру гордое одиночество орлицы, свившей гнездо „почти у самых звезд"... Поэту нельзя, невозможно смотреть на жизнь „с надменной высоты", забывать о своих современниках...».

АКомм: «Написано в 1956 году в поселке Туркмен. Печатается по журнальному тексту — „Стихи о Севере", „Знамя", № 5, 1957. Этот цикл был первым в жизни моим выступлением в стихах. Прозу я печатал и раньше[1]*».*

396. *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 83. Л. 37–37 об.

АКомм: «Написано в 1954 году в Калининской области. Меня неоднократно спрашивали: посвящена ли „Роща" Пастернаку? Отвечаю: нет. Просто „Роща", и все».

397. *Стихи88.* Автографы — Ед. хр. 3. Л. 26 об. (*СТ*, 1949), с вар.: дополнительная начальная строфа: «Нам прямо около дома / За мельничным колесом / Земли отрезали ломоть / По самый горизонт», ст. 1 «Мы живы не только хлебом»; Ед. хр. 20. Л. 14, с правкой. Вкл. в *КД* (Ед. хр. 78. Л. 21 об.).

Отмечено в *Разборе БП*: «...Очень хорошо». Первое ст-ние в списке *КТИзбр.*

---

[1] Имеется в виду публикация ранних рассказов в 1930-е годы.

398. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 14. Судя по тому, что на этом листе рукописи в начале записано предыдущее ст-ние (№ 397) с попыткой его переделки, данное ст-ние родилось из этой попытки, и Шаламов сделал его самостоятельным, сохранив метрику. В этой же тетради имеются попытки переделки других ранних колымских ст-ний.

399. *ДН*. 1987. № 3. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 22–24 (черновой; 1956), с вар. последней строфы: «Горящие глаза / Последнего [усталого] пророка / Путают, как гроза, / Пришедшая с востока». Машинописи — *СлуцкийКТ*. Л. 19–21, с посвящением О. Мандельштаму; Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 28–31, без посвящения.

Судьба Мандельштама послужила основой также для рассказа Шаламова «Шерри-бренди» (*ВШ4*. Т. 1. С. 61–66). Рассказ и ст-ние перекликаются в некоторых деталях, например: *Из десен кровь течет, / Разъеденных цингою.* — Ср.: «Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили» («Шерри-бренди»).

Вопрос о сохранении посвящения в ст-нии не имеет однозначного решения. Пропуск посвящения в *КТмаш* мог иметь случайный характер, так как Шаламов не вычитывал тщательно текст *КТмаш*. С другой стороны, ст-ние имеет характер романтической легенды, а не биографического этюда (в материалах к сб. «Высокие широты» (Ед. хр. 106. Л. 32) названо балладой, с припиской: «Хотя и длинно, и отдает, правда, А. К. Толстым»). Стихотворение имеет более широкий смысл, чем рассказ о судьбе Мандельштама, и снятие посвящения могло быть преднамеренным (заметим, что и в рассказе «Шерри-бренди» напрямую имя Мандельштама нигде не упоминается; нет и посвящения). Наличие посвящения в *СлуцкийКТ* не может считаться решающим аргументом в пользу сохранения посвящения в основном тексте: в этой машинописи имеется немало разночтений с более поздним текстом *КТмаш*, и во всех этих случаях предпочтение отдается *КТмаш*.

Торбасы — сапоги из шкуры оленя, нерпы и пр. шерстью наружу у народов Севера и Сибири.

400. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 29. Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 8.

401. *Стихи88*, с вар.: ст. 2 «боярыня»; *КТ94*. В *ВШ4* и *ВШ7* как в *Стихи88*. Автографы — Ед. хр. 11. Л. 27 об., с загл. «Портрет»; Ед. хр. 87. Л. 47, без загл., со строфой 4 (как и в Ед. хр. 11): «Оледенеет нищих смех, / Косматый леший свистнет. / Одна за всех, противу всех[1] / В петле повиснет»; Ед. хр. 84. Л. 17–19, беловой, материалы к несостоявшемуся сборнику «Глубокая печать», второе ст-ние в составе цикла из трех ст-ний с посвящением М. Цветаевой (см. т. 2 наст. изд., № 817–819). Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 1.

---

[1] Ср.: «Одна из всех — за всех — противу всех!» (М. Цветаева, «Роландов рог», 1921). См. о знакомстве Шаламова с этим ст-нием в примеч. к № 53.

В рабочей машинописи (Ед. хр. 82. Л. 49) приписано время и место создания данного ст-ния: «1954, Озерки». Печ. по *КТмаш.*

Болярыня во второй строке присутствует в автографах и *КТмаш. Болярыня* у Шаламова, несомненно, восходит к ст-нию М. Цветаевой «Настанет день печальный, говорят...» (1916) с последними строками: «И ничего не надобно отныне / Новопреставленной болярыне Марине». Сборник Цветаевой «Версты» (1922), куда входило это ст-ние, Шаламов хорошо знал, о чем он писал Пастернаку (*ВШ7.* Т. 6. С. 23). «Болярыня» была исправлена на «боярыню», скорее всего, редактором изд-ва «Советский писатель», куда ранее предлагались *Стихи88.* Следует заметить, что слово «болярин» (устаревшая форма слова «боярин») еще с XVIII в. поэтически переосмыслялось как «болеющий». Ср.: «Болярин — коль за всех болею» (Г. Державин, «Вельможа»; 1794). Ст-ние навеяно встречей в 1954 г. в Москве с художницей Л. М. Бродской-Сегаль, почитательницей М. И. Цветаевой и знакомой Е. Я. Эфрон. Ср. план очерка Шаламова о Цветаевой с записью: «Квартира Л. М. Бродской с портретом Цветаевой» (Оп. 2. Ед. хр. 169. Л. 2 об.), ср. также переписку с Л. М. Бродской (*ВШ7.* Т. 6. С. 168 и примеч. 3). Включено в цикл, посвященный М. Цветаевой, см. № 817–819 и примеч.

402. *ДН.* 1987. № 3. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 64 об.

***403.** В мире книг. 1988. № 8. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 21–21 об., с вар.

404. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 20. Л. 28–28 об. Вариацию строфы «Есть состоянье истощенья...» см. также в № 77. С учетом того, что эта вариация, вероятно, послужила импульсом к созданию данного ст-ния, предположительная дата начала работы над ним может быть отнесена к 1951 г.

405. *Стихи88.* Автограф — Ед. хр. 20. Л. 52 (черновой); Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 23 об. (беловой).

406. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 20. Л. 55 об.

407. *КТ94.* Автографы — Ед. хр. 20. Л. 58 (черновой); Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 23 (беловой).

408. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 91. Л. 50 об.

409. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 18. Л. 15.

410. *КТ94.*

411. *Огниво,* загл. «Земля со мною», с вар.: без строф 4 и 6, ст. 19 «И сызнова хочу». Автограф — Ед. хр. 10. Л. 90. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 43. По всей вероятности, загл. добавлено по требованию редакции, так как ни в автографе, ни в *Списке1969* (под 1954 г.) его нет (ср. также прямые указания Шаламова на введенные против его воли загл. в ряде других ст-ний сб. «Огниво», см. примеч. к № 218, 235 и др.).

В качестве основной редакции в *ВШ4* и *ВШ7* И. Сиротинская избрала редакцию «Огнива» (но без загл.) как «существенно переработанную автором». Решение использовать «комбинированную»

редакцию (без загл. как в *КТмаш* и с изъятием заключительных строф как в «Огниве») не представляется бесспорным. Сборник «Огниво» характерен наличием большого числа текстов, которые были сокращены по требованию редакции и вопреки желанию автора, о чем сам Шаламов недвусмысленно свидетельствует в *АКомм* (см. примеч. к № 63, 153, 218, 346 и др.). На наш взгляд в составе *КТ* данное ст-ние предпочтительнее печатать по *КТмаш*, как и было сделано Сиротинской в *КТ94*. Следует отметить впрочем, что в подавляющем большинстве случаев поздняя авторская правка нацелена на сокращение текста (см. общую преамбулу к примеч.), поэтому наверняка исключить авторский характер отдельных правок в «Огниве» при имеющейся на сегодня информации невозможно.

Посолонь — по солнцу.

412. *КТ94.*

413. Знамя. 1993. № 1. Автограф — Ед. хр. 22. Л. 8.

Голова Иоанна Предтечи. — Евангельскую историю об отсечении (усекновении) головы Иоанна Предтечи царем Иродом Шаламов хорошо знал с детства, она была изображена на многих иконах и росписях вологодских храмов. *Иудейской царевне* — Иродиаде.

414. *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 20. Л. 53–53 об., с вар.: ст. 1 «Я поднял стакан за большую дорогу...», ст. 12 «Раскормленных серых собак». Машинопись — *СлуцкийКТ.* Л. 8. Вкл. в *КТИзбр.*

Аян-Урях — речка в верховьях Колымы.

415. Юность. 1967. № 5. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 84 об. (черновой); Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 15 об. (беловой).

АКомм: «*Написано в 1956 году в Калининской области.*

В жизни каждого поэта есть промежутки, провалы, когда кажется, что уже никогда ты не напишешь стихов. Что чужие стихи — Пушкина, Лермонтова — просто необыкновенность, которую ты никогда не найдешь. И то, что ты написал вчера, — это все случайность. И ты вчитываешься в чужие стихи и видишь их истинную слабость и думаешь, что не так уж важно, что ты не сумел написать подобного, а потом строки гремят, вроде вступления к „Медному всаднику“, и ты понимаешь, что об истинной высоте этих вершин ты и не подозревал ранее.

Потом проходит время. Выходит на бумагу свое, и чужие стихи перестают тебе казаться чудом. Когда-то я очень боялся этих провалов, этих промежутков. Потом научился ждать, научился уверенности, что провалы эти — только подготовка к новому движению, передышка на этом невеселом пути».

416. *ДП-1986.* Автографы — Ед. хр. 20. Л. 19 об. (черновой); Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 17 об. (беловой). Вкл. в *КТИзбр.*

***417.** *КТ94.* Автограф — Ед. хр. 20. Л. 64 (черновой); Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 19 об.–20 об. (беловой). Машинописи — Ед. хр. 85. Л. 9; Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 47–48, тот же текст под знаком «1» и другая редакция под знаком «2».

Соседка — очевидно, соседка по дому в поселке Туркмен. *Аммонит* — взрывчатое вещество, применявшееся на Колыме не только для горных работ, но и для быстрого устройства общих могил для захоронений умерших и расстрелянных заключенных в зимнее время. Ср. рассказ «По лендлизу»: «Могила, арестантская общая могила, каменная яма, доверху набитая нетленными мертвецами еще в тридцать восьмом году, осыпалась. Мертвецы ползли по склону горы, открывая колымскую тайну...» (*ВШ7*. Т. 1. С. 397).

418. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 87. Л. 81 (беловой, рукой Г. И. Гудзь); Ед. хр. 20. Л. 60; Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 22–22 об.

***419.** *ДиС*; *КТ94*, ранняя редакция («парный» вариант). Автографы ранней редакции — Ед. хр. 20. Л. 44, с вар.; Ед. хр. 109. Л. 24 (1956). Возможно, ст-ние было переделано в середине 1960-х годов, при подготовке *ДиС*, так как в *КТИзбр* не вошло. Печ. по *ДиС*.

То же решение принято И. Сиротинской при публикации *КТ* в *ВШ4* и *ВШ7*. Наше решение дополнительно мотивировано тем, что в *АКомм*, где Шаламов комментирует только опубликованные ст-ния, в пространном комментарии к данному тексту, подчеркивающему ключевое его значение для творчества автора, ничего не сказано о «дефектности» или неадекватности опубликованной в *ДиС* редакции. Основанием для выбора редакции *ДиС* в качестве основного варианта является также однозначное предпочтение Шаламовым именно редакции *ДиС* для ст-ния «Стланик» (см. примеч. к № 346). См. также преамбулу к примеч.

Первая строфа неоднократно цитировалась как выражение сущности «потаенного», адресованного потомкам творчества Шаламова (например, в предисловии М. Геллера к первому изданию *КР* на Западе — London, 1978). Об «особом ритмическом узоре», о котором пишет Шаламов в *АКомм* к данному ст-нию (см. ниже), см. в статье И. В. Некрасовой (Некрасова И. В. Теоретическое наследие В. Шаламова и его поэзия: Опыт литературоведческого интегрирования // Поезд Шаламова: Проблемы российского самосознания: Судьба и мировоззрение В. Т. Шаламова (к 110-летию со дня рождения) // Материалы 14-й Международной научной конференции Института философии РАН с регионами России / Отв. ред. С. А. Никольский. М., 2017. С. 140–141). Он основан на тонком использовании безударных слогов — пиррихиев в многосложных или «больших», по терминологии Шаламова, словах («окаменелостей», «геологическую», «последующими», «окаменевшая», «окаменевшими»). Ср. также о пропусках метрических ударений в этом ст-нии в работе Вяч. Вс. Иванова «Из наблюдений над четырехстопным ямбом современных поэтов» (Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2004. Т. 3. С. 725–731). О «больших» (гипердактилических) словах см. примеч. к ст-нию «Ятрышник, кукушкины слезы...» (№ 585).

АКомм: «Написано в 1956 году в Калининской области и входит в „Колымские тетради". Одна из формул бытия. С технической стороны отличается особым ритмическим узором. Дело в том, что стихи — это не проза. С легкой руки Белинского к стихам подходили как к прозе: „Евгений Онегин" — „энциклопедия русской жизни", „характер Татьяны", и так далее. На самом деле стихи имеют особенность, тонкость. Сам творческий поиск ведется не на путях прозы, а другим способом.

Открытие звуковых повторов, конфигурация согласных букв в „Медном всаднике", напоминающая химические формулы белка, — поэтическая реальность, которую не объяснишь формулами школьного учебника. Поэтическая интонация становится паспортом поэта. Публикуются частотные словари, и мир русской лирики открывается читателям с неожиданной стороны. Эта сторона поэтического творчества всегда была важна для поэта.

Я верю, что с помощью кибернетики обязательно будет найдено что-то очень важное для стиха, для поэзии, для литературы, для искусства. Что-то будет открыто вроде нового грамматического закона, не упрощающего русскую грамматику и правописание, а наоборот, усложняющего, обогащающего понимание русской литературы. Все поэты, начиная с Пушкина, добивались результатов лишь эмпирическим опытным путем. Оказалось, что для науки работы тут непочатый край. Все это предвидел гений Белого[1].

Каждое мое стихотворение — и „Раковина" в том числе — представляет собой поиск, вооруженный самыми последними достижениями русской лирики XX века».

420. *КТ94*. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 13 об. (черновой), с вар.; Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 25 (беловой); обе тетради 1956 г. Машинопись — *Копелев*. Ед. хр. 527. Л. 6, в составе цикла «Стихи к Пастернаку»; *Ласкина*, также в составе цикла. В оглавлении цикла, на титульном листе подаренных Копелеву материалов (Там же. Л. 1), вычеркнуто. См. также № 94, 154, 208, 547, 720–727, 839, 1065, 1079, 1234, 1235 и примеч.

421. *КТ94*. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 50, с вар.: ст. 1 «в поклоны» вм. «в поклоне», ст. 2 «Выгибая позвоночник».

С воспоминаниями о детской религиозности, о детских впечатлениях от церковной службы связан также набросок, записанный в тетради 1954 г. (Ед. хр. 87. Л. 100 об.–101):

[Будто это вынос плащаницы]
Это в церкви на Страстной седьмице,

---

[1] Шаламов чрезвычайно высоко ставил А. Белого как теоретика стиха, имея в виду его центральный тезис «Ритм в стихах первичен, метр вторичен», развивавшийся в книгах «Символизм» (1910) и «Ритм как диалектика» (1929). См. вступ. статью.

Мальчиком забившись в утолок,
Я искал в настороженных лицах
[То, что Вы сказали между строк]
То, что здесь читалось между строк.
[Будто собрались здесь на говенье]
Точно созывались на говенье,
И вот-вот «Разбойника» споют,[1]
[В этом все — и лиц благоговенье]
Оттого и лиц благоговенье,
Торжество страдальческих минут.

И молился я одной молитвой,
Милости выпрашивал одной,
Чтобы Вы в своей житейской битве
[Повстречались где-нибудь со мной]
Где-нибудь да встретились со мной

Двадцать лет я ждал <оборвано>.

***422.** *ДиС*; *КТ94*, с вар.: ст. 3 «Кровавый след зальет страницы», ст. 8 «друзей» вм. «друзья», ст. 13 «Когда, в смятенье малодушном», ст. 15 «стрелки» вм. «они», ст. 16 «Пока у них я на виду», ст. 18 «Уж не моей — чужой страны». Автограф — Ед. хр. 18. Л. 20–21 (черновой), с вар. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 51, редакция *ДиС*, в ст. 18 («Непоэтической страны») слово «непоэтической» подчеркнуто. Печ. по *ДиС*. Вкл. в *КТИзбр*.

В качестве основной редакции в *КТ94*, *ВШ4* и *ВШ7* И. Сиротинская избрала редакцию *КТмаш*, видимо, полагая, что изменения, внесенные в текст, опубликованный в *ДиС*, не являются авторскими. Между тем, достаточно большая правка в *ДиС* по сравнению с *КТмаш* вряд ли имеет чисто редакционный характер. Она, в частности, имеется в машинописи (Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 51) без указаний, что эта правка неавторская (за исключением подчеркивания слова «непоэтической», смысл которого неясен). Об авторском характере правки свидетельствует и тот факт, что Шаламов в своем *АКомм* на текст *ДиС* не счел нужным отметить предполагаемое редакционное вмешательство. Более того, в большинстве случаев, когда текст *ДиС* не совпадает с текстом *КТмаш* и в *АКомм* не отмечены редакционные искажения, имеются весомые аргументы в

[1] *«Разбойника» споют* — имеется в виду великопостное песнопение «Разбойника благоразумнаго во едином часе раеви сподобил еси, Господи...», воспроизводящее евангельский эпизод, повествующий об одном из разбойников, распятых вместе с Христом (Лк. 23: 40–43). Шаламов хорошо запомнил с детства также великопостный распев «Свете тихий»: см. ст-ние «Если „видевше свет вечерний“...», № 1195 и примеч.

пользу предпочтения именно редакции *ДиС* в качестве основной (см. примеч. к № 346, 419; напомним, что И. Сиротинская также приняла решение печатать эти ст-ния в составе *КТ* по *ДиС*). И хотя однозначной информации об авторском характере правки в *ДиС* у нас нет (особенно это касается замены в ст. 18 «Уж не моей — чужой страны» на «Непоэтической страны»), мы сочли более последовательным и в этом случае (как и для «Стланика» и «Раковины»; № 346, 419) предпочесть редакцию *ДиС* в качестве основной. См. также преамбулу к примеч.

Ст-ние стало одним из наиболее гражданственно-острых в условиях завершения «оттепели» в середине 1960-х гг. и впоследствии неоднократно цитировалось. (Ср.: Шрейдер Ю. «Граница совести моей» // *НМ*. 1994. № 12).

АКомм: «*Написано в 1956 году в поселке Туркмен. Входит в „Колымские тетради". Нам слишком много прощено*».

423. *КТ94*.

424. *КТ94*.

425. Москва. 1968. № 3. Машинопись — Оп. 2 . Ед. хр. 106. Л. 53.

***426.** *ШЛ*. Автографы — Ед. хр. 18. Л. 12–14, загл. «Недостоверная мечта»; Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 1–3, без загл. В *КТмаш* — дополнительные десять строф (см. раздел «Другие редакции и варианты»). Печ. по *ШЛ* в соответствии с указанием Шаламова в *АКомм* (см. ниже). Вкл. в *КТИзбр*.

АКомм: «*Написано в 1956 году в Калининской области. Входит в „Колымские тетради". Это — большое стихотворение, называвшееся „Недостоверная мечта"; то, что напечатано в „Шелесте листьев", — пятая часть стихотворения. Я сожалел сначала об этой хирургической операции, а потом пригляделся, чуть привык и холодно рассудил, что оставлено — лучшее, что в стихотворении было.*

Многословие многих колымских моих стихов объясняется тем, что стихи сочинялись в самой неподходящей обстановке, а возникновение, появление требовало немедленной фиксации, пусть в несовершенном, неожиданном виде, лишь бы это все закрепилось, и я смог бы к этим стихам, к этой работе вернуться. Я должен был освободить мозг немедленно.

Я делал попытки вернуться к работе над колымскими черновиками. Эти попытки кончились ничем. Вернуться оказалось невозможно. Лучше, проще, легче было написать новое стихотворение, чем превращать этот колымский черновик в материковский беловик. Чем дальше, тем яснее было сознание, что запас новизны — безграничен, и колымские черновики никогда не будут беловиками. Впрочем, есть стихи, работа над текстом которых привела к положительным результатам. Это — „Стланик". Но в большинстве случаев все кончалось ничем — потерей времени и ненужным нервным напряжением, крайним напряжением — ибо

ведь нужно было вернуться памятью, чувством, волей назад, в ту жизнь. Оказалось, что нельзя, не под силу. Без этого нравственного, чувственного возвращения оказалось невозможным не только написать новое по материалу черновика, но и править хранимое в папках, в бумагах времен до „Колымских тетрадей". Будет ли возможность вернуться к этому материалу? Нет, не будет.

В стихотворении „Мечта ученого почтенна" утверждается некая новая поэтическая истина. Именно: стремление к высоким целям в творчестве делает человека выше самого себя. Пример — не только Некрасов, Гейне, но и любой акт большой поэзии. Высокая цель в искусстве увеличивает силу одиночки, поэта, делает его способным повернуть общество или удержать от гибельного поворота. Это — задача всякого поэта. У поэта должна быть постоянно мысль о своей собственной огромной силе».

427. *ДиС*, с сокращениями (из 48 двустиший напечатано 28). Автографы — Ед. хр. 17. Л. 16–19; Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 3 об.–6. В копии, подаренной в 1965 г. Л. З. Копелеву, вписано три пропущенных в *ДиС* двустишия:

Мы с той сосной одной судьбы:
Мы оба — бывшие рабы,

Кому под солнцем места нет,
Кому сошелся клином свет,

И лишь оглянемся назад,
Один и тот же видим ад.

В *КТмаш* и последующих изданиях посвящение Н. Я. Мандельштам отсутствует. В наст. изд. принято решение сохранить посвящение, поскольку всюду, где прямых указаний Шаламова на редакционное вмешательство нет, редакция *ДиС* считается предпочтительной (см. примеч. к № 346, 419, 422). Тот же подход использован нами и относительно посвящений.

АКомм: *«Написано в 1956 году в Калининской области в поселке Туркмен. Одно из стихотворений, где наиболее полно выражены мои поэтические идеи, художественная система».*

428. *СМол.* 1963. № 12. Автографы — Ед. хр. 18. Л. 5; Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 15 (беловой).

АКомм: *«Написано в 1956 году в Калининской области».*

429. *КТ94*. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 1 (беловой).

430. *КТ94*. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 8 об. (беловой).

431. *КТ94*. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 9 (беловой). Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 16.

432. *КТ94*.

433. *КТ94*. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 7 об.–8 (беловой), с посвящением «А. Д.» — вероятно, А. З. Добровольскому (см. примеч. к № 800). Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 17, с тем же посвящением.

434. *КТ94*. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 6 об.–7 (беловой).

435. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 22. Л. 2.

436. *КТ94*. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 11 (беловой), с зачеркнутой дополнительной первой строфой: «Есть жены, женщины, улыбки. / Есть боль — чужая и своя. / Законтрактованные скрипки / Для славословья бытия».

437. Знамя. 1993. № 1.

Очевидно, связано с окончательным разрывом с Г. И. Гудзь. См. № 541 и примеч.

438. *КТ94*. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 11 об.

439. *КТ94*. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 12. Идентичный текст в *МЗ-1961*.

Вероятно, связано с О. С. Неклюдовой, так как читалось и записывалось в *МЗ-1961* в ее присутствии.

440. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 22. Л. 6.

441. Смена. 1988. № 22. Автограф — Ед. хр. 22. Л. 7.

442. Смена. 1988. № 22. Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 18.

443. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 22. Л. 5.

Вероятно, связано с посещением знакомых мест в Москве. Можно увидеть также непроизвольное воздействие давних строк Б. Пастернака: «По будням медник подле вас / Клепал, лудил, паял...» («Балашов», 1917 г.).

444. *КТ94*. Машинописи — Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 59, загл. «Май», с вар.: ст. 1 «Всюду мох, сухой, как порох»; Ед. хр. 85. Л. 18 об.

445. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 22. Л. 3. (Тетрадь 1956 г.).

446. *КТ94*.

Связано с посещением выставки «Шедевры Дрезденской галереи» в Москве в 1955 г.

И пред лицом моей Мадонны / Я плачу вовсе не стыдясь... — Речь идет о «Сикстинской мадонне» Рафаэля. См. ук. выше, в примеч. к № 401, переписку с Л. М. Бродской. *И на царя Ивана / Сверкнет наточенным ножом.* — Имеется в виду известный случай 1913 г., когда молодой иконописец А. Балашов сапожным ножом изрезал картину И. Репина «Иван Грозный и его сын Иван».

447. *КТ94*.

448. *КТ94*.

449. *ШЛ*, без строфы 4. Машинопись — Оп. 2 . Ед. хр. 106. Л. 55.

АКомм: «*Написано в 1956 году в Калининской области. Одно из важных стихотворений, обобщающих мой северный опыт и мою формулу искусства. Печатается по истинному тексту*»[1].

450. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 19.

---

[1] В *ШЛ* была снята строфа 4.

451. *КТ94*. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 63.

...пятипалым лепестком — По распространенному поверью находка цветка сирени из пяти лепестков — счастливая примета.

452. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 20.

453. *КТ94*.

454. Знамя. 1993. № 1. В *Списке1969* датируется 1956 г.

455. *КТ94*.

Очевидно, что здесь Шаламов вступается за тех поэтов, которые получили в советском литературоведении ярлык «формалистов», ввиду их увлечения формой, особенно звуковой стороной стиха. Выросший в атмосфере 1920-х гг. с ее свободой художественных поисков, Шаламов высоко ставил находки поэтов и писателей в области формы и сам заявлял себя во многом «адептом формы» (Волкова Е. Трагический парадокс Варлама Шаламова. М., 1998. С. 15). Судя по строке: *«И их юродство — не уродство»*, — речь в ст-нии идет прежде всего о В. Хлебникове и других футуристах, у которых Шаламов в 1920-е гг. черпал первые уроки «ремесла». *Кто пораженный немотою, / Хватался вдруг за пистолет* — намек на судьбу В. Маяковского. Полемический характер ст-ния в известной мере отражает эстетику самого Шаламова: с одной стороны, его принцип — «искусства вне формы не существует», с другой, еще более важный принцип — «корень поэзии — в этике».

456. *КТ94*.

Характерно, что эти стихотворные размышления посвящены не поэзии, а прозе, и их можно считать предвестием будущих манифестов Шаламова о «новой прозе». Более того, здесь обнаруживаются прямые параллели с этими манифестами, а также с эссе Шаламова начала 1960-х гг. «Заметки рецензента» (*ВШ7*. Т. 5. С. 228–243).

Мы рвали слог короткой фразой / По европейским образцам. — Ср.: «Бабель, который считается у нас отцом „новой“ прозы, принес короткую фразу из французской литературы, культивировал эту французскую фразу на русской почве» (Там же. С. 238). *Как ни чужда такая форма / Судьбе родного языка...* — Ср.: «Это было новшеством сомнительным, ибо не отвечало духу русского языка» (Там же). *...флоберовская мера.* — Ср.: «Флобер для фразы предлагал физиологическую меру — длину дыхания, как предел величины фразы» (Там же. С. 237). *...периодов длину / Любили вовсе не за сплетни, / За чувств и мыслей глубину.* — Ср.: «Мощная фраза Толстого, фраза Достоевского, фраза Лескова, Чехова, Бунина — все продиктовано заботой писателя о том, чтобы сообщить читателю великое множество мыслей, передать ему великое множество чувств» (Там же. С. 238). *Скучна, скучна нам речь Толстого.* — Ср.: «Эренбург <...> уверяет, что в половине двадцатого века нельзя писать фразой Толстого, тяжелой и витиеватой» (Там же). Несмотря на позитивную оценку «мощной фразы Толстого» в эссе «Заметки

рецензента» (см. выше) эстетика Шаламова-прозаика изначально строилась на совершенно иных принципах. Ср.: «Проза рассказа должна быть сухой и строгой, с весьма осторожным использованием метафор, без уклонений в сторону» (черновик письма к Б. Пастернаку от 19 октября 1954 г. — Ед. хр. 10. Л. 64). Следует отметить, что отношение Шаламова к позднему Толстому было критическим (см. также ст-ние «Толстовский музей», № 696 и примеч.). Более того, резко изменилось отношение Шаламова и к стилю Толстого, к его «бесконечной, бесформенной и претенциозной <...> фразе» (*ВШ7*. Т. 5. С. 160). Подробнее см. в гл. «Антитолстовец» из монографии М. Берютти (Berutti M. Varlam Chalamov: Chroniqueur du Goulag et poète de la Kolyma. Paris, 2014; перевод глав из этой книги см.: https://shalamov.ru/research/261/).

457. *ДН*. 1987. № 3.

458. *КТ94*.

459. *КТ94*. Автограф — Ед. хр. 7. Л. 40, загл. «Март 1955», с вар.: перед ст. 1 «Давным-давно, со школьных парт / Московскою порой / Мы знали Левитанов март, / Угрюмый и сырой. // Но нам не открывает карт / Игра календаря. / Таким ли здесь видала март / Московская заря», ст. 1 «Он притворился январем», ст. 13–16 отсутствуют. Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 22. Первоначально входило в состав сб. «Златые горы» с загл. «Март 1955 г.». (Такое загл. с первой строкой «Нет, нам не открывает карт...» фигурирует под № 59 в списке ст-ний указанного сб. — Ед. хр. 80. Л. 2.)

Возможно, в подтексте ст-ния — сравнение двух исторических событий: XX съезда КПСС (февраль 1956 г.) и Февральской революции 1917 г. (фактически произошла в марте). Полузакрытости съезда («не открывает карт игра календаря») противопоставлена «московская заря» (свобода, которой, по словам Шаламова, «дышал 17-й год» — *Восп*. С. 422; ср. описание Февральской революции как «праздника» в *ЧВ* — *ВШ7*. Т. 4. С. 91–92).

460. Знамя. 1993. № 1. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 64.

461. *ШЛ*. Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 23.

АКомм: *«Написано в 1956 году в поселке Туркмен».*

462. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 85. Л. 24.

463. *КТ94*. Машинопись — Ед. хр. 113. Л. 71.

464. *Стихи88*. Машинопись — Оп. 2 . Ед. хр. 106. Л. 50, с вар.: ст. 1 «заслоня» вм. «затеня».

Стихотворения 1940–1956 гг., не вошедшие в «Колымские тетради»

По сравнению с *ВШ4* и *ВШ7* раздел значительно расширен за счет выявления в архиве, а также в малоизвестных публикациях и в *МЗ-1967*, большого числа — около восьмидесяти — ст-ний, хронологически и тематически примыкающих к *КТ*. Часть из них

написана на Колыме, а большинство — на «101-м километре» в Калининской обл. Некоторые ст-ния («Мотив», «Песчаный путь», «Товарищу при посылке стихов», «Весенняя капель») включены автором в *КТИзбр*, однако в итоговые сборники *КТ* не вошли. Это могло быть обусловлено как содержательно-композиционными соображениями, так и забывчивостью автора (в связи с огромным объемом рукописей). Последний фактор прослеживается в *АКомм* 1969 г.: Шаламов пишет о некоторых ст-ниях («Ощутил в душе и теле...», «Пегас», «Не в пролитом море чернил...», «Мы родине служим...», «Сосна в болоте», «Бивень» и др.): «Входит в „Колымские тетради"» — в то время, как в состав ни одного из сборников *КТ* они не включены.

Следует напомнить, что у Шаламова немало ст-ний, которые он называл «парными», т. е. написанными на одну и ту же тему или сюжет, но, как правило, в другой метрике и с другими нюансами поэтической мысли. Они представляют скорее не вариант первоначального ст-ния, а его вариацию. Ср. *АКомм* к ст-нию «Верю» (№ 102) в наст. изд.: «Написано в 1952 году в Барагоне, близ Оймяконского аэропорта и почтового отделения Томтор. Об этом времени мной написано еще одно большое стихотворение „Почта Томтора" (№ 1221. — *В. Е.*) — „парное" стихотворение к „Сотому разу" (имеется в виду ст-ние «Верю», № 102. — *В. Е.*)». Включение подобных «пар» в *КТ* Шаламов считал эстетически неоправданным, и потому одно из ст-ний неизбежно оказывалось «за бортом» книги. Целый ряд подобных ст-ний приведен в данном разделе.

Все ст-ния публикуются в хронологической последовательности — по датировкам авторских тетрадей, по порядку внутреннего расположения в них, а также с учетом *Списка1969* по годам. Аргументация отдельных сложных случаев датировки дается в примечаниях. Если источник, по которому печ. ст-ние, не оговорен явно, это означает, что ст-ние печ. по последнему из упомянутых автографов или машинописей.

465. *ДиС*, с указанием даты «1940 г.» (единственное датированное ст-ние во всех опубликованных сборниках). Автограф — Ед. хр. 3. Л. 40 (*СТ*, посланная Б. Пастернаку), с вар.: ст. 16 «крашеных губах» (зачеркнуто); ст. 19 «певчей птицею», исправлено карандашом на «синей птицею». Вкл. в *КД* (Ед. хр. 78. Л. 25 об.–26). Печ. по *ДиС* с восстановленной по автографу пунктуацией последней строки (в *ДиС* было: «Донельзя — нельзя!»).

Обращено к Г. И. Гудзь.

АКомм: «*„Модница" датирована 1940 годом, но это — датировка условная. Я уехал из Москвы в 1937 году, а получил возможность одиночества — главного условия творческой работы — лишь в 1949 году. Все написанное мною до того времени не записано. Были ли отдельные строфы, строки стихами, я сказать не могу.*

Я пытался кое-что заучить, запомнить, но оказалось, что это — напряженная работа, ничего в памяти не осталось. Все было тут же стерто более важными для меня, более яркими впечатлениями, при встрече с которыми искусство отходило на второй план, не могло укрепиться в мозгу. Иногда в памяти кое-что воскресало, после 1949 года. Воскресли стихотворения „Игрою детской увлеченный...“[1] *и „Модница“, которую я очень приблизительно отношу к 1940 году. От этих четырнадцати лет осталось несколько десятков стихотворений, может быть, сотня, не более. Мне было бы крайне любопытно — не важно, а любопытно — перечесть эти стихи, но сделать это — невозможно. Все безнадежно утрачено и никогда не воскреснет».*

Очевидно, что ст-ние записано в 1949 г. Авторская датировка имеет реальные основания, так как в 1940 г. Шаламов находился на сравнительно легкой работе в угольной разведке на Черном озере. Ср.: «В угольной разведке на Черном озере работы было мало — если вспомнить золотые забои — и в свободные вечера, я, воскресший, рассказывал соседям по бараку разные истории <...>, проводил свои устные анкеты о Пушкине, Некрасове, читал вслух „Ревизора“ и „Евгения Онегина“. Это было время, когда начальник района — района, в котором еще нет населения, а есть только штаты высшей администрации — был Виктор Николаевич Плуталов — первый и единственный инженер на этом начальниковом посту. Плуталов относился к чтениям либерально» (*Восп.* С. 485).

По волнам бегущая — аллюзия на роман А. Грина «Бегущая по волнам» (1928).

466. *ШЛ.* Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 16, с вар.: ст. 1 «Кусты железные шуршат». В *Списке1969* датировано 1949 г., с загл. «Сожженные цветы. (Жара)».

Единственное ст-ние, написанное Шаламовым в больнице УСВИТЛ «Левый берег» (см. *АКомм*), вероятно, еще до «периода Дусканьи» (см. преамбулу к примеч. и соответствующий раздел в т. 2 наст. изд.). Хотя Шаламов включил его в состав *КД*, в *СТ*, посланные Б. Пастернаку, оно не входило. В связи с этим, а также в связи с тем, что Шаламов называл его «одним из весьма дорогих» для него стихотворений (см. *АКомм*), оно печатается в разделе «Стихотворения 1940–1956 гг., не вошедшие в „Колымские тетради“», а не в разделе «Ключ Дусканья...» т. 2 наст. изд.

АКомм: «*Написано на Колыме в 1949 году. Одно из весьма дорогих мне стихотворений. Тут дело идет о больнице, где выздоравливают леченные тобою люди. Написано в Центральной больнице „Левый берег“*».

467. *Север.* Автограф — Ед. хр. 78. Л. 43. Вкл. в *КТИзбр.*

---

[1] См. № 1089.

468. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 12. Л. 1 об. (тетрадь 1954 г., в которую переписана часть стихов, начатых на Колыме), с вар.: ст. 3 «Четырнадцать лет я подумать о счастье не смею», ст. 12 «Но тяжко приходится мне»; Ед. хр. 39. Л. 12.

Возможно, вар. автографа из Ед. хр. 12 является ключом к датировке; если понимать эту строку буквально, то речь идет о 1951 г. (четырнадцать лет после ареста в 1937-м).

469. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 7. Л. 21 (папка с разрозненными листами рукописей первой половины 1950-х гг.); Ед. хр. 83. Л. 17 (материалы к несостоявшемуся сб. «Разлука»).

В пользу указанной датировки свидетельствует самоощущение лирического героя, говорящего о «неволе» в прошедшем времени и в то же время не уверенного в полной свободе. Официально срок заключения Шаламова закончился в октябре 1951 г., но горько-ироническое «почти в воротах рая» относится, несомненно, к самому тяжелому колымскому периоду конца 1930-х гг.

470. Публикуется впервые. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 108. Л. 123 (с датой «1951» рукой автора). Вкл. в *КТИзбр*.

471–472. Россия. 1998. Март. С. 80 (публикация И. Сиротинской). Машинописи — *ПТраубе*; Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 43–44 (материалы к сб. *СумП*).

Богоматерь Снежная — Дева Мария Снежная, праздник католической церкви, здесь олицетворяет владычицу снежного царства. *Великорусская красавица / В некрасовском каком-то сне.* — Имеется в виду сон героя в поэме Н. А. Некрасова «Мороз Красный нос».

473. *ДП-1970*; *МО*, загл. «Таежная весна». Автограф — Ед. хр. 8. Л. 19, с вар.: ст. 1 «Развернувшимся маем». Печ. по *ДП-1970*.

474. Публикуется впервые. Печ. по *МЗ-1967*. По *Списку1969* датируется 1952 г. Следует заметить, что в *Список1969* Шаламов включал наиболее важные для себя ст-ния, к каковым, несомненно, относил и данное.

475. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 29.

Под другим загл. «Дендрохронология» (очевидно, желая обойти цензуру) Шаламов готовил его к печати в 1970-е гг. (см. машинопись: Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 58), однако оно осталось не опубликованным. По ошибке памяти включено в *Список1969* под 1951 г. Событийно связано с посещением магаданского краеведческого музея летом 1952 г. после освобождения, во время командировки из больницы УСВИТЛ в Магадан в Санитарное управление Дальстроя для устройства на последующую работу. Магаданский музей был основан в 1934 г. и со временем претерпел большие изменения. У Шаламова сохранился набросок описания этого музея: «Для большого облезлого лося потолок комнаты был слишком низок и лось был поставлен на улице в серый сарай с покосившимися стенами» (Ед. хр. 15. Л. 4). *Триста лет.* — Очевидно, что именно

в музее, из этикетки под экспонатом или объяснений экскурсовода, Шаламов впервые с удивлением узнал о среднем возрасте колымской (даурской) лиственницы. Эти данные опирались на новейший научный источник: в 1949 г. под эгидой Ботанического института АН СССР вышел первый том фундаментального атласа-справочника «Деревья и кустарники СССР», где о даурской лиственнице (Larix dahurica) говорилось: «Живет до 350–400 лет» (С. 172). Образ трехсотлетней лиственницы станет одним из ключевых в стихах и прозе Шаламова (ср. рассказ «Воскрешение лиственницы», 1966 — *ВШ7*. Т. 2. С. 278). Интересна также деталь о *тритоне* — она вспомнится Шаламову в позднем ст-нии «Для биопсии» (№ 939): «Где дыханье тритон сохраняет веками / Средь глубоких ущелий и троп...», — а также в начале рассказа «Перчатка»: «Где-то во льду хранятся рыцарские мои перчатки, облегавшие мои пальцы целых тридцать шесть лет теснее лайковой кожи и тончайшей замши Эльзы Кох. Перчатки эти живут в музейном льду — свидетельство, документ, экспонат фантастического реализма моей тогдашней действительности, ждут своей очереди, как тритоны или целаканты, чтобы стать латимерией из целакантов[1]...» (*ВШ7*. Т. 2. С. 283). Следует подчеркнуть, что Шаламов увидел колымского тритона еще в 1952 г. и, разумеется, этот образ у него никак не связан с легендой о тритоне, фигурирующей в прологе «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына, в чем пытался уверить биолог и историк Н. Формозов («Данный образ восходит к „Архипелагу...“, с которым Варлам Шаламов знакомился еще до публикации»[2] — Формозов Н. Метаморфоз одной метафоры // *НГ*. 2011. 28 ноября).

476. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 7. Л. 27; Ед. хр. 8. Л. 15 об., с датой «1952 г.». Печ. по *МЗ-1967*.

Чтение в *МЗ-1967* само по себе свидетельствует о важности для Шаламова этого ст-ния. Та же тема о «лоцманах»-поэтах, обладающих особым даром видения глубин жизни, развивается в «парном» ст-нии сб. *СумП* «Изменился давно фарватер...» (№ 127). Характерно, что оба ст-ния в Ед. хр. 7 записаны на одном листе.

---

[1] Целаканты — отряд лопастеперых рыб, известен по многочисленным ископаемым представителям и единственному современному роду латимерия (Latimeria). Вероятно, Шаламов, большой любитель научно-популярной литературы, пользовался данными из книги Дж. Л. Б. Смита «Старина Четвероног: Как был открыт целакант» (М., 1962). По современным данным, речь идет не о тритоне и не о целаканте, а о редком представителе ихтиофауны, способном переносить зимовку на Колыме, — сибирском углозубе (см. указанную публикацию Н. Формозова).

[2] Данное утверждение неверно: Шаламов был знаком лишь с общим замыслом «Архипелага...», в который его посвятил Солженицын при встрече в 1964 г. См.: Есипов В. В. Шаламов и «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына // *Шсб-5*. С. 297–302.

477. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 5, с вар.: ст. 13 «Мужская наша дружба»; Ед. хр. 87. Л. 41, ст. 13 («Мужская наша дружба») зачеркнута, вписан окончательный вар. В *Списке1969* под 1953 г. обозначено «Руставели».

Использован ряд мотивов поэмы «Витязь в тигровой шкуре» (мужские рыдания, побратимство, скитания). Является «парным» к ст-нию «Ни травинки, ни кусточка...» (№ 18). «Грузинская» тема, связывающая эти стихи, позволяет предположить, что они могут иметь отношение к единственной грузинке, с которой Шаламов имел возможность общаться на Колыме, в лагерной больнице, — Елене Александровне Мамучашвили. Через нее, уезжавшую в отпуск на материк в феврале 1952 г., Шаламов передал первые колымские стихи, адресованные Б. Пастернаку. В своих воспоминаниях (Мамучашвили Е. В больнице для заключенных // *Шсб-2*) она ограничилась словами о том, что Шаламов, в условиях больницы с большим женским персоналом, «не был монахом», но его отношение к женщинам было «прагматичным». Позднее в беседе с И. П. Сиротинской в конце 1980-х гг. Елена Александровна призналась, что была влюблена в Шаламова, фельдшера хирургического отделения, который был старше нее почти на двадцать лет. Однако, как рассказывала Мамучашвили, у него была постоянная подруга из медсестер (фамилии ее не называлось, возможно, она скрывается под именем Маши Тепловой, которой посвящено одно из ст-ний *СТ*). Возможно, перипетии этой неразделенной любви нашли отражение в двух «парных» лирических ст-ниях, последнее из которых раскрывает главную причину пресловутого «прагматизма» Шаламова в отношении к любви: он не позволял себе глубоких чувств в лагерной обстановке, среди «стонов» и «хруста костей». Теплые чувства к Е. А. Мамучашвили воплотились в посвященном ей шуточном предновогоднем ст-нии «Я забыл, какие свечи...» (№ 1255).

478. Публикуется впервые. Печ. по *МЗ-1967*. Есть в *Списке1969* под 1953 г.

479. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 7. Л. 16. Печ. по *МЗ-1967*.

«Парное» ст-ние к написанному в конце того же 1953 г. ст-нию «Над трущобами Витима...» (№ 156).

480. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 43. Печ. по *МЗ-1967*.

481. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 44. Печ. по *МЗ-1967*.

В *Списке1969* под 1953 г. обозначено «Блаженны неузнанные» (ср.: «Кровь должна быть настоящей, безымянной», записная книжка конца 1960-х гг. — *ЗапКн.* С. 352). Несколько неожиданными кажутся строки: «Блаженны прозаики, / Ибо они не узрели тебя, боже». С одной стороны, здесь можно увидеть убеждение

Шаламова в приоритете поэзии перед прозой, а также свидетельство того, что к тому времени Шаламов еще не начал работать над *КР*. С другой стороны, примечательный факт: несколько позже в той же тетради появилась запись Шаламова (с пометой «Развить в статью»): «Я понимаю, почему Б. Л. (Пастернак. — *В. Е.*) говорит о необходимости заниматься прозой для поэта. Не все можно выразить стихами. Во время работы над прозой рождаются, утверждаются стихи. И во время работы над стихотворением стихотворение спотыкается о „прозаическую" мысль о явлении, которую лучше развить в прозе. Происходит взаимообогащение жанров. Для прозаика же ясна необходимость заниматься стихами...» (Л. 29 об.). Знаменательна и цитата из «Спекторского» Пастернака, венчающая эту запись: «За то, чтобы поэтом стал прозаик / И полубогом сделался поэт». Разумеется, все это не значит, что писать колымскую прозу Шаламов начал под влиянием Пастернака — заготовки к ней делались еще на Севере (см. «Заметки о колымской природе» — *Шсб-5*). Крайне интересен также набросок письма к Пастернаку от 19 октября 1954 г., где Шаламов пишет о работе над рассказами:

«Дорогой Борис Леонидович!

Какая это адски трудная штука — рассказы. Столько врывается лишнего, отталкивающего в сторону заданную тему и такого, чему приходится давать место, открывать дверь в рассказ. Роман, вероятно, еще труднее <...>. Мой личный опыт требует таких качеств, которые могут дать хорошие мемуары — т. е. некий литературный полуфабрикат, только такими великанами, как Герцен, превращающий мемуарную запись в полностью художественную величину.

<...> Реализация моего опыта в рассказы неминуемо уменьшит впечатление.

Притом форма тех рассказов, и наших и переводных, которую я знаю за всю мою жизнь, не кажется мне идеалом. И не так мне хотелось бы писать рассказы, как Чехов, как Генри, как Хемингуэй. Проза рассказа должна быть сухой и строгой, с весьма осторожным использованием метафор, без уклонений в сторону. Ход рассказа должен быть убыстряющийся. Если не событие, то настроение сгущается и сгущается и обрывается вдруг.

Если хочется его перечитать, то перечитать с начала до конца (а не просматривать лучшие места).

Вот над такими северными рассказами я и работаю» (Ед. хр. 10. Л. 61 об.–63. Публикуется впервые).

Стихотворение построено как парафраз «Нагорной проповеди». Ср.: *Блаженны неузнанные, / Ибо тех есть царство небесное <...> Блаженны прозаики, / Ибо они не узрели тебя, боже.* — «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное <...> Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5: 3–11).

482. *ДиС*. В *Списке1969* под 1954 г.

483. *ДиС.*, с вар.: ст. 5–8 «Отнимая солнца силу, / Зелень будет пламенеть, / Заставляя побледнеть / Утомленное светило». Автографы — Ед. хр. 7. Л. 34; Ед. хр. 10. Л. 34 об. Печ. по последнему автографу.

Строфу с «Пасхой» Шаламов, скорее всего, убрал сам, понимая, что в *ДиС* она все равно бы не прошла. Природу он по детской привычке воспринимал по церковному календарю. Ср. ст-ния «Отощавшая скотина...» (№ 497), «Все больше черных пятен...» (№ 1140).

484. Юность. 1970. № 7. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 12.

485. *ДП-1981.* Автограф — Ед. хр. 10. Л. 47.

486. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 39. Л. 5.

487. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 49 об. (черновой); Ед. хр. 39. Л. 7 (беловой).

488. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 55.

И Микеланджело сомненья / В нас укрепились навсегда — речь идет о знаменитой фреске Микеланджело «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане, где Христос олицетворяет не милосердие и всепрощение, а гнев, возмездие за грехи человеческие. Шаламов после Колымы, как видно, укрепился в подобной трактовке Христа. Непосредственным поводом к этим размышлениям, вероятно, послужили его встречи в 1954 г. с искусствоведом Н. А. Кастальской и художницей Л. М. Бродской, в переписке с которыми обсуждались особенности искусства Возрождения и русской фресковой живописи (*ВШ7.* Т. 6. С. 167–198). Ср. также ст-ние «Софийский собор» (№ 972), и эпизоды *ЧВ*, где затрагивается тема Страшного суда (*ВШ7.* Т. 4. С. 13–14).

489. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 57 об.–58. Входит в *Список1969* за 1954 г.

490. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 84 об. (черновой, 1954 г.); Ед. хр. 39. Л. 11 (беловой; декабрь 1970 — февраль 1971).

491. Знамя. 1990. № 7; *КТ94.* Автографы — Ед. хр. 10. Л. 59 (черновой, едва читаются только некоторые строки); Ед. хр. 39. Л. 11 об. (беловой).

АКомм: «Написано в 1954 году в Калининской области, в поселке Туркмен».

492. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 61.

493. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 43, без загл. (черновой набросок); Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 43, без загл. (беловой, предварительный состав сб. *СумП*); Оп. 3. Ед. хр. 43. Л. 20 (беловой, 1971).

Кадыкчан — река в верховьях Колымы, где располагался лагерь с угольными шахтами, на которых работал Шаламов в 1940–1942 гг. (см. рассказы «Июнь», «Инженер Киселев»; глава «Воспоминаний» «Кадыкчан, Аркагала» — *ВШ7.* Т. 4. С. 385–395). *Дусканья* — небольшая река (ключ) в 30 км от Центральной лагерной больницы.

Работа фельдшером лесоучастка на Дусканье сыграла огромную роль в судьбе Шаламова, став «крещением» для него как поэта. *Фирновый лед* — лед, образовавшийся из слежавшегося снега.

494. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 65. Включено в *Список1969* под 1954 г.

Корчить сызнова пророка, / Посетившего тюрьму. — Очевидно, в полемически-сниженном виде отражена назидательно-моралистическая традиция русской литературы. В частности, Шаламов мог иметь в виду эпизод с посещением тюрьмы Л. Н. Толстым во время работы над романом «Воскресение». Открытую полемику с этой традицией см. в главе «Об одной ошибке художественной литературы» «Очерков преступного мира» (*ВШ7*. Т. 2. С. 7–11).

495. *ДП-1969, МО*. Автографы — Ед. хр. 10. Л. 85; Ед. хр. 39. Л. 9.

496. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 10. Л. 88. Машинопись: Оп. 2. Ед. хр. 108. Л. 122. Включено в *Список1969* под 1954 г.

Написано на ст. Решетниково, откуда Шаламов ездил в Москву. Свидетельствует об огромной интенсивности его литературной работы в послеколымский период.

497. Знамя. 1990. № 7. Скорее всего, соотносится по времени создания со ст-нием «Сельские картинки» (№ 278).

498. Юность. 1970. № 7. В *Списке1969* под 1954 г., загл. «На озере».

499. Юность. 1970. № 7.

500. *ДП-1970, МО*. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 14.

АКомм: *«Написано в 1954 году в Калининской области. Входит в „Колымские тетради". Запись из моего поэтического дневника».*

501. *ДП-1968*. Автограф — Ед. хр. 110. Л. 64 (беловой).

АКомм: *«Написано в 1954 году в Калининской области. Входит в „Колымские тетради". Незатейливая мысль, высказанная в незатейливой форме. Для поэта очень трудно найти истинное равновесие между искусством и жизнью. Что тут дороже? Жизнь или искусство? И бывают ли тут противоречия? На этот вопрос поэт в течение своей жизни дает разные ответы. Вот это — один из ответов.*

Если бы мои стихи опубликовывались в хронологическом порядке — то получилась бы убедительная картина развития моих поэтических идей. Но — почти невозможна публикация немедленная. А через несколько лет стихотворение тебе не так уж дорого, но возникла возможность напечатания именно этого стихотворения. И поэт уже не следит, передает ли эта старая формула его новые, сегодняшние взгляды. Есть поэты, для которых такой вопрос не существует. Но для классиков XIX века и великих лириков XX-го этот вопрос существовал, и весьма».

502. *ДП-1968*; *МО*. Автограф — Ед. хр. 11. Л. 39 об., с вар.: ст. 1 «Ощутил душой и телом».

АКомм: *«Стихотворение написано в 1954 году в Калининской области. Входит в „Колымские тетради“. Важная страница моего поэтического дневника».*

503. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 15. Л. 7. Имеется в *МЗ-1967*.

Воспоминание о дороге под конвоем на Колыму. Подробнее см.: Есипов В. Два гения в одном эшелоне: (В. Т. Шаламов и Ю. Г. Оксман) // Знамя. 2014. № 6.

504. *ЛР*. 2016. 23 сент. Автографы — Ед. хр. 16. Л. 16 об. (черновой); Ед. хр. 112. Л. 3 (беловой).

...на обложке / Есенинских книжек двадцатых годов. — Шаламов, по-видимому, вспоминает оформление четырехтомного «Собрания стихотворений» С. Есенина (М.; Л., 1926–1927; художник Б. Б. Титов), где на обложках были изображены березки. В творчестве Есенина Шаламов считал вершиной цикл «Москва кабацкая»: «...Каждое из 18 стихотворений, составляющих этот удивительный цикл, — шедевр русской лирики, отличающийся необыкновенной оригинальностью, одетой в личную судьбу, помноженную на судьбу общества, с использованием всего, что накоплено русской поэзией XX века — выраженной с ярчайшей силой» (очерк «А. К. Воронский» — *ВШ7*. Т. 4. С. 577). Подробнее см.: Неустроев Д. Варлам Шаламов о Сергее Есенине // Есенин и поэзия России XX–XXI веков: Традиции и новаторство. М.; Рязань; Константиново, 2004.

505. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 87. Л. 50 (1954).

506. Знамя. 1968. № 12. Машинопись — Оп. 2 . Ед. хр. 113. Л. 61 об.

АКомм: *«Написано в 1955 году в поселке Туркмен Калининской области. Входит в „Колымские тетради“».*

507. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 91. Л. 1 (тетрадь 1955–1956 гг.).

Очевидно, связано с Г. И. Гудзь.

508. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 91. Л. 16.

509. *НС*. Автограф — Ед. хр. 27. Л. 17 (тетрадь 1959 г., но, скорее всего, ст-ние написано до переезда из пос. Туркмен в Москву).

510. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 91. Л. 75.

511. *ДП-1981*, *ВШ7*. Автограф — Ед. хр. 17. Л. 6.

Для нас и жизнь лишь только случай / Покрепче выстроить стихи — перекличка (возможно, невольная) с хрестоматийной декларацией В. Брюсова: «Быть может, все в жизни лишь средство / Для ярко-певучих стихов» («Поэту», 1907).

512. *МО*. Автограф — Ед. хр. 17. Л. 8, с вар.: после ст. 12, через отбивку отточием «Быть может, даже плыть не надо, / И нам спасеньем будет мель, / Когда вперед дорогой ада / Уводит мой корабль апрель».

Финская стружка — дрань, дранка (кровельный материал в виде деревянных планок).

513. *Шсб-5*. Автограф — Ед. хр. 14. Л. 8 (тетрадь 1955 г.).

Связано с Г. И. Гудзь. Очевидно, уже тогда Шаламова одолевали глубокие сомнения в будущем своей семьи, приведшие к разрыву в 1956 г. Красноречива цитата из Э. Золя, записанная в той же тетради на л. 14: «Можно всю жизнь прожить и с одной женщиной, если ее хорошо выбрать». Одну из причин недовольства женой в более мягкой форме объясняет текст поздравительной открытки или телеграммы, записанный в той же тетради с датой 21 мая: «Дорогая моя Галиночка. Горячо поздравляю тебя с днем рождения, желаю здоровья и счастья. Желаю, чтобы ты была уж если не такой, какой казалась мне из туманной дали севера, то по крайней мере той, что раньше — веселой, сговорчивой и разбитной. Со своей стороны я обещаю приложить все усилия для того, чтобы с большим расположением относиться к твоим знакомым. Крепко целую. Варлам».

514. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 39. Л. 6.

Ст-ние не закончено (в конце имеется неразборчивая запись). Вероятно, является отголоском впечатлений от беглого посещения Ленинграда (проездом в служебную командировку в Петрозаводск в марте 1955 г.) и прогулки по набережной Невы с видом на Петропавловскую крепость. Шаламов связывает название знаменитой царской тюрьмы — *Алексеевского равелина* Петропавловской крепости — с именем царевича Алексея, умерщвленного по приказу отца, Петра I, в 1718 г. (на самом деле равелин начал строиться в 1733 г. при Анне Иоанновне и назван в честь царя Алексея Михайловича). Исторические симпатии к царевичу Алексею и антипатии к Петру I логичны для послелагерного мироощущения Шаламова. *К намыленной петле...* — Достоверных данных о причине смерти царевича нет.

515. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 14. Л. 24, с вар.: ст. 3–4 «На странную сухость арктической жажды / На странное чувство средь снега и льда». Машинопись — Оп. 2 . Ед. хр. 108. Л. 54, с припиской «Из Колымских тетрадей», что свидетельствует о важности этого короткого ст-ния для автора.

Как представляется, гражданская тема «*мы родине служим по-своему каждый*», а также драматические мотивы последующих ст-ний того же периода (до № 519 включительно) можно объяснить особым душевным состоянием Шаламова после подачи им 18 мая 1955 г. заявления о реабилитации в Генеральную прокуратуру СССР (эмоциональный черновик этого заявления см.: *ЖЗЛ*. С. 214–215). Свой долг перед родиной Шаламов понимал прежде всего как полное раскрытие правды о прошлом. Характерно, что в 1955–1956 гг. он усиливает работу над *КР*.

516. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 14. Л. 36.

517. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 18. Л. 3 (записано на полях).

518. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 18. Л. 10.

519. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 17. Л. 3. Первоначально в автографе был иной порядок строф: строфа 3 («Мы у камня просим хлеба...») занимала место первой. Рукой Шаламова рядом со строфами проставлены цифры, фиксирующие окончательный порядок четверостиший. Кроме ст-ния на листе записи сюжетов будущих рассказов — «Зеленый прокурор» (*ВШ7*. Т. 1. С. 575–617), «Двойные выстрелы охраны» (очевидно, рассказ «Ягоды»; *ВШ7*. Т. 1. С. 93–96).

520. *НС*. Автографы — Ед. хр. 18. Л. 11 (черновой), с вар.: ст. 19–20 «Не сторож забытья, / А — времени судья!»; Ед. хр. 27. Л. 18; Ед. хр. 108. Л. 66 (беловые).

521. *ДиС*.

АКомм: *«Стихотворение написано в 1956 году в Калининской области. Да, я верю, что именно мое искусство, моя религия, вера, мой нравственный кодекс сохраняли мою жизнь для лучших дел. Кроме бога поэзии, никому более я не благодарен за мою судьбу, за мои победы, удачи, ошибки и провалы. Вероятно, если б жизнь моя сложилась иначе, я раньше нашел бы возможности публичной исповеди в стихах. Я пишу стихи с детства»*.

522. *Огниво*.

АКомм: *«Одно из важных для меня стихотворений. Написано в 1956 году в поселке Туркмен. Входит в „Колымские тетради“»*.

523. Юность. 1969. № 3.

АКомм: *«Написано в 1956 году в поселке Туркмен Калининской области»*.

524. *МО*. Автограф — Ед. хр. 87. Л. 53.

АКомм: *«Написано в 1956 году в Калининской области»*.

525. *ДиС*. Машинопись — *СлуцкийКТ*. Л. 14, загл. «Дерево в болоте», перед ст. 1 «Из леса пахнет скипидаром, / Но запахам весны / Не скрыть болотного угара / И тления сосны». Вкл. в *КТИзбр*.

АКомм: *«Написано в 1956 году в Калининской области. Входит в „Колымские тетради“. Полностью соответствует художественным принципам моей поэтики»*.

526. *ДП-1967*. Автограф — Ед. хр. 89. Л. 41, загл. «Теплый камень».

АКомм: *«Стихотворение написано в 1956 году в Калининской области»*.

527. *ШЛ*. Автографы — Ед. хр. 20. Л. 79, загл. «Воспоминание»; Ед. хр. 87. Л. 84. В *Списке1969* под 1956 г.

528. Знамя. 1970. № 1; *МО*. Автограф — Ед. хр. 20. Л. 83 (1956), с вар.: ст. 1 «Но вот вам мой отчет».

Включено в *МО* в последний момент перед сдачей сборника в печать взамен снятых ст-ний (о чем свидетельствует справка редактора издательства «Советский писатель» В. Фогельсона от 10 апреля 1972 г.: *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 21. Ед. хр. 1376. Л. 13; ср. примеч. к № 913). Согласно выходным данным, сб. *МО* был сдан

в набор 17 апреля и подписан к печати 29 мая 1972 г. Есть основания полагать, прежде всего, по первой, вызывающе полемичной строке («Ну, вот вам мой отчет»), что это старое ст-ние было сочтено самим Шаламовым актуальным после его письма в *ЛГ* от 23 февраля 1972 г., которое недоброжелатели сочли «отречением» от «Колымских рассказов».

529. *МО.* Автограф — Ед. хр. 91. Л. 5 (черновой); Л. 6 (беловой).

АКомм: «Написано в 1956 году в Калининской области. Входит в „Колымские тетради"».

530. *ЛО.* 1989. № 8 (публикация А. Морозова под загл. «Последние стихи. Из „Колымских тетрадей"», сделанная, очевидно, по некачественной самиздатской копии). Автограф — Ед. хр. 91. Л. 20, с вар.: вм. ст. 9–12 «Чтобы не только одному / Разгадывать былье, / А может, просто потому, / Чтоб знать свое. // Чтоб чей-то опыт, чей-то знак / Светил в пути, / Что если что-нибудь не так, / Назад идти». Печ. по *ЛО* с исправлением опечатки в ст. 9 по автографу («Чтоб чей-то опыт...» вм. «Что чей-то опыт...»).

531. *МЗ-1967.* В *Списке1969* под 1956 г.

532. *ДиС.* В *Списке1969* под 1956 г.

533. *Шсб-5.* Автограф — Ед. хр. 13. Л. 12 (на отдельном вложенном листе).

Возможно, в ст-нии скрыта полемика с поэмой А. Твардовского «За далью — даль». В 1956 г. активно обсуждались новые главы поэмы и прежде всего глава «Друг детства», опубликованная в альманахе «Литературная Москва» (М., 1956). В этой главе, пожалуй, впервые появилось упоминание о несправедливых репрессиях 1930-х гг. Фразу «*Когда б я верил в эти дали*» можно рассматривать как скептическую реакцию Шаламова на оптимистический пафос поэмы А. Твардовского (при том, что Шаламов считал Твардовского «единственным сейчас из официально признанных безусловным и сильным поэтом», как он писал А. Добровольскому в том же 1956 г. — *ВШ7.* Т. 6. С. 138). *Что мне статистика подсчетов?* — вероятно, отклик на споры о количестве жертв сталинских репрессий, возникшие после XX съезда КПСС. Эти споры могли сопровождать и дискуссии о вышеупомянутой главе поэмы Твардовского.

534. *Шсб-5.* Машинописи — *СлуцкийКТ, Ласкина.* Присутствует в списке *КТИзбр*, однако Шаламов не включил его в состав *КТмаш* — возможно, по забывчивости.

535. Публикуется впервые. Машинопись — *Ласкина.* Вкл. в *КТИзбр.*

Товарищ — вероятно, поэт В. Португалов, живший в это время на Колыме. Ср. переписку с ним: *ВШ7.* Т. 6. С. 209–210. Ср. также ст-ние «Был поэт-подвижник...» (№ 800) и примеч.

536. Публикуется впервые. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 111. Л. 74. Машинопись — *Ласкина.* Вкл. в *КТИзбр*, но отсутствует в *КТмаш.* Записано в *МЗ-1967.*

537. Сибирь: Альманах. Иркутск, 1971. С. 6. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 117 (материалы к несостоявшемуся сб. «Разлука»).

Строки этого ст-ния упоминаются во внутренней рецензии В. Бокова на будущий сборник «Огниво» от 18 сентября 1957 г. (*РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2120. Л. 4). См. вступ. статью.

538. *Шсб-5*. Автографы — Ед. хр. 19. Л. 25 (черновой). Ед. хр. 91. Л. 34–34 об. (беловой).

Почти вся тетрадь Ед. хр. 19 посвящена Б. Пастернаку (черновики писем к нему, отдельные записи), поэтому вполне вероятно, что поводом к этому ст-нию послужил первый и единственный визит Шаламова в гости к Пастернаку в Переделкино 24 июня 1956 г. Здесь, за обеденным столом, он читал колымские стихи («Розовый ландыш», «О песне», «Камея») в присутствии не только боготворимого им поэта, но и других, чуждых ему по духу гостей. Ср. весьма саркастическое описание этого обеда в мемуарном очерке «Пастернак», предваряемое словами: «Ощущение какой-то фальши не покидает меня. Может быть, потому, что за обедом много внимания отдано коньяку — я ненавижу алкоголь...» (*ВШ7*. Т. 4. С. 607).

539. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 39. Л. 12 (дата «1956» в автографе указана автором).

540. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 59 об.–60 (тетрадь с автографами сб. «Кипрей», 1955–1956. На л. 57 написано «1956-II»), означающее начало датировки последующих листов (лето 1956 г.).

541. *Шсб-5*. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 60 об.; Ед. хр. 21. Л. 5 (тетрадь 1956 г.); Ед. хр. 81. Л. 60 об. На л. 1 Ед. хр. 21 имеется черновик письма к Г. И. Гудзь от 28 августа 1956 г., во многом объясняющий смысл ст-ния и невозможность его публикации в силу слишком большой интимности:

«Галина. Думаю, что нам ни к чему жить вместе. Три последних года ясно показали нам обоим, что пути наши слишком разошлись, и на их сближение нет никаких надежд.

Я не хочу винить тебя ни в чем — ты, по своему пониманию, стремишься, вероятно, к хорошему. Но это хорошее — дурное для меня. [Это я чувствовал с первого часа нашей встречи.] (последняя фраза зачеркнута. — *В. Е.*)» (см.: *ВШ7*. Т. 6. С. 91–92).

Отчаяние Шаламова в этот момент было вызвано и тем, что он еще не получил справку о реабилитации, которой ожидал более года. Строка: *Той столицы, где не пускают на порог...* — связана как раз с отсутствием справки (она была получена в сентябре того же года, после чего дела писателя постепенно стали налаживаться: он женился на О. С. Неклюдовой и обрел кров, с ноября стал работать в журнале «Москва»). Ср. также позднее ст-ние «1956-й» (№ 1036).

542. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 62.

...в лубки... — Имеется в виду медицинский лубок, применяющийся в хирургии и ортопедии для ограничения движений (здесь: синоним несвободы).

543. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 62 об., дата («1956») рукой автора.

544. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 81. Л. 63.

Ночь средневековья — метафора сталинской эпохи. Ср. в ст-нии «До космодрома» (№ 735): «Время отброшено в средневековье...».

***545.** *ДП-1981*, без последних семи строф, с вар.: ст. 2 «Нет, он сегодня не поэт». Автографы — Ед. хр. 18. Л. 23 об.–26 (черновой, 1956), с вар.; Оп. 2. Ед. хр. 112. Л. 4–5 об. (беловой, 1959). Машинопись беловая, авторизованная, идентичная автографу Ед. хр.112 — Оп. 2. Ед. хр. 88. Л. 6–8 (папка без даты с надписью «Стихи к Пастернаку разного времени», всего восемь листов; на Л. 3–5 машинопись ст-ния «Я в землю совесть не зарою...» (№ 1235), на Л. 2 строки Пастернака (ст-ние «Ночь», 1956): «Не спи, не спи художник. / Не предавайся сну. / Ты вечности заложник / У времени в плену» — возможно, предполагавшиеся в качестве эпиграфа к задуманному циклу ст-ний 1950-х гг. См. также примеч. к № 1235). Анализ шрифта и качества печати позволяет датировать машинопись 1960-ми гг. Можно предположить, что ст-ние в полном виде было предложено Шаламовым в *ДП-1981* еще до обострения болезни. К сожалению, редакционных материалов не сохранилось, однако публикация в *ДП-1981*, когда Шаламов находился в Доме инвалидов, давала возможность для произвольных, не согласованных с автором сокращений и исправлений. Поскольку автографа (машинописи) сокращенной редакции *ДП-1981* не обнаружено, а поздняя машинопись имеет авторскую правку, при этом без каких-либо указаний на желательность сокращений, ст-ние печ. по машинописи Ед. хр. 88.

Связано с Б. Пастернаком, однако в цикл «Стихи к Пастернаку» (см. № 720–727 и примеч.) не включено. Годы создания ст-ния (1956–1959) совпадают с годами вынужденного прекращения отношений между поэтами из-за того влияния, которое в эти годы оказывала на Пастернака О. В. Ивинская (именно она заявила Шаламову летом 1956 г.: «Пастернака ты больше не увидишь» — см.: *ИСВосп*; *ЖЗЛ*. С. 225–229). Возможно, отзвуки определенного переосмысления отношений с Пастернаком присутствуют и в данном ст-нии. В последующие годы Шаламов допускал подчас суровые суждения о Пастернаке, особенно в связи с романом «Доктор Живаго», однако всегда сохранял преклонение перед ним как великим поэтом. Ср.: «...Пастернак был не юродивый и не ребенок. Это был боец, который вел свою войну и выиграл ее. Он стал для нас живым примером — какой огромной нравственной силой может стать в наше время поэт, если он не кривит душой, если он почитает собственную совесть главным своим судьей» (*ВШ7*. Т. 7. С. 233).

546. *ДП-1968*.

До ступиц — здесь: до осей колеса. Подобная осенняя грязь была характерна для района торфоразработок.

547. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 108. Л. 7.

***548.** *ТК*. Автограф — Ед. хр. 13. Л. 18, с вар.

Вероятно, сокращение трех строф (см. раздел «Другие редакции и варианты») произведено автором при представлении ст-ния в изд-во «Советский писатель». Датировка последней редакции затруднительна. Не исключено, что ст-ние, напечатанное в сб. *ТК* лишь в 1977 г., было предложено в сб. *Огниво* еще в 1957 г. В связи с этим характерен саркастический фрагмент из поздних (1972) заметок Шаламова «В дебрях „Советского писателя“»: «...После первого издания у вас осталось восемнадцать листов из двадцати. В сборник вошло только два листа. Вы — профессионал, вы пишете по стихотворению каждый день и через три года сдаете в издательство шесть листов — пять тысяч строк. В сборник включают два листа, а остальные идут в архив. Задолженность века растет, как государственный долг Соединенных Штатов Америки...» (*ВШ7*. Т. 7. С. 420).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Авторский список избранного из «Колымских тетрадей»

В архиве В. Т. Шаламова (Оп. 2. Ед. хр. 107. Л. 1–4) имеется машинописный список содержания «Избранного» из «Колымских тетрадей», составленный автором и включающий 111 ст-ний. Копия его есть и в архиве Е. С. Ласкиной. К сожалению, список не датирован, однако есть основания полагать, что он относится к 1962 г., так как его состав во многом совпадает с составом большой подборки ст-ний «Из колымских тетрадей», подаренной в ноябре 1962 г. Б. Слуцкому. Хотя эта подборка (*СлуцкийКТ*, а также *Ласкина*) разрознена, все ст-ния, входящие в нее, повторяются в «Избранном», совпадает также и машинописный шрифт. Поскольку список составлялся автором задолго до окончательного формирования всего корпуса *КТ* (1966 г.), сюда вошел и ряд ст-ний, не вошедших в *КТ* и написанных после 1956 г.: «Бивень», «Осязанье», «В ночи», «Пробуждение», «В бане», «Проза». В итоге «Избранное» представляет менее четверти содержания *КТ*, и оно может дать лишь относительное представление о взгляде самого Шаламова на ценность созданных им к тому времени ст-ний. Очевидно, что сюда включались прежде всего наиболее выразительные и лаконичные ст-ния, так или иначе связанные с лагерной темой. Как можно предполагать, Шаламов составил «Избранное», надеясь на его издание в качестве книги в каком-либо издательстве, кроме «Советского писателя» (в 1962 г. такие надежды были небезосновательны, но после 1964 г. — уже несбыточны). Нельзя не заметить, что содержание этой несостоявшейся книги значительно откровеннее и острее содержания сб. «Огниво», вышедшего в 1961 г. в «Советском писателе».

1 Я жив не единым хлебом
2 Бивень
3 Розовый ландыш
4 Тост за речку Аян Урях
5 Я в воде не тону
6 Сосна в болоте
7 Я с лета приберег цветы
8 Жил-был
9 Баратынский
10 Другу

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЫМСКИЕ ТЕТРАДИ (1937–1956)

Синяя тетрадь

Сумка почтальона

Лично и доверительно

Златые горы

Кипрей

Высокие широты

СТИХОТВОРЕНИЯ 1940–1956 гг., НЕ ВОШЕДШИЕ В «КОЛЫМСКИЕ ТЕТРАДИ»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Ш18

Шаламов В. Т.

Ш18 Стихотворения и поэмы: В 2 т. Т. 1 / Вступ. статья, сост., подг. текста и примеч. В. В. Есипова. — СПб.: Издательство Пушкинского Дома; Вита Нова, 2020. — 591 с. — (Новая Библиотека поэта).

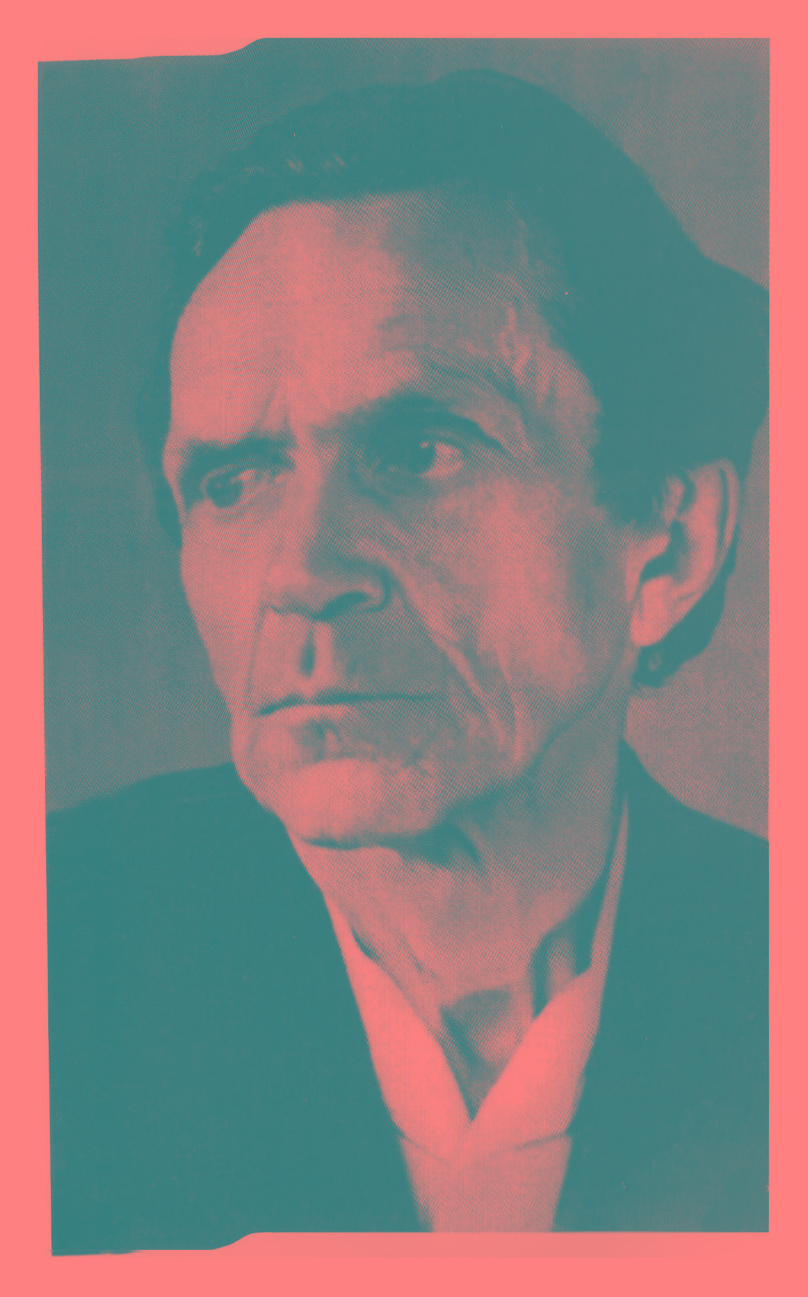
ISBN 978-5-87781-067-9 (Т. 1)
ISBN 978-5-87781-065-5

Судьба и творчество Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982) связаны с самыми трагическими событиями XX века. Его «Колымские рассказы» стали классикой русской и мировой литературы. Предлагаемое издание впервые во всей полноте представляет Шаламова-поэта — «сильного и самобытного», как характеризовал его Б. Пастернак. Основная часть стихов, вошедших в двухтомник, при жизни автора не публиковалась. Около трехсот стихотворений публикуются впервые.

В 1-й том включены шесть авторских сборников «Колымских тетрадей» и другие стихотворения 1940–1956 гг.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ



ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПУШКИНСКОГО ДОМА

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Том 2

Издательство Пушкинского Дома
Издательство «Вита Нова»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2020

Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания
В. В. ЕСИПОВА

Работа подготовлена в рамках проекта РФФИ № 16-04-0537в

ISBN 978-5-87781-065-5
ISBN 978-5-87781-069-3 (Т. 2)

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

549

Давно запуганный Шекспиром
Кромешный хаос чувств и лиц,
Что называют в шутку миром,
Где только горе без границ,

Заговори нас певчей пташкой,
До света выучи вставать
И на груди своей рубашку
При каждой клятве разрывать.

Толкай нас поминутно взáшей,
Гони в ненастье от дверей
И не жалей домашней нашей
Судьбы прирученных зверей.

И бей об угол без пощады,
Как слепорожденных котят,
Что свету божьему не рады,
Прозренья вовсе не хотят.
<1957>

550. РАЗВЕДКА

Бродить, соскальзывать со скал,
В ручьях отыскивать приметы,
Какими славится металл,
Покровом каменным одетый.

В тайге откапывая клад,
Скрести настойчивой лопатой,
Искать на ощупь, наугад
Приметы россыпи богатой.

И по распадкам бить шурфы.
И рвать рубашку торфяную
С земли — для будущей строфы
Вести разведку россыпную.

Пускай речной песок глубок,
Пускай пуста за пробой проба —
Ты свой старательский скребок
Готов нести с собой до гроба.

Пусть ослабевшая рука
Лопату выронить готова,
Пускай усталость велика —
Умей начать свой поиск снова.

И, у ручья остановясь,
Лотком зачерпывая воду,
Смывай всю каменную грязь,
Всю бессловесную породу.

Еще победа далека,
Но светлым знаменьем улова
Тебе блеснет на дне лотка
Крупица золотого слова.
<1957>

551. ВОРОБЕЙ

Чирикай, веселая птица,
Пред этой затянутой льдом,
Пустой, одинокой страницей —
Заснеженным белым листом.

Обманутый ли на мякине,
Доверчивый ли навсегда,
Ты, как подобает мужчине,
Не бойся проклятого льда.

Не сдерживай жажду ночную,
Взъерошенный мой воробей,
И корочку ту ледяную
В чернильнице клювом разбей.
<1957>

552

Птица спит, и птице снится
Дальний, дальний перелет,
И темница, и светлица,
И холодный лед.

И зарницы-озорницы
Пробегают взад-вперед,
Будто перьями жар-птицы
Устилают небосвод.

Быстро гаснут эти перья —
И чернеет сразу мрак,
Знаю, знаю, что доверье
В русской сказке — не пустяк.
1957

553. ЗИМА

Все — заново! Все — заново!
Густой морозный пар
Оберткой целлофановой
Окутал наш бульвар.

Стоят в мохнатом инее
Косматые мосты,
И белой паутиною
Окутаны кусты.

Покрыто пылью звездною
Стекло избы любой,
Гравюрами морозными,
Редчайшею резьбой.

Деревья, что наряжены
В блестящую фольгу,
Торчат из черной скважины
На новеньком снегу.

И каждому прохожему,
И вам, и даже мне
Пробить тропу положено
По снежной целине.

И льдины, точно лилии,
Застыли на воде,
И звезды в изобилии,
Какого нет нигде.
1957

554

Зимы никому не жалко —
Ни кошкам, ни тучам, ни галкам,
Ни розам и ни фиалкам,
Весь мир ненавидит мороз.

Весна — это вовсе не жалость,
Зимой овладела усталость,
Зимой у природы осталось
Одна только горечь слез.

Как выплакать эти слезы?
Без всякой надуманной позы
Сплошные весенние грозы —
Рыдать проливным дождем,

Чтоб вместо свечного огарка
К нам солнце и жарко, и ярко
Нежданным небесным подарком
Обрушилось в каждый дом.
1957

555. ВЕСНА В МОСКВЕ

Он входит в столицу с опаской —
Простой деревенский маляр,
Ведро малахитовой краски
Приносит на темный бульвар.

Он машет огромною кистью,
Он походя пачкает сад,
И светлые капельки листьев
На черных деревьях висят.

Он красит единственным цветом.
Палитры его простота

Сверкает поярче, чем летом,
И все подавляет цвета.

И саду не справиться с чудом,
Какому подобия нет.
Гигантским сплошным изумрудом
Он снова родится на свет.

Бродячий маляр беззаботен,
Не знает, что тысячи раз
Запишут на грунте полотен
Его простодушный рассказ.

И гений завистливым взглядом
Следит за мазней маляра —
Дешевым весенним обрядом
Любого земного двора.

Глаза он потупит стыдливо,
И примет задумчивый вид,
И хочет назвать примитивом,
И совесть ему не велит.

И видно по силе тревожной
Вполне безыскусственных чар,
Какой он великий художник —
Неграмотный этот маляр.
1957

556. КУСТЫ

Ложатся тяжелые тени
Подсвечников белой сирени.

Кусты в одеянье зеленом
Живут у меня под балконом.

Им ночь навалилась на плечи,
Бессвязны их темные речи.

Я днем занимаюсь разгадкой
Того, что услышал украдкой,

Чтоб вынести мненье растенья
На суд человечьего мненья.
1957

557. МОСКОВСКИЕ ЛИПЫ

Вспотело светило дневное,
И нефтью пропахли дворы,
И город качается в зное,
Лиловый от банной жары.

И бьется у каждого дома
Метельный летающий пух,
Блистающий и невесомый,
Неуловимый на слух.

Он химикам лезет в пробирки,
И снегом заносит цеха,
И виснет под куполом цирка,
И липнет на строки стиха.

Как бабочек туча, как птицы
Каких-то неведомых стран,
Летит над асфальтом столицы
Бесшумный горячий буран.

И в запах бензина и пота,
В дурман углекислоты,
В испарину жаркой работы
Врывается запах мечты.

Не каждый ли в городе встречный
Вдыхает его глубоко,
И это не запах аптечный,
И дышится людям легко.

Он им удлиняет прогулки,
Он водит их взад и вперед
Ночами в пустом переулке
И за сердце чем-то берет.

Им головы кружит веселый
Медовый его аромат,

И кажется — люди, как пчелы,
На темном бульваре жужжат.

Как будто слетелись за медом,
Чтоб в соты домов унести
Хоть капельку летней природы,
Попавшейся им на пути.
1957

558. ШЕСТЬ ЧАСОВ УТРА

Мне кажется: овес примят
Руками длинной тени
От разломавшей палисад
Разросшейся сирени.

Я выверить хочу часы
По розовому свету
Тяжелой радужной росы
На листьях бересклета,

По задымившейся земле
В обочинах овражин,
По светоносной легкой мгле,
Приподнятой на сажень.

Я выверить хочу часы
По яростному свисту
Отбитой заново косы
В осоке серебристой,

По хриплой брани пастуха,
Продрогшего в тумане,
По клокотанию стиха
В трепещущей гортани.
1957

559. БИБЛИОТЕКА

Вот моя библиотека —
Золотые корешки —
Боровая лесосека
На излучине реки.

Здесь зачинщики рассвета
Темноглазые щеглы
Прославляют наше лето,
Разгоняют хлопья мглы.

Это — записей вокальных
И псалмов, и тропарей —
Старый ящик музыкальный
Соловьев и снегирей.

Будто здесь на сотне кросен
Ткут лесные небеса,
Заплетая в шелест сосен
Человечьи голоса. <...>

1957

560. НА ОГОРОДЕ

Исполинской каплей крови
Набухает помидор,
Лисьи мордочки моркови
Свесились через забор.

И подтягивает стропы
Парашютный батальон —
Боевой десант укропа,
Что на грядах приземлен.

Брошен ворох листьев свеклы,
Точно бычьих языков,
На давно не мытых стеклах
Приоткрытых парников.

Подорожник бьет в ладоши,
Мак ударил в бубенцы,
Ходят в крокодильей коже
Молодые огурцы.

Веет день медовым духом,
Вьется тополиный пух,
И своим слоновьим ухом
Землю слушает лопух...

Только для чертополоха
Нет дороги в огород,
Говорят: не та эпоха —
И выводят из ворот.
<1957>

561. ПАСТОРАЛЬ

Большое стадо серых коз,
Еще ловя лучи заката,
Переместилось на откос,
Покрытый глиной синеватой.

И красногрудая овца,
Потея, точно балерина,
Все пляшет, пляшет без конца
Вокруг открытого овина.

Вот бык — египетский святой,
Чья шея точно у лягушки.
Любуясь бычьей красотой,
Ждут на опушке две подружки.

Вода пруда покой хранит,
Давно свои разгладив складки:
Она похожа на гранит
Как бы палеозойской кладки.

А солнце шарит по углам
И нежно, с грацией природной,
Вдруг закрывает веки нам
Своим лучом, почти холодным.
<1957–1958?>

562. ГОРНЫЙ ВОДОПАД

Ручей мнит себя самолетом,
А русло — дорожка для взлета.

Он в небо поднялся с разбега
Среди почерневшего снега.

Уверен ручей этот горный,
Что он — обтекаемой формы.

И в небо он смело взлетает,
Но только секунду блистает,

И видит, охваченный страхом,
Что он рассыпается прахом,

Что он, возмечтавший о звездах,
Разбился о каменный воздух.

Он в пыль превращен водяную
И ищет дорогу земную.

Разбитый на капли, на брызги,
Он падает в реве и визге.

Чтоб каждою каплею малой
Долбить побережные скалы.
1957

563. ВЕТЕР В БУХТЕ

По сообщенью баромéтра
Работа кончится нескоро.
Кидают вверх четыре ветра
Куски раздробленного моря.

Крылатых грузчиков лопаты
Выбрасывают из залива
Обломки тучи синеватой
И воду цвета чернослива.

Большое солнце ходит кругом
И наблюдает с небосвода,
Как из угла кидают в угол
Блестящую, как уголь, воду.

И на кунгасы, на баркасы
С опущенными якорями
Летят осколки черной массы,
Ветрами вырытой из ямы.
1957

564. ШОССЕ

Дорога тянется от моря
Наверх по берегу реки,
И гнут хребты под нею горы,
Как под канатом — бурлаки.

Они проходят друг за другом
В прозрачных северных ночах.
Они устали от натуги,
У них мозоли на плечах.

Они цепляются руками
За телеграфные столбы
И вытирают облаками
Свои нахмуренные лбы.

Через овраги, через ямы,
Через болота и леса
Шагают горы вверх и прямо
И тащат море в небеса.
1957

565. ЗАКЛАДКА ГОРОДА

Трещат, как швейные машины,
И шины рвут грузовики,
И дышат запахом бензина
Открытые материки.

Уже пробиты магистрали,
Уже пробился в потолок
Еще застенчивый в начале
Печурки тоненький дымок.

Трусцою вдаль плетутся волки,
Устало свесив языки,
А росомахи втихомолку
Поглуше ищут уголки.

И только тучи комариной,
Где звон, и стон, и визг, и гнев,
Еще звучит напев старинный,
Звериный боевой напев.
1957

566. ОСЯЗАНЬЕ

Осязаньем я не различаю
Холода, тепла или жары.
Елки шелк давно не отличаю
От дубовой рубчатой коры.

И кусок холодного металла
До утра меня вгоняет в дрожь:
Что нашел я — меч или орало,
Карандаш или якутский нож?

И огонь мне рук не обжигает,
Ледяная стужа не страшна.
У меня чувствительность другая,
У меня душа обожжена.

Всё — в новинку для дубленой кожи,
Мир на ощупь чуден мне и нов,
Ни на что, наверно, не похожий,
Ни традиций нет в нем, ни основ.

Осязаньем я морщины мерю
И от горя смех не отличу,
Если жизни зренью не доверю,
Если слуху судеб не вручу.

Как мне жить с ослепшими руками?
Как писать рассказы и стихи?
Не смешать большого с пустяками,
Важного — с потоком чепухи?

Пусть же знают мира постояльцы —
Жители натопленных квартир,
Это отмороженные пальцы
Наново ощупывают мир.
<1957>

567. БИВЕНЬ

Когда утих стодневный ливень
И горы обрели язык,
Явился мамонтовый бивень,
Камнями выбеленный клык.

Он найден был в ущельях голых,
Едва расчищен был обвал,
И рассудительный геолог
Его сокровищем назвал.

И бивень древностью пещерной
В людской отправится музей,
Чтобы судьбой его ущербной
Залюбовался ротозей.

Чтоб по единой кости этой
Определялась бы без слов
Вся крепость мощного скелета,
Вся сила мускульных узлов.

Тот мамонт выл, дрожа всем телом,
В ловушке для богатырей,
Под визг и свист осатанелый
Полулюдей, полузверей,

Чьи сохли рты от жажды крови,
Чьи междометья, не слова,
Летели в яму в хриплом реве,
В косноязычье торжества.

Он, побиваемый камнями,
И не мудрец и не пророк,
А просто мамонт в смертной яме,
Трубящий в свой роландов рог, —

Он звал природу на подмогу,
И сохло русло у реки,
И через горные отроги
Перемещались ледники.

1957

568. КАЮР

Каюр — не просто проводник
Навьюченных оленей,
Он — чтец лесных и горных книг,
Скрижалей поколений.

Он знает, как скрипят пески,
Подтачивая скалы,
Как наползают ледники
На горло перевала.

Как по ущельям ручейки
Проносятся галопом,
Меняя русло у реки
И нам грозя потопом.

Природы музыка тонка,
Сложны фиоритуры,
Но их почувствует река
И передаст каюру.
1957

569

Ни зверя, ни птицы... Еще бы!
В сравненье с немой белизной
Покажутся раем трущобы
Холодной чащобы лесной.

Кустарника черная сетка...
Как будто остались в пургу
Небрежные чьи-то заметки
На белом безбрежном снегу.

Наверно, поэты скрипели
Когда-то досужим пером,
Пока не вмешались метели,
Свистя колдовским помелом.

На хвойные хрупкие плечи
Обрушилась белая мгла,
Сгибая, ломая, калеча,
Лишая огня и тепла…
1957

570. ЕЛКИ И ВЕТЕР

Елки ходят в платьях длинных,
Заплетаются в снегу,

Елки ходят в кринолинах,
Украшающих тайгу.

Задрожат у елки плечи,
Елка прячет след пилы.
Зашивать ей рану нечем —
Нет ни нитки, ни иглы.

Правда, хвойные иголки,
Снеговые нити — есть,
Только слишком мало толку
От иголок этих здесь...

Те царапины на теле
Ей оставила пила,
Что в метель по снегу еле
Походила и ушла.

Лесорубы еле-еле
Убрались из лесу в дом
В остром свисте той метели
В диком вое ветровом.

Ветер елку спас от смерти
И кричит из-за куста:
— Ветру верьте, ветру верьте,
Ветер дует неспроста.

Он повязку снеговую
Наложил на елку сам —
Елка кровь хранит живую,
Чудодейственный бальзам.

Елки лечат эти раны
Только собственной смолой.
В ожидании бурана
Ветер вертится юлой.
<1957>

571. СЛОВО К САДОВОДАМ

Поднимайтесь, садоводы,
Против снега, против льда,

Вы содействия природы
Не дождетесь никогда.

Все на север, все на север,
Пусть настойчивый компас
На Анадырь и на Невер
Поскорей приводит вас.

Там морозы сушат реки,
Убивая бедных рыб,
Там ручей застыл навеки
Посреди гранитных глыб...

Пусть ползет на горы зелень,
Вытесняя мох с камней,
Перерезав путь метелям
Бесконечных зимних дней!

Пусть встают гиганты кедры
Вместо крошки кедрача —
Кедрам тамошние ветры
Не достанут до плеча!

Пусть невзрачный куст рябины
Станет деревом в обхват
И садовую малину
Не пугает снегопад!

Пусть овес покроет густо
Берега большой реки,
Пусть листы свои капуста
Там сжимает в кулаки!

Пусть растет в земле картофель,
Презирающий буран,
Пусть покажет римский профиль
Деревенский наш баран.

Пусть земля покроет грязью
Раскрошившийся гранит
И цветов разнообразье
С нами юг соединит.

Пусть веселый рой пчелиный
В соты складывает мед
И цветы у гнезд орлиных
Старый путник соберет!

Пусть лекарственные травы
Поправляются в тепле
И расти получат право
На полуночной земле!

Чтоб акцент араукарий
Шелестел в речах сосны
Пусть изменится гербарий
Ледовитой стороны!

Пусть не хлопья снегопада —
Легкий яблоневый цвет
Рассыпает ветер сада
Соловьиной песне вслед!

Пусть глазеют ротозеи,
Как трудится садовод,
Оттесняющий в музеи
Флору северных широт!
1957

572. КАМА ТРИДЦАТОГО ГОДА

По камским берегам каемкою
Звероподобные коряги —
Сюжеты скульптора Конёнкова,
Заполонившие овраги.

По камским берегам острогами
Селенья врезаны Ермачьи
И солеварни те, что Строганов
Устраивал в краях казачьих.

По камским берегам строения,
Навек пропитанные солью,
И бархатные наслоения
Зеленой плесени Усолья.

Посад Орел, откуда начато
Завоевание Сибири,
Где гений воинства казачьего
Стоял когда-то на квартире…

Но бревна солеварен сломаны
Не топором, а динамитом,
И берега в рабочем гомоне
Торопят новые событья.

Ты, Кама, рыжая красавица,
Ты заплетаешь струи в косы,
Чтоб настоящему понравиться,
Бежишь рекой звонкоголосой.
<1954–1957>

573. РУЧЕЙ

Глубокие порезы
На ивовых корнях.
Ручей, как лист железа,
Грохочет на камнях.

С горы, с крутого гребня
Гремит вода ключа,
Как будто бы по щебню
Железо волоча.

По руслу-транспортеру,
Сверкая сквозь кусты,
Торопятся под гору
Железные листы.

Как будто бы с вершины
Прокатный цех небес
Обрезками с машины
Заваливает лес.
1957

574

Немилосердное светило
Дотла сожгло олений мох,

Настолько скалы раскалило,
Что даже дождик не помог.

И что для этой страшной суши
Старанья тучи дождевой,
От них не сделалось бы хуже
С засохшей, скрюченной травой.

Промчалась туча мимо, мимо,
Едва обрызгав косогор.
Деревья, точно руки мима,
Немой ей бросили укор.

И солнце выскочило снова
Плясать в дымящейся траве,
И скалы лопаться готовы,
И жесть шуршит в сухой листве.
1957

575. ОЛЬСКАЯ ГАВАНЬ

Там солнцу светить не хватает и дня,
И ночь уступает, не споря.
Ступени, как волны, подводят меня
Все ближе к лиловому морю.

Та лестница к морю ведет, и она —
Причина морского волненья.
Ступени доходят до самого дна,
Открытого на мгновенье.

На волнах зубчатых качается кит —
Он сам как волна штормовая,
Растущий прилив и бурлит, и кипит,
И ноги мои задевает.

У самого пирса в морскую игру
Играют две нерпы азартно,
И солнце влезает сквозь тучу в дыру,
Что прорвана ветром внезапно.
<1957>

576

Где роса, что рукою сотру
С лепестков охлажденных цветов,
Где мельчайшая дрожь поутру
Всей листвы, всей травы, всех кустов.

Надо вычерпать слово до дна.
Разве в сказке заделана течь,
Чтоб плыла словно лодка она,
Где теченье — река или речь…
1957

577

Когда рождается метель
На свет,
Качает небо колыбель
Примет.
И связки звезд и облака
Вокруг
Кружатся волей ветерка,
Мой друг.
Бежит поземка возле ног,
Спеша,
И лезет в темный уголок
Душа.
Ты не оценишь этот мир
В снегу,
Зачитанную мной до дыр
Тайгу.
А мне вершина скал —
Маяк,
Они — и символ, и сигнал,
И знак.
1957

578

Не лес — прямой музей.
И лиственницы шорох
Для всех моих друзей —
Предмет научных споров.

Достаточно ль стара
Музейная фигура,
Ровесница Петра —
Железная натура.

Ей зрелость — триста лет,
Даурская порода,
Я знаю здешний свет
Не хуже лесовода.

В стране пурги и льда
Рублю ее я смело:
Она ведь молода,
Годна еще на дело.
<1957>

579

В дожде сплетают нити света
Рыбачью шелковую сеть.
И словно сети, капли эти
Способны в воздухе висеть.

И дождик сыплется, как пудра,
На просветленную траву,
И перламутровое утро
Трясет намокшую листву.

И лес рассыплет тот стеклярус,
Весь бисер на землю стряхнет
И, распрямив зеленый парус,
Навстречу солнцу поплывет.
<1957>

580. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА РИФМЫ

Л. Тимофееву

Инструмент для равновесья
Неустойчивости слов,
Укрепленный в поднебесье
Без технических основ.

Ты — провиденье Гомера,
Трубадуровы весы,
Принудительная мера
Поэтической красы.

Ты — сближенье мысли с песней,
Но, в усильях вековых,
Ты сложнее и чудесней
Хороводов звуковых.

Ты — не только благозвучье,
Мнемонический прием,
Если с миром будет случай
Побеседовать вдвоем.

Ты — волшебная наука
Знать, что мир в себе хранит.
Ты — подобье ультразвука,
Сверхчувствительный магнит.

Ты — разведки вдохновенной
Самопишущий прибор,
Отразивший всей вселенной
Потаенный разговор.

Ты рефлекс прикосновенья,
Ощущенье напоказ,
Сотой долею мгновенья
Ограниченный подчас.

Ты ведешь магнитный поиск
Заповедного следа
И в метафорах по пояс
Увязаешь иногда.

И, сменяя звуки, числа,
Краски, лица, облака,
Озаришь глубоким смыслом
Откровенье пустяка.

Чтоб достать тебе созвучья,
Скалы колются в куски,
Дерева склоняют сучья
Поперек любой строки.

Все, что в памяти бездонной
Мне оставил шар земной,
Ты машиной электронной
Поднимаешь предо мной.

Чтоб сигналы всей планеты,
Все пространство, все века
Уловила рифма эта,
Зарожденная строка.

Поводырь слепого чувства,
Палка, сунутая в тьму,
Чтоб нащупать путь искусству
И уменью моему.
1957

581. ОДА КОВРИГЕ ХЛЕБА

Накрой тряпьем творило,
Чтоб творчества игра
Дыханье сохранила
До самого утра.

Дрожжей туда! Закваски!
Пусть ходят до зари
В опаре этой вязкой
Броженья пузыри.

Пускай в кадушке тесной,
Пьянея в духоте,
Поищет это тесто
Исхода в высоте.

Пускай в живом стремленье
Хватает через край,
Торопит превращенье
В пшеничный каравай.

И вот на радость неба,
На радость всей земле
Лежит коврига хлеба
На вымытом столе.

Соленая, крутая,
Каленая в жаре,
Коврига золотая,
Подобная заре.

1957

582

Я доволен прогулками
По врачебным советам,
Переулками гулкими
И зимою, и летом.

По счастливой случайности
Полуночное время
Облегчает до крайности
Непосильное бремя.

Знаю мненье окрестностей,
Незамеченных Фетом.
Слышу гул неизвестностей,
Обойденных поэтом.

Голос самого лучшего,
Что вмещается в строки, —
Вроде тучи из Тютчева,
Вроде снега из Блока.

Ливня блеск металлический,
Дождевая кольчуга,
Или почерк эпический
Достопамятной вьюги.

Листьев звонкие ворохи,
Небо страшного веса,
Скрипы, шелесты, шорохи
Полуночного леса.

Даже дали заоблачной
Ощущаю давленье.
Давит голову обручем
Облаков появленье...

Это — вовсе не мистика,
Недоступная глазу.
Это — новой баллистики
Закругленная фраза.

Это — соль крупнозвездная,
Чем посыпано небо,
Точно ломоть морозного
Зачерствелого хлеба.
1957

583. ГОЛУБИ

У дома ходят голуби,
Не птицы — пешеходы.
Бесстрашные от голода,
От сумрачной погоды.

Калики перехожие
В лиловом опереньe,
Летать уже не гожие,
Забывшие паренье.

Но все же в миг опасности
Они взлетают в небо,
Где много больше ясности
И много меньше хлеба.

Их взлет, как треск материи,
Что тянут до отказа,
Заостренными перьями
Распарывают сразу.

И будто ткань узорная,
Висящая на звездах,
Тот, крыльями разорванный,
Затрепетавший воздух.
1957

584

Этот дождик городской,
Низенький и грязный,

О карниз стучит рукой,
Бормоча несвязно.

Загрохочет, будто гром,
И по водостокам
Обтекает каждый дом
Мусорным потоком.

Дождь — природный хлебороб,
А совсем не дворник —
Ищет ландышевых троп
Среди улиц черных.

Отойти б на полверсты
От застав столицы,
Распрямить, шутя, цветы
Алой медуницы...

Мне бы тоже вслед за ним
Пробежать по гумнам —
За высоким, за прямым
И вполне бесшумным.
<1957>

585

Ятрышник, кукушкины слезы,
Стоит у меня на столе.
Какие лечебные дозы
Сегодня прописаны мне?

Напрасно заварены травы,
Довольно больничных забот.
От этой глубокой отравы
Ятрышник меня не спасет.

Напрасно раствор первоцвета
Подносят ко рту моему,
Враждебны знахарок советы
Больному уму моему.

Давно уж не лезут мне в глотку,
Какой бы я ни был больной,

На водке настойка яснотки
И ветреницы лесной.
<1957>

586

Я сегодня очень рад,
Что со мной и свет, и чад,
И тепло костра.

И махорочный дымок
Проползает между строк,
Вьется у пера.

По бревну течет смола,
И душиста, и бела,
Будто мир в цвету!

И растущий куст огня
Пышет жаром на меня,
И лицо в поту.

Пальцы вымажу смолой,
Хвойной скользкою иглой
Вычерчу узор.

Снег. Огонь. Костлявый лес.
Звездный краешек небес
Над зубцами гор.
<1957>

587. СОКОЛЬНИКИ

Когда-то приманкой,
Воскресной орлянкой,
Сокольников славился сад.

В саду спозаранку
Играло в орлянку
Немало рабочих ребят.

Забава пустая,
Не так уж простая,
Как люди о ней говорят.

От ада до рая
Пути выбирая,
Ломала судьбу наугад.

Ведь может случиться —
Покажет им птица
Орлиный небесный полет.

А может тюремной
Судьбы подъяремной
Решетка их в будущем ждет.
<1957>

588

Я в земном растоптан прахе,
Я в разорванной рубахе,
У меня в крови висок,
У меня во рту песок.

Кто сказал, что я не умер,
Чей тюремный мрачный юмор
Оживить велел меня,
Заживо похороня.

Я, объявленный воскресшим,
Безнадежно постаревший,
Обреченный забытью,
Я не верю в жизнь свою.
<1957>

589. АРБАЛЕТ

Ребро сгибается, как лук,
И сила многих тысяч рук
Натягивает жилы.

А сердце — сердце как стрела,
Что смело пущена была
Вот этой самой силой.

Ее внимательный стрелок
Уж не запустит в потолок
В мальчишеском усердье.

Она сквозь темень и метель
Найдет желаемую цель,
Сразит без милосердья.
<1957>

590

Я выходил на чистый воздух
И возводил глаза горе,
Чтоб разобраться в наших звездах,
Предельно ясных в январе.

Я разгадал загадку эту.
Я иероглифы постиг,
Творенье звездного поэта
Я перевел на наш язык.

Все записал я на коряге,
На промороженной коре,
Со мною не было бумаги
В том пресловутом январе.
1957

591. РЕЧНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ

Похожая на рыбу,
Плывущая река
О каменные глыбы
Уродует бока.

Светящееся тело
Чешуйчатой волны
Кольчугой заблестело
От действия луны.

Простейшие сравненья,
Которым нет числа,
Сейчас в стихотворенье
Мне полночь привела.

Имеют ли значенье
Вселенной огоньки
Для скорости теченья
И уровня реки?

Что было так мгновенно
Водой отражено,
Воистину забвенно
И кануло на дно.

Навряд ли отраженье
Какой-нибудь звезды
Влияет на движенье
Катящейся воды.
1957

592. МОЙ АРХИВ

Рукописи — береста,
Камни — черновики.
Буквы крупного роста
На берегу реки.

Мне не нужна бумага,
Вместо нее — леса.
Их не пугает влага:
Слезы, дожди, роса.

Дерево держит строки:
Желтый крутой затес,
Залитый светлым соком
Клейких горячих слез.

Вот надежно укрытый
Склад моего сырья,
Птицами позабытый,
Спрятанный от зверья.
1957

593. РАДУГА

Радужное коромысло,
Семицветный самоцвет,
На плече горы повисло —
И дождя на свете нет.

День решительно и бодро
Опустил к подножью гор

Расплескавшиеся ведра
Переполненных озер.

И забыла вся округа,
Как сады шуршат травой,
Как звенит дождя кольчуга,
Панцирь неба грозовой.
1957

594. ВВЕРХ ПО РЕКЕ

Челнок взлетает от рывков
Потоку поперек.
Вверх по течению веков
Плывет челнок.

Дрожит, гудит упругий шест,
Звенит струной,
Сама история окрест
Передо мной.

На устье — электронный мир,
Пришедший в города,
Шекспир, колеблющий эфир,
Тяжелая вода...

Еще недавно видел челн
Не цепи гор,
А золотых пшеничных волн
Земной простор.

Но мир кормилицы-земли,
Крестьянский быт —
Уже исчез внизу, вдали
И мглой покрыт.

Сейчас в охотничьем веку,
В глухой тайге
Я верю петле и силку,
Трехзубой остроге,

Шесту, что согнут, словно лук,
Чтоб без весла

Был пущен тетивою рук
Челнок-стрела.

Уж недалек конец пути —
Реки исток,
И я назад могу идти
На веслах строк.

Чтоб к устью лодку привести
Речной волной
На историческом пути
Судьбы земной.

Ей даст дорогу пароход
В порту морском.
Взовьется гидросамолет
Над челноком.

Челнок взлетает от рывков
Потоку поперек,
Вверх по течению веков
Плывет челнок…
1957

595. СБОРЩИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ

Дед шагает по болотам
С ветхой сумкою в руке.
Золотятся капли пота
На морщинистой щеке.

Он выходит спозаранку,
Собирая много лет
Горицвет и валерьянку,
Зверобой и первоцвет,

Медуницу и щитовник
И боярышник литой,
Сушеницу и шиповник
И очиток золотой.

Ходит он по желтой тине,
По полянам и кустам,

По ромашке и полыни,
По раздавленным цветам.

Он, конечно, не барышник,
И не та теперь пора,
Но яснотка, и ятрышник,
И фиалка, и будра

Пригодятся для больничных
Чудодейственных работ,
Для целителей столичных,
Охраняющих народ.

Дед спасает эти травы
От прожорливых коров
И хранит для вящей славы
Вдохновенных докторов.

С многолетнею сноровкой,
Укрепив на лбу очки,
Вяжет лыковой веревкой
Драгоценные пучки.

И, исполнен ликованья,
Подбирает он в ночи
Для напевности названья
Музыкальные ключи.
1957

596. ЖЕСТ

Нет, мне вовсе не нужен язык,
Мне для речи достаточно рук,
Выражать я руками привык
И смятенье, и гнев, и испуг.

Там в лесу меня всякий поймет.
Речь, как птица, сидит на руке.
Взмах ладони и смелый полет —
Лгать нельзя на таком языке.

Этот жест — первобытный язык,
Изложение чувств дикаря —

Резче слова, мучительней книг,
И научен я жесту не зря.

И понятны мне взмахи ветвей,
Содроганье столетних стволов, —
Повесть леса о жизни своей
Без прикрас, без двусмысленных слов.
1957

597. ПОЭЗИЯ

Приходит, заходит, выходит,
Уходит и бродит вдали
И снова в тебе колобродит
Стоградусным соком земли.

И снова ты вроде идущих,
Бегущих, летящих туда,
Откуда не правом имущих,
А словом берут города.

И где нет подобья ступени,
Толкнувшей в пространство ядро.
Паришь вдалеке от селений,
Заставивших плакать народ.
<1957>

598

Что б ни цедил я там сквозь зубы
Среди полярной темноты,
Мои намеки слишком грубы
И аналогии — просты.

Мне не давали вовсе права
На неразборчивую речь
Ни облака, ни льды, ни травы,
Что поднимались выше плеч.
<1957>

599

За то, что я тебя не стою,
Мне казнь особая дана.
Мне горло душит тошнотою,
Я пьян, но пьян не от вина.

И нет в природе равновесья,
Меня качает взад-вперед
Из подземелья в поднебесье,
И выступает жаркий пот.

Я уцепился за качели,
На них качается земля:
Дожди и грозы и метели,
Деревья, скалы и поля.

Морской прибой колотит в уши.
Врачи тихонько говорят,
Что у меня давно разрушен
Вестибулярный аппарат.

<Ноябрь 1957>

600. ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

Тороплюсь, потому что старею,
Нынче время меня не ждет,
Поэтическую батарею
Я выкатываю вперед.

Чтоб прицельные угломеры
Добирались до подлеца,
Подхалима и лицемера,
Чернокнижника и лжеца.

Не отводит ни дня, ни часа
Торопящееся перо
На словесные выкрутасы,
Изготовленные хитро.

И недаром боятся люди,
Сторонящиеся меня,
Самоходных моих орудий
Разрушительного огня.

Кровь колотит в виски! Скорее!
Смерть не ждет! Да и жизнь не ждет!
Поэтическую батарею
Я выкатываю вперед.
1957

601. ПАМЯТЬ

Если ты владел умело
Топором или пилой,
Остается в мышцах тела
Память радости былой.

То, что некогда зубрила
Осторожная рука,
Удержавшая зубило
Под ударом молотка,

Вновь почти без напряженья
Обретает каждый раз
Равновесие движенья
Без распоряженья глаз.

Это умное уменье,
Эти навыки труда
В нашем теле, без сомненья,
Затаились навсегда.

Сколько в жизни нашей смыто
Мощною рекой времен
Разноцветных пятен быта,
Добрых дел и злых имен.

Мозг не помнит, мозг не может,
Не старается сберечь
То, что знают мышцы, кожа,
Память пальцев, память плеч.

Эти точные движенья,
Позабытые давно, —
Как поток стихотворенья,
Что на память прочтено.
1957

602. ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Все начинается трубой
Достаточно искусной,
Гудит пастушеский гобой
Задумчиво и грустно.

Гобой — начало всех чудес.
В затейливом сравненье
Он — архитектора отвес
Для музыкостроенья.

И весь оркестр духовой,
Дыханье громобоя,
Идет дорогой звуковой
По голосу гобоя.

Напиток звука свеж и чист,
И это знает каждый,
И пьет мелодию флейтист,
Позеленев от жажды.

И геликон ревет, как слон,
Как будто бивни-трубы
Согнуть и свить способен он,
Пока в работе губы.

Хрипун, удавленник — фагот,
Типаж литературный,
И тот дает, разинув рот,
Пассаж колоратурный.

А у кларнета силы нет,
И он почти не дышит,
И только охает кларнет
Все тише, тише, тише.

На нотной лестнице тромбон
Споткнулся в нетерпеньи,
Он позабыл про камертон,
Про скользкие ступени.

Но дирижеру опыт дан,
Наверное, недаром,

И он взрывает барабан
Рассчитанным ударом.

Гудит струной дощатый пол,
И хлопают литавры,
Как будто вышел дискобол
И пожинает лавры.

И сотрясаются окрест
Все горы и все долы,
Покамест духовой оркестр
Играет марш веселый.
1957

603. ГЛУХОТА

Я хвалюсь сегодня глухотою,
Глухотою, слышите меня?
Будто я и музыки не стою,
Будто пенье птиц не для меня.

Это признак раннего склероза —
Мерный шум метели ледяной,
Точно хруст ветвей в руках мороза
Бьется в раковине ушной.

Видно, мне подслушивать не надо
Стук плода, упавшего в саду,
Осторожный шорох листопада,
Рощи неумолчную молву...
<1957>

604. БЛИЗОРУКОСТЬ

Я близорук, и здесь разгадка
Избитым тропам словаря,
Пристрастию к дорожкам гладким
В скитаньях без проводника.

Костер, где жгут лесную ветошь,
Ближайший разгоняя мрак,
Я не считал за некий светоч,
Земной немеркнущий маяк.

Под стать оптическим законам
Былого зренья детских лет,
Я сравнивал его с пионом,
Хвалил, как некий маков-цвет,

А там развертывались крылья
Огня — огромного орла,
Что мир заносит черной пылью
Движеньем желтого крыла.

Не акварелью натюрморта,
Едва заметной в бурой мгле,
А хищной птицей, распростертой
На обгорающей земле.
<1957>

605

Пусть сирень запахнет ядом,
Отравляющим всерьез,
Пусть на стол ударит градом,
Крупным градом светлых слез.

Пусть мои намеки грубы,
Аллегории просты —
Все процежено сквозь зубы
Под контролем темноты.

Немудреные вопросы
Разрешатся в буре слез,
В горьком дыме папиросы,
В ранней седине волос.

Все, что тяжче и сложнее,
Что душило каждый день,
То значительно больнее,
Чем рыданья и сирень.

Разве ты, моя Далила,
Удалила навсегда
Гипнотическую силу
Наплывающего льда?
<1957>

606. ВЕЧЕРОМ

Мне небом нынче велено
Питаться зельем зелени,
Вдыхать цветочный яд.

Путями незнакомыми
Скитаться в птичьем гомоне,
Пока глаза глядят.

Уж вечером намечено,
Что будет засекречено
В сегодняшнюю ночь.

Исчезнет конь игреневый,
Исчезнет куст сиреневый,
Уйдут дороги прочь.

Мне лезут в уши оводы,
Насвистывая доводы
Слабеющего дня, —

Как будто небо ясное,
Как будто солнце красное
Уже не для меня.
<1957>

607

Гиганты детских лет,
Былые Гулливеры,
Я отыскал ваш след
У северной пещеры.

Разбужены чуть свет
Ревнителем равнины,
Варили свой обед
Ночные исполины.

В гранитном котелке,
А может быть, и чаше,
В порожистой реке
Заваривали кашу.

Кружился все сильней,
Сойдя с земных тропинок,
Весь миллион камней,
Как миллион крупинок.
1958

608. ВИКТОРУ ГЮГО

В нетопленом театре холодно,
А я, от счастья ошалев,
Смотрю «Эрнани» в снежной Вологде,
Учусь растить любовь и гнев.

Ты — мальчик на церковном клиросе,
Сказали про тебя шутя,
И не сумел ты, дескать, вырасти,
Состарившееся дитя!

Пусть так. В волненьях поколения
Ты — символ доброго всегда,
Твой крупный детский почерк гения
Мы разбираем без труда.
1958

609

В рельефе хребтов, седловин,
Ущелий, распадков и падей,
В судьбе допотопных лавин,
Застывших в немом камнепаде,

Я вижу попытки земли
Возвыситься до поднебесья,
Взметнуться и рухнуть в пыли
И долго искать равновесье.

Коварная осыпь крута,
И ястреб боится садиться
На острые камни хребта
Обветренной горной границы.
1958

610

Вот солнце в лесной глухомани
Течет в ледяное окно.
И кажется — сыплют в тумане
С небес золотое пшено.

В лесу, возле каждой тропинки,
На жестком и рыхлом снегу
Рассыпаны эти крупинки,
И я их собрать не могу.
1958

611. СЛЕЗА

Ты горячей, чем капля пота,
Внезапная моя слеза,
Когда бегущая работа
Осажена на тормоза.

И в размышленьях о бывалом,
И в сожаленьях о былом
Ты в блеске силы в мире малом
И мера слабости — в большом.

Ты можешь во мгновенье ока
С ресниц исчезнуть без следа.
Да, ты скупа, горька, жестока,
И ты — не влага, не вода.

Ты — линза для увеличенья
Невидимых доселе тел.
Ты — не примета огорченья,
А удивления предел.
1958

612. ИВЫ

Деревья надышались пылью
И поднимают шум чуть свет.
Лететь? На это нужны крылья,
А крыльев у деревьев нет.

Лишь плащ зеленый, запыленный
У каждой ивы на руке,
Пока дорогой раскаленной
Деревья движутся к реке.

И опускаясь на колени,
Речную воду жадно пьют.
И сами жадно ищут тени,
Приют на несколько минут.

Их листья скрючены и ломки,
Они качают головой,
Остановясь на самой кромке,
На линии береговой…
1958

613. ДО ВОСХОДА

Еще на темном небе тлеют
Зари багровые остатки,
Но все светлеет и белеет
Вокруг брезентовой палатки.

Любое дерево ни слова
Еще со мною не сказало,
Еще ни доброго, ни злого
Природа мне не пожелала.

Но у природы наготове
Под тонкой сеткою тумана
И кровь тетеревиной брови,
Похожей издали на рану,

И гроздь брусники темно-сизой,
Покрытая лиловой тенью,
И смутное дыханье бриза,
Меняющего направленье.

Разжаты пальцы белых лилий,
Которым нет уже запрета
Подобьем чайки белокрылой
Раскрыться и рвануться к свету.

И вместо облачка на синий
Простор, в пустынные высоты,
Как будто выступивший иней,
Лег след ночного самолета.

И мне понятно нетерпенье,
Какое сдерживают птицы,
Чье оглушительное пенье
Готово ливнями пролиться.
<1958>

614. ПАУК

Запутать муху в паутину
Еще жужжащей и живой,
Ломать ей кости, гнуть ей спину
И вешать книзу головой.

Ведь паутина — это крылья,
Остатки крыльев паука,
Его повисшая в бессилье
Тысячелапая рука.

И вместо неба — у застрехи
Капкан, растянутый в углу,
Его кровавые потехи
Над мертвой мухой на полу.

Кто сам он? Бабочка, иль муха,
Иль голубая стрекоза?
Чьего паук лишился слуха?
Чьи были у него глаза?

Он притворился мирно спящим,
Прилег в углу на чердаке.
И ненависть ко всем летящим
Живет навеки в пауке.
1958

615

В гремящую грозу умрет глухой Бетховен,
Затмится солнце в Кантов смертный час.

Рассержен мир — как будто он виновен
Или винит кого-нибудь из нас.

Природа не всегда к искусству равнодушна
И гения судьбой подчас возмущена,
Имеешь уши слышать — слушай,
Как затаился гром, как дышит тишина.
<1958>

616

Я знаю, в чем моя судьба:
Чтоб рвали камни ястреба

И чтоб на узком челноке
Я поднимался по реке,

Чтоб трогала моя рука
В вершинах сопок облака,

Чтоб в темный воздух, как в платок,
Я завернул живой цветок,

Цветок, который я сорвал
С одной из побережных скал,

Цветок, что вырос на скале,
На неизмеренной земле.
1958

617

Огонь — кипрей! Огонь — заря!
Костер, внесенный в дом.
И только солнце января
Не смеет быть огнем.

Оно такое же, как встарь,
Внесенное в тайгу,
Оно похоже на янтарь,
Расплавленный в снегу.

А я — как муха в янтаре,
В чудовищной смоле,
Навеки в этом январе,
В прозрачной желтой мгле.
1958

618. КРИСТАЛЛЫ

Стекло обледенело,
Блестит резная запись,
В ночной метели белой
Скитается анапест.

Летят снежинки-строфы,
Где ямбы и хореи,
Как блестки катастрофы
Разгрома в эмпирее.

Их четкое строенье
Еще с времен Гомера —
Точь-в-точь стихотворенье
Старинного размера,

Един закон сцепленья,
Симметрии вселенной,
Сложенья и деленья
И четкости отменной.

Снег падает устало,
Снежинки давят плечи,
Стихи — это кристаллы,
Кристаллы нашей речи.
1958

619. ЛЕДОХОД

Не гусиным — лебединым
Напишу письмо пером,
Пусть бежит к тебе по льдинам
В половодье напролом.

Напишу — и брошу в воду
Лебединое перо —

По ночному ледоходу
Засияет серебро.

И в такую холодину
Разобрать не сможешь ты,
Лебедь это или льдина
Приплывет из темноты.

Приплывет перо на скалы,
Ледяное, как звезда,
Никогда ты не слыхала
Лебединой песни льда.

Никогда ты не слыхала
Лебединой песни льда,
В час, когда ночные скалы
Бьет весенняя вода.
1958

620. ТРОПА

Тропа узка? Не спорю.
Извилиста? Зато
Она выходит к морю,
На горное плато.

Натыканы цветочки
Нездешней красоты
В пружинящие кочки,
В железные кусты.

Чрезмерно сыровата,
По мнению людей,
Набухла мокрой ватой
От слез или дождей.

Чего уж старомодней
Одежда ей дана,
Листвою прошлогодней
Засыпана она.

И хвои толстым слоем
Заглушены шаги,

И дышит все покоем,
Распадками тайги.

Вся выстланная мхами,
Безмолвие храня,
Тропа живет стихами
Со мной и для меня.
1958

621. ЧЕРСКИЙ

Голый лес насквозь просвечен
Светом цвета янтаря,
Искалечен, изувечен
Жестким солнцем января.

Там деревьям надо виться
И на каменном полу
Подниматься и ложиться,
Изгибаться вслед теплу.

Он рукой ломает слезы,
А лицо — в рубцах тайги,
В пятнах от туберкулеза,
Недосыпа и цинги.

Он — Колумб, но не на юге,
Магеллан — без теплых стран.
Путь ему заносит вьюга
И слепит цветной туман.

Он весной достигнет цели
И наступит на хребты
В дни, когда молчат метели
И когда кричат цветы.

Он слабеет постепенно,
Побеждая боль и страх,
И комок кровавой пены
Пузырится на губах.

И, к нему склоняясь низко,
Ждет последних слов жена.

Что здесь далеко и близко
Не поймет сейчас она.

То прощанье — завещанье,
Завещанье и приказ,
Клятвенное обещанье,
Обещанье в сей же час.

Продолжать его деянья —
Карты, подвиг, дневники,
Перевалам дать названья
И притокам злой реки.

Ключ к природе не потерян,
Не напрасен гордый труд,
И рукой жены домерен
Героический маршрут.

Он достойно похоронен
На пустынном берегу.
Он лежит со славой вровень,
Побеждающий тайгу.

Он, поляк, он, царский ссыльный,
В платье, вытертом до дыр,
Изможденный и бессильный,
Открывает новый мир,

Где болотные просторы
Окружил багровый мох,
Где конические горы
Вулканических эпох.

1958

622

Топограф, знающий тайгу,
Перебираясь через кочки,
Вдруг цепенеет на бегу,
Увидев свежий след в снегу,
След, растянувшийся цепочкой.

Уже ослабевает свет,
И наст, подернутый поземкой,
Способен скрыть легчайший след
На кромке льда, на самой кромке.

И, выходя на рысий след,
Бредет звериною походкой
Добытчик, а не дармоед,
А может быть — в душе поэт,
Взволнованный своей находкой.
<1958>

623. ЗА БРУСНИКОЙ

Посреди спрутообразных
Распластавшихся кустов,
Поперек ручьев алмазных,
Вдоль порфировых щитов,

Подгоняемые ветром,
Мы бредем в брусничный рай,
С четырех квадратных метров
По корзине собирай.

Привяжи повыше мету —
Телогрейку иль платок,
Чтоб тебя не съело лето,
Дальний Северо-Восток.

Здесь не трудно, в самом деле,
Белым днем, а не впотьмах
Потеряться, как в метели,
В этих кочках и кустах.
1958

624

Лесная моя сторона,
Задетая черным пожаром,
Где пни, точно бочки вина,
Зарытые в землю недаром.

Где хвойный крепчайший настой
В гранитной чудовищной бочке
Хмельной отдает кислотой
И валит на мшистые кочки.

Засохли лесные пруды,
Покрытые пеплом, как штыбом,
Последние капли воды
Достались трепещущим рыбам.

И вытянул окунь губу,
Глазами кося на окрестность,
Как будто бы дует в трубу
Трубач духового оркестра...

Но жирный багровый кипрей
Затянет пожарище скоро,
Приманит и птиц, и зверей
В живые лесные просторы.
1958

625. ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Скалами разорванные тучи
Ветром изгоняются с небес,
Когти глухариные, как крючья,
Накрепко обхватывают сучья,
Ибо — засыпает лес...

В ночь уже распахнуты ворота.
Первой торопливою звездой,
Сыплется лесная позолота
В медные холодные болота,
Кружится над черною водой.

Рыба вылетает, словно птица,
На воду из ивовых кустов.
Рыбе в этот час еще не спится,
Рыбе еще хочется резвиться
Биться средь затопленных цветов.

Ходит небосвод в рубахе алой,
Гнется над застывшею травой,

Чтобы постепенно засыпала,
Чтобы не ворчала, не шуршала,
Чтобы не качала головой.
1958

626. МОРСКОЕ

Луна потрясает моря,
Она потрясает и сушу,
И море в разгар сентября
Грохочет: «Разрушу! Разрушу!»

И волн поднимается ряд,
Как ряд вопросительных знаков.
На первый лишь кажется взгляд,
Что будет ответ одинаков.

Казалось, скала или риф
Задеты волною любою,
И станут подобием рифм
Ритмичные вздохи прибоя.

Но это, конечно, не так.
Любое здесь неповторимо —
И старый платан, и маяк,
И столб золотистого дыма

Над черным рыбацким костром
Вблизи от бетонных надгробий,
И где-то катается гром
В ведро пересыпанной дробью.

И будто бы лепят рукой
В талантливом быстром движенье
Причудливый берег морской,
Меняя камней положенья.

Мозаики этой игра
Промытые, круглые камни —
Водою разбита гора
В каком-то периоде давнем.

И даже я сам не таков,
Как был за минуту до чуда,
До этих внезапных стихов,
Явившихся тоже оттуда.

Оттуда — из той глубины,
Копившихся там постепенно,
Взлетевших на гребне волны,
Как пена, как светлая пена…
1958

627. СЕСТРЕ

Ты — связь времен, судеб и рода,
Ты простодушна и щедра,
И равнодушна, как природа,
Моя последняя сестра.

И встреча наша — только средство,
Предлог на миг, предлог на час
Вернуться вновь к залогам детства
Игрушкам, спрятанным от нас.

Мы оба сделались моложе.
Что время? Дым! И горе — дым!
И ты помолодела тоже,
И мне не страшно быть седым.
<1958>

628

Взад-вперед между кручами
Ходит ветер колючий,
Раздвигая летучие
Темно-желтые тучи.

А над ними высокое
Небо львиного цвета,
Гром, по-волжскому окая,
Пробирается где-то.

Знаки молнии розовой,
Как связиста петлицы,

Небо, полное грозами,
Хочет ливнем пролиться.
<1958>

629. МОГИЛА МОЕЙ ТЕТКИ

Прикреплен к могиле тесной
Номерочек жестяной.
Номер каторги небесной
После каторги земной.
<1958>

630. ЮЖНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Пески, как снежные сугробы,
Навалены вокруг могил,
Как выраженье тех же сил
Недружелюбия и злобы.

Пейзаж испорчен, как картина,
Где краски потеряли цвет,
Где солнца по неделям нет
И света только вполовину.
<1958>

631

В раздумье, в горе и в беде
Мы обращаемся к воде,
К морской спокойной глади.

И все, что шепчет нам она,
Волна, лишающая сна,
Храним в своей тетради.

Едва светлеющий восток
И моря черный кипяток,
И серебристый лунный.

И гравий пестрою дугой,
Едва скрипящий под ногой,
И волны, словно струны.
<1958>

632

Ложатся резче светотени
И неба выбита эмаль.
Уносит ветром пух растений
Куда-то вдаль, куда-то вдаль.

И дрожь бежит по каплям росным,
И слабый утренний туман
Сползает тихо с сенокоса,
Передвигаясь на лиман,

Где чайки прячутся в прибое
И пену черпают крылом,
И рыбок тащат за собою,
И делят где-то за углом.
<1958>

633

Мучительна бумаги белизна,
Луна блестит на кончике пера,
Акация кричит мне из окна:
Пора, мой друг, пора.

А времени и мне не стало жаль,
И это слишком грозная примета,
Молчит земля, молчит морская даль,
Да я и не ищу у них ответа.

Офелия заплакала навзрыд —
Покоя нет, покоя нет в могилах,
Напрасно Гамлет с морем говорит,
Прибой перекричать не в силах.
<1958>

634. КРУГОВОРОТ

По уши в соленой пене,
В водяной морской пыли,
Встанут волны на колени,
Поцелуют край земли.

Попрощались с берегами
И родной забыли дом…
Кем вернетесь вы? Снегами?
Или градом и дождем?

Нависающим туманом,
Крупнозвездною росой,
Неожиданным бураном
Над прибрежной полосой…

И в земном круговороте,
Хладнокровие храня,
Вы опять сюда придете,
Очевидно, без меня.
<1958>

635. ЛУННАЯ НОЧЬ

Вода сверкает, как стеклярус,
Гремит, качается, и вот —
Как нож, втыкают в небо парус,
И лодка по морю плывет.

Нам не узнать при лунном свете,
Где небеса и где вода,
Куда закидывают сети,
Куда заводят невода.

Стекают с пальцев капли ртути,
И звезды, будто поплавки,
Ныряют средь вечерней мути
За полсажени от руки.

Я в море лодкой обозначу
Светящуюся борозду
И вместо рыбы наудачу
Из моря вытащу звезду.
1958

636

Море крыто теплой тучей,
Море мерзнет в сентябре.
Связки волн трещат, как сучья
На пылающем костре.

И в скафандре небосвода
Некий город-водолаз
Погрузится хочет в воду
В десяти шагах от нас.

Скалы, красные, как мясо,
Омываются волной,
Сто медуз из плексигласа
Проплывают предо мной...
<1958>

637. КАМЕНОТЕС

Как грузчик в каменном карьере,
Морская трудится волна;
Ворчит и роется в пещере
И выгребает все со дна.

И день, и ночь без всякой смены
Пересыпает, рушит, бьет,
В зеленой мгле, в соленой пене
Из глуби камни достает.

Так дышит грудь каменотеса,
Трудом взволнованная грудь,
Когда у скального откоса
Ложится море отдохнуть.
<1958>

638. ОГНИВО

Как спичкой чиркают о камень,
Как бьют кресалом о кремень,
Так волны высекают пламя
И тушат пламя целый день.

Но приближается минута,
Отчетливая, как плакат, —
Подносят тучу вместо трута,
И загорается закат.
1958

639. ПРИМОРСКИЙ ГОРОД

Предместье кажется седым
От чайных роз.
Иль это только белый дым
Отбросил паровоз?

Чуть задевая за карниз,
Здесь облака висят,
Как мраморный античный фриз
У входа в город-сад.

Агавы зелень, как костер,
Как будто сам Матисс
Велел — и сделался остер
Агавы каждый лист.

И синеватый дождь гремит
И хлещет по щекам,
И, моря изменяя вид,
Мешает маякам.

А если дождь внесут в сады,
То каждый сад —
Как газированной воды
Пузырчатый каскад.

Как будто там горячий цех,
Тяжелые труды,
И вот расставлены для всех
Фонтанчики воды…
<1958>

640

Это чайки с высоты
Низвергаются — и вскоре

Превращаются в цветы —
Лилии на сером море.

Ирисы у ног цветут,
Будто бабочки слетелись
На болотный наш уют,
Появиться здесь осмелясь.

На щеках блистает снег,
Яблоневый цвет блистает,
И не знает человек,
Отчего тот снег не тает.
1958

641. СТЕКЛОДУВЫ

Неуспокоенная лава
Текла, как будто солнце жгло,
И был песок вконец расплавлен
И превращен жарой в стекло.

Вся масса стынет постепенно,
Она до дна раскалена,
И ярко вспыхивает пена,
И загорается волна.

И чайка прикоснулась клювом
К зеленой выгнутой волне,
И чайка стала стеклодувом,
Подручной оказалась мне.

В который раз мы верим чуду
И рады выдать за свое
И груды облачной посуды,
И неба синее литье.
<1958>

642

Подходят горы сзади,
Глядят из-за плеча,
Что я черчу в тетради
Близ горного ключа,

Отображу ли лучше
Художницы воды
Базальтовые кручи,
Фарфоровые льды.

В восторге оробелом
С испуганным лицом
Я мазал небо мелом
И скалы крыл свинцом.

И жарко звал на смену,
Меняя цвет на цвет —
Индиго и сиену
Палитры детских лет.

Неточность изложенья,
Пробелы мастерства
Осудят и растенья,
И камни, и трава…
1958

643

Сосен розовая чаща,
Зноя маята.
Диабазовая чаша
У порога пролита.

Чаша вдребезги разбита,
И на цепь камней
Опираются копыта
Молодых коней.

Из-под скал разбитых,
Только что со льда,
Медленно течет напиток —
Золоченая вода.
<1958>

644

Высоки, текучи, глубоки
Голубые дальние пески.

Облака — подобия холстин,
Небеса — подобия пустынь.

Море — будто небо, а земля —
Место для движенья корабля.

Всю-то ночь плетется караван
Через тот песчаный океан.

Звезды, как копытные следы,
Нас ведут через пески и льды.
<1958>

645

Кто ходит на морском песке
С пастушьей клюшкою в руке?
Кто над безбрежием песка
Овец сгоняет в облака?

В нагольной шубе, как чабан,
Он переходит океан.
Для славы ветра-пастуха
Четыре краткие стиха.
<1958>

646

Волна о камни хлещет плетью
И, отбегая внутрь, назад,
На берег выстелется сетью,
Закинет невод наугад,

Стремясь от нового улова
Доставить самой глубине
Еще какое-нибудь слово,
Неслыханное на дне.
<1958>

647

Так ярок синий небосвод
С гранитною каемкой,

Как будто здесь с утра идет
Для телефильма съемка.

Здесь десять тысяч струн-стволов
Лесной виолончели
Гудели изо всех углов,
Кричали и звенели.

Здесь Моцарт — не магнитофон! —
Подслушать может мессу,
А месса — как сосновый звон,
Благодаренье леса.
<1958>

648

Я под облачной грядою,
В улетающем пару,
Над живой морской водою,
Остывающей к утру.

Хорошо ночное лето,
Обезлюдел каждый дом,
Море вечером нагрето,
Утопили солнце в нем.

Потонул в пучине темной
И согрел ее собой
Раскаленный шар огромный,
Закипел морской прибой.
<1958>

649

Руинами зубчатых башен,
Развалинами крепостей
Был берег сыздавна украшен
И был приятен для гостей.

Но замок, славный красотою
Любой войны и старины,
Был нищ и беден пред простою
Неповторимостью волны.

И что творения Шекспира
В сравненье с сизою водой —
Ровесницей созданья мира
И все же вечно молодой!
<1958>

650

Листок дубовый — как гитара,
И сотни тысяч тех гитар
Трясут изорванный и старый
Незасыпающий бульвар.

Притихший город дышит зноем
И жадно дышит тишиной.
А тишина — она иное,
Чем все земное, даже в зной.

Как мне минор шумящих листьев
По нотной лестнице вести,
Каких держаться скользких истин
В таком запутанном пути?

Как звать пейзаж в литературу
И душу дуба оживить,
Как драть с живого дуба шкуру
И сердце с ним соединить?

Быть может, проще слушать пенье
Без кисти, без карандаша,
И как награда за терпенье
Его откроется душа.
1958

651. ЛИСТОПАД

Навстречу прохожим листочками жести
Листья летели метелью, как снег,
И милиционеры, боясь происшествий,
Машинам сбавляли размеренный бег.

Водители связь потеряли с землею
И в ужасе жали на все тормоза,

И желтою пылью, как желтою мглою,
Прохожим с утра порошило глаза.

Автобусы плыли, стремясь к повороту,
На твердую землю въезжали, гудя,
И морщилось небо, и стыло от пота,
И падали первые капли дождя.
1958

652

Куда идут пути-дороги!
Зачем мне хочется сейчас,
Не вытирая вовсе ноги,
Войти в чащобу, не стучась.

В тот лес, пейзажами набитый
И птичьей грубой воркотней,
Так невнимательно укрытой
Неразговорчивой листвой.

Меня бы там отобразило
Кривое зеркало ручья,
Чтоб всей лесной могучей силе
До гроба был покорен я.

И, может быть, для славы вящей
Невзрачных синеньких цветов
С опушек нашей русской чащи
Я проповедовать готов.

Я сам найду свои границы,
Не споря, собственно, ни с кем.
В искусстве незачем тесниться:
В искусстве места хватит всем.
<1958>

653. ЛИЦО

Нетрудно изучать
Игру лица актера,
На ней лежит печать
Зубрежки и повтора.

И музыка лица,
Послушных мышц движенье —
То маска подлеца,
То страсти выраженье.

Актер поднимет бровь
Испытанным приемом,
Изобразит любовь
Или разлуку с домом.

Сложней во много раз
Лицом любой прохожий,
Не передать рассказ
Его подвижной кожи.

Случайное лицо,
Где всё — полунамеком…
Морщинное кольцо,
Не замкнутое током…

Понятны лесть и месть,
Холопство и надменность,
Но силы нет прочесть
Лица обыкновенность.

1958

654. ЛОДКА

Да... Как все это было?
Ее вела река
Через заносы ила
И донного песка.

И вырублена грубо
Из цельного ствола
Огромнейшего дуба
Та лодочка была.

И берег был пологий,
А лодке — не пройти.
Трудны ее дороги,
Запутаны пути.

И лодка затонула,
Завязла глубоко,
На самом дне уснула,
От жизни далеко.

И камень лег на плечи,
И — с головы до ног —
От взглядов человечьих
Ее закрыл песок.

И через пять столетий
Той лодочки скелет
При звездном найден свете
И вытащен на свет.

Над ней пришел стараться,
Находчив, бодр и смел,
Профессор реставраций,
Знаток музейных дел.

И собрана без клея,
При синтезе наук,
Усилий не жалея,
Не покладая рук...

И видит археолог
Весы добра и зла:
Что лодка — не осколок,
И вся она — цела.

Ту лодочку не надо
В архивный брать учет,
Реакцией распада
И проб на углерод.

В своей судьбе короткой
И днем, а не на дне,
Еще способна лодка
Служить речной волне.

1958

655. ПУШКИНСКИЙ ВАЛЬС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Зачем он очарован
Натальей Гончаровой?
Зачем ему так дорог высший свет?

Ему бы в секунданты
Шекспира или Данта —
Дантеса отвели бы пистолет.

Зачем ясна погода
Романовым в угоду?
Зачем не поднимается метель?

Метели бы летели
Препятствовать дуэли,
Любую загораживая цель.

Зачем мелки масштабы,
Зачем так люди слабы?
Зачем здесь не явился Аполлон?

Потребовал поэта
К священной жертве света, —
Не он сейчас потребовал, не он...
<1958>

656

Покамест нет дороги льдинам
И тол не разорвал затор,
Поселок пахнет нафталином
И изморозь приходит с гор.

В привычный час ложится иней,
И тает он в привычный час,
И небосвод индиго-синий
Неутомимо давит нас.

И слышен тонкий запах тленья,
Весенний наступает час,
И прошлогодние растенья
Являются в последний раз.
1958

657

Снег прибегает в сад,
Как будто по ошибке,
Настроить снежный лад
Сосновой зимней скрипке.

Все та же, та же цель,
И нет судьбы важнее.
Метель гудит, как шмель,
Но только пострашнее.
1958

658

Поэзия, ты записалась в актеры,
Ты ищешь успеха в сегодняшнем дне.
Ты пряталась раньше в высокие горы,
Когда ты нуждалась еще в тишине.

Бродила одна, ощущая блаженство,
Что голосу камня поверить могла,
Такая далекая от совершенства,
От строгих канонов добра или зла.

Да, ты — одинока, и это жестоко,
А впрочем, едва ли ее и вина,
Что с детства скитаться путями пророка
Никак не могла научиться она.
<1958>

659

Мы — летописцы Пимены,
И нам не надо имени.

Хранят листы прелестные
Сказанья неизвестные.

Хранят листы бумажные
Признанья слишком важные —

Рыдания таежные,
Не очень осторожные.
<1958>

660. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОГОЛЯ

Опустит кран десятитонный
Кого-то бережно на снег,
И видит дом многооконный,
Что в мир вернулся человек.

Вернулся прямо восвояси
Туда, где жил, где душу сжег,
Чтоб средь вражды и несогласий
Заветный выполнить зарок.

И Гоголь, связанный веревкой,
Как обессиленный гигант,
Конвоем выслеженный ловко,
Изловлен беглый арестант.

Никто не может подступиться,
И Гоголь вправду не поймет,
Кто здесь друзья и кто убийцы,
И отчего кругом народ.

Литая бронза потемнела,
И автокран, поймав момент,
Вздымает скорченное тело,
Позеленевший монумент.

Не в первый раз поэт и автор
Перед столицей брошен ниц.
Его задворки — без метафор,
А свалка — ссылка из столиц.

И обыденность встречи значит,
Что обвинен в побеге он
И как беглец дозором схвачен
И для позора привезен.

И вот глядят из подворотен,
С подъездов, окон и крылец,

Как будто это — оборотень
Иль притворившийся мертвец.

И привалясь к решетке сада,
Глядит досужая толпа,
Ей вовсе Гоголя не надо —
Она наивна и слепа.

Пока любой карманной кражей
Вниманье не отвлечено,
Ее растрогать можно даже
Подобной сценой для кино.

Но все глядят не без боязни,
Как возвратился с пустыря
Монах, бежавший от соблазна
Пустынного монастыря.

Вот страсти статуи и муки,
А людям — им не привыкать
Крутить писательские руки
И их за спину загибать.

Столетний двор — как бы граница
Всесветного его пера,
И он боится распрямиться,
И встать, и выйти со двора...
2 января 1959 года

661

Как где-то читанная книга —
Былая молодость моя.
Вся — воплощенье взрыва, мига,
Где я — совсем еще не я.

Где нет поверок, перекличек,
Глухого скрежета лопат,
Где нет еще самих привычек,
Где верят в рай, не веря в ад.

Где на цепи сидит рассудок,
А жизнь совсем еще не ждет

Привычных северных побудок,
И где судьбы круговорот

Не начинал свое вращенье,
Свою земную канитель,
И где неясны запрещенья,
Пределы, истины и цель...

Как где-то читанная книга —
Былая молодость моя,
И благом кажется мне иго
Несовершенства бытия.
<1958>

662. ПРОЗА

Нам шпарят лица на морозе
И плещет ветер — кипяток,
И белые густые слезы,
Как камни, падают у ног.

Под шелест раннего склероза
В полярной мраморной тиши,
Спеша выписываю прозой
Историю моей души.
<1959>

663. ПРОБУЖДЕНИЕ

О ночь! Тебе я верю слепо,
Ты вся — добро, ты вся — тепло,
А пробуждение нелепо,
Рассвет — рассчитанное зло.

Любое утро — утро казни,
И мышца каждая моя
Дрожит от холодобоязни,
От неустройства бытия.
<1959>

664. ПРИШЛА ЗИМА

Замолчат речные речи,
Зазвучит иная речь,
И в лесу тебе навстречу
Ледяная бьет картечь.

Хруст стоит в лесу стеклянном,
Стало страшно на земле
В слишком снежном океане,
В незнакомой белой мгле.

Хлопья снега, будто четки,
Будто чаек перелет,
Утомленных чрезвычайно,
Опустившихся на лед...
<1959>

665. В БАНЕ

Ковш затыкается тряпкой,
Проржавленный старенький ковш.
По коже — гусиные лапки,
Знобящая мелкая дрожь.

Корыто залеплено мылом,
Сквозь щели вода не течет.
Когда же, когда это было:
Соленый удушливый пот

И лед голубой окуная
В бурлящий крутой кипяток,
Голодная «смена дневная»
Ложится на банный полок.
<1959>

666. ТОГДА

Я двигал челюстями
И рыбу ел с костями,
Я жил тогда вестями
И жизнь была, как тень.

Я лед считал сластями
И брал песок горстями,
Кровавыми кистями,
И верил в черный день.
<1959>

667. В НОЧИ

На лицах — ни кровинки,
Табачные крупинки
Дороже золотых.

Разведка неудачна
Для россыпи табачной,
Для радостей простых.

Крошили чью-то трубку
На мелкие куски,
Махорку-полукрупку
Творили из доски.

Распарывают складки
Слежавшейся подкладки
И достают табак.

И может запах сладкий,
Как жизнь, предельно краткий,
Вдыхать любой бедняк.
<1959>

668. ПРАВДА ТЕЛА

Морщины лгут и щеки лгут,
Глаза и губы лгут.
Лицо — актер, бывалый плут,
Отменный плут.

И откровенней, чем лицо,
Честней во много раз,
Нагой спины полукольцо,
Ее рассказ.

И расширенье синих вен
Распухших ног,
Я это знаю, как Роден,
Как бог.

Я это чувствую, как врач,
Я тела слышу речь,
Я вижу судорожный плач
Усталых плеч.

И отмороженных ногтей
Безмолвный крик.
Рубцов от пуль и от плетей
Правдив язык.
<1959>

669. ПОХВАЛЬБА

Чем счастлив? Хвастовством,
Глубоко затаенным,
Гордящийся родством
С каким-нибудь казненным.

А может, душ сродством
С Сазоновым на Каре,
Не только мастерством
Сказанья об Икаре?
<1959>

670. НАПИСАТЬ

Написать — и забыть! Отвязаться
От всего, что ушло,
Что, как я, навсегда разучилось смеяться
И сожгло все тепло.

Кочегар, подбавляй горбоносой лопатой
Уголь в топку души.
(Я давно уж счастливый, давно уж богатый)
Точно шелком, углем зашурши.

Сколько надо минут и часов и столетий,
Чтобы высказать все до конца.

Разве я напишу, разве мне одолеть их,
Бесконечных минут мертвеца.
<1959>

671

Нет, нет, я никогда не дам
Тех новогодних телеграмм
С оплаченным ответом,
С непрошеным советом.

Я скоро в гости буду сам
И мы расскажем небесам
Об этом скорбном лете
И обо всем на свете.
<1959>

672. ВЕТЕР

Там дерево-дервиш в кликушеской пляске
В круженьи под ветром, в шуршанье листвы
Устало от корчи, устало от тряски
И радо упасть на просторы травы.

Костлявые руки хватались за землю
И вновь в поднебесье, взмахнув рукавом,
Взлетала осина, упрекам не внемля,
В порыве движенья, в порыве живом.

Где чувства спекались в привычные формы,
Чтоб выйти на свет наугад, невпопад,
Как тот самородок заброшенный горный,
Прошедший подземный клокочущий ад.

И слово, как лава, по всем закоулкам
Текло и сливалось со славой, как речь,
И горы гремели особенно гулко,
Пытаясь кого-то предостеречь.
<1959>

673. ГЛАГОЛЫ

Вместить не может мозг
Былых моих видений.
Не скроет книжный лоск
Отчаянья суждений.

Отрубленных стихов,
Как пальцев человечьих,
Как груз чужих грехов
Мешок взвалив на плечи.

Там есть наверняка
Трагический гостинец,
То Тютчева рука,
То Пушкина мизинец.

Как я — они бедны
И тоже инвалиды,
И им нанесены
Такие же обиды.

Но я еще не труп
И кровь моя — живая,
Я только саморуб
Окраинного края.

Глаголам нет житья,
Глаголы голым голы.
Давно бы должен я
Увесть в тепло глаголы.
<1959>

674. ВЕСНА

Меня заставили дожди
Сушить портянки на груди.

Скорей вперед, вперед, вперед,
Я обгоняю ледоход.

Бегу по каменной волне
И не нагнать меня весне.

Иду по стынущим ручьям,
По краю скользких, смертных ям,

По подмерзающему мху
Ступать приходится стиху.

И я бегу, бегу, бегу,
Чтоб где-нибудь догнать пургу.

Чтоб перегнать олений ход
И ранний птичий перелет.
<1959>

675. ОТМОРОЖЕНИЕ

Я даже днем
Дышал огнем
Мороза.

Я шел вперед,
А слезы — лед!
Не слезы.

И на ходу
Я не найду
Дороги.

Я на звезду
Глядел в бреду —
Безногий.
<1959>

676

Вши и клопы под гноем повязок,
Пролежни, язвы до самых костей —
Вот основанье разрушенных сказок
И потерявшихся где-то вестей.

Тех разговоров, подшибленных камнем,
Брошенных ниц лицемерьем речей.
Все это — голос о чем-то недавнем,
Голос уже безымянный, ничей.

Кончиков пальцев солжет осязанье,
Заново мир открывая себе,
Чье это мужество и дерзанье
Впору такой человечьей судьбе?
<1959>

677

Угольной пыли в людской гортани
Чуть кисловатый вкус.
Где-то шебечет гром картавый,
Хоть небосклон и пуст.

И занесенные вихрями штыба,
Борясь с ветровою струей,
Автомашины плывут, как рыбы,
Черной блестя чешуей.
<1959 >

678. В ПУТИ

О, ястребом вцепись в закраинку утеса,
Косматый великан, закутанный в тряпье,
И по лесу, как зверь, ползи простоволосый,
Надейся на топор, на нож и на ружье.

И ягелем кормись, как пестрые олени,
Сотри его в муку, смешай с водой ручья,
И встань перед ручьем, как в церкви, на колени,
Молись о забытьи, во власти забытья.

Одежду разорви и перешей на обувь,
Подстереги мышей и, голод утоля,
Оборотясь к звезде, читать стихи попробуй,
Чтоб их навек запомнила земля.
<1959>

679

Река забыла о верховье,
О колыбели ледяной,
В своем гранитном изголовье
Забыла о себе самой.

Река юродствовать устала
И не свивается в кольцо,
И улыбаться перестало
Морщинистое лицо.

Мы рады неодушевленной,
Почти смирившейся реке,
Реке коленопреклоненной
И распростертой на песке.
<1959>

680

В ущелье день идет на убыль,
Весь мир — пока хватает глаз —
Таков, как будто новый Врубель
На вечер пишет под заказ.

Кипрей на скалах темно-серых,
Как киноварь на полотне,
Ручей рубиновый в пещере
С камнями черными на дне.

Брусника здесь — почти черешня,
Она крупна и велика.
Расти бы ей — бруснике здешней —
Там, у подножья Машука...
<1959>

681

Вижу кости горных хребтов,
Переломленных человеком,
Вижу странную яркость цветов —
Не гербарий, а фильмотеку.

Слышу тысячу птичьих ртов
В оглушительный час рассвета
Там, где каждый снегирь готов
Петь с ответственностью поэта.

Где волшебным своим фонарем
Озаряя распадки и пади,

Бродит в тучи закутанный гром,
Подражая во всем ледопаду.
<1959>

682. НИТРОГЛИЦЕРИН

Я пью его в мельчайших дозах,
На сахар капаю раствор,
А он способен бросить в воздух
Любую из ближайших гор.

Он, растворенный в желатине
И превращенный в динамит,
В далекой золотой долине,
Взрывая скалы, загремит.

И содрогнулся шнур бикфордов,
Сработал капсюля запал,
И он разламывает твердый,
Несокрушимый минерал.

Сердечной боли он — причина,
И он один лекарство мне —
Так разъяснила медицина
В холодной горной стороне.
1959

683

Распускаются почки с треском:
Чуть прислушайся — и замри,
Лужи с солнцем поспорят с блеском,
Бестревожны цвета зари.

По асфальту метут метлою
Всю защитную кожуру,
Что мешает во время зноя
На июльском сухом ветру.

Будто осень, цветут апрели,
Ошалевшие от дождей,
Все томительней птичьи трели,
Утешающие людей.
<1959>

684. СКВОРЕЦ

В приготовленный дворец
Залетай проворно,
Залетай скорей, скворец
В пиджачишке черном!

Покажи-ка свой талант,
Твой талант — не шутка:
Алеманд, полукурант,
Червякова дудка…

Все леса и небеса,
Все звучит на диво,
Слушай птичьи голоса,
Изучай мотивы.

В приготовленный дворец
Залетай проворно,
Залетай скорей, скворец
В пиджачишке черном.
1959

685

Читальный зал, пропахший потом,
Похожий сверху на овраг,
Весь увлечен лесной работой,
Весь в листопаде из бумаг.

По книжным полкам ходит голубь,
И буквы — черное зерно.
Он бродит среди бревен полых
И не глядит назад — в окно.

И голубь ходит, как книгóчей,
За шкафом шкаф, за томом том,
С утра до самой поздней ночи
Обшаривает книжный дом.

Он с Кантом стал запанибрата,
Кряхтит под томиком Руссо

Или воркует у плаката
Перед голубкой Пикассо.
<1959 — середина 1960-х?>

686. КУРЬЯ

Здесь курья — речная заводь,
Неподвижная вода.
Слишком мелко, чтобы плавать,
И река здесь, как слюда.

И, ступая осторожно
По сырому плитняку,
Босиком добраться можно
К обнаженному песку.

Это — раменье, оплечье
Пашен, пожен и долин,
Вбитый плотно в междуречье
Боровой зеленый клин.

Облака, как горы мела,
Тучи тяжче, чем свинец,
И орлы садятся смело
На малиновый орлец.
<1959>

687. РЫБИЙ БОР

Сосновый бор, зеленый бор,
Свисающий со склонов гор, —

Ты в голубой плывешь воде
Навстречу утренней звезде.

Сосновой дружною семьей
С блестящей желтой чешуей.

Да, сосны вроде окуней
От кроны до кривых корней,

И ветки, будто плавники,
Трепещут на волне реки…
1959

688. БАСНЯ ПРО АЛМАЗ

Простой блистающий алмаз
Был мерой твердости для нас.

Ведь нет кислот и щелочей,
Какие гасят блеск лучей.

Но может измениться он,
Когда он будет накален.

И в безвоздушной духоте,
В мильонолетней темноте

Алмаз изменит внешний вид,
Алмаз расплющится в графит.

И вот алмазная душа
Горда судьбой карандаша.

И записать готов алмаз
Стихотворенье и рассказ.

Для всех долгот, для всх широт
Он все же только углерод.
<1959>

689. УСТЬЕ РУЧЬЯ

Безвестный ручей,
Безымянный, ненужный,
Для наших ночей
Недостаточно южный,

Где чаек полет
И полярное лето,
Светящийся лед
Изумрудного цвета.

Забытый зимой
В недоступном ущелье,
Зимою самой
На моем новоселье,

Где прямо вперед
Через лед трехметровый
Летит водомет,
От заката багровый.

И, темной реки
Замедляя теченье,
Бегут пузырьки
Огневого свеченья!
1959

690. ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

Овраг наполнится угаром
И гнилью теплой и сухой.
В лесу запахнет скипидаром,
Как в живописной мастерской.

У яблонь запах громче грома.
Взошла вечерняя звезда.
И ветер вьется возле дома,
Не убегая никуда.
1959

691. ГОРНАЯ МИНУТА

Так тихо, что пейзаж
Как будто нарисован —
Пастельный карандаш,
Перекричавший слово.

Беспечный человек,
Дивлюсь такому чуду,
Топчу нагорный снег,
Как битую посуду.

Здесь даже речки речь
Уму непостижима,
Туман свисает с плеч —
Накидка пилигрима.

Все яростно цветет
И яростно стареет,

Деревья ищут брод,
Спешат домой быстрее,

Спустились под откос
Беззвучно и пугливо.
А ястреб врос в утес,
В закраину обрыва...
1959

692. КИПРЕЙ

Там был пожар, там был огонь и дым.
Умерший лес остался молодым.

Ища следы исчезнувших зверей,
В лиловый пепел вцепится кипрей

И знаки жизни, что под цвет огня,
Раскинет у обугленного пня —

И воскресит таежную траву,
Зверей, и птиц, и шумную листву.
1959

693. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКОПИСИ

Да, рукопись моя невелика, —
Родник, а не ручей и не река.

Подземный ключ не сдвинет валунов,
Не потрясет береговых основ.

И может течь, а может и не течь
Негромкая, прерывистая речь...

Но, впрочем, строчки — это не вода,
А глубоко залегшая руда.

Любой любитель, тайный рудовед,
По этой книжке мой отыщет след,

Нащупает под ржавым плитняком
Старательным старательским скребком.
8 июня 1959

694

Еще в детстве, спозаранку,
В придорожном ивняке
Нам кукушка, как цыганка,
Погадала по руке.

Нынче эхо — не кукушка —
В ледяном лесу живет
И пророчит на опушке
Для прохожих круглый год.

И вокруг — оцепененье
Напряженной тишины,
Ненавидящей движенье,
Нарушающее сны.

Каждый звук предельно точен
И, как детский мяч, упруг,
В хрустале лесных обочин
Вырывается из рук.

Каждый звук предельно звонок
И опасен для людских
Барабанных перепонок,
Ненадежных, городских.
<1959>

695. ОРУДЬЕ КРУЖЕВНИЦЫ

Орудье кружевницы,
Известное давно, —
Коклюшки, а не спицы
И не веретено.

Трещат, как кастаньеты,
И мне уж не до сна,
Трещат коклюшки эти —
Седая старина.

Полна, полна азарта,
Учета всех опор,
Разведочная карта —
Задуманный узор.

И трезвого расчета,
И вымысла полна
Кустарная работа,
Кустарная война.

Крученой белой нитью
В булавочных лесах
Записаны событья —
Рассказ о чудесах.

Походкой величавой
Вдогонку старине
За павой ходит пава
По нитяной стране.

А на другой подушке
Усильем кастаньет —
Ракета на коклюшке
Прелестней всех ракет.

И павы и ракеты
Идут за рядом ряд,
Коклюшки-кастаньеты
Пощелкивают в лад.

Сплетите, кружевницы,
Такие кружева,
Чтоб жителей столицы
Кружилась голова.
<1959>

696. ТОЛСТОВСКИЙ МУЗЕЙ

Давно зеркала постарели в музее,
И в желтом и мутном протертом стекле
Меняются лица немых ротозеев,
Согревшихся в тихом квартирном тепле.

И каждый потрогает вьюшку у печки,
Она холодна, а тепло —
Такая же маска, актерские речи,
Все то, что здесь было, сияло, цвело.

У статуи ищут решенья простого
Детишки — лопатками носят песок
Засыпать застывшие пальцы Толстого,
Вцепившиеся в поясок.
<1959>

697

Он тащит солнце на плече
Дорогой пыльной.
И пыль качается в луче
Бессильно.
И, вытирая потный лоб,
Дойдя до дома,
Он сбросит солнце, точно сноп
Соломы.
<1959>

698

Стихи — это стигматы,
Чужих страданий след,
Свидетельство расплаты
За всех людей, поэт.

Искать спасенья будут
Или поверят в рай,
Простят или забудут...
А ты — не забывай.

Ты должен вечно видеть
Чужих страданий свет,
Любить и ненавидеть
За всех людей, поэт.
1959

699. ГАРИБАЛЬДИ В ЛОНДОНЕ

(Речь на завтраке у лорд-мэра)

Благодарю, благодарю за честь...
Прошу прощения — я должен сесть.

Нога болит от раны пулевой,
И каждый мускул будто неживой...

Я выслушал приветственную речь
И вижу ваш подарок: это — меч!

Подарком этим я немало удивлен:
Ведь я не Цезарь, не Наполеон.

Я не люблю военных ремесло —
Профессию, рождающую зло.

Простой крестьянин, а не генерал,
За дом родной я нынче воевал.

Бандиты ворвались в отцовский дом,
И я судил их собственным судом, —

Снял со стены охотничье ружье,
Чтоб счастье жизни защитить свое…

Был в перестрелке, кажется, убит
Ворвавшийся в отцовский дом бандит.

Я не считал моих побед и бед
На протяженьи многих тяжких лет…

Рубаха красная, надетая на мне,
Не знак пожара, не призыв к войне.

Ведь в этот алый цвет всегда одет
Крестьянской жизни трудовой рассвет.

Прошу прощенья, дамы, господа,
Я не солдат, я человек труда.

Вся жизнь моя — прямой тому пример.
Здоровье ваше, господин лорд-мэр!
1959

700. БИРЮЗА И ЖЕМЧУГ

Смешаю вместе уксус и слюду,
Чтоб минерал скорее умирал,
И точат слезы камень-бирюзу,
И умирает синий минерал.

А жемчуг задыхается во тьме,
Теряет краски, цену и судьбу,
И не под силу жить ему в тюрьме,
Лежать живым в повапленном гробу.

Он жив — на пальце, вделанный в кольцо,
И полон человечьей теплоты,
Он сохраняет светлое лицо,
Он сохраняет жизнь свою — как ты.
1959

701

Мятый плюш, томленый бархат
Догорающей листвы,
Воронье устало каркать
На окраине Москвы.

В океане новостройки
Утопает старый дом,
Он еще держался стойко,
Битый градом и дождем.

И, заткнув сиренью уши,
Потеряв ушной протез,
Слышит дом все хуже, хуже
И не ждет уже чудес.
<1959>

702. ЮГО-ЗАПАД

Подъемный кран, как самоходка,
На гусеничном ходу
По окнам бьет прямой наводкой
И тихо кружится на льду.

Вполне военная картина,
Когда прожекторным огнем,
Как в штурмовую ночь Берлина,
Подсвечивают каждый дом.

Но этот бой — не разрушенье,
Не взрыв, а рост — и вширь и вверх,

Победоносное сраженье,
Где автогена фейерверк,

Где торопливое дыханье
Грузовиков и тягачей
И газосварки полыханье
Средь обесцвеченных ночей.

Где кислородные баллоны
Нужны как воздух для людей,
Крепящих арки и балконы
Сквозь хаос новых площадей.

Здесь каждый дом — как в магазине:
Новехонький со всех сторон,
И автошин шуршит резина,
И пахнет пихтою гудрон.
1959

703. ОТВЕС

Капели, вешние капели,
Сосульки, рухнувшие вдруг,
Как будто в тигеле апреля
Расправлены остатки вьюг.

Прообраз вертикальных линий,
Природы, спущенный с небес,
С той высоты безмерно синей, —
Простой строительный отвес.
<1959>

704

Золотой, пурпурный и лиловый,
Серый, синий свет,
Вот оно, кощунственное слово,
И спасенья нет.

Вот она — в кровавых клочьях дыма,
В ядовитой мгле.
Будущая Хиросима
Встала на земле.

Как глазурь — зеленый крик ожога,
Сплавленный в стекло.
Вот она, зловещая дорога,
Мировое зло.

Девушке слепой огонь пожара
Обжигает взор.
...О судьбе всего земного шара
Начат разговор.
1959

705. МАРИЯ КЮРИ

Какое-то апреля,
Полсотни лет назад —
На выставке в Брюсселе
Бесценный экспонат,

Необычайно важный
Научный экспонат —
Простой листок бумажный
Приковывает взгляд.

Незримого свечения
Отравленный поток;
Хранящий излучение
Тетрадочный листок...

Лежит листок полвека,
Зловещий, как анчар,
Он — гордость человека,
Разоблаченье чар,

Природы чар незримых,
Где предвосхищены
Пожары Хиросимы
И ядерной войны.

И ты — открытья жертва,
Склодовская-Кюри,
Листок — твое бессмертье,
Добейся и сгори.

И счетчик излученья
Трепещет у листка —
Всеобщее волненье,
Волненье и тоска.

Не жизни разве ради
Открыла нам она
Вот этот самый радий,
Которым сражена?
<1959>

706. ПЕРВЫЙ СНЕГ

Слякоть нынче схвачена морозом,
Как створоженное молоко.
Снег подобен падающим звездам,
И дышать по-зимнему легко.

Каждый звук отчетливый и громкий,
Слишком звонкий нынче на пруду.
Воробей на заберега кромке
Оступается на скользком льду.

Первые снежинки еле-еле
Все же долетают до земли.
Завтрашние белые метели
К нам еще добраться не могли.
<1959>

707

Это путаный путь. Уж чего бы короче
От горы до горы — два шага,
А проходит два дня и две ночи —
Глубоки, осторожны снега.

Рыхлый снег, будто зерна пшеницы,
Заметеленный ветром в углы.
В жизни нет больше места для птицы,
И леса, будто скалы, голы.

И идет человек, заметеленный вьюгой,
На далекий мерцающий свет,

И в глазах его нету испуга,
И в глазах его радости нет.
<1959>

708

На себе после бани
Мы сушили белье,
Металлической ткани
Просолилось тряпье.

И любые заплаты
На рабочий наряд
Засверкали, как латы,
Вроде рыцарских лат.
<1959>

709

Этот мир житейской прозы
Открывает для меня
Хладнокровие мороза
И запальчивость огня.
<1959>

710. НА ПАМЯТЬ

Я не могу вам подарить
Ни камня, ни кольца.
Мне слишком долго говорить.
Рассказу нет конца.

Как лихорадки жар сухой,
Судьба еще жива,
Ночной горячечной строкой
Бегут мои слова.

И, может быть, дойдет до вас
Ее глухой размер,
Как пульс, прерывистый рассказ,
Химера из химер.
<1959>

711

Я верю в предчувствия и приметы —
Науку из первых, ребяческих рук,
Я верю, как подобает поэту,
В ненадобность жертвы, в ненадобность мук.

Я верю, как подобает поэту,
В такое, что видеть не привелось,
В лучи тишины неизвестного света,
Пронизывающие насквозь.

Я верю: при косноязычье природы
Обмолвками молний показаны мне
Зигзаги путей в высоту небосвода
В покойной и праздничной тишине.

И будто всегда меня уносила
В уверенный сказочный этот полет
Молений и молний взаимная сила,
Подвального свода сломав небосвод.
1959

712

Мне снова жажда вяжет губы
В сухом снегу,
Где белый лес играет в трубы
Во всю вьюгу.

И наст горит под скользкой лыжей.
Дымится снег.
Огонь все ближе, ближе, ближе,
И вот — ночлег.

И, ставя обе лыжи стоймя
К венцу избы,
Я постучу в окно спокойно
Рукой судьбы.
1960

713. ПОСЛЕ ВЬЮГИ

Снег — сыпучее тело.
Он колюч и летуч.
Ослепительно белым
Он просыпан из туч.

Ночью вьюга швыряла
Белый снег в небеса
И, должно быть, устала,
Сотрясая леса.

Задыхаясь от бега,
Затихает пурга
И серебряным снегом
Посыпает снега.

На ветвях — ни снежинки,
И на голой горе
В щелях светятся льдинки,
Как свеча в фонаре.
1960

714

Не спеши увеличить запас
Занесенных в тетрадь впечатлений,
Не лови ускользающих фраз
И пустых не веди наблюдений.

Не ищи, по следам не ходи,
Занимайся любою работой, —
Сердце сразу забьется в груди,
Если встретится важное что-то.

Наша память способна сама
Привести в безупречный порядок,
Все доставить тебе для письма,
Положить на страницы тетрадок.

Не смутись, — может быть, через год
Пригодится такая обнова —
Вдруг раскроется дверь и войдет
Долгожданное важное слово.
1960

715. БУХТА НАГАЕВА

Легко разгадывается сон
Невыспавшегося залива.
Огонь зари со всех сторон
И солнце падает с обрыва.

И, окунаясь в кипяток,
Валясь в пузырчатую воду,
Нагорный ледяной поток
Обрушивается с небосвода.

И вмиг меняется масштаб
Событий, дел, людей, природы,

Покамест пароходный трап,
Спеша, нащупывает воду.

И крошечные корабли
На выпуклом, огромном море,
И край земли встает вдали
Миражами фантасмагорий.

И по спине — холодный пот,
В подножье гор гнездятся тучи.
Мы море переходим вброд
Вдоль проволоки колючей.
1960

716

Щупали пули <в моих карманах>,
Где же искать стихи?
Прячутся в белом густом тумане,
В темных кустах ольхи.

Прятались буквы в кленовых ветках.
Молча слагались в слова,
Падали наземь, ползли в разведку
И колебалась трава.

Листик ольховый, как туз бубновый,
Крепко прилип к спине,
Как жестяной номерочек новый,
Выданный нынче мне.
<*1960*>

717. РЕЧЬ КОРТЕСА К СОЛДАТАМ ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ

Нет, нам не суждено здесь пасть —
Невелика еще у смерти власть.

Еще пред нами тысяча забот,
Больших и малых дней водоворот.

Мы предназначены для лучших дел,
Не перешли еще земной предел.

Приказ мой прост: пока живой — вперед.
Кто в смерть не верит — вовсе не умрет.

От трусости лекарство у врача
Укреплено на кончике меча.

Прими его — и наш военный бог
Подхватит твой прощальный, смертный вздох.

Стреляй, стрелок, твой яростный мушкет
Поэты будут славить много лет.

Да, мы бессмертны на ходу, в бою.
Мы верим все еще в звезду свою.
<1960>

718. АНДЕРСЕН

Он обойдет моря и сушу —
Весь мир, что мелок и глубок,
Людскую раненую душу
Положит в сказочный лубок.

И чтоб под гипсовой повязкой
Восстановился кровоток,
Он носит радостную сказку,
Подвешенную на платок.

Леченье так умно и тонко:
Всего целебней на земле
Рассказ про гадкого утенка
И миф о голом короле.
<1960>

719. СТАРАЯ ВОЛОГДА

Медлительная Вологда…
Столетия и дали
Тащили город волоком,
В оврагах рассыпали.

Предместьями, посадами
Бросали на дороге

С глухими палисадами
Еловые чертоги.

Жила когда-то грезами
О Вологде-столице,
Каприз Ивана Грозного
Как сказка о Жар-птице.

А впрочем, вести веские
О царском разговоре —
Магическими фресками
В стариннейшем соборе.

Когда-то слишком пыльная,
Базарная, земная...
Когда-то слишком ссыльная
И слишком кружевная.
1960

720–727. СТИХИ К ПАСТЕРНАКУ

НА ПОХОРОНАХ

1

Стволы деревьев, двери дома,
Забор, ступени у крыльца,
Все — старое, все так знакомо,
Как и черты его лица.

Но кислородная палатка
И синий газовый баллон
Стоят на том крылечке шатком,
Где столько лет являлся он.

И отступает даже лето,
И мало силы световой
Перед невыносимым цветом
Слепящей крышки гробовой.

2

Он из окон своей квартиры
Увидел место похорон —
Его он выбрал в целом мире —
Где старых сосен перезвон.

И недописанная пьеса
Лежит живая на столе,
И тянет свежестью из леса,
Уже невидного во мгле.

Он не уносит в гроб секрета,
Он высказался до конца,
И это есть в чертах поэта,
Его посмертного лица.

3

Будто выбитая градом,
Искалечена трава.
Вытоптана зелень сада
И едва-едва жива.

На крылечные ступени
Разбросали каблуки
Ветки сломанной сирени,
Глиняные черепки...

И последняя расплата,
Послесловье суеты:
Шорох киноаппарата,
Жестяных венков цветы.

4

Последний кончен поединок
Со смертью на глазах у всех,
Закрыты наглухо гардины,
И удалился шум и смех.

Здесь он лежит, восковолицый,
Как разрисованный муляж
На предпасхальной плащанице —
Страстей Господних персонаж.

Толпа гортензий и сирени
И сельских ландышей наряд —
Нигде ни капли смертной тени,
И вся земля — цветущий сад.

И майских яблонь пух летает,
Легчайший лебединый пух,
Неисчислимой белой стаей,
И тополя шуршат вокруг.

И ослепительное лето
Во все цвета и голоса
Гремит, не веря в смерть поэта
И твердо веря в чудеса.

5

Тот день, на славу летний,
И яма глубока.
Привычно вьются сплетни
Могильного венка.

Как тесто, месят слухи,
Что сеются вокруг,
Веснущатые руки
Взволнованных старух.

Судачить есть причина —
Оборванная песнь —
И дамам, и мужчинам
Судачить повод есть.

6. РОЯЛЬ

Видны царапины рояля
На желтом крашеном полу:
Наверно, двери растворяли,
Ворочали рояль в углу.

И он царапался когтями
И, очевидно, изнемог
В борьбе с незваными гостями,
Перешагнувшими порог.

И вот он вытащен наружу,
Поставлен где-то у стены.
Рояль — беззвучное оружье
Необычайной тишины.

И все сейчас во власти вести,
Все ждут подобья чудесам —
Ведь здесь на том, рояльном, месте
Дух музыки почиет сам.

7

Орудье высшего начала,
Он шел по жизни среди нас,
Чтоб маяки, огни, причалы
Не скрылись навсегда из глаз.

Должны же быть такие люди,
Кому мы верим каждый миг,
Должны же быть живые Будды,
Не только персонажи книг.

Как сгусток, как источник света,
Он весь — от головы до ног —
Не только нес клеймо поэта,
Но был подвижник и пророк.

Как музыкант и как философ,
Как живописец и поэт,
Он знал решенье всех вопросов,
Значенье всяких «да» и «нет».

И, вслушиваясь в травы, в листья,
Оглядывая шар земной,
Он встретил много новых истин
И поделился со страной.

И, ненавидя пустословья,
Стремясь к сердечной простоте,
Он был для нас самой любовью
И путь указывал мечте

8

Тополиного пуха — мимо
На руках тебя пронесли.
Этот пух — словно клочья дыма
От огня в глубине земли.

Ты уходишь дорогой света,
Продолжающий разговор,
Среди яблоневого цвета
Поднимаешься на бугор...

Нет, не в рифмах и не в романах
Твоя слава среди веков —
Как молитвенники, в карманах
Носим книги твоих стихов.

2 июня 1960

728. КОРНИ ДАУРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ

Корни деревьев — как флаги,
Флаги в промерзлой земле,
Мечутся в поисках влаги,
В страстной мечте о тепле.

Вся корневая система
В мерзлой от века судьбе.
Это — упорства поэма,
Это — стихи о борьбе.

1960

729. КАПЛЯ

Править лодкою в тумане
Больше не могу.
Будто я кружусь в буране
В голубом снегу.

Посреди людского шума
Рвется мыслей нить.
Своего мне не додумать,
Не договорить.

Капля с каплей очень схожи,
Падают они:
День за днем, как день прохожий,
День — калика перехожий,
Каплют капли-дни.

Разве тяжче, разве краше,
Ярче всех других
Та, что переполнит чашу,
Чашу дней моих.
1960

730. БУРЕНИЕ ОГНЕМ

Поэзия, поэзия —
Бурение огнем.
Сверкает света лезвие —
Такая сила в нем,

Что в кислородном пламени
Расплавится скала, —
Идет в породе каменной
Горящая игла.

Как факел ослепительный
Врезаясь в минерал,
Готовя для Праксителя
Любимый матерьял.
1960

731

Бесплодно падает на землю
Цветов пыльца,
Напрасно пролитое семя
Творца.

И только миллионной части,
Упав на дно,
Вступить с природой в соучастье
Дано.
1960

732

Все было: камень, бревна, доски,
Цемент — сиреневый раствор.
И даже снегом, как известкой,
Я грязный выкрасил забор.

И план строенья приготовлен,
Но силы нет его начать,
Связать в постройку кучу бревен,
Поставить дом и замолчать.

А память — место вроде склада,
Где шелест ветра, вьюги вой.
И жить такому мне не надо,
И это ложь, что я — живой.
1961

733

Не летописец, не историк —
Подкапывающий гору крот.
И плод ученья слишком горек:
Несладкий корень, горький плод.

Пусть самой высшею наградой
Его запутанных путей —
Тяжелый запах зоосада
И улюлюканье детей.

Ну что ж, он лучшего не ищет,
Его судьба, его мечта —
Среди зверей остаться хищных
Все в том же звании крота.
1961

734

Квартира наша русская,
Прибежище в пути,
Где дверь такая узкая,
Что гробу не пройти.

Снимайте крышку белую,
Пустите мертвеца.
Ночами онемелыми
Дойдет ли до конца?
1961

735. ДО КОСМОДРОМА

Трудная жизнь прожита почти даром.
Вот бы занятье роялям, гитарам...

Чем не предмет площадного искусства —
Это, судьбу победившее, чувство?

Время отброшено в средневековье.
Снег, окропленный чистейшею кровью.

Рев палачей и мужские рыданья.
Где вы живете, лучи состраданья?

Около спиленных лагерных вышек
Жизнь поднимается выше и выше.

Все здесь испытано, все нам знакомо.
Все — от концлагеря до космодрома.
1961

736

Низвергатели косности
Человеческой плоти,
Оскопленные космосом
В междузвезном полете.

Оскопленные голодом,
Многолетней цынгою,
Оскопленные холодом
И звенящей пургою.

Монастырские правила
И устав монастырский
Подчиниться заставили
Весь отряд богатырский.

Низвергатели старого
Солнца видели пятна,
И любовь Абелярова
Им ясна и понятна.
1961

737. БАСКИ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ

В диком реве стадионов,
Обезумевших вконец,
В содроганье миллионов
Замирающих сердец, —

Мигуэля Унамуно
Бывшие ученики,
Напряженные, как струны,
Худощавы и легки, —

Выбегают футболисты.
Как мечи, звенят мячи, —
Даровитые лингвисты,
Инженеры и врачи.

И летает мяч футбольный,
Царства падают во прах
У толпы многоглагольной
На испуганных глазах.

И проваливаясь в пропасть,
Одичалый шар земной —
Круглый шар летит, как глобус,
Взбудораженный войной.

Мяч летит — и нет Мадрида,
Арагонских нет небес,
Все скрывается из вида
И теряет интерес.

Лишь когда влетит в ворота,
В верхний угол мяч влетит, —
Мир сотрет крупинки пота,
Равнодушный примет вид.

Хорошо играют баски
И являют чудеса.
Стадион наденет маску
Хоть на полтора часа.

Все забыто, все неважно —
Бог и царь — летящий мяч!
Но судья свистком протяжным
Останавливает матч.

И газетные известья
Душу всколыхнут до дна:
Голос чести, голос мести,
Дипломатии война.

Но покамест футболисты
Покидают стадион,
Гул трибун еще неистов
И еще всесилен он.

Эти зрители забыты,
Но еще настанет миг,
И в разгар спортивной битвы
Стадион отыщет их.

Средь болельщиков безногих,
Жителей на костылях,
Слишком много, слишком много
Невропатов и нерях.

Ортопедии железо
Заслонит бомбежки ад,
В час, когда молчат протезы,
Мышцы рваные молчат.
1961

738

О. С.

Чтоб передать твою улыбку,
Большого сердца доброту,
Ищу волшебную ошибку,
Ту искаженную черту,

Что ближе истины к той сути —
Натуру выдаст наотрез,
И все, приличное минуте,
Утратит всякий интерес.

В жакете, в платье, в полушалке
Чтоб смело раскрывалась ты,
И силы мне своей не жалко
Для доказательств правоты.

Нет, я не ученик Серова,
Но взялся нынче за портрет,
Запомнив брошенное слово,
Его затейливый совет.

1961

739

Город Пушкина, город Блока,
Равновесие всех начал,
Нелюдимо, почти жестоко
На рассвете меня встречал.

Равнодушный, привыкший к славе,
Весь кунсткамера и музей,
Был подстать и моей державе,
Отгороженной от людей.

Уходила, все забывая,
Петербургская старина
И звенела струной трамвая
Петроградская сторона.

Вслух читала архитектура
Увлекательнейший роман.
Порыжелая арматура,
Словно след незаживших ран.

Среди лучиков солнца тонких,
Среди чахлой, больной листвы
Быть хотел я твоим ребенком,
А не пасынком у Москвы.

1961

740. ЛЕНИНГРАД

Все, что учил я так давно:
Событья, даты,
Что здесь прорублено окно
Куда-то.

России главные слова,
И залп Авроры,
И славой сильная Нева,
И море.

И монументы с той земли
Под гром орудий
В бомбоубежища ползли,
Как люди.

И на одном из пятисот
Мостов столицы
Сам командор мне руку жмет
Десницей.

Туман висит вдоль берегов,
Как клочья дыма.
На Невском шарканье шагов
Незаглушимо.

А утром улица тиха,
Как роща.
И строфы здания-стиха
Читает площадь.

1961

741

Не последний и не первый,
Жертва жара и простуд,
Чьи встревоженные нервы
Улыбнуться не дают,

Я в сраженьях со снотворным
До утра белей, чем мел,
От гипноза далей горных
Уберечься не сумел.

За меня страдали дали,
Песню пели вечера,
Дали, кажется, рыдали
Не позднее, чем вчера.

И с трудом подняв с постели
Тела ноющий комок,
Я к окошку еле-еле
Подползти тихонько мог.

Я стою, откинув шторы,
Ничего не узнаю —
Здесь всегда стояли горы,
Угрожая забытью.

И ответ на все вопросы
Городской дает рассвет.
Молодые зданья взрослы,
А деревьев близко нет.

Лишь глотну густого кофе,
Все тотчас пойдет на лад.
Я вернусь к моей Голгофе
На пятнадцать лет назад.
1961

742. ЧУДО

В той базальтовой груде
Допотопных камней
Мне почудилось чудо,
Заключенное в ней.

В мочаливом затоне
Пряча силу свою,
Вроде Пигмалиона
У базальта стою.

Люди только б не знали
О желаньях моих,
Чтоб, как молния, дали
Не прорезал мой стих.

Доверяя бумаге,
Доверяя перу,
Доверяя отваге,
Я вступаю в игру.
1961

743. ЗАБЫТЬЕ

Серебряные облака,
Базальта голубые глыбы,
Посеребренная река
И серебрящиеся рыбы.

Два цвета только — бирюза
И серебро страны нагорной
Запомнили мои глаза
Торжественно и непритворно.

Здесь ветер рвал мое тряпье
И на скале держал, как знамя,
И приближалось забытье
С великолепнейшими снами.
1961

744

Мы предтечи, мы только предтечи,
С недостатками слуха и речи,

Рифмачи, плясуны, музыканты,
Обморозившие таланты.

Мы учились в особенной школе
В чистом поле в далекой неволе.

Там, где солнце сияет ночами,
Там, где лед обжигает, как пламя.

Наши судьбы доверены вьюгам
За полярным магическим кругом.

Мы глядим до сих пор молодцами,
Нас еще не смешать с мертвецами.
1961

745

Шагает осень шагом лисьим
По грудам листьев меж кустов,
По вороху подметных писем,
Прелестных будто бы листов.

Наш садик листьями запятнан,
Асфальт лежит, как леопард,
И ветер шелестит невнятно
Над тысячей игральных карт.
1961

746

Московские зданья, как горы,
Ломают ночной горизонт.
И звездного неба узоры,
Как парашютный зонт.

И в глуби вселенной взлетает,
Звезду за звездой шевеля,
Космическая, молодая,
Ракетная наша земля.

Забывшая ссоры и драки,
Привычки за тысячи лет,
В великой совместной атаке
Для дальних межзвездных побед.

Спроси же у доброго дела,
Ведь так повелось на Руси,
Какого искать нам предела,
У встречной кометы спроси.
1961

747

Часы внутри меня,
Волшебные часы,
Отмерить дозы дня
Незримые весы.

Проснусь я точно в час,
Намеченный вчера,
Хоть, не смыкая глаз,
Работал до утра.

Вселенная ведет,
Скрывая как секрет,
Тончайший этот счет —
Тысячелетний след.

И времени чутье —
Закон житья-бытья —
Мы знаем все: зверье,
Деревья, ты и я...
1961

748. ШАЛЯПИН

И. Андроникову

Моря его — музыка.
Остров — бас.
Гортанные мускулы
Все напоказ.

Гортанные мускулы
Гудят, как струна.
Земля его — музыка,
Родная страна.

Земля его — пение.
И день за днем
Терпение гения
Жжет огнем.
1961

749. МАСТЕРСКАЯ

Столяра ястребиные плечи,
Горький запах сосновой смолы,
Круг багровый разгарчивой печи
И беленые снегом углы.

И с усильем вращая точило,
Лезвиё прижимая в упор,
Я точу сверхъестественной силой
Синеватый звенящий топор.
1961

750

Они собираются на берегу —
Подснежники и фиалки.
Дышать я им только чуть-чуть помогу,
Я знаю, как трудно бывает в снегу,
А ты говоришь — не жалко.

Я их не сорву, распрямлю на листы,
Цветные цветов платочки,
Я глажу их пальцами, грея цветы,
Как будто подснежники — это ты,
Моя далекая дочка.
1961

751

Метелью ресницы залепит,
Навеки заледенит.
Я слепну, я слепну, я слепну —
Но я еще не инвалид.

Слезою горючей, горячей
Ресницы расплавит мои,
Я буду воистину зрячий
Для дружбы и даже семьи.

И этим чудесным прозреньем
Судьбу я свою обновлю,
На все я гляжу без презренья
И всем улыбаться велю.
<1961?>

752

Ручей питается в дороге
То родниками, то дождем

И через горные пороги
Проталкивается с трудом.

И, как при кровяном давленье,
Повышенном до глухоты,
Рекой в порывистом движенье
Расшатывает мосты.

И где-нибудь в изнеможенье
Вода ложится на песок,
Почти без пульса, без движенья
Валяется у наших ног.

Ее и здесь зовут рекою.
Она сверкает, как слюда,
Как воплощение покоя —
Горизонтальная вода.
<1961>

753

Пусть чернолесье встанет за деревнями,
Тропинкой вглубь идут мои стихи.
Не лес я должен видеть за деревьями,
А голубую кожицу ольхи.

Стекляшки — бусы розовой смородины
И слив резиновые шары.
Дороги не заказаны, не пройдены
В подлески, чащи, рощи и боры.

Скажу не по-латински, не по-гречески
Про мертвую сожженную траву —
Пока пейзаж не говорит по-человечески,
Его пейзажем я не назову.
<1961>

754

Жить вместе с деревом, как Эрьзя,
И сердце видеть в сердцевине.
Из тысяч сучьев, тысяч версий
Найти строенья план единый.

Найти фигуры очертанье,
Лицо пейзажа-человека,
А имена или названья —
Приметы нынешнего века.

Гефест перед кусищем меди,
Буонарроти перед грудой
Камней, уверенный в победе,
Уже почувствовавший чудо...
<1961>

755. ИППОДРОМ

Наподобье игрушечных
Пролетают фигурки,
Неожиданно крошечны
Картузы или куртки.

Рекордсмены известные
Вылезают из кожи,
Держат пальцы наездников
Напряженные вожжи.

Жеребцы разъяренные
Среди пыли и пыла,
На момент озаренные
Вдохновеньем посыла.

Здесь события важные —
Беговые науки!
И программки бумажные
Жмут горячие руки.

На огромнейшей площади,
Как на крошечном блюде, —
Разноцветные лошади,
Разноцветные люди...
<1961>

756

Тихий ветер по саду ступает,
Белый вишенный цвет рассыпает.

И одна из песчаных дорожек —
Как вишневое платье в горошек.

Лепестки на песке засыхают,
Люди ходят и тихо вздыхают...

Ветер пыльные тучи взметает —
Белый вишенный цвет улетает.

Поднимается выше и выше
Легкий цвет, белый цвет нашей вишни.
<1961>

757. СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Взял высокую ноту с разгона,
Словно тенор, запел паровоз,
И на миг поездные вагоны
Выпрямляются во весь рост.

И дежурный в фуражке дежурной,
В красной шапке на старый покрой, —
Театральный, литературный,
Станционный знакомый герой.

Он стоит на подмостках, у рампы —
Пантомимы бывалый актер,
Освещенный единственной лампой,
И безмолвный ведет разговор

С чьей-то радостью или разлукой,
Человеческим горем чужим —
Всем, что в грохоте, лязге и стуке
Пролетело сейчас перед ним...
1961

758. СЕМЕН ДЕЖНЕВ

Могилу роет море-океан.
Мы потерпели кораблекрушенье.
У нас остался компас и секстан
И есть еще надежда на спасенье.

На звезды смотрим, слушаем эфир,
Укрывшиеся в леденелых скалах,
Но нас не ищет равнодушный мир,
И мы не слышим радиосигналов.

И утлый коч наш приплывет туда —
Пробьет тропу ледовых карт и лоций, —
Куда всегда Полярная звезда
Российского вела землепроходца.
1961

759

Сон гляциолога — лед глянцевитый,
Да, он пришел сюда за ледниками —
Там, на плите порфировой свиты,
Будто хрусталь заморожен веками.

Лед — это тоже созданье живое,
Пусть черепахой, шагами улитки
Движется, движется береговое,
Белого льда раскрывается свиток.

Слишком уж медленно, я даже дую,
Чтобы целебные ветры подули,
Чтоб декабри превратились в июли.
Надо ли быть на карауле?

Я не Гренландия, не Антарктида.
Льда толщину не измерит сейсмолог,
И на сейсмолога я не в обиде —
Смело иду, и путь мой недолог.
<1961>

760. ШЕСТОЙ КОНТИНЕНТ

Материк ледяного камня,
Минерал твой — дремучий лед —
Тот, что сложен в эпохе давней,
Что не тает и не плывет.

Говори со мной, Антарктида,
Что прогнулась под толщей льда,

Завороженная обида,
Замороженная вода.

Белой глыбой, горою горя
Придавило тебя давно,
Много ниже людского моря,
Ниже дна опустилось дно.

Знаю: вырастут океаны,
Лишь расплавятся ледники,
Зарубцуются даже раны,
Незакутанные в стихи.
<1961>

761

Я думал, что будут о нас писать
Кантаты, плакаты, тома,
Что шапки будут в воздух бросать
И улицы сойдут с ума.

Когда мы вернемся в город — мы,
Сломавшие цепи зимы и сумы,
Что выстояли среди тьмы.

Но город другое думал о нас,
Скороговоркой он встретил нас.
<1961>

762

Не в Японии, не на Камчатке,
Не в исландской горячей земле,
Вулканическая взрывчатка
На заваленном пеплом столе.

И покамест еще примененья
К отопленью сердец не нашло,
Застывает, утратив движенье,
Бередившее душу тепло.
1962

763

Есть снег, называемый фирн:
Почти превратившийся в лед,
Опасный безжизненный мир
В расщелинах горных высот.

Луч солнца его доставал,
Но все ж растопить не сумел,
Лежит глубоко между скал,
Зернист, неподвижен и бел…

Есть снег как цветы молодой:
Что савана было белей,
Становится вешней водой,
Целебною влагой полей…
<1962>

764

Таежное солнце со снегом весною
Расправится и без людей
И, помощью пренебрегая земною,
Не просит у неба дождей.

Без дворников, без снегочисток машинных,
Со снегом один на один,
Оно до полуночи роется в льдинах,
Ломает могущество льдин.

И, с солнцем вступающий в единоборство,
Вчерашний властительный снег
Открыто покажет свое непокорство,
Оставшись в ущельях навек.

И дно ледяное угрюмо блистает,
Но горный ручей по нему
Бежит и, сверкая, на воздух взлетает,
Забыв снеговую тюрьму.
<1962>

765

Пролетели фары —
Взрыв морозной пыли!
Световым ударом
Сердце ослепили.

Пусть даже мгновенья
Этот взрыв короче —
Хуже станет зренье
Среди зимней ночи.

Сделать хоть полшага
Я боюсь при этом —
Как фотобумага,
Обожженный светом.
<1962>

766. СИРЕНЬ

Пузырчатая пена
Течет через плетень.
Как вспышка автогена —
Лиловая сирень.

Звезды пятилепестной
Ребяческая цель —
Доселе неизвестной,
Не найденной досель.

Мне кажется, не спать я
И сызнова готов
От влажного пожатья
Разбуженных кустов.

Как факел поднимаю
Дымящийся букет,
Чтоб синей ночью мая
Горел веселый свет.
1962

767

Хоть сдавлена гудроном
Московская весна —
Лирическим законам
Она подчинена.

В едином славословье
Горячей синевы —
Лощины Подмосковья
И площади Москвы.

Дыхание сезона
У леса на краю
И в парковом газоне —
В искусственном раю.

Зеленые сережки
У яблони в ушах,
Размокшие дорожки
Глушат неспешный шаг.

И в пригородах пенье
Щеглов, скворцов, синиц —
Весеннее кипенье
Без меры и границ.

Чудесная наука —
Озвучить все сады,
Вплести все эти звуки
В листву, в цветы, в плоды.
1962

768

Свяжите мне фуфайку
Из пуха тополей,
Белее белой лайки
И севера белей,

Белее света даже
В асфальтовом дворе, —
Из этой светлой пряжи,
Крученной на жаре.

Волокон и событий
Начала и концы
Разматывают нити
Ребята-мудрецы.

Обрывками капрона
Усеяна земля,
Как и во время оно,
Седеют тополя.

Растрепанной кудели
Дымятся вороха,
Как след былой метели,
Пригодный для стиха.

Свяжите мне фуфайку
Из пуха тополей,
Белее белой лайки
И севера белей.
1962

769. РОСА

Травинкам труднее всего по утрам,
Когда открывают дорогу ветрам,

И грозная мертвая летняя сушь
Похуже буранов, метелей и стуж.

Себя не жалея, себя не щадя,
Травинки живут без дождя, без дождя.

Из воздуха влагу вбирают леса,
Как пот выступает ночная роса.

И корни растений глотают питье
И славят свое корневое житье.

Они отдарят эту каплю воды
И к небу поднимут цветы и плоды.
1962

770. АРКТИЧЕСКАЯ ИВА

Ива цветет, погруженная в снег,
Ива должна спешить
Жить здесь как птица, как человек,
Если решила жить.

Жить — значит в талую землю успеть
Бросить свои семена,
Песню свою хоть негромко пропеть,
Но до конца, до дна.
1962

771

Упала, кажется, звезда,
Или, светя с вершины,
Сквозь ночь спускается сюда
С горы автомашина?

Вокруг палатки — темнота,
Бездонная, ночная,
Не слышно шелеста листа,
Умолкла речь речная.

Я в лампе не зажгу огня,
Чтоб летней ночью этой
Соседи не сочли меня
Звездой или планетой.
1962

772

В годовом круговращенье,
В возвращенье зим и лет,
Скрыт секрет стихосложенья,
Поэтический секрет.

Это ритмика ландшафтов,
Самобытные стихи,
Что строчит безвестный автор
Чернотала и ольхи.

Музыкален, как баллада,
Как чередованье строк,
Срок цветенья, листопада,
Перелетов птичьих срок.

В смене грома и затишья,
В смене света и теней
Колесо четверостишья,
Оборот ночей и дней.
1962

773

Не потому цари природы,
Что, подчиняясь ей всегда,
Мы можем сесть в бюро погоды
И предсказать ее на годы
По слову ветра или льда.

А потому, что в нас чудесно
Повторены ее черты, —
Земны, подводны, поднебесны,
Мы ей до мелочи известны
И с ней навеки сведены.
<1962>

774

Когда после разлуки
И сам еще не свой,
Протягивая руки,
Встречаюсь я с Москвой,

Резины и бензина
Блаженство и уют,
Шуршат, щебечут шины,
Как зяблики поют.

На площади вокзальной,
Где стук, и крик, и звон,
Сливают в музыкальный,
Как бы единый тон.

Удерживая слезы,
На площади стою
И по старинной позе
Свой город узнаю.

Московский гул и грохот,
Весь городской прибой
Велением эпохи
Сплетен с моей судьбой.
1962

775

Летний город спозаранку
Проступает сквозь туман,
Как чудовищная гранка,
Свеженабранный роман.

Город пахнет той же краской,
Что газетные листы,
Неожиданной оглаской,
Суеверьем суеты.

И чугунные заборы
Знаменитого литья —
Образцы шрифтов набора
И узоров для шитья.

Утро все — в привычном чтенье
Зданий тех архитектур,
Что знакомы поколеньям
Лучше всех литератур.
1962

776

О подъезды, о колонны
Разбивающийся дождь —
Будто ампул миллионы
Покрывают площадь сплошь.

Кислый дух автомобиля
И жилища перегар —

Все прибито вместе с пылью
И вколочено в бульвар.

Будто после треска, хруста
На поверженный пустырь,
Приводя природу в чувство,
Выливают нашатырь.

И полны глубокой веры
В приближенье синевы
Палисадники и скверы
И окраины Москвы.
1962

777

У деревьев нет уродов,
У зверей уродов нет,
Безупречна птиц порода,
Соразмерен их скелет.

Даже там, в камнях пустыни,
В беспорядке диких скал
Совершенством мягких линий
Подкупает минерал.
1962

778. МОРЕ

Взглянул и понял: море! море!
Как сила велика твоя,
Узнаю я не в разговоре
И не из книг узнаю я.

Ты — как Сикстинская мадонна,
С которой не свести мне глаз,
Ты пенью соловья подобно,
Услышанному в первый раз.
<1962>

779. НЕБО ВБЛИЗИ

Мне видеть небо суждено
Невероятно близко.
Оно, как вымытое дно
У оловянной миски.

Лизали небо языком
Иные белоручки,
Чтоб съесть от повара тайком
И облачки, и тучки.

А может, небо лишь компресс,
Наложенный на раны,
Или тысячепудовый пресс,
Обернутый в туманы.

Таким привинчено к земле,
Чтобы трещали кости
Всех тех, кто в тишине и мгле
Посмел явиться в гости.

Оно — палатка из тряпья,
Дырявая палатка,
И жить под ним, мои друзья,
Зимой не очень сладко.

И даже спутники земли,
Хотя им книги в руки,
Исправить небо не могли
При помощи науки.
<1962>

780

Мы с временем играем в прятки,
Скрываемся от света дней,
И череп Шиллера — загадка,
Судьба других еще темней.

Ненапечатанным романом
И незаписанным стихом
Шагаем мы по дальним странам
Пешком и даже босиком.

В пустой житейской водоверти,
В сражениях не на виду
Неподготовленными к смерти
Мы умираем на ходу.
<1962>

781. НАД СТАРЫМИ ТЕТРАДЯМИ

Выгорает бумага,
Обращаются в пыль
Гордость, воля, отвага,
Сила, сказка и быль.

Радость точного слова,
Завершенье труда, —
Распылиться готова
И пропасть без следа.

Сколько было забыто
На коротком веку,
Сколько грозных событий
Сотрясало строку…

А тетрадка хранила
Столько бед, столько лет…
Выгорают чернила,
Попадая на свет

Вытекающей кровью
Из слабеющих вен:
Страстью, гневом, любовью,
Обращенными в тлен.
1962

782. КОМАНДИРОВКА «СЕРПАНТИННАЯ»

Как крута, узка стремнина,
Круча горная узка,
И подобьем серпантина
Извивается река.

Но избитое сравненье,
Недостойное стиха, —

Не обмолвка, не затменье
И совсем не чепуха.

Речки странное названье —
Это повесть про судьбу.
Это неба колебанье,
Воскресение в гробу.

И летает паутина
Вроде яркой бахромы,
Как подобье серпантина,
И недолго до зимы.

Ляжет лед на дно долины,
Замолчат ручьи-ключи,
Лед — подобье стеарина
Оплывающей свечи.

Зацветет весной шиповник,
Кровью брызнет на кусты,
Чтоб спросили, кто виновник
Здешней смертной маяты.

Как крута, узка стремнина,
Тропка горная узка,
И подобьем серпантина
Извивается река.
<1962>

783

Стихи — это судьба, не ремесло,
И если кровь не выступит на строчках,
Душа не обнажится наголо,
То наблюдений, даже самых точных,

И самой небывалой новизны
Не хватит у любого виртуоза,
Чтоб вызвать в мире взрывы тишины
И к горлу подступающие слезы.

И даже Пушкин тех, лицейских, лет,
Он — только обещанье света,

Он — обещанье боли, бурь и бед.
Всего, что вписано в судьбу поэта.
1962

784

Поэзия — дело седых,
Не мальчиков, а мужчин,
Израненных, немолодых,
Покрытых рубцами морщин.

Сто жизней проживших сполна,
Не мальчиков, а мужчин,
Поднявшихся с самого дна
К заоблачной дали вершин.

Познание горных высот,
Подводных душевных глубин,
Поэзия — вызревший плод
И белое пламя седин.
1962

785

Вырвалось из комнатного мира
Авторское чтенье — в облака!
Телешова тесная квартира
Нынче романисту не рука.

Вырвалось из комнатного плена,
Из среды земной,
Стало телевизорной антенной,
Радиоструной.

Устремилось авторское чтенье
В космосную высь,
В патефонном диске на мгновенье,
Жизнь, остановись!

Выбери в озвученном романе
Лучшую главу,
Засветись, как слава на экране,
Слово наяву!
<1962>

786. У ТЕЛЕВИЗОРА

Лишь бы твое изображение
Не появилось раньше звука —
Вот весь секрет преображения,
Телеэкранная наука.

Чтоб ты возник, молвой наполненный
И подготовленный звучаньем,
И все же был подобьем молнии,
Неотвратимой и — случайной.

Чтоб шел вперед с расчетной скоростью —
С такой, чтоб вслух прочесть успели! —
Был нужен в радости и в горести, —
И ты достиг желанной цели.
<1962>

787

Стихотворения — тихотворения,
И это — не обмолвка, нет,
Такие они с рождения,
С явленья на белый свет.

Стихотворения — тихотворения
И требуют тишины,
Для тонкости измерения,
Длины, высоты, ширины.

Стихотворения — тихотворения,
Поправок, доделок — тьма!
От точности измерения
Зависит и жизнь сама.
<1962>

788

Да, театральны до конца
Движенья и манеры
Аптекаря, и продавца,
И милиционера.

В горячий праздник синевы
На исполинской сцене
Не без участия травы
Идет спектакль весенний.

И потому, забыв про боль,
Пренебрегая бором,
Подснежник тоже учит роль
И хочет быть актером.

Не на земле, не на песке,
А встав в воротах лета,
Зажатый в чьем-то кулаке
Образчиком букета.
<1962>

789

Я думаю все время об одном —
Убили тополь под моим окном.

Я слышал хриплый рев грузовика,
Ему мешала дерева рука.

Я слышал крики сучьев, шорох трав,
Еще не зная, кто не прав, кто прав.

Я знал деревьев добродушный нрав,
Неоспоримость всяких птичьих прав.

В окне вдруг стало чересчур светло —
Я догадался: совершилось зло.

Я думаю все время об одном —
Убили тополь под моим окном.
1963

790

Я вовсе не бежал в природу,
Наоборот —
Я звезды вызвал с небосвода,
Привел в народ.

И в рамках театральных правил
И для людей
В игре участвовать заставил
Лес-лицедей.

Любая веточка послушна
Такой судьбе.
И нет природы, равнодушной
К людской борьбе.

1963

791

Как ни хорош
Пейзаж в изображенье,
Он — не похож,
Он — тело без движенья.

Бессилен гнев
Художника в азарте, —
Земли рельеф
Не выразить на карте.

Нельзя пером
Одушевить природу:
Негромкий гром,
Рокочущую воду…

Для жизни гор
И надписи некстати:
«Сдано в набор»,
«Подписано к печати»…

<1963>

792

Кровь солона, как вода океана,
Чтоб мы подумать могли:
Весь океан — это свежая рана,
Рана на теле земли.

Помним ли мы, что в подводных глубинах
Кровь у людей — зелена.

Вся в изумрудах, отнюдь не в рубинах,
В гости нас ждет глубина.

В жилах, наполненных влагой соленой,
Мерных ударов толчки,
Бьет океан своей силой зеленой
Пульсом прилива — в виски.
<1963>

793. АМУНДСЕНУ

Дневники твои — как пеленг,
Чтоб уверенный полет
К берегам любых Америк
Обеспечивал пилот.

Это — не руины Рима,
А слетающий с пера
Свежий, горький запах дыма
Путеводного костра.

Это — вымысла границы,
Это — свежие следы
По пути за синей птицей,
Залетающей во льды.

Мир, что кажется все чаще
Не музейной тишиной,
А живой, живущей чащей,
Неизвестностью лесной.
<1963>

794. РЯЗАНСКИЕ СТРАДАНЬЯ

Две малявинских бабы стоят у колодца —
Древнерусского журавля — и судачат...
О чем им судачить, Солотча,
Золотая, сухая земля?

Резко щелкает кнут над тропою лесною —
Ведь ночным пастухам не до сна.
В пыльном облаке лошади мчатся в ночное,
Как в тургеневские времена.

Конский топот чуть слышен, как будто глубоко
Под землей этот бег табуна.
Невидимки умчались далеко-далеко,
И осталась одна тишина.

Далеко-далеко от московского гама
Тишиной настороженный дом,
Где блистает река у меня под ногами,
Где взмахнула Ока рукавом.

И рукав покрывают рязанским узором,
Светло-бронзовым соснам под лад,
И под лад черно-красным продымленным зорям
Этот вечный вечерний наряд.

Не отмытые храмы десятого века,
Добатыевских дел старина,
А заря над Окой — вот мечта человека,
Предзакатная тишина.
1963

795

Сосен светлые колонны
Держат звездный потолок,
Будто там, в садах Платона,
Длится этот диалог.

Мы шагаем без дороги,
Хвойный воздух, как вино,
Телогрейки или тоги —
Очевидно, все равно…
<1963>

796

Вот сосновый квадрат, драгоценный подлесок,
Чудеса человеческих рук.
Он растет без ольховых густых занавесок,
Он растет без певучих пичуг.

Каждый стволик сосновый и гибок, и строен —
До мужчины ему далеко,

Хоть в зеленое выкрашен будущий воин,
Еще дышит привольно, легко.

Все ряды аккуратны и четки границы,
И солдатская стать хороша.
Даже места здесь нет для случайной синицы,
А по ней стосковалась душа.
<1963>

797

Листва оставила свой сок
На мостовой брусчатке.
Дорожный сыплется песок
На легкий отпечаток.

Но только на один момент,
А не для осязанья,
Оставлен этот документ —
Природы потаканье.
<1963>

798

Мы на самом конце района
Среди старых друзей живем.
Возле кладбища и стадиона
Помещен невысокий дом...
<1963>

799

Мы дышали уродствами быта,
Милосердью учась у зверей.
В душу каждого врыто и вбито
Целомудрие концлагерей.

Мы слова превратили в засовы,
Золотое молчанье стеречь,
Чтобы совы, мудрые совы,
Не расслышали нашу речь.
<1963>

800

Был поэт-подвижник
Или делал вид:
Ныне — чернокнижник
И антисемит.

Был актер-подвижник,
Любящий стихи,
Мог для самых ближних
Отпускать грехи.

Обвинен облыжно
Жертва черной тьмы,
Увезен подвижник
В ночи Колымы.

Голову смутило
Злато-серебро,
Вскрылось то, что было,
Самое нутро.

Принял бой жестокий.
Двадцать лет сидел.
Два или три срока
Выдержать сумел.

И вернулся ныне
В пригород Москвы.
Для чего же были
Ночи Колымы?

1963

801

Наша дорога прямая,
Без жалоб и молитв,
Шею себе ломая,
Мы не боимся битв.

Колотые ножами,
Стреляные из-за угла,
Мы еще можем сами
Встретить удары зла.

Ранние инвалиды,
Облаянные каждым псом,
Боли свои, обиды
В будущее несем.
<1963>

802. СТРАНИЦА БИОГРАФИИ

Пророки юношеских лет,
Животворящие примеры
Зажгли неопалимый свет,
Герои действия и веры.

Религия живых людей
В том непреодолимом зове
Событий мертвых площадей,
Камней, умытых в липкой крови.

О, нимбы пыток и темниц,
Триумфы побежденной боли
И испытание границ,
Пределов человечьей воли.

Вся суть агоний и погонь,
Открытых северной порою,
Там сам вступал я в тот огонь.
Где обжигаются герои.
1963

803

Связала руки мне зима,
Зима сама.
И как полоска, как тесьма
Строка письма.

Из этих писем вьюгу вьют,
Метель прядут,
Закрыть последний мой приют —
Камней уют.
1963

804

Я хочу, чтоб средь метели
В черной буре снеговой,
Точно угли, окна тлели
Ясной вехой путевой.

В очаге бы том всегдашнем
Жили пламени цветы,
И чтоб теплый и нестрашный
Тихо зверь дышал домашний
Средь домашней темноты.
1963

805

Не удержал усилием пера
Всего, что было, кажется, вчера.

Я думал так — какие пустяки!
В любое время напишу стихи.

Запаса чувства хватит на сто лет —
И на душе неизгладимый след.

Едва настанет подходящий час,
Воскреснет все — как на сетчатке глаз.

Но прошлое, лежащее у ног,
Просыпано сквозь пальцы, как песок,

И быль живая поросла быльем,
Беспамятством, забвеньем, забытьем…
1963

806

Костер сгорел дотла,
И там, где было пламя,
Лиловая зола
Остужена камнями.

Зола добра и зла,
Исписанной бумаги,
Лишенная тепла,
Сметенная в овраги…
1963

807

Мы бредем по колымской тайге,
И опухшие ноги — в цынге.

Мы встречаем знакомых в лесу
С пистолетами на весу.

Мы не знаем, куда идем,
Где живет наш ближайший дом.

Нам покажут пути — не туда,
Нас легко, сбить легко со следа.

Нам покажут дороги — не те:
К пустоте, к темноте, к нищете.

Гной течет из цинготных ран,
Но бессилен обман и туман.

В этой темной тайге Колымы
Заблудиться не можем мы.
1964

808. СНЕЖНАЯ СЛЕПОТА

Мы вылечились летом
От ужасов весны —
Мы были снежным светом
Весной ослеплены.

Тускнели роговицы
Усталых наших глаз,
Ломались рукавицы
На холоде у нас.

И снова ночи длинной
Пришел земной черед,
И каждый из невинных
Считал, что он умрет.

Бранили день незрячий —
Кто был еще не слеп.
И в кипяток горячий
Крошили мерзлый хлеб.

На стылом минерале
Укладывались спать.
И все ж не умирали —
Не время умирать.
<1964>

809

Я не искал людские тайны,
Как следопыт.
Но мир изменчивый, случайный
Мной не забыт.

Тепло людского излученья
В лесной глуши,
Земные донные теченья
Живой души.

И слишком многое другое,
О чем нет слов,
Вставало грозное, нагое
Из всех углов...
1964

810

У мертвых лица напряженные.
Ни равнодушья, ни покоя,
Вчерашней болью раздраженные
Или вчерашнею тоскою.

И после маски гиппократовой
Закон предсмертного обличия —

Как будто каждый был обрадован
Похожестью, а не отличием.

Не управляя вовсе нервами,
Они не просто умирают —
В минуты после смерти первые
Они особые бывают.

Как будто только в их присутствии,
Как бы казалось ни жестоко,
Как стихотворное напутствие
Читать четверостишья Блока.

Так умирали раньше римляне,
Под музыку вскрывая вены,
Привычки прошлого незыблемы —
Мы их забыли постепенно.

И победитель боли раковой
От нас отходит понемногу,
И нам показывает знаками
Свою последнюю дорогу.
1964

811

Он чувствует событья кожей.
Что цвет и вкус?
На озарение похожа
Подсказка муз.

Его пространство безвоздушно,
Должна уметь
Одной природе быть послушной
Пластинки медь.

Сожмется, точно анероид
В деленьях шкал,
Свои усилия утроит,
Ловя сигнал.

И передаст на самописцы
Земной секрет,

Оставит почерком провидца
Глубокий след.
1964

812. ВЫЩЕРБЛЕННАЯ ЛИРА

Выщербленная лира,
Кошачья колыбель, —
Это моя квартира,
Шиллеровская щель.

Здесь нашу честь и место
В мире людей и зверей
Обороняем вместе
С черною кошкой моей.

Кошке — фанерный ящик,
Мне — колченогий стол.
Кровью стихов настоящих
Густо обрызган пол.

Кошка по имени Муха
Точит карандаши,
Вся — напряженье слуха
В темной квартирной тиши.
1964

813

От кухни и передней
По самый горизонт
Идет ремонт последний,
Последний мой ремонт.

Не будет в жизни боле
Строительных контор,
Починки старой боли,
Крепления опор.

Моя архитектура
От шкуры до нутра
Во власти штукатура,
Под игом маляра.

И плотничьи заплаты
На рубище певца —
Свидетельство расплаты
С судьбою до конца.

От кухни и передней
По самый горизонт
Идет ремонт последний,
Последний мой ремонт.
1964

814

Я иду, отражаясь в глазах москвичей,
Без ненужного шума, без лишних речей.

Я иду — и о взгляд загорается взгляд,
Магнетической силы мгновенный разряд.

Память гроз, отгремевших не очень давно,
Заглянула прохожим в зрачок, как в окно.

Вдоль асфальта мои повторяет слова
Победившая камень живая трава.

Ей в граните, в гудроне привычно расти —
Камень сопок ложился у ней на пути.

И навек вдохновила траву на труды
Непомерная сила земли и воды,

Вся чувствительность тропки таежной, где след
Иногда остается на тысячу лет.
1964

815. ТАРУСА

Карьер известняка
Районного значенья,
И светлая река
Старинного теченья.

Здесь тени, чье родство
С природой, хлебом, верой
Живое существо,
А вовсе не химера.

Не кладбище стихов,
А кладезь животворный,
И — мимо берегов —
Поток реки упорный.

Хранилище стиха,
Предания и долга,
В поэзии Ока
Значительней, чем Волга.

Карьер известняка
Районного значенья,
И светлая река
Старинного теченья.
1964

816

Плоскодонка. Вёсла перевоза.
Медленно ползущая река.
Белое дыханье паровоза.
Хриплое дыхание гудка.

Две сосны над старою могилой.
Два поблекших, высохших ствола.
Камень придорожный. Все, как было.
Все, как было. Только жизнь прошла.
<*1964?*>

817–819. М. ЦВЕТАЕВОЙ

<1.> НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ

Мне грустно тебе называть имена
Российского мартиролога.
От Пушкина тянется, вьется она —
Кровавая эта дорога.

Уж будто поэту стиха не сложить,
Не жертвуя собственной шкурой,
Уж будто без смерти нельзя стало жить
Традициям литературы.

Веревка и пуля, кинжал и яд...
Как будто в сыскном музее,
В квартирах поэтов покойных висят
Реликвии ротозеев.

Я выйду когда-нибудь в эту игру
На пристальный взгляд пистолета.
И имя твое повторяя, умру
Естественной смертью поэта.
<1942–1950>

2. НАЕДИНЕ С ПОРТРЕТОМ
<см. № 401>

3

Цветной платок, что сбился набок
И обнажил на шее след
Объятий тысячи Елабуг,
Венец успехов и побед.

Все та же рыцарская служба,
Незамолённые грехи,
Другим — покой, любовь и дружба,
Тебе — стихи, одни стихи.
<1964>

820

В росинках, как в алмазах,
Отражена заря.
И высушит не сразу
Их солнце сентября.

В его неярком свете
И капелькам росы
Не надо бы в секрете
Держать своей красы.

Хоть дело не к морозу,
По прихоти земной
Не сразу сушит слезы
Холодный лес дневной.
<1964>

821

Осенний воздух чист,
Шумна грачей ночевка,
Любой летящий лист
Тревожен, как листовка

С печатного станка,
Станка самой природы,
Падение листка
Чуть-чуть не с небосвода.

Прохожий без труда
Прочтет в одно мгновенье,
Запомнит навсегда
Такое сообщенье.

Подержит на ветру
Скрещенье тонких линий,
И рано поутру
На листья ляжет иней.
1964

822

Только листья, листья палые,
Оголеннные леса,
И глаза твои усталые,
Потемневшие глаза.

На деревьях червоточинки
Заливаются смолой,
Сосны бьют хвоёй отточенной,
Оголенною иглой.

Ах, куда же ты направлена,
Заостренная игла?

Против сердца в тело вдавлена,
В душу вдавлена со зла.

Вырву прочь, чтоб в свежей замяти
Затерялась вовсе ты,
Чтобы не дал бог мне памяти
На колючие тщеты.
<1964>

823

Здесь я думал о чуде,
О разбитой посуде,
Слышал дятла настойчивый стук.

Здесь я слышал впервые
Голоса деловые
Позабывших о пенье пичуг.

Здесь я видел, как тяжко
Той травинке-бедняжке,
Что растоптана сапогом.

Расправлять свое тело
Та трава не умела,
Человека считая врагом.
<1964>

824

Я — северянин. Я ценю тепло,
Я различаю — где добро, где зло.
Мне нужен мир, где всюду есть дома,
Где белым снегом вымыта зима.

Мне нужен клен с опавшею листвой
И крыша над моею головой.
Я — северянин, зимний человек,
Я каждый день ищу себе ночлег.
1964

825

Вчера я кончил эту книжку
Вчерне́.
Осадка в ней немного лишку
На дне.

В подножье строк или палаток
Гранит
Нерастворимый тот остаток
Хранит.

Стиха невозмутима мера —
Она
Для гончара и для Гомера
Одна.
1964

826

Теряя вес, как бы в паденье
Проваливаясь в темноту,
Я сам себе казался тенью
Сквозь ночи этой маяту.

Был равнодушен и невесел
И был как ангел во плоти —
Я вовсе ничего не весил —
Меня легко было нести.

И тело жгло горячим потом,
И слезы капали из глаз...
Но не паденьем, а полетом
Все обернулось в поздний час.
1964

827

Стихи смущают машинисток:
Там часто препинанья знак
Не то зловещ, не то неистов
И не поймешь его никак.

Для машинисток легче проза,
Простая проза, без затей.
(Есть проза, как узор мороза,
Смущающая мир детей).

Зато в глаголах канцелярий
Все машинстки — знатоки,
В подобье канцелярских арий
Стремятся превратить стихи.
1964

828

Рассказано людям немного,
Чтоб грозная память моя
Не слишком пугала тревогой
Дороги житья и бытья.

И я поступил не случайно,
Скрывая людские грехи,
Фигурами умолчанья
Мои переполнив стихи.

Достаточно ясен для мудрых
Лирический зимний рассказ
О тех перламутровых утрах,
О снеге без всяких прикрас.

Но память моя в исступленье,
Но память вольна и сильна,
Способна спасти от забвенья
Сокровища с самого дна.
1965

829

Не линия и не рисунок,
А только цвет
Расскажет про лиловый сумрак,
Вечерний свет.

И вот художника картины
Со стен квартир

Звучали как пароль единый
На целый мир.

И слепок каменной химеры
Дрожал в руке,
Чтоб утвердился камень веры
В моей строке.

1965

830

Нам не дают прощать грехи,
Нам не дают читать стихи.
И наша проза быть должна,
Как искупленная вина.

И сто подсказчиков твердят:
Не называйте адом ад.
Но — не забыть нам синих вьюг,
Отморожений ног и рук,
Отморожений рук и душ
И снежных туч, как тяжких туш.

1965

831

Я сам могу решить вопрос
Хвалы, хулы и слез.
Я сам до времени дорос
В большой мороз.

Я тлею, будто тлеет трут
В руке у взрывника
И не на несколько минут —
На целые века.

Я прикасаюсь сам к шнуру,
Бегу, глаза закрыв,
Бегу в глубокую нору,
И вдруг — навзрыд — на взрыв.

Пока я в силах умереть,
Я в силах жить и петь,

Смеяться, плакать и гореть,
Рыдать, кричать, терпеть.
<1965?>

832

Что толку слушать и смотреть,
И жизни знать секрет.
Осталось только умереть,
И наш исчезнет след.

Он зарастет в людском быту.
Колючки мелких ссор
Заглушат страстную мечту,
Наш важный разговор.

И все забудут темный свет,
Которым светим мы
Среди людских обид и бед
Из дальней Колымы.
<1965?>

833

И в грязи, и в пыли
Средь рассветного дыма
Ты чернее земли
И легко различима.

Возле каменных труб,
На земле омертвелой,
Где зарыт этот труп,
Это черное тело.

Но заботиться мне
О могиле не надо —
У меня в той стране
Нет ни дома, ни сада.

В перекрестке дорог
Это тело зарою,
И оградою строк
От забвенья укрою.
<1965?>

834

Просто — болен я. Казалось,
Что здоров,
Что готов нести усталость
Старых слов.

Заползу в свою берлогу
Поутру,
Постою еще немного
На ветру.

Подышу свободной грудью
На юру,
Постою там на безлюдьи
И — умру.
<1965?>

835

Кета родится в донных стойлах
Незамерзающей реки,
Зеленых водорослей войлок
Окутывает родники.

Дается лососёвой рыбе
В свою вернуться колыбель.
Здесь все в единстве: жизнь и гибель,
Рожденье, брачная постель.

И подвиг жизни — как сраженье:
Окончив брачную игру,
Кета умрет в изнеможенье,
На камень выметав икру.

И не в морской воде, а в пресной
Животворящий кислород
Дает дышать на дне чудесно
И судьбы двигает вперед.
1965

836. НЕРЕСТ

Н. Столяровой

Закон это иль ересь,
Ненужная морям,
Лососей ход на нерест
Средь океанских ям.

Плывут без карт и лоций
И по морскому дну
Ползут, чтоб побороться
За право быть в плену.

И в тесное ущелье
Ворваться, чтоб сгореть —
С единственною целью:
Цвести — и умереть.

Плывут не на забаву,
Плывут не на игру,
Они имеют право
В ручье метать икру.

И оплодотворенья
Немой великий миг
Войдет в стихотворенье,
Как боль, как стон и крик.

У нерестилищ рыбьих,
Стремясь в родной ручей,
Плывут, чтобы погибнуть
На родине своей.

И трупы рыб уснувших
Видны в воде ручья —
Последний раз блеснувши,
Мертвеет чешуя.

Их здесь волна качала
И утопила здесь,
Но высшее начало
В поступках рыбьих есть.

И мимо трупов в русло
Плывут живых ряды
На нерест судеб русских,
На зов судьбы — беды.

И люди их не судят —
Над чудом нет судей, —
Трагедий рыбьих судеб,
Неясных для людей.

Кипит в ручье рожденья
Лососей серебро,
Как гимн благодаренья,
Прославивший добро.
1965

837

На земле вымирают кентавры,
Но — от юности до седин
Отмечался на Флора и Лавра
День кентавровых именин.
<1965>

838

Пастернак: новизна называнья,
Угловатость раскованных фраз,
Светлый праздник именованья
Чувств, родившихся только сейчас.
<1965>

839

Нас только ненависть хранит:
Защитный вал,
И ты, закованный в гранит,
Мемориал.
<1965>

840

Воспоминания — вечны,
Их воскрешает память.

Спрыснет живою водою,
Скажет слова приказа,

То, что было рудою,
Станет металлом сразу.
<1965>

841

Я автор античный —
В одном экземпляре,

Дорогой обычной:
В потоке, в пожаре.

Наследство традиций
Таких рукописных,

Где трудно родиться
От тысячелистных.

Хоть собственноручна
Бродячая книга,

Она не беззвучна
Ни часа, ни мига.
<1965>

842

Я ищу не героев, а тех,
Кто смелее и тверже меня,
Кто не ждет ни указок, ни вех
На дорогах туманного дня.

Кто испытан, как я — на разрыв
Каждой мышцей и нервом своим,
Кто не шнур динамитный, а взрыв,
По шнуру проползающий дым.

Средь деревьев, людей и зверей,
На земле, на пути к небесам,
Мне не надо поводырей,
Все, что знаю, я знаю сам.

Я мальчишеской пробою стал
Мерить жизнь и людей — как ножи:
Тот уступит, чей мягче металл, —
Дай свой нож! Покажи. Подержи.

Не пророков и не вождей,
Не служителей бога огня,
Я ищу настоящих людей,
Кто смелее и тверже меня.
1965

843

Пусть каждая строфа умрет,
Умрет, не сделавшись событьем,
Как обреченный смерти взвод —
Отряд последнего прикрытья.

Я весь, как арьергардный бой
Какой-то армии великой —
Стихами — пред самим собой,
Подобьем стона или крика.

Да, со своей глухой судьбой
В окопах нищенского быта
Я весь, как арьергардный бой
Какой-то армии разбитой.
<1965?>

844

Как гимнаст свое упражнение,
Повторяю свой будущий день,
Все слова свои, все движения,
Прогоняю боязнь и лень.

И готовые к бою мускулы
Каждой связки или узла

Наполняются смутной музыкой
Поединка добра и зла.

Даже голос не громче шепота
В этот утренний важный миг,
Вывод жизни, крупица опыта.
Что почерпнута не из книг.
1965

845. НЕИЗВЕСТНАЯ ГОРА

Земля, рожденная из пламени,
Из вулканических пород,
Нам не казалась мертвой, каменной,
Мы видели — она живет.

Так безымянная, незваная,
Она стояла у стола,
Пока давали ей название,
Чтобы взорвать ее — дотла.
<1965?>

846

Я не лекарственные травы
В столе храню,
Их трогаю не для забавы
Сто раз на дню.

Я сохраняю амулеты
В черте Москвы,
Народной магии предметы —
Клочки травы.

В свой дальний путь, в свой путь недетский
Я взял в Москву —
Как тот царевич половецкий,
Емшан-траву, —

Я ветку стланика с собою
Привез сюда,
Чтоб управлять своей судьбою
Из царства льда.
1965

847

Там тучами вороньими
Оглушены бульвары,
И места нет иронии,
Воительнице старой.

Оружьем безоружного
Ирония сверкала,
Где вьется заметь вьюжная
С отзвуком металла.

Была щитом и силою,
И крадучись ходила
Меж нашими могилами
И в колотушку била.

Старинными доспехами
Гремела вместо грома
И брезгуя помехами
И в гостях, и дома.
<1966>

848–851. <СТИХИ К А. АХМАТОВОЙ>

1

Как кощунственных строк
Поворот:
Слишком скуп, слишком строг
Этот рот.

Чуть прищуренный глаз,
Губ излом:
Это жизнь — и рассказ
О былом.

Слишком строг, слишком скуп
След следа.
Я запомнил движение губ
Навсегда.
<1965>

<2.> ПУТЕШЕСТВИЕ

Как к раковой больной —
Пятьсот предупреждений,
Что где-то за стеной
Томится русский гений,

Что комната полна
Его эгоцентризма,
И публика должна
Смотреть сквозь эту призму.

Болельщиков — толпа.
Увы — свиданье лично.
Их преданность тупа,
Безмерна, безразлична.

«Слова, слова, слова...»
Рождающие слово:
Та женщина — жива,
Та женщина — здорова!

Но все ж больна она
Такой болезнью страшной.
Известно, чем больна,
Одним ее домашним.

И шепот за стеной:
Почтенье и смиренье,
У женщины земной
В руках стихотворенье.

Решаем все сплеча,
Везде шагаем прямо —
Увы, визит врача
Не нужен этой даме,

Что топит грусть свою
В привычном заточенье,
В привычном интервью
Врачебных назначений.

У ней желанье есть
Читать, почти не глядя,

Кусочки новых пьес
Из бархатной тетради.

У нас желанье есть
Январской этой ночью
Запомнить речь и жест,
Увиденный воочью.

Она — сама судьба,
И все же не икона.
Царица — и раба,
Не ждущая поклона.
<1966>

<3>

Труп еще называется телом
В лексиконе, доступном для нас,
Там, где люди в казенном и белом
С неземным выражением глаз.

Трое суток старухой бездомной
Ты валялась в мертвецкой — и вот
Поднимаешься в синий огромный
Отступающий небосвод.

Распахнут подземелье столетья,
Остановится время — пора
Выдавать этой шахтною клетью
Всю добычу судьбы — на гора.

И чистилища рефрижератор,
Подготовивший тело в полет,
Это пушкинский будто театр,
Навсегда замурованный в лед.

Вот последнее снаряженье:
Мятый ситцевый старый халат,
Чтоб ее не стеснились движенья
В час прибытия в рай или ад.

И обряд похоронного чина,
И нарушить обряда не сметь,

Чтобы смерть называлась кончина,
А не просто обычная смерть.

И нужна ли кончина поэту,
Заказных панихид говорок,
Заглушающий выкрики света
От обугленных заживо строк.

Трое суток старухой бездомной
Ты валялась в мертвецкой — и вот
Поднимаешься в синий огромный
Ускользающий небосвод.

1966

<4>

Тело ноет знакомой болью
Отмороженных ног и рук,
Незабытой вчерашней ролью,
Черной ролью вчерашних вьюг.

В час погодный и непогодный
С желтой сумкой своей в руках
Ты проходишь в пальто немодном,
В леопардовых башмаках.

Ты приходишь сюда затем ли?
Догадайся, найди, пойми —
Разминировать нашу землю,
Чтобы сделать людей — людьми.

Чтоб разрушить тоски и злобы
Оскорбительный долгий сон.
Это — первая будет проба
С материнских еще времен.

В нашем страшном земном наследстве —
В самой сути людских страстей —
Бродим мы, унижаясь с детства,
И не знаем других путей.

И у нас не хватает силы,
Чтобы выбрать не те пути

И чтоб каждому до могилы
По цветущей земле идти.

Мы отравлены рабьим страхом,
Недоверьем недавних лет,
Прилипает к спине рубаха
От горчайшей из наших бед...

И тогда, как сапер природный,
С желтой сумкой своей в руках
Ты приходишь в пальто немодном,
В леопардовых башмаках.

Открывается дверь за дверью
В человеческие сердца —
Разминировано доверье,
Обезврежено до конца.
<1966>

852

Любви случайное явленье
Смиренно чудом назови
И не бросай слова презренья
Вслед улетающей любви.
<1966>

853

Пусть свинцовый дождь столетья,
Как начало всех начал,
Ледяной жестокой плетью
Нас колотит по плечам.

И гроза идет над нами,
Раскрывая небо нам,
Растревоженное снами
И доверенное снам.

И черты стихотворенья —
Слепок жестов, очерк поз —
Словно отзвуки движенья
Проходящих в море грез.
1966

854

Облитый жидкою сурьмой
Нагорного заката,
Весь мир кирпичною тюрьмой
Казался мне когда-то.

Среди разбрызганных чернил
На синеватых звездах,
И я стены не проломил,
Не вырвался на воздух.
<1966?>

855

Шаг влево, шаг вправо считался побегом
На дальневосточной земле...
А я был лишь лиственниц свежим побегом,
Зеленым — на мертвом стволе.

И я был узлом промороженных сучьев,
Хранившим живое тепло.
Стихи я читать научился беззвучно
Гремящему веку назло.
1966

856

Не покончу с собой —
Превращусь в невидимку:
И чтоб выиграть бой,
Стану призрачной дымкой.

Я врага разыщу
Средь земного предела,
Подкрадусь, отомщу,
Завершу свое дело.

Это вера из вер —
Та дикарская вера,
Катехизис пещер
И путей Агасфера.
1966

857. НА ГРАНИЦЕ ЛЕСОТУНДРЫ

Пустыри, прогалины, рядины,
Родины жестокие края.
Эпоса родины и крестины,
Символы людского бытия.

Тундра продвигается пожаром,
Тундра, побеждающая лес.
По обычаю земного шара,
Не считаясь с мнением небес.
1966

858. ОСЕННЯЯ ИГРА

Снова червами, бубнами
Отыгрались опушки,
Журавлиными трубами
Прославляется Пушкин.

Обнищавшая нищенка —
Черно-белая осень
Ходит возле кладбищенских
Серых пушкинских сосен.

Повторенье истории
В знаменитом пейзаже,
Уголок плоскогория,
Где и сосны на страже,

Осень ходит, картежница,
Под кустами играет
Приготовила ножницы
И листочки срезает.

Это бубнами, червами
Осыпая округу,
Голубые, вечерние
Ветки шепчут друг-другу.

Только пики не сброшены,
Только масти трефовой,
Как крестов придорожное
Надмогильное слово.
1966

859. ПУШКИН

На небе бледно-васильковом,
Как облачко, висит луна,
И пруд морозом оцинкован
И стужей высушен до дна.

Он слышит тайный рост растенья,
Земной дыхание мечты,
Приходят в воодушевленье
Деревья, камни и цветы.

Его талант сродни гигантам
И он научится легко
Водить пером Шекспира, Данта
И заноситься высоко.

Его соперник — вся природа
И даже уверяет он:
Он — просто род громоотвода,
Когда надежно заземлен.
<1958–1966>

860

Есть какое-то вечное право
Человека на выбор пути.
Моби Дик убивает Ахава
И следа корабля не найти.

Все погибшие в серой пучине,
Убиенные силой морей,
Догадались об этой причине
Раньше птиц, раньше рыб и зверей.
1967

861

Это — юности черные свечи,
Камни сказок в развилках дорог,
Где какой-то назначенной встрече
Помешают Освенцима печи
И поможет внимательный бог.

Неизвестных условий свиданья,
Зыбкость правды, ненужность ее
Для страниц моего мирозданья,
Где предательством стало преданье,
Повседневное бытие.

Вырывающийся на волю,
Как обвал, как обрушенный стон
Над любым вечерним застольем
Или родины нашей раздольем,
Как поклон, как прощальный поклон...
1967

862. ЖИВОПИСЬ

Портрет — это спор, диспут,
Не жалоба, а диалог.
Сраженье двух разных истин,
Боренье кистей и строк.

Потоком, где рифмы — краски,
Где каждый Малявин — Шопен,
Где страсть, не боясь огласки,
Разрушила чей-то плен.

В сравненье с любым пейзажем,
Где исповедь — в тишине,
В портрете варятся заживо,
На странной горят войне.

Портрет — это спор с героем,
Разгадка его лица.
Спор кажется нам игрою,
А кисть — тяжелей свинца.

Уже кистенем, не кистью
С размаха художник бьет.
Сраженье двух разных истин.
Двух судеб холодный пот.

В другую, чужую душу,
В мучительство суеты
Художник на час погружен,
В чужие чьи-то черты.

Угадан, разгадан, выдан
И распят, как на кресте.
Он выдан былым обидам,
Он выдан былой тщете.

Проглоченная чашка кофе,
Нарушившая забытье.
Не уксус ли на Голгофе,
Не губка ли на копье?

Кому этот час на пользу?
Художнику ли? Холсту?
Герою холста? Не бойся
Шагнуть в темноту, в прямоту.

И ночью, прогнав улыбку,
С холстом один на один,
Он ищет свою ошибку
И свет или след седин.

Портрет это или маска —
Не знает никто, пока
Свое не сказала краска
У выбеленного виска.

1967

863

Излишества науки
В повадке демиурга —
Художниковы руки
Пригодны для хирурга.

Штангист или философ,
Искатель скользких истин,
Решатель всех вопросов
Прикосновеньем кисти.

1967

864. У СВЕТОФОРА

Не на красный, не на зеленый —
На мерцающий желтый свет

Выхожу в свой путь напряженный
По дороге удач и бед.

Чтобы собственное движенье,
А не чей-то чужой запрет,
Отвечало за пораженья,
За движенье на желтый свет.

Отвечало за все удачи,
Все провалы за много лет,
Перекрестки мои означа,
Как мерцающий желтый свет.
1967

865

Я хочу быть ортопедом,
Я работу эту знаю,
За людьми иду я следом,
Их походку изучаю.

Я прошел весь курс науки
Посреди речных излучин,
Как беречь мне ноги, руки,
Семинарий мной изучен.

Поправляю шеи, спины
И развертываю плечи,
Выпрямляю людям спины
И лечу орудья речи.

Как ни длинен счет обидам,
Пусть и души — наизнанку,
У любого инвалида
Сохраняется осанка.

За людьми иду я следом,
Их походку изучая.
Я хочу быть ортопедом,
Я работу эту знаю.
<1967>

866

Ведь в этом беспокойном лете
Естественности нет.
Хотел бы верить я примете,
Но — нет примет.

Союз с бессмертием непрочен,
Роль нелегка.
Рука дрожит и шаг неточен,
Дрожит рука.
<1967?>

867

Загар Владивостока,
Похожий на ожог,
Внезапный и жестокий
Удар электротока,
Ввергающий нас в шок.

Его примета — в цвете,
В зловещей красноте,
Забыть об этом лете,
Об этой тяжкой мете
На горной высоте.

Продымлен и продублен
Был каждый изнутри,
Как будто век загублен,
И небосвод разрублен
И брызжет кровь зари.

Загар сродни удару,
Пощечине сродни
У птичьего базара
В конце земного шара
В те каторжные дни.

Загар — предвестье драмы,
Загар — ожог зимы,
Загар, загар тот самый,
Лечивший Мандельштама
В преддверье Колымы.
<1967>

868

Только тень, бегущая от дыма...
Тютчев

Не несут очищенья
Силы мира искусств,
Не укажет спасенья
Аристотелев вкус.

Нет решенных вопросов,
Истин или знамен,
Дом облит купоросом,
Если не подожжен.

Исполняются сроки,
Сроки, как ни верти,
Когда сохнут истоки
На безводном пути.

Тень бегущего дыма —
Смерть людей и зверей —
Тень от бомб Хиросимы
И от концлагерей.
<1968>

869

Поток словесной ткани,
Уток для прялки — льды,
Державинских исканий
Забытые следы...

Он в пугачевском бунте
Судьбу свою искал
На каменистом грунте
Среди уральских скал.

Искал природу бунта
В природе, не из книг,
Ее хранила будто
Урал-река, Яик.

Мы с нею повторили,
И это не пустяк,
Все пушкинские были
На бунтовских путях.
<1968>

870

Каждый жест твой — искательство,
Ожиданье медали...
Обличить пресмыкательство
Пресноводным — едва ли.

Нужен рев обличительный,
Обличение века,
Чтобы мертвые жители,
Инвалиды, калеки

Вместе с нами орали бы,
Может быть, слишком поздно,
Наши боли и жалобы
Поднимая на воздух.
<1968>

871

Как мало струн! И как невелика
Земная часть рояля или скрипки,
Но это то, что нас ведет века,
Что учит нас и гневу и улыбке.

Ведь сердце бесконечно, как клавир,
Тот самый строй, куда сумел вместиться
И прошлого, и будущего мир,
Трепещущий, как пойманная птица.

И связь искусства с миром так тонка,
Тонка, и все же так неоспорима.
Прикосновенье легче мотылька,
И удаленье торопливей дыма.
<1968>

872

По старому следу сегодня уеду,
Уеду сквозь март и февраль,
По старому следу, по старому следу
В знакомую горную даль.

Кончаются стежки мои снеговые,
Кончаются зимние сны,
И тают в реке, словно льдинки живые,
Слова в половодье весны.
1968

873

Вот так умереть — как Коперник — от счастья,
Ни раньше, ни позже — теперь,
Когда даже жизнь перестала стучаться
В мою одинокую дверь.

Когда на пороге — заветная книга,
Бессмертья загробная весть,
Теперь — уходить! Промедленья — ни мига!
Вот высшая участь и честь.
<1968>

874

Нет, память не магнитофон,
И не стереть на этой ленте
Значение, и смысл, и тон
Любого мига и момента.

И самый миг не будет стерт,
А укреплен, как путь и опыт:
Быть может, грозовой аккорд,
Быть может, только слабый шепот.

Услышанное сквозь слова
И то, что видено случайно, —
Все сохранила голова
Предвестником для новой тайны.
<1968>

875

Твой дед и прадед — плугари,
И по своей природе
Ты — пахарь, что ни говори,
В своем, конечно, роде.

И тихо ходит по листу
Твой плуг-перо по стали,
Чтоб люди старую мечту
Для почестей достали.
<1968>

876

Я тоже теплопоклонник
Огня или солнца — равно,
Я лезу на подоконник,
Распахиваю окно.

Знакомая даль Ярославны,
Дорога, кривое шоссе,
Раскопки в периоде давнем,
Трава в непросохшей росе.

Я жду новостей, как княгиня
На башне когда-то ждала,
Земная моя героиня
На страже добра, а не зла.

Но ветром захлопнуты рамы,
И я наклоняюсь к огню —
К печурке, где отсветы драмы,
Ему я не изменю.
<1968>

877

Не шиповник, а пионы,
Точно розы без шипов,
Утвердят во мне законы
Новых мыслей, новых слов.

И приносит запах смутный
Чьей-то жизни слабый тлен,
Как мгновенный, как минутный
И неотвратимый плен.

Это голос отдаленный
Незабытых дней, времен,
Стон коленопреклоненный,
Хорошо известный стон.

1968

878

Грозы с тяжелым градом,
Градом тяжелых слез.
Лучше, когда ты — рядом,
Лучше, когда — всерьез.

С Тютчевым в день рожденья,
С Тютчевым и с тобой,
С тенью своею, тенью
Нынче вступаю в бой.

Нынче прошу прощенья
В послегрозовый свет,
Все твои запрещенья
Я не нарушу, нет.

Дикое ослепленье
Солнечной правоты,
Мненье или сомненья —
Все это тоже ты.

1968

879

Три корабля и два дельфина
На желтый остров приплывут,
При шторме девять с половиной
Отыскивая приют.

Они меняют дни на ночи,
Берут концы вместо начал.

И путь становится короче,
И приближается причал.

И волны, волны... Нет им меры.
Три корабля, три корабля,
Не каравеллы, а галеры
Плывут по курсу января.

И по колумбову компасу —
Не то зюйд-вест, не то норд-ост —
Плывут дежнёвские карбасы
Под синим светом старых звезд.
1968

880

На память черпнул я пол-океана,
Храню у себя на столе,
Зажить не хотят эти ранние раны,
Забыть о подводной скале.

Давно б затянулись в просторе небесном,
В космической высоте,
Где резали воздух галактики вести,
Дрожа на магнитном щите.

В простом, угловатом граненом стакане
Найти я границы хотел,
Предел бесконечного океана
И бездны бездонной предел.

И вы в разговоры о смерти не верьте,
Там тления нет и следа.
В стакане бурлит, утверждая бессмертье,
Живая морская вода.

А может быть, все это вышло из моды —
Стаканы, приметы, цветы,
Игра или только игрушка природы
Стихи эти, я и ты...
1968

881

Цветы — не в меру маркие,
С них сыплется пыльца,
И солнца руки жаркие
Достали до лица.

И небо приближается,
И бродит в ивняке,
Рукой меня касается
И гладит по щеке.

И воздуха прохладного
Густую синеву
Вдыхает кожа жадная,
И я опять живу.

Невидимыми птицами
Поет и свищет лес
И шелестит страницами
Знакомых мне чудес.

<1968>

882

Усиливающийся дождь
Не нужен мне.
И скоро высохнет чертеж
Дождя в окне.

И осторожные штрихи
Его руки
Как неуместные стихи —
Черновики.

Все ветра вытерто рукой,
Стекло блестит.
Ложится солнце на покой
И долго спит.

1968

883

Усиливающийся ливень
Не делает меня счастливым.
Наоборот —

Неразрешимейшая задача —
Лишая мир истоков плача,
Идти вперед.
<1968>

884

Быть может, и не глушь таежная,
А склад характера, призванье
Зовет признания тревожные,
Зовет незваные названья.

Автобусное одиночество
И ненамеренность дороги —
Приметы для предмета зодчества,
Для слов, разломанных на слоги.

Служить на маяке механиком,
Подмазывая ось вселенной,
Следя за тем, как люди в панике
Ее смещают постепенно.

Не труд машины вычислительной,
Оборванный на полуфразе,
А всех созвездий бег стремительный
В еще колумбовом экстазе.

Природа славится ответами
На все вопросы роковые —
Любыми грозами, кометами,
Увиденными впервые.

Далекая от телепатии,
Воспитанная разумно,
Она лишь звездочета мантия,
Плащ серебристо-лунный.
1968

885

В лесу листок не шелохнется —
Такая нынче тишина.
Никак природа не очнется
От обморока или сна.

Ручей сегодня так бесшумен —
Воды набрал он, что ли, в рот,
И сквозь кусты до первых гумен
Он не струится, а течет.

Обняв осиновую плаху
И навалясь на огород,
Одетый в красную рубаху,
Стоит огромный небосвод.
1969

886

Я живу не по средствам:
Трачу много души.
Все отцово наследство —
На карандаши,

На тетрадки, на споры,
На дорогу в века,
На высокие горы
И пустыни песка.
1969

887

Я одет так легко,
Что добраться домой невозможно,
Не обсохло еще молоко
На губах, и душа моя слишком тревожна.

Разве дождь — переждешь?
Ведь на это не хватит терпенья,
Разве кончится дождь —
Это странное пенье,

Пенье струй водяных, так похожих на струны,
Эта тонкая, звонкая нить,
Что умела соединить
И концы и кануны?
1969

888

Как на выставке Матисса,
Я когда-нибудь умру.
Кто-то сердце крепко стиснет,
Окунет в огонь, в жару.

Поразит меня, как лазер,
Обжигающ и колюч,
Оборвет на полуфразе
Невидимка — смертный луч.

Я присяду у порога,
Острый отразив удар,
Понемногу, понемногу
Отобьюсь от смертных чар.

И, уняв сердцебиенье,
Обманув судьбу мою,
Одолев оцепененье,
Продолжать свой путь встаю.
1969

889

Я плавать совсем не умел,
Но смело срывался я с кручи
Среди разворошенных тел,
Блестящий, как рыба летучий.

Ныряя с трамплинов-трибун,
Летя в равнодушную воду,
Ломал я и жизнь и судьбу
С любых этажей небосвода.
<1969>

890

Как пишут хорошо: «Испещрено…»
«Вся в пятнах крови высохшая кожа».
А мне и это нынче все равно.
Мне кажется — чем суше и чем строже,

Тем молчаливей. Есть ли им предел,
Ненужным действиям, спасительным отпискам,
Венчающим любой земной удел,
Придвинутый к судьбе так близко.
1969

891

Приглядись к губам поэта,
Угадай стихов размер
И запомни: чудо это,
Поучительный пример, —

Где в прерывистом дыханье
Зрению доступный ритм
Подтверждает, что стихами
Жизнь о жизни говорит.
1969

892

Дорога ползет, как червяк,
Взбираясь на горы.
Магнитный зовет железняк,
Волнует приборы.

На белый появится свет
Лежащее где-то под спудом —
Тебе даже имени нет —
Подземное чудо.
1969

893

Как в фехтовании — удар
И защитительная маска, —

Остужен вдохновенья пар,
Коварна ранняя огласка.

Как в фехтовании — порыв
К ненайденному совершенству, —
Всех чувств благословенный взрыв,
Разрядки нервное блаженство.
<1960-е>

894

В судьбе есть что-то от вокзала,
От тех времен, от тех времен —
И в этой ростепели талой,
И в спешке лиц или имен.

Все та же тень большого роста
От заколдованной сосны.
И кажется, вернуться просто
В былые радужные сны.
<1960-е>

895. ВОСХОД СОЛНЦА

Все осветилось изнутри.
И теплой силой света
Лесной оранжевой зари
Все было здесь согрето.

Внезапно загорелось дно
Огромного оврага.
И было солнце зажжено,
Как зажжена бумага.
<1960-е>

896

Суеверен я иль нет — не знаю,
Но рубаху белую свою
Чистую на счастье надеваю,
Как перед причастьем, как в бою.

Асептическая осторожность —
Древняя примета разных стран,
Древняя заветная возможность
Уцелеть после опасных ран.
<1960-е>

897. В САДУ

Известен способ исстари,
Надежный и нередкий,
Снимать с деревьев изморозь,
Чтоб не сломались ветки.

Чтоб не сломались косточки
Лубками ледяными,
Отростки, ветки, тросточки,
Попавшие под иней.

Садовники, цирюльники,
Земные костоправы,
Для них кусты багульника
Не травы для отравы.

Садовник возле яблони —
Как в операционной,
Изменит ветки дряблые
В тугие и зеленые.

И плод любви неистовой —
Отнюдь не инвалиды —
Лежат в кроватке гипсовой
Разумные гибриды.
<Конец 1960-х>

898

Иду, дышу сосновым лесом,
Целебен воздух,
Гляжу на небо с интересом:
Красивы звезды.

Мне нынче только бор потребен,
И к бору руки

Я простираю — лес целебен,
Лес гасит звуки.

Он — враг открытого пространства
И резкость света
Смягчает с вечным постоянством,
Зимой и летом.

Загадки мировой вселенной
Понять мне проще,
Когда я стану на колени
В сосновой роще.

<Конец 1960-х>

899. НАЧАЛО МЕТЕЛИ

Вот опять нагибаются тучи
И — пройдет, может быть, полчаса —
Будут биться в припадке падучей,
Поднимая леса в небеса.

И похож на растянутый парус
Этот ветром оглаженный наст,
Штормовая знакомая ярость
Разгорается около нас.

Я уйду по разломанной кромке,
Зазвенит позолоченный снег,
И негромко засвищет поземка,
Убыстряя свой радужный бег.

<Конец 1960-х>

900. У БУКИНИСТОВ

Покупка книг. Покупка знаний.
Продажа слез.
Продажа наименований
Однообразнейших страданий,
Ненужных грез.

И душит запах тополиный,
Равнинный край,
Где правит жизнь завет старинный,
Где вместо песни соловьиной
Галчиный грай.

На списке преступлений ада
Стоит печать,
Которой и читать не надо,
В аллеях ангельского сада
Не надо знать.

<Конец 1960-х>

901. СТИХИ-КАЛЕКИ

У стихов моих — инвалидов
Изуродованы тела.
Сколько вынесено обиды,
Равнодушия, горя, зла.

Осторожности что ли ради,
Сохраняя ли свой покой,
Искромсали мои тетради
Незапятнанною рукой.

Отсекают слова жестоко,
Переламывают строку, —
Оттого мне и одиноко
На коротком моем веку.

И содрали бы даже кожу —
Опасаются, что тогда
От размера и рифм, похоже,
Не останется и следа.

Только крика косноязычья
Неразборчивый дикий вой,
Нарушающий все приличья,
Им докажет, что я — живой!

<Конец 1960-х>

902

Ты — учитель красноречья,
Полноводная река.
Я бреду тебе навстречу,
Вязну в осыпях песка.

Ты гремишь на перекатах,
Возвышаешь голос свой,

Ты купаешься в закатах,
Отливаешь синевой.
<1960-е>

903. У ОКНА

Я слушаю вблизи окна,
Как просыпается Москва,
Снимает плащ дождя она,
Надетый ночью в рукава.

Вот дальний поезда гудок,
И шорох дворника метлы,
И небо, небо, как цветок,
Растущий из свинцовой мглы.

Следы тысячелетних слез
На липких, серых листьях лип,
И шум машин, как скрип колес,
Стариннейший тележный скрип.

Нарушить все, идти на риск,
Открыть гремящее окно,
Чтоб лучше слышать птичий писк,
Меня тревожащий давно.
<Конец 1960-х>

904

Оглушителен капель стук,
Оглушителен капель звук —

Время, выпавшее из рук.
Капли времени. Зимний час.

Равнодушье холодных фраз.
Слезы, вытекшие из глаз.

Заоконной весны капель,
Ледяная звонкая трель,

Ты — растаявшая метель.
Это все не только апрель.
Это время стреляет в цель.
<Конец 1960-х>

905. ВОСПОМИНАНИЯ О ЛИКБЕЗЕ

Он — черно-белый, мой букварь,
Букварь моей судьбы:
«Рабы — не мы. Мы — не рабы» —
Вот весь его словарь.

Не мягкий ход полутонов:
«Уа, уа, уа», —
А обновления основ
Железные слова.

Я сам, мальчишка-педагог,
Сижу среди старух,
Старухам поднимаю дух,
Хоть не пророк, не бог.

Я повторяю, я учу,
Кричу, шепчу, ворчу,
По книге кулаком стучу,
Во тьме свечой свечу.

Я занимаюсь — сутки прочь!
Не ангел, не святой,
Хочу хоть чем-нибудь помочь
В сраженье с темнотой.

Я ликвидатор вечной тьмы,
В моих руках — букварь:
«Мы — не рабы. Рабы — не мы».
Букварь и сам — фонарь.

Сраженье с «чрез», и «из», и «без»,
Рассеянных окрест,
И называется «ликбез»,
Где Маша кашу ест.

И тихо слушает весь класс
Мне важный самому
Знакомый горестный рассказ
«Герасим и Муму».

Я проверяю свой урок
И ставлю балл судьбе,
Двухбалльною системой мог
Отметку дать себе.

Себе я ставлю «уд.» и «плюс»
Хотя бы потому,
Что силой вдохновенья муз
Разрушу эту тьму.

Людей из вековой тюрьмы
Веду лучом к лучу:
«Мы — не рабы. Рабы — не мы».
Вот все, что я хочу.
<1970>

906

Моя мать была дикарка,
Фантазерка и кухарка.

Каждый, кто к ней приближался,
Маме ангелом казался.

И, живя во время оно,
Говорить по телефону

Моя мама не умела:
Задыхалась и робела.

Моя мать была кухарка,
Чародейка и знахарка.

Доброй силе ворожила,
Ворожила доброй силе.

Как Христос, я вымыл ноги
Маме — пыльные, с дороги, —

Застеснялась моя мама —
Не была героем драмы.

И, проехавши полмира,
За порог своей квартиры

Моя мама не шагала —
Ложь людей ее пугала.

Мамин мир был очень узкий,
Очень узкий, очень русский.

Но, сгибаясь постепенно,
Крышу рухнувшей вселенной

Удержать сумела мама
Очень прямо, очень прямо.

И в наряде похоронном
Мама в гроб легла Самсоном, —

Выше всех казалась мама,
Спину выпрямив упрямо,

Позвоночник свой расправя,
Суету земле оставя.

Ей обязан я стихами,
Их крутыми берегами,

Разверзающейся бездной,
Звездной бездной, мукой крестной.

Моя мать была дикарка,
Фантазерка и кухарка.
<1970>

907

Три снежинки, три снежинки в вышине —
Вот и все, что прикоснулось бы ко мне,

По закону тяжести небесной и земной
Медленно раскачиваясь надо мной.

Если б кончился сегодняшний мой путь,
Мог бы я снежинками блеснуть.
<1970>

908

Не чеканка — литье
Этой медной монеты,
Осень царство свое
Откупила у лета.

По дешевке кусты
Распродав на опушке,
Нам сухие листы
Набивает в подушки.

И, крошась как песок,
На бульвар вытекает,
Пылью вьется у ног
И ничем не блистает.

Все сдувают ветра
На манер завещанья,
Наступает пора
Перемен и прощанья.
<1970>

909

Нас время когда-то читало
С картинным своим словарем —
Вторгалось на голые скалы,
Гремело в ущельях, как гром.

На более низких высотах,
Грозящих падением нам,
Задушен я лапой азота,
Медвежией лапою сам.

Вся суть в нарушении ритма
На тех перепадах высот,
Где горло разрежет, как бритва,
Ворвавшийся в горло азот.
<1970>

910

Садись мне под левую руку,
У правой сустав береги.
Несложную жизни науку
Постичь до конца помоги.

В обуженном мира пространстве
Найдется ли место и мне
В пристрастьях изученных странствий,
Подобных грозе и войне.

Чтоб болью разорванных связок
Не выдать приглушенный стон,
Чтоб грохот рассказов и сказок
Не трогал мой отдых и сон.
<1970>

911

Мир отразился где-то в зеркалах.
Мильон зеркал темно-зеленых листьев
Уходит вдаль, и мира легкий шаг —
Единственная из полезных истин.

Уносят образ мира тополя
Как лучшее, бесценное изделье.
В пространство, в бездну пущена земля
С неоспоримой, мне понятной целью.

И на листве — на ветровом стекле
Летящей в бесконечное природы,
Моя земля скрывается во мгле,
Доступная познанью небосвода.
<1970>

912

Летом работаю, летом,
Как в золотом забое,
Летом хватает света
И над моей судьбою.

Летом перья позвонче,
Мускулы поживее,
Все, что хочу окончить,
В летний рассвет виднее.

Кажется бесконечным
День — много больше суток!
Временное — вечным,
И — никаких прибауток.
<1970>

913. СЕРВЕТ

Он пойман в Женеве, он схвачен
Диктатором строгим Кальвином.
Кальвина задача — удача:
Не нужно подсчитывать вины.

Сервет — от рождения спорщик,
Имеет талант диспутанта.
К суду привлечен заговорщик,
Шатающий ноги Атланта.

Умеют судить реформаты
Почище, чем римские папы:
Костер запален для расплаты,
К Сервету протянуты лапы.

На вечный позор континента
Ученого казнь и поэта...
В истории нет прецедента
Коварнее смерти Сервета.
<1970>

914. ПРАЧКИ

Девять прачек на том берегу
Замахали беззвучно вальками,
И понять я никак не могу,
Что у прачек случилось с руками.

Девять прачек полощут белье.
Состязание света и звука
В мое детство, в мое бытие
Ворвалось как большая наука.

Это я там стоял, ошалев
От внезапной догадки-прозренья,
И навек отделил я напев
От заметного миру движенья.
<1970>

915

Все мои мышцы озабочены,
Как оплатить мои страдания:
Сначала возвратить пощечины
И только после — подаяния.

Согласно детским убеждениям,
Надежность полувековая,
Теперь, по зрелом размышлении,
Единственная — и живая.
<1970>

916

Я сковал в оковы мысли
Все, что создано мечтой.
Я свидетель — в высшем смысле,
В высшем смысле — понятой. <...>
<1970>

917

Как говорит цензура,
Ада — не надо.
Ад — это литература
Дантовского склада.
<1970>

918

Судьбу измеряю я мерой
На собственный куцый аршин,
Я мерю пространство химерой,
Рельеф своих ям и вершин.

Щенком, презирая страданья,
Свой первый встречая урок,
Я тыкался в дверь мирозданья,
Скуля выползал на порог.

Сейчас в стихотворном признанье,
Доверясь случайной строке,
Зову не воспоминанья —
Дымок от костра на реке.

Не панцырь библиотечный
По жизни шагать мне велит,
А шорох и страстный, и вечный
Клубка моих бед и обид.

За эту-то неповторимость,
Единственность опыта, я
Снимаю с поэтов судимость,
Суровый и строгий судья.
<1970>

919

И мне на плече не сдержать
Немыслимый груз поражений.
Как ты, я люблю уезжать
И не люблю возвращений.
<1970>

920

Я футуролог и пророк,
А вовсе не историк,
И сообщаю между строк,
Что плод ученья — горек.

Что нездоров, опасен вкус
Любых плодов планеты,
Что в самом скользком из искусств
Надежной правды нету.

Что нет опаснее химер
Незрячего поэта.
Об этом знал еще Гомер,
Но не сказал об этом.
<1971>

921

Мы можем снять вопросы судеб,
Вопросы личных биографий.
Никто на свете не осудит
Пренебреженья этнографией.

В сегодняшней судьбе романа,
В его предсмертном тяжком вздохе —
Незаживающие раны
Моей всезнающей эпохи.

Разбившее свои оковы,
Теперь не жизни отраженьем,
А самой жизнью стало слово,
Оно — оружие сраженья.

Не описанье — по Бальзаку —
И не отчет — по Вальтер Скотту, —
Самою битвой, боем, дракой,
Разведкой, поиском, охотой...

И жизнь поэта — выраженье
Его литературных вкусов —

Обыкновенное сраженье,
Перешагнувшее искусство.
<1971>

922. АСУАН

Беречь Борободур,
Хранить в веках неплохо
Величие скульптур
Загадочной эпохи.

Роландов рог звучит
Пронзительно и веско,
Надежный найден щит —
Вмешательство ЮНЕСКО.

Конечно, сохранить,
Сберечь там каждый камень —
Крепить искусства нить,
Укрытую веками.

Но, честно говоря,
Искусства не ругая,
Мне видится заря
Рассветная другая.

Пускай зарыт Коран
В подножье Асуана —
Для мира Асуан
Важнее сур Корана.

Важнее пирамид,
Важнее Тадж-Махала
Его бетон, гранит
И свет его накала.

Я вовсе не дикарь —
Аларих перед Римом,
Безвестный готский царь
Судьбы неудержимой.

Возникший среди скал
Тот конус усеченный
Внезапно заблистал
Поэзией ученых.

Могучее, чем был
Фиванский храм в Луксоре,
Перегородит Нил
И превращает в море.

И храм Абу-Симбел —
Спасение выше чести —
От смерти уцелел,
Заняв повыше место.

Распилен на куски
И вновь стоит святыней.
Подобные грехи
Не в счет идут в пустыне.

На новый путь вступил
Сей параллелепипед —
Дорогу уступил
Плотине сам Египет.

Да что Египет — мир
Повергнут в изумленье,
Шекспир пришел в Каир,
Готовя прославленье.

Сместить Абу-Симбел —
Отнюдь не святотатство
Средь миллионов дел
Египетского братства.

Старинная мечеть
Арабского халифа
Сумела уцелеть,
Надев одежду мифа.

Но новый Асуан —
Совсем другое дело:

Подъемный мощный кран,
Чьей силе нет предела.

Здесь будущего свет,
Эмблема дружбы наций,
Здесь Нил и сам — поэт,
Поэт мелиораций.

Не шейх, не фараон —
Ведущая фигура, —
Здесь правит свой закон
Народная культура.

Намечен путь побед
Не только для Каира —
Важнее стройки нет,
Наверно, в целом мире.

Диктуют сами тут
Законы гидросферы,
Сливают вместе труд
Двух наций инженеры.

Здесь гений двух культур —
Советской и арабской, —
Здесь сила двух натур
В их напряженьи братском.
<1970–1971>

923. ЛУНОХОД

Катится луноход,
Шагает по вселенной.
По кратеру ползет
Измеренной Селены.

Безвестен, кто создал
Колесное движенье,
Кто мир завоевал
В круженье и вращенье.

В раскопках ранних лет
Любых цивилизаций

Колесный виден след
Любых племен и наций.

Не Рим и Ренессанс —
Неандертальский практик
Имеет верный шанс
Попасть в музей Галактик.

Эмблема всех эмблем,
Стариннейшая тема,
Поэма всех поэм —
Колесная поэма.

Здесь символ и обряд
Всех мировых вопросов,
Надежный аппарат,
Что послан нами в космос.

Гончарный идеал —
Орудье работяги,
Эмблемой мира стал,
На лунный кратер встал,
Как свет людской отваги.
<1971>

924

Мы ищем зло
С отверстыми очами.
Уже светло
Февральскими ночами.

К странице книг,
Не ставшею тетрадкой,
И я привык
К земному беспорядку.

Холодный бред
Всей были заоконной,
Холодный свет
Судьбы моей бездонной.

Мне жить в ночи
Еще не надоело,
Искать ключи
Привычное мне дело.
20 февраля 1971

925

Коварна карта марта,
Коварен месяц март:
Пурга грохочет в марте,
И мягок снегопад.

Апрельские капели,
Январские снега,
Стремятся к высшей цели
Поляны и луга.

Надежна карта марта.
Затем, что каждый год
Весна стоит на старте
И ждет пути вперед.

Наследница Декарта,
Логичная весна,
Ведет по карте Спарты,
Меня лишая сна.

И нет зиме возврата,
Возврата нет зиме,
И только гроз раскаты
У марта на уме.
<1971>

926

Стоял я тихо возле скал,
И трепетали скалы,
На фоне шумов выдавал
Полезные сигналы.

Сигналы вкладывал в стихи
С завидным постоянством.

И, осторожны и глухи,
Стихи ползли в пространство.

Математический расчет,
Неточный и непрочный,
Меня по-прежнему влечет
Своим путем порочным.

В тот самый край, где возле скал
Я подменял Атланта,
Где утром солнце я поймал
В глазок секстанта.
<1971>

927

Читать стихи, сбиваться с шага
При громе гроз,
Чтоб ярче вспыхнула бумага
От жгучих слез.

От слез, какими плакать можно
В высокий час,
Где исповедуют неложно
И малых нас.
<1971>

928

От Арбата и до Покровки
Мой прогулочный полигон.
Это место моей диктовки,
Мнемонический мой закон.

Засекают событья, даты,
Колебанья моей души
С неизбежностью автомата
Мои бешеные карандаши.

Век — в границах аудиограммы,
Робкий, бедный <дает?> результат,
Где все тюрьмы и где все храмы
Навсегда провалились в ад.

И останется на бумаге
Самописца <поэта?> секрет,
Что останется от отваги
Как легчайший и зыбкий след.
<1971>

929

Прихожу я слишком рано
На свиданье.
Неожиданно и странно
Ожиданье.

Я топчу ногами камень
В нетерпеньи.
В клочья рву цветы руками
В исступленьи.

Я ломаю ветки-метки,
Знаки речи.
Очерчу границы клетки
Человечьей.
<1971>

930

Хранитель языка —
Отнюдь не небожитель,
И каждая строка
Нуждается в защите.

Нуждается в тепле
И в меховой одежде,
В некрашеном столе
И пламенной надежде.

Притом добро тепла
Тепла добра важнее.
В борьбе добра и зла
Наш аргумент сильнее.
<1971>

931

Надо смыть с себя позор
Расслабляющего дара,
Выжать пот до самых пор,
Охлажденный вроде пара.

Надо вымочь самый след,
След судьбы в снегах отчизны,
След, какой прошел поэт,
По судьбе твоей и жизни.

Вроде пара охлажден
Жаркий приступ вдохновенья.
Подави без снисхожденья
Посторонний шум и тон.
<1971>

932. ПАМЯТИ СКУЛЬПТОРА ГЕРАСИМОВА

Ты — художник, извлекающий
Суть земли из погребений,
Всею тяжестью ступающий
Вслед любой могильной тени.

И Андрея Боголюбского
Восстанавливая тело,
Мог культями и обрубками
Доводить намек до дела.

Укрепи тела железные,
Вставив выбитые зубы,
И искусными протезами
Разведи в улыбку губы.

Те рубцы, что в кожу вдавлены,
Не разглаживай в потемках,
Пусть морщины не расправлены,
Это сделают потомки.
<1971>

933

Острием моей дощечки
Я писал пред светом печки,
Пред единственным светцом.

Я заглаживал ошибки
Той же досточкой негибкой,
Но тупым концом.
<1971>

934

Что такое речь — пустое!
Глотку сотрясут стихи.
Ничего стихи не стоят
В древнем мире — пустяки.

Но стихи — не призрак речи —
Звуковой гремящий ряд,
И обрядов человечьх
Завершающий обряд.

Камня древнее орудье —
Мозга ранняя пора,
Что в руках держали люди
Раньше кисти и пера.
<1971>

935. УСПЕНСКИЙ СОБОР

Успенье — это смертный сон,
Успенье — это пенье.
Мир в это пенье погружен
В коленопреклоненье.

И шестистолпный, в пять апсид,
Огромный храм московский,
О сне и смерти говорит
Его покой кремлевский.

Латинский зодчий повторил
Навеянное Русью,

И свой архитектурный пыл
Исправил в русском вкусе.

Он стены храма разделил
На прясла-вертикали,
Нарядным поясом укрыл
Народные печали.

В единых замыслов объем
Вмещается Успенье.
Успенье — это смертный сон
И вечное терпенье.
<Зима 1971/72>

936

Как Бетховен, цветными мелками
Набиваю карман по утрам,
Оглушенными бурей стихами
Исповедуюсь истово сам.

И в моей разговорной тетради
Место есть для немногих страниц,
Там, где чуда поэзии ради
Ждут явленья людей, а не птиц.

Я пойму тебя по намеку,
По обмолвке на стертой строке,
Я твой замысел вижу глубокий
По упорству в дрожащей руке.

Дошепчи, доскажи, мой товарищ,
Допиши, что хотел, до конца
Черным углем таежных пожарищ
При лучине любого светца.

Чтоб, отбросив гусиные перья,
Обнажить свою высшую суть
И в открытые двери доверья
Осторожно, но твердо шагнуть.

Как Бетховен, цветными мелками
Набиваю карман по утрам.

Раскаленными угольками
Они светятся по ночам.
<1972>

937. ЛИСИЦА

Следы у лисицы пахучи,
Шагает лиса напрямик,
На поле, на горной ли круче
Ее прямодушен язык.

Лисица тончайшего слуха
И, бой принимая с судьбой,
Уже приготовила ухо
Пока приближается бой.

Не хитрость приводит к болотам —
К опушке приводит судьба,
Прошло поколений без счета,
В крови у лисицы борьба.

По дну пробираясь оврага,
Поглуше ища уголки,
Бесшумьем звериного шага,
Шаги у лисицы легки.

Но как ни была осторожна
Царица опушек лиса,
Охота за нею возможна
При помощи чуткого пса.

Набросим отчаянных гончих,
Поймаем красотку-лису —
Лесной поединок окончен,
Добыча висит на весу.
<1972>

938

Стихи приходится писать
Помимо воли,
И мышцы сердца может сжать
Тот приступ боли,

Что не заметил Гиппократ
В своих заветах,
А он могуче во сто крат
В любых поэтах.

Он повелительней, чем тот
Дорожный спутник,
Что указания не ждет
В суровых буднях.

Что на развилке трех дорог,
Как русский витязь,
Я все читаю между строк.
Эй, отзовитесь.
<1972>

939. ДЛЯ БИОПСИИ

Пусть лежит на столе,
Недоступная переводу,
Не желая звучать на чужом языке,
В холод речи чужой оступаться, как в воду,
Чуть не в каждой душевной строке.

Тайны речи твоей пусть никто не раскроет.
Мастерство? Колдовство? Волшебство?
Пусть героя скорей под горою зароют:
Естество превратят в вещество.

Не по признаку эсхатологий,
Всевозможнейших Страшных судов —
Пусть уходит ручьем по забытой дороге:
Как ручей, без речей и цветов.

Пусть изучат узор человеческой ткани,
Попадающей под микроскоп,
Где дыханье тритон сохраняет веками
Средь глубоких ущелий и троп.
<1972>

940

Я умру на берегу,
На заплыве в твою честь.
Предсказателем быть могу,
Основания эти есть.

На заплыве в солнечный день,
Обнаженный догола,
Я уйду в эту темень и тень
За пределы добра и зла.

И не солнце, не шок, не ожог,
Охвативший все тело враз, —
Крови ток ударит в висок
И закроет всю силу глаз.
<1972>

941

Уступаю дорогу цветам,
Что шагают за мной по пятам,

Настигают в любом краю,
В преисподней или в раю.

Пусть цветы защищают меня
От превратностей каждого дня.

Как растительный тонкий покров,
Состоящий из мхов и цветов,

Как растительный тонкий покров,
Я к ответу за землю готов.

И цветов разукрашенный щит
Мне надежней любых защит

В светлом царстве растений, где я —
Тоже чей-то отряд и семья.

На полях у цветов полевых
Замечанья оставил мой стих.
<1972>

942. ПОВОРОТ СИБИРСКИХ РЕК

Славно озеро Байкал —
Заповедник с баргузином,
Что музеем мира стал
С гидрографией единой.

Но еще важней канал,
Что пройдет в Сибири вскоре,
Что разрежет минерал,
Орошая плоскогорье.

Вечный водный дефицит
У засушливых районов
Пополняет водный щит —
Сток по горному уклону.

Обь, Иртыш и Енисей —
Каждый пущен в неизвестность —
Вниз плывут, как Одиссей,
В небывалую окрестность.

И ложатся на ночлег
В отведенном регионе.
Замедляют быстрый бег
В обозначенном районе.

Клинья: Обь, Иртыш, Тобол —
Закрепляются недаром:
Плоскогорье — это стол
Будущего хлебодара.

Точно вычислен уклон —
Угол водного паденья,
Весь сибирский регион
Взят давно под наблюденье.

Вероятно, Геркулес,
Если веру дать поэмам,
Проявил бы интерес
К нашим нынешним проблемам.

Землеройный наш снаряд —
Не лопата штыковая,

С Геркулесом станет в ряд
Гидротехника живая.

Колоссален поворот
Мифологии вселенной.
Видя водный оборот,
Фауст встал бы на колени.

«Фауста» вторую часть
Мы допишем в Казахстане,
Чья ухватка, сила, власть
Для веков примером станет.

Мощный дальний водопад —
Ждать его уже недолго —
Увеличит во сто крат
Силу мышц рабочей Волги.

Силу трех сибирских рек —
Иртыша, Оби, Тобола —
Сводит вместе человек —
Фаустическая школа!

Современность — суть и свет,
Нерв проблем любой поэмы,
И в твоих руках, поэт,
Эхо современной темы.

Ты минутней всех газет,
Всяких радио и теле,
Отражен вселенной свет
Навсегда в душе и теле.

Не пророчества поток,
А тончайшая отдача,
Мозга каждый завиток
Напряжен такой задачей.
<1972>

943

Я рассею одиссею Енисея,
И сомненья в исчислении посею.

Я проехал все арктические страны:
Воды — вовсе не моря, не океаны.

Наших рек огромных водостоки
Меньше, чем их лайды и протоки.

Не истоки, не потоки, не притоки —
Только виски, лайды и протоки.

Там озера устремили взоры в горы
И ведут вполне морские разговоры.
<1972>

944

Не нашел я хороших весов,
Точных мер, идеальных часов
В этом мире дремучих лесов,
Что закрыты давно на засов.

Только сны были, снежные сны
Высшей снежности снежной страны
Да сиянье дорожной луны
В закоулках родной стороны.
<1972>

945. ПРОПИСНАЯ ИСТИНА

Тишина — это лозунг мира.
Вот в чем суть любой тишины,
Задевающей честь мундира
Делегатов любой войны.

Тишина — это лозунг века
И закон для любых планет,
Чтоб могла работать аптека
И трудиться любой поэт.

Это самая суть прогресса —
Современная тишина.
Тишины боится агрессор.
Тишины боится война.
<1972>

946

Мир марафонскому воину! Мир!
Мир добежавшему с вестью.
Мир марафонскому воину! Мир!
Мир — а не шепот о мести.

Смерть говорила твоим языком,
Смерть, марафонский воин!
Сотня шагов остается... Ползком!
Будешь ты славы достоин.

Чтоб ни случилось в пути — неси
Важное донесенье,
На четвереньках ползи в грязи,
Ты нам принес спасенье.
<1972>

947. МОСКОВСКИЕ ОБЛАКА

Живу в небывалой удаче —
В один световой год
Решил все проблемы, задачи,
Задачи, где время не ждет.

Так медленно время вращенья
Издательского колеса —
Кометы следят возвращенье
Обычные небеса.

Увы, я не Кеплер, не Ньютон,
И даже не Леверье,
И звездною сетью опутан,
И толк понимаю в зверье,

В растительном тонком покрове,
Где правят лишайники, мхи,
Где мне все родное по крови,
И вместе мы пишем стихи.

И в астрономическом годе
Я встретил немало добра,
Немало служил я природе
Обломком, остатком пера...

Так медленно тучи отходят,
Отводит их чья-то рука,
На край горизонта выходят
Московские облака.
<1972>

948

Никогда не воскреснет шоссе
В той былой хорошевской красе.

И диван мой — испытанный друг,
Лучший трюк человеческих рук.

Идеал человеческих тел
И людского комфорта предел.

Не халат, не опорки Дидро —
Мне диван вдохновляет перо.

И Москва не оставит следов
От моих многолетних трудов.
<1972>

949. СЕДЬМОЕ НЕБО

На небе седьмом распрощаюсь с тоской,
На небе седьмом обрету я покой.

Хотя бы упрятавши шкуру,
Все знал я о литературе.

Любую услугу богам окажу
И власти у неба себе закажу.
<1972>

950

От юности в семи минутах
Своей судьбы или ходьбы
Коня осаживаю круто,
Взвивая на дыбы, дабы,

Судьбу подхлестывая плетью,
Была по-прежнему она
Верна двадцатому столетью
И нраву нашему верна.
<1972>

951

Я поставил цель простую:
Шелестеть, как листопад,
Пусть частично вхолостую,
Наугад и невпопад.

Я такой задался целью:
Беспрерывно шелестеть,
Шелестеть льдяной метелью,
Ледяные песни петь.

Я пустился в путь бумажный,
Шелестя, как листопад,
Осторожный и отважный,
Заменяя людям сад.

И словарик ударений
Под рукой моей всегда.
Не для словоговорений
Шелестит моя вода.
<1972>

952. ОТРАВИТЕЛИ КОЛОДЦЕВ

Отравители колодцев —
Их немало до сих пор.
Их вода по капле льется,
Мед и яд вступают в спор.

Спор они ведут друг с другом,
Кто верней ударит в цель,
Обведет полярным кругом,
Заведет людей в метель.

И людей в огонь толкая,
Приглашает посмотреть

Провокаторская стая,
Как другой будет гореть.

И учуя запах мяса,
Пляшут танец вкруг костра,
Танец ада, танец класса,
Танец злобного пера.

Тот же, кто ревнив и пылок,
Собирает трояки
В усмотрении посылок,
Где толкутся их дружки.
<1972>

953

Расшатанные предсердья
Едва ли теперь годны
К биению милосердья,
К прощенью любой вины.

И медленно сокращаясь,
Еще не оледенев,
Не ноя, но не прощая,
Готовят себя на гнев.

Когда-то совсем молодое,
Кипевшее добротой,
Раздавлено сердце рудою,
Тяжелой и золотой.
<1972>

954

Как сердечный больной,
Для словесности
Я живу тишиной
Неизвестности.

Круг вращают земной
Поколения.
Мое время — со мной!
Без сомнения.
<1972>

955

Иногда в одиноком походе
Рукавичка и то тяжела,
Или даже при зимней погоде
Рукавичка не держит тепла.

И таит непомерную тяжесть
Принесенный с земли карандаш,
Карандаш, поднимаемый даже
На плечах на десятый этаж.
<1972>

956. ЧЕ ГЕВАРА

Я видел в самом деле
Посланца звездных мест,
По радио и теле
Следил его приезд.

С ним рядом шел Гагарин,
Солдат земли,
Узбек, грузин, татарин
С ним рядом шли.

Бескровной белой кожи
И черной бороды
Нездешний свет, похожий
На свет звезды.

Инопланетный камень,
Дитя страны,
Где вместе лед и пламень
Соединены.

И рядом с космонавтом,
Учтя момент,
Он сам стоял как автор
Живых легенд.

Он был совсем не странен,
Товарищ Че,
Совсем не марсианин —
В другом ключе.

Пример единства дела
И высших слов
Он был душой и телом
Явить готов.

Подпольщик и астматик,
Он тяжело дышал,
Входя в хлопках-раскатах
В Колонный зал.

Мы все тогда не знали,
Не знал Колонный зал
Трагедии финала
Колонный зал не знал.

Прошло совсем немного
От этой встречи лет,
И смертная дорога
Его прервала след.

Седлавший Росинанта,
Романтик в наши дни,
Кихотова таланта
Зажег огни.

Он мировую славу
Сумел преодолеть,
По собственному праву
Ушел на смерть.

Отрубленные руки,
Кровавый след,
Сейчас предмет науки
И вечный свет.

Те кисти — как подсвечник,
И в их свече-луче
Светит дорогу в вечность
Товарищ Че.
<1972>

957. ИКАР

Он взмывает в полет,
По-мальчишески смелый,
Но не воск — только лед
Прилепляет он к телу.

Только лед, только снег
Разминая в ладонях,
Устремлен человек
К светлой бездне бездонной.

Это не для игры
Раскаленного пара,
Это кара жары
Настигает Икара.

Тает лед, тает воск,
Каплет в море, как свечи,
В море, полное слез
По судьбе человечьей.
<1972>

958

Не для посмертного изданья
Еще живых страстей и битв —
Мы рождены для назиданья,
Для звуков сладких и молитв.
<Январь 1973>

959

Дым — это юрта!
Дым — это дом!
Ясное утро
В крае седом.

Падает иней,
Кончен полет.
Призрачно сини
Небо и лед.

Речка и ветер.
Стынет река.
Резче на свете
Нет языка.
<1973>

960

Я, пожалуй, рад безлюдью.
Пусть никто, кроме меня,
Не встречает ветер грудью
Без костра и без огня.

Я, пожалуй, рад молчанью
Птиц, безмолвных в том краю,
Пусть молчание лучами
Освещает жизнь мою.

Чтоб у печки и у свечки
Проходили дни мои,
След у безымянной речки
Намечая в забытьи.
<1973>

961. ИНДИГИРКА

Круговым пылало солнце светом
Индигирским, Оймяконским летом.

Все, что пряталось, таилось и молчало, —
Полной жизнью вдруг затрепетало.

Показались в том ущелье узком
Незадолго до николы трясогузки.

Гусь-пескун и белолобая казарка
Прилегли под каменную арку.

И бекас в манере вертолета
Вверх взмывал в небесные высоты.

Клекотали, клекотали куропатки
В Барагонском лиственном распадке.

Дятла, дятла слышалось жужжанье,
Лошадей заливистое ржанье.

В поединки там вступали турухтаны
И ныряли черные турпаны,

В отмелях на солнце грелись щуки,
Ставя тело вдоль речной излуки.

Проплыла рыжеголовая гагара,
Прячась в воду близ деревьев старых,

И над царством птичьим и звериным
Звон и визг держался комариный.

И над этим торжищем бессонным
Я в кустах стоял с магнитофоном.

Записал все звуки для науки,
Даже те, что издавали щуки.
<1973>

962. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

Классик мелодекламаций,
Мастер тонкого письма,
Бледным рыцарем скитался.
Тяжела судьбы сума.

Слишком был тогда не к месту
Умирающий романс,
Жанру, жанру нету места,
Если вышел в путь роман.

Слишком был тогда не моден
Голенищева пиджак,
Обращение к природе
Осуждал любой и всяк.

Не найдя сочувствья Блока
По романсовым делам,
Он ошибся так жестоко,
Как жесток в романсе сам.

Не был пухлым, как Апухтин,
Он, отшельник и аскет,
В петербургской где-то бухте
Принял тихо смерти свет.

Он не проявил беспечность,
Крепко вывязал строку,
Подстерег он все же вечность,
Вечность на своем веку.
<1973>

963

Я не люблю читать стихи,
Но не поэтому,
Что слишком много чепухи
Дано поэтами.

Я просто время берегу
Для их писания,
Когда бегу по берегу
Самопознания.
<1973>

964

Я попадаю в снег убродный,
В глубокий снег.
В какой-то день, еще холодный
В весенний век.

Хватает там духовной пищи
И для меня.
Когда я вижу ясно днище
Любого дня.

Я измеряю этой мерой
Дороги нить,
Путь между небом и пещерой
Могу сравнить.
<1973>

965

Кто родился в тихую погоду,
Может прекратить пургу —
Лишь войдет в пургу, как входят в воду,
Но нагим и на бегу.

Из избы младенца выносили —
Обнаженным клали на окно,
И пурга тотчас теряла силы.
Это, впрочем, было так давно.
Нынче не выносят: студено.
<1973>

966. ТОПОР

Орудие добра и зла,
Топор — древнее, чем пила,
И не прошла еще пора
Для тайной силы топора.

Кладется на ночь на порог,
Чтоб жизнь хозяина берег,
Чтоб отогнал топор врага,
Пока свирепствует пурга.

Но если им срубили гроб
Для жителя якутских троп,
Оленьих трактов, лайд, озер,
В куски ломаем мы топор —
Даем нечистому отпор.
<1973>

967

Правлю в Вишеры верховья
Лоцией средневековья.

Это Пеля, это Мыка,
Где я пел и горе мыкал.

Это Ветренка и Вая,
Вся судьба моя живая

Натянулась тетивою
Среди ветра, визга, воя,

Как стрела чужого лука,
Первобытная наука.

Как стрела с чужою целью,
Заметенная метелью.

Учащенным страстью пульсом
Билось сердце в устье Улса,

Попадая на пороги,
От которых нет дороги.

Если вверх — там слишком круто
Обрывал теченье Кутим.

Вниз — тебя встречают горы,
Равнодушные озера.

Это зона Робинзона,
Правят там тайги законы.

Имениты, знамениты,
Но еще до динамита.

Льдом, водой взрывают скалы
Мастера в глуши Урала.

И подскажут речке речи
Без картечи.
<1973>

968

Здесь — в моей пробирке — влага
Моего архипелага.
Эта влага — вроде флага,
Как дорожная баклага.

И в лабораторной строчке —
Капля меда в дегтя бочке,

Собиралась с той же кочки
На рассвете той же ночки.

Капля меда — вроде клада —
Склада ангельского сада.
Моя лучшая награда —
Меда ясная прохлада.
<1973>

969

Подводный лов — подводный зов,
Призыв плывущих где-то слов,
Изменчивое счастье.
Измерить с помощью весов,
Пробирок, склянок и часов
Все пасти и напасти —
Почти не в нашей власти.
<1973>

970

Я вызываю сон любой,
С любой сражаюсь тенью,
С любой судьбой вступаю в бой
В моем ночном сраженье.

О будущем своем молчу,
Далек от предсказаний,
Я дятлом в памяти стучу,
Чту дятла показанья.

Небрежный почерк на коре —
Зарубки и засечки —
Подстать моей ночной игре,
Танцующей от печки,

От печки детства моего —
Печурочки железной,
Где все — и грусть и торжество, —
Все для меня полезно.
<1973>

971

Л. Т.

Стихи — это боль и защита от боли,
И — если возможно! — игра.
Бубенчики пляшут зимой в чистом поле,
На кончике пляшут пера.

Стихи — это боль и целительный пластырь,
Каким утишается боль,
Каким утешает мгновенно лекарство —
Его чудодейственна роль.

Стихи — это боль, это скорая помощь,
Чужие, свои — все равно,
Аптекарь шагает от дома до дома,
Под каждое ходит окно.

Стихи — это тот дополнительный градус
Любых человечьих страстей,
Каким накаляется проза на радость
Хранителей детских затей.

Рецептом ли модным, рецептом старинным
Фармакологических книг,
Стихи — как таблетка нитроглицерина,
Положенная под язык.

Среди всевозможных разрывов и бедствий
С облаткой дежурит поэт.
Стихи — это просто подручное средство,
Индивидуальный пакет.
<1973>

972. СОФИЙСКИЙ СОБОР

Мерцают старинные фрески,
Как фразы — отрывисты, резки,
И темные лица святых:

Петра, Константина, Елены,
Стремящихся в небо из плена
Крутящихся лестниц витых.

И слишком тревожны и грубы
Огромные ангелов трубы —
Для Страшного, значит, Суда.

И в трубах — тревога, тревога,
Тревога тревожного бога,
Входящего сверху сюда.

Встречают угодники бога,
Хотят проводить до порога
И двери за богом закрыть.

Остаться в покинутом храме,
Остаться, как прежде — друзьями,
Секреты друг друга укрыть.

У выхода — копия ада,
Какого и видеть не надо,
Спасителя глаз не привык.

Но все заглушает бравада,
Баллада холодного склада
И ангелов трубный язык.
<1973>

973–978. ПАМЯТИ АНТРОПОЛОГА ГЕРАСИМОВА

1

Для поэта — нет запрета!
Эскимосская рука
В гранях этого предмета
Из моржового клыка.

Эту подлинность натуры
Засвидетельствовать мог,
Первобытную культуру
Просевая сквозь песок,

Только ты, наш атрополог,
Археолог, скульптор тож, —
Приберег для книжных полок
Века древнего чертеж.

2

Извлекаются грудами
Вещи палеолита:
Производства орудия
И орудия быта.

Неожиданно крошечны
Те скребки и рубила,
Их кремневые ложечки,
Высекавшие были,

Статуэточки малые
Твердо держатся в пальцах,
Мастерство небывалое
В пальцах неандертальца.

Раньше века железного,
В веке кости и камня
Они дышат поэзией
Глубины самой давней.

3

Палочка мягче кости,
Палочка — не металл,
Как бы тогда с погоста
Прошлое ты достал?

Крошечной лопаткой
Трогает век человек —
Тот, древнекаменной кладки,
Палеолитовый век.

Твердым и легким усильем
Вскрыта веков душа.
В палочке скрыта сила,
Сила карандаша.

4. МАДОННА ПАЛЕОЛИТА

Наша судьба-надежда
Перед судьбой-пургой
Женщина в меховой одежде
Вместо богини нагой.

Выползла из пещеры
Прямо на звездный свет,
Как меховая Венера,
Сея искусства свет.

В капоре, в грубой шубе
Счастья земного ждет,
Только открыты губы,
Дышит один лишь рот.

То не мадонна Литта,
Славимая в стихах, —
Мадонна палеолита,
Женщина в мехах.

5

Мальта, крестоносный остров,
Средиземноморский Крит, —
Не на них в открытьях острых
Путь в историю открыт.

Наша Мальта — под Иркутском,
Приангарская вода
Первобытное искусство
Промывает без труда.

6

Эти сколы древней школы
Делал австралопитек,
Делал сколы в час веселый,
Чтоб учился человек.

Это вы — кремень и яшма,
Безотказный инструмент —
Разрубили мир тогдашний
На период, век, момент…
<1971-1973>

979

Не суеверием весны
Я тронул северные сны,
Те отпечатки старины,
Где откровенья мне даны
И с веком соединены

Среди полночной тишины.
Тем сновиденьям не бывать!
Не потрясти мою кровать,
Меня с кровати не сорвать!

Да будет мне всегда легка
Неосторожная рука,
Звенящая в звонок стиха, —
Резка, разумна и гулка.
<1973>

980. ГРАД

Я включу моторы грома —
Искры в воздухе блеснут,
И на облаке до дома
Мы доедем в пять минут.

Покружим чуть-чуть повыше
Голубиных областей
И замрем над нашей крышей,
Крышей бури и страстей.

И по этой ближней цели
Без прицела бьет и бьет
Наподобие шрапнели
Разлетающийся лед.
<1973>

981

Только в ЦГАЛИ, только в ЦГАЛИ!
В ЦГАЛИ склад в бетонном зале,
В ЦГАЛИ смерть в бетонном зале,
Рай и ад в подземном зале. <...>
<1973>

982

Чехи — колыбель славянского рода,
По-славянски мягка их природа.
Истеричный цветаевский крик
Не годится на чешский язык.
<1973>

983. ЧЕХИ

Решительная нация
Славянского подтекста,
Живет без польской грации,
Без польского кокетства.

Живет без русской удали,
Без пьянки по престольным
И — хорошо ли, плохо ли —
С приличием застольным.

Культурнейшими цензами
Товаров в книжной лавке,
По новенькой лицензии —
От Гашека до Кафки.
<1973>

984. МАЯКОВСКИЙ И АСЕЕВ

Маяковский писал для вселенной,
А Асеев писал для Москвы,
Увеличивая постепенно
Напряженье струны-тетивы.

В небеса шагнул Маяковский,
А Асеев остался живым,
Чтоб с особым на то удовольствием
Подавать совет молодым.

Он дожил до преклонных, пожалуй,
Пережил Маяковского он,
Сохранив свой огонь немалый,
Сохранив свой язык и тон.
<1973>

985

Хоть стал давно добычей тлена
Тот черный гость,
Бежать из песенного плена
Не удалось.

Не удалось сорваться с петли
И скрыться с глаз,
Покуда возглашает петел
Последний раз.

Покамест запевают трубы
Сигнал суда,
Покамест ангел синегубый
Ведет туда,

Где звезды вносят свет пристрастья
Во все углы,
Где все последствия пространства
Так тяжелы.
<1973>

986

Письмо из ящика упало
И вырвало у смерти жало.
Сквозь жизни гам.

Одна картонная страница
Летит, планируя, как птица,
К моим ногам.
<1973>

987

Она ко мне приходит в гости
По той параболе комет,
Оставя падающий косо
Рассеивающийся свет.

Ей надо быть моей средою,
Как та воздушная среда,

Среда, которой я не стою,
Да и не стоил никогда.

Но в мире преувеличенья
В обличье сказок и легенд
Она сама была леченьем,
Вполне химический агент.

Оставя на моей бумаге
Едва заметный, легкий след,
Как тайнопись, которой маги
Заворожили свой секрет.

Как те бесцветные чернила,
Проявленные на огне,
Остатки жизненного пыла,
Несвойственного нынче мне.
<1973>

988. КТО Я

Я — новая форма рассказа,
Я — новая форма стиха,
Еще не дошедшая сразу,
Еще неизбежно тиха.

Предсмертная чья-то записка,
Подброшенная под дверь,
Чтоб люди читали без риска
Сегодня или теперь.
<1973>

989

Без солнечных очков,
Не сузивший зрачков
При созерцаньи света,
Я вовсе не факир,
Шагнувший в новый мир,
В очередное лето.

В войне шипов и роз
При всем их тайном сходстве

Я вежлив, как матрос
Речного пароходства.
<1973>

990

Переменится ветер, и мы больше не будем
Посещать уважаемый пляж.
Перекрасим борта и заляжем, как люди
На последний, на белый этаж.

Все пути оплатив самой звонкой монетой
Шелестящей, звенящей листвы,
Мы попросим бумажное право на это,
Вековечное право поэта,
У гремящей, звенящей Москвы.

И добравшись до смертной зияющей щели
Без оглядки, наверняка,
Чтоб стрелять все по той же возвышенной цели,
Обнаруженной издалека.
<1973>

991

И эта степенная пена,
Вертящаяся вокруг,
Осядет в ногах постепенно,
Ничуть не тревожа мой дух.
<1973>

992

Мир разглядывал он зорко,
Но имел грехи:
Далевские поговорки
Портили стихи.

Мы не очень дружим с Далем,
Ибо Даль
Унесет от ближней дали
Вдаль.

Вдаль от жизни, вдаль от темы,
От живой борьбы.
Как же нам писать поэмы,
Полные судьбы?
<1973>

993. ГРОБОКОПАТЕЛИ И ШАКАЛЫ

Есть в нашем мире множество вещей
Помимо исцеляющих мощей.
Гробокопатель и шакал — литературовед,
Души моей умершей ищет след.

Создатель символов и мифотворец сам,
Он сам творит подобье чудесам.
Моя душа шакалу не нужна,
Ему нужна холодная война.
<1973>

994

Мы гордимся грабежом,
Но увы — за рубежом.
<1973>

995

Без завещания — из суеверия,
Чтоб не стучать в эти тонкие двери
И не заглядывать в щель,

Дал вам поблажки, дал вам отсрочки,
Милые, вдаль уходящие строчки.
Ну-ка, скажи, какова твоя цель?

Без завещания из суеверия,
Чтобы талант не лишили доверия,
Из суеверия, без лицемерия
Рвать эту старую канитель.
<1973>

996

Останусь ли сухим в Сухуми,
К морям испытывая страх,
Предметом тамошних раздумий
Огнепоклонница — сестра.

Она сжигает все бумаги,
И превратив стихи в грехи,
С нечеловеческой отвагой
Уничтожает все стихи.

Горящий бич моих архивов,
Печной неукротимый газ,
И если жизнь свели в стихи вы,
Вас ждет возмездье в тот же час.
<1973>

997

И даже чья вина,
Не знали вы, однако —
Холодная война
Убила Пастернака.
<1973>

998. СЛАВЯНСКАЯ КЛЯТВА

Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам,
Чью темную науку я до конца постиг.
Я вражескою кровью свои омою руки,
Когда настанет этот благословенный миг.

Публично, по-славянски, из черепа напьюсь я,
Из вражеского черепа, как делал Святослав.
Устроить эту тризну в былом славянском вкусе
Дороже всех загробных, любых посмертных слав.

Пусть знает это Диксон и слышит Антарктида,
В крови еще пульсирует мой юношеский пыл,
Что я еще способен все выместить обиды
И ни одной обиды еще я не забыл.
<1973>

999

В шесть часов истекает мой ультиматум,
Клятва ночная — к шести утра
Я прекращаю все раскаты
Разбушевавшегося пера.

В шесть прихожу я к нормальной жизни,
Ровно, минута в минуту, в шесть,
Где все запасы сына отчизны,
Все обязательства, жизнь и честь.
<1973>

1000. ВЕТКИ

У веток весною одно на уме:
Пока еще не на погосте,
Дождаться бы лета в лесу, пошуметь,
Расправить старые кости.

Другое дело зимой, когда
Они промерзли до мозга
И кажется ледянее льда
Хрустящий холодный воздух.

И ветка зимою настолько хрупка,
Что даже сама бы хотела —
Пускай благодетельная рука
Сломает застывшее тело.

Но есть и такая, что даже в мороз,
От боли и ярости корчась,
В наростах и язвах, в повязках корост,
Никак умирать не хочет.

Из этих — немало наломано дров
Ударами бурь ошалелых,
В них бьется еще не застывшая кровь,
Таких не возьмешь и железом.
<1950–1973>

1001

Измерены звездные Леты
И карты миграции птиц,
Разгаданы неба секреты
И лоции дальних границ.

Известны пути возвращенья
К родимому дому, гнезду,
Земля по закону вращенья
Приводит на ту же звезду.

А мне не пришлось возвратиться,
Родную пощупать траву,
Я не перелетная птица.
Я около дома живу.
<1973>

1002

Оглох — нажимай на стихи,
На это немое кино,
Где бог не прощает грехи,
Известные богу давно.

Где самый последний сеанс
Взывает в утренней мгле,
Где самый последний пасьянс
Разложен уже на столе.

Снимай хроникальнейший фильм,
Уколами сердце лечи,
А пленку, растертую в пыль,
Ногами скорей растопчи.
<1973>

1003

Мой символ — склеенный фарфор,
Гор исступленное терпенье,
Фольклор как бы забытых гор,
Их воскрешающее пенье.

Хоть разлетелись на куски,
Но постепенно собирались
Движеньем сердца и руки —
Гранит почувствовал усталость.

И охладевшие сердца
Под жестким холодом мечтаний,
Двадцатилетних ожиданий,
Реалистических страданий,
Вдруг разлетелись в два конца,
Не дожидаясь до конца
Официальных испытаний.
<1973>

1004. МАЛЯР

Я, как маляр после работы,
Перебираю инструмент:
Раскладываю для подсчета
В такой ответственный момент,

Когда все фразы на листочках
В надежный вид приведены,
Доведены пером до точки
И до конца доведены.

И поутру в лучах востока,
В рожденный солнцем яркий миг,
Веду свой штукатурный сокол,
Беру свой карандаш-ручник.
<1973>

1005

Миллионы прослушал я месс,
Литургий, панихид и обеден.
Миллионы талантливых пьес.
Так что опыт мой вовсе не беден.

Говорят, драматург — демиург!
Я таким сообщеньям не верю.
Не искал и не звал среди пург,
Среди бешенства белого зверя.

Совершив многолетний пробег
В леденящем дыханье движенье,
Не прибег к покровительству Мекк
И подобных сему учреждений.

Я сражался один на один
С этим белым, клокочущим зверем,
И таким я дожил до седин,
До подсчета последним потерям.
<1973>

1006

Я скитаюсь по передним,
Места теплого ищу,
Потому что в час последний
Гула славы трепещу.

В переносном и буквальном
Жажду только теплоты
В неком царстве идеальном,
Где гуляют я и ты.

Где других местоимений
Не пускают в оборот,
Где и гений платит пени,
Если сунется вперед.
<1973>

1007

Жизни суть — это вопрос резерва:
Запасной имеется ли путь?
Сохранил ли ты в запасе нервы,
Чтобы их покрепче натянуть?

Ведь ступеньки ада — бесконечны,
Бесконечна лестница и в рай,
И по этой лестнице предвечной
Сам свое движенье выбирай.

Не последнего еще совета
Груз в своем кармане ощути,

В этом суть секрета для поэта,
Для его последнего пути.

Не следя, что кончено сраженье,
Сохрани от любопытных глаз
Своего последнего движенья
Неприкосновеннейший запас.
<1973>

1008

Я долго привыкаю,
За старое держусь,
За праздник Первомая,
Не за Христову Русь.

Повыцвел флаг кумачный,
Дорожный верный знак.
И стал совсем невзрачный
Мой старый флаг.
<1973>

1009

Выкиньте все гипотезы
О викингах с моря,
Не на Петровом ботике
Плыли мы в сером просторе.

Дежневскими карбасами
Мы устремились к цели,
Мощными контрабасами
Русской виолончели.

Их молодой мелодии
Силы инструментальной
Там, на окраине Родины,
Там, на Севере Дальнем.
<1973>

1010

Еще одна прощальная улыбка,
И летопись окончена моя.
Еще одна расстроенная скрипка,
Которой так заслушивался я.

Я глуховат, и все ее рулады
Мне уловить, наверно, не дано.
А не дано — так и не надо,
И я захлопываю окно.
1973

1011

Брик был прав: стихи — отрава,
Вредная притом.
От стихов скудеют травы,
Замолкает гром.

Выступает бездна фальши,
Лицемерья, зла.
Что же дальше? Что же дальше?
Глубже, чем зола?

Смело за стихи берется
Лишь антипоэт.
У пегасова колодца
Сей копытный след.
<1973>

1012

Г. Беллю

Меня соблазнять заграницей,
Как тряпкой махать пред быком,
Покамест тот бык разъярится —
Копыта играют песком.

Искусен <буржуйский?> тореро,
Достоин любой похвалы.
У самого пляшет барьера
И руки его тяжелы.

Он ждет ослепленья момента,
Покамест слепые рога
Вонзятся, как род инстумента,
В дразнящее тело врага.

В дистанции безопасной
Танцует свой танец артист,
Границы он знает прекрасно
И на руку с детства нечист.
<1973>

1013. МИЧМАН РАСКОЛЬНИКОВ

Я видел его раз —
Он враг путей окольных.
На цвет, на вкус, на глаз,
Как поседевший школьник.

Он — ранний первоцвет,
Его Октябрь — в июле,
В тюрьме искал ответ,
В июле шел под пули.

Он вел с собой Кронштадт,
Красноречивый, пылкий,
Тот самый депутат,
Закрывший Учредилку.

Он Черноморский флот
Топил в Новороссийске,
Как кляп в немецкий рот
Вбивал моряк балтийский.

Лихой гардемарин
Стремительно и страстно
Вливал в ультрамарин
Ведерко краски красной.

Попал в английский плен,
Но зная ему цену,
Сам Ленин дал взамен
Семнадцать офицеров.

Морские корабли
По Волге, как по суху,
Явились в Энзели,
Его подвластны духу.

Умел играть с листа
Грядущего этюды,
Послом в Афганистан
Поехал на верблюде...

Правдист и журналист,
И Ленина соратник,
И путь его был чист
В боях неоднократных.

Как всякий демиург,
Не чужд гусиных перьев,
Он был и драматург, —
Писал о Робеспьере.

Он что-то говорил
О долге, о Китае,
Наш юношеский пыл
Питая и пытая....

Вперед уходит жест,
Слова спешат за жестом
До самых дальних мест
Вселенских происшествий.

Не так уж далека
И Ницца, и больница
Последняя строка,
Последняя страница.

Клубок горящих строк —
Урок сопротивленья,
Урок, как встретить рок
Партийным поведеньем.
<1972–1973>

1014. БЛОК

Позвякивая монистом,
Целуя цыганок персты,
Дорогой знакомой, тернистой
Блок шел сквозь мираж суеты.

Все зори его, все закаты,
Они одноцветны — желты.
«Двенадцати» резки плакаты,
Матросы, как фрески, чисты.

Менялись на женщинах лица,
И в вечность летящий рысак —
В глухих переулках столицы
Замедлил свой бег и свой шаг.

Рысак был конем Фальконета
И Пушкина родствен перу...
Достойно вмешаться поэту
В такую большую игру.
<1974>

1015

Своими, своими руками
По Питеру в пятом году
Блок нес это красное знамя,
Что после воспето стихами
В поэмы метельном чаду.

Он сам — тот Христос с красным флагом,
Двенадцать матросов за ним
Патрульным размеренным шагом,
Стихию смиряющим шагом,
Прошли через вьюгу и дым.
<1974>

1016

Он многословен, как Гомер,
Тот ледоход,
Ни в чем, ни в чем не знает мер
Бегущий лед.

И в солнце чувствует врага
Разбитый лед.
И с хриплым стоном в берега
Он бьет.

И льдины, как стада свиней,
Бегут на юг,
Несут цвета полярных дней,
Заметы вьюг.

Их размывает дождь — не снег,
Знакомый им,
И этот снег они навек
Сочли своим.

Но льдинкам к морю не дойти,
Как ни ворчи, —
Их всех растопят на пути
Лучей лучи.
<1974>

1017. ЗОЛОТОЙ ЛОМ

Я не в целях сатиры
(Ни внутри, ни вовне!)
Золотые сортиры
Изготовил стране.

Этой ленинской фразой,
Обжигавшей умы,
Оглушающей сразу
В рудниках Колымы,

Где без помощи мира,
Наяву, не во сне
Золотые сортиры
Я построил стране.

При содействии тачки,
При посредстве кайла
Разрешил все задачи,
Суть добра или зла.
....

Принимали по весу
Тот металл золотой,
Эту старую пьесу
Превратив в звук пустой.
<1974>

1018

Вариации двух начал,
Двух понятий — тепло и холод,
На которые мир расколот,
Их как медик я изучал.

Не сраженье добра и зла,
Сатанизма и гуманизма.
Не всегда победа тепла
Благодетельна организму.
<1974>

1019

Я люблю находки — бывшие потери,
Что когда-то в спешке сам же потерял,
Сам же уподоблен был живой тетере,
Сам же у себя хоть что-то и украл.

И когда поднимешь эту горечь клада
И ее рассмотришь пристально на свет,
Говорю себе я — радоваться надо,
Что воскрес вот этот еле видный след.
<1974>

1020

Я знаю бумажные страсти,
Я знаю издательский пыл,
Когда разрывают на части
Наследство известных могил.

Я знаю архивные драмы,
Борьбу юридических лиц,
Разбитые вдребезги храмы,
Кумиров, поверженных ниц.

Я знаю войну самострелов,
Колючек, укрытых в траву,
Натянутую до предела
Смертельных крючков тетиву.

Я знаю бумажные страсти,
Подземный, подводный удар,
Накликанное несчастье,
Самовзорвавшийся пар.
<1974>

1021. ИЗ СТРОФ О ФЕТЕ

Я вышел в свет дорогой Фета,
И ветер Фета в спину дул,
И Фет испытывал поэта,
И Фета раздавался гул.

В сопровождении поэта
Я прошагал свой малый путь,
Меня хранила Фета мета
И ветром наполняла грудь.

На пушке моего лафета
Не только Пушкина клеймо,
На нем тавро, отмета Фета,
Заметно Фетово письмо.

Нет мелочей в пере поэта,
В оснастке этого пера:
Для профессионала-Фета
Советы эти — не игра.

Микроудача микромира
Могла в движенье привести,
Остановить перо Шекспира
И изменить его пути.

...Хочу заимствовать у Фета
Не только свет, не только след,
Но и дыханье, бег поэта,
Рассчитанный на много лет.
<1974>

1022

Зеленым Серебряным бором
От мира ограждены,
Мы, может быть, служим укором
Для нашей нездешней страны.

И тучи на небо ложатся
Одна за другой, как в станке,
И тучам вовеки не смяться
У черного ветра в руке.

А ветру размахивать флагом
Попроще, чем тучей, и вот
И молнии ходят зигзагом,
И грузнет сырой небосвод.
<1974>

1023

Слышу каждое утро
Голос бога-творца:
«До последней минуты!
До конца! До конца…»

Нету истины выше,
Нету мысли верней
Для подвала и крыши —
Для рабов и царей.

Этот лозунг футбольный,
Сей спортивный совет,
С неожиданной болью
Принимает поэт.
<1974>

1024

Коктебель невелик. Он родился из книг,
Из проложенной лоции к счастью.
Кормчий Кафы поймал ослепительный миг
И причалил, ломая ненастье.

Он направил корабль по весенней луне,
Уловив силуэт Карадага,
Он направил корабль по осенней волне
С безмятежной, бесстрастной отвагой.

Этот профиль луны на земле засечен
При создании нашей планеты,
Магматическим взрывом в науку включен,
И на лоции пойман, и людям вручен,
Словно дар фантазера-поэта.

Пусть потом за спиной и бурлит океан
И волнуется нетерпеливо, —
Гаснет боль от телесных, душевных ли ран
В этом ярко-зеленом заливе.

И пускай на Луне уж давно луноход,
А не снасть генуэзского брига,
И в историю вложен ракетный полет —
Космографии новая книга, —

Никогда, никогда не забудет земля,
Что тогда, в штормовую погоду,
Лишь по лунному профилю ход корабля
Он привел в эту малую воду.
<1974>

1025. ГЕФЕСТ

В ущелье пышут горны,
Я раздуваю мех,
Ворочаюсь проворно
И слышу грома смех.

Любая спецзакалка
Доступна кузнецу,
Слюны ему не жалко,
Лесному мудрецу.

Все качества азота
Он знает там без книг,
Кипит его работа,
Заполнен каждый миг.

Добавит в воду масло
И выпьет молоко,
Чтоб пламя не погасло
И сталь ковать легко.

Молотобойца место
Я в кузнице достал,
Кувалдой у Гефеста
Машу, мягчу металл.

Волшебным молоточком
Стучит хромой кузнец,
Оттяжка и отточка
Подков, гвоздей, сердец.

Звенит, дымит поковка,
Стучит кузнец-мудрец.
Железо свито ловко
И стынет наконец.
<1974>

1026

Поэзия — не дело вкуса! —
Квалифицированнейший труд,
В наисегодняшнем искусстве
Представленный на строгий суд

Сегодняшних, а не грядущих
Искателей живой воды,
Что ловят впереди идущих
Меняющиеся следы,

И — не имеющая тайны,
Открытая себе самой,
Приподнятая мощной дланью
С постели бога огневой.

И сунутая в повседневность,
В заботы сельской суеты,
Где ищут мертвую царевну
И клена падают листы.

Ее тавро и иероглиф
(Частотный попросту словарь) —
Случайно пущенный в дороге
Простой садовый инвентарь.

Возделывающая те же нивы,
Что и Вергилий, и Назон,
Выращивающая те же сливы
По многу раз в один сезон!
<1974>

1027

Планёрская — мое название,
А не «Долина синих скал», —
Я не платил татарской дани
За звук арабских придыханий,
Когда мечту свою искал.

Все Коктебели, Коксагызы
Отступят пред тобой, планёр,
Что ищет путь воздушной визы
В волне феодосийских бризов,
Воздушных ям, воздушных нор.

Важней завета Магомета
Природы новое лицо
И притяжения планеты,
Что душит нас с начала света,
Разорванное кольцо.

Не «королева» — Королёва
Назвать хотелось бы утес:
Топонимической основой,
Топонимической обновой
Поправки век двадцатый внес.
<1974>

1028

Ветер по насту метет семена,
Ветер как буря и как война.

Горбится, гнется, колеблется наст:
Этих семян никому не отдаст.

Девственниц-лиственниц семена.
Неоплодотворенная тишина.

Что из того, что явилась весна,
Лиственниц этих лишая сна?..
<1970-е>

1029. КРИПТОГРАММЫ

Мох — бродячее растение,
Пресмыкающееся.
Приближенье, возвышенье —
И мшавеет местность вся.

Вы — растенья тайнобрачные,
Тина, плесени и мхи!
Только тем, кто всех удачнее,
Разрешают все грехи.

Нет у вас цветка и семени,
Племенные лишаи,
Это тоже признак времени,
Скрытноцветные мои.

Скрыта тайна размножения
От людских случйных глаз,
Тайны вашего движения
Зашифрованы для нас.

С вами входит — вне экзотики —
Положительный заряд:
Ценные антибиотики
И эфирных масел ряд.
<1974>

1030. ЛЕЧЕБНЫЙ МЕТОД

Мой метод подсказан тайгою,
Написан тайгою глухою
Фармакологический свод.

Земная лесная малина
Заменит кусок аспирина
И тело мое разожжет.

Над раной колдую любою,
Колдую с пучком зверобоя
В умелых, надежных руках.

Как лучшее средство от страха —
С медведя сдираю рубаху,
И тем изгоняется страх.

А если особенно жарко,
Хлебая брусничной заварки,
Отлично сбивающей жар,

Гоню ревматизма ломоты,
Тружусь до целебного пота
И банный приветствую пар.

Я знаю попытки Галена
Бежать из таежного плена
В науку больших городов,

Я этим попыткам не верю,
Храню свои тайные двери
И тайны звериных следов,

Земных и зеленых растений,
Их зимние темные тени
Храню, берегу без труда.

Учил синантропа приемы,
Как надо лечить переломы,
Как каплет живая вода.

Обучен глухою тайгою,
Шагаю московской тропою,
Кошу на московском лугу.

Последний стакан допиваю
Таежного горького чаю,
Таежную честь берегу.
<1974>

1031. ЗАМЕТКИ ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

Я читаю газеты —
Образованный лось.
Вести с целого света
Мне свести привелось.

Чуть не каждое утро
Изучаю прогноз:
Как дела лесотундры,
Биогеоценоз?

Почерк странного края
Изучил я легко,
Где от ада до рая
Уж не так далеко.

Там холодного пресса
Невысоких небес
Возле карлика леса
Нависает компресс.

Слишком коротко лето,
Бесконечна зима,
Всех дороже на свете
Там лесная кайма.

Ибо тундра — ранима!
Тонок жизненный слой.
Раны — непоправимы,
Резки холод и зной.

Там прогнозом эрозий
Угрожает весна.
И в опасном прогнозе
Там весна — не одна.

Там бывает, что трактор,
Заготовщиком дров, —
Неожиданный автор
Буревых катастроф,

Обнаженные жилы
Вековечного льда

Рвутся солнечной силой —
И приходит беда.

Не беда — катастрофа.
Эрозийный процесс,
И библейские строфы
Учит заново лес.

Миллионы оленей,
Ибо тундра — щедра!
И в утиных селеньях
Тучи пуха, пера.

Драгоценность реликта —
Легендарный глухарь
Скачет прямо на пихту
И токует, как царь.

В вымирающей птице,
Обходящей людей,
Много тайны таится
Темных тундровых дней.

Сбережем этот нежный,
Этот жизненный слой,
Скрытый корочкой снежной
Над застывшей землей.
<*1974*>

1032

Не измерена часами
Служба важная моя,
И лесными голосами
Приглашен к бумаге я.

Отвергаю все приметы
В подготовке новых строк,
Поэтической диеты
Ограниченный паек.

Прославляю не расчеты,
Все расчеты — пустяки!
Неожиданность работы.
Озаренье — и стихи!
<1974>

1033

Тайны мира я все разгадал,
Их немного, немного, но все же
От разгадок не то, что устал —
Холодок пробегает по коже.

Я успешно себя защитил
На сраженье с таежным пожаром,
В пыль рассыпался юности пыл,
Но наверное все же недаром

Я прошел по скалистой тропе,
По завьюженной узкой тропинке,
Утонул в незнакомой толпе,
Как мельчайшая снега крупинка.
<Сер. 1970-х>

1034. ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ

Мое тайное оружие —
Пара не перчаток — плюх,
Радикальное и нужное,
Укрепляет плоть и дух.

Под одеждой незаметная,
А в уме в любой момент.
Веская, авторитетная,
Портативный инструмент.
1974

1035

Стихи — это дальний дар,
И нет благодарности богу
За этот душевный пожар,
За эту больную тревогу.

За этот подъем в облака,
Иллюзию всяких иллюзий,
За боль незаживших ран,
За помощь пушкинской музы.
<1975>

1036. 1956-й

Год возвращения в Москву,
Год неудач.
Бегун, упавший на траву,
Не плачь.

Не плачь, не осуждай газон,
Скорей вставай.
Все тот же колокольный звон,
Как и в дороге в рай.
<1975>

1037. В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

Настолько мало ждать могу,
Что полон безразличия
К тому, что видел на снегу,
Почти забыв приличия.

Настолько безразличен взор
К своим, к своим же бедствиям.
В портфель мой лезет <старый?> вор,
А я не начал следствия.

Настолько безразличен мне
Любой кунштюк издательства,
Ведь на войне как на войне,
Включая и предательство.
<1975>

1038. 155-й СОНЕТ ШЕКСПИРА

Когда на грани глухоты опасной
Мы тщимся бедной мыслью обуздать
Незавершенность музыки прекрасной
И образ Совершенства ей придать —

Так и ваятель, высекая искры,
Стремится в камне душу разбудить,
Так любящий безумствует, неистов
В своем желанье страсть опередить.

Так воин рвется смерть принять в сраженье…
Когда ж нас озарит разгадки свет?
Ведь счастье не в конце, а в продолженье
Мгновенья… Но кончается сонет.

Как отраженье вечности нетленной
Песнь вырывается у времени из плена.
<1975>

1039

Мой день расписан по минутам,
А также — ночь.
Лишь только наступило утро —
Заботы прочь!

Прочь этот ворох старых писем.
Их шорох — гром,
Где ряд необходимых истин
Добыт с трудом.

Прочь эти детские забавы —
Род шелухи,
Их не читать имею право
За все грехи.
<1975>

1040

Московская толчея —
Природа особого рода —
Она и моя, и ничья,
Особого рода свобода.

Она — это вид тишины:
Как будто лечебной рукою
В жилы мои введены
Микроэлементы покоя.

Московская толчея
Морскому прибою подобна.
Она и моя, и ничья,
И очень для жизни удобна.
1975

1041

Дождь редкий, точно вертикальный,
Как будто в небе есть отвес,
И старый мастер в час прощальный
Сливает капельки с небес.

Земле он перпендикулярен
И растекается не вдруг,
Описывая на бульваре
Почти что совершенный круг.

И в каждом крошечном листочке
Дождем хранится чистота:
Геометрическая точность
Или Эвклида простота.
<1975>

1042

В зимней шапке не случайно
Я приехал в этот край,
Постигая Ялты тайны,
Ненадежный этот рай.

Я надел тулуп нагольный
И с тулупом на плечах
Чувствовал себя привольно
В белых ялтинских лучах.

Опыт лиственниц повыше,
Чем высокий кипарис;
Когда лиственница дышит,
Ветви ходят вверх и вниз.
<1975>

1043

На земле полуострова Крыма —
Птичьих стай перелетный пункт.
Все крылатое — мимо, мимо!
Бесконечен воздушный путь.

Это трасса для всех пернатых,
Всех пернатых со всей земли,
Путешественников крылатых,
Что коснулись земной пыли.

Я улавливаю опереньем
Направление ста ветров,
Предназначенных для паренья,
Обеспечивающих кров.
<1975>

1044

Он покинул дом-комод,
Злое царство медальонов,
Пусть корабль его плывет
На простор чужих широт
С океанским громким звоном.

Где могучая волна
Сахалинской темной силы
Чехова лишила сна,
Обнажила жизнь до дна,
Юмористики лишила.
<1975>

1045. ЯЛТА

Бывали горы и повыше,
Была покруче крутизна,
Когда сползал с Небесной Крыши —
Сползал без отдыха и сна.

Бывали горы и покруче,
Но — опытнейший скалолаз —

Я не спускал с нависшей тучи
Усталых, воспаленных глаз.
<1975>

1046. МОСКОВСКОЙ НОЧЬЮ

Торопливой толпы теснота
В новом городе, снова просторном,
Где блестящая зелень щита
Для дыханья его благотворна.

Мой рабочий ночной кабинет.
Это мир его — бренный и тленный,
Окончанья которому нет
В галактической дали вселенной.

Раздвигающаяся твердь
Повтореньем ракетных аккордов,
Побеждающий самую смерть
Вездесущий, всезнающий город.

Мой рабочий ночной кабинет —
Плавка руд с содержанием грома,
Даже письменный стол, как макет,
Как макет твоего космодрома.
<1975>

1047

Каплет дождь святой водичкой:
Дьявол пьет,
Тычет в лед зажженной спичкой,
Тает лед.
Ожерельем кимберлита
Озарен,
Он нашел в гримасах быта
Верный тон.
Каплет дождь святой водичкой,
Дьявол пьет.
Сатане это привычно:
Горло жжет.
Горло жжет от фарингита,
От ангин.

И от неустройства быта —
Сто причин.
Так прощайте, Люциферы,
В добрый час.
Рад увидеть у пещеры
Многих вас.
Каплет дождь святой водичкой,
Бьет капель,
Попадает очень лично,
Метко в цель.
Как подобье некой пытки
В темя бьет.
С первой, кажется, попытки
Достает.
Мстит за ту вину чужую,
Бьет капель,
Заполняя ледяную
Ту купель.
Дождь как перья синей птички
В небесах.
Каплет он святой водичкой
В чудесах.
Появляется оттуда
Злым дождем,
Хоть ни чуда, ни причуды
Мы не ждем.
Каплет дождь святой водичкой
На мечты.
Где ты, синенькая птичка,
Где ты птичка-невеличка?
Где же ты?
Где лежат градины грома,
Птичий труп,
Затихающих у дома
Птичьих губ.
Птичьих труб гремит согласье
На полет,
Где очищен от ненастья
Небосвод.
1975

1048

Песенки той знакомой
Нервный живой мотив.
Голос около дома —
Ты — не мираж, не миф.

Лучшее все, что было,
Было мне на земле,
Песенки голос милый,
Тающий тихо во мгле.

Пусть он входит на карту,
Как островок Бимини,
Лоцией второго марта
В лучшие мои дни.
<1976>

1049

Нельзя строить на песке
Недоверия.
Карандаш держать в руке
Неуверенно.

Сдует ветер этот дом,
Домик карточный,
Тот, что выстроен с трудом
В пестром фартучке.
<1976>

1050

Где-то чего-то лишку,
Где-то недостает.
Я — записная книжка,
Я — путевой блокнот.

Найденный мной случайно,
Схваченный на ходу,
Все сохраняет тайны
Триста дней в году.
<1976>

1051

Коротко якутское лето
И скуден там солнечный свет.
Коровы там черного цвета,
Защитный спасительный цвет.

Ночуют коровы в пещерах
И там же рождают телят.
В обычных коровьих манерах
Такой колыбельный обряд.

Сигают по склонам, как козы,
Цепляясь в любой косогор,
Копытами лезут на звезды
С подножья извилистых гор.
<1976>

1052

Стихи — антихристово дело,
Их униженья, ложь, обман,
Обмен души на части тела,
Зловещий сатанинский план.

Высасывая наши чувства,
Как граф Дракула, как вампир,
Искусственнейшее искусство,
Захлестывающее мир.

Заманивая в наше детство,
Танцуя жизни на краю,
Отягощенное наследство,
Давно испытанное средство
Возникнуть чуть ли не в раю.
<1976>

1053

Мизантропического склада
Моя натура. Я привык
Удар судьбы встречать как надо,
Под крепкою защитой книг.

И всевозможнейшие скидки
Несовершенству бытия
Я делал с искренней улыбкой,
Зане — весь мир жил так, как я.

Но оказалось — путь познанья
И нервы книжного червя
Покрепче бури мирозданья,
Черты грядущего ловя.
<1976>

1054. ТИЦИАН И КАРЛ ПЯТЫЙ

Прославленный солдат был гибче Тициана,
Карл быстро подскочил, нагнулся, подал кисть,
Дарующую жизнь и смерду, и тирану
Прикосновением магической руки.

Придворный шум застыл при этой странной сцене,
Не виданной от века никогда.
Но Карл сказал: «Я только цезарь,
И Тициану рад служить всегда.

Я закажу ему и тем избегну тлена,
И разрешу бессмертия вопрос,
Портретов будет два: один герой военный,
Второй — старик, иссохший весь от слез».

И сохранилось два прижизненных портрета.
Противоречий истина полна.
Здесь два характера, два мира, два сюжета,
Две философии, а кисть была одна.
<1976>

1055. БОРИС БАБОЧКИН

Не Лету переплыл Чапаев,
А океан.
И киномуза не слепая,
Ей выбор дан.

Он выплывал на стрежень века,
Большой актер.

Прославил волю человека,
Со смертью спор.

Одолевая ту стремнину
В реке,
Он умер с нитроглицерином
В руке.
<1976>

1056. СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА

Чувства напрягаю —
Вроде, как у кошки.
Ночью помогают
Верный путь найти.

Где-то здесь запутаны
Стежки и дорожки.
Где-то тут оборваны
Торные пути.
<1976>

1057

Я четко усвоил, где «А» и «Б»,
И русской грамматикой скован.
Мне часто бывало не по себе
От робкой улыбки Рубцова.

За тот поразительный тотемский рай,
Отпущенный роком поэту,
За тот не вполне поэтический край,
В каком расположена Лета.

Поэты, купаясь в горниле столиц,
Испытываются без меры.
И нету предела — глубин и границ,
И нету химерней химеры.
<1976>

1058

В Ялте пишется отлично —
Что скрывать?
Музу здесь вполне прилично
И воистину логично
Энергично и тактично,
В поединке очень личном,
Уложить с собой в кровать.
И вести с нею до света
Важный разговор,
До внезапного рассвета
Затхлых крымских гор.
<1976>

1059

В Судейском переулке есть чуточку от Кафки,
В Судейском переулке тот расположен дом,
Где есть всегда потребность хотя бы в книжной лавке,
Где все ведут процессы законнейшим судом.

Здесь судятся со светом за строчки и за лиры,
По авторскому праву любой — специалист.
И в рукописном фонде от Лира до Шекспира
Ведутся эти споры за каждый божий лист.

В Судейском переулке на набережной самой
В морских прибойных брызгах означен каждый след.
Здесь бродят, как и прежде, все чеховские дамы,
Которым нет покоя и окончанья нет.

В пяти шагах от моря, в пяти шагах от счастья
Вывязывает город свой непреложный след.
И рвет флажок похода на крошечные части,
Чтоб выбросить на берег единственный ответ.
<1976>

1060

Ты ведь знаешь сама:
Тишина — это тьма.

Звуки — света лучи!
О, запой! Закричи!

Постучи в мою дверь,
Постучи хоть теперь.
<1976>

1061

Стулья — ненужная мебель,
Даже под ангельский гул
Ни на земле, ни на небе
Я не потребую стул.

Вовсе ненужный для тела
Мебельный агрегат
Пущен не может быть в дело,
Рай перед ним или ад.

Не подсказали ни строчки
Стулья натуре моей.
Даже сизифовы бочки
Были мне краше, важней.

Жизнь свою выслушав стоя,
Я не присел ни на час,
Чтоб отдохнуть после боя,
Чтоб рассчитаться с судьбою
Без аллегорий и фраз.
<1976>

1062

Косноязычие богов —
Неясность таинства для смертных.
И ты, поэт, и ты — таков:
Открытое тебе — несметно.

И не вмещается в тюрьму,
Где снова жесткая решетка,
И ты отыскиваешь тщетно
Равновеликое ему.
<1976>

1063. АНДРЕ МАЛЬРО

Он был французским энциклопедистом,
Как был Вольтер или Дени Дидро.
У всех энциклопедистов нрав неистов
И необуздано перо.

Он на испанской смелым был пилотом,
На бреющем, на арагонские поля,
И за упрямым этим самолетом
Следила вся тогдашняя земля.

Ее он звал к сопротивленью — в битву,
Чтоб, разорвав связующую нить,
Опередить, ускорить ход событий,
Машину времени пустить <...>
<1976>

1064

Я вспомнил бранные слова,
Какие слышал с неба,
Когда болела голова
И не хватало хлеба.

Я повторял всю эту брань,
Все эти ада бредни,
Когда с Юпитером на брань
Я вышел в час последний.

Сердясь, Юпитер отступил
К какой-то южной трассе.
Я поумерил его пыл,
Утихомирил страсти!
<1977>

1065

Нас водило перо Пастернака,
Но — в какой-то решительный миг
Обошлось без дорожного знака
Пастернаковских ранних книг.

Остановленное поминутно,
Закрепляя любой миллиметр,
Ощутило, хотя бы и смутно,
Но настойчивый блоковский ветр.

Укрепясь на позициях этих,
Мы опять зашагали вперед,
Подчиненные блокову ветру,
Слову Блока: «Поэт и народ».
<1977>

1066

Фучик, Карбышев, Джалиль —
Вот мои герои.
Не архивов древних пыль,
А сегодняшняя быль
О советском строе.
<1977>

1067

Мытье посуды — подлинное чудо,
Извлечено из пепла старых дней.
Мытье посуды — вовсе не причуда,
И с каждым днем я становлюсь сильней.
<1977>

1068

Я прожил жизнь неплохо
В итоге трудных дней.
Как ни трудна эпоха,
Я был ее сильней.

Я не просил пощады
У высших сил.
У рая и у ада
Пощады не просил.
<1977>

1069

Я был бы, наверно, военным
В иные, другие года,
Но рубль потерял неразменый
В осколках полярного льда.

Я брал бы Берлин, как Горбатов,
Колымский такой генерал,
Стоял б на горбатом Арбате
И в памяти не умирал.

Я был неизвестным солдатом
Подводной подземной войны
Всей нашей истории даты
С моею судьбой сплетены.
<1977–1978>

1070

Я выбрал черную дорогу,
Я выбрал черную весну...
<1978>

1071

Друзья мои все умерли давно,
И я один сражаюсь в одиночку.
<1979>

1072

Судьба у меня двойная,
И сам я ей не рад:
Не был бы я поэтом —
Был бы тогда солдат.

Судьба у меня такая,
И сам я этому рад:
Остался бы я неизвестным,
Поэт я или солдат.
<1980>

1073

Я ненавижу слово «исподволь»,
В моих стихах ему — нет места.
Движенье мысли словом не неволь:
В словах ползучих тесно.

Мне по душе мгновенные
Явления и сдвиги,
На остальное нет терпения
У автора сей книги.
<1980>

1074

Я современник Пастернака
И не забыл:
В сем теле рок боролся с раком,
Рак победил.

Но уступив дорогу раку,
И смерти вслед

Он в миллион печатных знаков
Свой врезал след.
<1980>

1075

Отдавал предпочтенье Асееву,
Я входил в его порт звуковой.
Это пальцы Асеева сеяли
Драгоценную зернь предо мной.

В кухне «Черного принца» накормленный,
Захлебнувшись на слове «гурман»,
Я копировал горло у горлинок,
Сыпал зерна в дырявый карман.

И сейчас, в предпоследнем движении,
Поднимая прощальный сигнал,
Я назвал бы Асеева гением,
Если б бог на меня не ворчал.
<1980?>

1076

Как таежник-эскимос,
Наедаюсь впрок,
Как велит мой тощий мозг
И мой нищий рок.

Самый первый мой глоток —
То, что повкусней,
Чтобы не отнял никто
Корочки моей.

Корку спрячу под матрас,
Если захочу
Подкрепиться до утра —
Ночью размочу.
<1980>

1077

Поэт — не дипломат.
Поэтому — убит.
Смертелен этот яд.
Смертелен этот быт.
<1980>

1078

Мало секунд у меня на веку,
Их сберегая,
Бью и кую за строкою строку —
Жизнь продолжаю.
<1980>

1079. СВЕРЧОК НА ПЕЧИ

Человеческий шорох и шум
Предваряют мое пробужденье,
Разгоняют скопление дум,
Неизбежных в моем положенье.

Это, верно, сверчок на печи
Затрещал, зашуршал, как когда-то,
Как всегда, обойдусь без свечи,
Как всегда, обойдусь без домкрата.
<1980>

1080

Не буду я прогуливать собак,
Псу жалко
Носить свое бессмертие в зубах,
Как палку.

В раю я выбрал самый светлый уголок,
Где верба.
Я сердце бросил — он понюхал, уволок,
Мой цербер.

Кусочек сердца — это ведь не кость,
Помягче, и цена ему иная,

Так я вошел, последний райский гость,
Под своды рая.
<1980>

1081

После ужина — кейф,
Наше лучшее время,
Бог открыл свой сейф
Перед всеми.

Головой — в одеяло,
Кабинет мой рабочий,
И стихи все сначала
Повторяю я ночью.

Мозг гудит до утра,
Как и раньше — мгновенно,
Выдавая стихи на-гора
Неизменно.
<1980>

1082

В гулкую тишину
Входишь ты, как дыханье,
И моему полусну
Даришь воспоминанье.

Прикосновенье твое
К моей бесчувственной коже
Гонит мое забытье,
Память мою тревожит.

Горсть драгоценных рифм
К твоему приходу готова,
Ртом пересохшим моим
Перешептано каждое слово.

Тонкой струей текут
Они в твои ладони:
Жизнь, упорство и труд,
То, что вовек не утонет.
<1980>

1083

Наверх выносят плащаницу,
Напоминающую стелу.
Гусей осенних вереница
Плывет над тем Христовым телом.

Я занят службою пасхальной,
Стихи читаю в стихаре.
Порядок мира идеальный
По той мальчишеской поре.
<1980>

1084

Я острижен под машинку,
Голой головой
Исследую картинку
Под Москвой-рекой.

Я хочу добиться толку
От своей судьбы.
Здесь мешают мне и волки,
И рабы.
<1980>

1085

Яблоком, как библейский змей,
Я маню мою Еву из рая.
Лишь в судьбе моей — место ей,
Я навек ее выбираю.

Пусть она не забудет меня,
Пусть хранит нашу общую тайну:
В наших днях, словно в срезе пня,
Закодирована не случайно.
<1981>

1086

Чтоб не быть самосожженцем
Или Аввакумом,

Я усилием последним
Прогоняю думы.
<1981>

1087

Я на бреющем полете
Землю облетаю,
И тщеты земной заботы
Я теперь не знаю.
<1981>

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ШУТОЧНЫЕ СТИХИ, ЭПИГРАММЫ, ПЕРЕВОДЫ

1088. ОРИНОКО

Если чувствуешь себя ты одинокой,
Если ты обыграна судьбой,
Приезжай ко мне на Ориноко,
Ты меня порадуешь собой.

У тебя холодные колени,
Крепкая и ласковая грудь,
Я иду сейчас на преступленье,
На большую и фальшивую игру.

Ты прочтешь, пожалуй, с удивленьем,
Впрочем, может быть, тебе и не понять.
Это приглашенье — преступленье,
Это приглашенье — западня.

Вижу дрожь и робость губ девичьих,
Крупных глаз порочную раскось.
Но рассказу о прошедшем удивишься,
Не подумаешь, что это просто ложь.

Вижу, ты доверилась обману
И в бровях решительность легла.
Комкаешь и в клочья рвешь бумагу,
И швыряешь бланки телеграмм.

И приходит: выезжаю вторник
Поездом четыре пятьдесят.
Дальше — имя, брежу я которым
И в немыслимых склоняю падежах.

Ты стоишь у незнакомой двери,
Передав порывистость звонку,
Значит, снова молодость доверишь
Матершиннику, поэту, пошляку.

Третий день дождливая погода.
В клетчатом сияющем плаще,
Вся в воде, ты удивленно входишь,
Как в музей неведомых вещей.

И в табачном фиолетовом угаре,
В липких лужах южного вина
Принесенная улыбка затухает
И опять ты бешенством бледна.

Я совсем не золотоискатель,
Просто в жизни слишком повезло.
Оттого вином залита скатерть,
Что держать умею я весло.

Взгляд мой точен, выверен и зорок
И тверда по-прежнему рука.
Обману прибрежные дозоры
В отмелях бесшумного песка.

И путаясь, шепчешь ты: «Зачем же?»
Но тебя нельзя мне потерять.
И зубов твоих опять целует жемчуг
Полупьяный устричный пират.

И тебе не вырваться обратно,
Заперта решетчатая дверь.
Все равно любовницей пирата
Ты была — и будешь ей теперь.

И тогда, в небывшее поверив,
И брезентовый отбросив капюшон,
Ты покажешь дуло револьвера
И сквозь зубы скажешь «хорошо».

У тебя холодные колени
И в глазах расширенных — мираж.
Это верно — тоже — преступленье:
На руках любимой умирать.

<Конец 1920-х>

1089

Игрою детской увлеченный,
Я наблюдаю много лет,
Как одноногие девчонки
За стеклышками скачут вслед.

Мальчишки с ними не играют,
А лишь восторженно галдят,
Когда такая вместо рая
Вдруг попадает прямо в ад.

И неудачнице вдогонку
Грозятся бросить кирпичом.
На то она ведь и девчонка,
Им все, девчонкам, нипочем.

<Конец 1920-х>

<Ключ Дусканья>. Из первых колымских тетрадей, посланных Б. Пастернаку (1949–1951)

1090–1095. Трактат о вере

1

Последним, может быть, дыханьем
Я вызвал пламя из угля,
Огня могучим колыханьем
Моя наполнилась земля.

И в белой ледяной пустыне
Наедине с Огнем
Шептал и я слова простые,
Молитвы древние о нем.

2

Скрывалось солнце на полгода,
Но нынче — боже мой,
Как заторопится погода,
Как всем захочется домой.

Как торопливо вьются гнезда
И рыба мчится к отмелям,
И некогда смотреть на звезды
Тебе, весенняя земля.

Цветам, деревьям и букашкам,
Им с солнцем только и пожить,
Без кривд, обмана и лукавства
Смеяться от души.

3

Я горстью, воин Гедеона,
Пил воду из таежных рек,
Я и тогда, во время оно,
Был незлобивый человек.

Но на горе древней Синая
Услыша гордые слова,
Я меру новую узнаю,
Которой мерит Егова.

4

Добро и зло, тепло и холод,
Поток огня и косность льда.
Мир на сравнения расколот
И чувства душу бередят.

Когда и счастье — лишь причина
И повод завтрашних тревог,
Когда живые — мертвечиной
Пропахли с головы до ног.

И то, что будет ли, не будет
Назавтра солнце — все равно —
Тогда услышать голос Будды
Тебе впервые суждено.

5

Уча законам всех религий,
Тайга, однако ж, неспроста
Одной лишь не раскрыла книги:
Евангелия Христа.

<1949–1950>

1096

Весна заразна, как повальная болезнь.
Как север ни силен — с ней справиться не может.
И машут розовые ветки тополей,
И блещет ивовая лайковая кожа.

Уж все хламье травой поприбрано к рукам
И ногти лиственниц натерты изумрудом.
И небо низко так, что кажется: оттуда
На горы выливается река.

На небе звезд уже не видно с месяц.
Ночь помогает дню в весенней суетне.
В лесу живут деревья без теней,
И Шамиссо здесь вовсе не чудесен.

Едва закончен птичий перелет,
Едва медведи вышли из берлог,
Едва река себя почувствовала мелкой,
И, обогнав весну, уже рожают белки.

В дороге, что ни шаг, то и новинка.
И ландыш лезет прямо из-под ног,
И студит чашечки на позабытой льдинке,
Чтоб потный тетерев воды напиться мог.

Все разом царствует и взапуски цветет.
И только к утешенью ретрограда
По заберегам старый лед
Цедит по капле зимнюю прохладу.
<1949–1950>

1097. КОСТЕР

Мы пальцами хватали пламя
И дым ловили в рукава.
Костер, заговоривший с нами,
В снегу ворочался едва.

В тот миг накрыть бы только шапкой
Жар-птицы теплое гнездо,
Заткнуть костру бы глотку тряпкой,
Чтоб он издох.

И рядом с ним, костром потухшим,
В снегу ничком лежали б мы,
Что может быть на свете хуже
Холодной тьмы?

Но мы иззябшими руками
Валили хворост до небес,
Мы снег прожгли огнем до камня
И мрак загнали в дальний лес.

И, горло наскоро прокашляв,
Костер заводит разговор
На языке родном, на нашем,
Среди глухих январских гор.

Мы все иззябли, все устали,
К пенатам потеряли путь,
Мы верить в бога перестали
И прокляли судьбу.

Не дорожа затлевшим платьем,
Колени пред костром склоня,
Мы слушали для всех понятный
Язык огня.

И мы глядели друг на друга,
И каждый догадаться мог:
В таком костре и брал свой уголь
Известный пушкинский пророк.
<1949–1950>

1098

Я летом брежу веснами
И в дождь зову пургу.
Угодья сенокосные
Мне чудятся в снегу.

И машут мне фуражками
Осенние грачи.
И манят жаждой тяжкою
Иссякшие ключи.

Мне боли жаль испытанной,
Ушедшей боли жаль.
И книга так прочитана,
Что слез не удержать...
<1949–1950>

1099

Опять метель пойдет вприсядку
Под окна русскую плясать,
А мне опять вообразятся
Домашней жизни чудеса.

Дымят в снегу деревни наши
Кривые, как черновики,
А на пороге пляшет Маша,
Закинув за спину коньки.

И мы бежим на разноцветный,
Горящий плошками каток.
Нас тянет юношеский ветер
И в уши свищет, как свисток.

Лет через десять в повороте
У самой северной горы
Мы натыкаемся на что-то,
Что посерьезнее игры.

Там, в промороженном тумане,
По склону горного хребта
После веселого катанья
Провозит саночки мечта.

На дне таежной горной ямы
Вздыхает холодом каток,
Залитый летними дождями,
Морозом сдержанный поток.

Скульптурный сон речного плеска,
Он солнцем выглажен до блеска,
Хранятся тысячей веков
На льду следы времен библейских
Езекиилевых коньков.

По этой ледяной сторонке,
Скользя на лезвии ножа,
И мы прокатимся с сестренкой,
Друг друга за руки держа.
<1949–1950>

1100. ИЗ ПОЭМЫ «АЛЕКСАНДР ПОЛЕЖАЕВ»
ГЛАВА II

В монахи, что ли? В кельях Соловецких
Когда-то мальчиком он побывал с отцом.
Там манускрипты он прочел Сильвестра,
Проклятого Ивановым дворцом.

Что в них? Обида выброшенных за борт
Тонущего в пучине корабля.
Ему в овчинку небо показалось,
Когда разверзлись небо и земля.

Там нет любви к собратьям нашим меньшим,
Не ум, а чин затолкан под клобук,
Берет реванш его преосвященство
За поскользнувшуюся светскую судьбу.
....

Вино? Он с детства ненавидел пьяных,
Внезапных ухарей, неудержимых плакс,
Облеванных закусками буянов,
Героев подозрительных романов,
Никчемных споров и ненужных драк.
....

Жаль, что он стать не может музыкантом,
Приманкой в музыку он горе б утопил,
Людскую б страсть он выудил талантом,
На чердаке бы спрятал от толпы.

Монеты звонкие в ночи перебирая,
Не смея все богатство перечесть,
Он рыцарем скупым сидел бы в темном рае,
Забыв про молодость, про славу и про честь.
....

Быть живописцем? Вот занятье для мужчины.
Поработителем, мечтателем — на холст
Живую жизнь тащить полунагой,
Загнать ее в квадратные аршины
И мучиться. И потерять покой.
....

А книги — что? В резном отцовском шкафе
Он даже мысли смелой не нашел.
Там гнулось в три погибели лукавство
Пред цензорским карандашом.

Романы пишет дядя угреватый,
В литературных числится вождях.
Он уши затыкает ватой,
На улицу тревожно выходя.

(Уже потом пришли другие книги,
Ночей и дней сбивая мирный счет,
Они всю жизнь звенели, как вериги,
Для подвига надетые душой).

Что ж для тебя? Подкрашивай, копируй,
Коль не родился гением. А если гений ты,
То и тогда бледней перед судьбой Шекспира,
Чьей и могилы-то лет двести не найти.

Ведь после смерти хочется пожить,
Хоть книгу написать, хоть сад какой фруктовый
Над низкою землей поднять хоть на аршин,
Хоть самому себе надгробье изготовить.

О, как он по ночам завидовал талантам,
Его смущала их нечеловечья власть,
Когда весь мир хотел попасть в балладу,
И на струну, на полотно попасть.

А впрочем, снисходительная Муза
К нему нередко отворяла дверь,
Он треском рифм — шаров бильярдных в лузу
Заигрывался до утра теперь.

Друзья тоскливо хлопали в ладоши,
Покорно вторя одобренью дам.
Вот, кажется, он и до славы дожил
Или — запутался в ее следах?

Он скоро понял, что посмешищем трактирным
Недолго стать повесе из повес.
Иль будет петь, как соловей в картине.
Нет-нет. Он, слава богу, не певец.

Благодарит за честь. Князь Петр, конечно, шутит.
Нет, не поэт. И с Музами — ни-ни!
Тогда пошли один другого жутче
Отшельнические дни.

Внезапно, сгоряча он поступил в гусары,
Чужим решеньям подчиненная судьба.
Не выбирая, жить — вот что искал в казарме,
И в зеркале он не узнал себя:

Как будто кандалы блестящие надеты.
Теперь припомнится, пожалуй, и Сильвестр.
Но накрепко к плечам прибиты эполеты,
И с каждым днем шитье его колета
Грудь стягивает все сильней.

Да, с каждым днем теснее эти узы,
Трудней идти и тяжелей дышать.
И вот тогда догадливая Муза
Огрызок подтолкнет карандаша.

Он вызвал всех старух себе на помощь,
Любовь и верность, справедливость, честь.
Он с детства их считал в числе своих знакомых,
Но и родня ему меж ними есть.

Мир совестью берется только с бою.
Пускай не люди — книги мужества займут.
Для этих споров, ссор с самим собою
И суток недостаточно ему.

Кой черт ему придворная карьера,
Притворщиков зализанный камзол,
Ведь совесть у него в портных, и верно
Он выбрал наименьшее из зол.

И пусть себе он голову здесь сломит,
Засадят в желтый дом лишенного ума,
И громко зазвучит в огромном желтом доме
Созвучье: терем и тюрьма.

И расстегнув крючки проклятого мундира,
Спалив в неделю свеч свой годовой запас,
Стихом он зарядил военные мортиры
И к пушке подтянул запал.

Былого шутовства и не найдешь следа там.
Рви, жги — но только не солги...
....

Его пора разжаловать в солдаты
И, кажется, не только за стихи.
<1949–1950>

1101. НАДПИСЬ НА ВОРОТАХ

Сюда я полз безногим инвалидом
Через болота, камни и леса.
И все-таки нашел сады Семирамиды
И райских птиц услышал голоса.
<1949–1950>

1102

Мне есть куда пойти войной,
Кого в могилу гнать.
Мне есть с кем пить мое вино,
Победу пить — до дна.

Еще моим достанет псам
Пушистого зверья,
Что прячется в густых лесах
От моего копья.

Мне есть кому смотреть в глаза
В моем простом дому.
Мне есть что детям рассказать
И богу моему.
<1949–1950>

1103

Проходит май. А гости снова те же:
Тайга, согревшись, сбросит мокрый снег,
Войдет в осенней выцветшей одежде,
Ей не на что обнов купить к весне.

Кому продаст брусничные гектары,
Кедровых шишек свалит вороха?

Пускай обновы носят хлебодары,
У них пшеницей ломятся амбары,
У них овец не считаны отары,
Им приодеться — просто чепуха.

Здесь певчим птицам не хватает корма.
Овес — для лошадей. К тому ж он завозной.
Зачем же соловьям здесь попусту драть горло
И лгать, и осень называть весной?

Тайга и Золушкой могла бы здесь прикинуться,
Ей хватит золота купить любой наряд,
Ей быть велят простой рабочей схимницей,
Бессребренницей, говорят.

И сколько лет на юг мы золота ни возим,
Каких мехов туда ни вывезут от нас,
Здесь зиму все равно глухая сменит осень,
А не зеленая нарядная весна.
<1949–1950>

1104

Ты никогда уже не будешь
Моею венчанной женой.
Как добрые ни ждали люди
Бренчанья свадебной посуды
Над деревенской тишиной.

И наши северные пряхи
Довольно ткали по ночам,
Чтоб в херувимскую рубаху
Одеть знакомого неряху
И кудри выстлать по плечам.

Полуслепые кружевницы
Узорный шарф сплели такой,
Каким девические лица
В монастырях в больших столицах
Оберегают свой покой.

Горбатый ласковый сапожник
Обновы сшил без каблуков,

Чтобы по облаку в дом божий,
Как по домашней сонной пожне
Ты шла бесшумно и легко.

А мне достанется озерный
Ночных очей знакомый цвет.
И мне у гроба не зазорно
Глядеть в твои глаза покорно,
Огнем свечи сдержав рассвет.

И вскоре, краски перепутав,
Мертвецкой дверь отворит тот,
Кому по силе это утро,
Кто все грехи простит как будто
И к лику чистых сопричтет.
<1949–1950>

1105. СУМЕРКИ

Задерни штору на окне,
Прибавь огня.
Ты улыбаешься — не мне,
А плачешь — для меня.

Пусть в полутьме тебе к лицу
Полуоткрытый рот.
А верность, верность мертвецу
В твоих глазах живет.

Так улыбаться для меня
Не надо — я не жду
Чужого темного огня,
Даже в бреду.

Настанет день, настанет час,
Ты пальцы мне сожмешь,
Еще краснея и дичась,
За правду выдашь ложь.

Но без обмана, без стыда
Твой улыбнется рот.
Тогда — о, только лишь тогда
Мертвец умрет.
<1949–1950>

1106

Уложенной, взбитой до бального лоска,
Едва удержавшейся на голове,
Качает сосна старомодной прической,
И шпильки рассыпаны на траве.

Ей гнуться и кланяться, словно невесте,
Последнего танца запомнив мотив,
И платьем шуршать, и с прохожими вместе
Топтаться на месте, объятья раскрыв.

Но в бурю она покачнется и рухнет,
И сучьями схватит чужое окно.
И в комнате свечи внезапно потухнут,
Что к бурям привыкли давно.
<1949–1950>

1107

Я лампу, как трактор, заправил бензином,
Надел полушубок, оттаял перо.
Мне снова ночами скитаться средь зимних
Запутанных, вязких таежных дорог.

Весной я судился — и был оправдан,
Хоть бочка бензина — не пустяки.
На этом горючем, у трактора краденом,
Всю зиму я нынче писал стихи.
<1950>

1108

Расписывай, раскрашивай
Тот позабытый дом,
Где не было по-нашему,
По-нашему — ладóм.

Там было день по-твоему
Да было день по-моему,
Казался там обоим нам,
Как в гости, путь домой,

Приманками — букетами
Оранжерейных роз,
Пакетами с конфетами
В предупрежденье слез.

Вот чем они запомнятся,
Немые вечера,
Глухие эти комнаты,
Осенняя пора.

Опущенный над пяльцами
Непримиримый взор.
Исколотые пальцы,
Забывшие узор.

И вся в табачном дыме
Квартиры пустота.
Мы были молодыми
Но не тогда, не там.

Перебирая прошлое
Сейчас издалека,
Чего же там хорошего
Хотела ты искать?

У памяти не спрашивай
Дороги в этот дом.
Там не было по-нашему,
По-нашему — ладóм.
<1949–1950>

1109

За то, что тайное огласке,
Огласке гулкой предала,
Что обнародовала ласки
И масок сказке не нашла,

Я нынче пробую в единственный,
В последний раз солгать теперь.
Осатанелый и воинственный,
Тебе я не открою дверь.

Истерзанной и одичавшей,
Тебе до света суждено
Одежду рвать в колючей чаще
И без надежд опять стучаться
В мое горящее окно.

Но по щекам твоим, надменная,
Не слезы ревности текут.
Их дождь и град попеременно,
Свирепствуя, секут.
<1949–1950>

1110

Вечерний холодок,
Грачей ленивый ропот,
Стихающий поток
Дневных забот и хлопот.

И вижу, как во сне,
Бесшумное движенье,
На каменной стене
Влюбленных отраженье.

Невеста и жених,
Они идут, как дети,
Как будто кроме них
Нет никого на свете...
<1949–1950>

1111

Тебе нетрудно постареть
Здесь в четырех стенах.
Ты будешь истинный мудрец,
Покамест сир и наг.

Надень же нищенства суму,
Иди в народ.
Завидуй брату своему,
И брат умрет...
<1949–1950>

1112. SILENTIUM

Кровь и обиды,
Все, что ты видел,
Если вернешься домой,
Помни немой.

В пьяном чаду,
В малярийном бреду,
Либо
На дыбе,
Где мышцы твои рвут палачи,
Молчи.

В счастливом сне
Любимой жене
В свете зари
Не говори.

Даже отцу
Мертвецу
На могиле
Ведь не расскажешь были.

Матери — помоги.
Матери — лги.

Дочери,
Сыну
Ночью
Синей,
О том, как ты жил,
Не расскажи.

И другу
Сжимая руку,
К тайнам своим отдавая ключи,
Про это — молчи.

Но на последнем встав пороге,
Устав и от правды, и от лжи,
Богу,
И то немного,
Все-таки расскажи!
<1949–1950>

1113. ЖИВАЯ ВОДА

У сорванных цветов ты гордости учись,
Их никакой водой не выкормишь в неволе.
Сухие их глаза слезами не смочить,
Не разделить их молчаливой боли.

Все суше тело их и все спокойней взгляд.
Руками опершись о край стеклянной банки,
Они бестрепетно в твои глаза глядят
И стоя, умирают спозаранку.

Но после, мимо свалки проходя,
Ты изумлением до крайности встревожен
И чувствуешь: после дождя
Вдруг холод пробежал по коже.

В смятенье ты остановился тут,
Не отведешь глаза от вырытой могилы:
Умершие цветы перед тобой цветут,
Приподнятые дождевою силой!

<1949–1950>

1114

Чужой игры, чужой ошибки,
Чужой усталости залог
Я мог бы взять тогда с улыбкой,
«И был бы счастлив, сколько мог».

Дорогой этой без притворства
Никто, пожалуй, не ходил,
Как трудно вовремя быть черствым,
Когда мы нежности хотим.

Но с детства будучи приучен
К достойной женской прямоте,
Я принимал ее за случай
Неосторожности в мечте.

Я чувства твоего не стоил,
Но мог предсказывать о том,
Какой разгадкою простою
Все образуется потом.

Когда другие схватишь руки
И счастье наспех сочиня,
Другому будешь ты подругой,
Умея позабыть меня.

Как хорошо, что мир, смещаясь
В тенях и призраках планет,
Закрыл от нас звезды несчастья
Прямой неосторожный свет.
<1949–1950>

1115

Положен жестяной венок
У маминых опухших ног,
Покойно в комнате, как в склепе.

На кухне мне дают пирог,
И долго горла поперек
Стоит кусок чужого хлеба...
<Декабрь 1950?>

1116

Быть может, представится случай
Открыть и на север окно,
Московскою темною тучей
Завешенное давно.

И пальцами тучу сырую
Ты схватишь и в клочья порвешь,
И руки в блестящие струи
По локоть окунуты в дождь.

Стряхнувши последнюю воду,
Увидишь опять синеву.
Безоблачную свободу,
Небесную нашу Москву.
<1949–1950>

1117

Последним солнцем обожги
По-летнему горячим.
Уже и осени шаги
Послышались на даче.

Она ступает по кустам
Подошвой раскаленной.
И листья рвет то здесь, то там,
Приюта нет влюбленным.

И ты, мой друг, поторопись,
Осенний день короток.
Увертки узенькой тропы
Не завели б в болото.

Где было наше лето — там
Такая будет слякоть,
Такая грязь и темнота,
Что впору только плакать.
<1949–1950>

1118

Выпей, Таня, за мое здоровье,
Пьяная и богу помолись.
Дескать, пусть хоть капля той голгофской крови
Ляжет на пути мои.

Видя в этом знаменье и милость,
Смело я пройду садами зла.
Только б, Таня, ты не изменилась,
Пьяная б да умная была.
<1949–1950>

1119. В ДОЖДЬ

Пока громовый бас
Глушил капеллу ливня,
Я думал здесь о вас
Несмело и наивно.

Что, не найдя дорог
В подлесках и опушках,
Шагнете за порог
Моей простой избушки.

Промокшая насквозь,
Спасению не веря,
Повесите на гвоздь
Пальто у самой двери.

Сидите у огня
В моей овчинной шубе,
Приличие храня,
Подкрашивая губы.

И мокрое белье
Растянуто у печки,
А дождь все льет и льет,
Наверное, навечно.

И волосы связав
В тяжелый мокрый узел,
Поднимете глаза,
Ни капельки не труся.

Но тенью на стене
На белой простыне
Заломлены в испуге
Протянутые мне
В мерцающем огне
Сверкающие руки.

Сегодня в первый раз
И грубой, и земною
Вы были глаз на глаз,
Лицом к лицу со мною.
<1950?>

1120

Ты сердись, как ветер, как метель,
Дуй подряд все пятьдесят недель.

Невеселые глаза мои слепи.
Ледяным дождем своим крепи.

Замети мои дороги и пути,
В веру новую, чужую обрати.

И чтоб был я и в почете, и в чести,
Ты причастьем страшным причасти.

Заведи меня в хрустальные сады,
Там, где крови больше, чем воды.

Там, где лед алее алых роз,
Где семидесятиградусный мороз.

Эти льдины выруби скорей
И в железной печке разогрей.

Хвои подмешай туда настой
Пополам с усталою мечтой.

Эту чашу — вовсе неспроста
Пью во имя Господа Христа.
<1949–1950>

1121. АВГУСТ

Предсказатель осенней погоды,
Ближний куст одевается так,
Точно в городе новую моду
На бульвары приносит чудак.

Из окошек, из подворотен
Тычут пальцами, сплетни плетут
Про бесстыдного фанфарона
В петуха разодетого тут.

Оскорбленные дерзостью дамы,
Два шага до него не дойдя,
Поворачиваются, и прямо
Попадают в прикрытье дождя.

Летний, солнце скрывающий ливень,
Как новелла с хорошим концом,
Русский дождь, грозовой, торопливый
Нынче в грязь ударяет лицом.

Нынче он изменяет характер
И становится вовсе не тот,
Он уже не грохочет, как трактор,
А бесшумно и холодно льет.

И меж мокрыми выбрав погожий
И похожий на летний, денек,
Приодеться по-модному может
Каждый куст, каждый листик прохожий,
Заформить с чудаком заодно.
<1950>

1122. ШЕЛКОПРЯДЫ

Что наша связь? Паутинка, не более.
В стороны руки, смеясь, разведи.
Кончится все — без стыда и без боли,
Может, с минутным стесненьем в груди.

Если же прясть паутину ночами,
Как шелкопряды, не зная сна,
Ниточка, слабая так вначале,
Крепость и власть обретет она.

Вей из нее якорям канаты,
Вей неразрывную силу надежд,
Тки красоту, нарядись, если надо,
В самые светлые из одежд.

Памятью, смехом, косящим взглядом,
Мокрыми стежками писем крепи...
Дерево — то, где живут шелкопряды,
Темной, скупою слезой окропи.
<1950>

1123–1125. ИЗ ВАЛЬТЕРА СКОТТА

I

Я псом цепным был у любви моей
Еще с наивных юношеских дней.
Когда-то с ней, смеясь, мы шли туда,
Где жгли огни ночные города,
Мы шли садами пьяного разврата
Среди поэм и од витиеватых.
И здесь, как в цирке, гнулось лицемерье
Перед воронами в павлиньих перьях.
Она взглянула — и ее глаза
Застлала мутная, тяжелая слеза.
Я спрятал голову ее к себе на грудь
И труден был потом мужской мой путь.
Я с ней ушел на северные горы,
Я принял слезы, униженья, горе,
И чтоб хоть эту честность сохранить,
Сам вытесал тюрьмы ее гранит.
Сокровища любви моей священной
Я поместил в таежные ущелья,
Я их зарыл в пустыне золотой
Нетленными под вечной мерзлотой.
Я выдумал красавицу такую,
Что никогда не встречу на веку.
И перед всеми и в мороз и в зной
Я называл ее своей женой.
На рыцарский турнир я оседлал коня —
Якутскую худую лошаденку.
Скакун арабский не догнал меня,
Когда мы к счастью гнались вперегонку.
Я победителем вернулся в замок мой,
Моя любовь звала его тюрьмой.

II

Я ненависть мою не сторожил.
Наместник дьявола, угрюмый старожил,
Я двери сторожил для еретички-ведьмы
И в честь ее я сочинял обедни.
И богу вдохновенно помолясь,
Она пошла топтать людскую грязь.

Нет, ненависть мою я не берег,
Она пошла по тысяче дорог
На запад, на восток, на север и на юг
В дыму от зноя и в дыму от вьюг.
Она, крича, входила в города
Без паспорта, без страха и стыда.
Она крепила слабые сердца
И поднимала к бою мертвеца,
И заживо горела на кострах —
Любви моей любимая сестра.
Сестра любви, ее надежда, вера —
Она была бессмертней Агасфера.

III

Я умер поздней осенью, чтоб травы,
Родные мне, успеть одели траур,
Чтоб было время даже у земли
Грехи мои пред богом замолить.

И у меня была своя семья:
Любовь моя и ненависть моя.
Им отдыхать на гробе лишь моем,
Затворнице и страннице — вдвоем.
<1949–1950>

1126

Маше Тепловой

Пусть силой слабая, ты слабостью сильна,
Была сильнее зелена вина.
Когда-то ряженая крашеная кукла...
Твои подошвы от ходьбы распухли
В изорванных казенных башмаках,
И пузыри мозолей на руках.
Тобой владели раньше пустяки:
Тоскливые сонаты и стихи,
Ты брови хмурила, увидя близко нищих,
И в двадцать лет не видела кладбища.
Твои морщины были отпечатком
Печали по утерянным перчаткам.
Здесь щеки в складки вытюжил холод,
И шрамы на лице оставил голод.

И помутневшие твои глаза
Никак не может высветлить слеза.
<1949–1950>

1127. КАРЕТА ПРОШЛОГО

Мы едем вскачь в карете прошлого,
В какой-то драной кошеве.
Ее везут хромые лошади
По чуть притоптанной траве.

И я поглаживаю ласково
Состарившийся экипаж.
Он, может быть, еще Атласова
Возил из кабака в кабак.

Тряся грабительскою грамотой,
Царевой шапкой одарен,
С огнем таскался по горам он там,
В которых сам он был царем.

Кругом обложенный пищалями,
В якутских стойбищах скакал.
Ему дорогу освещали
Пожары, звезды и снега...
....

Сидел ли в ней географ Черский,
Таежной схимою пленен,
Но вместо Киево-Печерской
Иную лавру выбрал он.

Его увенчивают лавры
В краю, где сроду лавров нет,
Где доктора и бакалавры
Гребут с его могилы снег...
....

Быть может, безымянный ссыльный,
Как я, такой же стихоплет.
Как я, голодный и бессильный,
Проваливался в ней под лед.

И на костре сушил отрепья,
И вдруг, доверившись тайге,
От жизни ничего не требуя,
Навстречу выходил пурге...
....

Все говорят: в таких каретах,
Как ты ни погоняй коней,
Тебе вперед дороги нету,
Хотя бы и в виду огней.

Поедешь влево или прямо,
Поедешь вправо — все одно.
Как кстати здесь была бы яма —
С каретой треснуться на дно.

Я выбрался бы из обломков
Чудесной нашей кошевы,
Я б подобрал свою котомку
И, как оставшийся в живых,

С запасом вяленой оленины,
Со спичками и табаком,
К огням последнего селения
Пошел бы, как поэт, пешком.
<1949–1950>

1128. БЕНЗИН

Поздно. Заглохло. Затихла машина.
Клапаны, слышишь, совсем не стучат.
Оба мы — женщина и мужчина
Очень устали сейчас.

Нам бы дойти до ближайшей избушки,
Нам перегреться, передохнуть.
Нам бы хоть спирту по полной кружке
С горя хлебнуть.

Сколько же раз нам дано обмануться,
Путая ветер с шорохом шин.
Нам хоть домой бы вместе вернуться.
— Нету машин.

Так и стоим на пустынной дороге.
Если бы снова любовь да совет.
Впрочем, и ждать уж осталось немного,
Скоро рассвет.

Ветер шумит, точно автомашина,
Грузно взбираясь на горный склон.
Но и ему не хватает бензина,
Глохнет и он.
<1949–1950>

1129. ПРИЗНАНИЯ–I

Я чувствую себя неправым,
Упорствующим в пустяках
И забывающем о главном —
Твоем нечеловечьем праве,
Упрямая моя тайга!

Я — как ни бейся — на запятках
Твоей кареты ледяной.
Я все еще чужой в распадках,
Поденщик на страде лесной.

Я все еще как будто нанят,
Точнее выражусь: пленен
Твоими ледовыми снами,
Когда весна идет не с нами,
А там — за синими морями,
Холодной брезгуя страной.

И вовсе не у пышных пашен
Или причудливых садов
Сошлись навек дороги наши
Среди тысячелетних льдов,

Давно уж доброго не ждущих
От погнутой земной оси.
И не возникнет мир цветущий
Из равновесья диких сил.

Здесь время меряют пространством,
Здесь постоянство навсегда,

И нету слов «теперь» и «раньше»
В стране беспамятного льда.

Отдай мне бедные угодья,
Отдай болота, камни, мхи,
Они вполне еще пригодны
Для матерьяла на стихи.

Но знай: ты мне совсем не случай
Зарифмовать с десяток строк.
Я веточкой любой измучен,
Как только выйду за порог.

Любой истерзанной травинкой,
Хрустящею под сапогом,
Любой в пути отставшей льдинкой,
Догнавшей ледоход бегом.

Бегу друзей, бегу из дома,
В болотах вязну, бормоча
Проклятия под хохот грома —
Очередного палача.

А ты, как в шутку, мимоходом,
От краснобайства в стороне,
Любую делала погоду
В своей стране.

Когда я по твоим дорогам
Ходил в изорванных лаптях,
Ты лыко ставила мне в строку,
Со мною вовсе не шутя.

Я подражал твоим поступкам,
Учился у тебя, как мог,
Толок речную воду в ступке,
В уступах каменных толок.

И мне казалось: с нашей встречи
Когда бы дело шло на лад,
Ты стала б как-то человечней,
И ближе людям, чем была.

И я, покуда хватит силы,
Свой малый путь пройду с тобой,
Моя земля, моя Россия,
Твоим путем, твоей судьбой.
<1949–1950>

1130. МОЯ КНИГА

Никак не ожидала ты
Такого переплета,
Записана в каталоге
И разговор короток.

Ей ездить бы трамваями,
Забыв про остановки,
Трепаться бы за чаем ей,
Развернутой неловко.

Ей бегать бы растрепанной,
Слезить бы чьи-то глазки,
Из-под подушки шепотом
Рассказывать бы сказки.

Вся в керосинной копоти,
Засалена безбожно,
По ней дактилоскопии
Учиться можно.

Теперь свое отбегала,
Отплакала, отпела,
Теперь с библиотекарем
Иметь придется дело.

Теперь стоишь на полочке
С клеймом на обороте.
Теперь ты в жесткой корочке
Глухого переплета.
<1949–1950>

1131. ТЫ ДЛЯ МЕНЯ. (ПОЭЗИЯ)

Ты — мое горькое лекарство
В крови перекипевших трав.

Мое наивное лукавство
Оберегаться от утрат.

Ты — призма для калейдоскопа
В волшебной сыздетства игре,
Бруствер случайного окопа
В замаскированной норе.

Ты родом из семьи актерской,
Личины разные надев,
Ты ярче лампочки шахтерской
В дышащей газом темноте.

Ты — моя пьяная компания
В ночах бессонных напролет,
Моя последняя кампания
Среди ущелий и болот.
<*1949–1950*>

1132. СПУТНИКИ

С аргелитом залегли
Все подземные угли.

Кварцу с золотом — почти
Одинаковы пути.

А руда стиха близка
К месту, где живет тоска.
<*1949–1950*>

1133. ЮНОСТЬ

Л. П.

В большинстве наших дач
Никогда не видать
Уважения к геометрии,
Потому что они
В наши ранние дни
Чересчур переполнены ветром.

Это ветер принес,
Как услужливый пес,

Мне записку в закрытом конверте.
Приглашение там,
Чтоб послал я к чертям
Теоремы слепого Эвклида.
Написать мне могла,
И притом не со зла,
Только ты, моя милая Лида.

Я вернулся назад
Через изгородь в сад,
Подчиняясь во всем этикету.
Ты сидишь на скамье,
Как мадам Рекамье,
Кружевные поправив манжеты,
Ты сейчас без ума
Начиталась Дюма,
Причесалась по старым портретам.

Рыжий сломанный клен
К нам пришел на поклон,
Примостясь на крылечка ступени.
Мы хозяева тут,
Соловьи нам поют,
Как хватает им только терпенья.

На ближайшей из дач
Поселился скрипач,
Это он музыкант наш придворный.
И заря горяча
От смычка скрипача,
От поэмы любви непритворной.

И походка смычка
Молода и легка
И прекрасна его дорога.
И так хочется нам
Верить юности снам,
Нашей юности-недотроги.

И тогда в тишине
Ты протянешь ко мне
Неумелые легкие руки.
И забудешь сама,
Что читала Дюма,
Да и то, вероятно, от скуки.

И зарниц фейерверк
Поднимается вверх.
Мне пора, моя милая Лида...
Между мной и тобой,
Разделенных судьбой,
Никогда не вставала обида.
<1949–1950>

1134. МЕНШИКОВ В БЕРЕЗОВЕ

Куда ходить и при какой погоде?
Забиться глубже в мерзлую нору?
Он и на карте вовсе не находит
Березовскую черную дыру.

Как кстати принесли нагольную овчину,
Вчера и дверь чуть ветер не сорвал.
Все время из угла какой-то тянет псиной
И в печке, кажется, кончаются дрова.

Вы, девочки, приучены к страданьям,
Невозмутимы серые глаза,
Из них уже исчезло ожиданье
Торжественного возвращения назад.

И сами здесь они обед готовят,
И пол в избенке в очередь метут.
И выучились шить — заплаты ставить то есть,
Закройщицами — нет, они не будут тут.

И тянет младшую к отцовским разговорам,
А старшая — у той другое на лице:
Чтоб грелась ненависть, чтобы сушился порох,
Она почти уж не нуждается в отце.

Вот он да девочки. Всего их только трое.
Знакомый здесь туман, знакомая заря.
Он бы в Березове Алексанбург построил,
Ведь, благо, выход есть к морям.

И он глядит, Березова не видя,
Сквозь бревна, сквозь пургу — куда ж? На Петербург?
Он, может быть, опять в шатрах полтавской битвы,

Хоть время бы сейчас подсчитывать обиды
И больше не испытывать судьбу.

Так низок потолок и Петербург так низок.
Так глубока тоска, глубок окрестный снег.
И близок так рассвет, и Петербург так близок,
Как может близким быть во сне.

Суровый взгляд, нисколько не смягченный
Воспоминанием, к примеру, о жене,
Ничем еще таким не удрученный,
Чтобы его склоняло к тишине.

Еще гремит земля петровскими трудами,
Но что березовцу надгробные слова.
Давно развеян дым викторий и баталий,
И оды прочтены, и выбиты медали —
Другим сейчас забита голова.

Не кончились бои его, его кампаний,
И старый тот огонь — он не сошел еще
С холодных глаз березовского истукана,
С его седых, давно не бритых щек.

И перстень голубой огнями власти пышет.
Но почему опять задергалась щека?
Какой-то там свистун — из Петербурга пишут,
Его назвал кольцом временщика.

И правда перстень тот — подарок царский,
И в гранях залегла петровская заря.
В такой же вот пурге, в проклятой битве нарвской
Он этот перстень чуть не потерял.

Кольцо временщика! Но у Петра, как будто
Временщиком трудненько побывать.
Тот певчий дрозд эпохи перепутья
Кощунственные наболтал слова.

И не презренье к суетности света,
Не рай отшельника волнует эту грудь.
Он все еще министр — Петрова кабинета,
Еще играющий игру.

Что из того, что козыри все вышли,
Колода велика — еще ты не мертвец.
Он повернет не раз телеги этой дышло,
Игра-то стоит свеч. Не этих сальных свеч.

А тех, дворцовых, в синих позументах,
Протянутых ливрейною рукой
Над подписью его на тайных документах.
Как это близко. Или далеко?

Смягчает гневом сдавленные губы.
Его приветствует восторженно толпа...
И он встает, снимая полушубок,
И девочек он посылает спать.
<1949–1950>

1135. ГАРШИН

Я мысли не найду нелепей,
Что трудно было б для меня
Писать свирепее, чем Репин,
Ивана Грозного казня.

Но мне в безумном этом взгляде
Казнящегося старика,
Не знавшего с собою сладу,
Другая видится тоска.

Зовущая в зубовный скрежет,
В пролеты лестниц винтовых,
В петлю глядящая с надеждой,
Что можно шею раздавить.

Переглянувшись с револьвером
И яд отчаянно лизнув,
Она не думала наверно
Оригинальностью блеснуть.

Нет, по веревочной дороге,
По направлению к луне
Она отправила уж многих
Талантливее и умней.

И под спасительные пули
В той литераторской игре,
Кого поставила в июле,
Кого и раньше — в январе.

Им всем увиделся России
В крови испачканный наряд,
И было жальче, жальче сына
Родную землю потерять.

Она в четырехдневном бое
Была утрачена тобой,
Она стонала от побоев,
От горя горбилась горбом.

Сюда страдалец натуральный,
А не натурщик приглашен,
Открыты двери царской спальни,
Чтоб всем запоминался он.

Не Грозный, а писатель Гаршин
Тоской смертельной поражен.
Он и в гробу не стал бы старше...
Он тут и изображен.
....

Почувствовал бы это Репин,
Он бы не трогал старика.
Вот Суриков — тот бы не сдрефил.
У Репина кишка тонка.
<1949–1950>

1136. ГОРОСКОП

На звездах погадать — так их закрыли тучи,
На хлебных шариках — так хлеба нет у нас.
Мечтать же о свечах иль о кофейной гуще
И вовсе не приходится сейчас.

Но для гадалки не секрет,
Что с самых юношеских лет
Ты разделил весь белый свет
На «да» и «нет».

Чередованье зим и лет
Без весен и без осеней,
Где смена есть ночей и дней,
Но вечера и утра нет.

Твоя земля без полуправд,
Там солнце жжет уже с утра.
Но вылечить не может зной
От страшной боли головной.

А сумеречная пора,
Где нет утрат и нет отрад
Еще тоскливее тебе —
Твоей разборчивой судьбе.

Такие мненья, милый друг,
Заводят за Полярный круг.
Где ночь темна и ясен день,
Где не наводят на плетень
Душеспасительную тень...

Полжизни прошагав по заячьим следам,
Поэтом будешь к сорока годам.
И все сожжешь, как будто невзначай,
Чтоб вскипятить крепчайший черный чай,
Чтоб в горьком опьянении чайном
Забыть отчаянье.

<1949–1950>

1137. ВЕСНА

Березы в вязаных платках
От умиленья тают,
А горы в белых клобуках
Акафисты читают.

Весна же, как семинарист,
Ломает ударенья,
Речист и мутен и нечист
Язык ее творений.

И не боясь попасть впросак
При силе исполинской,

Она бушует, как бурсак,
Какой-нибудь Белинский.

Недаром много их ушло,
Не кончив семинарий,
Искать в тайге добро и зло,
И спать на жестких нарах.

Ораторствуя и уча,
Крича, косноязыча,
Они довольны, что сплеча
Ломаются приличья.

В размытом русле языка
Грамматикой декретов
Они волнуются, пока
Не установят лета.
<1949–1950>

1138

Когда безоблачное небо
С утра угрозы не сулит,
Когда для всех хватает хлеба
И у штанов приличен вид,

И запах пригоревшей каши
Напоминает шоколад,
А под рукой, как пес домашний,
Повизгивает пила —

В такой погоде старый Тютчев
Хотел дождями бы блеснуть,
Но и глядеть не станут тучи
На нашу бедную весну.
<1949–1950>

1139. СЕСТРЕ МАШЕ

Ты в платье домашнем, лиловом
Как сумрак, стоишь у костра,
Легчайшая дымка былого,
Любимая Маша, сестра.

Ты, верно, сегодня решила,
Чтоб вовсе замолкла тайга,
Чтоб в черных ветвях недвижимо
Висели б всю ночь облака.

И птицы, как ты приказала,
Молчат, а немая река
Притихла, совсем не касаясь
Камней на своих берегах.

Мы слово давали друг другу
Еще на коленях отца
Идти сквозь жару и сквозь вьюгу
И сказки любить до конца.

Нам райскую сказку вскоре
Пришлось увидать на земле.
За горем по синему морю
Плывем на большом корабле.

Ты вышла из трюма девчонкой,
Веселой девчонкой тогда,
Ты книгой была непрочтенной
В обложке зеленого льда.

Теперь пожелтели страницы
И вырвано много листов,
Но то, что в тебе сохранилось,
Навек я запомнить готов.

Упрямством сведенные губы,
Большие сухие глаза,
И голос, простуженно грубый,
И дым седины в волосах.

Тяжелые темные руки
Никак не напомнят и мне
Летящие пальцы подруги
На музыке детских дней.

Из клавиш по ноте, по ноте
Сонату собравшие в горсть,
Вы щедростью легкой мелькнете
В своем беззаботном полете
Впервые взлетающих грез.

Ты вовсе не стала богатой,
Хотя по тайге говорят,
Ты золото рыла лопатой
Одиннадцать лет подряд.

Счастливой ты тоже не стала,
Хотя и осталась живой.
Морщинистая усталость
Тебя выдает с головой.

Морские чудовища — спруты
На горы крутые вползли,
Застыли, как стланика путы,
На теле таежной земли.

Седые лохматые космы
Уродливой Бабы Яги
До боли на сопку похожи,
На сопку январской тайги.

И вся в золотых самородках,
Жар-птица махает крылом,
Из каменной мерзлой породы
Выбитая кайлом.

Так вот наши сказки, сестрица,
Наш детский наивный восторг —
Их след заметает лисица
Своим серебристым хвостом.

Их пишут для нас куропатки
Египетским четким письмом
В долинах, горах и распадках
Таежною ночью зимой.

И в каждый наш сказочный вечер
Подходит под самую дверь,
Босою ногой человечьей
Ступая по снегу, медведь.

И сказок не будет чудесней
В пути и моем и твоем,
Споем же последнюю песню,
Отцовскую песню споем.
<1949–1950>

1140

Все больше черных пятен,
Все меньше — снеговых.
И облик непонятен
Лесов береговых.

Летит к безмолвным птицам
Ветвей шумящих весть.
Тем и другим поститься
Успело надоесть.
<1950>

1141

Когда-нибудь все это будет сниться
И бредом сна подушки разметать,
И в памяти тогда откроются страницы
Тех книг, которых лучше б не читать.

Опять придет метель, как девушка нагая,
Слепящая глаза, браслетами звенеть
И хриплым голосом, доступностью пугая,
Языческие песни петь.

Опять на всех парах тяжелые туманы
В ущелье поспешат, опять ударят в рельс,
Начнется день-деньской, в котором, как ни странно,
Мы так и не могли с тобою постареть.

Прекрасный божий мир, бинты снегов распутав,
На перевязку рад добраться хоть к весне
С болезненной зарей, как язвой от скорбута,
Где желтый гной течет на грязный мокрый снег.

И в белой, как зима, испуганной больнице
Мой сон прервет казенная рука:
— Вы спать мешаете! Что вам такое снится!
Что снится вам, больной? И я скажу: — Тайга!
<1950>

1142. БЛИЗНЕЦЫ

С тобою мы и впрямь похожи,
Упрямый камень диких гор.
Годами высечен на коже
Нам одинаковый узор.

И вихрь крутящихся песчинок
Все резче метил на лице
Такие складки и морщины,
Что могут быть на мертвеце.

Ты устоял под тем же ветром,
Который дул в лицо и мне,
Одним и тем же звездным светом
Мы утешались в тишине.

Прикрывшись в ночь дырявой тучей,
Винясь, молясь любой звезде,
В полубреду, в ознобе мучась,
Встречали беспощадный день.

Нас солнце жгло одно и то же.
Зимой такие были дни —
Мороз нас продирал по коже,
И мы молчали перед ним.

Да, с каждым годом молчаливей
Мы становились оттого,
Что и в пургу, и в горный ливень
Мы рисковали головой.

Ты знал: тебя растопчет буря,
Ты не увидишь никогда
Черненый свод литой лазури,
Где неизвестная звезда

Чертила путь к далекой славе,
И ты, ее следы ища,
В своей груди дыханье лавы
Осмеливался ощущать.

И ты когда-то был ребенком,
Зеленым юношей еще,

И птицам кинуться вдогонку
Мечтал. Но силы не нашел.

Мы оба встретили, не прячась,
Судьбу. Нам был презренен вид
Земли, ползущей на карачках
Под гнетом облак и обид.

Росли мы при одной погоде.
Мы — близнецы. И надо знать,
Что мы не следовали моде,
А были времени подстать.
<1950?>

1143

Летела гроза, орала,
Ухая эхом до звезд.
Едва задевал минералы
Ее раскаленный хвост.

И криками ветра тучи,
Растроганные до слез,
Придут, облегчая участь
Приникших к земле берез.

Казалось, нет в мире мирнее
Грибной незаметной судьбы —
Вздуваясь и сатанея
Траву разрывают грибы.

Ручей боязливый и скромный,
И тот обещает потоп,
И тот извергает громы
И скачет в горах в галоп.

И путник в кипящей чаще
Найдет только те пути,
Которыми мог кратчайше
Сегодня же в ад прийти.

И все цвета переменятся:
Цветов, зверей, лесов,

И в этой таежной мельнице
Все перемелется. Все.

Недобрые станут злыми,
А добрые — умрут.
Совсем другое имя
И мне, пожалуй, дадут.
<1950?>

1144. ТУНГУССКАЯ ДЕВУШКА

Поедем, девушка, со мной
В далекий путь лесной.
Ты — средь лесов своих родных
Надежный проводник.

I

В расшитой куртке меховой
Таежных зорь пестрей,
Складнее песни хоровой
На родине моей.

И солнце, сопку пополам
Деля на свет и тень,
Мглу разгоняя по углам,
Нам начинает день.

И взор тех узких карих глаз,
Твой безмятежный взор,
Надежней будет, чем компас,
Среди железных гор.

Ну что же, девушка, добро,
С тобою путь открыт.
Пусть в косах черных серебро
Старинное звенит.

Покажут ветви нам на юг
Дорогу средь лесов,
И невелик олений вьюк:
Табак, мука и соль.

Еще последний перевал
И уж тогда — привал.

Еще идти нам далеко,
Длинны пути тайги,
Ты ягель разотри с мукой,
Лепешек напеки.

Глухарь, запеченный в золе,
Кусок сырой кеты,
Какую пищу на земле
Едал вкуснее ты?

Ее к рассвету разбужу
И на ухо скажу:

— Что, если вместе будем так
Скитаться до зимы?
Тогда, пожалуй, для собак
Ты юколы возьми.

И молча ты кивнешь в ответ
И в огненной заре
Укажешь свежий рысий след
Когтями на коре.

И я возьму винчестер свой:
— Не убавляй огня.
И если что — кричи совой
И помни про меня.

В твоем краю дробинкой бьют
В тетеревиный глаз,
Винтовку приготовь свою
И пули про запас.

И если вздумает напасть
Медведица — тогда
Прицелься в розовую пасть
И больше — никуда.

Ты можешь все читать следы
В своем краю подряд.
Деревья, листья и цветы
Нам много говорят.

II

Через четыре долгих дня
Расправил на камнях
Я рысью шкуру у огня,
Где ты ждала меня.

Ты гладишь жесткий серый мех
И в первый раз я слышу смех.
Как! Оцарапан локоть твой
Полярною совой?
Я кровь остановлю смолой,
Перевяжу травой.

И кровь не бьет, и кровь не льет —
До свадьбы заживет.
Возьму я голубой топор
И сучьев нарублю,
Веселый свадебный костер
До неба запалю.

Пусть будет, девушка, тепло
Тебе всегда со мной!
Пусть не сломается весло
В речной воде весной!

Пусть будет нам свежа вода
Из горного ключа,
Пусть будет счастливым всегда
Охотничий наш час!

Пусть мы не потеряем след
Людей, зверей и птиц,
Пусть наша жизнь на много лет
Соединит пути!

III

Как долго нынче ждать зари.
Ты спишь, во сне смеясь...
Вторую трубку я курю,
Любимая моя.

И горные ключи в камнях,
Журчащие ручьи,
Вдруг зазвенели, как звенят
Тюремные ключи.

Прости ты, девушка, меня
И плакать погоди,
Ты оставайся у огня,
А я пойду один.

Мне не забыть седых берез
На родине моей,
Кипенья соловьиных гнезд
И пуха тополей.

Мне не забыть рябых озер,
Пузатых парусов
И запаха медовых зорь
И бронзовых лесов.

Мне не забыть вспотевших стен
Кирпичных корпусов,
Мне не забыть моих гостей
Полуночных часов.

И не забыть мне никогда
Тот голубой квадрат,
Куда знакомая звезда
Входила по утрам.

Ее холодный бледный свет
На небесах тайги,
Ее бегущий легкий след
В воде ночной реки.

В глазах у птиц и у зверей
Она отражена
И на волнах семи морей
Качается она.

Таежный мох. Болотный мох.
Как тяжело идти,
Как трудно среди всех дорог
Надежную найти.
....

Не езди, девушка, со мной
В далекий путь лесной.
Мне средь лесов твоих родных
Не нужен проводник.
<1950?>

1145

Затем и зори здесь непрочны,
Минутны, ветрены, легки,
Чтоб мы уверились воочью
В неколебимости тайги.

Чтоб этим краскам по контрасту
Мог убедиться человек,
Какой чудовищною властью
Однообразья дышит снег.
<1950?>

1146. АПРЕЛЬ

Последний снег зимы блестит
Особой белизной
И кажется, что он умыт,
Умыт перед весной.

Готовим к исповеди мы
Секретный свой рассказ,
Как будто завтра для зимы
Причастья час.

Грозится сжечь глаза мне бог
До слепоты,
Чтоб летом видеть я не мог
Земли цветы.

Я поднимаю к небу взгляд,
Там мягче свет.
Я бы глядел туда подряд
Все десять лет.

Так дни и ночи напролет,
Не помня о земле,

Пока начнется перелет
На север журавлей.

Как мне, так и тебе самой
Задышится легко,
Когда мне привезет письмо
Апрельский ледокол.
<1950?>

1147. ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ

В пещерах, ямах и распадках, —
Скрывая всю былую спесь,
Спасаться хочет от нападок,
Небес испытывая месть.

Он в заговор вступил с землею,
Ведь мерзлота — такой же лед.
Он отбивается от зноя,
Пока опять зима придет.

В жару он бредит только вьюгой
И глушь сменил бы на простор,
Когда метель по всей округе
Начнет знакомый разговор.
<1950?>

1148

Я писал, о чем попало,
Но свою имел я цель.
В стекла била, завывала
И куражилась метель.

Если б мне в своей постели
В это время умереть,
Перестали бы метели
Озорные песни петь.

Стало тихо все на свете
И спокоен мертвый сон.
Только в смерть не верит ветер.
Только ветер, только он.

Он бы бегал, как собака,
От куста и до куста,
Ждал бы шелеста, как знака
Жизни книжного листа.

И кляня наивность строчек,
И хваля упрямство их,
Он бы выстроил цепочкой
Всех читателей моих.

Он повел бы их в дорогу,
Научил ходить пешком
Через горные отроги
И почти что босиком.

<1950?>

1149. КАРТОГРАФ

Картограф выбрался на гору,
Ночные звезды шевеля, —
На высоту свою, с которой
Чужою выглядит земля.

Картограф горы ловит в клетку,
Он землю ловко захлестнет
Географическою сеткой
Меридианов и широт.

Затем, чтобы магнитным ухом
Прослушать внутренность земли,
Ей распороть бурами брюхо,
Сюда разведчики пришли.

Придут небритые мужчины
На этот меченый простор,
Чтоб стали резкими морщины
На потемневших лицах гор.

Он у ветров тайги учился
Деревьям косы заплетать,
Он мясом с птицами делился
И ястребов учил летать.

Он у ручьев в грозу с дороги
Большие камни убирал,
Чтоб не сломать о камни ноги
Ручьям, бегущим возле скал.

Он добирался до истоков,
Где открывает ключ реку,
Чтобы она лилась потоком
И к морю вынесла строку.

Земля поставлена на карту
И перестала быть землей,
Она лежит на школьной парте
Не узнаваемая мной.
1949

1150

Взбесившимися снегами
Им вовсе загорожен путь.
Слепые, щупают ногами
Теряющуюся тропу.

Они и солнце позабыли.
Какое солнце! Дай бы бог
Живым остаться в снежной пыли
Средь вставших на дыбы дорог.

В глазах темно. Наверно, вечер.
Усталость верный наш брегет,
И мера воли человечьей
Для заплутавшихся в пурге.

И оскопленные морозом,
Недоеданьем и цингой,
Они помолятся на звезды,
Не занесенные пургой.
<1949–1950>

1151

Дрожат худые рукавицы
И ноги млеют в торбазах.

Попробуй-ка теперь молиться,
Чтоб не попасть на небеса.

Ты и креста путем не сложишь,
Вотще поднявши руку вверх
Двуперстным знаменьем, быть может,
Как правоверный старовер.

Ты бога плачем остановишь
И с ним в кабинке долетишь
К печам, к теплу, к огню становищ,
Из рая брошенных во льды.

Зачем пустили нас в пустыню,
Где голос Господа гремит
Лишь эхом гнева на постылый
Неисправимый нрав земли.
<1949–1950>

1152. С ЯКУТОМ (У КОСТРА)

Четыре дня мела пурга,
Ползла сквозь свист, сквозь муть,
И незнакомые снега
Загородили путь.

Ложись. Не совладать с пургой.
Пришел конец пути.
Тебе со сломанной ногой
Далеко не уйти.

А я? Мне слишком надоел
Весь этот белый свет,
Который так чрезмерно бел,
Что просто силы нет.

Лежим в затишье средь камней,
Сосем горячий лед.
Не надо думать, сколько дней
Еще сюда придет.

Молчим. О чем нам говорить,
Мы знаем все и так.

Еще придет две-три зари
И кончится табак.

И захрустит слышнее ветвь
Над головой моей,
И станет мягче тихий свет
Слабеющих углей.

И дятлом звякнет тишина.
Из леса выйдет ночь
И только, кажется, она
И сможет нам помочь.

И тихо сядет у костра,
Давая место снам,
И как больничная сестра,
Глаза закроет нам...

Зачем же голос песни тут,
Без смысла, без конца,
Такой же песни, как поют
Над гробом мертвеца.

Я разгадал ее слова,
Поймал ее мотив,
И буду тоже подпевать,
Пока еще я жив...

Мы песню ту поем вдвоем,
Не трусь, приятель мой.
Мы умираем и поем,
Что не дошли домой.
<1949–1950>

1153

Затем законы превосходства
И катехизисы тоски
Мы ищем за морем Охотским,
Что здесь понятны и близки

Полеты птиц на скальный берег,
Где солнцем вытаен кусок

Для утлых гнезд, где малой мерой
Отмерен жизни нашей срок.

Вцепились яростные корни
В кусок оттаявшей земли,
Чтоб в этой мерзлой почве горной
Хоть что-то отыскать могли.

Вот мы у них-то и учились,
У птиц, у камня, у корней.
Смотрели в корень и гордились
Таежною судьбой своей.
<1949–1950>

1154. ПУРГА

Я лучше помолчу,
Пока растает лед,
Что горному ключу
Платком заткнули рот,

Что руки у реки
Развязывать нельзя,
Что нынче у пурги
Ослепшие глаза.

Но я сказать могу,
Что было б все иначе,
Когда бы к нам в тайгу
Пурга явилась зрячей.

От этих грозных гор
И камня не оставив,
Разбила бы забор
И выломала ставни.

Гуляя здесь и там,
Свою срывала б злобу,
Взъерошенным клестам
Пришлось глядеть бы в оба.

И зайцы в том краю
Не смели б показаться.

Куда-нибудь на юг
Гнала бы их, как зайцев.

И в снежной синей пене
Тонули бы подряд
Олени и тюлени,
Долины и моря...
1949

1155. НА СОПКЕ

Здесь все приведено в такое равновесье,
Что только камень тронь — и двинется гора,
Застонут валуны, взлетая в поднебесье,
Рычанье ручейков усилив во сто крат.

А может, в том и есть примета мирозданья,
Где только старые надежны чертежи,
Что из лесов поднимутся не зданья,
А горные скалистые кряжи.

А может, в том и есть двусмысленность культуры,
Что людям в шалашах привольней и родней —
Они натуру, как архитектуру,
Хранят и чествуют до наших дней.

Понятно ль для систем центральных отоплений
Устройство очага тунгусских шалашей —
Где пища и тепло, где бог и освещенье —
Для будущих времен этюд в карандаше.

На самый верх небес карабкается солнце,
Подготовляя солнечный удар.
Под нами реки вроде вавилонских
И водопад грохочущих бутар.
<1950>

1156

Здесь даже лета зелень вырезная
Промозглой мглой скрывается от глаз.
Для нас молчит глухая даль лесная,
Цветы и звери прячутся от нас.

И чем же мы природе насолили,
Что камень в бешенстве сражается с кайлом,
Топор ломается о дерево в бессилье
И травы режут пальцы, как ножом.

А голуби вздымаются и кружат
И прах земли отряхивают с ног.
Я здесь, тайга! Смотри — я безоружен.
Я сир и наг. Я очень одинок.

Прими меня, пусть мальчиком, не взрослым,
Я буду расправлять цветы.
Я буду птицам подпевать, и росы
Ночные буду прыскать на листы.

Поверь, тебе со мною будет легче,
Я знаю хитрости людей,
Я переводчик нашей речи
Для всех твоих детей.

Всех этих елочек, с иголочки одетых
И пальчики запачкавших в смоле,
И листьев, что набегались за ветром,
И вечером прижавшихся к земле.

Я рад, тайга, навечной нашей встрече,
Цветам и птицам, зверям и лесам.
И горный кряж, такой широкоплечий,
Пускай удержит наши небеса,

Что над моей усталой головою
Готовы рухнуть и к земле прижать.
Я их едва держу сегодня над собою
На острие карандаша.

<1950>

1157. ДРУГУ

Как мы выросли здесь! Рвем орехи со старого кедра,
Наклоняясь, срываем зеленые листья берез,
Топчем гроздья рябины — кустов, опрокинутых ветром,
И так близко до звезд.

Как мы выросли! Вымерзли, что ли, все эти смешные понятья,
Честь и дружба — и много такого забыть нам пришлось,
Будто с плеч наших сброшено детское платье,
Что по швам затрещало и расползлось.

Обещай мне, мой друг, что на этих полярных широтах,
Что бы там ни случилось с деревьями и людьми,
Ты останешься мальчиком, даже птенцом желторотым,
И да здравствует день, когда снова мы будем детьми!
<1950>

1158

У облака высокопарный вид.
Оно о многом нынче говорит.

Еще вчера я им предупрежден,
Что в травах, пересыпанных дождем,

Поднимут голову сегодня над землей
И ландыш, и кукушкин лен.

А в черных ямах, где была руда,
Взойдут опять бурьян и лебеда.
<1950>

1159. СВАДЬБА КОЛДУНА

Над дверьми вверну перо петушье,
Заколдую, залюблю тебя,
Станешь ты смиренной и послушной,
Инокиней с головы до пят.

Черный дождь! Желанное веселье!
За порогом — тьма! Ни солнца, ни луны!
Ну-ка песню! Песню на похмелье
В честь моей красавицы-жены.

Ты да я, хромая кошка Катя,
Вороненок с вырванным крылом,
Мы поем, чтоб жить тебе богато,
Чтобы вороненок стал орлом.

Чтобы нашей кошке-ворожее
День и ночь мечталось об одном,
Как бы мне скорей свернуло шею
Горе в нашем домике родном.

Что молчишь, влюбленная святоша?
Ждешь зари? Не будет здесь зари.
Ты сказать хотела о хорошем,
Выпей с нами и поговори.

Я тебе и зверю не потатчик.
Лапы, крылья — биты поделом.
Спой нам песню! Спой, а мы заплачем
За моим, за свадебным столом.
<1950>

1160. РУБЛЕВ

Когда-то самый лучший
Российский богомаз,
Что попадать научен
Не в бровь, а прямо в глаз,

Знакомых сельских модниц,
Ведя на небеса,
Одел под богородиц —
Иконы написал.

Конечно, он язычник
Без всяких выкрутас,
И явно неприличен
Его иконостас.

Но клобуки и митры
Знакомых мужиков
Сошли с такой палитры,
Исполненной стихов,

Что самый строгий схимник,
Прижизненный святой,
Смущен, как именинник,
Подарка красотой.

И бог их не осудит
Хотя бы потому,
Что их не судят люди,
Любезные ему.

И Петр, узнав Андрея
Под ангельским венцом,
Закрестится скорее
И ниц падет лицом.
....

В картинной галерее,
Где вовсе не собор,
О тех же эмпиреях
Заходит разговор.

Стоят, немея, люди
И думают одно:
Заоблачное чудо
На землю сведено.

Все нам покажет сразу,
Загадочно легка,
Невежи-богомаза
Наивная рука.
<1949–конец 1950-х>

1161. ГУСЕНИЦА

Едва ушла от огорода,
К стене сарая прилегла
Невыясненная погода,
Сумерничающая мгла,

В колючих листьях огуречных
На солнечных косых лучах
Для гусеницы беспечной
Назначен пробужденья час.

Разматываясь и ежась,
Вытягивается в полный рост,
И по шершавой, мягкой коже
Сбегает утренняя дрожь.

Перебирая тела звенья,
Зеленый многоногий зверь
Упругим кошачьим движеньем
Подтягивается вверх.

Он гнется по рельефу почвы,
Спускаясь в ямы между гряд,
Ползет неудержимо точно
Туда, куда глаза глядят...

И вот наивный энтомолог,
Твой составляя гороскоп,
Вобьет в тебя пяток иголок
И поместит под микроскоп.

Туда, к тому же окуляру,
Твое строенье разобрав,
Наклонится однажды старый
Невыспавшийся генерал.

Он угадал в тебе орудье
Еще невиданных атак,
И он сказал тебе: да будет!
Да будет так! И было так:

Ты поползла к чужой деревне,
Бросая в стороны тела,
Сминая под ноги деревья,
По ямам, рвам и загражденьям,
И сея смерть и разрушенье,
Ты оборону прорвала.

Зверушка золотого детства
Из мирных деревенских дней,
Ты с пулеметом по соседству
Устроишься в любой музей.

Ты на себе таскаешь пушки,
Растаптываешь дома,
Зеленая моя игрушка,
Сводящая людей с ума.

<1949–1950>

1162. НАЧАЛО ЮНОСТИ

Куски оберточной бумаги,
Пропущенной через линотип,
И мы — еще нестройным шагом
В шинелях — и в пути.

С вокзалов, пахнущих карболкой,
В транзитной розовой заре
Летит дорога, как шестерка
В гадательной игре.

Подстреленный смоленый «Фарман»,
Гитары вместо орденов.
Знамена разноцветных армий.
И крик: «Деникин под Орлом!»

И комиссар в дверях вагона,
Толпы перекричавший страх,
Дымящиеся погоны,
Наваленные на кострах...

Об этом написали книги,
Как пишут сказки про потоп,
Все те, кто не были ленивы
И были грамотны притом.
<1949–1950>

1163

Зачем, зачем он пляшет чуть дыша
В светящемся кольце из сумасшедших лезвий,
Зачем босой он пробует бежать
По раскаленному железу?

Когда свою испытывать судьбу,
Зажав в кулак набор дешевых погремушек,
Он выйдет, как шаман, как заклинатель бурь,
К толпе, от ужаса ревущей.

Привлечь вниманье звоном бубенцов
И в тишине, до низости глубокой,

Произнести для вас, для вас в конце концов
Нагорной проповеди строки.

И если вас попробовать ввести
В волшебный мир всеобщих соответствий
На праздник неожиданных крестин,
Совсем не тех, какими крестят в детстве, —

А душу вымотавших из воды,
Из облака, из птиц, из собственного сердца,
Найти скамью, где можно посадить
Созвучие со смыслом по соседству.

В огнях бенгальских, в пестрых пустяках,
Зовущих нас в сияние рассветов.
В них бьет ключом живая жизнь стиха,
А также жизнь поэта.
<1950?>

1164

Где юности твоей дороги,
Пути мечты,
Что лодку кинула в пороги,
Сожгла мосты?

И юности твоей обличья,
Где стон любой
В слова звериные и птичьи
Одет тобой?

Где юности твоей условья,
Те города,
Где пьют подряд твое здоровье
Всегда, всегда...

Где юности твоей границы,
Когда ж, когда
Заплещут крылья синей птицы
Над толщей льда?
<1950?>

1165. ПРИМАНКА

На костер кладу деревья,
Разожгу костер такой,
Чтоб окрестные деревни
Потеряли бы покой.

Чтобы мчались друг за другом
Верховые из села,
Чтоб седой звонарь в испуге
Бил во все колокола.

Чтобы стаями синицы
Вылетали из кустов,
Чтоб расстроенный лесничий
Был повеситься готов.

Чтобы Сеньки-птицелова
Беззаботная семья
Была выехать готова
В подходящие края.

Чтобы в ангельских рубахах
Появляясь на крыльце,
Наши девушки от страха
Изменились бы в лице.

Чтоб в пожарную машину
С красной бочкою на ней
Обезножевших, плешивых
Запрягали бы коней.

Чтобы их лихая тройка
По проселочным путям
Озабоченно и бойко
До утра скакала к нам.

Чтобы баб к огню пожарищ,
Точно бабочек, вело.
Пеший конному товарищ,
Если ноги не свело.

Только ты одна не выйдешь,
Не откроешь и окна.

Только тем себя ты выдашь,
Что останешься одна.

Значит, кончилась гулянка,
Значит, к нашему огню
Самой пламенной приманкой
Я тебя не приманю.
<1950?>

1166. НОЧЬЮ (В РЕНТГЕНКАБИНЕТЕ)

Ток включен. Дирижер-невидимка садится за пультом
Перед облаком желтым с прокладкой свинца
На вертящемся стуле, землей управляя как будто,
И разглядывает будущего мертвеца.

Наша ночь — это день на рентгеновской пленке,
Облученный сейчас проницательным этим лучом,
Час глядеть, что в себе мы носили с пеленок,
Что тащили сквозь жизнь из последних силенок,
То, чего мы не знали, жалели о чем.

Приглядимся. Вот жизни моей переломы,
Те, что ноют ночами и спать не дают,
Что тревожат предвестьем то тучи, то грома,
Что подчас выгоняют из теплого дома,
И никак не добраться — лечиться — на юг.

Дальше! Дальше! Тяжелой свинцовой перчаткой
Он навстречу весне желтолицый экран поведет,
Оголенных деревьев и гор отпечаток
Промывал он в проталинах черной текучей водой.

Затемнение. Белые снежные пятна.
Это, верно, каверны. Аорта реки
Расширялась к весне... Это тоже понятно.
Старый вывих у дерева. Все это — не пустяки.

Это солнце для нас пустяки сочинило.
Голубые туманы и желтые слезы грозы.
И лиловые тучи для нас извело на чернила,
И босыми ногами топталось под вечер в грязи.

Мастерская для гениев. Вход недоступен талантам.
В исступлении хлещут плетями, кистями холсты,
Светотенью — великою схемой и схимой Рембрандта
На столетия строят чертог красоты.

Непокорные краски, как гвозди, вбивают в полотна,
Это — дом для потомков, не помнящих вовсе родства,
И в потемки могилы уходит измученный до смерти плотник
И уносит в котомке секрет своего мастерства.

Когда нет ни лекарств, ни надежд, ни сомнений,
Когда все уже знаешь и не можешь помочь,
По экрану проходят последние тени.
Начинается день
И кончается ночь.
<1950>

1167

Я жег стихи холодной этой ночью,
Я жег мои стихи, и жарким был огонь.
И в пламени костра изнемогали, корчась,
Слова, подсказанные мне тайгой.

Затем ли для меня ее уста раскрылись,
Чтоб этих букв обугленных тела,
Моих стихов трепещущие крылья
Метель навеки замела.

А впрочем, я их вовсе не жалею,
В них виден свет времен. И в них живет восторг
Заманчивой судьбы Бруно и Галилея,
Стихов, взошедших на костер.
<1950>

1168

Сколько я перьев испортил! Сколько чернил!
Землю здесь обелил я, а небо здесь очернил.
Впрочем, в этой работе мне помогала зима,
Лучшие строки книги она написала сама.
<1950>

1169

Когда ребенок поседевший,
В тайге пропавший ни за грош,
Припомнит золотое детство,
Как чью-то сладостную ложь,

Из книг возвышенность понятий
Примерив на живую жизнь,
Под старость будет обвинять их
Ошибочные чертежи.

Ведь старый юношеский идол,
Весьма лирический божок
Морозу на съеденье выдал
И пальцы на костре обжег.

И злая осень золотая,
Когда бы доброю была,
То подражала б Левитану,
А не в болота завела.

Всю жизнь гоняясь за Жар-птицей,
О перья руки уколов,
Ребенок попросту боится
Ее, как робкий птицелов.

Он фунта лиха знает цену
И за ценой не постоит,
Чтобы живым сойти со сцены
На пыльный камень мостовых.

Когда ж на свадьбу золотую
Не будет никаких надежд,
Наденут самую простую
Из всех земных своих одежд.

И запеленутый в рубаху,
Как в колыбель, я лягу в гроб,
Где я опять не знаю страха,
Где я опять не хмурю лоб.

Отмытый, бритый и не вшивый,
Лежу в глубокой тишине.

Все те, кто остаются живы,
Уже завидовали мне.
<1950>

1170

Мы судим сами, судит бог,
Потомки наши судят,
Какой из тысячи дорог
Мы выходили в люди.

Сегодня наш тернистый путь,
Шоссе энтузиастов,
Нам выбирает кто-нибудь,
Кто к нам не очень ласков.

Звеня лоханкою пустой,
Как в колокол тревожный,
Нас созывают на постой
На станциях дорожных.

Они пред нами чуют страх.
Мы ходим в черном теле.
Мы пальцы палим на кострах,
Светящих сквозь метели...
<1950?>

1171

Луны зловещие восходы
На бледный снег,
В ночной, блестящей, как вискоза,
Голубизне.

И треск сломавшейся иголки
Оледенелых хвой,
Того гляди, что даже волки
Поднимут вой.

Все дело, может быть, в махорке,
В щепотке табаку,
Чтобы, как дым сухой и горький,
Вдыхать тайгу.
<1950?>

1172

Каких я здесь масок не встречу?
У печек и желтых костров
Звучат тарабарские речи,
Какие придумал острог.

Усилья князей и министров
Направлены были к тому,
Чтоб самых способных лингвистов
Упрятать надолго в тюрьму.

Они становились седыми
Без неба, без хлеба, без книг,
Теряя и совесть, и имя,
Уча тарабарский язык.
<1950?>

1173

Обнимай, обнимай злодея,
И с убийцами в лад хохочи,
Покажи мастерство лицедея
При мерцанье грошовой свечи.

На штаны сатаны до полночи
Ты наощупь заплаты ставь.
Пусть соседи хрипят и лопочут
Про родных Иисуса Христа.
<1950?>

1174

Пушистый вязаный платок
Улегся в ноги, как щенок.
Перчаток скрюченных комок
Твоих ладоней жаркий ток
Еще хранить, пожалуй, мог.
И безголовое пальто,
Со стула руки опустив,
Ловило выпавший цветок,
Где каждый смятый лепесток
Еще хотел и мог цвести.

Гребенка прыгала в углу,
Катаясь лодкой на полу,
И туфли в золотой пыли,
Тропинок, что ко мне вели.
И ты сейчас такой была,
Что даже злые зеркала
Тебя глазами обвели
И наглядеться не могли.
Давно, давно легли снега
И стынет медленно тайга.
А здесь — здесь вовсе не зима
И так легко сойти с ума.
<1950?>

1175–1176. АНАСТАСИЯ

1

Твоей сестры Анастасии
Я разгадал вчера глаза.
Они в России всех красивей,
Но я ей правды не сказал.

Я называл ее дурнушкой,
Чтоб загордиться не могла.
Но, разглядев мою подружку,
Переглянулись зеркала.

Так ослепительно босая
В зеленом пламени луны
Пришла, земли едва касаясь,
Как гостья райской стороны.

И по законам деревенским,
Какие я запомнить мог,
Ей по-замужнему, по-женски
Девичий повязал платок.

И, наклонившись к изголовью,
Толкуя только про свое,
Ей показал повязку вдовью,
Пророча будущность ее.

2

Твой зверинец на комоде —
Зайцы, козлики, слоны.
Звери — каждый в своем роде —
Все в хозяйку влюблены.

Так и я, безмолвный, бледный,
Как фарфоровая тварь,
Я сажусь с тобой за медный,
За семейный самовар.

И куда бежать от плача,
И какой искать исход.
Это — не неудача,
А скорей наоборот.

Рай имеет климат влажный
От пролитых женских слез.
Это очень, очень важно,
В этом, право, весь вопрос.
<1950?>

1177

Г<алине>

Мы с тобою мир поделим,
Нет, не смейся надо мной:
Мне — морозы и метели,
А тебе жара и зной.

Но совсем не та, что в детстве,
Наша здешняя зима,
Обладающея средством
Нас легко сводить с ума.

От ее температуры
Нам дышать невмоготу,
Нам мороз меняет шкуру,
Зубы крошатся во рту,

Там, где проруби воронка
Упирает речке в дно,

Расположена сторонка,
Мне известная давно.
<1950?>

1178. УСТЬ-УЛС

Г<алине>

Навсегда в медвежьем ските
Мой и твой живет июль.
В розовом тумане Китеж,
Деревянный град — Усть-Улс.

Из глубокой шахты черной
Поднимаясь в небеса,
Я воздушных замков горных
Крепкий выстроил посад.

Деревенская Верона,
Юности моей пора,
Дай тебя на память тронуть
Острым кончиком пера.

Чтобы в пятнах, в брызгах, в кляксах,
Обойдя весь шар земной,
Сострадательная плакса
Снова встретилась со мной.
<1950?>

1179

Я пришел на ржавый берег
Перемятых рыжих скал,
Где когда-то Витус Беринг
Адмиралом умирал.

Где, весенней силой полны,
Силой солнца и воды,
Напряженно и безмолвно
Выгибали спину льды.

Океан упрятал тело
Под саженный теплый лед,

Заворочался в постели,
Потянулся и встает.

Ледяное одеяло
Разрывает в лоскутки,
Грозным гневом обуялый,
Тычет в небо кулаки.

И взволнованные воды,
Сотрясая якоря,
Подбивают пароходы
На прогулки по морям.

Океан затем разбужен,
Что весною корабли
Плыть готовы хоть по лужам,
Только б дальше от земли.

Он затем весной разбужен,
Что пролеживать бока
Круглый год совсем не нужно
Морякам и рыбакам.

Океан затем разбужен
От трехмесячного сна,
Что уже слабеет стужа
И командует весна.

Если б люди без флотилий
Проводили свою жизнь —
Океана б не будили,
Без него бы обошлись...
<1950–1960-е?>

1180

Я устаю от суеты
И ухожу сбирать цветы.
Я нахожу в любом цветке
Сопротивление тоске.
И я завидую ему —
Немому другу моему.

Цветок не вовсе даже нем,
Но этих специальных тем
Касаться нынче не хочу.
Цветы сбираю — и молчу.
<1950?>

1181

С улыбкой горчее полыни
В окошко закрытых теплиц
Покажется южная дыня,
Вышедшая из границ.

Бравируя голым видом,
Геройских два огурца
Себя не дают в обиду
И держатся до конца.

И с юношеским задором
Осваивают льды
Похожие на помидоры
Отчаянные плоды.

Незрелая орхидея
Глядит с горшкового дна,
С часу на час худея,
Для гроба она годна.

Где опыт и блажь садовода,
Поэта и старика,
Чтоб вынянчить чудо природы
И выпестовать на руках.
<1950?>

1182

А. Д.

Как будто погода земная
Одна нам дана на века,
Как будто мы вовсе не знали,
Что в небе родятся снега.

И первой высокой метели
Явлением потрясены,
Мы прыгаем утром с постели
В подушке оставивши сны.

И смотрим, как свежую новость,
Гравюру мороза в окне,
Резную блестящую повесть
О нашем сегодняшнем дне.

И пальцем оттаяв окошко,
К стеклу приставляя глаза,
Привычную ищем дорожку
На службу или базар.

Но нет проторенных и гладких
Знакомых вчерашних путей.
Там все истоптала вприсядку
Плясавшая ночью метель.

И сразу ворча и дичая,
Ворочая шерсть и меха,
Мы жить обещаем сначала
И каемся богу в грехах.
<1950?>

1183

Пусть волю вод о камень бьет,
Пусть — волнами бичеван,
Он терпеливей, чем народ,
Создавший Пугачева.

Он сам дороги дал мечте
И вымпелам флотилий,
В обиде, то есть в тесноте,
Толкая шлюз плотины.

Но только детям по душе
Огни иллюминаций
Да иностранным атташе,
Пришедшим удивляться.

Вокруг него горит земля
В огнях электростанций,
Он будет взрослых удивлять
Терпеньем арестантским.

Путеводитель этих волн
Во всем их блеске, плеске
Был несказанно удивлен
Одной старинной фреской.

Где раскрывается секрет,
Хранившийся пять тысяч лет,
Египетской культуры,
Не знавшей арматуры.

Мильон рабов под небеса
Подвешивает чудеса —
Сады Семирамиды.

Руками тянут за канат,
Сдвигая камни в тесный ряд,
Рабы на пирамиде.

Простой веревочный отвес
Любых наделает чудес,
Была бы только сила,
Чтоб тяжести носила.

Разбитый ветром Баальбек
И термы Каракаллы
Когда-то строили навек
Такими же руками.
<1950?>

1184. ПРИЗНАНИЕ-II

Изгнанники, бродяги и поэты,
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог.

М. Волошин

Я скрыл свою любовь к отчизне
В насмешках над тобой, тайга.
Я был к изгнанникам причислен,
В ковчеге отнесен к нечистым,
Как раб, изведав батога.

Я посмеялся, безоружный,
Над обаяньем ложных солнц,
Я ворожил на солнце южном,
Как Фауст, я чертил окружность,
Чтоб пудель с бесом не вошел.

Я не слыхал стрельбы из пушек,
И, как заправский Архимед,
Я гнал кораблики по лужам,
Я был солдатами разбужен,
А дело шло уже к зиме.

И вместо книг, сходивших с полки
При приближении зимы,
Я, задыхаясь от карболки,
Читал бесстыдные наколки,
Дикарские мечты тюрьмы.

Недаром я искал спасенья
У раскрасневшихся печей,
Учил вранье — без опасенья —
Неумолимых трепачей.

Я там наслушался советов
Таких, что, выйдя на крыльцо,
Ломая <пальцы?> и обеты,
Я опалил морозным ветром
Разгоряченное лицо.

И мириадами иголок,
Что наземь сбросила хвоя,
Я в душу был зимой уколот.
Я был тогда уже не молод,
Но совесть дрогнула моя.

<1950?>

1185

Белый снег. Это бога бумага,
Я стихи на ней начерчу.
Я до первой метели, до белого флага
Объясниться с тобой хочу.

Разберешь ли с небес мой причудливый почерк
Или вновь не поймешь ни черта.
Слишком много кавычек. А впрочем,
Ты земных стихов не читай.

Не читай, как владеют душою и телом
И сума, и зима, и тюрьма.
Коль до смерти тебе это все надоело,
То сведет в небесах с ума.
<1950?>

1186

Не со времен ли Моисея
Гора библейская была
В ледовом заперта музее
Подальше от добра и зла.

Слова, что нам бросал всевышний,
Здесь замерзали на лету,
И хоть из уст высоких вышли,
Они не ожили во льду.

Я неподвижен, как подвижник,
Как замурованный святой,
И перед богом воинств вышних
Горжусь предсмертной прямотой.

Но бесполезны наши муки,
Порывы жалобы простой.
Не долетит туда ни звука,
И мы напрасно тянем руки
К тому, кто болен глухотой.
<1950?>

1187

Все уже, уже круг друзей
И попросту знакомых.
Сам растерял их, ротозей,
Химерами влекомый.

Ты двух улыбок пожалел,
Там загордился слишком,
Там был некстати слишком смел,
Капризен, как мальчишка.

Вот так проходит сорок лет,
А счастье только снится.
И на снегу блестящий след
Слезинки серебрится.

И что спасет узор чернил,
Бумажная ограда?
И та, которую любил,
Бормочет: так и надо.
<1950?>

1188

Снежной пылью, снежным дымом
В зорях белого огня
Ты опять проходишь мимо,
Не заметила меня.

У обветренного камня
Неодетая душа,
Не дыша, стоит покамест,
Замерзая и дрожа.

Может, хватит ей сноровки
Удержаться до утра
За соломинку, веревку,
За любую из отрав.
<1950?>

1189

Пернатое племя, летящее племя,
Оторванное от земли,
Хотя бы на крыльях, хотя бы на время,
Хотя бы на час не в пыли.

Хотелось бы час подышать кислородом,
Процеженным сквозь облака,

А дальше — в грязи безобразным уродом
Ворочаться бы века.

Века вспоминать в богоданном преданье,
Как, перья топорща и часто дыша,
Летела поверх всех надежд и страданий
На крыльях, на крыльях пичужка-душа.
<1950?>

1190

Обещала на прощанье,
Что ж — пиши
На прощанье обещанья
От души.

Может, сердце будет тише
Бить в груди,
Если ты и впрямь напишешь
Вслед — во льды.

Может, что-нибудь осталось
От любви,
Только милость или жалость
Не зови.

Ни сочувствия, ни злобы
Не ищи,
Виноваты, верно, оба,
Не взыщи.

В этой песне лести, мести
Нет следа…
Не бывать нам, видно, вместе
Никогда.
<1950?>

1191

Шагает по небу земля
И держит звезды в лапах,
Так ослепительно пыля
Средь визга, хрипа, храпа.

Но я и нынче не грущу
И неба знать не знаю.
Я звезды на земле ищу
И их с земли хватаю.

В ведро кладу я их, в ведро,
И мучусь только жаждой,
Забыл я зло, забыл добро,
Я все забыл — как каждый.

Блестит холодная звезда,
Небесная отрада,
И из нее течет вода,
А кровь не выжмешь изо льда,
И крови ждать не надо.
<1950?>

1192

На голых руках индевеют браслеты.
На лицах коробится стынущий грим.
Я выйду из зала, наверно, последним
И, может быть, выйду седым.

Чем руки согреются виртуоза,
Кто пальцы его разогнет,
Кто скажет, каких от пурги и мороза,
Каких он наслушался нот?

Запомнил ли он этот вой, этот грохот,
Запомнил ли нашу тоску?
Счастливых безумцев заливистый хохот,
Глухую ночную тайгу?
<1950?>

1193. НА ПАМЯТЬ

Поразила меня красотою,
По России известной давно.
Красоты твоей я не стою,
И расстаться нам суждено.

Ничего-то ты не узнала,
Отмахнулась от пустяка:
Предварительного сигнала
Доверительного стиха.
<1950?>

1194

Как крутая, с гор литая
Водопадная струя,
Как лисица золотая,
Выйдет милая моя.

Карий глаз прорежет чащу,
Осветит приют лесной,
Посреди листвы дрожащей
Заблестит передо мной.

Тяжелы оковы плена
И любимой и любой,
Но волос взлетает пена,
Золотой зари прибой.

И, наверно, солнца вместо
Ты явилась вслед луне,
Неизвестная невеста,
Снизошедшая ко мне.

Золотая, золотая,
Золотая, да не вся.
Если б вся бы золотая,
Наглядеться бы нельзя.
<1950?>

1195

Если «видевше свет вечерний»
Запоют мне — не удивлюсь.
Я все старше, все суеверней,
Все церковнее становлюсь.

И меня вечерами тянет
В теплый запах дешевых свеч.

Как живешь ты, святая Таня,
В краснозвездной моей Москве.

В монастырском своем наряде
Ты проходишь по мостовой,
И снежинки, как на параде,
Парашютами над Москвой.

Или в церкви ты ходишь с кружкой
И читаешь, томясь, Псалтырь.
Золотая моя подружка,
Заключенная в монастырь.

Вспоминается мне колокольный
Маслянистый и жирный звон.
Архиереи в первопрестольной
Подвигаются на амвон.

И тебе подавая знаки,
Выдавая любовь свою,
Улыбается протодьякон,
Возглашая ектению.

И тебе, наклоняясь близко,
Предлагая Христову кровь,
Сам епископ сует записку
Про божественную любовь.

Ни анапеста, ни хорея
Мне затратить ничуть не жаль
На такого архиерея,
Утешающего печаль.

Ты выходишь потом на паперть,
Оглушенная суетой,
И твое шерстяное платье
Перепачкано «теплотой».

И на паперть святого храма
Поднимаюсь я, чуть дыша.
Там меня ожидает дама,
Погибающая душа.
<1950>

1196

Я вышел в край такой,
Любитель путешествий,
Где лишь одной тоской,
Командует волше́бство.

Мы ходим в том краю
Нагие и босые,
Почти что как в раю,
В твоем раю, Россия.

Но, душу закаля,
Я не боюсь нисколько
Того, что вся земля
В снежинках и в осколках.

Но, чтобы не могло
Поранить чьи-то ноги,
Разбитое стекло
Сметаю я с дороги.
<1950?>

1197

О, понял я твою серьезность,
Неполированный гранит,
Который и луну, и звезды,
И душу, может быть, хранит.

И честно их отображая
Бессонной ночью на реке,
Он за меня мое решает
И не нуждается в стихе.
<1950?>

1198. ЧУЧЕЛО

Я сделаю чучело птицы
Такое, чтоб рвалось вперед,
Умело бы жить и стремиться
В высокий небесный полет.

Чтоб проволока стальная
Крепила надежно крыло.
Не старясь и не линяя,
Крыло бы себя берегло.

И, кости железом расправя,
Без возраста и судьбы,
Волшебная птица вправе
Летящей, бегущей быть.

Причесанное оперенье
С кусочком резины в хвосте
Пригодно вполне для паренья
На ангельской высоте.

Мешок этой сморщенной кожи
Пришлось поплотнее набить,
Чтоб было на птицу похоже,
Что птицей готовилось быть.

Останутся пух и перья
От тех, от взаправдашних дней,
Затем, чтобы вызвать доверье
И даже сочувствие к ней.

Останется чуточку мозга
Для памяти и ума,
Затем, чтобы рано иль поздно
Во всем разобралась сама.

Но крови не будет ни капли
В бечевочных жилах ее,
И мускулы птичьи — пакля,
Набитое в шкуру тряпье.

Подвел только зрения орган:
Крученная в шарик смола
От солнца иль от восторга
Вдруг черной слезой потекла.

И вытекли птицы глазницы,
Но даже слепая — она
Хотела б в полет устремиться
С распахнутого окна.

Ей ветер поддерживал крылья,
Подняться она не могла.
И были напрасны усилья
Ее оторвать от стола.

Печальную эту игрушку —
Подобие жизни моей —
Тебе подарю я, подружка,
Но только смеяться не смей.
1950

1199

Прохожих взоры привлекает
Старинный русский экипаж,
В нем едет Катя Трубецкая,
Наш исторический типаж.

Но за сто лет устали кони,
Возок годится лишь в музей,
Кого сюда судьба погонит,
Каких друзей!

Не повторить им той попытки
И подражанье вовсе зря,
Увы, в некрасовских кибитках
Им не проехать за моря.

Тут самолеты, пароходы,
Билеты, визы, пропуска,
Нужна тут летная погода,
Нужна старинная тоска.

Не лучше ли за чашкой чая
Досуга ради перечесть,
Как губернаторы встречают
Летящую сквозь вьюгу честь.
<1950?>

1200

Возлюбленных и жен оставив в странах жарких,
Мужчины бродят от скалы к скале.

По гребням гор проходит тень Петрарки,
Последнего поэта на Земле.

Ее встречает шутками и смехом
Лихое сборище холостяков,
Но как бы ни гремело эхо,
Ему не заглушить стихов.

И с голоса тоски, которой громче нету,
В тайге мы учим южные сонеты.
<1950?>

1201

На ножке голубя, в дорожном пыльном вьюке,
С копытным плеском конных эстафет
Истлевшее письмо летит к моей подруге,
Опаздывая на двенадцать лет.

Едва ли нужно сокращать страданья,
Катая письма в скорых поездах,
Любви и жить нельзя без ожиданья,
В ее натуре мучиться и ждать.

Пускай, пускай ракетные пилоты
Хотят догнать вращение земли.
Любви спешить за ними нет расчета,
Ей все равно ведь хлюпать по болотам
И кашлять в ветровой пыли.
<1950?>

1202

Здесь солнца дороги коро́тки.
Подняться и выйти за сопки
Ему уже стало невмочь.

Гусиного крика ночного,
Тревожного гула печного
Полна одинокая ночь.

Тебе, позабытой девчонке,
Когда-то со мной обрученной,
Напомнить о нашей любви

Я выбрал осеннее время:
Снежинки и ветер, и темень,
И старая буря в крови.
<1950?>

1203. ПЕЩЕРА

Там мой сверстник — неандерталец,
Низколобый чудак людоед,
Песню вытолкнул вдруг из гортани,
Фантазер, но еще не поэт.

А движенья его так схожи
С угловатостью здешних манер,
Та же самая дрожь по коже,
Так же дыбится каждый нерв.

Обещаю достичь до мрака,
Притащить из пещерных глубин
Что-нибудь вроде явного знака
Человеческой нашей любви.

Он царапал когтями пещеру,
Камень стен приняв за альбом,
И на память оставил череп,
Желтый череп с расколотым лбом.
<1950?>

1204

Я славу в юности искал на площадях.
Случайный взгляд красавиц разодетых
Встречал, и он, меня не пощадя,
Еще тогда определил в поэты.

И тридцать лет я письма им писал,
Просил любви иль просто состраданья.
И письма, наконец, дошли по адресам,
И я спешил на первое свиданье.

Я в дверь стучу — и сам себе не верю.
Старуха-нищенка мне открывает двери.
<1950?>

1205. ПРИТЧА О ВПИСАННОМ КРУГЕ

Я двигаюсь нынче по дугам,
Я сделался вписанным кругом.

Давно я утратил невольно
Свой облик прямоугольный.

И мне самому непонятно,
Что был я когда-то квадратным.

Я сыздетства был угловатым,
Во всем и за всех виноватым.

Углы мои — с детства прямые —
Я нес на дороги живые.

Мне было известно заране:
О камень стираются грани.

Я севера вызвал немилость,
И площадь моя сократилась.

Скривился отчетливый угол,
И линия сделалась кругом.

Чтоб легче по жизни катиться,
А главное — не ушибиться.

Искавший ответа у молний,
Я стал осторожно безмолвным.

Всего я касался лишь краем
И стал чересчур обтекаем.

В сравнении с бывшим собратом,
С другим неуклюжим квадратом.

Легко равнодушное время
Решило мою теорему.

Решило и доказало,
Со мной не стесняясь нимало.

Модели начерчены вьюгой,
Полярным магическим кругом.

Былого квадрата ненужность
Легко превратилась в окружность.
Оймякон, 1952

1206

У меня судьба одна,
Знаю сам,
Что возьмет меня со дна
К небесам.

Если были бы пути
Не во мгле,
Не пришлось бы мне пройти
По земле.
<1952>

1207

Ломая дамбы и запруды,
На город кинулась вода.
И бьет дома, как бьют посуду,
Деревья валит без труда.

А нам, обманутым жестоко,
Осталось горе горевать.
Нам не сдержать того потока,
Старинной клятвы не сдержать.
<1952>

1208

Цветы свиваются в букет,
А лес становится картиной,
Зажатой в каменный багет,
Застывшей ледяной лавиной.

И небо вписано в пейзаж
Как часть земли, как часть творенья,
Как в пальцы пойманный пассаж
Просящим вечности мгновеньем.

И странно думать, что потом
Весь мир под взрывы аммонала
Рассыплется, как ветхий дом,
Концы принявши за начала.
<1952>

1209

Предгрозовое напряженье,
Мгновенье полной тишины,
Когда немыслимо цветенье
И ветви в ветви вплетены.

Но ветер вдруг, как бы опомнясь,
Трясет за ворот пыльный сад,
А тех, кто сунется из комнат,
Прогонит в тот же миг назад.

Дождь рухнет разом с небосвода
И, капли выкатав в пыли,
По потемневшим огородам
Он доберется до земли.
<1952>

1210

Таким, как я, быть может, завтра,
Лопатой раскидав пески,
Навяжут роль ихтиозавра,
Что вымер всюду от тоски.

И вот почтительным и робким
Движеньем дрогнувшей руки
Из черепной моей коробки
Достанут горькие стихи.

И будет видно: я из века,
Где боль сильнее красоты,
Где называли человеком
Добычу гор и нищеты.
<1952>

1211. ГИРОСКОП

Поверхность мира расстели
По всей длине стола,
По необъятности земли
Скачи, моя юла.

Магический полярный круг
Иглою очерти,
Чтоб по следам ревущих вьюг
Прошли твои пути.

Сердечный выбросил толчок
Тебя на край стола,
И закружился мой волчок,
Усталая юла.

Юла трудилась, как могла,
Не вытирая пот,
Звенела в мире, как пчела,
Сбирающая мед.

Так бейся в голубой бетон,
Плясунья, — до конца,
Покамест пульс, и такт, и тон
Еще стучат в сердца.
<1952–1960-е?>

1212

Я слышу фраз велеречивость
И пустозвонство суеты,

Я вижу ран кровоточивость
В камнях раздавленной мечты.

Я в тех больных и дух, и веру
В выздоровленье разбужу
И, как Пинель в Сальпетриере,
Их от цепей освобожу.
<*1952*>

1213. НА БЕРЕГУ

Такая выдалась погода,
Что нет ветров.
И на реке — ни пароходов,
Ни катеров.

Забуду на одно мгновенье
Про жизнь мою.
Недаром ты, река забвенья,
Течешь в раю.
<*1952*>

1214

Все прочтено почти в испуге
В глазах твоих, в глазах моих.
Все то, чем будем друг для друга,
В них выражается на миг.

И если горе иль досада
Порою в наш ворвутся дом,
Явленья вновь того же взгляда
В глазах друг друга молча ждем.
<*1952*>

1215

Уж если буду мертвецом,
Я с прояснившимся лицом
Открою ада двери.
Мне горло не зальют свинцом,
Как лицемеру.

Я от судьбы не убегу.
Мне где-то там в восьмом кругу
Назначено страданье.
За то, что по пояс в снегу
Дал обещанье.
<1952>

1216

Нам лжет весенняя трава
И лжет апрельский лед.
И лгут мечты, и лгут слова,
И лжет любимый рот.
<1953>

1217

Шумят леса, шумят бараны,
Спускаясь с гор на водопой,
До дыр читаются романы —
Беллетристический запой.

В ущелья тянутся туманы,
И лишь захочется домой,
Мираж своим подъемным краном
К нам переносит город мой,

Где я живу почти забытым,
Но тем не менее живу,
Как будто здешние событья
И не случались наяву.

Все то, что тут — из детской сказки,
Сводившей некогда с ума.
И душу рвут, напялив маски,
Деревья, люди и дома.
<1953>

1218

Встающего солнца с лимана
Сочащиеся лучи
Сквозь белую марлю тумана,

Наложенного на рану,
На бред мой в приморской ночи.

И розовых чаек, согретых
Рассветом, к скале отнесло,
Где можно творить без запретов,
Без всяких рыбачьих билетов,
Морское свое ремесло.

Пятнистая нерпа, качаясь
На бледной приливной волне,
Ныряя и кувыркаясь,
Горбатые волны толкая,
Отважно стремится ко мне.

И черной спиной кашалота
Разорванная волна
Кричит мне неясное что-то,
В воронке водоворота,
Хрипя, пропадает она.
<1952>

1219

Ты погиб от дурного глаза.
Тебе смертный приснился сон,
Все о том, что ты мирром помазан,
Что ереем на царство введен.

Пусть судьбу твою в прах растоптали,
Точно грязь, разнесли по ногам,
Ты стоишь на таком пьедестале,
Установленном в горных снегах,

О котором и думать не смеют
Все былые твои друзья,
Не постигшие мудрости змия
И никчемности бытия.
<1953>

1220

Ты — вся со мной. Ты — вне природы.
Ты — выдумка моей души.
Как я, нашедшая исходы,
Точа свои карандаши.

Пусть твой ответ не заштампован,
Вина любой твоей строки,
Что я поэзией взволнован,
Стучащей в сердце и виски.

И нам под солнцем незакатным
За руки взявшись, суждено
Шагать по мостикам накатным.
К могиле? К славе? Все равно.
<1953>

1221. ПОЧТА ТОМТОРА

Я сойду, вероятно, с ума,
Не дождаться мне, видно, письма.
Где-то там в небесах самолет,
Тот, что письма твои мне везет.
И не знает, наверно, пилот
Одиночество наших болот.
Он слезинку смахнул бы с глаз
И мотору прибавил газ.
....

Летчик делает третий круг,
Самолет выпускает из рук,
И в борту открывается люк.
Сколько к люку протянуто рук:
Из мешка высыпается юг,
Наш мешок называется «вьюк».
Прикреплен к лошадиной спине,
Он ползет по болотам ко мне.
Точно взрывы, взвивается пыль,
Заслонившая автомобиль,
Что усталых сменил лошадей,
Торопившихся больше людей.
Все равно почтарям не уснуть,

Вот опять открывается путь.
Поворчит и заглохнет мотор
У подножия наших гор.
И каюр поднимает хорей
И торопит безрогих зверей.
Но храня безразличье и лень,
Откровенно зевает олень.
И на нарты едва взгромоздясь,
По камням поднимается «связь».
У конвертов измяты бока
От подъема почти в облака.
Ясно видно оттуда тебе
Приближенье к почтовой избе.
К ней спешит, вытирая пот,
Утомленный и злой пешеход.
Комаров на ходу жует
И болотную воду пьет.
Это — я! Это — я! Это — я!
Это — я, дорогая моя!
<1953>

1222

Я не желаю утешений.
Я память выучу свою
Шагать моей горбатой тенью,
Брести у мира на краю.

В года моих ребячьих странствий,
Встречая жизнь лицом к лицу,
Я не назвал простор пространством,
Как подобает мудрецу.

И лес из-за деревьев видя,
В опушки сказки поселив,
Я был готов принять обиду
От всех, кто оставался жив.
<1953>

1223

И жизнь во имя меньших братий
Христом прожитая некстати.
<1953>

1224

И запах краснокожих сосен,
Хмельное хвойное вино.
Вторая Болдинская осень
Глядит в открытое окно.

Но злого сердца не согреет,
Не утишит забот и бед
Зари, смешавшейся с кипреем,
Малиновый тяжелый свет.

И может только спозаранку
С гусиной кожей на руках
Греть воду в розовой жестянке
На разноцветных угольках.
<1953>

1225

<И.> Анненскому

Прошептать бы, проплакать слова,
Их мечта хоть слепа, но жива.

От повадок незрячей мечты
Не спасемся ни я, ни ты.

В наш сырой, в наш метельный май
Порыжелый мундир одевай,

Свой учительский старый мундир,
Мой покойник и мой командир.

Пусть меня обвинят в воровстве,
Кто не знает, что мы — в родстве,

Этих «в», этих «з», этих «эм»
И других незначительных тем.

Красоту вывожу на парад
И не жду никаких наград.

Я хочу мертвецу доказать,
Что его не померкли глаза.

Голубые эти следы
Завели меня в вечные льды.

От его улыбки живой
Каждый вечер я сам не свой.

И горит тот огонь голубой,
Увлекая меня за собой.
<1953>

1226

Здесь все еще твоим уходом дышит,
Не передвинут стол, не тронута кровать.
Твоей руки усталой, отшалившей
Прикосновенье ощущает голова.

Почти невмоготу мне первое движенье
Найти тебя, чтоб снова быть вдвоем.
И милостивый бог пошлет мне утешенье —
Писать стихи в отсутствии твоем.
<1953>

1227

В свои хрустальные сады
Бредет оленья нетель,
Считая заячьи следы
У проволочных петель.

Доят коров, поят коней,
И кожаные ведра
Гремят колоколов сильней
На мерзлых конских бедрах.

Приметен зимних юрт наряд:
Залепят стены глиной
И вставят вместо пузыря
В окно кусочек льдины.

Стучат в закрытый магазин
Не матери — девчонки.
И тихо смотрят из корзин
Грудные якутенки.

Гляди — не в этот ли наслег
Приедем мы под вечер.
Найдя приют, найдя ночлег,
Мы зажигаем свечи.
<1953>

1228

Мне говорят: приглядывайся к жизни,
Не посели в своем мозгу теней,
И если ты на выдумку решишься,
То пожалеешь, может быть, о ней.

Наивные советы, горожанин.
Жизнь — это я! Я — камень, я скала.
Я свет звезды в предутреннем тумане,
Морозная светящаяся мгла.

Птенец орла в ребяческом полете,
И под скалу подкоп ведущий крот,
И осокорь, засосанный болотом,
И голубой шероховатый лед.

Все это я! Не глядя на погоду,
Назначим встрече день и час любой.
Не на народе, друг мой, — на природе
О жизни мы поговорим с тобой.
<1953>

1229

Наверно, я поэт не настоящий,
Я мучусь временем, стихом не дорожа.
Я слишком многое бросаю в долгий ящик
И не чиню карандаша.

И если ты другим мне быть прикажешь,
Солдат любви, я выполню приказ.

Тоска, ворча, на дно души заляжет,
Но уберется с глаз.
<1953>

1230

Я гор не видел огнедышащих,
Но в каждой встреченной горе
Огня томление мне слышится,
Незамоленный душит грех.

И горы будто на молебствии
Перед святым упали ниц,
Или покорно раболепствуя,
Не знают меры и границ.

Мне говорит воображение,
Что если спины разогнут,
С каким недобрым выражением
Они в мои глаза взглянут.
<1953>

1231

Разлука, ты, разлука,
Чужая сторона.
Тоску смешаю с мукой
Без примеси вина.

Что было в нашем прошлом,
Что память унесла,
Похвастайся хорошим,
Не утаивши зла.
<1953>

1232

Вокзальных обещаний
Растрепанный словарь
Листает на прощанье
Накрашенная тварь.

Желты, как свечи, пальцы,
Багров огонь ногтей.
Сожженный рот скитальца —
Триумф ее затей.
<1953>

1233

Каждый камень уложен, как надо,
В сочетанье рисунков простых,
Чтоб привлечь изумленные взгляды
Неподвижностью красоты.

Передвинь — он найдет себе место
И по-прежнему радует глаз.
Он рожден в чистоплотном семействе,
Светлым ливнем промытый враз.

И деревья не знают уродов,
Даже если растут в нищете.
Все они — чистокровной породы,
Удивительно стройных статей.

Как гибка и прекрасна куница,
Обхватившая дерева ствол.
Не стрелять бы, а поклониться,
Придержав ружейный затвор.

Вспомни рыбье упругое тело,
Вырывающееся из воды,
Вспомни небо, где птица летела
К нам на север оттаивать льды.

А кайма у ромашек и лилий
На какой вернисаж снесена,
И работа каких ювелиров
На узорах цветочных видна.

Для того, чтоб завидовать слишком
Каждый зрячий прохожий не мог,
В сундуке с голубою крышкой
Красоту запирает замок.
<1953>

1234

Все то, что было упущеньем,
Теперь в канон возведено.
И он свое преображенье
Уводит в пригород умно.

Все то, что он любил украдкой
Подчас от самого себя,
Бросает вызова перчатку
И неизбежно, как судьба.

В лесной глуши он след находит
Бежавших торопливо строф,
Его ночами в сад приводят
Волненья старых мастеров,

Что с ним бывали в закоулках,
В его урочищах родных.
Они там были на прогулке,
А жизнь в трущобах не для них.

Они бежали так проворно,
Как позволяли им года,
Туда, туда, к дороге торной,
Какой он бредил иногда.

А иногда ее боялся,
Как смеха близких и родных,
Опять в пустыню удалялся
И собственных стыдился книг.

На торных — там еще труднее.
Нужна там сила, а не вкус.
Там надо быть еще роднее
Земле, природе, языку.

И запирался в мезонине,
И строчки под нос бормоча,
Он вновь советуется с ними,
По рифмам кулаком стуча.

Он переводит для сравненья
Чужих поэтов мастерство

И с теми лишь, кто всех древнее,
Гордится сходством и родством.

Он, точно от плетей в застенке,
Бледнеет от любой строки,
Чем день и ночь попеременке
Секут юнцы и старики,

Те, что ремней его сандалий
Здесь недостойны развязать,
И, убегая от скандалов,
Он щурит горестно глаза.

И дым лепил ему скульптуры
Не как творец — как копиист,
Который рад писать с натуры,
Да ветер вырывает лист.

Но то, что с жизнью навек слито
И что дано ему постичь,
Как самородок, а не слиток
Хотя бы золотых частиц.

То, что ему всего дороже,
Чьих слов накал еще таков,
Что и теперь мороз по коже
Дерет не только простаков.

Из этой маленькой сторожки
Шагнет он в Гефсиманский сад,
Откуда нет такой дорожки,
Какая б вывела назад.
<1953>

1235

Я в землю совесть не зарою,
Стыду молчать не прикажу.
Я наше таинство открою
И образ милый обнажу.

Нам говорили — он синоптик,
Он — записной евангелист,

Что явлен миру в снежных хлопьях,
Летящих на бумажный лист.

Он строит дом стихотворенья,
Размера вырубив углы,
Чтоб обострялось наше зренье
Среди слепящей, мутной мглы.

А нам, теснящимся по следу
Неторопливого стиха,
Как нам близки его победы,
Как нам близка его тоска.

И смерть для нас — пустое дело.
Мы умирали столько раз,
Что даже жизни надоело
У гроба караулить нас.

Мы, лежа в каменных могилах,
Давно постигли наизусть
Весь этот сумрачный и милый,
На сердце наводящий грусть,

Знакомый мир его волнений,
Предмет его, моей тоски,
Ростки надежд и сожалений,
Переживаемых сквозь стихи.

И лес, пожертвовавший тайной,
В ночи открывшейся ему,
Лишь для того, чтоб он случайно
Не оступился в нашу тьму.

Чтоб, освещенные, как в грозы,
Деревья шли навстречу нам,
Чтобы тайги глухие грезы
Доступны были вещим снам.

И пусть нас ставят ренегаты
Опять к позорному столбу,
Мы и не ждем другой расплаты
За нашу смелую судьбу.

Пусть, как вчера, нас гонят нынче,
Играя в старую игру,
Пускай грозят судами линча
Любому черному перу

За то, что строки — чернокожи
От пропитавшей их тоски,
За то, что с неграми так схожи
Мои невольничьи стихи.

За то, что мы посмели перья
Чуть-чуть оттаять у огня,
Чтобы потребовать доверья
И у сегодняшнего дня.

Едва ли нынешнее лето
Признать решится за живых
Нас — выходцев с иного света
Из-за сугробов снеговых…
<1953–1954?>

1236

Я в доме стихов никому не помеха,
Я кресла не требую — я постою.
У стенки, в тени, посмотрю на потеху,
На все, что творится в сем райском краю.

Я в дверь постучал, как бродяга, негромко.
Я дверь не закрыл — не пришлось бы бежать,
От яркого света спасаться в потемки,
От холода сердца чужого дрожать.

Я выйду опять в темный дождь, в трепетанье
Обветренных листьев, манящих грозу,
Где горы, как звери, хребтами сверкая,
В бездонное небо ползут.
<1953>

1237

Олух царя небесного,
Как я ее прозевал,

Черную, грустную песню?
Не записал слова.

Только мотив останется
И застучит в висках.
Песня исчезла — странница,
Где ее — птицу — искать?

Может, в садах кладбищенских
Песню споют сторожа,
Может, запевом нищенским
Будет в ушах дрожать.

Вряд ли к такой мелодии
Мы подберем певцов.
Музыка эта — в моде ли,
Спросим у наших отцов.

Я бы придумал к ней новые,
Нынешние слова.
Нужно ли новое слово ей,
Музыка если жива?
<1953>

1238. ЧАСТУШЕЧНАЯ

Прикоснись — и я воскресну,
Я, ей богу, оживу.
В переулки Красной Пресни
За собою позову.

Распахну я милой шубу,
Сдерну траурный платок.
Поцелую прямо в губы,
Поддержу под локоток.

Мы сошлись к порогу дома
С двух концов большой страны.
Значит, снова мы знакомы,
Значит, снова влюблены.

Так встречай меня и смейся,
Как встречала молодой.

На любовь мою надейся,
Не смотри, что я — седой.

Распахну я милой шубу,
Вспомню зимнюю любовь.
Помороженные губы,
Расцелованные в кровь.
<1953>

1239

Я хочу быть только нищим,
Нищим — и таким притом,
Кто нигде добра не ищет
И притом не скопидом.

Не завидуя богатым,
Славой ввек не дорожа,
Ночевать в разбитой хате
И от холода дрожать.

С хлебной корки счистить плесень
И единым хлебом сыт,
Поглядеть, как вечер весел,
Крытый каплями росы.

Знать, что нет надежней рая
Сновидений по ночам,
Чем в разрушенном сарае
В свете лунного луча.

Ибо в этом озаренье
Для скитальцев и бродяг
Зачинать стихотворенье
Неизбежность и пустяк.
<1953>

1240. НОЧЬЮ СО СВЕЧОЙ

Здесь все, как святочный рассказ,
И трогательный, и тревожный,
В нем светотень чуть-чуть резка
И чересчур неосторожна.

Внезапно ветер дунет в щель,
Качнутся лица и портреты,
Невнятных множество вещей
Нечаянным обрызнет светом.

Иконы, ленты, пауки,
В углах плетущие тенета,
И легкость маминой руки,
Лежащей на тетради нотной.

Свеча в пугливой тишине
На буквы капнет стеарином,
Она клеймит лекарство мне,
Рецепт от недугов старинных.

На холст упавшее пятно
Откроет замысел картины,
Художник с мыслью заодно
Вступает с чувством в поединок.

И чувство шепчет: не спеши,
Твои ошибки я исправлю,
Отдай в залог хоть часть души
И встанешь в ряд со мной, как равный.

Твоя палитра так бедна,
Годна лишь числить происшествья,
И только прихотью пятна
Картина входит в совершенство.
<1953>

1241

Я зову тебя по-свойски,
Будто ты — сестра.
Ты тоска и беспокойство
И тепло костра.

И в твоем свету неярком,
В черной тишине,
Мне то холодно, то жарко
И тревожно мне.

Ты сама боишься ночи
И, едва жива,
Ты вывязываешь строчки,
Точно кружева.
<1953>

1242

Наш телевизор не ясней
Шаманов сказок гриммовых.
Он больше видится во сне,
И это свойство климата.

И скрипки голос позабыт,
И глохнет зов роялевый
Под шорох веток голубых,
А осенями — палевых.

И вместо книжного листа
Утраченного шелеста
Осенний ветер по кустам
На листья к ночи стелется.
<1953>

1243

У зеленой лампы гнутся пальцы мамы,
На стене являются утки, петушки.
Мы с сидим с сестренкой перед чудесами,
Перед превращеньями маминой руки.

Лебеди, собака, что-то вроде кошки,
Вытягивает шею безупречный гусь.
Я бы мог припомнить и еще немножко —
К горлу подступает, подкатывает грусть.

Видно, не придется нам, сорокалетним,
У зеленой лампы маму вспоминать.
Нам уж не покажет — мы уже не дети,
Никаких картинок белая стена.
<1952>

1244

То, что горный камень — серый,
Это принято на веру.
И, по-видимому, ложь.

Но во всех стихах и песнях
Краски нет другой — хоть тресни,
Вовсе не найдешь.

У камней по правде чистой,
Правде горькой, каменистой,
Всякий есть наряд.

Много есть таких окрасок,
Прямо врубелевских красок
Каменных громад.

Это должен знать геолог,
Что вертелся возле голых
Разноцветных гор.

И, пожалуй, у Бажова
Этот был вопрос разжеван
В сказке давних пор.

Без метафор и инверсий
Говорил про это Ферсман,
Камнем дорожа.

На горе черней агата
Обещал я быть богатым,
Слова не сдержал.

Я опять, как прежде, нищий,
Промотал себе кладбище,
Чтоб ласкало глаз.

Здесь к услугам мне любая,
Роговая, голубая,
Белая скала.

Шлифовать, как самоцветы,
Ветер взялся камни эти,
Чистит их песком.

До такого трет их блеска,
Что, глаза сжимая резко,
Заслонюсь рукой.
<1952>

1245

Подари мне десяток тетрадей
И стальное перо подари,
Чтобы мог я, спокойствия ради,
Просидеть с фонарем до зари.

Чтобы все, что я понял и видел,
Я бумаге сумел передать,
И бумага не будет в обиде,
Что пришлось ей терпеть и страдать.

Ты услышишь под утро, Россия,
Бормотанье восторженных слов.
Лишь хватило бы мне керосину
И печурке хватило бы дров.
<1952>

1246. У ПОЛОТЕН БОРИСОВА

Нет места закату. Свет клином сошелся.
И солнце спускается в полынью.
Горящее море, кипящее солнце.
Циклоп одноглазый, глядящий на юг.

Он землю забыл, этот злобный художник,
Плавучего льда громоздя высоту.
Он сам бы едва ли до вечера дожил,
Поверя в полотен своих красоту.

Он туче сказал: прислонись к океану.
Он льдине сказал: поддержи облака.
Он нас затащил в небывалые страны
И севером вздумал нас напугать.

Здесь все перемешано: небо и море,
Торосы похожи на облака.
Такой-то вот вид и имела Гоморра,
Когда в ней прошла Иеговы рука.

Но где же уроки нагроможденья,
Мораль, что искусство должно бы иметь?
Искусство всегда и бесспорно — рожденье.
А здесь нам во всем ощущается смерть.
<1953>

1247. ПАМЯТИ МАУГЛИ

«Мы одной крови — вы и я» —
Медведю выкрикну и зайцу,
Чтоб вся звериная семья
Смирилась и пошла спасаться.

Не по берлогам и кустам,
А выше — в горные трущобы,
Где только, может быть, креста
И нет для новообращенных.

Синиц, что где-то жгли моря,
Присевших на плечи медведям,
Шутя, но, кажется, не зря
Крылатый путь был мной изведан.

Но здесь без запаха цветы
И пчел здесь нет, здесь нету меда.
Черты холодной красоты,
Естественно вошедшей в моду.

Но у кого, как не у пчел,
Мне научиться трудолюбью.
Ленюсь работать толмачом
Всего окрестного безлюдья.
<1953>

1248

Я беспаспортный бродяга,
Беззаконный человек.
У собачьего потяга
Проплясал я целый век.

Я дорог прошел немного,
Только все они — во льдах.

Я с собаками в дороге
Снег и юколу глотал.

И дыханьем руки грея
В шестимесячной ночи,
Я остола от хорея
Не сумел бы отличить.

Предо мной собачьи ноги
Целый день взрывают снег,
И дневные мне дороги
Ночью видятся во сне.

Заворожен, заморожен,
Разморожен у огня
И одни собачьи рожи
День и ночь вокруг меня.

Я доволен этой сворой,
Поведением собак.
Их толковы разговоры,
Если мясо не в зубах.

Помудрей энциклопедий
Разберутся, что к чему:
Отчего здесь след медведя,
Почему мы долго едем
И когда домой приедем —
Все доступно их уму.

На дороге трудной, горной
Рвутся ремни крепких шлей.
Безразличен взгляд покорный
Величавых кобелей.

Это было все от лени,
От усталости, верней.
И собаки, и олени,
И остолы, и хорей.

Я родился пешеходом,
Пешеходом и умру.
При любой умру погоде,
Лишь бы только на миру.
<1952>

1249

На свете нет такого часа,
Чтоб, не нарвавшись на туман,
Могли мы в утро постучаться
И не сойти тотчас с ума.

И вся таинственность ночная,
В какую днем не веришь ты,
Ни в грош не ставит силу знанья,
К нему не чувствуя вражды.

Я ждал огня — зари иль спички,
Чтоб сразу ярко осветить,
Что в темноте живет привычкой
И верой в мужество святых.

Нас по ночам не беспокоят.
Есть суд, замки и сторожа,
Что держат жизнь в руках такою,
Какой и следует держать.

Но это ночью — за порогом,
А дома мечется душа.
Она родилась недотрогой,
И только этим хороша.

И темнолицые святые,
Блеща с поверженных икон,
Руками, плача, разводили
И молча убирались вон.
<1953>

1250. СИНИЦА

Видел я синицы слезы,
Видел вьявь, когда она,
Задыхаясь от мороза,
Умирала у окна.

Клювом мне в окно стучала,
Лапкой билась о стекло.
И внезапно — замолчала,
И не нужно ей тепло.

Отогреть ее не мог я,
Затянула муть глаза.
Пальцев кончики намокли
В птичьих горестных слезах.

С той поры я птицам верю,
Сомневаться не решусь.
Всякому поверю зверю,
Даже волку и ежу.
<1953>

1251. ВАГОННЫЕ СТИХИ

Внизу играют в подкидного
И пиво пьют. И только мне
Все кажется живым и новым,
Что ни является в окне.

И глаз циклопа-паровоза,
И зелень яркая сосны,
И сквозь колеблющийся воздух
Улыбка мутная луны.

И винегреты, винегреты
На горе матушки-цынги.
Цынги, которую поэты
Считают символом тайги.

И первым яблоком огромным
Меня встречающий разъезд,
Плодом тяжелым красно-темным,
Какого Ева и не съест.

А нам нетрудно соблазниться
И ледяной покинуть рай,
Хотя ждала бы нас больница
Или разрушенный сарай.

За этим яблоком чудесным
Мы в поездной летим ночи
И точно ритм неспетой песни
Колесный ритм в висках стучит.

Иркутск, наш город деревянный,
Прелестнейшая из столиц.
Ты был землей обетованной,
Важнейшей из моих границ.

И вот наивными стихами,
Размером пушкинской поры,
Мы славим зимнее дыханье
Зеленоглазой Ангары.

Мы не отдали моде века
Приличной дани. Старый ямб
И даже больше — ямб-калека
Пристойней показался нам,

Чем всей тонической системы
Ступени, выкрики, курсив
(Уже давно изжитой темы
Опять врывается мотив).

А в ямбе есть такие свойства,
Родство с природой языка,
Где в нашей речи беспокойство
Легко врывается тоска.

Внизу играют в подкидного
И пьют. Является в окне
Однообразие лесное,
Понятное до боли мне.

Все эти дали, лесосеки,
Кубаж, трелевка, штабеля.
Приятней, право, человеку
Смотреть на голые поля,

Где милое ребячье сено
Прилично сложено в стога.
Там не покажутся олени,
Не разволнуется пурга.

Внизу играют в подкидного.
Им дела нет до сих красот,
До сих невиданных обновок,
Какие поезд мне несет.

Он спотыкается на стрелках,
На стрелках юности моей,
Когда мне не казалась мелкой
Любая из моих затей.

Когда всей строгости мальчишьей
Стремленья жизни подчиня,
Я не казался вовсе лишним
Сиянью голубого дня.

А это что за возвращенье?
Поход неведомо куда,
Предсмертное передвиженье
Без тени, света и следа.

Внизу играют в подкидного,
Волнуясь, карты раздают.
Считают взятки, курят. Снова
Считают взятки. Пиво пьют.

Летят российские избушки.
Уже кончается Сибирь.
Сибирь, теперь уже старушка,
Раздавшаяся вдаль и вширь.

По всем статьям с землею нашей
Сибирь сравниться не могла.
У нас не сеют и не пашут,
У нас платочком только машут
Почти из каждого села.

Но славу темную Сибири
Давно наследовали мы.
И в этом — наше место в мире,
Значенье ссылки и тюрьмы.

Внизу поссорились мужчины.
Вагон, конечно, не для драк.
Но слышен грохот матерщины
И прерван подкидной дурак.

Мы задержались в Ярославле.
Некрасов? Волков? Чепуха.
Своих соседей не заставлю
Стряхнуть такое с языка.

Моряк увлекся модной пряжкой,
Блестящей пряжкой поясной.
Он хлопает себя по ляжкам
И вновь заводит подкидной.

А впрочем, просит папиросу,
И портсигар открыл сосед.
Он обращается с вопросом
К соседу — чей это портрет?

И бедный полустертый Гоголь,
Самолюбиво сморща нос,
Глядит и молит — ради бога
Не отвечайте на вопрос.

Луна какой-то пятой мастью
Вмешалась в состязанье тем.
Но знать, где счастье, где несчастье,
Дается далеко не всем.

И сумрак ветрами расколот,
И на колесах поездов
Ко мне подкатывает город.
Но я к свиданью не готов.

И сквозь безмолвие столицы
Я, бледный, из последних сил,
Перебираю чьи-то лица,
Явившиеся из могил.

Не для шпилей высотных зданий,
Подземных прихотей метро,
Я вез мешок своих страданий
И отточил свое перо.
<1953>

1252

Мне брюки не по мерке,
Пальто трещит в плечах,
А на руки, поверьте,
Не подберу перчаток.

И новая рубаха
Уже ползет по швам,
Вся белая от страха
И нитка чуть жива.

Боюсь лежать в кровати,
Костей услышать хруст,
Чтобы не стал ломать их
Какой-нибудь Прокруст.

И потолки все низки,
И тесны башмаки,
И душу ты не втиснешь
В журнальные стихи.
<1953–1954?>

1253

Играют в жен, в мужей, в друзей,
Чуть не с начала света
Вертится эта карусель
Приманкой для поэта.

Ведь он немало приложил
К тому своих усилий,
Чтоб в тесто этой вязкой лжи
И правду замесили.

Чтоб пышный свадебный пирог,
С монетой запеченный,
Надеждой обмануть бы мог
Мальчишек и девчонок.

Поэту любо и легко,
Коль подвернется случай,
Крутить любовь средь облаков,
Сгущающихся в тучи.

Но увидав, что лупит град
По шутовской площадке,
Поэт и сам проехать рад
На крашеной лошадке.
<1953–1954>

1254. НОВОГОДНЯЯ ПОЭМА

Н. В. Савоевой

От Чекая до Таскана
Магаданские стаканы
В этот миг везде звучат.

Принимайте ж поздравленье
Пожеланье, развлеченье
В новогодний этот час.

Чтоб к обеду сбор омлетов,
Запеканок и рулетов
Был бы вкусен, как сейчас,

Чтоб надзор за кухней, печью
Был всегда нам обеспечен
Наблюденьем главврача,

Чтоб больные сотню порций
Гулливеровых пропорций
Получали бы per os,

Обратился бы в преданье
И исчез из мирозданья
Полиавитаминоз.

Чтобы тропик Козерога
К нам подвинулся немного,
И тогда среди зимы

Зацвели б везде пионы,
Апельсины и лимоны
И цинги не знали б мы,

Чтобы были нам не чудо,
А текли для нас повсюду,
Дело кулинарных чар,

Диетические реки
(Берег — манные чуреки
Во́ды — рисовый отвар).

Не найти б тогда поноса
От Мылги до Сенокосной,
«Шига» сведена к нулю,

И больные только б знали
Отрицательный анализ,
Только минус, а не плюс.

Чтобы теплый южный воздух
С пневмонией той крупозной
Поборолся средь зимы,

А раздутые аорты
Отвозились на курорты
Самой южной Колымы,

Про кардиты и колиты,
Про остеомиелиты
Позабыли б все врачи,

И ушли б из жизни драмы,
А различнейшие травмы
Даже Траут не лечил,

Расцвела б кулинария
И сошла б дизентерия
Вон со всех больничных сцен.

Я писал бы здесь поэмы
О кончине эритемы,
О последнем ТБЦ.

Чтоб в больнице с новым годом
Для летального исхода
Равен был нулю процент.

И итогам нашим чтобы
Позавидовали оба,
Гиппократ и Парацельс.

Адъютанты Эскулапа
Всем трудам врачей Севлага
Годовой дадут подсчет

Койко-дней, деко до трупов,
Калоражу каш и супов,
С кухни выданных за год,

В абсолютных единицах
Сколько выдала больница
Производству работяг

И каких еще новинок —
Сульфидина, никотина
(Может быть абрикотина,
Аллаша, бенедиктина) —
Здесь больные захотят.

И прослушав все итоги,
Эскулап, накинув тогу,
К нам сойдет с Олимпа вниз,

Скажет: вы в соревнованье
Всех медпунктов мирозданья
Заслужили первый приз.

Но (чтоб не тянуть резины)
По истории медицины
Отвечайте мне сейчас,

Ведь незнание событий
Очень важных, но забытых,
Неуместно для врача.

Сколько было препаратов
В завещаньи Гиппократа?
Почему гомеопаты
Нынче только повара?

И каким медикаментом
Врачевали импотентов,
Древнегреческих студентов,
Из каких он элементов
Состоял эт цетера....

И с каким стоял вопросом
За столом с ланцетом острым
Знаменитый Калиостро,
Поднимая важно бровь?

И, скривя в улыбке рожу,
Ловко — герцогу иль дожу —
Выпускал дурную кровь?

Как работала больница
На полях Аустерлица?
Почему Наполеон

(Отвечай логично, просто)
Заболел колитом острым
В самый день Ватерлоо?

Где венок врачебной славы
Подцепил Иосиф Флавий
Робкой трепетной рукой?

Почему лечили нервы
Так удачно у Месмера
И в приемной у Шарко?

Почему Бильрот и Листер
Весь успех хирурга истин
Полагали в чистоте?

Почему Василий Боткин
Для больных сухой чахоткой
Не жалел бутылки водки,
Сбереженной для гостей?

И в скольких стаканах морса
Врач Людовика Каторза
Растворил большой брильянт,

Чтоб Людовик жил, как прежде,
На бессмертие в надежде,
Ежедневно сыт и пьян?

И когда алхимик старый
Продал редкие товары,
Вечной жизни эликсир?

Это были ль — боже! боже!
Просто пекарские дрожжи
Сей источник дивных сил!

Не сгорела папироса —
Эскулап на все вопросы
Получил от нас ответ.

Он шепнул тотчас на ухо
Адъютанту: мигом с кухни
Принеси богам обед:

Рыбий жир по целой кружке,
Полновесные ватрушки,
«Пайки» хлеба — все горбушки,
Отчего такая честь?

Чай богам — весьма горячий,
Что у нас больным ходячим
Можно только приобресть,

Борщ, заправленный свининой,
Точно мы на именинах
Эскулаповых сидим.

По полмиски каши гречки,
А на дне — кусок овечки.
В арьергарде ж сей еды

По три порции компота
Золоченых яблок (то-то,
Урожаем нынче горды
Гесперидовы сады).

И пожавши нежно лапу
На прощанье Эскулапу
В путь пошли обратный мы.

Вновь колоть, вливать и резать,
В мир абсцессов и парезов,
К диатезам, диурезам —
В боевой больничный мир.

А палатные беседы
Про семейные обеды
Продолжались бы и впредь.

Вспоминали б маринады
Сомневались в весе лярда
И хвалили вкус котлет.

Поверяли бы друг другу
Тайны щуки и севрюги
На Лукулловых пирах,

Выясняли роль редиса
И нечищеного риса
Для скорбутов и пеллагр.

И в мечтах о реализмах,
О могучих мыльных клизмах
И о прочих пустяках

Засыпали б мало-мало
Под заморским одеялом
У Морфея на руках.
<Декабрь 1944>

1255

Е. А. Мамучашвили

Я забыл, какие свечи
Зажигают в Новый год,
Чем какое горе лечат
В новогодней звонкой встрече
По законам старых мод.

Но всегда лечивший шуткой
Горе, голод и мороз
И веселой прибауткой
Осушивший много слез,
Я в привете новогоднем,
По привычке давней той,
За здоровье Ваше поднял
Новогодний тост за то,
Чтоб всегда, ходя на лыжах,
В рифмах Колыма–зима
Вы держались к дому ближе
И старались не хромать.

Всем ветрам и всем морозам
Не желая потакать,
Не высовывали носа
Из пухового платка.
Я хочу, чтоб Вы на пире
Над картошкою в мундире,
Сказкой кулинарных грез,
Над засахаренной пшенкой
И над банкою тушенки
Призадумались всерьез,
И рискнув опять на вольность,
Смело вилку занеся,
Не кричали б снова «больно»,
Не молили небеса,
Чтобы были чудеса.

Я хочу, чтоб с Новым годом
Вас поздравил капитан
Парохода, парохода,
Что везет Ваш чемодан,

Чтобы в легком белом платье,
В белом платье легче вьюг,
Тост поднять Вам, как заклятье
Возвращения на юг.

Чтобы жили Вы сердечно
И любили бы стихи,
Настоящие, конечно,
А не эти пустяки.
<Декабрь 1947>

1256. КОСМИЧЕСКОЕ

Идем тайгой в ночи морозной
И держим путь по старым звездам,
Таким, чей путеводный опыт
Не изучали с телескопом.

Над нами, как во время оно,
Висит созвездье Ориона.
Его знакомые лучи
Чертят дорогу нам в ночи.

Мы в небесах, как будто дома,
Как на земле все нам знакомо.
Какие могут чудеса
Преподнести нам небеса?

Вот два полуночных дельца
За тучу увели Тельца.
И звездной кражей огорчен,
Бледнеет честный Орион.

Охота лучше без Луны,
Но мы слегка удивлены
Невозмутимостью лица,
Спокойной позою Стрельца,
Когда его щенки пыхтят
В Большой Медведицы когтях.

Одно лишь только очень странно —
Такая видимость Урана,
Какой не знали никогда
Здесь ни планета, ни звезда.
Не видный ранее Уран
Явился на передний план.

Уже давно вошел он в моду,
Давно он делает погоду.
Его военная орбита
Уже давно к земной прибита.

В его таинственных лучах
Старик Нептун совсем зачах
И, звездной пылью опылен,
Орбиту протирает он.

Но не останется он втуне,
Настанет время и Нептунье.
Запляшет в мыле и в поту
Когда-нибудь старик Нептун.

А что же ты, бедняга Марс,
Так опоздал на этот фарс.
Казалось, по твоей науке
Как раз сегодня карты в руки.

Но современные манеры
Не мерят кодексом Гомера.
Тебя с заезженной дороги
Далекие столкнули боги.

Становится подавно дурно
Завистливому Сатурну.
И что ни боле, то ни дале
Он топит в дыме сатурналий
Свое опухшее лицо
И обручальное кольцо...

Мы поглядели на Весы,
Перевели вперед часы,
Ведь из-за горного забора
Нам скоро подмигнет Аврора,
Свои фривольные манеры
Перенимая у Венеры.

Чтобы не сбиться нам с пути,
Вполне достаточно светил,
А к остальным чужим планетам
Нисколько интереса нету.
К тому ж над головой всегда
Висит Полярная звезда.

И мы бредем в ночи морозной
И все надеемся на звезды.
Но если вдруг среди зимы
Потухнут звезды, черт возьми?
<1949>

1257. АМБУЛАТОРНЫЕ СТИХИ

Амбулаторное леченье
Имеет высшее значенье.

Нам мало обладать талантом
Разоблаченья симулянтов.

И птиц, и рыб, и всех зверей
Нам надо вылечить скорей.

Нам надо их вернуть в ряды
Отважных рыцарей руды.

Сидят четыре синих белки,
Занявших очередь на грелки.

И столько ж серебристых лис
Застыли в ожиданьи клизм.

Нам надо положить на койку
Дошедшую до ручки сойку.

И пеллагрозницу синицу
Отправить экстренно в больницу.

Скончалась молодая утка
От несварения желудка.

Какая, собственно, причина
Такой загадочной кончины?

Ведь всем известно, что у утки
Лишь только черта нет в желудке.

Она попробовала нашей
Весьма известной сборной каши,

Неделю стланик попила
И богу душу отдала.

И помня сей пример, тетерка
Глотнула ложечку касторки.

Медведь не может пообедать
При обостреньи диабета.
Мы знаем, диабету ведь
Подвержен даже и медведь.

Жаль мне медведя-старика,
Прибывшего с материка.

Он, бедный, явно не учел,
Что здесь ни меда нет, ни пчел.
Да и спасительной глюкозы
Здесь не найдешь желанной дозы.
И бедному дается мишке
Так мало сахару по книжке.
Ах, лечит этот диабет
Лишь диетический обед.

В углу присев на ветхий пень,
Сосет сухарь седой олень.

Пришла голодная треска,
Суха, костлява и жестка.
У ней сегодня целый пир,
Прописан ей тресковый жир.

Вот стая прибежавших рыб
Пожаловалась на грипп.
Согреться можно лишь с трудом,
Полгода сидя подо льдом.

Вошла кокетливая ласка
Мужской пленившаяся лаской.
И принимается реветь
При положительном RW.
Ох, не в один такой роман
Вмешался трезвый Вассерман.
И ласка корчится от боли,
Приняв укол биохинола.

Сверкают чьи-то ягодицы,
Как примелькавшиеся лица.
(Разнообразье ягодиц
При одинаковости лиц).

Явилась горная коза
Пожаловаться на глаза.
Водой закапать три раза́
Ее бесстыжие глаза!

Случился перелом лопатки
У апатичной куропатки.
Ей по спине огрел лопатой
Вчера дневальный куропатый.

С работы юная навага
Вплыла бледнее, чем бумага.
Она и плачет, и орет —
Крючком ей разорвали рот.

Записываются эти драмы,
Как производственные травмы.

Вы глухарей предупредите
Об их хроническом отите.

Какой-то худощавый гусь
Кричит на всю святую Русь,
Что из своей гусиной кожи
Никак он вылезти не может.
И мы рекомендуем с тактом
Поллитра хвойного экстракта.
Пить ежедневно целый год,
Пока желанье пропадет.

Распухла заячья нога —
Здесь несомненная цинга.
Он сам с просительною миной
Давно глядит на витамины.

Мы отвечаем очень просто:
Употребляйте «дикоросты»,
Там есть и «Б», там есть и «Ц»,
И вы поправитесь в конце.
А здесь не стойте на крыльце
С недоуменьем на лице.

Явились скользкие налимы,
Случайно проплывая мимо.

В реке ведь холодно, мокро
И даже вовсе стынет кровь.
Начальство этих черных вод
Налимам спирту не дает.

И мы ответили налимам:
Плывите дальше — в южный климат.
Иначе вы не сохраните
Себя от вечного ринита.

Вот рысь с разорванной губою
Пришла обследовать побои.
Вчера без страха и стыда
Вползла куда-то не туда.

И отворяя дверь с размаха,
Кричит с порога россомаха:
— Эй, помогите чем-нибудь,
Бродяга хочет отдохнуть.

Мы сохраняем строгий вид,
Уже использован лимит
На группу «В» и группу «Б»,
Придется подождать тебе.

Вот так рисую я без страха
Пером Вильгельма Каульбаха
И сочиняю пустяки —
Амбулаторные стихи.
<1949–1950>

1258. АНАТОМИЯ ПО СУРКОВУ

Я вижу ее посреди беспорядка
Идущих не в ногу маршевых рот,
Упрямо бьет по бедру лопатка...
А. Сурков, Лит. газета 19/X-57

Упрямо бьет по бедру лопатка
И голень прицеплена прямо к плечу.
Все кости мои в таком беспорядке,
Что череп от таза не отличу.

Перо я держу мускулистой стопою,
Но трудно добиться равненья в рядах, —
Солдаты идут поневоле толпою,
Когда с анатомией не в ладах.
1957

1259

С большим умом
Практического склада
Он был посланцем
Рая, а не ада.
<1970>

1260. НА АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

Здесь нет следов былого льда
И даже нет следа стыда.

Зато в лице оставил след
Мужской и дамский туалет.

Перистальтический сей звук
Приводит всех друзей в испуг.
<1976>

1261

Я стеснялся стихов. Никому, даже маме,
Не читал я стихов никогда.
Дома жил, как чужой, со своими стихами,
На щеках была краска стыда.

Я скрывался в чулан, и бумага шуршала —
Шелест был осторожен и тих.
А теперь мне все кажется — мама читала
По глазам моим каждый мой стих.

1262

Паутинный день осенний:
Бабье лето.
Коротки деревьев тени,
Море света.

Ты срываешь паутину
Нежными руками,
Все, что этой нитью длинной
Связано веками.

Разорвалась паутина —
Ты меня спасаешь,
А про то, что ты — богиня,
Ты сама не знаешь.

1263

Я заперт наглухо давно
В той узкой комнатушке.
Оставить крылья суждено
На скомканной подушке.

Рассвет мой плох и вечер плох.
И день мой, как чертополох.
И не глядели бы глаза
На остановленную песнь…

Но выход в поговорке есть,
Спасение, ответ, совет.
Я выхожу на божий свет —
«Людей посмотреть и себя показать».

1264

Все есть.
Все заслужило честь.
Снег — бел. Красно
Вино.
Богаты звуки
И сравненья,
И безупречны
Ударенья.
И рифма
Чудо хороша.
Иной не требует душа.

Здесь нету только
Капли соли…
Здесь нету только
Капли боли…

1265

Дата точная, как дрель,
Режет настроение.
Непонятна вовсе цель
Дат в твоих творениях.

Не добавит глубины
Эта цифра — ячество.
И для вечности нужны
Не такие качества.

Хорошо, когда сродни
Вечность и вселенная.

Только надо в мысли-дни
Кроме дат — стиха огни,
Песню современную.

1266

Я к жизни жаден, и не в меру.
Чем докажу? А вот, к примеру,
Краюха хлеба так вкусна,
Что райской кажется она.
Буханку выпекли в раю —
Натуру разбудить мою.
Я ем — все корочки хрустят,
А мне — под шестьдесят.

1267

В платье девушка как пава,
И карманы слева, справа
Широки, ярки.

В левый влезть легко арбузу,
Разместиться чудо-грузу
Просто пустяки.

Я карман бы занял правый
Головой своей кудрявой
Или положил

Голову в твои колени,
Не ища прохлады, тени,
И дышал и жил.

1268

Хожу я по опушкам,
Наверное, века.
Всегда наша кукушка
Поет издалека.

Кукушкина потеха,
Известно ветерку,
Что тут — вся прелесть в эхо,
А не в самом «ку-ку».

1269

Человек вздохнул тяжело и глубо́ко
И как бы все рассказал тебе.
Ты понял все во мгновенье ока
О горе его и судьбе.

Подробности неважны. Цена им невелика.
На колени опустилась бессильно его рука.
Жизнь гаснет. Жизнь коротка.

1270

Соломинку, как пушку, муравей
Вздымает вверх. И большего не надо:
Я вновь солдат, ползущий по траве,
Измотанный в боях под Сталинградом.

1271. ЗЕМЛЯНИЧКА

Разрывы снарядов прижали к земле.
Ничком наша рота лежит.
Мы дышим в еще не рассеяной мгле,
И дым на деревьях висит.

Тот уксусно-острый тяжелый дым.
И каждый молчит, как немой.
Молчим и лежим. За командой следим —
Ведь скоро начнется бой.

Мы ждем подготовки: залпа «катюш» —
И каждый зарылся б в нору!..
Я вдруг ощутил всю сосновую глушь
И запах смолистый в бору.

Увидел я: рядом, в ложбинке, на дне —
В клещах бьется сердце мое! —
Мелькнула в траве земляничка, и мне
Нетрудно достать до нее.

Я думал тогда совсем не шутя —
Последний встречаю бой,
Но к ягоде я потянулся, дитя,
Сорвал ее жадной рукой.

И каждый сражался за жизнь свою,
И смертью грозил каждый куст…
Во рту у меня в штыковом бою
Был тот земляничный вкус.

1272

Хоть время — текущая быстро река —
Все дальше от страшного гетто,
Тем крепче, тем тверже держу я в руках
Возмездия эстафету.

И если, слабея, состарюсь я сам, —
Горячий огонь возмездья
Я сыну тогда своему передам
С могильными ямами вместе.

И я пронесу эту месть, этот пыл
И ненависть сквозь поколенья,
Чтоб в мире никто никогда не забыл
Чудовищное преступленье.

1273

Тонки струны паутины,
Легок листопад.
Поздней осени картины,
Солнца гаснет взгляд.

Как сигналы опозданья
Снежных мошек пляс…
Это краски увяданья,
Размышленья час.

1274

Плывем,
И волн волнение
Похоже
На кружение.
Чего мы ждем?
Куда придем?
Молчащий берег — как мертвец.

И мы к нему плывем,
Как стадо глупое овец.

1275

От слепящего снега
И холода
Пред глазами деревья кружат.
Будто пьян я.
Подушку под голову
Ищет мой взгляд.

1276

Мое тело загорело злому северу назло.
Солнце юга посмотрело через хитрое стекло.
Это солнце посмотрело через лупу на меня,
На спине моей оставив знаки своего огня.

Бью себя с размаху в грудь я!
Слышишь, слышишь, как звенят
Ребра — кольчатые латы, вечный рыцарский наряд.

Эх, копье теперь бы в руки! Не хватает мне копья.
А с копьем, конечно, буду, настоящий рыцарь я.

1277

Качается ветка, дрожит, как струна,
И я понимаю, что птица
Огромную силу затратить должна
Затем, чтобы ввысь устремиться.

Отталкивание, рывок
Такого полны напряженья
Всей силы когтей, птичьих лап, птичьих ног, —
Я понял законы движенья.

1278

Сквозь оклеенные окна
В комнате лесной
Солнце бьется лапкой в стекла,
Зайчик — как весной.

На столе лежит бумага
И шуршат листки
Радостью или отвагой
У моей руки.

1279

Для тебя моя дверь
Без замков и запоров.
Все открыто, поверь,
Для любых разговоров.

Даже ящик стола
Приоткрылся немного
Для добра и для зла,
Что хранились так строго.

Если ты бы пришла
И тарелку разбила,
Этим самым внесла
В дом мой светлую силу.

1280

Среди тысяч незнакомых,
Неизвестных мне людей
Я иду, ошеломленный
Гулом здешних площадей.

Я растерян: небо, воздух —
Всё другое, видно, тут;
Не пойму, какие звезды
Вместо звезд в домах живут.

Я шагаю осторожно
И дорогу всем даю:
Озабоченным, тревожным,
Заблудившимся в раю.

Не задеть чужой бы локоть,
Неизвестное плечо,
Там написано «не трогать»
Откровенно, горячо.

И шагаю я вполшага,
Тихо думаю в тоске:
Не украли бы бумаги,
Что укрыты в пиджаке.

Мои считанные гроши
На ночлег и на еду,
И без них я — что же проще? —
И домой не попаду.

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

601

Ед. хр. 23. Л. 37 об.

отдельная строка

Забывает скоро мозг

Это — память подаяний.
<строка пропущена>
Память северных сияний
В обжигающей ночи

И злопамятное тело
Затаит на много лет
Как метель его вертела,
Заметая свет и след

И следы отморожений
От рукопожатий льда
<нрзб.> былых движений
Сберегутся навсегда

Л. 38

И прижав к подушке белой
К белоснежной простыне
Разметавшееся тело
Цепенеет в тишине

отдельная строка

Наши руки помнят чувство

Так привычны в сенокосе
Помнят руки косаря
[Для былого косаря]
Шорох трав в таежных росах
И холодная заря

[Все забыто. Все забыто]
Понемногу все забыто
Тает, плавится, как воск
Пред лицом огня событий
Ослабел трусливый мозг.

Но беречь воспоминанья
Ведь не мозгу вручено

[Ведь не мозг хранит страданья]
Память мышц хранит страданья
Позабытые давно.
[Даже числа и названья
Скрыты в мускулах давно]

Л. 38 об.

Жизнь идет. В ее движенье
Отступает во вчера
Подвиг старого сраженья
[Для досужего пера]

Л. 39

Слишком памятливы руки
И навеки сохранят
<*пропуск*> науки
Листопад и снегопад.

Наша память — это тело
Наше тело — это сила

Все, что мышцею сердечной
Навсегда сбережено.

Л. 40

Понемногу все забыто
Тает, плавится, как воск
От <*нрзб.*> огня событий
Все, что прятал темный мозг.

Но беречь воспоминанья
Ведь не мозгу вручено
Память мышц хранит страданья
Позабытые давно

Но не все забыло тело
У былого косаря

У него при каждом взмахе
Разгулявшейся косы
Раздувается рубаха

Л. 40 об.

И рубцы отморожений
От рукопожатий льда
Ограничивать движенья
Научились навсегда

И злопамятное тело
Затаит на много лет
Как метель его вертела
Заметая свет и след

Потому на слишком белой
Белоснежной простыне
Разметавшееся тело
Цепенеет в тишине

Л. 41

Нашим мышцам, пергаментной коже
Сохранить до конца суждено
То, что мозг караулить не может,
Хоть и прячет на самое дно
<*Далее — строфа нрзб.*>

Память мускулов — много сильнее
Чем лукавая память ума
И ее разговоры больнее [важнее]
И она это знает сама

Л. 41 об.

Мы храним трудовые привычки
Тело каждого <*обрыв*>

Ненадежная память поэта
Помороженная в снегу

Л. 42

Память. 1

Вялым мышцам, пергаментной коже
Сохранить до конца суждено
То, что мозг караулить не может,
Хоть и спрятал на самое дно.

[Он подавлен <толпой> впечатлений]
Откровеньями нового дня
Поведеньем людей и видений,
Окружавших когда-то меня]

Только ночью — прозрачной и белой,
Без целительной [лечебной былой] темноты
Узнаю, как злопамятно тело,
Чьи рассказы грозны и [по-детски] просты.

Ноют кости, суставы и связки
И свиваются нервы в клубок
От присутствия раненой сказки,
Завороченной в крепкий [жесткий] лубок.

Л. 42 об.

Сколько памятью забыто
Сказок, масок и имен,
Происшествий и событий
С тех ребяческих времен.

Л. 43
<*Сверху написано*> Плотник, Косец, Шахтер, Слесарь

[Все, что ты когда-то делал
Топором или киркой]
Все, что ты умело делал,
Эти навыки труда,
Что узнал усталым телом,
Ты запомнил навсегда.

Где же скрыта память эта
Эти навыки труда
Почему легка мне летом
Сенокосная страда

Ты шахтер, косец и слесарь

И тяжелая винтовка
Неожиданно легка
Обнимают пальцы ловко
Рукоятку молотка

Л. 43 об.

И ухватка горнового
И повадка рыбака

Мозг не помнит, мозг не может
Не старается сберечь
То, что знают мышцы, кожа
Память пальцев, память плеч.

Л. 44

Память. 2

Если ты рубил умело
Топором или киркой
Ты запомнил дело телом
Натрудившейся рукой

Этот ум или уменье
В звуковом подобье слов
Привести в стихотворенье
Я умышленно готов

Сколько памятью забыто
От ребяческих времен
Происшествий и событий,
Сказок, чисел и имен

Где же скрыта память эта
Эти навыки труда
В пальцах, мускулах поэта
Укрепляясь навсегда

Все, что ты когда-то делал
Топором, пилой, киркой
Ты навек запомнил телом
Незлопамятной рукой

636

Ед. хр. 16. Л. 69 об.

вм. 1–8

Море мечется в падучей,
Море давится слюной
И дрожит под теплой тучей,
Как припадочный больной.

Кипарисы, точно копья,
Средь лиловых листьев слив.
Чайки, будто снега хлопья,
Полетели на залив.

День в скафандре небосвода,
Будто некий водолаз,
И готов спуститься в воду,
Незаметно скрыться с глаз.

660

Ед. хр. 7. Л. 54–56

вм. 1–4

Подъемный кран, как самоходка
На гусеничном ходу,
По окнам бьет прямой наводкой
И тихо кружится на льду.

25

И обыденность сцены значит

после 52

А там — другой какой-то Гоголь
Являет миру гордый вид —
Легко взобравшийся на цоколь
Солдат навытяжку стоит.

Как в парикмахерской, намылясь,
Качая снежной головой,
Стоит его однофамилец,
Раскланивается с Москвой.

680

Ед. хр. 27. Л. 14

после 12

Здесь я, в одном белье нательном,
И равнодушный, и больной
Стоял в позиции дуэльной
Повернут к пропасти спиной.

В кроваво-сером освещенье
В холодном солнечном огне
Я должен был принять решенье
На лермонтовской крутизне.
<1 строфа нрзб.>

И выстрел был совсем не нужен,
Я умер прежде, чем упал.
Я опоздать хотел на ужин
И в самом деле опоздал.

Ед. хр. 28. Л. 13

ЯБЛОНОВЫЙ ХРЕБЕТ

Там складки гор похожи на Кавказ.
Рельеф горы годится для дуэлей,
И каждый холм — написанный рассказ,
И он рассказом выглядит на деле.

Брусника так крупна и велика,
Как будто не брусника, а черешня,
Рассыпанная у подножья Машука,
Во всем подобная бруснике здешней.

И дневники маршрутов коротки,
И каждый день измученный геолог
Ночной костер разложит у реки
И на камнях расположится голых.

Не он напишет по пути Мцыри
И с демоном не он беседует на круче.
В разливе синей сказочной дали
Он дальним Севером измучен.

685

Ед. хр. 27. Л. 11; НС

загл. ГОЛУБЬ В БИБЛИОТЕКЕ

вм. 1–8

По книжным полкам ходит голубь
И это комнате к лицу,

А за окном бушует холод,
Грозя сквозь стекла беглецу.

после 8

А он уже почистил перья
И воротник расправил свой
И преисполненный доверья
Качает важно головой.

Он ходит среди бревен полых,
Где буквы — черное зерно,
Он ходит среди комнат голых
И не летит назад — в окно.

Как будто не библиотека,
А просто роща у реки,
Где блещет сосен лесосека,
Как золотые корешки.

693

Ед. хр. 7. Л. 57–57 об.
вм. 7–12

Но кто сказал, что рукопись — вода?
Она — как россыпь, залежь и руда.

Как золотой перегоревший ком,
Огнем вулкана сдавленный с песком.

Как самородок — в сердце горных руд,
Самой природы старомодный труд.

В обвалах скал, средь каменной трухи
Найдут мои подземные стихи.

Нащупают под ржавым плитняком
Старательным старательским скребком.

Поэт-любитель, тайный камневед
По этой книжке мой отыщет след.

744

Ед. хр. 28. Л. 20–20 об.
вм. 3–10

Плясуны, скрипачи, музыканты,
Обморозившие таланты.

Тугоухие и заики,
Замечтавшиеся о великом,

Ослепленные снегом и горем,
Оглушенные северным морем,

Мы учились далече, далече,
Там, где горы широкоплечи

815

РГАЛИ. Ф. 2590 (А. К. Гладкова)
3 И робкая река

вм. 5–12 Таруса, Русский Рим,
А не поселок дачный,
Мечты усталый дым,
Усталый дым табачный.

Здесь громки имена
Людей полузабытых,
Здесь сеют семена
Не на могильных плитах.

Ед. хр. 84. Л. 65
5 Здесь живы имена

13–16 [Карьер известняка
Треск яблоневой почки
Как вышивка — строка
Художественной строчки.]

после 20 Таруса. Синий дым
Усталый дым табачный.
Таруса. Русский Рим
Народный, а не дачный.

833

Ед. хр. 34. Л. 21

У меня на земле
Нет ни дома, ни сада.
Я прописан во мгле
На обочине ада.

Перерезана нить
К первородному раю.
Где себя схоронить
Я и нынче не знаю.

850

Ед. хр. 93. Л. 17
1–16 Взад-вперед ходят ангелы в белом
С неземным выражением глаз,

Труп еще называется телом —
В лексиконе, доступном для нас.

И чистилища рефрижератор,
Подготовивший трупы в полет,
Петербургский ли это театр,
Навсегда замурованный в лед.

Распахнут подземелье столетья,
Остановится время — пора
Лифтом морга, как шахтною клетью,
Дать добычу судьбы — на гора.

Нумерованной, грузной, бездомной
Ты лежала в мертвецкой — и вот
Поднимаешься в синий огромный
Ожидающий небосвод.

26 Торопливых друзей говорок,

29–32 Нумерованной, мертвой, бездомной
Ты лежала в мертвецкой — и вот
Поднимаешься в синий огромный
Ожидающий небосвод.

853

Примеч. к ВШ7. Т. 3 (И. Сиротинская)
вм. 1–4 Без чернил и без бумаги
Мы твердим грозы азы,
В колдовском универмаге
Укрываясь от грозы.

Мы запоминаем навек
Перепад температур,
Часовой торговый график
И безмолвие скульптур.

И свинцовый дождь столетья,
Как начало всех начал,
Ледяной жестокой плетью
Нас колотит по плечам.

И по обнаженной коже
Марш выстукивает град,
И Москва с метелью схожа
В этот ливень-снегопад.

859

Ед. хр. 84. Л. 48; ДП-1969

вм. 5–16

Здесь солнце держат в черном теле,
И так оно истощено,
Что даже светит еле-еле
И не приходит под окно.

Здесь — вместо детского смятенья
И героической мечты —
Одушевленные растенья,
Деревья, камни и цветы…

905

Ед. хр. 37. Л. 14–16

загл.

ЛИКВИДАТОР НЕГРАМОТНОСТИ

Он — черно-белый, мой букварь,
Букварь моей судьбы:
«Рабы — не мы. Мы — не рабы» —
Вот весь его словарь.

И повторяет бедный шкраб,
Что он давно не раб.

Я сам тот мальчик-педагог
Сижу среди старух.
Я сам здесь и пророк и бог,
Лечу от всех разрух.

Я повторяю, я учу
Кричу, шепчу, ворчу,
По книге кулаком стучу
Во тьме свечой свечу.

Я ликвидатор старых бед,
Я педагог, солдат, поэт.

Из этой вековой тюрьмы
Я вывести хочу.
«Рабы — не мы, мы — не рабы»,
Вот все, что я хочу.

1090–1095

Ед. хр. 78. Л. 45–45 об.

2

Я горстью, воин Гедеона,
Пил воду из таежных рек,
Я и тогда, во время оно,
Был незлобивый человек.

Но на горе древней Синая
Услышу злобные слова
И меру новую узнаю,
Которой мерит Егова.

Уча законам всех религий,
Тайга, однако ж, неспроста
Одной лишь не раскрыла книги:
Евангелия Христа.

1112

Ед. хр. 3. Л. 11 об.

[Кровь и] Людские обиды
[Все, что ты] Ты знал и видел
[Если вернешься домой] И то, что ты позабыть не мог
Помни немой

В пьяном чаду
В малярийном бреду
Либо
На дыбе
Где мышцы твои рвут палачи
Молчи

В [бредовом] счастливом сне
[Даже] Любимой жене
В свете [усталой] зари
Не говори.

И на могилах
Матери и отца
Ты мертвецам
Не рассказывай были

<*на полях*>
Даже отцу
Мертвецу
На могиле
Ведь не расскажешь были

Матери — лги.

<*на полях*>
Матери — помоги

Дочери
Сыну
Ночью синей

О том, [где] [как] ты жил
Не расскажи.

И [перед лучшим] [другом] другу
Сжимая руку
К тайнам своим отдавая ключи
Про это — молчи.

Но на последнем встав пороге
Устав и от правды и от лжи
[В петлю, натертую мылом
Голову вложив
О том, что было]
Богу
И то немного
Все-таки расскажи!

1149

Ед. хр. 2. Л. 32 об.–33

Встает измученный картограф,
Ночные звезды шевеля,
На высоту, перед которой
Совсем унизилась земля.

Он думал, что потом рулеткой,
Как зверя, землю захлестнет
Географическою сеткой
Меридианов и широт.

Другой своим магнитным ухом
Уловит цель его трудов —
Земле бурами вспорют брюхо,
Давно набитое рудой.

Стригут деревья под машинку,
Разводят под землей костер,
Чтоб стали резкими морщины
Человекоподобных гор.

Картограф, лишнего не требуй
И здешних гор не меряй рост,
Оставь хоть здесь в покое небо,
Не трогай звезд.

Я здесь бродил в цветных туманах,
Ища неприхотливый кров,
Глядел, как зорям лижут раны
Нежнейшие из всех ветров.

Я мясом с птицами делился
И ястребов учил летать,
Я у ветров тайги учился
Деревьям косы заплетать.

Земля поставлена на карту
И перестала быть землей.
Она лежит на школьных партах,
Уже разлюбленная мной.

1179

Ед. хр. 2. Л. 9–10

Я пришел на ржавый берег
Перемятых жженых скал,
Где когда-то Витус Беринг
Адмиралом умирал.

Где на пограничном море
Силой солнца и воды
Напряженно и безмолвно
Выгибали спину льды.

Человек, смоливший лодку,
Услыхал мои шаги.
Пополам делить находку
Я добрался из тайги.

Мы взглянули друг на друга
В свете солнца, в свете льда,
Зеленея от испуга,
Розовея от стыда.

И зажав ножи в карманах
Тверже волчьего клыка
Во взаимные обманы
Мы поверили, пока

На привале, на причале,
Чайке перебив крыло,
Мы, как звери, зарычали,
Позабыв добро и зло.

И сырым вонючим мясом
Старый голод утолив,
Мы хотели засмеяться,
Но смеяться не могли.

1224

Ед. хр. 8. Л. 47–46 об.

И запах краснокожих сосен,
Хмельное хвойное вино.
Вторая Болдинская осень
Мне померещилась весной.

Но хлопнув крышкою могильной,
Я беззастенчиво войду,
И я — в аду, вполне стерильном,
В обеззараженном аду.

Я превращен давно в консервы,
Нетленный и почти живой,
Вотще явившийся на север
За мертвой и живой водой.

И этот ад получше рая,
Под камнем в миллионы тонн
Дышу, горя и не сгорая,
Зажатый вечностью тритон.

Ценя редчайшие таланты,
При жизни я имел в виду
Его подобно радаманту
Судьею посадить в аду.

И я — поклонник красnoсловья,
По Ломоносова следам
Слагал бы оды в честь здоровья
И красоты знакомых дам.

Вся эта тяжба или свара,
Бесславный долголетний бой
Дымится торфяным пожаром
Борьба моя с самим собой...

Нам многое дается даром.
И шелест жестяной травы,
И лес охваченный пожаром
Кленовой лапчатой листвы,

Где капли ягод, еле-еле
Держащиеся на кустах
Качает ветер в такт свирели,
И сохнут слезы на цветах.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворения 1957–1959 гг.

Целый ряд обстоятельств дает основание выделить стихи этого периода в самостоятельный раздел. Публиковавшийся в *ВШ4* и *ВШ7* раздел «Стихотворения 1957–1981 гг.» был слишком громоздок и при этом крайне далек от полноты, не давая объективного представления о развитии поэтического пути Шаламова после завершения основной работы над *КТ*. Между тем, само возвращение Шаламова в Москву осенью 1956 г. было для него огромным событием, началом нового этапа жизни, сопровождавшегося сложнейшими проблемами. С одной стороны — удовлетворение от восстановления в гражданских правах, обретения новой семьи, своего угла, включения в работу корреспондентом журнала «Москва», первой публикации стихов в журнале «Знамя» (1957. № 5; «Стихи о Севере»), с другой — трудности адаптации к столичной жизни после лагеря и перенапряжение от мучительного раздвоения между рутинной, изматывающей журналистикой и литературой, служение которой он считал своим святым долгом. Все эти обстоятельства во многом способствовали обострению болезней. В ноябре 1957 г. у Шаламова случился первый серьезный приступ болезни Меньера, приведший к почти полной потере слуха. В сентябре 1958 г. он совершил первую за много лет поездку на отдых в Сухуми к жившей там старшей сестре Г. Т. Сорохтиной. Затем болезнь снова обострилась, и Шаламов несколько месяцев провел в Боткинской больнице, после чего ему пришлось выйти на инвалидность и расстаться с журналом. Благодаря содействию А. И. Кондратовича (работавшего в «Москве» и перешедшего в «Новый мир») Шаламов в 1959 г. принимается внештатным рецензентом «Нового мира» по работе с начинающими авторами — дело рутинное и малооплачиваемое. Но именно в этот период создаются не только рассказы и часть «Очерков преступного мира», но и около ста пятидесяти лирических стихотворений (при этом почти треть из них при жизни Шаламова осталась неопубликованной). Стихи наполнены во многом новыми темами — впечатлениями от Москвы, от общественных перемен «оттепели», перемежавшейся «заморозками». Новые мотивы возникли также в связи с поездкой в Сухуми, где Шаламов, по его признанию, пытался «преодолеть северную тематику». Однако колымская тема не могла исчезнуть, несмотря на невозможность публичного высказывания о лагерях. Еще в 1957 г. началась подготовка первого сборника «Огниво», вышедшего в 1961 г. в издательстве

«Советский писатель», где какой-либо намек на лагерь заведомо исключался. В итоге самые сокровенные страницы своего поэтического дневника (особенно те, что были написаны в Боткинской больнице зимой 1958–1959 гг. и связаны со всплеском воспоминаний о Колыме) Шаламов оставил «в столе».

Основными источниками текстов являются рукописные тетради данного периода. К сожалению, точная хронология всех ст-ний трудновосстановима, так как датированы автором лишь три тетради (Оп. 2. Ед. хр. 110 — «1957-I»; Оп. 3. Ед. хр. 24 — «1957-III»; Оп. 2. Ед. хр. 111 — «1959-II»), еще одна — Ед. хр. 23 — со знаком вопроса («1957-II?»), причем в ней есть ст-ния, написанные в больнице (так же как в Ед. хр. 25 и 26). Тетрадь Ед. хр. 27 имеет беловой сводный характер и обозначена «Стихи 1959 года». Часть автографов сохранилась в материалах к несостоявшимся сборникам «Разлука» и «Глубокая печать» (Оп. 3. Ед. хр. 83, 84). Автографов некоторых ст-ний, особенно 1958 г., не найдено — они печатаются по машинописям и по публикациям, а датируются по *АКомм* и *Списку1969*.

549. *Шсб-5*. Автограф — Ед. хр. 110. Л. 6 об.

Давно запуганный Шекспиром... — Имеются в виду, очевидно, многочисленные сцены убийств, предательств и человеческих страданий в трагедиях Шекспира.

550. *Огниво*. Автографы — Ед. хр. 110. Л. 7; Ед. хр. 83. Л. 71, с вар. загл. «Россыпная разведка», «Старатели». В *Списке1969* — первое под 1957 г.

551. *ДП-1985*. Автограф — Ед. хр. 110. Л. 9 об. Вкл. в *КТИзбр*. С учетом того, что границей *КТ* является 1956 г., включение этого шутливого аллегорического ст-ния в *КТИзбр*, очевидно, произошло из-за смещения дат. Ср. также ст-ния 1957 г. «Горный водопад» (№ 562), «Осязанье» (№ 566), «Бивень» (№ 567) и др.

552. *ЛГ*. 1968. 24 июля. Автограф — Ед. хр. 110. Л. 21.

АКомм: *«Написано в 1957 году в Москве».*

553. *Огниво*. Машинопись — Ед. хр. 113. Л. 40.

Все — заново! Все — заново! — Ср.: «Зима, и все опять впервые» (Б. Пастернак, «Зазимки», 1944) *...Пробить тропу положено / По снежной целине.* — Тот же мотив см. в новелле «По снегу» (1956), открывающей *КР* (*ВШ7*. Т. 1. С. 47).

АКомм: *«Написано в 1957 году в Москве. Чуть-чуть не было исключено из „Огнива“ из-за последней строфы, ради которой и написано все стихотворение».*

554. *ЛГ*. 1968. 24 июля. Автограф — Ед. хр. 110. Л. 22 об.

АКомм: *«Написано в Москве в 1957 г.».*

555. *Огниво*. В *Списке1969* за 1957 г. загл. «Маляр». Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 74–75.

АКомм: *«Написано в 1957 году в Москве. Стихотворение, в котором нет никаких купюр и никаких авторских вариантов.*

Предполагалось к печатанию журналом „Москва“, но „неграмотный маляр“ был забракован высшей тогдашней журнальной властью».

556. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 73.

АКомм: *«Стихотворение написано в Москве в 1957 году».*

557. *Огниво*. Автограф — Ед. хр. 110. Л. 52, с вар.: ст. 16 «туман» вм. «буран».

АКомм: *«Написано в 1957 году в Москве».*

558. Москва. 1958. № 3. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 38.

АКомм: *«Написано в Переделкине[1] в 1957 г.».*

559. *Огниво*. Автограф — Ед. хр. 23. Л. 83. Две последние строфы, о которых Шаламов говорит в *АКомм*, не найдены.

Тропарь — песнопение в честь православного праздника или святого. *...на сотне кросен / Ткут...* — Кросно — ручной ткацкий станок (обычно с уже начатой на нем работой). Ткачество на кроснах было широко распространено в Вологде.

АКомм: *«Написано в 1957 году в Москве. В сборнике „Огниво“ печаталось без последних двух строф».*

560. *ДиС*.

Вероятно, связано с поездкой за город, в Переделкино (Измалково). См. № 558 и примеч.

Вот бык — египетский святой... — По-видимому, имеется в виду Апис, священный бык у древних египтян.

561. Знамя. 1966. № 7. Автограф — Ед. хр. 110. Л. 20 об.

АКомм: *«Написано в 1958 году[2] в Москве. Напечатано в ж. „Знамя“, № 7, 1966 г.».*

562. *ЛГ*. 1966. 30 июля. Автограф — Ед. хр. 110. Л. 50. Вкл. в *КТИзбр*.

АКомм: *«Написано в 1957 году в Москве. „Горный водопад“ из „постколымских“ стихотворений, одна из главных моих поэтических формул. Думаю, что от державинского „Водопада“ с его символикой и аллегоричностью мое описание водопада отличается краткостью, лаконичностью. Стихотворение — одна из особенных удач пейзажной лирики. Напечатано впервые в „Литературной газете“ С. С. Наровчатовым в подборке „Северные стихи“».*

563. Москва. 1958. № 3. Автограф — Ед. хр. 26. Л. 10, загл. «Погрузка в порту».

Кунгас — большая гребная или парусная лодка без палубы.

АКомм: *«Написано в 1957 году. Из „постколымских“ стихотворений, продиктованных Колымой. Бухта — это бухта Нагаева[3]».*

564. *Огниво*. Автограф — Ед. хр. 110. Л. 29, загл. «Горное шоссе».

---

[1] Очевидно, в деревне Измалково близ Переделкина, где снимала дачу О. С. Неклюдова.

[2] По-видимому, ошибка памяти, так как автограф содержится в тетради 1957 г.

[3] Ср. ст-ние «Бухта Нагаева» (№ 715) и примеч.

Связано со знаменитой колымской трассой, построенной заключенными.

АКомм: «*Написано в 1957 году. „Постколымское" стихотворение. „Шоссе" встретило печатную похвалу читателей-колымчан: „Наша дорога — трудяга". Отвечая одному из моих магаданских корреспондентов, я подчеркнул, что главное в „Шоссе" — то, что горы „тащат море в небеса"*»[1].

565. *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 110. Л. 50, загл. «Закладка города в тайге».

Возможно, здесь отразились впечатления от стройки в одном из колымских поселков. Закладку г. Магадана в начале 1930-х гг. Шаламов наблюдать не мог.

АКомм: «*Написано в 1957 году в Москве. Принадлежит к числу „постколымских" стихотворений*».

566. Россия. 1998. № 3. Автограф — Ед. хр. 110. Л. 29–30. Вкл. в *КТИзбр.* О последствиях отморожения своих рук Шаламов писал в первом письме А. И. Солженицыну в 1962 г.: «Сразу видно, что руки у Шухова (главного героя повести «Один день Ивана Денисовича» — *В. Е.*) не отморожены, когда он сует пальцы в холодную воду. Двадцать пять лет прошло, а я совать руки в ледяную воду не могу» (*ВШ7.* Т. 6. С. 284).

567. *СМол.* 1964. № 10. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 57. Машинописи — *СлуцкийКТ*, *Копелев.* Ед. хр. 525. Л. 7, *Ласкина.* Вкл. в *КТИзбр.*

Вероятно, является отголоском воспоминаний о посещении музея в Магадане, где Шаламов видел останки мамонта (см. № 475 и примеч.). Аналогичная рифмовка («бивни» — «ливни») — в ст-нии А. Белого «Пепел» (1908): «Как желтые, грозные бивни, / Размытые в россыпь полей, — / С откосов оскалились в ливни / Слои вековых мергелей».

Чтоб по единой кости этой / Определялась бы без слов / Вся крепость мощного скелета... — Шаламов использует здесь известное высказывание великого французского палеонтолога Ж. Л. Кювье (1769–1832) о возможности восстановить скелет и внешний облик вымершего животного по единственной сохранившейся кости.

АКомм: «*Написано в Москве в 1957 году. Одно из „постколымских", обязательных для меня стихотворений. Полностью соответствует моей тематике и поэтике*».

568. *Огниво.* Автограф — Ед. хр. 83. Л. 33.

АКомм: «*Написано в 1957 году в Москве. Продолжает серию „постколымских"*».

569. *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 83. Л. 32. В *Списке1969* за 1957 г.

АКомм: «*Стихотворение написано в 1957 году в Москве. Относится к „постколымским" стихам. Это — необходимая фиксация*

[1] Ср. письмо Б. Н. Лесняку (*ВШ7.* Т. 6. С. 359–360).

чего-то просмотренного раньше и жизненно важного. Одно из самых необходимых стихотворений сборника».

570. *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 110. Л. 44–45.

571. *Огниво.* Автографы — Ед. хр. 7. Л. 50–53 об., с вар.: ст. 5–12 «Здесь у вас под снежной тучей / В синеватой полумгле / Ветви яблони ползучей / Распластались по земле. // Нынче яблоням — стелиться, / Завтра яблоням — вставать, / Без больницы, без теплицы / В чистом поле зимовать»; Ед. хр. 110. Л. 46–47.

В 1930-е гг. Шаламов как журналист встречался со знаменитым садоводом И. В. Мичуриным, написал о нем очерк «Мастер, переделывающий природу» (Прожектор. 1934. № 8), а также был знаком с успешными опытами развития северного садоводства на Вишере и на Колыме, которыми руководил ссыльный агроном А. А. Тамарин-Мирецкий (см.: *Вишера* (*ВШ7*). С. 172–173; и рассказ «Хан-Гирей» — *ВШ7.* Т. 2. С. 239–249). Однако после расстрела Тамарина-Мирецкого в 1938 г. по «делу Берзина» его опыты были свернуты, и о них ничего не знали на Колыме 1950-х гг. Поэтому оптимизм ст-ния «Слово к садоводам», посланного Шаламовым в 1957 г. в магаданский альманах «На Севере Дальнем», встретил непонимание и отпор редакции (ср. ответ редактора К. Б. Николаева — *ВШ7.* Т. 7. С. 354). Об А. А. Тамарине-Мирецком Шаламов вспоминал также в рецензии на альманах «На Севере Дальнем» (1957), оставшейся при его жизни не опубликованной (см.: *ВШ7.* Т. 7. С. 433–443). О знании Шаламовым садоводства говорит и ст-ние «В саду» (№ 897).

Араукарии — вечнозеленые хвойные деревья, распространены в Австралии и Южной Америке.

АКомм: *«Лучшая строфа — последняя. Стихотворение написано в 1957 г. в Москве. Принадлежит к постколымским».*

572. *Огниво.* Автограф — Ед. хр. 23. Л. 90–91 об. В *Списке1969* за 1957 г.

По *АКомм* можно сделать вывод, что ст-ние, по-видимому, создавалось в два этапа — в 1954 и в 1957 гг., в связи с чем дана двойная датировка. Обращение к вишерскому периоду своей биографии в целом более характерно для Шаламова второй половины 1950-х гг.: ср. ст-ние «Вверх по реке» (№ 594) и примеч.; ср. также рассказ «Алмазная карта» из *КР*, написанный в 1959 г. (*ВШ7.* Т. 1. С. 266–271).

Звероподобные коряги — / Сюжеты скульптора Коненкова... — С. Т. Коненков (1874–1971) нередко использовал в качестве материала для своих скульптур и мебели пни, коряги, ветви деревьев.

АКомм: *«Написано в 1954 году в поселке Туркмен Калининской области, близ станции Решетниково, где я жил два года после Колымы до возвращения в Москву.*

„Кама тридцатого года“ — попытка вспомнить когда-то написанные стихи. Мне давно хотелось оставить в своих стихах что-нибудь на память о тридцатом годе, о стройках первой

пятилетки — я был тогда в Березниках и в Усолье, на Строгановских солеварнях и Любимовском содовом заводе, с которого и начал расти Березниковский гигант.

Я прошел по Каме и Вишере вверх и вниз не один раз и пешим, и конным, на плотах, на пароходе и на челноке-долбленке.

Мертвые коряги, частью вынесенные течением, а частью умершие на месте, загромождали все берега Камы — от Чердыни до Перми.

Я сам принимал участие во взрывах двух Строгановских солеварен — в Усолье и в Дедюхине. Просоленные бревна не поддавались топору. Плесень счищали лопатой, и бревна обнажались белые-белые, костяные, но вовсе не похожие на матовый желтоватый живой отблеск слоновых или мамонтовых бивней, а были похожи на человеческую руку незахороненного северного мертвеца, обнаженную руку умершего Гулливера.

Просоленные бревна строгановских времен не поддавались топору, бревно только звенело, и лезвие топора тупилось. Взрывали солеварни — динамитом.

Вот эту Усольскую плесень — ярко-ярко зеленую молодую стройку, рыжую бегущую Каму, главную реку Советского Союза, ибо нет Волги без Камы, вода реки желта от камского цвета — Кама встретила, вмешалась, покорила волжский цвет. А Кама без Волги — есть со своей отдельной гордой историей. Вот все это мне и хотелось вспомнить в стихах. Я и тогда, в тридцатом году, писал стихи о Каме, об Урале, какими я их видел тогда[1].

Я был в посаде Орел, в том самом поселке, где жил Ермак перед походом в славу и в смерть[2]*. Мне показывали его избу, где казачий атаман снимал комнату, стоял на квартире. Это не было шуткой и не было абстракцией — ведь в Строгановской солеварной шахте я спускался в забой, дотрагивался пальцем до тех самых бревен, которых касался и Ермак, — шахта узка, лестницы круты. Огромный строгановский склад на берегу Камы — высокий склад, бревна в обхват, собранные „в лапу" без единого гвоздя уральскими плотниками навечно. Ни топор, ни пила даже не царапали бревенной склад. Склад, как и солеварни, был взорван, уничтожен,— в тридцатые годы было „не до музеев".*

Музей — оскорбительное название в городском и промышленном строительстве тех лет.

В отличие от многочисленных котлованов, ставших символом всякой тогдашней стройки, Березниковский химкомбинат начинался с подсыпки. На Березниках не рыли никаких ям, а ставили фундамент и засыпали все песком — с окружных гор. Желтый

---

[1] Стихи не сохранились.

[2] Посад (острог) Орел (Орел-городок) на р. Каме был основан Г. А. Строгановым в 1564 г. Отсюда в 1581 г. дружина казаков Ермака выступила в первый поход за Урал.

песок тысячи якутских лошаденок возили день и ночь на строительство местной железной дороги. Эта железная дорога вела с песчаных карьеров, и песок, чтоб засыпать фундамент собственной стройки, возили с ближайшей горы — Адамовой горы.

Материала для стихотворения было достаточно, и нужно было только спичку — рифму, техническую задачу надо было себе поставить и решать стихотворную тему. Этой спичкой была рифма „Коненкова — каемкою". Дактилическая рифма — усугубляет трудность. Мягкость рифмы, ее шероховатость — своеобразная удача, находка. Для поэта внимательная работа над рифмой — признак не только культуры стиха.

Я писал „Каму" уже после того, как познакомился с отказом Б. Л. Пастернака от своих ранних стихов, с „опрощением" Бориса Леонидовича, возвратом к глазной пушкинской рифме[1]*. Я до сих пор не понимаю, как Пастернак мог думать, что на новые его пути пойдут за ним ценители его раннего творчества. Это было бы неуважением к самому Пастернаку прежде всего».*

573. *Огниво.* Автограф — Ед. хр. 83. Л. 40.

Образы ручья, как и образы реки, занимают большое место в лирике Шаламова. Если реки для него всегда были «символом вечного, неуклонного движения вперед, учили победе, терпению, настойчивости» (*ВШ7.* Т. 6. С. 452; см. также примеч. к ст-нию «Река забыла о верховьях...», № 679), то метафора ручья, с трудом пробивающего себе дорогу, чаще всего связывается с сопротивлением препятствиям. В данном ст-нии эта тема реализуется с помощью особого звукового строя — широкого употребления согласных («г», «р», «ж», «ш», «щ»), подчеркивающих вмешательство техники в естественное течение ручья. Именно этот звуковой строй, как представляется, имел в виду Шаламов, полемизируя в *АКомм* с поэтом Л. Озеровым, который увидел в ст-нии только «новые реалии» (полагая таковыми, по-видимому, детали промывки золота на Колыме). В рецензии на сб. «Огниво» Б. Слуцкий особо выделил именно это ст-ние: Шаламов, по Слуцкому, сумел различить и передать те «звуки, которые не могли услышать ни Тютчев, ни Баратынский — учителя» поэта (*ЛГ.* 1961. 5 окт.).

АКомм: *«Написано в 1957 году в Москве. Одно из „постколымских" стихотворений. Его хвалили в печати, но не по существу, а*

[1] Под «глазной» Шаламов имеет в виду полную рифму Пушкина, не всегда рассчитанную, по его мнению, на чтение вслух (см.: «Рифма» — *ВШ.* Т. 5. С. 38–46). Шаламов ссылался при этом на наблюдения А. Крученых в его работе «500 новых острот и каламбуров Пушкина» (М., 1924). Упрек Б. Пастернаку в отказе от ранних стихов (где были, по мнению Шаламова, самые важные звуковые открытия) он высказывал неоднократно, и поэтому данное ст-ние рассматривал, по всей вероятности, как следование традициям раннего Пастернака в фонетическом плане.

за „новые реалии" (Л. Озеров в „Вопросах литературы"[1]*). Мне же кажется, что тут дело не в „реалиях"».*

574. Знамя. 1968. № 12. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 2.

АКомм: «*Написано в Москве в 1957 году*».

575. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 3.

Речь идет о рыбацком поселке Ола на берегу Охотского моря (см. рассказ «Путешествие на Олу» — *ВШ7*. Т. 2. С. 419–424).

АКомм: «*Я провел несколько дней на Оле в 1952 году, пытаясь устроиться на работу фельдшером. Думал этим стихотворением обессмертить Ольский пирс, Ольскую лестницу, которые хоть и деревянные, ничем не уступают по своим воспоминаниям знаменитой Одесской лестнице, которую снимали Эйзенштейн и Тиссэ в „Броненосце Потемкине"*».

576. Знамя. 1968. № 12. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 4 об.

Образность ст-ния («лепестки цветов», «дрожь»), трехкратное употребление местоименного эмфатического прилагательного «все», размер (трехстопный анапест с мужскими окончаниями), вопросительная интонация, проходящая через все ст-ние, указывают на возможную связь данного ст-ния с поэтикой И. Анненского (см.: «Светлый нимб», «Утро», «Мухи как мысли», «Свечку внесли» и др.).

АКомм: «*Написано в Москве в 1957 году*».

577. *ДиС*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 5.

АКомм: «*Одно из „постколымских" стихотворений. Написано в 1957 году в Москве. Печ. по полному тексту*».

578. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 6.

Ей зрелость — триста лет... — См. примеч. к № 475.

579. *ДиС*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 12.

580. *Огниво*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 17–18, загл. «Прославление рифмы». Сопровождено письмом к главному редактору журнала «Вопросы литературы» А. Г. Дементьеву: «Уважаемый т. Дементьев! Посылаю Вам (вместо статьи, которую я с удовольствием бы написал на эту же тему) стихотворение „Прославление рифмы". Не найдет ли оно место в Вашем журнале?» (ответ неизвестен, но в «Вопросах литературы» ст-ние напечатано не было).

Ст-ние связано с размышлениями Шаламова о роли рифмы и с новаторским определением ее как «поискового инструмента». Это определение чрезвычайно понравилось Б. Пастернаку, который назвал его «верным и замечательным», «пушкинским определением»

---

[1] Возможно, речь идет об устном высказывании Озерова или о другом журнале, так как в «Вопросах литературы» за 1960-е гг. найдена лишь одна публикация Л. Озерова с упоминанием Шаламова. В статье «Незаметное и незамеченное» (Вопросы литературы. 1968. № 10) Л. Озеров писал: «Три книги Варлама Шаламова — часть накопленного за годы вынужденного молчания. Перед нами мастер оригинальный и глубокий».

(см. переписку Шаламова с Пастернаком через Г. И. Гудзь — *ВШ7.* Т. 6. С. 19–20; и фрагмент воспоминаний «Лучшая похвала» — *ВШ7.* Т. 5. С. 68). Посвящение литературоведу, член.-корр. Академии наук Л. И. Тимофееву (1904–1984) сделано, вероятно, позже, после знакомства с ним и с его книгой «Очерки теории и истории русского стиха» (М., 1958). Посвящение носит полемический характер как обращение к оппоненту, поскольку взгляд Л. И. Тимофеева на функцию рифмы был во многом традиционным. В дальнейшем Шаламов и Тимофеев подружились, но общались в основном по телефону, так как ученый не мог передвигаться самостоятельно. Единственное (и важное, связанное с событиями вокруг письма Шаламова в *ЛГ* в 1972 г.) сохранившееся письмо Шаламова к Тимофееву см.: *ВШ7.* Т. 6. С. 575–576. Тимофееву посвящено также ст-ние 1973 г. «Стихи — это боль и защита от боли...» (№ 971). *Трубадуровы весы.* — Очевидно, имеется в виду особая роль рифмы в лирической поэзии средневековых поэтов-трубадуров во Франции. *Ты — не только благозвучье, / Мнемонический прием* — полемика с определениями рифмы, дававшимися Б. Пастернаком и В. Маяковским. См. *АКомм. Палка, сунутая в тьму* — вариация метафоры, употребленной в письме к Пастернаку от 18 марта 1953 г. из Томтора: «Подчас стихотворение — это палка слепого, которой он ощупывает мир» (*ВШ7.* Т. 6. С. 21).

АКомм: «Написано в 1957 году в Москве и требует подробного разговора. В пятьдесят втором и третьем годах я жил на Дальнем Севере и, переписываясь с Б. Л. Пастернаком, обсудил одну важную проблему поэтического творчества, вовсе не замеченную нашим литературоведением. Эта проблема — роль рифмы в процессе творчества. Ни в одном учебнике, ни в одной монографии о рифме суть этой проблемы даже не затрагивается. Великолепная энциклопедическая работа Жирмунского о русской рифме[1] *— это работа Карла Линнея, дающая немного поэту в понимании этого важного вопроса. Маяковский — „Как делать стихи“ и Асеев — „Наша рифма“ прошли только рядом с истиной. Маяковский считал рифму мнемоническим приемом, облегчающим запоминание. Вычурная рифма Маяковского и служила этой цели. Другая точка зрения на рифму — бальмонтовская, разделяемая и Пастернаком, состояла в том, что рифма — „средство благозвучия“, как выражался Пастернак, или средство музыкальности, по формуле Бальмонта. Маяковский в полемике с Бальмонтом и заострил мнемоническое начало рифмы как инструмента стихосложения. Однако обе точки зрения проходят мимо главного. А главное заключается в том, что рифма — поисковый инструмент.*

В тот неизмеримо малый миг, когда мозг поэта ищет рифмы, с помощью этого рычага в мозгу поэта пролетают миллионы

---

[1] Имеется в виду книга В. М. Жирмунского «Рифма, ее история и теория» (1923).

сочетаний — миры исторический, физический; бесконечное количество проб, пластов затрагивает, приподнимает, освещает в мозгу поэта за эту миллионную долю мига.

Творческий процесс — это процесс отбрасывания, а не поисков. Поэт ничего не ищет. Он только отбрасывает все эти пролетающие мимо, потревоженные рифмой миры.

Поэт только тормозит в своем сознании какую-то часть этих ощущений более чем с космической скоростью — картины жизни природы, истории, собственная душа.

Ассонанс — та же рифма и назначение его, <нрзб> роль в стихе — одинакова с рифмой.

С помощью звуковых соответствий ведется отбор нужного с крайним напряжением, с мобилизацией всего внимания, ума, чувства.

Рифма — поисковый инструмент — наподобие магнита, высунутого в мир. Вот эту проблему мы и обсуждали с Пастернаком в 1952–1956 годах — и в личных встречах, и в письмах. Я думал, что записи остались только в моих дневниках. Оказывается, Пастернак написал по этому поводу письмо. Сейчас это письмо в моих руках. 7 марта 1953 года.

„Благодарю за пересылку письма Шаламова. Очень интересное письмо. Особенно верно и замечательно в нем все то, что он говорит о роли рифмы в возникновении стихотворения, о рифме как орудии поисков. Его определение так проницательно и точно, что оно живо напомнило мне то далекое время, когда я безоговорочно доверялся силам, так им охарактеризованным, не боясь никакого беспорядка, не заподозревая и не опорачивая ничего, что приходило снаружи из мира, как бы оно ни было мгновенно и случайно“[1].

Но тогда я этого письма не знал и думал написать заметку по этому важному вопросу, вовсе не тронутому авторами по вопросам психологии творчества, не говоря уже об учебниках стихосложения. Заметки я так и не написал. Зато я написал стихотворение „Некоторые свойства рифмы“, чтобы хоть как-нибудь фиксировать суть проблемы. Стихотворение посвящено академику Л. И. Тимофееву, автору ряда работ по теории русского стиха».

581. Москва. 1958. № 3. *Огниво.* Автограф — Ед. хр. 24. Л. 17–18.

Примечательно, что в той же тетради на Л. 48 имеются записи: «Голодный человек ловит подо льдом утку-нырка» (сюжет рассказа «Утка» — *ВШ7.* Т. 1. С. 437–439); «Галушки. Спецзаказ» (ср. рассказ «Спецзаказ» — *ВШ7.* Т. 1. С. 359–361). На том же Л. 48 еще одно наблюдение, указывающее на то, что тетрадь записывалась в больнице: «Больничная палата — гастрономические разговоры».

АКомм: *«Написана в 1957 году в Москве и сразу же напечатана в журнале „Москва“ — редкая участь моих стихов.*

---

[1] Цитируется письмо Б. Пастернака к Г. И. Гудзь, имевшееся у Шаламова (ср.: *ВШ7.* Т. 6. С. 19–20).

В стихотворении отражены мои художественные вкусы и принципы, моя поэтика. Главное тут в использовании природой языка стихов как всеобщего языка, но не своеобразного эсперанто, а языка универсума, где каждое явление природы, человеческой жизни находит возможность высказаться самым убедительным образом для решения задачи поэта как пророка и как обывателя. Для стихов это все равно.

Многие мои читатели говорили, что „Ода ковриге хлеба" — разговор о творчестве. Этого слишком мало для настоящего стихотворения. Тема творчества, тема упорства, душевной крепости, закаленности — только одна из тем „Оды".

Стихотворение это многопланово. В природе нет такого явления, которое не соответствовало бы любому мигу духовной, нравственной, общественной, физической жизни человека. Все, чем живет и волнуется человек,— есть в природе, во внешнем мире и приходит к человеку на помощь в любой момент ею жизни — слесарь ли это или поэт, пишущий стихи.

Этот процесс настолько вне нас самих, что каждая находка кажется вершиной, удачей. Возможно, любым стихотворением, которое пишется, можно из природы и больше получить — глубже, шире, тоньше найти ответы, ведь всякое стихотворение — это тот минимум, который дает возможность поэту отделаться от темы.

Исследование природы с помощью стихов — это только одна сторона дела. Вторая, и м. б. главная, — желание сказать что-то прямо читателю, хотя и закутанное в аллегории, в намеки, в сравнения.

В стихотворении всегда борьба этих двух начал и равнодействующих проходит по чертежу параллелограмма сил обычной Ньютоновой механики.

Поэзия далека от Эйнштейна. Эйнштейн ей даже не нужен. Даже Ньютон ей не нужен. Ей нужен Птолемей, Гиппарх[1].

Вот этот консерватизм материала всегда встречается в поэтическом творчестве с полетом далеко за эйнштейновский мир.

Никакие научные откровения не могут испугать поэзию, т. е. не могут наполнить ее своим содержанием.

Наука и поэзия — разные миры.

Я свои стихи пишу, а не сочиняю „в уме", как Маяковский или Мандельштам. Привычка записывать — не экономная в высшей степени привычка, вынужденная обстоятельствами моей жизни.

Опыт показал, что все незаписанное исчезает бесследно. Пастернак уничтожал все черновики. Но я не уничтожаю. В самой черновой записи есть какой-то важный для меня элемент судьбы, памяти, настроения.

„Ода ковриге хлеба", как и все мои стихи, имеет большое количество поправок, вариантов, проб. Вариант опубликованный,

---

[1] Гиппарх Никейский — древнегреческий астроном.

конечно, не последний, но у меня нет сил возвращаться к уже написанному стихотворению, к тому наименьшему, что уже закреплено, — все равно, опубликованы ли эти стихи или нет. „Ода“ не обошлась без потерь. Из окончательного варианта автором выброшены вовсе целых три строфы, усиливающие трудовую сторону „Оды“.

Пусть тесто терпит муки,
Валяется в муке,
Его людские руки
Терзают на доске.

Урок ему вколочен
Катком и кулаком,
Десятками пощечин
Открыто и тайком.

Еще одна задача —
Вцепиться в кирпичи
Неистово горячей
Истопленной печи.

Были судьи „Оде“ и натуралистического плана. Поэт Боков заметил, что опару не покрывают тряпьем, ибо тряпье — это обрывки грязной одежды, грязной ткани. Между тем и в быту, и в словаре Даля тряпьем называют лоскуты чистой изношенной ткани, обрывки выстиранной ткани, простыни, платья, когда-то служившие для других, более важных, дел, а сейчас превращают в чистое тряпье, еще годное, впрочем, для покрышки квашни с опарой. Без „тряпья“ в первой строчке первой строфы „Оды“ не было бы стихотворения. Тряпки тут к месту не только как удачно найденный символ, образ, знак. Вместе с „творилом“ и „творчеством“ в той же строфе создается необходимый звуковой фон. Без звуковой организации стихи не рождаются — пушкинские доказательства должны быть широко известны. В предпоследней строфе „Оды“ коврига лежала сначала на „письменном“ столе. Потом письменный стол был заменен на „кухонный“. И только с вариантом „вымытый стол“ образная система стихотворения пришла в равновесие».

582. *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 24. Л. 27.

Упоминание Фета, Блока и Тютчева свидетельствует о следовании Шаламова их традициям в «гуле неизвестностей» нового времени. Ср. также ст-ние «Глаголы» (№ 673). *Вроде тучи из Тютчева...* — Образ «туч» многократно встречается в поэзии Тютчева (см., например, «В душном воздуха молчанье...», 1835; «Неохотно и несмело...», 1849; «Как весел грохот летних бурь...», 1851; «На возвратном пути», 1859; и др.). *Вроде снега из Блока.* — «Снег» — один

из лейтмотивов поэзии Блока (см. «Снежная маска», «Двенадцать» и др.). *Ливня блеск металлический.* — Ср.: «Повисли перлы дождевые, / И солнце нити золотит» (Тютчев, «Весенняя гроза», 1828). *Достопамятной вьюги...* — По-видимому, имеется в виду «вьюга» из поэмы Блока «Двенадцать». *...соль крупнозвездная, / Чем посыпано небо...* — Сравнение звезд с солью несколько раз встречается в ст-ниях О. Мандельштама («Кому зима — арак и пунш голубоглазый...», 1921; «Умывался ночью на дворе...», 1921).

АКомм: *«Написано в 1957 году после выписки из больницы».*

583. *Огниво.* Автограф — Ед. хр. 24. Л. 7, 41.

АКомм: *«Написано в 1957 году в Москве. Печ. по первоначальному тексту*[1]*».*

584. Юность.1969. № 3. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 42, с посвящением А. Фету.

585. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 53.

На первой странице тетради рукой Шаламова выписаны названия ряда лекарственных трав и их применение (вероятно, по справочнику). Среди них: «*Ятрышник*, или кукушкин лен — при отраве». Очевидно, это и послужило поводом к созданию ст-ния. *Яснотка* и *ветреница лесная* тоже фигурируют в выписках Шаламова. В тетради также имеется запись: «Всякому поэту — Пушкину, Пастернаку, Маяковскому и т. д. хочется: 1) зарифмовать, вогнать в строку новое слово, свежее слово, еще не бывшее в стихотворении ни у кого, 2) <...> запрячь большое, многосложное слово, вроде „раскрасневшиеся лица“[2], 3) звукового перезвона названий — „танец странных имен, что для сердца отраден“[3]. Народные названия трав как раз прошли звуковой отбор» (Л. 95). Ср. также ст-ние «Сборщик лекарственных трав» (№ 595) и примеч.

586. *ДиС.* Автографы — Ед. хр. 24. Л. 66; Ед. хр. 83. Л. 34, с припиской «Ночевка вблизи Оймякона».

В 1957 г. ст-ние с загл. «Ночевка вблизи Оймякона» предлагалось в журнал «Москва» (архив журнала «Москва» — *РГАЛИ.* Ф. 2931. Оп.1. Ед. хр. 855а. Л. 4). Отклонено, возможно, из-за загл.

587. *Шсб-5.* Автограф — Ед. хр. 24. Л. 69.

Сокольники — традиционное место народных гуляний в Москве. Шаламов, приехавший в столицу в 1924 г., в разгар нэпа, застал оживление некоторых дореволюционных забав. *Орлянка* — старинная азартная игра с монетами (по принципу: кому выпадет «орел» или «решка»), символ случайности.

---

[1] Возможно, Шаламов имел в виду иной вариант, предлагавшийся в издательство, однако в архиве есть только данный вариант. Это ст-ние Шаламов вспомнил и читал в Доме инвалидов в 1981 г. незадолго до смерти. См. примеч. к № 1087.

[2] В статье «Рифма» (1961) Шаламов называл «большие» слова, в точном соответствии с научной терминологией, «гипердактилическими» (*ВШ7.* Т. 5. С. 38).

[3] Строка из ст-ния Н. Гумилева «Нигер» (1918).

588. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 24. Л. 76; Ед. хр. 89. Л. 39.

589. *ДиС*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 80.

590. *ДП-1967*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 81.

Я иероглифы постиг... — Сравнение звезд с иероглифами встречается, например, у А. Фета в ст-нии «Среди звезд» («Незыблемой мечты иероглифы»; 1876).

АКомм: «*Написано в 1957 году в Москве. Дневниковая запись*».

591. Знамя. 1965. № 3. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 85.

АКомм: «*Стихотворение написано в 1957 году в Москве. Жизнь знает очень мало случаев, когда вмешательство звезд изменило бы речные донные и поверхностные течения. Впрочем, луна влияет на морские приливы. Но ручаюсь головой, что никакие светила не влияют на поток горной реки, разве что обессиливая ее истоки*».

592. *ЛГ*. 1968. 3 апр. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 86.

АКомм: «*Стихотворение написано в 1957 году. Из „постколымских“*».

593. *Огниво*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 87 об.

АКомм: «*Написано в 1957 году в Москве. Третья строфа полностью отражает мои тогдашние настроения*».

594. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 89–90.

Связано с воспоминаниями о Вишерском лагере.

Гидросамолет — на гидросамолете Шаламов летал вместе с Э. П. Берзиным (см.: *Вишера* (*ВШ7*). С. 241). *Челнок* — см. *АКомм* к ст-нию «Кама тридцатого года» (№ 572). См. также ст-ние «Правлю в Вишеры верховья...» (№ 967) и примеч.

АКомм: «*Написано в 1957 году в Москве. Одно из „постколымских“ стихотворений. Здесь — две новинки, две находки, две новых поэтических истины. Первая — челнок-стрела, пущенная тетивой рук, а вторая — путешествие вверх веков.*

Удовлетворяет меня и в ритмическом отношении. Единственное мое стихотворение, которое по просьбе редактора было расширено[1]. *Сейчас печатается по первоначальному истинному тексту*[2]».

595. *Огниво*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 90–91.

АКомм: «*Написано в 1957 г. в Туле, в Тульской гостинице как шуточное стихотворение после посещения Тульского краевого музея, где была выставка „целебных“ трав Тульской области*[3]».

---

[1] Возможно, имеются в виду строки, содержащиеся во внутренней рецензии В. Милькова на *ШЛ*: «Дрожит, гудит упругий шест, / Звенит струной, / Сама история окрест / Передо мной. // На устье — электронный мир, / Пришедший в города. / Шекспир, колеблющий эфир, / Тяжелая вода...» (*РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2120. Л. 13).

[2] Вероятно, Шаламов имел в виду текст какой-то планировавшейся публикации, но он не найден.

[3] В Тулу Шаламов ездил по командировке журнала «Москва», там он собирал материалы для заметки «Кто изобрел баян»

596. *ДиС*. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 94.

АКомм: «*Написано в 1957 году в Москве. Одно из „постколымских“ стихотворений по содержанию, чувству и „итоговости“*».

597. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 7. Л. 6 (разрозненные листы; на полях листа написано «Москва» и нарисован круг с точкой в центре, что означает, очевидно, траекторию спутника Земли).

...словом берут города. — Ср.: «Словом разрушали города» (Н. Гумилев, «Слово», 1919). *...ступени, / Толкнувшей в пространство ядро* — аллюзия на запуск первого советского спутника Земли 4 октября 1957 г.

598. *Шсб-5*. Автограф — Ед. хр. 23. Л. 13. Тетрадь позднее обозначена «1957-II?», сомнение (вопросительный знак) вызвано, вероятно, тем, что в ней соединены добольничные и больничные записи. На соседнем Л. 14 об. Шаламовым переписано ст-ние Н. Гумилева «Волшебная скрипка», поставлена дата: «19 ноября 1957 г.» и позднее добавлено: «Вот когда я переписывал эти стихи в Л<енинской> б<иблиотеке > у меня и был первый Меньеровский приступ». Описание приступа см. в рассказе «Припадок» (1960; *ВШ7*. Т. 1. С. 409–410).

Строки «*Мои намеки слишком грубы, / И аналогии — просты...*» почти дословно повторяются в другом контексте в ст-нии «Пусть сирень запахнет ядом...» (№ 605), которое можно считать «парным» к данному ст-нию.

599. *Шсб-5*. Автограф — Ед. хр. 23. Л. 32. Эта и последующая часть тетради записывалась уже в Институте неврологии, куда при содействии редакции журнала «Москва» был помещен Шаламов.

...тебя не стою... — Очевидно, имеется в виду Г. И. Гудзь, разрывом с которой Шаламов терзался. В ст-нии точными поэтическими средствами описаны симптомы болезни Меньера, официально диагностированной у Шаламова. В конце 1970-х диагноз был уточнен и было признано, что его болезнью (возможно, наследственной) была хорея Гентингтона. См. вступ. заметку к разделу «Последние стихи» наст. тома.

600. *ДП-1962*; *ДиС*. Автограф — Ед. хр. 23. Л. 33.

АКомм: «*Написано в 1957 году в Москве и относится к „постколымским“ стихотворениям итогового характера в поэтическом смысле. В сборник включено для „полноты характеристики“. У меня нет стихотворений, написанных прямой наводкой, со столь малой аллегоричностью, без подтекста. „Прямой наводкой“ нравится поэтам, далеким от поэзии*».

(опубликовано: Москва. 1959. № 12). Подробнее: Гаврилова А. Работа Шаламова в журнале «Москва» в 1956–1958 гг. // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории: Сб. статей / Сост. и ред. С. М. Соловьев. М., 2013. С. 203–208.

***601.** Москва. 1958. № 3. Автограф — Ед. хр. 23. Л. 37 об.–44, с вар.

АКомм: *«Написано в 1957 году в Москве. Сразу же напечатано — в марте 1958 года в журнале „Москва".*

У меня несколько стихотворений о памяти. Это — считаю своим вкладом в русскую лирику, моей находкой в трактовке и художественном решении этой важнейшей человеческой темы, острейшей темы нашего времени[1]. *„Память" входила во многие антологии».*

602. *ДиС*. Автограф — Ед. хр. 23. Л. 63. Записи сопутствуют наброски «музыкального» эпизода *ЧВ*:

«Перчатки капельмейстера. Городской праздник.

Я — ребенок. Школа. „Козел" со скрипкой. Слух у тебя, Шаламов. Я плакал.

Не надо ходить на спевки...» (*ВШ7*. Т. 4. С. 73–75).

Хрипун, удавленник — фагот — иронически переиначенная цитата из «Горя от ума» А. Грибоедова («Хрипун, удавленник, фагот» — характеристика Скалозуба).

АКомм: *«Написано в 1957 году в Москве. Одно из „постколымских" стихотворений».*

603. *Шсб-5*. Автограф — Ед. хр. 23. Л. 72.

Болезнь Шаламова сопровождалась резкой потерей слуха. В той же тетради на Л. 80 имеется запись: «Поэт должен быть немножко глухим, чтобы лучше ловились звуковые повторы, легче складывались слова. Немножко слепым, ибо „собственное зрение", свой поэтический взгляд — это уже вид дальтонизма, это — глазное заболевание. И обязательно иностранцем в материале, немножко чужим тому, о чем пишет». (Последнюю мысль он повторял неоднократно, причем, и по отношению к прозе — ср.: «В каком-то смысле писатель должен быть иностранцем в том мире, о котором пишет он. Только в этом случае он может отнестись к материалу критически, <будет> свободен в своих оценках» («Предисловие автора» к *Восп*. — *ВШ7*. Т. 4. С. 439).) В тетради также есть запись: «Болезнь Меньера действует по блатному — сзади бьет». Кроме того есть записи о глухоте выдающихся людей в тетради Ед. хр. 14. Л. 72 об.: «Ронсар был глухим. С 18 лет. Гойя, Бетховен». Ср. ст-ние «Как Бетховен, цветными мелками…» (№ 936) и примеч.

Стук плода, упавшего в саду, / Осторожный шорох листопада. — Ср.: «Звук осторожный и глухой / Плода, сорвавшегося с древа» (О. Мандельштам, 1908).

---

[1] Эта мысль об «острейшей теме» в сопоставлении со вторым вар. начальных строк в автографе позволяет предположить, что замена вар. «Топором или киркой» (а возможно, и еще более недвусмысленного вар. «Топором или кайлом») во второй строке ст-ния на «Топором или пилой» обусловлена цензурными соображениями: кайло и кирка — символы лагерного труда. См. вступ. статью. То, что при публикации ст-ния «Камея» (№ 63) в сб. «Огниво» слово «кирка» не встретило отторжения у редакторов, может объясняться тем, что в «Камее» оно использовано в контексте любовной темы.

604. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 26. Л. 2–2 об.

605. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 26. Л. 3 об.–4. В Ед. хр. 110. Л. 35 имеется черн. набросок, где перед начальной строкой написана строка из ст-ния С. Есенина «Дорогая, сядем рядом...» (1923) — возможно, как указание ритмического сходства.

Пусть мои намеки грубы, / Аллегории просты... — Ср. схожие строки в № 598. *Далила* — возлюбленная Самсона в Ветхом Завете, предавшая его врагам; здесь, по-видимому, ироническое обращение к О. С. Неклюдовой.

606. *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 110. Л. 41.

Конь игреневый — конь рыжей масти со светлой гривой и хвостом.

607. Юность. 1969. № 3. Машинопись — Ед. хр. 113. Л. 45. В *Списке1969* за 1958 г. стоит первым.

АКомм: «*Написано в 1958 году в Москве. Из „постколымских" стихотворений*».

608. *Огниво.* В *Списке1969* за 1958 г. — третье.

АКомм: «*Стихотворение написано в 1958 году и даже косвенного отношения к Дальнему Северу не имеет, как сочла В. М. Инбер в своей рецензии на сборник „Шелест листьев"*[1]*. Однако в этом стихотворении закреплена очень важная подробность моей жизни. Я родился в Вологде и провел там детство и юность. Вологда — особый город России. Царское правительство в течение столетий поколение за поколением ссылало в Вологду революционеров. Оседавшие там, приезжавшие или привезенные, уезжавшие или увезенные ссыльные постепенно <подняли> нравственный климат города, его культурные запросы и вкусы.*

„Эрнани" Виктора Гюго — моя первая встреча с театром. Для этой первой встречи отец мой выбрал драматурга, в возвышенном образе мыслей которого отец не сомневался. Значение первого удара в детскую душу такого сильнейшего рода искусства, как театр, — было отцом учтено. В годы гражданской войны в Вологде шли гастроли знаменитого русского трагика Н. П. Россова — одного из последних могикан театрального романтизма. Актер и режиссер театра Шекспира, Шиллера и Гюго был уже седым стариком. В „Эрнани" Россов играл девятнадцатилетнего короля Карла. Я был потрясен театром. Впоследствии мне удалось прочесть замечание Анатоля Франса по адресу Виктора Гюго: „Гюго жил и умер мальчиком с церковного клироса"[2]*. Франс, много меньшего*

---

[1] См.: Инбер В. Вторая встреча с поэтом // *ЛГ.* 1964. 23 июля. В. Инбер не знала колымской биографии Шаламова и писала «о злой участи» поэта, по вине которой он именно в «снежной Вологде» смотрел «Эрнани».

[2] Вероятно, Шаламов имел в виду слова А. Франса из его речи к 100-летию В. Гюго (1902): «Мы отлично знаем, что все люди подвержены слабостям, что им свойственно ошибаться, что у них всех бывают дни смятения и мрачные часы. Мы не откажем самым великим

таланта в масштабе, чем Гюго, развязно похлопывал по плечу романтика драматурга.

Стихотворение „Виктору Гюго“ — мой ответ Франсу.

„Крупный детский почерк гения“ — мой собственный вклад в эту проблему. „Эрнани“ я смотрел в Вологде зимой в битком набитом театре, нетопленом, отогревая руки дыханием и завороженно глядя на сцену, где белый пар шел изо рта и короля Карла, и Эрнани — что придавало лишнюю романтичность, лишнюю приподнятость, лишнюю условность этому замечательному спектаклю. Я сидел рядом с товарищем по классу Алексеем Веселовским, внучатым племянником Александра Веселовского. Алеша часто сплевывал в платок и бережно засовывал руку с сухими пальцами за пазуху. А на следующий день шли „Разбойники“ Шиллера, где Россов играл не Карла (как миллион раз раньше), а Франца, Франца Моора. Свои роли Россов играл без суфлера[1]*»*.

609. *СМол*. 1963. № 12; *ШЛ*.

АКомм: «Написано в 1958 году в Москве. Входит в „постколымские“ стихотворения. Одно из очень важных для меня наблюдений природы. Продолжает мой поэтический дневник. Впервые опубликовано журналом „Сельская молодежь“, № 12, 1963 г.».

610. Знамя. 1965. № 3. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 8, загл. «Пшено».

АКомм: *«Написано в 1958 году в Москве»*.

611. *Огниво*.

АКомм: *«Написано в 1958 году в Москве, правлено летом 1960 года. На эту „тему“ я собирался писать много раз. Вся моя работа и поэтическая, и в прозе не доставляет мне никакого удовольствия. Всякий рассказ, чуть ли не всякое стихотворение пишется со слезами, в нервном таком подъеме. Малейшая задержка вызывает приступы слез. Вот об этом, об этой увеличительной линзе, крайне нервном напряжении, с которым связаны стихи, я и написал»*.

612. *Огниво*.

АКомм: *«Стихотворение написано в 1958 году в Москве и дорого мне тем, что выражает одну из моих главных тем»*.

613. *Огниво*. Машинопись — Ед. хр. 113. Л. 62 с датой 1958 г.

614. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 32.

Возможно, отдаленная перекличка с циклом «Паук» из высоко ценимой Шаламовым лирической поэмы А. Белого «Пепел». Совершенно абсурдна версия М. Золотоносова о том, что «автор идентифицирует себя с пауком» (Золотоносов М. «Мучитель наш» // Московские новости. 1997. № 24).

и самым достойным из них в священном праве на слабость духа и неуверенность мысли. Ошибаются и самые мудрые» (Франс А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. Литературно-критические статьи, публицистика, речи, письма. М., 1960).

[1] Подробнее о посещении спектакля «Эрнани» в Вологде и об А. Веселовском, умершем от туберкулеза, см.: *ЧВ (ВШ7)*. С. 116–117.

АКомм: *«Написано в 1958 году в Москве».*

615. *ЛГ.* 1968. 24 июля. В *ВШ4* и *ВШ7* это ст-ние было перенесено в состав *КТ* вместо № 341 (см. примеч. к № 341). Предлагалось в сб. *МО*, отклонено (согласно списку первоначального состава: *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 1376. Л. 18, 24).

Метрика подобного типа (шестистопный ямб, чередующийся с пятистопным) использовалась Шаламовым в балладах и сонетах северного периода (ср. № 1200, 1201). Возможно, это связано с влиянием Н. Гумилева, который широко применял «длинные» ямбические размеры: «Гиена» (1907), «Потомки Каина» (1909) и др. Ср. также ст-ние «В пути» (№ 678) и примеч.

616. *ШЛ.*

АКомм: *«Стихотворение из „постколымских". Написано в 1958 году в Москве».*

617. Знамя. 1968. № 12.

АКомм: *«Написано в Москве в 1958 году. Одно из „постколымских" стихотворений, с желанием понять суть Дальнего Севера, немного отступая по времени».*

618. Юность. 1965. № 10. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 38.

АКомм: *«Написано в 1958 году в Москве. Стихотворение — пример исследования с помощью моей системы, с включением правил стихосложения в их классической форме. Это стихотворение могло бы быть более четким, более убедительным, если бы заменить две первых строки последней строфы, как и предлагал мой редактор. Но оказалось, что этого почему-то сделать нельзя, и я пожертвовал логикой и законченностью. Эта логика и законченность есть в моих вариантах*[1]*».*

619. *СМол. 1965.* № 4.

АКомм: *«Стихотворение написано в 1958 году в Москве».*

620. Знамя. 1966. № 7. Автограф — Ед. хр. 16. Л. 67.

АКомм: *«Написано в 1958 году в Москве. Принадлежит к „постколымским" стихам и к „постколымским" настроениям*[2]*».*

621. *Огниво*, с вар.: ст. 2 последней строфы «пурпурный мох» (ср. *АКомм*). Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 55–57. Печ. по машинописи.

Черский И. Д. (1845–1892) — участник польского восстания 1863 г., был сослан в Сибирь, где стал выдающимся географом. Его именем назван горный хребет и ряд населенных пунктов, в том

---

[1] Эти варианты не найдены. Возможно, они были в утраченных тетрадях 1958 г.

[2] Стоит заметить, что одноименный лирический рассказ из *КР*, написанный в 1967 г., никак не связан с этим ст-нием. Ср. последнюю фразу рассказа, посвященного лесной тропе на ключе Дусканья: «Вот об этой тропе много раз пытался я написать стихотворение, но так и не сумел написать» (*ВШ7* Т. 2. С. 106).

числе поселок в Магаданской обл. Умер во время последней экспедиции на Северо-Восток. Похоронен на берегу реки Омолон, правого притока Колымы.

АКомм: *«Написано в 1958 году в Москве. Первые две строфы и последняя — строфы старого стихотворения. Только надо „багровый", а не „пурпурный" по звуковым соображениям. Одно из „постколымских" стихотворений, долг Черскому, на могиле которого я бывал (проезжая мимо)».*

622. *МО*. В списке стихов к сб. *МО* (Ед. хр. 373. Л. 40) фигурирует под загл. «Охота».

АКомм: *«Стихотворение написано в 1958 году в Москве».*

623. *ЛГ*. 1968. 24 июля. Автограф — Ед. хр. 115. Л. 9.

АКомм: *«Написано в 1958 году в Москве. Относится к „постколымским".*

Заросли стланика обманчивей любого леса, все поляны там похожи одна на другую, и очень трудно ходить по таким горным скатам и не заблудиться. Местные жители-якуты — так же бродят, теряя дорогу в стланике, как и мы, горожане, жители центра страны. Мне случалось спрашивать об этом якутов. Старики говорят: „Просто у якутов больше терпения, чем у русских. Мы с детства выучены ждать, пока стланик не кончится, он обязательно кончается. Или выходим на ручей и не теряем ручья"».

624. *Огниво*, с загл. «В лесу», скорее всего, редакционным. В *Списке1969* за 1958 г. фигурирует под загл. «Лесная моя сторона» (по первой строке). Печатается без загл. согласно *Списку1969*.

Штыб — отход угледобычи, мелкий каменный уголь.

АКомм: *«Написано в 1958 г. в Москве. К северу отношения не имеет. Написано из-за умирающего окуня, похожего на трубача оркестра. Это наблюдение у меня — давнее, и я рад был вставить его в стихи».*

625. *Огниво*. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 35.

АКомм: *«Стихотворение написано в 1958 году в Москве. Написано ради небольшой находки: „Рыба вылетает словно птица"».*

626. *ДП-1962*, *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 36, загл. «Море в Сухуми».

Вероятно, первое ст-ние «морского цикла». В связи с тем, что ст-ния записывались в разные тетради, часть из которых не сохранилась, «цикл» (до ст-ния «Руинами зубчатых башен...», № 649), возможно, восстановлен нами не полностью. Есть основания полагать, что отдых Шаламова в Сухуми был весьма относительным, и он, много гуляя по окрестностям, не отошел от своей привычки писать по стихотворению в день.

АКомм: *«Стихотворение написано в 1958 году в Сухуми. Начало или попытка преодоления северной тематики. Впервые опубликовано в сборнике „День поэзии 1962"».*

627. *ТК*.

Старшая сестра Шаламова — Галина Тихоновна Сорохтина (1895–1987).

И равнодушна, как природа — иронический парафраз строк ст-ния Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...». Ирония связана с тем, что Галина Тихоновна стихами не интересовалась, а главная обида на нее у Шаламова состояла в том, что после его первого ареста в 1929 г. сестра из страха сожгла его архив. Ср.: «*огнепоклонница*» в ст-нии «Останусь ли сухим в Сухуми» (№ 996). См. также переписку Шаламова с сестрой (*ВШ7*. Т. 6. С. 95–100).

628. Знамя. 1966. № 7. Автограф — Ед. хр. 16. Л. 61.

629. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 16. Л. 69 (1958).

У своей тети Е. А. Воробьевой, работавшей в Сетунской больнице, Шаламов жил в 1924–1926 гг. по приезде в Москву и очень дорожил ее поддержкой. В последний год своей жизни она переселилась к племяннице Г. Т. Сорохтиной в Сухуми, где и умерла незадолго до приезда Шаламова, который навестил ее могилу. В архиве сохранилось ее письмо к Шаламову от 27 января 1958 г. из Калининграда, где она жила у своей дочери Надежды: «Здравствуй, дорогой Варлуша! Не знаю, с чего начинать, как говорится, „ум разгорячился“. Прошло с лишком 20 лет, ты уже стал в солидном возрасте, а я совсем, совсем состарилась, мне было в ноябре 80 лет. Душа-то у меня еще молодая, а что толку, если ног нет (ревматизм) и сердце шалит. Я работала в Кунцеве всю войну и уехала в 45 году к Наде. Пенсия-то 200 рублей, не проживешь на нее, приходится быть приживалкой. Почему нас не искал?..» (Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 39–40).

630. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 89. Л. 17. В *МЗ-1967* — идентично. Очевидно, связано с предыдущим ст-нием.

631. Публикуется впервые. Печ. по *МЗ-1967*.

632. Публикуется впервые. Печ. по *МЗ-1967*.

...неба <...> *эмаль*. — Сравнение неба с эмалью см. у О. Мандельштама («На бледно-голубой эмали...», 1909). Это сравнение встречается также у Брюсова, Анненского и др.

633. *ВШ7*. Т. 7. Автограф — Ед. хр. 16. Л. 59 (1958). В *ВШ7* датировано неправильно 1960-ми гг., механически следуя дате *МЗ-1967*.

Пора, мой друг, пора (и далее: *покоя нет*) — отсылка с ст-нию А. Пушкина «Пора, мой друг, пора...» (1834). *Офелия заплакала* <...> *Покоя нет в могилах* <...> *Гамлет...* — Возможно, в подтексте ст-ние А. Блока «Офелия в цветах, в уборе...» (1898).

634. *ДиС*.

635. *Огниво*. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 29.

АКомм: «*Написано в 1958 году в Сухуми. Из моих „морских тетрадей“*».

***636.** *ШЛ*. Автографы — Ед. хр. 16. Л. 69 об.; Ед. хр. 83. Л. 94, загл. «Подобья».

637. *Огниво*. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 10.

АКомм: «Написано летом 1957 года в Сухуми. Поэту не надо бояться вступать на торные дороги. В любом сто раз описанном пейзаже поэт найдет что-то свое — без этой способности поэт не был бы поэтом. Если уж стихотворение пишется — значит, в „материале“ найдена какая-то новизна, которая и привлекает поэта, ощутившего в себе силу эту новизну передать на бумагу. О дороге, об облаках, о дожде, о море русские поэты писали миллион раз. Напишите в миллион первый. И это не дань традиции, а уверенность в себе — ты видишь и нашел то, чего не заметил Баратынский и Фет».

638. *Огниво.* Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 9, с пометой «Из морской тетради».

АКомм: «Написано в 1958 году в Сухуми».

639. *Огниво.* Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 7.

640. *МО.* Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 62.

АКомм: «Написано в 1958 году в Москве».

641. Московский комсомолец. 1968. 13 сент. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 92.

642. *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 16. Л. 69; Ед. хр. 84. Л. 8 об.

Индиго и сиена — натуральные красители.

АКомм: «Написано в Москве в 1958 году. Одно из „постколымских“ необходимых мне стихотворений».

643. Россия. 1998. № 3. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 93, с пометой «морское».

Диабазовая чаша — от «диабаз» (вулканическая окаменевшая порода).

644. *МО.* Автограф — Ед. хр. 16. Л. 68, с переставленными ст. 1 и 2. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 108. Л. 18.

645. Россия. 1998. № 3. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 20. Предлагалось в *ДиС*, отклонено (см. внутреннюю рецензию О. Дмитриева: *РГАЛИ.* Ф. 1234. Оп. 19. Ф. 2121. Л. 9).

646. *ШЛ.*

647. *ШЛ.*

648. Юность. 1965. № 10. *ДиС.* Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 72.

649. *ШЛ.* Вероятно, последнее ст-ние «морского цикла». В дальнейшем были написаны еще два ст-ния на эту тему, но уже по памяти — «Забытье», № 743 (1961) и «Море», № 778 (1962).

650. Юность. 1969. № 3. Автограф — Ед. хр. 83. Л. 43, загл. «Дубовая аллея».

АКомм: «Написано в 1958 г. в Москве. Напечатано в журнале „Юность“».

651. Знамя. 1968. № 5. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 25.

АКомм: «Написано в 1958 году в Москве».

652. Юность. 1965. № 10.

В искусстве незачем тесниться, / В искусстве места хватит всем. — Ср.: «В искусстве места хватит всем, / Не надо так тесниться» (Ед. хр. 24. Л. 21 (1957)). Ср. также: «Поэзия — бесконечна. В искусстве места хватает всем, и не надо тесниться и ссориться» (*ВШ7*. Т. 4. С. 95).

653. *ДП-1964*. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 69, с вар.

АКомм: «*Написано в 1958 году в Москве. Одна из моих заветных мыслей об искусстве и живой жизни, с ее непонятностью, случайностью, неповторимостью. Это стихотворение хвалили рецензенты за новую мысль, внесенную в русскую лирику. Но ни один из рецензентов не обмолвился о том, что „Лицо“ — стихотворение насквозь инструментованное, посаженное на крепкие звуковые опоры. Критики подошли к „Лицу“ как к прозе, в то время как „Лицо“ — стихотворение*».

654. *МО*, без загл.; *ВШ7*. Т. 7. Машинопись — Ед. хр. 113. Л. 28. Печ. по машинописи, с загл.

АКомм: «*Написано в 1958 году в Москве*».

655. Юность. 1968. № 5. Машинопись — Ед. хр. 115. Л. 15. В *Списке1969* за 1958 г.

...Аполлон? / Потребовал поэта / К священной жертве света... — Переосмысленная цитата из ст-ния А. Пушкина «Поэт»: «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В заботах суетного света / Он малодушно погружен» (1827).

АКомм: «*Первоначально стихотворение называлось „Пушкинский вальс“ и трактовало эту тему гораздо шире. Но какие-то причины технического порядка помешали мне закончить стихотворение так, как хотелось. Пришлось его закончить и переменить название.*

„Пушкинский вальс“ долго, не один год, лежал в моих бумагах, чтобы вот-вот вернуться к работе над ним. Сделать этого не пришлось. Пушкин — это долг каждого поэта. У меня есть и стихотворение „Пушкин“, где я даю свою формулу Пушкина[1]».

656. Знамя. 1968. № 12.

АКомм: «*Написано в 1958 году в Москве*».

657. Знамя. 1968. № 12; *МО*.

АКомм: «*Написано в 1958 г. в Москве. Напечатано в журнале „Знамя“, № 12, 1968 г.*».

658. *МЛП*. В *Списке1969* за 1958 г.

Поэзия, ты записалась в актеры — возможно, реакция Шаламова на публичные чтения стихов у памятника Маяковскому, стихийно начавшиеся после его открытия 29 июля 1958 г. в Москве.

659. *МЛП*. В *Списке1969* за 1958 г.

...листы прелестные — или «прелестные письма»: в России XVI–XVIII вв. воззвания, призывавшие к восстанию, бунту.

---

[1] См. № 859. Ср. также ст-ние «Осенняя игра», с отчетливыми и многозначительными пушкинскими мотивами (см. № 858 и примеч.).

***660.** *Шсб-5.* Автограф — Ед. хр. 7. Л. 54–56, с датой «5 января 1959 г.», с вар. Машинописи — Ед. хр. 89. Л. 46–47; Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 30 об.–31, с датой «2 января 1959 г.». Печ. по *Шсб-5.*

Судя по деталям, отраженным в ст-нии, Шаламов присутствовал при «возвращении из ссылки» в начале января 1959 г. знаменитого памятника Гоголю работы Н. Андреева. Памятник был установлен возле дома, где Гоголь жил последние четыре года и где он скончался. Первоначально андреевский памятник располагался на Гоголевском (Пречистенском) бульваре. В 1951 г. эта скульптура, с середины 1930-х гг. критиковавшаяся в партийной печати за «пессимизм», была демонтирована и удалена за стены Донского монастыря. На ее месте вскоре появился «веселый» Гоголь работы Н. Томского. И лишь в 1959 г. андреевский шедевр был возвращен Москве, хотя и не на прежнее место.

Присутствие в архиве Шаламова машинописи ст-ния обычно говорит о стремлении автора напечатать его, однако, в данном случае этого не произошло по очевидным цензурным причинам — сравнение Гоголя с «беглым арестантом» никак не соответствовало установленным канонам.

661. *Шсб-5.* Машинопись — *Ласкина.* Дважды фигурирует в *Списке1969* за 1958 г., и с той же датой — в списке к сб. *МО* (Ед. хр. 373. Л. 40). Вкл. в *КТизбр.*

662. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 27. Л. 1 (тетрадь «Стихи 1959 г.»). Вкл. в *КТИзбр.*

Публикуемые ниже, до № 677 включительно, ст-ния написаны, по-видимому, в Боткинской больнице, куда Шаламов попал в конце 1958 г. и где пробыл до весны 1959 г. Пребывание в больнице способствовало, с одной стороны, сосредоточенности на поэтических проблемах, с другой — поскольку Шаламов находился в общей палате — неизбежно вовлекало в разговоры и в споры и способствовало оживлению лагерных воспоминаний. Ср. в письме к А. И. Солженицыну в ноябре 1962 г.: «В 1958 году в Боткинской больнице у меня заполняли историю болезни, как вели протокол допроса на следствии. И полпалаты гудело: „Не может быть, что он врет, что он такое говорит!“ И врачиха сказала: „В таких случаях ведь сильно преувеличивают, не правда ли?“ И похлопала меня по плечу. И меня выписали. И только вмешательство редакции заставило начальника больницы перевести меня в другое отделение, где я и получил инвалидность» (*ВШ7.* Т. 6. С. 288). Неверие окружающих в ужасы лагерной жизни, несомненно, стало толчком к созданию новых *КР*, а также — к появлению новых стихов с колымскими мотивами, которые можно назвать циклом (этот «цикл», № 662–677, печатается ниже подряд, независимо от расположения отдельных ст-ний в тетради 1959 г.; ср. нумерацию листов Ед. хр. 27 в примеч.).

663. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 27. Л. 1; Ед. хр. 111. Л. 52 об., без загл. Вкл. в *КТИЗбр.*

О ночь! Тебе я верю слепо, / Ты вся — добро... — Возможно, скрытая полемика с образом ночи у Тютчева: «Вот отчего нам ночь страшна!» («День и ночь», 1839). См. также «Мотив Гейне» (1868), «Бессонница» («Часов однообразный бой...»; 1829), «О чем ты воешь, ветр ночной?..» (нач. 1830-х) и др.

664. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 27. Л. 3.

665. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 27. Л. 4; Ед. хр. 111. Л. 25. Вкл. в *КТИзбр.*

666. *ПражскСб.* Автограф — Ед. хр. 27. Л. 5.

667. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 27. Л. 6. Вкл. в *КТИзбр.*

Махорка-полукрупка — сорт мелкой махорки.

668. *ПражскСб.* Автограф — Ед. хр. 27. Л. 7.

669. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 27. Л. 8.

Родством с Сазоновым на Каре... — Шаламов не раз высказывался о своем духовном родстве с народовольцами и эсерами. В данном случае речь идет о тюремно-каторжной биографии эсера Е. С. Сазонова (Созонова), погибшего на Нерчинских рудниках (правильное ударение «Кара́»).

670. *НС.* Автограф — Ед. хр. 27. Л. 8 об.

671. *НС.* Автограф — Ед. хр. 27. Л. 9.

672. *НС.* Автограф — Ед. хр. 27. Л. 10.

Дервиш — мусульманский монах-нищий. *Дерево-дервиш* — суковатое дерево. В *МЗ-1967* эта экзотическая метафора снята, и в первой строке появилась осина: «Осина забилась в кликушеской пляске...». Предлагалось в сборник *МО*, отклонено.

673. *НС.* Автограф — Ед. хр. 27. Л. 12. Машинопись — Ед. хр. 113. Л. 46, с правкой в посл. строке: «Вести» вместо «Увесть».

То Тютчева рука, / То Пушкина мизинец. — В своей пейзажно-философской лирике Шаламов ориентировался в большей мере на Тютчева, нежели на Пушкина. В тетради Ед. хр. 111 (1959) на Л. 51 имеется характерная запись, свидетельствующая об особом внимании Шаламова не только к поэзии Тютчева, но и к его злободневным мыслям: «Из Тютчева (письмо к брату): „Беда наша в том, что у нас тошнота никогда не доходит до рвоты“» (имеется в виду фраза из письма Ф. И. Тютчева к Н. И. Тютчеву от 13 апреля 1868 г., получившая развитие в ст-нии «Печати русской доброхоты» (1868): «Печати русской доброхоты, / Как всеми вами, господа, / Тошнит ее — но вот беда, / Что дело не дойдет до рвоты»). В той же тетради (Л. 18) имеется запись о Пушкине: «В детстве мало знал Пушкина. Чтил, а любил не Пушкина, а Жуковского». Пушкинская тема отражена в ст-ниях «Пушкинский вальс для школьников» (№ 655), «Пушкин» (№ 859) и «Осенняя игра» (№ 858).

674. *НС.* Автограф — Ед. хр. 27. Л. 13, первоначальный вар. ст. 5: «Бегу по скованной волне».

675. *НС.* Автограф — Ед. хр. 27. Л. 16.

676. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 89. Л. 7.

677. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 89. Л. 22. Есть в *МЗ-1967*. В *Списке1959* за 1959 г. есть загл. «Пыль», возможно, указывающее на это ст-ние. Предлагалось в *МО*, отклонено.

По-видимому, связано с воспоминаниями о работе на угольных шахтах колымской Аркагалы. См. рассказ «Инженер Киселев» (*ВШ7*. Т. 2. С. 465–474; *Восп*. С. 485–495). *Штыб* — отход угледобычи, мелкий каменный уголь, угольная пыль (см. № 624).

678. *НС*. Автограф — Ед. хр. 27. Л. 16 (1959). Предлагалось в *МО*, отклонено (см.: *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 1376. Л. 24).

Романтические мотивы ст-ния, написанного в нехарактерном для зрелого Шаламова размере (шестистопный ямб, который он использовал в балладах и сонетах северного периода — см. № 1200, 1201), указывают на возможность более раннего возникновения замысла данного ст-ния. В то же время нельзя не обратить внимания на его ритмическое сходство со ст-нием «В гремящую грозу умрет глухой Бетховен…» (№ 615).

679. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 76. Идентично в *МЗ-1967*. В *Списке1969* за 1959 г.

Характерно использование «больших», многосложных слов, о которых Шаламов писал в заметках 1957 г. (см. примеч. к № 585), особенно в последней строфе. У Шаламова немало ст-ний с «очеловеченными» образами реки, в связи с чем он замечал: «На берегу многих рек я жил, был. Реки для меня были силой и символом вечного, неуклонного движения вперед, учили победе, терпению, настойчивости» (из письма к И. Сиротинской; *ВШ7*. Т. 6. С. 452).

***680.** *ШЛ*. Автографы — Ед. хр. 27. Л. 14, загл. «Обрыв», с вар.: после ст. 12 дополнительные строфы, за которыми стоят, возможно, отголоски лагерных воспоминаний (пребывание в больнице «Беличья» в 1944 г., когда Шаламов находился в состоянии еще не выздоровевшего «доходяги»); Ед. хр. 28. Л. 13, «парное» ст-ние, загл. «Яблоновый хребет» (1961).

Подножье Машука — место последней дуэли М. Лермонтова.

681. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 111. Л. 61, загл. «Вижу».

682. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 111. Л. 55 об.

АКомм: *«Написано в 1959 году уже после заболевания, уложившего меня в больницу. Нравилось В. М. Инбер за новизну»*.

683. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 27. Л. 5, загл. «Апрель», с вар.: ст. 4 «И тревожны» вм. «Бестревожны», ст. 10 «Охмелевшие без дождей».

684. *ШЛ* Автограф — Ед. хр. 27. Л. 2, загл. «Скворцу». На полях — две строфы, по-видимому, «парного» ст-ния: «Вот здесь, в весеннем мире / И хижин, и дворцов / На явочной квартире / Неистовых скворцов. / Все так, как было прежде, / Опять грохочет май, / Въезжай в свою скворешню / И песню запевай!»

Алеманд, полукурант, червякова дудка — напевы скворца по словарю В. Даля.

АКомм: «Шуточное стихотворение, написанное в 1959 году в Москве. Непосредственный толчок — чтение словаря Даля на слово „скворец", где перечислены скворцовые вокальные „колена"».

***685.** Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 27. Л. 11, загл. «Голубь в библиотеке», с вар. В *НС* опубликована ред. автографа. Машинописи — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 58; *Ласкина.* Предлагалось в *МО*, отклонено. Печ. по машинописи.

АКомм: «Описано истинное событие, происходившее в Ленинской библиотеке летом 1960 года[1] *на моих глазах».*

686. *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 27. Л. 2.

Курья — речной залив, заводь. *Раменье* — лес, соседствующий с полями. *Орлец* — игра слов: с одной стороны, орлецом называют минерал родонит, рубиновый шпат, с другой — Шаламов хорошо знал и церковное значение этого слова: круглый коврик с вытканным изображением орла, который во время службы кладут под ноги архиерею.

687. *ШЛ*, без загл., с вар.: ст. 1 «Сосновый лес, зеленый бор». Автограф — Ед. хр. 27. Л. 4. Печ. по автографу (см. *АКомм*).

АКомм: «Написано в 1959 году. Авторское название „Рыбий бор", а в сборнике „Шелест листьев" публиковалось без названия и с измененной первой строчкой: „Сосновый лес, зеленый бор"».

688. *ШЛ*, без последнего двустишия. Автограф — Ед. хр. 27. Л. 15.

АКомм: «Написано в Москве, в 1958 году[2]*. Относится к „постколымским" стихам».*

689. Юность. 1967. № 5. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 14.

АКомм: «Написано в 1959 году. Из тех стихотворений, в которых я пытался наверстать упущенное, вспомнить и закрепить этот трехметровый зеленый лед в багровом свете северной вечерней зари, который видел столько раз, так часто, что и не подумал записать этот лед для памяти ума и чувства».

690. *СМол.* 1963. № 12. Автограф — Ед. хр. 111. Л. 58.

АКомм: «Написано в 1959 году. Неоднократно переводилось[3]*. Для меня ценна только — „Запахом, который громче грома" — сближением, отыскиванием подобного в разных человеческих чувствах, а также скипидарным запахом вечернего леса. К Колыме отношения не имеет. Отражает пейзаж Калининской области, настроения, связанные с этим пейзажем, или пейзаж, связанный с тогдашним моим настроением,— для поэта это одно и то же».*

691. *Огниво.* Автограф — Ед. хр. 84. Л. 7.

АКомм: «Я берусь угадать в лирическом стихотворении любого русского поэта — от Пушкина до Фета,— какая строфа писалась

---

[1] Очевидная ошибка памяти, так как автограф находится в тетради 1959 г.

[2] По-видимому, ошибка, так как автограф находится в тетради 1959 г.

[3] Переводы (на языки народов СССР) не найдены.

первой. „Горная минута“ написана ради первой строфы. Это привычная трактовка взаимозаменяемости родов искусства. „Горная минута“ написана в 1959 году в Москве.

Я пробыл на Колыме с 1937 по 1953 год, а в Москву вернулся в конце 1956 года. С 1953 года по 1956 я писал день и ночь, и все написанное в это время — самое наиколымское, но уже раскрепощенное, когда самый тон стихов и их зашифровка способами искусства изменились в сторону большей смелости, большей нравственной обязательности, когда каждое новое стихотворение было не только исповедью, не только проповедью, но и гаданием, предсказанием. Этой цели я подчинил всю свою дальнейшую жизнь. В это время мне стало ясно, что без моих свидетельств время не обойдется. Полное бессилие Пастернака в этом отношении тоже было тяжелым примером. Пастернак, как и многие другие писатели, не совсем ясно представлял себе всю серьезность моего материала.

„Горная минута“ — стихотворение о Колыме, но написанное позднее. Граница моих „Колымских тетрадей“ — 1956 год. „Горная минута“ относится к числу моих „постколымских“ стихотворений (как и „Память“, „Ода ковриге хлеба“, „Горный водопад“), когда я вспоминал какую-то упущенную ранее важную сторону дела в колымской философии, какую-то значительную сторону нашей тогдашней жизни, о которой еще не заходила речь».

692. *Огниво.* Автограф — Ед. хр. 84. Л. 4.

АКомм: «Написано в 1959 году в Москве. Как и „Горная минута“, относится к числу „постколымских“ моих стихов».

***693.** *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 7. Л. 57–57 об., с вар., дата «8.VI/59». Вероятно, предполагалось для сб. «Огниво». «Истинный текст» (машинопись?), о котором говорит Шаламов в *АКомм* (см. ниже), не найден, поэтому ст-ние печ. по *ШЛ* с загл., указанным Шаламовым в *АКомм.*

АКомм: «Стихи написаны в 1959 году в Москве и назывались „Представление рукописи“. Печ. по истинному тексту этого важного для меня стихотворения».

694. *ДиС.* В *Списке1969* за 1959 г. под загл. «Кукушка».

695. *МО.* Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 79–80, с датой «1959». В списке к сб. *МО* (Ед. хр. 373. Л. 40) помечено 1959 г.

Связано с воспоминаниями о Вологде. Ср. ранний рассказ Шаламова «Пава и древо» о вологодской кружевнице (*ВШ7.* Т. 1. С. 21–27). *Коклюшка* — деревянная палочка-катушка с ручкой, на которую наматываются нитки для плетения кружев.

696. *МЛП.* Автограф — Ед. хр. 111. Л. 30. Машинопись — Ед. хр. 90. Л. 11.

Такая же маска, актерские речи… — Шаламов резко отрицательно относился к морализаторско-проповеднической деятельности Л. Толстого, видя в ней противоречия с его дневником. Подробнее см. в гл. «Антитолстовец» из монографии М. Берютти

(Berutti M. Varlam Chalamov: Chroniqueur du Goulag et poète de la Kolyma. Paris, 2014; перевод глав из этой книги см.: https://shalamov.ru/research/261). См. также примеч. к № 456.

697. *ШЛ.* В *Списке1969* за 1959 г.

698. *ДиС.* Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 29.

Стигматы — кровоточащие раны у христианских подвижников на тех участках тела, на которых располагались раны Христа.

АКомм: *«Стихотворение написано в 1959 году в Москве. Одно из моих прозаических произведений».*

699. *ДиС.* Автограф — Ед. хр. 111. Л. 66–70.

Источник ст-ния — рассказ А. Герцена о приезде Д. Гарибальди в Лондон в части шестой «Былого и дум». Шаламов с огромным уважением относился к итальянскому борцу за свободу середины XIX в., видя ему аналогию в XX в. в лице Э. Че Гевары. См. № 956 и примеч. Шаламов близко к тексту цитирует некоторые высказывания Гарибальди, приводимые Герценом, существенно изменяя мизансцену («завтрак у лорд-мэра»). Ниже в кавычках указаны параллельные места из «Былого и дум». *И вижу ваш подарок: это — меч! <...> Я не люблю военных ремесло...* — «Я не солдат, — говорил он <Гарибальди> в Кристаль-паласе итальянцам, подносившим ему меч, — и не люблю солдатского ремесла». *Бандиты ворвались в отцовский дом, / И я судил их собственным судом, — / Снял со стены охотничье ружье, / Чтоб счастье жизни защитить свое...* — «Я видел мой отчий дом, наполненный разбойниками, и схватился за оружие, чтоб их выгнать». *...я человек труда* — «Я работник, происхожу от работников и горжусь этим».

АКомм: *«Написано в Москве в 1959 году по известному рассказу Герцена. Как и „Прямой наводкой“ — чисто прозаическое произведение».*

700. Москва. 1968. № 3. Машинопись — Ед. хр. 113. Л. 20.

АКомм: *«Написано в 1959 году в Москве. „Домашняя“ философия. Я избегал пользоваться примерами такого рода, ибо для всех буквально формул — настоящих и возможных — был безграничный выбор северного, таежного, вовсе не экзотического материала, а быта, обыкновенной жизни, освещенной сильным солнцем поэзии. Я прочел где-то о смерти бирюзы и попробовал написать стихи».*

701. Знамя. 1990. № 7. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 45. В *Списке1969* за 1959 г.

702. *ШЛ.* Машинопись — Ед. хр. 115. Л. 63.

АКомм: *«Написано в 1959 году в Москве».*

703. *ДиС.* В *Списке1969* за 1959 г.

704. Юность. 1969. № 3. Автографы — Ед. хр. 27. Л. 8, загл. «Испытание атомной бомбы»; Ед. хр. 111. Л. 12, загл. [«Энрико Ферми»], «Испытание атомной бомбы».

Вероятно, связано с посещением выставки японских художников Ири и Тосико Маруки «Хиросима», проходившей в Москве

в 1959 г. В архиве Шаламова сохранилась машинопись его статьи «Да будет мир! (Советский зритель о выставке „Хиросима“)», написанной, очевидно, для журнала «Москва», но почему-то не напечатанной. Примечательны оценки Шаламова, свидетельствующие о близости ему эстетики японских авторов: «Это — художественная достоверность, рассказанная очевидцами. Художники были в Хиросиме через два дня после взрыва атомной бомбы. Зрители проникаются повелительным чувством возмущения, ужаса перед атомной бомбой» (Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 7). Ср. также «Атомную поэму» (№ 84) и ст-ние «Мария Кюри» (№ 705).

АКомм:*«Написано в Москве в 1959 году»*.

705. *МО*, без загл., с вар.: ст. 24 «Ученая Мари». Автографы — Ед. хр. 84. Л. 97, загл. «Мария Склодовская». Машинопись — Ед. хр. 111. Л. 12. В *Списке1969* за 1959 г. загл. «Мария Кюри». Печ. по *МО* с восстановлением загл. по машинописи.

Связано, вероятно, с теми же событиями, о которых сказано в примеч. к № 704. Как известно, первооткрывательница радия М. Склодовская-Кюри (1867–1934) умерла от лучевой болезни. *Не жизни разве ради?* — Со временем этот гуманитарный подход Шаламова к проблемам атомной бомбы сменился сдержанно-прагматическим. Ср. запись начала 1970-х гг.: «Атомная бомба держит мир в состоянии мира» (Ед. хр. 175. Л. 34).

706. *СМол.* 1966. № 6. Автограф — Ед. хр. 111. Л. 56.

707. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 108. Л. 125; Оп. 2. Ед. хр. 111. Л. 64. В *Списке1969* за 1959 г.

708. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 108. Л. 125 об.; Оп. 2. Ед. хр. 111. Л. 62 об. На Л. 62 той же тетради имеется запись о лагере: «Сушить белье после бани *на себе*» (подчеркнуто автором).

709. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 111. Л. 66 об.

710. *ДП-1985*. Автограф — Ед. хр. 108. Л. 126. В *Списке1969* за 1959 г.

711. *МО*. Автограф — Ед. хр. 111. Л. 29 (1959).

АКомм: *«Написано в Москве в 1958 году*[1]*. Одна из главных моих поэтических формул искусства и жизни»*.

Стихотворения 1960-х гг.

В 1960-е гг. Шаламов писал стихов значительно меньше, чем в 1950-е. Основное время он отдавал работе над прозой. Кроме того, объем написанных к тому времени ст-ний был настолько велик, что требовал неотложной систематизации и доработки, что и отняло у автора много сил в первой половине 1960-х гг. Часть ранее написанных ст-ний входила в состав публикуемых книг, что-то

[1] Очевидно, ошибка, так как ст-ние дважды фигурирует в *Списке1969* за 1959 г. и его автограф имеется в тетради 1959 г.

печаталось в журналах и газетах. Однако уже после выпуска первых сборников «Огниво» и «Шелест листьев» Шаламов понял, что издательские возможности для него — в отличие от официально признанных и популярных поэтов — ограничены жесткой нормой: одна небольшая книга объемом 2 авторских листа (1400 строк, при оплате 1 руб. 40 коп. за строку) — один раз в четыре года[1]. Это было слишком мало при его привычке к ежедневной поэтической работе и совершенно недостаточно для поддержания жизни. Потребность же в публичном поэтическом существовании после одобрительных рецензий на первые книги, естественно, выросла, и Шаламов ожидал большего. В связи с этим он был крайне удручен тем, что его стихи игнорировал ведущий журнал того времени «Новый мир» А. Твардовского (см. об этом вступ. статью). Свою основную «отдушину» Шаламов нашел в альманахе «День поэзии» и в журнале «Юность» Б. Полевого (реже обращаясь в «Знамя» В. Кожевникова и «Москву» Е. Поповкина). Хотя тематический диапазон стихов Шаламова значительно расширился и далеко не ограничивался колымскими мотивами и их преломлением, поэт постоянно испытывал проблемы с цензурой — как с издательской, так и с журнальной. Например, цикл 1960 г. «Стихи к Пастернаку» ему удалось напечатать лишь фрагментами, а целиком он распространялся в самиздате. Цикл стихов об А. Ахматовой 1966 г. кроме одного ст-ния «Проводы Ахматовой» (№ 851) не распространялся и в самиздате, как и цикл, посвященный М. Цветаевой, начатый еще в 1950-е гг. Особенно усилились цензурные препоны к концу 1960-х гг. в связи с появлением «пиратских» изданий *КР* на Западе. Все это вынудило Шаламова придерживаться в своей поэтической работе преимущественно уже привычной формы непубличного дневника, а также прибегать к записи ст-ний на магнитофон (самая большая запись относится к 1967 г.; она производилась на квартире Н. В. Рожанской-Кинд, о чем оставил свидетельство поэт Г. Айги[2]).

В данном разделе представлено значительное число ст-ний, долгое время остававшихся неизвестными. К сожалению, нет уверенности, что поэтическое творчество Шаламова данного периода представлено с исчерпывающей полнотой. Дневниковая хронология отчасти отражена лишь в тетради весны–лета 1961 г. (Ед. хр. 28; № 732–750). Автографы ряда ст-ний имеются в Ед. хр. 84 (материалы к сборникам «Глубокая печать» и «Работа и судьба», 1960-е гг.[3]). В архиве отсутствует целый ряд больших общих

---

[1] См. заметки «В дебрях „Советского писателя"» (*ВШ7*. Т. 7. С. 419) и примеч. к № 548.

[2] Айги Г. Один вечер с Шаламовым // Вестник РХД. 1982. № 137. С. 157–161.

[3] По-видимому, «Глубокая печать» — это первоначальное название сборника «Шелест листьев», а «Работа и судьба» трансформировалась в «Дорогу и судьбу».

(рабочих) тетрадей — за 1960 г. (кроме стихов к Пастернаку), за 1962, 1964 и 1967–1969 гг. Облегчает прослеживание истории создания ст-ний и их датировку наличие *АКомм* и авторского *Списка1969*, а также списка ст-ний, представленных в сб. *МО* (Ед. хр. 373. Л. 39–40; ок. 1971 г.).

Следует напомнить, что на сб. *МО* Шаламов возлагал большие надежды, но они не оправдались (ср.: «„Московские облака“ могли быть сборником лучше „Дороги и судьбы“, но будут худшим» — *ЗапКн*. С. 313). Помимо усилившейся цензуры сыграли свою роль, вероятно, и вкусовые пристрастия внутренних рецензентов О. Дмитриева и Л. Озерова, давших в своих отзывах (*РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 121. Ед. хр. 137) отрицательные оценки целому ряду важных для Шаламова ст-ний, в том числе написанных в 1960-е гг. — «Таруса», «Живопись», «Я сам могу решить вопрос…» и др. О сложностях прохождения сб. *МО* в печать см. также переписку Шаламова с редактором его книг В. Фогельсоном (*ВШ7*. Т. 6. С. 567–569). Сопоставление первоначального содержания *МО* (*РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 121. Ед. хр. 137; см. также список самого Шаламова: Ед. хр. 373. Л. 78–81) с содержанием опубликованной книги позволяет установить, какие ст-ния были отклонены, что отмечено в примечаниях. К ряду ст-ний, предлагавшихся в *МО*, но не опубликованных, Шаламов написал *АКомм*, сохранившиеся в Ед. хр. 378.

712. Знамя. 1968. № 5. В *Списке1969* — первое за 1960 г.

АКомм: *«Написано в Москве в 1960 году»*.

713. *ШЛ*. В *Списке1969* — второе за 1960 г.

714. Юность. 1966. № 9. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 65, загл. «Не ищи», с вар.: ст. 1 «Не спеши переполнить запас».

АКомм: *«Это — одна из моих формул искусства. Я прочел „Дневник Дюгара“*[1] *и поразился его подходу к своей работе. Сбор материала — это отнюдь не писательский подход к делу. Не один Дюгар так делает, к сожалению.*

„Записные книжки“ Блока и его дневники — это другой жанр, чем сбор материала к роману, повести, рассказу. „Записные книжки“ Блока не могут мешать поэту работать над стихами. Стихотворение написано в 1960 г.».

715. *ШЛ*, без последней строфы; *НГ*. 2013. 28 окт. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 3 об., загл. «Бухта Нагаева в августе 1937 года».

Ср. рассказ «Причал ада» (1967; *ВШ7*. Т. 2. С. 111–112).

АКомм: *«Описан момент прибытия парохода в 1937 году из Владивостока, во всей типичности тогдашних ощущений, предзнаменований и заглядывания в будущее. По своей уплотненности, тонкости иносказаний — одно из лучших моих стихотворений. Написано в Москве в 1960 году.*

---

[1] Роже Мартен дю Гар, французский писатель.

К этому времени выяснилось, что, пока я не напишу каких-то вещей, не отделаюсь от каких-то воспоминаний,— мне не уйти от самого себя и от своей главной тематики».

716. Публикуется впервые. *МЗ-1967*, с вар.: ст. 1 «Щупали пули мои карманы». Та же строка фигурирует в загл. ст-ния в *Списке1969* за 1960 г. Печ. по *МЗ-1967* с предположительным исправлением первой строки по смыслу.

717. *ВШ4*. Т. 3. Входит в *Список1969* за 1960 г.

Сюжет ст-ния мог быть навеян популярной в России книгой Р. Хаггарда «Дочь Монтесумы», где события разворачиваются на фоне завоевания Мексики Кортесом.

718. *ЛГ*. 1968. 3 апр. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 45, с вар.: ст. 13–16 [«И укреплен его советом, / Его леченьем и трудом. / Весь мир подходит ближе к свету / И смело строит жизни дом»]. В *Списке1969* следует за предыдущим ст-нием.

Шаламов любил Г. Х. Андерсена с детства и называл его «социальным сказочником» (см.: *Шсб-5*. С. 196).

719. *ШЛ*; *ВШ4* и *ВШ7*, без последней строфы. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 26, загл. «Вологда», с вар.: ст. 18 «Этапная, сквозная»; здесь же исправлено на окончательный вар. «Базарная, земная...».

Один из импульсов к созданию ст-ния — встречи и беседы с земляками-вологжанами Л. В и Н. В. Сигорскими, жившими по соседству с Шаламовым на ул. Беговой (см.: *ЧВ*. С. 29). *О Вологде-столице, / Каприз Ивана Грозного...* — Шаламов следует известной вологодской легенде о том, что Иван Грозный имел намерение сделать Вологду опричной столицей Руси (в связи с чем в 1567–1570 гг. здесь под личным наблюдением царя начал строиться Софийский собор, повторяющий очертаниями московский Успенский собор). Конкретные подтверждения на этот счет Шаламов мог получить позднее из книг историков С. Б. Веселовского «Исследования по истории опричнины» (М., 1963) и А. А. Зимина «Опричнина Ивана Грозного» (М., 1964). Эта тема более подробно описана в *ЧВ* (гл. I, II). См. также ст-ние «Софийский собор» (№ 972) и примеч.

АКомм: *«Стихотворение написано в Москве в 1960 году. Вологда — мой родной город. Я провел там детство и юность, там встретил революцию десяти лет от роду. Вологда — особый город России. Это город, где столетиями, многими поколениями „отстаивалась" в царское время политическая ссылка; каждый известный политический ссыльный в разное время побывал в Вологде — от Лаврова и Лопатина до Савинкова, Луначарского и Марии Ульяновой. Нравственный климат города был особым. Моральный уровень — высоким. Культурные требования и вкусы — не ниже уровня двух столиц.*

Островский посылает в „Лесе" Несчастливцева из Керчи в Вологду. Именно потому, что Вологда в театральном и общекультурном смысле никогда глушью не была, а была вершиной, пиком,

по которому могла бы равняться Россия. Вологда — город со стойкими традициями освободительного движения — имела несколько ипостасей, несколько сторон своей жизни и своей истории. Одна сторона — это Вологда церквей, Вологда старинных храмов, город, где Иван Грозный выстроил старинный собор и сам присутствовал при освящении храма. Собор, где трубы ангелов, зовущих на Страшный Суд, запомнятся каждому, кто эти ангельские трубы видел, стоит и сейчас в центре города. Мне показывали кирпич, выпавший из пальца ноги ангела во время богослужения в присутствии Ивана Грозного. Камень из ангельской ноги, по преданию, раздробил большой палец ноги у царя. Иван Грозный в бешенстве уехал, вняв ангельскому предупреждению, и Вологда не стала столицей России. Столицей стала Москва. Для меня не было сомнения, что все именно так и происходило. С Вологдой исторической, храмовой уживалась Вологда неяркой северной природы, Вологда кружевная, деревянная, со старым бытом. И была еще третья Вологда, тяготеющая к обеим столицам, а через эти столицы — к Западу, к миру. Вологда освободительного движения сосуществовала с первыми двумя Вологдами — не противоречащая им, ибо главное для третьей Вологды определялось Европой, Западом, столицами, в худшем случае. Интересы этой третьей Вологды, кодекс ее морали меньше всего был связан с русской стариной, с северной географией. Вот к этой третьей Вологде я и принадлежу. Я небольшой знаток церквей и церковной истории, никогда не бывал ни в Прилуцком, ни в Кирилло-Белозерском монастырях. Но зато я знаю по имени и отчеству всех деятелей освободительного движения России»[1].

720–727. *РМ.* 1988. 8 июля (публ. и предисл. Вл. Рябоконя; с искажениями). Автографы — Ед. хр. 28. Л. 1–7 (частично; шесть ст-ний, пронумерованных в ином порядке), с вар. Машинописи — *Копелев.* Ед. хр. 527. Л. 1–13, с вар. в седьмом ст-нии цикла; *Ласкина.* Обе машинописи представляют собой цикл из двух разделов под общим загл. «Стихи к Пастернаку». В первый раздел входят четыре ст-ния 1950-х гг. из *КТ*: «Поэту» (№ 94; это ст-ние указано лишь в автографе оглавления цикла на л. 1 перед машинописью из фонда Копелева, его текст в данной машинописи отсутствует), «О тебе мы судим разно...» (№ 208), «Он из окóн своей квартиры...» (№ 154), «Он в чердачном помещенье...» (№ 420; в автографе оглавления цикла загл. этого ст-ния вычеркнуто); во второй раздел, имеющий загл. «На похоронах», — восемь пронумерованных ст-ний. В «копелевской» машинописи отсутствует ст-ние «Рояль» (под номером шесть). Здесь же имеются варианты загл. второй части цикла: «Смерть в мае», «30 мая — 2 июня». Датировка во всех источниках текста отсутствует, однако в автокомментарии 1969 г.

---

[1] Более подробно об этом Шаламов рассказал в *ЧВ*, создававшейся во время написания *АКомм* (1969–1970 гг.).

к опубликованным стихам цикла есть указание Шаламова: «Написано 2 июня 1960 г. в Переделкине на похоронах Пастернака».

Некоторые готовые ст-ния цикла были переданы автором семье Б. Л. Пастернака, а затем получили распространение в самиздате. Об этом можно судить по уже цитированному частично в комментарии к т. 1 наст. изд. письму к Шаламову от его постоянной машинистки Е. А. Кавельмахер от 15 ноября 1964 г.: «Наша близкая знакомая (еще по Воркуте) Зальма Федоровна Руофф — большая поклонница Б. Л. Пастернака — на днях в семье Пастернака прочитала Ваши стихотворения „На смерть Пастернака". Так как у нее много литературы о Б. Л. (она ее собирает), она попросила меня обратиться к Вам, не можете ли Вы дать эти стихотворения мне, чтобы я их перепечатала для нее...» (Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 1). Очевидно, дав согласие, Шаламов тогда же пришел к более глубокой идее — объединить ранее написанные ст-ния о Пастернаке с посмертными, и передал их все вместе для перепечатки Е. А. Кавельмахер. Об этом свидетельствует рукописное оглавление цикла, предваряющее машинопись, подаренную Л. З. Копелеву (с которым Шаламов познакомился в декабре 1964 г.), — оно взято с очевидностью «из-под машинки», так как имеет следы пометок для перепечатки.

Один из экземпляров машинописи Шаламов подарил Е. С. Ласкиной; в этой машинописи — полный текст цикла, в том числе отсутствующие в «копелевской» машинописи ст-ния «Поэту» и «Рояль». В дальнейшем стихи распространялись стихийно, отчего возникали искажения текста (В. В. Рябоконь признавался, что получил их напечатанными на папиросной бумаге).

С сожалением можно констатировать, что авторизованный текст полного цикла «Стихи к Пастернаку», включая второй раздел «На похоронах», не дошел до семьи Пастернака. Об этом свидетельствует публикация во втором томе антологии «Б. Л. Пастернак: Pro et contra» (Сост., коммент. Е. В. Пастернак, М. А. Рашковская, А. Ю. Сергеева-Клятис. СПб., 2013. С. 754–761), основанная на архивных материалах поэта и его наследников. Здесь вместо восьми ст-ний шаламовского венка напечатано лишь шесть (отсутствуют «Будто выбитая градом...» и «Он из окóн своей квартиры...»), а кроме того включено раннее, 1954 г., ст-ние «Все то, что было упущеньем...» (№ 1234), которое Шаламов никогда не публиковал и не включил в цикл. Явная ошибка содержится и в комментарии к ст-нию «Рояль» в антологии: «Во время последней болезни Пастернак лежал в маленькой гостиной, в которой когда-то принимал Шаламова и откуда теперь вынесли рояль. Туда Шаламов приходил 31 мая 1960 года проститься с Пастернаком, узнав о его смерти». На самом деле Шаламов, как явствует из его очерка «Пастернак», 31 мая только узнал от своей соседки по квартире А. Б. Асмус о смерти поэта, 1 июня приехал в Переделкино проститься, а 2 июня, узнав, что похороны назначены на 3 часа

дня, «приехал в 2 часа, чтобы еще раз поговорить с поэтом... Но не удалось. Уже было полно людей, и по всем тропам и дорогам шли гости» (*ВШ7*. Т. 4. С. 615). Таким образом, поэтический венок Шаламова вобрал в себя впечатления двух дней прощания с Пастернаком — 1 и 2 июня.

При жизни Шаламова публиковались разрозненно лишь отдельные ст-ния цикла, без упоминания имени Пастернака и с устранением любых намеков на то, что они связаны с его похоронами (что, несомненно, имело цензурные причины — инерция политического скандала вокруг романа «Доктор Живаго»). Только по публикации 1969 г. в журнале «Юность» (№ 3) сокращенного цикла, состоявшего из двух ст-ний — «Поэту» и «Орудье высшего начала...», — чуткий читатель мог догадаться, что речь идет о Пастернаке. Следует заметить, что этой публикацией Шаламову удалось одному из первых прорвать негласную блокаду вокруг трагедии великого поэта (большинство стихов других поэтов, посвященных его памяти, увидело свет лишь в 1980-е гг. — см. указанную антологию).

Первая попытка объединить напечатанные стихи в цикл была предпринята И. П. Сиротинской в изданиях: *ВШ4*. Т. 3; *ВШ7*. Т. 3. Однако, в связи с тем что публикатору не было известно полное содержание цикла, дело ограничилось лишь четырьмя ст-ниями. Это привело к сужению рассматриваемого материала в некоторых исследованиях, в частности в содержательной и тонкой статье Е. Гофмана «„Видны царапины рояля...“: (О четырех стихотворениях В. Шаламова на смерть Б. Пастернака)» (Знамя. 2015. № 3; то же в кн.: Гофман Е. Необходимость рефлексии. М., 2016).

Аутентичный текст цикла в полном составе впервые напечатан в: *ЛР*. 2018. 19 янв. (публ. В. В. Есипова).

В целом для оценки цикла и для понимания отношения Шаламова к Пастернаку необходимо учитывать записи Шаламова в записной книжке 1960 г.: «Оптина пустынь — Переделкино» (Ед. хр. 29. Л. 85 об.) и «Похороны потихоньку. Сходство двух могил» (сравнение с похоронами Пушкина; Там же. Л. 88; там же даты: «1837–1960».

Печ. по машинописи из собрания Е. С. Ласкиной.

1. *РМ*. 1988. 8 июля. Автограф (с номером «3»), с вар.: ст. 5–8 отсутствуют, ст. 9–12 «И вдруг — как символ страшной пробы, / Как смерти очевидный след / Невыносимой крышки гроба / Кричащий яркий желтый цвет».

2. *РМ*. 1988. 8 июля. В автографе — черновой набросок, без нумерации.

В предисловии Вл. Рябоконя в *РМ* ошибочно указано, что ст-ние является повтором ст-ния первого раздела цикла с той же начальной строкой.

Неоконченная пьеса — пьеса «Слепая красавица», над которой Пастернак работал перед смертью.

3. *ДиС*. В автографе ст-ние имеет номер «5».

4. *ШЛ*, без первых двух строф. Очевидно, редакторов смутила фраза «последний поединок», а также религиозные символы: «предпасхальная плащаница», «страсти Господни». Автограф (с номером «1»), с вар.: ст. 1–4 «В закрытых наглухо гардинах, / Хранящих голос, слезы, смех — / Его последний поединок / Со смертью на глазах у всех».

5. *РМ*. 1988. 8 июля. Автограф (с номером «4»), с вар.: ст. 1 «во славу летний».

Сплетни... слухи... судачить... — Ср. в воспоминаниях Шаламова: «Похороны — дело суетное, мирское <...> Четверть этой толпы, следовавшей за гробом, была любителями сенсаций» (*ВШ7*. Т. 4. С. 615, 617).

6. *ДиС*. Автограф (с номером «2»), загл. «Рояль». В публикации *РМ* ошибочно названо «Рояль на даче».

7. Юность. 1969. № 3. Помещено вторым в цикле под загл. «Поэту» (первым идет ст-ние 1954 г. «Он из окóн своей квартиры...», № 154). Можно предполагать, что Шаламов представлял в редакцию полный цикл из двух разделов, однако произошел отбор. В автографе отсутствует. В машинописи из фонда Копелева вар. ст. 17–18: «И вглядываясь в травы, в листья. / Подслушав ветер за стеной», после ст. 20 «И обличая гром орудий, / И душу темную войны, / Он, как и мы, мечтал о чуде / Неизреченной тишины», строфа «Должны же быть такие люди...» была пятой, стрелкой перенесена на второе место (*Копелев*. Л. 11–12).

Должны же быть живые Будды... — Существование «живых Будд» (тулку) — перерождений великих учителей, святых, лам и пр., обладающих непререкаемым авторитетом, — одно из важнейших представлений тибетского буддизма. В начале XX в. существовала своего рода «мода на буддизм», и Шаламов мог получить информацию об этой религии из соответствующих публикаций. Не исключено, что ему мог быть известен популярный кинофильм П. Вегенера «Живые Будды» (1925). О том, что Шаламов имел представление о буддийской традиции, свидетельствует его упоминание «религии живых будд (в Тибете, да и не только в Тибете)» в письме Н. В. Кинд от 22 октября 1965 г. Но поскольку Шаламов никогда специально не занимался буддизмом, а историей христианства интересовался с ранних лет (см. вступ. статью), есть основания полагать, что не раз им упоминаемый в данном контексте Будда является своего рода эвфемизмом Христа как высшего нравственного идеала. В широком смысле речь идет об основном принципе этической (и поэтической) философии Шаламова — соответствии слова и поступка, с готовностью на любого рода жертву во имя провозглашаемых в творчестве высших идеалов человеческого бытия. Ср. в письме к Н. И. Столяровой: «Я написал этот рассказ („Золотая медаль“. — *В. Е.*) сам для себя —

о великой преемственности, рассказ о тех живых буддах, которыми живет земля» (*ВШ7*. Т. 6. С. 387). См. также примеч. к № 849.

АКомм: *«Написано 2 июня 1960 года в Переделкине на похоронах Пастернака.*

„Стихи к Пастернаку" составляют большой цикл стихов, из которых большинство опубликованы. „Орудье высшего начала" дает мою формулу понимания роли и значения поэта».

8. *РМ*. 1988. 8 июля. В автографе ст-ние имеет номер «6».

Как молитвенники в карманах / Носим книги твоих стихов. — Ср. в воспоминаниях Шаламова: «У многих из карманов торчали сборники стихов Пастернака, как некие молитвенники, взятые на последние проводы» (*ВШ7*. Т. 4. С. 616).

728. Знамя. 1970. № 1. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 3. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 17.

АКомм: *«Написано в Москве в 1960 году. Продолжает дополнять какие-то важные стороны Севера, которые прошли мимо стихов ранее».*

729. Юность. 1969. № 3. В *Списке1969* за 1960 г.

АКомм: *«Написано в 1960 году в Москве. „Капля" — существенная страница моего поэтического дневника. Сама метафора очень шаблонна. Тем дороже та несомненная удача, которая получена мной при работе над этой темой. Поэту трудно только на торных дорогах, но природа помогает и на торных самым энергичным и даже решающим образом».*

730. *ШЛ.*

Пракситель — древнегреческий скульптор.

АКомм: *«Написано в 1960 году в Москве. У меня много стихов о стихах — процент чуть поменьше пушкинского по моим подсчетам, да и у какого поэта нет стихов о стихах. Ведь кроме того, что стихи — всеобщий язык, не попробовать написать о самом главном в жизни, о своем инструменте, о своем исповедании веры, о своей религии, ибо для поэта стихи — религия, значит обеднить и свой, и читательский мир, насильственно, искусственно ограничить круг тем.*

Поэзия — тема для поэта хорошо известная, дело, о котором поэт много размышлял, страсть, наилучше им пережитая. Почему же об этом не рассказать? И именно в стихах? Почему? Дело еще и в том, что, чуть сойди с позиций рифмованных описаний, сейчас же вступает в силу закон обнаженной души, где самым естественным образом выходит вперед то, что имеет отношение к искусству, стихам, даже мастерству. Всякое освоение нового материала в поэзии — это прежде всего проба — годится ли этот новый материал в стихи, не в смысле рифмовки, а как почва для искусства. Искусство имеет донные глубины, донные течения. Находит ли место новый материал в этих донных глубинах, или он — на поверхности, легко видимый всеми, — ответ на этот

вопрос получается незамедлительный. Всегда оказывается, что любому новому явлению жизни в стихах есть место. Мир поэта расширяется, растет».

731. *МО.*

АКомм: «Написано в Москве в 1960 году. Запись моего дневника».

732. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 11 об. Листы 9–27 об. белового автографа (две тонкие тетради) предуведомляются авторской ремаркой «Двенадцать стихотворений 1961». На самом деле здесь записано (одинаковым каллиграфическим почерком) около двадцати ст-ний, что учитывается при датировании ст-ний до № 750 включительно. Очевидно, что ст-ния записаны не в хронологическом порядке, а представляют итог работы данного периода.

И план строенья приготовлен, / Но силы нет его начать. — Вероятно, речь идет о трудностях завершения книги *КТ*.

733. *Шсб-5.* Автограф — Ед. хр. 28. Л. 12.

Не летописец, не историк... — Очевидно, что речь идет о *КР*, и Шаламов уже тогда отстранялся от роли «летописца» и «историка» Колымы, считая себя прежде всего художником. *Подкапывающий гору крот* — отдаленная аллюзия на цитату из «Гамлета» Шекспира: «Ты хорошо роешь, старый крот!», переосмысленную Г. Гегелем, использовавшим ее по отношению к незаметному, но неумолимому ходу истории. В гегелевской интерпретации тот же образ «крота истории» встречается у К. Маркса в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». У Маркса речь идет о неизбежных общественных переменах. На способствование переменам в сознании советского общества и прежде всего на преодоление наследия сталинизма рассчитывал и Шаламов, работая над *КР*. Однако повод вспомнить о кроте или других животных, живущих в норах, у него мог быть и более прозаическим, о чем говорит строка: *Тяжелый запах зоосада* — Шаламов любил гулять по Красной Пресне, где расположен Московский зоопарк.

734. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 12 об.

Квартира наша русская... — Имеется в виду крайне тесная квартира на Хорошевском шоссе, д. 10, кв. № 2, где Шаламов жил с 1957 г. вместе с О. С. Неклюдовой и ее сыном. Его собственная рабочая комната представляла собой узкий «пенал», отделенный от такого же «пенала», где жил С. Ю. Неклюдов, дощатой перегородкой. В 1968 г., после развода с О. С. Неклюдовой, Шаламов переехал в более просторную комнату в кв. № 3 на втором этаже того же дома. Об этом периоде он вспоминал гораздо теплее. См. ст-ние «Никогда не воскреснет шоссе...» (№ 948) и примеч.

735. *НС.* Автограф — Ед. хр. 28. Л. 13 об., загл. «До космодрома»; имеет несколько машинописных копий с загл. и без.

Очевидно, написано в апреле 1961 г., после полета Ю. Гагарина, с намерением распространения среди знакомых (о чем и говорят

машинописные копии). Упоминание о «концлагере» исключало всякую возможность публикации.

736. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 11. Машинопись — Ед. хр. 108. Л. 60.

...любовь Абелярова... — Кульминационным эпизодом трагической истории любви средневекового французского философа П. Абеляра к девушке Элоизе стало оскопление Абеляра дядей Элоизы каноником Фульбером (ср. трижды повторенное слово *оскопленные* в предыдущих строках ст-ния).

737. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 28. Л. 9–10 об.; Ед. хр. 84. Л. 56–59. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 11–12. Предлагалось в *ШЛ*, но отклонено (упомянуто во внутренней рецензии В. Милькова на *ШЛ*, как и ст-ние «Город Пушкина...», № 739 — *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2120. Л. 14).

Ст-ние посвящено легендарному турне сборной Басконии в СССР в июне–июле 1937 г., в разгар гражданской войны в Испании. Шаламов не видел эти матчи, так как находился в это время в Бутырской тюрьме и мог судить о великолепной игре басков только по рассказам очевидцев. Сам Шаламов играл в футбол в детстве (см.: *ЧВ*. С. 85) и был страстным болельщиком, болея за «Спартак»; в 1960-е гг. нередко ходил на ближний к дому стадион «Динамо», где существовал стихийный клуб болельщиков, обсуждавший футбольные легенды, в том числе о турне басков (что, вероятно, и послужило толчком к созданию ст-ния; возможно также, что дополнительный повод дала скандальная отмена матчей между сборными СССР и Испании в 1960 г. по инициативе правительства Франко). О глубоком понимании футбольной игры свидетельствует статья Шаламова «Психология футбола» (Москва. 1957. № 5, под псевдонимом В. Тихонов). В поздних заметках «О футболе и шахматах» (Ед. хр. 175. Л. 7) есть знаменательная фраза: «Все пройдет, а футбол пребудет навеки». Подробнее: Есипов В. Шаламов-болельщик // *ЛР*. 2011. 8 июля.

Мигуэля Унамуно бывшие ученики. — Мигель де Унамуно (1864–1936), испанский писатель и философ, уроженец Басконии. Его произведения переводились в СССР еще в 1920-е гг. и Шаламов, судя по всему, их высоко ценил. *Средь болельщиков безногих...* — Ср. запись в тетради 1961 г.: «Инвалид на футбольном матче — свои чувства!» (Ед. хр. 29. Л. 32).

738. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 14. Посвящено О. С. Неклюдовой.

739. *НС*. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 14 об. Вар. последней строки в *МЛП*: «Хоть приемышем у Невы». Предлагалось в *ШЛ*, но отклонено (см. примеч. к № 737).

Связано с поездкой в Ленинград в августе 1961 г., как и следующее ст-ние. *А не пасынком у Москвы.* — Ср. свидетельства С. Ю. Неклюдова: «Шаламов был оскорбительно холодно принят в

московском литературном мире», «...дальше людской не пускали» (выступление на вечере памяти Шаламова в Центральном Доме литераторов в апреле 1990 г., запись составителя; *Шсб-1*. С. 166).

740. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 16 об.–17.

741. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 17 об.–18. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 64, с вар.

742. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 18.

743. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 21 об.; загл. «Серебряные облака» фигурирует в *Списке1969* за 1961 г.

***744.** *ВШ4*. Т. 3. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 20 и об., с вар. В *МЗ-1967* строфы 4 и 5 переставлены.

АКомм: *«Написано в 1961 году в Москве. Запись в моем дневнике»*.

745. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 20 об.

746. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 21.

747. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 22, с вар.: ст. 13–16 «Здесь времени чутье, / Здесь мастеры чутья: / Деревья и зверье, / Пичужка, ты и я».

748. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 26. Включено в *Список1969* за 1961 г.

Связано с устным рассказом И. Андроникова «Горло Шаляпина», входившим в цикл его авторских телепрограмм.

749. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 27.

750. *Шсб-5*. Автограф — Ед. хр. 28. Л. 27 об. Включено в *Список1969* за 1961 г.

Моя далекая дочка — Елена Варламовна Шаламова-Янушевская (1935–1990), жила в Москве. Стихотворение опровергает представления о «черствости» отца в отношении к дочери после разрыва с семьей в 1956 г. — наоборот, оно свидетельствует об огромной нежности к ней. К сожалению, с ее стороны подобных порывов к отцу не зафиксировано. Ее последнее письмо к отцу, написанное в июле 1956 г., см. в: *ВШ7*. Т. 6. С. 92–95.

751. *МЗ-1967*. Датируется условно по тематической и биографической близости к предыдущему ст-нию.

752. *ШЛ*.

753. Знамя. 1968. № 5.

Чернолесье — лиственные леса, зимой сбрасывающие листья и выглядящие черными на фоне снега. *Пока пейзаж не говорит по-человечески. / Его пейзажем я не назову* — афористическое выражение основной идеи Шаламова об особенностях своей пейзажной лирики. См. вступ. статью. Ср. ст-ние «Я вовсе не бежал в природу...» (№ 790) и *АКомм*, ср. также ст-ние «Как ни хорош пейзаж...» (№ 791).

754. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 59. В *Списке1969* за 1961 г. поставлено первым.

Эрьзя (Нефедов) С. Д. (1876–1959) — выдающийся скульптор из Мордовии, долго жил за рубежом, много работал в мраморе, но в СССР были известны главным образом его работы в дереве.

Строка «*Лицо пейзажа-человека*» стала названием рецензии Анат. Якобсона на стихи Шаламова, написанной в 1960-е гг. и впервые опубликованной в: *ВРХД*. 1982. № 137. С. 179–188.

755. Публикуется впервые. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 4.

Шаламов в эти годы жил на Хорошевском шоссе у метро Беговая, недалеко от московского ипподрома.

756. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 98, загл. «Вишневый сад», с вар.: ст. 1 «Тихий ветер по саду гуляет».

757. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 60.

АКомм: «*Стихотворение написано в 1961 году в Москве. Это — попытка воскресить в памяти станцию Решетниково Калининской области, откуда я часто ездил в 1953–1956 годах — то в Москву, то в Калинин.*

Задача, которую я ставил сначала — это описать в стихах эффект Допплера[1]*, который именно на этой станции я наблюдал так часто. Эффект Допплера заключается в том, что гудящий паровоз приближается к станции с гудком высокого тона, а уходит от станции с гудком низкого тона. Это — изученное еще в прошлом веке поразительное явление, незаменимая вещь в изучении звездного мира в расчетах планет Универсума.*

С таким намерением я взялся за перо, но со второй строфы свернул на более традиционную фигуру, классическую фигуру нашей литературы — станционного смотрителя, получив нетрадиционный результат».

758. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 60.

Дежнев Семен Иванович (ок. 1605–1673) — русский землепроходец и мореплаватель, первым открывший пролив, отделяющий Азию от Америки (Берингов пролив). По легенде происходил из Великого Устюга и потому особо почитался в Вологодской губернии, где родился Шаламов. Вероятно, неоднократное обращение Шаламова к фигуре С. Дежнева (ср. ст-ние «Выкиньте все гипотезы...», № 1009) объяснялось особой гордостью поэта за своего земляка, а также тем фактом, что Дежнев в составе казачьего отряда М. Стадухина в 1641 г. открыл Колыму и основал здесь первое поселение. М. Стадухин упоминается в *Восп*: «О том, что на Колыме много золота, — известно триста лет, со времен походов Стадухина...» (*ВШ7*. Т. 4. С. 569).

АКомм: «*Написано в 1961 году в Москве*».

759. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 46, загл. «Ледники», без двух последних строф. Машинопись — Ед. хр. 115. Л. 24, без двух последних строф. Полный текст — в *МЗ-1967*.

---

[1] Австрийский физик К. Доплер в середине XIX в. теоретически обосновал зависимость частоты звуковых и световых колебаний, воспринимаемых наблюдателем, от скорости и направления движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга.

Предлагалось в сб. *МО*, но не напечатано. Датируется по *Списку1969*, где обозначено «Сон гляциолога». Печ. по *МЗ-1967*.

Возможно, изначально ст-ние представляло собой попытку создания произведения в жанре научной поэзии с игрой аллитерациями в духе М. В. Ломоносова (ср.: «гляциолог» — «глянцевитый»). *Гляциолог* — специалист в области гляциологии, науки об изучении льда во всех его разновидностях. Очевидно, что Шаламова увлекала эта наука, тесно связанная с ледниками, которые он знал по Северу. Ср. «Шестой континент» (№ 760), «Есть снег, называемый фирн...» (№ 763). *На плите порфировой свиты* — набор сугубо специальной лексики из гляциологии, а также из геологии (*плита* — пласт горных пород, *свита* — совокупность пластов горных пород, объединенных общими признаками, *порфировая* — неравномерно зернистая структура горных пород, а также льда). С учетом строф, зафиксированных в *МЗ-1967*, можно сделать вывод, что в тематическом плане ст-ние тесно связано с нижеследующим, с его аллегорией «льда» как состояния общества.

760. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 108. Л. 46; Ед. хр. 84. Л. 61, загл. «Антарктида». Машинопись — *Ласкина*. Датируется по *Списку1969* (загл. «Шестой континент»).

761. *Шсб-4*. Автограф — Ед. хр. 29. Л. 69.

Разочарование, звучащее в ст-нии, возможно, является реакцией на решения XXII съезда КПСС (октябрь 1961 г.), предпринявшего дальнейшие шаги по десталинизации (тело Сталина было вынесено из Мавзолея), однако по-прежнему оставившего вне общественного внимания судьбы уцелевших жертв репрессий (на тот момент и лагерная тема еще оставалась запретной для литературы).

762. *ДП-1962*. В *Списке1969* за 1962 г. — первое.

АКомм: *«Написано в 1962 году в Москве. Продолжает мой поэтический дневник. Образ считаю своей находкой, удачей».*

763. *ШЛ*.

Фирн — лед, образовавшийся из слежавшегося снега.

764. *ШЛ*.

765. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 23.

766. *ШЛ*.

Звезды пятилепестной / Ребяческая цель... — См. примеч. к № 451.

767. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 72.

АКомм: *«Написано в 1962 г. в Москве».*

768. *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 25.

АКомм: *«Запись этого стихотворения в 1962 году доставила мне истинное удовольствие. Я категорически отрицаю легкомысленное утверждение Маяковского в книжке „Как делать стихи", что короткая строка служит для выражения веселого содержания или тона, а длинная — для торжественного или печального.*

Еще Полежаев[1] *показывал прямо противоположные примеры. Работа над короткой строкой, на суженном словесном плацдарме, доставляет поэту большое удовольствие, если удается победить технические трудности или втиснуть в короткую строку какое-нибудь длинное, многосложное слово. Ритмические колебания строки тут превращаются в увлекательную задачу:*

„Горизонтальная вода“

„Тысячелетний след“

„Черносмородинным агатом“

и т. д.».

769. *ШЛ.*

АКомм: *«Стихотворение написано в 1962 году в Москве. Продолжает мой пейзажно-поэтический дневник».*

770. *СМол.* 1963. № 12. Машинопись — *Ласкина.*

АКомм: *«Стихотворение написано в 1962 году в Москве. В отличие от работы над „Школой в Барагоне“*[2] *между виденным и описанным прошло десять лет. Неоднократно переводилось и входило в разные антологии*[3]*».*

771. *ДП-1962.*

АКомм: *«Написано в 1962 году в Москве. Шуточное стихотворение, закрепившее одно из давних моих ночных колымских наблюдений».*

772. *ШЛ.*

АКомм: *«Стихотворение написано в 1962 году. Выражает мое мнение по этому важному вопросу».*

773. *ШЛ.* Отсутствует в *ВШ4* и *ВШ7.*

774. Знамя. 1965. № 3. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 24.

АКомм: *«Написано в 1962 году в Москве. Пример стихотворения, в котором короткая строка служит вовсе не для плясового мотива, как уверял Маяковский».*

775. *ТК.*

776. *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 84. Л. 29.

АКомм: *«Написано в 1962 году в Москве. Первой писалась строфа:*

Будто после треска, хруста
На поверженный пустырь,
Приводя природу в чувство,
Выливают нашатырь.

С ампулами разбитыми дождь еще никто не сравнивал, а между тем это — самый естественный образ для горожанина».

---

[1] См. фрагмент колымской поэмы Шаламова «Александр Полежаев» (№ 1100) и примеч. Ср. также размышления Шаламова о роли «больших» (гипердактилических) слов в примеч. к ст-нию «Ятрышник, кукушкины слезы...» (№ 585).

[2] См. № 40.

[3] Имеются в виду публикации в альманахе «Поэзия Севера» (Архангельск, 1966) и «Антологии поэзии Дальнего Востока» (Хабаровск, 1967). Данные о переводах не найдены.

777. Юность. 1965. № 10. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 27.

АКомм: «*Написано в 1962 году в Москве. Вслед за Бернардом Шоу я не считаю людей лучшей разновидностью живых существ*[1]».

778. *ШЛ*. Машинопись — *Ласкина*. Есть в *Списке1969* за 1962 г.

Возможно, связано с воспоминаниями о поездке в Сухуми в 1958 г., а также с рассказами О. С. Неклюдовой о поездке на юг, к морю, куда они с сыном С. Ю. Неклюдовым в пору его юности ездили каждый год. Сам Шаламов считал это ст-ние «надуманным, литературным» (*ВШ7*. Т. 6. С. 464).

779. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 114. Л. 31. Машинопись — Ед. хр. 89. Л. 28. Есть в *МЗ-1967*. В *Списке1969* за 1962 г. есть загл. «Палатка», относящееся, вероятно, к этому ст-нию с двукратным упоминанием образа палатки: «*Оно — палатка из тряпья, / Дырявая палатка*».

780. Россия. 1998. № 3. Есть в *Списке1969* за 1962 г.

Череп Шиллера — загадка... — Имеются в виду споры вокруг принадлежности Ф. Шиллеру черепа из его могилы в связи с неопределенностями процедуры его перезахоронения в 1826 г.

781. Юность. 1966. № 9, с вар.: ст. 3 «мудрость» вм. «гордость», ст. 4 «правда» вм. «сила». Автограф — *Копелев*. Ед. хр. 525. Л. 8, с авторской правкой. Печ. по автографу.

АКомм: «*Написано в 1962 году в Москве после грустного чувства при переборке моих тетрадей. Запись давних лет сама становится поэтическим мотивом. А сейчас я с почти тем же чувством листаю тетрадь 1962 года, где написано стихотворение „Над старыми тетрадями". Эта тетрадь тоже пожелтела*».

782. *Шсб-5*. Машинопись с авт. правкой — Оп. 2. Ед. хр. 108. Л. 33–34, с вар. до правки: ст. 5 «Это пошлое сравненье», ст. 11–12: «Это тракторов рычанье / Заглушавшее стрельбу», после ст. 20: «Это жизни догоревшей / Превращенных в мертвеца / Недоживших, недоевших, / Не доживших до конца». Смягчающие правки, возможно, связаны с надеждой опубликовать ст-ние на волне «оттепели». Входит в *Список1969* за 1962 г.

Командировка — колымское название небольшого временного лагерного участка. «*Серпантинная*» — участок, где находилась

---

[1] Трудно установить, какой из афоризмов Б. Шоу имел в виду Шаламов. Его собственный взгляд на природу человека намного пессимистичнее. Ср.: «В человеке гораздо больше животного, чем кажется нам» — *Восп*. С. 441. В записных книжках 1961 г. (возможно, связанных с созданием данного ст-ния) имеются записи подобного же рода. Например, ссылка на заметку газеты «Московская правда» с заголовком «Неандерталец у телефона»: «На 1 января в Москве было 8200 работающих автоматов. На 1 февраля сломано 1300 автоматов». Сопровождает эти факты явно саркастическая запись высказывания Е. Евтушенко: «Люди лучше, чем о них говорят и думают» (Ед. хр. 29. Л. 17–17 об.).

следственная тюрьма НКВД, место массовых расстрелов в 1937–1938 гг. За этот период на Колыме было расстреляно около 8 тысяч человек. Самого Шаламова от гибели на «Серпантинке » спас только случай (см. рассказ «Заговор юристов», написанный в том же 1962 г., — *ВШ7*. Т. 1. С. 188–203).

783. *ШЛ*, с вар.: отсутствует третья строфа. Автограф — Ед. хр. 30. Л. 2.

АКомм: «*Первая строка, ставшая названием стихотворения,— это известные слова Блока об Аполлоне Григорьеве: „У поэта нет карьеры. У поэта есть судьба"*[1] *— одна из мыслей, которую я разделяю всей душой. Стихотворение написано в 1962 году. Включает пропущенную ранее последнюю строфу:*

И даже Пушкин тех, лицейских, лет,
Он — только обещанье света,
Он — обещанье боли, бурь и бед.
Всего, что вписано в судьбу поэта».

784. Неделя. 1963. 6 окт.; *ДП-1963*; *ШЛ*. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 22, с вар.: ст. 5 «Сто жизней проживших до дна».

Полемическая реакция на шумный успех молодых поэтов 1960-х гг. Ср. ст-ние 1958 г. «Поэзия, ты записалась в актеры...» (№ 658).

АКомм: «*Стихотворение написано в 1962 году. Это мой личный вклад в обсуждение проблемы. Все стихотворение — находка и новинка. В литературных изданиях развивается взгляд о том, что поэзия — дело молодых. Я постарался этот взгляд опровергнуть. Действительно, существует ходячее выражение — „поэзия молодости". В искусстве, для того чтобы выразить эту поэзию молодости, надо обладать большим личным и жизненным творческим опытом, обладать поэтической зрелостью*».

785. *ШЛ.*

Телешова тесная квартира... — На квартире писателя Н. Д. Телешова (1867–1957), организатора известных «литературных сред» начала XX в., после его смерти проходили литературные вечера с прослушиванием редких грамзаписей из коллекции автора. На одном из вечеров, очевидно, побывал Шаламов.

786. *ШЛ.*

Характерно внимание Шаламова к технической стороне телевидения. Сам он смотрел телевизор крайне редко, за исключением спортивных трансляций. Ср. воспоминания С. Я. Гродзенского: «Узнав, что по телевизору ожидается трансляция футбольного матча, Варлам Тихонович оживлялся и радостно потирал руки: „Сейчас футбольчик посмотрим". Это не вызывало энтузиазма у

---

[1] Таких строк у А. Блока нет — вероятно, Шаламов вольно пересказывает слова из его статьи «Судьба Аполлона Григорьева» (1916): «Чем сильнее лирический поэт, тем полнее судьба его отражается в стихах».

домашних, ведь предстояли полтора часа громогласных выкриков и прыжков, небезопасных для мебели...» (Гродзенский С. Об отце, шахматах и авторе «Колымских рассказов» // https://shalamov.ru/memory/181/). Ср. № 737 и примеч.

787. *ДиС.* Автограф — Ед. хр. 32. Л. 26. Машинопись — Ед. хр. 115. Л. 28.

788. *ШЛ.*

789. Москва. 1964. № 5; *ДиС.*

АКомм: «*Написано в 1963 году в Москве. Стихотворение это — одна из удач моего пейзажно-поэтического дневника. В обзорах „Литературной газеты“ его хвалил С. С. Наровчатов, а в письмах — Ф. А. Вигдорова и В. Л. Андреев. В. Л. Андреев хвалил изображение света как зла — новинку в русской лирике*»[1].

790. Москва. 1964. № 5; *ДиС.* Автограф — Ед. хр. 32. Л. 17.

АКомм: «*Написанное в 1963 году, стихотворение это — ответ на многочисленные рецензии, зачислявшие меня в „певцы природы“*[2], *в пейзажные лирики, в продолжатели линии Баратынского, Тютчева, Фета, Пастернака, Анненского.*

Немалая честь — быть продолжателем поэтической линии этих русских лириков. Однако круг моих поэтических идей, понимание пейзажа, погоды и природы в искусстве отличается от поэтических формул названных русских поэтов. Принципиальное отличие я и пытался передать в этом коротком стихотворении.

Привлечение, вовлечение мира в борьбу людей, в злободневность считаю своей заслугой в русской поэзии. Тут речь идет не об антропоморфизме моей поэзии (какой поэт не антропоморфист?), как сказано Г. Г. Краснухиным в рецензии на мою книжку (журнал „Сибирские огни“, № 1, 1969)[3]. *Тут речь идет о более сложном и важном. То наблюдение, что „Пока пейзаж не говорит по-человечески, / Его пейзажем я не назову“*[4], *— тоже не исчерпывает сути этой поэтической идеи.*

---

[1] В. Л. Андреев (сын писателя Леонида Андреева) и его жена, О. В. Андреева-Карлайл, встречались с Шаламовым в Москве в 1966 г. В 1967 г. он послал им в Швейцарию сборник *ДиС.* В. Л. Андреев писал: «Я еще не сжился, а только сживаюсь с Вашей книгой — каждый день открываю новое и мне близкое: вот сегодня открыл „Тополь“ и неожиданные в своей жестокости слова — „в окне вдруг стало чересчур *светло* — я догадался: совершилось зло“. Зло от света — повторяю — неожиданно, жестоко — и верно» (*ВШ7.* Т. 6. С. 519).

[2] Возможно, Шаламов более всего задела рецензия Ф. Фоломина «Голоса природы» (*ЛГ.* 1957. 23 авг.), где на основании первой публикации «Стихов о Севере» в «Знамени» (1957. № 5) поэту приписывались «пантеизм», «поза созерцателя природы» и то, что он «только суфлирует своему зеленому божеству».

[3] Правильная фамилия критика — Красухин. В своей рецензии «Человек и природа» Г. Красухин делал акцент на «антропоморфизме» поэзии Шаламова.

[4] Из ст-ния Шаламова «Пусть чернолесье встанет за деревнями...» (№ 753).

В „Этике“ Спиноза делит природу на „природу природствующую“ и „природу оприродованную“[1]*, оговоренную (сотворенную? — В. Е.) для человека. Природа же природствующая, по мысли Спинозы, — это камень, ветер, облака, живущие сами по себе, вне человека.*

Вопрос этот — о двух природах — всегда интересовал поэтов. Михаил Кузмин в сборнике „Форель разбивает лед“ написал даже особое стихотворение на эту тему, так и названное „Природа природствующая и природа оприродованная“. Однако Кузмин, истый горожанин, ничего не мог предложить в качестве природы оприродованной, <кроме> как городские вывески на улицах:

„Зачем искать зверей опасных, Ревущих из багровой мглы, Когда на вывесках прекрасных Они так кротки и милы“[2].

Пейзажи Пастернака — это пейзажи по памяти. Кроме того, в них нет возможности орешнику высказаться, как кусту орешника, как явлению природы. При всем моем уважении и любви к Пастернаку-пейзажисту я не могу в его кустах слышать голос самого орешника, Пастернак — горожанин.

Роберт Фрост, пишущий всю жизнь пейзажи американские, тоже остановился на простом описании, не проникая в душу дуба или секвойи.

Я, пробывший столько лет наедине с природой, с камнем, с облаками, с травой, я пытался выразить их чувства, их мысли на человеческом языке, пытался перевести на русский язык язык травы и камня. При ближайшей, лобовой встрече с природой оказалось, что она вовсе не равнодушна. Что пресловутой пушкинской, равнодушной

---

[1] Шаламов использует иронический «буквальный» перевод важнейших категорий «Этики» Спинозы (natura naturans и natura naturata) М. Кузминым в загл. ст-ния из сб. «Форель разбивает лед» (это загл. первого ст-ния цикла «Панорама с выносками»; у Кузмина «природа оприроденная», а не «оприродованная», как у Шаламова). Общепринятый перевод этих терминов — «природа порождающая» и «природа порожденная». Термины эти были популярны в символистской среде: ср. загл. книги А. М. Добролюбова (Natura naturans. Natura naturata. СПб., 1895), а также работы Вяч. Иванова. Открытым остается вопрос, был ли знаком Шаламов непосредственно с самим трактатом (неоднократно издававшимся в СССР) или почерпнул знание указанных категорий исключительно из книги М. Кузмина. Любопытно, что одним из важнейших положений Спинозы, изложенным в «Этике», является утверждение о том, что все вещи, хоть и в различной степени, однако же, все одушевлены (в том числе и те, что формально не принадлежат к «живому»). Это положение чрезвычайно близко шаламовскому миропониманию.

[2] Цитируются последние строки указанного ст-ния М. Кузмина. По всей вероятности, Шаламов пользовался книгой «Форель разбивает лед» в ее единственном на тот момент издании 1929 г., найдя его в читальном зале Ленинской библиотеки.

природы — в мире нет. А природа всегда или за человека, или против человека. Природа всегда активная сила. И не только в космических далях, но и за окном, за порогом дома, во время грозы, бури. Природа необыкновенно связана с душой человека, с его духовным миром, с его нервной системой. Совершенно не изучена роль метеорологических факторов в борьбе человеческих воль. Тут речь идет не о ботанике. Наоборот, знание ботаники угробит поэзию. В каких пределах поэт должен знать ботанику — неясно. Но в очень небольших, иначе не будет угадывания, поэтических сюрпризов и находок.

Этот голос камня и реки переведен на человеческий язык. В этом — единственная возможность ввести этот огромный мир в стихи.

Научная революция последних десятилетий показала, как безграничны человеческие возможности и как легко открывать в наше время. Искусство и наука живут по разным законам, и сближение этих законов — напрасная трата времени. „Конвергенция" — это утопия. В моих стихах речь идет не о том, как прославить науку или не разойтись с ее модными оценками, или популяризировать космонавтику. В моих стихах речь идет о новой стороне мира, которую осваивает поэзия, о пути, предсказанном в прошлом только Тютчевым в его озарениях. И ветер, и камень, и река еще не говорили своим языком в русской поэзии. Русские пейзажные лирики привлекали природу для своих художественных аргументов. Но это была не природа природы, а природа человека».

791. *ШЛ.* Автограф — Ед. хр. 84. Л. 28.

Вариация темы ст-ния «Пусть чернолесье встанет за деревнями...» (№ 753): «Пока пейзаж не говорит по-человечески, / Его пейзажем я не назову...». См. также *АКомм* к № 790.

792. *ДиС.* Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 19.

793. Знамя. 1972. № 11. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 1.

Дневники твои — как пеленг <...> Это — вымысла границы... — Шаламов с огромным уважением относился к личности знаменитого норвежского полярного исследователя Р. Амундсена и особенно ценил его дневники, рассматривая их как приближение к «новой прозе», где выражено «прямое участие автора в событиях жизни» (*ВШ7.* Т. 5. С. 157).

794. Юность. 1968. № 5. В *МЗ-1967*, с вар.: ст. 21 «Не комбайны, не храмы десятого века».

Две малявинских бабы — здесь: женщины в ярких сарафанах, как на картинах Ф. Малявина. *Солотча* — поселок под Рязанью, где в начале 1960-х гг. работал А. Солженицын и где у него в гостях в сентябре 1963 г. побывал Шаламов. *Где взмахнула Ока рукавом.* — Поселок Солотча расположен на берегу старицы Оки. *Не отмытые храмы десятого века, / Добатыевских дел старина.* — Возможно, Шаламов имеет в виду развалины домонгольского Борисоглебского храма XII в., сохранившиеся на месте старого рязанского городища.

АКомм: *«Написано в Солотче осенью 1963 года».*

795. *МО*. Автограф — Ед. хр. 32. Л. 17 об. (тетрадь «1963-II», начата 28 сентября, после Солотчи).

В садах Платона — идеализированный образ философских разговоров с Солженицыным. Подробнее: *ЖЗЛ*. С. 259–261.

АКомм: *«Написано в Солотче, Рязанской области, в 1963 году».*

796. *ВШ7*. Т. 7. Есть в *МЗ-1967*. В *Списке1969* за 1963 г. обозначено «Подлесок».

Судя по всему, написано в Солотче, где в Мещёрском заповеднике велся особый уход за лесом.

797. Публикуется впервые. *МЗ-1967*. Есть в *Списке1969* за 1963 г.

798. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 32. Л. 53.

Мы на самом конце района — имеется в виду район метро Беговая. *Среди старых друзей* — очевидно, речь идет прежде всего о старых друзьях Шаламова — вологжанах Л. В. и Н. В. Сигорских. *Невысокий дом* — дом, в котором жил Шаламов, был двухэтажным, построенным пленными немцами. Все подобные дома на Хорошевском шоссе были снесены в начале 1970-х гг., после чего Шаламов получил комнату в трехкомнатной квартире на ул. Васильевской в центре Москвы.

799. *МЛП*. Автограф — Ед. хр. 89. Л. 15.

800. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 32. Л. 54 об.–55 с правкой (зачеркнуто: «мерзкое», вписано: «самое нутро»). Есть в *Списке1969* за 1963 г. под двойным загл.: «Московский праведник — Был поэт-подвижник».

Судя по всем деталям, ст-ние связано с бывшим заключенным, поэтом и актером В. В. Португаловым (1913–1969), с которым Шаламов дружил еще с Колымы и поддерживал дружбу в Москве, передавая ему свои неопубликованные стихи. Португалову было посвящено в 1949 г. ст-ние «Другу» (№ 1157), вошедшее в *КТИзбр*. Как можно догадываться, поводом к резкой смене отношения Шаламова к Португалову послужили прежде всего антисемитские высказывания последнего, ставшие для Шаламова полной неожиданностью, поскольку на Колыме они у Португалова, горячего поклонника Э. Багрицкого и бывшего актера театра Вс. Мейерхольда, видимо, не наблюдались. По воспоминаниям некоторых современников, близко знавших Португалова в 1960-е гг., он, сблизившись с кругом московских «неопочвенников» (в частности, с В. Кожиновым, вместе с которым участвовал в соредактировании *ДП-1969*), нередко позволял себе антисемитские высказывания, и в этом смысле Шаламова трудно обвинить в какой-либо натяжке. Сам Шаламов, как известно, был воспитан в духе отвращения к антисемитизму: «Подлинную ярость у него вызывал антисемитизм (тоже, кстати, наследие отцовского воспитания), он выражался в том смысле, что это не „мнение, имеющее право на существование“,

а уголовное преступление, что антисемиту просто нельзя подавать руки и следует бить морду» (свидетельство С. Ю. Неклюдова. См.: Судьба и творчество В. Т. Шаламова в контексте советской истории и мировой литературы: Материалы Международной конференции. М., 2011. С. 21). В архиве Шаламова имеется еще одна резкая запись, развивающая тему ст-ния: «Лагерь из Добровольского сделал труса, но не сделал подлеца — с Португаловым было иначе» (Ед. хр. 37. Л. 12). Свое мнение о старом колымском друге А. З. Добровольском (1911–1971) как «трусе» Шаламов, вероятно, основывал на том, что Добровольский после лагеря ничего не написал о Колыме (при этом несправедливость Шаламова очевидна, поскольку он знал, что Добровольский был тяжело болен, о чем писал еще в 1959 г. — *ВШ7*. Т. 6. С. 163). Возможно, и в отношении к Португалову у Шаламова могли отчасти сказаться столь характерные для него категоричность и этический максимализм, однако антисемитизма и измены прежним идеалам он не прощал. *Для чего же были / Ночи Колымы* — очевидно, имеются в виду ночные поэтические встречи в лагерной больнице, в которых участвовал Португалов (см. рассказ «Афинские ночи»: *ВШ7*. Т. 2. С. 409–419). Следует заметить, что одно из последних ст-ний больного Шаламова в Доме инвалидов, записанных с его голоса А. А. Морозовым, посвящено В. Португалову и не имеет негативных оттенков (что может быть обусловлено утратой памяти о разрыве): «Португалов был слой общерусской культуры. / Без халтуры и макулатуры / Знал закон подмосковной натуры, / Был актер-профессионал / В двух шагах от литературы он стоял...» (*ВРХД*. 1981. № 133(1). См. вступ. заметку к разделу «Последние стихи»).

801. *Шсб-5*. Машинопись — Ед. хр. 89. Л. 18 (папка с разрозненными листами разных лет). Входит в *Список1969* за 1963 г.

802. *Шсб-5*. Автограф — Ед. хр. 32. Л. 80 об.–81. Входит в *Список1969* за 1963 г.

Религия живых людей. — Шаламов с юности исповедовал «религию живых Будд», т. е. веру не в богов, а в реальных совершенных людей жертвенно-героического поведения. См. примеч. к ст-нию «Орудье высшего начала...», № 726.

803. *МЗ-1967*. В *Списке1969* за 1963 г.

804. Знамя. 1968. № 5. Есть в *МЗ-1967*.

АКомм: «*Написано в Москве в 1963 году*».

805. Юность. 1967. № 5; *ДиС*. Автограф — Ед. хр. 32. Л. 4, с вар.: ст. 1 «Не удержал на кончике пера».

АКомм: «*Бессилие человеческой памяти, ничтожество человеческой натуры, „благие порывы“ в некрасовской терминологии*[1].

---

[1] Имеются в виду строки ст-ния Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862): «Вы еще не в могиле, вы живы, / Но для дела вы мертвы давно, / Суждены вам благие порывы, / Но свершить ничего не дано».

Не потому, что это „Рассея“, а потому, что это извечное человеческое свойство. Искусство жить — это искусство забывать. Память всегда готова предать человека. Я много помню, но это — миллиардная доля того, что я видел. Написано в Москве в 1963 году. Одно из опорных стихотворений сборника „Дорога и судьба“».

806. *ДиС.*

807. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 108. Л. 53. Входит в *Список1969* за 1964 г. Предлагалось в сб. *ДиС*, но не опубликовано: упоминается во внутренней рецензии В. Дементьева (*РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2121. Л. 1). См. также примеч. к № 808.

808. Публикуется впервые по тексту, приведенному во внутренней рецензии В. Дементьева от 21 января 1965 г. на сб. *ДиС*, куда предлагалось автором (Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2121. Л. 2–3). В *Списке1969* за 1964 г. с загл. «Я слепну снежной слепотой».

809. Юность. 1969. № 3.

АКомм: «*Написано в Москве в 1964 году. Стихотворение — одна из многочисленных записей о Дальнем Севере, сделанная много позже, при обдумывании. Поэтическое мышление, обдумывание есть прежде всего попытка воскресить чувство, тон тогдашнего времени*».

810. *ВШ7*. Т. 7 по *МЗ-1967*. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 51, с зачеркнутой третьей строфой. Орфография восстановлена по машинописи.

Посвящено знакомой Шаламова, лингвисту, автору «Словаря синонимов» В. Н. Клюевой (1894–1964). Будучи тяжелой раковой больной, она поддерживала себя чтением А. Блока. Об этом Шаламов написал также в заметках «О книжности и прочем» (*ВШ7*. Т. 5. С. 89). *Маска гиппократова* — характерное изменение лица у больных в крайне тяжелом, предсмертном состоянии.

811. Знамя. 1965. № 3, загл. «Гравер».

Анероид — прибор для измерения атмосферного давления.

АКомм: «*Написано в Москве в 1964 году. Это тоже одна из формул моего поэтического искусства — доверие к самому себе, напряженность восприятия, предсказание погоды*».

812. *ДиС*. Машинописи — *Копелев*; Ед. хр. 113. Л. 43.

Посвящено любимой кошке Мухе. После ее гибели летом 1965 г. Шаламов записал в дневнике: «Я стал одиноким» (Ед. хр. 34. Л. 10 об.). *Шиллеровская щель* — по-видимому, аллюзия на бедность, в которой прожил основную часть жизни Ф. Шиллер. Узкая комната самого Шаламова на Хорошевском шоссе еще больше напоминала «щель» (или «пенал»). Ср. ст-ние «Квартира наша русская…» (№ 734). Возможна также аллюзия на «Разбойников» Шиллера: Карл Моор в какой-то момент мечтает «забиться в темную щель, в мрак безвестности». «Разбойников» Шаламов запомнил еще с детского посещения театра.

АКомм: «*Написано в 1964 году в Москве. Домашние животные входят в мир человека — таково мое давнее, давнее убеждение, выросшее в самом раннем детстве*».

813. *ДиС*, с посвящ. Б. Пастернаку; *ТК*. Посвящение в *ДиС* возникло, скорее всего, по технической ошибке. Выше в том же сб. были напечатаны ст-ния «Рояль», «Будто выбитая градом...», «О тебе мы судим разно...», действительно посвященные Пастернаку, но без каких-либо ремарок на этот счет.

АКомм: «*Написано в 1964 году в Москве*».

814. Знамя. 1965. № 3.

АКомм: «*Написано в 1964 году в Москве. Продолжает мой пейзажно-поэтический дневник*».

***815.** *ДП-1968*; *Шсб-4*. С. 173–181, с вар. (по машинописи из архива А. К. Гладкова; публ. П. Нерлера). Автограф — Ед. хр. 84. Л. 65, с вар., с посвящением Н. Я. Мандельштам. Машинописи — *РГАЛИ*. Ф. 2590 (А. К. Гладкова). Оп. 1. Ед. хр. 479. Л. 1, с вар., с датой рукой А. К. Гладкова «нач. 60-х», с посвящением Н. Я. Мандельштам; *Ласкина*, идентично; Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 32, с датой «1964». Входит в *Список1969* за 1964 г. Предлагалось в *МО*, отклонено. Печ. по машинописи (Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 32), идентичной *ДП-1968*. Вероятно, написано весной (ср. черновую строку «треск яболоневой почки») 1964 г. после поездки в Тарусу.

С А. К. Гладковым Шаламов сблизился в 1965–1966 гг., тогда же, очевидно, была подарена машинопись «Тарусы»; при этом Гладков считал, что стихи Шаламова «очень слабее его прозы» (см.: Михеев М. Одержимый правдой: Варлам Шаламов — через одиннадцать дневниковых записей Александра Гладкова // *ПражскСб*. С. 267–301).

Основным поводом поездки в Тарусу у Шаламова было желание посетить места, связанные с М. Цветаевой (см. № 816, 817–819 и примеч.). Приводя ст-ние по вар. архива А. К. Гладкова в своей публикации «От зимы к весне: Рассказы В. Т. Шаламова „Шерри-бренди" и „Сентенция" как цикл: (На полях переписки Н. Я. Мандельштам и В. Т. Шаламова)» (*Шсб-4*. С. 173–181), П. Нерлер полагает, что знакомство Шаламова с Н. Я. Мандельштам, снимавшей дачу в Тарусе, состоялось в начале 1960-х гг. и при этом выражает сомнение, что Надежда Яковлевна смогла бы высоко оценить этот «бесхитростный текст». На самом деле никаких сведений о встрече Шаламова с Н. Я. Мандельштам в Тарусе в 1964 г. и ранее не имеется (следует учитывать, что в 1962–1964 гг. она жила и работала во Пскове). Все данные говорят о том, что Шаламов познакомился с нею в мае 1965 г. (накануне вечера памяти О. Э. Мандельштама в МГУ, где Шаламов читал рассказ «Шерри-бренди»), а начало интенсивной переписки с нею относится к лету 1965 г. (см.: *ВШ7*. Т. 6. С. 408–426). Нет сведений и о том, как отнеслась Надежда Яковлевна к посвященному ей ст-нию. В публикации «Тарусы» в *ДП-1968* посвящения нет, как нет его и в позднейшей архивной авторизованной машинописи (Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 32). В письме к С. Лесневскому (декабрь 1968 г.) Шаламов подчеркивал, что

«стишок» — «безглагольный, в подражание Фету» (*ВШ7*. Т. 6. С. 569). В то же время, в отличие от *ДП-1968* и последней машинописи, в «гладковской» ред. глагол имеется («сеют» — см. раздел «Другие редакции и варианты»), что дополнительно указывает на предпочтительность ред. *ДП-1968*. Снятие посвящения в *ДП-1968*, как представляется, было связано не столько с цензурными причинами, сколько с охлаждением отношений между Н. Я. Мандельштам и Шаламовым, что прослеживается в их переписке (см. последние, краткие письма 1968 г.: *ВШ7*. Т. 6. С. 434; см. также свидетельство И. Сиротинской: «...Ему было тесно в команде, даже в команде умной, просвещенной, левой. Он не любил команд» — *ИСвосп*. С. 36). Ср. признание Шаламова в *ЗапКн* 1972 г.: «Знакомство с Н. Я. и Пинским было только рабством, шантажом почти классического образца» (*ВШ7*. Т. 5. С. 335), а также № 874 и примеч. Отметим, что в вышедшем в 1967 г. сборнике *ДиС* посвящение ст-ния «Стихи в честь сосны» Н. Я. Мандельштам (см. № 427 и примеч.) не было снято, то есть не вызвало претензий у цензуры.

Карьер известняка — возможно, намек на тарусскую каменоломню, из которой М. Цветаева завещала взять камень на свою могилу (см. № 816 и примеч.). *В поэзии Ока / Значительней, чем Волга.* — Полемичность строки, вероятно, связана с предпочтением интимной лирики (прежде всего лирики М. Цветаевой) — лирике гражданской. Последняя для Шаламова в данном контексте ассоциировалась, скорее всего, с Н. А. Некрасовым и его знаменитым «Выдь на Волгу: чей стон раздается / Над великою русской рекой?..» («Размышления у парадного подъезда», 1858). О гражданской лирике Некрасова и попытке ее «генерализации» в современной поэзии Шаламов не раз отзывался отрицательно. См.: «Твардовский. „Новый мир“. Так называемая „некрасовская традиция“» (*ВШ7*. Т. 5. С. 83–84).

АКомм: *«Написано в Москве в 1964 году. Имеет миллион вариантов».*

816. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 66. Входит в *Список1969* за 1965 г., но, возможно, это ошибка, так как в листах Ед. хр. 84 автограф ст-ния непосредственно следует за автографом «Тарусы», датированным 1964 г.

Ст-ние глубоко аллегорично и свидетельствует о «цветаевском» поводе как главном при поездке в Тарусу. Вероятно, идея поездки родилась у Шаламова и О. С. Неклюдовой еще в 1961 г. после выхода знаменитого сборника «Тарусские страницы», где была напечатана большая подборка не известных в СССР стихов М. Цветаевой и ее рассказ «Кирилловны», содержавший пожелание поэтессы быть похороненной в Тарусе. Следует заметить, что О. С. Неклюдова имела случай встретиться и беседовать с М. Цветаевой в Чистополе в августе 1941 г., незадолго до ее переезда в Елабугу и последующей трагедии. Однако осенью 1964 г. в Тарусу

Шаламова О. С. Неклюдова не сопровождала, так как их отношения к тому времени, по свидетельству С. Ю. Неклюдова (в письме составителю), сильно охладились. Предположительно, «гидом» Шаламова по тарусским местам мог быть близкий ему в то время критик Л. Левицкий, являвшийся литературным секретарем постоянно жившего в Тарусе К. Паустовского. *Плоскодонка. Весла перевоза...* — В подтексте, возможно, аллюзия на раннее ст-ние М. Цветаевой «Паром» (1909, напечатано в «Тарусских страницах»). *Две сосны... Два поблекших, высохших ствола...* — возможно, перекличка со ст-нием М. Цветаевой «Два дерева хотят друг к другу...» (1919, напечатано в «Тарусских страницах»). *Камень придорожный* — возможно, намек на первый камень-кенотаф с надписью «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева», установленный в Тарусе, на берегу Оки, в 1962 г. (согласно ее поэтическому завещанию в рассказе «Кирилловны»), но вскоре убранный. Восстановлен в 1988 г.

817–819. Цикл в полном составе публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 17–19, в составе подборки ст-ний к сборнику «Глубокая печать» (см. примеч. на с. 479). Ранее Шаламов не делал попытки объединить ст-ния разных лет, посвященные М. Цветаевой, в цикл. Поскольку подборка ст-ний сборника «Глубокая печать» не выстроена хронологически и представляет собой разрозненные и не датированные листы (циклу предшествует ст-ние «Теряя вес, как бы в паденье...» (1964; № 826), а после цикла следует ст-ние «Поэзия — дело седых...» (1963; № 784), можно предположить, что цикл датируется 1964-м годом, после поездки в Тарусу, по «цветаевским местам» (см. примеч. к № 816).

1. Знамя. 2014. № 11. Автографы — Ед. хр. 2. Л. 3 (*СТ*); Ед. хр. 84. Л. 17, с датой «1942». Вкл. в *КД* (Ед. хр. 78. Л. 1), идентично *СТ*. В Ед. хр. 2 имеется черновой вариант еще одной (предпоследней) строфы, зачеркнутый автором: «Кто силу поэта в себе ощутил — / Почувствовал холод могилы. / Пора на стихи, как на подвиг, идти, / На славную верную гибель».

Очевидно, что толчком к написанию ст-ния послужило известие о гибели М. Цветаевой (31 августа 1941 г.), в какой-то изустной версии дошедшее до Колымы. В 1942 г. Шаламов находился на общих лагерных работах на угольной шахте «Аркагала» и не имел возможности писать стихи. Вероятно, ст-ние было сочинено в уме, запомнено и лишь в 1950 г., на ключе Дусканья, записано в *СТ*, отправленные Б. Пастернаку. В рукописи *СТ* посвящение М. Цветаевой отсутствует, оно имеется в рукописи несостоявшегося сб. «Ключ Дусканья, или Подлежащие и сказуемые» (Ед. хр. 78. Л. 13). Отмечено в *Разборе БП*. *Российского мартиролога.* — Мартиролог — список мучеников. О «мартирологе» российских литераторов впервые написал А. И. Герцен: «История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т.

Т. 7. М., 1956. С. 208). Это место из «Истории революционных идей в России» с последующим перечислением преждевременно погибших поэтов и писателей от Рылеева до Полежаева многократно цитировалось и пересказывалось. Ст-ние перекликается с известным ст-нием М. Волошина «На дне преисподней» со строкой «Темен жребий русского поэта...» (1922), которое было знакомо Шаламову еще по 1920-м гг. См. также примеч. к № 164.

2. См. примеч. к № 401.

3. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 84. Л. 18 и 19 (на Л. 19 переписано набело, без изменений), в составе цикла «М. Цветаевой» под № 3. В *Списке1969* за 1964 г. фигурирует название «Елабуга», которое, возможно, подразумевает данное ст-ние.

Все та же рыцарская служба... — Ср. ст-ние Цветаевой «Роландов рог» (1921), впервые услышанное Шаламовым в Бутырской тюрьме в 1937 г. от сокамерника Г. Хохлова (см. очерк «Герман Хохлов» — *ВШ7*. Т. 4. С. 558–562), см. также ст-ния «Ронсеваль» (№ 53), «Рыцарская баллада» (№ 55) и примеч.

820. Публикуется впервые. *МЗ-1967*. Предлагалось в *МО*, отклонено.

821. Знамя. 1965. № 3.

АКомм: *«Написано в 1964 году в Москве. Начато ради каламбура „лист — листовка“, но закончено без всякого желания острить»*.

822. Публикуется впервые. *МЗ-1967*.

Вероятно, связано с О. С. Неклюдовой.

823. Публикуется впервые. *МЗ-1967*.

О разбитой посуде — разбитая посуда, по известной примете, знак семейного несчастья, в связи с чем ст-ние может быть отнесено к переживанию охлаждения отношений с О. С. Неклюдовой.

824. *ДП-1968*. Машинопись — Ед. хр. 115. Л. 76.

Очевидно, что в самоопределении *«я — северянин»* у Шаламова кроме причастности к Колыме, к Дальнему Северу заявлена родовая причастность к русскому Северу, к Вологде. Недаром он вспоминает о «доме» и «крыше»: *«мир, где всюду есть дома»* и *«крыша над моею головой»*.

АКомм: *«Написано в Москве в 1964 году. Важная страница моего дневника*[1]*»*.

---

[1] Это замечание заставляет предположить, что горькие чувства автора обусловлены не столько семейной драмой, сколько более важными для него переживаниями в связи с отказом издательства «Советский писатель» печатать *КР* (см. вступ. статью). Кроме того, крайне обескуражил Шаламова отказ вологодского издательства от печатания книжки его стихов, сопровожденный оскорбительной репликой: «У нас тут своих много, а вы с каким-то Шаламовым» (ср. письмо к А. И. Солженицыну от 15 ноября 1964 г. — *ВШ7*. Т. 6. С. 298). В 1964 г. завязывается переписка Шаламова с Вологодской писательской организацией, он получил даже новогоднее поздравление

825. Юность. 1968. № 5.

Речь идет, скорее всего, о завершении предварительной (вчерне) редакции книги стихов *КТ*. Сборник *ШЛ* был сдан в издательство еще в 1962 г.

АКомм: *«Написано в Москве в 1964 году»*.

826. Россия. 1998. № 3. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 13. В *Списке1969* за 1964 г.

827. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 115. Л. 27. В *Списке1969* за 1964 г.

Ст-ние свидетельствует о раздражении Шаламова ошибками при перепечатке рукописей стихов (стоит заметить, что система знаков препинания у Шаламова была нетрадиционной и не всегда разборчивой).

828. Юность. 1968. № 5, с вар.: ст. 3–4 «Не слишком томила тревогой / Рассветы и сны бытия»; ст. 5–8 отсутствуют; ст. 10 «Простой и короткий рассказ»; ст. 13–16 отсутствуют. Автограф — Ед. хр. 34. Л. 18. Предлагалось в *МО*, отклонено.

По свидетельству Ю. Шрейдера, Шаламов вписал ему в номер «Юности» с данной публикацией изъятую вторую строфу: «И я поступил не случайно...» (Возвращение: Сб. Вып. 1. М., 1991. С. 273).

АКомм: *«Написано в Москве в 1965 году. Печатается по полному тексту»*.

829. Юность. 1965. № 10. Автограф — Ед. хр. 34. Л. 37 (тетрадь «1965-III»), загл. «Камень веры».

Скорее всего, связано с посещением квартиры литературоведа Л. Е. Пинского (см. преамбулу к примеч. в т. 1), с которым Шаламов познакомился в 1965 г. Кроме коллекционирования и распространения самиздата Л. Е. Пинский был собирателем авангардной живописи (картины О. Рабина, А. Зверева и др.). *Не линия и не рисунок, / А только цвет.* — Вероятно, отражено восприятие картин О. Рабина. *Слепок каменной химеры...* — Эта небольшая скульптурная композиция сохранилась у родственников Пинского.

830. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 34. Л. 16 (тетрадь «1965-III»).

Возможно, связано с беседами с Л. Е. Пинским, где обсуждался отказ изд-ва «Советский писатель» в публикации *КР*. Ср.: *«И сто подсказчиков твердят: / Не называйте адом ад...»* Ср. также резолюцию В. В. Петелина об «антигуманистичности» позиции писателя в преамбуле к примеч. в т. 1 наст. изд.

от секретаря Вологодского обкома КПСС, но вместо ожидавшейся поддержки от земляков в деле издания книги стихов получил только возможность публикации нескольких ст-ний в альманахе «Поэзия Севера» (Архангельск, 1966).

831. Публикуется впервые. *МЗ-1967.* Датируется приблизительно, по тематической близости к предыдущему ст-нию. Предлагалось в *МО*, но отклонено.

Острая полемичность с нескрываемым оскорбленным чувством: «*Я сам могу решить вопрос / Хвалы, хулы и слез...*» — также указывает на глубокие переживания Шаламова в связи с отказом в публикации *КР*.

832. Публикуется впервые. *МЗ-1967.* Датируется приблизительно, по тематической близости к предыдущему ст-нию.

***833.** *ВШ7. МЗ-1967.* Автограф — Ед. хр. 34. Л. 21, с вар.

834. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 93. Л. 4 (тетрадь 1965–1966 гг.), с вар.: ст. 3 «Что готов забыть усталость». В *ВШ4* и *ВШ7* датировалось неправильно, по присутствию этого ст-ния в тетради 1973 г. (Ед. хр. 52. Л. 45), куда оно, очевидно, было переписано по памяти.

835. Юность. 1965. № 10. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 52 об. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 13.

Ср. № 836 и примеч.

АКомм: «*Написано в 1965 году. Время от времени возвращаешься в северный мир, вспоминаешь что-то важное, какую-то существенную сторону тогдашней жизни. По своему содержанию, внутреннему тону стихотворение относится к „постколымским“, но написано значительно позднее. И тут дело не в том, что не подведены итоги, а в том, что остался запас неизрасходованного, и вот этот запас тратится не в той, может быть, форме и тоне, как тратился бы раньше.*

Непосредственный толчок к написанию стихотворения „Кета“ — покупка в букинистическом магазине книжки о ловле и воспроизведении кеты и лососевых — с их вечной тайной, поражающей до наших дней и науку, и искусство».

836. *СМол.* 1965. № 10, без строфы 9; *ДиС*, так же, с опечаткой в ст. 27 «блеснувших» вм. «блеснувши». Автограф — *Копелев.* Ед. хр. 525. Л. 7–8 (беловой, с нумерацией строф). Удаленная редакцией *СМол* девятая строфа здесь присутствует. Шаламов вписал ее также в экз. *ДиС*, подаренный Ю. А. Шрейдеру (См.: В. Шаламов о литературе / Публ. Ю. Шрейдера // Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 229–230). Машинопись (черновая) — Ед. хр. 114. Л. 62, с вар.: вм. ст. 37–40 [Но люди их не судят: / Над чудом нет судей, / Над тайной рыбьих судеб, / Неясных для людей. // Их смерть и их рожденье, / Их брачная пора — / Как олицетворенье / Трагедии добра]. Последняя строфа («Кипит в ручье рожденье...») дописана от руки.

Посвящение Н. И. Столяровой связано с главной метафорой ст-ния: нерест как трагический образ неминуемой гибели при возвращении русских эмигрантов на родину в 1930-е гг. Н. И. Столярова (1912–1984), вернувшись в 1934 г., в 1937 г. попала в лагерь, впоследствии работала секретарем И. Г. Эренбурга, была близка

к Н. Я. Мандельштам, помогала А. И. Солженицыну в связях с заграницей и в работе над «Архипелагом ГУЛАГ». Ее личность привлекла внимание Шаламова прежде всего тем, что она была дочерью Н. С. Климовой — эсерки-максималистки, написавшей известное «Письмо перед казнью» (1908). Ей посвящен рассказ «Золотая медаль» (1966; *ВШ7*. Т. 2. С. 203–230). Непосредственно с Н. И. Столяровой связан рассказ «У Флора и Лавра» (1966; *ВШ7*. Т. 2. С. 43–48). Переписка с Н. И. Столяровой — *ВШ7*. Т. 6. С. 375–394. Сравнение возвращения эмигрантов с нерестом (а также с перелетом птиц) развивается в заметках Шаламова <Об эмигрантах, вернувшихся в Россию> (*ВШ7*. Т. 7. С. 401–402). Ср. № 835.

АКомм: *«Стихотворение написано в 1965 году в Москве об одной из величайших тайн природы. Немалой тайной является иногда и поведение людей».*

837. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 34. Л. 34.

На Флора и Лавра — День святых Флора и Лавра, покровителей животных, отмечается по православному календарю 18 (31) августа. Ст-ние непосредственно связано с рассказом «У Флора и Лавра» (1966; *ВШ7*. Т. 2. С. 43–48).

838. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 34. Л. 38.

Ст-нию предшествует запись беседы с Н. Я. Мандельштам, где говорится о «неуклюжести, угловатости» Б. Пастернака. Характерна вклеенная в эту тетрадь заметка из *ЛГ* от 9 сентября 1965 г. «Без ясной цели» (под рубрикой «Редакционный дневник») — донос на «политически неправильные» публикации стихов И. Северянина в «Литературной России», О. Мандельштама в журнале «Простор», Б. Пастернака в «Юности».

839. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 34. Л. 42.

840. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 34. Л. 45.

841. *ПражскСб*. Автограф — Ед. хр. 34. Л. 49 об.–50. Входит в *Список1969* за 1965 г. под загл. «На встрече с Ахматовой».

Я — автор античный... — горькая ирония по поводу непечатания *КР*. Вариации на эту тему имеются в записях Шаламова накануне встречи с А. А. Ахматовой в мае 1965 г.: «Я — античный автор. Странно бы самоуверенно, если бы не соседствовало с „античный тираж“ (в одном экз.)» (Ед. хр. 162. Л. 5). *Бродячая книга* — несомненно, речь идет о *КР*, распространявшихся в самиздате.

842. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 52. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 68, с датой «1965».

843. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 54.

844. Юность. 1965. № 10.

Вывод жизни, крупица опыта, / Что почерпнута не из книг — один из важнейших принципов творчества Шаламова, неоднократно им формулировавшийся как по отношению к прозе, так и к стихам. Ср.: «Собственная кровь, собственная судьба — вот требование сегодняшней литературы» («О прозе» — *ВШ7*. Т. 5. С. 146).

АКомм: *«Написано в 1965 году в Москве. Попытка фиксации одной из норм поведения».*

845. *ДиС.*

846. Юность. 1965. № 10.

Я ветку стланика с собою — связано с получением из Магадана, от Б. Н. Лесняка, посылки с ветками кедрового стланика. Ср. письмо Лесняку от 1 марта 1965 г. (*ВШ7*. Т. 7. С. 325). В рассказе «Воскрешение лиственницы» (1966; *ВШ7*. Т. 2. С. 277–282) образ стланика трансформирован в образ лиственницы. *Как тот царевич половецкий, / Емшан-траву* — реминисценция ст-ния Ап. Майкова «Емшан» (1874).

847. Публикуется впервые. *МЗ-1967.*

И места нет иронии, / Воительнице старой — вероятно, связано со спорами с писателем, колымским другом Г. Г. Демидовым. Ср. в письме Демидову 1965 г. о лагерной прозе: «Никакая ироничность, никакая условность <...> недопустимы» — *ВШ7*. Т. 6. С. 400.

848–851. Цикл публикуется впервые. Автографы и машинопись — Ед. хр. 93. Л. 1–23.

В отличие от «Стихов к Пастернаку» четыре стихотворения Шаламова, посвященные А. Ахматовой, формально в цикл не объединены и не имеют общего загл. Однако на обложках тонких тетрадей, где хранятся их черновые автографы и беловая машинопись (Ед. хр. 93. Л. 1–23), написано «Ахматова (стихи)», что указывает на то, что Шаламов рассматривал свои стихи из этих тетрадей, посвященные Ахматовой, как единое целое (цикл). Об этом же свидетельствует и цифра «1», поставленная перед ст-нием «Как кощунственных строк…» (остальные ст-ния не пронумерованы). Порядок ст-ний в реконструируемом цикле предположительно восстанавливается по хронологии отраженных в каждом из текстов событий. Первое ст-ние связано с единственной встречей Шаламова со своей великой современницей, состоявшейся в мае 1965 г. благодаря посредничеству Н. Я. Мандельштам. К этой встрече Шаламов готовился с большими надеждами, предполагая обсудить с Ахматовой весь круг литературных проблем современности (заготовленные им вопросы сохранились в тетради Ед. хр. 162), однако Ахматова не была готова к такому разговору — вероятно, из-за болезни, и встреча получилась краткой. Далее — визит в больницу («Как к раковой больной...», <№ 2>), прощание с умершей в морге больницы им. Склифософского в Москве («Труп еще называется телом...», <№ 3>) и итоговый «реквием» («Тело ноет знакомой болью...», <№ 4>). В той же тетради (Ед. хр. 162) имеется запись Шаламова: «Что я считаю самым важным в наследии Ахматовой? Это великий нравственный пример верности своим поэтическим идеалам, своим художественным принципам» (Л. 46). В эссе 1970-х гг. «Ахматова» Шаламов особо подчеркивал, что Ахматова «была ревностной сторонницей классических русских размеров стиха, канонических размеров, прекрасно понимая всю

бесконечную силу, бесконечное разнообразие, безграничную возможность русского классического стиха. В этом Ахматова — тоже пример бескомпромиссности» (*ВШ7*. Т. 5. С. 195).

Первый известный нам подступ Шаламова к поэтическому осмыслению образа Ахматовой относится к 1957 г. — это черновик ст-ния «Ахматовой» (Ед. хр. 24. Л. 81–82):

АХМАТОВОЙ

К тебе приходит на поклон
Любой землепроходец.
Ты — вроде кубенских икон,
Рублевских богородиц.

И гасит свет, и глушит звук
Отшельницы храмина.
<*нрзб.*> рук
Горит огнем кармина.

Следы дыханья на стекле,
<*нрзб.*> дверного.
Передний угол в синей мгле
Молебствия ночного.

Тепло от пепла папирос,
Рассыпанного всюду,
От пепла желтого мимоз,
Подобранного <?> в груду.

И это древнее лицо
Тысячелетней муки,
И косы, свитые в кольцо,
[Прославленные руки]
И высохшие руки…

И вся склонилась над тобой,
Затворница святая,
Своей довольная судьбой
Икона золотая.

Детали поэтического портрета Ахматовой (*пепел папирос, икона*) не могли быть результатом собственных впечатлений Шаламова: он лично встретился с Ахматовой лишь в 1965 г. Примечательно, что Шаламов в данном наброске вписывает Ахматову в специфически русский христианский контекст (*кубенские иконы, рублевские богородицы, молебствие, затворница святая*). Этот поворот не нашел продолжения в публикуемом цикле.

Кубенских икон... — Вблизи Кубенского озера в Вологодской области расположено несколько известных древних монастырей и церквей, откуда происходит значительное число икон XIV–XVI вв., написанных в своеобразной манере. Наиболее известна старейшая вологодская икона XIV в. «Богоматерь Толгская Подкубенская» («Умиление»), которая находилась в Воскресенской церкви близ села Кубенское Вологодского уезда и в 1920-е гг. была перевезена в Вологду на реставрацию. *Пепел желтых мимоз...* — Упоминание мимозы встречается в ст-нии Ахматовой «Вечерние часы перед столом...» (1913): «Мимоза пахнет Ниццей и теплом...». Ср. также юношеское ст-ние Шаламова «Желтый пепел мимоз...», упомянутое в: *КоМС*. С. 98.

1. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 93. Л. 8 об.

<2>. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 93. Л. 2–3. Машинопись — Ед. хр. 93. Л. 18, загл. «Путешествие».

Из бархатной тетради. — Эта тетрадь упоминается в воспоминаниях Шаламова о встрече с Ахматовой как тетрадь, в которую записывались «приемы гостей», а также новые произведения. Ср.: «Анна Андреевна развернула свою бархатную тетрадь и читала, читала рукопись пьесы» (*ВШ7*. Т. 5. С. 197). *Январской этой ночью...* — Очевидно, речь идет о попытке посещения Шаламовым в январе 1965 г. Ахматовой в Боткинской больнице, где она находилась с 10 ноября 1965 г. по 19 февраля 1966 г. после четвертого инфаркта. Сохранилась записка Шаламова, направленная ей тогда же: «...В жизни нужны живые Будды, люди нравственного примера, полные в то же время творческой силы. Я тоже хочу на своем малом пути доказать, что не всех можно убить» (*ВШ7*. Т. 6. С. 408).

*<3>. *ВРХД*. 1982. № 137, загл. «Памяти Анны Ахматовой»; *ВШ4*. Т. 3, без загл., с вар. (публ. И. Сиротинской с указанием в примеч. о посвящении Ахматовой). Машинопись этой ред. — Ед. хр. 93. Л. 17. Автограф — Ед. хр. 35. Л. 3, набросок первых строк: «Трое суток собакой бездомной / Ты валялась в мертвецкой, и вот / Поднимаешься в чистый огромный, / В этот ждущий тебя небосвод» (далее еще несколько неразборчивых строк). Ранее в той же тетради Ед. хр. 35 вклеено сообщение о смерти А. Ахматовой из «Правды» от 6 марта 1966 г. и записано Шаламовым: «Бездомная Ахматова. Сто дней в больнице... „Я — тоже на скамье подсудимых вместе с Синявским и Даниэлем“ (суд над А. Синявским и Ю. Даниэлем проходил в Москве в феврале 1966 г. Этому процессу посвящено «Письмо старому другу» Шаламова, распространявшееся в самиздате анонимно. См.: *ВШ7*. Т. 7. С. 272–284 и примеч. — *В. Е.*). Похороны. 500 человек от Никулина до В<яч. Вс.> Иванова втиснуты в морговский двор. Поднимается крышка люка, и откуда то снизу в века... Е. А.: Вы были на улице во время прощания с Ахматовой? — Да. — Говорят, что сам Евтушенко приезжал. Ах, как жаль, что я не застал. Задержался внутри около тела А. А.» (*ВШ7*. Т. 5.

С. 294). В *Списке1969* за 1966 г. обозначено «Проводы Ахматовой». Под загл. «Проводы Ахматовой» предлагалось в *МО*, но отклонено. Печ. по *МЗ-1967*, представляющей существенно переработанный текст, см.: https://shalamov.ru/audio/1/. Именно эта ред. легла в основу текста, распространявшегося в самиздате и напечатанного в *ВРХД*.

Трое суток старухой бездомной / Ты валялась в мертвецкой... — Похороны Ахматовой были отложены из-за праздника 8 марта. С 5-го по 9 марта тело Ахматовой оставалось в морге больницы им. Склифософского.

АКомм: «Написано в Москве во дворе больницы им. Склифософского 9 марта 1966 года при отправке тела Ахматовой в Ленинград».

<4>. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 93. Л. 19.

С желтой сумкой... В леопардовых башмаках... — Эти детали одежды поздней Ахматовой никем из современников не отмечаются. Возможно, у Шаламова это аллюзия на частое употребление в стихах ранней Ахматовой эпитета «желтый», а также на ст-ние Н. Гумилева «Леопард» (1919).

852. Юность. 1987. № 3.

Обращено к И. Сиротинской и связано с началом знакомства с нею. 2 марта 1966 г. она пришла на квартиру Шаламова для переговоров о передаче рукописей в ЦГАЛИ (РГАЛИ). В тетради 1966 г. Ед. хр. 35 на Л. 1 записано: «Второе марта — Ирина Павловна Сиротинская». Ср.: *ИСвосп.* С. 7–9.

***853.** Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 35. Л. 13 (ему сопутствует газетная вырезка о первых грозах в Москве в апреле, сопровождавшихся градом и снегопадом).

Обращено к И. Сиротинской. Сохранившийся у И. Сиротинской расширенный вариант был напечатан ею в примеч. к *ВШ4.* Т. 3 и *ВШ7.* Т. 3. Печ. по автографу.

854. Публикуется впервые. *МЗ-1967.* Датируется условно, по тематической близости к следующему ст-нию.

Сурьма — здесь: иссиня-черный цвет.

855. *ПражскСб.* Автограф — Ед. хр. 35. Л. 53 об. (1966), с вар.: ст. 2 «На этой конвойной земле», ст. 8 «Конвойному веку назло». Машинопись (с правкой) — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 60. В тетради автографу предшествует запись о встрече с И. Г. Эренбургом 2 ноября 1966 г.: «Свободный человек. Разговор 3 часа». Печ. по машинописи.

856. *ВШ4.* Т. 3. Автограф — Ед. хр. 35. Л. 16 об.

Отчасти воспроизведены мотивы более позднего ст-ния «Славянская клятва» (№ 998).

857. Публикуется впервые. *МЗ-1967.* Автограф (черновой набросок) — Ед. хр. 35. Л. 44. Предлагалось в сб. *МО*, отклонено.

Рядины — очевидно, таким Шаламову запомнилось на слух диалектное северное слово «лядины», означающее места пожарища.

858. Публикуется впервые. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 20. Возможно, в *Списке1969* за 1966 г. именно это ст-ние условно обозначено как «Памяти Пушкина»

...возле <...> пушкинских сосен — возможно, аллюзия на пушкинский образ из ст-ния «Вновь я посетил...» (1835).

***859.** Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 84. Л. 49, с двумя зачеркнутыми строфами после первой строфы. Ранняя ред.: *ДП-1969*, без загл., из трех строф. Предлагалось в сб. *МО*, о чем свидетельствует *АКомм*, написанный для ст-ний, предложенных в этот сб. (Ед. хр. 378).

Как можно предполагать, Шаламов решил переработать старое ст-ние, с мельком обозначенной пушкинской темой, в новое, с отчетливым выражением своего отношения к Пушкину. На следующем листе Ед. хр. 84 (Л. 50) имеется набросок незаконченного ст-ния, которое можно рассматривать как полемическое преломление темы буколической поэзии: «Не пастушьи эклоги / Сочинял я во сне. / Дно медвежьей берлоги / Холодеет к весне. // Сердце к сути направя, / Постепенно поймешь / Наше право — на правду / Наше право — на ложь. / Разберись как философ, / Чем живут времена...» (обрыв). Последние две строки зачеркнуты. На пушкинскую тему см. также ст-ние «Осенняя игра» (№ 858) и примеч.

Он слышит тайный рост растенья... — Ср.: «И внял я <...> дольней лозы прозябанье» (А. Пушкин, «Пророк», 1826). *Водить пером Шекспира, Данта* — см. *АКомм. Он — просто род громоотвода, / Когда надежно заземлен.* — Очевидно, Шаламов пытался с помощью современных (технических) понятий подчеркнуть «земной» характер поэзии Пушкина.

АКомм: «Написано в 1958 г.[1] *У каждого поэта есть своя формула Пушкина, свое понимание и толкование его гения. Для меня это поэт, легко одерживавший, и притом публичные, победы в единоборствах с гениями — Шекспиром, Данте, Сервантесом, Гете. Необычайная самостоятельность и сила <Пушкина> отмечались еще Достоевским.*

Истинный поэт растет не в сравнении с современниками, а в сраженье с классиками. От этих побед Пушкин переходит к сражению с Природой и единоборству с ангелом Ветхого Завета[2].

Только там он находит соперника по плечу, да еще особенного, где всякое сражение — победа.

---

[1] Очевидно, речь идет о ст-нии «На небе бледно-васильковом...», переработанном в 1966 г. и напечатанном в *ДП-1969* (см. раздел «Другие редакции и варианты»).

[2] Аллюзия на библейский рассказ о борьбе Иакова с ангелом (Быт. 32: 24–29). Возможно, в подтексте также и образ из ст-ния Р. М. Рильке «Созерцание» в переводе Б. Пастернака, восходящий к тому же библейскому источнику: «Так Ангел Ветхого Завета / Нашел соперника под стать...».

Все неопубликованное — вроде „Медного всадника“ — говорит о том, что эта сила Пушкиным ясно ощущалась.

И тут он гибнет.

Остается вторая Болдинская осень».

860. *ПражскСб.* Автограф — Ед. хр. 89. Л. 6. В папке собраны стихи разных лет. В *Списке1969* под 1967 г.

Немногим ранее, в 1966 г., записан известный афоризм Шаламова: «Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море» (Ед. хр. 35. Л. 58), что показывает синхронность мыслей, вызванных, очевидно, прочтением романа Г. Мелвилла «Моби Дик». Шаламов чрезвычайно высоко ценил этот роман-притчу, основанный на личном опыте автора-китобоя и насыщенный художественной символикой. *Моби Дик убивает Ахава...* — Основная смысловая линия романа: *Моби Дик* — белый кит, символ фатальной природной стихии, топит в океане охотившееся за ним китобойное судно во главе с героическим капитаном *Ахавом.*

861. *ПражскСб.* Автограф — Ед. хр. 89. Л. 50.

Черные свечи... — Ср. вар. загл. первой книги «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам, предложенный Шаламовым в 1965 г. — «Черные свечи» (Оп. 2. Ед. хр. 131. Л. 39). Обычно черные свечи рассматриваются как магический атрибут, но в данном случае у Шаламова они выступают скорее как метафора магии поэзии.

862. Знамя. 1968. № 5, без строф 7 и 8; *ТК*, *ВШ4* и *ВШ7*, так же; Химия и жизнь. 1991. № 2 (публ. Ю. Шрейдера). В *МЗ-1967* восстановлены строфы 7 и 8, загл. «Живописец», в ст. 4 «сплетенье» вм. «боренье». Машинопись — Ед. хр. 113. Л. 71–72, где напротив восстановленных строф напечатано: «Два четверостишия вставлены рукой автора на журнальном экземпляре, подаренном им Т. Д. Вентцель (жене Ю. А. Шрейдера. — *В. Е.*) и Ю. А. Шрейдеру». Предлагалось в *МО*, отклонено.

Ст-ние связано с пребыванием в 1967 г. в мастерской художника Б. Г. Биргера, который написал портрет Шаламова (ныне портрет хранится в музее Шаламова в Вологде). Б. Г. Биргер (1923–2001) был человеком незаурядной судьбы: добровольцем ушел на фронт, воевал под Сталинградом, в 1962 г. участвовал в знаменитой выставке в Манеже и был одним из тех, чьи работы вызвали особый гнев Н. С. Хрущева. Художник входил в круг ближайших знакомых Н. Я. Мандельштам. Очевидно, что сеансы в мастерской сопровождались серьезными разговорами между Биргером и Шаламовым, о чем можно судить и по ст-нию. Сам художник называл свою работу попыткой «психологического портрета» писателя. Некоторые подробности создания портрета см. в: «Посмотрим, кто кого переупрямит...»: Н. Я. Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах / Сост. П. Нерлер. М., 2015. С. 505–506.

АКомм: «*Написано в 1967 году. Печатается полным текстом*».

863. Знамя. 1968. № 5, как второе ст-ние цикла «Живопись». Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 2. Имеется в *МЗ-1967*. Под загл. «Художник и руки» включено в *Список1969* за 1967 г.

864. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 57.

АКомм: «С 1954 по 1956 год я просидел в кабине шофера грузовика, работая агентом по техническому снабжению Решетниковского торфопредприятия Калининской области.

Шофер моей машины уверял, что если бы на перекрестках давали только мерцающий свет, водители справились бы с порядком без всякого регулировщика. А запрещения и разрешения: переключения красного света на зеленый — только режут нервы водителя, разрушают его нервную систему. С этого времени жило во мне желание написать как-нибудь о светофоре. Я и написал это стихотворение в 1967 году».

865. *ПражскСб*. Автограф — Ед. хр. 37. Л. 66 об.–67. Предлагалось в *ДП-1970* и *МО*, но было отклонено.

866. *ДП-1985*. В *МЗ-1967* иной вариант ст-ния, начинающийся строками: «Ледовый щит, скрывающий разгадки тайны / О жизни, догорающей как бы случайно. / Ведь в этом заполярном лете / Естественности нет» — далее без изменений. Снято из *МО* на последнем этапе редактирования. См. № 913 и примеч.

867. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 86. Л. 38, с вар.

Лечивший Мандельштама / В преддверье Колымы. — Неточно, поскольку О. Мандельштам был в пересыльном лагере под Владивостоком в октябре–ноябре 1938 г., когда солнца уже почти не было. Скорее всего, это проекция собственного опыта Шаламова — он был в том же лагере в августе 1937 г. В письме к Н. И. Столяровой в 1965 г. Шаламов писал: «Счастье Мандельштама, что он не доехал до Колымы, что он умер во время тифозного карантина. Осип Эмильевич избежал самого страшного, самого унизительного…» (*ВШ7*. Т. 6. С. 379).

868. *НМЖ*. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 52, с вар.

Эпиграф из ст-ния Ф. Тютчева «Как дымный столп светлеет в вышине!..» (1849). Ср. сходные суждения Шаламова о невозможности искусства (литературы) изменить мир человеческих отношений в эссе «О прозе» и <«О „новой“ прозе»> (*ВШ7*. Т. 5. С. 144–160). *Аристотелев вкус* — очевидно, имеется в виду классическая теория трагедии, положения которой сформулированы в «Поэтике» Аристотеля. Одно из них — о катарсисе (очищении, ср.: «*Не несут очищенья / Силы мира искусств*»). *Дом облит купоросом* — здесь: отравлен (купорос — старое название серной кислоты).

869. Публикуется впервые. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 60, вычеркнуты две первые строфы: «Державинским примером / Когда-то увлечен, / Я был горяч не в меру / Все было нипочем. // Но я не пел Фелицу, / Не пел ее, зане, / Другие были лица / В ужасном этом сне». В *Списке1969* под 1968 г. с загл. «Державинским примером».

Об отношении к Г. Державину ср. фразу в записной книжке 1966 г.: «Державин — отец акмеизма» (*ВШ7*. Т. 5. С. 296). *Уто́к* — система нитей в ткачестве, перпендикулярная основе. *Он в пугачевском бунте / Судьбу свою искал...* — В 1773–1774 гг. Державин принимал участие в подавлении пугачевского восстания, карательных экспедициях и дознании по делу бунтовщиков. *Урал-река* — Шаламов имеет в виду свое пребывание на северном Урале, в Вишерском лагере. *Пушкинские были.* — Упоминание Пушкина связано с поездкой последнего по местам пугачевского восстания в 1833 г. для сбора материалов к «Истории Пугачева».

870. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 36. Л. 58; Ед. хр. 89. Л. 29.

871. *ТК*. Имеется в *Списке1969* за 1968 г.

872. *ДП-1969*.

АКомм: *«Написано в 1968 году в Москве. Одно из немногих моих стихотворений о смерти*[1]*»*.

873. Юность. 1987. № 3. Машинопись — Ед. хр. 113. Л. 39, с авторской правкой в ст. 4: «мою» вм. «его». В *ВШ4* и *ВШ7* ошибочно датировано 1970-ми гг., в то время как ст-ние имеется в *Списке1969* за 1968 г.

Ст-ние раскрывает драматическую ситуацию в жизни Шаламова, связанную с ожиданием публикации книги *КР* на Западе. Как известно, после отказов советских издательств в мае 1966 г. на квартире Н. Я. Мандельштам Шаламов передал машинопись грех сложившихся к тому времени сборников *КР* американскому мандельштамоведу К. Брауну с условием, чтобы она была издана отдельной книгой в каком-либо неполитизированном издательстве. (См.: *ЖЗЛ*. С. 292–293; см. также: Головизнин М. К вопросу о происхождении первых зарубежных изданий «Колымских рассказов» В. Т. Шаламова // *Шсб-4*. С. 197; Клоц Я. Шаламов глазами русской эмиграции: «Колымские рассказы» в «Новом журнале» // *ПражскСб*. С. 231; Глэд Д. Художественный перевод: Теория и практика последнего запретного искусства: (На материале «Колымских рассказов») // *ПражскСб*. С. 319; Ригосик А. «С ним обращались, как с мертвым» // *ПражскСб*. С. 259.) Не выполнив этого условия, К. Браун самовольно передал машинопись редактору русско-эмигрантского «Нового журнала» (Нью-Йорк) Р. Гулю, который начал печатать *КР* мелкими порциями, разрушая единство книги. После этого начались «пиратские» издания *КР* в других западных странах. Узнав об этом, Шаламов был глубоко возмущен, однако в 1968 г., как можно судить по ст-нию, все еще надеялся на издание книги. Возможно, эту надежду поддерживала в нем Н. Я. Мандельштам, также передавшая с К. Брауном свои «Воспоминания», которые были

[1] На самом деле таких ст-ний у Шаламова немало, что можно объяснить и периодами обострения болезней, и чрезвычайными жизненными ситуациями.

опубликованы в США издательством имени Чехова в 1970 г. Шаламов понимал, что если издание книги *КР* на Западе состоится, ему предстоят нелегкие испытания, но к этому он был готов. Об отношении Шаламова к «пиратским» изданиям *КР* на Западе см. ст-ние «Славянская клятва» (№ 998 и примеч.) и др. ст-ния 1972–1974 гг. *Умереть, как Коперник, от счастья...* — Согласно легенде, великий польский астроном и математик Н. Коперник умер, увидев напечатанным свой главный труд «О вращении небесных сфер» (1543).

874. *ДП-1968.*

Противопоставление памяти и магнитофона, вероятно, является реакцией Шаламова на магнитофонные записи своих произведений, проводившиеся в 1967 г. на квартире Н. В. Кинд-Рожанской, подруги Н. Я. Мандельштам.

АКомм: *«Написано в 1968 году».*

875. *ДП-1968.* Снято из сб. *МО.* См. № 913 и примеч.

Твой дед и прадед — плугари <...> *Ты — пахарь* <...> *Твой плуг-перо...* — По всей вероятности обращено к В. Бокову. Ср. ст-ние последнего: «Мой дед всю жизнь пахал сохой, / Невзгоды взваливал на плечи. / Я, внук его, пашу строкой, / Земле от этого не легче. / Что ей перо? Ей нужен плуг...» (1964).

876. *МО.*

АКомм: *«Написано в 1968 году в Москве».*

877. *ВШ4.* Т. 3.

АКомм: *«Написано в 1968 году в Москве. Тоже относится к стихам, где я как-то пытался вспомнить и фиксировать что-то важное для меня в горных пейзажах Колымы, о чем я еще не успел написать».*

878. Знамя. 1968. № 12.

Обращено к И. Сиротинской. *С Тютчевым в день рождения...* — У Шаламова и И. Сиротинской было принято гадание в дни рождения и на Новый год по томику Тютчева, а также по Евангелию, по Пушкину и Пастернаку. См.: *ИСвосп.* С. 30.

АКомм: *«Написано в 1968 году в июне. Одно из важных для меня стихотворений».*

879. *МО.*

Связано с И. Сиротинской, с ее письмами из Крыма. См.: *ИСвосп.* С. 18–19; 104–105.

АКомм: *«Написано в Москве в 1968 году».*

880. *МО.* Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 47, с датой «1968».

881. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 36. Л. 17 (тетрадь «1968-I»).

882. *МО.* Машинопись — Ед. хр. 115. Л. 53, с датой «1968».

Здесь и в след. ст-нии эксперимент с одним «большим» (многосложным) словом.

АКомм: *«Написано в 1968 году в Москве».*

883. Знамя. 1990. № 7. Автограф — Ед. хр. 36. Л. 53 об. На этом же листе автографа — несколько других ст-ний с «большими» (гипердактилическими) словами, по мнению Шаламова, иногда необходимыми в стихах для создания особого ритмического рисунка: «Благовоспитанный», «Кибернетические дали», «Непоявившиеся тени»...

884. Знамя. 1968. № 12.

АКомм: «Написано в 1968 году в Москве. Формула психологии творчества».

885. Юность. 1970. № 7. Шестая строка воспроизведена с опечаткой: «Воды набрал он, что ли, вот».

АКомм: «Написано в Москве в 1969 году».

886. *МО.*

АКомм: «Написано в Москве в 1969 году».

887. *МО.* Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 70, с датой «1969».

Связано с И. Сиротинской.

888. *МО.* Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 6, с зачеркнутым вар. строфы 1: «Кто-то сердце крепко стиснет, / Окунет в огонь, в жару. / Ледяные воды Стикса / Преграждают путь перу...»

Выставку А. Матисса, одного из любимых художников Шаламова, проходившую в Москве в ГМИИ им. Пушкина летом 1969 г., он посещал вместе с И. Сиротинской. Здесь у него случился сердечный приступ — вероятно, от духоты в залах.

889. Публикуется впервые. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 71.

Связано с посещением пляжа в Серебряном бору на Москве-реке, где любил плавать Шаламов.

890. Юность. 1987. № 3. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 9, с датой «1969».

891. *МО.*

АКомм: «Написано в Москве в 1969 году. Попытка фиксировать один из этапов поэтического творчества в его наиболее постижимой части».

892. *МО.*

АКомм: «Написано в Москве в 1969 году».

893. Знамя. 1970. № 1. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 10.

894. Знамя. 1990. № 7. Машинопись — Ед. хр. 89. Л. 35.

895. Знамя. 1968. № 5. Есть в *МЗ-1967* с загл. «Восход солнца». В *ВШ4* и др. изданиях печаталось без загл.

896. *МО.*

897. *МО.*

См. № 571 и примеч. Возможно, это ст-ние является «парным» к более позднему ст-нию «Ветки» (№ 1000).

898. *МО.*

899. *ТК.*

Предлагалось в 1971 г. в *ЛГ*, но не было напечатано. Любопытно письмо тогдашней сотрудницы отдела поэзии *ЛГ* Т. Глушковой

к Шаламову: «...Такая вещь, как „Начало метели", сопоставима с Фетом, не знаю, как Вы относитесь к этому поэту, для меня высшего сравнения-признания нет <...>. Однако, Гулиа (Г. Д. Гулиа — ответственный секретарь *ЛГ* в ту пору. — *В. Е.*), который хитрей, чем надо бы, заметил, что в № 11 „Юности" Ваша подборка открывается „гражданственным" стихотворением „Луноход". И поэтому он теперь желает, чтобы и наша, литгазетовская, начиналась одним гражданственным стихотворением. „Про луноход, про самолет — про любой созидательный труд народа — все равно!" (Это его слова)» (*ВШ7*. Т. 6. С. 573).

900. Публикуется впервые. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 8.

901. Публикуется впервые. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 54.

О своих стихах как «калеках» и «инвалидах» Шаламов не раз говорил в переписке (ср. письма к А. Солженицыну в 1962 г. и О. Михайлову в 1968 г. — *ВШ7*. Т. 6. С. 289, 530).

902. *ДП-1970.*

903. Юность. 1970. № 7. Машинопись — Ед. хр. 115. Л. 77.

904. Юность. 1970. № 7.

Стихотворения 1970-х гг.

Предыдущие публикации в собраниях сочинений (*ВШ4*. Т. 3 и *ВШ7*. Т. 3, 7) в силу своей неполноты создавали впечатление затухания поэтического творчества Шаламова в 1970-е гг. С учетом того, что жизнь его в этот период стала гораздо более замкнутой (Шаламов порвал отношения со многими своими старыми знакомыми, например, с Н. Я. Мандельштам и ее кругом), у подобных представлений имелись какие-то основания. Для понимания реальных планов и умонастроений Шаламова крайне важны его признания в записных книжках начала 1970-х гг.: «...Москва — это город слухов, а слух — это та самая идея, которая в любой час может обрести материальную силу, загородить, скажем, мне дорогу в издательство. По мотивам непроверенным, без бесед со мной и прочее. Даже инвалидность и то, что я живу на пенсию, приобретает оттенок святости, героизма. В кружках „прогрессивного человечества" создатели мод и носители слухов не расскажут больше того, что ты сможешь прочесть в завтрашней газете. <...> Все это мне крайне надоело много лет назад, и шесть лет я сижу в совершенном одиночестве и ни единого рассказа не выпускаю из стола, боясь подогрева и без того популярности, которой я вовсе не заслуживаю. Вот я и желаю развеять весь этот туман, привести в полную ясность все мои дела, хоть на шестьдесят пятом году моей жизни» (*ВШ7*. Т. 5. С. 355). Пожалуй, главную роль в «развеивании тумана» вокруг своей судьбы и взглядов на мир для Шаламова

в 1970-е гг. стали играть стихи, писавшиеся зачастую «в стол», без надежды на прижизненную публикацию. В архиве сохранилось около 40 общих и тонких тетрадей (Ед. хр. 37–77) этого периода, которые включают множество рукописей ст-ний. К сожалению, далеко не все из них, особенно начиная с 1973 г., закончены и разборчивы. Исключительную историческую и биографическую ценность имеют отраженные в целом ряде ст-ний обстоятельства 1972 г., связанные с известным письмом Шаламова в *ЛГ* и его последствиями. Все эти факторы заставили приложить максимум усилий для расшифровки трудно распознаваемых ст-ний. В результате почти полностью восстановлен поэтический дневник Шаламова второй половины 1972-го и 1973 гг. (Ед. хр. 48–56), дающий большой и выразительный материал для характеристики его гражданской позиции и общего лирического подъема (недаром сам Шаламов писал о 1973-м: «Мой лучший год»). Помимо прочего, текстологический анализ позволил достаточно четко определить контекст рождения одного из важнейших ст-ний позднего Шаламова «Славянская клятва» (1973; № 998) и на этой основе дать новую версию его интерпретации. В публикацию включен ряд ст-ний, не вошедших в сборники «Московские облака» (1972) и «Точка кипения» (1977). Следует заметить, что колымские мотивы в этот период творчества Шаламова (в том числе и в прозе — последний сборник *КР* «Перчатка, или КР-2», состоявший наполовину из рассказов 1960-х гг., был завершен в 1973 г.) сошли почти на нет, значительное место стали занимать отклики на общественные события, а также появилась «крымская» тема (в связи с поездками в Ялту и Коктебель после вступления в Союз писателей в 1973 г.). Активная поэтическая работа Шаламова продолжалась и в 1975–1976 гг. Реальное ослабление его творческого потенциала в связи с ухудшением здоровья можно констатировать лишь по тетрадям 1977–1978 гг., где многие ст-ния (в их распознаваемой части) несут отчетливые следы примитивизации поэтического мышления и представляют собой чаще всего только наброски. В то же время публикуемые ст-ния данного периода, в том числе двустишия, сохраняют вполне законченный смысл и образность. Датировки даются главным образом по тетрадям, отдельные сложные случаи оговариваются в примечаниях.

***905.** *МО*. Автограф — Ед. хр. 37. Л. 14 об.–20, 22, с вар. На Л. 17–20, 22 — основной текст. Тетрадь обозначена «1970-I», на Л. 2 записаны строки Баратынского: «Я, невнимаемый, довольно награжден / За звуки — звуками и за мечты — мечтами» («Финляндия», 1820). Машинопись (идентичная тексту *МО*) — *Ласкина*.

О некоторых деталях своей работы ликвидатором неграмотности в 1920-е гг. Шаламов писал в воспоминаниях (глава «Курукин» — *ВШ7*. Т. 5. С. 423–324). Историчность ст-ния

с упоминанием знаменитых слов из первого советского букваря для неграмотных взрослых «Мы — не рабы, рабы — не мы» не могла дать никаких поводов для придирок цензуры к двусмысленности темы о «рабах» в условиях того времени. Ст-ние имеет прямую связь со ст-нием «Я хочу быть ортопедом...» (№ 865).

906. *МО*. Автограф — Ед. хр. 37. Л. 42–46 об. Машинопись — *Ласкина*, с вар.: ст. 30 «Если вытянулась прямо»; ст. 33–34 «Неразменною монетой, / Что ценней всего на свете».

Подробнее о своей матери Надежде Александровне Шаламовой (1870–1934), о ее характере и ее роли в приобщении сына к поэзии Шаламов рассказал в создававшейся в это же время *ЧВ* (С. 43–56; 129–138 и др.). См. также: *ЖЗЛ*. С. 35–38. Матери посвящены ст-ния Шаламова колымского периода «Где же детское, пережитое...» (№ 44), «Положен жестяной венок...» (№ 1115) и «У зеленой лампы гнутся пальцы мамы...» (№ 1243). *Как Христос, я вымыл ноги / Маме...* — ср. эпизод с омовением ног Христом своим ученикам перед тайной вечерей (Ин. 13: 3–17). Реальный случай, когда Шаламов вымыл больные, распухшие ноги матери, произошел в конце 1931 г., когда он заезжал домой после первого вишерского срока.

907. *МО*, с вар. Автограф — Ед. хр. 37. Л. 51. В Ед. хр. 114 имеется страница (лист верстки; Л. 37) с опубликованным в *МО* ст-нием и выправленным по автографу рукой И. Сиротинской текстом: убрано четвертое двустишие «Это — тайна, тайна снежной красоты — / Парашютное паденье с высоты» и исправлено третье двустишие, напечатанное так: «Если б кончился снежинок долгий путь — / Навек мог бы я кристаллами блеснуть».

908. Юность. 1971. № 11. Автограф — Ед. хр. 37. Л. 55 об.

909. *Шсб-5*, в составе записных книжек 1970 г. Автограф — Ед. хр. 37. Л. 56 об.

С картинным своим словарем. — Картинный словарь — словарь, где значение слов раскрывается с помощью рисунков. Ср. запись Шаламова в той же тетради (Л. 4 об.): «Картинный словарь издательства „Просвещение“ для иностранцев, где нет слов „литература“, „поэзия“». *Задушен я лапой азота...* — Азот в данном контексте символизирует удушливую атмосферу.

910. *Шсб-5*. С. 199, в составе записной книжки 1970 г. Автограф — Ед. хр. 37. Л. 71. В *Списке1969* за 1969 г. фигурирует вариант первой строки: «Ложись мне под левую руку...»

Посвящено И. П. Сиротинской.

911. *МО*. Автограф — Ед. хр. 37.Л. 74 об.–75.

912. *МО*. Автограф — Ед. хр. 37. Л. 92.

913. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 37. Л. 79. Снято из сб. *МО* на завершающем этапе редактирования в числе пяти других ст-ний. Ср. редакторскую справку В. Фогельсона от 10 апреля 1972 г.: «При новой подготовке рукописи В. Шаламова

„Московские облака“ из нее были исключены следующие стихотворения...» — названы № 913, 866, 875, 921, 932 (*РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 21. Ед. хр. 1376. Л. 13). Печатается по машинописной копии редакции изд-ва «Советский писатель» (Там же. Л. 8).

Сервет Мигель (1511–1553) — испанский мыслитель и врач. В своей книге «Восстановление христианства» отрицал догмат о Троице, за что был признан еретиком и сожжен на костре в Женеве. *Кальвин* Жан (1509–1564) — один из видных деятелей протестантской Реформации, при нем в Женеве существовала теократическая диктатура. Одной из жертв Ж. Кальвина стал М. Сервет, личность которого со временем стала в Европе олицетворением свободы совести. Вероятно, Шаламов знал биографию М. Сервета еще в молодости, в 1920-е гг., когда его фигура стала популярной. Ср. письмо писательнице Н. Ивановой-Романовой, где Шаламов подчеркивал: «Не Лютер казнил своих бывших единомышленников, а Кальвин — Сервета» (*Шсб-3*. С. 9).

914. *ДП-1972*, с опечаткой: «валками», правильно — «вальками».

Связано с воспоминаниями о Вологде. *Валёк* — деревянная пластина для выколачивания белья во время стирки.

915. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 38. Л. 62 об. (тетрадь октября–ноября 1970 г.).

Сначала возвратить пощечины / И только после — подаяния — практически дословно повторено в финале рассказа «Перчатка» (1972; *ВШ7*. Т. 2. С. 311).

916. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 38. Л. 85, есть зачеркнутый набросок продолжения.

917. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 39. Л. 18.

918. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 39. Л. 31, с вар.: ст. 1 «Весь мир измеряю я мерой».

919. *ВШ4*. Т. 3.

Посвящено И. Сиротинской. В 1970 г. она уезжала по туристической путевке в Египет, в связи с чем Шаламов написал каламбурный экспромт: «В Каире слишком много Ир...» (Ед. хр. 37. Л. 62).

920. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 39. Л. 66, с вар.: ст. 7 «Что в самом лучшем из искусств».

Возможно, связано с высказыванием Шаламова в записной книжке от 28 декабря 1970 г.: «Бывают претенденты на будущее человечества, а бывают претенденты на прошлое. Но на прошлое много претендентов, а на будущее мало — но все же есть» (*ВШ7*. Т. 5. С. 312). Прогнозы Шаламова на будущее, исходившие из опыта Колымы и других трагедий XX в., часто были пессимистичными. Ср. в письме к литератору А. Кременскому (1972): «...Условия могут повториться, когда блатарская инфекция охватит общество, где моральная температура доведена до благополучного режима <...>. Любая цивилизация рассыплется в прах в три недели, и перед человеком предстанет облик дикаря. Хуже дикаря, ибо все

дикарское — пустяки по сравнению со средствами уничтожения и давления» (*ВШ7*. Т. 6. С. 582).

921. Публикуется впервые. Машинопись — *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 21. Ед. хр. 1376. Л. 29 (изд-во «Советский писатель»). Снято из сб. *МО* (см. № 913 и примеч.).

Ср. размышления о современной прозе в письме И. Сиротинской (1971), опубликованном под загл. «<О моей прозе>» (*ВШ4*. Т. 4. С. 371–386).

922. Юность. 1972. № 4. Первый набросок — Ед. хр. 39. Л. 22.

Навеяно рассказами И. Сиротинской о ее туристической поездке в Египет (см. № 919 и примеч.). Ст-ние посвящено постройке в 1971 г. Асуанской ГЭС в Египте, осуществлявшейся при поддержке СССР. Воплотило не только гражданские, но и натурфилософские (наукоцентричные по характеру) взгляды Шаламова, его веру в возможность покорения природы человеком. Как он подчеркивал сам, «суть стихотворения — в критике церковщины» (Оп. 3. Ед. хр. 41. Л. 43). Ср. полемически-декларативное: *«Для мира Асуан / Важнее сур Корана»*. Налет газетной официозности в этом ст-нии связан, вероятно (как и в ст-ниях «Луноход», № 923, и «Поворот сибирских рек», № 942), со стремлением Шаламова заявить ту степень лояльности, которая бы смягчила скандал в связи с публикацией *КР* на Западе и обеспечила затруднявшийся выпуск сб. *МО*. Ср. ст-ние «Острием моей дощечки…» (№ 933) и примеч. *Борободур* — выдающийся памятник буддийского искусства на острове Ява. *Роландов рог* — один из излюбленных образов Шаламова, связанный с одноименным ст-нием М. Цветаевой (см. № 53 и примеч.), символ человеческой отваги. *Аларих* — король вестготов, в 410 г. захватил и разграбил Рим. *Абу-Симбел* — храм фараона Рамзеса II; в связи с созданием водохранилища Асуанской ГЭС, благодаря усилиям стран, входящих в ЮНЕСКО, был перенесен на более высокое место. *Тадж Махал* — знаменитый мавзолей-мечеть в Индии.

923. Юность. 1971. № 11. Автограф — Ед. хр. 39. Л. 65 об., с вар. недописанной строфы: «Колымские леса / Как мир средневековья / Не знали колеса» (дописано: «А только волокуши»).

Посвящено первому советскому луноходу — восьмиколесному автоматическому аппарату, совершившему посадку на Луне в ноябре 1970 г. и функционировавшему в течение трех месяцев. Ср. запись Шаламова в ноябре 1970 г.: «Луноход. Пятьдесят лет назад нам обещали гораздо большее» (*ВШ7*. Т. 5. С. 311).

924. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 39. Л. 86 об.–87 об. Тетрадь «1971-I», над ст-нием стоит дата — «20 / II-1971 г.».

925. Юность. 1971. № 11. Автограф — Ед. хр. 40. Л. 7 (тетрадь «1971-II»).

Коварна карта марта — ср. мотивы ст-ния «Март» (1956), № 459.

926. Юность. 1971. № 11.

Секстант — навигационный прибор для измерения высоты Солнца.

927. Юность. 1971. № 11.

928. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 40. Л. 14–14 об., загл. «Полигон», с вар.: ст. 1 «От Арбата и до Петровки», ст. 2 «Еще с юношеских времен». В списках ст-ний, предложенных в *ЛГ* и в *ДП-1972* (Ед. хр. 43. Л. 46; Ед. хр. 44. Л. 6), фигурирует загл. (первая строка) «От Арбата и до Покровки».

Смена загл. указывает на то, что Шаламов больше любил прогуливаться до ул. Покровки, в гораздо более тихий район Москвы, нежели ул. Петровка. *Мнемонический прием* — прием запоминания (в данном случае — стихов). *Бешеные карандаши...* — Ср.: «Я давно научился встающую в мозгу строку, строфу фиксировать, на чем попало — на папиросной коробке, на обрывке газеты, — но мгновенно. <...> Поэтому в дороге я всегда вооружен карандашом, клочком бумаги, захожу на ближайшую почту и записываю. Трудность в том, что записать нужно не сокращенно, не стенографическими знаками, а полностью, разборчиво и ясно, хотя и карандашом. Перо тоже годится; но главное у меня — карандаш» (*КоМС.* С. 102). Вар. ст. 2 «*Еще с юношеских времен*» дает основания для обеих версий первой строки: в районе Петровки Шаламова могли привлекать знаменитые букинистические лавки в Столешниковом переулке, существовавшие и в 1970-е гг. (ср. ст-ние «У букинистов», № 900); маршрут же, связанный с Покровкой, в молодости Шаламова, в начале 1930-х гг., после возвращения с Вишеры, был обусловлен тем, что в Потаповском переулке, дом 9, жила О. В. Ивинская. С нею его тогда связывали романтические отношения, возникшие во время совместной работы в журнале «ЗОТ» («За овладение техникой»). Шаламов был вхож в дом Ивинской, хорошо знал ее маму М. Н. Костко. В 1956 г., в период вновь вспыхнувших у Шаламова чувств к О. В. Ивинской (пока он не узнал об ее отношениях с Б. Пастернаком), Шаламов также бывал в Потаповском переулке. См. его переписку с О. В. Ивинской (*ВШ7.* Т. 6. С. 211; Т. 7. С. 287); см. также: Емельянова И. Легенды Потаповского переулка. М., 1997. С. 309–337; *ЖЗЛ.* С. 225–228. Очевидно, что в 1960-е гг. Шаламов продолжал ходить на Покровку по любимому им Бульварному кольцу с сугубо поэтическими целями.

929. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 40. Л. 68 (тетрадь «1971-II»).

Связано с И. Сиротинской.

930. *ДП-1972.* Автограф — Ед. хр. 41. Л. 12 (тетрадь «июнь 1971 — ноябрь 1971»).

931. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 41. Л. 37–37 об. (июнь 1971).

Пафос ст-ния во многом объясняет запись Шаламова в той же тетради: «Время аллегорий прошло, настало время прямой речи»

(*ВШ7*. Т. 5. С. 331). Ср. также: «В „Юности“ при окончательном наборе сняли целую полосу лучших стихов <...>. Именно общение с „Юностью“ и диктует стихотворения вроде: „Надо снять с себя позор“» (*ВШ7*. Т. 5. С. 327). Это ст-ние предлагалось также в *ДП-1972* (редактор С. Куняев) и в «Знамя» (записи об этом — Ед. хр. 44. Л. 6, 8), но нигде опубликовано не было.

932. *Шсб-5*. Автограф — Ед. хр. 43. Л. 7 (тонкие тетради с записями стихов 1971–1972 гг.). Машинопись с правкой — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 1. Снято редакцией из сб. *МО*, см. № 913 и примеч.

Очевидно, написано после известия о смерти выдающегося советского антрополога и скульптора-реконструктора М. М. Герасимова (1907–1970), деятельность которого Шаламов высоко ценил, считая родственной своей литературной работе по воссозданию трагического прошлого. Позднее Шаламов написал цикл «Памяти антрополога Герасимова», куда данное ст-ние не вошло (см. № 973–978). Наиболее известной в 1960-е гг. была скульптурная реконструкция лица Ивана Грозного, осуществленная Герасимовым: она вызывала ассоциации со Сталиным. Шаламов (очевидно, в противоцензурных целях) использовал другой образ — князя *Андрея Боголюбского* (XII в.), также реконструированный Герасимовым, однако и эта уловка не помогла ст-нию пройти в печать.

933. *ДП-1985*. Автограф — Ед. хр. 43. Л. 37.

Острием своей дощечки — метафора инструмента скульптора (вероятно, М. М. Герасимова), с чем Шаламов сравнивает свой литературно-поэтический «инструмент». *Но тупым концом...* — Вероятно, имеется в виду ряд написанных в это время по необходимости «дежурных» стихов. См. «Асуан» (№ 922) и примеч.

934. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 43. Л. 11 об. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 59.

935. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 43. Л. 15–16 (черновой); Ед. хр. 44. Л. 28 об.–31 (беловой). Машинопись — Ед. хр. 86. Л. 30. Отклонено редакцией сб. *ТК* (о чем свидетельствует Ед. хр. 86, где собраны машинописи ст-ний, предлагавшихся в *ТК*).

Ст-ние, возможно, связано с посещением московского Кремля в трудный для Шаламова период зимы 1971/72 гг. В беловой тетради Ед. хр. 44 («1972-I», дополнено: «январь–июнь 1972») автографу ст-ния предшествует вырезка из *ЛГ* от 23 февраля 1972 г. с резким письмом Шаламова против политических спекуляций вокруг «Колымских рассказов» на Западе (Л. 19), а непосредственно за автографом ст-ния следует запись: «Первое послание от Союза писателей мне — анонимка „прогрессивного человечества“, пересланная мне Секретариатом. Отравленное оружие существует. Неужели по моим вещам не видно, что я не принадлежу к „прогрессивному человечеству“» (Л. 31 об.). Подробнее о письме в *ЛГ* см. вступ. статью; текст письма и комментарий к нему Шаламова см. в: *ВШ7*. Т. 7. С. 365–368; см. также: *ЖЗЛ*. С. 294–308.

Следует напомнить, что прежде Шаламов побывал в Кремле вскоре после Колымы, в 1956 г. Ср. письмо А. Добровольскому: «25 марта я был в Кремле. 32 года я там не был. (Вход туда закрыли после смерти Ленина). Я испытал некое нравственное удовлетворение от этого посещения — от того, что я, распятый и убиенный, поставил свою ногу на ядро около Царь-Пушки». И далее, после осмотра трех соборов — Архангельского, Успенского и Благовещенского: «Мне казалось, что не кисть художника удерживает образ бога на стенах, а то великое и сокровенное, чему служила и служит религия. Это ее строгая сила, моления сотен поколений, предстоявших перед этими алтарями, сила, приобретшая материальность, весомость, — сама без нас хранит эти храмы...» (*ВШ7*. Т. 6. С. 135). Как и это давнее письмо, ст-ние демонстрирует огромное значение для Шаламова — лишенного, по его неоднократным утверждениям, религиозного чувства, — одной из главных святынь России: в этот сложный жизненный момент он стремится обрести новую опору в духовном соизмерении личной судьбы с исторической судьбой своей страны. *Успенский собор* — старейший православный храм Москвы, построен в честь Успения Пресвятой Богородицы в XV в. при Иване III. *Латинский зодчий* — итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, руководивший постройкой собора и опиравшийся на византийские (у Шаламова — *навеянное Русью)* традиции. *Апсида* — примыкающий к основному объему здания пониженный выступ, обычно полукруглой формы. Шаламов хорошо знал храмовую архитектуру, ибо вырос в Вологде рядом с Софийским собором, построенном при Иване IV по образцу московского Успенского собора и имевшем также шестистолпную основу и пять глав при трех апсидах (ср. описание Софийского собора в: *ЧВ*. С. 12–14; ср. также ст-ние «Софийский собор», № 972).

936. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 43. Л. 17.

Шаламов не раз отождествлял свою судьбу с судьбой Бетховена — ср. «Опять гроза. Какой еще Бетховен...» (№ 341), «В гремящую грозу умрет глухой Бетховен…» (№ 615) и примеч. Сравнение Шаламова с Бетховеном имеется в мемуарах Ф. Ф. Сучкова, скульптора, автора надгробного памятника писателю на Кунцевском кладбище Москвы, а также мемориальной доски в Вологде, близко знавшего Шаламова: «...Потеря слуха, превратившая с годами пошатывающегося исполина в Бетховена» (Сучков Ф. Его показания // *Шсб-1*. С. 151). Обращение к трагической личности великого композитора в контексте крайне тяжелого для Шаламова периода 1971–1972 гг. приобретает особый смысл. Подробность о том, что Бетховен из-за своей глухоты пользовался при общении с людьми *цветными мелками* (заведя специальную грифельную доску, а также *разговорные тетради*), запомнилась Шаламову, очевидно, из популярных книг музыковеда А. Альшванга о Бетховене, которые он прочел еще в 1950-е гг. См. примеч. к № 341.

937. Публикуется впервые. Автографы — Ед. хр. 43. Л. 18; Ед. хр. 44. Л. 82.

Возможно, за образом лисицы скрывается нетерпимый для Шаламова тип «хитрована», ведущего какую-то тайную игру. Ср. его запись от января 1972 г.: «Хитрованов поэтов не бывает» (Ед. хр. 44. Л. 20; *ВШ7*. Т. 5. С. 332).

938. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 44. Л. 21 об.–22. *Эй, отзовитесь.* — Это восклицание, очевидно, отражает изоляцию Шаламова после письма в *ЛГ*. Ср. запись в той же тетради (Л. 16): «Друзья не те, что плачут по покойнику, а помогают при жизни».

939. Юность. 1981. № 8. Автограф — Ед. хр. 44. Л. 80, загл. «Кусочек для биопсии». Машинопись — Ед. хр. 86. Л. 7, с тем же загл.

Биопсия — метод диагностики, применяемый для установления клеточного состава ткани (обычно — в онкологии). *Недоступная переводу...* — Шаламов был убежден, что поэзия адекватно воспринимается лишь в границах национального языка (ср.: «Поэзия — непереводима. Глубоко национальна. Совершенствование поэзии, развитие бесконечных возможностей стиха лежит в границах родного языка, быта, предания, литературных вкусов» — «Таблица умножения для молодых поэтов»; *ВШ7*. Т. 5. С. 14).

940. Публикуется впервые. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 79.

Связано с летним посещением пляжа в Серебряном бору. *В твою честь* — адресовано И. Сиротинской.

941. Юность. 1973. № 8. Автограф — Ед. хр. 92. Л. 52.

942. Знамя. 1972. № 11; *ТК*. Автограф — Ед. хр. 92. Л. 12–28 (основную часть тетради занимают стихи 1971–1972 гг.), с вар. загл. «Сибирский поворот».

Подобно «Асуану» (№ 922), это ст-ние отразило искреннюю горячую веру Шаламова в силу человеческого разума, подчиняющего себе силы природы. Является откликом на большой гидротехнический проект по использованию части стока сибирских рек для орошения засушливых площадей южных районов СССР. Этот проект изначально подвергался широкой общественной критике (по экологическим и другим причинам) и в 1986 г. был аннулирован. Очевидно, что источником натурфилософского оптимизма Шаламова являлся «Фауст» И.-В. Гете с его апологией преобразования природы, пронизывающей финал поэмы. *Фауста вторую часть / Мы допишем в Казахстане.* — Имеется в виду последняя мечта героя Гете — построить плотину, «чтобы любой ценою у пучины кусок земли отвоевать» (во имя счастья Филемона и Бавкиды, олицетворяющих у Гете простой народ). «Фауст» Гете в переводе Б. Пастернака с его дарственной надписью имелся в личной библиотеке Шаламова

943. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 115. Л. 75.

Лайда — заболоченный луг на прибрежных равнинах на севере Европейской части России и в Сибири. *Виска* — колымское название протоки, соединяющей озеро с рекой.

944. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 92. Л. 38. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 58.

945. Юность. 1973. № 8, без загл. Автографы — Ед. хр. 92. Л. 37, 46 (в последнем случае — с загл. «Прописная истина»).

Кажущаяся «казенная» тривиальность этого ст-ния не означает неискренности Шаламова. Шаламов регулярно читал еженедельник «За рубежом» (дайджест иностранной прессы), и у него был вполне трезвый взгляд на те или иные фигуры американской политической элиты и их устремления. Ср. в записной книжке 1970 г.: «...Бжезинский и прочие хитрожопые подстрекают. Им надо обязательно крови» (Ед. хр. 39. Л. 50). Ср. ст-ния «Отравители колодцев» (№ 952), «Гробокопатели и шакалы» (№ 993) и примеч.

946. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 114. Л. 30.

Вероятно, рассчитывалось на публикацию. Возможно, связано с проведением Олимпийских игр в 1972 г. в Мюнхене, которым сопутствовала международная напряженность и теракт, совершенный 5 сентября. Впоследствии, просматривая по телевизору зимнюю Олимпиаду в Инсбруке (1976), Шаламов записал: «Замечательная Белая Олимпиада! Не было нападений террористов — мюнхенские убийства...» (*Шсб-4*. С. 44).

947. *Шсб-5*. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 41.

Очевидно, написано в связи с подведением итогов необычайно трудного для Шаламова 1972 г. *Решил все проблемы, задачи...* — Имеется в виду как состоявшийся, наконец, выход сборника *МО*, так и давно зревшее публичное объяснение своей общественной позиции в письме в *ЛГ* от 23 февраля 1972 г. (см. № 935 и примеч.). *Леверье У.* (1811–1877) — французский математик, занимавшийся небесной механикой и предсказавший существование планеты Нептун, следуя законам Кеплера и Ньютона.

948. Публикуется впервые. Беловой автограф — Ед. хр. 92. Л. 54.

Связано с переездом с Хорошевского шоссе на ул. Васильевскую, где Шаламов получил отдельную комнату в коммунальной квартире. Переезд был обусловлен сносом дома, где жил Шаламов (см. № 734 и примеч.). Поначалу ему хотели предоставить жилье в новом районе Чертаново, но в связи с инвалидностью он настоял на том, чтобы жить в центре Москвы. Ср. письмо к Ю. А. Шрейдеру от 27 сентября 1972 г. (*ВШ7*. Т. 6. С. 547). *В той былой хорошевской красе.* — Ср. запись в записной книжке от августа 1972 г., после переезда: «Объективно: на Хорошевском, 10, кв. 3 впервые в моей московской жизни я получил возможность ПИСАТЬ (выделено автором. — *В. Е.*) <...>. Впервые я не был объектом продажи и купли, перестал быть вишерским, колымским рабом» (*ВШ7*. Т. 5. С. 335). *Не халат, не опорки Дидро...* — Шаламов иронизирует над известной

историей с французским философом-энциклопедистом Д. Дидро, который всю жизнь прожил в бедности, но после приобретения его библиотеки российской императрицей Екатериной II разбогател, резко изменил свои привычки и стал носить дома роскошную восточную обувь и ярко-красный халат. Сам Шаламов оставался непритязателен и перевез на Васильевскую многие свои старые вещи, в том числе *диван* (деревянную кровать). Ср. описание его новой комнаты у И. Сиротинской: «Обстановка ее была такова: квадратная комната, окно и балконная дверь, напротив — дверь в коридор, направо и налево от входа по стене — открытые книжные полки, просто крашеные доски, слева стояли полки с „Библиотекой поэта“, вообще с поэзией. Далее по левой стене — высокие застекленные полки с архивом, поставленные друг на друга, шкаф для одежды, обеденный стол — почти впритык к балконной двери и шкафчик для посуды, продуктов — над ним. Перед окном — однотумбовый письменный стол. Далее по правой стене, в неглубокой нише — деревянная кровать, далее — опять открытые книжные полки. Свой угол, свой дом Варлам Тихонович очень любил. Крохотная территория независимости. А независимость — это главное в жизни, так он всегда говорил» (*ИСвосп*. С. 31).

949. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 46. Л. 10 (тетрадь «Июль 1972 — январь 1973»).

950. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 46. Л. 36.

От юности в семи минутах... — игра слов: от редакции журнала «Юность», которая располагалась в тот период (1971–1978 гг.) на ул. Горького, 32/1, было недалеко до ул. Васильевской, 2/6, где с 1972 г. жил Шаламов.

951. Юность. 1973. № 8 Автограф — Ед. хр. 46. Л. 37–38.

952. *Шсб-5, ПражскСб*. Автограф — Ед. хр. 46. Л. 40 и об.

Очевидна перекличка с мыслями, высказанными в письме в *ЛГ*. *Отравители колодцев* — советская пропагандистская лексема, применявшаяся против политических противников. Перекликается со столь же недипломатичными выражениями Шаламова, адресованными в письме в *ЛГ* журналу «Посев» и «Новому журналу» («зловонные журнальчики»), которые выражали его гневные эмоции по поводу спекуляции «Колымскими рассказами» на Западе. Ср. также примеч. к ст-нию «Успенский собор» (№ 935), где процитирована запись Шаламова, связанная с письмом в *ЛГ*, со словами «отравленное оружие существует». *Как другой будет гореть.* — Ср. дневниковую запись 1971 г.: «Западному миру мы нужны только в виде горящих факелов, отсечь путь русской истории в их понимании. Отсюда и толки о традиционном долге русской интеллигенции перед русским народом. А горел Палах (Ян Палах — пражский студент, сжегший себя в 1968 г. в знак протеста против ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. — *В. Е.*) — все кричали: „Он сам хотел, не трогайте его, не нарушайте

его волю“» (*ВШ7*. Т. 5. С. 329). *Собирает трояки* — речь идет о сборах в пользу «опальных» литераторов, которые Шаламов никогда не принимал и глубоко презирал. Ср. его слова: «Три рубля даст — и уже в прогрессивном человечестве» (*ИСвосп*. С. 17). Ст-ние предлагалось в журнал «Юность», но не было опубликовано.

953. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 113. Л. 2. Написано, скорее всего, в конце 1972 г., так как на предыдущем листе напечатано ст-ние «Амундсену» со сделанной рукой автора записью о публикации: «Знамя № 11 — 1972».

954. Юность. 1973. № 8.

955. Юность. 1973. № 8. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 55. Л. 20.

956. *Шсб-4*, по черновому автографу, с вар.: перед ст. 1 «Короткие дороги / И длинные мосты. / Их было слишком много / Для пленника мечты. // Дорожки, переходы / Подземных галерей, / Где даже и свобода / Сырой земли сырей»; отсутствуют строфы 4, 5, 8–11, 13, 14; строфа 7 переставлена после строфы 12. Автографы — Ед. хр. 47. Л. 35, черновой (тетрадь 1972 г.); Ед. хр. 92. Л. 40–43, беловой, с пронумерованными автором строфами. В тетради с автографом (Ед. хр. 47. Л. 32) ст-нию предшествует запись: «Че и Гарибальди. Разница очень велика. Гарибальди — трудовая жизнь, я не солдат (после боя?). Че — я не врач, а солдат». Ст-ние предлагалось в журнал «Юность» (фигурирует в списке ст-ний, предложенных в этот журнал, — Ед. хр. 44. Л. 70 об.), но там не опубликовано. Печ. по беловому автографу.

В тетради 1973 г. имеется отдельный набросок с загл. «Гевара-II» (Ед. хр. 51. Л. 22; тетрадь «1973-IV»):

Но в чем единственность Гевары,
В чем суть?
В том, что сумел на путь свой старый
Себя вернуть,

Чтоб наподобие Икара
Во тьме блеснуть.

Шаламов с восхищением относился к личности латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары (1928–1967), видя в нем свой идеал нравственного поведения — «*единства дела и высших слов*». Этот критерий Шаламов распространял и на литературу. Ср. его фразу из записных книжек 1972 г.: «Как ни хорош роман „Сто лет одиночества“, он просто ничто, ничто по сравнению с биографией Че Гевары, по сравнению с его последним письмом...» (*ЗапКн*. С. 334). В последнем письме к родителям Э. Че Гевара писал: «Я снова чувствую своими пятками ребра Росинанта, снова, облачившись в доспехи, я пускаюсь в путь <...>. Я искатель приключений особого рода, из той породы, что рискуют своей шкурой, дабы доказать свою

правоту» (Лаврецкий И. Эрнесто Че Гевара. М., 1972. С. 241). *Я видел в самом деле... по радио и теле.* — Э. Че Гевара вместе с Ф. Кастро приезжал в СССР в 1961 и 1962 гг. В архиве Шаламова ст-ние сопровождает вырезка из газеты «Правда» от 11 октября 1972 г. с заметкой: «Куба широко отметила День героического партизана в память Че Гевары, погибшего 5 лет назад в Боливии». *Отрубленные руки* — после ареста и расстрела Э. Че Гевары в 1967 г. у него были отрублены кисти рук и представлены для доказательства его смерти боливийскому диктатору Р. Барриентесу (см.: Там же. С. 326). Для Шаламова этот факт имел мрачно-символическое значение, поскольку в *КР* он сам писал о подобных случаях на Колыме, когда у убитых в тайге лагерных беглецов охранники НКВД отрубали руки и приносили их начальству в качестве доказательства убийства (рассказы «Зеленый прокурор», «Галина Павловна Зыбалова» — *ВШ7*. Т. 1. С. 604; Т. 2. С. 322).

957. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 12.

958. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 48. Л. 15 (тетрадь «Январь 1973»).

Иронически обыгрывается ст-ние Пушкина «Поэт» (1830). Характерно, что Шаламов изменил пушкинскую строку «Мы рождены для вдохновенья» на «Мы рождены для назиданья»: очевидно, что он имел в виду не дидактизм поэзии или прозы (который он яростно отрицал), а поучительность собственной судьбы.

959. *ТК*. Автографы — Ед. хр. 48. Л. 26 (черновой); Ед. хр. 56. Л. 8 об. (беловой).

...Кончен полет. / Призрачно сини / Небо и лед. — Ср.: «Этот грузный полет, / Этот нищенски синий / И заплаканный лед» (И. Анненский, «Снег», <1909>).

960. *ВШ4*. Т. 3. Автограф — Ед. хр. 48. Л. 34 об.

961. *ТК*. Автографы — Ед. хр. 48. Л. 36 об.–37 об. (черновой), с загл. «Воспоминания о фауне»; Ед. хр. 56. Л. 10 об.–11 об. (беловой).

962. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 48. Л. 39 об.–40.

Подробнее об отношении Шаламова к творчеству *А. А. Голенищева-Кутузова* (1848–1913) см. его письмо В. В. Кожинову (*ВШ7*. Т. 6. С. 588–592).

Классик мелодекламаций — Ср.: «Стихи Голенищева-Кутузова <...> созданы для мелодекламации» (Там же). *Умирающий романс.* — Романсы на стихи поэта писали С. В. Рахманинов, Ц. А. Кюи, А. С. Аренский.

963. Юность. 1981. № 8. Автограф — Ед. хр. 48. Л. 49 об.

964. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 48. Л. 52. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 73.

Снег убродный — рыхлый, глубокий (диалектн.). *...днище* — «якутская мера расстояния временем» (примеч. Шаламова к тексту машинописи).

965. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 48. Л. 52 об. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 21.

Возможно, речь идет об якутской народной примете.

966. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 48. Л. 53.

967. *Шсб-5*. Автографы — Ед. хр. 48. Л. 47 (набросок); Ед. хр. 56. Л. 79–80 об. (беловой).

Поэтические отголоски работы над «Вишерским антироманом», воспоминаний о молодости и первой ссылке. *Пеля, Мыка, Кутим, Ветренка, Вая* — речки в верховьях Вишеры. Те же топонимы встречаются в главах «Вишерского антиромана», в том числе напечатанных недавно (*Шсб-5*. С. 104). *Учащенным страстью пульсом / Билось сердце в устье Улса.* — В лесном поселке Усть-Улс в 1931 г. Шаламов встретился с Г. И. Гудзь, приезжавшей навестить своего ссыльного жениха — несостоявшегося мужа. Брак Шаламова с Г. И. Гудзь был заключен в Москве в 1934 г. См. также № 1178 и примеч.

968. *Шсб-5*. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 77 (1973); Оп. 3. Ед. хр. 86. Л. 1 (среди ст-ний, отклоненных издательством «Советский писатель» из сб. *ТК*).

Капля меда в дегтя бочке. — Ср.: «Мед и яд вступают в спор» в ст-нии «Отравители колодцев» № (952). *Собиралась с той же кочки* — вероятно, аллегория «лагерной темы». *На рассвете той же ночки* — возможно, аллегория «оттепели». Следуя этой интерпретации, ст-ние можно рассматривать как попытку Шаламова в мягкой, соответствовавшей условиям цензуры форме откликнуться на «Архипелаг ГУЛАГ», выразив свои эстетические, а также идейные расхождения с Солженицыным. В гораздо более прямой и жесткой форме эти расхождения воплощены в 1974 г. в «Неотправленном письме Солженицыну» (*ВШ7*. Т. 5. С. 365–367). Подробнее: Есипов В. В. Шаламов и «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына // *Шсб-5*. С. 282–333. См. также № 1260 и примеч.

969. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 86. Л. 6, среди ст-ний, не вошедших в *ТК*.

Возможно, образ *подводного лова* перекликается со строками: «Я был неизвестным солдатом / Подводной подземной войны» (№ 1069).

970. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 48. Л. 81–81 об.

971. *ТК*. Автографы — Ед. хр. 48. Л. 83; Ед. хр. 49. Л. 2 об., с посвящением «Л. Т.» (Л. И. Тимофееву).

См. примеч. к. ст-нию «Некоторые свойства рифмы» (№ 580). Л. И. Тимофееву было адресовано доверительное письмо Шаламова от 27 февраля 1972 г. с объяснением причин письма в *ЛГ* (см.: *ВШ7*. Т. 6. С. 575–576). *Стихи — это боль и защита от боли / И если возможно — игра...* — кредо Шаламова-поэта, которому он следовал с первых колымских стихов. Образ «*бубенчиков*» восходит, скорее всего, к шаманизму, с которым Шаламова связывал происхождение поэзии как своего рода заклинания. Ср. раннее колымское ст-ние «Зачем, зачем он пляшет, чуть дыша...» (№ 1163).

972. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 48. Л. 83–85. Машинопись — Ед. хр. 86. Л. 31, среди ст-ний, не вошедших в *ТК*.

Речь идет о вологодском Софийском соборе. Ср. его описание в *ЧВ* (С. 12–14).

973–978. *ТК*. Автографы — Ед. хр. 49. Л. 3–15 (тетрадь «Февраль–март 1973»).

В машинописных материалах к сб. *ТК*, не вошедших в сб. (Ед. хр. 86. Л. 22), имеется еще одно ст-ние, близкое по тематике к комментируемому циклу:

Что стихи? — Литература!
Перья, счастье и талант…
Матерьяльная культура
Вносит самый важный вклад.
Этот вклад — науки клад.

Наши гости — наши кости,
Камешки и черепки,
Извлеченные с погоста
Возле Ангары-реки,
Где сползали ледники.

Цикл складывался постепенно, с 1971 г. (см. № 932 и примеч.). Основным импульсом для создания цикла послужило, очевидно, посещение Шаламовым Музея естественных наук им. Тимирязева, где хранились работы М. М. Герасимова. Ср. его запись 1973 г.: «В Тимирязевском музее его многочисленные сотрудники смотрели на меня как на марсианина или на ископаемое, вроде неандертальского воскрешенного — никто никогда, кроме экскурсий, в музее не бывает. Вход бесплатный...» (*ВШ7*. Т. 5. С. 338). *Палеолит* — древнейший период истории человечества, каменный век. Интерес к этому периоду у Шаламова объясняется его «антропологическим пессимизмом» — убеждением в том, что «человеческий тип синантропа мало чем отличается от современника, изучающего кибернетику и ритмы Гете. Фашизм, да и не только фашизм, показал полную несостоятельность прогнозов, зыбкость пророчеств, касающихся цивилизации, культуры, религии» (*ЧВ*. С. 9). Другим важным фактором этого интереса являлась проблема происхождения искусства, которой был увлечен Шаламов. Об этом свидетельствует библиография, сопровождающая черновые автографы цикла: в ней значатся монографии З. Абрамовой «Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии» (М; Л., 1966) и «Палеолитическое искусство на территории СССР» (М.; Л, 1962), которыми, вероятно, пользовался Шаламов. *...мадонна Литта* — картина из собрания Государственного Эрмитажа, приписываемая Леонардо да Винчи. *Мальта* — село в Иркутской области,

где в конце 1920-х гг. М. М. Герасимовым была обнаружена и описана стоянка времен палеолита с костями мамонта и пр.

979. *ТК.*

Обращено к И. Сиротинской.

980. *ТК.* Машинопись — Ед. хр. 86. Л. 5.

Обращено к И. Сиротинской.

981. *ПражскСб.* Автограф — Ед. хр. 49. Л. 64–65 (продолжение текста неразборчиво).

Шаламов начал передавать свои рукописи в Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ, ныне *РГАЛИ*) еще в 1966 г., благодаря советам И. Сиротинской. В данном случае решительная фраза «*только в ЦГАЛИ*» означает полный отказ от любых других мест хранения произведений, что могло бы вызвать их бесконтрольное распространение. Ср. в записной книжке 1972 г.: «Ни одна сука из „прогрессивного человечества" к моему архиву не должна подходить» (*ЗапКн.* С. 332). К сожалению, сдать все свои материалы в государственный архив он не успел, и в 1978 г. из квартиры больного Шаламова были произведены незаконные изъятия, не восстановленные до сих пор. См. преамбулу к комментарию в т. 1 наст. изд.

982. *ПражскСб.* Автограф — Ед. хр. 49. Л. 83.

В сентябре 1972 г. в связи со сносом старых домов на Хорошевском шоссе, где он жил, Шаламов получил комнату на ул. Васильевской, д. 2, корп. 6 (см. примеч. к № 948, 950), неподалеку от посольства Чехословакии в СССР. Ст-ние запечатлело его первые впечатления от нового соседства. *Истеричный цветаевский крик / Не годится на чешский язык.* — С глубоким уважением относясь к творчеству М. Цветаевой (см. цикл «М. Цветаевой», № 817–819 и примеч.), Шаламов с раздражением воспринимал «по-женски» аффектированную стилистику многих ее стихов, а также статей и писем. Ср. запись 1965 г.: «Письма Цветаевой Пастернаку — экзальтированной литературной дамы» (*ВШ7.* Т. 5. С. 290).

983. *ПражскСб.* Автографы — Ед. хр. 52. Л. 10, с вар.: ст. 1 «Расплывчатая нация», исправлено на «Распутственная...»; Ед. хр. 56. Л. 44 (беловой).

Изменения общей характеристики в ст. 1 происходили, очевидно, по мере более близкого знакомства с повседневной жизнью сотрудников чехословацкой миссии. Итоговый эпитет «*решительная*», вероятно, включает в себя оценку событий 1968 г. Не исключено, что Шаламов приглашался на какую-то встречу в культурный центр посольства — о чем говорит и описываемое им «*приличие застольное*», и отмеченное с некоторой завистью содержание книжной лавки — «*от Гашека до Кафки*».

984. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 51. Л. 27–28 (тетрадь «1973–IV»).

Ср. «Отдавал предпочтенье Асееву» (№ 1075).

985. *ВШ4*. Т. 3. Автограф — Ед. хр. 51. Л. 91 об.

Ст-ние связано с С. Есениным, на что указывают *черный гость* («Черный человек», 1923), *песенный плен* («Хулиган», 1920), упоминание *петли*. *Петел* (устар.) — петух.

986. *ВШ4*. Т. 3. Автограф — Ед. хр. 52. Л. 3 (тетрадь «1973–V», июль–август 1973 г.).

Обращено к И. Сиротинской. *И вырвало у смерти жало...* — Ср.: «Смерть! где твое жало?» (1 Кор. 15: 55).

987. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 52. Л. 6.

Обращено к И. Сиротинской.

988. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 52. Л. 20.

Я новая форма рассказа... — О новаторстве своей прозы Шаламов заявлял неоднократно (ср.: «О прозе» — *ВШ7*. Т. 5. С. 144–147; «<О новой прозе>» — Там же. С. 157–160). *Я новая форма стиха.* — О новаторстве поэзии Шаламова см. вступ. статью к наст. изд.

989. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 59.

Пляж в Серебряном бору на Москве-реке был любимым местом летнего отдыха Шаламова. После переезда в центр города он с большим трудом, но все-таки добирался туда.

990. *Шсб-5*. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 59 об.

991. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 52. Л. 21 об.

Речь идет о негативных толках вокруг письма в *ЛГ* в среде московской либеральной интеллигенции. Распространялись и слухи о психическом нездоровье Шаламова, но основная версия заключалась в том, что его, якобы, «заставили» написать это письмо, что он «сломался» и «сдался» властям, «отрекся» от «Колымских рассказов» (см.: *ЖЗЛ*. С. 298–305). Ср. в записной книжке 1972 г.: «Это клеймо сойдет само собой, это не блатная татуировка» (*ЗапКн*. С. 332).

992. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 52. Л. 23.

Увлечение словарем В. Даля было свойственно А. Солженицыну. Ср. также в «Неотправленном письме Солженицыну»: «Даль — это Даль, а не боль...» (*ВШ7*. Т. 5. С. 366).

993. *ПражскСб*. Автографы — Ед. хр. 52. Л. 26 (черновой); Ед. хр. 56. Л. 56 (беловой).

Литературовед — в данном контексте, очевидно, обобщенный образ политически ангажированного комментатора зарубежных изданий *КР*.

994. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 52. Л. 70.

Как известно, за все многочисленные публикации своих рассказов на Западе (библиография приведена М. Николсоном в: *Шсб-1*. С. 211–215) Шаламов не получил никакого гонорара. Подробнее см.: Ригосик А. «С ним обращались, как с мертвым...» // *ПражскСб*. С. 259–264.

995. Публикуется впервые. Беловой автограф — Ед. хр. 56. Л. 71. Набросок к этому ст-нию опубликован в: *Новая книга*. С. 351 (в составе записной книжки лета 1973 г.):

Дал вам поблажки, дал вам отсрочки,
Милые, вдаль уходящие строчки.
Ну, а теперь поднимаю я кнут —
Ну-ка скажите, как вас зовут.

Без завещания... — Речь идет о примере Б. Пастернака. Ср. запись Шаламова в той же тетради (Ед. хр. 52): «Б. Л. умер без завещания от суеверия...» (*ВШ7*. Т. 5. С. 341). Сам Шаламов завещал свои авторские права И. Сиротинской еще в 1969 г.

996. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 52. Л. 70 об.

Возможно, связано с планами поездки в Сухуми, к сестре. *Огнепоклонница-сестра* — сестра, Г. Т. Сорохтина (см. № 627 и примеч.), сожгла рукописи Шаламова после его первого ареста (см.: *Восп*. С. 553–557).

997. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 52. Л. 71.

Холодная война убила Пастернака. — Ср. формулу «Пастернак — жертва холодной войны» в «Неотправленном письме А. Солженицыну» (*ВШ7*. Т. 5. С. 367).

998. *НМЖ*, без последней строфы. То же: *ВШ4* и *ВШ7*. Автографы — Ед. хр. 52. Л. 81–82, с неразборчивой третьей строфой, с вар.: ст. 2 «тонкую науку», зачеркнуто, исправлено на «подлую науку», зачеркнуто, исправлено на «гнусную науку»; Ед. хр. 56. Л. 37 об.–38 с вар.: ст. 2 «гнусную науку». Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 23. Печ. по машинописи.

Очевидно, что И. Сиротинская при первых публикациях этого ст-ния пользовалась лишь ред. Ед. хр. 52. Полный текст ст-ния впервые прозвучал в закадровом тексте документального фильма А. Свиридовой и А. Ерастова «Несколько моих жизней» (1990), где иллюстрировался съемками колымских лагерей. То есть, по мнению авторов фильма, объектом мести автора и его лирического героя являются лагерные палачи и весь советский режим. Однако контекст — содержание рукописи Ед. хр. 52 в целом, с ее инвективами против «прогрессивного человечества» и западных деятелей холодной войны, а также заглавие «Славянская клятва» и наличие вариантов эпитетов о «тонкой» и «гнусной» «науке» («тонкая» — вполне определенно не приложима к деятельности палачей), — указывает на правомерность иной интерпретации: гнев Шаламова адресован не в прошлое, а в современность — всем тем, кто занимался литературным «грабежом» и политической эксплуатацией его рассказов и его имени, кто организовал его общественную обструкцию и привел к изоляции после письма в *ЛГ*. Подробное обоснование данной точки зрения см. в: Есипов В. Кто же эти «суки»? // *Шсб-5*. С. 498–507. *Из вражеского черепа, как делал Святослав.* — Шаламов сознательно трансформирует летописную легенду, согласно которой из черепа убитого древнерусского князя

Святослава Игоревича (IX в.) пил его победитель печенежский князь. Подобный обычай существовал среди всех древних племен (норманнов, германцев, славян и др.). Очевидно, что ст-ние имеет антизападнические коннотации, являясь, в сущности, поэтическим вариантом письма в *ЛГ*. Пафос и «славянские» мотивы ст-ния, несомненно, опираются на русскую литературную традицию, связанную с известным пушкинским ст-нием «Клеветникам России» (1831) и блоковскими «Скифами» (1918).

999. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 83.

Расположение ст-ния в рукописи вслед за предыдущим и его пафос («*...все запасы сына отчизны. / Все обязательства, жизнь и честь*») указывают на прямую связь со ст-нием «Славянская клятва» (№ 998).

1000. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 3. Л. 21 об. (*СТ*), с загл. «Ветка». Машинопись — Ед. хр. 115. Л. 46.

Двойная датировка дана с учетом того, что последняя редакция ст-ния находится в указанной папке после машинописи ст-ния «Славянская клятва» (№ 998).

1001. Юность. 1974. № 11. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 63 об. Черн. вар. первой строки: «Измерены звездные сети».

Я не перелетная птица. / Я около дома живу — парафраз известной песни на слова М. Исаковского «Летят перелетные птицы» (1948).

1002. *ПражскСб.* Автограф — Ед. хр. 54. Л. 5.

Прогрессирующая глухота стала одной из причин того, что Шаламов после 1973 г. почти перестал писать прозу. См.: *ИСвосп.* С. 15. Упоминание *немого кино,* возможно, связано с посещением расположенного рядом на ул. Васильевской Дома кино, где проводились сеансы немого кино, любимого Шаламовым с детства. Следует заметить, что Шаламов чрезвычайно высоко ставил фильмы Ч. Чаплина и его мемуары «Моя жизнь» («О прозе» — *ВШ7.* Т. 5. С. 146).

1003. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 55. Л. 14–16. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 37.

1004. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 86. Л. 8. Отклонено редакцией сб. *ТК.*

Вероятно, ст-ние связано с чувством исполненного главного писательского долга: в 1973 г. Шаламов завершил работу над последним сборником *КР* «Перчатка или КР-2». *Штукатурный сокол* — инструмент для окончательной отделки (затирки, шлифовки) поверхности. *Ручник* — род плотничьего молотка.

1005. *ЛО.* 1989. № 1 (публ. Ю. Шрейдера). Автограф — Ед. хр. 55. Л. 24–24 об. (тетрадь 1973 г.).

Ср. в записной книжке того же года: «Ежедневная месса леса» (Ед. хр. 62. Л. 12).

1006. *НМЖ.* Автограф — Ед. хр. 56. Л. 2.

Имеется в виду хождение Шаламова по редакциям, часто бесплодное.

1007. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 20 об. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 74.

1008. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 40.

1009. Юность. 1974. № 11. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 61 об.

Дежневскими карбасами. — Ср. «Семен Дежнев» (№ 758) и примеч.

1010. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 62.

Еще одна прощальная улыбка / И летопись окончена моя — иронический парафраз начальных строк монолога летописца Пимена из пушкинского «Бориса Годунова».

1011. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 75.

О. М. Брик (1888–1945) — филолог, один из теоретиков ЛЕФа. Шаламов в 1928 г. занимался в его домашнем кружке при «Новом ЛЕФе», сталкиваясь с презрением «мэтра» к поэзии (*Восп.* С. 340–341).

1012. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 63. Данная Ед. хр. состоит из 11 тонких тетрадей с общей датировкой 1973 г.

Крайне негативный контекст, в который здесь вписано имя Г. Белля, обусловлен, скорее всего, той поддержкой, которую оказывал немецкий писатель А. Солженицыну, крайне нелюбимому Шаламовым и воспринимавшемуся им как «орудие холодной войны». Шаламов встречался с Г. Беллем в Москве, в ЦДЛ, в 1970 г. Во время этой короткой встречи немецкий писатель сказал о своем знакомстве с рассказами Шаламова, вышедшими на Западе, чем Шаламов, по свидетельству Г. Воронской, был польщен. См.: Воронская Г. Воспоминания о В. Т. Шаламове // *ЛО*. 1990. № 10. Однако еще в 1968 г. Шаламов пытался протестовать против «пиратского» издания своих рассказов в ФРГ в 1967 г. под загл. «Artikel 58» издательством «Middelhauve Verlag» (набросок его письма в издательство см.: *ВШ7*. Т. 7. С. 364; подробности см. в письме Шаламову его юридического консультанта, бывшего воркутинского заключенного М. Н. Авербаха — *ВШ7*. Т. 6. С. 628–629).

1013. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 56. Л. 72, с вписанными последними двумя строфами. Машинопись с правкой — Ед. хр. 86. Л. 40–42, без последних двух строф. Предлагалось в сб. *ТК*, но было отклонено. Печ. по автографу.

Первоначальное название — «Мичман Ильин». Замысел поэмы о Ф. Ф. Раскольникове (1892–1939) возник у Шаламова, вероятно, одновременно с документальной повестью о том же герое, написанной в 1973 г. («Федор Раскольников» — *ВШ7*. Т. 7. С. 85–102). Личность этого известного и яркого деятеля революции привлекала Шаламова не только его героико-романтическим прошлым, любовью к Л. Рейснер и литературной деятельностью, но прежде всего — его открытым письмом Сталину, написанным в 1939 г. во Франции, где Раскольников-дипломат вынужден был стать невозвращенцем ввиду неминуемой гибели в годы сталинского террора.

Прямота и смелость этого письма, распространявшегося в самиздате 1960-х гг., глубоко импонировали Шаламову, однако, несмотря на партийную реабилитацию Раскольникова в 1963 г., его разоблачения Сталина остались под запретом. Понимая это, Шаламов пытался хотя бы вскользь упомянуть о письме Раскольникова Сталину (*«Клубок горящих строк — / Урок сопротивленья»*), не пренебрегая и толикой официоза (*«Урок, как встретить рок / Партийным поведеньем»*), но все эти усилия оказались напрасными. Исторические реалии, связанные с биографией Раскольникова, прокомментированы в издании повести в: *ВШ7*. Т. 7.

1014. Юность. 1974. № 11, *ТК*. Автограф — Ед. хр. 60. Л. 11 (тетрадь «1974»), с вар.: ст. 1 «Тернистым путем модерниста». Беловой автограф — Ед. хр. 63. Л. 8, как начальное ст-ние цикла «Пять отрывков о Блоке».

Напомним, что наиболее выдающимся и близким себе русским поэтам XX в. Шаламов посвятил поэтические циклы: Б. Пастернаку (№ 720–727), М. Цветаевой (№ 817–819), А. Ахматовой (№ 848–851). Не мог он обойти и своего любимого А. Блока. Об особо трепетном отношении к Блоку говорят и *Восп* Шаламова, где он пишет, что от футуристов его оттолкнула прежде всего их «какая-то звериная ненависть к Блоку» (см.: *ВШ7*. Т. 4. С. 342), и блоковский эпиграф к *КТ*, и эссе Шаламова — например, «Сельвинский и Блок» (*ВШ7*. Т. 5. С. 112–114), и не опубликованные пока записи о Блоке (Ед. хр. 183) с характерной фразой: «Блок — вне шпаны, вне ее эстетических категорий, в то время как Есенин — символ» (Л. 23). На склоне лет у Шаламова — очевидно, по примеру «Четырех отрывков о Блоке» Б. Пастернака (1956), — появился замысел написать «Пять отрывков о Блоке» (это название фигурирует в тетради 1974 г. (Ед. хр. 57), однако он успел довести до стадии завершения только два ст-ния. Еще два незавершенных ст-ния публикуются ниже, в конце примечания. Пятое ст-ние не найдено: возможно, имевшиеся в нем несколько важных строк о Блоке вошли в ст-ние «Нас водило перо Пастернака…» (№ 1065). Характерно, что в своем цикле Шаламов использовал ритмику «Четырех отрывков о Блоке» Б. Пастернака. Центральной темой двух ст-ний является поэма Блока «Двенадцать». Шаламов высоко ценил эту поэму с юности (прочтя ее еще школьником в Вологде в издании с рисунками Ю. Анненкова). *Мониста, цыганки, желтые закаты* — распространенные блоковские мотивы (ср. строки «И на желтой заре — фонари», «...монисто бренчало, цыганка плясала» из ст-ния «В ресторане», 1910) . *«Двенадцати» резки плакаты...* — Очевидно, имеется в виду плакатно-символическая стилистика поэмы (образы Петрухи, Катьки, «буржуя» и др.), подчеркнутая рисунками Анненкова. *И в вечность летящий рысак* — реминисценция строк из «Трех посланий» А. Блока (1910): «...Над бездонным провалом в вечность, / Задыхаясь, летит рысак». *Конем Фальконета* — имеется

в виду памятник Петру I работы Э. Фальконе («Медный всадник»). Следует учитывать, что для Шаламова «медный всадник» — символ особого значения, ср.: «Мне кажется, что особое место, которое литература, потеснившая историю, мифологию, религию, занимает в жизни нашего общества, досталось ей не из-за нравственных качеств, моральной силы, национальных традиций, а потому, что это единственная возможность публичной полемики Евгения с Петром. В этом ее опасность, привлекательность и сила...» (из письма к Ю. Шрейдеру от 24 марта 1968 г. — *ВШ7*. Т. 6. С. 536).

Ниже приводятся два незавершенных ст-ния из «Пяти отрывков о Блоке» (Ед. хр. 63. Л. 8–8 об.; 1975–1976).

3

Блок верил в концы и начала[1]
И их исповедовал сам,
И в необходимость причала
Любым неземным кораблям.

Запущенные в пространство,
В космический рай или ад,
Они с неземным постоянством
Всегда возвращались назад.
(Далее — нрзб)

4

Встречавший немало рассветов
С вином, бушевавшим в крови,
Блок был и остался поэтом
И лириком первой любви.

Та юношеская сила
И вера в свою звезду
Вела его к тесной могиле
В чужом соловьином саду[2].

И с тенью желанной встречи,
Зовущий на помощь ее,
Блок гладил умершие плечи,
Спасая наследство свое.
(Далее — нрзб)

---

[1] Ср. пролог поэмы А. Блока «Возмездие» (1911): «Но ты, художник, твердо веруй / В начала и концы, ты знай, / Где стерегут нас ад и рай...»

[2] Аллюзия на поэму А. Блока «Соловьиный сад» (1915).

1015. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 60. Л. 17 об.

Своими, своими руками... — Как известно, А. Блок с воодушевлением встретил революцию 1905 г. и на одной из демонстраций нес красное знамя. *Он сам — тот Христос с красным флагом...* — Отождествление Блока с Христом последних строк поэмы «Двенадцать» призвано подчеркнуть заветную мысль Шаламова о родственности нравственно-жертвенной миссии поэта миссии христианской.

1016. *ТК*.

1017. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 60. Л. 4.

Золотые сортиры / Изготовил стране. — Подразумевается работа Шаламова на Колыме на добыче золота. *Этой ленинской фразой...* — Имеется в виду фраза из статьи В. И. Ленина «О значении золота теперь и после полной победы социализма» (1921): «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира. Это было бы самым „справедливым" и наглядно-назидательным употреблением золота для тех поколений, которые не забыли, как из-за золота перебили десять миллионов человек и сделали калеками тридцать миллионов в „великой освободительной" войне 1914–1918 годов...» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 225).

1018. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 61. Л. 3.

1019. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 61. Л. 4.

1020. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 61. Л. 20 и об.

1021. *ТК*. Автограф — Ед. хр. 61. Л. 28.

О Фете см. также ст-ние «Я доволен прогулками...» (№ 582).

1022. Публикуется впервые. Автограф — Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 78.

1023. *ВШ4*. Т. 3. Автограф — Ед. хр. 58. Л. 62 об. (тетрадь 1974 г., зафиксировавшая первую поездку в Крым, в санаторий Литфонда в Коктебеле).

1024. *ДП-1975*.

Кафа (Каффа, Кефе) — название Феодосии в Средние века и вплоть до вхождения в состав Российской империи.

1025. *ТК*. Машинопись — Ед. хр. 86. Л. 13. В машинописных материалах к сб. *ТК*, не вошедших в сб. (Ед. хр. 86. Л. 2), имеется еще одно ст-ние, которое можно рассматривать как «парное» к комментируемому.

1026. *ТК*.

1027. *ТК*.

С 1945 г. поселок Коктебель официально назывался Пла́нерское. Шаламов называл его «Планёрское» в соответствии с правилами («планёр» — безмоторный летательный аппарат). *Долина синих скал* — один из вариантов перевода слова «Коктебель» с крымскотатарского. *Кок-сагыз* — название крымского горного растения,

возможно, Шаламов счел его топонимом. *Важней завета Магомета / Природы новое лицо* — повторение наукоцентрической идеи ст-ния «Асуан», № 922 («Для мира Асуан / Важнее сур Корана»). *Не «королева» — Королёва / Назвать хотелось бы утес.* — «Король и Королева» — название скал на Карадаге, неподалеку от Коктебеля. Шаламов иронически «переименовывает» скалу в честь конструктора космических кораблей С. П. Королева. В 1920-е гг. в Коктебеле проводились соревнования планеристов и испытания планеров, в которых активное участие принимал С. П. Королев. Небезразлично для Шаламова было и то, что в 1930-е гг. Королев был репрессирован.

1028. *ТК.*

1029. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 86. Л. 32. Предлагалось, но не вошло в *ТК.*

Тайнобрачные, скрытноцветные — группа растений, не имеющих цветков (по классификации Линнея). В настоящее время в отдельную группу не выделяются. *Ценные антибиотики...* — Некоторые виды плесени являются источником антибиотиков.

1030. *ТК.*

Гален Клавдий — выдающийся врач античности. Вероятно, Шаламов запомнил его имя еще с фельдшерских курсов на Колыме.

1031. *ТК.* Автографы — Ед. хр. 92. Л. 50–61.

Биогеоценоз — экологическая система, ее состояние.

1032. *ТК.*

1033. Публикуется впервые. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 31.

1034. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 62. Л. 40, с датой «1974». Вар. первой строфы: «Мое тайное оружие. / Пара затаенных плюх. / Послужило верной службою, / Укрепило плоть и дух»; вар. последней строфы: «Это Пушкина поступок / По движению души» (Там же. Л. 40 об.).

Ср. *ИСвосп.*, гл. «Универсальное средство».

1035. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 62. Л. 5 (тетрадь 1975 г.).

1036. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 62. Л. 11.

Ср. ст-ние «Я все приму — позор, безвестность...» (№ 541).

1037. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 62. Л. 78.

Имеется в виду, скорее всего, редакция издательства «Советский писатель». *Кунштюк* (от нем. Kunststück) — уловка, трюк.

1038. *ЛО.* 1989. № 1 (публ. Ю. Шрейдера).

У Шекспира, как известно, 154 сонета. По свидетельству Ю. Шрейдера, Шаламов таким образом откликнулся на его шутку с собственной попыткой написать 155-й сонет и написал свой сонет экспромтом весной 1975 г. Ранее форму сонета Шаламов пытался использовать на Колыме и в Якутии. См. № 1200, 1201, 1204.

1039. Юность. 1976. № 10. Вар. третьей строки: «Но лишь к душе подступит утро» исправлен автором в журнале, подаренном

Ю. Шрейдеру. Вар. последних строк ст-ния также был иным: «Отвергнуть их имею право, / Но не стихи», и также исправлен автором в том же журнале (см.: Шрейдер Ю. Варлам Шаламов — возвращаемые строки // Химия и жизнь. 1991. № 2. С. 33–35).

Всю подборку в этом номере «Юности» (№ 1039–1045) Шаламов называл «ялтинским циклом». В связи с этим в ноябре 1976 г. он писал Г. А. Воронской: «...Первое стихотворение „Мой день расписан по минутам..." продолжает знаменитую лермонтовскую „Русалку". У Лермонтова было пять „о" подряд: „Русалка плыла по реке голубой / Озаряема полной луной". Пастернак пробовал: „О, вольноотпущенница. Если вспомнится..." Я тоже выступил: четыре „о" подряд: „Прочь этот ворох старых писем / Их шорох — гром". Здесь на две строки целых пять „о". Стихотворение родилось тогда, когда была найдена новинка „шорох–гром" с тремя „о". Стихи пишут по законам звуковых повторов — что я и показываю во всем ялтинском цикле.

Стихотворение о Чехове — давнее мое желание рассчитаться с родственниками Чехова за этот музей, за этот дом-комод, где М. П. Чехова жгла чеховские письма и вымарала все, что казалось ей опасным для семьи[1]. „Дом-комод"[2] — это музей родственников Чехова, а не его самого. К сожалению, меня не было в Москве (я был в больнице и не настоял на том, чтобы оставить последнюю строку — „Юмористики лишила"): А. П. Чехов после Сахалина (с 1890) прожил целых 14 творческих лет, не написал ни одного юмористического рассказа, хотя именно ими он и вошел в литературу...» (*ВШ7*. Т. 6. С. 265).

1040. Юность. 1976. № 10.

1041. Юность. 1976. № 10.

1042. Юность. 1976. № 10.

Поскольку поездка состоялась в октябре, *зимняя шапка* была уместна по возвращении в Москву. Однако *тулуп нагольный* — очевидная гипербола.

1043. Юность. 1976. № 10.

1044. Юность. 1976. № 10, с вар.: ст. 10 «Обнажила, обнажила...». Автограф — Ед. хр. 65. Л. 93 об. В экземпляре, подаренном Ю. Шрейдеру, Шаламов сам также исправил последнюю строку (см.: Шрейдер Ю. Варлам Шаламов — возвращаемые строки // Химия и жизнь. 1991. № 2. С. 33–35).

Он покинул дом-комод... — Имеется в виду отъезд А. П. Чехова из своего московского дома, который он в письмах называл «комодом», на Сахалин в 1890 г. Давнее убеждение Шаламова в переломном

---

[1] Речь идет, очевидно, о слухах. М. П. Чехова действительно редактировала 6-томное издание переписки А. П. Чехова (М., 1912–1916), делая некоторые купюры, но фактов сожжения писем брата-писателя не зафиксировано.

[2] См. № 1044 и примеч.

влиянии на творчество Чехова его сахалинской поездки 1890 г. основывалось на многих свидетельствах. Еще в записной книжке 1954 г. он приводил слова из очерка М. П. Чеховой о старшем брате: «Приезжал сюда (в Богимово) Суворин, велись беседы, как и прежде, но уже заметно было, что А. П. был не тот, каким был в Бабкине и на Луке и что поездка на Восток состарила его и душевно, и телесно» (*ЗапКн.* С. 257). Шаламов, исходя из своего колымского опыта, считал эту эволюцию Чехова закономерной и неизбежной. См. также примеч. к № 1039.

1045. Юность. 1976. № 10.

Небесная крыша — Памир.

1046. Москва лирическая: Антология одного стихотворения. М., 1976. С. 456.

На экз., подаренном И. Сиротинской, есть надпись: «Ирине Павловне — от 1/300 части авторского коллектива. С уважением В. Шаламов. Москва. 18 июня 1976 г.».

1047. Вопросы литературы. 1989. № 5 (в составе письма Ю. Шрейдеру); представляет собой экспромт, вариацию темы, заданной корреспондентом. См.: *ВШ7.* Т. 7. С. 349–352.

1048. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 63. Л. 2 (тетрадь 1976 г. с надписью «Стихи на Васильевской»).

Обращено к И. Сиротинской и связано с расставанием с нею (см.: *ИСвосп.* С. 47–48). *Островок Бимини...* — См.: *ИСвосп.* С. 18–19 (гл. «Бимини»). Название восходит к поэме Г. Гейне «Бимини», переведенной Н. Гумилевым (1920), где воспевается этот «остров счастья», один из Багамских островов. *Второго марта* (1966 г.) — день знакомства Шаламова и И. Сиротинской. См. № 852 и примеч.

1049. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 63. Л. 3.

Связано с расставанием с И. Сиротинской (см. № 1048 и примеч.).

1050. Публикуется впервые Автограф — Ед. хр. 63. Л. 3 об.

1051. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 63. Л. 5.

1052. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 63. Л. 6.

О стихах как «антихристовом деле», о том, что это «дар Дьявола, а не Бога», Шаламов полемически писал в письме к Ю. Шрейдеру от 1 сентября 1975 г. (*ВШ7.* Т. 6. С. 553–554).

1053. *ТК.* Автограф — Ед. хр. 63. Л. 27 (черновой); Ед. хр. 65. Л. 9–10 (беловой; тетрадь «Сентябрь–октябрь 1976 г.»).

1054. *ЛО.* 1989. № 1 (публ. Ю. Шрейдера). Автограф — Ед. хр. 63. Л. 28.

Воспроизведен эпизод взаимоотношений великого итальянского художника Тициана с его меценатом, императором Священной Римской империи Карлом Пятым (XVI в.), описанный, в частности, Стендалем: «Гордый Карл V поднял этому художнику кисть, которую тот выронил, когда писал с него портрет, и сделал его графом Империи» («История живописи в Италии» — Стендаль. Собр.

соч.: В 15 т. М., 1959. Т. 6). *Два прижизненных портрета...* — Шаламов ведет речь о двух (не считая третьего, конного) портретах Карла V, выполненных Тицианом и резко отличающихся друг от друга.

1055. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 63. Л. 54. Ст-ние написано чернилами, вполне четко, но без каких-либо знаков препинания, которые расставлены публикатором.

Шаламов чрезвычайно взыскательно относился к кинематографу, и ценил лишь немногие фильмы, среди которых был «Чапаев». Легендарный исполнитель роли Чапаева, народный артист СССР Б. А. Бабочкин умер 17 июля 1975 г. от сердечного приступа.

1056. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 64. Л. 63.

Собачья площадка — не сохранившийся район Арбата в Москве, с ним связана оппозиционная молодость Шаламова 1920-х гг. Ср. гл. «Университет» в «Воспоминаниях» Шаламова: «Новый 1929 год я встретил на Собачьей площадке, в чужой чьей-то квартире, в узкой компании обреченных. Ни один из участников вечеринки не пережил 29-го года в Москве, никто никогда больше не встретился друг с другом...» (*Восп*. С. 435).

1057. *ЛР*. 2013. 20 сент. Автограф — Ед. хр. 94. Л. 17.

Вероятно, связано с выходом наиболее полной книги стихов Н. Рубцова «Подорожники» (М., 1976). Подробнее: Есипов В. Неизвестное стихотворение В. Шаламова о Н. Рубцове // *ЛР*. 2013. 20 сент. *Тотемский рай* — имеется в виду Тотемский район Вологодской области, с которым связаны многие лирические стихи Н. Рубцова. Сам Шаламов бывал в Тотьме в школьные годы.

1058. *ЛО*. 1989. № 1; приведено также в письме к Ю. Шрейдеру от 12 октября 1976 г. (см.: Химия и жизнь. 1991. № 2. С. 34). Автограф — Ед. хр. 65. Л. 61 об. На Л. 62 вар. последних строк: «И держать ее все время / В близости — пока / Капнет творческая сила / Моего стиха».

1059. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 65. Л. 100.

В Судейском переулке — место расположения в Ялте Дома творчества Литфонда СССР, где жил Шаламов. Ранее переулок именовался Земским, ныне — ул. Дмитриева (в честь врача, основателя курортной медицины в Ялте). *Процессы* — иронически подчеркнуто Шаламовым (по-видимому, чтобы отчетливее выделить ассоциацию с «Процессом» Кафки, имя которого упомянуто в первой строке).

1060. Россия. 1998. № 3. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 42.

Написано после расставания с И. Сиротинской.

1061. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 66. Л. 6. Записано после (неопубликованного) наброска ст-ния: «Мы расстались по взаимному согласию...» (конец 1976 г.), связанного с вынужденным расставанием с И. Сиротинской. Ср. *ИСвосп*, гл. «1976 год». Ср. также № 1048, 1049, 1060 и примеч.

1062. Знамя. 1990. № 7; *НМЖ*. Дата по *НМЖ* (И. Сиротинской) — 1976 г.

1063. Публикуется впервые. Автограф (неоконченный, печатными буквами) — Ед. хр. 66. Л. 23.

Шаламов высоко ценил А. Мальро как героя французского Сопротивления, соратника глубоко уважавшегося им генерала де Голля, и как культуртрегера. *Он на испанской смелым был пилотом...* — Во время Гражданской войны в Испании Мальро командовал добровольческой эскадрильей.

1064. *ДП-1978.*

1065. *ДП-1978.*

Блокову ветру — очевидно, отсылка к загл. цикла Б. Пастернака «Ветер. (Четыре отрывка о Блоке)». «*Поэт и народ*» — имеется в виду, несомненно, не только статья А. Блока «Народ и интеллигенция» (1908), но и весь пафос творчества поэта в период революции, включая поэму «Двенадцать». См. № 1014, 1015 и примеч.

1066. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 68. Л. 79 (тетрадь «Февраль–апрель 1977 г.»).

Фучик Ю. (1903–1943) — герой чехословацкого Сопротивления, автор книги «Репортаж с петлей на шее», погиб в фашистских застенках; *Карбышев* Д. В. (1880–1945) — советский генерал, в 1941 г. попал в немецкий плен, казнен в концлагере Маутхаузен, Герой Советского Союза (посмертно); *Джалиль* М. (1906–1944) — советский поэт, участник Великой Отечественной войны, в 1942 г. попал в плен, вел активную подпольную работу, за что был казнен в 1944 г. на гильотине в тюрьме Плетцензее в Берлине, Герой Советского Союза (посмертно). Шаламов учился вместе с М. Джалилем в 1926–1928 гг. в МГУ. Ср. очерк «Студент Муса Залилов» (Юность. 1974. № 2; *ВШ7*. Т. 7. С. 82–84).

1067. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 74. Л. 9.

1068. *Новая книга.* С. 357. Автограф — Ед. хр. 74. Л. 21, зачеркнуто загл. «К семидесятилетию».

1069. *Новая книга.* С. 357 (последняя строфа); *ВШ7*. Т. 7, так же. Полностью впервые в наст. изд. Автограф — Ед. хр. 74. Л. 31.

Горбатов, колымский такой генерал. — Шаламов с огромным уважением относился к генералу А. В. Горбатову (1891–1973), репрессированному в 1938 г. и отбывавшему срок на Колыме в 1939–1941 гг. Воспоминания А. В. Горбатова «Годы и войны», впервые опубликованные в «Новом мире» (1964. № 5), Шаламов считал «самым правдивым, самым честным о Колыме, что я читал» (*ВШ7*. Т. 6. С. 307). *Я был неизвестным солдатом / Подводной подземной войны...* — Трагическое самоощущение Шаламова «забытым солдатом» перекликается с его убеждением: «Чтоб кровь была настоящей, безымянной» (*ЗапКн*. С. 352). Возможно, в подтексте отсылка к «Стихам о неизвестном солдате» О. Мандельштама (1937).

1070. *Новая книга.* С. 357 (в составе записных книжек 1978 г., с датой 10 ноября, публ. И. Сиротинской). Автограф — Ед. хр. 76. Л. 41 об.

Я выбрал черную весну — аллюзия на ст-ние И. Анненского «Черная весна» (1906), а также на сходный образ у Б. Пастернака: «...Пока грохочущая слякоть / Весною черною горит» («Февраль. Достать чернил и плакать!..», 1912 (1928)). На связь этих двух ст-ний указывал сам Шаламов в статье «Как сделана „Метель“ Пастернака»: «...Он поставил самым первым стихотворение „Февраль. Достать чернил и плакать“, не исключив из текста чужую анненковскую „черную весну“, ибо без „черной весны“ стихотворение проигрывало бы заметно» (*Шсб-5*. С. 184). См. также вступ. статью и ст-ние, посвященное Анненскому (№ 1225) и примеч.

1071. *Новая книга*. С. 358 (в составе записных книжек начала 1979 г., публ. И. Сиротинской). Автограф — Ед. хр. 77. Л. 11.

Последние стихи (1980–1981 гг.)

Обособление данного раздела объясняется экстраординарными обстоятельствами как биографического, так и текстологического характера. В мае 1979 г. Шаламов был помещен в дом-интернат для престарелых и инвалидов с диагнозом «хорея Гентингтона»[1]. Писать в интернате он не мог по физическому состоянию (почти полная слепота, нарушение координации движений, дрожание рук), но при этом иногда пытался читать написанные ранее стихи, а также сочинять новые. Все это представляло весьма сложный и неоднородный версификационный конгломерат, записать который и разобраться в котором пытались навещавшие поэта И. Сиротинская и А. А. Морозов. Последний, знакомый Шаламова по кругу Н. Я. Мандельштам, сделал свои записи в октябре–ноябре 1980 г. и затем опубликовал их в выходившем в Париже «Вестнике русского христианского движения» (1981. № 1 (133)). Подборка включала 15 ст-ний и имела общий заголовок «Неизвестный солдат». Очевидно, что это название — не авторское, и Морозов дал его самостоятельно. При этом отрывок из услышанных от Шаламова стихов о «неизвестном солдате» — «Я был бы, наверно, военным...» (№ 1069) — не подозревая, что эти стихи написаны до помещения в Дом инвалидов, — публикатор почему-то не ввел в основное содержание подборки, а сделал его эпиграфом к ней[2]. В подборку вошло также написанное еще в 1973 г.

---

[1] Подробнее см.: Левин М. Воспоминания лечащего врача // https:// shalamov.ru/memory/169/; Головизнин М. Чем болел Шаламов. Попытка реконструкции Anamnesis morbi // *Шсб-5*. С. 598–625.

[2] Следует заметить, что текст этого «эпиграфа» далеко не идентичен автографу: он состоит всего из двух строф (средняя исключена), имеющих серьезные разночтения с оригиналом: «Я был бы, наверно, военным / В любые былые года. / Да рубль потерял неразменный / Среди торосистого льда. / Я был неизвестным солдатом / Подводной подземной войны, / Истории важные даты / С моею судьбой

ст-ние «Миллионы прослушал я месс...» (№ 1005) — оно столь резко выделяется своей гармонией среди всех остальных, основанных, как правило, на примитивной, чисто механической рифмовке, либо вовсе не имеющих ее, что публикатору невозможно было не задуматься о его более раннем происхождении.

В послесловии к парижской публикации Морозов писал, что показывал свои записи шаламовских стихов некоторым московским врачам, а также литературоведам и редакторам. Первые говорили о «компрессии» (имея в виду сжатие и нарушение работы мозга), вторые — о «распаде» (очевидно, личности), отказываясь печатать эти записи[1]. Тем не менее, Морозов решил передать их за границу.

Следует подчеркнуть, что публикация Морозова была крайне уязвима не только с текстологической, но, прежде всего, с этической точки зрения: публикатор должен был бы хотя бы попытаться дать ответ на неизбежные вопросы: 1) правомерно ли, в принципе, публиковать стихи, подчеркивающие болезненное состояние поэта? 2) правомерно ли публиковать их без ведома автора, когда он еще жив? 3) правомерно ли передавать их в зарубежное издание, имеющее откровенно политизированный характер, не задумываясь о последствиях для автора?

Возможно, Морозов руководствовался некими «благими» намерениями, но реальные последствия его парижской публикации оказались для Шаламова крайне печальными. И сами стихи, и сопровождавшее подборку в *ВРХД* примечание от редакции: «В. Т. Шаламову присуждена была французским Пен-клубом в марте 1981 г. „Премия свободы“»[2] — вызвали очередные политические спекуляции в западной прессе. Все это увеличило приток в Дом инвалидов разного рода любителей сенсаций и фотокорреспондентов, запечатлевших болезненный вид Шаламова и ставивших знак равенства между его пребыванием в лагере и в Доме инвалидов («Бедная беззащитная старость стала предметом

сплетены» (*ВРХД*. 1981. № 1. С. 115). Трудно судить, исходило ли подобное искаженное воспроизведение от самого Шаламова или оно являлось «редакцией» Морозова. Однако вряд ли Шаламов мог забыть свою глубоко выстраданную строку: «Всей *нашей* истории даты» в пользу усредненного «Истории важные даты» (что дает повод говорить о тенденциозной «редакции» Морозова).

[1] Там же. С. 120.

[2] См. также *ИСвосп*, гл. «Премия Свободы». По приезде в Париж в 1990 г. Сиротинская пыталась выяснить судьбу «Премии Свободы», присужденной Шаламову. Оказалось, что после смерти Шаламова эту премию, по неподтвержденным данным, получили и присвоили себе люди из парижского издательства «Maspero», выпустившего в 1980–1982 гг. трехтомник *КР* (см.: Ригосик А. «С ним обращались, как с мертвым...» // *ПражскСб*. С. 261).

шоу», — справедливо заметила И. Сиротинская; см. *ИСвосп.* С. 53; по ее словам, сказанным в свое время составителю, без этой шумихи Шаламов мог бы спокойно дожить остаток жизни в Доме инвалидов). В итоге публикация Морозова стала одной из главных причин, спровоцировавших перевод Шаламова в закрытую психиатрическую больницу 15 января 1982 г., где он через два дня скончался[1]...

В 1989 г. Морозов сделал сокращенную до пяти ст-ний публикацию последних стихов Шаламова с датировкой от 3 октября до 19 октября 1980 г. (см.: *ЛО*. 1989. № 8. С. 14). При этом очевидно, что отсеивались стихи из *ВРХД*, заведомо не соответствовавшие литературным нормам. В целом записи Морозова трудно признать аутентичными — этот вывод красноречиво оттеняет их сопоставление с записями Сиротинской (ср. ниже тексты и некоторые варианты Морозова в примеч.). В итоге в наше издание включено лишь одно ст-ние, опубликованное в *ВРХД* и отсутствующее у Сиротинской, — «Я острижен под машинку...» (№ 1084), где не отмечается явной болезненной дисгармонии. (См. также фрагмент ст-ния, посвященного В. Португалову, в примеч. к № 800.)

В первой публикации записей стихов, сделанных И. Сиротинской («Поднимая прощальный сигнал»: (Из последних стихотворений В. Шаламова 1980–1981 гг.) // Сов. библиография. 1990. № 6), также содержались некоторые ст-ния, написанные Шаламовым до помещения в Дом инвалидов. Таково, например, если судить по его строгой форме, ст-ние «Отдавал предпочтенье Асееву...» (№ 1075), однако ранний автограф его не найден. (По всей вероятности, оно является вариацией ст-ния «Маяковский и Асеев», № 984). В целом же запись И. Сиротинской, поскольку она делалась давно и близко

---

[1] Нельзя не отметить, что в многократно воспроизводившихся воспоминаниях Е. Захаровой, навещавшей Шаламова с сентября 1981 г. (ср., например: Захарова Е. Последние дни Шаламова // *Шсб-3*. С. 46–55), роль Морозова в судьбе Шаламова представлена как роль «благодетеля», из-за чего смешаны причины и следствия трагического финала жизни Шаламова. Контрастирует с этой «деятельностью» простое и искреннее письмо академика Д. С. Лихачева, направленное Шаламову в Дом инвалидов 20 сентября 1979 г.:

«Дорогой Варлам Тихонович! Захотелось написать Вам. Просто так!

У меня тоже был период жизни, который я считаю для себя самым важным. Сейчас уже никого нет из моих современников и „соотечественников". Сотни людей слабо мерцают в моей памяти. Не будет меня, и прекратится память о них. Не себя жалко — их жалко. Никто ничего не знает. А жизнь была очень значительной.

Вы другое дело. Вы выразили себя и свое.

Об этом только и захотелось написать Вам.

Ваш Д. Лихачев» (*ВШ7*. Т. 6. С. 602; подробнее см.: Есипов В. Последнее письмо (Д. С. Лихачев и В. Т. Шаламов) // https://shalamov.ru/research/211/).

знакомым Шаламову человеком и профессионалом-текстологом, прибегавшим к стенографии, не только гораздо точнее, но и гораздо тактичнее, чем у Морозова, сохранила и мучительный драматизм рождения на свет, и своеобразную «ломкую» поэтическую гармонию последних стихов Шаламова, и с трудом продирающуюся сквозь склеротические поражения мозга (в 1981 г. он перенес инсульт) неутихающую мысль... Оригиналы записей И. Сиротинской имеются в *РГАЛИ* (Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 116).

1072. «Поднимая прощальный сигнал»: (Из последних стихотворений В. Шаламова 1980–1981 гг.) / Публ. И. П. Сиротинской // Советская библиография. 1990. № 6 (далее: *Сбибл*).

Очевидно, представляет искаженный самим автором вариант ст-ния «Я был бы, наверно, военным...» (№ 1069). *Не был бы я поэтом — / Был бы тогда солдат.* — Ср.: «Если не был бы я поэтом, / То, наверно, был мошенник и вор» (С. Есенин, «Все живое особой метой...», 1922).

1073. *Сбибл.*

1074. *Сбибл.*

Рак победил — Б. Пастернак умер от рака легких.

1075. *Сбибл.*

Я входил в его порт звуковой... — Очевидно, что Шаламов выше всего ценил фонетические находки раннего Асеева. «*Черный принц*» — поэма Н. Асеева (1923), весь строй которой, начиная со строк «Белые бивни / бьют / в ют», Шаламов считал «ритменным открытием». При этом лучшей поэмой Асеева он считал «Лирическое отступление» (1924), отмечая с сожалением, что в дальнейшем «главным жанром Асеева стал стихотворный отклик на злобу дня» (*Восп.* С. 345–347). Ср. ст-ние «Маяковский и Асеев» (№ 984).

1076. *Сбибл.*

1077. *ВШ7.* Т. 7. Автограф записи — Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 41. В конце записи И. Сиротинской приписано «(Грибоедов)». Заслуживает внимания вар. первой строфы, приведенный Морозовым: «Он автор „горя от ума“, / Начала всех начал. / Разрушена тем горем тьма / И освещен — причал» (*ВРХД.* 1981. № 1. С. 116).

1078. *Сбибл.* Автограф записи — Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 41.

1079. *ЛО.* 1990. № 10; *НМЖ*; *ВШ4.* Т. 3. Автограф записи — Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 34, с припиской И. Сиротинской: «Записано в Доме инвалидов 8.02.80».

Сверчок на печи — загл. повести Ч. Диккенса (1845).

1080. *ЛО.* 1990. № 10; *НМЖ*; *ВШ4.* Т. 3. Автограф записи — Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 34, с датой «8.02.80». Для сравнения приведем запись Морозова: «Я не хочу прогуливать собак — / Псу жалко / Носить мое бессердие в зубах, / Как палку. / В раю — я выбрал самый светлый зал, / Где вербы. / Я сердце сунул — он понюхал зал, / Мой цербер. / Сердечный мускул все-таки не кость... Помягче

будет... И цена ему иная. / Так я вошел — последний райский гость — под своды рая» (*ВРХД*. 1981. № 1. С. 117).

1081. *ВШ7*. Т. 7. Автограф записи — Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 39.

1082. Знамя. 1990. № 7.

Обращено к И. Сиротинской. Включено ею в состав раздела последних стихов в *ВШ4* и *ВШ7*. В публикации Морозова ст-ние отсутствует.

1083. *ВШ7*. Т. 7. Автограф записи — Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 39. В публикации Морозова все слова религиозного характера: «Христовым», «Телом», «Плащаницу» напечатаны с заглавной буквы.

Стихи читаю в стихаре — метафора, основанная на игре слов: *стихарь* — одежда церковнослужителей. Реально, даже в детстве, будучи сыном священника, Шаламов не имел права надевать стихарь.

1084. *ВРХД*. 1981. № 1.

Следует заметить, что в послесловии к публикации Морозов утверждал, что последние стихи Шаламова понятны только «во взаимодействии со временем, а вернее и точнее, со вселенской катастрофой, произошедшей во времени на пространстве и живом теле России», что эти стихи «из коечного пространства» переходят в «планетарное измерение». Однако вряд ли в подобном духе можно трактовать записанные им строки: «*Здесь мешают мне и волки, / И рабы*» — они говорят скорее о самоощущении больного поэта в Доме инвалидов.

1085. *ВШ4*. Т. 3. Автограф записи — Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 40.

1086. *ВШ7*. Т. 7. Автограф записи — Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 45. В публикации Морозова данное ст-ние соединено с последующим, при этом переставлены строфы и вместо «Я усилием последним, / Прогоняю думы» — «Мы силою не женской / Устраняем думы».

1087. *НМЖ*. Автограф записи — Оп. 2. Ед. хр. 116. Л. 45. Это предпоследняя из записей, сделанных И. Сиротинской в Доме инвалидов.

Последняя запись сделана И. Сиротинской 30 декабря 1981 г. При этом она отметила, что записанное ею тогда ст-ние: (Ед. хр. 116. Л. 46) «Вкруг дома ходят голуби, / Не птицы — пешеходы, / Уставшие от голода, / От пасмурной погоды. / И все же в миг опасности / Они взлетают в небо, / Где много больше ясности / И много меньше хлеба» — является вариацией вспомнившегося Шаламову ст-ния 1957 г. «Голуби» (№ 583).

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ШУТОЧНЫЕ СТИХИ, ЭПИГРАММЫ, ПЕРЕВОДЫ

Основное содержание раздела, кроме двух сохранившихся юношеских ст-ний конца 1920-х гг., составляют большие циклы ст-ний Шаламова, созданных им в 1949–1950 гг., во время работы

фельдшером-заключенным на колымском лесном участке «Ключ Дусканья», и в 1952–1953 гг., во время работы вольнонаемным фельдшером в системе Дальстроя в Якутии. Их в известной мере тоже можно назвать «ранними», поскольку они характеризуют начальный период творчества Шаламова после вынужденного двенадцатилетнего молчания.

Юношеские стихотворения

1088. Публикуется впервые. Машинопись — Ед. хр. 169. Л. 26–29. Датируется по упоминанию этого ст-ния в контексте рассказа о сотрудничестве молодого Шаламова с журналом «Новый ЛЕФ» в 1928 г. Ср.: «От тех времен сохранила одна моя знакомая стихотворение „Ориноко" — реализм биографического материала в романтическом плане» (*КоМС*. С. 97). «Знакомая» — вероятно, О. В. Ивинская, с которой Шаламов дружил в начале 1930-х гг. (см.: *ВШ7*. Т. 6. С. 219; *ЖЗЛ*. С. 225–229; см. также № 928 и примеч.).

В ст-нии отражено юношеское увлечение Шаламова романтикой А. Грина, а также мотивами «Москвы кабацкой» С. Есенина.

1089. Юность. 1965. № 10; *ВШ4*. Т. 3. Автограф — Ед. хр. 3. Л. 21 об. (*СТ*). В автографе перед последними двумя строками знаки тире: прямая речь, диалог. В публикациях тире сняты. Датируется по воспоминаниям *НМЖ*, где это ст-ние приводится в эпизоде, описывающем попытки Шаламова напечатать свои ст-ния после разрыва с «Новым ЛЕФом» и его редактором С. М. Третьяковым в 1928 г.:

«Избавленный от духовного гнета „литературы фактов", я яростно писал стихи — о дожде, о солнце, о всем, что в Лефе запрещалось.

Отнес в „Красную новь", консультантом там был Митрофанов — автор повестей „Июнь-Июль" и „Северянка". Писатель не настоящий, стихи даже взять отказался.

— Возьмите эти пастернаковские стихи. Вся Россия пишет под Пастернака. И вы тоже. И знаете, идите домой, не приносите пастернаковских стихов.

Я перечел отвергнутые стихотворения. <...> (Далее следует „Игрою детской увлеченный...". — *В. Е.*)

Что тут пастернаковского? Я ничего не понимал...» (*ВШ7*. Т. 4. С. 306; см. также: *ЖЗЛ*. С. 97–98).

АКомм: *«Записано в 1949 году на ключе Дусканья в первую же тетрадку, которую я сшил из оберточной бумаги. Но написано несколько лет ранее*[1] *и случайно сохранилось в памяти — утратилось*

---

[1] В связи с указанной датировкой слова Шаламова о том, что это ст-ние «написано несколько лет ранее» (1949 г.), следует признать аберрацией памяти. На самом деле — двумя десятилетиями ранее, так как очевидно, что для колымского периода Шаламова подобное ст-ние не характерно.

другое бесследно, гораздо более важное, значительное и дорогое для меня — так мне это запомнилось при забывании, при потере на снегу. Где было потеряно, что потеряно? На эти вопросы ответить нельзя. А потеряно безвозвратно. Поднять те пласты, где все это находилось и терялось — у меня нет сил.

А вот „Игрою детской увлеченный..." — слабое по существу стихотворение — в памяти почему-то осталось. И важности для меня это стихотворение не представляло и не представляет. А заглянул я в свои колымские тетради, вывезенные с Дальнего Севера чудесным образом в 1952 году, — „Игрою детской увлеченный" там есть».

<«Ключ Дусканья»>. Из первых колымских тетрадей, посланных Б. Пастернаку (1949–1950)

В данном разделе публикуются уникальные материалы поэтического наследия Шаламова — его первые стихи, написанные на Колыме. Особые обстоятельства их создания требуют развернутого комментария[1].

Шаламов неоднократно упоминал о «больших самодельных тетрадях из оберточной бумаги», в которые он записывал первые стихи, созданные в 1949–1950 гг. во время работы фельдшером лесозаготовительного участка на ключе (речке) Дусканья, куда он был направлен из Центральной больницы УСВИТЛ, находившейся в пос. Дебин. Оберточная бумага, предназначенная для рецептов и других нужд, в большом количестве досталась ему от его предшественника, фельдшера Г. Баркана (рассказ «Яков Овсеевич Заводник» — *ВШ7*. Т. 2. С. 385; *Восп*. С. 546). Тетради изготовил сам Шаламов, сшив их «той же нитью, что тачают оленьи торбаза, чинят валенки» (*ВШ7*. Т. 3. С. 471; см. *АКомм* к ст-нию «Картограф», № 1149). В конце февраля 1952 г. через врача Е. А. Мамучашвили он отправил переписанные набело стихи в Москву жене Г. И. Гудзь для передачи их Б. Пастернаку.

В фонде Шаламова в *РГАЛИ* имеются три тетради, идентифицируемые как самодельные (*СТ*), с указанными признаками, что согласуется с не раз высказанным Шаламовым свидетельством: «Эти тетради у меня сохранились». По его признанию, Пастернак вернул их в конце 1953 г. при одной из личных встреч. В первоначальном виде *СТ* было две (ср. в первом письме Шаламова к Пастернаку от 22 февраля 1952 г.: «Примите эти *две* (курсив наш. — *В. Е.*) книжки, которые никогда не будут напечатаны и изданы» — *ВШ7*. Т. 7.

[1] Частично он сделан в нашей публикации: Варлам Шаламов: Из первых колымских тетрадей // Знамя. 2014. № 11. С. 188–198.

С. 6), однако в дальнейшем сшивка на одной из них, вероятно, нарушилась, в результате чего в архиве сейчас имеются три Ед. хр. с рукописями, атрибутируемые как *СТ*. В двух из них рукописи имеют одинаковый формат листов (примерно вдвое удлиненный по высоте в сравнении с тетрадным стандартом) и идентичны по почерку. В первой (Ед. хр. 3) содержится 114 ст-ний, во второй (Ед. хр. 4) — 16. В третьей *СТ* (Ед. хр. 2) формат листов близок к стандартному, она содержит 39 ст-ний. Всего — 169 ст-ний.

Кроме того, важным источником текста в данном случае является общая тетрадь 1953 г. (Ед. хр. 78), куда набело переписана значительная часть стихов из *СТ* (общим числом 56). Чистовые варианты стихов позволяют в целом ряде случаев восстановить неразборчивые фрагменты текстов *СТ*, а также закрепить окончательные редакции (что оговорено в примеч.). На обложке тетради Ед. хр. 78 имеется заголовок «Ключ Дусканья, или Подлежащие и сказуемые» (*КД*), что свидетельствует о попытке Шаламова создать первый авторский сборник с таким названием.

Еще одним источником текста первых колымских стихов является так называемая «папка Траубе» (см. ее историю в преамбуле комментария к тому 1 наст. изд.) — машинопись черновых вариантов колымских стихов Шаламова, без каких-либо следов последующей авторской правки. Машинопись имеет определенную текстологическую ценность, впрочем, лишь относительную в сравнении с рукописями *СТ* и *КД*.

Следует заметить, что *СТ* имеют утраты. По словам самого Шаламова, стихов в тетрадях было «триста» (*Восп.* С. 554), однако, несмотря на то что эта цифра, несомненно, приблизительна, есть основания полагать, что сохранились далеко не все ст-ния этого периода. Прежде всего бросается в глаза отсутствие в *СТ* автографов ряда важных произведений, которые сам Шаламов в *АКомм* отмечал как созданные на Дусканье в 1949–1950 гг. Например, нет ст-ния «Все те же снега Аввакумова века...» (№ 38), которое, по свидетельству Вяч. Вс. Иванова, он в 1952 г. читал в этих тетрадях, переданных ему Пастернаком (см. примеч. к тому 1 наст. изд.). В *СТ* нет также нескольких ст-ний, названия и отдельные строки которых приведены в письме-разборе Пастернака от 9 июля 1952 г. (например, «К нам едет Катя Трубецкая...», чистовой автограф которого имеется в *КД*, а машинопись, как и машинопись ст-ния «Все те же снега Аввакумова века...», — в *ПТраубе*). Утраты, как можно полагать, произошли в период 1954–1956 гг., когда колымский архив Шаламова хранился в Москве у Г. И. Гудзь.

Большинство стихов *СТ* записано чернилами, четким и ясным каллиграфическим почерком. Оглавление и авторская нумерация страниц отсутствуют, однако порядок расположения стихов свидетельствует о продуманности общей композиции и, соответственно,

концепции сборника, то есть о стремлении Шаламова создать своего рода поэтическую книгу-дневник на основе своей жизни на Дусканье. Следует напомнить, что он пробыл там до осени 1950 г., то есть полтора года, после чего был переведен на должность старшего фельдшера приемного отделения Центральной больницы УСВИТЛ.

Очевидно, что все стихи *СТ* были написаны, а затем переписаны набело на Дусканье. Это единство места и времени их создания подчеркивается выразительными деталями свидетельств Шаламова: «Я понимал, что в приемном покое стихи писать мне не удастся, разве только редко. Вся бумага Баркана была уже записана» («Яков Овсеевич Заводник» — *ВШ7*. Т. 2. С. 390). Причем на Дусканье Шаламов успел переписать стихи дважды, «с надеждой один экземпляр вручить Мамучашвили, а второй — Воронской», но после того, как последняя, жившая в «вольном» поселке близ больницы, отказалась взять стихи на хранение[1], Шаламов вынужден был, во избежание опасности обыска, сжечь второй экземпляр (*Восп*. С. 554).

Судя по целому ряду признаков (зачеркнутые слова, строки и строфы, а также и целые ст-ния, исправления и дописки в тексте и на полях, сделанные чернилами и тем же почерком), можно говорить о недоработанности рукописи *СТ*. Это ясно осознавал и сам Шаламов, подчеркнув в письме к Б. Пастернаку от 24 декабря 1952 г.: «Я и так взволнован до глубины души и горд тем, что Вы нашли время и терпение прочесть эти книжки внимательно — не книжки, конечно, а черновики-тетрадки» (*ВШ7*. Т. 6. С. 18). Как можно полагать, доработка рукописи урывками продолжалась и в больнице УСВИТЛ до окончания лагерного срока в октябре 1951 г. Впрочем, учитывая собственное свидетельство Шаламова о том, что он «с осени 1950 года до осени 1951 года <...> писать стихов почти не имел возможности» (что было связано со строгим надзором в лагерной больнице, особенно в приемном отделении, где было «бойкое место» и где постоянно дежурила охрана[2]), его

---

[1] Г. А. Воронская, дочь расстрелянного в 1938 г. писателя и критика, редактора журнала «Красная новь» А. К. Воронского, находилась на Колыме с 1937 г. В указанный период была на положении политической ссыльной, что объясняет ее опасения. В 1960-е гг. и вплоть до помещения в Дом инвалидов в 1979 г. Шаламов поддерживал дружеские отношения с Г. А. Воронской и ее мужем И. С. Исаевым, оставившим воспоминания о нем (см.: Исаев И. Первые и последние встречи // *Шсб-2*; Воронская Г. Воспоминания о В. Т. Шаламове // *ЛО*. 1990. № 10).

[2] Средний и младший медицинский персонал Центральной больницы УСВИТЛ жил (спал) в комнатах при отделениях или в общежитии. По воспоминаниям Е. А. Мамучашвили, Шаламов, работая в хирургическом отделении, жил в бельевой, а во время работы в приемном отделении у него была небольшая комнатка.

вмешательство в хранившиеся тайно рукописи *СТ* в этот период было минимальным. В тексте и на полях имеются также более поздние исправления и дополнения (варианты), сделанные автором карандашом (разного цвета и, очевидно, в разное время), причем нередко значительно худшим почерком, что указывает на то, что они относятся к 1950–1960-м гг.

В итоге, как уже отмечалось, Шаламов отобрал из *СТ* для *КТ* лишь около десятка ст-ний, некоторые напечатал в сборниках, а остальные счел слишком слабыми (ср.: «Стихов там еще не было», «там нет стихов, заслуживающих печатания» — *ВШ7*. Т. 5. С. 165). Как можно полагать, эта категорическая оценка отражала, с одной стороны, его собственный, предельно самокритичный взгляд на написанное, с другой — была следствием взыскательного разбора, который сделал присланным стихам Б. Пастернак в своем письме к Шаламову от 9 июля 1952 г. (*ВШ7*. Т. 6. С. 7–13; *Разбор БП*).

В связи с особым значением *Разбора БП* для характеристики ст-ний данного раздела на нем необходимо остановиться немного подробнее. Говоря о недостатках первых стихов Шаламова, Пастернак отмечал, прежде всего, что в них «виноваты влияния и в первую голову — мое», причем имелись в виду те особенности поэтики, которые великий поэт считал в это время не лучшими в своей поэзии: «Удивительно, как я мог участвовать в общем разврате неполной, неточной, ассонирующей рифмы. Сейчас таким образом рифмованные стихи *не кажутся мне стихами* (подчеркнуто автором. — *В. Е.*). Лишь в случае гениального по силе и ослепительного по сжатости содержания я, может быть, не заметил бы этой вихляющей, не держащейся на ногах и творчески порочной рифмы» (*ВШ7*. Т. 6. С. 10).

Последние нелестные эпитеты, несомненно, относятся к стихам Шаламова. Однако трудно не заметить невольную переоценку Пастернаком собственного влияния на Шаламова — в *СТ* (как, впрочем, и в дальнейшем творчестве Шаламова) наблюдаются лишь отдельные его следы. Что касается неполных и неточных рифм, встречающихся в *СТ*, то они нередко объяснялись спешкой, заведомой неотделанностью стихов, но в целом у Шаламова был принципиально иной взгляд на роль неполной рифмы — он считал ее уместной, если она «держит стих» — об этом он писал в своем ответе Пастернаку (*ВШ7*. Т. 6. С. 17).

Пастернак отмечал и «многословие», «растянутость» многих тогдашних стихов Шаламова. Последний прекрасно осознавал этот недостаток, давая ему объяснение: «Главным моим грехом после воскресения из мертвых было неумение вовремя остановиться»; «хлынувший поток был столь силен, что мне не хватало времени не только на самую примитивную отделку, не только на сокращения, но я боялся отвлекаться на сокращения» (*КоМС*. С. 108, 100).

Однако многословие было свойственно далеко не всем стихам *СТ*, что оговаривал и сам Пастернак. В его разборе приведен целый

ряд ст-ний, а также отдельных строк, которые он оценил очень высоко, и они относятся главным образом к наиболее лаконичным ст-ниям Шаламова (все оценки из разбора отмечены в примеч.). В то же время общая оценка Пастернаком стихов *СТ* была весьма и весьма критичной. Кроме упрека в «неряшливости рифм» он высказал и более суровое замечание: «...Пока Вы не научитесь отличать писанное с натуры (все равно с внешней или внутренней) от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу признать поэзией. Все это я говорю „в строгом смысле", но в творчестве никакого смысла, кроме строгого, и не существует...» (*ВШ7*. Т. 6. С. 13).

Вероятно, признав все оценки боготворимого им поэта в высшей степени справедливыми и согласуя их с собственной трезвой, сделанной еще раньше самооценкой, Шаламов и отстранился от первого широкомасштабного спонтанного «выплеска» своих колымских стихов периода Дусканьи, прекратив усилия над доработкой *СТ* и *КД*. Как можно полагать, он счел их попросту незрелыми ввиду особых обстоятельств, в которых они рождались, и начал новый, настоящий, как он считал, этап своего творчества с «Синей тетради», создававшейся в Якутии в 1952–1953 гг. и привезенной Пастернаку в Москву.

Прав ли был Шаламов в категорическом отрицании своего совсем недавнего творчества, судить трудно. Не исключено, что одной из причин такой оценки послужили личные мотивы — слишком большое присутствие в стихах *СТ* любовной лирики, связанной с Г. И. Гудзь (и, очевидно, не только с нею); эту часть своего «дневника» Шаламов со временем счел необходимым не оглашать. Между тем, среди этой лирики есть интереснейшие произведения (например, «Сумерки», № 1105, «Если „видевше свет вечерний"...», № 1195 и др.). В целом внимательное прочтение всего состава *СТ* (как и *КД*) показывает, что далеко не все ст-ния этих циклов или сборников не заслуживают внимания. Более того, здесь имеются ст-ния, которые можно назвать одними из лучших в творчестве Шаламова. Речь идет прежде всего о ст-нии « Silentium» (№ 1112) (полемичной и глубоко принципиальной философской перекличке поэта-лагерника с Ф. Тютчевым), которое по трудно объяснимым причинам не только не вошло в круг внимания Пастернака и не отмечено в его *Разборе*, но и странным образом не включено автором в свободные, бесцензурные *КТ* и даже в авторские списки колымских ст-ний. Уже один этот пример наглядно говорит о слишком пристрастном подходе позднего Шаламова к своим стихам периода Дусканьи; на самом деле таких примеров десятки.

Для публикации в наст. изд. производен отбор ст-ний *СТ* с целью представить объективную картину первого послелагерного периода творчества Шаламова во всем его тематическом и формальном многообразии. Значительное количество ст-ний

не включено в издание по причине неразборчивости почерка и обилия поздних правок. В итоге оставлено 115 из 169 ст-ний.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на отрицание художественного значения своих первых колымских стихов, Шаламов называл тетради периода Дусканьи «драгоценным документом» («Эти тетради и сейчас у меня, драгоценный документ» — *Восп.* С. 546). Таковым они и являются — нет сомнения, что стихи *СТ* (*КД*) представляют собой материал, почти не имеющий прецедентов: в них запечатлен мучительный процесс творческого возрождения поэта, проведшего перед этим более десяти лет в лагерях. Поскольку все трагические обстоятельства жизни Шаламова были малоизвестны современникам (в том числе и Б. Пастернаку, который воспринимал автора как «ссыльного поэта», не зная поначалу, что тот был многолетним заключенным), на этих обстоятельствах необходимо еще раз задержать внимание, чтобы глубже понять и оценить уникальность *СТ*.

Напомним, что при аресте в 1937 г. поэту было 29 лет, а на Дусканье исполнилось уже 42. Долгая лагерная неволя оставила в нем жестокий след: огрубила его личность, чувства и мысли, в значительной мере лишила культурных навыков и отбросила едва ли не к первобытному состоянию (недаром в ст-нии «Пещера» (№ 1203) он сравнивал себя с неандертальцем). Известным аналогом первому прорыву Шаламова к поэзии может служить ситуация чудесного культурного «воскрешения», описанная им в рассказе «Сентенция» (*ВШ7*. Т. 1. С. 399). Красноречиво свидетельство самого Шаламова: «В 49-м году на ключе Дусканья вытолкнулось на перо нечто неукротимое, как смертельная рвота... Я устоял, оклемался, очнулся от этого потока бормотания смеси из разных поэтов и продолжал жить, к своему удивлению» (*Восп.* С. 553).

Следует подчеркнуть, что стихи создавались в условиях, когда автор оставался в статусе политического заключенного: все написанное могло быть изъято, что имело бы непредсказуемые последствия: «Главная же опасность была не в том, что я провезу или не провезу стихи, а в том, что мои попытки что-то спрятать, сохранить угадают профессиональные блатные и, получив разочарование от собственной попытки, передадут начальству с очередным доносом. Начальник передаст еще выше, никогда не рискнет пресечь эту караульную цепь, и моя тетрадка доплывет до Москвы, до центра. Все рассмотрят со следователем, криптографом, лупой и кое-что, если захотят, то найдут. Вот в чем был главный риск» (Там же).

К внешним помехам следует добавить и то, что фельдшерская работа Шаламова была пеше-разъездной (вслед за лесорубами на расстояния в несколько десятков километров; см. рассказ «Безымянная кошка» — *ВШ7*. Т. 2. С. 123), кроме того, ему часто приходилось ходить в Центральную больницу УСВИТЛ, располагавшуюся в 12 км по реке и в 20-ти — по тайге. Долгожданное

«право на одиночество», необходимое для того, чтобы писать стихи, он получал лишь, когда возвращался «на базу», в избушку медпункта, где жил. Кроме избушки его «рабочим кабинетом» была лесная тропа, где он совершал прогулки и сочинял стихи («Зимой, конечно, этот кабинет мой пустовал: мороз не дает думать, писать можно только в тепле» — рассказ «Тропа», *ВШ7*. Т. 2. С. 105).

В связи со всеми этими обстоятельствами особенно бросается в глаза основная черта стихов *СТ* — огромная внутренняя свобода и смелость их автора и лирического героя. Отчетливо видно, что колымский поэтический дневник стал для Шаламова прежде всего «способом духовного сопротивления»[1]. В конечном счете стихи, созданные на Дусканье, позволяют сделать вывод не о «возрождении» Шаламова-поэта, а скорее — о перворождении, ибо в лучших стихах этого периода присутствуют в том или ином виде характерные черты зрелой лирики Шаламова. Главная из этих черт — философичность, опирающаяся, как правило, не на абстрактные идеи и символы (хотя здесь встречаются некоторые исключения), а на предметную реальность — прежде всего на суровую северную природу и постоянный поиск в природе, в каждом ее проявлении, аналогий со своей судьбой и человеческой судьбой в целом.

С целью аутентичного представления процесса возвращения Шаламова к поэзии после лагеря тексты ст-ний в данном разделе в основном печатаются по автографам *СТ* в порядке их расположения (Ед. хр. 3, 2, 4), что соответствует авторской композиции. Наиболее существенные варианты, возникшие немногим позднее, в 1953 г. (*КД*), включены в состав примеч. и в раздел «Другие редакции и варианты». Ряд ст-ний этого периода был опубликован Шаламовым («Картограф», № 1149; «Рублев», № 1160; «Я пришел на ржавый берег...», № 1179; «Где юности моей дороги...», № 1164 и др.). В этих случаях в качестве основного текста используются последние авторские (книжные) редакции, а имеющиеся в *СТ* и *КД* варианты отражены в примеч. и в разделе «Другие редакции и варианты». Точное датирование — 1949 или 1950 гг. — крайне затруднено, поэтому в основном даются двойные даты <1949–1950>, за исключением ст-ний, указанных в *АКомм*, или при наличии дополнительных признаков. В связи с тем что подавляющее большинство ст-ний публикуется впервые, соответствующая ремарка опускается и указываются лишь публикации в случае их наличия.

***1090–1095.** Автографы — Ед. хр. 3. Л. 1–1 об. (черновой, послан Б. Пастернаку), загл. «Вера» зачеркнуто; *КД*. Л. 45–45 об. (беловой, из двух частей; см. раздел «Другие редакции и варианты»).

---

[1] «Поэзия — это прежде всего судьба, итог длительного духовного сопротивления, итог и в то же время способ сопротивления...» (*ЧВ*. С. 5).

Поэма-«трактат» открывает *СТ*, что подчеркивает ее программный характер. В *КД* поэма сокращена и перемещена ближе к концу задуманного сборника, что свидетельствует о понимании Шаламовым недостатков поэмы. Характерно, что «Трактат о вере» обойден вниманием в *Разборе БП*. Стилистика поэмы эклектична. Главу 5 с выводом о том, что «тайга» (подразумевается — Колыма) «*одной лишь не раскрыла книги: / Евангелия Христа*», — можно считать квинтэссенцией лагерного опыта Шаламова. В будущих стихах, а также в прозе Шаламова имеется немало явных и скрытых апелляций к Евангелию и Ветхому Завету как к воплощению вечных нравственных истин.

Я горстью, воин Гедеона, / Пил воду из таежных рек... — Согласно книге Судей, Гедеон, пятый по счету из судей израильских, по указанию Бога отобрал для участия в битве с мадианитянами только тех, кто пил воду из горсти, забраковав тех, кто пил воду, встав на колени (Суд. 7: 5–7). *Синай* — гора, где по преданию пророку Моисею явился Бог и дал ему десять заповедей. *Егова* (Иегова) — одно из имен Бога в Ветхом Завете в ипостаси мстителя. Шаламов пользовался старой русской орфографией и обиходным произношением с ударением на последнем слоге.

1096. Автограф — Ед. хр. 3. Л. 1 об. (далее до № 1168 в примеч. указывается только лист соответствующего автографа).

И Шамиссо здесь вовсе не чудесен... — Имеется в виду повесть немецкого писателя-романтика А. Шамиссо «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814), где герой потерял свою тень (ср. предыдущую строку «*деревья без теней*»). Строка «*ногти лиственниц натерты изумрудом*» отмечена в *Разборе БП*. Есть в списке ст-ний, предложенных в сборник *МО* (1972), но отвергнуто редакцией.

1097. Л. 2 об.

Мы верить в бога перестали... — один из лейтмотивов *СТ*. Слово «бог» в *СТ* всегда пишется со строчной буквы. *В таком костре и брал свой уголь / Известный пушкинский пророк* — отсылка к ст-нию А. Пушкина «Пророк» (1826).

1098. Л. 2 об.

1099. Л. 3–3 об.

В первой части ст-ния отражены воспоминания о детстве в Вологде. *Маша* — вероятно, поэтическая трансформация имени любимой сестры Наташи (см.: *ЧВ*. С. 38–39; см. также примеч. к ст-нию «Сестре Маше», № 1139). *Езекиилевых коньков...* — Наиболее известная часть библейской книги пророка Иезекииля (гл. 1) повествует о его видении. По-видимому, Шаламов имел в виду какие-то образы, связанные с этим видением.

1100. Л. 3 об.–5.

О замысле поэмы «Александр Полежаев» Шаламов никогда не вспоминал, очевидно, считая идею неудачной. Из сохранившихся

в *СТ* набросков нескольких глав этой поэмы наибольший интерес представляет данная глава, в отличие от иных практически не имеющая правок. *Полежаев А. И.* (1804–1838) — поэт, вольнослушатель Московского университета, в 1826 г. за «вольнодумные» стихи (поэма «Сашка») арестован по доносу и отдан царем Николаем I в унтер-офицеры, затем в солдаты, воевал на Кавказе, наказывался шпицрутенами. По некоторым современным исследованиям, основной причиной гонений на Полежаева были не столько стихи, сколько его необузданный нрав. В советскую эпоху был канонизирован как «борец с самодержавием» и предтеча «революционной демократии», его стихи многократно издавались. Шаламов мог знать биографию и творчество Полежаева по многим изданиям: М.; Л., 1933 (предисл. Л. Б. Каменева, ред., биографический очерк и примеч. В. В. Баранова); Л., 1937 (малая сер. «Библиотеки поэта», подг. Н. Ф. Бельчиков); Л., 1939 (большая сер. «Библиотеки поэта»); Л., 1949 (малая сер. «Библиотеки поэта», подг. Н. Ф. Бельчиков). Одно из последних изданий могло иметься в библиотеке пос. Дебин, которую посещал Шаламов, а также его знакомый бесконвойный культорг и поэт В. Португалов, приносивший ему книги. Эта библиотека, составленная главным образом из книг бывших заключенных, была довольно богатой (около 2 тыс. томов).

Канонизированный в СССР А. Полежаев не принадлежал к числу любимых поэтов Шаламова, но он высоко ценил новаторство Полежаева в применении «короткой строки» (*ВШ7*. Т. 5. С. 50). О «знаменитой „короткой строке“ — важнейшем из формальных новшеств, введенных Полежаевым в русскую поэзию», писал, между прочим, Л. Б. Каменев в изд. 1933 г. Приводя строки «Все чернее / Свод надзвездный, / Все страшнее / Воют бездны» и т. д., Каменев делал выразительное заключение: «Эти короткие строки явно имеют „ударный“ характер: они рассчитаны не на „гармонию, ласкающую ухо“, а на потрясение чувств; это сигналы бедствия, SOS, раздавшиеся в темную николаевскую ночь. Они могли родиться только на каторге, в тюрьме, в казарме» (Каменев Л. Б. Предисловие // Полежаев А. И. Стихотворения. М.; Л., 1933. С. 34). Такое понимание было близко Шаламову. Короткий стих, опиравшийся также на опыт А. Фета и отчасти М. Цветаевой (в метрике хорея и амфибрахия), станет со временем одной из характерных черт его поэтики; начало эволюции заметно уже в *СТ*.

Очевидно, Шаламова привлекали прежде всего перипетии трагической судьбы Полежаева, в которой он видел прямую аналогию с собственной судьбой. В публикуемой главе весьма ярко звучит автобиографическое начало (ср.: «*А книги — что? В резном отцовском шкафе / Он даже мысли смелой не нашел*» — то же в описании шкафа своего отца в *ЧВ* (С. 60); ст. «*Вино? Он с детства ненавидел пьяных*» — соответствует характеру Шаламова, но никак не самого Полежаева, порок которого не скрывался даже

в советских изданиях). *Сильвестр* — церковный деятель и писатель XVI в., духовник Ивана IV, имевший на царя большое влияние, впоследствии попал в опалу и был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь (по другим сведениям — в Соловецкий). Шаламов проявлял большой интерес к личности Сильвестра — он упомянут в *ЧВ* среди «деятелей Сопротивления», связанных с Вологдой или проходивших через нее «транзитом» (*ЧВ.* С. 8). *Колет* — кожаный жилет.

1101. Л. 5.

Вероятно, воображаемая надпись на воротах лагерной больницы.

1102. Л. 5 об.

1103. Л. 6.

Отражены особенности холодной и затяжной колымской весны. *Здесь певчим птицам не хватает корма...*— Ср.: «На Колыме не поют птицы...» (*ВШ7.* Т. 2. С. 279): весеннее пение птиц на Севере в силу особенностей климата начинается гораздо позже, чем в средней полосе России. *И сколько лет на юг мы золота ни возим...*— Данные о количестве золота, добытого на Колыме, являлись секретными и заключенным были неизвестны; за 1932–1953 гг. было добыто свыше тысячи тонн (см.: Бацаев И. Принудительный труд в «Дальстрое»: Мифы и реальность // Дальневосточный ученый. 2014. № 6). Значительная часть колымского золота пошла на оплату поставок по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны. Ср. также ст-ние «Золотой лом» (№ 1017).

1104. Л. 6 об.

Первое ст-ние, связанное с Г. И. Гудзь. Пожелание венчания высказывала, вероятно, мать Шаламова во время приезда будущих молодых супругов в Вологду в 1933 г. Отсылки к церковным обрядам, включая и отпевание, весьма характерны для стихов *СТ.*

1105. *ЛГ.* 2014. 21 июня; *НС.* Автограф — Л. 7, начальный вар. ст. 6 «Неярких глаз прищур», ст. 8 «В твоих глазах ищу». В *КД* вар. ст. 5 и 6: «Пусть полутьма тебе к лицу, / Пусть приоткрылся рот».

Одно из загадочных трагически-любовных стихотворений, о женском прототипе которого никаких данных нет. Судя по неопубликованным записям (Ед. хр. 183), Шаламов в молодости, а также после выхода из лагерной зоны, работая фельдшером, имел немалый, как он выражался, «специфический мужской опыт», при этом, по воспоминаниям врача Е. Мамучашвили (*Шсб-2.* С. 84), его отношение к женщинам было «прагматичным, без романтики». См. также примеч. к № 477.

1106. Л. 7 об. Переписано также в *ЯТ.* Вкл. в *КД.*

1107. Л. 7 об.

Весной я судился — и был оправдан... — Подобного случая, связанного с «бочкой бензина» (израсходованного для писания стихов

по ночам), в воспоминаниях Шаламова не зафиксировано. Датировка произведена с учетом временных привязок «*всю зиму писал*» и «*весной я судился*» — они указывают на то, что дело происходит примерно через год после начала работы на Дусканье, то есть в 1950 г.

1108. Л. 7 об.–8.

Связано с Г. И. Гудзь.

1109. Л. 10.

1110. *ДП-1970*; *ВШ4*. Т. 3, *ВШ7*. Т. 3. В *ВШ4* и *ВШ7* ошибочно датировано «1960-е гг.» и включено в цикл ст-ний 1957–1981 гг. Автограф — Л. 11 об., с зачеркнутыми вар.: ст. 3–4 «И в черный сад никто / Калитки не захлопнет», после ст. 4 «В подсвечниках сирень, / Как пред иконостасом, / Горела целый день / И к вечеру погасла». Вкл. в *КД*.

Отмечено в *Разборе БП*.

1111. *ЛО*. 1990. № 10. Автограф — Л. 11 об.

Строки «*Завидуй брату своему, / И брат умрет*», по замечанию И. Сиротинской, связаны со старшим братом Шаламова Сергеем и его ранней гибелью (см.: *ЧВ*. С. 35; *ИСвосп*).

***1112.** *ЛГ*. 2014. 21 июня, с вар.: ст. 29 «К тайнам своим открывая ключи»; *НС*, так же. Автограф — Л. 11 об.

Автограф представляет собой черновик с многочисленными правками плохо очиненным химическим карандашом. В разделе «Другие редакции и варианты» приведена полная расшифровка этого автографа[1].

Загл. «Silentium» («молчание» — *лат.*) повторяет загл. знаменитого ст-ния Ф. Тютчева, что указывает на полемичность по отношению к нему. Если Тютчев, живя и действуя в поле общечеловеческих норм XIX в., стремился подчеркнуть невыразимость чувств и переживаний поэта, то Шаламов, переживший запредельный опыт XX в., говорит о совершенно иной степени человеческой боли, которую не только нельзя передать словами, но и следует молчать о ней вплоть до смертного часа. В ст-нии нельзя не увидеть прообраз многократно повторявшихся позже мыслей Шаламова о лагере как «исключительно отрицательном опыте», который, в конце концов, «не нужен никому» (записная книжка 1966 г.: *ЗапКн*. С. 297).

1113. Л. 12–12 об.

Цветы — один из наиболее частых образов в лирике Шаламова, особенно колымской. Ср.: «Цветок сорвет убийца...» (№ 470); «Я веточкой любой измучен...» — « Признания-I» (№ 1129).

1114. Л. 12 об.

Адресат ст-ния не ясен. Возможно, это О. В. Ивинская (см. примеч. к № 1088), возможно, это загадочная «Таня», упоминаемая в

---

[1] Воспроизведено в результате расшифровки правок, проделанной составителем совместно с С. Ю. Агишевым.

трех ст-ниях колымского цикла (см. примеч. к № 1118, 1195 и к ст-нию «Не жалей меня, Таня...» в *КТ*, № 286). *И был бы счастлив, сколько мог* — цитата из гл. IV «Евгения Онегина» Пушкина (с изменением пунктуации).

1115. Л. 12 об.

Воспоминание о приезде на похороны матери в Вологду в конце декабря 1934 г. *Маминых опухших ног* — Н. А. Шаламова страдала сильными отеками ног от сердечного заболевания. Ср.: *ЧВ*. С. 46, а также ст-ние «Моя мать была дикарка...» (№ 906) и примеч.

1116. Л. 13.

Обращено, судя по московским мотивам, к Г. И. Гудзь.

1117. Л. 13 об.

1118. Л. 13 об. Вкл. в *КД*.

Одно из ст-ний, связанных с загадочной «Таней». Ср. № 1114, 1195 и примеч.

1119. Л. 14 об.–15. После третьей строфы зачеркнуто: «Ругая и виня / Проклятую погодку, / Вы выпьете вина, / Размешанного с водкой».

Адресат ст-ния неизвестен.

1120. ЛГ. 2014, 21 июня; *НС*. Автограф — Л. 15 об. Вкл. в *КД* с вар.: ст. 1 «Рассердись, как ветер, как метель». «Господа» в автографе с прописной буквы.

1121. Двина. 2014. № 3. Автограф — Л. 15 об.–16.

В отличие от одноименного ст-ния, написанного в средней полосе России и включенного в *КТ* (№ 76), имеет отчетливо колымские черты и при этом согрето мягким юмором, не слишком типичным для Шаламова. Это позволяет более точно датировать ст-ние августом 1950 г. — пиком творческого подъема и пиком «маленького счастья» на Дусканье.

1122. Л. 16. Вкл. в *КД*.

«*Стежки писем*» указывают на то, что адресатом ст-ния является, по всей вероятности, Г. И. Гудзь.

1123–1125. Л. 16 об.–17. В *КД* убраны последние 10 строк первой части и первые 6 строк второй части, в конце второй части добавлено: «Ледовых замков вечный старожил, / Я ненависть мою не сторожил». Машинопись — *ПТраубе.*

Ср. те же «рыцарские» мотивы в ст-ниях «Ронсеваль» (№ 53) и «Рыцарская баллада» (№ 55). Стилизация на темы романов В. Скотта с ясно звучащими автобиографическими мотивами (особенно выразительна «*якутская худая лошаденка*» на рыцарском турнире). Тема «любви и ненависти» нашла развитие в ст-нии «Боярыня Морозова» (№ 99), также написанном на Колыме: «Так вот и рождаются святые, / Ненавидя жарче, чем любя».

1126. Л. 17. Вкл. в *КД*.

Маша Теплова — очевидно, реальное лицо из колымских знакомых Шаламова (возможно, под другой фамилией), заключенная,

работавшая вместе с ним в лагерной больнице. Ср. «Сестре Маше» (№ 1139) и примеч.

1127. Л. 18 и об. Вкл. в *КД* с правкой второй строфы: «И я поглаживаю ласково / Остатки старого возка / Времен Владимира Атласова / И атамана Ермака».

Атласов В. В. — казак-землепроходец, уроженец Великого Устюга (откуда происходили и предки Шаламова). *Черский И. Д.* (1845–1892) — географ. За участие в польском восстании 1863 г. был сослан в Сибирь, где целиком посвятил себя научному исследованию края. Шаламов высоко ценил Черского и его деятельность, усматривая аналогию с собственной судьбой. Ср. ст-ние «Черский» (№ 621). *Безымянный ссыльный, / Такой же стихоплет, как я.* — Возможно, эти строки послужили основанием для Пастернака воспринимать *СТ* как «стихи ссыльного», в то время как автор являлся заключенным с почти 15-летним стажем. Частично одобрено Пастернаком («Понравилось <...> начало „Кареты прошлого“» — *Разбор БП*).

1128. Л. 18 об.

1129. Л. 19 об.–20 об. Римская цифра I дописана карандашом позднее, поскольку во вторую *СТ* включено еще одно ст-ние с аналогичным загл. (см. № 1184).

Одно из не понравившихся Пастернаку ст-ний ввиду «растянутости» и срывов в «каламбурные дополнения». В качестве примера Пастернак привел строки: «Бродя в изорванных лаптях, / Ты лыко ставила мне в строку», «Толок речную воду в ступе, / В уступах каменных толок». *И не возникнет мир цветущий / Из равновесья диких сил* — цитата из ст-ния «Смерть» (1828) Е. Баратынского: «Когда возникнул мир цветущий / Из равновесья диких сил».

1130. Л. 21.

1131. Л. 21.

Очевидно, попытка вариации на тему ст-ния Пастернака «Определение поэзии» (1917).

1132. Л. 21. В *КД* ст-ние радикально переработано: «Нам об угле громче угля говорит / Молчаливый спутник угля — аргелит. / Кварц и золото один имеют путь. / Только золото не знает, чем блеснуть. / И всегда я рядом с залежью тоски / Обнаружу рудоносные стихи» (Ед. хр. 78. Л. 24). Данный вариант повторен в *МЗ-1967.*

Аргиллит (Шаламов употребляет распространенное среди геологов упрощенное произношение — «аргелит») — не имеющая ценности осадочная горная порода, затвердевшая глина.

1133. Шаламов В. Стихи о Вологде и юности. Вологда, 2015. Автограф — Л. 21 об.–22.

Посвящение «Л. П.», а также обращение «моя милая Лида» указывает на Лиду Перову (Л. В. Перову-Сигорскую) — юношескую любовь Шаламова. Ей посвящено также ст-ние «В пятнадцать лет»

(см. № 191 и примеч.). *...На скамье, / Как мадам Рекамье...* — Ж. Рекамье — хозяйка знаменитого салона в Париже нач. XIX в. На известной картине Ж. Л. Давида Рекамье полулежит на кушетке.

1134. Л. 23 об.–24. Машинопись — *ПТраубе.*

Навеяно знаменитой картиной В. И. Сурикова «Меншиков в Березове» и вместе с написанными на Дусканье ст-ниями «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» представляло замысел своеобразного триптиха на темы картин Сурикова под общим названием «В Третьяковской галерее». См. № 98, 99 и примеч. Замысел возник в связи со столетием со дня рождения великого русского художника, широко отмечавшимся в 1948 г. и сопровождавшимся массовым репродуцированием его картин в популярных изданиях, доходивших, очевидно, и до Колымы. Подробная деталировка («нагольный полушубок», описание Меншикова и его дочерей и др.) дает повод предполагать, что Шаламов имел перед глазами репродукцию.

1135. Л. 24 и об. Машинопись — *ПТраубе.*

Работая над картиной «Иван Грозный и сын его Иван» И. Е. Репин писал царевича с В. М. Гаршина. Шаламов по ошибке памяти полагал, что Гаршин позировал для портрета не сына, а самого Ивана Грозного — «казнящегося старика». К творчеству Гаршина Шаламов относился скептически: «За какие писательские заслуги мы считаем классиком Гаршина — незначительного писателя, весьма прогрессивного, толстовского плана» (*ВШ7.* Т. 6. С. 457), — равно как и к творчеству Репина (также во многом в связи с «толстовством» последнего). Судя по последним строкам, Шаламов ценил Сурикова гораздо выше, чем Репина, именно за художественную смелость (*«тот бы не сдрефил»*). См. также № 98 и примеч.

В пролеты лестниц винтовых... — Гаршин покончил с собой, бросившись в пролет лестницы. *Кого поставила в июле, / Кого и раньше — в январе.* — Дуэль Лермонтова с Мартыновым состоялась в июле, дуэль Пушкина с Дантесом — в январе.

1136. Л. 25.

1137. Л. 26.

В подтексте ст-ния — надежды на скорое окончание сталинской эпохи. Церковные образы в первой строфе ассоциируются с Пасхой.

1138. Л. 27.

Строки «*И запах пригоревшей каши / Напоминает шоколад*» — отмечены в *Разборе БП. В такой погоде старый Тютчев / Хотел дождями бы блеснуть* — по-видимому, отсылка к хрестоматийному ст-нию Ф. Тютчева «Весенняя гроза» (1828).

1139. Л. 27 об.–28. Вкл. в *КД.*

Вероятно, в образе «сестры Маши» соединены черты родной любимой сестры Шаламова Наташи (*отцовскую песню споем*) и Маши Тепловой, заключенной, которой посвящено ст-ние № 1126. Отмечено в *Разборе БП.*

1140. *ЛГ.* 2014. 21 июня. Автограф — Л. 28 об.

Один из первых опытов перехода к короткой строке и сжатости стиха. С учетом этого датируется 1950 г.

1141. Знамя. 2014. № 11. Автограф — Л. 30. Вкл. в *КД* как начальное. Художественные особенности этого ст-ния позволяют отнести его к 1950 г.

Скорбут — цинга.

1142. Л. 30–30 об. Вкл. в *КД* вторым по порядку. Машинопись — *ПТраубе.*

См. более краткую вариацию на ту же тему, № 1197.

1143. Л. 30 об. Вкл. в *КД.*

1144. Л. 30 об.–32, черновой вариант третьей строфы: «Но мой испортился компас. / И как нам быть теперь? / Ты взглядом узких карих глаз / Показываешь вверх» (исправлено чернилами). В *КД* с загл. «Поездка. (Тунгусская девушка)». В первоначальном списке стихов *КД* (Ед. хр. 375. Л. 1; ок. 1950 г.) «Поездка» снято. Предлагалось в *Огниво,* что явствует из цитирования строк: «Я кровь остановлю смолой, / Перевяжу травой» во внутренней рецензии В. Бокова (*РГАЛИ.* Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 21. Л. 1). См. также вступ. статью.

Правка в *СТ* сделана с учетом замечания в *Разборе БП* (ср.: «Только нехорошо, где ... „Ты взглядом узких карих глаз Показывала вверх", т. е. нехорош этот надуманный зенит и нехорошо то, что он ее оставляет»). В *Разборе БП* отмечены также строки «Мне не забыть рябых озер, / Пузатых парусов». В целом ст-ние Пастернаку понравилось.

Единственная в поэтическом творчестве Шаламова романтическая баллада-стилизация с элементами северного эпоса. Очевидно, что здесь отчасти сказалось влияние «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло в переводе И. Бунина, который Шаламов хорошо знал (ср. его статью об этом переводе: *ВШ7.* Т. 7. С. 238–244). В этом жанре пробовал себя на Колыме близкий в то время к Шаламову поэт В. Португалов, что также могло подтолкнуть Шаламова к эксперименту. *Юкола* — сушеная рыба, которую тунгусы, якуты и другие аборигены заготавливали для собак.

1145. Л. 32. В *КД* последняя строфа: «Чтоб по контрасту этим краскам / Мог убедиться человек, / Что там конец мечтам и сказкам, / Где снег ложится на ночлег».

1146. Л. 32. В *КД* без последних двух строф.

Апрельский ледокол... — Первые пароходы с грузами и почтой приходили в бухту Нагаева (с помощью ледоколов) обычно в апреле–начале мая.

1147. Л. 32 об. Вкл. в *КД.*

1148. *ЛГ.* 21 июня 2014 г. В *КД* с загл. «Ветер».

В *Разборе БП* отмечены строки: «Я писал, о чем попало, / Но свою имел я цель. / В стекла била, завывала, / И куражилась метель».

***1149.** *Огниво*; *ВШ4*. Т. 3; *ВШ7*. Т. 3 (в разделе «Стихи, не включенные в *КТ*»). Автограф — Л. 32 об.–33, с вар. Вкл. в *КД*. Печ. по *Огниво*.

Ст-ние отмечено в рецензии Б. Слуцкого (*ЛГ*. 1961. 5 окт.).

АКомм: «*Стихотворение написано в 1949 году на Дальнем Севере, близ ключа Дусканья на левом берегу реки Колымы, где я работал фельдшером и впервые с 1937 года получил возможность одиночества и писал стихи день и ночь. Строфы были шатки, буквы не всегда уверенно вставали в строки, но сознание, что поэтическая сила, способность к стихосложению вернулась, наполняло великой радостью мою жизнь... Я ничего тогда не ждал от жизни — ни плохого, ни хорошего... Ждал только утра, чтобы писать снова и снова. Я записывал стихи в самодельные большие тетради из оберточной бумаги, сшитые той же нитью, что тачают оленьи торбаза, чинят валенки.*

Тетради эти у меня сохранились. Нетвердость поэтической строчки, как мне казалось, была прямо связана с нетвердостью руки, отвыкшей от пера и привыкшей к совсем другому инструменту.

Возвращение в мир поэзии идет тем же путем, не может обогнать возвращения обыкновенных письменных навыков, которые тоже были утрачены, как и способность стихосложения, способность познания мира с помощью стихов. Возвращение этих навыков казалось мне — да и было — чудом, по сравнению с которым чудо поэзии, чудо искусства — второстепенное чудо.

Я с волнением перелистываю колымские свои тетради. Бурю чувств вызывают эти привезенные с Севера листочки с выцветшими буквами химических чернил».

1150. Л. 33 об.

1151. *НГ*. 2014. 30 окт.; Знамя. 2014. № 11. Автограф — Л. 33 об.

Ноги млеют — здесь: замерзают до изнеможения. *Торбаза* (торбаса) — меховая обувь у якутов. Очевидно, речь идет о «худых» (дырявых), как и рукавицы, торбазах, доставшихся герою по случаю. Обычной зимней обувью колымского заключенного были так называемые «бурки». Ср.: «…Я стал колотить буркой о бурку — носили мы не валенки, а стеганые, шитые из старых брюк и телогреек ватные бурки» (рассказ «Заговор юристов»: *ВШ7*. Т. 2. С. 188–203).

1152. Л. 33 об.–34.

1153. Л. 34.

1154. *МО*; *ВШ4*. Т. 3; *ВШ7*. Т. 3 (в разделе «Стихи, не вошедшие в *КТ*»). Автограф — Л. 36.

АКомм: «*Написано в 1949 году на ключе Дусканья. Из самых, самых первых стихотворений, записанных мной, еще не боявшимся многословия*».

1155. Автограф — Л. 39 (чернила с поздними правками карандашом).

Бутара — устройство для промывки золота.

1156. Л. 39 об.

Я сир и наг. Я очень одинок. — Ср. «Я беден, одинок и наг...» (№ 2).

1157. *ДП-1968*, загл. «К другу», без второй строфы; Юность. 1987. № 3, *ВШ4* и *ВШ7*, так же. Автограф — Л. 39 об. Вкл. в *КД*. Под загл. «Другу» вошло в машинопись «Из колымских тетрадей», подаренную в 1962 г. Б. Слуцкому (*Слуцкий КТ*), и в *КТИзбр.*

В примеч. к сокращенному варианту (*ВШ7*. Т. 7. С. 205) высказано ошибочное предположение, что ст-ние посвящено Я. Гродзенскому (см. очерк Шаламова о нем: «Гродзенский <отрывки воспоминаний>» // *ВШ7*. Т. 7. С. 405–417; переписка Шаламова с Гродзенским — *ВШ7*. Т. 6. С. 326–356). Поскольку Гродзенский на Колыме не был (он отбывал срок в Воркуте), то ст-ние посвящено, вероятнее всего, В. Португалову. О Португалове см. также ст-ние «Был поэт-подвижник...» (№ 800) и примеч.

1158. *ВШ7*. Т. 7, по *МЗ-1967*, с ошибкой в датировке. Автограф — Л. 40. Вкл. в *КД*.

Стоит первым в списке ст-ний, одобренных в *Разборе БП.*

1159. Л. 40. Вкл. в *КД*.

Одобрено в *Разборе БП.*

***1160.** *Огниво*, с вар.: предпоследняя ст. «невежды богомаза» вм. «невежи-богомаза» (по-видимому, опечатка или редакторская правка, поскольку ни в одном из источников такой вар. не зафиксирован). Автографы — Ед. хр. 3. Л. 40 и об., загл. «Ростовское письмо»; Ед. хр. 87. Л. 99 (1956 г.), загл. «Рублев». Машинопись — *ПТраубе*, загл. «Богомаз». Печ. по *Огниво* с исправлением опечатки.

В тематическом списке стихов под названием «Третьяковская галерея», составленном в 1951 г. (Ед. хр. 373. Л. 1), «Ростовское письмо» стоит первым. Это свидетельствует о том, что знакомство Шаламова с иконописью А. Рублева произошло в Третьяковской галерее (знаменитая икона «Троица» размещалась здесь с 1929 г.). С фресковой живописью Рублева Шаламов мог ознакомиться в храмах Москвы. «Суть рублевской школы, — по словам Шаламова, — в ее заземленности — в смешении неба и земли, ада и рая» (*ЧВ*. С. 14). О своеобразном восприятии Шаламовым творчества А. Рублева см. также его переписку 1955 г. с художницей Л. М. Бродской и искусствоведом Н. А. Кастальской (*ВШ7*. Т. 6. С. 176, 190). *И Петр, узнав Андрея...* — двузначный образ: некий мирянин Петр, узнающий в изображенном на иконе апостоле Андрее своего брата; при этом апостолы Петр и Андрей были братьями.

АКомм: *«Написано в 1949 году на Колыме, на ключе Дусканья, в самой первой тетради колымских моих стихов, самодельной, из оберточной бумаги».*

1161. Л. 41. Вкл. в *КД*. Машинопись — *ПТраубе.*

Одобрено в *Разборе БП.*

1162. Л. 41 об.

«Фарман» — самолет французской фирмы, стоявший на вооружении главным образом белой армии.

1163. Л. 42 об.

Представления о магических истоках поэзии были распространены среди символистов. Возможно, Шаламов соотносил свой реальный опыт общения с шаманами с этими представлениями (см., например, статью А. Блока «Поэзия заговоров и заклинаний», 1908). *Волшебный мир всеобщих соответствий.* — Эта строка, процитирована первой в *Разборе БП*, после слов, обращенных к Шаламову: «Ваша сильная сторона...», что свидетельствует о том, что Пастернака привлекло это ст-ние, однако в *Разборе* он его специально не отметил. По наблюдению Е. Л. Гофмана, строка о «волшебном мире», вероятно, является реминисценцией формулы поэзии у А. Блока и круга символистов: «Ты свободен в этом волшебном и полном соответствий мире» (см.: А. Блок, «О современном состоянии русского символизма», 1910).

1164. Юность. 1987. № 3; *ВШ7*. Т. 7. Автограф — Л. 43. Вкл.в *КД* с переставленными строфами 1 и 3.

Строфа «Где юности твоей условье, / Те города. / Где пьют подряд твое здоровье / Всегда, всегда...» отмечена в *Разборе БП* (Пастернак цитирует эту строфу с изменениями: «Восторженные города» вм. «Те города» и «Что пьют...» вм. «Где пьют»).

1165. Л. 43. Вкл. в *КД* с правками в 4 строфе: вм. «беззаботная семья» — «середняцкая», вм. «подходящие края» — «отдаленные» (ясный знак того, что семья его друга-птицелова была раскулачена).

Связано с воспоминаниями о вологодской юности, о влюбленности в Л. Перову (см. примеч. к № 1133). Одобрено в *Разборе БП*.

1166. *НГ*. 2016, 4 марта; *НС*. Автограф — Л. 43 об.–44. Предлагалось в *ДиС*, отклонено: ст-ние упомянуто во внутренней рецензии О. Дмитриева: «Из книги выпадают стихи „В рентгеновском кабинете" — заметно, что это придумано, на фоне естественности всей поэзии Шаламова» (*РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2121. Л. 9). Очевидно, О. Дмитриев не предполагал, что ст-ние имеет реальную (лагерную) основу. Оно связано с присутствием Шаламова в рентгеновском кабинете Центральной больницы УСВИТЛ в пос. Дебин. Рентгенотехником в больнице был его друг, будущий писатель Г. Г. Демидов. (См.: Мамучашвили Е. В больнице для заключенных // *Шсб-2*; переписка Шаламова с Демидовым — *ВШ7*. Т. 6. С. 395). Размер — пятистопный анапест — возможно, восходит к ритмике поэмы Б. Пастернака «Девятьсот пятый год».

1167. Л. 44, первоначальный вар. предпоследней строки: «Заманчивой судьбы седого Галилея». Вкл. в *КД*, с вар. той же строки: «Заманчивой судьбы Бруно и Галилея».

Очевидно, что речь идет о сожжении второго рукописного варианта стихов, написанных на Дусканье. См. преамбулу к разделу.

1168. *Л.* 44. Вкл. в *КД*.

1169. Автограф — Ед. хр. 2. *Л.* 1 (вторая *СТ*. Далее до № 1187 указывается только лист соответствующего автографа). Черновой вар. последней строфы: «Отмытый, бритый и не вшивый, / Он вспух от чванства потому, / Что все, кто остаются живы, / Уже завидуют ему».

1170. *НГ.* 2014. 30 окт.; Знамя. 2014. № 11. Автограф — *Л.* 2 об.–3. Зачеркнута карандашом (очевидно, позднее) последняя строфа: «И мы проходим по следам / Своих отцов и дедов, / Шагавших медленно сюда / К страданьям и победам». Вкл. в *КД* без второй строфы. Предлагалось в *ДиС*, отклонено (упоминается во внутренней рецензии В. Дементьева: *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2121. Л. 2).

Шоссе энтузиастов — бывший Владимирский тракт, по которому в царское время шли в Сибирь кандальные каторжники. Шаламов подчеркивает свою преемственность с ними. За это ст-ние в 1949–1950 гг. он вполне реально мог получить новый срок по политической статье, в связи с чем понятны его предосторожности при пересылке *СТ* Пастернаку.

1171. Л. 5 об. Вкл. в *КД*. С вар. ст. 1 «Луны тревожные восходы» предлагалось в *ДиС*, отклонено (упоминается во внутренней рецензии В. Дементьева: *РГАЛИ*. Ф. 1234. Оп. 19. Ед. хр. 2121. *Л.* 2).

1172. Знамя. 2014. № 11. Автограф — *Л.* 5 об. Вкл. в *КД*, где «желтых костров» исправлено на «дымных», там же вписано «Теряя и совесть и имя» вместо первоначально «Разучиваясь латыни». *Тарабарский язык* — обедненная речь заключенных с использованием уголовного жаргона и нецензурных слов.

1173. *Л.* 6.

И с убийцами в лад хохочи... — Тема интеллигентского «ублажания» блатных (категорически неприемлемого для Шаламова) впоследствии развернута в *КР* («Заклинатель змей», «Тифозный карантин» — *ВШ7*. Т. 1. С. 118–124, 213–214) и в «Очерках преступного мира» (*ВШ7*. Т. 2. С. 94–101).

1174. Л. 6 об. Вкл. в *КД*.

Строки: «*Перчаток скрюченный комок. — И безголовое пальто со стула руки опустив. — Гребенка прыгает в углу, катаясь лодкой на полу*» — отмечены в *Разборе БП*.

1175–1176. *Л.* 7–7 об. Вкл. в *КД*, с исправлением ст. 11 «Наша жизнь — не неудача».

Очевидно, что имя *Анастасия* — условное, взято ради рифмы с «Россией», аллегория которой и воплощена в ст-нии (сестры с именем Анастасия у Г. И. Гудзь не было). Детали и настроение второго ст-ния указывают на Г. И. Гудзь. Обе части отмечены в *Разборе БП*.

1177. *Л.* 8.

Посвящение «Г.», несомненно, относится к Г. И. Гудзь. В *КД* объединено со следующим ст-нием, с общим посвящением.

1178. Л. 9 об.–10. В *КД* объединено с предыдущим ст-нием. Предпоследняя строка «Сострадательная плакса» приведена по правке в *КД*, в *СТ* было: «На Чукотке, на Аляске». В *КД* название снято.

Посвящено Г. И. Гудзь. *Усть-Улс* — лагерный поселок на Вишере, где Шаламов познакомился со своей будущей женой. См.: *ЖЗЛ*. С. 123. Подробности пребывания Шаламова в этом поселке отражены в главе «Усть-Улс. Апрель–октябрь 1931 г.» «Вишерского антиромана» (*Шсб-5*. С. 93–113). Ср. также ст-ние 1970-х гг. «Правлю в Вишеры верховья...» (№ 967) и примеч.

***1179.** *ДП-1969*; *ВШ4*. Т. 3, *ВШ7*. Т. 3. Автографы — Ед. хр. 7. Л. 9; Ед. хр. 2. Л. 9–10, с вар. (ранняя ред.; см. раздел «Другие редакции и варианты»). Вкл. в *КД* с вар. ст. 1–2 «Он волю волн о камень бьет / И — волнами бичеван».

Связано с посещением в 1952 г. поселка Ола на берегу Охотского моря. Ср. рассказ «Путешествие на Олу» (*ВШ7*. Т. 2. С. 419–424). *Беринг Витус* — знаменитый российский мореплаватель XVIII в., умер от цинги в 1741 г. во время экспедиции, когда его корабль был выброшен в шторм на остров, впоследствии названный его именем.

АКомм: *«Написано в 1951*[1] *году в Барагоне, близ Оймякона».*

1180. Юность. 1970. № 7; *ВШ4*. Т. 3; *ВШ7*. Т. 3.

АКомм: *«Написано в 1951 году на Колыме. Входит в колымские тетради»*[2].

1181. Л. 10 об.

Посвящено тепличному хозяйству лагерной больницы. Основы выращивания садово-огородных культур в северных условиях были заложены при Э. П. Берзине агрономом-заключенным А. А. Тамариным-Мирецким (Мерецким) (1882–1938), которого Шаламов знал еще по Вишере. См. рассказ «Хан-Гирей» (*ВШ7*. Т. 2. С. 239). *Опыт и блажь садовода, / Поэта и старика.* — Имеется в виду Тамарин-Мирецкий. Тема связана с натурфилософским оптимизмом Шаламова и развита в ст-нии «Слово к садоводам» (№ 571).

1182. Л. 11.

Посвящение «*А. Д.*» — возможно, Аркадию Добровольскому (см. примеч. к № 800). Строка «*Гравюру мороза в окне*» отмечена в *Разборе БП*. Эта строка использована также в ст-нии «Вот так и живем мы, не зная...», вошедшем в *КТ* (№ 326).

1183. Л. 14. Вкл. в *КД*.

Редкая для Шаламова попытка оценить «стройки социализма» в СССР (к которым относился и Вишерский ЦБК, и объекты

---

[1] В Якутии Шаламов начал работать в 1952 г., и здесь был создан окончательный вар. ст-ния.

[2] На самом деле в *КТ* не включено, вероятно, по забывчивости.

Дальстроя) с точки зрения прогресса цивилизации, с утешительной мыслью, что и «терпенье арестантское», и «рабы на пирамиде» в конце концов служат благу человечества. Ст-ние можно считать первым выражением оптимистической натурфилософии Шаламова, впоследствии запечатленной в ст-ниях «Слово к садоводам» (№ 571) и «Асуан» (№ 922). *Иностранным атташе, пришедшим удивляться.* — Имеются в виду иностранные представители, бывавшие как на Вишере, так и на Колыме (в последнем случае — вице-президент США Г. Уоллес, посетивший Колыму в 1944 г. Ср. рассказ «Иван Федорович», *ВШ7*. Т. 2. С. 248). *Баальбек* — город в Ливане, где расположен храмовый ансамбль, в основании которого — тысячетонные плиты. *Термы Каракаллы* — одна из наиболее грандиозных римских построек.

1184. Л. 14–14 об., черновой вар. ст. 27: «Твердя обеты и заветы».

Эпиграф — неточная цитата из венка сонетов «Corona astralus» М. Волошина (у Волошина вместо «бродяги» — «скитальцы»). Шаламов мог знать эти строки по сб. стихов Волошина «Иверни» (М., 1918). Ср. ст-ние «Признания-I» (№ 1129). По легенде, знаменитый древнегреческий ученый *Архимед* был убит римскими солдатами во время очередного научного эксперимента. Для Шаламова этот эпизод служил ярким символом исполнения своего долга наперекор угрозе смерти. Ср. ст-ние «Как Архимед, ловящий на песке...» (№ 83) и примеч.

1185. Л. 19. Вкл. в *КД*.

Вероятно, послужило основой двух ст-ний *КТ*: «Сыплет снег и днем и ночью, / Это, верно, строгий бог / Старых рукописей клочья / Выметает за порог...» (№ 26) и «Белое небо. Белые снега. / Ходит по ущельям девочка-пурга...» (№ 179).

1186. Л. 20. Автограф с поздними неразборчивыми правками. Печ. по *КД*.

1187. Л. 21. Вкл. в *КД*.

1188. Знамя. 2014. № 11. Автограф — Ед. хр. 4. Л. 1 (разрозненные листы *СТ*. Далее до № 1202 указывается только лист).

1189. Знамя. 2014. № 11. Автограф — Л. 2.

1190. Л. 3. Вкл. в *КД*.

1191. Л. 3 об. Вкл. в *КД*.

Блестит холодная звезда, / Небесная отрада. — Возможно, образ звезды является отдаленной аллюзией на ст-ние И. Анненского «Среди миров» (1909). Ср. № 1225 и примеч.

1192. Л. 3 об. Автограф с неразборчивыми правками. Печ. по *КД*.

1193. Л. 4. Автограф с неразборчивыми правками. Печ. по *КД*.

1194. Л. 5. Вкл. в *КД*.

1195. *ЛР*. 2014. 21 марта (с некоторыми неточностями расшифровки текста; в публикации «Предпасхальный привет с Колымы»). Автограф — Л. 5 об.–6. Вкл. в *КД*. Первонач. название

«Видевше свет вечерний» в автографе зачеркнуто. В колымском списке стихов (Ед. хр. 373. Л. 2) обозначено «Таня. (В церкви)». В *КД* правки: вместо «Подметаешь по мостовой» — «Ты проходишь по мостовой», вместо «В краснозвездной моей Москве» — «Героиня церковных встреч» (?!), оставлен первоначальный вариант.

«*Видевше свет вечерний*» — пятая строка одного из старинных православных песнопений (распевов) «Свете тихий», исполняемого во время всенощного бдения. Распев имеет множество музыкальных интерпретаций, наиболее известная принадлежит С. В. Рахманинову. Несомненно, эта строка распева запомнилась Шаламову с детства. Хотя отчасти ст-ние связано с детскими воспоминаниями, очевидно, что оно навеяно реальными эпизодами жизни в Москве 1920–1930 гг. *Таня* — имя, вероятно, вымышленное. С учетом того, что в *КД* размещено перед ст-нием «Выпей, Таня...» (см. № 1118 и примеч.), можно предполагать, что речь идет об одной и той же героине, живущей в Москве. *Ектенья* (ектения) — элемент церковного ритуала, обращение «У Господа просим», поется хором. «*Теплота*» — теплая вода, которой разбавляют вино для причастия. В *КД* кавычки убраны. С учетом предпасхальной тематики, а также с учетом поэтического развития Шаламова на Дусканье ст-ние можно более точно датировать периодом Великого поста 1950 г. (а не 1949 г.). Пасха в том году отмечалась 9 апреля.

1196. Л. 6 об.

1197. Знамя. 2014. № 11. Автограф — Л. 5 об.–6. Печ. по *КД* с учетом правок, в первой строфе автографа было: « И понял я... Отполированный гранит». Черн. вар. посл. строки: «Как будто дело в пустяке».

1198. *ДиС*, без даты. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 19 об.–20. Зачеркнута предпоследняя строфа: «Своим ироническим клювом / Она обернулась ко мне, / Надеясь, что скептики-люди / Ее понимают вполне…»

В списке стихов 1950 г. (Ед. хр. 373. Л. 2) стоит первым. Шаламов был недоволен публикацией в *ДиС*. Ср. письмо О. Михайлову 2 февраля 1968 г.: «Нарушением единого тона сборника было включение стихов, написанных в трудных условиях на Колыме в 1949 и 1950 годах и выбранных из множества стихов тех лет: „Чучело“, „Притча о вписанном круге“ и некоторые еще...» (*ВШ7*. Т. 6. С. 530–531). Шаламов дорожил этим ст-нием, ср.: «В свое время Пастернак был против „Чучела“ и понял все только при личной встрече» (Там же).

1199. Знамя. 2014. № 11. В связи с тем, что в *СТ* автографы этого и следующего ст-ний до № 1202 отсутствуют, эти ст-ния печ. по *КД* (Ед. хр. 78. Л. 42 об. и далее). Идентичный текст в *ПТраубе*. Предлагалось в *МО*, отклонено (см. авторский список состава: Ед. хр. 373. Л. 40).

Одобрено в *Разборе БП*. Образ княгини Е. И. Трубецкой из поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины» (1872) запомнился Шаламову с детства в связи со школьным спектаклем по этой поэме, где роль Трубецкой играла Лида Перова (см.: *ЧВ*. С. 78; см. также примеч. к № 1133). Та же тема звучит в ст-нии «На улице волки...» в сб. «Златые горы» (см. № 227): «Где тень от кибитки / Возка Трубецкой / Мучительней пытки / Обычной людской».

АКомм: «*Много раз исправлялось. В конце концов пришлось вернуться к первоначальному варианту, посланному когда-то Пастернаку и одобренному им*».

1200. Российская газета. 2015. 11 июня. Автограф — Л. 43 об.

Сочетание четверостиший с перекрестной рифмовкой и двустишия с рифмовкой смежной напоминает форму шекспировского сонета, что небезразлично для образной и смысловой структуры ст-ния. См. также № 1204: в одном из автографов это десятистрочное ст-ние с аналогичной рифмовкой названо Шаламовым сонетом. Возможно, сочинено в период тайных поэтических вечеров в лагерной больнице (см. рассказ «Афинские ночи», *ВШ7*. Т. 2. С. 409).

1201. Российская газета. 2015. 11 июня. Автограф — Л. 44.

1202. Л. 44 об. Вкл. в *КД*.

1203. Знамя. 2014. № 11. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 6 (*ЯТ*), с перечеркнутой карандашом третьей строфой: «Исторический этот опыт / Применительно к нашей судьбе: / Керосиновой лампы копоть, / Завывающий ветер в трубе». Ст-ние с названием «Пещера» фигурирует в первом списке колымских стихов, составленном самим Шаламовым (Ед. хр. 5. Л. 20), следовательно, оно входило в *СТ* и утрачено.

1204. Ед. хр. 9. Л. 1 (*ЯТ*, куда переписан — очевидно, по памяти, ряд стихов из *СТ*, отправленных Пастернаку: «Игрою детской увлеченный...», «Положен жестяной венок...», «Выпей, Таня...» и др.). На принадлежность этого ст-ния к колымскому периоду указывает также список Ед. хр. 5. Л. 20, с загл. «Сонет».

Из якутских тетрадей (1952–1953)

Кроме самодельных тетрадей в архиве Шаламова (Оп. 3) сохранились 4 общие тетради разного типа и цвета обложки, в которые он записывал стихи и наброски к ним в период после освобождения из лагеря (октябрь 1951 г.) до отъезда с Колымы (октябрь 1953 г.). Некоторое время Шаламов продолжал работать вольнонаемным фельдшером в больнице УСВИТЛ, затем, летом 1952 г., ездил в Магадан, в санитарное управление Дальстроя, и после неудачи с устройством на работу в прибрежном поселке Ола (его не взяли в пограничную зону «по анкете» — см. рассказ «Путешествие на Олу», *ВШ7*. Т. 2. С. 419, там же и упоминание о «тетрадке», которая «постепенно заполнялась рифмованными

строками <...> и не должна была вызвать подозрения у того, кто ее украдет») получил направление в дальнее Индигирское управление Дальстроя, находившееся на территории Якутии, близ Оймякона (начало работы здесь, согласно трудовой книжке, — 20 августа 1952 г.). Кюбюминский дорожный участок, где работал Шаламов, находился в 150 км от большого села Томтор с аэропортом при нем. Как фельдшер Шаламов обслуживал не только заключенных Дальстроя, но и местное население — ему постоянно приходилось выезжать (на оленьих и собачьих упряжках) в окрестные деревни (наслеги). Но свободное положение Шаламова в Якутии было уже несравнимо с лагерем, и он максимально использовал его для поэтической работы. Особый подъем он испытал после смерти Сталина и после получения гражданского паспорта (7 апреля 1953 г. в Сусуманском райотделе милиции), когда возвращение на «большую землю» стало реальностью. В целом якутский период оказался необычайно плодотворным для Шаламова — недаром он говорит о нем как о «второй Болдинской осени» (см. № 1224 и примеч.). Именно здесь была создана *СинТ*, привезенная в Москву Б. Пастернаку, а также большая часть стихов, вошедших в *СумП* и другие сборники *КТ*.

Однако значительное число вполне законченных произведений якутского периода Шаламов не включил в *КТ*, очевидно, полагая, что они нарушают задуманный состав сборников, повторяют их мотивы и т. п. Тем не менее, в *ЯТ* имеется целый ряд ст-ний, исключительно важных для понимания всего творчества Шаламова (прежде всего, посвященное И. Анненскому № 1225 и посвященные Б. Пастернаку № 1234 и 1235). К некоторым ст-ниям *ЯТ* он возвращался в 1960–1970-е гг., пытаясь их напечатать (соответствующие случаи оговорены в примеч.).

Как уже отмечалось (см. преамбулу комментария к *КТ* в т. 1 наст. изд.), хронологически, с учетом датировок автора и других признаков, якутские тетради следуют в таком порядке: Ед. хр. 8 (с поздней авторской датировкой на обложке: «1951? 1952? 1953?», свидетельствующей о затруднениях памяти), Ед. хр. 9 (основное содержание — беловые вар. стихов *СТ*), Ед. хр. 6 (основное содержание — черновики *СинТ*), Ед. хр. 1 (с обложкой синего цвета — очевидно, аналогичной по фактуре той, что была послана Пастернаку). К ним примыкает тетрадь Ед. хр. 11, относящаяся к концу 1953 г., где содержатся черновой и чистовой вар. поэмы «Вагонные стихи», являющейся своего рода кодой всей колымской лирики Шаламова. Кроме того, часть стихов, написанных в Якутии, имеется в тетради Ед. хр. 10, на обложке которой стоит дата «1953 г.», исправленная затем автором на «1954 г.». Два ст-ния (№ 1252, 1253), атрибутированные как предполагавшиеся в состав *КД*, найдены в архиве Б. Пастернака (в его части, отошедшей к Е. Л. Пастернак). Все тексты печатаются согласно установленному хронологическому порядку.

В публикацию не вошли незавершенные ст-ния, а также ряд ст-ний, содержащих вариации мотивов, с большей убедительностью развитых в других ст-ниях. В раздел включено ст-ние «Притча о вписанном круге» (№ 1205), автограф которого в *ЯТ* отсутствует, но машинопись имеется в другой тетради (Ед. хр. 89), где автором указана принадлежность ст-ния к якутскому периоду. Неопределенность авторских датировок (ср. Ед. хр. 8 с вопросами автора «1951? 1952? 1953?») вынуждает к предположительности датирования, оговариваемой в сложных случаях.

1205. *ДиС*, с вар.: без даты и места создания; без ст. 13–14 («Я севера вызвал немилость, / И площадь моя сократилась»); ст. 25 «Легко пифагорово время». Машинопись — Ед. хр. 89. Л. 51. Приписано автором: «Оймякон, 1952 г.». В *ВШ4* и *ВШ7* ошибочно датировано 1957 г. и включено в раздел «Стихи 1957–1981 гг.». Печ. по машинописи.

Шаламов был недоволен публикацией в *ДиС* в связи с тем, что не было указано время создания ст-ния, см. примеч. к № 1198. В контексте 1960-х гг. ст-ние могло быть истолковано как признание автора в склонности к компромиссу. Не исключено, что именно оно дало повод Г. Адамовичу заявить в своей рецензии: «Шаламов не столько склонен забыть или простить былое, сколько готов махнуть на него рукой...» (*ВШ7*. Т. 7. С. 348). На это Шаламов ответил: «Я вижу в своем прошлом и свою силу и свою судьбу, и ничего забывать не собираюсь. Поэт не может „махнуть рукой“ — стихи тогда бы не писались» (*ВШ7*. Т. 7. С. 530). Следует заметить, что другой зарубежный читатель, В. Л. Андреев, написал Шаламову, что «вписанному кругу» он не верит (*ВШ7*. Т. 6. С. 519).

1206. Автограф — Ед. хр. 8. Л. 3 (далее до № 1225 указываются только листы соответствующего автографа).

1207. Л. 4 об.

На город кинулась вода... — Очевидно, картина наводнения связана с Магаданом, где Шаламов побывал летом 1952 г., оформляясь на работу вольнонаемным фельдшером. Здесь он мог наблюдать и паводок на реке Магаданке, вызванный ливнями. Ср.: «Нева <...> на город кинулась» (А. Пушкин, «Медный всадник»).

1208. Л. 6.

В последней строфе отражены эсхатологические предчувствия, запечатленные позднее в «Атомной поэме» (№ 84).

1209. Л. 7 об.

1210. Л. 9.

Навяжут роль ихтиозавра... — Этот мотив развит в «Атомной поэме» (№ 84) и ст-нии «Раковина» (№ 419; «Я вроде тех окаменелостей...»).

***1211.** *МО*. Автограф — Л. 12–13, с вар., загл. «Песня про юлу». Машинопись со сменой загл. — Оп. 2. Ед. хр. 115. Л. 43, с вар.: ст. 1 «Ты карту мира расстели». Печ. по *МО*.

Гироскоп — устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено. Простейшим примером игрушки, сделанной на основе гироскопа, является волчок (у Шаламова — юла).

1212. Л. 13.

Пинель Филипп (1745–1826) — французский психиатр, в 1795 г. впервые начал освобождать душевнобольных от оков, в которых они содержались со времен Средневековья. *Сальпетриер* — психиатрическая больница в Париже, где работал Пинель. Одно из первых свидетельств осознания Шаламовым-художником своей миссии «освобождения от цепей».

1213. Л. 13.

1214. Л. 15. Связано с Г. И. Гудзь.

1215. Л. 17, в ст. 7 «в седьмом кругу» исправлено на «в восьмом кругу».

Исправление сделано, очевидно, позднее, при более внимательном прочтении «Божественной комедии» Данте. В седьмом круге у Данте казнятся убийцы и насильники, в восьмом — обманщики. *Мне горло не зальют свинцом, / Как лицемеру.* — Лицемеры в восьмом кругу дантова ада закованы в свинцовые мантии.

1216. Л. 19.

1217. Л. 23.

1218. Л. 23 об.

Вероятно, связано с пребыванием на берегу Охотского моря в 1952 г. (см. рассказ «Путешествие на Олу» — *ВШ7*. Т. 2. С. 419). *Белая марля тумана* — «больничная» метафора, позднее вошедшая и в прозу Шаламова. Ср.: «Впрочем, солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана» (рассказ «Первая смерть» — *ВШ7*. Т. 1. С. 130).

1219. Л. 24.

Мирром — мирр, мир (миро), церковное масло для помазания. *Ереем* — ерей (иерей), младший титул священника.

1220. Л. 34.

1221. *Север.* Автограф — Л. 35, загл. вписано позднее карандашом. Также карандашом указана дата «1950 г.» (ошибка памяти: в Якутии, близ села Томтор, Шаламов начал работать с августа 1952 г.).

Возможно, ст-ние было задумано как стихотворное послание жене. Ср. *АКомм* к ст-нию «Верю» (№ 102): «...*Об этом времени мной написано еще одно большое стихотворение „Почта Томтора“ — „парное“ стихотворение к „Сотому разу“*».

1222. Л. 36.

Я не назвал простор пространством, / Как подобает мудрецу — возможно, в подтексте аллюзия на Б. Пастернака.

1223. Л. 46.

Резкое выражение послеколымского антропологического пессимизма Шаламова, его разочарования в идеалистическом гуманизме XIX в., основанном на христианстве. Ср. поздние высказывания о «грехе гуманизма» и «грехе русской гуманистической литературы» (<О «новой прозе»> — *ВШ7*. Т. 5. С. 157–160; письмо А. А. Кременскому — *ВШ7*. Т. 6. С. 576–583).

***1224.** *НС*. Автограф — Л. 47 об., с вар.

Ст. 7 и 8 (*«Зари, смешавшейся с кипреем, / Малиновый тяжелый свет»*) повторены позднее в *КТ* (№ 176, ст. 7 и 8). *Вторая Болдинская осень* — самохарактеристика необыкновенного творческого подъема в якутский период.

1225. *Север*. Автограф — Л. 52 об., карандашом на полях листа. В последней строке было: «И уводит меня за собой». Без посвящения переписано: Там же. Л. 45. Машинопись с загл. «Анненскому» — Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 4 (стихи, предназначавшиеся для сборников *МО* и *ТК*), с разбивкой на двустишия, без строф 3, 5, 9, 10, с опечаткой в ст. 1: «Проплясать бы...». Печ. по автографу (Л. 52 об.) с разбивкой на двустишия. Отметим, что Шаламов в беловых вариантах своих ст-ний неукоснительно соблюдал строфическое разбиение и отсутствие такового в автографе, скорее всего, объясняется спешкой.

О роли и значении творчества и поэтического поведения И. Анненского в становлении и развитии Шаламова-поэта см. вступ. статью. *Свой учительский старый мундир* — И. Анненский преподавал в Царскосельской гимназии, был ее директором, затем служил окружным инспектором и ездил с проверками по близлежащим губерниям, включая Вологодскую (этот факт, отмечавшийся в авторских ремарках к ст-ниям Анненского, очевидно, был известен Шаламову, что служило дополнительным стимулом чувства «родства» с поэтом). *Этих «в», этих «з», этих «эм»* — цитата из ст-ния Анненского «Невозможно» (1907): «Но лишь в белом венце хризантем, / Перед первой угрозой забвенья, / Этих *ве*, этих *зе*, этих *эм* / Различить я сумел дуновенья». В широком смысле имеются в виду чередования согласных, которые взял на вооружение Шаламов, впоследствии оформив их употребление в стиховедческую теорию (см. «Звуковой повтор — поиск смысла» — *ВШ7*. Т. 7. С. 261). *Голубые эти следы / Завели меня в вечные льды.* — Возможно, как и в начале ст-ния, где варьируется мотив *«мечты»*, ассоциации Шаламова связаны со ст. «Мечта весны, когда-то голубая» из ст -ния Анненского «Ледяная тюрьма» (опубликовано в сб. «Кипарисовый ларец», 1910). Нельзя не заметить, что метафорическая «ледяная тюрьма» Анненского для Шаламова на Колыме однажды стала жестокой явью. Ср.: «...Ледяной карцер был карцером, вырубленным в скале, в вечной мерзлоте, стены его были деревянные, самые обыкновенные лиственничные бревна. Посередине стояла обыкновенная печь, на которую давали два килограмма дров на сутки по карцерной

норме, а также кружку воды и суп через день. Но больше нескольких часов никто этого карцера не выдерживал ни зимой, ни летом. Я простоял в этом карцере несколько часов с вечерней поверки до утреннего развода, не имея возможности и повернуться: кругом был лед и на полу тоже лед. Говорили, что все, кто прошел через этот карцер, получили воспаление легких. Я — не получил...» (*Восп.* Гл. «Спокойный» — *ВШ7*. Т. 4. С. 522–523).

1226. Автограф — Ед. хр. 9. Л. 5 об.

1227. *Север*. Автограф — Ед. хр. 9. Л. 10.

Наслег — небольшая якутская деревня.

1228. Автограф — Ед. хр. 9. Л. 10 об.

С большой долей вероятности ст-ние обращено к Пастернаку: совет «*приглядывайся к жизни*», осуждение «*выдумки*» — это в точности пастернаковские советы Шаламову из *Разбора БП*. Ср.: «...Отличать писанное с натуры (все равно с внешней или внутренней) от надуманного» (*Разбор БП*). *Наивные советы, горожанин.* — Ср.: «Пастернак — горожанин» — *АКомм* к № 790. *Осокорь* — черный тополь.

1229. Автограф — Ед. хр. 6. Л. 3 об. Входило в первоначальный состав сборника «Пять времен года» (Ед. хр. 8. Л. 48) — прообраза *СинТ* (далее до № 1233 указываются только листы соответствующего автографа).

1230. Л. 11.

1231. Л. 15.

Первые две строки повторяют зачин народной песни «Разлука».

1232. Л. 16 об.

Адресат неизвестен. В рукописи расположено рядом со ст-нием «Камея», № 63 (любовным посланием к жене).

1233. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 2.

И деревья не знают уродов... — Ср. ст-ние «У деревьев нет уродов...» (№ 777).

1234. Б. Пастернак: Pro et contra. Антология. Т. 2. СПб., 2013. Беловой автограф — Ед. хр. 6. Л. 35–36. В первой публикации ст-ния ошибочно утверждается, что это второе ст-ние Шаламова, посвященное Пастернаку (после ст-ния «Поэту», № 94). В действительности ст-ние «Поэту» написано уже после встречи с Пастернаком в ноябре 1953 г., а комментируемое ст-ние написано в Якутии и, очевидно, передано Пастернаку если не при первой, то при ближайших встречах. Дополнительным аргументом в пользу даты и места создания ст-ния является упоминание *Гефсиманского сада* — ст-ние с таким загл. (вероятно, в ряду других, вошедших позднее в «Стихи из романа») было послано Пастернаком Шаламову в Якутию, о чем Шаламов писал в своем письме от 28 марта 1953 г. (*ВШ7*. Т. 6. С. 28).

В ст-нии фиксируются и переосмысливаются те положения из *Разбора БП*, в которых Пастернак резко переоценивает свое

раннее творчество и излагает новое понимание задач и сущности поэзии. Зачин ст-ния: «*Все то, что было упущеньем, / Теперь в канон возведено...*» — прочитывается как констатация и одобрение нового пути в поэзии Пастернака, особенно — его обращения к евангельской теме, чрезвычайно важной для напоминания о вечных ценностях человечества. *И собственных стыдится книг* — строка из ст-ния Пастернака «Мне по душе строптивый норов...» (1935). В комментарии к упомянутой выше Антологии (с. 909) говорится: «Е. Б. Пастернаку, когда отец показывал ему эти стихи, они показались слабее, чем прежние, написанные в Сибири. Б. Пастернак возразил ему, что здесь ведь все очень точно подмечено. „Но ведь это так!“— сказал он». *...что ремней его сандалий / Здесь недостойны развязать* — парафраз слов Иоанна Крестителя о Христе: «Я недостоин развязать ремень у обуви Его» (Ин. 1: 27). *Дым лепил ему скульптуры...* — Ср.: «Точно Лаокоон / Будет дым...» (Б. Пастернак, «Девятьсот пятый год», 1925–1926).

1235. Публикуется впервые. Машинопись — Оп. 2. Ед. хр. 88. Л. 3–5. В ст. 6 опечатка: «запасной» (вместо «записной») «евангелист».

Ед. хр. 88 — это тетрадная обложка с поздней авторской надписью «Стихи о Пастернаке разного времени». На ней карандашом записано: «1) Колымское? 2) Я в землю совесть не зарою. 3) Нет, он сегодня не учитель». В обложку вложены листы с машинописями двух ст-ний — комментируемого и «Нет, он сегодня не учитель...» (№ 545). Можно предположить, что «колымское» — это ст-ние «Все то, что было упущеньем...» (№ 1234), машинопись которого изъята или потеряна. См. также примеч. к № 545.

В пользу датировки 1953 г. указывают ритмические сбои, характерные для северного периода Шаламова (ср.: *Ростки надежд и сожалений, / Переживаемых сквозь стихи*). *Едва ли нынешнее лето...* — Скорее всего, имеется в виду лето 1953 г., после смерти Сталина. С другой стороны, в пользу датировки 1954 г. говорят строки: *И пусть нас ставят ренегаты / Опять к позорному столбу*, — свидетельствующие о включенности Шаламова в литературную ситуацию после возвращения с Колымы.

1236. Ед. хр. 1. Л. 3.

1237. Ед. хр. 1. Л. 4.

1238. Знамя. 2014. № 11; *НС*. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 6 об. Точная датировка отсутствует, однако можно с достаточной уверенностью утверждать, что ст-ние написано либо вскоре после смерти Сталина (5 марта 1953 г.), когда надежда на скорую встречу с женой начала обретать реальность, либо осенью того же года, накануне возвращения.

С двух концов большой страны — Г. И. Гудзь после ареста мужа находилась в ссылке в Туркмении.

1239. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 10 об.

1240. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 11.

1241. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 12.

1242. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 14, с зачеркнутыми четырьмя начальными строфами.

Телевизор в Якутии тех лет немыслим. Шаламов мог знать об этом новом устройстве из газет.

1243. Шаламов В. Стихи о Вологде и юности. Вологда, 2015. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 22.

Воспоминание о матери в якутской тайге могло быть навеяно очередной годовщиной ее смерти (декабрь 1934 г.). Ср. ст-ние «Положен жестяной венок...» (№ 1115).

1244. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 22 об.

У Бажова... в сказке давних пор... — Имеется в виду сказ П. Бажова «Хозяйка медной горы». *Ферсман А. Е.* (1883–1945) — выдающийся российский и советский минералог.

1245. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 23. Последняя строфа в автографе сначала зачеркнута, затем восстановлена.

Что я понял и видел — одна из устойчивых формул Шаламова после Колымы. Ср. его заметки «Что я видел и понял в лагере» (*ВШ7*. Т. 4. С. 625).

1246. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 24.

Речь идет о картинах художника-реалиста А. А. Борисова (1866–1934), уроженца Вологодской губернии, известного живописца Арктики. В резком неприятии творчества Борисова (а также известного американского художника Р. Кента — см. записную книжку 1971 г., *ЗапКн*. С. 321) у Шаламова отразился как собственный опыт наблюдения за огромным богатством оттенков северной природы, так и его эстетические взгляды, в том числе на живопись (он считал, что «единственный художник с палитрой будущего — Врубель» — *ВШ7*. Т. 5. С. 301). Судя по зачину ст-ния, речь идет о нашумевшей картине Борисова «Страна смерти»(1903).

1247. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 28.

Синиц, что где-то жгли моря — аллюзия на басню И. Крылова «Синица» (1811).

1248. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 32.

Я беспаспортный бродяга... — Если толковать буквально, то Шаламов был беспаспортным с ареста в 1937 г., а свой новый гражданский паспорт после освобождения из лагеря получил 7 апреля 1953 г. *Потяг* — здесь: упряжь для ездовых собак. *Я остола от хорея не сумел бы отличить* — двойная игра слов: с одной стороны, парафраз «Евгения Онегина» Пушкина («Не мог он ямба от хорея, / Как мы ни бились, отличить»), с другой: остол и хорей — названия шестов для управления оленьими и собачьими упряжками у якутов. Аналогичная игра слов встречается у Шаламова в ст-нии «Пусть я, взрослея и старея...» (№ 302). Ср. также № 37.

1249. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 35.

1250. *Север*, без загл. Автограф — Ед. хр. 1. Л. 39, без загл. Под загл. «Синица» — в *МЗ-1967*.

1251. Автограф — Ед. хр. 11. Л. 18 об.–21.

Эта тетрадь, датированная 1954 г., содержит ряд записей 1953 г., в том числе о первой встрече с Пастернаком в Москве 13 ноября. Особенно важна запись фрагмента диалога, не вошедшего в воспоминания: «— Могу ли я вам помочь материально? — Нет. Но у меня есть просьба — вот новые стихи — просьба прочесть», — фиксирующая передачу «синей тетради» и отказ Шаламова от материальной помощи, которую он, вопреки мнениям некоторых мемуаристов, от Пастернака никогда не принимал. Очевидно, тетрадь была взята Шаламовым в дорогу еще в Якутии или куплена в Иркутске, так как в ней содержатся и карандашные наброски «Вагонных стихов», сделанные в пути, и чистовой, чернильный вариант поэмы — вероятно, переписанный уже в пос. Озерки Калининской обл. Карандашом на полях сделаны пояснения: «Гоголь — с портсигара, в вагоне — ни единой книги». В строфе беловика: «Но славу темную Сибири» последнее слово «тюрьмы» вписано позднее карандашом. Чрезвычайно важное значение имеет предшествующая поэме запись в тетради (Л. 15):

«Если мертвые не вернулись — что мы знаем о них?

Если мертвые не жалуются — как можем жаловаться мы?

Если мертвые молчат — как можем молчать мы?»

Попыток опубликовать поэму у Шаламова не зафиксировано — возможно, он считал ее недостаточно совершенной.

Ср. описание пути с Колымы в рассказе Шаламова «Поезд» (1964 г.; *ВШ7*. Т. 1. С. 649–657), отчетливо демонстрирующее решение иной художественной задачи. Нельзя не отметить, что в том и другом случае Шаламов очень тепло вспоминает Иркутск. Можно, с большой долей осторожности, предположить, что поэма Шаламова родилась как своего рода полемический отклик на первые главы поэмы А. Твардовского «За далью — даль», которые начали печататься еще в начале 1950-х гг. (*ЛГ*. 1951. 21 июня; *НМ*. 1953 № 6). Поскольку ознакомиться с этими публикациями в условиях Колымы и Якутии Шаламову было весьма сложно, речь идет скорее о непроизвольном тематическом совпадении, вызванном схожей ситуацией — железнодорожным путешествием через Сибирь. Совпадение размера (четырехстопный ямб) также может быть отнесено к специфике вагонного путешествия с его ритмом, задаваемым стуком колес (однако изначально Шаламов ориентировался на «онегинский» ямб Пушкина, о чем он прямо пишет). О полемике с Твардовским можно говорить на примере ст-ния «Когда б я верил в эти дали...» (№ 533 и примеч.).

1252. Автограф из архива Е. Л. Пастернак, в составе части сборника «Ключ Дусканья, или Подлежащие и сказуемые», очевидно, посылавшейся Б. Пастернаку.

Вероятно, дописано после возвращения с Колымы. Ср.: *И душу ты не втиснешь / В журнальные стихи* — что свидетельствует об

осознании Шаламовым невозможности печатать свои произведения в первые годы постсталинской эпохи.

1253. Автограф — из архива Е. Л. Пастернак, в составе части сборника «Ключ Дусканья, или Подлежащие и сказуемые».

Очевидно, связано со сложностями отношений с Г. И. Гудзь по возвращении с Колымы.

Шуточные стихотворения, эпиграммы

1254[1]**.** *ВШ7.* Т. 7. Из личного архива Н. В. Савоевой, фотокопия И. А. Паникарова.

Посвящено главному врачу лагерной больницы «Беличья» Нине Владимировне Савоевой (1916–2003). Шаламов попал в эту больницу «доходягой» в январе 1944 г., был подлечен и отправлен на общие работы, но Н. В. Савоева добилась его возвращения, назначив его культоргом больницы. О спасительной роли Савоевой и ее будущего мужа фельдшера Б. Н. Лесняка см. рассказ Шаламова «Перчатка» (*ВШ7.* Т. 2. С. 283). Подробности пребывания Шаламова в больнице «Беличья» описаны в воспоминаниях Б. Лесняка «Я к вам пришел» (не всегда объективных) и Н. Савоевой «Я выбрала Колыму» (новейшее издание — М., 2016).

Поэма, сочиненная экспромтом в канун Нового 1945 г., в краткий период относительного благополучия Шаламова в его скитаниях «от больницы к забою» (в 1945 г. он вновь был отправлен на общие работы), не только шуточная — за ее деталями то и дело проскальзывают повседневные ужасы Колымы и суровые условия работы лагерной медицины. *Чекай* — ручей, приток Колымы. Название в переводе с украинского означает «Погоди», было дано в 1931 г. геологами-украинцами. Местное название ручья — Свистопляс. Долину ручья, где располагался лагерь «Нижний Штурмовой», можно считать предшественницей печально знаменитой «*Серпантинки*»: там в 1938 г. проводились массовые расстрелы заключенных. *Таскан* — река, приток Колымы. *Per os* (лат. «через рот») — медицинский термин. *Мылга и Сенокосная* — названия лагерей в Ягоднинском районе. *Шига* — разговорное название дизентерии от имени японского микробиолога Сига (Шига) Киёси (1871–1957). *Траут,* Валентин Николаевич — заключенный-хирург больницы «Беличья», затем — Центральной больницы для заключенных в пос. Дебин. В некоторых произведениях Шаламова фигурирует под фамилией Брауде. *Эритема* — кожное заболевание. *ТБЦ* — имеется в виду латинская аббревиатура ТВС, обозначающая туберкулез. *Севлаг* (Северный исправительно-трудовой лагерь) — административное подразделение в составе Дальстроя, в которое входила больница «Беличья»; управление Севлага находилось в пос. Ягодный.

---

[1] Примеч. к поэме составлены С. Ю. Агишевым.

Калораж — общая калорийность. *Абрикотин, аллаш, бенедиктин* — названия десертных алкогольных напитков. *Месмер,* Фридрих Антон (1734–1815) — австрийский врач, создатель учения о «животном магнетизме» («месмеризм»). *Шарко,* Жан-Мартен (1825–1893) — французский врач-психиатр. *Бильрот,* Христиан Альберт Теодор (1829–1894) — выдающийся немецкий (австрийский) хирург. *Листер,* Джозеф (1827–1912) — английский хирург, основатель хирургической антисептики. *Василий Боткин* — очевидно, Шаламов имел в виду знаменитого русского терапевта Сергея Петровича Боткина (1832–1889). Его старший брат Василий Петрович Боткин (1812–1869) был литературным критиком. *Людовик Каторз* — имеется в виду Людовик XIV, король Франции; «каторз» (от франц. «quatorze») — четырнадцатый. *Лярд* — жир, вытопленный из сала. *Гесперидовы сады* — по древнегреческой мифологии, сады с золотыми яблоками, охранявшиеся дочерьми Геспера, бога вечерней звезды. Возможно, Шаламов отталкивался от одноименного стихотворения В. Брюсова (1906). *Скорбут* — цинга. *Пеллагра* — тяжелая форма авитаминоза, возникающая вследствие длительного неполноценного питания, сопровождается дерматитом и спадением кожных покровов. Ср. рассказ «Перчатка» (*ВШ7*. Т. 2. С. 283).

1255. *Шсб-2.*

Посвящено врачу-хирургу Центральной лагерной больницы Елене Александровне Мамучашвили (1922–2003), работавшей вместе с Шаламовым-фельдшером начиная с 1947 г. С нею связаны два других ст-ния — см. № 18, 477 и примеч. В феврале 1952 г. через Е. А. Мамучашвили, уезжавшую в отпуск, Шаламов отправил свои первые колымские стихи Б. Пастернаку. В своих воспоминаниях Мамучашвили писала: «У меня хранится как дорогая реликвия пожелтевший листок с шутливым стихотворением, которое написал для меня В. Т. в качестве поздравления с новым 1948-м годом» (Мамучашвили Е. В больнице для заключенных // *Шсб-2*. С. 80). *И старались не хромать.* — Героиня ст-ния страдала хромотой после ранения, полученного на фронте, где была военным хирургом (после чего решила поехать работать в Дальстрой, абсолютно не представляя, что это такое).

1256. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 3. Л. 29–29 об. Позднее к названию приписано в скобках «Комическое».

Частично одобрено Пастернаком. Ср. в *Разборе БП*: «Понравилось <...> в „Космическом“ все об Уране».

1257. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 3. Л. 34 об.–35 об. Вкл. в *КД* (Ед. хр. 78. Л. 40–42). Написано на ключе Дусканья.

В аллегорическом виде изображены типы больных и симулянтов, обращавшихся в медпункт. *Пеллагрозница* — страдающая пеллагрой (см. примеч. к № 1254). *Неделю стланик попила и богу душу отдала* — издевка над отваром из хвои стланика, применявшимся

на Колыме в качестве заменителя витамина С. (Ср.: «От этой горчайшей смеси икается, содрогается желудок несколько минут, и аппетит безнадежно испорчен. В стланике этом был тоже какой-то элемент кары, возмездия... Особенность этой многолетней пытки стлаником, наказания черпачком, проводимой по всему Союзу, была в том, что никакого витамина С, который мог бы спасти от цинги, — в этом экстракте, вываренном в семи котлах, — не было. Витамин С очень нестоек, он пропадает после пятнадцати минут кипячения».— «Перчатка», *ВШ7*. Т. 2. С. 290.) *Сахару по книжке* — сахар больным выдавался по специальной книжке. *RW* — реакция Вассермана, анализ крови для диагностики сифилиса. *Биохинол* — лекарство против сифилиса. *Куропатый* — рябой (диалектное). *Ринит* — воспалительное заболевание слизистой оболочки носа. *Лимит на группу «В» и группу «Б»...* — Имеется в виду строгий лимит по койко-дням для выздоравливающих и больных. (Ср.: «Даже цинга имела контрольные цифры, дальше которых врачам не рекомендовалось заходить в койко-днях, в группе „В“ и „Б“» — «Перчатка», Там же.) *Каульбах*, Вильгельм фон (1805–1874) — немецкий художник, в своих картинах часто прибегавший к символике и аллегории.

1258. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 24. Л. 76 об. (тетрадь «1957-III»). Написано в период пребывания в больнице Института неврологии.

Очевидно, не предназначалось для печати, так как А. А. Сурков в то время являлся первым секретарем Союза писателей СССР. Ст-ние Суркова «Я дверь распахну, пойду на крыльцо...» (*ЛГ*. 1957. 19 окт.) было написано крайне небрежно, с нарушением ритмики и рифмовки, при этом было проникнуто воинственным сталинистским духом, призывами «стрелять» и «рубить», а также недовольством современным «беспорядком идущих не в ногу маршевых рот». Этот дух и пытался высмеять Шаламов, нарочито сблизив образ «лопатки» (у Суркова подразумевалось — саперной) с ее анатомическим значением. Поводом для пародии могла стать также начавшаяся в 1957 г. кампания против романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», в которой А. А. Сурков играл одну из ведущих ролей.

1259. *Шсб-5*, в составе публикации «Из записной книжки 1970 года». Автограф — Ед. хр. 37. Л. 92.

Очевидно, что эпиграмма направлена против А. И. Солженицына. *С большим умом практического склада* — прямая перекличка с определением Солженицына как «дельца» (*ВШ7*. Т. 5. С. 363). *Он был посланцем рая, а не ада* — указание на то, что личный опыт Солженицына ограничен «легким лагерем», в чем тот сам признавался Шаламову, говоря о «четырех годах благополучной жизни» (Там же. С. 361). В целом отвечает общему негативному отношению к Солженицыну, выраженному многократно. См. № 968, 1260 и примеч.

1260. Публикуется впервые. Автограф — Ед. хр. 66. Л. 20.

Эпиграмма демонстрирует неприятие Шаламовым личности и деятельности А. И. Солженицына (см. записные книжки и «Неотправленное письмо» — *ВШ7*. Т. 5. С. 360–367), в данном случае связанное с выходом на Западе «Архипелага ГУЛАГ». *Здесь нет следов былого льда...* — Имеется в виду малый лагерный опыт Солженицына, который, по убеждению Шаламова, не давал писателю морального права говорить от имени всех заключенных. *И даже нет следа стыда.* — Шаламов был чрезвычайно низкого мнения о моральных качествах Солженицына, называя его «дельцом» и «авантюристом» (см. указанные выше источники; см. также: Есипов В. В. Шаламов и «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына // *Шсб-5*; Книга, обманувшая мир: (Сб. критических статей об «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицына). М., 2018. С. 421–462).

Переводы
Из Хаима Мальтинского

Шаламов немало занимался поэтическими переводами с подстрочников, и, как и у многих других поэтов, это было для него прежде всего средством заработка. Однако если он видел в поэте яркую индивидуальность и находил в его биографии сходство с собственной судьбой, то подход бывал совершенно иным. Наибольшего внимания в этой связи заслуживают переводы Шаламовым минского поэта Х. Мальтинского, писавшего на языке идиш.

Хаим Израилевич Мальтинский (1910–1986) был человеком необычайно тяжелой судьбы. Участник Великой Отечественной войны, награжденный боевыми орденами и медалями, он в битве за Берлин потерял ногу, а его семья, жена и семилетний сын погибли в Минском гетто. После войны Мальтинский оказался в Биробиджане, где возглавлял издательство Еврейской автономной области. В 1951 г. был репрессирован по обвинению в «буржуазном национализме». Вернулся в Белоруссию лишь в 1960 г. после реабилитации.

Шаламов познакомился с автором в издательстве «Советский писатель» и сразу высоко оценил его личность и творчество. В письме к своему другу Я. Д. Гродзенскому 23 июля 1968 г. Шаламов писал: «... Это — поэт, божьей милостью, поэт-самоучка, разбитый жизнью в лагере и войной. Трещина по сердцу, тревога, но ни строчки, ни звука, что было бы подлым, уклончивым. Вот такой герой. Весь тон обвинения скрытого, искренность, обида... Сегодня он был у меня — Мальтийский Хаим Израилевич. Его мать, жену и детей немцы убили. Что за жизнь, Яша. Я похвалил стихи, сказал, что для меня самое главное, чтобы Вы ничего не забыли. Ни Гитлера, ни Сталина. Но и по стихам видел, что автор не забудет, не собирается забывать. Нет стихов „проходных“ или

фальшивых, а счастье — еврейское счастье, шутки — еврейские шутки...» (*ВШ7*. Т. 6. С. 348–349).

Особое отношение к автору и к работе над переводом в данном случае обуславливалось и другими мотивами: в конце 1960-х гг., после арабо-израильской войны, в СССР усилились проявления антисемитизма, всегда ненавистного Шаламову. Его лирическая интерпретация еврейского поэта согрета глубоким сочувствием к судьбе автора, стремлением как можно более тонко передать личностное начало его поэзии, и в то же время — стремлением выразить собственные чувства и мысли.

Переводы печ. по книге: Мальтинский Х. Бьется сердце родника: Стихи. Переводы с еврейского. М., 1969. В книгу вошло 56 стихотворений, переведенных Шаламовым (кроме него в переводах участвовал Л. Озеров). Мы выбрали в основном те, где наиболее ощутимо присутствие поэтического «я» самого Шаламова. Три стихотворения, не вошедшие в книгу: «Хоть время — текущая быстро река...» (№ 1272), «Плывем, и волн волнение...» (№ 1274), «Среди тысяч незнакомых...» (№ 1280) — публикуются по рукописному варианту переводов (Ед. хр. 95).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения 1957–1959 гг.

Стихотворения 1960-х гг.

Стихотворения 1970-х гг.

Последние стихи (1980–1981)

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ШУТОЧНЫЕ СТИХИ, ЭПИГРАММЫ, ПЕРЕВОДЫ

Юношеские стихотворения

<Ключ Дусканья>. Из первых колымских тетрадей, посланных Б. Пастернаку (1949–1951)

Из якутских тетрадей (1952–1953)

Шуточные стихотворения, эпиграммы

Переводы из Хаима Мальтинского

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Ш18

Шаламов В. Т.

Ш18 Стихотворения и поэмы: В 2 т. Т. 2 / Сост., подг. текста и примеч. В. В. Есипова. — СПб.: Издательство Пушкинского Дома; Вита Нова, 2020. — 640 с. — (Новая Библиотека поэта).

ISBN 978-5-87781-069-3 (Т. 2)
ISBN 978-5-87781-065-5

Судьба и творчество В. Т. Шаламова (1907–1982) связаны с самыми трагическими событиями XX века. Его «Колымские рассказы» стали классикой русской и мировой литературы. Предлагаемое издание впервые во всей полноте представляет Шаламова-поэта. Основная часть стихов, вошедших в двухтомник, при жизни автора не публиковалась. Около трехсот стихотворений публикуются впервые.

Во 2-й том включены стихотворения 1957–1981 гг., а также первые стихотворения, написанные на Колыме и посланные Б. Пастернаку.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Редактор *А. Е. Барзах*
Художник *В. В. Еремин*
Верстка *Й. Е. Сакулин*
Корректор *А. К. Рудзик*

14+

Подписано в печать 29.04.2020. Формат 84×108/32
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. п. л. 40. Тираж 1000 экз. Заказ № 25.

Издательство Пушкинского Дома
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.
Тел.: (812) 328-19-01. Факс: (812) 328-11-40.

ООО «Вита Нова»
198097, Санкт-Петербург, Огородный пер., 23.
Тел./факс: +7 (812) 747-26-35, тел.: (812) 747-26-41, (812) 785-28-71, (977) 599-40-21 (представительство в Москве).
Эл. почта: spb@vitanova.ru. Сайт: www.vitanova.ru
Книги издательства «Вита Нова» можно приобрести в интернет-магазинах: www.vitanova.ru; www.ozon.ru; www.book1.ru, www.books.ru; www.labirint.ru; www.dom-knigi.ru (Москва); www.libourge.ru (Москва).

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „Бионт“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО, 86.
Тел.: (812) 322-68-43.